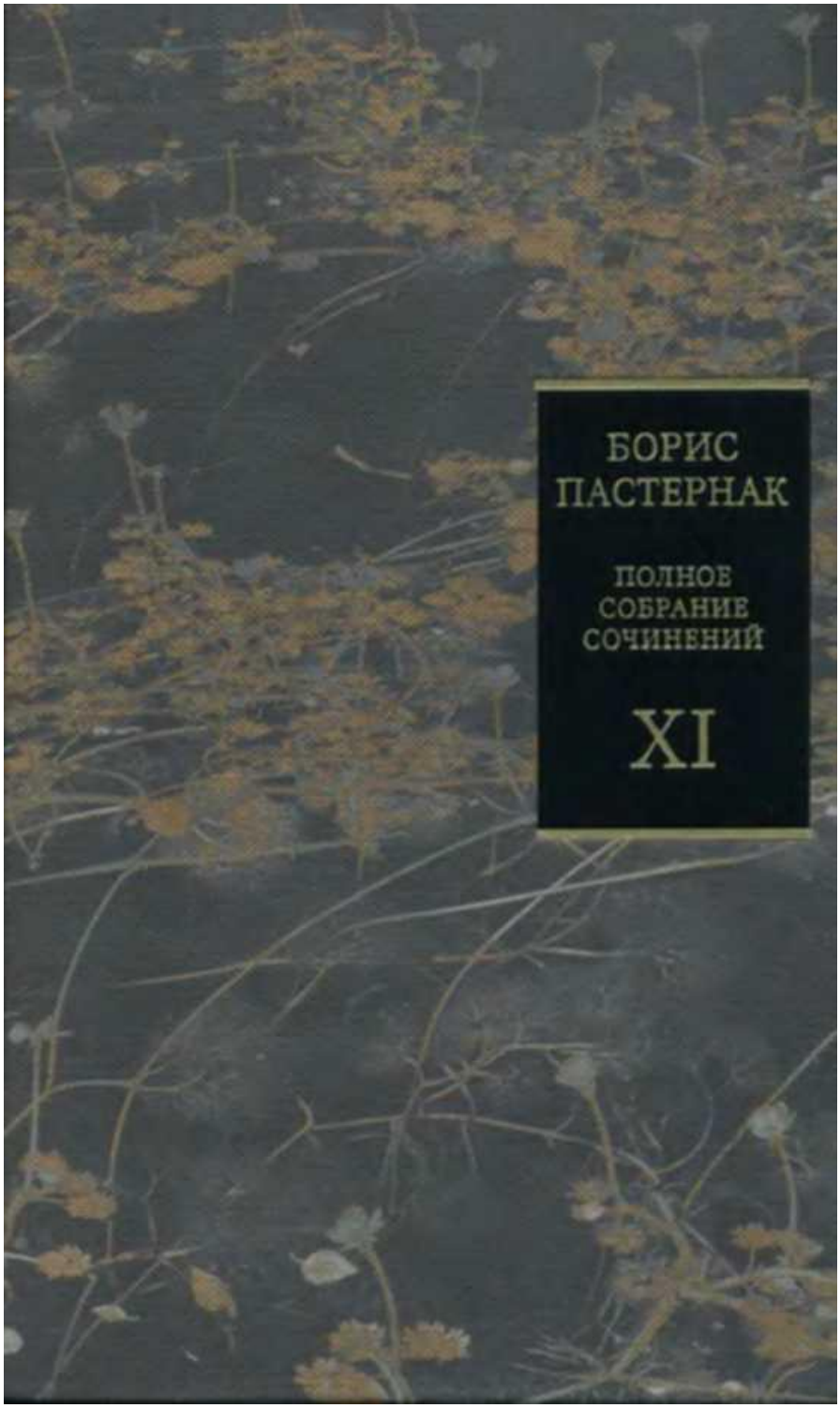
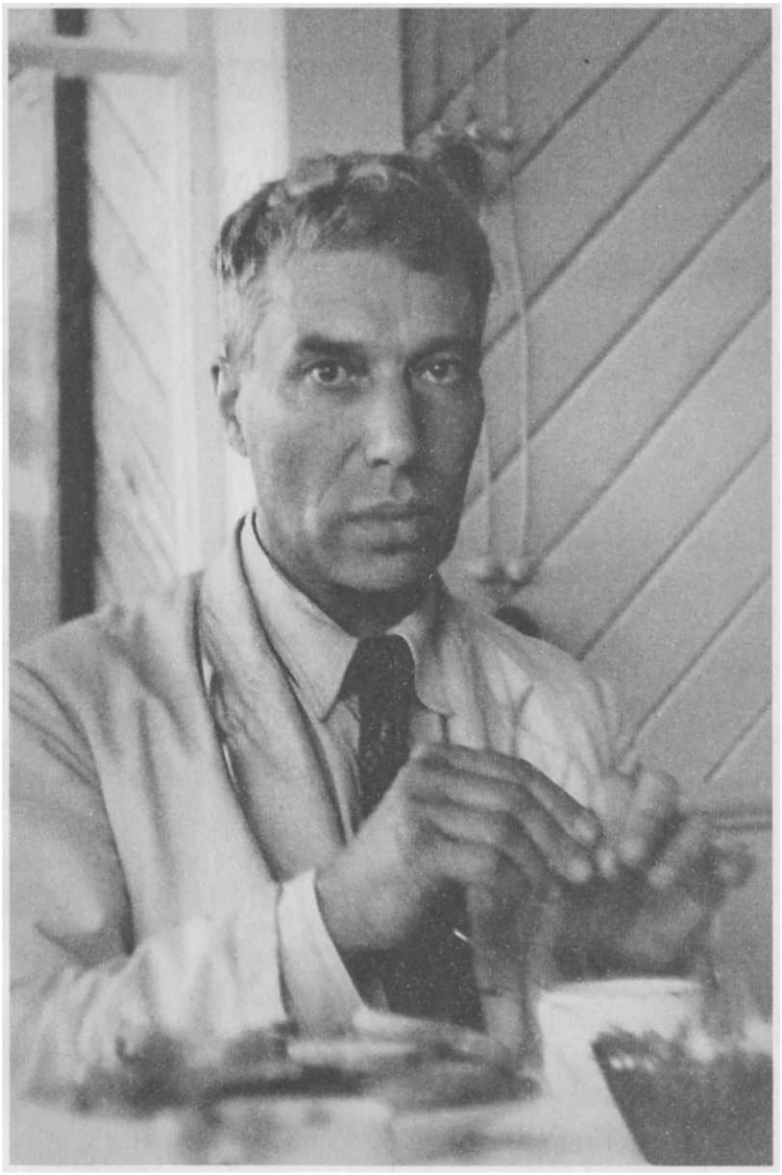

БОРИС
ПАСТЕРНАК
ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
XI



БОРИС ПАСТЕРНАК
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
С ПРИЛОЖЕНИЯМИ
В одиннадцати томах

БОРИС ПАСТЕРНАК
Том XI
БОРИС ПАСТЕРНАК В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

СЛОВО/SLOVO 2005
УДК 821.161.1 ББК 84 (2 Рос-Рус) 6-5 П19
Издание осуществлено
в рамках Федеральной программы
поддержки книгоиздания России
Главный редактор Д. В. Тевекелян
Составление и комментарии
Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака
На авантитуле:
Борис Пастернак. 1949 г., Переделкино. Фото Станислава Нейгауза
ISBN 5-85050-696-9 (т. XI)
ISBN 5-85050-680-2
© Пастернак Е. В. и Пастернак Е. Б.,
составление, комментарии, 2005
© Журавлев К. Е., художественное оформление, 2005
© Слово/Slovo, издание, 2005

• Из Книг Библиотеки TopLib.net •

Александр Пастернак

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Если историки культуры, историки этнографии и ЭТНОЛОГИИ находят — и справедливо! — в масках, в обрядах, в пещерных и наскальных рисунках прямое отражение охотничьей, военной, ритуальной или семейной жизни аборигенов, стоящих на примитивном уровне развития, то почему не допустить того же в играх детей, то есть подобного «отражения» окружающей их среды? Вероятно, и наши тогдашние игры, в таком понимании, что-то, несомненно, «отражали».

Наиболее частой и любимой игрой нашей, неизвестно как и кем придуманной, скорее всего старшим братом (но не взрослыми! за это я ручаюсь!), было устроение «выставок картин». Коноводом и «теоретиком», конечно, был Борис. Но понимание и гу-тирование смысла игры у нас обоих было одинаковым.

Мы оба, каждый на свой риск и страх, рисовали предварительно разные картинки карандашом или цветными карандашами (даже акварелью). Не сговариваясь заранее ни о сюжетах, ни о манере исполнения, мы добивались наибольшего разнообразия. Мы крайне серьезно относились ко всей процедуре. Темы и мотивы были навязаны репертуаром передвижничества — совсем не из юмористических соображений, хотя в воздухе нашей квартиры и пахло достаточно явно идеями новаторства, но просто по той причине, что мы такие мотивы и темы видели и знали по выставкам. Вот на один из таких наших рисунков я и наткнулся среди бумаг отца, относящихся к 96-98 годам прошлого века. На вырванной из тетради страничке, цветными карандашами, я изобразил тарелку с арбузными корками; «картина» была подписана «Мясоедов» (почему именно он? Не знаю!), а названа — «Как вкусны были арбузы». На обороте был проставлен номер. Все — как полагается и именно так, как мы часто видели. На обороте, кроме того, уже рукой отца записано: «Рисунок Шуры, 1897».

Нарисовав достаточное количество «картин», мы составляли каталог и развешивали картины по стенам нашей детской. Затем на «вернисаж» (это было тогда ходовым словом, более естественным, чем теперешнее «открытие») приглашались все обитатели квартиры и гости, случайно присутствовавшие в данный момент.

Такую игру мы очень любили, к ней часто возвращались, каждый раз рисуя другие, новые картины.

Родители1 к игре не прикасались. Их даже изгоняли из детской, чтобы они «не мешали».

Мне думается, что в идее такой игры сказалось не только возможное обезьянничание. Скорее нечто новое, ведь вот не подражали же мы в играх музыке, звучавшей почти постоянно в квартире, — а ведь в эти годы брата уже водили на «утренники-концерты. Нет, мы не подражали в нашей игре, а выполняли то, что накладывало свой отпечаток, почти деспотический, на всю нашу семью, на ее частную жизнь. Над всем доминировала живопись, до такой степени, что из трех определений училища (живопись, скульптура и архитектура) в обиходном словаре всего населения здания звучало лишь первое: Училище живописи — ваяния и зодчества же опускалось как излишнее. Все было подчинено Живописи — участок, здание, квартира и мы сами! Мы питались аурой этого определения. Впо/гне естественно, что деятельность отца, проводника этой самой ауры — Живописи, — и его авторитет в этом стояли настолько выше всего прочего, что о прочем — в том числе и о музыке — не было и речи. Все происходящее осенял, как громадными крылами, мир Живописи. А музыка, которая так решительно действовала на наше развитие и с нами срасталась, без которой я вдвойне стал сиротой, признавалась всем ходом нашей жизни и этими могучими крылами лишь как дополнение. Всеми придатками этих крыл — вроде периодического появления у нас кого-нибудь из библиотечных служителей или швейцаров, нагруженных кипой фолиантов по искусству, или вроде пополнявшихся рядом каталогов парижских салонов, отягощавших отцовские полки, или прибывавших из разных магазинов и даже из-за границы ящичков с пастелью, красками и кистями, — всем этим музыка, к ее стыду, объявлялась занятием «в свободное время», когда более важные дела и более важные заботы были удовлетворены полностью. Нет, тут было не подражание! Тут было нечто куда более возвышенное!

Другая, также частая игра наша, совсем иного рода, была игра в «аптеку». Игра в «выставки» объяснима всем окружением и всей жизнью в семье, подчинившей себя настоящим «выставкам». Игра же в «аптечное дело» была результатом довольно частых заболеваний простудами брата и меня. Не будучи детьми хилыми или изнеженными, мы все же часто схватывали то, что сейчас именуется гриппом, а в те годы — инфлуэнцей.

Тогда появлялся старый знакомый доктор с небольшим чемоданчиком, всегда один и тот же, веселый и нас смешивший. Он задавал одни и те же вопросы, в одной и той же последовательной трафаретности; мы прекрасно это знали, и потому отвечать было легко и просто. За опросом следовали дела — выстукивание пальцем или молоточком, выслушивание через костяную трубку и — что было наихудшим — засовывание в рот серебряной ложки с просьбой сказать продолжительное «а-а-а».

Игра же состояла в точнейшем исполнении ритуалов — одновременно — больного, доктора и провизора аптеки. Как в игре в «выставки» все было проводимо на полном серьезе, так и тут все дело было в том, чтобы в точности была проведена передача действий. Неважно, что деревянные детали строительного ящика — балясины, колонны, брусочки разного сечения — должны были изображать аптечные пузырьки и бутылочки. Важно, что изображались они и обыгрывались как настоящие. В этом и было дело. Поэтому, когда мы сами изготовляли из бумаги сигнатурки и Борис на них выписывал рецепт, то он это проделывал так, что и сигнатурка, и рецепты, и общий вид для нас обоих становились непререкаемо аптечными.

Сигнатурки эти для разных видов медикаментов надо было по-разному резать и писать. Все это было вполне известно. Поэтому когда я в последовательности игры вступал в роль провизора, я тер или толок воображаемые порошки в воображаемых ступках совершенно так, как это проделывал настоящий провизор в настоящей аптеке, что мы могли видеть, когда с няней или мамой ходили в магазин Эрманса. В абракадабре латыни, которую Борис выписывал, высунув язык от напряжения, я

ничего не понимал, хотя всякие там ациди и пульвери звучали не хуже русских простых слов. В сущности, мы фиксировали наш личный опыт вплоть до дозировки лекарств на граны, и слово «гран», как бы таинственно оно ни было, в созвучии — «по три грана на прием» — было нам вполне понятно.

Что же привлекало нас в такой странной игре? Вероятно, сам процесс работы. Наше переселение во взрослых — врачей, сиделок, провизоров — перерастало значение игры. Борису было тогда лет восемь, от силы девять. На сигнатурках тщательно все выписано и для тех времен — верно. Одна такая сигнатурка обнаружилась вместе с моей «картиной». Обе реликвии брат, вместе с другими бумагами из архива, когда произошло нечто вроде раздела имущества, взял на свою новую квартиру.

Среди семейных наших фотографий я очень хорошо помню (и хотел бы, чтобы она сохранилась и посейчас!) открытку, простую почтовую открытку, на которой был наклеен черный силуэт профиля молодой женщины в шляпе со страусовым пером. Это — наша хорошая знакомая; открытка была адресована мне, а писана братом, который временно, из-за карантина, был выдворен из нашей квартиры и жил у этих знакомых. В открытке Боря извещал меня тоном взрослого заказчика, что «его рассказ» близится к концу, и напоминал мне, чтобы я не задержал выполнение «двух иллюстраций», как было обусловлено.

Это — опять отражение жизни, так как в этот год отец выполнял иллюстрации к «Воскресению» и заказчик, издатель и владелец «Нивы» Ф. Маркс, посылал отцу подобные письма. Брат «выпускал» свой журнал, в котором, как это по обложке (простая ученическая тетрадка) значилось, были разделы прозы, разной хроники (!!!), ребусов и занимательных игр. Я обычно получал «заказы» на иллюстрирование текстов не потому, что брат не мог сам этого выполнять, а потому только, что писать или «сочинять» я был еще неспособен. В упоминаемой открытке речь шла о рассказе крайней чувствительности, о жизни бездомных собак, которых ловят на улицах городов, ежели они без ошейников и номерков. Их увозят в закрытых фургонах и держат взаперти, пока за ними не явятся хозяева. Вот партию таких собак, тоскующих в клетке, и должен был я изобразить — и иллюстрация стоит перед глазами, может быть не в абсолютной точности и полности, — но одну, главную, собаку, героя рассказа, я помню отлично.

Другая иллюстрация должна была изобразить момент, когда добрый и хороший мальчик выпустил на волю всю ораву собак, в радости выскакивающих на волю.

Кроме того, в письме говорилось, что автор подготавливает новую повесть из жизни краснокожих ирокезов. Этой повести я не помню. Журнала родители не сохранили. Рассказ о собаках и иллюстрации к нему я помню очень свежо, равно как и другую повесть брата, на тему жизни какого-то японца-рыбака и ловли трепангов. С тех пор я и узнал о голотуриях и трепангах. О японцах брат, вероятно, вычитал из детской книжки, которая у нас долго жила, но исчезла, когда подросли сестры. Книжка называлась «Япония и японцы» (автора не помню) и была интересна как обилием картинок, так и кое-какими живо написанными особенностями этого народа.

Конечно, не только в таких играх проходило наше детство во флигеле. Были и самые обычные, общеизвестные тогда «чижики», «казаки-разбойники» и прочие, которыми оглашались все дворы и сады города того времени. Другие, комнатные, так называемые «настольные игры», то есть «познавательные», не миновали, конечно, и нас. Из неимоверного количества их мне хорошо запомнилась одна. Не качеством и не темой, а чем-то иным, что брало за душу. Она была из обычной серии игр «вверх и вниз», где азарт брал верх над разумом. Но в этой не было азарта, было только желание доброго конца. Игра называлась «К Северному полюсу». Четверо отважных — Нансен, Пири, Андрэ и Скотт — с трудом преодолевали препятствия. Четыре небольших

оловянных фигурки: «Фрам», два воздушных шара с гондолами в цветах национальных флагов Пири и Андрэ, а вот четвертую я как-то не помню — то ли собака, то ли нарты Скотта. Историю каждого мы уже хорошо знали и, каждому сочувствуя, играли серьезно и не гогоча. К «Фраму» я испытывал почему-то наибольшее чувство, а то, что он был «затерт льдами», звучало в моих ушах особо погребально...

* * *

Мой брат с детства отличался неодолимой страстью овладеть тем, что явно ему было не под силу или что совершенно не соответствовало складу его мыслей и характера. Так случилось с ним и тут2: ежедневно глядя на выезды наездниц, он решил испытать себя в этой трудности. Тут никакие уговоры не могли поколебать или отклонить его от исполнения задуманного. В спорах он так всем надоел, что на него махнули рукой.

Наступил день, когда он все же уговорил одну из наездниц дать ему ее лошадку, казавшуюся более хилой, спокойной и тихой. Пока среди стоявших еще лошадей он сидел верхом на ней, все казалось прекрасным. Он сиял торжеством! Вначале все шло гладко и спокойно. Табун шел ровным аллюром, почти шагом, и, по-видимому, девки не давали лошадям воли к быстроте хода.

Брат ехал среди них радостный и спокойный. Но его лошадка, естественно, сразу почуяла на себе чужого и, судя по прядавшим ушам, была не слишком тем довольна.

Беда всегда приходит неожиданно и не там, где ее ожидают.

Отец занял свое обычное место, я раскладывал мольберт, устанавливая его по старым следам. Мы стали наблюдать приближение кавалькады, ожидая их проезда мимо нас. На сей раз, не знаю почему, в головах табуна шел не обычный гнедой конь нашей Вальки, а другой, вороной. Его наездница решила изменить обычный путь. Когда табун подходил уже к речке, где-то раздалось призывное ржанье чужой лошади. Тут весь табун взбеленился. Резко повернув за вожаком, табун бросился к ржавшей лошади; мы ясно увидели, как кобылка, на которой скакал потерявший управление и равновесие, растерявшийся Боря, стала подкидывать задом, и Боря, не ожидавший еще и этого, стал заваливаться. В конце концов он не удержался и упал на бок, скрывшись с наших глаз за табуном, который, не останавливаясь, помчался дальше. Настала тишина.

Тут все как бы исчезло. Не сразу поняли мы, что надо бежать к Боре — и на помощь ли?

Бег стал труден: луг был кочковат, траву еще не косили, уже темнело. Я подбежал первым. Боря был жив; он был в сознании, боли не чувствовал, шок еще не прошел. Ногой шевелить он не мог. Тогда я быстро помчался домой, отца оставив у брата. К счастью, дома, в гостях, сидел наш друг, хирург, живший на даче по ту сторону железной дороги. Были еще какие-то люди. Вместо носилок взяли легкий садовый плетеный диванчик, захватили все, что могло сойти за бинты. С большим трудом донесли мы брата, ставшего почему-то необычно тяжелым. Дома доктор вправил разбитую в бедре ногу, под утро отец поехал в Малоярославец за хирургом и сиделкой. Уже одной этой встряски было достаточно, чтобы отвратить отца от продолжения работы по картине.

* * *

Почти с первых же дней пребывания на даче брат мой и я каждодневно совершали все новые открытия. Брат должен был, по гимназическому заданию, собрать гербарий, что он весьма методично и пунктуально выполнял, составляя его очень красиво; я же лишь из подражательства составлял свой далеко не такой красивый и полный. Эти сборы трав и цветов уводили нас иной раз в более отдаленные и незнакомые места. Тогда мы чувствовали себя какими-то следопытами, Кожаными Чулками, Зверобоями

и прочими индейцами, точно следуя их приемам незаметности и скрытности, хотя глупо было скрываться, когда заведомо вокруг — и на далеко — «и души в эти часы не было вовсе.

В жаркие же дни и часы мы предпочитали открытым пространствам постоянную, даже при ярком солнце сумрачность и свежую прохладу заросшего бора. Тут гербарий уступал место наблюдениям за лесной жизнью, более интересной, чем жизнь травы. Тут и индейство наше обретало, пожалуй, большие права на правдоподобное существование. Гуляя так по бездорожью леса, не имея никакой определенной цели, не ища специально ничего, шли мы однажды по еще не изведанному направлению. Внезапно среди царившей тишины, которую только усиливали редкие трельки птичек да цоканье белок, мы услыхали, очень издалека, отрывочное, с перебоями звучанье рояля. Оно сразу же стало нам ясной задачей определившего себя краснокожего обследования. Мы стали пробираться к звукам — с беззвучием мокасинным... Так набрели мы на источник музыки — и замечательной. На опушке леса, куда мы дошли, нас задержала непроходимая заросль кустарника. На залитой солнцем лужайке сквозь кусты виднелась дача, такая же, как наша.

С этой-то дачи и раздавалась музыка, похожая на разучивание, но для разучивания она шла странно, не обычно, без застревания в трудном месте, без заминок. Остановившись внезапно на каком-то такте, она обрывалась, затем слышалось какое-то невнятное словно бормотанье, с повторами одной или двух нот, как для разбежки. Так настройщики пробуют отдельные струны и проверяют будто бы себя самих. Затем прерванная фраза возобновлялась с прежней быстротой и безошибочностью, намного уходя вперед: бормотанье, бурчанье и проверка настройщика передвигались на новое, более дальнее место, музыка же все бежала и бежала, между такими перерывами, вперед. Брат, более меня понимавший, сказал, что там, несомненно, сочиняют, а не разучивают и не разбирают новую вещь.

Так, с того дня, мы обосновали место, где нас никто не мог обнаружить, благо на даче не было собак; мы же оттуда наблюдали и слушали безнаказанно и преотлично. Подглядывать и подслушивать входило в железный закон жизни краснокожих. В столь же железный закон бледнолицых входило обратное: что и подглядывать и подслушивать — одинаково подло, нечестно и постыдно.

Все это — и то и другое — мы отлично знали, но ни то и ни другое в данном случае не руководило нами. Обосноваться в укрытии и оттуда невидимками слушать заставила нас только сила музыки: ведь музыка с самого дня нашего рождения шла рядом с нами и только и делала, что приучала нас состоять при ней — ее слугами и верными ее прозелитами.

* * *

Однажды отец, ежедневно совершавший дальние свои прогулки по Калужскому тракту, красивому и почти всегда пустынному, вернулся домой в особо веселом настроении. Со смехом рассказывал он, как ему повстречался какой-то чудак: он спускался с высокого холма, куда по тракту должен был подняться отец. Тот не только спускался, но вприпрыжку сбегал вниз, странно маша при этом руками, точно крыльями, будто бы желая взлететь, как это делают орлы или грифы и другие большие грузные птицы. Да и жестикулировал он так же странно. Если бы не абсолютно прямая линия его спуска, можно было бы предположить в нем вдрызг пьяного человека. По всему же обличью и телодвижениям ясно было, что это отнюдь не пьяный, но, вероятнее всего, чудаковатый, может быть, и «тронутый» человек.

С этого дня они изредка снова встречались, и незнакомец был верен своим чудачествам. Теперь совершенно ясна была его трезвость, но и чудаковатость — тоже. Наконец, после уж которой встречи они, естественно, заговорили друг с другом.

Быстрый бег с подскоками и махание руками продолжались и после знакомства. При первом же разговоре выяснилось, что он такой же дачник, как и отец; что их дача — вон на опушке того леса — и рука протянулась почти к нашему месту; что он — тоже москвич и фамилия ему — Скрябин; что он музыкант и композитор и что сейчас, на даче, в это лето занят сочинением своей третьей симфонии, которую чаще называл в разговоре Божественной, не как определение, а как заглавие, название вещи. С того момента свершилось знакомство отца, а затем и матери нашей, с семьей Скрябина. На том и закончилась наша таинственная и кустами засекреченная связь с музыкой, поистине завораживающей. Мой брат описал ее дважды: в своей «Охранной грамоте», через тридцать почти лет, и во второй раз — в «Опыте автобиографии», уже в пятидесятых годах. Как каменотес или скульптор, отсекая и отбрасывая все лишнее и ненужное от глыбы мрамора, добираются до самой сути, так, много вычеркивая, скупо и сжато, брат мой в крепчайшей концентрации свел читателя с музыкой ошеломляющей. Рассуропливать его рассказ водицей слабой редакции мне ни нужды, ни смысла нет. Оно даже и опасно.

* * *

Семнадцатое октября проснулось Высочайшим Манифестом3. Чуднота его заключалась в сплошном, от начала до конца, противоречии трафаретных и избитых слов: «Мы, Николай Второй», царь такой-то и т. д. и т. п., и завершавших «на подлинном Е. И. В. рукой начертано» — и всех тех слов света и надежд, если их прочесть во всей серьезности и точности их значений, которыми было полно содержание манифеста.

И чтобы ни у кого не было и не оставалось никаких сомнений в истинном значении и смысле манифеста, на следующий же день, 18 октября, то есть через каких-нибудь не полных даже 24-х часов текущей его жизни, на митинге, посвященном этому же манифесту, был убит студент Технического училища, в такой же тужурке с наплечниками, Бауман. Его хоронила вся Москва 20 октября.

Эти похороны мне запомнились, как врезанные в память. Мы, вся наша семья, кроме девочек, стояли, среди других из училища, на балконе, между вздымающихся вверх колонн, как какие-то статисты какой-то мизансцены о царе Эдипе или из истории ампирного барского дома в имении. Мы стояли черными неподвижными статистами и зрителями одновременно, потому что перед нами, под нами проходила, в течение многих часов, однообразная черная широкая лента шеренг мерно шагающих, молчащих и поникших людей, одна за другой, каждая по десять, кажется, человек, одна задругой, одинаковых и повторных, во всю ширину Мясницкой, мимо нас, к Лубянской площади.

Всего грознее было, когда люди, проходящие внизу, шли в полном молчании. Тогда это становилось так тяжко, что хотелось громко кричать. Но тут тишина прерывалась пением вечной памяти или тогдашнего гимна прощания, гимна времени — «Вы жертвою пали...» И снова замолкнув, ритмично и тихо шли и шли — шеренга за шеренгой, много шеренг и много часов.

Более всего запомнилась, однако, голова шествия. Как обычно при всяких похоронах, черной ленте, змеящейся по улице, предшествовал катафалк. Но гроб несли люди на плечах, и это было трагично, как сама смерть. Перед катафалком плелась одноколка, наполненная лапами еловых ветвей, редко кидаемых под ноги шествию. И это было обычно; не как всегда и необычным было, что шествию, катафалку и одноколке с запахом хвои предшествовала не икона на руках, а нечто новое и торжественно возвышенное, — шел в черном человек с большой пальмовой ветвью в руке. Он махал этой ветвью в такт своего и всей змеи шага, как дирижер или как регент хора, задавая тон и смысл всему, что шло, шеренгой за шеренгой, следом за ним. Я

никогда более не видел ничего, что могло бы быть подобным этому шествию. Процессия шла долго, людей было бесконечно много, к ней все более и более приливало по пути, и каждый считал долгом своим примкнуть к ней и с ней слить свое участие. Порядок был идеальным по серьезности и самой трагичности события. Все, что встречалось, и все, что встречало, молча и сурово отстранялось от пути, пока процессия слитно и мерно шла к кладбищу, возглавляемая гробом на плечах шестерых. Так же тихо и сурово было, так говорили, на самом кладбище. Тем сильнее разразилась гроза, затихавшая при проходе процессии туда. Обратный путь был ознаменован другим. Люди — уставшие, разбредаясь отдельными кучками, ручейками, и потому уже не сильные — попадали в засады, в мешки, под обстрелы, под нагайки, а шедшие мимо Манежа — под настоящую бойню «охотнорядцев» и «черной сотни», которым на подмогу пришли дворники, драгуны, жандармы и полицейские. Весь этот «оплот» царизма, побоявшийся показать себя процессии, распоясался, когда обратный путь процессии перестал их пугать своей сплоченной силой.

Тут — говорили потом — храбрость черносотенной своры подонков и их патронов, поддержанная винтовками, шашками и нагайками, была на высоте. Разгон безоружных людей указывал, конечно, на силу параграфов манифеста, относящихся к свободам — слова, личности и совести каждого. Это надо было, естественно, понимать как свободу действия «Союза русского народа» и «черной сотни», кои, прикрытые иконами, хоругвями и царскими портретами, находили себе охрану и содействие в оружии городовых и жандармов. Только последним и были сильны эти, действующие, как гиены, «представители русского народа»; они могли безнаказанно бить стекла магазинов, бесчинствовать, избивать встречных, нападать ватагой на беззащитных. Что ни говорить, но встречи с обществом гиен куда страшнее, чем столкновение со львом, говорят аборигены. Все возможно. И посему дирекция училища решила устроить в вестибюле главного входа баррикаду—на всякий случай, — зная, что для черносотенцев и их патронов учинить погром и дебош в здании, посещаемом совсем не только учениками училища, было бы весьма заманчивым. Баррикада была основательна — выросла новая, из дубовых бревен, стена, укрепленная такими же откосами и стойками с внутренней стороны и прорезанная небольшой — на одного человека — калиткой. За такой стеной наш вечный швейцар при входе Антон, с большой окладистой бородой, чувствовал себя совершенно спокойно. Эта стена просуществовала долго; во всяком случае, я застал ее еще на месте, когда мы возвратились из Германии в 1906 году. За эту стену князю Львову — нашему директору — попало от верхнего начальства, но он, не испугавшись, только посмеивался, охраняя как можно лучше вверенное ему добро.

Октябрь проходил, наступил ноябрь, и дни проходили под знаком все растущих и крепнущих сил революции. Уже почти в открытую шли разговоры и приготовления к переходу от стачек к вооруженной борьбе с царизмом и самодержавием. Восстание на «Очакове», его героический бой с крепостными батареями, лейтенант Шмидт, гибель «Очакова», арест Шмидта, карательные экспедиции Меллер-Закомельского4, новые всеобщие стачки, вооружение народа — все, калейдоскопически быстро вертясь, наполняло дни, предшествовавшие девятому валу, — его все ждали, одни с надеждами, с желанием успеха, с нетерпением, другие — в страхе, с затаившейся злобой, с опасениями...

* * *

Как всегда, в такие моменты волнений, страха и беспомощности, крайнего напряжения нервов, общей неясности ситуации любое, самое незначительное отклонение от общепринятой нормы воспринимается как, по крайней мере, наказание Божие. Вся жизнь нашей семьи, как общества троглодитов в ледниковый период,

сосредоточивалась у кровати больной, у стола, на котором стояла и горела неугасимая большая керосиновая лампа «молния», кое-как обогревающая нас всех. Но — где же Борис? Куда он исчез, не сказавшись никому и не спросясь, в то время как — это всем известно — на улицах крайне неспокойно и то тот, то другой, с нашего же двора выходивший на улицу, попадал либо под обстрел, либо под копыта драгун, либо — в лучшем случае — под огневой удар нагайки — с оттяжкой! — казака.

Но Борис исчез. Он пропадал долго, и мне самому стало уже не по себе. Ему было всего пятнадцать лет, еще мальчик — а характер у него был, слава те Господи, что у взрослого! Переубедить его иной раз было немыслимо трудно. Куда он мог сбежать? Среди стонов — Лиды в бреду, мамы в полуобморочном состоянии и отца, нервически, как черная пантера, шагавшего от двери к окну, от окна к двери, делая вид, что его ничто не смущает, что все в порядке, — он все же подошел ко мне и тихо, будто шепотом и на ухо, прошелестел: «Я иду его искать» — и пошел дальше мерить комнату своими большими шагами, и опять, пройдя мимо, как корабль мимо катера, тем же шелестом: «Присмотри за мамой», — и опять к двери. Но тут, к общему нашему счастью и сущей радости, вдруг знакомо хлопнула входная дверь, и появился в створе комнатной сам Борис, но — в каком виде! Фуражка была смята, шинель полурасстегнута, одна пуговица висела на треугольнике вырванного сукна, хлястик болтался на одной пуговице—а Боря сиял, уже одним этим выделив себя из всей группы вокруг лампы. Из его пока еще бессвязных рассказов, более восклицательных, постепенно уяснилось, что он, выйдя на Мясницкую и пройдя несколько вниз к Лубянке, действительно столкнулся с бежавшей от Лубянки небольшой группой прохожих, в ней были и женщины, подхватившие в ужасе и Бориса. Они бежали, по-видимому с самого Фуркасовского, от патруля драгун, явно издевавшихся над ними: они их гнали, как стадо скота, на неполной рыси, не давая, однако, опомниться. Но тут, у Банковского, где с ними столкнулся Борис, их погнали уже не шутя, и нагайки были пущены в полный ход. Особенно расправились они с толпой как раз у решетки Почтамтского двора, куда тщетно пытались вдавиться прохожие. Боря был кем-то прижат к решетке, и этот кто-то принял на себя всю порцию нагайки, под себя поджимая рвущегося в бой Бориса. Все же и ему, как он сказал, изрядно досталось — по фуражке, к счастью не слетевшей с головы, и по плечам. Он считал нужным испытать и это — как искус, как сопричастие с теми, кому в те дни не только так попадало. Тем временем драгуны ускакали, оставив кое-кого лежащими на мостовой. Тут Борю кто-то увидел из наших и насильно увел во двор.

* * *

В берлинский период жизни брат мой окончательно был покорен музыкой Вагнера. Уже в Москве он Вагнером увлекался. С некоторых пор, когда уяснилось, что будущим брата будет музыка и деятельность композитора, ему стали дарить ноты. В его шкафу красовались, в красивых изданиях, в красивых, с золотом, переплетах, клавиры некоторых опер Вагнера. Но не столько брат, сколько наша мать часто и помногу проигрывала отрывки из них, так что многое из Вагнеровых опер стало мне хорошо знакомым.

Брат играл мало, предпочитая импровизировать и что-то свое сочинять, видя себя в будущем не исполнителем, а именно композитором. Потому, не думая вовсе о развитии техники игры, он ею абсолютно не владел. Года за два до Берлина он начал брать серьезные уроки теории и гармонии у известного в Москве музыкального критика, теоретика и композитора Ю. Д. Энгеля5.

Тут я врываюсь в область, описанную самим братом в его «Автобиографии». Брат, однако, ни словом не обмолвился о музыке в его жизни в Берлине, потому, вероятно, что, будучи уже признанным писателем, давным-давно порвав все связи с музыкой,

перестал придавать ей какое-либо серьезное значение в воспоминаниях, не считая эту область своего прошлого заслуживающей внимания. Мне придется восстановить и восполнить им упущенное.

Ю. Д. Энгель, человек мягкий, бесконечной доброты, нежности и товарищеского компанейства, был крайне требователен в работе, в творчестве, даже суров, придирчив и скуп на признания. Его похвалы в его критических заметках потому особо и ценились и означали для тех, кого он не бранил, очень многое, им не высказанное. Для Ю. Д. занятия, с кем бы то ни было, означали и труд, и подвижничество, и счастье удовлетворения. Никогда занятия не спадали до дилетантизма и развлечения. Это требовало пота и энергии. В занятиях брата именно этим все и было. Я не раз заставал его в большом возбуждении, раздражении и полном расстройстве за нотной бумагой, вдоль и поперек исписанной, исчерканной. Наша московская тогдашняя, в училище, комната была велика и для двоих нас. Но в такие вот минуты она становилась тесной даже ему одному; бегая из угла в угол, он заполнял ее всю; что-то напевая, будто даже дирижируя, он то присаживался, то снова вскакивал в озлоблении, со мною не говоря, будто меня в комнате и совсем не было. Так бывало, и не раз. Но каково было радостно обоим нам, когда, возвращаясь от Ю. Д. в хорошем настроении, он мог сказать мне, что ему удалось сочинить такую фугу, что даже Ю. Д. ее не очень черкал красным своим карандашом! Это было равновелико похвале.

Еще в Москве я стал слышать, все чаще, имя немецкого теоретика музыки Римана, толстый том которого брат приносил от Ю. Д. Когда же Энгель узнал о поездке нашей в Германию, он посоветовал, то есть просто поручил, брату приобрести в Берлине такой же том теории и задачник к нему Римана, с тем что они будут оба пользоваться этими книгами и пересылать друг другу то номера задач, то исправления братниных решений. Теперь такой метод занятий широко распространен и заочное обучение имеет большой успех.

Так, обзаведясь в Берлине Риманом, брат стал методически им заниматься, и переписка с Ю. Д. шла теперь полным ходом и очень регулярно. С этих пор в разговорах брата стали звучать новые и нам не всегда понятные слова, вроде «тоника», «доминанта», «контрапункт», или еще хуже — «шифрованный бас», или уж совсем странное, идущее чуть ли не от времени органа св. Цецилии, словечко «континуо»; этим «континуо» брат приводил меня в совершенное ничтожество.

* * *

Книги, которыми зачитывался брат с детства его, тут же прочитывались и мною, на три года раньше положенного. Беды в этом никакой не было, но и пользы также: мой не подготовленный еще разум не вмещал всей сути и красоты текстов. Я не могу установить, когда же я действительно читал впервые Гамсуна, произведшего на меня большое впечатление, о чем в те дни мы с братом много говорили. Тут меня интересует не моя встреча с новым писателем, а — через нее — возвращение к моему брату.

Братом самим чтение Гамсуна, Белого, Пшибышевского отнесено к 1903 году. В «Автобиографии» брат отмечает: «...гимназистом третьего или четвертого класса гимназии... я был отравлен новейшей литературой... бредил Андреем Белым, Гамсуном, Пшибышевским...» Указание отнесено к поездке на рождественские каникулы в Петербург.

«Гимназистом третьего или четвертого класса» — тут «или» неправильно поставлено: в четвертом классе на Рождество брат лежал еще в гипсовом заключении, или если нога его уже была вынута из каменного футляра, то вряд ли кто-либо пустил его в таком еще беспомощном состоянии в самостоятельную поездку. Следовательно, весь эпизод с поездкой, с театром Комиссаржев-ской и т. д. мог состояться только в

третьем, а не четвертом классе гимназии, то есть на Рождество 1902 года или под Новый год, в январе 1903 года6. В это время мне было всего лишь девять лет. Трудно представить себе, что в эти годы, девятилетним, я читал

Гамсуна, да еще делился с братом моими впечатлениями... Эти мои сомнения не имели бы никакого значения и тем более интереса, если бы не связывались с важным вопросом, когда же действительно брат был в Петербурге и когда он впервые стал «зачитываться и бредить» новейшей литературой.

Допустим, что в «Автобиографии» брат был более точен, чем я...

В лавке нам отвели комнатку не великих размеров; кроме кроватей и небольшого столика, в ней находился большой комод, наполненный вещами Frau Witwe, умывальный столик и, в углу, большая, почти до потолка, круглая и заключенная в черный железный кожух печка, которую я топил небольшими кирпичиками прессованного торфа. Через восемь лет, на втором курсе Училища живописи и зодчества, проходя теорию отопления, я вновь встретился с такой печкой и тут впервые узнал ее техническое название — «утермарк». В нашей комнате, по ее тесноте, никакой иной утвари не было и быть уж не могло. Над комодом, которым мы не пользовались, висела небольшая настенная полка для книг. Все, чем мы могли пользоваться из мебели в комнате, было на виду, вполне открыто. Никаких «потайных» мест, куда мы могли бы прятать что-либо, не было: все, чем я или брат занимались, было друг другу хорошо известно, и никто из своей работы тайн не делал.

Вот почему я могу категорично и ответственно говорить, что новая страсть, которой было суждено отвоевать брата от музыки и тем изменить все его будущее, родилась не тут и не в те времена. Я могу думать и допускать, что в это время и в этой комнате могли быть брошены семена нового будущего увлечения, да и то лишь к концу нашего там пребывания, ближе к весне: выражалось это столь неопределенно, случайно, что тогда на себя не обратило моего внимания, не настораживало и не удивляло. Тогда лишь стали появляться на полке над комодом однотипные книжечки карманного типа «Universal-Verlag'a», в кирпично-корич-невых обложках, дешевого массового издания немецкой и переводной литературы. С этого-то времени я и стал примечать, что брат начал увлекаться чтением немецких классиков — стихов главным образом; не знаю, где он доставал русских поэтов-современников. Я не замечал — а мог бы, конечно, — стал ли он и сам писать в это время стихи. Нет, в это время он писал только нотные знаки! Тут были и учебные упражнения, и попытки своих собственных композиторских работ. Главным арбитром этого времени был, конечно, он сам. В «Охранной грамоте» и в «Автобиографии» о зарождении здесь новой своей творческой линии он не упоминает ничего ровно, хотя о дебюте в области музыки, о «бренчании» он говорит, не скрываясь.

Сейчас, ретроспективно, предполагать, что уже тогда, в лавке, произошел этот перелом интересов, вполне допустимо. Но тогда, в дни нашей жизни там, даже появление книжек Universal-Verlag'a ничего не говорило и не давало повода что-либо мне подозревать!

Судьба этих книжек была хотя и оригинальна, но для меня не нова: он их покупал, читал, зачитывался, прочитывал — и ставил на полку, покупая новую, следующую; и так шло далее. Но количество книжек как-то не увеличивалось — старые куда-то исчезали, на что брат не роптал и даже не обращал никакого внимания, а может быть, даже сам их отдавал ученице. Если бы не такая судьба их была, при отъезде из Берлина ему пришлось бы вывезти ящики книг!

Но брат никогда не был коллекционером и был чужд этому духу: «собирать» библиотеку было не в его характере.

«Коллекционером» он был однажды, и то ненадолго. Это было, когда детьми мы собирали марки. Но впоследствии я не могу припомнить его «собирателем»: впрочем, в его характере были черты, нужные любому коллекционеру. Например, его гербарий, который он составлял как гимназическое задание; папка, в которой хранились большие белые листы фильтровальной бумаги с превосходно разложенными образцами кустов и веток кустарников, с определенными «по Ростовцеву» названиями, поражала своей внешней красотой и методикой дела. Я уже отмечал выше сбор палеонтологических находок во время гимназических экскурсий на обрывы Москвы-реки. Но все же это были эпизодические сборы. Коллекций же в настоящем смысле у него не было никаких, и, по существу, он всегда был врагом этого дела. Комната его, уже в юности, поражала строгостью простоты и пустоты: стол, стул и полка для книг — никаких картин и украшений.

Таким он оставался во все — разные — периоды жизни, и иным я его никогда не видел.

* * *

С некоторых пор, примерно со времени перехода брата с юридического факультета на филологический, мы стали примечать, что брат будто бы как-то от семьи отрывается, еще не напрочь, но достаточно явно. Казалось, он скрывал от нас что-то, служившее, быть может, причиной расхождения, — что-то, что нам знать не положено. Такое его поведение нас настораживало, вернее даже — обижало. Потом оно стало нас и огорчать, и сердить, что вызывало подчас ненужные вспышки. Стало ясно, что измениться положение уже не может. Вместе с тем — что было наиболее непонятным, усложняющим общее положение — его горячая любовь ко всей семье, а к матери — особливо, не только не спадала, но, при его отходе, еще более возрастала. Отпадение от семьи причиняло ему самому — в этом он признавался мне не раз в свое оправдание — большое страдание.

Нынче совершенно просто и легко все сказанное понять и толком объяснить, зная многое, тогда от нас скрытое. Сегодня вполне естественное тогда казалось противоестественным и оборачивалось в некий бездушный и жестокосердный эгоизм его, по-русски сказать — в его жалкое себялюбие. Холодное и жестокое — относительно матери, — оно более всего возмущало отца. Как часто судьбы людей распознаются слишком поздно! Как часто люди сами осложняют свои судьбы, вторя своими неверными шагами и поступками античной неумолимой мойре!

Если бы мы могли хотя бы подозревать о драматизме перелома в его творческой жизни! Но кто знал тогда об этом? Как странно, что память моя не всегда сохраняет следы обстоятельств, которые впоследствии надо бы восстановить. Их мучительно припоминаешь, заставляешь себя — тщетно — что-то вспомнить, стараешься через хронологию за что-то ухватиться — да не тут-то было! Да, мой брат кончил гимназию в 1908 году. В это время мы жили еще на Мясницкой, я был пятиклассником. Перебрались же мы на Волхонку в 1911 году, через три года. Что заполнило собою эти три последних года на Мясницкой? Не может же быть, чтобы так-таки ничего не произошло, что не привлекало бы к себе моего внимания, да еще настороженного, к брату? Мы продолжали жить с ним в одной комнате, занятой нами еще в 1901 году, как в одной же комнате, рядом, жили сестры. Наш общий стол — под висячей, на роликах с противовесом (грузилом — кучка дроби), электрической лампой под зеленым жестяным абажуром — разделяет сферу наших жизней и деятельности. Впрочем, брат уже давно стал чаще пропадать в гостиной, где стоял рояль; оттуда доносились звуки его упражнений. Они еще долго продолжали звучать. Что изменилось в брате? Ничего! А ведь об этом-то брат впоследствии в «Охранной грамоте» и записал, что «тщательно скрывал от друзей», я же добавлю — и от семьи — свои «признаки нового

несовершеннолетия»*. Как хорошо сказано! Да, да, он так тщательно скрывал их, что даже я, сидящий за одним с ним столом, живший с ним бок о бок, ни о чем подобном и не подозревал!

Меня часто спрашивают, глядя выжидательно в глаза, когда же Борис стал действительно писать стихи, надеясь от меня-то получить точный и исчерпывающий ответ. Увы, увы! Как на вопрос ответить, когда сам автор так тщательно ото всех скрывал эту пору? Ведь даже в «Охранной грамоте» он не уточняет этой даты, ни разу ее не называя.

Отрывок, относящийся к встрече со Скрябиным, где решалась его судьба композитора и музыканта, кончается тем, что «на другой день» брат «и исполнил» совет Скрябина перевестись с юридического на филологический, на философское отделение. Перевод был осуществлен в 1909 году. Никаких намеков на возможность начала стихописания мы пока еще не находили. В отрывке, относящемся по смыслу текста уже к переходу на 1910 год, мы читаем признание, что «музыка, прощание с которой я только еще откладывал, переплеталась у меня с литературой...» Здесь важны слова «я только еще откладывал». Изменил же мой брат музыке только ради философии, а не литературы. Ведь потому-то он и оказался летом 1912 года в Марбурге. «Музыка... переплеталась у меня с литературой». С литературой, но не с поэзией, — это существенно! Литературой, упомянутой здесь братом, было его увлечение прозой — А. Белым, затем Стендалем (через К. Локса) или Конрадом и Джойсом (через С. П. Боброва). О стихах или о стихотворчестве брата мы ничего еще не слышим даже по «Охранной грамоте» тех времен. Даже упоминая о кружке «Сердарды» (то есть о 1910-1911 гг.), он вспоминает, что принят был туда «на старых правах музыканта»...

Записав эти слова, я неожиданно задумался. Я вдруг ясно ощутил, что начала стихотворной деятельности брата следует искать в том периоде его жизни, когда он окончательно от нас оторвался, начав жить на отлете7. Когда мы перебрались на Волхонку, где ему была обеспечена жизнь в семье, он предпочел одиночество, снимая комнату в близлежащих переулках — то в Гагаринском, с бульвара, то в Лебяжьем, с Ленивки, то в Савеловском, что с Остоженки. Его обособленная жизнь была нам огорчительна и приписывалась нами, по своей непонятности, совсем иным потребностям, — ему же такая свободная жизнь была наинадежнейшей гарантией: прячась от всех, особенно же от нас, наилучшим образом заниматься тем, что «тщательно скрывал от друзей», то есть стихотворчеством. Прибавлю к этому и то, что все новые лица и имена, до того времени не появлявшиеся еще на его горизонте, со времени Волхонки стали все чаще звучать, а их носители появляться и у нас вместе с ним. Ни С. Н. Дурылин, ни Костя Локс, ни С. П. Бобров не существовали еще на Мясницкой. Мне сейчас стало ясно представляться, что действительно в этом смысле год 1911-й был для него годом перелома и перестройки всей его жизни. То, что ранее было лишь случайным или спорадической «первой пробой» (в «Охранной грамоте» — «стихотворные опыты»), началом деятельности считать никак нельзя. Вспомним: в годы гимназии брат неплохо рисовал, от случая к случаю, не испытав тяги внутренней потребности; так, возможно, было и с музыкой; может быть, и с философией. Со стихотворчеством было совсем иначе. Говоря в «Охранной грамоте» о 1912 годе, брат пишет: «Я основательно занялся стихописанием. Днем и ночью, и когда придется, я писал...» Тут слова «и когда придется» вставлены, чтобы указать, что основательное занятие стихами все же еще не было постоянной его потребностью. Этим словом брат обозначит свое стихописание позже, рассказывая о лете 1913 года, в «Молодях»: «Здесь я обосновал свой рабочий угол. Я... писал стихи (уже) не в виде редкого исключения, а часто и постоянно, как пишут... музыку...», то есть как проводят

рабочую дисциплину, как «Studio»; так профессионалы-музыканты играют ежедневно и по многу часов.

Так вот: именно эти «признаки нового несовершеннолетия» я и сгребал в кучу при уборке комнаты в августе 1911 года, о них ничего еще не зная и не понимая. Результат уборки был разобран, и раскрыты содержание и значение находки, племянником, лишь недавно. Так он смог дать этим «признакам» их новое и истинно второе рождение.

Жозефина Пастернак

ВОСПОМИНАНИЯ СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА

Приближался день золотой свадьбы родителей. Я размышляла о том, каким желанным поводом это было бы для торжественного празднования юбилея в Москве или даже в предгитлеров-ском Берлине. И невольно мысленно переносилась в далекое прошлое, ко дню их серебряной свадьбы в Москве... Помню, как съехались родные из Петербурга, из Одессы, из Касимова. Всех не поместишь у нас на Волхонке, но все же — какая теснота, но и какое оживление в квартире. Помню: с кузиной Еточкой1 не-делями мы бегали по магазинам, стараясь найти белые туфли без каблуков (мама ужаснулась бы, если бы девочки появились в туфельках на каблуках). Помню, как мы, дети, готовили несложные самодельные подарки. И помню тот февральский день — то, как с утра стали приходить, как называют их в старинных книгах, визитеры; как гостиная и другие наши комнаты стали переполняться гиацинтами и мимозами, гвоздикой и ландышами, лилиями, розами, — все больше поздравлений, телеграмм. Помню, как стали переставлять мебель для вечера, отодвигать к стенам мешавшие вещи в самой большой комнате — папиной мастерской, как установили два-три стола, превратившихся в один длинный — для вечернего пиршества. Квартира была мала, и потому к обеду оставались только родные и близкие друзья. И как отец («не люблю я празднеств этих») поглядывал на маму, боялся за ее сердце, за переутомление. И помню: Боря накупил и разбросал по сиявшему сервировкой и закусками обеденному столу пучки первых в этом году фиалок. Раздавались тосты, речи, веселые голоса, искрилось шампанское. После обеда Генриетта Петровна2 села за рояль, папа раза два прошелся в каком-то марше по гостиной со своей усталой, смущенной женой. Но, в общем, не танцевали. Молодежи было мало, а люди, которым было за сорок, в те времена не пускались в пляс. Но в середине гостиной первая Борина любовь Ида Высоцкая старалась научить Федю3 сложным фигурам входившего в моду танго, и Федя, которому казалось, что он понял танец, выделывал ногами такие кренделя, что все кругом хохотали...

Февраль 1914 года... Впоследствии отец запечатлел утро того дня на большом холсте. Декоративная эта картина, особенно поразившая молодых художников сложностью задачи — красочный большой групповой портрет, — часто бывала на выставках и в Москве, и за границей и приобретена в 1979 году Государственной Третьяковской галереей в Москве.

PATIOR*

Когда я в 1921 году покидала Москву для недолгого пребывания в Берлине, меня осыпали целым дождем поручений, просьб и советов. Не помню прощальных слов родителей, все, что они

* Patior, passus sum, pati — терпеть, переносить, страдать (лат.).

тогда говорили, было стерто болью расставания с ними. Позабыты и просьбы и поручения друзей и знакомы^, их я постаралась выполнить как могла лучше, достигнув места назначения. Из всего, что говорилось вокруг моего близкого отъезда за границу, я, конечно, немногое могу вспомнить. Одно из этого, немногого, сохранившегося в памяти, может послужить введением к следующим страницам.

Я имею в виду настоятельный совет моего брата Бориса: будучи за границей, познакомиться с произведениями Марселя Пруста. Брат говорил о книгах, которых в то время нельзя было достать в Москве. Пруст возглавлял их список.

Первая книга — «A la recherche du temps perdu»* — меня ошеломила. Пруст был откровением. Но то ли я тогда не смогла достать следующий том, или по какой-то иной причине, с тех пор забытой, чтение не продолжалось. Не ранее прошлого года — больше чем через сорок лет после того, как Борис назвал Пруста величайшим из всех тогда живших писателей, — смогла я проникнуть в сущность ошеломляющего прустовского творения. Теперь я читала его книгу за книгой, плененная самим ведением сюжета, неудержимо влекомая в глубь его устремлений и страстей, жадно глядя вперед и вперед, пока не дошла до конца. И тут, словно в свою очередь, Пруст, казалось, принуждал меня заговорить о моем брате. <...>

* * *

«Можно мне бросить это на пол?» — Борис держал в руке билет, нерешительно глядя на меня. «Ну конечно, почему же нет?» — «Здесь так чисто всюду... и на улице. Так опрятно. Я подумал, я думаю, должно быть, это воспрещено...» Мы стояли с ним в большом холле одной из станций берлинской подземной дороги. Вот как это случилось. Летом 1935 года, в Мюнхене, семья наша получила известие, что в такой-то день Борис пробудет несколько часов в Берлине по дороге в Париж4. Родители в это время были у нас, в Мюнхене, и так как чувствовали они себя не совсем здоровыми и не могли нам сопутствовать, муж мой и я отправились в Берлин одни. Поездку мы совершили ночью и утром прибыли в берлинскую квартиру родителей. Какой печальной и пустынной выглядела она без них! Спустя немного прибыл и Борис, в такси,

* «В поисках утраченного времени» (фр.).

с Бабелем, сопровождавшим его в этой поездке. Бабель скоро ушел, мы должны были встретиться в посольстве позже. Не помню ни первых слов брата, ни приветствия, ни того, как обняли мы все друг друга: все это как бы затмилось странностью его поведения, манер. Он держал себя так, словно какие-то недели, а не двенадцать лет были мы в разлуке. То и дело его одолевали слезы. И одно только желание было у него: спать! Ясно было, что он — в состоянии острой депрессии. Мы опустили занавеси, уложили его на диван. Скоро он крепко заснул. Прошло два часа, три, мало времени оставалось до его отъезда, а мы еще и не поговорили... Когда Борис проснулся, он, казалось, был в чуть лучшем состоянии, хотя опять все жаловался на бессонницу, которая, видимо, мучила его последние месяцы. И тогда мы услышали от него следующую историю. Борис лечился в одном подмосковном санатории. Однажды раздался телефонный звонок: «Вы едете за границу, на конгресс писателей», — сказали ему. «Я не поеду, — ответил он, — как я могу, если и по московским улицам ходить не в состоянии? Я болен!» Со всей горячностью, ему свойственной, со всем упрямством больного человека он отказывался двинуться куда бы то ни было из санатория, даже узнав, что решение послать его в Париж принято в Кремле. В конце концов ему пришлось сдаться, и последнее его оправдание, что ему не во что одеться, было снято неким должностным лицом, которое поводило его по московским магазинам, купило ему наспех шляпу, пару рубашек, костюм, не слишком хорошо сидевший, и так далее.

— И вот, — закончил Борис, — я должен ехать на этот конгресс, но я неспособен говорить, — как мне в таком состоянии появиться на трибуне?

Почему пожелали, чтобы он принял участие в конгрессе, заседания которого уже кончались? Должны были быть серьезные причины для столь внезапного решения — спешно послать его туда. Как бы то ни было, звучало все это фантастично.

Мы старались убедить Бориса остаться на ночь в квартире родителей и продолжить поездку утром. Под конец решили ехать в советское посольство и там выяснить, может ли он провести ночь в Берлине.

Мы поехали подземкой, и там-то, указывая на холодный серый пол станции, Борис задал мне вопрос: куда можно положить использованный билет? Было бы, однако, ошибочно приписывать эту скрупулезность в подобной мелочи только натянутым нервам, — Борис всегда и во всем отличался доведенной до крайности корректностью. В собственной своей жизни и с собственной своей жизнью он мог поступать как ему заблагорассудится, мог принимать решения под действием мгновения или ставить друзей в тупик неожиданными поступками. Но за пределами собственной жизни он никогда не стал бы ничем нарушать установленный порядок, обычаи общественные или национальные. Ему ненавистна была самая мысль что-то навязать, чем-то обидеть, — одним словом, причинить кому-либо неприятность.

В посольстве мы узнали, что конгресс почти окончен, что моему брату остается ровно столько времени, чтобы появиться лично и сказать несколько слов на заключительном заседании; не может, следовательно, даже стоять вопрос о его ночном отдыхе в Берлине. Никакие попытки моего мужа выступить на защиту Бориса, никакие указания на его нервное истощение не помогли: нас уверили, что нам нет нужды тревожиться, так как все должное внимание ему будет оказано.

Из посольства мы направились на Фридрихштрассе, на вокзал, откуда шел поезд в Париж. По дороге, так как до отъезда еще оставалось время, зашли в какую-то гостиницу — видимо, чтобы перекусить. Не помню. Не помню я и название гостиницы, одной из тех, не имеющих примет, чей зал заполняют случайные посетители. Забыла, когда именно мы расстались с Бабелем. Все, что я помню, — это Борис, его лицо, затуманенное печалью, его голос, то жалобный, то внезапно повышенный, так напоминающий о старых днях. Мой муж ушел на вокзал, что-то уточнить. Мы не замечали ни людей, ни их шума вокруг. Борис наконец разговорился. Стараясь подавить волнение и сдержать слезы, вновь принявшиеся течь, он стал рассказывать о своих личных трудностях, связанных с его заболеванием, — вероятно, они не только следствие, но не менее и причина болезни. Тремя-четырьмя годами раньше он женился на своей второй жене, Зинаиде Николаевне Нейгауз.

Вдруг он сказал мне: «Знаешь, это мой долг перед Зиной — я должен написать о ней. Я хочу написать роман. Роман об этой девушке. Прекрасной, дурно направленной. Красавица под вуалью в отдельных кабинетах ночных ресторанов. Кузен ее, гвардейский офицер, водит ее туда. Она, конечно, не в силах тому противиться. Она так была юна, так несказанно притягательна...»

Мы сидели около часа, предоставленные самим себе, но вряд ли можно было бы назвать это беседою. Говорил один Борис, иногда задавая какой-нибудь вопрос о родителях, о нас всех. Но я понимала, что ответов он не воспринимает. И не спрашивала его о наших друзьях, оставшихся в России. Я видела, что ему тягостно всякое напоминание о повседневности. Мы оба были поглощены теперешним его состоянием и будущим его творчества.

Я не верила ушам своим. Тот ли это человек, которого я знала, — единственный, возвышавшийся высоко над всем плоским, всем тривиальным, над любыми легкими путями в искусстве, над всем в нем дешевым, — и этот человек, забыв теперь свойственные строгие принципы, собирается отдать свою неподражаемую прозу столь мелкому, столь заурядному сюжету. Он, конечно, никогда не сможет написать чего-либо вроде тех сентиментальных повестей, какие процветали на рубеже столетия. Понятно, нужно лишь подождать, и посмотрим, как он с этим справится, — сюжет, по правде говоря, не так уж важен.

Но чем больше я вглядывалась и вслушивалась в Бориса, тем сильней становилась боль расставанья с чем-то бесконечно дорогим. Да, я так глубоко любила эту его единственность, ни с кем не сопоставимую правдивость, чистоту его поэтического виденья, его решительное недопущение, его неспособность идти на уступки в искусстве.

Теперь, мысленно обращаясь назад, я вижу, что 1935 год действительно должен был стать поворотным пунктом в его жизни. Его поэзию называли иногда эгоцентричной. Я не хотела бы следовать этому определению, хотя и возникает впечатление, что поэт был более близок с природой, нежели с людьми.

В «Повести» Пастернак говорит о человечности и поэтической красоте проститутки Сашки, о почти платоническом отношении к ней со стороны героя повести Сережи, а также о его менее платоническом, но очень чистом чувстве к миссис Арильд, которая, хотя по-иному, чем Сашка, была жертвой существовавшего общественного порядка.

Я не стану цитировать здесь мест из этой чудесной прозы, должна только отметить, что в ней целиком выражена особенность собственного душевного строя Пастернака в подобных положениях — сострадание, доходящее до физической боли, полная сочувствия симпатия, часто шедшая за этим действенная помощь. И все-таки в то же время явственно непреднамеренная, неосознаваемая, быть может, оторванность от повседневной жизни, ее забот и трудностей, полное подчинение ее норм искусству, преданность искусству, затмевающая самое действительность, без которой оно не могло бы существовать.

Нервное расстройство — обычный признак внутренней перестройки, симптом надвигающихся неладов с жизнью. Болезнь моего брата была такого же порядка. Ему должно было сделать выбор, и он его сделал. Ему предстояло теперь, в своей любви к человечеству, любить его не как составную часть природы, но в виде отдельных человеческих судеб, каждая из которых требует серьезного внимания. Он должен предоставить свое искусство служению им, не спрашивая себя, пострадает ли от этого своеобразие его творчества или нет. Решение писать о своей жене, делая ее центральным лицом повествования (что в дальнейшем получило развитие в романе «Живаго»), могло быть одним из первых шагов в этом направлении.

Все это было от меня, конечно, сокрыто в тот день, когда мы с братом сидели в зале гостиницы недалеко от вокзала, я поняла лишь, что Борис переживает незавершившийся, быть может, процесс глубокой внутренней перестройки.

Федя вернулся, мы пошли на вокзал.

Все, чем был наполнен этот последний час, выпало из памяти. До момента, когда Бабель и Борис, занимавшие места в спальном вагоне, показались у окна поезда. Бабель отошел в другой конец купе, давая Борису поговорить с нами. Стараясь поднять настроение моего брата, Федя бросил ему весело:

— И не забудь в Мюнхен на обратном пути заехать! Родные будут ждать тебя!

— Как я могу показаться им в таком виде! Быть может, приеду в будущем году — повидать их...

Поезд тронулся. Задыхаясь от слез, я старалась вобрать в себя его лицо, облик — то, как он стоял у окна уходящего поезда, — не зная, что больше не увижу его никогда.

— Ложись в постель скорее! — крикнул ему Федя, хотя был еще ранний вечер.

И тогда, в последний раз, услышала я любимый голос:

— Да... если бы только я мог уснуть...

* # *

Это было весной 1917 года в предвечерний час, в столовой нашей московской квартиры на Волхонке. Мы с братом то присаживались на диван, то прогуливались — от окна до голландской печки в дальнем углу комнаты и обратно. Мы разговаривали —

может быть, разговор начался с предстоящих выборов — о нашей великой бескровной революции, как мы, русские, называли тогда мартовские дни 1917 года. Постепенно разговор перешел на другие темы.

Я сказала, что для меня непредставимо, чтобы революция, которая бесспорно может служить основным двигателем повествования в прозе, могла бы сама по себе стать источником поэзии. Вдохновения, естественно, надо искать в другом, в более устоявшихся, в уже внедрившихся слоях человеческого опыта. Состояние революции, в противоположность строю устойчивому, по самой своей природе должно быть свободно от любых привязанностей, быть трезвым, ничем не обремененным, готовым к восприятию новых явлений и в силу этого еще не наполненным никаким содержанием. Оно может способствовать развитию деятельности, красноречия, быть может, мысли — но не искусства. Искусство возникает вместе с языком сердца и, в свою очередь, связано с личным миром детства, окружающей человека природы и традиций. Новизна же по своей сути поэзии не близка. И так далее и тому подобное.

Борис от всего сердца согласился со мною:

— Да, да, это так, конечно! То, что устоялось, что нас окружало, наше прошлое со всеми своими сложностями пробуждало поэтическое чувство и давало рост искусству.

И тут, как бы в связи с нашим разговором, Борис заговорил о женской красоте. Я изумилась — это так было неожиданно. Он сказал:

— Существуют два типа красоты: благородная, невызывающая — и совсем другая, обладающая неотразимой влекущей силой. Между этими двумя типами существует коренное различие, они взаимно исключают друг друга и предопределяют с самого начала будущее5.

Я не запомнила точно самих слов брата, но знаю, что определение одного типа как «благородный» не означало, что второй — неблагородный, или агрессивный, или в каком-то отношении ниже первого. Оба обладают своими достоинствами и должны иметь свои недостатки. Борис не говорил ни о достоинстве, ни о недостатках — только о красоте и различии ее типов. В его голосе слышался тот особый призвук волнения и печали, который появлялся у него, когда он говорил со мной о самых близких его сердцу вещах.

Когда я впервые читала «Живаго» и дошла до главы «Девочка из другого круга», я, как мне показалось, узнала тот взволнованный голос брата. Мне подумалось, что, вводя Лару как девушку другого круга, автор лишь в очень малой степени имел в виду ее происхождение. Он подразумевал здесь не столько разницу двух социальных кругов, сколько различие двух видов красоты.

В красоте Лары лежала предопределенность ее будущего — ее судьбы. Я отметила авторское суждение о его героине: «Лара была самым чистым существом на свете». Словно теперь, годы спустя, он добавил слова, которые забыл сказать в тот весенний вечер 1917 года. Другой тип красоты не значит менее чистый.

Читая дальше, я вспомнила еще и другое. Да, точно! Молодая девушка, полная жизни, ее трепетных сил, невинная, доверчивая и щедрая, неотразимо очаровательная, — молодая девушка под вуалью в отдельных кабинетах ресторанов — так, голосом, прерывистым от волнения, говорил мне брат в наше короткое свидание в Берлине в 1935 году о своей второй жене.

Незачем говорить, что Лара не просто слепок своего прототипа, жены поэта Зины, некоторые черты других женщин, возможно близкого друга автора, вошли в ее образ.

Толстой однажды сказал о главной героине «Войны и мира»: «Я взял Таню, перемешал ее с Соней и вышла Наташа».

И Пруст: «...нет ни одного персонажа, под именем которого автор не мог бы подписать шестидесяти имен лиц, виденных им в жизни».

И даже если образ героя представляется нам как нечто исключительное, мы вправе утверждать это относительно любого автора, ибо он в своем произведении «смешивает» характерные черты разных людей, меняя и комбинируя их.

Бесспорно, Лара не жена поэта, как и соблазнитель Кома-ровский не кто-то из его знакомых, как и Юра — не сам автор, хотя, бесспорно, ему конгениален.

* * *

Два разговора с братом возвратили меня к размышлениям о его героине. Один, в 1935 году, относится к самому зарождению в его сознании первичного образа Лары. Другой, в 1917-м, должен тоже быть принят как имеющий значение, раз через несколько десятилетий он, как автор, все еще держался старого своего взгляда на два типа женской красоты и судьбы. Ибо именно это, я думаю, он имел в виду под словами «из другого круга», не одну лишь разницу происхождения и среды. Он вообще никогда не

подчеркивал значение социальных различий между лицами из рабочей среды, буржуазии и интеллигенции. В главе, о которой идет речь, ударение поставлено на «инакости» Лары — ее красоты и судьбы. Мы должны иметь это в виду и помнить, как это делаю я. Потому-то из боязни, что будущие толкователи свалят в одну кучу разнородные впечатления и переживания поэта, я восстанавливаю здесь клочки тех наших бесед. Я хотела бы предостеречь их от мысли, что образ Лары носит черты Жени Люверс или что Женя Люверс — портрет Лары в детстве <...>

Перевод с английского Е. Куниной

Лидия Пастернак-Слейтер

БОРИС ПАСТЕРНАК Заметки

...В первые послереволюционные годы холода и голода, когда приходилось заниматься тяжелым физическим трудом, главным образом именно нам с Борей выпадала редкая и счастливая возможность принести домой полный мешок промерзшей картошки, напиленных от разрушенного дома дров для топки или пойти в соседнюю деревню за санями с крестьянскими продуктами. Однажды после снегопада, а это случалось часто в послереволюционные зимы, транспорт перестал ходить и поезда с самыми важными товарами стояли друг за другом на окраинах Москвы, правительство издало декрет о мобилизации неслужащего населения на расчистку путей. Я по молодости не подлежала мобилизации, но заменила сестру, которая была немного старше меня, однако слабее здоровьем. Ранним зимним серым утром наша маленькая группа встретилась с соседями, на вид столь же оробевшими, и мы вместе пошли на окраину города по еще пустым улицам. Мы представляли собой грустное зрелище, — те, что ждали нас, главным образом пожилые люди из старой интеллигенции, худые, с бледными лицами, усталые, в не подходящей для работы одежде, с трудом волочили ноги по грязному снегу; казалось, мы никогда не доберемся до места. Когда мы наконец добрались, солнце встало, небо было голубым и казалось необъятным, сугробы ослепительно сверкали, было радостно и свежо. Нам дали ломы и лопаты и показали, где нужно работать. Для меня это было подобно замечательной лыжной прогулке, и даже еще лучше — в этом была целесообразность. Я не могла понять, как другие оставались угрюмы и огорчались, видя это великолепье природы и труда. Испытанное Борей живо описано им в одной из лучших глав романа «Доктор Живаго» — расчистка железнодорожных путей во время зимней поездки в Сибирь семьи Живаго.

В этом романе много других мест, которые так или иначе напоминают мне о пережитом вместе с Борей. Чаще всего это физический труд, конкретная хозяйственная работа, которая в юности нас с Борей соединяла. Моя сестра разделяла с ним умственные и более абстрактные интересы. Она была серьезнее, начитаннее, со светлым и оригинальным умом, интересовалась философией и математикой, она

слушала его страстно, терпеливо принимая их разногласия, и он дорожил ее мнением о своих первых стихах,еще когда ей было 12 лет. В это время при всей близости между братьями и мною — они были старше меня на десяток лет — я их в какой-то мере боялась. И если потом я осмеливалась ссориться и драться с Шурой (однажды часть моих волос запуталась между прутьев железной кровати, а все остальное улетело в другой конец комнаты), то Боря всегда вызывал у меня великое уваженье и почтительный страх, иногда граничащий с ужасом, — когда он решался не послушаться родителей или им открыто противоречить, что было, на мой детский взгляд, почти богохульством. Я была уверена, что он не мог не презирать нас так же, как и наших глупых школьных друзей, тогда как только его собственная робость делала его высокомерным, угрюмым и жестким при встречах с ними. Изредка, когда мы бывали вместе, он становился самым великодушным и самым прекрасным братом.

Когда я теперь пытаюсь вспомнить его точный облик, ясно вижу его в последние годы перед нашей разлукой сидящим за столом, за работой, в шерстяном свитере, ноги в валенках, перед ним кипящий самовар, стакан крепкого чая, до которого легко можно дотянуться рукой. Он его постоянно доливал, пил, продолжая писать. Я вижу еще, как он присел перед голландской печкой, мешая поленья — этого он никому не доверял делать, — или как он идет тихо, не спеша, аккуратно несет полную лопату горящего угля из одной печи в другую, потом старательно подметает упавшие куски; я вспоминаю, что так однажды у него загорелись валенки. Я вижу еще, как давным-давно, когда я была совсем маленькой, он импровизировал на рояле поздно вечером, наполняя темноту печалью и невыразимой тоской. Под его пальцами вырастала музыка бушующих волн, целый мир, неведомый, с ужасом любви и разлуки, поэзии и смерти; Боря переставал быть нашим братом и становился чем-то непостижимым, страшным, демоном, гением. Со слезами на глазах мы плакали, моля Бога, чтоб Он нам его вернул. Но он часто возвращался, когда мы уже спали. Нельзя себе представить, что теперь он ушел навсегда.

Перевод с французского Е. Давыдовой

Константин Локс

ПОВЕСТЬ ОБ ОДНОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ (1907-1917)

Книга первая

Я перечел «записки», или не знаю, как их назвать, которые сложились в тусклые зимние вечера в холодной комнате в годы войны. Теперь это время уже далеко и, несмотря на это, страшно близко. По-видимому, его забыть нельзя. Мои «записки» составлены в слишком литературном стиле. В этом их достоинство и в то же время недостаток. Я обожал живописную Москву той эпохи, хотя бы тот Большой Конюшковский переулок, где я поселился в первый год и в первый месяц после моего приезда в Москву. Это была глубокая провинция. Маленькие одноэтажные домики, они, кажется, стоят и сейчас, за стеклами герань. Кто мог подозревать, что в одном из этих домов два студента будут обсуждать «Urbi et Orbi» Брюсова и спорить о Фихте или Ницше? <...>

В <...> мезонине бывал самый разнообразный народ. Читали стихи, играли на гитаре, спорили обо всем на свете — надо всем повисли облака винных паров, религиозно-философских исканий и «несказанного». Сидя в изодранном кресле, Юлиан Аниси-мов1 с карандашом в руках читал тоненькую книжечку в пестрой обложке и восхищался ею. То были стихотворения Рильке, потом его переводы из Рильке. «Книга часов» была издана в 1913 году книгоиздательством «Лирика». Юлиан любил Рильке и, мне кажется, удачно переводил его. Слушая эти переводы, я думал: «Еще одно усилие, и ты при помощи Рильке станешь настоящим поэтом». Но этого не случилось, и так было суждено. <...>

Среди гостей Юлиана в Малом Толстовском переулке часто бывали еще два поэта, один уже с именем, другой пока без имени.

Это были Б. А. Садовской2 и Б. Л. Пастернак. Здесь я должен сделать отступление.

Уход Льва Толстого из Ясной Поляны потряс всю Россию. Сразу заговорили все, в дворницких, в салонах, на рынках. Оказалось, что каждый имел какое-нибудь отношение к нему. <...>

Как раз в этих числах в Религиозно-философском обществе имени Вл. Соловьева, в особняке Морозовой на Воздвиженке, А. Белый читал доклад «Трагедия творчества у Достоевского»3. За столом президиума — все, кого мы привыкли видеть на этих собраниях, но были два редких гостя, В. Я. Брюсов и Эллис4. Обычно на заседаниях общества они не бывали. А. Белый, конечно, не мог не сказать о Толстом. С Толстого он и начал. «Лев Толстой в русских полях», — закричал он, потрясая рукой. Брюсов как-то сбоку посмотрел на него и скверно улыбнулся. Великий поэт на этот раз был в помятом сюртуке, с несколько помятым лицом и мало походил на мага. Мне было очень приятно увидеть Брюсова в таком, можно сказать, домашнем облике. По мере того как А. Белый, по обыкновению смешивая все вместе, Достоевского, Веданту, платонизм и христианскую мистику, вел речь к определенной цели, то есть старался доказать, что искусство есть теургия, — Брюсов становился все мрачней и мрачней. Я слушал, стоя в проходе и чувствуя, что возле меня кто-то, не безразличный мне. Оглянувшись, я прежде всего увидел глаза. Это было очень странно, но в тот момент я увидел только глаза стоявшего возле меня. В них была какая-то радостная и восторженная свежесть. Что-то дикое, детское и ликующее. Я припомнил фамилию и протянул руку. Мы уже встречались в кулуарах историко-филологического факультета. То был Борис Леонидович Пастернак.

Во время перерыва в зал вошел довольно высокий, плотный молодой человек с копной рыжеватых густых волос. Я узнал его только тогда, когда А Белый бросился к нему и они расцеловались. «Мы из Шахматова», — услышал я ровный, спокойный голос. Здесь они оба отошли. Я смотрел им вслед и думал. На вечере присутствовали три поэта, владевшие мыслями нового поколения. Но я не ощутил никакой связи между ними. Особенно Брюсов поражал своим фатальным одиночеством. Об этом свидетельствовали самые линии его угловатой фигуры, складки его сюртука. Этого нельзя было сказать об Андрее Белом, готовом излиться в пространство, судорожно дергавшемся во все стороны, готовом закричать благим матом. Обычно он хватался за каждую мысль, развивая ее, и, кажется, тотчас забывал. Блок внешне мало походил на поэта «Прекрасной дамы». Только приглядевшись к нему, можно было понять его необычность. В нем не было ничего исключительного. Наоборот, подчеркнутая сдержанность и даже как будто деловитость. А между тем неизвестно, кто по существу был безумнее — он или Белый. Безумие Блока было, во всяком случае, страшнее. Именно потому, что оно скрывалось очень глубоко, забронированное воспитанием, хорошими манерами, самообладанием и явным отвращением к толпе. А. Белый был так же безумен, как бывает голым человек, снявший с себя все. И это спасало его. Он мог кувыркаться, гримасничать, кричать, петь — одним словом, делать все, что ему вздумается. <...>

Перед тем как вспомнить вечер в особняке Морозовой, я назвал два имени, хотя их ничто не связывало вместе, и, пожалуй, было трудно найти столь разных людей, как Борис Садовской и Борис Пастернак. Но память имеет свои права, и я точно вижу, как они однажды вечером вошли один за другим в узенькие и расшатанные двери мезонина. Оба были знакомы с Юлианом давно. Пастернак участвовал в поэтическом сообществе «Сердарды», о котором он вспоминает в своей «Охранной грамоте»5, Садовской вообще был знаком со всеми теми местами, где откупоривали бутылки и

читали стихи. Они вошли как раз в ту минуту, когда Юлиан рассказывал какие-то небылицы о портрете работы Тро-пинина, украденном у него на Разгуляе, и Садовской, сразу учуяв нечто знакомое и родное, принялся детально расспрашивать его, а Пастернак, усевшись возле В. О.6, о чем-то гудел ей на ухо, размахивая в то же время руками, вставая и приседая и снова садясь и снова вставая. В. О. слушала его с хохотом и вскриками, по всем признакам он очень забавлял ее. <...>

Между тем, разговаривая с Садовским и прислушиваясь к тому, что происходит в другом конце комнаты, я уловил несколько слов Пастернака о стихах и поэзии и вспомнил, что как-то в университете он хотел показать мне несколько стихотворений. Как раз в это время В. О., по-видимому решив, что настало время приступить к обычному священнодействию, встала и заявила о своем желании слушать стихи. Тотчас Юлиан заплетающимся языком прочел несколько переводов из Рильке, Садовской похвалил, но умеренно (переводов он вообще не признавал), прочла два или три стихотворения В. О. Затем обратились к Пастернаку. Садовской с любопытством приготовился слушать. Он уже заранее ощущал его «дичь». Борис долго отмахивался, приводил разные аргументы, но в конце концов все-таки прочитал несколько стихотворений в стиле «Близнеца в тучах», но, если память мне не изменяет, не вошедших в эту книгу. Все молчали. «Замечательно! — вдруг сказала В. О.— Прочтите еще!» — «Но мне бы хотелось!..» — «Читайте, читайте!..» Последовало еще несколько стихов. Пока я понял только одно — передо мной подлинное, ни на что не похожее дарование. Но я совершенно не знал, как к нему отнестись. Стихи Пастернака были так непохожи на преобладающий стиль эпохи, в них не было обычного, само собой разумеющегося современного канона. «Что же вы молчите, — закричала В. О., — Борис Александрович, вам нравятся стихи?» — «Ничего не могу сказать, — ответил Садовской, снисходительно посмотрев на Бориса.— Все это не доходит до меня». Борис оторопело и дико смотрел на него. Сам того не зная, Садовской задел у него самое больное место. Он сконфуженно пробормотал что-то, потом уже громко, размахивая руками, быстро заговорил: «Да-да, я вас понимаю, может быть, если б я услыхал такие стихи несколько лет тому назад, я бы сам сказал что-нибудь в этом роде, но...» — тут он окончательно потерял дар слова и разразился потоком философем, смысл которых сводился к защите чего-то, что он хотел сделать, но, разумеется, не сумел сделать и т. д. После этого он быстро убежал. «Ну вот, — сказала В. О., — вы его напугали».— «Все эти новейшие кривлянья глубоко чужды мне», — заявил Садовской, чувствуя себя хранителем священного огня. Вечер продолжался в том же духе, чередовались стихи, бутылки, приходил еще кто-то, разошлись поздно, по дороге обсуждая отдельные удачные строчки и стараясь понять Пастернака. «Так начинают жить стихом», — мог бы процитировать я, вспоминая всю эту неразбериху на Юлиановой мансарде, где большинство блуждало между символизмом и мистикой. Они не подозревали, что перед ними большой поэт, и пока относились к нему как к любопытному курьезу, не придавая ему серьезного значения. Между тем появление Пастернака, так же как и близость Маяковского, обозначали конец символизма и новую поэтическую эру. Была ли она значительнее прежней, этого пока еще никто не мог решить.

Не Не Не

В этот период 1910-1911 годов я встречал Пастернака чаще всего на историко-филологическом факультете. Мы оба числились на философском отделении, прельстившем меня отсутствием истории литературы, представленной Сперанским и Матвеем Розановым, то есть двумя допотопными архивариусами. Один всю жизнь жевал былины, второй — Руссо и руссоистов. На философском отделении была, впрочем, другая опасность, именно — экспериментальная психология проф.

Челпанова, но об ней позже. Мы слушали историков — Виппера, Савина (Ключевский уже не читал), молодых доцентов философии — Шпета, Кубицкого, Брауна. Виппер и Савин нравились мне своей суховатой фактичностью, Шпет — своей развязностью и остроумием, Соболевский — чудовищными знаниями греческой грамматики. Мы читали с ним «Этику» Аристотеля. После занятий у Соболевского голова обычно по своему содержимому походила на барабан или тыкву, вот почему встречи с Пастернаком после столь полезного, но тягостного изучения были особенно приятны. Он сразу обрушивался потоком афоризмов, метафор, поэзия здесь присутствовала как нечто подразумевающееся и не подлежащее отсрочке. Вместе с тем все чаще и чаще я обращал внимание на какое-то отчаяние, скрывавшееся за всем этим потоком недоговоренного, гениального и чем-то изнутри подрезанного. Я начал искать разгадку и, как мне кажется, скоро нашел ее. Это была боязнь самого себя, неуверенность в своем призвании. Ему все время казалось, что он не умеет говорить о том, что составляло суть его жизни. С музыкой уже однажды произошла катастрофа. Неужели же? Вот почему ему нравились лекции Грушка о Лукреции. Это действительно был один из лучших курсов, который мне пришлось слушать в университете. Грушка читал не только с полным знанием материала, но и с большим вкусом, с большим изяществом. Читать о крупном поэте прошлого так, чтобы все было одновременно близко, ясно и стояло на высоте научного анализа, — дело нелегкое. Пастернаку нравилась эта ясность, и в то же время я видел, что он отталкивает ее, что она чужда ему. В этой мучительной борьбе чувствовалось, что право на неясность для него — решающий вопрос. Вспоминая его стихи, я понимал, что речь идет о двух системах выражения мысли. Латинская муза исключала всякую темноту, но ведь принять символистов он тоже не мог. Что же оставалось делать? То, что он по какому-то инстинкту правильно сделал, — искать самого себя. На лекциях Грушка мы сидели рядом и записывали обязательный курс. Грушка цитировал Лукреция в собственном прозаическом, и, надо сказать, прекрасном, переводе. Иногда Борис поднимал голову и с наслаждением слушал. Биография Лукреция замечательна. <...>

После лекции Грушка мы разговаривали о соотношении биографии поэта и его поэзии. Борис говорил об этом как о чем-то своем, давно ему известном, но чем более я вслушивался в его не совсем, как всегда, ясные речи, тем несомненнее казалось, что эта тема задевает его каким-то особым образом. Однажды, остановившись, он воскликнул: «Костенька, что мы будем делать с вами со всем этим?» — и показал рукой на аудиторию, откуда мы вышли. Действительно, за стенами аудитории, где мы слушали о Лукреции, была Москва, была жизнь, и нам скоро предстояло встретиться с ней лицом к лицу.

* * *

В Филипповском переулке, где я жил осенью 1908 года, проходили разные люди. В ту пору их было немного, можно было легко запомнить каждого встречного. Иногда мне встречался высокий седеющий блондин с острой эспаньолкой, внимательным и немного ироническим взглядом, подчеркнуто твердой походкой. Не совсем обычный облик запомнился мне. Придя в первый раз к Борису на дом, я был представлен ему. То был отец моего друга, Леонид Осипович, известный художник. Квартира Пастернаков широко и уютно расположилась в старом доме на Волхонке, комнаты были большие, мебель старая, в гостиной — карельская береза, на стенах — рисунки и портреты. Скоро мы сидели за чайным столом, у самовара несколько рассеянно разливала чай Розалия Исидоровна, две девочки в гимназических платьицах, с косами заняли свои места. Брат Шура на этот раз отсутствовал. Боря был сдержан и являл вид воспитанного молодого человека. Разговаривали об искусстве, о литературе. Л. О. говорил несколько неопределенно, иронически посматривая на сына. «Интересно, —

подумал я, — знает ли он о его стихах?» Потом оказалось, кое-что он знал и был не особенно доволен. Комната, в которой помещался Борис вместе с братом, была безличной, очень чистой и аккуратно убранной комнатой с двумя столиками, двумя кроватями и какой-то стерилизованной скукой в воздухе. Внутренняя жизнь подразумевалась. Она подразумевалась и у Л. О., человека большого жизненного и художественного опыта. Но о ней я мог только догадываться: Л. О., по моему мгновенному тогда определению, был замкнутым, скорее скрытным, мог даже показаться несколько черствым. Это потому, что в глубине души он заключал какую-то горечь, какую-то грусть, не знаю что, быть может, мудрость или мудрый скепсис. Я понял только одно, что Борису в родительском доме жить трудно. Ему не хотелось огорчать родителей,

а когда-нибудь — так думал он — их придется огорчить. Пока по внешности речь шла о профессии: философское отделение филологического факультета, стихи в будущем обещали не много. Отсюда неприятные разговоры, о которых он иногда мне говорил. Пока в этом доме я бывал не слишком часто. Мы предпочитали встречаться в университете, у Юлиана и в Cafu grec на Тверском бульваре. Борис почти каждый раз читал свои стихи, иногда на клочках бумаги записывал их, а я уносил домой эту добычу и старался понять его. Мало-помалу передо мной начали вырисовываться контуры какого-то редкого и совсем необычного дарования. Стихи не были похожи ни на Брюсова, ни на Блока, в словаре изредка проскакивали знакомые сочетания, но в совсем другом смысле. Между тем символизм здесь несомненно был, но в какой-то другой пропорции и совсем с другим значением. Значение заключалось в относительности и условности образа, за которым скрывался целый мир, но эту условность подчиняло настолько натуралистическое применение деталей, что стихотворение начинало казаться россыпью золотой необработанной руды, валявшейся на дороге. Слова лезли откуда-то из темного хаоса первичного, только что созданного мира. Часто он не понимал их значения и лепил строчку за строчкой в каком-то бреду дионисийского опьянения жизнью, миром, самим собой. Отсюда вопль о «непонятности», преследовавший его почти всю жизнь... Но дороже стихов, дороже необычной музы был он сам. Это значило, что стихи были только одним из проявлений еще какого-то неосознанного и становящегося духовного мира. Вот почему писание стихов было для него не только счастьем, но и трагедией. После всего этого я понял его манеру разговаривать. Это было непрекращающееся творчество, еще не отлившееся в форму и поэтому столь же гениальное и столь же непонятное, как и его стихи. Мучение заключалось в необходимости выразить себя не в границах установленных смыслов, а помимо и вопреки им. Но преодолевать то, что сложилось в человеческом сознании с незапамятных времен, было немыслимо. Отсюда другое единственно возможное решение задачи — создавать свой собственный мир в поэзии, не обращая внимания на традицию, смысл и т. п. Все это в какой-то степени намечалось и у других сверстников, выступавших одновременно с ним, то есть у раннего Маяковского и Хлебникова. Но о соотношении всех трех нужно говорить особо и можно было сказать только через несколько лет. <...>

* * *

Было решено организовать собственное издательство «Лирика». Организатором был Бобров7, издателем в смысле денежной субсидии все тот же Юлиан. Первый и последний альманах этого издательства «Лирика»8 начинался многообещающим эпиграфом из Вячеслава Иванова, мистического оратора, без сомнения опоздавшего родиться на полтора тысячелетия. Как бы уместен он был в Александрии II века — гносис и христианство, хламида и дворец Птолемеев больше пристали бы ему, чем черный сюртук и современная квартира. Выбор эпиграфа из Вяч. Иванова

свидетельствовал, что поэтическое издательство «Лирика» не порывало с прошлым и только намерено было что-то преобразить. У него не было той башибузукской смелости и нахальства, с которых начал Бур-люк, плотоядно учуявший, что символизм попахивает трупом. <...>

Впрочем, конец «Лирики», просуществовавшей около года, был естественным и неизбежным. Друзья и просто приятели, собравшиеся случайно на любом вечере, могли образовать такое же издательство и так же легко выйти из него. Тем более, что писание стихов для некоторых было занятием случайным или второстепенным. Раевский, он же С. Дурылин9, готовился стать религиозным мыслителем, А. Сидоров занимался историей искусств и являл собой загадочный облик мистика из «Жизни человека» Леонида Андреева; Рубанович был светский молодой человек, пишущий стихи и главным образом ухаживающий за дамами; В. Станевич — талантливой женщиной, с одинаковым рвением занимавшейся и поэзией, и прозой, и философией, и теософией. Остаются Юлиан Анисимов, Асеев, Бобров, Пастернак. Для них для всех поэзия была главным искушением и, пожалуй, самой большой любовью. Трагедия Юлиана, по-видимому, заключалась в отсутствии воли, в путанице, а может быть, особом складе мысли, он жил как во сне, какими-то темными чувствами, не зная ни самого себя, ни окружающего мира. А если к этому прибавить всегдашнюю алкоголическую расслабленность, то станет ясным, почему будущее его миновало. Большой надеждой мне казались в ту пору Асеев и Пастернак. В Боброве я не был уверен (та его высокопарная болтовня, которая напечатана на обложке «Лирики», не обещала ничего значительного). Асеев в нашем кругу был «залетным гостем», приехавшим в Москву по призыву Боброва искать счастья.

Как-то вечером в феврале или марте 13-го года Бобров привел к Юлиану худого и бледного юношу в студенческой тужурке, весьма неуверенного в себе. Широкое гостеприимство молчанов-ской квартиры тотчас раскрыло объятия неожиданному гостю, скоро ставшему чуть ли не ежедневным посетителем. В тот же вечер я с Пастернаком пошел провожать друзей. Асеев остановился у Боброва, занимавшего маленькую комнату в подвале большого дома на Сивцевом Вражке. В этой комнатке Асеев прочитал нам свою «Ночную флейту» — первую прелестную книгу юношеских стихов. Мы тотчас пришли в восторг, — изящество и грация стихов, подлинный, как мне казалось, романтизм, гармоничность композиции — все доказывало настоящий вкус и дарование. Несколько стихотворений из «Ночной флейты» были напечатаны в альманахе «Лирика» и явились несомненным украшением этой странной, разнокалиберной книги. Стихотворения Пастернака выделялись в ней совсем по-иному. То был подлинно свой голос, еще не в полной силе, но уже в основной тональности. Мне стоило большого труда убедить молчановскую квартиру с ее обычными посетителями, и в том числе Боброва, всегда хихикавшего по поводу стихов Пастернака, что перед нами поэт большого дарования. Когда это дошло, к нему стали относиться несколько иначе, но все же ценили скорее «оригинальность», чем существо дела. Этого Пастернак боялся, кажется, больше всего, — прослыть вундеркиндом, как его как-то назвал Садовской, естественно, было неприятно и доказать непонимающим свое право именно так писать было не просто. Символизм почти всем привил дурные привычки. Он приучил к ложному пафосу по отношению к простым вещам, которые во что бы то ни стало хотели превратить в вещания — «глаголы», а не слова, — так можно определить эту испорченность естественного вкуса. Об этом весьма невразумительно, но весьма характерно писал Бобров в том же альманахе «Лирика».

Душа, вотще ты ожидала, В своей недремлющей молве, Любовь холодная сияла В ее нетленном торжестве —

Но, опровергнув наши кущи, Как некий тяжкий катаклизм, Открыл нам берега и пущи Благословенный символизм.

Стихотворение называлось «Завет», от таких заветов Пастернак бежал опрометью и зачастую впадал чуть ли не в истерику, вполне понимая, что ему нет места на Парнасе, возвышающемся под знаменами такого «Завета». О «слове» я с ним разговаривал часто, но не на Молчановке, а в университетских кулуарах или в Кафе-Грек. Мы много говорили о Флобере, но в то же время было ясно, что флоберовское понимание слова как точного соответствия реальности не исчерпывает проблемы, особенно для поэта. Все дело заключалось в том, что для Пастернака слово было не смысловой или логической категорией, а, если так можно выразиться, полифонической. Оно могло пленить его своим музыкальным акцентом или же вторичным и глубоко скрытым в нем значением. Помню, ему как-то раз очень понравилось слово «сацердотальный», которое я как-то раз употребил в разговоре. Но самое важное заключалось в особом восприятии мира. Как его назвать, не знаю, но если поэта отличает умение видеть в вещах нечто скрытое от взора заурядного существа того сорта, который Шопенгауэр назвал «фабричным товаром природы», то в этом виденье, естественно, должно произойти некоторое смещение спектральных линий. Отсюда метафоры, тропы — все то, что в учебниках объясняется невыразительным школярским языком. Нужно, кроме того, помнить, что в создании стихотворения участвуют разнообразные силы, из сочетания которых и создается образ.

Поэт не может безнаказанно родиться именно в такое, а не другое время, не может безнаказанно читать те или другие книги или разделять те или другие вкусы. Скажут — это относится ко всем людям без исключения. Согласен. Но все люди не отвечают ни за год своего рождения, ни за книги, которые очаровывали их. Поэт отвечает, и в этом его счастье и его трагедия. Так, перечитывая сейчас стихотворение Пастернака «Сумерки... словно оруженосцы роз», можно легко установить, где начинается «свое» и кончается «чужое». Чужое — это эпоха, ее изысканность, налет эстетизма и употребление слов не в собственном смысле. Свое — тема, стремящаяся выбиться наружу и из скрещения слов создать если не самое тему, то ее «настроение». Я полагаю, что стихотворение было бы признано Малларме — символическим в его смысле этого слова. Не знаю, сразу ли доступен читателю глубоко скрытый эротический смысл этого стихотворения, раскрывающийся в двух последних строфах. Приступ к эротической теме дается в первых двух строфах сразу поражающим смещением, очень смелым и необычным, смысла слова «сумерки», обозначающего неясный наплыв эротической темы:

Сумерки... словно оруженосцы роз, На которых — их копья и шарфы, Или сумерки — их менестрель, что врос С плечами в печаль свою — в арфу...

<...> Таким образом, для выражения длительной и неудачной любви-страсти понадобилось совершенно необычное по своей образной структуре стихотворение. Никто не может разгадать пути воображения, может быть неясного самому поэту, но характерного для него, — простое и обычное в человеческой жизни подано им в столь далекой и замаскированной форме. <...>

* * *

Между тем приближалось время государственных экзаменов. Весной 13-го года, просмотрев программу и список подлежащих сдаче курсов, я с некоторым изумлением убедился, что и то, идругое требует довольно длительного изучения. <...> Кроме этого следовало написать так называемое «кандидатское сочинение», дававшее право на диплом первой степени. Я выбрал тему по теории знания у Бергсона и Шопенгауэра, Пастернак — по философии Когена. Мы оба работали в университетской библиотеке,

сидя недалеко друг от друга. Я увидел, как большая кипа бумаги с каждым днем росла возле моего друга. Он писал быстро, не отрываясь, я старался не отставать от него.

В результате с моим сочинением произошла забавная история. Челпанов, прочитав его, пригласил меня к себе в кабинет и, предварительно заперев двери на ключ, заявил, что он «не ожидал от меня такой работы, что это литературное, а не философское произведение, при этом чрезвычайно субъективное», и что он зачесть его не может. Я отвечал какой-то дерзостью и — получил диплом второй степени. Пастернаку повезло больше. Может быть, потому, что Челпанов никогда не читал Когена и уж конечно не понимал его, может быть, разгон мысли моего друга, за которым он не мог уследить, может быть, боязнь попасть в глупое положение и проявить свое невежество, но спорить с Борисом он не стал и даже, кажется, наговорил ему комплиментов. После всех этих историй с «сочинением» мы вплотную приступили к подготовке, то есть к штудированию учебников. Мы часто готовились вместе, при этом я обычно обедал и иногда оставался ночевать в гостиной Пастернаков, на диване карельской березы, хотя ночь обычно проходила без сна, за зубрежкой, иначе нельзя было назвать бессмысленное усвоение кучи фактов. Первым был экзамен по истории Греции. Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы за неделю усвоить лекции Виппера и книгу Пельмана, набитую точными фактами и цифрами и к тому же написанную в форме конспекта. <...>

Виппер остался очень доволен, поставил мне высший балл и подчеркнул мою фамилию (не знаю зачем) карандашом. <...> Борис тоже выпутался удачно. Потом он мне рассказывал, что дома несколько раз по смешному ученическому обычаю загадывал, какой билет выпадет ему. Делается это просто. Нужно написать на бумажках номера билетов и не глядя вынуть номер. Ему два раза подряд выпадала цифра три. Само собой разумеется, на следующий день он вытянул тридцать третий билет. <...>

Перед русской историей я чувствовал себя тверже. <...> Готье спрашивал меня о планах крестьянской реформы <...> и поставил высший балл. С Борисом снова случилось забавное происшествие. Гуляя накануне экзамена по Пречистенскому бульвару, он купил шоколадку в обертке с рисунком. Рисунок изображал какую-то сцену из царствования Бориса Годунова. Само собой, на следующий день он отвечал «Смутное время».

Экзамены по истории философии были анекдотическими. Изнемогавший от жары и усталости Лопатин диким голосом кричал в ответ на ту чушь, которую ему несли специалисты. <...> «Боря, что вы будете делать, если вас спросят о Тертуллиане?» — спросил я Пастернака. «Я скажу: "Credo, quia absurdum*", — смеясь отвечал он. Примерно минут через десять я услышал, как он говорит о Тертуллиане и тягуче произносит: «Credo, quia absur-dum» — «...est», — раздался рядом скрипучий голос Соболевского, сидевшего рядом в качестве ассистента и не потерпевшего опущения «связки». <...>

Книга вторая

Окончание университета означало новую самостоятельную жизнь. <...> Осенью 1913 года, вернувшись из родительского дома в Сураже в Москву, я поселился в Брянских меблированных комнатах. <...>

Тотчас по приезде в Москву я отправился на Волхонку, где неожиданно застал Бориса, собиравшегося на поезд. Немедленно

* Верю, потому что это абсурдно (лат.). 45

мы отправились вместе на Курский вокзал и часа через два прибыли в Молоди, где семейство Пастернаков занимало старый барский дом, комнат восемь или двенадцать. Это была старая усадьба со всеми прелестями барского житья, то есть прудом, садом и

лесом и т. п.10 Я слушал стихи и рассказывал о своем летнем пребывании у Листовских. Время проходило в безделье и веселой болтовне, причем неожиданно Леонид Осипович дал нам урок незабываемого в искусстве. Шура, второй сын, собирался поступать в художественное училище и готовился к экзамену по рисунку. Поэтому он рисовал портреты всех приезжавших к ним, в том числе и меня. В общем, я был срисован недурно, но чего-то не хватало. Леонид Осипович подошел, посмотрел, сделал два или три движения карандашом, и лицо вдруг ожило, «я» стал «я». С Борей мы, конечно, разговаривали о нашей практической деятельности. Если я, неожиданно занявшись преподаванием, сохранил эту профессию на всю жизнь, то, к счастью, с ним не случилось такой беды, хотя пришлось пожить в роли воспитателя в одном буржуазном доме11. Возникал, однако, серьезный вопрос: что делать со стихами, которых накопилось довольно много? В общем, мы оба оказались в роли бальзаковских героев, то есть должны были завоевать будущее. Для человека с литературными данными открывалось несколько путей, и каждый из них был тернист. Самым тернистым в эту эпоху был путь поэта. За предыдущие годы, во время символизма, что бы там ни говорили, было создано очень много. Ряд блестящих имен, ряд достижений. Чтобы обратить на себя внимание стихами, нужны были очень большие данные. Начали выдвигаться молодые талантливые поэты, появилась Ахматова, Гумилев, шумели футуристы, имя Маяковского произносилось не только со смехом. <...> На этом фоне стихи Пастернака могли казаться «несделанными», но что еще хуже — недоступными. Вот почему горькое раздумье все чаще овладевало им, и какое счастье, что все же он не поддался бившим в него извне волнам неприязни или мудрым советам отца серьезно подумать о профессии. Размышляя обо всем этом, было естественно вспомнить издательство «Лирика», прямая цель которого заключалась в издании совершенно самостоятельном и независимом от чьих-то оценок. <...> Собрания книгоиздательства «Лирика» скоро стали походить на секту, а Бобров стал поговаривать о необходимости изменить положение вещей. Тем не менее решено было готовить к печати ряд изданий, и в первую очередь книги Пастернака и Асеева. За этим занятием и этой возней протекали осень и часть зимы, примерно до Нового года. <...>

В декабре 13-го года вышла первая книга стихов Пастернака «Близнец в тучах». В нее вошло двадцать одно стихотворение, хотя было написано к тому времени гораздо больше. Одна тетрадь неизданных стихов долго хранилась у меня, затем автор отобрал ее, и какова была ее участь — не знаю. В выборе стихов деятельное участие, по-видимому, принимали Бобров и Асеев, что, по всей вероятности, отразилось на составе книги. Как следует из предисловия12, книга «Близнец в тучах» рассматривалась как объявление войны символизму, хотя налет символизма в ней достаточно силен. Правильней было бы сказать — это была новая форма символизма, все время не упускавшая из виду реальность восприятия и душевного мира. Последнее придало книге свежесть и своеобразное очарование, несмотря на то что каждое стихотворение в известном смысле представляло собой ребус.

«Всесильный бог деталей» дробил для поэта действительность на множество драгоценных осколков. Символисты создали новую проекцию деталей, часто строя на символическом понимании частностей целое стихотворение. Лучше всего это удавалось А. Белому, создавшему при помощи перемещения деталей гротеск. Но Пастернак не был гротескным поэтом. Несмотря на все своеобразие взгляда, он не искажал, а только перемещал вещи и их контуры. По существу он был идеалистом, и темы имели для него огромное значение. Тему он не давал в земной ограниченности, загромождая ее космическими и просто встреченными по дороге частностями. Из непонимания этой его особенности и проистекали все недоразумения, связанные с критикой и оценкой. Помимо скрытого смысла, стихотворения имели свою

собственную музыкальную стихию, осложнявшую этот смысл новой семантикой не логического, а музыкального характера. Вот почему «Близнец в тучах» вызвал как восторженное признание ценителей поэзии, учуявших новое могучее дарование, так и идиотский смех эпигонов, создавших себе кумир из заветов Пушкина. <...>

Книги Асеева, Пастернака и переводы Юлиана из Рильке были лебединой песнью «Лирики». Вскоре произошло естественное расслоение: Асеев, Бобров, Пастернак образовали книгоиздательство «Центрифуга», т. е., правильнее сказать, образовал ее Бобров, который и был вдохновителем, как ему казалось, нового направления в поэзии. Недостаток нового направления заключался прежде всего в неясности основных положений. <...>

С одной стороны, «Центрифуга» была против символизма, с другой — против Маяковского и его группы. Во всяком случае, смысл нового издательства заключался в полемике со всеми существующими направлениями и в непомерном возвеличении собственной роли. Результатом этого союза трех были строки Боброва, над которыми много смеялись:

Высоко над миром гнездятся Асеев, Бобров, Пастернак.

Асеев гнездился главным образом на Молчановке, где он встретил широкое гостеприимство добряка Юлиана. Пастернак, как всегда, гнездился в собственных мыслях, а Бобров гнездился в собственном величии, которое в любую минуту могло смениться слезливыми всхлипываниями. Но тем не менее он каким-то образом держал обоих друзей в руках. Вот почему когда Пастернак напечатал одно стихотворение, посвященное Асееву (в альманахе «Центрифуги»), где была строчка: «Мы оба в руках пирата»13, то его незамедлительно истолковали соответствующим образом. Впрочем, все эти подробности не так уж интересны. Перелом, который в русской жизни связан с так называемым концом символизма, породил множество групп и группочек, во главе же движения, конечно, стоял Маяковский, откровенно презиравший Боброва и говоривший с ним не иначе как выпятив нижнюю губу. Старшие символисты, чувствовавшие, что их бастионы уже наполовину взяты, относились к новому движению с недоброжелательным недоверием. Я помню один вечер на Молчановке, где роль хорега принадлежала Вячеславу Иванову. Усевшись за небольшим круглым столиком, на котором стоял объемистый жбан белого вина, легкокудрый жрец Диониса начал выспрашивать присутствовавших здесь Асеева и Пастернака. По всему было видно, что он плохо понимает их. Наконец, заговорив о футуризме вообще, он обвинил футуристов в «душевном невежестве». Ясно было, что он понимает под этим. Символисты шли путем сложных внутренних опытов, футуристы устремлялись к ощутимому и плевать хотели на всякие внутренние опыты. Но В. Иванов пока судил еще поверхностно.

Впереди были Пастернак и Хлебников, о которых можно было сказать все что угодно, но только не это. Впрочем, не знаю, прав ли я, соединяя эти имена вместе. «Заумь» Хлебникова, правда, можно сравнивать с опытами Малларме, но его словесное шаманство привело «заумь» к «безумию». Пастернак мог со-

рваться в ту бездну, но удержался над ней. Вечер с В. Ивановым закончился веселым разговором молодых людей, сожравших своего отца. И они, конечно, были правы. Как-то в начале 1914 года Бобров разослал нам всем бумажку со штампом «Временный экстраординарный комитет по делам кн-ва "Лирика", "Центрифуга"». В этой бумажке каждый извещался о том, что он исключается из кн-ва «Лирика». Бумажку подписали Асеев, Бобров, Пастернак. Разумеется, у «исключенных» это экстраординарное послание вызывало смех. Как водится в литературных кружках, скандал сопровождался криками и воплями о дуэлях14. Бобров был на высоте

призвания. Ездил на извозчиках, тратил чьи-то деньги (коих у него не было), женился, снял на Погодинской квартиру, состоявшую из уборной и двух комнат, и бешено преследовал всех несогласных с ним.

Не подняться дню в усилиях светилен, Не совлечь земле крещенских покрывал — Но, как и земля, бывалым обессилен, Но, как и снега, я к персти дней припал.

Далеко не тот, которого вы знали, Кто я, как не встречи краткая стрела? А теперь — в зимовий глохнущем забрале — Широта разлуки, пепельная мгла.

Я выписал две первые строфы одного из лучших стихотворений «Близнеца в тучах»15. По логике событий ему должно было предшествовать прекрасное стихотворение «Марбург» в «Поверх барьеров». В автобиографии, как и в данном случае, лицо, которому посвящены оба стихотворения, укрыто инициалами И. В. Поэтому я считаю себя вправе вспомнить свои впечатления в связи с оригиналом как этих стихотворений, так и автобиографических признаний (см. «Охранная грамота»). И. В. — это Ида Высоцкая, принадлежавшая семье известных чаеторговцев Высоцких. С отроческих лет Борис был связан с ней какими-то если не обещаниями, то возможностями обещаний, и мы на Молчановке прекрасно знали, что у Бориса какой-то роман, о котором он не любит говорить. Последнее обстоятельство, однако, не смущало Боброва. «Костенька, — шептал мне этот ужасный человек, — мы женим Борьку на Иде, и тогда у нас будет такое издательство». Здесь Бобров закатывал глаза и щелкал языком. Подразумевалось приданое Иды, которое, по мнению Боброва, было бы целесообразнее всего употребить на издание, конечно, в первую очередь его произведений. С нею я познакомился у Пастернаков после 13-го года, стало быть, после тех событий, которые изображены в «Мар-бурге». Обычно она жила за границей, но теперь неожиданно появилась в Москве. Зачем она приехала? Может быть, для того, чтобы поправить непоправимое. Стихотворение в «Близнеце», по-видимому, было ответом. После вечера у Пастернаков я пошел проводить ее домой, по дороге она без умолку говорила о Борисе, и, несмотря на окольный ход ее мыслей, я понял, что она о чем-то сожалеет. Через несколько дней я был у нее в гостях. Семейство Высоцких занимало особняк в одном из переулков Мясницкой16. Грязный лакей в грязном фраке открыл мне двери и доложил обо мне. В прихожей стояли золотые Будды, все было отделано в китайском, если так можно выразиться, стиле. Мне достаточно было войти в комнату Иды и взглянуть на тахту и на диваны, обтянутые чем-то вроде парчи, чтобы поздравить моего друга с вмешательством судьбы в его любовные дела. Истомленная желтоволосая Ида, болезненная и дегенеративная, жила в какой-то теплице. Прежде всего она показала мне свои коллекции духов, привезенных ею из Парижа. Ряд бутылочек замысловатых форм, со всевозможными запахами, в кожаных футлярах. Чтобы сделать удовольствие хозяйке, я перенюхал их всех по очереди, во время этой процедуры вспомнив роман Гюисманса «A rebours» и рассказ Чехова «Ионыч». «А хорошо, что я на ней не женился», — восклицает Ионыч, получивший в свое время отказ. Посидев у Иды час-другой, поговорив о каких-то пустяках и выпив стакан жидкого чаю с каким-то чахлым печеньицем, я с чувством облегчения покинул особняк Высоцких, чтобы больше никогда не показываться там. Ида уехала за границу, и больше я не видел ее никогда. <...>

Наступила зима, Рождество, на Масленичной неделе я сидел у себя в Брянских комнатах и писал статью об Апулее, изредка встречаясь с Борисом, который вдруг ушел из дому и поселился в крохотной комнатке в Лебяжьем переулке. За это время я сравнительно редко виделся с ним. Знал, что он дружит с Асеевым и тремя сестрами Синяковыми, приехавшими в Москву из Харькова. Вспомнил я обо всем этом вот почему. На столе в крохотной комнатке лежало Евангелие. Заметив, что я бросил на него вопросительный взгляд, Борис вместо ответа начал мне рассказывать о сестрах

Синяковых17. То, что он рассказывал, и было ответом. Ему нравилась их дикая биография.

Константен Локс

В посаде, куда ни одна нога Не ступала, лишь ворожеи да вьюги Ступала нога, в бесноватой округе, Где и то, как убитые, спят снега,—

Послушай, в посаде, куда ни одна

Нога не ступала, одни душегубы,

Твой вестник — осиновый лист, он безгубый,

Безгласен, как призрак, белей полотна!

Примерно этими строками можно передать его рассказ. Отсюда началась та стихия чувств, которая и создает музыку «Поверх барьеров». <...> Вскоре начали говорить, что Борис сильно увлечен одной из сестер, Марией С. <...>18

Летом 14-го года началась Первая мировая война, сразу свернувшая пути всех на один путь, — мы пытались освободиться от этого обязательства и продолжать идти своим путем разума и духа, но вышли из этой борьбы другими, чем были. Новая эпоха мировой истории застигла всех врасплох не потому, что не было предсказаний и предчувствий, их было сколько угодно (кто, как не символисты, кричали о «кризисе современной культуры»?), но потому, что формы этого кризиса оказались свыше человеческих сил. Когда история воплощается, она сразу отбрасывает человеческое воображение и противопоставляет ему действие, безжалостное и беспощадное.

* * *

<...> Зрительно этот период начала войны рисуется мне как чередование черно-бурого и белого цвета. Черно-бурый цвет — это был цвет Москвы той осени. Всех лихорадило. По вечерам черные толпы устремлялись на Тверскую, где на фасаде редакции «Русское слово» появлялись транспаранты с последними телеграммами. Электрические буквы бежали по транспаранту, возбужденная толпа вслух читала сообщения. Потом она разливалась по улицам и переулкам Москвы. Чувствовалось, что на сцену вступает именно она и что именно ей предстоит решать вопросы истории. А какой же цвет был белым? Белым был толстый и уютный свет, благодатно покрывавший улицы Москвы с половины ноября. Ночью бесшумно скользили сани, казалось, возвращается какой-то прежний мир свободы и чистоты, но в то же время, точно иглы, сознание прорезывали страшные мысли о совершающемся. В один из таких зимних вечеров в начале декабря я видел царя и всю царскую семью. Часу в одиннадцатом я возвращался домой с педагогического совета гимназии Потоцкой и был задержан на Страстной площади перед шпалерами войск, выстроенных от Кремля до Брестского вокзала, куда направлялся Николай II с семьей и свитой. Выстроили молодых солдат маршевых батальонов специально для того, чтобы они могли видеть царя. Показались автомобили. В окне первого автомобиля я увидел бледное, безразличное лицо Николая II, смотревшего на войска. За ним проследовал ряд других автомобилей, где точно куклы сидели придворные и семья. Эта сцена произвела на меня тяжелое впечатление. Не чувствовалось никакой связи между вооруженным народом и его главой. Мертвенное молчание на улице.

Николая II я видел еще раз (годом раньше) во время его въезда в Москву по случаю трехсотлетия дома Романовых. Мы с Борей стояли на той же Страстной площади. Человек небольшого роста, в фуражке с красным околышем проехал верхом так же равнодушно и безразлично. Впереди и сзади ехали конвойцы в кубанках. Ничего царственного и значительного не было ни в нем, ни во всем кортеже.

Итак, теперь рок вручил этому слабому и безразличному человеку судьбу величайшей в мире империи, создававшейся с таким трудом, с таким огромным напряжением народных сил в течение многих веков.

В Москве знакомые барышни и дамы стали сестрами милосердия, многие из них уехали на фронт, кое-кто отправился добровольцем в армию, Пастернак рассказал о своих приключениях в «Охранной грамоте»: они очень характерны для той эпохи. <...>

Всю осень 14-го года я почти не видел Бориса. Но вот как-то вечером в конце декабря в конце коридора послышались гулкие шаги, стук в дверь, и в моей комнате появились Пастернак и Асеев. Они пришли «извлекать» меня из моего уединения. После недолгих расспросов, веселого смеха, который означал «наплевать на все», мы все вместе направились на Тверской бульвар, а там, пройдя через двор, вошли в один из подъездов дома Коровина19. Здесь проживали, на пятом или шестом этаже, сестры Синяковы. Позднее в «Поверх барьеров» об этом доме можно было прочитать следующие строки:

Какая горячая кровь у сумерек... Какая горячая, если растерянно, Из дома Коровина на ветер вышед, Запросишь у стужи высокой материи, Что кровью горячею сумерек пышет...

В квартире Синяковых царствовало полное гостеприимство и собирался самый разнообразный народ, преимущественно литературная и артистическая богема. Были и какие-то весьма сомнительные персонажи, ни имен, ни занятий которых нельзя было узнать, но это всегда неизбежно в таких широких и открытых местах. Сестры Синяковы, занимательные хохотуньи, любительницы резких выдумок, составляли особый центр притяжения для двух поэтов, а остальные, по-видимому, притягивались сюда радушием и, мне кажется, главным образом, картами. Часов в одиннадцать обычно раздавался резкий звонок, и в передней слышался отрывистый громкий голос, который сразу можно было узнать. Это был Маяковский и с ним его свита, несколько неизбежных спутников, преданно сопровождавших его. Иногда читали стихи, суть, однако, была не в стихах. Маяковский в то время был уже настолько уверен в себе, что не нуждался в случайной аудитории. Он прямо проходил в столовую и садился за стол. Трещали колоды карт, начиналась игра. Маяковский играл размашисто, иногда поругиваясь и не обращая никакого внимания на присутствовавших и лебезивших перед ним партнеров. Дело в том, что он всюду вносил свой собственный, уже выработанный во времена «желтой кофты» стиль. Нарочито громкого голоса и какой-то гвардейско-про-винциальной презрительности и басовитое™. Он делал вид, что на стихи ему, собственно, наплевать, что это так, между прочим, а вот карты — это дело. По этому поводу я однажды разговорился с частым гостем сестер Синяковых, Васей Каменским20. Каменский был человеком в известном смысле восторженным. Восторг его по отношению к Маяковскому не имел предела. А по существу он был человек довольно простой и даже наивный. «Вы читали "Войну и мир"?» — спросил Каменский, широко раскрыв свои бледно-голубые глаза. В ответ я улыбнулся, ожидая дальнейшего. «Ну так вот, там есть Долохов. Как ни странно, но Владимир Владимирович (так всегда называли Маяковского его поклонники) похож на него. Это нежнейшее сердце, нежнейший брат и сын. Все остальное, — он помахал рукой, — делается для вида. Это "раненое сердце"!» — вдруг закричал Каменский. Разговор проходил вдвоем под елкой, уже давно стоявшей в гостиной. «В каком смысле?» — спросил я. «В таком смысле, когда-нибудь увидите», — многозначительно прибавил он. Я не считал Каменского знатоком человеческого сердца и остался в некотором недоумении. Все в Маяковском, наоборот, отрицало всякую нежность и всякую ранимость. Только присмотревшись к нему, можно было заметить в глубине глаз какую-то детскую беспомощность. Кто знает, может быть, Каменский, сам того не понимая, подметил в Маяковском то, что привело его к гибели. Объяснения, впрочем, могут быть и другие. Пока я их оставлю в стороне. Итак, часть гостей играла в карты, другая сидела под елкой и забавлялась страшными рассказами, которые выдумывали

сестры. Часу во втором ужинали чем придется и расходились по домам. Картежники, впрочем, оставались дольше. В этот дом я ходил по вечерам, главным образом из-за Бориса. Мы вместе выходили на улицу. Здесь на меня опрокидывался целый поток импровизаций о войне, мире, поэзии — дышалось свободнее, жизнь казалась не столь страшной, какой она была. <...>

* * *

Пастернака не было в Москве, он отправился на Дальний Урал, подвергнув себя добровольному изгнанию. Ему вдруг показалось, что его призовут на военную службу, и он уехал на военный завод, изготовлявший какие-то химикалии для снарядов. Завод принадлежал Ушковым, директором был 3-й21. Дело устроилось легко, сам по себе поступок был следствием психоза, и при этом неоправданного, так как он все равно к военной службе оказался негодным. Но судьба подарила за это ему «Детство Люверс» и часть стихов из «Поверх барьеров». Осенью и зимой 16-го года я вел с ним деятельную переписку <...>

В ноябре или декабре месяце (1916 года) Бобров показал мне книгу Пастернака «Поверх барьеров», которая была своеобразным ответом на совершающиеся события. Несколько стихотворений, посвященных войне, были искажены цензурой. Остальные в каком-то смысле передавали внутренний смысл разбушевавшихся стихий. Так же как Блок цитирует стихотворение Катулла в своей книге о Каталине, я бы мог привести параллели между ритмами Пастернака и поступью событий. Даже больше — можно было бы показать, где начиналось расхождение его и духа времени. В ней все было перевернуто, разбросано, разорвано и некоторые строфы напоминали судорожно сведенные руки. Как поэтическое явление книга со всей отчетливостью выражала его творческий метод, с которым он впоследствии упорно боролся, пока отчасти не вышел из этой борьбы победителем, добившись понятности и относительной простоты. К тому времени, когда писалось «Поверх барьеров», у него должно было сложиться некоторое поэтическое самосознание, я не скажу — полная уверенность в себе. Как оказалось, единственный поэт, на которого он оглядывался, чувствуя свою близость к нему, был Маяковский. Я говорю о близости первых книг Маяковского. В «Охранной грамоте» Маяковскому посвящено несколько пылких страниц. Вот что писал Пастернак: «Время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас имелись совпадения — я их заметил. Я понимал, что если не сделать чего-то с собою, они в будущем участятся. От их пошлости его надо было уберечь. Не умея назвать этого, я решил отказаться от того, что к ним приводило. Я отказался от романтической манеры. Так получилась неромантическая поэтика «Поверх барьеров». Но под романтической манерой, которую я отныне возбранял себе, крылось целое мировосприятие. Это было понимание жизни как жизни поэта».

Если под романтической манерой Маяковского Пастернак подразумевает так называемого «лирического героя» его первых книг, то эти соображения понятны. Но поэтические средства этого «лирического героя» отнюдь не романтичны — или, вернее, они приводили к своеобразному романтизму благодаря тому способу, каким его применял Маяковский. Просмотрите бегло его первые книги — у нас останутся в памяти куски улиц, крики отчаяния (больше всего криков), брутальная самоуверенность и самоутверждение. Сочетание всего этого своеобразно, и если потребуется определить школу или направление, то готовых, издавна бытующих терминов явно не хватит. <...>

Если после него перейти к «Поверх барьеров», то книга поразит своим простором, голосом, несущимся вдаль. Недаром одно из заглавий книги было «Раскованный голос». Человек как будто сорвался с цепи и полетел в космические пространства. Но во время полета в его памяти остались только клочья и куски звездных миров:

Я несся бедой в проводах телеграфа, Вдали клокотали клочки зарниц, В котлах, за рубцами лесных бойниц,

Стояла тишь гробовая,

Лапшу полыханий похлебывало

Из черных котлов, забываясь,

В одышке, далекое облако.

«Поверх барьеров» <...> состоит из гениальных фрагментов, которые автор тщетно пытался привести в порядок во втором издании, совершенно исказившем эту замечательную книгу22. Но в чем «совпадения» с Маяковским? Ко всякому поэтическому произведению мы можем предъявить два самых общих требования: 1) единство темы, 2) оправданность образов. И Маяковский, и Пастернак были вне этих требований или, вернее, понимали их по-своему. И у того, и у другого темы развертывались сообразно течению образов, до утраты своей сути. У того и у другого образ мог превратиться в самодовлеющую, не связанную с темой величину. Но у символистов тема — это внутренняя форма стихотворения, внешне ей отвечает так называемая Correspondance — соответствие. Как я уже отмечал, это и было истинной манерой Пастернака, которого спасло от обвинения в символизме, во-первых, невежество критики, и во-вторых, реализм деталей, и в-третьих, полное отсутствие условностей, обычных у символистов. Предлагаю проанализировать такое прекрасное символическое стихотворение, как «Импровизация» в первом издании «Поверх барьеров»23.

Книга вышла в канун революции, в начале 17-го года. Во многом она, по своему внутреннему смыслу, созвучна ей. Поэт часто оказывается тем, что Тютчев назвал «органа глас глухонемой». Знал ли он об этом? Может быть, иначе он не написал бы своего «Петра»24 <...>

День шел за днем, и в один из этих дней приехал Борис Пастернак. Он был счастлив, он был доволен. «Подумайте, — сказал он мне при первой же встрече, — когда море крови и грязи начинает выделять свет...» Тут красноречивый жест довершил его восторг. Тотчас было приступлено к делу и задуман роман из времени Великой французской революции. Помню ряд книг, взгромоздившихся на его столе, взятых из университетской библиотеки, из Румянцевской, не знаю еще откуда. Огромные тома с планами Парижа той эпохи, где изображались не только улицы, но и дома

на этих улицах, книги с подробностями быта, нравов, особенностей времени — все это требовало колоссальной работы. Понятно, что замысел скоро оборвался. Воплотилось только несколько сцен в драматической форме, которые были потом напечатаны в одной из газет25. Однако он читал мне начало одной главы. Ночь, человек сидит за столом и читает Библию. Это все, что у меня осталось в памяти. Характерно тем не менее, что прежде всего ему пришла в голову французская революция. Казалось, было бы проще идти по прямым следам, писать о русской революции, но правильный инстинкт художника подсказывал ему верное решение. Роман об эпохе можно писать лишь после того, как она закончилась.

Со смутным чувством чего-то огромного, свершившегося в жизни каждого из нас, в середине мая я отправился в Сураж и вернулся в Москву лишь в конце августа. <...> Встретившись с Борисом, проживавшим, по-моему, на Сивцевом Вражке, я узнал, что вместо романа о французской революции он написал уральскую повесть «Детство Люверс»26, которую в один из тусклых осенних вечеров прочитал мне. Впервые я слушал его прозу, рассчитанную на большой разворот внутренних событий. Повествование развертывалось медленно и довольно тяжело. Сюжет, так сказать, обновил отдельные частности и получил смысл через них. Изумительное проникновение в

психологию девочки, перед которой раскрывается мир, было, в сущности, темой этой повести. Эта повесть была недостаточно понята и оценена современниками. Уже несколько лет спустя редакция «Красной нови» попросила меня написать рецензию на первый сборник прозаических вещей Пастернака. Один из мотивов просьбы заключался в том, что нужно было «шевельнуть» книгу со складов издательства. Ее покупали плохо. Рецензию я написал, и ее напечатали27. Чтение происходило за несколько дней до октябрьских событий. <...>

Сергей Дурылин

ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ «В СВОЕМ УГЛУ»

<...> Есть экземпляр сборника «Лирика» (М., 1913). В нем стихи С. Раевского, Н. Асеева, Б. Пастернака. На отделе «Б. Пастернак» надпись: «Сереже, который и привел меня сюда» (не точно, но смысл тот). Этот Сережа — я. Асеева привел в «Лирику» Бобров.

Стихи Бори приняли в «Лирику», «морщась»: «морщились» Ю. Анисимов — добродушно и с полупохвалой, малодобродушно — В. Станевич, равнодушно — А. Сидоров. Бобров — «снисходил». Асеев — не знаю. Рубанович — не помню. Бобров, Сидоров, Рубанович, я — мы печатались уже в «Мусагете», Рубанович и я — в «Весах». Борис в «Мусагете» не участвовал.

В 1912—1913 гг., в зиму эту, прочел у Крахта, в «молодом» «Мусагете», реферат «Лирика и бессмертие»1, на котором был Э. Метнер. «В общем и целом» — никто ничего не понял, и на меня посмотрели капельку косо. (Я устроил чтение.): «Борис Леонидович, да, конечно, очень культурный человек и в Марбурге живал, но... но все-таки при чем тут "Лирика и бессмертие"?» Было и действительно что-то очень сложно. Перекиданы какие-то неокантианские мостки от «лирики» к «бессмертию», и по этим хрупким мосткам Боря шагал с краской на лице от величайшего смущенья, с подлинным «лирическим волнением», несомненно своим, пастернаковским, но шагал походкой гносеоло-гизирующего Андрея Белого, заслушавшегося «Поэмы экстаза» Скрябина.

Метнер — германист и кантианец — пожал плечами с улыбкой. Я знал эту улыбку. Она означала: «очень ювенильно». Поэты — просто ничего не поняли. Один покойный С. В. Шенрок, размахивая «гносеологическим» ножом для разрезывания книг, с которым не расставался никогда (из слоновой кости), подошел к Боре, как посвященный, и побеседовал о чем-то наедине. Не помню «прений». Да и были ли они? Если и были, то «кто-то что-то сказал», не более. И реферат был очень длинен. С перерывом.

Так узнала впервые Пастернака группа людей из «старого» «Мусагета» и «молодой» «Мусагет». Стихов же Бори и даже то, что он их пишет, решительно никто не знал до «Лирики». Он никогда и нигде их не читал.

И в его семье «стихи» его были «под подозреньем», и никто не придавал им никакого значения.

Я встретился с ним в 1908 году, когда он был еще гимназистом 5-й гимназии (вполне классической, с греческим яз<ыком>), но уже старшего класса. И впервые Борины стихи открылись мне не как стихи.

Отец его — художник, мать — пианистка. Будущее Бори — всей семье и знакомым — мерекалось где-то там или тут. В детстве он рисовал. Рисунков его я никогда не видал. В 1908 году он играл на рояле и сочинял для рояля. Занимался теорией музыки, кажется, с Ю. Д. Энгелем. Скрябин бывал у Пастернаков, и Боря много с ним беседовал. Бывал часто Ю. Д. Энгель.

В 1909 году было у Бори страстное увлеченье Скрябиным.

В начале этого года произошло событие: одно из симфонических собраний Русского музыкального об<щест>ва было всецело посвящено Скрябину. Он тогда только что вернулся из-за границы в Россию. Он сам играл свою сонату в этом концерте, где впервые был сыгран «Экстаз». На репетиции Энгель подошел к Боре и сказал про «Поэму экстаза»: «Это — конец музыки!» — «Это — ее начало!» — воскликнул Борис.

Мы слушали Скрябина запоем. Бродили после концерта по Москве очумелые, оскрябиненные. Боря провожал меня из Благородного собрания на Переведеновку. Я ему читал свои стихи про Скрябина. После концерта на Борю находило. Это было какое-то лирическое исступленье, бесконечное томление: лирические дрожжи бродили в нем, мучили его. Но их поднимало, как теперь ясно, не музыкальное, а поэтическое.

Однажды в кафе у Мясницк<их> ворот мы сидели за столиком. Заказывали кофе. Кто по-каковски: по-варшавски, по-венски, так-сяк. Борис же был в лирическом отсутствии, и когда лакей настоятельно нагнулся над ним, ожидая его указаний, как подать ему кофе, Борис отвечал что-то вроде: «А мне по-марбург-ски». Лакей был ввержен в великое недоуменье и подал кофе неизвестно по-каковски. А Борис глотал кофе с ложечки, жевал и, вероятно, плохо разбирал, что он пьет — кофе, бенедиктин или содовую воду. Он был совершенно трезв, но лирически — хмелен.

Но до «Лирики», до 1912 года, все, кто знал Бориса, знали, что он будет музыкантом, композитором. Энгель хвалил его композиции, хвалил и Скрябин. Мать радовалась. Выходило преемство от нее. Мы не пропускали с ним ни одного симфонического концерта. Был у него запой Никишем2 (отец его писал Никиша).

Мы часто бродили с ним по улицам. Однажды он пришел ко мне в тоске. Мы забрели в Сокольники. Он испытывал приступы кружащейся из стороны в сторону тоски. Скрябинское томленье (неразрешимое!) было по нем. Он понял его. Он писал мне длиннейшие письма, исполненные тоскующей мятежности, какого-то одоления несбыточностью, несказанностью, заранее объявленной невозможностью лирического исхода в мир, в бытие, в восторг, каким-то голым отчаяньем. Это бросался ему в голову лирический хмель искания слова. Вячеслав Иванов сказал бы, что он одержим Дионисом. И это было бы верно.

* Иметь задолженность, быть в долгу (лат.).

И вот в Сокольниках однажды, среди древних сосен, он остановил меня и сказал: «Смотрите, Сережа, кит заплыл на закат и отяжелел на мели сосен...» Это было сказано про огромное тяжелое облако. «Кит дышит, умирая, на верхушках сосен». Но через минуту, куда-то вглядевшись: «Нет, это не то».

И образ за образом потекли от Бори из его души. Все в разрыве, все кусками, дробно.

Вдруг раз в муке и тоскГе воскликнул он, оскалив белые, как у негра, зубы: «Мир — это музыка, к которой надо найти слова! Надо найти слова!»

Я остановился от удивленья: музыкант должен был бы сказать как раз наоборот: «Мир — это слова, к которым надо написать музыку», но поэт должен был бы сказать именно так, как сказал Боря. А считалось, что он музыкант. Я эти слова запомнил навсегда. И «кит» в Сокольниках стал мне ясен. Это была попытка найти какие-то свои слова — к тихому плаванью облаков, к музыке предвечерней сосен, металлически чисто и грустно шумящих, перешумливающихся друг с другом на закате.

В 1910 году Борис жил летом один в квартире отца в здании Училища Живописи. Он давал уроки и вообще был предоставлен сам себе. Был конец мая. Зной. Помню, мы сидели с ним на подоконнике на 4-м этаже и смотрели сквозь раскрытое окно на Мясницкую. Она шумела по-летнему, гремящим зноем мостовых, под синим, пламенным небом.

Борис стал рассказывать мне сюжет своего произведения и читать оттуда куски и фразы, набросанные на путаных листках. Они казались какими-то осколками ненаписанных симфоний Андрея Белого, но с большей тревогой, но с большей мужественностью. Белый женствен, Борис — мужествен.

Герой звался Реликвимини.

Герой был странен не менее своей фамилии, а фамилия — ей особенно доволен был Борис — была классическая: прямо из 5-й гимназии. Есть такой неприятный для гимназистов неправильный глагол: reliquor, relictus sum, reliquari. Если начать спрягать это reliquor, то второе лицо множественного числа настоящего времени будет глагол reliquimini*.

У Бориса был тогда уже особый до всяких футуристов (футуристы посыпались в 1913 году) вкус к заумным звучаньям и сло-

вам, и я думаю, ему было приятно, что его герой не только страдает, но и спрягается.

Другой герой был чуть ли не Александр Македонский. Релик-вимини бродил по улицам — и таял на закате, и искал китов, осевших грузно на иглах сокольнических сосен. В сущности, в этих отрывках, как и теперь, в повестях и рассказах, «героя» не было. Был Боря Пастернак.

И Реликвимини сливался для меня с письмами ко мне: такими же «словами» к неопределимой музыке, расслышанной Борисом. (1де эти письма? В тревоге пестрой и бесплодной моей жизни, вероятно, не уцелели.)

Помню, меня поразила тогда одна сцена в этом хаосе «Реликвимини». Реликвимини идет по Никольской. Угол Казанского собора. Весна, но он не замечает весны. Тепло и солнечно, но у него в душе не тепло и не солнечно, а может быть, месячно, а может, ветрено, а может быть, тучно. Шумит улица, вливаясь в площадь. Реликвимини бредет, опустив голову. И вдруг на сыром асфальте тротуара видит маленькую живую зеленую ящерицу; она, как живой изумруд с алмазными гранями, извивается, шевелит хвостиком, змеится, ящерится, и солнце перебирает лучами ее алмазы и изумруды. И Реликвимини увидал по ящерице, что весна. Он солнце увидел на ее спинке — и поднял голову: «Весна!» А ящерицу пускал по тротуару на бечевке мальчишка, продавец игрушек. Ящерица была из жести, и крашена зеленью, и стоила гривенник3.

Весна по ящерице, pars pro toto, — меня поразило (это) в отрывке Бориса, — и я ему сказал, что ничего не знаю, что будет у него дальше и что он сделает, но это — прекрасно: это поэзия, это — прямо и просто поэзия как кусочек золота.

Вот об этом-то Б. Пастернак в 1928 году и пишет: «Был человек, С. Н. Дурылин, уже и тогда поддерживавший меня своим одобреньем»4. Это правда. Правда, пожалуй, и то, что человек этот тогда был один.

Я не знаю, кому читал еще Борис тогда (в 1909—10—11 гг.) свои отрывки — сначала прозаические: «Реликвимини» был в прозе, потом стихотворные, и читал ли он их: думаю, нет (а может быть, Иде Высоцкой, в которую был влюблен, он давал ей уроки и меня вовлек в это дело, и я занимался с нею по русской лирике), но когда дома у Пастернаков узналось, что Боря что-то пишет, а музыку забрасывает, — там было большое неудовольствие.

К1911 году, когда мы сидели на подоконнике, оно вполне определилось. Папа Пастернак был недоволен, мама Пастернак — недовольна. Был совершенно в стороне от писательства Бори и его единственный брат, положительный и примерный Шура (ныне архитектор, а тогда гимназист 5-й гимназии, игравший Антигону по-гречески в трагедии Софокла в гимназическом спектакле).

Ю. Д. Энгель, друг семьи, печально сказал, что Боря оставляет музыку, и явно не верил в Борины «опыты». Не в 1910-м, а в 1917 году — через семь лет! — другой друг

семьи Пастернаков, П. Д. Эттингер, встретившись со мной у Сидорова, сокрушенно качал головой: «А Боря-то, Боря-то! Все пишет, — интонация продолжает, — футуристическую чепуху». Я молчу. «Вы понимаете, что он пишет? — Интонация продолжает: — Невозможно понять. А какие надежды подавал. Скрябин говорил, что...» Ну разумеется, Скрябин говорил, что из Бориса выйдет замечательный композитор. Скрябин несомненно это и говорил.

Отрывков, отрывков, кусков Борис читал мне много. Я никогда не удовлетворялся ни одним из них, а всегда верил, что... Приведу разговор с Ю. Анисимовым:

Он: «Боря не умеет свести строки в стихотворение. У него гипертрофия образов».

Я: «У него хаос. Но он ищет совершенного образа. Он космос своей поэзии, что есть собственно поэзия, хочет строить из хаоса. Это — как в мироздании: «Из хаоса родимого — гляди, гляди, звезда...»5. А мы строим свои космосики, но под ними никакого «хаоса не шевелится»6.

Я верил в то, что поэзия Бориса будет космична. (Космос по-гречески — и мир, и украшение.) И хаос выльется в золото звезды. В прямое, ясное и благое золото. Этого не совершилось и поныне. И золото звезды все еще в расплавленных частицах носится в массах туманного хаоса, в колеблющемся эфире. Но ради золотых, подлинно золотых частиц, носимых хаосом, я любил и куски этого хаоса — и настоял, чтобы Бориса напечатали в «Лирике». Это правда, что я его туда привел и приткнул.

Весной 1913 года вышла «Лирика». На Святой я встретился с Н. К. Метнером. Еще раньше от всех участников был послан ему экземпляр сборника7. Он встретил меня ласково, как всегда, и стал хвалить моего «Серафима Саровского», и пенять, зачем сборник испорчен Пастернаком. Он даже не пенял, а как-то ахал и негодовал добродушным, но решительным аханьем: «Что же это? Вы понимаете что-нибудь?» Я тупился. И признаюсь, как виноватый смотрел на великого композитора. Как я мог сказать ему все, что пережито было на подоконнике, в Сокольниках, на Никольской с Реликвимини. В глазах сестры Н. К. Софьи Карловны светился укор. Так я ничего и не сказал. Каюсь перед Борей.

В 1927 году встретился я с ним после 5-летнего невстречанья на концерте Н. К. Метнера, и он мне первые же слова сказал: «Сережа, ведь вы привели меня в литературу». Это были слова — благодарности человека, который рад, что он там, где он есть теперь, ибо там — настоящее его место.

И это же он напечатал теперь.

Так немногие, почти никто теперь не сделает.

А повесть его я не читал еще, № 8 «Звезды» не видал и знаю только то, что выписал из писем.

Но как дорога мне эта память, эта любовь, эта благодарность с открытым забралом!

Сергей Бобров

О Б. Л. ПАСТЕРНАКЕ

Не могу даже припомнить, когда и как мы познакомились с Борей. Мне кажется, это случилось около 1911 года, может быть, немного раньше, может быть, немного позже. Где мы познакомились? Тоже не помню. Может быть, в Мусагете, может быть, в кружке скульптора Крахта. <...> Дружил я тогда только с Никой Асеевым, но тот по природе был человек преданный только себе и часто вдруг исчезал совершенно, не оставляя после себя никаких следов, кроме долгов и досад. Другими словами, я был ужасно одинок, беспросветно беден и лишен почти всякой опоры. За год примерно перед этим — или даже меньше — на меня обратил некоторое внимание Брюсов и стал понемногу помогать мне. У меня нашлась работа, не очень интересная, канцелярская, но все-таки работа. Я получил впервые возможность иметь свое жилище, хоть какую-нибудь одежу и не погибать три раза в неделю от жестокого голода.

И вот когда передо мной открылись минимальные блага, я встретился с Борей. Это было истинное счастье. Асеев был человек малоразвитый, неохотно читавший, которому нередко приходилось рассказывать самые общеизвестные вещи. Но он обладал необычайным певучим даром, который странно и неожиданно прорывался через его маньяческую приверженность к картежни-честву и самое беспорядочное существование.

И вдруг тут в моей жизни появился этот странный юноша, ходивший по московскому лютому морозу в одном тоненьком плаще, с мгновенным пониманием всего, о чем я только думал, мечтал, что грызло меня сомненьями, что подминало меня под себя бешеным могуществом юной души, жаждавшей богатой и интересной деятельности, и именно поэтической деятельности. Не прошло и нескольких дней, как мы уже были закадычными друзьями — и уже на «ты». Мы ходили по московским пустынно-снежным переулкам (он жил у Пречистенских ворот, а я на Пречистенке у Мертвого переулка), болтались часами, вынашивая и выговаривая друг другу затаенное и любимое. Мы были ровесниками (он был меня моложе на несколько месяцев), оба были бедны безумно, я только что вырвался из нищеты невообразимой, у Бори была семья в достатке, но папаша был человек суровый и полагал, что Боре пора уже стать на свои ноги, и ему приходилось солоно. Найти что-нибудь и дельное и достойное было тогда не так-то легко молодому человеку, да еще капризнику, тайному честолюбцу и дерзкому мечтателю с оригинальнейшим талантом! Мы разговаривали друг с другом в каком-то восторге. Боря хохотал над моими дерзкими и вычурными шутками, над моим даром словесной карикатуры, я хохотал над его пронзительно-тонкими шутками, изумлявшими своим светящимся артистизмом, крылатой прихотливостью и умением взять предмет совершенно по-особому, с неожиданно острым и веселым напором.

Боря иногда приходил печальным — отец сердит, мать огорчается, а он не смог до сих пор схлопотать себе работу. Но начинался разговор. Шутки, хохот пополам со всякой философией, забыт папаша, забыта моя противная служба — все великолепно. В Боре вдруг сиял какой-то огромнейший и неутомимый оптимизм, который был ему вполне под стать и впору. Это было так естественно в этом юноше, что был весь, до самого горла, набит талантом, каким-то совершенно беспроигрышно-роковым талантом, и что бы там ни было рядом и около <...> что я не мог для себя самого (наедине с собой) даже нарадоваться на эту одарившую меня бесценным богатством дружбу и душевную близость. Уж я читал ему без конца свои стихи, читал ему очень певучие стихи Асеева (изящные, кокетливые, задорные и нежные), он слушал, как бы прислушиваясь... мы вспоминали Блока, Белого, потом бросались читать Баратынского, Языкова. Ужасно любили Коневского, а за него даже и Брюсова (который уже от нас как-то отходил, оттертый с переднего плана мучительной красотой мертвенно прекрасного Блока). «А ты, Боря? А твои стихи? Почему не читаешь?» — «Подожди, — ответил он, — вот, знаешь, через неделю. Принесу к тебе, мы сядем вместе. Дверь закроем. И я прочту. И Николай тоже. Мне интересно, то есть что вы скажете». Моя комната в полуподвале с огромным темным окном, которое выходило в тоннель. Вечер. Дверь закрыта. За дверью чужие (я снимал комнатенку в большой квартире). Мы сидим с Николаем. На единственном столе угощенье — одна бутылка пивца на троих. Боря входит словно крадучись. «Знаешь, — говорит он, немножко театрально запинаясь, словно бы на сцене Художественного театра, — яхотел, то есть не то что хотел, атакужвышло... Собрался совсем позвонить тебе, Сергей, и сказать: «Я не приду». Потому что думал, что я еще одну вещь совсем переделаю заново, но она как-то не слушается. Не знаю, а мне не хотелось показывать, когда все еще так неточно и сыро. Но потом сестра меня застыдила. Ну и вот».

Он начал читать — и первые стихи были как раз «Февраль. Достать чернил и плакать!». Через несколько минут я был в чувствах трудно описуемых, не то что я был в восторге или в упоении — я понимал, что это еще юношество. Я был напуган крайне странным языком... но я был потрясен, очарован, ошеломлен поразительной новизной и оригинальностью этого голоса. Вдруг кое-где вспоминался неожиданно, но почти с фотографической ясностью оригинальнейший Иннокентий Анненский, то вдруг вставал совершенно перелицованный наново (до неузнаваемости) Андрей Белый, то вдруг где-то совершенно неожиданно, словно издалека откуда-то раздавался торжественный пророческий голос Тютчева, а потом снова свое! Свое! Свое! Почти что ни на что не похожее, странное, необычное, какое-то косолапое, исковерканное могучей лапой, насильно всаживающей в стих кошачие, непокорные слова, которые оттуда кричали словно на пытке, с такой разрушительной силой, с таким точнейшим напечатлением, что делалось жутко и сухо в глотке.

«Подожди! — закричал я. — Стой! Читай еще раз. Оба стишка. Медленно! Читай!» А потом я хватал листочки, читал сам. Укорял себя (про себя), что я так волнуюсь, что так нельзя, если я буду так путаться, не сумею оценить, сказать ему то, что ему нужно от меня услышать. Но это было все до того значительно, так небывало, что я замолчал, обрадованный до ошеломления. «Читай! Читай!» — «Сергей, все. У меня больше нет». — «Читай опять все сначала». И наконец, еле сдерживаясь, чтобы не вскочить с криком восторга, я сказал, тихо выговаривая, сдерживая себя: «Замечательно. Должен тебе признаться прямо, я ничего такого не ожидал. Это просто чудесно».

Николай сидел рядом молча. Да и я (в душе) тоже. Но в эти минуты я так любил Борьку, что я уж перестал удивляться; я просто вдруг ощутил, что так оно и должно было быть, что иначе и быть не могло. Для такого юноши, как Боря. Оно и естественно, что из-под пера его льются именно эти необыкновенные стихи, с переломанным синтаксисом, без особых ухищрений в стихе, которыми балуются разные «эстеты», стих даже и совсем и не такой гладко отделанный, как у Блока, но все это насыщено, напоено такой силой поэтической мысли, такой сверлящей душу образностью и в то же время, во всех неловкостях, во всех неуклюжестях и обмолвках, это до того пылающе красиво, что только безумный Врубель мог бы мечтать о такой роскошной поэзии, измученно прекрасной, которой тесно в этом убогом рубище слов. Этот вечер связал нас троих крепчайшей дружбой, нежной и глубокой. Просто мы были влюблены друг в друга. Мы все испытали от этого единения какой-то прилив дикого воодушевления. Оказалось, что мы так хорошо понимаем друг друга, что мы так усилили один другого, что у нас у каждого есть так много такого, чем мы можем гордиться за двоих других, что нельзя даже и рассказать, насколько мы чувствовали себя богачами.

Около нас были молодые люди и побогаче и посчастливей, немало было и таких, которые пробовали свои силы в стихах, но теперь все это стало безразлично. Мы собирались втроем, читали друг другу стихи, и казалось, что нам совершенно достаточно нашей крохотной компании. Мы уже начинали жестоко уставать от наших старших собратьев. Мы понимали, что Белый был очень талантливый человек. Но «Мусагет» постепенно окутывался в такой чад невыносимого теософского мистицизма. <...> И однажды мы не выдержали. Отреклись ото всего, что было напыщенным символизмом, скукой и гробокопательством натянутого, лакированного и лакейского эстетизма. Подняли бунт против нескольких довольно слабых стихоплетов, опиравшихся на наши таланты, и сбежали. В футуризм! Хорошо ли это было? Трудно сказать, насколько сами мы отдавали себе отчет в этом. Это было сделано по пословице «Хоть горшей, так иншей — хоть, быть может, это и хуже будет, зато по-новому. Горечи не замедлили обрушиться на нас. Полудрузья, которые как-то полегоньку, с натяжкой поддерживали нас, отвернулись от нас почти что с ненавистью. Мы ведь им показали, и довольно

откровенно, что нам с ними не по дороге, т. е. не постеснялись им объяснить, что, на наш взгляд, у них просто пороху не хватает. Дальнейшее, в общем, подтвердило наш диагноз. Никто из них ничего серьезного в литературе не сделал. Тут-то мы и организовали нашу Центрифугу. Но мы оказались — по крайней мере на первых порах — не совсем желательными гостями у футуристов. На нас еще был слишком отчетливый налет мусагетского воспитания. Мы оказались на самом правом крыле футуризма. Не все там были таланты. Виднейшей фигурой был Маяковский, а затем, где-то в тени, талантливый и юродивый Хлебников. Остальные были почти не в счет, способности у них были очень скромные. Вышла первая книжечка Бори, Мариэтта Шагинян встретила ее отборной руганью1. Это нам мстили через ее голову оставленные друзья. Нам нравилось отнюдь не все в футуризме, и мы думали заниматься этим родом искусства совершенно по-своему. А это тем, кто уже записался в футуристы, не могло нравиться. Наоборот. Две враждующие партии — кубофутуристы, группа Бурлюка, куда входили Хлебников и Маяковский, и эгофутуристы, разрозненные группочки, близкие к Игорю Северянину, довольно слабые стихоплеты вроде Шершеневича, Большакова, старавшиеся привлечь к себе внимание маленькими выходками, отнюдь не дотягивавшими до пресловутой «желтой кофты» Маяковского. Она действительно была желтая, цвета ярко-желтого светлого хрома. Разумеется, этот блок оказался крайне непрочным, но Шершецевич все-таки сумел этим воспользоваться, чтобы облить нас грязью. Тогда мы выпустили тоненькую брошюрочку, в которой ответили им, и довольно решительно. Это не входило в расчеты Шершеневича, но он, понимая, что с ним никто считаться не станет, сумел уверить Маяковского, что нападение было организовано именно против него. Асеев принимал некоторое участие в этой неинтересной истории, так как ранее сообщил Шершеневичу о наших планах, и немедленно скрылся из Москвы, как только дело пришло к развязке. Это и была та встреча, на которой познакомились Боря и Маяк, чем, в сущности, эта затея Шершеневича и исчерпалась. Шершеневич в дальнейшем ни к нам, ни к Маяку касательства никакого не имел. <...>

Боря, разумеется, был прав, негодуя на мой «режим» в том отношении, что я придавал слишком много значения пустопорожней фигурке Шершеневича, которая в дальнейшем не играла почти никакой роли, цепляясь некоторое время за разгул Есенина, да и этого хватило ему ненадолго. Боря смотрел на этого литературного проходимца гораздо спокойнее, будучи уверен, что это никакого серьезного значения иметь не может. И оказался прав.

«О чем вы собираетесь говорить? — спросил Боря Маяка. — Если о поэзии, так на это я согласен, это достойная тема, и я думаю, что она для вас не чуждая». Маяковский взглянул на него насмешливо и недоверчиво: «Почему думаете?» Боря пожал плечами и процитировал Лермонтова. «Да?» — сказал Маяк, несколько удивленный. И стал слушать Борю. А затем они уже вдвоем не участвовали в нашей журнальной перебранке... Они заговорили о другом.

А затем через месяца три мне передали, что Маяк как-то заметил, что он не совсем, конечно, уверен, но Пастернак это как будто всерьез и настоящее. <...>

Мы встретились на органном концерте. Боря не особенно любил Баха. «Не ожидал тебя видеть на этом концерте», — сказал я. «Знаешь, — сказал он, глянув мне в глаза, — там, далеко за границей, умерла мать. И хотелось вспомнить, сосредоточиться»2. <...>

Эти «поросли капель», этот «горизонт горнозаводский» и многое другое — это были бесценные открытия в поэзии. Асеев был чудно переимчив, он превосходно подражал Блоку, Куз-мину и многим поменьше (но всегда с уклоном в мягкость, в легкость). Но ему не хватало этой жесткой, мужественной руки творца, подлинно

творческой новизны. У Бори стих был невероятно неряшлив и груб, будто он только что еще учится говорить, но зато сила его поэтической образности была несравненна. Кое-что от тяжеловесного языка профессионалов-философов всегда оставалось в нем. Он ужасно завидовал легкости асеев-ского стиха, забывая о своих богатырских богатствах. И он положил немало труда, чтобы выправить все свои словесные огрехи. Иногда, к сожалению, в ущерб самой поэзии. Последняя редакция «Марбурга» уже затерта, чудный аромат какой-то неуклюжей свежести, невзирая на путаницу в шахматных фигурах, был много дороже превыспренней гладкости. Гладких стихоплетов на свете хоть пруд пруди, а огрехи — это беда Державиных, которых единицы. «Един есть Бог, един Державин...» Глубина его поэтического взора была изумительна. Встреча с футуристами — Хлебников, главным образом, чье непосредственное могучее влияние и сделало нас футуристами. Асеев много лет был совершенно зачарован хлебниковской музой, что очень укрепило его поэзию. <...>

Увидев, что мы, рассорившись с анисимовской группкой, вдобавок оказались под огнем объединившихся (ненадолго) футуристов (кубо и эго), Асеев струхнул. И, опасаясь оказаться ни в тех, ни всех, начал маневрировать: сперва сунулся обратно к Анисимовым, но его там на порог не пустили, а затем за нашей спиной попробовал сговориться с Шершеневичем.

Боря вел себя в эти трудные минуты очень благородно, и ему тут же удалось дать понять Маяку, что Шершеневич не может идти в счет в серьезных союзах.

Так, это наше бегство из стана символистов нам досталось недешево. Наступила война, и ничего делать не удавалось. Попытался я связаться с Платовым*. Книжка Платова была арестована по обвинению в «порнографии». <...>

А потом судьба послала мне Аксенова, и дела Центрифуги поправились. <...>

Выходит «Оксана» Асеева —■ книжка с настоящей силой. И это снова ранит Борю! Ибо, с точки зрения достижений в стихотворстве, «Оксана» гораздо более зрелая книга, чем «Барьеры». Хотя размах «Барьеров» несравненно шире, хотя темы выше, красивей, грандиозней, обширней, тем не менее срывов, всевозможных ляпсусов, недоговорок там масса. И затруднение еще и в том, что если Асееву довольно легко помочь, поправления напрашиваются сами собой, —■ Борины секреты лежат где-то под спудом: что в точности ему требуется, очень трудно решить или обнаружить. В «Барьерах», размышляя над каждой строкой, я не решился поправить ни одной буквы. Это было нарисовано если не по-детски, все же крайне неумело! Но что нарисовано! И какова была еще не выношенная до конца вся система образов, грандиозные леса, за которыми поднималось здание его поэзии. Спорить с этим не хватало сил — и страшно было разрушить это смутное и косноязычное великолепие.

В «Оксане» Асеев уже сформировался. Это уже был готовый стихотворец, возмужавший. В своем роде, с упорной поступью, довольно суровой (по-хлебниковски), но необычайно певучей. С точки зрения, так сказать, внешней, «Барьеры» уступали ему по всем статьям. Но зато поэзия их была исключительна. И там, где сквозь грубость, неловкость, обмолвки, где стих не поскользнулся, не оступился, —■ там поэзия сияла с такой разящей силой, что перекрывала все достижения символистов. <...>

Я кусал руки от счастья, сидя по ночам над рукописью, приехавшей с Урала. Он был накануне избавленья от юношеской ужасной угрюмости. И читатель сквозь опять-таки сложнейшие его нагромождения, где все летело кувырком и самые простые вещи излагались непростительно сложно* <...>

В начале «Лирики» мы были все уверены, что мы символисты. Так Асеев и писал о Боре. А Боря сам писал о символизме и бессмертии, я же воспевал символизм как что-то вроде открытия нового мира. Но в наш с Н. Асеевым мир вошел Б. Пастернак, мы

шарахнулись от теософии, на нашем горизонте появились Хлебников и Маяковский, и мы почувствовали, что символическим бредням и кривляньям пришел конец.

Б. П., а также Н. А, войдя, нередко частично и как-то боком, в эту компанию, внесли в нее некоторую точность, определенность. И дух какого-то «рисованья с натуры»... А при всем том — четкий стих Н. А. и, с другой стороны, глубину эстетической общности Б. П., но не той надуманной, ходульной общности, которая (свойственна) символистам. А. Белый не понимал — так и не понял до конца своего — всей силы и резкости нашего поворота от символизма, поворота окончательного и бесповоротного, ибо говорил о футуристах злобно: «В них нет ничего, чего не было бы в нас...» А на самом деле было — это была стихия иного, стихия следования объективному; но не ходульных выдумок символистов, ходульных и никому душевно не нужных. <...>

Символисты, в сущности, не знали живого пейзажа. «О, весна без конца и без краю...» — писал Блок в своих неопределенных аллегориях. Б. П. говорил прямо: «Нет сил никаких у вечерних стрижей...» — и читатель попадал, минуя все аллегорические закоулки модернистов, в подлинно весенний ветер свистящих крыл. Поэзия обрела самое себя. <...>

Может быть, «Черный бокал»4 был не бог весть какой программной статьей (пожалуй, это была первая попытка высмеять «грубый социологизм»). Но, тем не менее, это была крохотная, вполне философическая «программа действий» нашей маленькой, но довольно даровитой кучки. Это уже была не та «сердитая взбучка», которой разразился наш первый сборник, о котором Белый писал с ненавистью: «Не человек, а чудовище — руко-ног...» Боря был не на краю этого своеобразного сектантства литературного, но в самой его гуще, и, что бы он ни говорил позд-

* Обрыв в оригинале.

нее, в 1916 году он всей грудью защищал свою собственную позицию от тех схем, которые были так дороги Горькому и Суханову5. Прав он был в этом с исторической точки зрения или нет — это уже совсем иной вопрос. Во всяком случае, не столь не прав, как в те годы, когда он сочинял «Д<октора> Ж<иваго>».

Лев Горнунг

ВСТРЕЧА ЗА ВСТРЕЧЕЙ По дневниковым записям

До непосредственных встреч и близкого знакомства с Пастернаком я видел его несколько раз на Никитском бульваре в Доме печати (№ 8).

Это было еще в 1922 году.

По-видимому, он тогда только что женился и приходил уже с женой. Оба были очень молоды. Постоянно их окружали близкие друзья. Я слышал, как его называли просто Борисом, а ее — Женечкой. С детства я всегда отличался большой наблюдательностью, был замкнут и молчалив, всегда очень внимательно схватывал и запоминал все, вплоть до деталей. Это свойство у меня осталось на всю жизнь, пока сохранялось зрение.

Время, о котором я говорю, было самое начало моего соприкосновения с современной поэзией. Этим я во многом обязан моему старшему брату Борису1, который направлял меня и многое в поэзии сам уже знал. От него я услышал и о первых двух книгах Бориса Леонидовича «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров». Я еще плохо в них разбирался, это был слишком новый стиль в поэзии, к которому надо было привыкнуть и входить в него.

Держась в отдалении в Доме печати, я присматривался и прислушивался к Пастернаку и тем временем как-то привыкал к нему. Он был какой-то особенный, ни на кого не похожий, в разговоре сумбурный, сыпал метафорами, перескакивал с одного образа на другой, что-то бубнил, гудел и всегда улыбался. Помню, как сейчас, его

сидящим на диване рядом с женой. Возле них свободные места никем не заняты, полукругом перед ними стоит молодежь, и Пастернак ведет разговор, шумно отвечает на вопросы. Сидящая рядом Женечка, с большой копной темных вьющихся волос, иногда участвует в разговоре и тоже улыбается.

23 ноября 1923

Вечером собрались у Анисимовых, в Мертвом переулке, во дворе, на втором этаже деревянного домика. Туда меня пригласил поэт Петр Зайцев2. Я вошел в комнату. На матраце, лежащем на полу, без обивки и без ножек, из которого кверху торчали обнаженные пружины, на самом краешке деревянной рамы сидели Борис Леонидович Пастернак и поэт Петр Никанорович Зайцев. Юлиан Павлович Анисимов сидел против них прямо на полу, по-турецки поджав ноги. На одном стуле сидел писатель Сергей Сергеевич Заяицкий3, на второй, еще свободный, трехногий, сел я с риском свалиться на пол.

В комнате, кроме матраца и стульев, другой мебели не было, на стене висели старинные рисунки, а в углу лежали книги.

Это было время, когда после Октябрьской революции, пролетевшей как буря и выбившей всех из привычной жизненной колеи, московская интеллигенция жила, не обращая внимания на обстановку, на быт, и потому поэты и художники, обычно склонные к богеме, в какой-то степени легче других приспособились к неудобствам жизни.

К нам вошла Вера Оскаровна Станевич, известная переводчица с европейских языков, жена Юлиана Павловича. Она предложила перейти в другую комнату. Вторая комната была больше размером. В ней стояли рояль, кровать, стол, несколько стульев.

Юлиан Анисимов прочел свои переводы из немецкого поэта Моргенштерна. Перевод хвалили за точность. После чая Борис Пастернак предложил прочесть свою поэму «Высокая болезнь», которая нам всем очень понравилась. Анисимов и Заяицкий высказали свои замечания.

5 декабря 1923

В нашем поэтическом кружке на квартире у Петра Никано-ровича Зайцева сегодня был вечер Сергея Заяицкого. Он прочел свою поэму «Вьюга московская» и много хороших стихотворений. Среди присутствовавших был Борис Пастернак, который привел с собой в первый раз в наш кружок поэта Дмитрия Петровского. По поводу чтения высказывались и Пастернак, и Петровский, и др.

12 марта 1924

Сегодня в нашем «Зайцевском» кружке Борис Пастернак прочел свой новый рассказ «Воздушные пути». Мы слушали с большим интересом и благодарили его. Среди присутствовавших были: София Парнок4, Александр Ромм5, Сергей Заяицкий и я с братом Борисом.

21 марта 1924

Сегодня в литературном кружке у Петра Зайцева был вечер Максимилиана Волошина. Волошин читал свои стихи последних лет, нигде не напечатанные. Это был его первый приезд в Москву после 1917 года. На чтении стихов среди присутствовавших был и Борис Пастернак, с которым я теперь уже достаточно сблизился, и между нами было взаимное расположение. Каждая встреча с ним была радостью и всегда оживляла и как-то озаряла всякое наше собрание.

Начало мая 1925

Художник Леонид Осипович Пастернак, живший в то время в Берлине с женой и дочерьми, собирался устроить выставку своих работ и просил Бориса Леонидовича прислать ему в ящиках большую часть картин, висевших в московской квартире.

Поскольку я уже работал на выставке и имел дело с упаковкой картин, я вызвался помочь ему. Когда пришел на Волхонку, 14, где он жил, я увидел много работ,

собранных из разных комнат квартиры. Тут было и «Поздравление» — день серебряной свадьбы (два сына и две дочери с букетами цветов перед родителями), и отдельные портреты детей художника. Большая часть произведений написана пастелью. Мне нравились и самый стиль работ Пастернака, очень своеобразный, немножко в новой манере, но реалистичный, и самая техника пастели. Я с детства был знаком с целым рядом работ Леонида Пастернака. Мой отец в начале века ежегодно выписывал журнал «Нива». Каждый год журнал переплетался в два большие тома, и я очень любил рассматривать там бесчисленные картинки. Помню, в одном из этих томов были напечатаны большие, во весь лист, иллюстрации Леонида Пастернака к роману Льва Толстого «Воскресение». Почему-то на всю жизнь запомнилась Катюша Маслова, стоящая перед судом, и по бокам ее два конвойных солдата. Лицо одного из солдат было замечательно по характеру русского простонародного типа. И запомнился еще сам князь Нехлюдов, лежащий в кровати.

Кроме того, в моей детской коллекции открыток было несколько цветных репродукций с картин Леонида Пастернака в издании «Общины св. Евгении».

В начале мая я ехал в трамвае со своей знакомой, мы о чем-то говорили и смеялись. Отношения у нас были дружеские, во многом связанные с интересом к современной поэзии и книгам вообще. Не помню сейчас, куда мы с ней собрались, может быть, в музей или на выставку. Увлекшись разговором, я не замечал ничего вокруг, но, случайно поглядев вперед, увидел в глубине трамвая сидящего лицом в нашу сторону Бориса Пастернака. Он смотрел на нас и улыбался. Я поздоровался с ним, но был смущен этой неожиданной встречей. Он сошел с трамвая раньше нас.

Через несколько дней, когда в издательстве «Круг» вышел сборник рассказов Пастернака, Борис Леонидович подарил мне эту книгу с большой надписью на титульном листе. Только он мог надписать книгу так широко и щедро, в отличие от прочих авторов, обычно не идущих дальше нескольких слов, хотя бы и хороших. Он писал под впечатлением нашей встречи в трамвае и, назвав меня человеком завидного характера, пророчил мне неожиданную женитьбу. И добавлял: «Если ошибусь, перестану вглядываться в людей».

Конечно, в данном случае он ошибся, но думаю, как человек большого духовного содержания, вглядываться в людей он не перестал.

17 мая 1925

Узнал сегодня, что Маяковский, Пастернак и Асеев решили устроить вечер в пользу Анны Ахматовой6. 6 ноября 1925

В нашем литературном кружке со вчерашнего дня начался сбор подписей под адресом Михаилу Кузмину по случаю двадцатилетия его литературной деятельности, начавшейся в журнале «Весы». Его издавал владелец издательства «Скорпион» С. А Поляков.

Мне было поручено получить подпись у Бориса Пастернака. Борис Леонидович сказал мне, что готов подписать с большой радостью, так как очень любит стихи Михаила Кузмина, хотя тот, вероятно, этого не знает7.

Тут же Борис Леонидович сделал мне надпись на оттиске главы из «Спекторского», напечатанной в альманахе «Круг». Эта глава не вошла в первое издание поэмы. Мне повезло, так как он только что получил несколько этих оттисков.

Вечером на Тверском бульваре, 25, в старом большом особняке, состоялось открытие Дома Герцена и чествование Кузмина.

2 января 1926

Утром до работы отнес Борису Пастернаку первый сборник издательства «Центрифуги» «Руконог», который он у меня просил.

Говорил с ним о Выставке Революционного искусства современного Запада, по организации которой в то время я работал (с 21 ноября 1925 года я работал в Государственной Академии художественных наук, сокращенно ГАХН, в качестве секретаря выставочного комитета). Мы получили много книг современных немецких революционных поэтов (Иоганнес Бехер, Эрих Мюзам и многие другие). Борис Леонидович просил принести ему какие-нибудь стихи этих поэтов, так как Николай Тихонов заказал ему переводы для сборника «Восток и Запад». Я обещал.

20 января 1926

Вечером принес Борису Пастернаку список тех немецких поэтов, которые лежат в ГАХНе на книжной полке для выставки, и он обещал отметить то, что его интересует.

Борис Леонидович рассказал мне, что ему прислали из редакции «Ленинградской правды» анкету с вопросами8 о положении современной поэзии. Эта анкета рассылалась литераторам Москвы и Ленинграда. Он сказал, что относится к ней несерьезно и ответил на вопросы иронически.

21 января 1926

Сегодня опять был у Пастернака и принес ему книги немецких поэтов, которые он отобрал по списку. Он меня познакомил со своим гостем — это был американец Ланц9, профессор русской литературы. По-русски он говорил с трудом.

Неожиданно пришел Алексей Крученых10, сразу же вытащил из кармана несколько экземпляров своей новой брошюры о Есенине и раздал нам. Потом он читал свои стихи металлическим, пронзительным голосом.

Борис Леонидович, который не стеснялся Крученых, от души хохотал, слушая его, а Ланц старался отнестись серьезно, в первый раз узнав этого поэта, и пытался уяснить и правильно понять теорию заумного стиха.

Мы все собрались уходить и уже одевались, но в дверь постучал неожиданный гость — поэт Дмитрий Петровский11. Видя, что мы уходим, он все же вытащил из кармана какие-то листки, свернутые в трубочку, и со свойственной ему одержимостью, стоя в дверях, начал читать свои новые стихи. Ланцу все это было в диковинку, но бедного Бориса Леонидовича мне было жаль.

Пользуясь его мягким и гостеприимным характером, к нему постоянно являлись разные молодые поэты, из которых некоторые были настойчивы и утомительны.

Нам пришлось еще долго стоять в передней, так как снова начал говорить Крученых своим высоким голосом и скороговоркой. Он решил вспомнить о 1913 годе, о том, как был напечатан сборник «Пощечина общественному вкусу».

Он рассказал, какой талант убеждать и уговаривать кого угодно был у Давида Бурлюка12. Эта организаторская способность была его почти дипломатической должностью среди «футуристической братии», и в «Пощечине» Давид Бурлюк был главным инициатором «бросить Пушкина за борт современности».

«Теперь, по слухам, в Америке, — сказал Крученых, — его энергия уходит на все, что попадется ему под руку. Говорят, что, когда туда приехал художник Судейкин13, он не знал, с чего начать. Хотел устроить свою выставку. За это дело взялся Бурлюк, и через неделю Судейкина будет знать вся Америка, будет реклама, и на выставку пойдут толпы народа».

22 января 1926

Я всегда ходил с Балчуга на Кропоткинскую в ГАХН пешком по Волхонке. Поэтому, возвращаясь с работы, я часто заходил по дороге к Пастернаку или занести книгу, или что-нибудь сообщить. Так было и сегодня. Оказалось, что Борис Леонидович только что звонил мне на работу и не застал меня там. Пастернак рассказал мне, что получил из Парижа письмо от Марины Цветаевой. Она просит его прислать ей все, что можно найти среди печатных изданий о Сергее Есенине, особенно

о его последних днях. Я обещал ему помочь. Московские журналы и другие издания мне отыскать было нетрудно, а все, что напечатано в ленинградских журналах и газетах, я надеялся получить через поэта Павла Лукницкого14.

Я всегда был счастлив, когда Пастернак просил меня в чем-нибудь ему помочь. Для меня это была большая радость. И как можно было отказать ему, такому чуткому и отзывчивому ко всем человеку.

23 января 1926

Наш выставочный комитет привлек для работы в англо-американском отделе выставки молодого и подающего большие надежды специалиста по этой литературе Ивана Александровича Кашкина15. Рыжий, близорукий и потому в очках, рассеянный и всегда очень милый и симпатичный, Кашкин сегодня, когда я был у него по делам выставки, расспрашивал меня, что у нас нового и какие английские книги получены за последнее время. Кстати, я рассказал ему, что встретил у Пастернака профессора Ланца. Кашкин о нем не слышал, но очень заинтересовался им и спросил, нельзя ли через Ланца получить какие-нибудь материалы о новейшей англо-американской литературе. Это та область, в которой работает Кашкин в настоящее время. Я сказал, что не знаю, и дал ему телефон Пастернака. При этом я напомнил Каш-кину, что главный редактор «Востока и Запада» Николай Тихонов заказал Пастернаку переводы немецких поэтов, и попросил узнать, не может ли Пастернак получить аванс под эти переводы, так как он сейчас нуждается. 1 февраля 1926

Утром получил по почте от Павла Лукницкого пакет с есенинским материалом. Торопился на работу, взял пакет с собой. Вечером был у Пастернака.

Вместе читали присланные вырезки из газет и журналов, статьи Н. Тихонова, Б. Лавренева и письмо самого Лукницкого о последних днях Есенина. Пастернак очень заинтересовался этими материалами. Там удивительно много ценного. Говорили о том, как переслать вырезки Цветаевой. Пастернак хочет посоветоваться с профессором П. С. Коганом или еще с кем-нибудь. Борис Леонидович сказал мне: «Есенин так недружески относился ко мне, что я не мог строить свое отношение к нему, не основываясь на этом». После этих слов, произнесенных в раздумье, Пастернак, вероятно, вспомнил свои последние столкновения с Есениным и продолжал: «И тем не менее смерть его поразила меня, чувствую какое-то оцепенение, будто у самого петля на шее. — И добавил: — Вчера ко мне заходил Мандельштам. Говорили о Есенине. У него такое же чувство, как у Тихонова в этих вырезках».

12 февраля 1926

Был у Пастернака и сегодня. Застал его в большом расстройстве. Он меня встретил восклицанием: «Ну, сейчас будет водевиль!» Выяснилось, что сегодня в Колонном зале Дома союзов диспут «Современная Россия», посвященный литературе сегодняшнего дня, наболевшему вопросу об отсутствии читателя: что нужно, чтобы установить с ним связь, что нужно писать, читать и тому подобное.

Борис Леонидович вышел, чтобы написать записку на случай приезда представителя от организаторов диспута о том, что он болен. Но вместе с тем он волновался, говорил, что ему неудобно, что, если будут настаивать, он не выдержит и согласится. А ехать ему не хотелось. «Конечно, это очень интересная и близкая тема, и как раз мы с вами вчера говорили об этом. Но как это можно начать говорить об этом на эстраде, так сразу — с кондачка, перед публикой», — говорил он, обращаясь ко мне.

Сегодня он познакомил меня со своим братом Александром Леонидовичем, архитектором, недавно приехавшим от отца из

Берлина. Туг же была и жена брата Ирина Николаевна16, красивая и симпатичная. Александр Леонидович, здороваясь со мной, сказал: «Очень рад с вами познакомиться, Боря мне уже говорил о вас».

Мы сели пить чай. Борис Леонидович временами хватался за голову и говорил: «Как это можно спокойно пить чай, хотя бы и холодный, как этот, когда каждую минуту могут приехать за мной». А рядом на стене висела злополучная афиша с именами участников диспута.

За чаем зашел разговор о только что открывшейся в ІАХНе выставке скульптора-анималиста Василия Алексеевича Ватаги-на17. Евгения Владимировна спросила Бориса, не будет ли он на выставке их «Общества молодых художников» (ОБМОХу), и когда он сказал, что не будет, она, как бы обидевшись, но улыбаясь, бросила ему: «Собака!» Пастернак засмеялся.

Мы остались с Борисом Леонидовичем одни в столовой, потому что его брат с Ириной Николаевной перешли в соседнюю комнату играть в шахматы. В это время из кухни известили, что кто-то приехал, спрашивает Пастернака. Борис Леонидович побежал просить брата снести записку и ни за что не хотел идти сам, хотя приехавший относительно диспута едва ли знал его в лицо.

Я принес с собой кое-что из моего Гумилева. Он с жадностью набросился на «Отравленную тунику» (трагедия в стихах на античную тему) и на сборник стихов «К синей звезде».

«Это мне напоминает детство. Я сам отошел в историю. Теперь стихи стали баснями. И вот, читая это, я почувствовал, что кончился», — говорил он. «Вы для меня не кончались. Наоборот, я жду от вас очень многого». Тут он принес показать и прочел мне продолжение «Спекторского», строк сто, которыми он заканчивает первую часть: разговор с приехавшей сестрой и проводы ее на поезд. Говорил, что будет писать дальше.

Так мы просидели и проговорили до первого часа ночи. Я уже надевал пальто и снова садился, снова вставал, но разговор опять продолжался. Говорили о Мандельштаме и об Ахматовой, о Куз-мине и вообще о Петербурге. Я рассказывал о себе.

Вероятно, отталкиваясь от «Спекторского», Пастернак заговорил о роли биографии в литературе, думая, что я буду возражать, придерживаясь гумилевского взгляда на поэзию, отчужденную от жизни. Я объяснил, что и у Гумилева это было больше на словах, и привел ему примеры и согласился с ним относительно «Вертера». «Ведь лучшие произведения хранят в себе биографическую основу, но все это важно для их создания, а мы должны принимать готовое как оно есть, не допытываться и не искать причин». — «Нуда, нуда», — соглашался Пастернак.

И снова он возвращался к себе, говорил, что он сейчас не нужен, что здесь он не нашел ни одного отзыва ни о «Спекторском», ни о рассказах, и это характерно. А за границей появилось кое-что о нем. «Отец пишет, жалуется, что я не отвечаю, что до него окольными путями, опять-таки там, доходят слухи о том же "Спекторском", а я не могу...» — и он отмахивался рукой.

«Какая замечательная вещь эта "История графа Калиостро", — заговорил он снова, возвращаясь к Кузмину. — Я не знаю, читают ли Кузмина сейчас, вероятно, нет». Я, конечно, соглашался с ним в оценке, говорили о «Плавающих и путешествующих» и о другой неоконченной прозе Кузмина.

Узнав, что я не был в Петербурге, он издал что-то вроде крика отчаяния, рассыпался в восторженной похвале городу и повеселел. Говорил о широте, которая открывается из-за угла, о Казанском соборе, открывающем площадь, о призрачности архитектуры, которую надо обязательно видеть самому, о сходстве ее с Италией, с Венецией.

И рассказывал о Венеции, говорил о туристах, которые носятся со дня приезда и осматривают, осматривают до одурения, менее требовательные катаются в гондолах.

Говорил, что какой-нибудь англичанин, уложив все вещи и оплатив счета, выходит к поданной гондоле, старается охватить глазами окружающее и, в отчаянии махнув рукой, бросается в гондолу. «Там все это сжато в одно пространство, все какого-то маленького размера, войдет в карман. А на пьяцце чувствуешь себя как дома. Из дома выходишь, не переступая порога. Играет оркестр посредине площади, и толпятся танцующие. Так же привязываешься и к Петербургу и, как расставаясь с любимой женщиной, хочется прийти в последний раз и сказать то, что говорил раньше, повторить, как по шаблону, — так и уезжая оттуда, хочется обойти и осмотреть, как в первый раз. Нет, вам обязательно надо поехать туда, ну что вам стоит. Билет, кажется, девять рублей». — «Не уговаривайте меня, я это слишком хорошо знаю и помню, об этом думаю все эти годы», — сказал я, прощаясь наконец. Он не знает, что мне это не так просто, не так много я получаю за свою работу, и все уходит на жизнь.

19 февраля 1926

Сегодня Борис Леонидович возвратил мне мой альбомчик в черном переплете, куда он вписал четыре стихотворения из книг «Сестра моя, жизнь» и «Темы и вариации». Вот эти стихи:

«Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе...», «Весна, я с улицы, где тополь удивлен...», «Мчались звезды, в море мылись мысы...», «Мефистофель».

Пастернак попросил меня дать ему статьи Гумилева и сказал, что хочет писать о его поэзии в связи с нашими разговорами.

1 марта 1926

Сегодня в ГАХНе был устроен литературно-художественный вечер с благотворительной целью для помощи поэту Максимилиану Волошину.

Михаил Булгаков прочел по рукописи «Похождения Чичикова», как бы добавление к «Мертвым душам». Писатель Юрий Слезкин прочел свой рассказ «Бандит». Борис Пастернак читал два отрывка из поэмы «1905 год»: «В студии отца» и «Броненосец "Потемкин"».

Поэт Сергей Шервинский прочел четыре стихотворения из цикла «Киммерийские сонеты».

Павел Антокольский прочел несколько своих стихотворений.

Пианист и композитор Самуил Фейнберг18 играл свои фортепианные произведения.

Актер Московского камерного театра Александр Румнев исполнил в танце «Гавот» Сергея Прокофьева в своей балетной постановке.

Писатель В. Вересаев прочел отрывки из своей автобиографической повести. 8 марта 1926

Сегодня утром мне на работу в ГАХН позвонил Пастернак. Он сказал, что в Москву приехала Анна Ахматова, что он виделся с ней и что она хочет встретиться со мной и просит меня зайти. До сих пор я был с ней знаком только заочно и переписывался через Лукницкого. Пастернак сообщил мне, что Ахматова остановилась в комнате своего бывшего мужа Владимира Казимировича Шилейко19. Борис Леонидович объяснил мне, что я найду Анну Андреевну в Морозовском особняке (на Кропоткинской, 21), где развернут музей «Новой западной живописи».

25 марта 1926

Борис Леонидович просил меня помочь ему продать журналы «The Studio», говорил, что лишние книги — обуза и нельзя быть врагом книг, складывая их по углам. Что это ему мешает жить и чувствовать себя свободным. Но вместе с тем говорил, как бывает легко терять книги. Он рассказал, что в 1915 году служил гувернером в немецкой семье Филиппов на Пречистенке в доме № 1020.

Имея отдельную комнату с полным обслуживанием, он держал там и свои книги, но лишился всего этого во время погрома немцев. Сюртук его уцелел благодаря тому, что попал в дворницкую.

4 апреля 1926

Вернувшись из Ленинграда, вечером зашел к Борису Леонидовичу на Волхонку в д. 14. Его не было дома, но я оставил для него фото Ахматовой, на котором она изображена лежащей в позе сфинкса на пьедестале. Она дала мне это фото с надписью в Ленинграде для передачи Пастернаку.

5 апреля 1926

Сегодня вечером я снова отправился к Борису Пастернаку, принес ему обещанные книги, остался у него и рассказывал о моей поездке в Ленинград и о встречах с Ахматовой.

Борис Леонидович сказал, что хочет написать Анне Андреевне о выходе из печати антологии «Новая Москва».

В Берлине в издательстве «Петрополис» вышли три книжечки Гумилева — «Колчан», «К синей звезде» и «Французские народные песни». Я попросил Бориса Леонидовича достать их для меня, может быть, через его сестер.

В это время пришел поэт Сергей Павлович Бобров, и я простился с Пастернаком.

6 апреля 1926

Вечером отнес Пастернаку акварель Волошина, окантованную мной.

11 апреля 1926

У Пастернака разбирал журнал «The Studio» вместе с ним по годам.

Маленького Женю я в первый раз увидел в 1925 году, когда ему было года два. И вот теперь, когда он подрос на год, он по-прежнему был удивительно тихим ребенком. Не помню, чтобы во время моих, хотя бы и недолгих, заходов к Пастернаку он когда-нибудь шумел, плакал, приставал к взрослым или мешал при разговоре. Взрослые жили своей жизнью, он — своей. Обычно он сидел в комнате Бориса Леонидовича под обеденным столом, у окна, где были собраны все его игрушки, и самостоятельно играл с ними.

8 мая 1926

Забежал между делом к Пастернаку. Говорили с ним об английской забастовке. 8 июня 1926

Написал Лукницкому о том, что Пастернак заканчивает поэму «Лейтенант Шмидт» и одновременно работает над поэмой

«1905 год». Борис Леонидович набрал еще много всякой переводческой работы, чтобы иметь возможность отправить на время жену и сына к Леониду Пастернаку в Берлин. 18 февраля 1929

Сегодня по совету Пастернака поехал к Алексею Крученых за «Неизданным Хлебниковым»21. Поднялся без лифта на восьмой этаж жилого дома во дворе ВХУТЕМАСа. Позвонил. Долго никакого ответа. Потом шаги. Потом голос Крученых. Не сразу открыв дверь, он предстал передо мной в одном нижнем белье, это в пятом-то часу дня. Он провел меня в комнату и предложил сесть на ворох книг на диване и начал приводить себя в порядок. В это время мы разговаривали. Увидав у меня в руках газету, он спросил, не лежит ли у меня в ней что-нибудь интересное. Потом начал выискивать из-под бумаг нужные мне выпуски Хлебникова, перелистывая, давал объяснения и присоединил еще «Турнир поэтов» и «Литературные шутки» по той же цене. Наконец, подарил мне «Записную книжку Велимира Хлебникова» и «15 лет футуризма». Я взял лишний экземпляр «Завещания» Хлебникова для Лукницкого и, расплатившись с Крученых, собрался уходить. Провожал он меня более разговорчиво, чем встретил. Мне редко приходилось сталкиваться с Крученых, тем более с глазу на

глаз, и впервые в его домашней обстановке. В его обществе я всегда чувствовал себя неловко. Потому я почувствовал некоторое облегчение, когда его металлический голос замолк, дверь захлопнулась, и я начал спускаться в бездну лестничной клетки. Лифт не работал. Но в руках у меня был Хлебников, и это было приятно.

21 апреля 1929

Вышла «Охранная грамота» Пастернака. В первый раз прочел. Очень хорошо. 30 октября 1929

Я пришел к Пастернаку, и он прочел мне конец поэмы «Спекторский». 2 декабря 1929

После службы пошел к Пастернаку. Узнал от него, что рукопись «Спекторского» послана в Ленгиз, но Медведев22 ответил оттуда, что есть какие-то затруднения с печатанием из-за редакционных неувязок. Борис Леонидович смущен: «Переделывать невозможно...» Кроме того, он очень рассчитывал на получение гонорара.

Замечательно интересно говорить с Борисом Леонидовичем, и легко, и приятно, но разговор всегда до того импрессионистичен, что после трудно вспоминать подробности, если не записать их сразу.

Он сказал, между прочим, что когда после написания первых глав он перечитывал рукопись, то «Спекторский» представлялся ему как вещь с реальной фабулой. Но в процессе работы все осложнилось. Думая о конце поэмы, он предполагал, что все устроится, как нужно. «Сейчас же творится такое, что нельзя связать ничего». Он сказал далее, что в 13-м году он ломал себя, переделывал всего и не думал, что все это окажется ни к чему. Он и теперь считал, что сможет связать конец «Спекторского» с задуманным планом, например, определить героя на службу и пр., но что «это противоречит всему».

«Есть люди, пишущие радостно, но не все же. Для Гоголя всякое писание было трагедией. Я пишу только от несчастья. И так было всегда. Я понимаю, что если смотреть с точки зрения современных требований абсолютно трезво и рассудочно, то все мои писания — бред. Ранние вещи более понятны».

Пастернак сказал далее: «Я хотел бы надолго уйти от всего, если бы был обеспечен. Не стал бы печатать сейчас конец "Спекторского", дал бы ему отлежаться и переделал бы его. При втором издании "Из двух книг", перечитывая свои стихи в корректуре, я пришел от них в ужас. Футуризм отжил. Для меня живут только стихи, переделанные позднее. Маяковский и Асеев переменились, и я не могу оставаться самим собой. Впрочем, увидев стихи напечатанными, я успокоился.

Я не живу сейчас. Дома, когда ко мне приходят, я в ужасе, так как сам не чувствую себя дома, все временно. Убрал со стен многие произведения отца. Спокойнее только в гостях...»

Борис Леонидович рассказал, что к первому изданию книги стихов «Сестра моя, жизнь» художник Конашевич нарисовал обложку из разных узорчиков. Когда Пастернак увидел ее, ему показалось, что обложка напоминает кружевное «dessous»*. Ее стали бы сравнивать с женским названием книги, было бы иное восприятие. Теперь же, при четвертом издании книги, можно было бы дать любую обложку. «Сестра» была бы видна сквозь всякие кружевные панталоны. Тогда же он побежал к издателю Гржеби-ну, обещал сам заплатить Конашевичу и умолял снять рисунок обложки.

Ко второму изданию книги стихов «Поверх барьеров» ему также показали обложку, где обе строки (автор и название книги) были переломлены пополам посреди слов. Пастернак упросил

* Дамское белье (фр.). 83

Гольцева сделать на синем фоне желтые буквы в прямую линию и даже не смотрел в корректуре и остался доволен обложкой. Кона-шевич же, вероятно, зол на него за ту обложку к «Сестре».

Вспомнив о недавно состоявшемся в Доме ученых литературном юбилее Юрия Верховского23, Пастернак сказал, что жалеет, что не был на нем.

Мне надписал две книжки «Из двух книг» и «Сестра моя, жизнь».

14 апреля 1930

Сергей Шервинский сообщил мне о самоубийстве Маяковского. Это меня поразило как громом, до такой степени это было неожиданно. Трудно было поверить.

После работы с Пречистенки, 32, я сразу пошел на Волхонку к Борису Леонидовичу.

Он совершенно убит случившимся. Говоря о Маяковском, вспомнил о разговоре о нем с Ахматовой.

Сказал, что уже пишет о Маяковском в газету, вероятно, в «Известия». Рассказал, что видал Маяковского, лежавшего в гробу в Союзе писателей. «Он лежит совсем молодой, красивый, двадцатидвухлетний».

(Между прочим, в первые годы нашего общения, кажется, в 1925-1926 годах, у себя дома Пастернак раза два-три сказал мне: «Как вы мне напоминаете молодого Маяковского».)

15 января 1931

Сегодня был концерт В. В. Софроницкого24 в Большом зале Консерватории. Среди публики столкнулся с Пастернаком и Евгенией Владимировной. Борис Леонидович сказал, что скоро выйдет отдельной книжкой «Спекторский».

28 марта 1931

Сегодня в ФОСПе (Федеративное Объединение советских писателей) Борис Пастернак читает свою поэму «Спекторский» и стихи.

18 августа 1931

Вместе с Александром Леонидовичем я фотографировал из окна квартиры Пастернака на Волхонке храм Христа Спасителя, приготовленный для взрыва.

Золото с купола уже снято, и остался только огромный металлический каркас.

11 января 1932

Встретил художника Леонида Евгеньевича Фейнберга25 на улице. Он затащил меня к себе, в свою квартиру на Маросейке.

Оказалось, что у его старшего брата, Самуила Евгеньевича, музыканта, в гостях Борис Пастернак. Он пришел попросить партитуру опер Вагнера «Кольцо Нибелунгов», будет переводить заново текст либретто на русский язык.

Встречей со мной был смущен, извинился, что не ответил на мое недавнее письмо, и сознался, что не сделал ничего относительно моей просьбы. Я утешал его, а Леонид Евгеньевич шутя сказал: «Это нехорошо — не отвечать на письма!» За чаем Пастернак был, как всегда, хорош и обаятелен. Говорил хаотично, перескакивал с одной темы на другую.

10 мая 1932

Сегодня, когда шел к Александру Соломоновичу Шору (главному настройщику Московской Консерватории и хранителю всех музыкальных инструментов, а также чудесному и симпатичному человеку), около его дома позади Музея изобразительных искусств столкнулся с Борисом Пастернаком. Давно не видался с ним. Он был почему-то в расстроенном состоянии. Сразу начал жаловаться на трудности жизни. Сказал: «Пора помирать. Все так трудно: и материально, и нравственно, и комнатно, и в смысле семьи». Говорил, что история с его разводом вызвана большим чувством, но все разбивается о современную жизнь. И писать он по-настоящему перестал. А чтоб

писать то, что сейчас обычно, нужно немного больше творческого подъема, чем вот для этого разговора со мной. И снова повторил, что приходит к заключению, что пора помирать.

Я старался утешить и ободрить его как мог. Говорил, что и мне, и всем очень нравятся его «Волны»26. Советовал выбраться из Москвы, отвлечься.

Пастернак сказал, что его мальчик сейчас болен скарлатиной.

1932 (?)

В Москву на гастроли из Германии приехал пианист Лео Сирота. Судя по фамилии, вероятно, он был эмигрантом с Украины.

В программе были фортепьянные фрагменты из балета Игоря Стравинского «Петрушка» и что-то другое, что меня заинтересовало. Концерт был в зале Дома ученых, и я отправился туда. Место мое было в первых рядах, справа от прохода.

Техника Лео Сироты была отличная, и русские плясовые мелодии из «Петрушки» прозвучали великолепно. Когда кончился концерт и публика еще не успела разойтись, кто-то из присутствующих вскочил на эстраду и закричал на весь зал: «Товарищи, здесь в зале находится поэт Пастернак, давайте попросим его прочесть стихи!» Публика откликнулась аплодисментами и возгласами: «Просим, просим!» По проходу к эстраде быстрым шагом подошел Борис Леонидович. Ему помогли забраться на эстраду, и он, смущенно улыбаясь и теребя волосы, пытался отказаться и бормотал: «Ну зачем это, я не знаю, что читать». И вдруг, поглядев в глубь зала с высоты эстрады, громко спросил: «Зина, как ты думаешь, что мне читать?» При этих словах все головы, как по команде, повернулись назад, и Зинаида Николаевна, вторая жена Пастернака, оказалась в центре внимания. Конечно, это привело ее в раздраженное состояние, и мы услышали из последних рядов зала недовольный голос: «Ну почем я знаю, читай что хочешь!»

Вероятно, этих ее слов было достаточно, и Борис Леонидович начал читать. Он прочел много стихов (к сожалению, я не успел записать каких), с подъемом, своим громким, немного тягучим, но таким знакомым и единственным голосом.

Успех был, как всегда, огромный. Аплодировали и просили читать еще и еще. Когда он кончил, все поднялись, многие подошли к нему. Зал быстро опустел. Пастернак присоединился к Зинаиде Николаевне, и они, окруженные близкими друзьями, разговаривая и прощаясь, двинулись к выходу.

1 июня 1932

Симфоническим оркестром дирижировал приехавший на гастроли из Лондона Коутс27. Солировал С. Е. Фейнберг. Среди публики много знакомых. Присутствовал и Б. Пастернак.

5 ноября 1933

Помогал художнику Леониду Фейнбергу при оформлении витрин на Кузнецком мосту к XVI годовщине Октября.

Когда я вышел из помещения «Международной книги», чтобы посмотреть с тротуара, как получилось оформление окна, столкнулся с Борисом Пастернаком. Я проводил его немного, и по дороге он рассказал, что должен ехать в Тбилиси, где будет переводить грузинских поэтов.

3 октября 1936

Встретил на улице Горького Пастернака. Он еще на даче и хочет остаться там на зиму, жаловался на усталость.

Говорил мне, что поэмы «Хорошо» и «Владимир Ленин» очень понравились наверху и что было предположение, что Владимир Владимирович будет писать такие же похвалы и главному хозяину. Этот прием был принят на Востоке, особенно при

дворе персидских шахов, когда придворные поэты должны были воспевать их достоинства в преувеличенных хвалебных словах, — но после этих поэм

Маяковского не стало. Борис Леонидович сказал мне, что намеками ему было предложено взять на себя эту роль, но он пришел от этого в ужас и умолял не рассчитывать на него; к счастью, никаких мер против него не было принято. Какая-то судьба его хранила. 1 декабря 1936

Мы с поэтом Андреем Владимировичем Звенигородским28 решили поехать в Переделкино, навестить Бориса Пастернака у него на даче. Оттепели не было, но стояла мягкая погода. Когда мы пришли, Борис Леонидович бурно обрадовался и удивлялся, как это мы неожиданно собрались к нему. Я сказал, что мы решили его сфотографировать и что это было главным толчком к нашему приезду. Сперва я попробовал снимать его в комнате, где мы находились. Из-за пасмурной погоды было очень мало света. Я просил его сесть на подоконник, ближе к свету, сделал 2-3 снимка. При этом освещении они не обещали быть удачными. Тогда решено было выйти наружу. Борис Леонидович надел легкое летнее пальто и фетровую шляпу. Я снял его и Звенигородского на свежевыпавшем снегу на фоне заборчика и деревьев недалеко от дома. От Пастернака мы со Звенигородским пошли на дачу к Артему Веселому, и там я его сфотографировал на застекленной веранде около верстака. Он столярничал и был с рубанком в руках, когда мы пришли.

Зима 1936/37

Не помню сейчас, какого числа это было. Сергей Васильевич Шервинский позвонил мне и предложил приехать к нему. Когда я вошел в эту давно знакомую большую квартиру старинного дома, возвращенного советским правительством бывшему домовладельцу — заслуженному профессору медицины Василию Дмитриевичу Шервинскому, мне сказали, что Сергей Васильевич в кабинете профессора, и я прошел туда. Это была огромная комната размером в 50 метров, в одной половине которой был когда-то зимний сад, и потому оконная стена была сплошь застекленной. В этой половине стоял письменный стол, за которым проводил свой прием профессор, в другой части этой половины помещался большой квадратный обеденный стол и стулья. Вторая часть комнаты была занята библиотекой профессора. Василий Дмитриевич был в своей спальне, куда он рано отправлялся на покой, ему было уже 87 лет. За обеденным столом я застал Сергея Васильевича и его гостей. Тут были: Борис Пастернак, Ираклий Андроников и Константин Липскеров29. Пили чай, разговаривали. Зашел разговор о последних работах Андроникова, и Шервинский сказал Ираклию: «Вот вам не приходилось изображать в своих устных рассказах Пастернака». — «Да, не приходилось, но могу попробовать». Андроников встал со своего стула, подошел к стене, возле которой сидел, взял в руки воображаемую телефонную трубку и, прислонясь плечом к стенке, где должен был находиться аппарат, набрал номер, и мы услышали голос Пастернака по телефону. Андроников точно подобрал голос, все интонации, и было полное впечатление, что это говорит сам Пастернак. Не помню сейчас содержания разговора. Андроников — Пастернак о чем-то сговаривался, что-то обещал, как-то мычал в паузах и произносил междометия. Все смеялись, но больше всех смеялся сам Борис Леонидович. 25 января 1939

В Детиздате встретился с Пастернаком, вместе получали в кассе деньги. Я — за перевод стихов для детей Ованеса Туманяна. 23 июня 1939

Ездил сегодня с Шервинским на их дачу «Старки». Встретился там с Елизаветой Михайловной Стеценко, преподававшей французский язык сыну Пастернака. Она мне рассказала о своем общении с его семьей. Вспомнила, как тяжело перенес маленький Женя уход отца из семьи.

6 апреля 1940

Сегодня чтение Пастернаком его перевода «Гамлета». Выступал Андроников.

27 апреля 1940

Сегодня страстная суббота. У Шервинских Анна Ахматова. Я завез ей целую пачку напечатанных ее фото, снятых мною летом 1936 года.

Анна Андреевна на этот раз была очень мила и разговорчива, гораздо более, чем обычно. Я попросил ее одно фото надписать для Бориса Пастернака.

28 апреля 1940

Анну Ахматову я поехал проводить на Ленинградский вокзал. Застал ее уже в вагоне. Среди провожающих встретился с художником А. А. Осмеркиным, автором портрета Анны Ахматовой. Давно его не видал.

Потом поехал к Пастернаку, отвез ему фото Ахматовой с надписью.

6 мая 1940

Я взял у Николая Вячеславовича Якушкина (внука декабриста) книги для Бориса Леонидовича. Отнес ему. Пастернак вышел из дома вместе со мной.

По дороге он говорил, что на него очень действует весна. Всюду жизнь, парочки военных с девицами. «Хочется достать часы и посмотреть — сколько еще осталось жить».

23 мая 1940

Борис Пастернак заболел. Около десяти дней у него боли в пояснице. Сегодня его отвезли в больницу. 2 июня 1940

Я позвонил Зинаиде Николаевне узнать о здоровье Бориса Леонидовича. Она сказала, что ему лучше, но надо кончить лечение, поэтому он еще недели три пролежит в Кремлевской больнице.

10 июня 1948

Марина Казимировна Баранович30 в молодости, кажется, была артисткой (помню, как она однажды читала с эстрады стихотворение «Ланята молятся», немецкого поэта Моргенштерна, переведенное Юлианом Анисимовым), потом работала переписчицей на машинке и в 1948 году весной читала мне первые главы романа «Доктор Живаго».

Узнав от меня, что мне хотелось бы сфотографировать Бориса Леонидовича, пока я еще более или менее вижу, сказала, что договорится с Пастернаком, и вот день съемки был назначен на 15 июня.

14 июня 1948

Был у Пастернака вместе с женой. Познакомил их. Договаривался о фотографировании его на завтрашний день. Стазе он очень понравился, и кажется, взаимно.

15 июня 1948

День был солнечный, я приготовил побольше фотопластинок и поднялся к Борису Пастернаку в его верхнюю квартиру на девятом этаже Дома писателей в Лаврушинском переулке. Борис Леонидович встретил меня шумными возгласами: «Вот, Марина решила, что меня надо снять, уговорила меня быть сегодня дома. Мне неудобно, что для вас это лишние хлопоты». Я ответил, что для меня это лишнее удовольствие и я только рад этому случаю. Вскоре пришла и Марина Баранович с большим букетом белых и розовых пионов, она поставила цветы в большой комнате на невысоком шкафчике у противооконной стены. Борис Леонидович был в хорошем настроении и позировал охотно. Вообще всегда за все время нашего знакомства общаться с ним было легко и приятно.

Первые снимки я сделал у этого шкафчика возле букета пионов. После напечатания снимков я остался очень доволен одним из них, на котором выражение лица было особенно удачным. Всем этот снимок тоже понравился. Сперва Борис Леонидович снимался в рубашке, которую он называл американской. На плечах ее было что-то

вроде погон, и была она голубоватого цвета. Потом по ходу съемки он надевал то светлый пиджак, то черный. Я снял его в том и другом пиджаке на фоне входной двери в квартиру. Тут же в темном углу был сделан снимок в полный профиль. Лицо было хорошо освещено из окна, но отдаленная стена вышла совсем черной. Мы вышли на балкон, и я снимал Бориса Леонидовича на фоне далекого Кремля, причем «Иван Великий» оказался на левом его плече. Эти два портрета, на балконе и в профиль, были напечатаны в большом томе стихотворений Пастернака (в издании «Библиотека поэта»). Потом я его снимал на фоне книжного шкафа, на фоне книг и сидящим у стола, в углу комнаты, возле окна. Последние два снимка были сделаны в передней перед зеркальным шкафом. Пастернак вышел снятым со спины, и был виден только его уходящий профиль, а в зеркальном отражении на меня смотрело его лицо.

Я отпечатал для Бориса Леонидовича довольно много снимков, сделанных в этот день, и он раздавал их охотно, и просил меня напечатать ему дополнительно еще. И иногда присылал ко мне кого-нибудь из своих знакомых, кому не хватило, и они получали их от меня непосредственно. Большей частью это был портрет, снятый возле пионов, который можно считать самым удачным.

17 июня 1948

Пастернак сказал мне, что ему удалось выхлопотать для Ахматовой в Литфонде ссуду на 3 тысячи рублей. Но необходимо ее заявление, и она отказывается его написать31.

23 июня 1948

Сегодня принес много фотографий, снятых мною, Борису Леонидовичу. Рассматривая их, он сказал мне: «Никто меня так хорошо не снимал».

Рассказал, что по поводу трудного положения Анны Ахматовой он звонил в ЦК и в Союз писателей. В результате было постановление выдать ей ссуду без ее заявления и дать ей переводческую работу.

Пастернак сказал мне, что 5 лет тому назад он чувствовал себя уже старым, а сейчас, работая над романом, чувствует себя помолодевшим. Говорил, что у него сейчас такой прилив энергии, что хочется сделать что-то очень большое.

28 июня 1948

Я часто встречался с Борисом Леонидовичем после 15 числа, когда была фотосъемка, принося ему отпечатанные фотографии. В один из этих дней я захватил с собой альбом, в котором у меня были автографы стихотворений разных поэтов, в основном близких и дорогих мне людей — Ахматовой, Мандельштама, Юрия Верховского, Софии Парнок и др. Я попросил Бориса Пастернака написать мне в этот альбом несколько стихотворений из его романа, те, которые мне особенно нравились, и он охотно согласился и оставил альбом у себя.

28 июня он исполнил мою просьбу и после стихотворений «Гамлет», «Зимняя ночь», «Рождественская звезда», «Земля», «Чудо» сделал небольшую, но милую, как это мог только он, приписку в конце: «Переписано Анастасии Васильевне и Льву Владимировичу Горнунгам на счастье. 28 июня 1948 г. Б. П.».

5 июля 1948

Марина Баранович, которая переписывает на машинке роман «Доктор Живаго», собрала у себя нескольких знакомых и читала нам главы из первой части романа Пастернака.

7 октября 1948

Сегодня я справился по телефону и, узнав, что Борис Пастернак находится на даче, решил отправиться и навестить его в Переделкине. Я захватил с собой несколько увеличенных его фотографий, снятых возле букета пионов, и попросил надписать мне

одну из них. Пастернак сделал тут же, при мне, карандашом большую надпись на оборотной стороне фотографии:

«Льву Владимировичу Горнунгу с пожеланием дожить нам всем до смысла и просветления, а ему лично — чтобы легче жилось ему и его милой жене.

Б. Пастернак

7окт. 1948г.»

На этот раз я был недолго у Бориса Леонидовича, чтобы не мешать ему работать, и уехал с хорошим настроением, увозя с собой еще одну реликвию — надписанный его фотопортрет.

Встречи с ним были всегда освещены его добрым отношением, и я буду их помнить всю жизнь.

4 декабря 1948

Я пришел к Борису Пастернаку в Дом писателей. Он был в своей верхней квартире. Как всегда, он был очень мил и радушен, обрадовался моему приходу. Он задержал меня в своем маленьком кабинетике (первая комната направо из передней).

Мы разговорились, он рассказывал о себе, говорил, как он далек сейчас от писательской организации и как ему трудно стало бывать на общих собраниях писателей, а ему постоянно присылают повестки на эти собрания, и он старается найти какой-то повод, чтобы объяснить свой неприход болезнью или срочной работой. Говорил об условиях нашей жизни, о том, какими стали сейчас люди, тут же ему пришло в голову сравнение. Он сказал, что Сталин напоминает ему светофор. Он что-то скажет, как бы дает какой-то свет, зеленый или красный, и все бегут в одну сторону и говорят только об одном, он даст другой свет, и все бросаются в противоположную сторону. Он говорил о своем романе «Доктор Живаго», что закончил первую часть и хочет приступать ко второй. Сказал, что придает большое значение этой работе, считает это свое произведение долгом перед литературой, перед жизнью и что, когда закончит эту книгу, «тогда можно и умирать спокойно».

В этот день он подарил мне две свои книжки — «Второе рождение» и «Спекторский» и надписал их обе, связав надписи с нашими разговорами. Вот одна из них — на книге «Второе рождение»:

«Льву Горнунгу. Дай нам бог когда-нибудь из всего этого выбраться и успеть собраться с мыслями.

Всего Вам лучшего!

4 дек. 1948 Ваш Б. П.»

Пастернак жаловался на осложнения с его переводом «Короля Лира» и был этим встревожен.

Борис Леонидович рассказал также, что приводит в порядок альбомы с рисунками отца и его записные книжки. Все это во время войны пострадало и дома, и на даче в Переделкине. Во время войны на крыше дома в Лаврушинском переулке стояла батарея ПВО, солдаты жили в его квартире.

31 декабря 1949

В новогодний вечер часов в 9 мы с Анастасией Васильевной вышли прогуляться. Погода была мягкая, шел небольшой снег. Жили мы на Балчуге на углу Садовнической набережной у Чугунного моста. Проходя мимо Лаврушинского переулка, мы решили поздравить Пастернаков с Новым годом. Когда мы поднялись наверх и позвонили, Борис Леонидович открыл нам дверь с обычным для него радушным приветствием и радостными восклицаниями. Разговор был недолгий, в дверях, и мы стали прощаться. Борис Леонидович сказал, что Зинаида Николаевна еще у себя в нижней квартире. Мы уже опустились на один марш лестницы, как Борис Леонидович, стоявший в раскрытой двери квартиры, закричал: «Стойте, стойте! Пока нет Зины, я вам отхвачу кусок вер-

туты» — и бросился в глубь квартиры. Он вышел, заворачивая на ходу в большой шуршащий лист бумаги то, что он называл вертутой, и быстро сбежал к нам на нижнюю площадку. Сунув сверток мне в руку, он обернулся в сторону открытой двери и крикнул: «Лёнечка, принеси сюда вазу с мандаринами». Появился в дверях Леня32, еще совсем небольшой мальчик, с вазой в руках. Пастернак схватил несколько мандаринов и начал их пихать в карман моей шубы. Я протестовал, благодарил и немного боялся, что вдруг из нижней квартиры появится Зинаида Николаевна и застанет нас всех «на месте преступления». Борис Леонидович торопился по той же причине, но был охвачен каким-то порывом от полноты сердца. В этот момент он был самим собой, таким, как только он один мог быть, и был обаятелен. Наконец мы простились, все трое пожелав друг другу счастья и радости в Новом году. Дверь наверху захлопнулась, и моя жена сказала: «Какой он чудный, как он мне нравится, какой замечательный человек». Мы оба были под впечатлением этой встречи. А дома у нас была елка, и на душе было тепло и радостно.

В начале 50-х годов Борис Леонидович вызвал меня к себе в Лаврушинский переулок. Когда я поднялся к нему на девятый этаж, он сказал, что просит меня окантовать под одно стекло все иллюстрации отца к «Воскресению» Льва Толстого, вырванные им из книги небольшого размера. Кроме того, он мне дал автопортрет Леонида Осиповича в черной раме, написанный пастелью. После войны портрет оставался без стекла, но завернутый в бумагу от пыли. Все это я принес к себе домой.

Что-то мне помешало сразу взяться за дело, но Пастернак меня не торопил. Через несколько дней стекло для портрета было уже готово. Я вставил его и проклеил с обратной стороны полосками бумаги, чтобы пыль не проникала в раму. Держа портрет в руках, я мог любоваться мастерством художника. Каждый мазок цветной пастелью был на своем месте, и, хотя на лице попадались довольно яркие тона, портрет был великолепен.

Я уже окантовал иллюстрации к Толстому, когда получил почтовый конверт с письмом от Бориса Леонидовича. Он писал, что ему неудобно меня торопить, но дело в том, что Зинаида Николаевна требует вернуть и портрет, и репродукции. И, как бы извиняясь, Пастернак добавил: «Вы же знаете, какое у меня строгое начальство».

К моему глубокому сожалению, это письмо у меня не сохранилось.

17 июля 1957

Накануне Андрей Владимирович Звенигородский сговорился со мной по телефону, чтобы вместе поехать в санаторий «Узкое», навестить Бориса Пастернака, который уже около месяца находился там. Я договорился со знакомым таксистом, с утра заехал за Звенигородским, и мы отправились в «Узкое» по Старокалужскому шоссе. Погода была солнечная и жаркая. Такси осталось ждать нас у ворот санатория, возле церкви этого бывшего имения князей Трубецких, а мы вошли в дом и попросили сообщить Пастернаку о нашем приезде. Борис Леонидович выбежал к нам. От неожиданности шумно нас приветствовал, как-то взмахивал руками, радовался и повел нас по коридору в свою комнату.

Старинный дом санатория очень большой, громоздкий, с длинными переходами и бесконечными комнатами. Комната Пастернака была не очень большая, удлиненная, с окном в глубине. Пройдя мимо кровати, мы сели у круглого стола. Борис Леонидович удивлялся, как это мы собрались в такую даль, намекая на хромоту и возраст Звенигородского. Он рассказал, что чувствует себя еще не очень хорошо, но срок его путевки кончился, и он сегодня вечером или завтра должен уехать домой. Я захватил с собой фотоаппарат и сделал несколько снимков. Фотографировать было неудобно, комната была узкая и темноватая, и я не надеялся на удачные снимки. Борис Леонидович надписал нам две фотографии 1948 года, которые я привез с собой, благодарил за

приезд, и проводил до выхода. Задерживаться мы не могли, так как наша машина ждала нас за воротами. Домой доехали благополучно под впечатлением мимолетного свидания.

Привожу надпись, сделанную мне:

«Дорогому Льву Владимировичу Горнунгу на память и в благодарность за посещение меня в «Узком» перед моим отъездом домой.

Б. Пастернак 17 июля 1957».

В начале 1958 года, когда у меня уже был большой цикл стихотворений «Памяти моей жены», умершей весной 1956 года, я принес эти стихи Борису Леонидовичу, и он обещал познакомиться с ними. Эти стихи уже знала А. А. Ахматова и считала их лучшими из всего того, что я написал за все время. Борис Пастернак, возвращая мне мою тетрадь, сказал, что из-за сильного переживания и подъема, с которым написаны эти стихи, в них много искренности и что многие из этих стихов ему понравились. Он хорошо знал мою жену и очень ей симпатизировал.

В октябре 1958 года разразилась «буря» в связи с напечатани-ем за рубежом романа «Доктор Живаго».

Все было несправедливо и жестоко, шла травля Пастернака, которая привела его к преждевременному концу33.

6 мая 1959

Сегодня я узнал, что директору Гослитиздата Владыкину разрешили печатать произведения Пастернака. Вероятно, в первую очередь пойдет то, что было включено в план издательства. На театральных афишах разрешено печатать полное имя Пастернака, когда пьеса идет в его переводе (Шекспир, Шиллер)34.

Осенью 1959 года, когда Борис Леонидович жил исключительно у себя на даче в Переделкине, очень уединенно, наш общий знакомый Андрей Владимирович Звенигородский беспокоился о нем и, не имея возможности навестить его, просил меня не один раз узнать, как здоровье Пастернака и как он себя чувствует. Я сам не бывал в это время у Бориса Леонидовича на даче и потому справлялся через его родных, которые поддерживали с ним связь. Через них я послал ему записку о Звенигородском и привет от него.

Борис Леонидович почему-то решил, что Звенигородский нуждается в его помощи (только ему могла прийти в такое трудное для него время эта мысль, ему, который так многим помогал). Он написал Звенигородскому большое письмо, где упоминает и мое имя. Письмо хорошее и доброжелательное, такое типичное для Пастернака.

30 мая 1960

Сегодня ночью скончался Борис Пастернак. Умер у себя на даче, тихо. Догадывался, что скоро наступит конец. Подозревал, не рак ли у него. Просил похоронить его, но только не сжигать в крематории35.

У него оказался рак легкого и инфаркт миокарда.

Умер гениальный поэт, добрый и отзывчивый человек.

Я счастлив, что судьба свела меня с ним на долгие годы, что в свое время сделал довольно много его фотографий и что у меня остались его милые надписи на фото и на книгах.

2 июня 1960

Сегодня хоронят Бориса Пастернака в Переделкине. Я не могу туда поехать из-за почти полной потери зрения от глаукомы, которая началась у меня в конце Отечественной войны.

Единственное, что мне удалось сделать, — это поехать на такси на Ваганьковский рынок, где я купил большой букет ландышей. На Гоголевском бульваре я еще застал

дома Александра Леонидовича и Ирину Николаевну, передал им ландыши и просил эти цветы положить на могилу Бориса Пастернака.

Ольга Петровская

ВОСПОМИНАНИЯ

О БОРИСЕ ЛЕОНИДОВИЧЕ ПАСТЕРНАКЕ

Осень. Год 1922-й. Комната Асеевых — на 9-м этаже дома ВХУТЕМАСа на Мясницкой улице, напротив Почтамта.

За тусклым серым окном мокрые крыши Москвы. Упрямый, бесконечный, несмолкаемый шум дождя. Клочья разорванных туч угрюмо проплывают на уровне глаз. Очень сердитое небо.

Но в комнате шумно, непринужденно, весело. Звенят молодые голоса.

Совсем недавно по вызову Анатолия Васильевича Луначарского в Москву из Читы приехала дальневосточная литературная группа «Творчество» За неимением постоянных квартир члены группы разбрелись по Москве — кто куда: к знакомым, к родственникам. Мы с мужем (тоже члены группы «Творчество») приняли предложение Асеевых, приехавших из Читы несколькими месяцами раньше, пожить у них. Живем уже неделю.

День склоняется к вечеру. Асеев «в ударе». Весел. Остроумен. Подвижен. Хохочет, всех вовлекая в круг шуток, рассказывает уморительные небылицы. Оксана щебечет в унисон мужу.

В дверь постучали. Входят двое — он и она, молодые, улыбаются хозяевам, кинувшимся гостям навстречу.

Как только пришедший произнес несколько слов, я тотчас узнала его, хотя никогда раньше не видела и даже фото его мне не попадались. По темному блеску глаз, по стремительным движениям, по всему облику его, а в особенности по его голосу, так любовно и артистично изображаемому Асеевым прошлой зимой там — в далекой сибирской глухомани, — сразу вспомнились и зазвучали в голове те стихи, Асеевым читанные:

Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары,
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару.
Не рыдал, не сплетал
Оголенных, исхлестанных, в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма...

Да, да... это они, те самые стихи из «Памяти Демона»... И вот пришел сам поэт. Он так и назвал себя, знакомясь, просто: Пастернак. Он здесь.

Как непохожи были эти два человека. Два поэта. Светлый, звонкий, непоседливый Асеев и Пастернак, словно яркий пришелец с каких-то неведомых южных гор, — говорящий на каком-то своем особом наречии, сначала как будто и трудном, не вполне понятном, но в какое-то неуловимое мгновение его речь вдруг становится дивно и легко разрешимой, захватывающе интересной, наполненной ясным и глубоким смыслом.

Два поэта говорили о простом — не просто. О деловом — увлекательно ясно и образно. То смеясь, то серьезно, то шутя. Дело шло о создании нового издательства; вдохновителем его был Маяковский, во что бы то ни стало хотевший публиковать все новое, молодое, талантливое.

Асеев и Пастернак были вовлечены в это начинание. Идея занимала их, нравилась им, говорили о ней горячо, с азартом; обращались и к нам, стараясь заинтересовать, втянуть в беседу, сделать разговор общим.

Вместе с женой, Евгенией Владимировной, Пастернак, зайдя к Асеевым, куда-то торопился. Оправдывая свою поспешность неотложными делами, гости были недолго и ушли, оставив впечатление сверкающей необычайности.

В то время имя поэта Бориса Пастернака было на устах у всех людей, близких к литературе, — молодых и немолодых, новаторов и приверженцев классики. Естественно, что новое знакомство очень взбудоражило нас, подарив радостное удивление, граничившее с восхищением, — уж очень неожиданна была эта встреча.

Поэт ушел, а в ушах долго еще звучал его голос, схожий с густым, мелодичным гудением органа. Вспоминалось чередование высказанных им серьезных мыслей с неожиданной шуткой, нередко оборачивавшейся каламбуром, а то и парадоксом. Борис Леонидович в беседе был внимателен, самокритичен и смешлив. Временами задумчив, уходил в себя.

Потом, когда встречи участились, впечатление первоначального удивления сгладилось, уступив место большому расположению. Отношения стали взаимно доброжелательными.

Живя у Асеевых, мы усиленно занялись подыскиванием квартиры. Но в то время снять комнату в Москве было просто невозможно. Недели на три мы переехали в Кусково, на дачу к знакомым, оставившим ее нам до истечения срока найма.

А потом на помощь пришел Владимир Владимирович Маяковский. Он был удивительно отзывчив и добр. Узнав о нашей неустроенности, он очень деликатно, запросто предложил нам поселиться временно в квартире Бриков на Водопьяном «до приезда Лили Юрьевны», находившейся в то время в Берлине.

Предложение было с радостью принято. Переехали в Водо-пьяный, где в то время ежевечерне собиралось много интереснейших людей. Брик и Маяковский в роли хозяев были очень гостеприимны.

Маяковский, обаятельный, остроумный, был исключительно внимателен, для каждого находя шутку, доброе приветствие, азартно «резался» в карты с Асеевым или Крученых, одновременно поддерживал оживление в разговоре с находящимися поблизости. Он был неистощим в остротах, добродушных, незлых.

Вся группа «Творчество» была под опекой Маяковского и, конечно, старалась быть с ним, не пропуская ни одного вечера. Иногда бывали здесь: Луначарский, Эйзенштейн, художники Штеренберг, Родченко, совсем молодой Юткевич, Асеевы, Пастернак, Каменский и много, много других, уже зрелых, а также и только начинающих поэтов и писателей.

Вскоре Брики, а затем и Маяковский уехали за границу. Некоторое время мы оставались в квартире одни с домработницей Аннушкой. Комната в Москве для нас упорно не находилась... Как вдруг почти накануне возвращения Бриков и Маяковского как с неба свалилась и работа, и комната на Арбате — пустая, без отопления, с окнами, забитыми фанерой, но... посредине ее стоял чудесный рояль, который можно было оставить для «личного пользования на неопределенное время». В эту комнату потом часто приходили к нам люди, бывавшие на Водопьяном. Некоторые из них впоследствии стали нашими друзьями.

Переехав на Арбатскую площадь, мы оказались почти соседями с Пастернаками, жившими на Волхонке. Часто встречались. Однажды Евгения Владимировна призналась мне, что Борис Леонидович сказал ей так: «Знаешь, Женя, мне хочется дружить с этими молодоженами. Мне нравится их юное непредвзятое любопытство к жизни, к людям, к искусству — ко всему». Вскоре мы подружились семьями, наши

встречи участились. Мы навещали друг друга, вместе ходили в театр, в кино, в консерваторию на концерты.

Вскоре у Пастернаков родился сын Женечка. Когда Пастернаки переехали на дачу, мы часто приезжали к ним в Барвиху. Навстречу нам вместе с родителями выбегал милый рыженький мальчик в белой панамке, доверчиво лепеча что-то на своем детском языке, интонацией и нежным гудением поразительно напоминая голос своего отца, Бориса Леонидовича.

Летом 1925 года Пастернак начал писать поэму «Девятьсот пятый год». В то время он вырвался из крута личных тем, легко и охотно занявшись разработкой социального сюжета, увлекшего его. Борис Леонидович углубился в разыскивание исторических материалов, необходимых для работы, очень радовался, если ему удавалось найти нужные сведения в старых журналах, в книгах, в документах. Долгими днями засиживался он в библиотеках, роясь в груде источников, забывая о времени, об усталости, обо всем.

Он надолго был озарен таким желанным для него вдохновением, отдавался ему самозабвенно. Ему нравилось все, составлявшее канву для работы: эпоха, время, социальные истоки событий, послужившие стимулом для создания этого произведения.

Иногда в процессе работы Борис Леонидович зачитывал нам куски поэмы, казавшиеся ему удачными, или же другие, по его мнению недостаточно выразившие его замысел, — спорные, не вполне его удовлетворявшие. Он настаивал на откровенных высказываниях, просил отмечать все останавливающее внимание; в особенности он хотел и ждал подробных разговоров о том, что могло бы не понравиться, вызвать осуждение у читателей.

Особенно радушно Борис Леонидович привечал моего мужа Владимира Александровича Силлова1, литературоведа, преподавателя литературы, поэта.

Борису Леонидовичу нравился Володя своим энтузиазмом, остротой ума, светлой жизнерадостностью. Привлекательны были в совсем еще молодом человеке огромная осведомленность в области литературы, блестящая память, способность глубоко анализировать литературное произведение.

Разговоры их при встречах были нескончаемы.

К тому времени у нас уже составилась довольно большая библиотека, и Борис Леонидович нередко заходил к нам за журналами «Былое» и за другими книгами, где он находил нужные ему исторические сведения для готовящейся поэмы.

В Евпатории я была недолго. Недели через три возвратилась домой в Москву, где встречи с Пастернаками продолжались. Если мы с Володей ехали к ним на дачу, то заранее было известно, что почти весь день будет проведен «в соснах».

Лес был рядом. Борис Леонидович выбирал подходящее место и предлагал расположиться на траве. Сколько стихов было читано тогда — и пастернаковских, и разных других! Стихи чередовались с шутками, с «розыгрышами», с остротами. Б. Л. очень нравилось «угощать» красивыми местами, щедро разбросанными природой в окрестностях. Стоит ли говорить о том, что все мы были неутомимы в прогулках! Б. Л. не терпелось поделиться с гостями красотами окружающих мест. Найдя хорошее, он радовался, как ребенок конфете, торжествующе поглядывая на «горожан», как бы говоря: «А ну-ка, попробуйте сказать, что место плохое!»

На опушке леса была его любимая поляна, цветущая, душистая. Б. Л. нравилось лежать на ней, запрокинув руки за голову, и глядеть в высокую синь. Точь-в-точь как через много лет потом он сказал в стихотворении «Сосны»:

В траве меж диких бальзаминов, Ромашек и лесных купав, Лежим мы, руки запрокинув И к небу головы задрав.

Перед отъездом из Читы в Москву мы с мужем получили удостоверения о том, что направляемся в Московский университет. Но мы опоздали к началу учебного года, пришлось думать о поступлении в другой вуз. Посовещались с друзьями, написали дорогому учителю, профессору Марку Константиновичу Азадов-скому, — он усиленно рекомендовал избрать Ленинградский университет. Асеев советовал поступать в Брюсовский институт.

Переезд в Ленинград осложнялся отсутствием квартиры — в Москве же была теплая комната, работа. Решили поступать в Высший литературно-художественный институт, возглавляемый Валерием Яковлевичем Брюсовым.

При переводе из одного института в другой в то время сдавать экзамены не требовалось. Но нужно было пройти собеседование с «самим Брюсовым», которого все очень боялись, считая его чрезмерно требовательным, сугубо академичным и вообще сухим человеком.

Я, как и все, трепеща, отправилась на это испытание. К моему удивлению, Валерий Яковлевич стал задавать совсем нетрудные вопросы по истории литературы, попросил указать и прочесть отрывки из любимых классиков, коснулся вопроса методологии. Со всем этим я справилась. Вдруг он спросил:

— А из современных поэтов кого вы знаете?

Я прочла «Кумач» Асеева, «Левый марш» Маяковского. Валерий Яковлевич, удовлетворенно кивая, слушал не перебивая.

— А о Пастернаке слышали?

— Да, немного. (Я в то время уже была знакома с Борисом Леонидовичем, знала много его стихов.)

— Можете прочесть что-нибудь? — с оттенком недоверия спросил Брюсов.

Я стала читать:

Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе Расшиблась весенним дождем обо всех...

Валерий Яковлевич движением руки останавливает меня и подхватывает:

Но люди в брелоках высоко брюзгливы И вежливо жалят, как змеи в овсе.

Затем, не поставив точки, делает паузу, давая мне возможность продолжать.

Я послушно читаю:

У старших на это свои есть резоны. Бесспорно, бесспорно смешон твой резон...

Валерий Яковлевич в унисон:

Что в грозу лиловы глаза и газоны И пахнет сырой резедой горизонт...

И выжидательно смотрит, чтобы я продолжала. Таким образом, поочередно мы с Валерием Яковлевичем дочитали все стихотворение до конца. По его глазам и по всему его виду ясно было, что процесс такого совместного чтения ему понравился. Так я убедилась, что миф о недоступности, сухости и черствости был совершенно необоснован.

Особенно меня обрадовало внимание Брюсова к современным поэтам, в то время далеко не всеми признанным; его прекрасная память и любовь к лучшим поэтам — старым и новым.

Очень довольная своим открытием, я решила, что экзамен на этом заканчивается, и ждала визы на выход из кабинета. Но Валерий Яковлевич думал иначе. Он стал интересоваться моими знаниями истории и попросил охарактеризовать великое переселение народов, указать время, причины и прочее. Решив, что вопрос каверзный, я вдруг все начисто забыла, в голове все перемешалось, и я брякнула: «Оно продолжалось долго и растянулось на несколько столетий...» И замолчала.

Тогда Валерий Яковлевич с укоризной, очень терпеливо стал интересно и подробно объяснять мне всю специфику эпохи. Затем отпустил меня, пожав руку, со словами:

«Надо, надо подчитать историю. Поэт все должен знать и помнить подробно. А за чтение стихов — большое спасибо».

Потом при встречах с Брюсовым мне все казалось, что он припоминает мою неудачу с «великим переселением народов». Но по его доброй усмешке я понимала, что он простил мне ее.

Из вышеупомянутого случая следует вывод: Брюсов знал и любил стихи Пастернака — иначе зачем он так подробно останавливался на них и, бурно восхищаясь ими, читал эти стихи вместе с поступавшей в институт незнакомой студенткой?

Я рассказала Борису Леонидовичу о своем экзамене у Брюсо-ва. Ну и хохотал же он тогда! Я даже пыталась обидеться. Не удалось. Борис Леонидович явно был доволен поведением Валерия Яковлевича и стал рассказывать о Брюсове — большом поэте, ученом, переводчике почти всех корифеев иностранной поэзии, создателе литературно-художественного института в Москве. С огромным уважением Борис Леонидович оценивал работы Брюсова, восхвалял эрудицию Брюсова, его богатейшую память, влюбленность в поэзию, колоссальную работоспособность, неиссякаемую энергию.

Борису Леонидовичу нравилось знакомить литературную молодежь с неизвестными для нее поэтами. Так он открыл для меня Райнера Мария Рильке.

Пастернак в то время увлекался поэзией Рильке, много переводил его для русского читателя. Когда Борис Леонидович узнал, что я незнакома с творчеством этого поэта, что никогда не слышала его стихов, Борис Леонидович так изумился, даже обрадовался — стал целыми охапками забрасывать меня стихами Рильке, изумительно его читая, разъясняя и показывая лучшие стороны его творчества.

Я навсегда осталась благодарна Пастернаку за то, что он подарил мне прекрасного нового поэта.

Когда я узнала от Бориса Леонидовича о его «музыкальной трагедии», мой профессиональный интерес к поэту стал перерастать в живое любопытство к нему как к человеку. Я с детства много занималась музыкой, в ранней юности двоилась между музыкой и поэзией, и психологически это пробудило у меня большой интерес к Борису Леонидовичу. Я рассказала ему о неприятном случае при выступлении на концерте, когда меня подвела музыкальная память, и о том, что окончательно отказалась от профессии музыканта, целиком отдавшись литературе.

Борис Леонидович задумался. Потом сказал:

— Все это так. Но как же вы обойдетесь без музыки?

— Я буду не без музыки, а без профессии музыканта, — ответила я.

После этого Пастернак стал рассказывать о дружбе его семьи со Скрябиным, о своем поклонении творцу «Поэмы экстаза». Я очень любила произведения Скрябина, поэтому живой рассказ Бориса Леонидовича о композиторе захватил меня чрезвычайно.

Бывая у нас, Борис Леонидович иногда садился за рояль и... начинались его изумительные импровизации. Светлыми они не были; чаще это было трагическое, темпераментное размышление. Небольшие арабески, экспромты лились почти беспрерывно — трудно было отличить конец одной вещи от начала последующей.

Порой светлая напевная мелодия, неожиданно влившаяся в тревожное повествование, успокаивала боль предыдущих фраз. Мелодия эта держится недолго, она ускользает неожиданно, как и пришла. И опять тревога вопрошающая, настойчивая, сильная... Все это — как самоутверждение, как миросозерцание.

Невольно вспоминались стихи:

Я клавишей стаю кормил с руки Под хлопанье крыльев, плеск и клекот. Я вытянул руки, я встал на носки, Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.

И было темно. И это был пруд И волны. — И птиц из породы люблю вас, Казалось, скорей умертвят, чем умрут Крикливые, черные, крепкие клювы.

Да, да, вот они, те самые стихи, читанные нам Асеевым еще в Чите! Вот они, глубокими корнями проросшие в памяти! Они опять зазвучали, слившись с образом автора стихов — поэта, музыканта. Это сопоставление, пришедшее ко мне во время его игры, поразило меня своей необычной образностью и правдой.

Я никогда не просила Бориса Леонидовича играть — дожидалась, пока он сам сядет за рояль. И если это случалось, искренне радовалась такому прекрасному подарку, тем более что это бывало довольно редко.

Музыка сдружила нас еще и потому, что любимые композиторы были у нас — общие.

Следует рассказать об особой черте характера Бориса Леонидовича, именно о его исключительно внимательном отношении к ежедневной работе молодых начинающих писателей. Но чтобы глубже охарактеризовать это, придется сделать небольшое отступление, в некотором роде — предпосылку.

Учась в Литературно-художественном институте, я работала в Пролеткульте литинструктором (вела занятия по литературе в рабочих клубах) и, кроме того, переводила и рецензировала английские пьесы и скетчи для театра, писала по заказу Третьякова и Плетнева пьески для клубной сцены. И рифмованные лозунги к революционным праздникам.

Борис Леонидович отрицательно относился к моей работе в Пролеткульте, считая, что она, отнимая много времени и творческой энергии, мешает моим занятиям в ЛХИ — заставляет дробиться и распыляться, вместо того чтобы целиком отдаться науке. Скепсис Пастернака меня огорчал, даже сердил. Увлекаясь работой в литкружке клуба, я рассказывала своим слушателям о великой ценности важнейших произведений наших классиков.

Я продолжала свою работу в Пролеткульте, но, отнесясь серьезно к добрым советам Бориса Леонидовича, с которыми совпадало и мнение моего мужа Владимира Александровича, я оставила себе лишь только переводы с английского и занятия с рабочими в литкружке и... согласилась принять предложение Сергея Михайловича Эйзенштейна — снялась в его первом фильме «Стачка», против чего оба моих спорщика добродушно не возражали, хотя и предостерегали против возможности «пойти в актрисы». А я и не собиралась! И никогда не думала изменять литературе.

В ноябре 1925 года у нас родился сын. Мы никак не могли выбрать ему имя. Евгения Владимировна Пастернак посоветовала: «Оля, пусть в его имени будут имена матери и отца — Олег Владимирович. Мы с Борей так поступили, назвав нашего мальчика моим именем, — получилось Евгений Борисович». Нам с мужем эта идея понравилась, и мы назвали сына Олегом.

Вскоре я сильно заболела крупозным воспалением легких. Лежала 7 недель. Когда мне стало несколько лучше, Борис Леонидович с Евгенией Владимировной навестили меня, еще накрепко лежавшую в постели. Привезли огромную благоухающую корзину цветов. Уже был конец февраля. Цветы были сказочно красивы на фоне окна, за которым было ярко-синее небо и Спасская башня Кремля. Аромат цветов вливался в грудь, создавая радостное волнение.

Я возвращалась к жизни, к людям. Борис Леонидович много шутил, смеялся. Своими веселыми остротами, видимо, хотел поднять настроение больной.

На другой день Пастернаки прислали для нашего Олежека коляску, из которой их Женечка уже вырос. Потом по указанию врачей поправляться нужно было ехать в Сестрорецк — к соснам, к морю, куда мы с родителями поехали на все лето.

14 апреля 1930 года. Тусклый, серый день. Лежу, недомогаю. Безразличная ко всему. Отсутствие желания жить, работать. Дышать. Двигаться. Видеть людей.

В феврале умер мой муж2. Живу не дома, у родителей на Спасской улице. День без солнца. Серое окно. Телефонный звонок. (Сейчас скажу, что болит голова и разговаривать не могу.) Протягиваю руку к трубке. Узнаю голос Бориса Пастернака. Задыхаясь, он бросает в трубку: «Оля, сегодня утром застрелился Маяковский. Я жду вас у ворот дома в Лубянском проезде. Приезжайте!»3

Я срываюсь с места. Обо всем забываю, кроме этого ужаса. Мчусь туда, где случилось непоправимое. Не помню, как добралась до указанного места. Пастернак у ворот. Бледный. Ссутулившийся. Лицо в слезах; сказал: «Ждите меня на лестнице. Я пойду наверх, узнаю, где он будет».

Я стояла на лестнице, вдавившись спиной в стену, когда мимо меня пронесли носилки, наглухо закрытые каким-то одеялом. Господи! Ведь это пронесли то, что еще сегодня утром было Володей Маяковским!.. Вслед за носилками шел понурый Пастернак. Подхватил меня, и мы выбежали из дома. На извозчике понеслись в Гендриков переулок, куда, по словам Бориса, увезли тело.

Всю дорогу мы молчали. Только несколько слов сказал Пастернак: «Мы успеем. Но он уже там. Повезли на машине...»

Да, Маяковский был уже там. Он лежал в своем кабинете, будто спал...

...Спал и, оттрепетав, был тих, — Красивый, двадцатидвухлетний, Как предсказал твой тетраптих.

Ты спал, прижав к подушке щеку, Спал, — со всех ног, со всех лодыг Врезаясь вновь и вновь с наскоку В разряд преданий молодых.

В квартире какие-то люди. Знакомые и незнакомые. Многих я здесь раньше не видела. Ломая руки, входит... кажется, Уткин. На окне в столовой сидит Катанян и безостановочно говорит, говорит, говорит. Из передней доносился голос Ольги Маяковской. На рыдании она кричит: «Скажите сестрам Люде и Оле, — ему уже некуда деться». Падая, удерживаемая чьими-то руками, она, шатаясь, входит...

Кто-то рядом произнес шепотом: «Сейчас приедет скульптор снимать маску с лица умершего. Надо спешить, чтобы черты его не изменились...»

Я не выдерживаю... Боюсь самой себя — вдруг закричу. Прошу Борю увезти меня.

Не забыть, не забыть никогда этот ужас. Он и теперь иногда снится мне тяжелыми бредовыми ночами...

Борис Леонидович Пастернак был добр. Но как непохожа была его доброта на доброту людей, открыто и широко дарящих другим блага своей души! Пастернак был застенчив; он старался скрыть свои добрые порывы, он боялся их выражения, затушевывая их, пряча их от постороннего глаза. Но его поступки, порой неожиданные, внезапные, говорили сами за себя.

Борис Леонидович, по натуре своей гордый, но скромный, пускался на всякие выдумки, чтобы скрыть свою доброту. Помню, в 40-х годах, узнав о материальных затруднениях Ахматовой, он регулярно стал посылать ей деньги, но не от своего имени — он уговорил одного человека делать эти переводы якобы от себя.

Не мог Борис Леонидович безучастно пройти мимо страдающего человека, будь это мужчина, женщина или ребенок. Он старался найти способы незаметно облегчить чужое горе, помочь в беде, отвлечь от тяжелых переживаний и, сам нередко разделяя их, словно брал человека за руку и уводил его в другой мир — света, тишины и спокойствия.

В один из майских дней 1930 года Борис Леонидович предложил мне пойти послушать Шопена в исполнении Генриха Густавовича Нейгауза, дававшего концерт в консерватории.

В то время я еще никуда не выходила. Скованная горем и недомоганием, чуждалась людей, общества, а музыки просто боялась. В тот день сидела над работой, порученной мне Виктором Борисовичем Шкловским: надо было написать брошюру для издательства «Молодая гвардия». Время по договору близилось к концу, и я углубилась в работу. А тут!.. Идти в консерваторию... слушать музыку там, где не так давно было столько радости, счастья... Нет! Это невозможно.

Я наотрез отказалась.

Но Борис Леонидович настаивал, говоря:

— Оля, вы не правы. Идемте. Музыка — лучший сосед всяким переживаниям. Не надо бояться музыки. Она вам поможет.

И стал убеждать меня в правоте своих настояний. Сопротивляться стало трудно. Я согласилась. Как осторожно внимателен был Борис Леонидович в проявлении своего участия! Он в тот день как бы вовсе не замечал меня, целиком предоставив музыке. В антракте он ушел к Нейгаузу, оставив меня в зале, за что я была ему очень благодарна.

Как ненавязчиво было его внимание! Он умел хорошо молчать, когда человеческому голосу звучать не следовало. Умные глаза и весь его облик были красноречивее всяких слов.

Вскоре я покинула Москву. Мы с родителями и четырехлетним сыном переехали в Ленинград.

Борис Леонидович дал мне письма к ленинградским писателям. В то время в Ленинграде жил и работал профессор Марк Константинович Азадовский — мой дорогой учитель еще по читинскому институту. Узнав о моем приезде, он предложил мне очень интересную работу в фольклорной секции Пушкинского Дома по переводу марийских и удмуртских песен и сказок.

Встречи с Пастернаком стали очень редкими. Мы обменивались письмами.

Евгения Кунина

О ВСТРЕЧАХ

С БОРИСОМ ПАСТЕРНАКОМ

Весной 1922 года мы с братом1 познакомились с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Мы были тогда полудетьми, неправдоподобными домоседами, в которых дух семьи сохранил житейскую и жизненную неискушенность, даже наивность. Мы учились в 1-м МГУ и одновременно в Брюсовском Высшем литературно-художественном институте.

В предзакатный весенний час я шла из МГУ в Высший литературно-художественный институт, с Моховой на Поварскую, т. е. с проспекта Маркса на улицу Воровского. Мы с братом поссорились (случай не частый в нашей практике), и он ушел из университета домой, не сдав зачета. А я сдала и, гордая одержанной победой, направилась во второй, более поэтический вуз, решив продолжать совершенно самостоятельный образ жизни и, в частности, принять участие в семинаре, приходившемся на этот день (занятия в ВЛХИ велись в вечерние часы). На Поварской мне, однако, встретилась большая группа наших институтских студентов.

— Куда? — изумилась я.

— В «Дом печати», на вечер Пастернака.

Конечно же я пошла с ними — предстояло чудо: услышать стихи Пастернака в чтении автора. Конечно, оно и оказалось чудом.

Этот непередаваемо-особенный голос, глубокий, гудящий, полный какого-то морского гула. Завыванье? Пение? Нет, совсем не то. Но столь музыкальная фразировка, такая напевная и нимало не нарочитая интонация, так органически текущие ритмы, такая полная и захватывающая взволнованность! Чувство, мысль, картины природы, душевных переживаний — все это слитно переливалось через край.

Автор читал стихи из еще не опубликованной книги «Темы и вариации».

Я забыла обо всем — о зале, о товарищах, о том, что было и что будет.

Но чтение закончилось. И тогда страшная мысль прорвалась в мое восторженное оцепенение: брат! Брат, с которым мы всегда вместе впитывали все впечатления, — и он сейчас не слышал Пастернака, этих его стихов! Невозможно! Недопустимо! Надо, чтобы он услышал... Надо повторить этот вечер! Во что бы то ни стало! И тут я мгновенно вспомнила, что в пользу Читальни имени Тургенева предполагалось устройство платных вечеров в ее помещении. А я — друг Читальни, бывшая ее работница. Значит...

— Володя, — обращаюсь я к нашему с братом приятелю-соученику, Владимиру Феферу, — давайте подойдем к Пастернаку, попросим повторить вечер. Вы ведь хотели бы еще раз послушать?

— Давайте, согласен, давайте!

Мы направились к Борису Леонидовичу. После стычки на эстраде с сердитым, ничего не понявшим поэтом Петром Ореши-ным («Мы и не таких мастеров видали! Мы Андрея Белого слушали!»), после очень тонкого разъяснительного выступления Сергея Павловича Боброва, напомнившего о преемственности только что прослушанных стихов, назвав имена Фета и Иннокентия Ан-ненского, Пастернак уже перешел в фойе. Он стоял, ведя с кем-то оживленный разговор.

Я выжидала чуть поодаль, пользуясь возможностью незаметно смотреть на него.

Не наружность — она для меня сливалась с общим обликом, как и голос и самые стихи, но, быть может, манера держаться — совершенно простая, юношеская, очень непосредственная, нескованная, полная и сердечности и достоинства — бросалась в глаза и успокаивала.

Мы с Фефером успели услышать фразу Пастернака, указавшего собеседнику на Константина Григорьевича Локса, его друга со студенческих лет: «Вот человек, который научил меня писать прозу». И, наконец дождавшись своей очереди, подошли.

— Борис Леонидович, у нас к вам просьба. Не можете ли вы повторить этот вечер в пользу Тургеневской читальни, в ее помещении?

— А-а-а... Позвоните мне, пожалуйста, на днях, и мы сговоримся. Вот номер телефона.

Мы пожали друг другу руки и откланялись.

Так начался новый период знакомства с Пастернаком: после встречи с поэзией — встреча с ее творцом.

Через несколько дней в назначенное нам по телефону время мы с братом, взволнованные и готовые от робости пуститься вспять от самых дверей, стояли у квартиры № 9 на втором этаже дома 14 на Волхонке. От этого дома на углу Антипьевского переулка долго еще оставался жалкий обрубок. Ампутирован был и подъезд, в котором жила семья Пастернаков в то время — Борис

Леонидович с молоденькой женой, Евгенией Владимировной, художницей, и брат его Александр Леонидович. По сей день мне больно и неловко смотреть на это место, словно встречаешь дорогого человека, которого знал здоровяком, превращенного в калеку.

А тогда дом был как дом. Для нас все же он отличался решительно от всех других домов: в нем жил — нет, обитал Борис Пастернак.

— Звонить? Страшно!

— Звонить... нуда, звонить!

«Может быть, не поздно? Брось, брось!..» — эта строка из «Поверх барьеров» была прервана тут же. Борис Леонидович открывает нам дверь.

С самого начала, с раздомашнего, чуть заспанного вида хозяина, впустившего нас, — «у меня не прибрано, пойдемте в комнату брата» — с этой его первой фразы исчезло наше парализующее, не дающее ни думать, ни говорить волнение. Просто нам стало хорошо. Разговор быстро вышел за деловые рамки, стал разговором вообще — то пересыпанным шутками, то касающимся очень серьезных вещей.

Только что вышла книга «Сестра моя жизнь», стихи из которой до того ходили в списках.

— Меня хвалят, даже как-то в центр ставят (он сказал это почти грустно), а у меня странное чувство. Будто я их загипнотизировал меня хвалить, и вот когда-нибудь обнаружится, что все это не так. Словно доверили кучу денег и вдруг — страх банкротства. Понимаете, чувство какой-то ответственности огромной...

— Как вы можете так думать?! — вспыхиваю я, забыв не только робость, но и сдержанность. — Да я ругаться с вами буду!

Ну, конечно, я не понимала тогда сути его слов, того, что им двигало. Сейчас — понимаю. Мысль об ответственности художника и перед обществом, и перед собственным творчеством, присущая Пастернаку органически, в те дни особенно остро, особенно глубоко волновала его.

Впервые обозначилась тогда и так сразу ярко засияла его слава. Он не купался в ее лучах, не ослеплялся ею. Он принимал на себя ее бремя. И высказать тревожившую его мысль нам, едва знакомым юнцам, возможно, позволило ему сразу определившееся доверие к нашей ничем не замутненной открытости, к нашей бескорыстной к нему любви. А в нем самом били через край горячие ключи душевного и духовного богатства, стремящиеся излиться. Тем же полна была и его поэзия. И таким же завораживающим и чистым было его человеческое обаяние: ничего деланного, ничего наносного, выставленного напоказ. Скорее, это была свобода, данная себе, выражать свою сущность со всем ее своеобразием. Он говорил так же непросто, как писал, — потому что мысль его шла путем метафор, часто сложных, неожиданно сменявших одна другую. Видимо, главное было в необычайном своеобразии его мироощущения. И оттого, что естественным самовыражением была для Бориса Пастернака первоначально музыка и только позже стало слово.

«Бушующее обожание молящихся вышине» — этими двумя строчками из «Поверх барьеров» можно было определить наше восторженное состояние. Пока шла весна 1922 года, жажда видеть и слышать Пастернака была чем-то овладевшим нами с первых же посещений его «на дому». Особенно после брошенной им, при прощании, фразы: «Да и помимо "Тургеневской" заходите!»

Вечер Пастернака состоялся 13-го апреля 1922 года2. К нашему удовольствию, зал был переполнен молодежью. Можно было бы нам и не беспокоиться о недоборе публики и не распространять заранее билетов, где только мы могли. Опасения наши были, по правде говоря, наивны до курьеза: Борис Леонидович выступал крайне редко, а имя его, среди той же молодежи, уже имело громадную притягательную силу. Стихи из напечатанных и ненапечатанных сборников ходили по рукам, переписываемые друг у друга. И совсем не повредило отсутствие вступительного слова, которое нам так хотелось предоставить Валерию Брюсову — авторитетнейшему тогда арбитру поэтических дел. И как было радостно напоить чаем Бориса Леонидовича тут же, в читальном зале, чуть поодаль, у столика. И глядеть, с каким почтением окружали его наши юные друзья — студенты ВЛХИ Борис Лапин, Теодор Левит и другие. И родителей своих мы уговорили прийти и познакомили их с нашим полубогом (скорее, воплощением божества). И услышать от него потом: «Что вы своих родителей мучаете?»

Может быть, эта фраза была отголоском того непонимания поэтического дара сына, с которым собственные родители встретили его уход в поэзию от других, более им понятных его дарований?

— Боря прекрасный музыкант, мог бы хорошо рисовать... Почему-то пишет стихи! — говорил, недоумевая, Леонид Осипович Пастернак (а я слышала это в передаче Сергея Павловича Боброва, друга молодости Бориса).

— Боря глупостями занимается! — огорченно жаловался Л. О. своему сотруднику по Училищу живописи, ваяния и зодчества, профессору В. М. Чаплину, ведшему курс отопления и вентиляции, — брату моего мужа.

Тогда мы этого не знали. А если бы знали, нам конечно бы это показалось чудовищным.

Мы продолжали заходить на Волхонку и после окончания деловых свиданий. Ведь и раньше наши беседы делами не ограничивались. О чем говорилось? Мы не записывали — слишком полны были непосредственно, всем существом воспринимаемым, сливая в этом восприятии голос, интонацию, выражение лица. Как это записать! Смысл слов был тогда для нас неотделим от целого. Отдельные островки уцелели — те, что касались чего-то, ставшего особенно и самостоятельно значимым. Хотя бы слова о Жене Люверс, которую мы любили, как самое родное, нам вдруг открытое: «Я написал это о человеке, на десять верст к себе не подпускавшем... И оказалось — все правда».

Или: «Моя сестра — не "Сестра моя жизнь", а живая моя сестра — Жоня...»

Как жаль, что я не записала и непростительно забыла, что было сказано вслед за именем Жоня. Могла ли я знать, каким дорогим станет для меня это имя и его носительница. Что годы спустя мы услышим от того же С. П. Боброва о «Жонечке» как о самой близкой старшему брату и лучше других семейных его понимавшей. «Жонечка была такая прелесть, что в нее даже влюбиться было невозможно», — говорил Бобров.

Бобров был первым нашим литературным «властителем дум». Таинственное общество, а реально издательство «Центрифуга», выпускавшее под водительством С.П.Б. (Сергей Павлович Бобров) книги Боброва, Пастернака, Асеева и других, называвших себя футуристами, вошло осенью 1922 года в нашу фантастическую повесть (или роман) «Октаэдр».

А летом того же года мы спрашивали у Бориса Леонидовича, едучи с ним в полупустом трамвае литера «А» от Кропоткинских ворот к Кировским (тогда Мясницким): он, очевидно, в Водопья-ный переулок к Брикам и Маяковскому, мы — домой:

— Борис Леонидович, откуда взялось это название «Центрифуга»?

И, смеясь, он отвечает нам полушутливо, как полувзрослым-полудетям:

— А это когда у Боброва пошли круги перед глазами (говоря, он показал круги рукой перед лицом) — и вот он и выдумал это название.

А почему «Лирика» перешла в «Центрифугу»?

— Ну-у, «Лирика» была очень томным кружком — ручки дамам целовали и прочее. А в «Центрифугу» вошли те, кто бунтовал.

Мы подъезжали к Чистым прудам. Приходилось расставаться. С очень веселым, но совсем неточным понятием о том, что такое «Лирика» и «Центрифуга». Но схема была намечена.

Существенно было иное. Пастернаку с нами дружилось весело и легко. Возможно, отдыхалось от собственных сложностей беззаботней, чем с другими. Не этим ли объяснялось радостное:

— А-а, Кунины! — в телефонном его ответе на мои как старшей из нас звонки. — Кунины? Дома, дома, заходите.

Иногда мы заставали его одного (что было счастьем!), иногда, как в случае с «Центрифугой», он собирался куда-нибудь, и мы шли его провожать.

Раз, назначив брату свидание у подъезда дома № 14 на Волхонке, я шла из университета Шереметьевским переулком и далее б. Антипьевским и встретила Бориса Леонидовича, шедшего в обратном направлении. Сказала, что не хочу задерживать. Но он взял меня за локоток и повел обратно, к нему домой. И вдруг, пересекая переулок, я увидела на Волхонке моего брата, медленно вышагивающего за углом и, как мне показалось, уставшего меня дожидаться и решившего идти домой.

— Ах, мой брат уходит! Вон он! — вскрикнула я, бросаясь вперед, вдогонку.

— Да стойте, куда вы, я его сейчас к вам приведу!

И Борис Леонидович, как мальчишка, кинулся, к моему ужасу и восхищению, во всю прыть наперерез моему брату.

Не помню, вошли ли мы втроем в подъезд и поднялись в квартиру или ограничились свиданием на улице, а вот бегущего по-мальчишески Бориса Леонидовича, такого молодого и юношески непосредственного, вижу, как запечатленного киносъемкой.

Иногда мы заставали дома их обоих — его и молоденькую жену его — Евгению Владимировну Лурье-Пастернак. Тоненькую, стройную, с прекрасным лбом, нежным, узким овалом лица, черными, откинутыми назад, в прическу, густыми волосами. В ней была замедленная грация — и в движениях, и в интонациях мелодического голоса, скорее меццо-сопранового тембра. Нами она, увы, воспринималась тогда больше всего как помеха к общению с ее мужем. Вдумыванье явилось к нам позже.

И вот — они уехали. За границу! В Берлин, где жили тогда родители Бориса Леонидовича. Надолго?

Это ощущалось нами как личная утрата. Мы даже отважились летом написать ему письмо: он ведь дал нам адрес! Ответа не было.

Но 9 февраля 1923 года мы получили почтовую бандероль: ярко-фиолетовую книжку — «Темы и вариации», вышедшую только что в Берлине. С надписью, примешавшей к нашему благодарному восторгу чувство горечи за него: «Куниным на добрую память от вовсе не веселого автора».

В деревне Звягино, под Москвой, где наша семья — отец, мама, няня Василиса — поселилась на лето 1922 года, мы с братом стали писать, уже после отъезда Бориса Леонидовича, фантастический роман «Октаэдр». Друзья, посещавшие нас на даче, — Левит, Лапин, Адалис — да еще давно нами любимые издали Сергей Бобров и Константин Григорьевич Локс (он был моим учителем литературы в 6-м классе гимназии В. В. Потоцкой и другом молодости Пастернака) — все они стали прототипами наших героев. В чем-то, в разной степени, были они узнаваемы, хотя и достаточно измененными и поставленными к тому же в совершенно вымышленные положения.

Самое название романа взято было из стихотворения Сергея Боброва:

Но хладный октаэдр вдохновенья Небо сводит души озеро...

Эти строки стали эпиграфом к нашему произведению, и каждая глава его предварялась каким-либо, чаще всего шутливо-ироническим, эпиграфом из стихов наших любимых современных поэтов, в основном «центрифугалов», то есть членов кружка «Центрифуга». Ирония и фантастика не мешали прототипам, в дружеском нашем преобразовании, оставаться «живыми» людьми. Я упоминаю об «Октаэдре» именно потому, что под этой «парафразой» просвечивают реальные черты ушедших, в нем запечатленных наших современников. И еще потому, что позже, году в 1925—1926-м, мы однажды, чтобы развлечь грипповавшего Бориса Леонидовича, принесли ему почитать машинопись нашего романа.

С удовольствием вспоминается его устный отзыв: «Вы знаете, я честно взял карандаш, чтобы, читая, делать замечания, но так увлекся, что ничего не записал. Особенно мне понравилась вторая часть, глава, где Лохинвар сидит у себя один. И я даже своих стихов не узнал сначала — там, где Гюй их все повторяет про себя».

(Это были строки из «Разрыва»: «Что — время. Что самоубийство ей не для чего. Что даже и это есть шаг черепаший».)

Я забежала вперед. В 1922 году, осенью, мы закончили «Октаэдр», а в 1923—1924-м жизнь нашей семьи круто и сурово изменилась.

Брат мой стал тем «невинно осужденным мальчиком», о котором упоминает Борис Леонидович в одном из писем к своей ленинградской кузине и «в хлопотах о котором он дошел дсЗ Кремля»3.

Не дожив до благополучного окончания этих хлопот, умерла на сорок шестом году жизни наша мать. Семья наша, не только ее бесконечно любившая, но буквально жившая ею и душевно и материально, пережила нечто сходное с солнечным затмением, пришедшим внезапно и затянувшимся навсегда.

Меня в этом затмении спасла необходимость немедленно заменить ее, хотя бы материально. Я ведь после гимназии, хоть и скрепя сердце, рвавшееся к литературе, к филологии, пошла в зубоврачебную школу, которую за шестнадцать лет до того окончила мама. Окончив эту школу, я часто заменяла маму во время приступа ее сердечной болезни, и ее больные с доверием отнеслись ко мне, ее заменившей. На следующий же день после похорон матери я приняла первую пациентку, а далее их становилось все больше.

Брат же, после серьезной болезни, нуждался в срочной операции. Еще работал в Боткинской (тогда Солдатенковской) больнице чудесный хирург, Владимир Николаевич Розанов, за восемь лет до того вырезавший долго болевший аппендикс у меня. Мы с папой повезли брата моего к нему. Я умолила доктора Розанова взять операцию в этой больнице на себя. И вот настало утро, когда мы с отцом уже в пальто и шляпах собирались ехать, чтобы побыть с больным перед операцией и дождаться ее конца.

— Т-р-р-р! — зазвонил телефон. Я подбежала, взяла трубку:

— Слушаю!

И в ответ — милое-милое, сразу узнанное мычанье.

— М-м-м... Женя, Женя Кунина, как ваше отчество?!

— Борис Леонидович, дорогой! Зачем вам отчество? Я слушаю вас.

— Женя, что с Юзей, скажите!

— Ему сегодня делают операцию аппендицита. Борис Леонидович, мы с папой сейчас туда едем.

— Ну, хорошо. Счастливо вам! Потом позвоните.

— Да, спасибо, да, спасибо!

Трубка положена. Слезы благодарности у меня на глазах. Благодарности и надежды: если он позвонил — это счастливое предзнаменование. Солнце выглянуло!

Операция осложнилась и затянулась: предшествовавший приступ и перитонит оставили следы. Начав с местной анестезии, врачам пришлось перейти к наркозу, хотя больной терпел боль молча.

Мы с отцом ждали у дверей операционной. То, что вышедший ассистент удивлялся «странному терпению» пациента, нас не обнадеживало...

Наконец двери распахнулись, брата моего пронесли на носилках в палату. Я подошла к Розанову, вышедшему в коридор и присевшему в кресло: устал. Еле выговаривая слова, обратилась к нему:

— Владимир Николаевич, ну как?

— Голубушка, — ответил он спокойно, — в прежние времена сказал бы: надейтесь на Бога.

Добавил ли он что-нибудь еще — не помню. Я мысленно добавила: «и на доброе предзнаменование — звонок Бориса Леонидовича».

И не эту ли схожесть каких-то глубинных душевных основ имел в виду Пастернак, когда в ответ на наше детски жаркое изъявление любви ответил чуть задумчиво: «Это потому, что мы с вами любим одно и то же».

Доброе пожелание, сказанное мне, вслед за чудным мычанием в телефонной трубке, было не только душевным порывом. Благодаря хлопотам Пастернака осуждению моего брата положен был конец. При пересмотре дела приговор был признан условным (судимость снята!). Борису Леонидовичу эти хлопоты действительно стоили немалых трудов. И семейных неприятностей: годом раньше, 23/IX1923 года, у них с Евгенией Владимировной родился сын Женя, и беготня отца семейства по недомашним делам могла выглядеть дома несвоевременной. Да еще когда Борис Леонидович зашел по тому же делу к друзьям, у которых ребенок болел корью, не побоявшись принести заразу домой! «И мне сильно нагорело!» — огорченно и сконфуженно признался он нам.

Но, как и его лейтенант Шмидт, он имел бы право сказать: «Сделано большое дело. — Это дело сделал я».

Шли месяцы, вырастая в годы. Мы с братом взрослели. Борис Леонидович, с которым мы продолжали видеться, оставаясь для нас старшим, мог теперь говорить с нами уже не как с полудетьми.

В 1925—26 годах он стал лечиться у меня как у дантиста. И между делом возникали разговоры и его рассказы о том, что его занимало в те дни.

В это время Борис Пастернак писал «Лейтенанта Шмидта» и нам передавал отдельные эпизоды. Помню, с каким оживлением цитировал он и объяснял, как в стремительно перебивающих друг друга ритмах изобразил быстрый спуск Шмидта и присланного за ним матроса по неровностям горы — к бухте, к ожидающей лодке (это было началом восстания в Черноморском флоте).

И в 1926-м от него впервые я услышала отрывки цветаевского «Крысолова». Сонное пробуждение школьника: «Спит сурок, спит медведь... Спать не сметь, не сметь, не сметь!» И сквозь сон бормотанье заученного урока: «Плюс на минус выходит плюс... Цезарь немец... сейчас проснусь!»

Первый разговор о Марине Цветаевой был у Бориса Леонидовича с нами еще летом 1922 года. Только что вышел сборник ее стихов (в изд-ве «Костры») — первый, после дореволюционных. Брат принес мне этот маленький сборник, и мы оба очень жарко его восприняли. Это были, после известных нам ранних, стихи совершенно иной силы и размаха. Мы спросили у Пастернака, читал лй он их.

— Поразительная книга. Я пошел прочесть из нее брату Шуре, но не смог, у меня перехватило горло от волнения. Необычайно!

Теперь, после «Крысолова» и особенно «Поэмы Конца», Марина уже за границей впервые с головой окунулась в поэзию Пастернака, как он — в ее поэмы, оба были захвачены чувством равноценности («Ты единственный мне равносущ», — писала Цветаева в письме к Борису Пастернаку). Многое в огромности их дарований сближало их, несмотря на разность. И музыка стиха, и само отношение к стиху, и бурная динамика его и выражаемого им чувства. Борис Леонидович говорил о Марине с восторгом. И о будущей встрече — вот он завершит все себе намеченное — «и тогда я поеду к Марине».

В 1929 году вышли «Поверх барьеров» Пастернака, включившие в себя стихи из ранних его книг. Стихи эти он подверг переработке, желая убрать непонятные места и

придавая новому варианту как бы пояснительный характер. На наш взгляд, первоначальный, целостно выплавленный образ стихотворения терялся при переделке. Поэзия частично заменялась рассудочностью, ее живое дыхание как бы прерывалось. И когда Борис Леонидович принес нам в подарок экземпляр только что вышедшего издания и мы услышали в его чтении давно любимые стихи в искаженном, новом обличье, мы оба были горько обижены за их, авторскую же, порчу.

Я, как более экспансивная, не выдержала:

— Борис Леонидович, нельзя переделывать то, что живет уже самостоятельной жизнью. Ну сделали бы второй вариант, не трогая первого, если вам тот разонравился! Ну, а если сын ваш, Женя, подрастет и вам разонравится цвет его глаз, вы что же, будете ему глаза перекрашивать? А стихи ваши ведь тоже ваше живое творение! Оставили бы их жить и написали бы новую вариацию!

— Нет тем и вариаций. Есть единая тема! — ответил Пастернак.

Не помню, что он еще возражал, что говорил. Но наш гость ушел огорченным. И мы, тоже огорчась, стали каяться друг другу: не следовало так резко выступать против того, что уже сделано, если автор и ошибся, на наш взгляд, в своем отношении к тому, над чем работает. И как мы могли быть так жестоки к дорогому, драгоценному человеку!

Ближайшим вечером мы собрались к нему. По дороге, на Театральной (Свердловской) площади, мальчишка продавал розы. Я купила три темно-темно-красных, маленьких, каких-то особенно милых цветка.

Мы вошли не без робости, Борис Леонидович был один, — верно, Женя (я ее уже звала по имени) с Женечкой-сыном куда-то ушли. Он сидел за столом и встал, чтобы нас встретить. Я держала цветы сперва за спиной. Потом подала их хозяину, сказала тихонько:

— Это вам.

Как он сразу все понял! Как растроганно посмотрел на розы!

— Это вы, верно, думаете, что меня тогда обидели! Спасибо, спасибо!.. Совсем иначе будет писаться, когда такие три головки глядят на тебя.

Мы очень мирно посидели у него недолго — ведь он явно работал.

И, прощаясь, «целую вас очень за розы», — сказал он мне.

— Давайте поцелуемся... — И мы так же мирно поцеловались в щеку.

Совсем тепло стало у нас с братом на душе, когда мы вышли радостные, как бы прощенные, из дома на Волхонке.

Вероятно, в то время мы стали больше вникать в семейные отношения супругов и понимать их. Евгения Владимировна перестала для нас быть некой живой помехой в общении с Борисом Леонидовичем. Мц старались понять и ее, и место ее в его жизни и жизни семьи. Нам ясно стало, что она недооценивает значение — или значительность — его как поэта, как личности исключительной, требующей к себе особого внимания, нуждающейся в заботе близких. Кажется, он не имел таковой и до женитьбы, кроме естественных забот старших в детстве. В юности он рано начал вести самостоятельную жизнь. Женитьба же только прибавила ему забот и ответственности, особенно после рождения сына. Вероятно, хозяйственные хлопоты все же легли на молодую хозяйку, как на всякую на ее месте. Но она была художница! Талантливая портретистка. И ей вовсе не улыбалось пожертвовать своим призванием, как это сделала когда-то в подобных обстоятельствах мать Бориса, выдающаяся пианистка Розалия Пастернак, став женой большого художника, Леонида Осиповича Пастернака. Евгения Владимировна не поставила своего мужа-поэта «во главу угла» всей их общей жизни. 1лавное — не поставила внутренне, душевно.

Осуждать тут нельзя. Призвание говорило сильнее, чем любовь, чем сознание долга; не было понимания несоизмеримости их дарований. Так эти две дороги не слились воедино. Оба были людьми искусства. Оба нуждались в заботе, в освобождении от житейских тягот. И оба страдали.

Примечательно, что первым стихотворением Пастернака, сказавшим о его жене-художнице, стало «Годами, когда-нибудь в зале концертной...» из книги «Второе рождение». Именно здесь, в упоении нового и, как прибой, захлестнувшего чувства, Пастернак с любованием дает портрет своей жены — накануне ухода к другой женщине:

Художницы робкой, как сон, крутолобость, С беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб, Улыбкой огромной и светлой, как глобус, Художницы облик, улыбку и лоб.

В этом эскизе портрета схвачена та милая, особенная привлекательность Жени Лурье-Пастернак, которая делала ее схожей с итальянскими мадоннами кватроченто. Она походила на Симо-нетту, прототип женских образов Боттичелли. Может быть, оживившее его, сдунувшее пыль повседневности лето в Ирпене с новыми дружбами и новым чувством женской красоты оживило и потускневшее внимание к той тонкой прелести, которая привлекла его ранее к Евгении Владимировне.

В стихах не нашлось места ее голосу. Глубокий и сердечный, он выражал и внутреннюю ее человеческую притягательность. Мне приоткрылась она дважды, особенно запомнившись в годы посещений квартиры на Волхонке.

Впервые году в 1923-м. У домашней работницы Пастернаков, пожилой (может быть, няни), чем-то прихворнувшей, был перед моим приходом врач. И каким добрым сочувствием звучал голос Евгении Владимировны, рассказывавшей мужу и мне, как довольна была врачом больная, как говорила она, что доктор «даже голову ее ослушал». Рассказывая, она повторяла эти слова с милым сердечным умилением, с той трогательной «улыбкой взахлеб», которую я встретила вновь в стихотворении.

А второй раз душевная доброта ее сказалась просто и неожиданно в одной только фразе, относившейся ко мне. Я посетила Пастернаков одна. Было это году в 1927-м, и меня тогда основательно утомляло и совсем не удовлетворяло мое ежедневное и целодневное занятие зубоврачеванием. Я начинала унывать. И тут пожаловалась на свою долю. Борис Леонидович, которому тогда самому было нелегко, заметил: «Ну, каждый из нас вертит какое-то свое колесо!»

— Да, но Евгения Филипповна вертит колесо бормашины, — тепло и сочувственно сказала Евгения Владимировна. И меня тронула глубокая сердечность ее понимания.

Когда мы с ней перешли на имена? Не помню. Но очень явственно помню сон, в котором я ее назвала «Женя». Явственно до подробностей.

...Я прихожу к Борису Леонидовичу. Семья в сборе. Чем занята Евгения Владимировна, неясно. А сам он сидит и штопает чулочки сыну. Он, большой поэт! Разве его это дело? И с великим огорчением, и с великой за него обидой я обращаюсь к его жене:

— Женя! Когда-нибудь вы поймете, но будет поздно!

Несколько позже пошли слухи о том, что Борис Леонидович сблизился с Нейгаузами. Потом — что он расходится с женой. А Женя с Женечкой?

Но обо всем этом столько стихов, столько покаянных, влюбленных, счастливых, грустных и утешающих и любящих стихов оставил сам поэт! «Две женщины как отблеск ламп "Светлана"».

Не мне об этом писать. Это было счастье, расцветшее на страдании.

И вот однажды пришел к нам Борис Леонидович — неожиданно, без предварительного звонка, часов в пять дня. Брат мой был еще на работе, и радость моя была омрачена его отсутствием.

Пастернак посидел, что-то рассказал, похохатывал. Очень хорошо он рассказал (может быть, в другой раз, впрочем), как Евгения Владимировна с трехлетним Женей возвращалась из-за границы. И он выехал на одну из промежуточных станций, чтобы проехать с ними вместе оставшуюся часть пути, а маленький Женя, увидев его, сказал: «Сын едет к отцу, а отец приехал навстречу сыну!»

Но вот Борис Леонидович поднялся:

— Ну, я пойду!

— Борис Леонидович, посидите еще, пожалуйста! Юзя так огорчится, что вас не видал.

— Нет, мне пора.

Тут меня осенило (уж в этом ему будет неудобно отказать):

— Борис Леонидович, можно вам показать мои стихи?

— Ну-ну, давайте!

Кладу перед ним, на крышку рояля, машинопись. Начинает читать.

— .Очень мило.

— Это пустяки! Читайте дальше. Читает. Опять:

— Очень мило!

И вдруг, дойдя до посвященного, по смыслу, ему:

— Очень мило... Мне?! Глупости какие! Спасибо большое! Я пошла его проводить к трамваю (брата он так и не дождался).

— Приятно видеть, когда стихи пишутся человеком в меру его способностей, — вот и все, что осталось в памяти, как резюме из сказанного по дороге.

Татьяна Толстая

Из дневниковых записей

В первый раз я была у Пастернака в 1926 году от журнала «30 дней» с просьбой дать статью, которую у меня просили в журнале. После долгих переговоров он согласился, пришлось ехать к нему (против храма Христа), хотя этого не хотелось. Передняя — она же по московской тесноте и столовая, где на стене висит громадный портрет работы, верно, его отца. Сын его Женя сидел подвязанный салфеточкой и что-то ел, было ему около двух лет. Сын поразил меня своим развитием — показал картинки каких-то диковинных рыб, не путая их названий и даже начал угощать киселем. Мать смеялась. Вышел Б. Л., и меня поразила его порывистая речь, исключительная экспансивность и умение сосредоточиваться на теме, когда говорит. Это же подтвердилось, когда его я видела у Чугуновых1. Его заставили слушать композитора Сараджева2, и он слушал чрезвычайно добросовестно. Потом он сразу выразил в необычайно деликатной форме то, что мы все думали. Слышатся отдельные композиторы, местами Шопен, Бетховен, Шуман и странно, что одна тема переходит в другую, Чайковский в «Сон на Волге»3, и это изумляет, однако, связи нет, потому что своего, сараджевского, не чувствуется.

В разговоре поразило его благородство по отношению к поэтам и людям: он обо всех отзывался очень беспристрастно и благожелательно — у него нет дурной закваски и обиды к людям, хотя ему уже 32—33, и, верно, ему пришлось много претерпеть. В частности, он очень нуждается в деньгах, но и об этом говорит как-то по-философски.

О. П. Рунова сказала, что была и там, и там и слышала того и другого — Пастернак сказал: «А я нигде не бываю и не знаю многих, потому что иначе и работать нельзя».

Стихи он свои читал, затрудняясь, видно, не помнил их наизусть, да и не знал, что станут просить — читал о лейтенанте Шмидте. После него читала какая-то девочка лет 16, потом Зуба-кин4, потом я — он добродушно похвалил девочку, одобрил Зуба-кина, а мне ничего не сказал. Когда уже уходили, я сказала — почему же вы обо мне ни слова? Он сконфузился и громким голосом — это у него, когда волнуется —

заговорил: «Но ведь то же дилетанты, а вы профессионал. Я должен посмотреть ваши стихи, прежде чем высказываться окончательно. Но я вижу, что тут дело серьезное».

Спускались вместе с толпой гостей по черной лестнице, он опять подошел, начал говорить, но кто-то из знакомых подошел, он перестал.

22 апреля 1927 я шла по Тверской с Лидой от Алеши5, и обе были мокры от моросящего дождя. Пастернак в своем сером весеннем пальто остановил меня: «Я прочел Вашу книгу6. Как много в ней хорошего. Вы понимаете, что есть стихи, сделанные просто так, а у вас кровинка есть».

1927, сентябрь?

Была у Артема Веселого7, в полумраке электрической лампы различила сразу длинный профиль Пастернака, склоненного над столом. Он молчал <...> в конце разошелся <...> и начал смотреть не киноартистку Солнцеву, сидевшую напротив него, она спросила:

— А что значит — «снег падал со вчера»8? Это нечаянно или нарочно?

— Ну конечно, нарочно! Я же умею говорить правильно. Но мне кажется, что вместо того, чтобы сказать «со вчерашнего дня», лучше, короче и выразительнее сказать. Вот, например, недавно один вузовец приставал, что надо переменить падеж в строчке «стекле и цемента» (или наоборот, не помню)9. Он прав, грамматически надо, но я не могу, мое ухо требует так.

Он вздохнул:

— А я-то думал, что это стихотворение стало классическим. А тут разговоры — «со вчера»! Да, конечно, я так и хотел сказать!

Разговор стал общим. Пастернак рассказывал:

— Потребность в ритмической речи у крестьян удивительна. Когда мы были на даче (он назвал подмосковную), то наша (не то хозяйка, не то прислуга) в какой-то праздник или святого позвала нас всех. Поставила угощение — пряники, орехи и прочее, все мы сидели — тихо. Потом встосковалась: «Ох, как стихов хочется». Она сказала как-то проще — кажется, стишков. Она не знала, кто я, но попросила меня читать «Евгения Онегина» — я читал долго. Все слушали очень внимательно — потом начали играть на гармошке и прочее. — Пастернак смеялся губами.

Я попросила его надписать книгу.

— Сейчас.

Он вышел, потом сердился, что нет чернил у Артема, взял химический карандаш — надписал: «Настоящей Толстой — во имя существа». Спросил: «Вы понимаете, что это значит?» Потом неожиданно поцеловал в левый угол рта. Тревожно спросил: «Может быть нельзя?» «Я ответила: «<Прекратите>, вам все можно».

15 декабря 1927

Надо получить подпись-рекомендацию для «Никитинских субботников». Накануне позвонила ему от Маруси10.

— Ведь вы же знаете, как я к вам отношусь, — и тогда я вам книгу надписал — это же недаром.

Подпись обещал дать с удовольствием — просил приехать завтра утром. Дети шумели, и слова его я слышала плохо. На следующий день я долго тарахтела, пока открыли (живут они без звонка).

В передней комнате-кухне жарилось мясо. Прислуга позвала его. Он вышел из спальни — тоненький, в черной вязаной курточке — лицо смуглое, словно загорелое и исхудавшее, губы побледнели, волосы свисали, как обычно. Заинтересовался отзывом обо мне Вяч. Иванова:

— Постойте, покажите, мне интересно.

Читал внимательно, мгновенно подбираясь и сосредоточиваясь, потом опять убежал подписывать, опять стучали, пришла соседка, потом его жена, все куда-то спешили, торопились и он сам метался. Рассказывал, что у сына воспаление почечных лоханок, а у него болит рука, — мылся и неловко повернул, а летом, в первый раз растянул, когда пригибал орешник на даче. Улыбнулся смущенно своей «детскости».

— И вот так целый день суета, даже 10 минут в день не могу выбрать сделать гимнастику, а доктор сказал, что необходимо.

Жена сказала, что они собираются менять квартиру — с Волхонки на Якиманку и только не могут разобрать, не сырая ли она? Хотя комнаты меньше, но у всех свой угол. Пастернак сказал, что он выйдет со мной, когда я уходила. Он бросил пальто жене, она поддержала, он с трудом, морщась, продел левую руку. Пальто старенькое, я была в грусти, так как он стеснялся его и смотрел растерянно. На улице рассказывал, что пишет для «Нового мира» статью о Рильке, немецком поэте11:

— Я ведь не знал, что он меня знает, а оказывается, знал, я написал тогда ему письмо — от ответил очень длинно и ласково благословил меня. Вскоре он умер. Это очень грустно — он оказал на меня большое влияние.

Мы шли по тротуару, а когда переходили улицу, он неизменно легко подхватывал под локоть — привычкой воспитанного человека. Говорил еще, что очень собирается за границу поработать и пожить возможно подольше, а то в нынешних условиях тяжело что-то выжать из себя. Когда вокруг ходят и с утра надо вставать рано, спать не дают, а когда хочется работать, то телефон и тысячи разных дел. Видел, что я стесняюсь, поэтому говорил сам и манерой нежной внимательности наклонялся каждый раз, когда я говорила.

— Если бы возможно! Ох, если б было возможно, поехал бы во Францию, я разлюбил ее после войны и вообще послевоенного времени, но Лафорг12 оказал на меня слишком глубокое впечатление.

Подошли к трамваю. Он поцеловал руку, вдруг крикнул ласково:

— А почему вы меня удержали? Я бы вам дифирамб написал!

Трамвай подошел, я стала на подножку и опять почувствовала его руку, обернуться уже не было сил.

Все не то — когда видишь каждую жилочку, когда ощущаешь живое существо, из нескольких тысяч слов можно записать только десятки — грустно.

Первый разговор о Пастернаке был с Вяч. Ивановым. Я ему принесла книжку «Сестра моя жизнь», был год 20-й13, книги разыскивались туго.

— Вот, мне нравится. Вяч. Иванов:

— Ну что же, мне давно уже нравится. Широкий масштаб, но автор молодой, иногда дает <срывы>. А почему «Сестра моя жизнь»?

— Франциск говорил: иду проповедовать сестрам моим рыбам.

— Сами вы рыба. Надо антитезой: сестра моя смерть — сказал Франциск Ассизский. А имеет ли он право так называть свою книгу?

— Имеет. Блажен и тяжел.

— Почти так. А разница?

— Тот попросил перед смертью миндального пирожного, а это попросит шампанского.

Вяч. Иванов смеялся:

— Все правильно, но надо говорить более академически.

Он был у нас в июле.

О Вяч. Иванове: «Мы с Балтрушайтисом спорили: неужели Вячеслав всегда говорит в напыщенном тоне? Спрятались как-то в кусты и начали кричать, как совы. Мы жили все на даче. Вячеслав в верхнем этаже — вышел он на балкон и говорит:

— Вера, ты знаешь, как будто кричит сова. А ты знаешь, что это мне напоминает? Грецию.

И тут же, на балконе объяснил ей приметы греков на этот счет. Мы сидели в кустах и было совестно и неловко пошевелиться. Наконец выскочили и убежали. На следующий день за обедом Вячеслав в точности повторил свои рассуждения, в еще более высокопарной форме. Так мы не дождались от него простого разговора14».

О Горьком. Эпизод с поездкой Аси и Зубакина. Горький остался недоволен, что к нему они приезжали, так как он не нашел в них ничего замечательного. Я ему написал: «Напрасно. Вы можете требовать от людей порядочности, честности, умения себя держать наконец, но одаренности Вы не имеете права требовать. По отношению к ним Вы были как бы рождественским дедом. Вы осчастливили людей, — достаточно и этого, если даже это и просто рядовые люди». Горький рассердился и написал, что мое письмо сплошная истерика и что нам не о чем переписываться15. Ну что же делать. Потом он тут меня увидел, ласково встретился, сказал, что следовало бы встретиться еще, но не назначил дня.

— Теперь, после болезни, я так исхудал, что губы мои еще больше выпятились; ну, словом, когда я просыпаюсь утром — губы мои лежат отдельно на подушке, и я их вижу.

Яков Черняк

ЗАПИСИ 20-х ГОДОВ 10 ноября 1923 года. Москва

Вчера в редакцию заходил Пастернак. Он несколько дней был нездоров. Все же он успел переделать начало своей поэмы и сдал его «ЛЕФу», несмотря на все свои сомнения1. Обещал на днях заглянуть ко мне. Мы с ним несколько минут поговорили. Просмотрев по моему предложению недавно присланную в редакцию К. Локсом статью «Современная проза. Критика псевдореализма» («Круг» etc.), ушел. Рассказывал о трудностях, с какими ему приходится встречаться при получении его книг из-за границы. Книги долго лежали в подвале З. И. Гржебина в Берлине. З. Г. (представитель Наркомпроса в Берлине) обещал лично проследить за отправкой их в Россию. Прошло восемь месяцев. Теперь Пастернак эти книги получает — расползшиеся, размытые сыростью и водой, отсыревшие и разбухшие2. «Когда я их увидал, у меня слезы подступили к горлу... и не потому, что это мои книги, жалко и т. п., нет... ведь это просто больно, когда так обращаются... Часть книг находится в цензуре. Цензор их забрал, что называется, на вес». Безобразие и анекдот. Им забраны книги с пометкой Р. Ц.3, изданные во время революции в России, увезенные Пастернаком из России года полтора тому назад и возвращающиеся теперь. Среди книг, задержанных цензором, например, русский старый перевод Диккенса, современные немецкие революционные издания и пр. Пастернак пристыдил цензора, и тот, кажется, на днях выдаст ему все. По поводу этого Пастернак говорит: «Цензор меня знает, заявляет: вы человек известный, вам все будет выдано, — а что, — прибавляет Пастернак, — если бы я был менее известен, не получить мне тогда книг?» 19 ноября

<...> Вчера был у К. Локса; виделся там с Пастернаком. Боря в унынии. Говорит, что «знает теперь — вещь его неудачна»... В «ЛЕФе» организовали «комиссию» для оценки этой вещи. (Каково! — это товарищи по группе и художественному единомыслию; это Третьяков будет судьей Пастернака, поэт, которого сами лефовцы квалифицируют как «опытного (!) вульгаризатора»? А роль Асеева в этом деле!.. Руками разведешь на эту «теплую компанию».) Жмутся насчет того, чтобы напечатать ее4. Я говорил Пастернаку, что мое мнение незыблемо — на их слова в этот раз внимания не обращать никакого. Они нынче в жару охоты за деньгами и выгодными «платформами» — «походкою гиены».

29 ноября

В редакции перебывала за эти дни масса народу. Заходил В. Брюсов, как всегда подтянутый, напрягшийся, как свернутая пружина. Жесткий и вежливый. Я его всегда тепло встречаю в редакции, и он, очевидно, не может себе объяснить, отчего это происходит. Наш разговор вертелся главным образом вокруг его очередных для нашего журнала работ, но не лишены интереса для его характеристики и сторонние его замечания. Так, например, любопытен его ответ относительно чистки студентов в его литературном институте. История возмутительная. Из института выброшены около 200 человек; из них, по словам Брюсова, около 150 «мертвых душ», т. е. фактически не занимавшихся, остальные либо малоуспешны, либо «политически и социально неприемлемы». На мой вопрос о причинах исключения Вильмонта — талантливого молодого поэта5 — Брюсов говорит: «Да, тут академических причин нет (ему осталось всего полгода до окончания курса), но он идеалист, участвует во всех оппозиционных кружках студентов, в его стихах молитвы, иконы, Бог... он держится вызывающе... Я, — говорит Брюсов, — на одном заседании его отстоял, но на следующем вопрос был пересмотрен и его исключили». Замечательно, что это решается говорить человек и поэт, через несколько недель вступающий в 51-й год жизни, и изо всех 50 лет едва ли 5 им отданы не «идеализму», не молитве, не Богу или Сатане, черт его знает! Историю с исключением рассказал мне К. Локс, последний в совершенном отчаянии от всего этого. Б. Пастернак, возмущенный, написал письмо П. С. Когану — а этот плоский человек наверное отмолчится6. 4 декабря

<...> Третьего дня были у Петровского Д. В.7 — поэта, слушали стихи Варвары Мониной8 и Дм. Петровского, присутствовали К. Локс, Ю. Анисимов (пришел к концу), Б. Пастернак и несколько женщин — «жены». Стихи Мониной — милы. Петровского — плохи. В общем, впечатление незначительное.

19 декабря

<...> Воскресенье и понедельник 16-17 декабря литературный мир чествовал Валерия Брюсова. Конечно, не весь литературный мир. Не было в этом чествовании ни единодушия, ни искренности, ни любви. Вокруг этого юбилея много толков — возмущения одних, хлестаковщины других. Валерий Брюсов при мне говорит: «Я принципиально не принимаю никакого участия во всем, что связано с подготовлением юбилейных чествований». Однако Брюсов не мог не знать, как это делается. М<ихаил> 0<сипович>9 мне рассказывал, что «сверху» было сказано некоему лицу (фамилии М. О. не назвал) — «надо устроить!». Приказание было передано по инстанциям. «Фактотумы» постарались. Был образован Комитет по чествованию, и дальше все пошло как по машине. В результате — в воскресенье 16-го его чествовала Академия художественных наук под председательствова-нием А. Луначарского (а после перерыва — М. Н. Покровского), состоялось заседание при общем стечении публики. Были прочитаны доклады: П. Сакулиным—«Классик символизма», Л. Гроссманом «Брюсов и французские поэты», Г. Рачинским «Брюсов и литературный институт», С. Шервинским «Брюсов и Рим», Цявловским «Брюсов — пушкинист». Доклады — напыщенные и лживые, как Сакулина, или даже не очень грамотные — как Гроссмана, но весьма витийственные — уже явственно собой обозначили линию фальши, по которой должно было бы идти все остальное. Так и было действительно. Много разговоров вызвало в литературных кругах предположенное награждение Брюсова званием «народного поэта». Однако, к счастью, «грамота Рабоче-крестьянского правительства поэту Валерию Брюсову» ограничилась лишь выражением «благодарности». Нет сомнения, если б не воздержались они от предполагаемого шага, все чествование сразу бы выдало свой одиозный характер и великое превратилось бы в смешное. Полонский очень метко сказал, что Брюсов «вовремя попал». Писатель крупный, известный, весь в буржуазной литературе, своим вступлением в 19-м году в

коммунистическую партию сумел выделить себя и противопоставить всем своим сверстникам. Немудрено, что ему «благодарны». Полонский, улыбаясь, цитирует:

И ходят их головы кругом,

Князь Курбский стал нашим другом...10

Политическая демонстрация в этом чествовании — едва ли не 3/4 его содержания. В чествовании принимают участие многочисленные литературные и всевозможные ученые ассоциации. Но как холодно все, как пышно-торжественно в ложноклассическом стиле. Эти адреса, свернутые в скрипучие свитки — на голубом шелку с кистями на серебряных шнурках, — гроб глазетовый, — видно было из партера, где мы благодаря М. О. с Елизаветой Борисовной находились, как треугольный каменный Брюсов (он весь в треугольниках: лицо — треугольник, вниз обращенный, а лоб — такой же треугольник, чуть только круче и вверх. Глаза его — маленькие треугольники и скулы острые и угловатые тоже. В черном сюртуке, молчащий и как автомат кланяющийся и пожимающий руки, он был страшен и жалок) смотрел на колеблющиеся кисти, пока читали монотонными голосами стереотипные адреса. Ни одного сверстника! Ни одного сотоварища по действительным литературным связям. Ни одного искреннего поздравления, горячего привета. Один лишь раз повеяло теплом, когда армянские народные певцы чествовали его по народным обычаям Армении. Он их сазандари. К ногам народного поэта после пропетой ему песни кладет народный армянский певец свое тари (инструмент — вроде нашей мандолины). Театр единственный раз аплодировал по-настоящему. Брюсов чуть-чуть растерялся. Жал руку певцу и явственно растрогался.

Так проходила официальная часть чествования в понедельник 17 декабря в Большом театре. За несколько дней до того Пастернак советовался со мною: можно ли, должно ли принять участие в чествовании? Маяковский и Асеев в нем не приняли никакого участия. Ив. Аксенов мне рассказал, что с «черного хода» они забежали в ложу к Брюсову (левая ложа у сцены — царская бывшая или великокняжеская) и поздравляли его «частным образом» Среди поэтов, написавших стихи, посвященные Валерию Брюсову, нет никого из сверстников, если не считать Рукавишникова11. Остальные — чуждые Брюсову до конца. Я горячо говорил Борису, что нет нужды становиться в этот день в позиции литературной борьбы, оппозиции и т. д. Пастернак написал Брюсову. Стихи удивительные. Там есть такие строчки:

Вас чествуют! Чуть-чуть страшит обряд, 1де Вас, как вещь, со всех сторон покажут И золото судьбы посеребрят, И, может, серебрить в ответ обяжут!

И еще:

Ломиться в двери пошлых аксиом, Где лгут слова и красноречье храмлет? О, весь Шекспир, быть может, только в том, Что запросто болтает с тенью Гамлет. Так запросто же! Дни рожденья есть. Скажи мне, тень, что ты к нему желала б

.....снесть12

Пережитого слышащихся жалоб, —

так стихотворение кончается. В середине есть строфа, поразившая меня:

Что Вы дисциплинировали взмах Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной

.....13

И дьяволом недетской дисциплины...

Теперь мне вспоминаются еще его строки:

Что мне сказать? Что Брюсова горька Широко разбежавшаяся участь, Что ум черствеет в царстве дурака, Что трудно улыбаться мучась...14

Читал я и стихи И. Аксенова — эти: торжественная речь и пафос их, пожалуй, выдержан хорошо, но это все не по-моему. Единственными я считал стихи Бориса. <...>

Однако возвращаюсь к чествованию. Среди телеграмм и адресов упоминались все республики Союза, университеты, театры, академические общества и т. д. 1де-то даже в Берлине в тот же день тоже устраивалось «чествование», — шутя мы говорили: в Торговом представительстве — очевидно!.. Адресов в папках и без папок, в виде свитков и просто на листах — завален целый стол. Камерный театр преподносит макет «Федры». Госиздательство — кожаную папку с адресом. Литературный институт получает название: «имени Брюсова»... остального даже нечего упоминать — включая сюда путаную речь (о, как красноречиво!) А. В. Луначарского15. 10 января 1924 г.

...Еще в декабре познакомился с Е. Лундбергом16 — С. Бобров, Б. Пастернак, К. Локс, какая-то поэтесса Феррари17, врач, фамилии которого я не помню, — вот компания, которая собралась в Ба-ховском биохимическом институте у химика Збарского вечером 19 декабря. Я был приглашен Б. П.18 с Сер. Павл.19 <...> Лундберг не показался мне слишком значительным, однако я понял, что в этом человеке вызывает у всякого чувство настороженности и недоверия. Он — человек большого, жестокого и, я сказал бы, развратного честолюбия. Посмотрим, оправдает ли ближайшее время эту угаданную мной, кажется, правильно грунд-черту характера.

Записи на отдельных листках

Н. Асеев говорил Боре: смотри осторожнее: был Гоголь в хорошем настроении — уехал и вышел отец Матфей...20

Получил рукопись от Бориса Леонидовича 15-го апреля 1927 года21 вечером, когда Борис Леонидович пришел, чтоб поговорить о своей поездке за границу. Пришел он после прощания с Владимиром Владимировичем Маяковским, уезжающим на месяц в Варшаву и Берлин (кажется)22. Мы говорили о вечере, проведенном накануне у Григория Яковлевича Сокольникова23, о людях, его окружающих, о смысле событий, поставивших под удар судьбы китайской революции, а вместе с тем и наши судьбы. Мы (я и Елизавета) советовали Боре очень осторожно решить вопрос о поездке. Я же предостерегал его от безысходного порочного круга зарубежных людей, не способных ни надеяться, ни любить, ни оплакивать, ибо они давно уже по отношению к России живут мертвою, автоматическою жизнью, — и, зная, что к некоторым из этих людей (я думал о Марине Цветаевой) Боря относится иначе, чем я, — прямо говорил Боре, что боюсь для него гипнотического влияния, могущего и его втянуть в порочный круг безысходного духовного состояния. Поэтому, говорил я, если только Боря знает, уверился в оседлости своей в нашей России, может он поехать без опасности для себя... (как для крупнейшего поэта России, как я при этом думал). Боря знает себя — жизнь воспитала в нем великое сознание своих прав, — я верю, что он еще вырастет на этой трудной полосе своей жизни, как он рос в течение этих двух лет, муштруя свой поэтический гений. Его одержимость — лучший водитель, чем так называемая воля. (О «безвольности» — говорила мне Евгения Владимировна, жалуясь на «женскую стихию» — и капризы — Бориса.)24 Эта одержимость спасала его не раз и удержала на высоте поэтической непримиримости в эпоху поэтического распада, продажности и лжи поэтов.

Пусть поедет, ибо для всех нас наступят черные дни реакции — расплаты за поражение на Востоке, на Востоке — ради которого мы и жили эти два года, как мы жили. Вся подавляемая усталость и весь строй конечной нашей жизни были обращены на Восток — ради Востока, и вот теперь пораженье. Если он уедет — от этого он будет избавлен...

Боря говорил о том, что вернуться он думает в Петербург, не в Москву.

16 апреля 1927г.

* * *

28 апреля 1927 г. Борис Пастернак вернул ряд книг, из которых почерпнул немало материала для поэмы «Лейтенант Шмидт». Начиная еще со времени работы над «1905»25 Боря неоднократно обращался ко мне за теми или другими книгами, необходимыми ему по работе, иногда указывая лишь тему. К сожалению, немногое сохранил я в памяти из того, что относится к 1905 году, — многие книги я доставлял ему в собственность, т. е. без необходимости возвратить, — из книг редакции или моих личных. Записываю здесь книги, им возвращенные вчера:

1) «Лейтенант Шмидт, воспоминания сестры». Редакц. Изд. Отдел Морского Комиссариата. Петроград, 1925. <...>

2) Дм. Сверчков. Проблески света. ГИЗ Украины, 1925. Стр. 185 (Из книги «На заре революции»), — взято Борисом для «1905 г.» Отметок нет.

3) «Пролетарская революция», журн. № 10 (22) за 1923 г. Статья В. Дробота «Севастопольское восстание 1905 г.» (окончание), — посылалось Боре начало. Тоже из редакции в собственность.

4) Савинков. «Конь бледный», — Боря предполагал писать о Каляеве или Сазонове. Ему были доставлены мной книги:

5) Письма Евг. Сазонова к родным. М., 1925, стр. 383.

6) «Каторга и ссылка», № 5,1922 (статья Пирогова: «Смерть Сазонова»).

7) № 9 (2), 1924 год, «Каторга и ссылка» (Статья Жуковского-Жука о Мазурине).

Елизавета Черняк 29/1У1927г.

P. S. Это, конечно, только часть того, что было у Бори, — и небольшая часть.

PP. S. Он только что, легок на помине, звонил мне: справлялся о здоровье моего сынишки, нежен и внимателен, как никто!

* * *

И первое слово: как когда-то, должно быть отдано Боре Пастернаку.

Несколько недель тому назад, 14 или 15 февраля Пастернак читал мне окончание «Охранной грамоты». Это то, что я всегда называю «Волхонской хроникой» — так, как в самом начале думал озаглавить эту повесть-автобиографию сам Пастернак. Она родилась из посвящения памяти Рильке; смерть его несколько лет тому назад до слез, до муки взволновала Пастернака — он и известие об этой смерти получил в минуты, когда мысленно был обращен к нему26.

Елизавета Черняк

ПАСТЕРНАК Из воспоминаний

Для него каждое слово
было образом, и ум его свободно
играл со звездами.

Рокуэлл Кент. «Курс Nby E»

Сегодня я прочла в статье Альбера Камю слова «великий Пастернак»1. И хотя всю жизнь Пастернак был для меня человеком необыкновенным, камертоном, по которому я старалась настроить свой душевный лад, мне как-то трудно думать о нем как о «великом». Близкая дружба Яши и Б. Л. в молодости и частые встречи с ним в десятилетие 1922—1932 сделали его для меня «Боречкой». Очень трудно писать о «великом» человеке, очень ответственно. Боюсь, что я этого не смогу. Постараюсь писать о «Боречке», как мне этого давно хотелось. Еще подтолкнул меня в этом направлении один милый юноша, который говорил мне, что все важно знать о Б. Л. Даже то, что у него часто болели зубы. Попробую.

Всю жизнь у Яши была склонность увлекаться каким-нибудь одним человеком. Яша начинал его идеализировать, считал Учителем (с большой буквы). Первый его кумир был Маяковский. Яша был одержим его поэзией. Встретившись с ним в жизни, он отнесся к нему восторженно. Смерть Маяковского потрясла Яшу глубоко. Но

Учителем Маяковский для него не стал. Разве что в поэзии. Затем было несколько людей незначительных — ошибки Яши. Среди них Натан Венгеров, человек талантливый и умный, но мелкий. Затем в Яшиной жизни появился человек, несомненно оказавший на него величайшее влияние, сформировавший его ум и душу, определивший ход его жизни, — это Михаил Осипович Гершензон. Но о нем надо сказать отдельно. Если могу, если успею, сделаю это обязательно.

Но вот в 1922 году (может быть, в конце 1921-го) Яше попали в руки стихи Б. Л. Пастернака, молодого, до того ему неведомого поэта. Поэзия была Яшиной страстью, он сам в то время писал стихи. Стихи чужие чувствовал остро и тонко. Хорошие стихи приводили Яшу в состояние восторга, подъема, были для него счастьем. Для него не существовали «трудные» стихи. Сквозь слова и строчки он чувствовал, «видел» самую душу поэта, его мысли и чувства. В это примерно время Яша начал работать в журнале «Печать и революция». Первое, что он там напечатал, была рецензия на книгу стихов Б. Л. «Сестра моя жизнь». Рецензия понравилась Пастернаку, и он пришел в редакцию. Так состоялось знакомство Яши с Б. Л.

Мне трудно выразить и рассказать, кем был для Яши Б. Л. Сколько было у него к нему любви, нежности. Не было такого периода в жизни, самого сложного, самого трудного, когда он не думал о Б. Л. Каковы бы ни были их отношения, более прохладные примерно после 1932 года, первая мысль была всегда о Боречке. Когда началась война, Яша в первые же дни к нему пошел, не мог его не повидать. Когда заболел последней болезнью, попросил меня написать Б. Л. и как терзался, пока не отозвался Б. Л.

Но тогда, в юные годы (Яше было 24 года), все это еще только зарождалось, возникало. Яша с Б. Л. где-то встречался, говорил, но я очень ясно помню наш первый визит к Б. Л. ранним летом 1922 года. Б. Л. жил тогда на Волхонке, 14, на втором этаже, в бывшей квартире своих родителей. Из прихожей была дверь в комнату, занимаемую братом, Александром Леонидовичем. Другая дверь вела в бывшую столовую. Комната, мне помнится, темноватая, длинная, с длинным столом. Позднее ее разделили занавеской, стол поставили круглый. На стенах висели эскизы и наброски отца Пастернака, Серова, других художников. Я помню эскизы к картине Серова «Девочка с яблоками» и портрету «Мика Морозов». Кстати, М. Морозов, будущий шекспировед, был другом детства Пастернака2. Из столовой, выходившей во двор, одна или несколько дверей вели в комнаты, выходившие по фасаду. Я их смутно помню. Они были, кажется, большие, перегороженные и полупустые. Помню только, что, проходя в комнату Б. Л., заметила большое кресло с высокой резной спинкой черного дерева. Почему-то это единственное, что мне отчетливо запомнилось. Комната Б. Л. была большая, тоже темноватая и полупустая. Позднее ее тоже перегородили занавеской. Сразу у входа стояло пианино. В течение вечера Б. Л. вдруг сел за рояль и начал импровизировать. Это был единственный раз, когда я видела Б. Л. за роялем. Около пианино стоял большой ящик. Говорили, что он полон нот, сочинениями Б. Л. Друзья его еще помнили, что он не только поэт, но и музыкант, помнили, какое блестящее будущее композитора предсказывали ему Скрябин и Рахманинов, друзья его матери-пианистки.

Мы с Яшей пришли вместе с поэтом Дмитрием Петровским и его женой Марийкой (Мария Гонта)3. Они жили недалеко от нас, в Мертвом переулке. Странная это была пара. Петровский — неистовый поэт и человек. В гражданскую войну он примыкал к анархистам. Говорили — убил помещика, кажется, своего же дядю. Был долговяз, и создавалось такое впечатление, будто ноги и руки у него некрепко прикреплены к туловищу, как у деревянного паяца, которого дергают за веревочку. Стихи у него были иногда хорошие, но в некотором отношении он был графоман.

О чем шел тогда у Пастернака разговор, я не помню. Но помню, что Б. Л. позвали к телефону и он, вернувшись, сообщил, что сейчас приедут Маяковский и Асеев. Действительно, вскоре приехали Асеев с женой и еще кто-то. Маяковский не приехал. Б. Л. стал готовить чай и только успел разлить его в чашки, как в открытое окно его окликнул женский голос. Б. Л. подошел к окну и стал уговаривать собеседницу подняться и не обращать внимания на то, что она «в тапочках». Из разговора стало понятно, что она приехала из-за города. Она пришла, окинула комнату ревнивым взглядом и сказала: «А вы уже без меня устроились». Так мы познакомились с женой Б. Л., Женей. Что мне сказать о Жене? Гордое лицо с довольно крупными смелыми чертами, тонкий нос с своеобразным вырезом ноздрей, огромный, открытый умный лоб. Женя одна из самых умных, тонких и обаятельных женщин, которых мне пришлось встретить. Так считал и Яша. Он всю жизнь относился к ней с нежностью и благоговением, так что порою меня начинала грызть ревность, от которой я с трудом отделывалась. Но характер у Жени был нелегкий. Она была очень ревнива, ревновала Б. Л. к друзьям, на что не раз жаловались тогдашние ближайшие друзья Б. Л. — Бобров и Локс. <...>

Она была одаренной художницей, отличной портретисткой, обладала безукоризненным вкусом. <...> Она была достойна Пастернака.

Чаще всего к нам они приходили втроем: Б. Л., Бобров и Локс (с Бобровым Б. Л. позднее резко порвал), и начинались многочасовые споры и разговоры о философии и литературе. Философские термины, которыми пестрела их речь, были мне непонятны. Забравшись с ногами на диван, я с напряжением вслушивалась, стараясь понять. Мне не хватало знаний, но все же было бесконечно интересно. Особенно я любила, когда говорил Б. Л. Сначала я мало могла понять. Но постепенно я научилась вникать в этот искрящийся недосягаемый поток образов. Б. Л. иначе мыслить и выражаться не умел. Один образ набегал на другой, вызываемый странным, только ему свойственным ходом ассоциаций. Трудно, невозможно это передать или описать. Я только могу сказать, что весь строй стихов Б. Л. именно таков, какими были ход мыслей и речь Пастернака. Его обвиняли в надуманности, в нарочитом осложнении поэзии. Между тем он просто не мог иначе думать, писать и говорить. С непривычки вы еще только старались понять сложный образ, возникший в его речи, как за ним следовал новый, неожиданный, еще более сложный, в первое мгновение казалось, что с предыдущим не связанный. Такова была речь Пастернака не только, когда он говорил о литературе или философии, особенно же о своих чувствах; нет, о самых простых бытовых и жизненных вещах он говорил так же образно и неожиданно. Конечно, понимать Б. Л. меня научил Яша, который часто читал и объяснял мне стихи Пастернака. А понять стихи Б. Л. значило научиться понимать его самого. Не знаю, как мне передать высоту душевной и духовной настроенности Б. Л. Если в жизни и в быту он ошибался, мог быть обидчив, тщеславен, то в области духа он был воистину камертон, мгновенно чувствовавший любую фальшивую ноту. Плохо, что у меня такая память, что я ничем не могу подкрепить своих деклараций, привести содержание бесконечных бесед и споров Яши с Б. Л. И трудно мне объяснить то особое место, которое он занял в жизни Яши и моей. Для меня лично все эти беседы Яши с Б. Л. и его друзьями были истинным университетом, в котором формировался мой ум, вкус и мироощущение.

Летом 1922 года4 я тяжело заболела. Нужно было прикладывать лед, а в аптеках его тогда не было. На Волхонке, недалеко от дома, в котором жил Пастернак, помещался «Институт мозга». Б. Л. заметил, что во дворе института был заготовлен лед. Он повел туда Яшу, и они вместе несколько раз «воровали» для меня лед. Кстати, этот институт был источником мучений как для Б. Л., так и для Яши. Дело в том, что в подвалах института содержалось много подопытных собак. Собаки эти день и ночь

жалобно выли, скулили, плакали. Б. Л. не раз об этом говорил, а Яша неизменно в этом месте переходил на другую сторону улицы, несмотря на то что через несколько шагов приходилось переходить обратно: дом Б. Л. находился на той стороне, что институт.

Лето 1923 г. Б. Л. и Женя жили на даче в Братовщине. Женя ждала ребенка. Яша был у них на даче. Рассказывал потом о длинной прогулке по лесу и о том, как бодро Женя в ней участвовала. Осенью родился сын. Женя его назвала Евгением. Этот год я мало выходила, много хворала. Осенью 1924 года у меня родилась дочь. Женя пришла меня проведать, принесла какие-то вещички, из которых сын ее уже вырос. Долго смотрела на Наташу и говорила о том, как быстро все забывается: ей уже трудно вспомнить Женю таким, как сейчас Наташа. Я не удержалась и спросила, почему она назвала сына по себе (в еврейских семьях не принято было называть детей по живым родственникам). «Я хотела, чтобы был настоящий Женя Пастернак, я не верю, что буду долго Женей Пастернак», — ответила она.

Вскоре после родов я сильно заболела. На этот раз мне потребовались припарки. Льняного семени нигде нельзя было достать. Снова Б. Л. пошел вместе с Яшей на поиски по городу. Наконец, достали у какого-то извозчика мешочек овса. Припарки «овсяные» меня спасли, внутренний нарыв вскрылся, я поднялась.

Осенью 1924 г. Яша начал заниматься «Ленинианой». Не помню уже, каким образом Яша пришел к мысли заняться собиранием заграничных откликов на смерть Ленина. Но Яша очень увлекся этим делом. Страстная, увлекающаяся натура Яши заставляла его с головой уходить в каждое новое увлечение, будь то какое-нибудь дело, человек или отвлеченная идея. И всегда ему хотелось привлечь и вовлечь в тот круг, которым он горел, всех близких (а иногда и не очень близких) ему людей. Лениниана5 владела всеми его мыслями, отвлекая от работы в «Печати и революции».

Б. Л. нуждался в заработке и хорошо владел языками. Словом, «нашелся друг отзывчивый и рьяный...» — так сказал Б. Л. о Яше потом в «Спекторском»6. Не помню, в эту ли зиму или в следующую Б. Л. однажды пришел со свертком трубочкой. Очень довольный, развернул его. Оказалось, он принес Яше в подарок свой портрет, автолитографию работы своего отца. Приподнятое кверху стремительное лицо. Яша всегда говорил, что к этому портрету полностью относятся слова Марины Цветаевой, что Б. Л. одновременно похож на араба и на его коня. Портрет этот всегда висел над рабочим столом Яши. Он погиб в войну, чего я никогда себе не прощу.

Еще об одном близком друге Б. Л. я не сказала пока ни слова. О Николае Николаевиче Вильям-Вильмонте. Кажется, они с детства были знакомы домами. В семье Вильмонта господствовала немецкая культура. Ник. Ник. сам в совершенстве владел немецким, учился в немецких университетах7. Он был страстный, очень эрудированный философ. Поток философской терминологии очень не вязался с его румяным, круглым, совсем детским лицом и пухлой фигурой. Он был совершенно отрешен от действительности, от практической жизни, тогда такой бурной, жил только своими мыслями и идеями. Переводил стихи Пастернака на немецкий язык, а стихи Рильке — на русский. У нас он бывал реже, чем другие друзья Б. Л. (Забегая вперед, я здесь скажу, что в начале 1930-х годов я одновременно с Вильмонтом работала во Всесоюзном обществе культурной связи с заграницей и узнала его ближе. Именно тогда он начал «спускаться на землю» и у него начали проявляться практические способности, которые у него так блестяще развились позднее, особенно в последнюю войну. Но дружбу с Пастернаком он сохранил до смерти Б. Л. и многим помог ему в трудное для него время.)

В конце 1922 или в начале 1923 года из Киева в Москву переехал пианист Генрих Нейгауз. В Киеве я занималась с Нейгаузом. Я глубоко ценила этого талантливого и тонкого музыканта, удивительно разносторонне образованного человека. Когда он при-

ехал в Москву, мне страшно хотелось познакомить его с Б. Л. Мне казалось, что эти два самых, по-моему, замечательных человека должны были сойтись. Моего вмешательства не потребовалось. Они познакомились и — я оказалась права — очень подружились. В дальнейшем эта дружба для обоих обернулась очень трудно. Но об этом — потом. Жена Нейгауза с двумя сыновьями переехала в Москву на год или даже несколько лет позже самого Генриха

Густавовича. Так, в частых встречах с Пастернаками прошла зима 1924/25 гг. Летом мы разъехались по дачам. По-видимому, осенью 1925 г., я не помню точно8, Б. Л. уехал за границу. В то время это было довольно просто, разрешение давали легко. И финансовый вопрос как-то разрешался, я тогда не интересовалась — как. Родители и сестра Б. Л. жили в Берлине. О Пастернаке в Берлине написал в своих воспоминаниях Эренбург9. Писала о нем и Марина Цветаева. Несомненно, встреча с Мариной Цветаевой была самым значительным событием в этот период жизни Пастернака. Женя знала об отношении Б. Л. к Цветаевой и очень страдала. Вообще у Жени с Б. Л. отношения были неровные, порой очень напряженные. Женя была человек крайне требовательный не только внешне, но и внутренне. Она не прощала Б. Л. ни одного слова, жеста, которые считала недостойными его, ни одной ошибки. Я помню, что мы как-то возвращались целой компанией откуда-то, где Пастернак выступал. Женя при всех беспощадно упрекала его в том, что он не так говорил, не то сказал, что были фальшивые ноты и т. д. А Б. Л. был не без самолюбия. В Жене вообще было мало мягкости, уютности, уступчивости. У меня еще в то время сложилось впечатление, что Женя очень боится стать придатком к Б. Л., потерять свою душевную самостоятельность, независимость. Она все время как-то внутренне отталкивалась от Б. Л. Эта внутренняя борьба длилась все время, и именно она, по моему убеждению, привела к разрыву. В быту Женя все время требовала помощи Б. Л. Однажды весной, придя к ним, мы застали его в столовой за занавеской, укладывающим зимние вещи в большой сундук. Так что «...и шубы прячут в сундуки...»10 это не просто образ, а реальность. Мне трудно отделить воспоминания этой зимы от последующих. Поэтому перейду к весне 1926 года.

Пастернак был уже в Москве. За границу собиралась Женя с сыном, которого хотела показать дедушке с бабушкой. Я в это время ожидала второго ребенка и почти не выходила. Яша снял дачу в трех километрах от Голицына. Туда переехали моя мама с Наташей. Дом был большой, и Яша, желая помочь разрядить атмосферу у Пастернаков, повез Женю с сыном к нам на дачу. Но Женя прожила там всего несколько дней. Вскоре она уехала из Москвы. Мне запомнилась наша встреча осенью. Женя только что вернулась. На круглом столе в столовой стояли привезенные ею из Германии разноцветные яркие кружки, все в белых горохах. Кажется, Б. Л. не было или он вышел. Женя говорила Яше о том, какое необыкновенное впечатление произвели на нее горы. Какое охватило ее чувство, когда она поднялась на одну из вершин. Чувство высокое, полное, как будто она все могла объять, все понять, все простить. Даже Марину Цветаеву.

Зима 1926/27 года была особенная для нас. Б. Л. задумал «1905 год» и «Лейтенанта Шмидта». В поэзии, в литературе Яша был очень близок к Б. Л. Но в области общественной жизни, политики дело обстояло не так просто. Пережив в начале революции большую ломку, преодолев или почти преодолев свое идеалистическое миросозерцание, Яша отдался всему новому со своей обычной страстью. Он, как часто бывало, при всем своем уме терял объективность, способность трезво и критически мыслить. Да и почти все в это время отдались общему потоку. То, что Пастернак стоял как бы в стороне, не принимал всей новой действительности безоговорочно, было Яше очень больно. Ему все казалось, что Б. Л. надо объяснить, надо его убедить. Потому

Яша был в восторге, когда у Б. Л. появилась эта новая тема. Весь этот год Яша без конца встречался с Б. Л., который читал ему все, что писал; они обсуждали, спорили, говорили. Яша доставал Б. Л. книги, несколько раз устраивал у нас чтения, на которые приглашал молодых писателей. На этих чтениях всегда бывал редактор «Печати и революции» (где Яша работал) и «Нового мира» (где печатался Б. Л.) Вячеслав Полонский11 с женой. Полонский был видной фигурой в тогдашней литературной жизни Москвы. С его мнением и словом считались. Кира Александровна, его жена, художница, высокая стройная брюнетка, была очень приятной женщиной, умной, тонкой, державшейся ненавязчиво. Однажды Б. Л., перед тем как начать читать, сказал: «Когда я пишу, я всегда вижу перед собой того, кому буду эти строчки читать. Когда я писал эти стихи, я думал о вас, Кира Александровна». Книга вышла в конце 1927 года. Б. Л. пришел к нам, торжественно развернул книгу, на которой заранее дома сделал надпись: «Дорогому Якову Захаровичу Черняку на добрую память о зиме 26—27 гг. и в благодарность за помощь, без которой не бывать бы и книжке. Б. Пастернак, 18/1X/27». Надпись была явно «для истории». Б. Л. начал что-то говорить, торжественно и, как всегда, гудя, но вдруг оборвал, схватив карандаш, перевернул страницу и быстро написал: «Милому Яше с любовью и без пустяков. Б. П.» — и крепко обнял Яшу.

В эту зиму Б. Л. был особенно внимателен и ко мне. Тому была особая причина. В этот год Яша познакомился с начинающей писательницей Галиной С.12 Галина была талантлива, хороша собой, очень молода и очень активна и напориста. Муж ее был крупным политическим деятелем, членом правительства. Яша очень подружился с Галиной, часто бывал у нее в доме, где собирались очень интересные люди. Сперва я начала было ревновать, но потом убедилась, что для чисто женской ревности основания не было. Осталась ревность «человеческая»: я ревновала к тому количеству времени и внимания, которые Яша уделял Галине. Друзья же все, как я потом поняла, считали, что у Яши роман с Галиной, и жалели меня. Яша первым долгом постарался и Б. Л. вовлечь в свое новое увлечение, но Б. Л. этот дом не понравился, и, побывав там однажды, он больше не стал туда ходить. Мне же Б. Л. стал оказывать знаки внимания. Однажды пришел и принес мне коробку кишмиша. В другой раз принес мне два томика Томаса Гарди на английском языке в издании «Таухниц». «Я надеюсь, что вам понравится, я очень люблю Гарди», — прогудел он. Вот какие надписи Пастернак сделал на книжках (одна из них сохранилась, другая пропала, но я помню и вторую надпись): «Милой Елизавете Борисовне, спутнице воплощенной выносливости, на память о человеке, этим воплощением злоупотреблявшем (фраза непонятная, но правдивая) 25/V/27. Холодный гриппозный день. Б. П.» и «Елизавете Борисовне, ангелу долготерпения, благотворно отразившему это качество на своем муже. Чудо испытано, попытка объяснения дана. Тот же человек в тот же гриппозный день». Еще я получила один подарок. Мы сидели у Пастернаков за чаем, как вдруг Б. Л., выйдя на минутку, вернулся и поставил передо мной чашку с блюдцем со словами: «Это была любимая чашка моей матери». Чашка была стилизована (что называется «модерн») и по форме и по рисунку: белая с подобием цветов и плодов и сине-зеленым кантиком. Чашка погибла во время войны, сохранилось, странным образом, блюдце, правда расколотое пополам. Тогда чаще всего встречи происходили в период Рождества. Революционные праздники в те годы только еще нарождались. Традиция же старых религиозных праздников еще держалась крепко. Новый год встречали дважды, по новому и по старому стилю. И вот две недели между Рождеством и «старым» новым годом были сплошные встречи, елки, мы часто переходили из дома в дом. Так было в течение нескольких лет. Только однажды, я помню, Рождество было испорчено

сильным флюсом У Б. Л. У него вообще были слабые зубы и очень частые флюсы, от которых он сильно страдал.

Лето 1927 г. Пастернаки жили в деревне Мутовки (версты три от станции Хотьково Северной ж. д.). В середине лета, когда я кончила кормить сына, мы с Яшей к ним поехали. Из города выехали вместе с Б. Л. На станции Хотьково наняли крестьянскую телегу и поехали. Деревня стояла на крутом холме над речкой Ворей (?). Дом, в котором жили Пастернаки, был крайним13. Вход с улицы был нормальным, как обычно, но терраса шла сбоку дома во всю длину, построена была на высоких сваях и смотрела на реку. В той же деревне жили все сестры Вильмонт с матерью и сыном старшей, умершей от родов сестры. Утром я проснулась рано, вышла на террасу и увидела, как Б. Л. с полотенцем через плечо спускался к речке. Он очень любил купаться, купался до глубокой осени. Позже пошли купаться и все мы. Справа, если глядеть с террасы на речку, подымался довольно высокий холм, весь поросший кустами и мелколесьем. Именно этот холм навсегда связался в моей памяти со стихами Б. Л., которые он только что написал и нам прочел в тот день: «Ландыши» и «Предчувствие грозы»14. «Гроза» была посвящена Яше, и он был очень этим счастлив. Атмосфера в доме была хорошая, дружная, Женя мне потом говорила, что это был один из лучших периодов в ее жизни.

Последующие годы я помню слабее, может быть, потому что у Яши появились новые друзья, новые дела, да и я начала работать после длительного перерыва. Я думаю, что мое следующее воспоминание надо отнести к ранней осени 1931 года. Мы пришли к Пастернакам. Б. Л. и Нейгауз были около рояля, полностью поглощенные разговором. Генрих Густавович сидел за роялем, Б. Л. прислонился к роялю стоя. Они говорили о музыке, вспоминали отдельные вещи, куски, аккорды. Нейгауз тут же их исполнял. Потом все сидели за столом. Кроме нас были Асмус с женой15, с которыми Пастернаки очень сблизились последнее время. Пастернака стали просить читать. Он сразу согласился. Но прежде чем начать, он быстрым взглядом окинул собравшихся и сказал: «Как жаль, что нет Зины». Тут только я заметила, что жены Нейгауза нет (сказали, что она больна). Слова и тон, которыми они были сказаны, меня поразили и укололи. Я ничего не знала. Мимо меня как-то прошло, что год назад обе семьи прожили лето совместно на даче под Киевом. А это лето, также вместе, ездили в Грузию. Пастернак прочел свои прекрасные «грузинские» стихи. Я и тут ничего не поняла. Но вскоре все стало ясно: Б. Л. уходит от Жени, у него новая любовь — Зинаида Николаевна Нейгауз, которая тоже уходит от мужа. Зинаиду Николаевну я знала по Киеву, хотя и не близко. Что мне о ней сказать? Она не была человеком ни большого ума, ни большого сердца. Ей были присущи многие чисто женские мелкие слабости. Боюсь о ней писать. Хорошего не скажу, а плохое писать не следует: я ее все-таки слишком мало знала, да и ревновала за Женю. Все-таки З. Н. была человеком несравненно меньшего калибра, чем Женя.

Внешне Зинаида Ник. была очень хороша. Высокая, стройная, яркая брюнетка. Прелестный удлиненный овал лица, матовая кожа, огромные сияющие темно-карие глаза. Такой я ее помню в ранней юности, еще невестой Нейгауза в Киеве. В эту пору, т. е. в 1931 году, она была полнее, овал лица немного расплывчатее, но еще очень хороша. Яша был поверенным и Б. Л. и Жени. Женя очень убивалась. Она любила Б. Л. подлинной сильной любовью, которая пережила Б. Л. Потеря его была для нее горем, надломившим ее жизнь и заслонившим все уколы оскорбленного женского самолюбия. Все симпатии Яши были тоже на стороне Жени.

Любовь его к Б. Л. не охладела, но многие годы он не мог заставить себя переступить порог дома Пастернака, где хозяйкой была Зин. Ник. (это мне сам Яша говорил). Регулярные встречи Яши с Б. Л. прекратились. Они виделись от случая к

случаю. Б. Л. с Зин. Ник. переехали на новую квартиру, кажется сразу (но этого я точно не помню), в писательский дом в Лаврушинском переулке16 (Александр Леонидович еще раньше переехал в новый дом, построенный им)17. И он, и жена его — архитекторы. Женя получила маленькую квартирку во дворе дома писателей, Дома Герцена на Тверском бульваре. Там она жила с сыном, прелестно, с присущим ей вкусом, устроившись, но — безутешная. Я знаю одну только ее попытку сблизиться с кем-то, но и та осталась попыткой. Вся ее жизнь была посвящена сыну, которого она боготворила, любила не всегда разумной любовью. Б. Л. всю жизнь навещал ее очень часто, дружески делился с ней своими делами и заботами, чем Женя очень гордилась. Только однажды она возмутилась, когда Б. Л. пришел к ней советоваться, разумно ли ему иметь еще одного ребенка. Да и то мне показалось, что в глубине души она и тогда была довольна. Материально Б. Л. обеспечивал Женю до конца своей жизни, несмотря н& то, что сын Женя был уже взрослый. Он всегда старался давать Жене суммы сверх положенного, по-видимому, часто скрывая это от Зин. Ник. У нас Б. Л. был только однажды, в начале 1935 г., когда мы переехали на новую квартиру на Таганку. Лето 1935 г. мы провели в Ленинграде. Я с детьми жила в Сестрорецке.

Яша работал в ленинградских архивах. В это лето Б. Л. ездил в Париж на Конгресс антифашистских писателей18. Говорили, что конгресс приветствовал Пастернака стоя. Возвращалась вся советская делегация морем через Ленинград. Яша их встречал и был потрясен тяжелым состоянием, в котором он нашел Б. Л. Б. Л. очень мучили некоторые проявления упадка нервных сил. Он был ими подавлен, угнетен. Яша, сам знакомый с подобными же явлениями, пытался его подбодрить. Б. Л. был с Яшей очень откро-венен19. Говорил тогда Яша о Б. Л. с руководителем делегации Щербаковым20, который очень дружески и сочувственно отзывался о Б. Л., обещая помочь.

Опять несколько лет провала в моей памяти. Наступил невозможный 1937 год, который разобщил всех и вся. Яша изредка встречался с Б. Л., бывал у Жени, которая в это время рисовала Яшины портреты (регулярно Женя нигде не работала). Иногда, очень редко, Женя бывала у нас.

Запомнилось мне одно выступление Ираклия Андроникова в клубе Союза писателей. Его пародии в интимной обстановке клуба были всегда особенно привлекательны. Андроников давал портреты Щеголева, Маршака, Алексея Толстого, многих других. Изображал он в числе прочих сценку, как Пастернака приглашают по телефону выступать. «Нет, не могу, знаете, в другой раз», — гудел Андроников голосом Пастернака в воображаемую трубку. И вдруг, обрадованным голосом, счастливый, что придумал отговорку: «Знаете, у меня грипп! — И тут же громко, в сторону: — Зина, правда у меня грипп?» Зинаида Ник. сидела в одном ряду со мной, она буквально каталась от хохота. Похоже было удивительно.

Началась война. Почти первая мысль Яши, как всегда, — Боречка. Яша нашел Б. Л. потрясенным, взволнованным. Ночами Б. Л. дежурил на крыше. В начале июля мы уже всей семьей уехали в эвакуацию. Во время войны я совсем потеряла Б. Л. из виду. Только знаю, что Зинаида Николаевна потеряла от костного туберкулеза одного из двух сыновей своих и Нейгауза21.

В 1943 году мы вернулись в Москву. В этот год меня постигло большое горе. Я совсем ослепла и оглохла ко всему окружающему. Когда вернулся Пастернак — не знаю. Яша с ним виделся, но опять-таки ничего не знаю. Первое, что вспоминаю, в 1944 году Б. Л. готовил книгу стихов «На ранних поездах» и дал Яше тексты на машинке, для того чтобы Яша их переписал и послал нашей дочери Наташе. Наташа в Новосибирске окончила военную школу радисток и в начале 1943 года добровольно уехала на фронт. Это очень взволновало Б. Л., и он всегда говорил о ней (и с ней впоследствии) с какой-то особенной нежностью. Переписанные Яшей стихи Б. Л. и

сейчас лежат у меня. Тем временем вышла книжка, и Б. Л. послал ее Наташе со следующей надписью: «Будьте здоровы и счастливы, дорогая Наташа. Папа думает, что Вам доставит удовольствие моя память, а в этой книжке не считайте стоящим ничего, кроме последнего отдела (стр. 30 и далее). 6.VI.44. Ваш Б. Пастернак».

В тот год нам поставили телефон. Раз в несколько месяцев Яша внезапно снимал трубку (это только казалось, что внезапно, я знала, что Яша к этому звонку готовился много дней, иногда недель), звонил Б. Л., и начинался длинный задушевный разговор. Однажды, это было, кажется, в году 47-м или 48-м, Яша вернулся ко мне от телефона потрясенный: Б. Л. дал ему понять, что поглощен новым чувством, что счастлив совершенно. «Я только на этот раз не повторю ошибки. Я ничего ломать не буду», — сказал он Яше...

В конце 1945 года я очень тяжело и надолго заболела. Яша был в это время без заработка. Мне точно известно, что Б. Л. говорил с Н. Н. Вильям-Вильмонтом и настаивал, что Яше надо помочь. Н. Н. тогда устроил Яше работу в редактируемом им журнале. Б. Л. всегда и везде был готов помочь друзьям и знакомым. Материально он был хорошо обеспечен, главным образом благодаря переводам. Кроме квартиры у него была дача (правда, собственность Союза писателей), где он жил подолгу, а потом переселился и совсем. Позднее он обзавелся автомобилем. Кроме Жени, которую, как я уже говорила, он всегда поддерживал, был еще ряд лиц, которым он помогал регулярно. В их числе жена поэта Та-бидзе22, дочь Марины Цветаевой23, которая была в ссылке, и многие другие в схожем положении.

В те годы Б. Л. несколько раз выступал с публичным чтением стихов24. Аудитория всегда была переполнена, очень много молодежи. Если Б. Л. запинался, забыв слово или строчку, из публики сразу подсказывали. Его стихи знали, несмотря на то, что он мало печатался и не переиздавался. А читая свои стихи, Б. Л. часто внезапно запинался, забывал. Читал он без всяких внешних эффектов, но вместе с тем и не нарочито монотонно (как, например, Блок). Но удивительно — когда он читал, стихи становились ясными до прозрачности. Мысль их, как бы сложно она ни была выражена, становилась понятной. Невозможно было представить себе, что поэзию Пастернака считают сложной.

Следующая моя встреча с Б. Л. состоялась, как мне кажется, ранним летом 1949 года (может быть, 50-го). Яша только что перенес инфаркт, но мы этого тогда не знали. Выходя из писательской поликлиники, которая находилась во дворе дома в Лаврушинском, мы на улице столкнулись лицом к лицу с Пастернаком. Нашей радости не было предела, явно рад был и Б. Л. и сразу с жаром стал нас уговаривать зайти к нему. Когда мы стали подниматься по лестнице, я заметила, что Б. Л. начали одолевать сомнения. Он стал бормотать, что квартира не совсем в порядке, что они всего на несколько дней приехали с дачи. У меня создалось впечатление, что Б. Л. опасался, как бы Зин. Ник. не встретила нас в штыки. Но она встретила нас очень приветливо и сразу отрядила сына Леню, юношу лет 15-ти, за мороженым — погода была очень жаркая. Квартира действительно производила впечатление нежилой: мебель в чехлах, никаких мелочей, пустые стены. Мы зашли сразу из прихожей в маленький кабинет Б. Л. Несколько застекленных книжных шкафов по стенам, пустой письменный стол. Б. Л. первым долгом с удивлением заметил, что я выгляжу хорошо; он ведь меня не видел с начала моей болезни. А на Яшу смотрел с удивлением и огорчением: Яша действительно за последнее время очень постарел, поседел. Между Яшей и Б. Л. сразу завязался разговор о литературе, современных событиях, друзьях. Бессвязный разговор давно не видавшихся людей. Я во все глаза смотрела на Б. Л. Он очень изменился. Поседел (я его не видела много лет). Очень его меняли вставные зубы. Исчез привычный обаятельный рисунок полных губ и неправильных зубов. Но до глубины души меня

поразило другое — глаза. Некогда такие живые и глубокие глаза были подернуты лиловой пленкой, которой покрываются глаза очень старых людей и старых собак. Почувствовав мой взгляд, Б. Л. повернулся ко мне. «Что, я очень изменился?» — спросил он и, когда я поспешила отрицать, перебил меня: «Нет, нет, я знаю, постарел, зубы...» Потом, в свою очередь, вглядевшись в нас с Яшей, заметил: «Вы (т. е. я) — хорошо, глаза хорошие, за вас я спокоен, но Яша...» — и он не докончил. Тем временем Леня принес мороженое, и мы все принялись есть. Б. Л. не притронулся к своему блюдцу. Заметив это, З. Н. сказала ворчливо: «Вот всегда ты так: то просишь, а принесут — не ешь». Зин. Ник. я очень поразилась: грузная женщина с тяжелым, огрубевшим лицом и самоуверенными манерами. Глядя на нее, я не удержалась: «А я очень хорошо помню, З. Н., какая вы были в Киеве». Зин. Ник. приняла это за комплимент и просияла. Разговор коснулся предстоящей поездки сына Зин. Ник. Стасика Нейгауза в Париж на конкурс пианистов. Для проводов

Стасика они и приехали все с дачи в город. «Кстати, — сказал Б. Л., — не забыть дать Стасику письмо к моему издателю в Париже. Если он захочет там остаться, чтобы у него были деньги». Зин. Ник. так и ахнула: «Что ты говоришь!» Но Б. Л. настаивал: «Это личное дело Стасика, Стасик должен быть свободен в своем решении, и пусть деньги его не лимитируют». Этот очень короткий разговор утвердил меня в том, что я чувствовала всю жизнь. Б. Л. не один раз имел возможность остаться за границей. И если он этого не сделал, то поступил так по велению сердца и без оглядок. Вскоре мы ушли.

Мне осталось досказать немного. Прошло несколько лет редких встреч Яши с Б. Л. и разговоров по телефону. Б. Л. не раз говорил Яше, что пишет роман. Однажды он сказал ему по телефону о том, что роман этот — дело всей его жизни, венец, что все стихи его — пустяки по сравнению с ним.

В январе 1955 года Яша заболел. Как только выяснился серьезный характер заболевания, Яша стал меня просить написать Б. Л. Мне это было очень трудно. Не могла ведь я написать Б. Л., что Яша не может умереть без слова привета от него, я еще сама не теряла надежды. Не помню, что я написала, кажется, что Яша давно о нем ничего не знает, а теперь вот заболел. Прошло несколько томительных дней. Яша все повторял: «Боречка от меня совсем отвернулся». Однажды утром появился шофер Б. Л. и передал мне письмо и довольно значительную сумму денег. Меня от денег покоробило, захотелось тут же их вернуть. Но меня отговорила Лидия Корнеевна Чуковская (она очень дружила с Б. Л.), сказав, что Б. Л. широко и легко всем помогает, что это от души и что он обидится, если я откажусь. Все же о деньгах я не решилась сказать Яше. Так он о них ничего и не узнал. Письмо было ласковое и дружеское. Оно сохранилось. А днем Б. Л. позвонил. Расспрашивал о Яше. О себе сказал, что каким-то чудом и вопреки всему создал себе возможность работать и жить так, как хочет. Что счастлив. После смерти Яши я получила от Б. Л. телеграмму: «Глубоко сокрушен вестью о смерти дорогого незабвенного Якова Захаровича, честного, мужественного, талантливого. Переношусь мыслью в далекое и вижу его молодым в лучших рядах тогдашней молодой литературы. Болею душой и всем сердцем разделяю горе семьи и друзей. Пастернак». На похороны ему не позволили пойти.

Летом 1956 или 1957 года я шла в поликлинику в Лаврушинском переулке. Внезапно из одного из подъездов во двор вышел

Б. Л. Сердце у меня остановилось. Б. Л. меня мгновенно узнал и подошел. Стал благодарить «за добрую память обо мне... Женя мне говорила...». Я прервала его, пытаясь сказать, как мы все ему благодарны, но от волнения едва могла связать слова. Разговор получился бессвязный и непередаваемый, как, впрочем, всегда с Б. Л. Между прочим, он сказал, что приехал с дачи специально для того, чтобы посмотреть в

Художественном театре «Марию Стюарт» Шиллера в своем переводе. Он спектакль не видал, хотя тот шел уже давно. Больше я Б. Л. не видела. <...>

Я написала эти заметки так, как написалось, без подготовки, не заглядывая в какие-либо документы. Только потом сверила цитаты и некоторые имена. Даты, наверно, напутала, но их легко проверить. Я, конечно, еще буду вспоминать отдельные вещи и тогда запишу их дополнительно.

5.X. 1962

Вследствие перелома ноги в детстве одна нога у Б. Л. была короче другой. Из-за этого его не взяли в армию в 1914 году, что его тогда угнетало. Но Б. Л. выработал себе такую походку, что никакой хромоты нельзя было заметить. Походка получилась очень своеобразная, чуть-чуть женственная, быстрая. Узнать ее можно было из тысячи.

В первые годы нашего знакомства Б. Л. часто вспоминал пианиста Добровейна25, эмигрировавшего, вероятно, в 1920—1921 гг. Б. Л. очень с ним дружил и очень высоко ценил его как пианиста. Очень любил Б. Л. игру Софроницкого26, особенно его исполнение Шопена, никогда не пропускал его концертов. Большая дружба связывала Б. Л. с М. В. Юдиной, но отзыва о ней как о пианистке я никогда от него не слышала.

У нас была большая библиотека, и, кроме того, Яша всегда был связан с разными библиотеками и мог достать книги. Поэтому Б. Л. часто обращался к Яше за книгами. В папке с бумагами, относящимися к Б. Л., лежит составленный Яшей список книг, которые он доставал для Б. Л. в период его работы над «1905 годом». Б. Л. и позже брал у нас разные книги. Где-то в моей старой записной книжке должен также быть список книг, но я его пока не нашла. Многие книги возвращались с карандашными пометками. Мы их хранили; они, наверное, и сейчас у нас есть. Единственные, которые я помню, — две английские книги (обе с пометками): собрание сочинений Байрона (в одном томе)27 и «Ренессанс» Уолтера Патера (последняя сейчас у Сани Фейнберга)28.

В папке с рукописями Б. Л. лежит записка, по-видимому, Жени Пастернак, Яше в редакцию «Печати и революции» с поручениями от Б. Л. из Берлина (просьба прислать номер «Печати и революции»; о возвращении аванса). Записка датирована 23.1.1923 и дает берлинский адрес Б. Л.: 41 Fasanenstrasse, Pension Fasanenech, Berlin, W.

Я совершенно не помню ничего об этом пребывании Б. Л. в Берлине. Оно было в самом начале нашего знакомства и, по-видимому, недолгое.

Я нашла книгу «Стихотворения» Николая Бараташвили в переводе Пастернака 1946 г. На ней надпись мне, сделанная через год после начала моей болезни: «С пожеланием выздоровления!! Дорогой, бедной Елизавете Борисовне, которой-то единственно я и сочувствую, а не себе и товарищам. Б. Пастернак. 15 сент. 1946 г.».

27.11. 1964

Я нашла свою старую записную книжку. Но память меня подвела. Там нет списка книг с пометками Б. Л. Я в ней нашла только маленький листочек, на котором рукой Яши записан ряд книг (беллетристика начала 1920-х годов), взятых у нас Б. Л. Листок я вложила в папку с бумагами, связанными с Б. Л.29 <...>

27.X. 1965

Разные поводы заставили меня последнее время просматривать папку, еще Яшей озаглавленную «Пастернак» (Яша, не только по привычке сохранять разные бумаги, но и ясно понимая значение и масштабы Пастернака, очень рано стал собирать все, относящееся к Б. Л.). Я продолжала эту традицию. В результате Женя, который брал все для микрофильмирования, сказал, что это третье по величине собрание документов об отце. Я этой папки не отдала в ЦГАЛИ (как весь архив Яши). В числе бумаг я перечитала немногочисленные письма Б. Л. к нам. Мне казалось, что я их помнила. Но оказалось, что я совершенно забыла письмо из Киева, где Б. Л. пишет, что только теперь, увидев Киев, многое понял во мне и что долго говорил обо мне с Женей30.

Меня охватило то же чувство, как и тогда, при получении письма: какой-то неправды, лжи с моей стороны, присвоения чужого. Ведь я родилась и выросла не в Киеве, а в Витебске. Но, правда, два с лишним года, прожитых в Киеве, очень значительны для меня. Политическая обстановка, Яша на фронте, его частые приезды, трудности быта, мое собственное возмужание, наконец, музыка и Нейгауз. <...>

Анастасия Цветаева рассказывает...

Беседа А. К Цветаевой с М. К Фейнберг

М. Ф.: Анастасия Ивановна, когда Вы познакомились с Пастернаком?

А. Ц.: Марина, уезжая к мужу в Чехию1, говорила мне: «Ася, о Павлике2 я тебе рассказала, Есенин, конечно, талантлив, но он на одной струне. Есть только один человек в России, один поэт, о котором не сказала тебе, я заметила его, я слышала его выступления, он и его стихи — замечательны, и он их прекрасно читает. Лицом он похож на Пушкина, ростом — выше. Вот его ты посмотри и послушай. Это Борис Пастернак». Сказала это она в начале лета 1922 года. Впервые я Бориса увидела в 1923 году. Он вышел ко мне с томиком Марининых стихов «Ремесло» — серенькой, скромной книжкой, долгие годы бывшей моей любимой.

Марина из Чехии Борису Пастернаку в Берлин передала для меня этот сборник. Борис был, помнится, в сером пальто, сняв серое кепи, и из этого тускло-серебряного одеяния из-под темно-каштанового оперения на меня глядели светло-каштановые глаза с собачьим выражением преданности. Обласкивая, вглатывая, приглядываясь, познавая и проверяя («Понимаю, — сказала я себе, — проверяет сходство с Мариной»). Но он уже смеялся во всю пасть собачью, радостно, громко. Но смех Бориса — это другая тема.

М. Ф.: Вы часто виделись?

А. Ц.: Виделись мы с Борисом по-разному: то часто, то редко. Дни и его и мои были занятые, но родность наша, как его с Мариной, с первой встречи была так глубока, так органична, что и ко мне он, и я к нему входили как домой, точно мы некогда родились в одном доме — дети одной семьи, все было понятно без утверждения словом, взгляд (радостно — понял!), неуловимое движенье лица (что-то выслушав), веселый кивок навстречу сказанному, внезапное пожатие руки, его рука на моей, сгребшая мою, сверху, как бы в охапку, в знак братского понимания, которому немы — слова. Тот тихий восторг родственности, из которого, может быть, и рождалась речь неудержная, исповеднически вскрывающая какой-то кусочек недр, и все глубже по лестнице вниз в тайники несказанное™, быть может, с детства молчавшей и вдруг вырвавшейся водопадом признаний. По лесенке вверх, как по нашей Трехпрудной лесенке, из темнот «черного хода» сознанья — в широту и свет верхних распахнутых комнат, где дышится уже вольно, празднично предчувствием рождественских елочных украшений, жизни, общности всего и навек, где царствует опять переход к молчанию...

Жил Борис тогда прямо рядом с папиным Музеем (Изящных, Изобразительных искусств), на Волхонке, 14, во втором этаже, думается, 2-этажного дома. Высокие потолки, высокие окна, никакого воспоминания «обстановки». Но жили в этих комнатах большой письменный стол (его — помню), далеко отступив от окна — рояль (его — тоже), и, наверное, был и стол, где мы пили чай.

М. Ф.: Анастасия Ивановна, в 25-м году Вы подарили Пастернаку стихи Рильке (эта книга сохранилась у Пастернака) с тремя надписями. С дарственной: «Борису Пастернаку (его — Мари-ниного — моего — Rilke) — из Мариниых книг (за Марину) [Ивсе-таки надо переставать любить Rilke, и Пастернака, и Марину, и себя.]

А. Ц.

1925, Москва».

Вторая надпись сделана после последнего стихотворения в прозе: «Но можно ли, Борис, так говорить о смерти? М. б. это все же не победа над ней, а только самая вершина игры с ней, которая дана человеку и ей, которой он пойман (ее игрой), мня ее не игрой? Подумайте об этом за себя, Rilke и нас с Мариной.

А. Ц.»

И последняя — Вы написали стихотворение М. Цветаевой: «Над спящим юнцом золотые шпоры...»

Вы не помните, как это было? Отзвуком каких разговоров были эти надписи?

А. Ц.: Нет, не помню. Я помню, что послала Борису книгу Бернхарда Келлермана «Туннель». Я прочла ее по-немецки и так плакала над ней, а ведь я не плаксива. Позвонила Борису: «Хочу Вам ее послать». Через несколько дней он мне позвонил и сказал: «Разливался рекой».

М. Ф.: Анастасия Ивановна, Вам Пастернак посвятил в первом отдельном издании 1929 года поэму «Высокая болезнь»3. Почему именно эту поэму о современных событиях, которую он начал писать еще в 1923 году?

А. Ц.: Не помню, в каком году он прочел мне ее. Тою тональностью, которой дышала эпоха. Великолепным своим голосом, в котором гудели провода тех лет, накал трагедии, в которой билась страна. Тем, что позднее назвал Павел Антокольский «Током высокого напряжения». Что-то во мне отозвалось Борису, и он посвятил мне свою «Высокую болезнь». В 1-м издании. В следующих это посвящение повторено не было. Почему? Может быть, позабыл. Кто знает? Что заставило Марину снять в «Красном коне» жаркое посвящение Евгению Ланну4 — и — что еще более странно — посвятить ее Анне Ахматовой? Этого я не знаю.

М. Ф.: Вы не виделись с Пастернаком больше 20 лет, с 1937-го, когда Вас арестовали, и до 1959-го. Он писал Вам?

А. Ц.: До 1945 года мне в лагерь писала только сестра мужа Марины Елизавета Яковлевна Эфрон и я никому не писала. Борис начал мне писать после капитуляции Германии и после Хиросимы — и тогда я отозвалась. Я написала ему, что чувствую, что никогда уже писать не буду. Вот на это отозвавшись без промедле-нья, он ответил мне письмом утешенья — о том, что такое, по его опыту, процесс творчества (увы, письмо мною утрачено — но не так прочно, как многое утраченное еще в Москве, об этом письме у меня еще есть надежда его получить, чтобы его обнародовать). Оно случайно, как множество моих писем, задержалось у моей племянницы, у Али Эфрон, и в момент ее скоропостижной смерти от инфаркта в больнице в Тарусе, с другими бумагами и письмами, попало по уже ею сделанному завещанию в ее закрытый фонд в ЦГАЛИ*5. Это письмо очень помогло мне тогда. Пастернак мне писал, что чувство, меня обнявшее, он испытывает каждый раз, когда, что-то закончив, перестает писать. Сомнение в своих возможностях, ощущение, что талант смолк, органично писателю, но что (пишу его мысль своими словами, утратив его слова за 45 лет, но точно зная их смысл) лист бумаги, перо в руке, тишина в комнате, и в своем наедине с собой творчество продолжается, что я буду писать, у него нет в том сомненья (и он оказался прав — я начала писать в первую же весну 1957 года, поселясь у сына в Павлодаре, сев у окошка в палисадник хозяйки, где расцвела, — нет, ягодами, кистями ягод стояли круглые кусты бузины. Я начала мой первый том «Воспоминаний», с первых воспоминаний детства, все сначала, точно в первый раз взяв перо, проникаясь с каждой строкой в так называемое искусство пера, которое есть простое доверие данному тебе дару, прислушивание к тому, как рождается и сплетается с себе подобными — словами — в неизбежно — этот узор данной темы, от которой невозможно уйти вбок, путь един — даже если

* Ныне - РГАЛИ.

он идет нежданным поворотом, заворотом тем. Перо следует внутреннему приказу, а приказ идет из тех сфер, где способностям человека сопутствует чье-то доброжелательство, если только нет в человеке самоувлеченья (тогда человек пропадает, все глубже с каждой строкой).

Я писала и отсылала начатое — в копиях — Пастернаку, и он ответил мне удивительным письмом6. В мои сибирские годы Борис писал мне, а когда был очень уж занят — мне писала за него Зина, жена его, неизменно добрая ко мне. Борис помогал мне, слал деньги, и ни он, ни я не знали, когда мы увидимся и увидимся ли. В эти годы я получила от него письмо7, после продолжительного молчания, о том, что у него был инфаркт, он был при смерти, и как это было прекрасно, в промежутке меж болей и даже через боль, сознавать, что ты жил, долго жил и вот теперь умираешь, и как он благодарил Творца за жизнь, какой это восторг — итог жизни с верой в осмысленность жизни. Он это писал, поправляясь, но в необычайности этих признаний — еще неугасшее чувство радости, пастернаковской радости познавать всем собой, весомо, ответственно, — тяжкое — как родное чувство благодарности за тяжесть, поднятую, которая освещает все...

М. Ф.: Как произошла Ваша встреча после такой долгой разлуки?

А. Ц.: Был июнь 1959 года. Я приехала для реабилитации из Павлодара в Москву, остановилась у друзей моих С. И. и Ю. М. Каган8 и собиралась увидеться с Пастернаком. Ему, да и мне было удобнее не в Переделкине назначить встречу, а в Москве, и была она 29 июня у Ольги Всеволодовны Ивинской. Я поехала с моей внучкой Ритой и Юдей Каган.

Мы с Борисом встретились на ходу в чем-то вроде коридора или передней, обнялись, и я услыхала знакомый густой звук его слов — его первого впечатления: «Цветаевский голос», — сказал он приветственно-радостно. Две вещи меня поразили в Борисе — его молодость и белизна его волос.

За столом Борис рассказывал о своих последних годах, когда болел непонятной врачам болезнью, и в манере его рассказа — «с птичьего полета» это передавая, полушутливо, был широкий размах иронии говорить так о серьезном, а я слушала и глядела на его седую — белую! — голову — вместо той, 22 года назад, каштановой, и старалась постичь, что сейчас в нем под этой шуткой, к которой он всех нас присоединяя, умело и весело единит, незнакомых, — точно иначе и нельзя говорить о жизни, и все мы с этим, конечно, согласны. И, мучась уже над ним, вновь и вновь понимала, как нелегок его путь, его соотношения с людьми — все эти тропинки общенья, долженствующие облегчить встречу. Я не помню момента прощания с Борисом, ни он, ни я не ощущали, что это прощание настоящее. Но он сходил, помнится, с лестницы. И я глядела вслед. Через 10 месяцев его не стало. М. Ф.: Вы были на похоронах?

А. Ц.: Нет, я должна была возвращаться в Павлодар, но 31 мая я была в Переделкине, куда ехало множество народу, услыхавших о смерти Бориса Пастернака. Мы (я была с Каганами) подходили к дому, когда навстречу нам вышел Шура Пастернак, младший его брат — Александр Леонидович. Он узнал меня, хотя мы не виделись с ним, вероятно, с 1937 года.

Борис лежал, помнится, на узком диване, в темном. Седые волосы его лили свет на спокойное, успокоившееся лицо с никогда дотоле не виденными без взгляда глазами, и в опущенных веках был мир. Нельзя было наглядеться на это лицо, вглядываясь и не отрываясь, продолжая глядеть в лицо, в котором было — несмотря на покой — столько выражений, как будто оно еще продолжало жить. Не было в нем следов страданья. Оно было, все помнят, совершенный покой.

М. Ф.: Анастасия Ивановна, какая основная черта была, как Вам кажется, в характере Пастернака?

А. Ц.: Невероятная непосредственность была его основной чертой. Безудержность выразить себя, какое-то свое чувство, и полное отсутствие игры и позы. Он не поддался никакому испытанию. Он был таким, каким человек был задуман.

Фриц Брюгель

РАЗГОВОР

С БОРИСОМ ПАСТЕРНАКОМ

Какое необыкновенное лицо у этого поэта, или лучше сказать — сколько у него лиц, подвижных, изменчивых, с чертами прекрасно неправильными и неправильно прекрасными, никогда не застывающих, вновь и вновь преображающихся. Говорит не только рот, говорит все лицо поэта, и его руки подчеркивают каждое слово. Глядя на эти руки, представляешь себе скорее скульптора, чем лирика, — эти ладные, сильные руки умеют цепко схватить и крепко держать все, за что бы ни взялись. Часто они кажутся более нервными, чем это им присуще на самом деле, — такое ощущение длится секунды, а потом они лежат на столе спокойно, словно переводя дух после величайшего напряжения. Это руки лирика и вместе с тем архитектора, серьезно и строго возводящего ассоциации своих стихов, это лицо таинственного и почти мистического поэта, весьма реально живущего в весьма реальном мире Советского Союза.

Мы сидим друг против друга и говорим о переводах Йозефа Горы из лирики Пастернака1. Эти переводы доставили поэту глубокую радость; он вновь и вновь берет листы корректуры, вновь и вновь просит прочесть ему стихи и сам пытается их декламировать. Он приносит русские оригиналы, и мы сравниваем. Неожиданно Пастернак прерывает чтение:

— В чешской речи для меня есть что-то необычное — я мерю ее русской, польской и украинской. Этот феномен природы опьяняет меня своей абсолютной свежестью. Славянские речевые элементы ощущаются в нем живее, чем в других языках. Чешская речь архаична и притом настолько современна, что в ней достаточно простора и выразительных возможностей для тончайших нюансов.

Поэт вновь перелистывает переводы Горы.

— По этим стихам я чувствую, что они пришли из самого западного славянского государства, с того «аванпоста» славянства, где так удивительно переплетаются Восток и Запад. Переводы Горы меня глубоко взволновали. Когда я стал записывать это ощущение взволнованности в своем дневнике, совсем непривычно и неожиданно для меня получилась запись в стихах2. Ах, это еще не стихи, которые можно было бы опубликовать, но когда-нибудь они встанут ладно и прочно, воссоздавая то глубокое впечатление, какое произвели на меня переводы Горы. Многое в стихах Горы звучит как фразы из древних русских летописей, в которых рассказывается, как в нашу страну пришли стародавние варяги, чтобы проложить торговый путь к грекам3. Само по себе это, разумеется, еще не выражает всего моего впечатления. Я должен проникнуть в него глубже, абстрагироваться от локальности чешской речи. Ее непосредственность, поразившая меня в переводах Горы, настолько меня захватила, что возникло впечатление, будто передо мной первоначальная форма собственных моих стихов.

Лицо Пастернака совсем проясняется и наполняется дыханием почти детской улыбки: «Я словно бы стою перед самим собой».

Невозможно говорить о каком-нибудь переводе с большим уважением, чем это делает Пастернак, говоря о переводах Горы. Затем он спрашивает меня об издании своей прозаической книги «Охранная грамота», которая тогда должна была выйти в

издательстве «Манес» в «великолепном переводе д-ра Славаты Пир-ковой-Якобсоновой» и теперь уже тоже вышла.

Но Прага пробуждает в Борисе Пастернаке еще и иные ассоциации, ассоциации, связанные с Райнером Мария Рильке, в первых книгах которого есть пражские стихотворения4. Пастернаку, который перевел на русский язык «Реквием» Рильке, этот поэт особенно близок. Пастернак рассказывает, как познакомился с ним. Случилось это в поезде близ Ясной Поляны. Пастернаку было тогда девять лет. Господин в лоденовом пальто и охотничьей шляпе подошел к мальчику и спросил, не может ли он сказать машинисту, что нужно остановить поезд в Ясной Поляне5. «В то время так делалось», — поясняет Пастернак. Господин в лоденовом пальто и охотничьей шляпе был Рильке, и Пастернак навсегда запомнил лицо и голос поэта. Прошло несколько лет, и мальчик уже перестал думать об этой встрече в поезде. Однажды он рылся в мастерской своего отца, и в руки ему попала тоненькая фиолетовая книжечка — первые стихи Рильке, уже предвещавшие его будущее величие6 и ныне опубликованные в собрании сочинений поэта.

— Когда идешь по улицам старой Праги, вероятно, нельзя не подумать о Рильке? — спрашивает Пастернак.

Он хочет знать все о жизни Рильке, о влиянии его творчества на других и говорит о пятидесятилетии поэта, о том, как он написал Рильке и тот ответил ему благодарностью и благословением7.

— Рильке был у нас живым поэтом и в годы революции, — рассказывает Пастернак. — Огромные сугробы лежали на улицах, люди были заняты более важными делами — тут не до уборки снега. Жизнь в Москве неистово полыхала. На нашей улице, теперь обычной оживленной магистрали большого города, в которой нет ничего особенного, — на этой улице была тогда одна из казарм революционных матросов. Приятель, встретившийся мне на улице, попросил проводить его до того дома, который они занимали. Я пошел, чтобы взглянуть в переменчивое лицо революции. Странно — среди матросов была женщина. Я не разобрал ее имени, но когда она заговорила, сразу понял, что передо мной удивительная женщина. Это была Лариса Рейснер8. Она, которой нужно было бы остаться в живых, умерла. За несколько месяцев до незабываемого дня, приведшего меня в матросскую казарму, Лариса Рейснер напечатала в одном ленинградском литературном журнале статью о Рильке9. Узнав наконец, что моя собеседница Лариса Рейснер, я завел разговор о Рильке. С улиц в помещение, где мы сидели, куда приходили и откуда выходили матросы, пробивался гомон революции, а мы сидели и читали друг другу наизусть стихи Рильке. Это был особенный час. Незабываемый час. Ныне они мертвы — Рильке и Лариса Рейснер, а должны были бы оба жить.

Мы помолчали.

Пастернак опять берет в руки книгу переводов Горы, опять перелистывает ее и принимается сравнивать перевод с оригиналом: «Этими переводами Гора приблизил ко мне эстетическое явление чешской речи. И Гора, работая над ними, должен был переживать нечто подобное при соприкосновении с русской речью. Я хорошо знаю, как это бывает, когда переводишь. Последняя моя книга — антология переводов из грузинской поэзии». Пастернак берет свою книгу грузинских стихов. «Какая это великая поэзия! Ее тоже следовало бы сделать доступной чехам, которые так чутки к лирике вообще. В грузинских стихах таится великая мифология. В них — потрясающая жизненность. Они совершенно современны, и все же каждый из моих грузинских поэтических друзей, как бы ни был он актуален и как бы твердо ни стоял на почве настоящего, несет в своем сознании все развитие грузинской поэзии. Цепь традиции не прервана. В этом есть нечто великое».

Пастернак отводит взгляд от стихов грузинских поэтов, поднимает голову, лицо его серьезно, на минуту он умолкает, потом говорит: «Лирики — особенные люди, это почти секта, они понимают друг друга с полуслова. Гора понял меня, несмотря на огромное расстояние, разделявшее нас. И вот теперь мы сидим здесь, русский и немец из Австрии, и соединяют нас несколько стихотворений — чешских стихотворений, созданных Горой из моих русских, и — не станем забывать — еще воспоминания о Рильке. Это братская семья; она должна остаться в нас живой».

Мы молчим и расстаемся.

Перевод с чешского О. Малевича

Анатолий Тарасенков

ПАСТЕРНАК

Черновые записи. 1934—1939

Первая встреча и знакомство с Борисом Леонидовичем — в редакции «Красной нови» литфронтовским летом 1930 года. Содержания разговора, который происходил уже на улице, не помню. Помню только, что мною в это время была задумана статья о творчестве Б. Л. в форме открытого письма к нему. О замысле этой статьи я рассказал Б. Л. Он был всерьез испуган, ибо считал, что раз статья будет написана в форме открытого письма, — ему придется отвечать. Испуг этот был вызван не содержанием статьи1 (я о нем и не говорил Б. Л.), а самим фактом того, что, может, придется отвечать.

Дальнейшие встречи — вплоть до вечера Яхонтова, посвященного Маяковскому (кажется, в 1932 г.), в Малом зале консерватории, — малопримечательны и неинтересны. Они не запомнились почти.

На этом же вечере Яхонтова, выйдя с Борисом Леонидовичем во время перерыва в курительную комнату, мы сразу вступили в горячий, взволнованный разговор о Маяковском. Б. Л. рассказывал, как до революции он явился однажды к Маяковскому в Питере в номер гостиницы, где он тогда жил. Дело было утром. Маяковский вставал с постели и, одеваясь, вслух читал «Облако в штанах» (куски из которого только что прочел Яхонтов, что и навело Б. Л. на это воспоминание)2. Горячая, не сдерживаемая ничем любовь к Маяковскому как к поэту и человеку наполняла все фразы Пастернака. В конце концов он расплакался как ребенок...

Значительно раньше, примерно в 1929 г., — первый разговор с Б. Л. по телефону. Я писал заметку о нем в МСЭ и просил по телефону дать его библиографию. Б. Л. нелепо извинялся за то, что ему надо на минуту отойти от трубки для того, чтобы снять трубу с перекипающего самовара. Потом он долго и подробно перечислял свои книги и статьи о себе. Я спросил, не может ли он дать мне прочесть «Близнец в тучах», которого я нигде не мог достать. Б. Л. просил меня вообще не читать этой книжки, ибо он не считает ее сколько-либо заслуживающей внимания.

Возвращаюсь к более или менее связной хронологической последовательности.

Небезынтересно поведение Б. Л. на двух вечерах в клубе ФО-СПа, в 1932 г., где он читал стихи из «Второго рождения»3. Горячая взволнованность, прерывание ораторов репликами, стремление донести до аудитории и оппонента понимание содержания своих стихов... Горячая, взволнованная читка стихов, при которой ряд строк варьировался по сравнению с печатавшимся тогда в журналах текстом (вариации эти были, вероятно, импровизационными).

Вскоре на повторение этого вечера в Политехнический музей П. И. Лавут4 пригласил меня сделать вступительное слово. Я согласился. Когда, подготовившись, я пришел «за кулисы» аудитории Политехнички, Б. Л. был очень удивлен, что будет какое-то вступительное слово, и довольно решительно отказался от этой части программы вечера. Мне пришлось смутиться, уступить слово председателю вечера К.

Л. Зелинскому5, который начал что-то бормотать о своей просьбе к аудитории сообщить ему, Зелинскому, в письменной форме впечатления от стихов Пастернака, — это, дескать, необходимо ему для критической работы о поэте... — и сесть на сцену в качестве слушателя-гостя.

Январь 1934 г. (или февраль!). По моей инициативе в кабинете Каменева в изд. «Academia» — совещание по вопросу об издании полн. собр. стихов только что умершего А. Белого. Я сделал сообщение о предполагаемом мною плане издания, настаивая на том, чтобы за основу принять тексты первых изданий «Золота в лазури», «Урны» и «Пепла», а последующие редакции поэта дать в примечании. Так — полагал я — будет дан исторический ракурс развития поэта. Мнения участников совещания (Л. Б. Каменев, Б. Пильняк, Г. Санников, К. Локс, Зайцев, Эльсберг, Пастернак и др.) разделились. Многие стояли за принятие основного текста в редакции позднейших пореволюционных годов (для «Пепла» и «Золота в лазури»). Я тогда задал публично вопрос Пастернаку: «Вот Вы, Б. Л., выпустили книгу «Поверх барьеров» в 1917 и 1929 гг. в разных вариантах. Какой вариант Вы считали бы наиболее достойным для своего будущего соб. сочинений?»

Б. Л. страшно заволновался, сказал, что очень трудно решить этот вопрос, что в конечном счете обе редакции имеют право на существование, а под конец заявил, что поэзия вообще страшна своей ответственностью перед читателем и что он мечтал бы о таком положении вещей, при котором можно было бы писать стихи, продавать их издательству, но с обязательством последнего, что оно опубликует их лишь после смерти поэта. Все это было сказано, конечно, лишь гипотетически, но отнюдь не в шутку...

Ряд встреч и разговоров дальше в 1934 г. Во-первых, — после опубликования первых «грузинских» переводов Б. Л. в «Известиях»6. Встреча у памятника Пушкину на бульваре. Я сказал, что переводы эти прекрасны, но, пожалуй, это больше Пастернак, чем Грузины. Пастернак сначала поддакивал, а потом заявил, что, когда появится больше переводов разных грузинских поэтов (а они уже частично готовы), я увижу их индивидуальные лица, их несхожесть, а следовательно, частично сниму свое обвинение в субъективности переводов.

Летом 1934 года — сцена в садике Дома Герцена. Маленький (лет 13—14) сын Б. Л.7 ссорится и дерется с мальчиком меньше его по возрасту. Увидя это, Б. Л. стал трагическим и взволнованным голосом умолять прекратить сына драку. Он вмешивался, разнимал дерущихся и страшно волновался, хотя эта драка ребят, собственно, носила почти шутливый характер.

Примерно в это же время звонок Б. Л. ко мне и благодарность за предисловие к книге его «Избранных стихов», вышедших в ГИХЛе8. Б. Л. сказал мне, что, по его мнению, никто о нем еще не писал так «взросло», никто еще его так, как я, — хорошо — не понял (между прочим, впервые увидел и прочел Б. Л. это предисловие лишь после выхода книги).

Все это, конечно, записано с малой верой в объективность суждений Б. Л. и отнюдь не для характеристики хорошего ко мне со стороны Б. Л. отношения, а просто потому, что характеризует его неуравновешенную, экзальтированную восторженность. Кстати, по этому же поводу припоминаются еще два случая: примерно в конце 1930 года у Л. В. Варпаховского по моей инициативе была устроена читка поэмы А. Т. Твардовского «Путь социализма» (были Б. Л. с женой, Асмус с женой, Д. Рабинович, А. Лесс, А Мили-ковская, Л. В. Варпаховский, К. Вакс и др.). Не помню, что именно говорил Б. Л. о поэме Твардовского, но высказывался он во всяком случае крайне восторженно. Позднее, устраивая поэму для издания в «Мол. гв.», я попросил отзыв о вещи у Б. Л.

Он охотно его дал, хотя и боялся, что его отзыв может создать лишь отрицательную для Твардовского ситуацию (я уверил Б. Л. в обратном).

Еще все о той же восторженности. Летом 1934 г., встретив меня на улице, Б. Л. внезапно заявил о желании чаще встречаться, разговаривать и сказал, что ему, в сущности, нравится сейчас литературная работа только четверых людей — Н. Бухарина, К. Федина, Ал. Толстого и... моя. Опять-таки — ни в какой мере не обольщаюсь и записываю лишь для полноты настоящей рукопией, за достоверность которой и елико возможную точность — отвечаю вполне.

Летом же 1934 года — разговоры о докладе Асеева на собрании московских поэтов, в котором последний противопоставил Б. Л. — Безыменскому. Б. Л. — по его утверждению — умеет хорошо писать, но не интересуется социализмом9. Безыменский во всем наоборот. Б. Л., сидя со мной в садике Дома Герцена, сильно возмущался лефовской схоластикой Н. Асеева и спрашивал у меня совета — отвечать ли Асееву? Я настаивал. Б. Л. возражал с какой-то детской беспомощностью: «Ну что я скажу?»

Все же он пришел на поэтическое совещание, которое состоялось через несколько дней, и произнес очень трудную речь, но речь яркую, полемическую и необычайно искреннюю. В «Лит-газете» в отчете о поэтическом совещании эта речь выпала почему-то (может быть, потому, что репортер не понял ее и не мог воспроизвести?).

«Если бы лефы могли рифмовать не на слове, а на нефти или, скажем, на прованском масле — они сделали бы это» (здесь Б. Л. ополчался на формализм лефов).

Основная положительная, позитивная установка речи: «Я не хочу, чтобы мы, говоря о своей любви и о своей сирени, обязательно указывали бы, что это не фашистская сирень, не фашистская любовь. Пусть лучше фашисты пишут на своих любви и сирени, что это-де не марксистская любовь, не марксистская сирень. Я не хочу, чтобы в поэзии все советское было обязательно хорошим. Нет, пусть, наоборот, все хорошее будет советским...»

Речь эта, между прочим, была очень плохо понята и усвоена большей частью аудитории (правда, в ней, т. е. речи, было особенно много всегдашнего пастернаковского косноязычия и тумана)10.

Летом же 1934 г. я показывал Б. Л. свое стихотворное добавление к предисловию к его «Избр. стихам», посвященное М. Гель-фанду. Б. Л. оно опять-таки очень понравилось, и он просил у меня разрешения показать его своей первой жене.

Летом же 1934 г. Б. Л. очень похвально отзывался о П. Васильеве и Я. Смелякове (между прочим: до статьи Горького «О литературных забавах»)11.

В сентябре 1934 (после съезда, о котором я не пишу, ибо речь Б. Л. на нем записана и напечатана, разговоров же на съезде у меня с Б. Л. не было) Б. Л. жил в доме отдыха, в Одоеве. Я послал ему телеграмму с просьбой написать статью для «Знамени» о «поэтических» итогах съезда писателей. Ответная телеграмма мне (от 24 сент.):

«Статьи не ждите начале октября буду Москве сердечный привет. Пастернак».

Несколько раз за 1934 г. я просил у Б. Л. переводы грузинских поэтов для «Знамени». Б. Л. отказывал, говоря, что очень мало у него переводов с подходящей для «Знамени» тематикой (т. е. оборонной), стихи же с широкой общественной тематикой он стремится давать вместе (в одной «порции») с отвлеченно лирическими стихами в другие журналы, ибо так легче напечатать и отвлеченную лирику.

Встреча с Б. Л. на лермонтовском вечере в Доме сов. писателя 26/X. 1934 г.12 Встреча радостная. Б. Л. говорит о желании встречаться почаще, поговорить, дарит мне книжку Пшавела «Змееед» в своем переводе с надписью: «Дорогому Анатолию Тарасенкову, с которым я дружить хочу. 26.X.34. Б. Я.».

Затем Б. Л. заявил, что он хочет подарить мне свою фотографию, снятую в Одоеве местным любителем. Это — по словам Б. Л. — единственное удачное фото, снятое с него. Когда этот фотолюбитель, местный житель (кажется, учитель), пришел со смешным фанерным ящиком и попросил Б. Л. разрешения снять его, — Б. Л. думал, что ничего не выйдет (из-за несовершенства аппарата). Поэтому держался перед аппаратом естественно, шутливо, не делал позы, не делал напряженного лица. Поэтому, вероятно, по словам Б. Л., фото и вышло.

Дальше идет запись содержания речи Б. Л. о Лермонтове, произнесенной на этом вечере (запись сделана после произнесения речи и потому, точно фиксируя содержание последней, совсем не претендует на передачу особенностей Пастернака-оратора, что сделать вообще крайне трудно вследствие эмоционального пас-тернаковского «косноязычия», образов фразы, повторений и т. д.). Итак — запись речи.

Сначала Б. Л. извинился за свою неподготовленность к докладу и обещал «загладить» эту оплошность дальнейшей работой. Надежда на то, «что мы с вами доживем до годовщины 1937 и 1941». «К этому времени появится, вероятно, не мало работ о Пушкине и Лермонтове. На съезде писателей много говорили об отставании прозы и поэзии. Правда, мы имеем много прекрасных прозаиков и несколько поэтов. Но голос внутренней совести еще сильней, чем речи на съезде, чем слабое, неяркое признание этого отставания. Я, — сказал Б. Л., — вполне сознаю, что у меня в творчестве нет еще ничего серьезного о нашем замечательном времени».

«Пушкин и Лермонтов. Мы еще дышим одним воздухом с ними».

«Не думайте, что, говоря о них двух, я делаю это потому, что диапазон моего невежества настолько широк, что я не могу охватить меньше двух».

«Пушкин и Лермонтов для меня пара. Лермонтов родился, когда Пушкину было 16 лет. Пушкин сделал все для Лермонтова. Лермонтов как белоручка пришел на готовое. Пушкин — строитель, созидатель, реалист. Мы не видим воочию 18-го века и потому можем верить в разные теории о нем. Это Пушкин заслоняет нам его. С Пушкина же начинается родной воздух 19-го века. От этого века к нам идут еще живые толки и слухи. Выражаясь в современных терминах, — я хотел бы провести аналогию между Пушкиным и Лермонтовым — и пятилеткой созидания и пятилеткой освоения. Лермонтов обживал то, что создал Пушкин, а позднее это уже перешло в совсем интимные бытовые интонации "Детства, отрочества и юности" Льва Толстого».

«Нам, русским, всегда было легче выносить и свергать татарское иго, воевать, болеть чумой, чем жить. Для Запада же жить представлялось легким и обыденным.

Закончу снова извинением за неподготовленность к докладу и обещаю загладить этот грех работой».

После речи Пастернака, в перерыве, мы снова с ним говорили. Он просил звонить ему. Я спросил, будет ли он в ближайшее время в Москве. В это время Б. Л. уже окружила толпа людей, очевидно добивавшихся его внимания и проч. Б. Л. смутился и начал наивно подмигивать мне и говорить, что он уезжает. Хитрость эта выглядела необычайно смешно и наивно.

22/XL 34. Б. Л. читал в Доме сов. писателя свой перевод «Змееда» Важа Пшавелы. Перед чтением перевода он долго о чем-то умолял стенографистку, а потом начал речь.

«Я затормозил начало просьбой, чтобы не стенографировали. Я несвязно говорю. Ну вот, она (жест отчаянья в сторону стенографистки) уже записывает...»

«Мне бы хотелось у кое-кого из поэтов, — вот, например, Смелякова, приостановить выступательную (или выступленчес-кую. — А. Т.) чехарду. Мы должны держать контакт. Дело в том, что нужно работать.

До 1931—32 гг. люди дрались, работали. Показалось, что к съезду писателей все вышли в люди, что все достигнуто и после съезда надо только выступать,

конспектировать, подводить итоги. Как же двигаться дальше? Все время отказываешь, отказываешься, отказываешься выступать. Получается эффект какой-то тайны, каких-то румян и белил. Надо теперь сделать обратный ход — выступить. Но выступать есть смысл, когда есть что-то новое. Представьте написанное вами письмо, которое вы будете десять раз слать адресату. Я в таком положении. Другое дело актер. Имея дело с твердым литературным текстом, он каждый раз заново переживает игру, подачу этого текста. Для выступающего поэта же эти нюансы несущественны. Мое выступление, зиждящееся на уступке, — бессмысленно».

«Я прочту вам перевод замечательного грузинского поэта. Чем лучше поэт — тем всегда хуже перевод. Ведь поэт связан с языком, с временем, с тысячью других вещей — все это не переведешь. Лучший поэт непереводим. Но все это я говорю об идеале, а жизнь от идеала далека. Я прочту перевод поэмы человека, который был современником наших символистов. Это поэт такого размаха и масштаба, что давняя и не бедная поэтами грузинская литература, числящая у себя такое имя, как Руставели, следующим за Руставели по силе считает Пшавелу».

«Половина присутствующих, вероятно, представляет себе Грузию, Кавказ, знают, кто такие хевсуры, — ведь у нас сильно развился туризм. Хевсуры живут в высокогорном углу Грузии. У них первобытная культура, язычество смешано с христианством. Стиль жизни хевсур так далек от нашего понимания, что есть легенда о том, что хевсуры — потомки заброшенных сюда и законсервировавшихся здесь в рыцарстве и романтике крестоносцев».

«Пшавела происходит из народа пшава. Умер он в 1915 году. Был сельским учителем на родине. Бывал в России, состоял вольнослушателем в университете».

«В прошлом году мы с Тихоновым, не сговариваясь, одинаково подошли к переводам грузинских поэтов. Мы нашли материал восхитительный и благодарный. Очень интересно в грузинской литературе переплетение влияний. Лермонтовский демон идет, по пониманию европейцев, от Платона. Между тем он восходит через грузинскую литературу, повлиявшую на него, к персидским легендам о дивах. Персидские дивы, попав в Грузию, переросли в могучих черных духов — демонов (у Пшавела тоже есть Дивы). Лермонтов идет от Грузии. Но потом просвещенная грузинская литература стала литературой русской. Мера самобытности в ней велика. Но даже в самобытности хевсурской формы Пшавела — влияние лермонтовского "Мцыри". Нашло себе отражение у Пшавелы и ницшеанство».

«Особо неприятно занимать мне чтением своего перевода молодых поэтов, — здесь в моем переводе нет неожиданностей и метафорических высот. Тут надо было быть классичным, простым. На меня сильнее всего действовали высокометафорические описания гор у Пшавела. Затем — мастерство компоновки. Пшавела берет быка за рога, сразу начинает повествование. Здесь показаны борьба человека с семьей, человека с обществом. Существо вещи — в содержании. Значит, вам будет скучно. Здесь есть, например, разговоры, которые бледнее описаний».

Затем Б. Л. читал поэму. Читал монотонно, однообразно. По ходу чтения он извинялся за «скучность» ряда мест, в некоторых местах сокращал разговоры (т. е. диалоги) и рассказывал вкратце их содержание.

После окончания чтения, прослушанного очень внимательно, хлопали, но все же было видно, что это лишь дань восхищения перед гением Б. Л., а вовсе не свидетельство того, что перевод «дошел», понравился.

Б. Л. спросил в перерыве мое мнение.

Я сказал, что, хотя предварительно и сам прочел вещь, она до меня не «дошла» из-за своего слишком отвлеченно-мифологического содержания. Б. Л. странно и невнятно

поддакивал, что вообще у него вовсе не означает согласия со слушателем, а лишь способ заявить, что он слышит и воспринимает обращенные к нему фразы.

Вечер встречи московских и ленинградских поэтов с грузинами, происходивший в ДСП во время съезда (на этом вечере Б. Л. вдохновенно читал прекрасные переводы из Яшвили, Табид-зе, Гаприндашвили и др., всячески рекомендуя аудитории самих авторов), был гораздо ярче, интереснее. Я был тогда крайне утомлен, а потому не записал и не запомнил говоренного Б. Л.

Вспомнил между прочим, что еще летом 1934 г. Б. Л. говорил мне, как он мучился над переводом «Змееeда». Кажется, он даже назвал его тогда нудным. От нервного напряжения у Б. Л., по его словам, пошли лишаи, которые — он был убежден — пройдут вместе с окончанием этого замучившего его перевода. «Так, между прочим, и вышло», — сказал мне тогда Б. Л.

(Вся эта большая запись сделана 22—23/XL 34 г.)

К огромному моему сожалению, плохо помню большой разговор с Б. Л. на траурном митинге памяти Кирова (в правлении ССП). Единственно, что четко запомнилось, — характеристика Марины Цветаевой. Недавно она прислала Б. Л. письмо. Она превосходный поэт, говорит Б. Л., но я не знал, что она такая дура. Прямо черт в юбке (очевидно, это намек на политическую озлобленность Цветаевой по отношению к СССР)13.

При мне Б. Л. говорил на этом же вечере с NN [который] спросил, не звонил ли Пастернаку Герман Хохлов. «Да, — ответил Б. Л., — звонил и сказал, что он — Хохлов. Я на это ответил — ну и что же из того? Хохлов сообщил, что писал обо мне в «Литгазе-те». Я опять задал ему тот же вопрос. Вообще из этого разговора ничего не вышло... Жаль, я не хотел обижать Хохлова»14.

27января 1935 г. — разговор с Б. Л. на творческом вечере Петровского в Доме сов. писат.

Я: — Ну как поживает ваша генеральная проза?

Он: — Вы очень правы, называя ее генеральной... Она для меня крайне важна. Она движется вперед хоть и медленно, но верно. Материал — наша современность. Я хочу добиться сжатости Пушкина. Хочу налить вещь свинцом фактов. Факты, факты... Вот возьмите Достоевского — у него нигде нет специальных пейзажных кусков, — а пейзаж Петербурга присутствует во всех его вещах, хоть они и переполнены одними фактами. Мы с потерей Чехова утеряли искусство прозы. Горький — первый декадент. А все современники — и Бабель и другие — поэты. Очень трудно мне писать настоящую прозаическую вещь, ибо кроме личной поэтической традиции здесь примешивается давление очень сильной поэтической традиции XX века на всю нашу литературу. Моя вещь будет попыткой закончить все мои незаконченные прозаические произведения. Это продолжение «Детства Люверс». Это будет дом, комнаты, улицы — и нити, тянущиеся от них повсюду. Я понял недостатки «Охранной грамоты». Хоть я и давал там динамическое определение искусства, но всю действительность ощущал только как материал для эстетики. Это плохо. Нужны факты жизни, ценные сами по себе. Пусть это будет неудачей, я даже наперед знаю, что вещь провалится, но я все равно должен ее написать. 2— 3 года тому назад она была мне неясна, я давал слишком много «оценок» явлениям. Теперь это мне кажется наивным. Время разрешило вопросы, вставшие тогда передо мной. Поэтому это будет у меня честный роман с очень большим количеством фактов.

Стихи Д. Петровского Б. Л. слушал очень внимательно и с удовольствием. Когда Петровский говорил, что его стихи и он сам, может быть, недостоин внимания собравшихся, то Б. Л. широко заулыбался, начал хлопать и кричать: «Достоин, достоин!..»

Во время чтения Б. Л. много и не раз аплодировал.

(Запись 30/1. 35)

Встреча с Б. Л. во время пленума правления ССП (в первых числах марта 1935 г.). Б. Л. улыбается, жмет руку: «Мы снова все встречаемся каждый день, как в дни съезда». Слово «съезд» (т. е. съезд писателей в августе 1934 г.) он произнес как-то подчеркнуто любовно и тепло.

Летом, в июле 1935 г., заходил в редакцию «Знамени», после Парижского Конгресса. Вид у него был очень скверный, нездоровый. Б. Л. жаловался на то, что он не может работать, ничего не делает, не пишет, что на конгрессе ему было очень тяжело, ибо Эренбург и Мальро, по его мнению, хвалили его, Пастернака, не по заслугам. «Я чувствую себя очень скверно, одиноко. Заходил к вам летом, но не застал дома. Очень жалел».

В середине сентября я послал Б. Л. № 9 «Знамени» (1935 г.) с моей статьей о грузинских переводах Пастернака15. В ответ на это он мне позвонил по телефону 20 сентября. Стал страшно благодарить за статью и уверять, что он делает это не потому, что статья лестная, а потому что я, по его словам, очень верно установил генезис его удач. «Мы с женой читали вашу статью и чувствовали, что вы вошли в нашу жизнь. Критика должна продолжать дело, начатое поэтом. Вы это и сделали, вы продолжили ощущение моей дружбы с Грузией, ее природой, историей, поэтами. Ведь вы когда-то спорили со мной, не соглашались, а теперь вот хвалите, — и я вам благодарен не за то, что хвалите, а потому, что я чувствую в этом непринужденность и искренность. А сейчас обо мне пишут и говорят разные положительные вещи как бы по принуждению».

Затем разговор о статье Ярополка Семенова в «Литгазете»16. «Я, — говорит Пастернак, — на месте Семенова, сделав такой, как он, анализ, — ругал бы меня, а он хвалит». Я рассказал Б. Л., что мною написана ответная статья. Начал говорить о том, как Семенов каламбуры Пастернака принимает всерьез и на этом основании строит философские выводы. Б. Л. живо ответил, что там, в статье, есть и совсем вздорные вещи, — после Ярополка Семенова нельзя, выходит, говорить «с пятницы я не вставал с постели»

(намек на истолкование Я. Семеновым цитаты «вода рвалась из труб, из луночек...»).

Затем шел разговор о творческом самочувствии Б. Л. Он жаловался на то, что как-то потерял себя, много спит, чувствует себя плохо, не может работать. «Но все же, — говорит Б. Л., — я посоветуюсь с врачами, — может быть, когда-нибудь что-нибудь еще напишу. (В этой фразе было очень много грусти и какой-то безнадежности.) Вот, предложили мне участвовать в переводах для армянской поэтической антологии, я отказался, — в ответ страшно обиделись, превратили мой отказ в целое политическое дело. Пришлось согласиться. Сейчас сижу и кропаю переводы Чаренца»17. Затем Б. Л. сказал, что сегодня он себя чувствует психологически плохо, ему трудно говорить, что иначе он сегодня же увиделся бы со мной. Разговор окончился тем, что он уговорился позвонить мне в ближайшие дни и сказал на прощанье, что крепко, от души целует.

Числа 20 октября 1935 г. я послал Б. Л. № 10 «Знамени» со своей статьей «Пастернак в кривом зеркале» и просьбой прислать мне его «Грузинских лириков». Б. Л. позвонил: «Я не знаю, что вам сказать о вашей статье, та, предыдущая, меня растрогала, а эту ведь вам, вероятно, не интересно даже было писать, ополчаясь против очень плохой и неудачной статьи Семенова». Затем Б. Л. сказал, что авторских экземпляров «Груз, лириков» у него еще нет, и обещал позвонить 23-го, чтобы условиться о свидании.

23-го он позвонил, сказал, что чувствует себя значительно лучше, прошла бессонница и он рад будет меня видеть у себя 24-го в 9 ч. вечера. «Будет Олеша, а у жены — Сельвинские — вы ничего не имеете против этой компании?» Я сказал, что мне все равно. «Тогда обязательно приходите», — и начал подробно рассказывать, как пройти к нему в квартиру, через какой подъезд (там, где был вход раньше в «БСЭ») и т. д.

24-го я был у Б. Л. Оказывается, — именины Зинаиды Николаевны. Были Мирский, Беспалов с Фрадой, И. Анисимов с женой, Сельвинский с Бертой Яковлевной, Нейгауз, Олеша с женой и др.

Разговоров было очень много. Не все запомнились. Говорили о новом романе Леонова. Олеша и Сельвинский сильно ругали его. Б. Л. защищал Леонова и говорил, что иногда он все же бывает настоящим художником.

Зашла речь о здоровье Б. Л. Он сказал, что чувствует себя оправившимся, что все это были глупости, самовнушение и что он снова может работать. Повел меня, Олешу и Мирского в комнату, где висят картины отца, подарил Олеше оттиск портрета Толстого работы своего отца и спрашивал, повесит ли он его у себя дома. Предлагал и мне. Я отказался, сказав, что у меня дома негде повесить.

Говорили о поэзии, о молодых кадрах. Б. Л. сказал, что молодежь пошла какая-то несмелая, недумающая, очень разгорячился и даже стучал ладонью по столу, повышая голос.

13.XI я звонил Б. Л. и просил перевести стихи А. Жида из его новой книги (для «Знамени»)18. Б. Л. сразу согласился, сказал, что очень любит меня и сделает поэтому перевод с удовольствием. Затем заговорил о том, что он снова начал копаться в стихах, что задуманная проза, в сущности, не его дело, что он может писать все равно лишь поэтическую прозу вроде «Детства Люверс», что с этим покончено, что ему надоели переводы (не грузинские, нет, — а переводы из Байрона и армянских поэтов, которые он недавно делал). «Только никому не говорите, что я пишу стихи, а то будут звонить из редакций и требовать, а я не хочу давать что-нибудь раньше весны».

Рассказал Б. Л., что ему через Союз писателей прислали листы книги его стихов, переведенной кем-то в Чехословакии19. Это, по его словам, его очень растрогало, переводы вышли хорошие, раньше были за границей переведены лишь отдельные вещи в журналах, книга же переводится впервые. На прощанье Б. Л. сказал, что крепко целует меня. Уговорились, что стихи Жида пошлю ему с курьером.

Запись 36

Вот кончается зима. За эти месяцы было много разговоров и встреч с Б. Л., но по дурацкой лени они не записаны, хотя в них много было более интересного, чем в предшествующих. Но все же попробую вести нить записей.

Стихи А. Жида Б. Л. перевел (см. № 1 «Знамени» за 1936 г.). Я заходил к нему за готовым переводом сам. Встретились, расцеловались. О чем-то долго говорили, стоя в прихожей.

Основные встречи и разговоры с Б. Л. в Минске на пленуме ССП в феврале 1936 г. Помню радость от примирения Б. Л. с Асеевым, восторги перед стихами Б. Корнилова «Как от меда у медведя зубы начали болеть» и замечательную остроту, сказанную в пьяном виде о Л. Субоцком: «Я знаю консервы из крабов, из килек, из чего хотите, но я не знал, что бывают консервы из человеческой сути». Это он сказал Щербакову, когда возвращался с дачи Голодеда 17/П.

В конце февраля длинный разговор по телефону. Прошу у Б. Л. новые стихи его для «Знамени». Он говорит, что они обещаны «Кр. Нови», но он постарается дать их не туда, а в «Знамя», ибо ему нравится подобравшаяся в «Знамени» компания — Луговской, Мирский, Петровский.

Говорит, что он очень больно и тяжело ощущает разрыв между словами и делом: все обещают писать, а работают плохо. Похоже на то, говорит Б. Л., когда ночью едешь на авто в ярком свете автомобильных фар, — деревья, люди существуют рядом, а их не видно. Не надо забывать, что они реально существуют.

29/П разговор по телефону с Б. Л. (позвонил он сам). Говорит, что ужасно переживает статью «Правды» о М. Шагинян20 и смерть академика Павлова. Настроение отчаянное. Надо встретиться, поговорить. Уславливаемся о том, что он, может быть, придет вечером ко мне, а если и не придет — то за обман это считаться не будет. Тогда он сам позвонит мне 2/Ш.

Все же вечером Б. Л. не пришел.

Раньше, в середине зимы, Б. Л. был на читке Твардовским «Страны Муравии» в ДСП21. Вещь он оценил очень высоко, соглашался со мной, что она написана в ритме английской баллады, очень хвалил Твардовского, к сожалению, более точно его высказываний на эту тему не помню. Через несколько дней Асмус передавал мне фразу Б. Л. о Твардовском: «Это настоящий человек».

Здесь хронология нарушается. Нет записи разговоров за последние предшествующие дни. Они будут здесь позже. Сейчас записываю разговор Пастернака у меня дома 12/Ш (были Е. Крекшин, Б. Закс, С. Закс, О. Грузинова и я). Неожиданно пришел Пастернак для того, чтобы посоветоваться о том, стоит ли ему выступать на дискуссии в ССП по поводу формализма и статей «Правды». «Стоит ли выступать и тем самым рисковать — по этому поводу?»

Записываю отдельные фразы и определения, ибо разговор носил общий и крайне хаотический характер. Пастернак был крайне взволнован, говорил с необычным даже для него волнением и возбуждением. Он говорил о том, что вся эта теперешняя история носит характер странный, волнующий, мешающий работать.

— Наше время носит шекспировский характер. Мы вовлечены в историю, в судьбу Франции, Германии. Наше государство становится из объекта — субъектом истории. Вот единый фронт на Западе... Ведь у нас для них есть лицо, которое мы еще сами не видим.

— «Известия» за последние 2 года проводили эмансипацию. Для этого Бухарин туда и был посажен. Вот за границей единый фронт с нами. Но ведь для того чтобы им забросить свою чалку, нужен крюк, за который они должны зацепиться. «Известия» были таким крюком. А теперь я не знаю, зачем издавать «Известия», — можно просто удвоить тираж «Правды».

— «Правда» пишет непонятно. Чего хотят? Учителя, которые требуют ясности, должны сами быть ясны.

— Разговор носит характер спора о терминах. А вы себе представляете всю даль, которая отделяет термин от действительности?

— Социалистический реализм был выдвинут как лозунг, когда все начали говорить, что уже начало все устаиваться, в «Известиях» тогда начали печатать природу и фото с улыбками. Тогда Горький прибавил революционную романтику. Лирика не говорит слово «любовь», это для нее постоянно решаемая проблема. Люди же осознают социалистический реализм как коммутатор, куда можно включаться.

— Формализм — это то, что я вам когда-то говорил о вырождении лефов, — если бы можно было рифмовать не только слова — они дошли бы до того, что рифмовали бы на маслах, на дереве.

— Наша жизнь стала самостоятельной, она ожила нервами, она полна неожиданностями. Вот коллективизация. Создавалось какое-то костоломное русло. Много жизней туда ушло. Но и хотя и знали, что жизнь пойдет по этому руслу, даже

то, что она пошла, — есть великолепная неожиданность. Такая же неожиданность, подарок — стахановство.

У нас еще не XIX век социализма, когда, набив оскомину и получив изжогу, начинают писать «Мадам Бовари». Я писал роман о неудачах, успехах и неправильных пониманиях коллективизации. Но не вышло.

— Я хочу быть советским человеком.

— Мало быть просто «советским», нужно к этому прилагательному какое-то существительное. У нас же часто обходятся без этого.

— Поговорки «Не моим носом рябину клевать» или «На воре шапка горит» — это тоже формализм? Почему, дескать, «горит»?

— Вот было недавно. В газетах природа, снимки с улыбками. Выходишь на трибуну с каким-то подъемом, говоришь, пишешь с подъемом. А сейчас каждый себя подавляет. Говоришь то, что до тебя уже сказано...

— Вместо кругов по воде от брошенного камня (опубликованных стихов, речи) вдруг начинают лететь стеклянные брызги.

— Ведь, казалось бы, все становится свободней, мы накануне демократизма, казалось бы, и цензура должна быть ослаблена, а винт закручивается по нарезу22.

На прощанье я благодарил Б. Л. за цикл стихов, переданный им накануне для «Знамени». Он отмахивался и утверждал, что они написаны плохо, риторично, что все это сделано только для того, чтобы высказаться, что из последнего стихотворения (посвященного Г. Леонидзе) он выкинул много строф с описанием Тифлиса, Грузии. «Все это сейчас не нужно»23.

Теперь записываю разговоры, происходившие накануне, 11/Ш. 36. Мы условились с Б. Л., что он зайдет ко мне вечером домой и принесет стихи для «Знамени». Затем через час он позвонил и попросил прийти в ДСП к 8.30 — он передаст мне стихи там. Я пришел. За столиком в ресторане Пильняк, Бехер, Пастернак, Чеботаревская, еще какой-то немец и я. Разговор о дискуссии в связи с формализмом. Пастернак говорит, что дискуссия происходит потому, что действительность недовольна искусством, но выражает это недовольство глупо, неумело; термины «формализм», «натурализм» ничего не значат, ими жонглируют без толку; если завтра будет новая кампания, те же люди будут говорить снова, может быть даже обратное по смыслу. Затем он передал мне стихи, сказал, чтобы я их прочел дома, сейчас не глядел, что стихи эти плохи*, что вообще ему трудно, — и увел меня на заседание, где Мальро говорил по-фран-

* Стихи эти следующие: 1) «Я понял: все живо». 2) «Мне по душе строптивый норов». 3) «Похороны товарища». 4) «Поэт, не принимай на веру». 5) «Георгию Леонидзе». Все они объединены общим заголовком: «Несколько стихотворений».

цузски длинную речь о работе бюро, созданного конгрессом обороны культуры. 72////. 1936

В дни произнесения речей Б. Л. на дискуссии в ССП и связанных с этими выступлениями статьями я с Б. Л. почти не говорил. Отмечу лишь две его реплики. После первой речи (13/Ш 36) Б. Л. был очень растерян и смущен своей неудачей. Он спросил мое мнение о его речи. Я сказал, что первая ее половина была замечательна, а затем он сорвался и начал говорить узкоцеховые, неверные вещи. Б. Л. грустно и утвердительно качал головой. После второй речи (16/Ш. 36) Б. Л. жаловался, что ему мешал говорить Гидаш, — когда Б. Л. говорил о партии, Гидаш, сидя в первом ряду, укоряюще и неодобрительно качал головой24.

20/Ш разговор с Б. Л. по телефону по поводу посланных ему мной накануне гранок «Нескольких стихотворений». Б. Л. сказал, что он сомневается — стоит ли печатать эти стихи, не плохи ли они, — он-де говорит, конечно, не с главлитовской точки зрения, — и просил ответить на это со всей искренностью. Я ответил, что об этом и речи

быть не может, что стихи великолепны. «Ну ладно, — сказал Б. Л. — Я вам занесу их сегодня вечером домой или завтра днем в редакцию». Затем я передал Б. Л. предложение Рейзина — снять заголовок с 3-го стихотворения («Похороны товарища») и изменить в нем строки

Стеснить несчастный случай Счастливою толпой...

Б. Л. говорил, что Рейзин на редкость угадал, — он сам решил снять эту строфу, а насчет заголовка он подумает. Затем он сказал, что это стихотворение вылилось у него на основе впечатлений от похорон Н. Дементьева, — но потом вещь приобрела более широкий, общий смысл.

Затем шла речь о самочувствии Б. Л. после дискуссии. Б. Л. сказал, что он решил запереться и работать, хотя и это, пожалуй, истолкуют как робость и нелюдимость. «Но это же — работа, моя естественная роль в жизни. Когда выступает Никулин в роли народного трибуна и начинает поучать — это очень тяжело. Откуда это право у Никулина, у Гидаша? Ведь вы знаете, как я всегда протестую против моего возвеличивания, — зачем же так и в таком тоне надо было говорить Гидашу» (Гидаш на дискуссии в ССП Убеждал Пастернака в том, что он, Пастернак, средний поэт).

Я сказал Б. Л., что я плохой советчик, — вот посоветовал ему выступить, а вышли такие неприятности. «Ох, что вы, — сказал Б. Л., — я сам виноват, я сорвался и понес околесицу. И вообще не умею говорить». Затем последовали приветы редакции и прощание.

20/IIL 36

Беглые (гл. образом телефонные) разговоры за это время (до 5/V— 36) не записаны. Упомяну лишь о большом вечере красноармейской самодеятельности в Большом театре, в апреле, на котором Б. Л. был в ложе «Знамени» со своей женой. Вечер ему не понравился, он говорил, что большинство плясок и хоровых номеров повторяют дурные оперные традиции. Уехал он с вечера еще до его окончания. Позднее, 3/V-36, Б. Л. возвращался к этому и говорил, что после вечера ему звонили из Штаба Моск. Воен. Округа и просили высказать свое мнение, Б. Л. отозвался резко отрицательно, по его словам. Сотрудник, разговаривавший с ним, сказал, что он согласен с Б. Л. и что 3/4 программы этого концерта, когда он показывался съезду ВЛКСМ, были сняты.

3/V-36 я и Мустангова были у Пастернака. Перед этим у него был флюс, вырывали зуб и проч. Шел долгий разговор о поэзии и положении в литературе, даже шире — о действительности. Пастернак рассказал, что он только что кончил работать над переводом одной историко-военной драмы Клейста25 (которую он хочет предложить напечатать «Знамени»), а теперь начинает работать над поэмой по историко-революционным материалам, вещь будет сделана по типу поэмы о 1905 г. Я предложил устроить у меня, у Б. Л. или у Рейзина читку перевода драмы Клейста, но Б. Л. отказался из боязни того, что на подобной читке в благодарность за выпитый чай не будут высказаны искренние мнения.

Самым ужасным в сегодняшнем положении вещей Пастернаку представляется некий тон благополучия и молчалинства, установившийся в литературе. «Даже родственники Андрея Белого, мои друзья, жители Арбатского района, — и те делают удивленно-изумленные шокированные лица, когда я выкидываю какое-нибудь коленце, вроде того, как я сказал на дискуссии о том, что понял коллективизацию лишь в 1934 году. У нас отсутствует борьба мнений, борьба точек зрения. И даже по-своему честные люди начинают говорить с чужого голоса. Я вот верил в Бухарина, — говорит Б. Л., — думал, что он принципиален, из-за того что был сотрудником "Известий", не ходил в "Правду" (хоть меня туда и звали), знал, что это две враждующие газеты. А, оказывается, и Бухарин печатает статьи все с того же, общего голоса. Мне предложили в первомайских "Известиях" высказаться на тему о свободе личности. Я написал, что

свобода личности — вещь, за которую надо бороться ежечасно, ежедневно, — конечно, этого не напечатали... А что делается в "Правде"! То печатают статьи Вали Герасимовой против штампа и обезличенное™ показа героя, а то вдруг вслед за этим начинаются окрики, что кто-то позволяет себе сметь свое суждение иметь. У нас трудное время. Мы находимся в подводной лодке, которая совершает свой трудный исторический рейс. Иногда она поднимается на поверхность, и можно сделать глоток воздуха. А нас вместо этого уверяют, что едем мы на прекрасном корабле, на увеселительной яхте и что вокруг открываются великолепные виды. И люди начинают этому верить и искренно поддакивать. Даже такие понимающие люди, как Буданцев, начинают соглашаться со всей этой чепухой. Я свою задачу вижу в том, чтобы время от времени говорить резкие вещи, говорить правду обо всем этом. Нужно, чтобы и другие начали. Когда люди увидят упорство повторения одной и той же мысли — они смогут увидеть, что надо менять положение вещей, и, может быть, оно действительно изменится. У нас иногда начинают делать либеральные экивоки и говорить, что можно писать и о любви и о природе. Кому это нужно? Разве дело для искусства в темах? Художник каждый раз по-новому решает эти темы. И вовсе не о многом хочется писать, — вот этого-то и не понимают разные специалисты по президиумам вроде Кирпотина.

Мне противен всякий уют, всякая привычность и устойчивость. Даже когда у лефов, еще при Маяковском, начал организовываться какой-то свой, пусть даже лефовский уют, — я против этого решительно протестовал. У нас люди привыкают к автоматическому мышлению и начинают попугайничать».

Позднее в гости к Б. Л. пришли Асмус и Андроников с женами, вернулась отсутствовавшая Зинаида Николаевна, и разговор стал гораздо более бытовым. Примечателен был рассказ Б. Л. о его поездке на завод «Шарикоподшипник», в 1932 году, вскоре после 23 апреля, когда организовался Оргкомитет26. Это была длинная, смешная и путаная история о том, как Пастернаку звонил с завода некий N, рабочий, приглашал на завод. Б. Л. поехал туда, читал по радио стихи, не понимал, кому это нужно, затем пошел в гости к N. благодаря его усиленным приглашениям. «Я помню, — говорит Б. Л., — пустую комнату, в которой бессмысленно орал громкоговоритель, спящих детей и начало выпивки. Затем явился какой-то товарищ, выпивка разгоралась, мы уже все перешли на "ты" и стали друзьями. Во втором часу ночи (а приехал я на завод в 12 ч. дня) меня взялись отвезти домой на машине. Выйдя во двор, мы столкнулись с кем-то и страшно поспорили, чуть не подрались, — оказалось потом, что это начальство моего нового друга. Как я попал домой, не помню. На следующий день N. звонит ко мне, обращается на "ты" и просит разрешения приехать по крайне важному делу. Оказывается, за пьяный скандал его выгнали с работы и лишили казенной квартиры. Пришлось его устраивать на новую работу через Тройского. С тех пор он периодически звонит мне, теряя работу, и я снова и снова устраиваю его. Давно он уже не звонил — значит, скоро позвонит»27.

Всю эту историю Б. Л. рассказывал, страшно смеясь сам, подробно, с массой живых деталей.

Затем Андроников показывал свой имитационно-пародийный номер «Пастернак» (а также Толстого и др. из старого), Б. Л. смеялся до слез, потом подробно говорил Андроникову о том, что он считает в его номере наиболее удачным, что спорным. Все это длилось почти до 3-х часов ночи.

На этой же вечеринке Б. Л. обещал мне в скором времени дать для «Знамени» свой перевод одной из пьес Клейста, близкой по теме журналу.

25/V он без всякого предупреждения пришел в редакцию и принес «Принца фон Гомбургского» в перепечатанном на машинке виде, с рядом рукописных поправок.

«Вот — хочу вам предложить напечатать. Хорошо было бы, если бы вы прочли до завтра. Знаю заранее, что ставлю вас в глупое положение. Нужны деньги. Требуют за квартиру28. Я бы отказался, мне не нужно, но на свете есть жены. Ужасно глупо устроены дела в Литфонде — там спрашивают, какие вам нужны курортные путевки — бесплатные, в рассрочку или за наличный расчет. Я попросил за наличный расчет, а оказывается, что тут же при этом можно взять взаймы денег и ими заплатить за эти путевки. Ведь уже установился такой режим, что можно жить на литфондовские займы и питаться с утра до вечера на заседаниях и банкетах. Это безобразие. Я хочу жить честно и в случае нужды переиздавать книги».

27/V Вашенцев от своего и моего имени говорил с Б. Л. по телефону, выражал наш общий восторг по поводу «Принца фон Гомбургского», обещал Б. Л. его напечатать и спросил, не заказать ли предисловие к переводу Асмусу. Б. Л. сказал, что он сам охотно напишет предисловие.

28/V Пастернак снова зашел в редакцию. «Я зашел для того, чтобы попросить у вас папиросы. Я боюсь много курить и поэтому не ношу с собой папирос. Этот Лаврушинский переулок меня одолевает. Как вы думаете, — обращается Б. Л. к присутствующему Саянову, — сколько мне просить за строчку стихов новой книги? Меня подбивают издать ее, говорят, что вот, мол, у вас новые в «Знамени», — значит, их заметили и зарегистрировали в каком-то ЗАГСе. А с квартирой прямо ужас — в прошлом году перед отъездом за границу мне пообещали бесплатную квартиру в Доме специалистов, но не дали. Из писателей в Доме специалистов получил квартиру один только... скрипач Ойстрах. Теперь говорят — давайте 25 тысяч за квартиру в Лаврушинском. Я пошел к Щербакову — он мне говорит — "Этот ведь дом строящийся на демократических началах, вот потому с вас и требуют деньги". Ну вот — показали ноготок демократизма и требуют за него 25 тысяч. А мне, в сущности, и квартиры не надо, хочу работать». Затем шел разговор о предполагаемом предисловии к переводу из Клейста. Пастернак подтвердил, что он охотно напишет это предисловие, но не так уж скоро. Я дал Пастернаку № 5 «Знамени» и сказал, что Эренбург там пишет о нем. Долматовский и Саянов предложили прочесть это место вслух, но Б. Л. запротестовал. Попрощался, ушел. Через час — звонок. «Это вы, Толя? Я хочу вам сказать, что прочел страницы Эренбурга обо мне и Маяковском. Все это неверно. Не так. Я вовсе не читал стихи Эренбургу в первую встречу. Наоборот, он читал мне свои. Вначале Эренбург не понимал и не принимал меня и А. Белого. Это Брюсов убедил Эренбурга, заставил его читать и понимать мои стихи. Вообще мало мне нравится, как пишет Эренбург. Все это как-то бескостно, все у него взято с кондачка. Даже стиль. Он, конечно, пишет обо мне с самыми лучшими намерениями, я это знаю, но все же это все неверно. Вот в Париже я говорил ведь серьезные вещи, а он все свел к фразе о том, что "поэзия в траве"29. Я превращен в какого-то инфантильного человека, и я вовсе этого не хочу».

Делаю последнюю, очевидно, запись 4 июня 1937 года, уже после того, как подверглись сокрушающей критике мои статьи о Пастернаке30, после того как мы поссорились с ним в ноябре 1936 года...

Летом 1936 года я раза три-четыре был у Пастернака на даче. Это были странные беседы-споры, в которых я уже чувствовал себя удаляющимся от Пастернака, все еще стремясь, однако, как-то понять его. Однако это понимание становилось все более призрачным. Все более неприятными мне становились Пильняк и Сельвинский, дружившие с Б. Л. Я ему об этом прямо говорил, и он, полусоглашаясь со мной, тем не менее продолжал с ними находиться в близких отношениях. В более резкой форме мы расходились по вопросу о Павле Васильеве, которого Б. Л. считал талантливым и значительным поэтом31.

Когда мы ходили купаться, говорили об обеде, погоде, природе, Жарове или Алтаузене — все шло хорошо. Как только заходила речь о больших литературных вопросах — понимание взаимно ослабевало.

Помню невероятное возмущение Б. Л. тем, что у него требовал интервью репортер об обслуживании переделкинских дачников гастрономом32. Б. Леонидовича хотели даже заставить сняться на фоне грузовика, привозившего в Переделкино продукты...

Помню, как репортер «Литгазеты» одолевал Б. Л., требуя, чтобы тот высказался по поводу каких-то событий. С величайшей неохотой и трудом Б. Л. под влиянием П. Павленко решился на этот шаг.

Говорил — очень неопределенно — Б. Л. о своем романе, который он продолжал писать. С огромным увлечением прочел книгу Тарле о Наполеоне, которую я ему дал. Рассказывал о том, что читает сейчас многотомную историю франц. Революции — Мишле.

Затем наступили события, связанные с процессом троцкистов (Каменев — Зиновьев)33. По сведениям от Ставского, Б. Л. сначала отказался подписать обращение Союза писателей с требованием о расстреле этих бандитов. Затем, под давлением, согласился не вычеркивать свою подпись из уже отпечатанного списка. Выступая на активе «Знамени» 31 августа 1936 г., я резко критиковал Б. Л. за это. Очевидно, ему передал это присутствовавший на собрании Асмус.

Когда после этого я приехал к Б. Л. — холод в наших взаимоотношениях усилился. И хотя Б. Л. перед наступавшей на меня Зинаидой Николаевной, которая целиком оправдывала поведение мужа в этом вопросе, даже несколько пытался «оправдать» мое выступление о нем, видно было, что разрыв уже недалек.

Через некоторое время я написал Б. Л. письмо о том, что хочу к нему приехать и поговорить. Ответа не было. На банкете в честь новой конституции — в ДСП — у нас с Б. Л. зашел разговор об этом письме. Б. Л. вилял, не отвечая мне прямо даже на вопрос о том, почему он на него не ответил. Затем разговор зашел почему-то об А. Жиде34. Оба мы были в некотором подпитии, и формулировки звучали резко, определенно. Дело свелось к тому, что Б. Л. защищал Жида (речь шла о его книге, посвященной СССР). Я резко выступал против. Если припомнить, что летом мне Б. Л. рассказывал о своем разговоре с А. Жидом, в котором тот отрицал наличие свободы личности в СССР35, — то эти высказывания Пастернака приобретают определенный политический смысл. В результате этого разговора произошла резкая ссора, разрыв. Б. Л. заявил, что я говорю общие казенные слова и что разговаривать со мной ему неинтересно.

Позднее об этой нашей беседе, которую слышали многие (Долматовский, Арк. Коган и др.), говорил в своей речи Ставский36.

4/VI.37

В октябре месяце 1939 года я, Евгеньев, Данин и Алигер разговаривали о Пастернаке. Я вспомнил перевод, сделанный Пастернаком несколько лет тому назад (Клейст «Принц Гомбургский»). Евгеньев сказал, что он редактирует для издательства сборник переводов Пастернака37, и спросил меня — не думаю ли я, что можно в этот сборник включить «Принца Гомбургского». Я ответил утвердительно. Здесь же возникла идея напечатать «Принца Гомбургского» и в «Знамени»38. Евгеньев через несколько дней добыл у Пастернака рукопись перевода, принес ее в «Знамя» для перепечатки и сказал, что Б. Л. просил перепечатать несколько экземпляров перевода, но не читать, пока он не поправит текст после машинки. Через несколько дней Б. Л. позвонил мне. Его разговор был очень приветлив и сводился к тому, что у него, Пастернака, ничего нет против меня, что надо все, происшедшее три года тому назад, предать забвению и т. п.

— Вы мыслили всегда даже гораздо более самостоятельно, чем многие другие, и не ваша вина, что вы сдали кое в чем перед натиском времени. Когда весной Усиевич начала кричать о вас в связи со мной — я звонил ей и очень просил ее прекратить это делать*. Я хочу вас видеть и обо всем поговорить.

* Е. Усиевич заявила на заседании президиума ССП весной 1939 года, что я «бегал к Ставскому с доносами на Пастернака».

Затем Б. Л. спрашивал — твердое ли у «Знамени» намерение печатать «Принца Гомбургского». По его мнению, сейчас причины для ненапечатания отпали в связи с заключением советско-германского договора о дружбе.

Я подтвердил свое желание напечатать вещь и сказал, что буду это отстаивать перед редколлегией, если понадобится.

1 ноября 1939 г. я позвонил Пастернаку. Он не мог подойти к телефону, но через полчаса, узнав от жены о моем звонке, протелефонировал мне сам. Я попросил разрешения зайти вечером к нему. Он пригласил меня к 10 часам вечера.

Я пришел. Сразу начал большой разговор о «Гамлете», который Б. Л. перевел.

«Перевод уже вчерне готов. Как возникла его идея? Ко мне давно обращались Мейерхольд, МХАТ и другие. Еще раньше— 10 лет назад — издательство "Academia". Но я отговаривался и отсылал издателей и театры к старым переводам Соколовского, Кронберга. У меня с детства осталось впечатление, что эти переводы, несмотря на их провинциализм, характерный для конца прошлого века, — поэтичны, в них есть Шекспир. Потом перевели, по слухам, "Гамлета" Лозинский и Радлова. Я заранее — до знакомства с ними — положительно относился к этим переводам, я ведь знаю, как Лозинский перевел Данте. Мне казалось, что это хорошие поэты, у меня было доверье к ним, и я не хотел вставать по отношению к ним в позу человека, который оспаривает сделанное ими.

И вдруг я начал переводить "Гамлета"39. Сначала я сделал черновик — я буквально переписал "Гамлета" с английского на русский, почти механически. Потом я отложил эти черновики в сторону и лишь спустя некоторое время начал сличать свой черновой перевод с переводом Лозинского. И вот я обнаружил, что на 1000 примерно строк 5 у меня буквально, слово в слово совпадают с Лозинским. Я ужаснулся.

Я хотел писать ему письмо и поздравлять его со своей неудачей40. Но, поразмыслив, понял, что это ни к чему, что я не могу на этом деле даже просто терпеть материальный ущерб и на свой счет воздвигать Лозинскому памятник. Я понял, что работа моя еще не начата. Я нашел новый прием — ритмическое волнообразное движение строк — и этому ритму подчинил идею строенья своего перевода41. И тогда, в общем потоке нового ритма, мне уже не понадобились мои строки, совпадавшие с Лозинским. Они естественно нашли себе замену... Потом началась работа по сверке переводов Соколовского, Кронберга, Радловой, Лозинского. Я нашел, что у этих переводчиков из поколения в поколение идут некоторые однотипные примитивные ошибки, — они, значит, заимствовали их друг у друга, не разобравшись в некоторых тонкостях английского. И теперь мой перевод удовлетворял меня, если вообще что-либо удовлетворяет из сделанного. А ведь это бывает так редко...

И тут же страшное известье о смерти матери, которое я пережил этой осенью...»

Затем речь зашла о том, кто же Шекспир — актер, извозчик, Бэкон, Ратлэнд?

Пастернак сказал, что он перечел бездну книг о Шекспире, книг по английской истории, в частности историю Давида Юма, книги по эпохе Елизаветы, современников Шекспира — Бен Джонсона, Марло и других.

«Я верю в демократичность Шекспира — этот воздух природы, это ощущение вечеров, утр, — это оттуда. В такие минуты я верю, что Шекспир, как Ломоносов, пришел как-то утром на лондонскую заставу с обозом извозчиков. На заставе был

какой-то театр, вроде загородного "Яра", куда ездила веселиться аристократия. Шекспир держал стремя... Потом он стал хозяином извозного двора, у него была артель. И вот ночью, подвыпив, дворянин выходил на улицу и кричал: "Эй, вы, шекспировские..."»42

«Но с другой стороны, у Шекспира есть огромный внутренний аристократизм в "Гамлете". Он смутно был проявлен другими переводчиками, я его делаю резким. Ведь Гамлет — престолонаследник, цесаревич, Кока эдакий, Котик Летаев, что ли... Я был потрясен совпадением строя мышления монологов Гамлета и писем Эссекса. Шекспир чувствовал аристократическую тему "Гамлета" изнутри, как свою... Имена Розенкранца и Вольтиманда — это имена подлинных датских студентов, учившихся во времена Шекспира в одном из университетов Италии. Откуда такие познания, такие сведения у Шекспира, если он был человеком из народа?

И почему так скучны, хотя и совершенны, современники Шекспира? Все эти драматурги? Когда несколько лет тому назад Сахновский ставил мой перевод пьесы Бен Джонсона43, я испытывал чувство, что все это зря, хотя, казалось бы, должен был я у Сахновского в ногах из благодарности валяться».

«А потом — вы знаете — после смерти Шекспира появился некий Довенант44. Он был литератор. Во времена пуритан он эмигрировал из Англии. В те годы Шекспир и вообще театр считался грехом, "контрреволюцией". Затем Довенант вернулся по своим делам в Англию. Сейчас его назвали бы диверсантом. За него ходатайствовал Мильтон. Он был у них Луначарским... Затем переворот. Теперь уже Довенант ходатайствует за Мильтона. А затем Довенант объявляет себя незаконным сыном Шекспира, рожденным где-то в оксфордской гостинице. Он еще знает быт, знает анекдоты о Шекспире. Театр в это время возрождается золотой молодежью... Но это не искусство, а бардак, скорее. Там больше насчет клубнички. И вот Довенант начинает зачем-то переделывать для этого театра Шекспира — причем от поэзии ничего не остается. Одна сплошная пудра. Так идет судьба Шекспира. И вот теперь я работаю. Что важней у Шекспира — сюжет: он пошел, он сделал, он сказал — или нечто другое? Что делать? — театральный плафон или человечность? Шекспир мне дорог за человечность, и этим он превосходит своих современников».

* * *

«Мы пережили тягостные и страшные годы. Нет Тициана Табидзе среди нас. Ведь все мы живем преувеличенными восторгами и восклицательными знаками. Пресса наша самовосхваляет страну и делает это глупо. Можно было бы гораздо умней. На восклицательном знаке живет Асеев. Он каждый раз разлетается с объятиями и вскриками и тем вызывает на какую-то резкость с моей стороны. Все мы живем на два профиля — общественный, радостный, восторженный, — и внутренний, трагический. Мне так было радостно когда-то, что Грузию я мог воспринять с ее поэзией искренне, от сердца — и под восклицательным знаком, что совпадало с тоном времени. И вот когда в разгар страшных наших лет, когда лилась повсюду в стране кровь, — мне Ставский предложил ехать на Руставелевский пленум в Тбилиси45. Да как же я мог тогда ехать в Грузию, когда там уже не было Тициана? Я так любил его. А тут бы начались вопросы о том, как я был с ним связан, кто был связан со мной и т. д. А что же не глядели, когда я связывался? Почему тогда это приветствовали? — помните минский пленум? Почему это поощрялось? Я отговорился только тем, что у меня жена была на сносях. Я не поехал в Грузию...»

«Говорят, Тициан жив. Я надеюсь на это».

«В эти страшные и кровавые годы мог быть арестован каждый. Мы тасовались, как колода карт. И я не хочу по-обывательски радоваться, что я цел, а другой нет. Нужно, чтобы кто-нибудь гордо скорбел, носил траур, переживал жизнь трагически46. У нас

трагизм под запретом, его приравнивают пессимизму, нытью. Как это неверно! Трагичен всякий порыв, трагична пора полового созревания юноши, — но ведь в этом жизнь и жизнеутверждение. Ужасен арест Мейерхольда и арест его жены47. Конфискована его квартира, имущество. Но если он жив, если он выйдет на свободу — его жизнь будет трагически озарена, и, может быть, это нужно обществу. Иначе жизнь постна. И нужен живой человек — носитель этого трагизма...»

«В эти страшные годы, что мы пережили, я никого не хотел видеть, — даже Тихонов, которого я люблю, приезжал в Москву, останавливался у Луговского, не звонил мне, при встрече — прятал глаза. Даже Вс. Иванов, честнейший художник, делал в эти годы подлости, делал черт знает что, подписывал всякие гнусности, чтобы сохранить в неприкосновенности свою берлогу — искусство. Его, как медведя, выволакивали за губу, продев в нее железное кольцо, его, как дятла, заставляли, как и всех нас, повторять сказки о заговорах. Он делал это, а потом снова лез в свою берлогу — в искусство. Я прощаю ему. Но есть люди, которым понравилось быть медведями, кольцо из губы у них вынули, а они все еще, довольные, бродят по бульвару и пляшут на потеху публике».

Затем мы с Б. Л. вышли из дому, он пошел проводить меня на трамвай. По дороге он мне сказал:

«Под строгим секретом я вам сообщу, что в Москве живет Марина Цветаева48. Ее впустили в СССР за то, что ее близкие искупали свои грехи в Испании49, сражаясь, во Франции — работая в Народном фронте. Она приехала сюда накануне советско-германского пакта. Ее подобрали, исходя из принципа "в дороге и веревочка пригодится". Но сейчас дорога пройдена, Испания и Франция нас больше не интересуют. Поэтому не только веревочку, могут бросить и карету, и даже ямщика изрубить на солонину. Судьба Цветаевой поэтому сейчас на волоске50. Ей велели жить в строжайшем инкогнито. Она и у меня была всего раз — оставила мне книгу замечательных стихов и записей. Там есть стихи, написанные во время оккупации Чехословакии Германией. Цветаева ведь жила в Чехии и прижилась там. Эти стихи — такие антифашистские, что могли бы и у нас в свое время печататься. Несмотря на то что Цветаева — германофилка, она нашла мужество с гневом обратиться в этих стихах с призывом к Германии не бороться с чехами. Цветаева настоящий большой человек, она прошла страшную жизнь солдатской жены, жизнь, полную лишений.

Она терпела голод, холод, ужас, ибо и в эмиграции она была бунтаркой, настроенной против своих же, белых. Она там не прижилась».

«В ее записной книжке, что лежит у меня дома, — стихи, выписки из писем ко мне, к Вильдраку51. Она серьезно относится к написанному ею — как к факту, как к документу. В этом совсем нет нашего литераторского зазнайства...»

«Когда-то советский эстет Павленко сказал, что зря привезли в СССР Куприна, надо было бы Бунина и Цветаеву. Этим он обнаружил тонкий вкус. Но Куприна встречали цветами и почетом, а Цветаеву держат инкогнито. В сущности, кому она нужна? Она, как и я, интересует узкий круг, она одинока, и ее приезд в СССР решен не по инициативе верхов, правительства, а по удачной докладной записке секретаря. В этом ирония судьбы поэта»52.

В заключение Б. Л. просил меня уговорить Вишневского напечатать «Принца Гомбургского».

«Ну пусть "попадет". Все равно попадет. Но дайте же ответить мне самому за это. Так и передайте Вишневскому. И пусть он не боится...»

2/XI-39

Зинаида Пастернак

ВОСПОМИНАНИЯ

...Однажды, помнится, это было в 1928 году, к нам пришли Асмусы, и Ирина Сергеевна принесла с собой книжку стихов Пастернака «Поверх барьеров». Она, Генрих Густавович1 и Асмус безумно восхищались его стихами. Мы всю ночь сидели и читали вслух. О себе я должна сказать, что я гораздо холоднее отнеслась к творчеству Пастернака, многие его стихи казались мне непонятными, а восторги мужа и Асмусов — наигранными. Их увлечение Андреем Белым мне тоже было непонятным, так как мое понимание современной поэзии заканчивалось на Блоке, которого я очень любила.

Спустя год Ирина Сергеевна радостно прибежала к нам и сообщила, что познакомилась с Пастернаком. Знакомство было оригинальным: узнав по портрету Пастернака, лицо которого было не совсем обычным, она подошла к нему на трамвайной остановке и представилась. Она сказала ему, что муж и она горячие поклонники его поэзии, и тут же пригласила его к ним в гости. Он обещал прийти в один из ближайших дней.

Ирина Сергеевна хотела, чтобы мы обязательно были у них. Я была уверена, что Пастернак не придет, попросила Генриха Густавовича пойти без меня и осталась дома с детьми. Оказалось, что Пастернак все же пришел и просидел с ними всю ночь. Все они пришли от него в какой-то раж и день и ночь говорили только о нем. Он произвел впечатление огнем, который шел как бы изнутри, и сочетанием этого огня с большим умом. Через неделю Пастернак пригласил Асмусов и нас к себе на Волхонку, в дом напротив храма Христа Спасителя, где он жил с женой и сыцом. Мне очень не хотелось идти к ним; по всей вероятности, я где-то внутри боялась встречи с таким замечательным человеком. Я долго отказывалась, но Ирина Сергеевна настаивала. Она называла его чудом и вся была захвачена им. Я уступила, и мы пошли.

Этот человек тоже произвел на меня сильное впечатление. Он оказался хорошим музыкантом и композитором. Генрих Густавович много щрал, и Пастернак был в восторге от его исполнения. Потом он читал свои стихи. Я всегда была прямым и откровенным человеком, и, когда он спросил, нравятся ли мне его стихи, я ответила, что на слух я не очень поняла и мне надо прочитать их дома глазами. Он засмеялся и сказал, что готов для меня писать проще. Этой фразе я не придала никакого значения. Внешне он мне понравился: у него светились глаза и он весь горел вдохновением. Я была покорена им как человеком, но как поэт он был мне мало доступен. Потребовалось время и вживание в его старые стихи, чтобы они стали постепенно проясняться, и со временем я полюбила их. Тогда же показалось, что как личность он выше своего творчества. Его высказывания об искусстве, о музыке были для меня более ценными, чем его трудно доступные для понимания стихи. Мы долго засиделись. Но мне очень не понравилась жена Пастернака, это невольно перенеслось и на него, и я решила больше у них не бывать. Асмусы и Генрих Густавович продолжали ходить на Волхонку без меня, я отговаривалась занятостью и хозяйством. Наконец Ирина Сергеевна призналась, что единственный человек, который ее по-настоящему в жизни захватил, — Пастернак, и она в него влюблена. Она беспощадно обращалась со своим мужем. Он был милым человеком, очень страдал, и я удерживала ее от афиширования своего чувства к Борису Леонидовичу.

Через год пришла пора переезжать на лето под Киев, куда мы всегда отправлялись вместе с Асмусами. Ирина Сергеевна сообщила, что Пастернаки тоже хотят ехать на дачу под Киев. Все просили меня, любительницу путешествовать, поехать снять всем дачи. Выбор остановился на Ирпене. Собрали деньги на задаток, и я отправилась в путь. Я сняла четыре дачи: для нас, Асмусов, Пастернака Бориса Леонидовича с женой Евгенией Владимировной и для брата поэта Пастернака — Александра Леонидовича с женой Ириной Николаевной.

За две недели я собралась, и с двумя детьми (Адику было четыре года, Стасику2 — три года), с нянькой, горшками, пеленками мы тронулись в путь. Вместе с нами выехали в Ирпень Асмусы. Записаны были адреса всех дач, кроме нашей, и мы долго кружили вокруг нее на подводе. Генрих Густавович сердился. Как всегда, пришлось искать в Киеве рояль для Генриха Густавовича и перевозить его на подводе в Ирпень.

Дача Александра Леонидовича и Ирины Николаевны Пастернаков и наша были радом, а Борису Леонидовичу Пастернаку с женой и Асмусам я намеренно сняла дом подальше. Не помню уже точно, что побудило меня это сделать — вернее всего, ощущение опасности для меня частого с ним общения. Через две недели приехал Борис Леонидович с женой и сыном.

Первая наша встреча на даче была смешная. Босая и непри-бранная, я мыла веранду, и вдруг подошел Борис Леонидович. Я была удивлена, когда он сказал: «Как жаль, что я не могу вас снять и послать карточку родителям за границу. Как бы мой отец — художник — был восхищен вашей наружностью!» Мне казалось, что он смеется надо мной, и я высказала ему недоверие.

В то лето в Ирпене жили наши друзья — литературовед Евгений Исаакович Перлин и его семья, несколько лет перед тем снимавшие там дачу. Перлин, между прочим, обладал удивительной способностью предсказывать погоду. При ясном небе он мог объявить, что через десять минут пойдет дождь. Ему не верили, подтрунивали над его предсказаниями, но они неизменно сбывались. Всегда в жизни бывают памятные даты, когда помнишь событие и погоду в тот день. Он помнил погоду любого дня в году, и мы даже играли в такую игру: заставляли его отвечать на вопрос, какая была погода в такой-то памятный кому-нибудь из нас день, и он точно говорил. Он мне очень нравился, и у нас было нечто вроде начинающегося романа. Перлин часто заходил к Асмусам, а у нас бывал редко: чувствовал ревность Генриха Густавовича. Встречались мы чаще всего у Асмусов. Иногда даже назначали свидания и ходили вместе гулять. Он любил музыку и приходил к нам, когда Нейгауз играл и мы созывали знакомых.

Ирина Сергеевна все больше и больше увлекалась Борисом Леонидовичем и по-прежнему настаивала, чтобы я ходила с ней к Пастернакам, а он все серьезнее, что я по-женски чувствовала, тянулся к нам. Он перешел с Генрихом Густавовичем на «ты» и все чаще попадался, как бы случайно, мне на пути. Я любила собирать хворост в лесу, и однажды он зашел ко мне и предложил свою помощь. Он так увлекся этим занятием, что собранного им топлива хватило на все лето. Меня удивило, что он так хорошо умеет все делать. Мне казалось, что такой большой поэт не должен быть сведущим в бытовых и хозяйственных делах. Генрих Густавович, например, утверждал, что предел его ловкости — уменье застегнуть английскую булавку. Когда в гражданскую войну Генриху Густавовичу пришлось однажды поставить самовар, то он насыпал уголь туда, куда наливают воду, а воду налил в трубу. Своей хозяйственной деятельностью он вызывал восстание вещей. Я была сконфужена, когда Пастернак тащил ко мне вязанки хворосту. Я уговаривала его бросить, и он спросил: «Вам стыдно?» Я ответила: «Да, пожалуй». Тут он прочел мне целую лекцию. Он говорил, что поэтическая натура должна любить повседневный быт и что в этом быту всегда можно найти поэтическую прелесть. По его наблюдениям, я это очень хорошо понимаю, так как могу от рояля перейти к кастрюлям, которые у меня, как он выразился, дышат настоящей поэзией. Он рассказывал, что обожает топить печки. На Волхонке у них нет центрального отопления, и он топит всегда сам, не потому, что считает, что делает это лучше других, а потому, что любит дрова и огонь и находит это красивым.

Тогда я думала, что он мне подыгрывает, но в последующей жизни я убедилась, что это черта его натуры. Он любил, например, запах чистого белья и иногда снимал его с веревки. Такие занятия прекрасно сочетались у него с вдохновением и творчеством.

«Ежедневный быт — реальность, и поэзия тоже реальность, — говорил он, — и я не представляю, чтобы поэзия могла быть надуманной».

В Ирпене я избегала ходить к ним: мне все меньше нравилась Евгения Владимировна. Она всегда была бездеятельна, ленива, и мне казалось, что она не обладает никакими данными для такой избалованности. Мы были совершенно разными натурами, и то, что казалось белым мне, она считала черным. Бывать у них — значило терпеть попраяние, иногда одной фразой, моих нравственных устоев и идеалов. Теперь, когда все позади, я думаю: не это ли несходство привычек и вкусов было причиной их расхождения?

Возможно, что моя сдержанность в отношении их дома увеличивала его тягу ко мне.

Борис Леонидович всегда держался где-нибудь вблизи и искал случая помочь мне в домашних работах. Недавно Николай Николаевич Вильям-Вильмонт, живший в то лето тоже в Ирпене, вспоминал, как Борис Леонидович помогал мне достать шестом сорвавшееся в колодец ведро и какой у него был счастливый вид. Вечерами собирались и слушали музыку. Борис Леонидович просто обожал игру Генриха Густавовича, а Нейгауз был влюблен в его стихи и часто читал их мне вслух наизусть, пытаясь приобщить меня к ним.

Однажды он выступал в Киеве, играл E-moll-ный концерт Шопена для фортепьяно с оркестром. Надвигалась гроза, сверкали молнии. Концерт был назначен в городском саду под открытым небом, и мы волновались — не разбежится ли публика, но доадь хлынул после его исполнения. Посвященное Нейгаузу стихотворение Бориса Леонидовича «Первая баллада» навеяно именно этим концертом.

Ирина Сергеевна стала догадываться о чувствах Пастернака ко мне. Ей было больно, и она страдала. Я старалась убедить ее, что он бывает у нас так часто из-за Генриха, а не из-за меня, и я не придаю никакого значения его увлечению, казавшемуся мне достаточно поверхностным. Однажды в его присутствии, забыв, что тут же сидит его жена, Ирина Сергеевна попыталась меня уколоть, сказав, что я не понимаю его стихов. На это я гордо ответила, что она совершенно права и я признаюсь в этом своем недостатке. Пастернак заявил, что я права, такую чепуху нельзя понимать, и он за это меня уважает. В таких бурях прошло все лето. У Евгении Владимировны не было тогда оснований ревновать и беспокоиться — я вела себя скромно и совсем не поощряла его ухаживаний.

Осенью мы собрались в Москву. Страдающая Ирина Сергеевна с Асмусом уехали раньше, а мы поехали вместе с Пастернаками. Я с Генрихом Густавовичем и двумя маленькими детьми заняли одно купе, а в соседнем поместились Пастернаки. Поезд уходил из Киева в девять часов вечера. Уложив детей спать, я вышла в коридор покурить. Генрих Густавович уже спал. Открылась дверь соседнего купе, и появился Пастернак. Мы стояли с ним часа три около окна и беседовали. В первый раз я заметила серьезную ноту в его голосе. Он говорил комплименты не только моей наружности, но и моим моральным качествам. Когда он сказал, что я со своим благородством и скромностью представляю для него идеал красоты, я тут же со всей прямотой ответила ему: «Вы не можете себе представить, какая я плохая!» Он долго меня не отпускал и все допытывался, чем я плохая. Мне хотелось сократить этот затянувшийся разговор, и я наконец сказала ему, что с пятнадцатилетнего возраста жила со своим двоюродным братом, которому было сорок пять лет. Тогда мне казалось, что это предел большого чувства, при котором все разрешается, но, несмотря на это, я обвиняю себя в случившемся, и этот поступок всю жизнь меня преследует и мучает. Я говорила с ним со всей прямотой, мне казалось, что этим признанием я смогу охладить его чувства. Я побаивалась их, хотя он ни словом о них со мной не

обмолвился. Увы, это привело к обратному. Он сказал: «Как я все это знал! Конечно, вам трудно поверить, что, первый раз теперь это слыша, я угадал ваши переживания». Тут я пожелала ему спокойной ночи.

Вскоре по приезде в Москву он пришел к нам в Трубниковский. Он зашел в кабинет к Генриху Густавовичу, закрыл двери, и они долго беседовали. Когда он ушел, я увидела по лицу мужа, что что-то случилось. На рояле лежала рукопись двух баллад. Одна была посвящена мне, другая Нейгаузу. Оба стихотворения мне страшно понравились. Генрих Густавович запер дверь и сказал, что ему надо серьезно со мной поговорить. Оказалось, Борис Леонидович приходил сказать ему, что он меня полюбил и что это чувство у него никогда не пройдет. Он еще не представляет себе, как все это сложится в жизни, но он вряд ли сможет без меня жить. Они оба сидели и плакали, оттого что очень любили друг друга и были дружны.

Я рассмеялась и сказала, что это все несерьезно. Я просила мужа не придавать этому разговору никакого значения, говорила* что этому не верю, а если это правда, то все скоро пройдет.

Как всегда в трудные периоды жизни, я всецело занялась детьми, а Генриху Густавовичу сказала, что нам с Борисом Леонидовичем лучше не встречаться, пореже у них бывать. Генрих Густавович отвечал, что это, наверное, не удастся, так как Пастернак, видимо, будет часто приходить.

Ирина Сергеевна страдала и мучилась, наша дружба ломалась, и я горько это переживала, потому что она была моя единственная подруга...

С Пастернаком мы встречались редко, главным образом у Асмусов, где он продолжал часто бывать. Все было очень трудно и сложно. Я чувствовала, что у меня пробуждается грандиозное чувство к нему и что все это жестоко по отношению к моей семье, Асмусам и к его семье.

В декабре Нейгауз поехал в большое турне в Сибирь3. Борис Леонидович стал по три раза на день приходить ко мне. Тут он сказал мне всю правду: он не представляет себе, как все сложится дальше, но, какие бы я выводы ни сделала, он оставляет свою жену, так как жить с ней бодыпе не может ни одного дня. Я говорила ему, что он преувеличивает, что нам обоим нужно бороться с этим чувством, потому что я никогда не брошу Генриха Густавовича и своих детей. Но все, что я ни делала для того, чтобы его оттолкнуть, приводило к обратному. Он ушел, и вскоре я узнала, что в тот же день он переехал от жены к Пильняку на Ямское поле4. Оттуда он каждый день приходил ко мне, приносил новые стихи, составившие впоследствии книгу «Второе рождение».

В конце декабря5 он пришел как-то ко мне очень поздно, и я не пустила его на Ямское поле. Он остался в ту ночь у меня. Когда под утро он ушел, я тут же села и написала письмо Генриху Густавовичу о том, что я ему изменила, что никогда не смогу продолжать нашу семейную жизнь и что я не знаю, как сложится дальше, но считаю нечестным и морально грязным принадлежать двоим, а мое чувство к Борису Леонидовичу пересиливает. Письмо было жестокое и безжалостное. Я была уверена, что он все это переживет, и написала прямо, считая это более порядочным. Получилось ужасно, письмо пришло в день концерта. Как рассказывал мне потом его импресарио, во время исполнения Нейгауз закрыл крышку рояля и заплакал при публике. Концерт пришлось отменить. Этот импресарио потом говорил, что я не имела права так обращаться с большим музыкантом. Нейгауз отменил все последующие концерты этой гастроли и приехал в Москву. Увидав его лицо, я поняла, что поступила неправильно не только в том, что я написала, но и в том, что я сделала.

Пришел Борис Леонидович, и мы сидели втроем и разговаривали, и каждое наше слово ложилось на всех троих, как на оголенную рану. Они стали спрашивать меня, как

я представляю последующую жизнь. Я ответила, что для того, чтобы разобраться в себе, я должна от них уехать6.

В Киеве у меня было много приятелей и друзей, и через три дня после этого разговора я взяла Адика и отправилась с ним туда.

Остановилась я у своей подруги — невестки Евгения Исааковича Перлина. Жизнь моя была мучительна. Слух, что я бросаю

Генриха Густавовича, облетел весь Киев. Ко мне стали приходить его бывшие ученики с увещеваниями. Говорили, что я не имею права ломать жизнь такого большого музыканта, что у меня нет сердца, я жестокая, если его брошу, он погибнет и я буду виновата в его смерти. Мать любимого ученика Генриха Густавовича — Гутмана — потрясла меня. Она предсказала мне ужасную жизнь с Пастернаком; как бы он меня ни любил, как бы мне ни поклонялся — у него есть семья, и всегда в наших отношениях будет трещина. Она рассказала, что у нее тоже такое было в жизни и никакая любовь не могла залечить семейных ран. Иногда устраивали нечто вроде общих собраний у меня, напор был так велик, что я готова была поддаться и заглушить в себе чувство к Борису Леонидовичу.

Он писал большие письма по пять-шесть страниц и все больше и больше покорял меня силой своей любви и глубиной интеллекта. Через две недели он приехал ко мне и тоже поселился у моей подруги Перлиной7. Он уговаривал меня развестись с Генрихом Густавовичем и жить только с ним. В эти дни я была совершенно захвачена им и его страстью. Через неделю ему пришлось уехать, так как в Киев приехал давать концерт Генрих Густавович и Борис Леонидович не хотел нам мешать.

Как и всегда после удачного концерта, мне показалось, что я смертельно люблю Генриха Густавовича и никогда не решусь причинить ему боль. После концерта он пришел ко мне, и тогда возобновились наши супружеские отношения. Это было ужасно. Через двадцать дней, уезжая в Москву, он сказал мне: «Ведь ты меня всегда любила только после хороших концертов, а в повседневной жизни я был несносен и мучил тебя, потому что я круглый дурак в быту. Борис гораздо умнее меня, и очень понятно, что ты изменила мне». Это была жестокая правда. Расставаясь с Генрихом Густавовичем, я обещала все забыть и вернуться к нему, если он простит и забудет случившееся.

Как бы чувствуя на расстоянии эту драму, Борис Леонидович писал мне тревожные письма. Потом он опять приехал в Киев8 и сообщил мне, что Паоло Яшвили, замечательный грузинский поэт, был в Москве и предложил ему забрать меня и отправиться в Грузию, обещая предоставить нам свою комнату. Как и всегда, увидев Бориса Леонидовича, я покорилась ему во всем и согласилась. Через три дня мы взяли билеты и уехали в Тифлис. <...>

Устроили нас высоко в горах, в Коджорах, там всегда было прохладно. Полгода, проведенные в Грузии9, превратились в сплошной праздник. Борис Леонидович и я впервые увидели

Кавказ, и его природа нас потрясла. Кроме того, нас окружали замечательные люди — большие поэты Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, Николо Мицишвили, Георгий Леонидзе10. Нас без конца возили на машинах по Военно-Грузинской дороге, показывали каждый уголок Грузии и во время поездок читали стихи. Поразительная природа Кавказа и звучание стихов производили такое ошеломляющее впечатление, что у меня не было времени подумать о своей судьбе. Так мы объехали всю Грузию.

В августе мы переехали в Кобулети на Черном море, где познакомились с Симоном Чиковани и Бесо Жгенти11. Мы жили с ними в одной гостинице. Здесь Борис Леонидович написал «Волны» и читал их вслух. Меня удивило, что через три дня все грузинские поэты, несмотря на недостаточное знание русского языка, запомнили эти

удивительные стихи наизусть. Они любили Пастернака больше всех современных поэтов, носили его на руках, и их любовь переносилась на меня и на Адика. Пятилетний Адик не всегда мог присутствовать на наших пирушках, и поэты возились и играли с ним, а их жены уводили его и укладывали спать. Я подружилась с женой Тициана Табидзе, которая и по сей день большой друг нашего дома.

В Кобулетах мы прожили сентябрь и октябрь. Я забыла обо всей прошлой жизни. Генрих Густавович два-три раза напомнил о себе — в письмах звучала тревога, ему снилось, что в горах мы с Адиком летим на автомобиле в пропасть и гибнем, и он умолял писать. Послали две-три телеграммы, сообщая, что все благополучно. Я обещала с ним встретиться и поговорить по приезде.

15 ноября12 еще было тепло, все купались, и Паоло Яшвили провожал нас на вокзале в белом костюме, а в Москве было пятнадцать градусов мороза. Мои зимние вещи остались у Генриха Густавовича, пришлось дать ему телеграмму, чтобы он встретил нас на вокзале с нашими шубами. Мы оба, я и Борис Леонидович, были в легкомысленном настроении и ничего не соображали, куда мы денемся в Москве. Я понимала, что после этой поездки я не имела морального права явиться к Генриху Густавовичу. Борис Леонидович уговаривал меня поехать на Волхонку, так как жена была еще за границей и он не представляет, где нам жить. Мне казалось неудобным приехать к нему на Волхонку в отсутствие жены. Он настаивал и говорил, что сейчас же потребует второго ребенка, Стасика, — мы должны жить вместе. Он надеялся своей добротой и с моей помощью смягчить страдания обоих людей — Евгении Владимировны и Генриха Густавовича.

Шубу и вещи привезла гувернантка Стасика. Она сообщила, что Стасик здоров и весел. Я другого не ожидала, была убеждена, что Генрих Густавович нас не встретит. Когда мы приехали на Волхонку, он пришел к нам. Тогда уже было напечатано «Второе рождение»13. Эти стихи каким-то образом отделили меня от Генриха Густавовича в его сознании. Как два больших человека Пастернак и Нейгауз имели свой общий язык, они часто встречались, и, когда Борис Леонидович попросил отдать Стасика, впоследствии Генрих Густавович эту просьбу выполнил.

На Волхонке мы прожили уже целый месяц, когда до жены Бориса Леонидовича, находившейся с сыном в Германии, дошли слухи, что он живет со мной уже как с женой14, и она прислала телеграмму, извещавшую о ее возвращении. Нам надо было немедленно освобождать квартиру. Пришлось переехать к Александру Леонидовичу на Гоголевский бульвар.

Там было тесно, и мы спали на полу. Как всегда, первым пришел на помощь Генрих Густавович, он взял Адика и Стасика к себе, и у меня началась трудная и в нравственном и в физическом смысле жизнь. С утра я ходила на Трубниковский, одевала и кормила детей, гуляла с ними, а вечером оставляла их на гувернантку. Мне было очень тяжело, и меня удивляло оптимистическое настроение Бориса Леонидовича. Ему было все нипочем, он шутя говорил, что поговорка «с милым рай и в шалаше» оправдалась...

Евгения Владимировна мучилась <...> Я собрала свои вещи и села на извозчика, попросив Александра Леонидовича передать брату, что, несмотря на мое большое счастье и любовь к нему, я должна его бросить, чтобы утишить всеобщие страдания. Я просила передать, чтобы он ко мне не приходил и вернулся к Евгении Владимировне15.

Я ощущала мучительную неловкость перед Генрихом Густавовичем, но он так благородно и высоко держал себя в отношении нас, что мне показалось возможным приехать к нему. Я не ошиблась. Я сказала ему, чтобы он смотрел на меня как на няньку детей, и только, я буду помогать ему в быту, и от этого он только выиграет. Он

хорошо владел собой и умел скрывать свои страдания. Меня поразили его такт и выдержка. Мы дали друг другу слово обо всем происшедшем не разговаривать. Я сказала ему, что, по всей вероятности, моя жизнь будет такова: я буду жить с детьми одна и подыщу себе комнату. Я находила утешение в детях, которым отдалась всей душой, и мне тогда казалось, что это хорошо и нравственно.

Но через неделю стали появляться люди. Первым пришел Александр Леонидович с женой. Они говорили, что Борис Леонидович просит меня вернуться, все равно он никогда не будет больше жить с Евгенией Владимировной. Он по моей просьбе вернулся к ней, но через три дня не выдержал и ушел. Я умоляла не тревожить меня, мне казалось, что со временем все уляжется и я смогу перебороть себя. <...> Меня удивил тогда его брат. Он мне посоветовал опять уехать куда-нибудь, чтобы быть подальше от Генриха Густавовича и Бориса Леонидовича, пока я не разберусь в себе. Но мне не нужно было разбираться. Я уже решила пожертвовать своим чувством к Борису Леонидовичу, так как семья и дети оказались сильнее самой большой любви. Они ушли ни с чем. Через два дня пришел брат Ирины Николаевны — Николай Николаевич Вильям-Вильмонт. Он не хотел беседовать со мной наедине, позвал Генриха Густавовича и разговаривал с нами обоими. Он говорил, что Пастернак его любимый поэт и он не позволит так его мучить, что Борис Леонидович ходит сам не свой, говорит, что жить без меня не может, и нужно придумать какую-нибудь форму мыслимого существования. Вильмонт тоже любил Генриха Густавовича и был покорён его великодушием. Он просил принять Пастернака. Генрих Густавович сначала запротестовал, говорил, что он тоже человек и в такой раскаленной атмосфере не ручается за свои действия. Я молчала, так как Николай Николаевич, едва войдя, сказал, что такой жестокой женщины не видел. Я объясняю его слова его непрозорливостью.

Когда он ушел, Генрих Густавович спросил меня, как бы я хотела устроить свою жизнь. Я ответила, что больше всего хочу жить отдельно с детьми: мое призвание матери оказалось всего сильнее на свете. Через несколько часов приехала Нина Александровна Табидзе. Она сидела у нас и не понимала, почему я рассталась с Борисом Леонидовичем, ей это казалось чудовищным. Не знаю, она ли его позвала или он сам пришел, но открылась дверь, и вошел Борис Леонидович. Вид у него был ужасный! На лице было написано не только страдание и мучение, а нечто безумное. Он прошел прямо в детскую комнату, закрыл дверь, и я услышала какое-то бульканье. Я вбежала туда и увидела, что он успел проглотить целый пузырек йоду. К счастью, напротив нашей квартиры на той же площадке жил врач; еще не посмотрев на Бориса Леонидовича, он крикнул: «Молоко! Скорее поите холодным молоком!» Молоко было у меня всегда в запасе для детей, и я заставила Бориса Леонидовича выпить все два литра, оказавшиеся на кухне. Все обошлось благополучно. Молоко вызвало рвоту, и жизнь его была спасена. Я уложила его на диван, и через некоторое время он смог разговаривать. Нина Александровна сидела около него и успокаивала и поклялась ему, что я к нему вернусь. Генрих Густавович был потрясен случившимся и сказал Борису Леонидовичу, что уступает ему меня навсегда <...>, но он должен придумать такую форму существования, при которой я смогу спокойно жить, ничего не опасаясь.

Его нельзя было перевозить, и он остался у нас ночевать. Борис Леонидович мне говорил, что я должна жить с обоими детьми и с ним, и дал мне слово немедленно приняться за хлопоты о квартире. На другое утро мы переехали опять к его брату, и он начал хлопотать о жилье. Как ни странно, через две недели дали нам квартиру на Тверском бульваре из двух комнат со всеми удобствами16. Но квартиру надо было чем-то обставить, и Генрих Густавович опять весьма великодушно отдал кое-что из мебели. Мы купили какую-то дешевую кровать для себя. Несмотря на бедную обстановку, мы были очень счастливы. При доме был садик, где я гуляла с детьми, а

обеды мы брали тут же в литфондовской столовой. Таким образом, я обходилась без работницы.

Так мы жили спокойно три месяца. Потом опять появилась Евгения Владимировна. Квартира ей очень понравилась, и она попросила нас поменяться с нею. Мне очень не хотелось расставаться с этим уютным обжитым углом, к тому же я не доверяла ей и боялась, что снова придется куда-нибудь переезжать. Но площадь в квартире на Волхонке была больше, и Борис Леонидович меня уговорил.

Мне было больно, что Борис Леонидович живет с моими детьми и разлучен со своим сыном. <...> По-человечески вполне понятно, что Борис Леонидович мучился угрызениями совести. Впоследствии эти переживания были ярко выражены в том месте романа, где Лара приезжает с дочкой Катей к Живаго и ему очень не хочется, чтобы Катя легла в кроватку его сына.

Когда мы переехали на Волхонку, все стало немного спокойнее. Евгения Владимировна к нам не приходила. Но вскоре до меня дошли слухи, что Генрих Густавович стал пить и быт его совсем разладился. К нам приходили его ученики и уговаривали на него повлиять. Мне пришлось написать родителям Нейгауза обо всем и попросить ускорить намечавшийся переезд в Москву.

(Когда я бросила Генриха Густавовича, его отец написал мне суровое письмо. Там была такая фраза: «Гарри говорит, что Пастернак гений. Я же лично сомневаюсь, может ли гений быть мерзавцем».) Но, к всеобщему удивлению, этот самый отец, придя к нам на Волхонку познакомиться с Борисом Леонидовичем и навестить своих внуков, сразу же влюбился в Бориса Леонидовича и, несмотря на свои девяносто с лишним лет, стал ежедневно приходить к нам пешком с Трубниковского, не считаясь с дальностью расстояния. <...> Для того чтобы Нейгауз мог жениться на Мили-це Сергеевне, я должна была дать ему развод. Борис Леонидович обрадовался. Теперь все должно было стать на свои места: он дает развод Евгении Владимировне, я — Генриху Густавовичу, и мы с ним идем в загс.

Мы так все это и сделали. В загсе меня спросили, какую фамилию я хочу носить. Из-за детей я хотела оставить фамилию Нейгауз, но Борис Леонидович отвел меня в сторону и сказал, что он суеверен, что не может с этим согласиться и просит меня быть Пастернак. Мне пришлось вернуться и заявить, что я передумала17.

Теперь все наладилось. Детей я устроила в детский сад. Борис Леонидович много работал, писал стихи, переводил. Часто приезжали грузины, и у нас устраивались вечера на двадцать пять человек. В 1933 году его пригласили на Урал18 посмотреть заводы и колхозы, познакомиться с жизнью в тех местах и написать что-нибудь об Урале. Поездка предвиделась на три-четыре месяца. Борис Леонидович поставил условие, что возьмет с собой жену и детей.

Мы пригласили в поездку двоюродную сестру Генриха Густавовича Тусю Блуменфельд (дочь известного композитора и дирижера Феликса Блуменфельда). Она очень любила детей и прекрасно с ними ладила.

Первое время мы жили в гостинице «Урал» в Свердловске. Столовались мы в обкомовской столовой. Потом нас переселили на озеро Шарташ под Свердловском и дали нам домик из четырех комнат. Время было голодное, и нас снова прикрепили к обкомовской столовой, где прекрасно кормили и подавали горячие пирожные и черную икру. В тот же день к нашему окну стали подходить крестьяне, прося милостыню и кусочек хлеба. Мы уносили из столовой в карманах хлеб для бедствующих крестьян. Как-то Борис Леонидович передал крестьянке в окно кусок хлеба. Она положила десять рублей и убежала. Он побежал за ней и вернул ей деньги. Мы с трудом выдержали там полтора месяца. Борис Леонидович весь кипел, не мог переносить, что кругом так голодают, перестал есть лакомые блюда, отказался куда-

либо ездить и всем отвечал, что он достаточно насмотрелся. Как я ни старалась его убедить, что он этим не поможет, он страшно возмущался тем, что его пригласили смотреть на этот голод и бедствия и писать какую-то неправду, правду же писать было нельзя. Я пыталась его отвлекать, устраивала катание по озеру на лодке.

Однажды мы чуть не погибли. В ясную тихую погоду мы переехали на другую сторону Шарташа. Долго гуляли, собирали малину, грибы. Вдруг совсем неожиданно на озере появились белые гребешки, и Борис Леонидович уговорил нас ехать немедленно домой. Он взялся за весла, Туся —- за руль, а я сидела на скамеечке с двумя детьми. На середине озера волны стали перехлестывать через борт, лодку заливало. Нас спасло лишь умение Бориса Леонидовича управлять лодкой, и мы чудом добрались до берега. Очевидно, физическое напряжение не прошло даром. Каждый мускул у Бориса Леонидовича дрожал, и он сильно побледнел. Все мы были измучены и как бы вернулись с того света.

Он стремился уехать в Москву. Я понимала, что ему тяжело жить в такой обстановке, видеть голод и несчастья крестьян. Отговорившись болезнью Бориса Леонидовича, мы попросили взять нам билеты в Москву. Предлагали подождать еще неделю мягкого вагона. Борис Леонидович был непреклонен и говорил, что поедет в жестком. На вокзал нам принесли громадную корзину со съестным. Он не хотел брать, но я настояла, так как на станциях ничего нельзя было купить, а ехать предстояло четыре дня. Всю дорогу до Москвы мы ехали полуголодными: Борис Леонидович запретил открывать корзину и обещал раздать все соседям по вагону, если я нарушу запрет. Я очень хорошо его понимала, но со мной ехали маленькие дети, и я с краешка корзины доставала продукты и кормила сыновей тайком в уборной.

Меня поразила и еще больше покорила новая для меня черта Бориса Леонидовича: глубина сострадания людским несчастьям. И хотя на словах я не соглашалась с ним, но в душе оправдывала все его действия. На каждой остановке он выбегал, покупал какие-то кислые пирожки и угощал ими меня и Тусю. Дома мы открыли эту корзину. Продуктов оказалось так много, что мы питались ими целый месяц.

По приезде в Москву Борис Леонидович пошел в Союз писателей и заявил, что удрал с Урала без задних ног и ни строчки не напишет, ибо он видел там страшные бедствия: бесконечные эшелоны крестьян, которых угоняли из деревень и переселяли, голодных людей, ходивших на вокзалах с протянутой рукой, чтобы накормить детей. Особенно возмущала его обкомовская столовая. Он был настроен непреклонно и требовал, чтобы его никогда не приглашали в такие поездки. Больших усилий стоило заставить его забыть это путешествие, от которого он долго не мог прийти в себя.

Связь с Грузией продолжалась и крепла. Он был очарован грузинскими поэтами и переводил Т. Табидзе, П. Яшвили, С. Чи-ковани, Г. Леонидзе. В 1934 году мы отправились в Ленинград на пленум грузинских писателей. Поселили нас в «Северной» гостинице (ныне «Октябрьская»19). С нами были Паоло Яшвили и Тициан Табидзе с женой. Это был сплошной праздник для Бориса Леонидовича. Его подымали на небывалую высоту как поэта и переводчика грузинских поэтов. С нами неотлучно были Н. С. Тихонов и В. Гольцев. Тихонов часто приезжал из Ленинграда в Москву и останавливался у нас.

Я попала в Ленинград впервые после 1917 года. Мы показывали грузинам город, всюду их возили с собой. Мне была дорога эта поездка, я припоминала свое детство и мой первый роман с Николаем Милитинским. Как-то я сказала Нине Александровне Табидзе: как странно, что судьба забросила в ту самую гостиницу, куда я, пятнадцатилетняя девочка, приходила в институтском платье, под вуалью, на свидания с Милитинским. Никогда не думала, что она передаст этот разговор Борису Леонидовичу. С ним я была осторожна и бдительна в отношении моего прошлого, так

как с первых дней нашего романа почувствовала его непримиримую враждебность и ревность к Николаю Милитинскому. Это мне было совершенно непонятно: я не испытывала никакой ревности к его прошлому. Особенно меня поразил один случай: когда мы жили на Волхонке, приехала дочь Николая Милитин-ского Катя с Кавказа и привезла moiq карточку с косичками. Эта карточка была единственной, которая уцелела от моего прошлого, и я ею дорожила. Катя неосторожно сказала при Борисе Леонидовиче, что отец, умирая, просил передать ее мне со словами, что я была единственной женщиной, которую он любил. Через несколько дней карточка пропала, и я ее долго искала. Борису Леонидовичу пришлось признаться, что он ее уничтожил, потому что ему больно на нее смотреть. Уж если карточка имела такое действие, то что же с ним было, когда Нина Александровна рассказала, что я встречалась с этим человеком в гостинице!

По приезде в Москву он заболел нервным расстройством — перестал спать, нормально жить, часто плакал и говорил о смерти. Я его начала лечить у доктора Огородова, но ничего не помогало.

В 1934 году20 я повезла его на дачу в Загорянку и всячески старалась успокоить его и поддержать, но состояние его ухудшалось. Я не могла понять, как может человек так мучиться из-за какого-то моего прошлого.

До нас дошли слухи, что в Париж на антифашистский Конгресс писателей едет советская делегация. Из крупных писателей здесь остались Бабель и Пастернак. Через два дня к нам на дачу приехали из Союза писателей просить Бориса Леонидовича срочно выехать на Конгресс. Он был болен и наотрез отказался, но отказ не приняли и продолжали настаивать на поездке. Пришлось ехать в Москву, чтобы позвонить секретарю Сталина Поскребышеву и просить у него освобождения от поездки. При этом телефонном разговоре я присутствовала. Борис Леонидович отговаривался болезнью, заявил, что ехать не может и не поедет ни за что. На это Поскребышев сказал: «А если бы была война и вас призвали — вы пошли бы?» — «Да, пошел бы». — «Считайте, что вас призвали».

Хотя и было страшно отпускать его в таком состоянии здоровья, я его усиленно уговаривала, надеясь, что перемена обстановки будет способствовать его выздоровлению. К тому же мы узнали, что открытие съезда задержали из-за отсутствия Пастернака и Бабеля21. Я уговаривала его не потому, что боялась Поскребышева, а мне казалось, что Борис Леонидович будет там иметь успех и вылечится от своей болезни. На другой день после разговора с Поскребышевым почему-то ночью за Борисом Леонидовичем в Загорянку пришла машина. Мне не позволили его провожать, я волновалась, объясняла, что он болен и его нельзя отпускать одного. Мне отвечали, что его везут одеваться в ателье, где ему приготовили новый костюм, пальто и шляпу. Я этому поверила, это было неудивительно: в том виде, в котором ходил Борис Леонидович, являться в Париж было нельзя. Итак, он уехал.

Когда Борис Леонидович появился в Париже на трибуне (как мне рассказывали свидетели и очевидцы), то трехтысячный зал встал и ему устроили овацию. Он долго не мог говорить.

Из Парижа я получила только одно письмо на тринадцати страницах, где он писал, что хотел было остаться там полечиться, но со всеми вместе выезжает через Лондон в Москву.

Все жены, и я в том числе, отправились на вокзал встречать поезд из Ленинграда. К моему ужасу, Бориса Леонидовича среди приехавших не было. Руководитель делегации Щербаков отвел меня в сторону и сказал, что Борис Леонидович остался в Ленинграде, потому что ему кажется, что он психически заболел. Он, Щербаков, считает, что я должна немедленно выехать в Ленинград. На вопрос, вызывает ли меня

Борис Леонидович, он ответил отрицательно, но, по его мнению, я должна была ехать. С большой любезностью Щербаков помог мне достать билет в Ленинград и дал письмо в Ленинградский Внешторг с просьбой выдать все вещи, приобретенные Борисом Леонидовичем в Париже и задержанные на таможне. Щербаков рассказал, что Борис Леонидович купил там только дамские вещи, это показалось подозрительным, и багаж не пропустили. Себе же он не купил и носового платка.

Я в смятении отправилась в Ленинград. После его нежного письма из Парижа я была потрясена тем, что он не хотел меня видеть. Я поехала по адресу его двоюродной сестры Ольги Михайловны Фрейденберг22, жившей против Казанского собора на Грибоедовском канале. Я ожидала его увидеть в ненормальном состоянии, волновалась и всю дорогу думала, как мне быть — везти его в Москву или лечить в Ленинграде. Но когда он вышел, похудевший, и, заплакав, бросился ко мне, я ничего не нашла в нем странного. Несмотря на обиды сестры, я тут же перевела его в «Европейскую» гостиницу.

Он сразу повеселел, стал хорошо спать и гулял со мной по Ленинграду. Так мы прожили неделю.

Перед отъездом я сделала ему сюрприз и показала ему письмо Щербакова во Внешторг. Он обрадовался, но боялся, что будет высокая пошлина. Когда мы явились на таможню, нас ввели в комнату, где большой стол был завален действительно только женскими вещами, начиная от туфель и кончая маникюрным прибором. Нам сказали, что мы можем забирать все вещи бесплатно. Упаковав чемоданы, мы в ту же ночь выехали в Москву.

Борис Леонидович много рассказывал о Париже, о знакомстве с Замятиным23, с семьей Цветаевой24, французскими писателями. Он говорил, что на всех он произвел впечатление сумасшедшего, потому что, когда с ним заговаривали о литературе, он отвечал невпопад и переводил разговор на меня.

Он стал поправляться, но меня пугали его изжоги, и я уговорила его сделать анализ желудочного сока. Оказалось, что у него нулевая кислотность. Врач по секрету сказал мне, что это бывает только при раке. Я немедленно повела его на рентген желудка и пищевода, но никаких опухолей не оказалось. Ему прописали пить перед едой соляную кислоту, через месяц все боли прекратились и больше не возобновлялись.

На следующее утро мы поехали в дом отдыха «Одоев» под Тулой25. С нами снова была Туся Блуменфельд, горячо привязавшаяся к детям. Дом творчества оказался хорошим, со своим хозяйством, и мы прожили там почти полгода.

В августе 1934 года состоялся Первый съезд писателей26. Борис Леонидович уехал на съезд из Одоева один. Через две недели он вернулся в Одоев в хорошем настроении. На съезде его поднимали на щит, он был избран в президиум. Только Сурков выступил против него27. Бросая фразы о его мастерстве, он принижал его, говоря, что он непонятен массам и ничего не пишет для народа. Борис Леонидович выступал на съезде.

В 1935 году зимой был пленум писателей в Минске28. Борис Леонидович не хотел ехать без меня и с большим трудом устроил мне поездку, так как жен писателей не брали (на пленуме оказалось только три жены: Сельвинская, Нина Табидзе и я). Везли нас по тем временам слишком роскошно, и Борис Леонидович возмущался тратой огромных средств на писателей, которые, по его мнению, не заслуживали такого большого внимания от правительства.

На пленуме писатели поделились на две группы. Мы оба с радостью встретили грузин: Паоло Яшвили, Тициана Табидзе с женой, Леонидзе, Чиковани — и все время были вместе, вместе осматривали город и до полуночи засиживались, читая стихи. Меня удивило тогда, что каждый выступавший, начиная говорить о литературе,

съезжал на Пастернака. Большинство говорило, что Пастернак величайший поэт эпохи, и, когда Борис Леонидович вышел на эстраду, весь зал поднялся и долго аплодировал, не давая ему говорить. Но в зале были и его враги, выступавшие против него, например венгерский писатель Гидаш, который утверждал, что Пастернак не первый поэт эпохи, а средний. А также выступил Эйдеман29, латышский писатель, который сказал: Пастернак действительно большой мастер, но везет только один вагон, в то время как мог бы везти целый состав.

Как всегда, речь Бориса Леонидовича была зажигательна и подчас рискованна. Едучи обратно в Москву, Борис Леонидович возмущался безумной тратой денег на банкеты и дорогую кормежку, и все для того, чтобы выяснить вопрос, какое место он занимает в литературе. Он мне сказал, что никогда не интересовался тем, какое место он занимает, настоящий художник не должен иметь ощущения своего места, и он не понимает выступлений товарищей.

Вскоре после нашего возвращения в Москву в Союзе писателей состоялось собрание писателей30. Я на нем была. Выступление Бориса Леонидовича снова было рискованным. Он говорил, в частности, что пора прекратить банкеты, все не так весело, как кажется, и государство не в таком состоянии, чтобы тратить на писателей столько лишних денег.

Наступил 1936 год. Писателям предложили строить дачи в Переделкине и одновременно кооперативный дом в Лаврушинском. Денег у нас было мало, так как переводы грузин давали немного, а к работе, в которой по настоянию врачей был перерыв со времен Парижа, Борис Леонидович еще не приступил. Но мы все-таки сэкономили и внесли пай на квартиру в Лаврушинском, а дачи ничего не стоили, их строило государство31.

Наша дача находилась против дачи Пильняка, а с другой стороны был дом Тренева. Дачи строились на широкую ногу, по пять-шесть комнат, и все они стояли в сосновом бору. Мне не нравился наш участок — он был сырой и темный из-за леса, и в нем нельзя было посадить даже цветов. Мы были недовольны огромными размерами дома — шесть комнат с верандой и холлами, поэтому, когда в 1939 году умер писатель Малышкин32, нам предложили переехать в чудную маленькую дачу с превосходным участком, солнечным и открытым. В этом нам помог Николай Погодин, который был в то время во главе Литфонда. Одновременно велось строительство дома писателей в Лаврушинском.

Создали кооператив, в который надо было вносить деньги. За пятикомнатную квартиру полагалось заплатить 15-20 тысяч, а у нас было накоплено восемь и хватило только на две комнаты. Сначала пятикомнатную я обменяла с Фединым на трехкомнатную, но в конце концов и ее потребовалось обменять на двухкомнатную. Ко мне пришел конферансье Гаркави и сообщил, что строит холостяцкую квартиру из двух комнат, расположенных на восьмом и девятом этажах, с внутренней лестницей. Наверху должен был быть кабинет с ванной, а внизу спальня с кухней. Гаркави предложил мне обменяться с ним. Боря уговаривал меня совсем отказаться от квартиры в городе и говорил, что можно обойтись одной дачей. Но я должна была заботиться о двух подрастающих мальчиках Нейгауза и хотела устроить для них этот угол, чтобы они могли учиться в Москве. Я тут же отправилась с Гаркави посмотреть эту квартиру. Я сообразила, что можно обойтись без внутренней лестницы, а общаться через лестничную клетку и сделать глухой потолок. За счет передней и внутренней лестничной площадки на каждом этаже выкраивалось по маленькой комнатушке. Таким образом у меня получалось четыре небольших комнаты. Это было удачно: писатель отделялся от детского шума и от музыки Стасика. Мальчикам предназначался верхний этаж, а нам нижний.

Устроить все это было трудно, потому что требовалось разрешение главного инженера и согласие Моссовета, но у Гаркави были связи, мы с ним всюду ездили вместе и наконец с большими трудностями добились своего.

Я описываю это маловажное событие оттого, что и по сию пору всех удивляет эта двухэтажная квартира, а в особенности в 37-м и 38-м годах, когда начались аресты, пошли разговоры, не в конспиративных ли целях у нас такая квартира. Кстати, потом дом перешел в ведение жакта, все внесенные паи вернули, и оказалось, что мы зря отказались от большой квартиры.

Пока шло строительство дачи и квартиры, мы жили на Волхонке. Туда к нам часто приезжали Анна Ахматова, Николай Семенович Тихонов и Ираклий Андроников с братом Элевтером33, гостили у нас, ночевали. В это время начались аресты. Однажды Ахматова приехала очень расстроенная и рассказала, что в Ленинграде арестовали ее мужа Пунина. Она говорила, что он ни в чем не виноват, что никогда не участвовал в политике, и удивлению ее этим арестом не было предела. Боря был очень взволнован. В этот же день к обеду приехал Пильняк и усиленно уговаривал его написать письмо Сталину. Были большие споры. Пильняк утверждал, что письмо Пастернака будет более действенным, чем его. Сначала думали написать коллективно. Боря никогда не писал таких писем, никогда никого ни о чем не просил, но, увидев волнение Ахматовой, решил помочь поэту, которого высоко ставил34. В эту ночь Ахматовой было плохо с сердцем, мы за ней ухаживали, уложили ее в постель, на другой день Боря сам понес написанное письмо и опустил его в кремлевскую будку около четырех часов дня. Успокоенные, мы легли спать, а на другое утро раздался звонок из Ленинграда, сообщили, что Пунин уже освобожден и находится дома. Боря еще спал, я влетела радостно в комнату Ахматовой, поздравила ее с освобождением ее мужа. На меня большое впечатление произвела ее реакция: она сказала «хорошо», повернулась на другой бок и заснула снова.

Мне некуда было девать свою радость, и я разбудила Борю. Он был очень рад и удивлен, что его письмо так подействовало. Я не удержалась и сказала ему, что поражена равнодушием Анны Андреевны. «Неужели все поэты так холодно воспринимают серьезные события?» — спросила я. Он ответил: «Не все ли нам равно, как она восприняла случившееся, важно, что письмо подействовало и Лунин на свободе».

Мы долго ждали ее прихода к завтраку, но она не появлялась. Я боялась, что ей плохо, на цыпочках подходила к двери, — она спала. Выйдя наконец к обеду, она сказала, что поедет в Ленинград на другой день. Мы с Борей уговаривали ее ехать тотчас же. В конце концов она согласилась, мы достали ей билет и проводили на вокзал.

Через много лет я ей высказала свое недоумение по поводу ее холодности, она ответила, что творчество отнимает большую часть ее темперамента, забот и помыслов, а на жизнь остается мало.

К нам иногда заходил Осип Мандельштам. Боря признавал его высокий уровень как поэта. Но он мне не нравился. Он держал себя петухом, наскакивал на Борю, критиковал его стихи и все время читал свои. Бывал он у нас редко. Я не могла выносить его тона по отношению к Боре, он с ним разговаривал, как профессор с учеником, был заносчив, подчас говорил ему резкости. Расхождения были не только политического характера, но и поэтического. В конце концов Боря согласился со мной, что поведение Мандельштама неприятно, но всегда отдавал должное его мастерству.

Как-то Мандельштам пришел к нам на вечер, когда собралось большое общество. Были грузины, Николай Тихонов, многие читали наизусть Борины стихи, и почти все гости стали просить читать самого хозяина. Но Мандельштам перебил и стал читать

одно за другим свои стихи. У меня создалось впечатление, о чем я потом сказала Боре, что Мандельштам плохо знает его творчество. Он был как избалованная красавица — самолюбив и ревнив к чужим успехам. Дружба наша не состоялась, и он почти перестал у нас бывать.

Вскоре до нас дошли слухи, что Мандельштам арестован35. Боря тотчас же кинулся к Бухарину, который был редактором «Известий», возмущенно сказал ему, что не понимает, как можно не простить такому большому поэту какие-то глупые стихи и посадить человека в тюрьму.

Дело подвигалось к весне, и мы готовились к переезду на новую дачу, но пока все еще жили на Волхонке. В квартире, оставленной Боре и его брату их родителями, мы занимали две комнаты, в остальных трех поселились посторонние люди. Телефон был в общем коридоре. Я лежала больная воспалением легких. Как-то вбежала соседка и сообщила, что Бориса Леонидовича вызывает Кремль. Меня удивило его спокойное лицо, он ничуть не был взволнован. Когда я услышала: «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович», — меня бросило в жар. Я слышала только Борины реплики и была поражена тем, что он разговаривал со Сталиным, как со мной. С первых же слов я поняла, что разговор идет о Мандельштаме. Боря сказал, что удивлен его арестом, и хотя дружбы с Мандельштамом не было, но он признает за ним все качества первоклассного поэта и всегда отдавал ему должное. Он просил по возможности облегчить участь Мандельштама и, если возможно, освободить его. А вообще он хотел бы повстречаться с ним, то есть со Сталиным, и поговорить с ним о самых серьезных вещах — о жизни, о смерти. Боря говорил со Сталиным просто, без оглядок, без политики, очень непосредственно.

Он вошел ко мне и рассказал подробности разговора. Оказывается, Сталин хотел проверить Бухарина, правда ли, что Пастернак так взволнован арестом Мандельштама. Боря был совершенно спокоен, хотя этот звонок мог бы взбудоражить любого. Его беспокоило лишь то, что разговор могли слышать соседи. Он позвонил секретарю Сталина Поскребышеву и спросил, нужно ли держать в тайне этот разговор, и предупредил, что телефон находится в коридоре коммунальной квартиры и оттуда все слышно. Поскребышев ответил, что это его дело. Я спросила Борю, что ответил Сталин на предложение побеседовать о жизни и смерти. Оказалось, что Сталин сказал, что поговорит с ним с удовольствием, но не знает, как это сделать. Боря предложил: «Вызовите меня к себе». Но вызов этот никогда не состоялся. Через несколько часов вся Москва уже знала о разговоре Пастернака со Сталиным. В Союзе писателей все перевернулось. До этого, когда мы приходили в ресторан обедать, перед нами никто не раскрывал дверей, никто не подавал пальто — одевались сами. Когда же мы появились там после этого разговора, швейцар распахнул двери и побежал нас раздевать. В ресторане стали нас особенно внимательно обслуживать, рассыпаясь в любезностях, вплоть до того, что когда Боря приглашал к столу нуждавшихся писателей, то за их обеды расплачивался Союз. Эта перемена по отношению к нам в Союзе после звонка Сталина нас поразила.

Мандельштама тут же освободили из тюрьмы, переселили в Воронеж36, где он жил на свободе, работал и переводил. И так он жил бы и работал, если бы не его вызывающее поведение. Не помню, сколько времени он прожил в Воронеже, но потом дошли слухи, что он снова арестован за какой-то новый выпад и сослан на Колыму, где он и погиб от дизентерии. Позднее пошли слухи, что Боря виноват в гибели Мандельштама тем, что якобы не заступился за него перед Сталиным. Это было чудовищно, потому что я сама была свидетельницей разговора со Сталиным и собственными ушами слышала, как он просил за него и говорил, что за него ручается.

24 октября 193637 года мы праздновали мои именины у нас на даче. Собралось много гостей — приехали из города Асмусы, грузины, Сельвинские. Боря хотел пригласить Пильняка, но я относилась к нему с предубеждением. Мне всегда казались странными его литературные установки. То он приходил к нам и прорабатывал Борю за то, что тот ничего не пишет для народа, то вдруг начинал говорить, что Боря прав, замкнувшись в себе, что в такое время и писать нельзя. С ним очень дружил Федин, мы часто встречались, но в день моих именин я потребовала, чтобы Пильняка у нас не было, — раз это мои именины, то ничто не должно меня огорчать. Боря говорил, что Пильняк из окна увидит большой съезд гостей и обидится. На другой день вечером мы пошли к Пильнякам, чтобы загладить неловкость. Тогда он был уже женат на сестре Наты Вачнадзе — Кире Георгиевне Андроникашвили. У них был трехлетний сын Боря, очень черненький, за это его прозвали Жуком. Мы сидели у них, как вдруг подъехала машина и из нее вышел какой-то военный, видимо приятель Пильняка, называвшего его Сережей. Этот человек сказал, что ему нужно увезти Пильняка на два часа в город по какому-то делу. Мы встали и ушли.

Рано утром прибежала к нам Кира Георгиевна и сообщила, что Пильняка арестовали и всю ночь у них шел обыск38. Она была уверена, что вскоре и ее заберут (тогда без жен не брали)39, и хотела отдать ребенка своей матери. Она не могла понять, почему этот Сережа, с которым Пильняк был на «ты», не предъявил ордер на арест и увез его тайком. Из окна утром я видела, как делали обыск в гараже и конфисковали вещи.

Все это было ужасно, и с минуты на минуту я ждала, что возьмут и Борю. Напротив нашей дачи жили Сельвинские и Погодины. Мы все ежедневно, после ареста Пильняка, ждали, что и нас всех арестуют.

Наступил 37-й год. Из Грузии пришли страшные вести: застрелился Паоло Яшвили40. Описать трудно, что творилось в нашем доме. Когда до нас дошли слухи о причинах самоубийства Яшвили и об аресте Табидзе41, Боря возмущенно кричал, что уверен в их чистоте, как в своей собственной, и все это ложь. С этого дня он стал помогать деньгами Нине Александровне Табидзе и приглашал ее к нам гостить. Никакого страха у него не было, и в то время, когда другие боялись подавать руку жене арестованного, он писал ей сочувственные письма и в них возмущался массовыми арестами.

В Переделкине арестовали двадцать пять писателей. Мы дружили с Афиногеновыми, которых очень любил Боря. Афиногенова исключили из партии, и его семья с минуты на минуту ждала его ареста. Все боялись к ним ходить. Боря, гордо подняв голову, продолжал бывать со мной у них. Меня поражали его стойкость и бесстрашие. Он говорил тогда, что это — стихия, при которой неизвестно, на чью голову упадет камень, и поэтому он ни капельки не боится; что он будет писать прозу неслыханного порядка и с удовольствием разделит общую участь.

При встрече с писателями он не боялся возмущаться массовыми арестами, а я по ночам просыпалась в ужасе, не сомневаясь, что очередь дойдет и до нас. В 1937 году я забеременела. Мне очень хотелось ребенка от Бори, и нужно было иметь большую силу воли, чтобы в эти страшные времена сохранить здоровье и благополучно донести беременность до конца. Всех этих ужасов оказалось мало. Как-то днем приехала машина. Из нее вышел человек, собиравший подписи писателей с выражением одобрения смертного приговора военным «преступникам» — Тухачевскому, Якиру и Эйдеману. Первый раз в жизни я увидела Борю рассвирепевшим. Он чуть не с кулаками набросился на приехавшего, хотя тот ни в чем не был виноват, и кричал: «Чтобы подписать, надо этих лиц знать и знать, что они сделали. Мне же о них ничего не известно, я им жизни не давал и не имею права ее отнимать. Жизнью людей должно

распоряжаться государство, а не частные граждане. Товарищ, это не контрамарки в театр подписывать, и я ни за что не подпишу!» Я была в ужасе и умоляла его подписать ради нашего ребенка. На это он мне сказал: «Ребенок, который родится не от меня, а от человека с иными взглядами, мне не нужен, пусть гибнет».

Тогда я удивилась его жестокости, но пришлось, как всегда в таких случаях, ему подчиниться. Он снова вышел к этому человеку и сказал: «Пусть мне грозит та же участь, я готов погибнуть в общей массе». И с этими словами спустил его с лестницы.

Слухи об этом происшествии мгновенно распространились. Борю вызывал к себе тогдашний председатель Союза писателей

Ставский. Что говорил ему Ставский — я не знаю, но Боря вернулся от него успокоенный и сказал, что может продолжать нести голову высоко и у него как гора с плеч свалилась. Несколько раз к нему приходил Павленко, он убеждал Борю, называл его христосиком, просил опомниться и подписать. Боря отвечал, что дать подпись — значит самому у себя отнять жизнь, поэтому он предпочитает погибнуть от чужой руки. Что касается меня, то я просто стала укладывать его вещи в чемоданчик, зная, чем все это должно кончиться. Всю ночь я не смыкала глаз, он же спал младенческим сном, и лицо его было таким спокойным, что я поняла, как велика его совесть, и мне стало стыдно, что я осмелилась просить такого большого человека об этой подписи. Меня вновь покорили его величие духа и смелость.

Ночь прошла благополучно. На другое утро, открыв газету, мы увидели его подпись среди других писателей!42 Возмущенью Бори не было предела. Он тут же оделся и поехал в Союз писателей. Я не хотела отпускать его одного, предчувствуя большой скандал, но он уговорил меня остаться. По его словам, все страшное было уже позади, и он надеялся скоро вернуться на дачу. Приехав из Москвы в Переделкино, он рассказал мне о разговоре со Ставским. Боря заявил ему, что ожидал всего, но таких подлогов он в жизни не видел, его просто убили, поставив его подпись.

На самом деле его этим спасли. Ставский сказал ему, что это — редакционная ошибка. Боря стал требовать опровержения, но его, конечно, не напечатали.

С этого момента у него начался раскол с писательской средой. У нас стало бывать все меньше и меньше народу, и дружба сохранилась только с Афиногеновыми, которые были, так же как и мы, в опальном положении.

Из-за всех этих переживаний и боясь за будущего ребенка, мы переехали в город. К этому всему еще добавились огорчения, связанные с болезнью Адика. Дело в том, что, когда ему было десять лет, он любил показывать разные физкультурные фокусы ребятам. Однажды он влез на лыжах на крышу нашего гаража и стал прыгать оттуда. Один из прыжков оказался неудачным, и Адик сел на кол от забора. Он страшно закричал, я тут же схватила его и посадила, не раздевая, в таз со льдом. Постепенно он стал успокаиваться, и, когда острые боли прошли, я его раздела. Место ушиба было все черное. Я вызвала из детского туберкулезного санатория врача Попова, и он прописал ему полный покой, предупредив, что такие ушибы часто кончаются туберкулезом позвоночника. Зная живой характер Адика, он велел его запереть на ключ и привязать к кровати.

Не доверяя Попову, я повезла Адика в Кремлевскую больницу, к которой мы были тогда все прикреплены. Там сказали, что все органы целы и я могу не удерживать его от спорта, которым он очень увлекался. Но слова Попова мне грезились по ночам, и я очень волновалась.

Вначале с Адиком было все благополучно, и ему разрешили ходить в школу, но осенью 37-го года он (когда ему было двенадцать лет) стал себя плохо чувствовать, бледнеть и хиреть. С ним было трудно: он был очень живой по характеру и неудержимо тянулся ко всяким физическим занятиям. Он и Стасик были совершенно

разные по характеру. У Стасика довольно рано проявились большие способности к музыке. В общую школу мы его пока не отдавали, и он учился в музыкальной школе Гнесиных. Он делал большие успехи, в десять лет он уже участвовал в концертах в музыкальной школе. Занимался он с преподавательницей Листовой, удивительно умевшей подойти к детям.

31 декабря 37-го года я почувствовала приближение родов. Новый год мы сговорились встречать у Ивановых в Лаврушинском. Но в семь часов вечера Боря отвез меня в больницу имени Клары Цеткин. Это было привилегированное учреждение, палаты были на одного человека, и на каждом столике стоял телефон. Боря звонил мне очень часто, и часов в десять вечера я попросила его забрать меня домой и дать встретить Новый год: как мне кажется, я буду рожать через два-три дня. Он сказал, что я сошла с ума, и велел мне лежать спокойно. Как только он повесил трубку, я почувствовала, что он был прав. Ровно в двенадцать под бой часов родился сын Леня. Это произвело сенсацию в больнице: за сорок лет ее существования такого случая еще не было. Ровно в двенадцать, когда я была еще в родилке, в палате раздался звонок: звонил Боря, желая поздравить меня с Новым годом, и няня сообщила ему радостную весть о рождении сына.

На другой день я получила от Афиногенова громадную корзину цветов с приложением вырезки из «Вечерней Москвы»43, где рассказывалось об этом удивительном происшествии.

Может быть, я не стала бы всего этого описывать, если бы это обстоятельство не сыграло в дальнейшем важную роль. Дело в том, что регистрировал сына Боря и по-мужски сделал большую ошибку, записав 37-й год рождения вместо 38-го, то есть мальчик по метрике оказался на год старше, чем есть. Заранее было решено, что, если родится девочка, ее назовут Зинаидой, а если мальчик, то он будет назван в честь деда Леонидом.

После рождения сына мы продолжали жить в Лаврушинском. Аресты не прекращались, и Боря в этой страшной атмосфере не мог ничего писать и бросил работу над задуманным большим романом, который был начат в 1936 году, на семьдесят третьей странице. Его старые стихи не переиздавались, и нам жилось до того трудно, что я взялась за переписку нот. Это было утомительно, так как маленький ребенок отнимал много сил. По предложению Немировича-Данченко Боря стал переводить для Художественного театра «Гамлета». Театр расторг договор с Радловой на перевод «Гамлета» и взял перевод Пастернака. Он читал его во МХАТе, перевод понравился, и пьесу приняли к постановке. Уже шли репетиции, были готовы костюмы, вот-вот должна была состояться премьера. Ливанов, игравший Гамлета, был очень увлечен работой, но он же ее и погубил: на одном из приемов в Кремле он спросил Сталина, как тот понимает Гамлета и как он рекомендует его играть. Сталин поморщился и сказал, что вообще не стоит ставить «Гамлета», так как он не подходит к современности. Эта реплика Сталина привела к тому, что пьесу сняли с репертуара44. Но «Гамлета» издали в Гослитиздате, а потом в Детгизе, и это поддержало нас материально. Редактором перевода был М. М. Морозов, который всячески его пропагандировал и побуждал Борю делать другие переводы Шекспира. Положение было трудным и в материальном и в моральном отношении, и Боря продолжал работу над Шекспиром.

Летом 1940 года мы отправили Адика и Стасика в Коктебель в пионерский лагерь для детей писателей, а сами увлеченно занялись посадками на новом участке. Боря с упоением копал землю и трудился на огороде. Работая, он раздевался и, оставшись в одних трусах, загорал на солнце. Перед обедом принимал холодный душ, после обеда отдыхал час и садился за переводы.

Через месяц пришла телеграмма о том, что Адик заболел гнойным плевритом и находится в больнице в Феодосии. На другой же день я выехала туда. Больница оказалась ужасной. Я перевезла Адика в Москву и положила в Кремлевское отделение Боткинской больницы. Там он пролежал целый месяц и поправился настолько, что его можно было перевезти на новую дачу. Врачи велели взять его из школы на целый год. Рекомендовали зимовать на даче, где он мог гулять, кататься на лыжах и поправляться на свежем воздухе. Так мы и сделали. Но в середине зимы Адика стало тянуть в школу. Посоветовались с врачами, и они разрешили ему возобновить учение. Мы снова переехали в город.

Он плохо выглядел, бледнел, температурил, и меня это очень беспокоило. Но врачи ничего не находили и объясняли эти явления возрастом. Как-то Адик вывихнул ногу. Появилась большая опухоль. Я созвала консилиум в составе знаменитых врачей Краснобаева и Ролье. Они велели взять гной из появившегося на опухоли свища и дать его на анализ. Морская свинка, которой привили этот гной, умерла. Это указывало на костный туберкулез.

Нога продолжала гноиться, температура повышалась. Я упросила Борю уехать с маленьким Леней на дачу, боясь, как бы он не заразился, а сама осталась в городе со старшими детьми. Меня поразила беспомощность таких знаменитых врачей! У Адика была высокая температура. Я снова позвала Краснобаева и Ролье. Они недоумевали, откуда такая высокая температура, предполагали, что есть еще какой-то источник заражения, настаивали на тщательном исследовании и посоветовали поместить Адика в туберкулезный санаторий «Красная Роза» под Москвой.

Только через полгода с большим трудом удалось его туда устроить.

Сороковой год был на исходе, я переехала к Боре и Лёне на

дачу.

18 июня 1941 года Адику сделали операцию, вырезали в щиколотке косточку, надеясь, что температура упадет. После операции нас не пускали к нему четыре дня.

21-го днем к нам зашла жена Федина — Дора Сергеевна и с ужасом на лице сказала, что вот-вот будет война с Германией. Как ни невероятно это звучало, но мы встревожились. Вечером я уехала из Переделкина с ночевкой в город с тем, чтобы рано утром быть у Адика. В городе я зашла вечером к Сельвинским и рассказала им про слухи о войне. Сельвинский возмутился и назвал меня дурой. По его мнению, война с Германией совершенно недопустима, так как недавно с ней заключен договор.

22-го утром я с Генрихом Густавовичем отправилась навестить Адика. По дороге купили шоколаду, меду, цветов и вошли к нему в палату. Адик был очень бледен. Он рассказал, что три дня он колотился головой об стену из-за страшных болей, но сейчас ему лучше. Он просил меня не волноваться, ему казалось, что опасность миновала. Мы посидели у него часа два и уже собирались уходить, как вдруг в палату прибежала сестра и сообщила страшную весть: по радио выступал Молотов, объявлена война.

Как только я услышала о войне, я поняла, что это известие означает катастрофу для Адика и жить он не будет. Мы остались у него еще с час и отправились в Москву, где я должна была купить продуктов для Бори и Лени. Город сразу изменился: магазины были пусты, появились длинные очереди за хлебом, все остальное исчезло, и мне ничего не удалось купить. Я приехала в Переделкино потрясенная и огорченная. Идя со станции домой, я встретила Сельвинских с чемоданами, они отправлялись в Москву. Поравнявшись со мной, Сельвинский сказал: «Какой ужас!» — на что я ответила: «Кто дурак — неизвестно».

Боря уже знал о войне. Он утешал меня, говорил, что у нас свой огород и своя клубника и пусть меня не огорчает, что магазины пусты, — мы с голоду не умрем. Он был убежден, что война продлится недолго и мы скоро победим.

Ночью мы проснулись от безумного грохота, вся дача дрожала. Мне показалось, что это бомбардировка. Мы разбудили Ленечку, которому было уже три года, взяли его на руки и вышли на балкон. Все небо было как в огне. Мы побежали в лесную часть участка и сели под сосну. С трудом уговорили Стасика пойти к нам. Я укрывала Леню своим пальто, как будто это могло спасти его от снарядов. Наутро мы узнали, что это была репетиция, но я до сих пор в это не верю, потому что во дворе у нас валялись осколки.

Тут же издали приказ о затемнении, в Переделкине создали дружину, которая проверяла светомаскировку. Лампочки выкрасили в синий цвет, на окна повесили ковры и занавески. Боря перебрался из своего кабинета к нам вниз. Был издан приказ рыть на каждом участке траншею. Мы с Фединым решили рыть общую на нашем участке. Эту работу мы выполнили довольно быстро. О тревоге извещали со станции, там били в рельсу. Она была плохо слышна, и мы с Борей устроили дежурства. Сначала Боря спал, в три часа я его будила, и ложилась, а он сменял меня. Все это было не напрасно, в рельсу били каждую ночь. Мы укутывали Леню в одеяло, будили Стасика и шли к Фединым; если мы долго не показывались, Федины приходили к нам. Налетов пока не было, и убежищем мы не пользовались. Федин и Боря обсуждали события и удивлялись быстроте продвижения немцев. Они шли катастрофически быстро и к началу июля были уже в 250 километрах от Москвы.

В Литфонде организовали комиссию по приему писательских детей в эвакуацию. Боря настаивал на необходимости вывезти Стасика и Леню, а у меня душа рвалась к старшему сыну, который лежал после операции в санатории в беспомощном состоянии. Но Боря дал мне слово, что он будет часто навещать Адика и расскажет ему, как горько я плакала и не хотела уезжать из-за него. Он говорил, что для маленького Лени ночные переживания, связанные с тревогами, вредны, и надо спасать здоровье детей. Вместе с детьми могли уехать только те матери, у которых были малыши не старше двух с половиной лет. Леня по метрике был старше. Мне стоило большого труда уговорить домоуправа дать справку о том, что возраст Лени указан неверно. Я пришла в Литфонд и сказала, что они не пожалеют, если возьмут меня, и я готова засучив рукава выполнять любую работу, какая потребуется в эвакуации. Немцы приближались, и мы должны были срочно выезжать специальным поездом на Казань. Трудно и тяжело было расставаться с Борей. Он провожал нас на вокзале, вид у него был энергичный и бодрый, он подбадривал нас и обещал впоследствии к нам приехать. Сердце мое разрывалось на части. За Борю и Адика было неспокойно, так как налеты учащались и в Москве оставаться было опасно. Я чувствовала себя преступницей перед Адиком, но меня уговаривали ехать, успокаивали тем, что санаторий тоже будет организованно эвакуироваться. Особенно тяжело было расставание Бори с Леней, которого отец обожал. Последний раз прижав сына к груди, он сказал, как будто Леня понимает: «Надвигается нечто очень страшное, если ты потеряешь отца, старайся быть похожим на меня и на твою маму».

В дорогу не разрешалось брать много вещей, но я захватила Ленины валенки и шубу и завернула в нее Борины письма и рукопись второй части «Охранной грамоты»: они были мне очень дороги и я боялась, что во время войны они пропадут45. Благодаря этому письма и рукопись уцелели. <...>

Конечным местом нашего назначения был Чистополь, где для нас приготовили два дома, оборудованных на зиму. Это было кстати, потому что в Берсуде было уже холодно — дачи, в которых мы там разместились, были летними.

Итак, в конце сентября мы прибыли на пароходе в Чистополь. Здесь я уже официально заняла место сестры-хозяйки. Хотя не дело сестры-хозяйки заниматься черной работой, но в свободное время я топила печи, мыла горшки и так далее. Делала

я все это с удовольствием, но в бухгалтерии я ничего не понимала, и началась моя работа с недоразумения: когда мы расположились, пришел кладовщик переписывать инвентарь и принес две бумаги — одну на имущество дома старших детей, а другую на наш дом малышей. Пересчитывали весь инвентарь, и я по неопытности расписалась на обеих бумагах, таким образом получилось двойное количество инвентаря. Этого кладовщика вскоре призвали в армию, и я его больше не видела, он был убит на войне, и некому было подтвердить, что в бумагах двойное количество инвентаря указано ошибочно. Этот факт я упоминаю как анекдот только потому, что в конце эвакуации, когда я получила в Москве медаль «За трудовую доблесть», надо мной смеялись из-за этой истории, и директор Литфонда Хмара сказал, что он мог бы отдать меня под суд и прощает все за мою честную работу. На это я отвечала, что ненавижу бухгалтерию и, сталкиваясь с ней, всегда запутывалась, и получались недоразумения. От цифр, накладных и документов у меня кружилась голова.

В Чистополе было очень трудно: кругом воровали продукты, дрова, и я вставала в четыре часа утра и сама топила печи во всем доме, хотя это не входило в мои обязанности. Но я чувствовала, что все наше хозяйство развалится, если я не буду этого делать.

Директор дома Фаина Петровна к каждому празднику брала со всех обязательства улучшить работу, и однажды, когда я тоже хотела взять обязательство, она написала другое и повесила у меня над кроватью. В этом «обязательстве» говорилось, что я должна брать выходные дни и больше отдыхать. Кроме наших ста детей мы еще кормили приходивших за обедами и завтраками матерей, у которых были грудные дети.

Трудностей было очень много. Я была не в ладах с директором обоих детских домов — нашим главным начальством Я. Ф. Хохловым. Он был представительный мужчина, прекрасно одевался, и все гнули перед ним спину, подхалимничали, таскали для него продукты, делали ему подарки. Я же находила, что ему скорее подходит должность директора конюшни, а не детдома. Он не понимал, что маленькие дети нуждаются иногда в диетическом столе, и, когда я выписывала лишние полкило манной крупы или риса, он кричал, что дети болеют от обжорства, потому что я их закармливаю. Однажды он довел меня до того, что я вспылила, хлопнула чернильницей и облила его роскошный костюм. Речь шла о каких-то дополнительных продуктах для праздника 7 Ноября. Он назло выдал мне плохо разваривавшуюся пшеничную крупу и вместо белой — ржаную муку. Я пришла домой и написала заявление об уходе. Через два часа пришла бумажка, на моем заявлении было написано, что вплоть до особого распоряжения я не имею права оставить свою должность. Как ни странно, он стал после этого случая лучше относиться ко мне и не так часто отказывал в моих просьбах.

Праздники приближались. Я знала, что 7 ноября наш детдом посетит обкомовское начальство. Фаина Петровна хотела устроить торжественную часть вместе с детьми и просила меня придумать какое-нибудь печенье. У меня в наличии была только ржаная мука, и я всю ночь делала с ней всякие пробы. Наконец я ее пережарила на сковородке, растолкла, прибавила туда меду, яиц и белого вина, и получилось вкусное пирожное «картошка». С утра я засадила весь штат делать бумажные корзиночки для пирожных. Вечером к пятичасовому чаю прибыли гости, и, когда мы подали эти пирожные, все подивились моей выдумке и стали аплодировать.

Я немного забежала вперед, так как в октябре произошло знаменательное для меня событие: приехал Боря. Немцы были под самой Москвой, и 17 октября его, Федина и Иванова срочно эвакуировали самолетом46. Борин приезд был большой радостью и

вознаграждением за все пережитое. Он привез мне шубу, теплые вещи. Это было весьма кстати — в Чистополе стояли уже морозы.

Федину и Иванову их жены сняли комнаты, а Боре пришлось ночевать в детдоме. На другое утро меня отпустили на целый день, и мы отправились искать жилье для него. Нам повезло, и мы нашли близко от детдома на проспекте Володарского хорошую, просторную комнату. Я сказала Боре, что работу не брошу, я в нее втянулась и мне совершенно все равно, за кем я ухаживаю, за своим сыном или за чужим, я стою на страже их здоровья и умру, но привезу их живыми в Москву. Он был удивлен и огорчен моей непреклонностью, но, как всегда бывало, сразу все понял, похвалил меня, сказал, что слухи о моей работе докатились до Москвы и он гордится мной. Говорил, что провожал Адика в эвакуацию под Свердловск; что был очень тревожный день, тогда Москву непрерывно бомбили, и туберкулезных детей не смогли вынести в бомбоубежище. Когда Боря провожал Адика, тот рассказал ему как о поразившем его чуде про такой случай: бомба попала в соседний дом, от этого взрыва в санатории выбило стекла, и тут вошел врач. Он двумя обыкновенными человеческими словами быстро успокоил детей и, несмотря на сильную бомбежку, остался с ними. Кроме Бори Адика провожал отец. Ехали больные дети ужасно, по трое, четверо на одной полке, тогда как многих из них нельзя было шевелить и перекладывать.

Меня удивил бодрый и молодой вид Бори. Он сказал, что война многое очистит, как нечто большое и стихийное, и он уверен, что все кончится очень хорошо и мы победим. Тут же решил засесть за переводы Шекспира. Тогда уже были переведены «Гамлет» и «Ромео и Джульетта», а в Чистополе он принялся за «Антония и Клеопатру»47.

Мне прибавилось работы: я бегала на рынок покупать Боре на завтрак и ужин (обеды все писатели брали у нас в детдоме) и стирала его белье. Он по нескольку раз в день приходил ко мне в детдом, отвлекая меня от работы, но на него никто не сердился — его обаяние покоряло всех. Мне приходилось теперь брать выходные дни, и мы с маленьким Ленечкой отправлялись к нему, оставались ночевать, а на другое утро возвращались в детдом.

Как-то потребовалась помощь при разгрузке дров на берег, Боря записался в бригаду и горячо взялся за дело. Он говорил, что хорошо понимает, почему я увлечена работой, и от меня не отстанет, он, как и я, считает, что физический труд — главное лекарство от всех бед. Боре очень нравилась жизнь в Чистополе, и он хотел там остаться. В городе нашелся дом, где раз в неделю собирались писатели. Это был дом Авдеева48, местного врача, при доме был чудесный участок. В дни сборищ писатели там подкармливались пирогами и овощами, которыми гостеприимно угощали хозяева. Но, конечно, не только возможность хорошо поесть привлекала к Авдееву. Всех тянуло в их дом как в культурный центр. У Авдеева было два сына49, один литературовед, а другой имел какое-то отношение к театру. Там читали стихи, спорили, говорили о литературе, об искусстве. Бывая там, мне иногда казалось, что это не Чистополь, а Москва. У Авдеевых Боря читал свой перевод «Антония и Клеопатры».

В начале ноября до нас дошли слухи об аресте Генриха Густавовича. Эта весть потрясла всех, кто его знал: более непричастного к политике человека трудно было себе представить. Однажды я зашла к Треневым, у которых сидел А. Сурков. Это был мой выходной, и они угостили меня обедом с водкой. Никогда не забуду, как Сурков сказал: «Лица, которые не уехали из Москвы вовремя, находятся на подозрении». Я была слегка навеселе, потому расхрабрилась и сказала: «Коли подозревают таких, как Нейгауз, то я поздравляю вас с тем, что вы считаете это правильным. А я слышала другое — кто слишком быстро удирал из Москвы, тот тоже на подозрении, и надо

наконец твердо выяснить, что же подозрительно». На это Сурков ответил: «Смотря как удирать и как оставаться».

К моему большому счастью, стали приходить письма от Адика, и наконец-то я узнала его точный адрес. В первом письме он писал, что ни капельки на меня не сердится, я поступила правильно, ведь он находился не один, а в коллективе, и это придавало ему силы и бодрость во время бомбежек и трудного пути. Он писал, что здоровье его улучшилось, о нем заботятся, хороший персонал, хорошие врачи, но только немножко голодно.

Мы с Борей долго обсуждали, стоит ли писать Адику об аресте отца50: он был комсомолец, авторитет отца был для него очень велик. Я считала нужным скрывать это до освобождения, в котором я не сомневалась. Но Боря не согласился и тут же написал Адику письмо. Письмо это я помню наизусть. Боря писал, чтобы Адик не думал, что его отец в чем-то провинился, наоборот, он знает, что всех лучших людей России сажают, и он должен гордиться арестом отца. К нашему большому удивлению, это письмо каким-то чудом дошло.

В декабре 1941 года51 Боря улетел в Москву по делам. Он умолял продолжать топить его комнату, которую он особенно ценил за то, что ему здесь хорошо работается, и ни в коем случае от нее не отказываться52. Я писала Адику каждый день, заклиная его не капризничать и лучше кушать, обещала ему взять отпуск и приехать его навестить.

Стасик, находясь в детдоме, работая в колхозе, таская дрова, совершенно забросил музыку, что меня очень огорчало. В столовой стоял какой-то разбитый рояль, и иногда по вечерам он садился играть. Детдомовское начальство разрешило ему работать до двенадцати часов ночи и всячески создавало подходящую для занятий обстановку. Потом он стал выступать у нас в детдоме. Иногда мы выступали вместе, играя в четыре руки симфонии Бетховена.

Приближался новый, 1942 год. Стали думать о елке. Игрушек не было, и, достав какой-то бумаги и ваты, я созвала всех матерей, и мы принялись за работу. Надо было наклеивать вату слой за слоем клейстером из картофельной муки. Получились замечательные игрушки. Хохлов ворчал, что вся вата ушла на пустяки. Я возмущалась этим, считая, что чем меньше малыши будут ощущать бедствия войны, тем для них лучше. Елка получилась блестящая и нарядная. Встреча Нового года совпала с днем рождения Лени, и, бросив все дела в Москве, Боря поторопился к нам.

Вскоре в детдоме организовали кружок по сдаче норм ПО. Никто не хотел ходить на занятия, посвященные главным образом военно-оборонительным предметам. Опять мне пришлось показывать пример. Я первой сдала экзамен и получила значок.

За мной потянулись некоторые матери, но многим это показалось напрасным. Чистополь находился далеко от фронтовой полосы, и нам ничто не угрожало. Наш преподаватель вызвал меня и сказал, что назначает меня как сдавшую экзамен на отлично начальником пожарной охраны. Я согласилась, будучи так же, как и другие матери, уверенной в полной нашей безопасности. Мои обязанности заключались в том, чтобы правильно расставить работников детдома по постам в случае пожарной тревоги.

Все было спокойно. Как-то в мертвый час все матери разошлись кто куда, и я осталась одна в детдоме. Вдруг ко мне в комнату ворвалась соседка и сообщила, что на Чистополь летит немецкий самолет. Спальни детей находились наверху, и я знала, что одна не смогу одеть и вынести всех детей в бомбоубежище и мое положение безвыходное. Это произошло после обеда, я лежала, сняв обувь, и вся моя деятельность ограничилась тем, что я надела валенки и села, ожидая бог знает чего. Мне казалось, что устраивать панику и пугать детей нельзя, но вместе с тем я сомневалась, правильно

ли я поступаю. Однако самолет пролетел у нас над головой, не причинив никому вреда. Мне казалось, что беда нас миновала потому, что я горячо молилась об этом Богу. Я думала, что меня осудят за то, что я не подняла тревоги и спокойно выждала в нижнем этаже. Но на первом же собрании меня похвалили за выдержку, одобрили мой поступок и сказали, что, если б я подняла панику, я только напугала бы детей, ведь все равно справиться с сотней детишек и с их одеждой я одна не смогла бы.

Бывали и смешные случаи. Под мой выходной день мы с Леней шли ночевать к Боре, и однажды ночью, когда мы у него были, я услыхала сигнал тревоги, по которому я была обязана явиться в детдом. Моментально одевшись, я бросилась туда. На улице мне встретились веселые знакомые люди, возвращавшиеся из кино. На их вопрос, куда я бегу, я ответила, что была тревога. Они засмеялись и сказали, что в Чистополе об окончании сеанса оповещают, звоня в колокольчик. Мне пришлось одураченной вернуться обратно.

Боря продолжал жить в Чистополе, изредка выезжая в Москву53 по денежным делам. Он с подъемом работал над переводом «Антония и Клеопатры», был в хорошем настроении, ждал скорого конца войны, всяческих удач, был уверен в моральном подъеме народа и предсказывал перемены к лучшему после войны. Дела на фронте поправлялись, и в одну из поездок в Москву он просил, чтобы его отправили на фронт с писательской бригадой. Но с ним поступили по-хамски, много раз обманывали, и в результате он попал на фронт только в 1943 году. Я очень переживала эту обиду.

Весной 1942 года я получила письмо от врачей из санатория «Нижний Уфалей» под Свердловском, где находился Адик. Они спрашивали у меня разрешения на ампутацию ноги, так как это якобы могло спасти его жизнь. Поскольку вопрос шел о жизни и смерти, я дала согласие. Но я никак не могла себе представить этого молодого, красивого человека, отличного спортсмена, любителя танцев и всяческого движения — и вдруг без ноги. Боря меня утешал и говорил, что мы закажем протез и будет совершенно незаметно, если же здесь не смогут сделать хороший протез, то он повезет Адика в Англию. Итак, я дала согласие, а через месяц получила душераздирающее письмо от сына. Он писал, что не представляет себе дальнейшей жизни, теперь он калека без ноги и мечтает он только об одном: попасть в Переделкино и лежать у меня в саду, единственно, чем он может быть полезен, — это исполнять роль чучела в огороде.

После этого письма я решила поехать навестить его. Ко мне отнеслись очень хорошо и моментально устроили отпуск на две недели. Деньги у нас были, я купила Адику мед, масло, сухари и, взявши Стасика, которому было четырнадцать лет, пустилась в путь, с большим трудом добившись пропуска. Боря настаивал на том, чтобы я взяла как можно больше денег, и привез нам на вокзал десять тысяч рублей. Эти деньги целиком вернулись обратно, так как ничего нельзя было купить, и мы со Стасиком питались в Нижнем Уфалее грибами и малиной.

Всю дорогу я думала, как объяснить Адику арест отца и не взволновать его, а утешить. Но все произошло, как в сказке. Приехав в санаторий, я застала Адика с письмом в руке, и слезы лились у него градом. Он сказал, что такого счастья он не выдержит: радость видеть меня и получить письмо от освобожденного отца была слишком велика. И вышло так, что не мы его должны были утешать, а он сообщил нам чудесную весть. Отец писал, что он уже на свободе. Ему предлагают выехать в Свердловск, в Алма-Ату или в Тбилиси, но он выбрал Свердловск, чтобы быть ближе к нему и навещать его.

Мы целый день сидели у Адика. Меня очень огорчило, что после ампутации ноги, отрезанной выше колена, температура продолжала повышаться. Он говорил, что его преследует ощущение пятки (то есть временами кажется, что ампутированная нога

болит или чешется в пятке). Лежа в санатории, он влюбился в одну девушку. Она была ходячая больная, часто его навещала, сидела у его постели, и между ними завязался роман. После операции же она совершенно отвернулась от него, и он испытывал тяжелую обиду.

Утешая его, я говорила, что жалеть ему не о чем, вся моя жизнь убедила меня, что любовь — прежде всего жертва, и если эта девушка на жертву не способна, то он ничего не потерял и о такой любви плакать нечего. <...>

В Чистополь мы добрались без всяких приключений. Боря встретил нас на пристани и был удивлен, что все деньги вернулись обратно. Я ему рассказала о поездке. Об освобождении Нейгауза он не знал и страшно обрадовался.

На другой день я отправилась в милицию и с возмущением набросилась на работников. Дело в том, что до отъезда в Свердловск паспорт лежал у них целую неделю, пока оформлялся пропуск, и они должны были его проверить. У меня взяли паспорт и попросили зайти на другой день. Не было сомнения, что меня оштрафуют, но они, вероятно, почувствовали вину и выдали мне паспорт без всякого штрафа.

В 1943 году многие писатели получили пропуска в Москву. Боря стал настаивать, чтобы я бросила работу и ехала с ним домой. Это было раннею весной. У нас в детдоме решили посадить огород в виде подсобного хозяйства. Директор Фаина Петровна не могла без меня обойтись и просила меня пока не уезжать. Я заболела плевритом и перебралась в Борину комнату. Он за мной ухаживал и все время настаивал, чтобы, как только я поправлюсь, я бы ехала с ним в Москву. Болела я целый месяц, и за это время Фаина Петровна окружила место для огорода забором. Она приходила меня навещать и уговаривала отсрочить поездку в Москву хотя бы на две недели после выздоровления. Я была между двух огней. Мне очень хотелось в Москву, и вместе с тем я чувствовала, как непорядочно было бы бросить детдом и не помочь им создать подсобное хозяйство для детей. Я уговорила Борю подождать еще две недели после болезни, и он согласился. <...>

Итак, в июне 1943 года мы переехали в Москву. Всю дорогу Боря уговаривал меня остановиться в гостинице и подыскивать новое жилье или поменять квартиру в Лаврушинском. Но было очень жарко, наступало лето, и я настойчиво просила поехать прямо в Переделкино и жить там. Так мы и сделали. Но, попав на дачу, которую мы оставили с полной обстановкой, я увидела печальное зрелище: не было ни одного стула, стола, кроватей, всем надо было обзаводиться заново. Погибло все. В сундуке с коврами Боря спрятал самые дорогие картины отца и свои рукописи. Стали искать этот сундук. Но Ленина няня Маруся, оставшаяся на даче, сохранила только кухонный стол и Ленин велосипед, чем очень гордилась. Когда мы ее спросили о сундуке, выяснилось, что военные, занимавшие все дачи в Переделкине во время войны, перетащили его в дом Ивановых, вскоре сгоревший дотла. Очевидно, сундук сгорел вместе с дачей. Что было делать? Мое намерение остаться на даче и жить там оказалось неосуществимым: ни спать, ни сидеть, ни есть было не на чем.

Мы переехали в город и увидели квартиру в Лаврушинском в таком же состоянии. Окна были выбиты и заклеены картинами Леонида Осиповича Пастернака. Зенитчики, жившие у нас в Лаврушинском, уже выехали, и мы стали хлопотать о ремонте квартиры. Временно нам пришлось расстаться с Борей. Меня и Стасика приютили Погодины, а Боря переехал к Асмусам, у которых сохранились и мебель, и вещи, потому что они никуда не выезжали. Стояло лето, и Маруся уговаривала нас отдать ей Ленечку. Леня спал на столе на кухне в Переделкине, а она на полу. Но, зная Марусину любовь к Лене, я была за него спокойна. <...>

Квартира в Лаврушинском была приведена в порядок, и мы стали обзаводиться обстановкой на даче. Старые наши вещи были разбросаны: одни оказались у Фединых,

другие у Вишневских. Мы принялись их собирать, и к осени 44-го года дача приняла более или менее жилой вид. Где-то на чердаке отыскалось пианино в ужасном состоянии. Привели его в порядок, и Боря со Стасиком и Леней поселились на даче. Я старалась наладить быт так, чтобы каждый мог заниматься своим делом, и стала думать о переезде Адика в Москву. С большими трудностями я достала пропуск в Нижний Уфалей и накопила водки, которая была тогда еще в большем ходу, чем деньги.

Безногий Адик не мог передвигаться самостоятельно, но и я знала, что будет трудно его перевозить. Письма от него были тревожные. Он писал, что во время купания обнаружил опухоль в нижней части позвоночника, что температура доходит до 39°. Боря уговаривал перевезти его к нам на дачу. Я же понимала, что он может заразить Стасика и Леню, и стала хлопотать о санатории под Москвой. Хлопоты увенчались успехом, и мне дали путевку в туберкулезный санаторий на Яузе. Генрих Густавович обещал мне помочь с перевозкой Адика.

Итак, я отправилась за сыном. Генрих Густавович встретил меня на вокзале в Свердловске, и мы поехали поездом в Нижний

Уфалей. Он не имел права на въезд в Москву и знал, что расстается с Адиком надолго, поэтому он уговаривал меня пожить в Нижнем Уфалее и не торопиться в Москву. Но продукты, которые я привезла с собой для Адика, таяли и водка тоже. Я дрожала за каждый стаканчик: санитары и носильщики за водку делали чудеса, а без водки ничего нельзя было добиться. Состояние Адика было ужасное, температура вечером повышалась до 40°, но все же я решила его забирать. Из-за высокой температуры его не хотели пускать в вагон, и пришлось подкупить проводника водкой. Водкой же я платила за каждый глоток воды для сына. Адик был счастлив, что едет в Москву, и очень радовался переезду. К моему удивлению, в дороге у него ничего не болело. <...>

На вокзале нас встретили Боря, Асмусы, Стасик, Ирина Николаевна и Шура. Увидев Адика, Боря разрыдался. Мы тут же вызвали карету «скорой помощи» и вдвоем с Борей отвезли Адика в санаторий.

Его поместили в общую палату. На дворе стояла осень, и меня удивило, что все больные лежат с открытыми окнами. Было очень неуютно. Заведующая санаторием З. Лебедева сказала, что Адику ничего не нужно привозить, кроме фруктов, больных кормят хорошо, и просила меня за него не беспокоиться. Мы вернулись в Переделкино, и тут моя жизнь стала гораздо труднее, чем в Чистополе. Приходилось заботиться о Стасике, который переехал в город в связи с очень серьезными занятиями в училище, через день я ездила к Адику, снабжала его продуктами, а потом, возвращаясь в Переделкино, обслуживала Борю и Ленечку. <...>

Я понимала, что Адик гибнет и спасти его уже нельзя, и однажды, когда я приехала в санаторий, он мне сообщил, что началось перерождение почек и это смертельно. Я была возмущена тем, что от него этого не скрыли, но он сказал, что виноват сам: при нем врачи назвали болезнь по-латыни, он заинтересовался этим словом и попросил медицинскую энциклопедию, которую по неосторожности ему дали. Я отправилась к Лебедевой, которая, получая бесчисленные ордена, не могла обеспечить детей кипяченой водой. У нее не было в палатах баков, и я предложила перевезти свой самовар, случайно сохранившийся на даче вместе с Лениным велосипедом. Она страшно обиделась на это, но на другой же день во всех палатах появились баки. Я не удержалась и сказала ей пару теплых слов по поводу того, что больному мальчику дали в руки медицинскую энциклопедию. Она оправдывалась тем, что Адик не знал латыни, но я ей ответила, что, зная французский, легко понять латынь. В конце концов я с ней

поругалась и сказала, что заберу Адика из этого орденоносного санатория, где происходят такие вещи.

Возвратясь в город, я позвонила Ролье. Ролье была подругой Милицы Сергеевны Нейгауз. Она согласилась взять Адика к себе в туберкулезную клинику в Сокольниках. На другой же день я перевезла его туда. Там все было по-другому. Его поместили в палату на двух человек. Питание и уход были значительно лучше. Да и ездить в Сокольники мне было легче, чем на Яузу.

В 1944 году Генриху Густавовичу дали разрешение жить и работать в Москве. Стасик делал огромные успехи в музыке. Все больше и больше он мне нравился как пианист. Его игра меня захватывала и удовлетворяла моим строгим требованиям. Мы с Леней и Борей продолжали жить на даче. Мысль о предстоящей гибели Адика меня не оставляла. Мне казалось чудовищным и непонятным, как могла случиться такая катастрофа с моим самым крепким и здоровым сыном! Боря всячески меня поддерживал, хотя сам был в ужасе и слезы наворачивались у него на глазах.

В апреле 1945 года, приехав в санаторий, я увидела, что Адик один в палате, и спросила, где его товарищ. Он сказал, что товарищ проболел три дня туберкулезным менингитом и умер. На него это произвело удручающее впечатление. Опять было непонятно, как могли допустить такое близкое соседство Адика с больным инфекционным менингитом. Но было не до упреков. <...>

Ролье предложила мне поселиться у него в палате и провести с ним последние дни его жизни, потому что конец неотвратим. Она сказала, что спасти его может только стрептомицин, но его в России еще не изготовляли, а пока его выписывали бы из Америки, Адика уже не было бы в живых.

Когда мы вошли с Борей в палату, Адик приоткрыл глаза и сказал, что он умирает, что у него безумные головные боли, и тут же потерял сознание. <...>

Мне очень не хотелось кремировать Адика, но я согласилась на это из-за того, что мне разрешили взять урну домой. Через три дня после похорон Стасик привез в Переделкино урну. Вырыли в саду яму в месте, которое выбрал Боря близко от дачи, закопали там урну. Боря сказал, что если он умрет раньше меня, чтобы его похоронили рядом с Адиком. Он меня очень поддерживал, философски рассуждая о смерти, доказывая, что смерти нет. Эти рассуждения были неясны для меня. Он говорил, что умершие продолжают жить в памяти близких. Это меня не утешало, но если бы рядом со мной не находился Боря, то, может быть, я покончила бы с собой. За мной следили жившие у нас Асмусы, не оставляли меня одну. Боря, как всегда, находил для меня нужные слова, его такт и ум отрезвляли меня, и я стала свыкаться с мыслью, что все, что ни делается, все к лучшему, ведь Адик, оставшись жить без ноги и калекой, вряд ли был бы счастлив.

Мы продолжали каждую весну переселяться на дачу. Летом обычно у нас гостили Асмусы. Мы сажали вместе с Борей огород и много физически работали. Он каждый день выходил в сад в трусиках и, работая, загорал. Меня удивляло, с какой страстью он возился с землей. Каждую весну я разводила костры из сухих листьев и сучьев и золой удобряла почву, потому что не было других удобрений. Боря очень любил из окон кабинета смотреть на эти костры и посвятил им стихотворение «У нас весною до зари костры на огороде...». Любопытно, что впоследствии критики подкапывались под эти строчки, ища в них тайный политический смысл. Некоторые уверяли, что слова: «Языческие алтари на пире плодородья» — относятся к революции. Это было просто смешно. Когда я возмущалась критиками, Боря говорил, что не стоит протестовать, это получается даже интересно, так как он и не подозревал, что писал эти стихи о революции.

Он переводил Шекспира. Пьесы стали ставить, и наше материальное положение улучшилось. Однако в Переделкине мы не зимовали, так как на даче было холодно, и на зиму приходилось переселяться в Лаврушинский. <...>

В 1945 году мы опять проводили лето в Переделкине и опять у нас жили Асмусы. Ирина Сергеевна часто приходила ко мне на огород и говорила, что я так худа, что, наверное, скоро умру, и просила меня написать завещание о Лёне. Она хотела взять его к себе, потому что, по ее словам, Борис Леонидович после моей смерти женится и Леня попадет в чужие руки, а она любит его, как сына родного, и ей будет больно смотреть, как чужой человек станет его воспитывать.

Это она повторила три раза, пока я не взорвалась и не ответила ей: еще неизвестно, кто раньше умрет. Эта фраза мучает меня и по сей день. В сентябре они уехали в Коктебель, оттуда приехали в начале ноября, а в декабре Ирины Сергеевны не стало, она умерла от рака крови.

В 1948 году мы познакомились с секретаршей Константина Симонова Ольгой Ивинской54. Она сообщила нам, что она вдова, ее муж повесился, и у нее двое детей: старшей девочке двенадцать лет, а мальчику пять. Наружностью она мне очень понравилась, а манерой разговаривать — наоборот. Несмотря на кокетство, в ней было что-то истерическое. Она очень заигрывала с Борей.

Еще раньше, в 1947 году, при Союзе писателей создалась комиссия помощи детям погибших воинов под председательством Тамары Владимировны Ивановой. Возглавлял Союз в те годы Александр Фадеев. Я стала участвовать в работе комиссии.

Как и всегда, я увлеклась этой работой. Было очень утомительно пешком обходить дом за домом, ни одного не пропуская. Мы с Погодиной поделили между собой улицы и обследовали разные кварталы. <...>

Работать в комиссии было очень интересно. Мы переселяли детей из сырых подвалов в сухие комнаты, устраивали кое-кого в детские дома, но меня, как всегда, мучила бухгалтерия. В конце года нам нужно было составлять финансовые отчеты. Все счета у меня были в порядке, и в конце концов, просидевши чуть ли не полночи, я справилась.

Боре очень нравилась моя работа и мое увлечение ею, он всячески поощрял меня к этой деятельности, но, как ни странно, это все повлияло на мою дальнейшую жизнь с ним. Поневоле мне приходилось часто и надолго уходить из дому. Наверное, тогда начались встречи с Ольгой Ивинской, и я стала замечать, что что-то чужое встало между нами. <...>

В этот период мы жили с ним очень дружно. Наши близкие знакомые, которые у нас бывали и слышали об измене, говорили мне, что они потрясены его нежностью ко мне и вниманием, и если так изменяет мужчина, то и пускай.

После войны начался повальный разврат. В нашем писательском обществе стали бросать старых жен и менять на молоденьких, а молоденькие шли на это за неимением женихов. <...>

Боря снова стал писать роман, и я всячески старалась оградить его от шума, от лишних визитов, и подчас мне хотелось разогнать палкой этих бездельниц. Как прямой и подчас резкий человек, я им говорила, что Борис Леонидович очень занят, и я удивлялась их досугу, тому, что у них хватает времени без конца мешать ему не только физически, но и морально, он иногда говорил, что у него мозги от них высыхают. В общем, я слыла у них суровой и жестокой, и они удивлялись, что он так долго может жить со мной. <...> Исключение составляла Крашенинникова, которая до самого последнего времени редко, но бывала у нас. Для меня самое неприятное заключалось в том, что, по доходившим до меня слухам, они делали из него совершенно неправдоподобную фигуру. На самом деле Боря был очень современен, в церковь не

ходил, хотя любил читать Библию, заучивал наизусть псалмы и восхищался их высоконравственным содержанием и поэтичностью. Я понимала его так, что вселенную он считает высшим началом и обожествляет природу как что-то вечное и бессмертное, но для меня было ясно, что в общепринятом понятии религиозным он не был. Встречаясь с нынешней молодежью, мы с ним подчас жалели, что она не знает Библии и катехизиса, и от этого ее нравственный уровень не так высок. Однажды он высказал такую мысль: не нужно верить в Бога, а надо читать и понимать нравственные учения, это оградило бы людей от многих несчастий. <...>

Начиная с 1954 года Борю стало посещать много корреспондентов из западных стран. Снимали его, меня, нашу дачу во всех видах и проявляли необычайный интерес к Боре. Оказалось, его выдвигают на Нобелевскую премию. Меня пугало количество иностранцев, начавших бывать в доме. Я несколько раз просила Борю сообщить об этом в Союз писателей и получить на эти приемы официальное разрешение. Боря звонил Б. Полевому в иностранную комиссию, и тот сказал, что он может принимать иностранцев и делать это нужно как можно лучше, чтобы не ударить лицом в грязь. <...>

Работа над романом подходила к концу. Боря собирал людей и читал им первую часть55. На первом чтении присутствовали Фе-дин, Катаев, Асмусы, Генрих Густавович, Вильмонт, Ивановы, Нина Александровна Табидзе и Чиковани. Все сошлись на том, что роман написан классическим языком. У некоторых это вызвало разочарование. Поражались правдивости описания природы, времени и эпохи. На другой день после чтения к нему зашел Федин и сказал, что он удивлен отсутствием упоминаний о Сталине; по его мнению, роман был не историческим, раз в нем не было этой фигуры, а в современном романе история играет колоссальную роль.

В те годы мы подружились с Ливановыми, они часто у нас бывали. Я очень полюбила Бориса Николаевича. Он был не только талантливым актером, но и художником, блестящим собеседником. Когда роман был весь дописан, Ливановы взяли его почитать. Приехав к нам, они навели суровую критику. Говорили, что доктор Живаго совершенно не похож на Борю и ничего общего с ним не имеет. С этим я была совершенно согласна: для меня доктор Живаго, в отличие от Бори, был отнюдь не героическим типом. Боря был значительно выше своего героя, в Живаго же он показал среднего интеллигента без особых запросов, и его конец является закономерным для такой личности. Несмотря на суровую критику Ливановых, я стала с ними спорить и доказывать, что в романе есть замечательные места. Ливанова сказала, что я слишком смело беру на себя оценки. Я рассмеялась и ответила: по-моему, вообще было большой смелостью с моей стороны выйти за Борю замуж и прожить с ним тридцать лет. Некоторые удивлялись, что Лара — блондинка с серыми глазами, намекали на ее сходство с Ивинской; но я была уверена, что от этой дамы он взял только наружность, а судьба и характер списаны с меня буквально до мельчайших подробностей. Комаровский же — моя первая любовь. Боря очень зло описал Комаровского, Н. Милитинский был значительно выше и благороднее, не обладая такими животными качествами. Я не раз говорила Боре об этом. Но он не собирался ничего переделывать в этой личности, раз он так себе его представлял, и не желал расставаться с этим образом.

В 55-м и 56-м годах он усиленно отделывал роман и писал стихи к нему. Когда собиралось общество, он часто читал эти стихи. <...>

В 1957 году, по требованию директора Гослитиздата Котова, Боря дал ему роман56. Котов нашел роман гениальным и обещал обязательно его издать. В это время в Москве был Международный фестиваль молодежи57. Однажды к нам на дачу прибыла большая группа иностранцев, среди них было шесть итальянцев. Из русских

присутствовали Ливановы и Федин. Был грандиозный обед, все перепились, в том числе и Боря. Когда уезжали итальянцы, он дал одному из них какую-то толстую папку. Я догадалась, что это роман, тут же вышла в переднюю, остановила его и сказала, что это поступок страшный и очень для него опасный. Но Боря просил меня успокоиться, роман, по его словам, он дал для прочтения на несколько дней. Наверно, так это и было...58 Зная о намерении Гослитиздата издать роман, он не мог желать опубликования его за границей. По-видимому, один из итальянцев увез его и передал его издателю Фельтринелли. Между итальянским издательством и Гослитом по поводу романа завязалась переписка. Они заключили между собой договор, согласно которому роман мог быть издан в Италии только после выхода его в Москве. <...>

Ежедневно зимой и летом, когда бы Боря ни лег спать, он подымался в восемь часов утра. После завтрака шел в кабинет, работал до часу и потом сразу уходил гулять. В полтретьего он занимался водными процедурами, в три часа садились обедать. После обеда спал, хотя врачи запрещали ему это. Спал недолго, минут сорок. Напившись в пять часов крепкого чаю (чаем заведовал и заваривал его сам), снова садился работать до девяти-десяти часов вечера. Перед сном гулял полтора часа — иногда вместе со мной. Он всегда любил плотно ужинать часов в одиннадцать, несмотря на запреты врачей. Утверждал, что не сможет заснуть, если будет ужинать в семь часов вместе со мной. Во всем, что не касалось больной ноги, он мало прислушивался к мнению врачей, и привычка так жить была его второй натурой. Что бы ни случилось в доме, он каждое утро занимался гимнастикой. В выходные дни и праздники, если ему не мешали, он так же проводил день. По воскресеньям обычно кто-нибудь приезжал к обеду.

За последние годы он все больше отходил от писателей и единственно, с кем он из литераторов дружил, — это с семьей Всеволода Иванова.

Когда еще он лежал в больнице ЦК № 1, я привезла ему письмо от итальянского издателя Фельтринелли. Тот писал, что обязательно напечатает роман, но только после издания его в России, он держит связь с Гослитиздатом, где ему обещали, что роман будет издан в сентябре 1957 года59. Боря твердо рассчитывал на скорое появление романа в печати и был совершенно спокоен. <...>

Какая-то часть его жизни не попадала в поле моего зрения, поэтому мне трудно описывать это время. На старости лет мне хотелось пожить спокойно и без сплетен, я ни во что не вмешивалась и даже не касалась материальных дел, так мы с ним условились. Он давал мне на жизнь определенную сумму, а до остального мне не было никакого дела <...> материальные вопросы меня мало интересовали. Постановки в театрах Москвы и провинции пьес в Бориных переводах приносили много денег: в те времена театры платили переводчикам 6% сборов с каждого спектакля. Все театральные деньги он переводил мне на книжку, и таким образом я была обеспечена. Мое поведение может показаться странным, но как жена я представляла некоторое исключение. <...> Боря был очень внимателен и нежен ко мне, и эта жизнь меня вполне устраивала. Все мои друзья негодовали по поводу моей позиции невмешательства, давали мне разные советы и говорили с Борей на эту тему. <...> Боря ни за что не хотел порывать со мной, он был предан семье и заинтересован в нашей совместной жизни60.

В конце 1957 года Фельтринелли не дождался напечатания романа здесь и издал его в Италии. С этого времени началась обоюдная спекуляция и у нас и на Западе. У нас возмущались и считали это предательством, а там главной целью было заработать много денег и нажить политический капитал. Обстановка создалась невозможная. Я чувствовала, что все это грозит Боре гибелью. Он этого не понимал. Он сказал мне, что писатель существует для того, чтобы его произведения печатали, а здесь роман лежал полгода и по договору, заключенному между Гослитиздатом и Фельтринелли, тот имел

право публиковать роман первым. Боря был абсолютно прав в своем ощущении, но я укоряла его за действия, потому что он поступил незаконно, и лучше было бы этого не делать. Может быть, это и рискованно, отвечал он, но так надо жить, на старости лет он заслужил право на такой поступок. Тридцать лет его били за каждую строчку, не печатали, — и все это ему надоело.

Из-за границы доходила критика, не всегда благоприятная. Мнения критиков разошлись. Все же книгу перевели на все языки, и, как утверждалось в присланном нам сообщении, роман стал сенсацией. Началась шумиха. Борю вызывали в ЦК, выговаривали ему, упрекали в непатриотическом поступке, но менять что-либо было поздно, несмотря на усилия Суркова забрать рукопись у Фельтринелли, который наотрез отказал. Роман выдержал на Западе большое количество изданий.

Опять стали прибывать корреспонденты, снимали дачу, Борю, его кабинет и даже собак. По их сведению, он обязательно должен был получить Нобелевскую премию, кандидатом на которую выставили Шолохова и Борю. Он был очень доволен, и хотя все обходили нашу дачу, как заразную и страшную, и знакомые отворачивались от него, это его мало смущало. Атмосфера накалялась, чувствовалось приближение пожара, а Боря ходил как ни в чем не бывало, высоко держал голову, утешал меня и просил не огорчаться тем, что писатели от него отвернулись. <...>

Двадцать четвертого октября, в Зинаидин день, у нас бывало шумно и наезжало много гостей. Незадолго до этого к нам приехала гостить Нина Александровна Табидзе. Я отправилась с ней в город за покупками к именинам. Когда мы вышли из машины в Москве, к нам подошел один знакомый Нины Александровны. Оказалось, он слышал по радио о присуждении Пастернаку Нобелевской премии. Нина Александровна очень обрадовалась, а меня это известие ошеломило. Я была взволнована, предвидя большую неприятность для нас. Приехав в Переделкино, мы тотчас же рассказали об этом Боре, он обрадовался и тут же спросил, почему я такая печальная. Я рассказала ему о своих опасениях и о том, что, по-моему, присуждение Нобелевской премии вызовет большой скандал в нашей стране.

В эту же ночь, с 23-го на 24-е, когда я уже была в постели, пришли Ивановы поздравлять нас с Нобелевской премией. Я даже не встала, и, когда они стояли на пороге моей спальни, я им сказала, что не предвижу ничего хорошего и все будет очень страшно. Они меня успокаивали, говорили, что я не понимаю этой чести, и даже если здесь будут неприятности, то все равно — это все заслужено. Какое-то предчувствие говорило мне, что это будет его концом. Разве они понимали, как я хотела, чтоб Боря подольше жил, побольше работал и как дорога мне его жизнь! Всем своим существом я поняла, что теперь заварится каша и вокруг этого дела начнется «холодная война», тут будут бить его, а там этим пользоваться в своих интересах.

24-го утром, в ожидании гостей по случаю именин, я занялась пирогами. Вошел Федин и зло ухмыльнулся, покосясь на мои пироги. Он отлично знал про Зинаидин день, бывая ежегодно в числе гостей. Но тут он, видно, забыл про именины и решил, что праздноваться будет премия. Он сухо со мной поздоровался, забыв меня поздравить с именинами и с премией, чем очень удивил меня, так как это был человек вполне европейски воспитанный. Он прошел к Боре в кабинет, и там состоялось короткое, но шумное объяснение. Не зная о содержании беседы, я не удержалась и, когда он уходил, спросила: что же он не поздравил нас с премией, разве он не знает о ней? «Знаю, — отвечал он, — положение ужасное». — «Для Союза писателей? — спросила я. — Да, я понимаю, для Союза все вышло неудобно».

Боря спустился злым и возмущенным и рассказал, что Федин приходил убедить его отказаться от премии, тогда все будет тихо и спокойно, а если не откажется, то начнутся неприятные последствия, которых он, Федин, не сможет предотвратить.

В числе близких людей постоянно бывал у нас Федин. Боря и Федин были совершенно разные, но что-то в Федине нас покоряло. Однако с годами пришлось в нем разочароваться. Когда арестовали ближайшего друга Федина Пильняка, он отнесся к этому с полным безразличием. Нас удивляло, что после войны Федин быстро пошел в гору. Он менялся на наших глазах: становился все более и более официальным, и поведение его преобразилось.

Но все-таки он продолжал бывать у нас, и, слушая чтение Бори-ных стихов, он нередко пускал слезу и говорил: «Ты, Боря, чудо!» Окончательно мы с ним разошлись после истории с Нобелевской премией. Всегда больно разочаровываться в людях, но такой резкой перемены в отношении к Боре я ни у кого не встречала. Он забыл все: тридцатилетнюю дружбу, свои восторги по Бориному адресу, все пережитое совместно во время войны. Во время истории с Нобелевской премией он был председателем Союза писателей, и он предал Борю. И не то важно, что он официально отрекся от него и участвовал в исключении его из Союза, а то, что он внутренне в этом не раскаивался. Только спустя две или три недели после Бориных похорон я получила его письмо следующего содержания: сегодня, пятнадцатого июня, он открыл чехословацкий журнал и увидел некролог о Боре. Он жил рядом с нами за забором в течение тридцати лет, во время Бориной смерти находился на даче (правда, он был болен) — и в этом письме он сетовал на то, что от него скрыли Борину смерть! Навряд ли из открытых окон до него не донеслась похоронная музыка и он не видел и не слышал многотысячной толпы...

Есть поговорка: «Друзья познаются в беде». В тяжелые времена осенью 1958 года я познала Федина с плохой стороны.

Боря говорил, что ни в коем случае не откажется и не верит, что это предотвратит неприятности. С утра в этот день стали прибывать поздравительные телеграммы и приезжать корреспонденты. В их числе оказался русский фотокорреспондент А. В. Лихо-таль, который в эти тяжелые дни стал часто у нас бывать. В этот же день пришел к нам Корней Иванович Чуковский, и его тоже стали фотографировать. <...>

24-го все было благополучно и тихо. Боря был занят целый день чтением телеграмм, не только из-за границы, но и от русских. Сельвинский, например, написал о своей радости и гордости по поводу премии, которую он считал вполне заслуженной. Было несколько телеграмм из Грузии.

Утром 25-го нам привезли газеты из города. Против Бори начался неслыханный поход. Он не хотел их смотреть, а я, прочитав некоторые статьи, пришла в ужас. Особенно меня потрясла статья Заславского с намеком на еврейское происхождение (это в то время, как сам Заславский был евреем). Статья была возмутительная: он называл Борю предателем, продажной личностью и бездельником61. Было много и других статей, но эта превосходила все. 25-го вечером приходили Погодины, Ивановы, Чуковский — каждый со своим советом. Погодина, например, считала, что лучше умереть, чем отказываться от столь почетной премии. Чуковский советовал написать Фурцевой письмо с просьбой оградить его от обвинения и нападок. Боря так и сделал. Он поднялся наверх, написал письмо и, спустившись вниз, показал его нам. Он писал, что потрясен впечатлением, произведенным Нобелевской премией на товарищей, был уверен, что, наоборот, все будут гордиться выпавшей советскому писателю честью, и напоминал о выдвижении его кандидатом на премию еще до написания романа, пять лет назад. В конце он прибавил о своей вере Богу, который оградит его от всего страшного. Письмо раскритиковали главным образом за упоминание о Боге. По словам Чуковского, Боря — ребенок и не понимает, что упоминание о Боге в письме к Фурцевой зачеркивает все. Присутствовавший в это время Лихо-таль взялся передать это письмо лично Фурцевой62. Присутствие Лихоталя на меня производило

успокаивающее действие: его бодрый тон, веселый голос и утверждения, что все кончится благополучно, поддерживали меня. Впоследствии Лихоталь меня разочаровал: он не только занимался фотографированием, но и лишними расспросами — например, по поводу Ивинской. Я рассердилась и предложила ему заниматься своим делом, поскольку он только фотокорреспондент. Но он на это не обиделся.

На другое утро кто-то приехал из газеты «Правда» за подписью под отказом от Нобелевской премии. Я влетела в комнату и в истерике стала кричать, чтобы он убирался вон, мы все уже знаем, что Борис Леонидович бездельник, предатель и больше я не позволю издеваться над ним. Боря спустился и попросил на меня не обижаться: жена очень непосредственное создание и нервы ее не выдержали, — тот что-то пробурчал, мол, он это понимает, и быстро удалился, ничего не добившись. Боря собрался в город, ничего нам не говоря. Оказывается, как позже выяснилось, он отправил в Шведскую академию тайком от всех телеграмму об отказе от Нобелевской премии. Он хотел избежать всяких противоречивых советов.

Когда он возвращался из города, то всюду кругом дачи стояли машины, иностранные и русские. Вскоре по его возвращении к нам подъехала санитарная машина. Из нее вышла врач с большим ящиком Красного Креста. Оказалось, она прикреплена к Боре по указанию ЦК и будет жить у нас целый месяц. Я ей сказала: ваши предосторожности излишни, он не собирается покончить с собой, а как раз наоборот. Но, по ее словам, она не имела права отказаться. Присутствие постороннего человека в доме, в такие тревожные дни, ужасно тяготило.

На другой день появилась газета с выступлением Семичаст-ного. Он требовал высылки Пастернака за границу. На семейном совете долго обсуждали, как поступить. Все были за то, чтобы написать в правительство просьбу никуда его не высылать, — он родился в России, хотел бы до самой смерти тут жить и сможет еще принести пользу русскому государству. Одна я была за то, чтобы он выехал за границу. Он был удивлен и спросил меня: «С тобой и с Леней?» Я ответила: «Ни в коем случае, я желаю тебе добра и хочу, чтобы последние годы жизни ты провел в покое и почете. Нам с Леней придется отречься от тебя, ты понимаешь, конечно, что это будет только официально». Я взвешивала все. За тридцать лет нашей совместной жизни я постоянно чувствовала несправедливое отношение к нему государства, а теперь тем более нельзя было ждать ничего хорошего. Мне было его смертельно жалко, а что будет со мной и Леней, мне было все равно. Он отвечал: «Если вы отказываетесь ехать со мной за границу, я ни в коем случае не уеду».

Вечером подъехала машина из ЦК, и он отправился на ней с тем, чтобы написать письмо в «Правду». На другой день письмо было опубликовано. Все эти дни он очень хорошо держался, всех нас успокаивал, подшучивал над врачом, охранявшей его от самоубийства, которого он не собирался совершать. Бедной врачихе было очень скучно, она ходила из угла в угол, смотрела телевизор, и наконец я ей сказала: пойдите хотя бы погулять, вы целую неделю не выходили. Когда она ушла, мы открыли ящик с лекарством, чтобы убедиться, нет ли там магнитофона. Но ничего подозрительного мы не обнаружили. В ящике были главным образом хирургические инструменты и всяческие лекарства.

У Бори вдруг стали болеть правая рука и плечо. Он шутя говорил, что надо воспользоваться присутствием врача и подлечиться. Та велела взять руку на повязку и ничего не писать. Но он продолжал работать и научился писать левой рукой. Мы не выходили за калитку, и, по моему настоянию, он гулял на нашем участке. Очевидно, в эти дни он написал стихотворение «Нобелевская премия».

Вечером 29-го из Союза приехал какой-то товарищ, приглашая его на собрание писателей. Боря с площадки покричал мне, чтобы я поднялась в кабинет. Он был весь в

холодном поту и бледен. Я позвала врача, она сделала ему укол камфары, а приехавшему товарищу я сказала: «Не может быть и речи, чтобы Борис Леонидович в таком состоянии ехал на собрание». Боря расписался в получении извещения. Я сказала этому человеку, чтобы он уезжал, нас совершенно не интересует, что там будет, все равно поступят так, как считают нужным.

31 октября состоялось большое собрание в Союзе писателей. Боря на него не поехал. Хотя он поступил так, как от него требовали (отказался от Нобелевской премии), его исключили из Союза63. Он принял это известие очень мужественно. Утешая меня, он сказал, что давным-давно не считает себя членом этой прекрасной организации. В этот же день он написал письмо Хрущеву, напечатанное 2 ноября. Это письмо было вызвано словами Семича-стного на пленуме ЦК комсомола о том, что правительство не чинило бы никаких препятствий к его выезду за границу64. Пастернак в этом письме писал: «Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти, и поэтому я прошу не применять по отношению ко мне этой крайней меры».

Несмотря на это письмо, газеты продолжали публиковать требования некоторых товарищей о высылке Пастернака за границу. 5 ноября 1958 года Пастернак написал письмо в редакцию газеты «Правда»65. После последнего письма кампания против него стала постепенно сходить на нет. Еще в разговоре с Поликарповым66 в ЦК ему удалось отстоять свободу переписки с Западом.

Ходили слухи о послании шведского короля к Хрущеву, в котором он просил сохранить жизнь Пастернака и оставить ему его «поместье». Нас всех удивила наивность короля — дача была государственная, и ее могли отобрать каждую минуту. Не знаю, почему нас не выселили с дачи. Мы продолжали спокойно жить в Переделкине. Боре даже давали переводы. Он переводил Тагора, Незвала, Церетели и других. Много времени отнимала переписка. Приходило иногда по пятьдесят писем в день. Он знал три языка — английский, французский и немецкий, но не так блестяще, чтобы не работать над каждым ответным письмом со словарем. Я слышала его шаги в кабинете иногда до двух-трех часов ночи. Мне казалось, что он так мало спит из-за этой переписки.

По моему настоянию, после трехнедельного существования у нас врач уехала.

В этом же 58-м году приехал к нам английский корреспондент Браун67, и я видела, как Боря передал ему стихотворение «Нобелевская премия» и просил вручить его сестрам, жившим в Англии. Не прошло и недели, как нам прислали вырезку из английской газеты с этим стихотворением и с возмутительнейшими комментариями к нему68. Я отлично знала, когда было написано это стихотворение и по какому поводу, и была крайне рассержена комментариями. В этом стихотворении была строка: «Я пропал, как зверь в загоне» — она комментировалась так: «Вся Россия, мол, загон, а Запад — воля и свет». На самом же деле строка эта была вызвана вот чем: в разгар событий, связанных с присуждением Нобелевской премии, вокруг нашей дачи стояло много машин, как говорили, для охраны жизни Пастернака. Он очень любил выходить за калитку и гулять по полю, а в те дни я его не пускала, выставив ультимативное требование ограничить его прогулки нашим участком. Впрочем, я не верила в возможность каких-либо покушений на его жизнь. Он пользовался большим уважением со стороны рабочих и крестьян. Однако я боялась случайных пьяных, которые могли бы его оскорбить. «Воля, люди, свет» — ни в коем случае не означали Запад, а лишь то, что окружающие писатели чувствовали себя свободно и ходили, где хотели. Особенно вызвали мое негодование комментарии к последней строчке стихотворения: «Но и так, почти у гроба, знаю я, придет пора, силу подлости и злобы одолеет дух добра». Все тридцать лет во время критических нападок и неправильных толкований его стихов он всегда говорил: все это временно, и в конце концов люди

станут добрее и лучше. В английских комментариях было сказано по-другому — будто он ждет переворота и смены власти. У меня потемнело в глазах от страшного возмущения, и я сказала ему: нужно прекратить принимать эту шваль, и впредь они перешагнут порог дома только через мой труп. Он тут же повесил объявление на дверях входного крыльца: он никого не принимает, будучи очень занят работой. Объявления были написаны на трех языках. Кроме того, он дал распоряжение нашей работнице отказывать всем иностранцам. С тех пор они перестали у нас бывать.

Сейчас, два года спустя после его смерти, мне думается, что я поступила неправильно. Ивинская воспользовалась этим и стала принимать у себя на даче иностранцев. <...> Наверное, было бы лучше, если бы контакт с иностранцами происходил на моих глазах. Многое можно было бы предотвратить.

В феврале 1959 года ожидался приезд Макмиллана69 в Россию, и нас предупредили о его намерении навестить Пастернака. Боясь этого свидания, я уговорила его уехать со мной в Грузию. Он не любил расставаться со своим кабинетом — как он шутя говорил, он прирастал к своему стулу — и уговорить его было трудно, но мне это удалось. Я послала телеграмму Н. А. Табидзе, сообщая, что вылетаю с Борей в Грузию, и прося не устраивать встречи — мы приедем инкогнито-Нина Александровна окружила его заботами. Она страшно удивилась, почему я написала в телеграмме слово «инкогнито». Я ей объяснила, что мы скрылись от визита Макмиллана, боясь новых западных спекуляций над Бориным именем. Едва мы добрались до новой квартиры Нины Александровны на улице Гогебашвили, как моментально распространился слух о нашем приезде. Пришли Леонидзе и Чиковани с женами и многие другие. Говорили речи, подымали тосты. По их рассказам, на них вся эта буча не произвела никакого впечатления, в Грузии было очень тихо. Состоялось, правда, какое-то общее собрание в Союзе, но выступавшие избегали резких выражений и все кончали речи на одном: Пастернак очень много сделал для Грузии, переводы его гениальны.

Обстановка была очень теплая, и Боря как бы встряхнулся и забыл все неприятности. Ему надо было из-за ноги много ходить, и дочь Нины Александровны Ниточка ходила с ним на прогулку каждое утро и вечер, охраняя его и избегая шумных улиц, где могли произойти неприятные встречи.

Был один смешной эпизод. Один знакомый повез нас на своей машине смотреть замок и церковь V века в Мцхетах. Мы вошли в собор и Боря стал осматривать грузинскую живопись и восторгаться ею. Вдруг, откуда ни возьмись, появился молодой человек и, подойдя к нему, спросил: «Вы, кажется, Пастернак? Я знаю вас по портретам. Позвольте пожать вашу руку». Боря ужасно растерялся и ответил: «Почему, а впрочем, может быть, и да». Он нас очень рассмешил, и мы вскоре взяли его под руки и увели из собора. Так же как раньше он не желал ехать в Грузию, так теперь он не хотел уезжать из Тбилиси. Выглядел чудесно и там пришел в себя. К нам приходили старые знакомые — художники, писатели, и Боря читал свои новые стихи. Я была счастлива, что мне удалось его увезти проветриться в Грузию, которую он считал нашей второй родиной.

Через три недели мы собрались домой. Он снова настаивал на самолете, а я боялась обратного пути, и мы взяли билет, сговорившись с Ниной Александровной, в международный вагон, а ему наврали, будто на самолет билетов не было. Нас провожало много народу. В поезде он говорил, что все в Грузии напоминало ему 31-й год, и в общем он вернулся помолодевшим, окрепшим и в отличном настроении. <...>

В первый день пасхи, 17 апреля70 к нам приехала немка Рената Ш.71 На обеде были грузины: Чиковани с женой и Леонидзе. За обедом он чувствовал себя хорошо и даже пил коньяк. После обеда он пошел провожать Ренату на станцию. Придя домой, он со стоном разделся в передней и сказал: «Какое тяжелое пальто!» Мы с Ниной

Александровной были взволнованы его бледностью. Двадцатого приехала Рената прощаться с нами перед выездом в Германию. Боря хотел с ней пойти в театр на «Марию Стюарт», но я запротестовала и сказала: по моему мнению, этого не следовало делать, меня удивляет такое легкомыслие, я не рекомендую ему показываться в многолюдном обществе с немкой. Рената извинилась, а он снова пошел ее провожать на станцию. Вернувшись, он почувствовал себя очень плохо. Нина Александровна повела его в кабинет, и он сказал: «Не пугайте Зину и Леню, но я уверен, что у меня рак легкого, безумно болит лопатка». Мы его тут же уложили и на другое утро вызвали Самсонова. Он нашел отложение солей, назначил диету и даже гимнастику. Он запретил ужинать в одиннадцать часов перед сном, но разрешил спускаться вниз обедать и в туалетную (чему Боря очень обрадовался) и даже выходить немного гулять. Я пригласила Самсонова приезжать к нему через день. 25-го Боре стало очень плохо, и мы отложили поездку в Грузию. Я его уложила внизу в музыкальную комнату. Он все еще пользовался туалетной комнатой, куда я его водила под руки. Обратно мне приходилось его тащить чуть ли не на своих плечах, а он терял сознание от боли.

Самсонов бывал у нас через день. По моему настоянию сделали на дому электрокардиограмму, которую Самсонов признал хорошей. Но состояние не улучшалось. Я вызвала Бибикову, ассистента профессора Вотчала, лечившего Борю от первого инфаркта в Боткинской больнице (самого Вотчала в это время не было в Москве). Она нашла стенокардию и велела лежать не вставая. 6 мая я позвонила Александру Леонидовичу и просила его приехать жить в Переделкино, потому что состояние Бори мне не нравится и мне за него очень тревожно. С этого дня до самого конца Шура жил в Переделкине, 7 мая я вызвала врача Кончаловскую. Она отрицала инфаркт...

Сговорились с Фогельсоном. Он велел сделать все анализы и повторить кардиограмму. Когда все было готово, он приехал в Переделкино и определил глубокий двухсторонний инфаркт. Из Литфонда прислали для постоянного дежурства при больном врача Анну Наумовну. В помощь ей было налажено круглосуточное Дежурство сестер из Кремлевской больницы <...>

Во время болезни, длившейся полтора месяца, в доме бывало много народу. Приезжали Ахматова, молодые поэты, Е. Е. Тагер, Нина Александровна Табидзе. Александр Леонидович и Ирина Николаевна жили безвыездно в доме. Боря никого не принимал и никого не хотел видеть. Как он сказал, он всех любит, но его уже нет, а есть какая-то путаница в животе и легких, и эта путаница любить никого не может. Круглосуточно дежурили сменявшие друг друга сестры, но на всяческие процедуры он всегда звал меня. Я несколько раз спрашивала, не хочет ли он повидать Ивинскую, и говорила ему: «Мне уже все равно, я могу пропустить к тебе ее и еще пятьдесят таких красавиц». Но он категорически отказывался, и я этого понять не могла. Я думала, что он не хочет перед смертью огорчать меня, и просила Нину Александровну устроить свидание с Ивинской без моего ведома. Но он сказал Нине Александровне, что не хочет этого и что если она увидит ее, то он просит ее не вступать с ней в разговоры. Было ли это разочарование в ней, были ли у них испорчены отношения, но я продолжала этого не понимать, и мне казалось это чудовищным. Она часто подходила к калитке со слезами, но каждый раз к ней выходил Александр Леонидович и Боря передавал через брата просьбу больше не приходить. Я же, несмотря на всю мою неприязнь к ней, готова была ее впустить.

Как сказал мне Боря, он не хотел в больницу потому, что она приезжала бы туда к нему. Он говорил: «Прости меня за то, что я измучил тебя уходом за мной, но скоро я тебя освобожу, и ты отдохнешь». Он не понимал, что в больницу я хотела его отправить, боясь взять на себя ответственность, но с тех пор, как выяснился диагноз —

рак легкого — и я знала точно, что он умрет, я совершенно оставила мысль о больнице. Он много раз говорил о своем желании умереть только на моих руках. <...> Он просил поскорее сделать второе переливание, но на следующий день, в субботу, нельзя было — ежедневно переливания не делают, а в воскресенье хотя мы и хлопотали, но никто не мог приехать, и отложили на 30 мая — понедельник. Утром он чувствовал себя сравнительно хорошо и даже попросил меня, как всегда, привести его в порядок и тщательно его причесать. Во время причесывания он капризничал и попросил переделать ему пробор. Приехал Попов, который ежедневно у него бдаал. Он нашел улучшение в состоянии сердца, и я упросила его приехать второй раз вечером и присутствовать при переливании крови. Он согласился. <...>

Все уехали, кроме Попова. Прощаясь со мной, он сказал: «Мне здесь делать нечего, через десять минут он умрет». Меня удивило, что он не остался, но он сказал: «Я не в силах спасти Бориса Леонидовича, это было кровотечение из легких». В полдесятого Боря позвал меня к себе, попросил всех выйти из комнаты и начал со мной прощаться. Последние слова его были такие: «Я очень любил жизнь и тебя, но расстаюсь без всякой жалости: кругом слишком много пошлости не только у нас, но во всем мире. С этим я все равно не примирюсь». Поблагодарил меня за все, поцеловал и попросил скорей позвать детей. Со мной он говорил еще полным голосом, когда же вошли к нему Леня и Женя, голос его уже заметно слабел. Врач и сестра все время делали ему уколы для поддержания сердца, кислородная палатка мешала бы этим уколам, поэтому Стасик непрерывно подавал и надувал кислородные подушки. Агонии не было, и, по-видимому, он не мучился. Он говорил детям, что не дождется свидания со своей сестрой Лидой (которую вызвали по его просьбе из Англии), но она все знает о его денежных распоряжениях, и дети будут обеспечены. После каждой фразы следовал интервал в дыхании, и эти паузы все удлинялись. Таких интервалов было двадцать четыре, а на двадцать пятом, не договорив фразы до конца, он перестал дышать. Это было в одиннадцать часов двадцать минут. <...>

Я с работницей Таней обмыла его, одела и положила, пока прибудет гроб, на раскладушку. Мы с Ниной Александровной, Ириной Николаевной, Шурой и Стасиком (Леня с Женей уехали в город сообщить о смерти) оплакивали его кончину, а к трем часам Анна Наумовна дала нам всем снотворное. Она и две медицинские сестры тоже ночевали у нас. Когда в три часа ночи мы ложились спать, какая-то машина стояла у наших ворот. В пять часов утра я проснулась от шума у нашего крыльца. Я слышала, как Александр Леонидович что-то кричал. Оказывается, американский корреспондент Шапиро приехал собирать сведения и подробности смерти, и Шура, не зная, что это Шапиро, накричал на него, возмущаясь бестактностью этого вторжения.

За неделю до смерти Боря хотел попросить Катю Крашенинникову устроить отпевание на дому. Но я сказала, что обойдусь без Кати, и обещала ему позвать хоть самого патриарха. <...>

...Хотя я была сама против отпевания, но просьба Бори была для меня священна. 31 мая с него сняли маску и бальзамировали тело. Привезли гроб, мы переложили его, и начались бесконечные визиты корреспондентов, и западных, и наших, они без конца фотографировали его. Из Литфонда мне прислали двух распорядителей по похоронам. Запершись со мной в комнате, они спрашивали, как я представляю себе похороны. Во время гражданской панихиды, отвечала я, будет непрерывно звучать музыка, Юдина дала согласие сыграть трио Чайковского со скрипачом и виолончелистом. Стасик должен был сыграть похоронный марш Шопена, а Рихтер — похоронный марш из сонаты Бетховена. Распорядители очень беспокоились, не будет ли провокационных речей. Я отвечала: «Я совершенно спокойна и постараюсь провести панихиду так же скромно и тихо, как была тиха и скромна его жизнь».

Вынос тела был назначен на 3 часа дня 2 июня. Хотя объявления о похоронах в газете не было, люди узнавали друг от друга, к даче шла бесконечная вереница людей. Гроб стоял в столовой и весь был укрыт цветами. Никому и в голову не приходило что-либо выкрикнуть. Беспрерывно звучала музыка, и без конца прибывали все новые и новые люди. Получилось так, как я и думала. В доме создалась тихая, благоговейная атмосфера, которую никто не решился нарушить речами. Остановить людской поток было невозможно. Несколько раз ко мне подходили распорядители, прося прекратить допуск к телу, а я решительно отказывалась и успокаивала их: все происходит настолько благородно и торжественно, что их страхи не оправдываются. Назначили самый крайний срок выноса — полпятого. Таким образом удалось многим людям попрощаться с ним. Говорят, что какие-то корреспонденты стояли у выхода и считали людей — насчитали около четырех тысяч. От Литфонда прислали венок с надписью: «Члену Литфонда Б. Л. Пастернаку от товарищей». Привез венок тот самый Арий Давидович, который пятнадцать лет тому назад хоронил Адика. Пришел закрытый автобус, и распорядители настаивали на том, чтобы в нем везти гроб на кладбище. Но Леня, Стасик и Федя (племянник Бори) заявили категорически, что будут нести гроб на руках. Распорядители опять пригласили меня в отдельную комнату и сказали: «Это недопустимо, будут какие-нибудь демонстрации». Я ответила: «Ручаюсь вам головой, что его не украдут и никто стрелять не будет, шествие будет состоять из рабочих, молодых писателей и окрестных крестьян, все его очень любили и уважали, и из той любви и уважения никто не посмеет нарушить порядок».

Так оно и было. Леня и Женя бессменно шли впереди, а Стасик и Федя менялись с другими молодыми людьми. За гробом первой шла я, меня вел Ливанов — рослый, сильный мужчина. Ему приходилось с помощью локтей заботиться о том, чтобы меня не оттолкнула Ивинская с дочкой и подружками, которые вся-

чески старались пролезть вперед. На кладбище нас ожидала громадная толпа. Гроб поставили рядом с ямой, и наш большой друг философ Асмус произнес речь72. Мне больше всего понравились в этой речи слова о том, что Пастернак никогда не умел отдыхать, много трудился, много работал, был демократичен, любил простых людей и умел с ними разговаривать. В конце речи он назвал Борю величайшим поэтом XX века. На кладбище царила тишина, и все внимательно слушали. Потом актер Голубенцев прочитал стихи: «О, знал бы я, что так бывает...» Раздались выкрики рабочих, хорошо нас знавших, кричали, что Пастернак написал роман, в котором «высказал правду», а «ублюдки» его «запретили». Ко мне опять бросились распорядители, прося прекратить речи, но я сказала, что ничего страшного в этих выкриках нет. Они были взволнованы, и мне стало их жаль. Я просила их объявить, чтобы подходили прощаться, через десять минут будем опускать гроб. У меня в голове вертелись следующие слова, которые, конечно, казались бы парадоксальны тем, кто его не знал: «Прощай, настоящий большой коммунист, ты всей своей жизнью доказывал, что достоин этого звания». Но я этого не сказала вслух. Я в последний раз поцеловала его. Гроб стали опускать в яму, по крышке застучали комья земли, мне сделалось дурно, и меня увезли на машине домой. Что было потом на кладбище — я не знаю. Как потом рассказывали, люди стояли вокруг могилы до позднего вечера, не расходясь, и некоторые читали его стихи...

Маргарита Анастасьева

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК В ЖИЗНИ НАШЕЙ СЕМЬИ

Мой дедушка Феликс Михайлович Блуменфельд — ученик и большой друг Римского-Корсакова, известный пианист, дирижер, композитор и выдающийся педагог — был родным дядей Генриха Густавовича Нейгауза. В 1922-1931 гг. Феликс Михайлович, тогда уже заслуженный деятель искусств, профессор Московской консерватории, занимался преподавательской деятельностью по классу рояля.

В ту пору он со своими тремя дочерьми, Ниной, Ольгой и Натальей, жил в центре Москвы на бывшей Поварской улице, в Доме номер 8. В хлебосольном доме существовала традиция по воскресным дням устраивать обед, на который приглашались близкие Феликсу Михайловичу люди. Дом был всегда наполнен музыкой. В центре большой светлой комнаты стоял рояль, на котором Ф. М. обычно играл сам и его знаменитые в будущем ученики: Владимир Горовец, Самуил Барер, Михаил Раухвергер, Владимир Белов, Мария Гринберг, Шура Аронова и, конечно, Генрих Нейгауз. Генрих Густавович в то время был женат на Зинаиде Николаевне, у них было два прелестных сына — Адик и Стасик. Жили они в этом же доме этажом выше. Каждое воскресенье на обед непременно приглашалась семья Нейгаузов и наша семья: мой папа — сын Ф. М., — Виктор Феликсович Анастасьев (он взял фамилию своей матери), моя мама — Анна Робертовна Грегер-Анастасьева1 (ученица Ф. М.) — и я.

По воспоминаниям моей мамы, нас гостеприимно встречали, была удивительная атмосфера, насыщенная поэзией, музыкой, интересными разговорами: «После обеда Генрих Густавович частенько присаживался к роялю и много и долго играл Шопена, Скрябина, Брамса... Все были в восторге, слушая замечательного пианиста». Словом, интеллигентное общество, интересная, интеллектуальная атмосфера, счастливые дни...

Борис Леонидович уже был хорошо знаком и дружил с Ней-гаузами и с глубоким уважением и почтением относился к Ф. М. как к музыканту.

Постепенно жизнь начала переплетать судьбы этих людей. Вскоре Зинаида Николаевна рассталась с Генрихом Густавовичем и стала женой Пастернака.

Приближались 30-е годы. В жизни нашей семьи зазвучали тревожные ноты. Как в симфониях П. И. Чайковского, сначала исподволь, затем все сильнее и определеннее в музыкальную ткань начала врываться и звучать тема фатума, рока, судьбы.

В январе 1931 года умирает Феликс Михайлович. Близкие в большом горе. Борис Леонидович пишет на смерть Ф. М. стихотворение:

Еще не умолкнул упрек И слезы звенели в укоре, С рассветом тебе на порог Нагрянуло новое горе.

Для некоторого пояснения скажу: случилось так, что именно в эти дни окончательно решалась семейная судьба З. Н. и Б. Л., и все это нашло свое поэтическое отражение в этих стихах.

Мамины воспоминания тех времен являются пояснением начальных и последующих строф стихотворения.

«Мы все не отходили от Ф. М., всматривались в дорогие черты... Пришла Зинаида Николаевна Нейгауз, стала на колени, успела только сказать: "Феликс Михайлович!" — и тут же упала в обморок... Зинаида Николаевна обожала Феликса Михайловича, преклонялась перед ним как перед музыкантом и некоторое время даже занималась у него. Горе ее было велико...»

Впервые я издали увидела Пастернака на похоронах Блумен-фельда, в Большом зале консерватории. Он так осторожно, с такой нежностью вел Зину под руку, точно это была хрупкая драгоценность.

Вот поэтические строки об органном хорале Баха, звучавшем на панихиде:

Он песнею несся в пролом О нашем с тобой обрученьи —

вызвали некоторое недоумение у дочери Ф. М. Натальи, о чем она сказала Б. Л. Борис Леонидович промолчал.

Кончились наши праздничные встречи в доме дедушки. Папа, мама и я жили в центре Москвы в 16-метровой комнате коммунальной квартиры. Наша «коммуналка» — типичная коммуналка тех времен — в самом плохом смысле этого слова. С соседями нам не повезло. Иногда в супе, если не углядишь, можно было найти окурки или наутро увидеть белье, повешенное на кухне, вымазанным черной сажей. Наша

густонаселенная квартира была коридорной системы. В ней кроме нас жило еще пять семей. Всякое приходилось видеть и слышать... нашелся среди них и доносчик — персонаж, весьма типичный для тех времен.

1932 год... Помню, как темной декабрьской ночью просыпаюсь... В комнате тускло горит лампочка. Какие-то двое в военной форме копаются в груде разбросанных бумаг и вещей... Через некоторое время со двора доносится сигнальный гудок машины, затем отец одевается, ему почему-то не разрешают выпить из стакана воду, он подходит ко мне, целует меня, и эти двое его куда-то увозят...

Мы с мамой остаемся вдвоем. Для всей нашей семьи наступают очень тяжелые времена.

И вот в это время появляется Борис Леонидович Пастернак. У мамы остались воспоминания, вот они:

«Борис Леонидович Пастернак — это имя как яркий луч солнца вошел в нашу, мою жизнь! Человек необыкновенной чуткости, доброты, внимания, он всех пленял своим отношением к людям, желанием помочь в беде, принести им радость. Так было и с нами, со мной. Когда арестовали и увезли мужа, мне был предъявлен ультиматум: покинуть Москву в течение 10 дней. Собраться, уехать куда-либо далеко. "Но куда ехать?" (Минус чуть ли не 100 городов.) В Минск, к маме нельзя, ведь это столица Белоруссии. Куда я поеду с маленькой Маргошей? Понесла серебро в Торгсин, продала свой чудный песец, самовар, шкаф книжный красного дерева. Я совсем пала духом, только плакала. Соседка (кстати, жена низкого, дрянного человека, который неоднократно писал доносы сначала на моего мужа Виктора, а потом на меня), так вот именно его жена складывала наши вещи, а я была совсем безучастна. И вдруг приходит Туся (так называли в семье дочь Феликса Михайловича Наталью), приносит 500 рублей и говорит: "Эти деньги прислал тебе Борис Леонидович, он сказал, что постарается помочь тебе". Боже мой! Я была ошеломлена, растрогана, бесконечно благодарна! Я тут же вместе с Тусей поехала поблагодарить его лично. И вот помню: на меня Борис Леонидович вначале произвел странное впечатление. Он нам открыл дверь. Стоит и смотрит... Такой необыкновенный, молчаливый, неподвижный, с удлиненным лицом. Я бы даже сказала — некрасивый (именно таким он мне тогда показался). Молча помогает раздеться и сразу же успокаивает: "Не волнуйтесь, хочу вам помочь, буду хлопотать. Скажите, кем и где работал ваш отец? Я должен знать". — "Мой папа был учителем математики в Минске, преподавал в гимназии и реальном училище". И вот Борис Леонидович решил пойти в НКВД к главному работнику — Агранову, от которого все зависело2. Этот Агранов интересовался стихами Бориса Леонидовича, его личностью и не раз намекал, что хотел побывать у него дома. Но Борис Леонидович всячески уклонялся, не желая углублять знакомство, а тут он решил к нему обратиться за помощью. И вот что я знаю со слов самого Бориса Леонидовича. Его привели в кабинет Агранова, предложили сесть. Агранов нажал кнопку у своего письменного стола — и задняя стена книжного шкафа вдруг повернулась, вышел человек с двумя стаканами чая. "Что привело вас ко мне?" — спросил Агранов. "Я пришел просить вас за мою знакомую, у которой арестовали мужа, а ей дано предписание покинуть в 10-дневный срок Москву. Она пианистка, может работать в театре, у нее дочь семи лет. Оставьте ее, прошу вас, в Москве, ну арестуйте меня за мою просьбу, а ее оставьте. Сделайте это для меня". — "Хорошо". Агранов тут же позвонил в милицию (узнав мой адрес), сказал по телефону: "Выдайте временный паспорт Анне Робертовне Грегер-Анастасьевой". Какое счастье было для меня, когда неожиданно в нашу коммуналку пришел милиционер, приставил руку под козырек, с удивлением смотря на меня — я была босиком, в простом ситцевом платье, — сказал: "Идите в наше отделение милиции, там получите паспорт". Я тут же оделась, побе-

жала. В милиции с таким же удивлением смотрели на меня, выдавая трехмесячный паспорт...

Несколько раз приходила Туся, приносила мне деньги от Пастернака. По его совету, чтобы легче было получить постоянный паспорт, я поступила на работу. Сначала жилец по двору помог мне устроиться на карьер. А что такое карьер? Не имела понятия. Потом узнала — под Москвой рыли канал, я выдавала рабочим зарплату, но по неопытности случалось, часто передавала лишнее и оставалась сама без копейки. Потом устроилась в подвал, где надо было пороть церковные ризы. Именно туда и была написана моим соседом анонимка. Однажды на собрании председатель месткома огласил письмо, прочел при всех: "Грегер — жена шпиона, врага народа, надо выгнать ее, она нарядилась в рабочую шкуру, но ей не верьте..." и т. д. Рабочие, все бабы зашумели: "Гнать, гнать ее!!!" Но наш директор встал на защиту: "Это письмо анонимное..." — и тут же вернул его мне. Я узнала по почерку руку соседа! Это был подлец, полуграмотный, агент ОГПУ. Дома я пришла к нему, показывая письмо. Он отпирался, вышел целый скандал! От всех переживаний я сильно разболелась. Там, в подвале, было очень пыльно, у меня стали нарывать пальцы на обеих руках. Врач бюллетеня не давал, я очень мучилась. Через три месяца срок моего удостоверения кончался, и Борис Леонидович опять пошел к Агранову. Наконец благодаря Борису Леонидовичу я получила постоянный паспорт. Несколько раз приходила Туся, приносила мне от него деньги. Она рассказывала, что, стоило Борису Леонидовичу выйти на улицу, к нему подходили чужие люди, просили денег, зная его доброту, и он никогда им не отказывал.

Борис Леонидович продолжал хлопотать. В сентябре 1933 года он мне посоветовал написать письмо Елене Дмитриевне Стасовой, занимавшей в то время пост председателя Центральной контрольной комиссии партии и председателя Международной организации помощи борцам революции, с просьбой принять меня и его, надеясь на ее помощь. Ведь имена Владимира и Дмитрия Стасовых и Ф. М. Блуменфельда в мире музыки в свое время были тесно связаны. Но она принять нас отказалась. У меня осталась эта записка.

Через некоторое время я узнаю, что Б. Л. написал письмо Калинину с просьбой3 уменьшить Виктору срок. "Сделайте это для меня", — в очередной раз просил он. В 1934 году я получила бумагу из ВЦИКа: "Срок сокращен до 5 лет" (вместо 10).

Летом получила письмо от Виктора. Он мечтал о моем приезде, и я решила поехать к нему в лагерь. Отнесла в Торгсин обручальное кольцо червонного золота, накупила продуктов целый мешок и поехала в Западную Сибирь. Дали свидание на 15 минут. Рано утром, чуть светало, я пошла в лагерь. Вышка, из которой виден весь лагерь, была свободна (была смена караула). Я влезла, сама под зонтиком... шел дождь, кругом было много бараков. Заключенные мылись, строились по рядам, их проверяли по фамилиям. Я старалась угадать — где же Виктор среди серых, грязных фигур? Смотрю, идет патруль, трое солдат с ружьями, они обомлели, увидев меня, подошли, набросились — как вы смели сюда влезть? "Ну так что? Я хотела повидать мужа". Был скандал, меня выгнали, сказали прийти в 4 часа.

Вся в слезах подошла я с мешком продуктов к забору лагеря, кругом была колючая проволока, мне открыл дверь солдат, увидел мои заплаканные глаза, слезы, сказал: "Со слезами не впущу, идите умойтесь и с улыбкой приходите". Я быстро побежала в хату, рыдая умылась (смейся, паяц!) и, насильно смеясь, пошла. Лагерь был на горе. Пустое поле, и с горизонта мчались синие-синие тучи, сверкала молния, надвигалась гроза... Виктор вошел такой худой, страшный (он был на тяжелых физических работах, грузили деревья на платформы). Мы бросились друг к другу, недалеко стоял патруль. Свидание дали 15 минут. Гроза! Гром! Молния! Мы стояли в объятиях, не в силах

сказать ни слова. Нас поливал ливень. Солдаты пожалели нас, мы были вместе 1/2 часа. Я провела в этом селе неделю, познакомилась с милым начальником лагеря, бывшим заключенным, он обещал хлопотать, чтобы Виктора сняли с физических работ. Он заболел кровавым поносом. После голодных обедов привезенная мною еда — масло, сало ит.д.- не пошла впрок. Видала я там заключенных, бывших раскулаченных, до того опухших от голода, что не было видно глаз!

По приезде в Москву я пошла к Пастернакам. Они уже жили в Лаврушинском переулке, на 8-м этаже, а Борис Леонидович имел еще отдельный кабинет этажом выше. Зина сказала: "Не надо Боре рассказывать о том, что вы видели и пережили в лагере, чтобы не расстраивать его".

В этот период Б. Л. плохо себя чувствовал, его мучила бессонница. Но я не удержалась и вскоре рассказала ему все. Он плакал».

Но время шло, Б. Л. продолжал помогать и дальше... Вот то, что уже хорошо помню я. Несколько лет подряд я жила в семье Б. Л. на даче. В моей памяти сохранились сугубо детские воспоминания и восприятие самого Бориса Леонидовича.

В 1935 году в Загорянке (по Сев. ж. д.) была снята большая дача с участком. Для воспитания своих сыновей, Адика и Стасика, Зинаида Николаевна приглашала мою тетю Наталью Феликсовну, а она на все лето брала с собой меня. Туся, как мы ее называли, была как бы нашей гувернанткой. Детская жизнь была организована так, чтобы не мешать строгому режиму Бориса Леонидовича, а главное — не мешать ему работать. Именно в то лето, после суматошных, каких-то необычных сборов, Борис Леонидович уехал куда-то далеко за границу, и когда он вернулся, то его все радостно встречали4. Из наших детских воспоминаний самое яркое впечатление было от привезенных всем подарков. Мальчикам он привез маленькие заводные автомобильчики, совершенно одинаковые, но разные по цвету, с которыми они уже до конца лета не расставались.

В то же лето 1935 года к нам на дачу иногда приезжал всеми обожаемый и любимый гость — Ираклий Андроников — он был молод, обаятелен. Он тогда уже необыкновенно талантливо многих пародировал. Конечно же он пародировал и самого Бориса Леонидовича, и очень удачно.

Следующее лето мы жили уже в Переделкине. Это был 1936 год. Строился новый писательский поселок. Повсюду чувствовалось оживление, пахло свежим деревом. Хозяева поселка были молоды, энергичны и с удовольствием приобщались к новой жизни на природе уже не в чьих-то чужих, снятых на лето дачах, а в своих собственных. Эта первая дача Пастернака была не та дача, где Борис Леонидович с 1939 года жил до конца своей жизни и где умер. А эта первая дача была на другой линии, ныне проспект Серафимовича5.

Слева за забором была дача писателя Пильняка. Там тоже шла какая-то своя активная жизнь. Мы иногда видели, как он возился около своей машины...

Но однажды жизнь на этом участке замерла... Затихла. Из разговоров взрослых я поняла, что там что-то случилось. Как стало известно потом — ночью Пильняк был арестован6.

Наша детская жизнь текла все так же беззаботно. Пастернаки очень дружили с семьей поэта Сельвинского, часто встречались, а нашей подружкой была его дочь — Тата.

Мы всегда вместе играли, ходили со взрослыми на прогулки — на пляж, на протекающую там малюсенькую речку Сетунь. На ту самую речушку, на которую ежедневно, в определенный час, до самой глубокой осени и в любую погоду, ходил купаться Борис Леонидович. Я прекрасно помню, как он возвращался с купания, всегда бодрый, в хорошем настроении, с махровым полотенцем через плечо. Он бурно

восхищался своими ощущениями после купания. У него возбуждался аппетит, и он с удовольствием заглядывал в кастрюли на кухне. В эти часы он становился «земным», от него веяло жизнерадостностью и он с удовольствием общался с нами и в эти минуты делался «наш». В остальное же время его покой ревностно охранялся Зинаидой Николаевной. Она была замечательной хозяйкой, и весь режим дачной жизни был подчинен Борису Леонидовичу. Вокруг все было организовано так, чтобы ему не мешать работать и отдыхать. Надо сказать, что у него был «железный режим». Мы знали, что где-то там, наверху, куда нам подниматься было категорически запрещено, находятся какие-то покои, где работает и отдыхает поэт. Он просыпался рано, прогуливался и потом работал до самого обеда. Мы с ним могли общаться только тогда, когда он «оттуда» спускался. В основном это было общее сидение за обеденным столом. А потом наступал «мертвый час». Борис Леонидович опять поднимался к себе наверх и отдыхал до очередного купания на речке, куда он ходил регулярно именно в эти часы. А нас Туся опять уводила куда-нибудь подальше от дома.

Но я немного отвлеклась. Перенесемся опять в то первое лето 1936 года в Переделкино.

Помню, как-то во второй половине дня после обильного теплого дождя мы вышли гулять. В конце участка была волейбольная площадка, и участок заканчивался еще недостроенным, условным забором, а за забором небольшой лес. По утрамбованной песчаной площадке ползали розовые дождевички, кругом блестела омытая дождем трава. Каждый из нас был занят своим восприятием природы. Вдруг из-за забора, из леса появился Борис Леонидович. Он весь сиял и торжественно нес перед собой в вытянутой руке одну-единственную благоухающую лесную фиалку. Он медленно подошел к нам, детям, и своим низким певучим баритоном как бы «промычал»: «Вы посмотрите, какое чудо!» — и еще какие-то восторженные слова. Мы сразу бросили свои земные дела и попали в круг его поэтического обаяния. Я невольно протянула руку, чтобы взять этот цветок и понюхать. Но не тут-то было, Борис Леонидович с ужасом отдернул свою руку, боясь моего «земного» прикосновения к этому «чуду природы». «Нет, нет, нет!» И торжественно унес ее к себе, в светелку. Не знаю, написал ли он стихи, вдохновленный этим чудом?!7

Позднее в воспоминаниях К. И. Чуковского о Б. Пастернаке8 я прочитала: «Взволнованно, как большие события своей собственной жизни, переживал он все, что творится в природе, — все ее оттепели, закаты, снега, дожди — и радовался им бесконечно». (И еще вспоминается мудрое изречение: «Удивление — источник познания».)

Моя детская память запомнила все удивительно точно, ведь я была у первоисточника поэзии. И почувствовала это очень верно.

Вспоминается еще один эпизод в то же лето в Переделкине, не менее интересный.

Как-то во второй половине дня, в послеобеденное время, я гуляла около дома. Вижу, что на открытую террасу, как бы на эстраду, вошел мужчина с дамой. Борис Леонидович очень обрадовался их появлению, засуетился, позвал Зинаиду Николаевну: «Зина, посмотри, кто к нам приехал!»

Этот незнакомый мне мужчина был элегантно одет, он снял шляпу, взяв ее в руки, очень театрально, живописно сел в соломенное кресло возле круглого стола, положив ногу на ногу. Снизу я видела в профиле силуэт его скульптурной фигуры. Он сидел в непринужденной театральной позе. Борис Леонидович, увидев меня, позвал и сказал: «Беги скорее к Фединым, скажи, что к нам приехал Всеволод Эмильевич Мейерхольд с Зинаидой Райх. Пусть непременно скорее приходит к нам».

Я почувствовала, что это очень важное задание, и со всех ног кинулась его исполнять.

Зинаида Николаевна была незаурядной женщиной. Это ярко выраженная индвидуальность и по своему характеру, и по своей красивой внешности. Недаром Борис Леонидович в ту пору любил ее безумно, как только может безумно любить поэт. Зинаида Николаевна была очень своеобразно красива. Она создала свой неповторимый стиль, которому не изменяла всю свою жизнь. Ее темные волосы, коротко стриженные, были всегда одинаково причесаны: разделенные пробором, они прикрывали в виде челочки лоб и ниспадали до уха выложенными волнами. У нее был красивый пухлый рот и прямой, правильной формы нос. Она всю свою жизнь элегантно курила, выпускала дым через ноздри, и ей это очень шло. В ее уютной комнате и от нее самой всегда приятно пахло духами, смешанными с запахом хороших папирос. Она была величаво спокойна, сдержанна, никогда не повышала голоса. В ней чувствовалась оправданная уверенность в себе.

Она страстно любила играть в карты и часто раскладывала пасьянс. Зинаида Николаевна была полновластной хозяйкой своего дома. Никогда не работала и всю себя отдавала хозяйству, которое вела как-то легко, элегантно, и ей это отлично удавалось. Все кругом блестело, одежда «хрустела» от крахмала, мальчики одеты всегда были безупречно. Но главное внимание уделялось воспитанию мальчиков и конечно же Борису Леонидовичу, жизнь которого тоже была налажена безупречно и режим которого ревностно охранялся.

Сыновья Зинаиды Николаевны удались ей на славу. Каждый из них был по-своему красив и неповторим. Во всех чувствовалась порода, и все три брата обладали таким даром, как обаяние.

А вот несколько воспоминаний о Зинаиде Николаевне моей мамы:

«Летом Зина взяла мою дочь Марго на дачу. Однажды я приехала к ним. После обеда Зина, Б. Л. и Гаррик пошли в лес. Пригласили и меня. Я шла сзади, наблюдая, восхищаясь, любуясь — Зина в красивом, голубом с розовыми цветами крепдешиновом платье шла в середине, а с двух сторон Борис Леонидович и Гаррик в темных костюмах, оба интересные, талантливые — поэт и музыкант! Солнце просвечивалось сквозь листья, аромат сосен, травы... Такая прелесть!»

«Знаю, что Б. Л. обожал Зину, боготворил каждый ее шаг. Помню, как, бывая на даче, видела Зину (сейчас это принято, но тогда казалось странным) босиком, в черном бюстгальтере, в черных трусиках, красавица белотелая, с "царственными плечами" (почему Пастернак и Блок так любили женские плечи?). Зина делала с работницей уборку, вытирали пыль, мыли полы. Гаррик изредка приезжал, он очень любил Б. Л., и дружба их оставалась неизменной до конца».

«Борис Леонидович был влюбленным, нежным мужем. Посвятил З. Н. много стихотворений — З. Н. действительно была очень красивой женщиной, со вкусом, заботливой женой и матерью своих мальчиков, прекрасной хозяйкой, умело руководила домом. Туся с Оленькой шутя называли ее "генеральшей"».

Детство наше ушло, пришла юность. Стасик Нейгауз уже закончил консерваторию, я была принята во МХАТ. Были еще живы «великие старики»: Генрих Густавович Нейгауз и Борис Леонидович Пастернак, и нам иногда выпадало счастье встречаться с ними. Помню одну из таких встреч. Правда, она не делает нам, «молодым», чести. Но что было, то было. Мы собрались у Стасика дома за праздничным столом в день его рождения. Был Борис Леонидович с Зинаидой Николаевной, Генрих Густавович с женой Мили-цей Сергеевной, Борис Николаевич Ливанов со своей супругой. Надо сказать, что Пастернака и Ливанова связывала многолетняя дружба и взаимное восхищение друг другом. За столом сидела и наша «молодая гвардия» — молодые актеры Художественного театра. Зашел спор о музыке и о поэзии. О ужас! Как смело,

уверенно и безапелляционно высказывались мы и как деликатно, как бы извиняясь за наше невежество, Борис Леонидович и Генрих Густавович.

Зашел разговор о музыке, и кто-то из нас сказал, что вот Чайковский и Рахманинов — это, мол, да! «А вот Брамс не совсем понятен...», с чем Генрих Густавович деликатно не соглашался.

Потом добрались и до поэзии, и, главное, до самого Бориса Леонидовича. Он прочитал нам свои стихи. Мы сказали, что не все поняли, а стихи и музыка, мол, должны быть понятны всем. И что гораздо правильнее и лучше стихи читают не сами поэты, а актеры, вот, например, В. И. Качалов!

Кончился вечер тем, что не понятые нами Борис Леонидович и Генрих Густавович, смущенно улыбаясь, стали собираться домой. И я очень хорошо помню Бориса Леонидовича в передней уже одетого, он держал кепку в руке и говорил, улыбаясь: «Ну что же особенного? Ведь бывает так... вот лежит под забором пьяный, а где-то рядом кричит петух — "ку-ка-ре-ку!". А пьяный отвечает: "Ну и что? Ку-ка-ре-ку! Ну и что? Ку-ка-ре-ку — ну и что? И так без конца"».

Вот так мы «победили»!!!

Когда я уже стала актрисой МХАТа, в моей памяти сохранился один эпизод, очень характерный для Б. Л., но меня в ту пору сильно удививший и взволновавший. В 1949 году (вскоре после принятия меня во МХАТ) я получила роль Магды Форсгольм, молодой партизанки, которая руководила партизанским отрядом.

Пьеса Вирты «Заговор обреченных» была выпущена одновременно во МХАТе и в Малом театре. Премьера, масса волнений, в спектаклях заняты все лучшие силы: Тарасова, Боголюбов во МХАТе... Гоголева, Царев — в Малом театре и т. д. Вдруг утром, через несколько дней после премьеры, раздается телефонный звонок, и я слышу милый гудящий голос Б. Л.: «Маргоша, милая, не расстраивайтесь, это ничего... что так написано... у нас еще все впереди»; я дословно не помню, что именно говорил Б. Л., только было ясно, что он меня всячески пытается утешить. Оказывается, именно в этот день, в «Правде» от 10 июня 1949 года, появилась рецензия Заславского на спектакль, где было написано: «В изображении М. В. Анастасье-вой (МХАТ) работница Магда — это пылкая девочка, не умеющая сдерживать свои порывы, трудно поверить, что она была начальником разведки в партизанском отряде...» Уже после звонка Б. Л. я прочитала эту рецензию и реагировала на нее соответственно.

Мама вспоминает, что «несколько лет не встречалась с Б. Л. Только однажды, на концерте в Большом зале консерватории, увиделись, поздоровались: "Анна Робертовна, жизнь прошла..." Я ответила глупой, банальной фразой: "Что вы. Еще много будет впереди!.."»

И вот вскоре после этого в Детском Московском театре, где я уже многие годы работала пианисткой, после репетиции собирается митинг, на котором всячески ругают Пастернака: «Как он посмел отдать в печать в Италию свой новый роман "Доктор Живаго"?! Его надо выгнать из Союза писателей» и т. д. Я пришла в ужас от этих разговоров и тут же поехала к Б. Л. в Переделкино, чтобы высказать ему свою преданность и любовь! Дома у них нашла одно горе.

Помню, как мы обедали у них в столовой (еще были его брат с женой), как он обращался к своему сыну, «малюткой» называя его! Вечером обняла его в последний раз и уехала в Москву. Через какое-то время узнала от Туси, что у Б. Л. рак легкого, что он серьезно болен, как говорил профессор — «рак на нервной почве». Зина никого к нему уже не пускала, навестить нельзя было, только Женя (сын от первой жены), Леня, Зина были возле умирающего. И вот Б. Л. скончался... Я поехала на похороны. В этот солнечный день поезд остановился на станции, сразу опустели вагоны, сотни людей — актеры, люди искусства вышли из вагонов, отправились на дачу, приехало

много иностранцев. 30 мая — масса цветов, в комнате, где лежал Б. Л., все было завалено цветами: розы, тюльпаны, сирень (он так ее любил). Гроб утопал в цветах. На рояле в соседней комнате играли Рихтер, Юдина. Почти все плакали. Многие громко рыдали. Когда Зина увела всех гостей в другую комнату, я осталась одна с покойным Б. Л. Подошла, поцеловала его руки, эти согнутые слегка пальцы! Сказала: «Благодарю вас за все, за все, мой дорогой, любимый Борис Леонидович!»

Далеко не все нашли в себе мужество быть на похоронах Пастернака. Ливанов Борис Николаевич — был. С его слов я знаю, что через некоторое время на каком-то совещании в Министерстве культуры ему высокое начальство сделало замечание: как это, мол, он позволил себе такое, ему не следовало бы так делать... На что Ливанов мужественно ответил: «Борис Леонидович мой большой друг, и не быть на его похоронах я не мог». Известно мне также и то, что в эти печальные дни срочно по распоряжению дирекции была изъята фамилия «Пастернак» с афиш и театральных программок спектакля «Мария Стюарт», который шел на сцене Художественного театра в его переводе.

Еще несколько отрывочных воспоминаний моей мамы: «И вот на афишах — вечер Пастернака. Борис Леонидович весь вечер читал под гром аплодисментов. Возвращались с концерта. Зина шла с Тусей, а Борис Леонидович взял меня под руку. Мы шли впереди по Страстному бульвару. Он был в прекрасном настроении, возбужден после концерта, весел...»

«На концерте Нейгауза мест свободных не было, и меня посадили на эстраду. Гаррик играл сонаты Бетховена. В антракте пошла в артистическую. Там, конечно, был Борис Леонидович — вся грудь его пиджака сияла от слез, как в бриллиантах, — он проплакал весь концерт, слушая Шопена, Бетховена в исполнении Генриха Густавовича».

«Как-то вечером зашла к Зине. Она, оказывается, уже ушла в гости. Меня встретил Борис Леонидович. Он был в костюме, тоже собираясь уходить вслед за ней. На голове у него была чалма из полотенца, очевидно, завернул голову после мытья. На сей раз он мне показался необычайно красивым. Смуглый араб в чалме.

И еще как-то раз мне запомнился его облик совсем иным. Он сидел за столом, ворот рубашки был расстегнут, обрамляя красивую мужскую шею. Я обратила внимание на его руки с чуть согнутыми пальцами. Мне все было в нем мило. Чувства благодарности, дружбы, восхищения нахлынули на меня. Мой спаситель!

И вот то последнее, сказанное Борисом Леонидовичем:

"Я никогда не лгал, Анна Робертовна. Я не могу лгать!"»

Мария Гонта

МАРТИРИК

Цунами, набегая на берег, обнажает морское дно.

Учебник географии

Осенью 1930 года, по приглашению М. Ф. Андреевой1, Борис Пастернак читал «Спекторского» в зале Дома ученых на Кропоткинской. Успех громадный. Тишина. Холодок по спине. Материальное ощущение все возраставшего силового поля между поэтом и аудиторией.

В конце вечера зал, как один человек, встал, ликуя, окружил поэта и двинулся вслед за ним к выходу.

Опьянение поэзией, элевксинские таинства — не миф. Высоко поднятые руки, радостные крики: «Эввива! Эвоэ!» — в переводе на русский: «Браво! Здорово! Великолепно!» — эпидемия высокой болезни. Радость дарить и получать, понимать великое наслаждение искусством.

Прекрасно счастливое лицо Бориса Пастернака: в нем и смущение, и гордость, и Бодлерово веселье, и озаренность — все сбылось!

Путаясь в лианах хмеля, зал вылился из узкой двери на внутренний дворик клуба. И на прощанье счетчик этой неистовой поэтической радиации забился еще сильнее. «Вы — замечательный! Чудесный! Самый лучший! Великий! Гениальный поэт!»

Пастернак растроганно и смущенно отрицал эти чрезмерности жестами, головой. Вдруг рядом девушка закричала: «Вы — первый поэт страны!» И это простое числительное «первый» вдруг резко отрезвило его. Строго он сказал: «Нет, первая — Марина Цветаева».

Никто не знал Марины, не заметил никто, как отключился Пастернак от праздника к уединенности. Напротив, найдя меру оценки, зал, все еще роем, в такт всплескам рук шумел складами: «Са-мый пер-вый! Пер-вый! Са-мый пер-вый поэт страны!»

И еще одно слово разошлось из этого зала, вошло в обиход: интеллектуальная поэзия Пастернака.

Но за официальным занавесом нарастало и прорывалось в печать какое-то недовольство. Критика в адрес «Спекторского». После «Девятьсот пятого года» и «Лейтенанта Шмидта» от него ждали чего-то вроде «Семена Проскакова»2. И уже совершенно определенно репортажа с новостроек, например поэмы о Днепрострое.

Доклад Асеева в декабре 1931 года в деловом зале флигеля Союза писателей на Поварской «О состоянии современной поэзии» был прямо направлен против Пастернака.

...Длинный узкий зал был полон. Доклада ждали. Докладчик дошел до кульминации: «Некоторые поэты, как, например, Пастернак, пренебрегают своими общественными обязанностями, не ездят на новостройки, занимаются кабинетной работой, им чужд пафос строительства новой жизни, пульс пятилеток...»

В конце зала незаметно открылась дверь. Вошел Пастернак. Слушал. И зал, начиная с задних рядов, — такое не увидишь, — зал тихо встал, обратясь лицом к Пастернаку.

Асеев не сразу понял красноречивую стену спин слушателей, потом вскочил с кафедры и быстрыми шагами стал пробираться по длинному проходу, на ходу меняя выражение лица, раскрыв объятия, заговорил о дружбе.

С неопровержимо мягкой улыбкой и озорным блеском в глазах Пастернак сказал словами Бюффона:

— Да, да, конечно. «Я побью вас палкой, а потом стану уверять в любви».

«Было две знаменитых фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине тридцатых годов, к поре Съезда писателей» («Люди и положения»)3.

В 1935 году Пастернак выехал в Париж. Никогда еще парижане не проявляли столько жара и симпатии к русским. Но делегации был дан строгий наказ не якшаться с эмигрантами. А тут...

— В столовую, где мы обедали, вдруг ворвалась Марина Цветаева. Бросилась ко мне. Я представил ее всей остальной делегации: Тихонову и другим. Завязалась общая живая беседа. Марина хотела возвратиться в Россию. Я жаждал этого страстно и не мог сказать ей: приезжайте. И не мог объяснить, почему приезжать не надо.

Париж встречал нас восторженно, демонстрации, приветствия, цветы, не только на конгрессе — на улицах, в фойе, в театрах, в гостинице. Русских любили.

«Не жертвуйте лицом ради положения», — мелькнувшее как бы случайно в его речи на Первом съезде писателей становится опорой для него в той неслыханной

смелости и благородстве, с которыми пронесет Борис Пастернак свое лицо через деструкцию культуры и террор, до самого конца.

В Минске в 1936 году он сказал, что социалистический реализм надо вести не только от Горького, но от Толстого, от традиций русской классической литературы: он осудил приподнятую фанфарность, балаганность, эстрадность поэзии, когда Безыменский снова обвинил Пастернака в том, что он «не ездит читать стихи».

— От нас требуют дела, а мы клянемся в верности, — говорил Пастернак.

Он возражал против рецептов и производственной машинное™ творчества.

— Я не буду повторять вас, я буду спорить.

Он говорил о «следствиях гигантоманических смещений, по отношению к которым каждый из нас не более козявки. Но в какой-то стороне нашего застоя повинны мы сами как члены корпорации, как атомы общественной ткани». Он еще верил в общество. Призывал к смелости воображения, к риску и душевному самопожертвованию, без которого нет искусства.

— Будьте смелее. Я не помню декрета, который запрещал бы быть гениальным. — Гениальность Пастернак понимал как норму совершенства обыкновенного человека.

Безбожно, кощунственно касаться кратко этой речи и кромсать ее цельную непередаваемую художественную и философскую ткань, но это кредо, это ключ к дальнейшему.

Минск — последняя трибуна писателя, — остальные 25 лет мы будем «слушать» его в книгах и поступках.

Впервые Борис Пастернак познакомился с грузинской поэзией в 1924 году. В Москву приехал Григорий Робакидзе4. Его называли грузинским Пушкиным.

Был июль. Была жара. Окна квартиры в Мертвом переулке открыты настежь. Врывается разноголосый шум переулка.

Представлялось: грузин с тонкой талией, в черкеске с газырями — огненный Шамиль, а пришел блестящий парижанин, изысканный денди с безукоризненными манерами, в костюме от Ворта или Диора, не менее. Его встречали: Николай Тихонов, еще Серапионов брат, едва хлебнувший «Браги», синеглазый и белокудрый Лель, впервые надевший пролетарскую толстовку — коричневую в рубчик; Дмитрий Петровский в матроске, с трубкой в зубах и серебряною шашкой и песнями червонного казачества; единственный по виду европеец Борис Пастернак, в своем сером ладном пиджачке с узким синим галстуком в мо-рошинку, — по сути ж сущий африканец, стремительный, живой, он жаркими глазами оглядывает гостя, и его приветливость и бурное обаяние речи уже сдружили всех сверканием улыбок и рукопожатий.

Гость предложил стихи по-русски и по-французски.

Борис просил по-грузински.

Гость попросил разрешения у хозяйки.

— Читаю первый раз, — сказал. — Тимур мчит через горы на коне пленницу. Гроза. Погоня. Пропасти.

И тут разверзлось жерло грома. Громче не читал никто. Состязание двух дьяконов у Лескова — просто петушиный писк. Из горла Григория Робакидзе вырывались одни согласные, короткие, громокипящие, клокочущие и рычащие, но звучали они, как гласные, не слыханные ни на одном языке, ни даже в рычании тигров. Но ритм, бесподобной стройности ритм держал всю эту орду звуков, живописующих и страстных, в одной узде.

Тимур гнал коня через горы, и тонкой иглой пронзала топот коня жалоба пленницы. Лица слушателей напряжены, руки невольно перебирают поводья.

Мы все скакали в ритме дикого коня, пренебрегая безднами. Скакал конь. Гремела гроза. Хозяйка дрожала поперек седла не только от страха: в переулке, полном

праздничного гама, все стихло — гармошка, песни, перебранки. Захлопали ставни и двери. Метались люди. Что случилось?

В топоте Тимурова коня хозяйке слышался топот конной милиции...

...Сыпались камни. Обваливалась дорога. Скакал конь. Гроза гремела. Настигала погоня. Тимур летел через пропасть, роняя пленницу в кипящий котел Дарьяла...

Все долго молчат. Как после бури или кораблекрушения. Небывшее событие — ярче действительности. Какая-то магия, фантасмагория — сейчас сказать бы дьявольская голография — и вместе с тем грубая вещная сила, точно воздушный вихрь пронесся над нашими головами и позвал вслед топоту коня...

С трудом отлепляя язык от гортани — от изнеможения, Борис сказал:

— Стихи для Голиафов пишут прозой, страстями, гибелью. И всем дьявольским оркестром правит копыто коня. Копыто, занесенное над Европой.

— Стихи пишут один раз, — сказал Робакидзе, — и один раз читают.

Эпизод казался лишним. Был зачеркнут.

Нет, нет ничего лишнего в жизни Пастернака. Его друзья, его впечатления. Всех нас с того вечера поэма Робакидзе увела на Кавказ.

Пастернак первый, кому должен рассказать о Грузии Николай Тихонов. Для того, чтобы совершить свое путешествие вместе с ним. Волосы дыбом, красный от загара, как индеец, Тихонов выпаливает свои рассказы, как фейерверки из ракетницы. Никогда Тихонов не напишет и не расскажет лучше, чем сейчас. Оба поэта скачут по Грузии, как два Тимуровых коня. Оранжево-черное пламя Пастернаковых глаз скрещивается с голубым тихоновским. Аж искры сыплются, как бы не загорелась крыша.

— Да, да, Мцхети, пятый век. Там жил Мцыри. <...> Да, да, отсюда пошел Хаджи Мурат.

Тихонов начинает с 1918 года. Воюют богатые уравновешенные меньшевики (князь Церетели) с бедными большевиками: ни денег, ни даже ишака. И тогда ради революции Карташвили ограбил английский банк в Тбилиси. Мешок золота. Напечатали листовки. Добыли оружие и транспорт. Двинулись в горы. Победила революция.

Эта встреча происходит в 1928 году в столовой Дома ученых, куда Тихонов, едва сойдя с поезда, позвал Бориса Пастернака. Я была третьей.

Тихонов ходил пешком по аулам. Его братски приняли грузинские поэты: Паоло Яшвили, Тициан Табидзе, Григол Абашидзе, Иосиф Гришашвили. Знакомые до боли лица! — двумя годами ранее, в 1926 году, мы с Дмитрием Петровским месяц провели в Тбилиси. Комната Табидзе. Кабачок «Симпатия».

Конечно, не потому, что блеснул метеор, астроном изучает небо. Есть глубокие причины событий, есть и поводы, толчки к этим событиям.

Путешествие Пастернака в Грузию, его близкое знакомство с поэзией страны было неизбежно по внутренним творческим причинам. Иссякли источники поэзии в России, по собственному его, Пастернака, замечанию, поэтов оставалось двое: отсутствующая Цветаева и Асеев, скорее из вежливости или великодушия названный.

В 1930 году в Москве состоялось знакомство Пастернака с самым ярким и мужественным поэтом Грузии Паоло Яшвили.

В Грузии выросла могучая плеяда поэтов, сильных и своеобразных, державшихся единой «Могучей кучкой».

А в 1931 году возник и повод, в котором «дышала почва и судьба», — повод, который включал в себя полную и безоглядную возможность восприятия Грузии и ее поэтов: разрыв с горячо любимой семьей ради любимой женщины, будущей его жены, Зинаиды Николаевны, с которой, оставя дом и все до того привычное, бежит он в Грузию.

Он опишет это путешествие в «Людях и положениях» и в стихах о Грузии, каждого слова которых касаешься с признательностью и благодарностью.

Каждый, кто бывал там и кто живет в Грузии, найдет в этих строках глубиннейшее восприятие красоты и достоинства, которым сам имени найти не мог.

В 1937 году на конференцию приехали грузинские поэты. Солнечным днем они расположились группой в садике Союза писателей на Поварской. Свежие, красивые, беспечные цари природы.

Великолепный поэт и человек Паоло Яшвили с женой-красавицей и девочкой шести лет. Тициан Табидзе, очарованная душа грузинской поэзии; огненный Жгенти; суровый и мужественный Абашидзе; лирик с мягкой и нежной душой — Гришашвили; отличный переводчик Цагарели.

Непринужденный разговор. Играла восхитительная девочка на траве. Они смеялись весело и громко, как будто ничего не случилось, ничего не знали или не хотели знать. И, по контрасту красного с зеленым, мы, встречавшие их москвичи, почувствовали себя придавленными, сжатыми, согбенными, старыми. Мы забыли и разучились смеяться и только сейчас это обнаружили.

Глаз отдыхал на их нетронутости, и хотелось этому верить.

И был пир. Грузинские поэты привезли с собой легкое отличное вино, Союз писателей прибавил к нему изысканный ужин: салаты, крабы, цыплята, шампиньоны.

Накрыты четыре длинных стола в двухсветном зале Союза писателей человек на 200. Откуда эта удивительная культура застолья, почти обрядовая, почти ритуальная? Нет, не от Рима, там объедались лежа. Не от Рима, хотя народ грузинский существовал во времена расцвета Рима. Она от давней культуры, включавшей возделывание жизнерадостной лозы, от характера народа, не споить, а спаять в единый сплав собеседников, радующихся жизни, приправить эту радость блеском ума и доброжелательности.

Это не сидячий пир: стихи, приветствия, тосты перелетали от стола к столу. Все знали и любили друг друга. Антокольский, Лу-говской, Казин, Цагарели — за нашим столом в глубине зала.

Наш тамада — великолепный Дадиани, могучий богатырь, разросшийся в ширину, и потому он занимает столько места, сколько Геракл и лев вместе, и столько же в нем жизнедеятельности и прочности. Он никогда не умрет. Из посеребренных годами джунглей его волос, усов и бороды горят огнем молодые глаза. Мягким громовым голосом он возглашает старинные тосты. Из них можно составить книгу. Поэты отвечают ему свежими экспромтами.

Все встали и стали прощаться с первым столом, у которого стояли, последними покидая зал, зачинщики этой встречи — грузинские поэты и с ними вместе Борис Леонидович и Зинаида Николаевна.

Прощались. Красота врезается в память. Всякое глубокое наслаждение таит в себе печаль. Ослепительная белизна рубашки, черный костюм Паоло Яшвили. Совершенство его лица, приподнятость всей фигуры, которую придавали столбом растущие густые волосы. Ослепительная белизна плеч его жены в рамке бархатного платья. Вот такой и была царица Тамара! Тициан Табидзе, который всегда напоминал мне прекрасного ребенка, выросшего до размеров юноши. Сходство это усиливалось короткой челкой и взглядом глубоких, нежных и доверчивых глаз.

Борис Леонидович, светящийся от восхищения, живо чувствующий радость, был как бы в невесомом состоянии. От избытка сил он схватил одного из своих друзей5, неожиданно увиденных, и по широкой лестнице вынес его на руках и поставил на хорах, на втором этаже двухсветного зала. И предположить было невозможно, какой

большой физической силой наделен Пастернак. Подумалось, что он пишет всем существом, как некоторые певицы поют всем телом, а не только горлом.

Никто не знал, что это был пир во время чумы. Что этот взгляд — последний.

Тициан Табидзе едва доехал до своего дома. Паоло Яшвили застрелился.

«Зачем посланы были мне эти два человека, — написал Пастернак о Яшвили и Табидзе. — Как назвать наши отношения? Оба стали составной частью моего личного мира. Я ни одного не

предпочитал другому, так они были нераздельны, так дополняли друг друга. Судьба обоих вместе с судьбой Цветаевой должна была стать самым большим моим горем». Он написал реквием.

Душа моя, печальница О всех в кругу моем, Ты стала усыпальницей Замученных живьем.

Александр Афиногенов

ИЗ ДНЕВНИКА 1937 ГОДА

24/1

Разговор с Пастернаком. Он рубил ветки с елей. Подставлял лестницу, неловко ударял топором, ветки падали, работница ломала их и складывала на санки. Лицо у него было в соринках от веток и зимней прелой хвои.

«Я буду говорить откровенно. Мне трудно выступать1. Что сказать? Можно сказать так, что потом опять начнется плохое. Меня будут ругать. Не поймут. И опять на такое долгое время я перестану работать. Жена упрекает меня в мягкотелости. Но что мне делать? Кому нужно мое слово, — я бы мог рассказать о встрече с Пятаковым, Радеком, Сокольниковым у Луначарского. Они упрекали меня в мягкотелости, в нерешительности, в отсталости от жизни, в неумении перестроиться. Они слегка презирали меня. А я невзлюбил их за штампы в мыслях и разговоре. Но те же штампы и теперь висят надо мной. Они в "Литтазете,, — в статьях, в словах... Я помню, Пикель2 говорил ужасный вздор с видом учителя, уверенного в правоте. Я не верил ему. Но теперь, когда я смотрю в лицо того, кто говорит мне — так же учительски, — я вижу в нем штамп Пикеля. Я хотел бы говорить о моральной среде писательства. О каких-то настоящих мыслях, которые приходят вне зависимости от суда и откликов, которые живут в нас и заставляют нас писать стихи или драмы. Зачем мне выступать? Я не могу сказать по-обыкновенному, и опять выйдет плохо. Я лучше выступлю на небольшом собрании и все расскажу совершенно искренне. Я не понимаю, зачем мне говорить с большой трибуны?»

Он курил, бросал спички в пепельницу, останавливался, говорил, рваные мысли, фразы... трудно было уследить за ходом его рассуждений... «Я понимаю — нужно говорить Киршону3. Он найдет нужные слова. Но мои слова совсем другие. Я могу сказать о мертвящем штампе в литературе. Иногда мне кажется, что этот штамп есть проявление тех качеств в человеке, которые создали людей, подобных Пятакову и Радеку. Я еще ничего не читал о процессе — почему-то мне не присылают газету, должно быть, я опоздал подписаться на нее... но все равно — я слышал кое-что. Это — ужасно. И я от этого совсем не весел. Все это очень дорого нам стоит. А писателям и поэтам особенно надо быть внимательными к себе — надо уметь выводить поэзию за пределы таких ломок отношений к людям. Это уже политика — правильная и нужная, но ведь я не политик, я не хочу лезть в драку, я хочу писать стихи».

26/VI

Пастернак:

«Я понимаю, когда после долгой разлуки человек отворяет дверь и входит в комнату с радостными восклицаниями: — А, сколько лет! Как я рад повидать вас снова! Наконец-то!.. — Но что бы вы, вы сказали, если б этот человек через пять минут

вышел из комнаты и снова вернулся с тем же восклицанием... и потом опять через десять минут...

Я восторгаюсь нашей страной и тем, что в ней происходит. Но нельзя восторгаться через каждые десять минут, нельзя искренне удивляться тому, что уже не удивляет. А меня все время заставляют писать какие-то отклики, находить восторженные слова...»

«На Пушкинском пленуме4 меня все время раздражало сравнение наших поэтов с Пушкиным... Этот стоит ближе к Пушкину — тот дальше... Это как если бы мы начали сравнивать рост нормального человека с километром и говорить: в нем одна пятисотая километра...

Так не делают, так не надо сравнивать нас с Пушкиным, явлением необычным и несравненным <...>».

Пастернак любит Чехова и сейчас перечитывает его. «Художник должен уметь останавливаться и удивляться увиденному. Для него совсем не надо уметь летать через полюс или спешить увидеть многое. Для него надо развить в себе врожденную способность видеть» <...>

29/VIII

Роман Пастернака, судя по отрывкам, превосходен5. Сжатые фразы, необычайная образность, простота, размах событий и охват... Его мы хвалили, он сидел и гмыкал, смущенный, но радостный. Жена его все сводила на землю — пугала: «Вот тебе покажут, каких ты еще в революции девушек нашел! И шкапы какие-то приплел». <...>

14/IX

Вечером пришли Пастернаки. Пока мы играли в карты — он сидел на диване и читал по-английски, потом просматривал Вебстера, он поражает меня жаждой знать больше, не пропускать ни одного дня — он прекрасный пример одухотворенного человека, для которого его поэзия — содержание жизни...

20/IX

<...> Как много значит простое человеческое одобрение... Вчера вечером Пастернак зашел, сел и сразу начал: «Я знаю — вы не только победите, вы уже победитель, и, пожалуйста, не сомневайтесь в себе, своих силах и способностях. Ну конечно же вы напишете настоящую, большую вещь, и тогда все злое, что было вокруг вас, осыпется, отпадет, вы, пожалуйста, не задумывайтесь над своей судьбой, ваша судьба одна — вы должны писать...» Эти хорошие слова хороши особенно тем, что они падают на готовую почву, на мои созревающие решения, на меня, измененного за эти шесть месяцев — на шесть лет... столько прошло, столько было пережито — если б теперь была возможность работать — о, я бы много хорошего мог написать стране!

21/IX

Разговоры с Пастернаком навсегда останутся в сердце. Он входит и сразу начинает говорить о большом, интересном, настоящем. Главное для него — искусство, и только оно. Поэтому он не хочет ездить в город, а жить все время здесь, ходить, гуляя одному, или читать историю Англии Маколея, или сидеть у окна и смотреть на звездную ночь, перебирая мысли, или — наконец — писать свой роман. Но все это в искусстве и для него. Его даже не интересует конечный результат. Главное — это работа, увлечение ею, а что там получится — посмотрим через много лет. Жене трудно, нужно доставать деньги и как-то жить, но он ничего не знает, иногда только, когда уж очень трудно станет с деньгами, — он примется за переводы. «Но с таким же успехом я мог бы стать коммивояжером»... Но куда его ни пошли — он все равно остановит свой открытый взгляд на природе и людях — как большой и редкий художник слова.

Когда приходишь к нему — он так же вот сразу, отвлекаясь от всего мелкого, забрасывает тебя темами, суждениями, выводами — все у него приобретает очертания значительного и настоящего. Он не читает газет — это странно для меня, который дня

не может прожить без новостей. Но он никогда бы не провел времени до двух часов дня, как я сегодня, — не сделав ничего. Он всегда занят работой, книгами, собой... И будь он во дворце или на нарах камеры — все равно он будет занят, и даже, м. б., больше, чем здесь, — по крайней мере, не придется думать о деньгах и заботах, а можно все время отдать размышлению и творчеству...

На редкость полный и интересный человек. И сердце тянется к нему, потому что он умеет находить удивительно человеческие слова утешения, не от жалости, а от уверенности в лучшем. И это лучшее наступит очень скоро — тогда, когда вы вплотную войдете в свою работу, начнете писать и позабудете обо всем, кроме этого. <...>

За что же пьют? За четырех хозяек. За их глаза, за встречи в мясоед. За то, чтобы поэтом стал прозаик И полубогом сделался поэт.

В разгаре ужин. Вдруг, без перехода:

«Нет! Тише! Рано! Встаньте! Ваши врут! Без двух!..

Без возражений!.. С Новым годом!»

И гранных дюжин громовой салют.

(«Спекторский»)

Где-то и как встречу я Новый год? Будет ли гореть костер перед домом на снегу и найдутся ли друзья, с которыми можно будет выпить за новое счастье совсем, совсем новой жизни?

Да, найдутся, да — будет гореть костер...

Перед этим еще будут дожди и холода, морозы и одиночество — но Новый год должен быть радостной встречей именно НОВОГО! Что-то я запишу тогда? И какие еще случатся события, которые вернут меня жизни искусства. <...>

На жилище свое я смотрю как на временное, и потому не хочется ни пересаживать молодых яблонь, ни готовить землю для огорода к весне, весной надо уезжать далеко... это хорошо, что у меня уже нет ни следа привязанности к Москве, даче, всем знакомым местам и людям... Люди почти все оказались не теми. Один Пастернак — развернулся передо мной во всей детской простоте человеческого своего величия и кристальной какой-то прозрачности. Он искренен до предела — не только с самим собой, но со всеми, и это — его главное оружие. Около таких людей учишься самому главному — умению жить в любых обстоятельствах самому по себе. 24/IX

Для романа — обязательно о двух человеческих типах: Пастернак и Киршон. К-н — это воплощение карьеризма в литературе. Полная убежденность в своей гениальности и непогрешимости. До самого последнего момента, уже когда он стоял под обстрелом аудитории, — он все еще ничего не понимал и надеялся, что его-то уж вызволят те, которые наверху. Потом, уже после исключения, — ходил с видом таким, что вот, мол, ни за что обидели ч-ка... Он мог держаться в искусстве только благодаря необычайно развитой энергии устраивать, пролезать на первые места, бить всех своим авторитетом, который им же искусственно и создавался6. <...>

И — второй образ. Пастернак... Полная отрешенность от материальных забот. Желание жить только искусством и в его пульсе. Может говорить об искусстве без конца. Сегодня пришел к нему поздно — вся дача в огнях, никто не откликается, — оказывается, к нему пришел молодой поэт и они говорили о стихах — сидя за пустым столом, ни чая, ни вина, — и свет он забыл погасить в других комнатах, где засыпали дети, — он сидел, как всегда, улыбающийся, штаны были продраны на коленке — все равно ему, лишь бы мысли были целы и собраны. Но днем — идя купаться, он убежал от нас в кусты и оттуда показывал на стаи журавлей в небе, желая отвлечь внимание от дырки на коленке, — как будто с такого расстояния можно было что-либо заметить...

Он ненавидит поездки в город, ему бы поскорее к письменному столу, за лист бумаги, сесть и писать, писать и думать и разговаривать с собой — и зачем думать 6 деньгах на следующий месяц, когда они есть на сегодня, — значит, можно не думать о них и только о любимой своей работе.

Эта отрешенность от всего остального — от газет, которых он никогда не читает, радио, зрелищ, ото всего — кроме своего мира работы — создает ему такую жизнь, которой не страшны никакие невзгоды... Жена уже отказывалась чинить штаны, они разлезались под иголкой, но нет-нет, он не хотел с ними расставаться, еще можно носить, он к ним привязан, в сундуке лежит новая пара брюк, последняя, правда, но не надо, ему нравятся и эти серые, мятые, но чистые, в заплатках брюки — он не дает жене употребить их на тряпку для мойки полов.

Он добр и человечен, он никому не завидует, он искренне радуется каждой самой маленькой удаче поэта и скорбит, когда видит, что они жертвуют строгостью форм и мастерством — для легкого хлеба и дешевой славы. Он страшно строг к себе, чересчур... у него есть вариации — одна из них — подражательная... «на берегу пустынных волн» начинается она — и какой чеканный и простой стих льется из-под пера — а ведь это подражание, он мог бы иметь такой легкий хлеб очень скоро и жить припеваючи... нет, он живет, натягивая едва-едва, не позволяя себе ничего, и счастлив своей работой, умением уйти ото всего и радоваться возможности выкупаться в ручье, потом посидеть на траве, посмотреть кругом — впитать все в себя и возвратиться домой отягченным образами, как пчела после сытой добычи, в улей... Он страдает и любит людей, но не плаксивой сентиментальностью, в нем живет настоящий юмор большого человека, умеющего прозревать грядущее, отделять от существа — шелуху, он думает очень просто, говорит сложно, перебрасываясь, отступая, обгоняя сам себя, — надо привыкнуть к его манере разговаривать, и тогда неисчерпаемый источник удовольствия от подлинной мудрой беседы мастера человеческих душ — для каждого, с кем он говорит... Так, верно, древние греки, гуляя по Акрополю, философствовали и искали истину, оттачивали мысли и обретали форму искусства — будь то стихи, драма или архитектура... Пастернак — неповторимое явление жизни, и как счастлив я, что могу быть близко с ним и слушать его часто.<...>

25/IX

Долго не мог понять — почему не понравился в романе Пастернака образ тающей кучки снега, как лебедя, выгибающего шею. Потом осязательно понял — именно потому, что образ силен только тогда, когда он расширяет понятие по сравнению с тем, которое заключено в слове, а не сужает его. Но куча снега сама по себе гораздо шире (чаще встречается, обычнее, заметнее), чем шея лебедя, ее можно увидать разве в зоосаду. Оттого этот образ и не впечатляет. А вот у Бунина одностволка — тяжелая, как лом. И тот, кто никогда не подымал одностволки, — все равно сразу поймет ее предметность через это сравнение. Вот как надо добираться до впечатляемости образа.

26/IX

Еще не умею, как Пастернак, не читать газет или не ждать новостей... И когда услыхал по радио, что результаты переписи оказались дефектными и перепись будет проведена снова, — сердце сжалось! Значит, и тут — не без вражеской руки. И сколько сотен миллионов рублей пропало зря, сколько труда и энергии истрачено напрасно, направлено руками врагов в ложную сторону... Думал об этом долго, не мог уснуть, досадовал на себя, что ночь проходит, — зато и проспал до 11 часов... 3/XI

<...> Пастернак все еще ходит и купается. Это как символ, он каждый день очищает тело и душу вместе с ним, он сидит и мечтает, он читает на ходу своего Маколея, он — живой образец такого вот жизненного стоицизма... Но не аскетизма. Нет. <...>

8/XI

Сегодня ездили в город — обратно насилу вернулись; короткое замыкание пережгло все лампы, нельзя было завести машину, нас завели с буксира, поехали, потом снова остановились, снова с буксира и наконец, вырвавшись на шоссе, доехали без приключений, не спеша, чтобы хватило бензина. Приехали в темноту — не горел свет. Так, сидя при скудной лампочке за бутылкой испанского вина, встретили с Пастернаками праздник...

Для нас было ясно — страна в этом году встречала праздник деловито, почти серьезно, размах празднества выражался не в украшениях, а в значении пройденных лет и в моменте, который мы переживаем. <...>

<...> А пока — мы сидим, пьем вино, тихо говорим, подымаем в полутьме тост за наше время, за наше сближение, за то, чтобы всегда оставаться самим собой и смотреть ясными глазами вперед... Он не ездил в город, он читал своего Маколея при свете свечи и потом зашел к нам, посидеть, перекинуться мыслями — их у него всегда много, всегда они удивительно полноводные, чистые... Странный вечер. Полутьма, тени от ламп, тишина за окном, только что из шумного и яркого города, пьем горячую воду — чая нет, это все равно — лишь было бы о чем поговорить, не о повседневном, а настоящем, и наше время как нельзя больше способствует такому подъему разговоров на большую историческую высоту. Как далеко сейчас — и всегда будут теперь далеко — все эти литсклоки, слухи, игра, подыгрывание... Как близко зато чистое небо нашей земли, как хочется самому стать чище и выше — не холоднее и равнодушнее, а именно выше, чтобы раздвинуть горизонты, посмотреть кругом, оценить, продумать... Все это в моих руках теперь — и удивительное состояние мирного счастья охватывает меня. Целый год, два мне можно сидеть вот так тихо, набирая сил, читая, учась... и работая над романом, но в тишине, для себя. Не раньше чем через два года я дам что-либо, а хорошо бы и позже, пусть идет время, я иду с ним вместе и никогда не отстану...

Расстались поздно, потом я пытался читать, но покой хорошей усталости не дал делать ничего. Насилу кончаю записки... Спать, спать, спать...

15/XI

Утром проснулся — снег. Белый, первый, мягкий снег. За ночь подморозило, чуть-чуть, так только, чтобы не таяло, и снег уже лег на деревья и дорогу. Ветер, дувший три дня, стих, еще вчера вечером — первый взгляд зимы — приветливый и теплый.

Вчера долго сидели с Пастернаком. Большой разговор об искусстве и жизни. Условия творчества и жизнь писателя. Что такое писательское «видение мира» — поэтическое дыхание? Поэт должен дышать не одной ноздрей, а всеми порами своего существа, он должен жить в жизни и вытекать из нее... Но как понимать жизнь? Пастернаку тяжело — у него постоянные ссоры с женой. Жена гонит его на собрания, она говорит, что П-к не думает о детях, о том, что такое его замкнутое поведение вызывает подозрения, что его непременно арестуют, если он и дальше будет отсиживаться. Он слушает ее, обыкновенно очень кротко, потом начинает говорить — он говорит, что самое трудное в аресте его для него — это они, оставшиеся здесь. Ибо им ничего не известно и они находятся среди нормальных граждан, а он будет среди таких же арестованных, значит, как равный, и он будет все о себе знать... Но он, даже несмотря на это, не может ходить на собрания только затем, чтобы сидеть на них. Он не может изображать из себя общественника, это было бы фальшиво... с этим настроением он пришел ко мне, я, как мог, тоже уговаривал его не отрываться от этого течения жизни — быть не только в природе, но и в людях, тех самых хотя бы, которые строят литературу, и, зная все их слабости, — все же любить их, помогать им.

Он слушал терпеливо, потом опять сошел с этой больной для него темы на вопросы общие, он рассказывал о смерти Толстого и своих ощущениях этого7. Он говорил о маленьких немецких городках, в которых бывал, — тех, где росли Шиллер, Гёте, где

закладывались основы культуры... и как странно — у нас ведь почти нет такого понятия, как провинциальный город... Революция сдвинула их с места, ворвалась реконструкция, города меняются и живут сами, как растущий человек. Но все же есть какая-то прелесть прочного существования и в таких вот неподвижных гнездах. Будет время, и у нас потянет людей из Москвы в такие вот тихие сравнительно места, где будут свои обычаи, свои условия и где возможности мирного творчества будут наиболее широко предоставлены поэту. Это он мечтал, конечно, от тоскливой необходимости ехать на собрание, в таком маленьком городке, вероятно, его на собрание не позовут, там и собраний не будет, а просто будут люди встречаться и беседовать об искусстве.

Потом говорили о выборах. На наших глазах происходит смена живых поколений, совсем другие требования предъявляются к людям теперь, теперь настоящий человек социализма — это прежде всего его строитель... конкретный, пусть на самом заброшенном участке. Конкретность созидания — вот требование к лучшим людям, по которым равняются все. Закономерность смены — о, сколько дутых величин слетело. Навсегда! И многие из них, наверно, как купцы, обижаются — мы столько лет боролись за революцию, а нас теперь гонят... А сколько лет вы боролись? Вот вы, гражданин Бубнов?8 Положим, вы вступили в партию до революции года за три, да гражданской войны три года. Итого шесть лет. Так? Ну, пусть даже раньше вступили — десять лет пусть вы до революции страдали... Хорошо, если вы рассуждаете по-купечески, и мы будем купцами. Вы десять лет боролись — и вы получили свое время с процентами: вы двадцать лет были у власти. За каждый год борьбы — два года власти вам было дано! Сто процентов! И как вы использовали это время для дальнейших успехов той самой революции, за которую вы «боролись»? Вы — «развалили дело просвещения, несмотря на громадную помощь Советской власти»! Вы думали за свои десять лет до самой смерти руководить? Так вот же вам! Плохой вы были купец, если так думали! И пеняйте теперь только на себя!

А те, кто сейчас идут вам на смену, молодые, совсем молодые, совсем новые люди, взращенные революцией и ставшие известными благодаря ей, — вот они теперь поведут дальше страну. А если и они подгниют — новые их сменят... «Руководители приходят и уходят — один народ бессмертен»...

17/XI

<...> Потом — поездка в город. Толпы людей на улицах, праздничные, оживленные, в магазине запомнилась парочка — вошла, смеющаяся, всё спорили о том — 17,50 или 18,20 надо заплатить за конфеты — и, споря, смеялись и на всех глядели с доброй Улыбкой. Народ живет и готовится к великой встрече.

И тут — в руках газета, и в ней слова Сталина.

Бывают такие слова, которые врезаются сразу, навеки и как бы освещают молнией все пройденное. Так и здесь, в коротком приветствии угольщикам и металлургам, Сталин сказал: «Руководители приходят и уходят, а народ остается. Только народ бессмертен. Все остальное — преходяще. Поэтому надо уметь дорожить доверием народа». <...>

Обо всем этом и многом другом говорили мы с Пастернаком вечером, когда они пришли к нам коротать время...

Тут ведь ясно — мы сейчас не только живем в историческое время, но сами — объекты исторических дел, и от этого нелепо и смешно жаловаться, что ветер дует слишком сильный, что вообще не знаешь, за что берут людей... А если бы ты знал, тебе было бы легче? Наоборот — ибо тогда, зная и не говоря об этом кому следует, — ты невольно становишься соучастником их темных дел. Но возможны ошибки... Конечно. И почему-то всегда ты думаешь о возможной ошибке в применении к тебе. Но, во-

первых, с тобой еще этой ошибки никто не совершал, а во-вторых, буде она и совершится, — если это ошибка и если ты веришь в справедливость строя и его дел, — стало быть, она будет исправлена. Пастернак соглашался со мной в этом, но ему казалось, что не мешало бы все же как-то объяснить, куда надо идти, что делать, во избежание этих ошибок. А то ведь, говорил он, получается так, что человек жил и жил, а потом его забирают, говорят, что ты жил грешно, и наказывают. Но он-то ведь мог и не знать, что прежняя его жизнь была не такой, как нужно. Тут перебила Зин. Ник. Оказывается, те самые грузинские поэты, которые сейчас сидят, — вовсе не такие безгрешные лирики, которыми мы их себе представляли. Они деньги получали из Турции. Так что критерии греховности для них самих были, очевидно, в те уже моменты ясны, когда они брали деньги от чужого государства...9

А Пильняк? Но его история с «Красным деревом»10, его поездки в Японию... Мы все хотим думать о людях лучше, но почему только о тех, которые садятся, а не о тех, которые сажают. Давайте будем справедливы. Равноправие подходов — непременное условие правильных выводов. Мы так же мало знаем о невиновности Пильняка, как и о его виновности. Но за второе говорит нам то, что тут — громадный аппарат следствия, которое совсем не заинтересовано в том, чтобы непременно угробить еще одного писателя.

Тогда сейчас же вопрос поворачивается опять на нас. Вы так же будете говорить и обо мне, если меня возьмут... Ах, мы не знали, а он, оказывается, вон какой... (Пастернак)... Нет, это не так. Разумеется, если сейчас идет генеральная чистка страны — и в наших биографиях могут быть найдены моменты, которые послужат для следствия мотивом допроса. Но тут мы должны тоже быть хоть немножко более беспристрастны... Вероятно, Яковлеву и Туполеву11 верили больше, чем нам, — и в их биографии не заглядывали, но когда оказалось, что они продали и изменили, — как можно верить людям мелким, вроде нас, если у нас есть какие-то грешки в прошлом. Как можно знать, действительно, для следователей, заваленных работой, невинен ли А-в или он был глубоко втянут ягодинской компанией? Почему он жил в доме НКВД? Почему его так проработала «Правда»? Почему он дружил с К-ом, ныне забранным? Разве эти вопросы не законны? Разве не нужно выяснить, наконец, кто такая жена А-ва, иностранка, американка12 (это, конечно, лучше, чем немка или полька, но всё же)... Кто такой ее первый муж? Кто ее родители там, что она делает сейчас, зачем приехала сюда?.. Да ведь масса, масса вопросов естественно возникает, когда начинаешь все проверять... И если меня поставят на эту проверку — вы будете вправе говорить обо мне: «Да, мы ничего не можем сказать, ничего о нем не знаем», — ибо с того момента жизнь и судьба моя в таких надежных руках, которые уже узнают все...

Проговорили до часу. Разошлись, довольные разговором и его результатами... Еще и еще вот так встречаться и говорить. 6/XII

<...> Вчера Пастернак спросил — «пишете ли?». Я промямлил что-то о нехватке времени, о том, что занят сейчас собою больше, чем романом. Он кивнул головой, но про себя, вероятно, вздохнул укоризненно... Нельзя пропускать даже дня!

Для романа: Вот такой, как Пастернак. Знакомство с ним. Сначала — набор непонятных фраз, перескоки мысли, жестикуляция, мысли набегают, как волны, — одна на другую, и после первого разговора — усталость, как после труднейшей мозговой работы.

Потом новые встречи — разговоры о более простых вещах, простой язык, а дальше — уже самое сложное становится понятным... А сначала удивлялся его жене — как она, простая женщина, все понимает и может даже спорить, а ему приходится напрягать мозг, чтобы уловить хотя бы логическую связь...

7/XII

Читал Клейста, перевод Пастернака превосходный, четкий, афористический, легкий... «Принц Фридрих Гомбургский» — история молодого человека, который одержал победу на поле сражения вопреки приказу курфюрста и за это должен быть расстрелян, чтобы не подорвалась вера в устои воинского устава... Есть великолепные театральные сцены — например, заседание штаба, когда раздают приказания по частям и принц, завороженный, смотря на Наталью, лишь машинально повторяет концы фраз относящихся к нему распоряжений, он весь в том, что делает его любовь, как она движется и когда найдет свою перчатку...

Поздно вечером пришел ненадолго сам Пастернак — в серых рваных латаных мужицких штанах и бурых валенках... И эта одежда его смущала, но через минуту он забыл о ней и стал говорить о Клейсте, его жизни, неудачах, самоубийстве, двойном, вместе с возлюбленной, на плотине озера близ Берлина... Он умер молодым, его слава пришла после СМejhrH... Пастернак говорил, я слушал, в камине трещали дрова, Дженни спала около нас на диване. Был миг настоящей сердечной тишины и подлинного покоя.

9/XII

<...> Когда же я начну писать? Я вижу участливые глаза Пастернака — беседы с ним меня воскрешают — он все не устает говорить о великом значении рабочего настроения — тогда все остальное отходит и остается лишь чистое желание писать, создавать образы, творить...

Тамара Иванова

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК

По словам Зинаиды Николаевны, жены Бориса Леонидовича Пастернака, его последними словами были: «Прости» и «Рад». Первое слово не нуждается в пояснениях. Второе Зинаида Николаевна восприняла как: «Рад, что умираю на твоих, а не на чьих-то других руках».

Мне, долгое время бывшей свидетельницей их жизни, такое ее толкование представляется, безусловно, правильным. Ведь и меня, в последнее наше свиданье, когда у него уже произошел инфаркт, а диагноз поставлен еще не был, Борис Леонидович просил не устраивать его на этот раз в больницу. Мало того, просил эту просьбу передать и Корнею Ивановичу Чуковскому.

Я знала Бориса Леонидовича на протяжении тридцати двух лет.

Первые годы знакомство было не очень близким.

Сближение происходило постепенно, а с 40-х годов и до 60-го, года смерти Бориса Леонидовича, наши взаимоотношения нельзя охарактеризовать иначе чем близкой и даже очень близкой дружбой.

Поэт написал: «Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет».

На свете уже и сейчас почти не осталось его сверстников, да и не только сверстников, а хотя бы очевидцев его жизни.

Поэтому позволяю себе считать свои, подкрепленные перепиской, свидетельства — не бесполезными.

Познакомилась я с Борисом Леонидовичем Пастернаком и его первой женой Евгенией Владимировной в 1928 году.

Пастернаки с первого взгляда очаровали меня и произвели впечатление на редкость ладной и дружной пары. Потом мы встречались не часто, но всегда очень радостно.

Я недоумевала, когда узнала, что они разошлись, но недоумение мое полностью рассеялось, как только я увидела Бориса Леонидовича (в 1932 году) с его новой женой Зинаидой Николаевной.

Мы встретились в гостях у Сергея Буданцева1.

Тогда мы со Всеволодом только что вернулись из первой нашей совместной заграничной поездки.

Всех присутствовавших очень интересовали наши рассказы.

Но Борис Леонидович, всегда так живо на все откликавшийся, был неузнаваем. Он ничего не видел и никого не слышал, кроме Зинаиды Николаевны. Он глаз с нее не спускал, буквально ловил на лету каждое ее движение, каждое слово.

Она была очень хороша собой, но покоряла даже не столько ее яркая внешность жгучей брюнетки, сколько неподдельная простота и естественность в обращении с людьми.

Любить иных — тяжелый крест, А ты прекрасна без извилин, И прелести твоей секрет Разгадке жизни равносилен.

Так видел ее влюбленный поэт.

Когда мы собрались уходить, я услышала, что Вера Васильевна Ильина (жена Буданцева)2 предлагает Зинаиде Николаевне и Борису Леонидовичу остаться у них ночевать.

Меня удивило не то, что Вера Васильевна оставляет москвичей на ночь, а то, что в буданцевских двух комнатах ни дивана, ни кушетки, вообще нет никакого другого ложа, кроме супружеской двуспальной кровати.

Видимо, прочитав удивление в моих глазах, Зинаида Николаевна очень просто сказала: «А нам с Боренькой ведь все равно, на чьем полу ночевать. У нас сейчас своего угла нет. Так вот и кочуем».

Бориса Леонидовича эти слова привели в неистовый восторг, он бросился целовать руки сперва Зинаиде Николаевне, благодаря ее за то, что она такая чудесная. Потом Вере Васильевне за то, что она их понимает и оставляет у себя. А под конец и мне, вовлекая и меня тоже в круг своего ликования, за что-то благодаря и меня.

* * *

До общего переезда в Переделкино наши дальнейшие встречи с Пастернаком происходили от случая к случаю.

Пастернаки долго были заняты сложным урегулированием всего того, что неизбежно возникает при разводах. Тут и квартирные вопросы, и прочее устройство наново быта семей (в данном случае трех: ведь и у Бориса Леонидовича, и у Зинаиды Николаевны были дети от первых браков).

Но для Бориса Леонидовича, может быть как ни для кого другого, на первом месте — стремление все с ним происшедшее внутренне согласовать и примирить.

Многие попадали в его положение. Но Борис Леонидович и тут вел себя, как и в других случаях жизни, необычно. Был не только не способен ничем попрекнуть ту, которую оставляет, но непрерывно заверял ее в своей неизменной дружбе.

Сборник «Второе рождение» отчетливое этому свидетельство.

Оставленной посвящено не меньшее количество стихотворений, чем той, которой «рока игрою ей под руки лег».

Дружба для Бориса Леонидовича на протяжении всей его жизни была прибежищем и оплотом.

Конечно, иногда она рушилась, но не по его вине.

Он был необыкновенно верным другом.

С нами его прочными узами связало Переделкино.

В 1939 году Пастернаки поселились по соседству с нами. С тех пор они стали частыми нашими гостями. Ходили и мы к ним.

Да и просто через забор переговаривались; в общем, жили, что называется, не только на виду друг у друга, но и душа в душу.

Соседями мы были с Пастернаками не только по Переделкину, но и в Москве жили в одном доме, в Лаврушинском переулке.

Все знаменательные даты, дни рождений, встречи Нового года почти всегда были связаны у нас с Пастернаками.

В ту ночь, когда родился Леня (а родился он как раз под Новый год), Борис Леонидович был у нас на Лаврушинском.

Я все время звонила в роддом, узнавая о положении Зинаиды Николаевны, и первая известила Бориса Леонидовича о рождении его младшего сына.

Со свойственной ему преувеличенной манерой Борис Леонидович так благодарил меня, как если бы я была Господом Богом или провидением и моей личной заслугой было появление у него сына.

Борис Леонидович любил читать вслух написанное, любил слушать чужое чтение.

Но обсуждалось обычно не только прочитанное, а и все злободневные события.

Я неколебимо верила в правоту своих убеждений. К тому же была отъявленной спорщицей.

Всеволод спорить не любил. Он высказывал свои мысли, но отнюдь не считал их для другого обязательными, а значит, и спора с ним не получалось.

«Я думаю так, ты — иначе; кто из нас прав, я не знаю — решай сам» — вот примерный подтекст Всеволода (кроме случаев, когда требовалось поставить на место какого-то принципиального противника).

Умозаключения Бориса Леонидовича были всегда блестящи, полны юмора и совершенно неожиданной аргументации.

Борис Леонидович постоянно говорил: «Все гибнут от всеобщей готовности»3.

Помню, как на одной из таких импровизированных дискуссий А. Н. Афиногенов, очень почитавший Пастернака, признался, что многие его ранние стихи ему совершенно непонятны. И как пример привел:

Спелой грушею в бурю слететь Об одном безраздельном листе...

Я самонадеянно ринулась объяснять.

Борис Леонидович радостно расхохотался и сказал, что хотя сам-то он имел в виду совершенно другое, но мое объяснение ему вполне по душе.

В разное время по-разному, но всегда неожиданно (это теперь только его определения уже не кажутся необычными, а, наоборот, привычными) писал Пастернак о сущности поэзии, о сущности искусства.

Нам крайне повезло. Почти всегда, закончив новое стихотворение или отрывок поэмы, Борис Леонидович прибывал к нам (в любое время дня, а иногда, если видел у нас свет, и ночью), чтобы немедленно прочитать только что созревшее.

Никогда никаких бумажек. Всегда помнил наизусть.

Когда мне особенно нравилось прочитанное Борисом Леонидовичем, я просила прочитать еще раз и, к его восторгу, со второго раза запоминала и тут же повторяла.

Стихами Бориса Леонидовича мы приобщались к таинству ритма времен года:

Природа, мир, тайник вселенной, Я службу долгую твою, Объятый дрожью сокровенной, В слезах от счастья отстою.

Нас очень тесно сближала с Борисом Леонидовичем не только любовь к поэзии и взаимная доброжелательность, но и еще его особое отношение к нашему младшему сыну Коме*.

Кома в возрасте шести лет заболел костным туберкулезом — кокситом. Мы не поместили его в санаторий, а для соблюдения необходимого ему режима жили круглый год на даче.

Естественно, я старалась, чтобы мальчик не испытывал скуки. У него на кровати стоял столик на ножках, на котором он расставлял микроскопические игрушки,

доставляемые отовсюду. Столик этот превращался в пюпитр, когда ребенок читал, писал или рисовал. Он был очень раннего развития, поэтому самостоятельно читал книги, и не только детские, но и серьезные научные по разным дисциплинам. Придумывались занятия и ручным трудом, для чего я приглашала специалистов этого дела. Но мне всего этого казалось недостаточным, поэтому я просила заходивших к нам друзей непременно поговорить с мальчиком.

Конечно, мне никто не отказывал в этом.

* Кома — домашнее имя нашего сына Вячеслава Всеволодовича Иванова (Прим. Т. Ивановой).

Но ребенок был столь умен, необычен и обаятелен, что некоторые наши друзья, как-то: Корней Иванович Чуковский, Валентин Фердинандович Асмус и Борис Леонидович Пастернак, по-настоящему сдружились с ним. Особая любовь и дружба возникла с Комой у Бориса Леонидовича, который дружил с мальчиком на равных, и дружба их все крепла, продолжившись до самой смерти Пастернака.

К 40-му году наш Кома уже выздоровел и пошел в школу, так что зиму 40/41-го года нам не было надобности зимовать в Переделкине. Пастернаков постигло такое же бедствие. Туберкулезом заболел старший сын Зинаиды Николаевны Адик. Адика пришлось поместить в туберкулезный санаторий «Красная Роза», так как его болезнь не поддавалась домашнему лечению. Чтобы удобнее было навещать Адика, Зинаида Николаевна жила в Москве (машины у нее тогда еще не было). Борис Леонидович остался на переделкинскую зимовку с маленьким Леней.

В день рождения Бориса Леонидовича, 11 февраля, мы со Всеволодом поехали в Переделкино. Повезли подарки, захватили шампанское, но не застали «новорожденного», разъехались с ним.

Начало лета 41-го года было для Пастернаков тяжким. Адику угрожала ампутация ноги. Временно ампутацию заменили частичным удалением кости, но положение оставалось очень серьезным, и взять его из санатория было невозможно.

Когда разразилась война, Зинаида Николаевна с маленьким Леней и Стасиком (Адика по состоянию здоровья невозможно было забрать из санатория) уехала в эвакуацию с тем же эшелоном детей, с каким поехала и я со своими сыновьями Мишей и Комой. Сперва мы жили в Берсуте на Каме, потом в Чистополе.

Борис Леонидович и Всеволод остались в Москве. Оба дежурили в Лаврушинском на крыше, гасили зажигалки.

Из письма Пастернака, отправленного им из Москвы, жене Зинаиде Николаевне, находившейся в Чистополе:

24 июля 1941 г.

«...кланяйся Тамаре Владимировне и скажи ей, что в естественных условиях и отдаленно нельзя себе представить, каким облегчением является в опасности близость или присутствие человека, которого любишь и знаешь при всех обстоятельствах. Я говорю о Всеволоде, который стоял в нескольких шагах от меня на крыше нашего дома в Лаврушинском переулке, а кругом была канонада и море пламени».

Разбирая архив Всеволода, я натолкнулась на запись, сделанную в тот же месяц и год — то есть 20 июля 1941 года. «Удивляет меня Пастернак. Не может же он совсем не сознавать своей гениальности, а следовательно и особой ценности своей жизни. Он же, как нарочно, бросается навстречу зажигалке, рискуя не только сгореть, но и попросту свалиться с крыши».

Борис Леонидович проходил обучение как доброволец-ополченец. Как вообще всегда и всё, это тоже нашло отражение в его стихах: «А повадится в сад и на пункт ополченский...» Или:

Он еще не старик. И укор молодежи. И его дробовик Лет на двадцать моложе.

Дороги наши временно разошлись: Борис Леонидович уехал в Чистополь, а Всеволода увезли с Информбюро в Куйбышев, куда он вызвал и меня с детьми. Из Куйбышева мы поехали в Ташкент.

Письма Бориса Леонидовича так красноречивы, что, казалось бы, не нуждаются в комментариях, однако кое-что пояснить придется.

Письмо Б. Пастернака из Чистополя в Ташкент (12 марта 1942 г.):

«<...> когда сложилась наша правленческая пятерка, мне хотелось рассказать Вам, и в особенности Всеволоду, о наших попытках заговорить по-другому, о новом духе большей гордости и независимости, пока еще зачаточных, которые нас пятерых объединили как по уговору. (Курсив мой, ибо я придаю этим строкам решающее значение в дальнейшей судьбе Пастернака.)

Я думаю, если не все мы, то двое-трое из нас с безличьем и бессловесностью последних лет расстались безвозвратно". Все очень постарели и похудели, а здоровье Федина — по-прежнему моей старейшей привязанности, даже внушает опасенье, но нравственная новинка, о которой я говорю, праздником живет в нас и молодит против Москвы.

Смело держится и интересно работает Асеев. К. А. пишет дальше свою книгу о Горьком4, причем что ни новая глава, то все

* Выделено опять мною. Эта фраза, по-моему, является началом работы над новым романом. То есть роман «905-й год» уже неприемлем для Бориса Леонидовича. Он начал новую творческую жизнь! (Прим. Т. Ивановой).

лучше. Мы устраиваем по средам литературные собрания. Федин открыл их чтением своей книги, прошедшим с огромным успехом. На них с бесподобным блеском выступает Леонов и так как в компании нет Ник. Федоровича5, то иногда позволяю себе говорить и я...»

В письме от 8 апреля 1942 г. он писал:

«...Между прочим, после чтенья, из отчета Живова в «Лит. и Иск.» (кто-то принес с собой газету) мы узнали о Толстовском Грозном. Это немного отравило радость, доставленную Леоновым. Все повесили головы, в каком-то отношенье лично задетые. Была надежда, что за суматохою передвижений он этого не успеет сделать. Слишком оголена символика одинаково звучащих и так разно противопоставленных Толстых и Иванов и Курбских. Итак, ампир всех царствований терпел человечность в разработке истории и должна была прийти революция со своим стилем вампир и своим Толстым и своим возвеличеньем бесчеловечности. И Шибанов цуждался в переделке! <...>6 Я так же нахожу это поразительным, как поразительны и Эренбург и Маршак, и не перестаю поражаться7.

Мне представляется необъяснимой и недоступна эта слепая механическая однонаправленность при сжатьи и разжатьи, как в машинках для стрижки, это таинственное расположенье резаков, которое толкает вперед рывками и захватами, независимо от того, говорят ли наблюдения за или против, и окружены ли вы светом или тьмой. Эта неспособность оглянуться на себя и свое! Или это гениальные бессмертные комики, и мы не умеем прочесть их эзоповской иронии и окажемся в дураках, принимая все за чистую монету? Но простите, это — пустословье, я заговорился.

От души всего лучшего Вам со Всеволодом, детям, Марии Егоровне* и всем знакомым. Ваш Б. Я.».

Во втором письме Борис Леонидович очень красочно характеризует пьесу А. Толстого об Иване Грозном.

Пастернак считал изуверством утверждение, что гуманизм отменяется во время войны. Он был настроен очень патриотично, но никак не мог совместить патриотизм с

безоговорочной беспощадностью ко всей ведущей войну нации, как всегда, в целом, неповинной и воюющей против своей воли, вынужденной к тому власть имущими.

* Мария Егоровна Трунина — няня, вынянчившая наших детей и внуков (Прим. Т. Ивановой).

В первом, да и во втором письме Борис Леонидович пишет о своей принадлежности к «правленческой пятерке» и «головке». В чистопольской писательской колонии были свои выборные органы, в которые вместе с К. Фединым, Л. Леоновым, К. Треневым, Н. Асеевым входил и Пастернак.

Объяснения требует, по-моему, и упоминание Н. Ф. Погодина.

Дело в том, что жена Погодина, Анна Никандровна, была самой близкой подругой Зинаиды Николаевны и бывала у Пастернаков почти ежедневно. С самим же Погодиным, который, чуть встретясь, принимался наставлять Бориса Леонидовича на правильный путь, а именно пытался преподать ему безошибочный «верняк» (то есть написания такого произведения, которое наверняка одобрят), у Бориса Леонидовича отношения были весьма натянутые. Погодин его иногда даже забавлял своим откровенным цинизмом, но чаще возмущал. Нравоучительный тон Николая Федоровича так раздражал Пастернака, что в конце концов он, продолжая очень тепло относиться к Анне Никандровне, перестал встречаться с ее мужем.

В октябре 1942 года мы со Всеволодом вернулись в Москву и встретили там Бориса Леонидовича, приехавшего из Чистополя.

Борис Леонидович был очень бодр, настроен неслыханно патриотически, рвался ехать на фронт.

Привожу запись из дневника Всеволода того периода:

«30/X. 1942 г.

<...> Пришли Пастернак, Ливанов и Бажан8. Какие все разные! Пастернак хвалил Чистополь и говорил, что литературы не существует, так как нет для нее условий и хотя бы небольшой свободы. Как всегда, передать образность его суждений невозможно, — он говорил и о замкнутости беллетристики, и о том, что государство — война — человек — слагаемые, страшные по-разному. Ливанов — о Западе, о кино, о том, что человек Запада противопоставляет себя миру, а мы, наоборот, растворяемся в миру. <...> Тамара всех учила, а я молчал. Затем Пастернак заторопился, боясь опоздать на трамвай, — было уже одиннадцать, — и ушел, от торопливости ни с кем не простившись, Бажан сказал:

— Я давно мечтал увидеться с Пастернаком, а сейчас он разочаровал меня. То, что он говорил о литературе, — правда. Редактора стали еще глупее, недоедают, что ли. Но разве сейчас время думать только о литературе? Ведь неизбежно, после войны все будет по-другому.

<...> Дело в том, что Пастернака мучают вопросы не только литературы, но и искусства вообще. Как иначе? Слесарь и во время войны должен думать о слесарной работе, а писатель тем более. <...>»

Летом 1943 года Всеволод и Борис Леонидович ездили вместе на фронт (Орловско-Курская дуга)9.

Вернувшись, Всеволод рассказывал, что Борис Леонидович очаровал в армии всех, начиная от солдат и до генералов. Очаровал своей храбростью, простотой и увлекательными речами.

В черновиках «Истории моих книг» есть у Всеволода такая запись:

«Считается, что Борис Пастернак пишет стихи очень сложно, а речи говорит того сложней. По приезде в армию генерала Горбатова10 командование пригласило писателей вечером, как говорится в таких случаях, «на скромный ужин».

Ужин действительно был очень скромный: картошка, немного ветчины, по стакану водки и, конечно, чай.

Начались речи. Говорили писатели, признаться, довольно скучно, так что было за них слегка стыдно. Но вот вскочил Пастернак.

Разумеется, многие из нас испытали смущение. Генералы у нас, конечно, ученые, читали много, но все-таки и им понять его будет трудно.

Пастернак быстро поворачивался к собеседникам, широко раскрыв глаза, водил руками, губы его дрожали. Он говорил ярко, патриотично, возвышенно и — с юмором. И казалось, что и в стихах его, — как и в его речи, — нет никакой сложности, все легко, оптимистично, поэтично, убедительно.

Офицеры и генералы, бледные, растроганные, слушали его в глубоком молчании. Они поняли Пастернака, быть может, лучше, чем всех нас. Талант, по-видимому, всегда понятен».

По возвращении из армии Борис Леонидович начал писать военную свою поэму, фрагменты которой печатались11.

Неприятие критикой этой его поэмы очень больно ранило Бориса Леонидовича и отбило у него охоту закончить ее.

В 1948 году начался наш «послевоенный переделкинский период».

Я приведу некоторые записки Бориса Леонидовича. Любая записка, по-моему, хоть чем-то передает своеобразие манеры Бориса Леонидовича выражать свою мысль. В этот послевоенный переделкинский период — новое обживание дач, участков. И у нас все сообща с Пастернаками.

«Дорогая Тамара Владимировна!

В любом случае — огромное спасибо. Если Вам не удастся достать все 50 (пионов. — Т. Я.), то, может быть, и к лучшему, я не рассчитал, что, может быть, под глазком надо разуметь весь корень, а не один из отростков, а 50 корней м. б. слишком много. Как бы то ни было, простите за доставленные затруднения и без конца благодарю Вас.

Всеволоду и всем сердечный привет. Б. Я.».

Борису Леонидовичу нравилась «патриархальность» нашей семьи, где дружно жили вместе четыре поколения: от прабабушки до правнука. Нравилось ему, что основой нашей жизни, как он выражался, была «духовность, а не материальность». Хотя материальность в смысле бытового уклада он тоже ценил. И прежде всего в своей жене. Ценил ее хозяйственность. Ценил, что она не брезгает никакой физической работой: сама моет окна, пол, обрабатывает огород.

Всеволод очень радовался, когда Борис Леонидович забегал «на огонек» или прочитать только что написанное стихотворение, но сам-то Всеволод без приглашения никогда и ни к кому не ходил — такой уж был у него характер.

Обилие же пригласительных записок (их наберется отдельная книжечка) — до какой-то степени и своеобразная игра.

Повторяю, что в довоенный период Борис Леонидович читал нам главы из своего романа (называвшегося тогда «1905-й год»), которые частично и в переделанном виде вошли в новый его роман «Доктор Живаго», который в нашей семье читали, так сказать, «свежими выпусками». Едва бывала отпечатана на машинке очередная часть романа, Борис Леонидович или читал нам сам, или давал на прочтение.

Не могу не обратить внимание читателей на то, с каким уважением относился Борис Леонидович к людям, невзирая на их общественное положение и даже возраст. Он мог зайти к нам, даже в наше отсутствие, специально для того, чтобы побеседовать если не с детьми, так с моей мамой или няней Марией Егоровной, которых очень уважал.

После 49-го года мы жили в Переделкине безвыездно летом и зимой. Пастернаки же какие-то годы зимовали в Москве.

«77/X 1953 г.

Дорогие Тамара Владимировна и Всеволод! Осчастливьте нас, пожалуйста, своим присутствием в будущую субботу, 24-го окт. в девять часов или начале десятого. Без Вас

основы нашего существования будут поколеблены, и Вы наверное не захотите губить его.

Мы приглашаем из Переделкина, кроме Вас, Константина Александровича. Вероятно, транспорт не вопрос теперь ни для Вас, ни для него, а то сговоритесь. Ваш всем сердцем Б. П. Позволяю себе надеяться, что мечта наша увидеться с Вами в этот вечер сбудется. Утвердите нас, однако, в этой надежде каким-нибудь способом на Вашей городской штаб-квартире, куда на днях позвоним за ответом. Б. П.»

«17 февраля 1953 г.

Дорогая Тамара Владимировна!

Поздравляю Вас, Всеволода и всех Ваших с днем Вашего рождения. Желаем Вам долго жить и всегда оставаться такою же милой, умной, обаятельной, прекрасной, талантливой, молодой и здоровой.

Мы непременно воспользуемся Вашим приглашением и не упустим случая побывать сегодня вечером у Вас. Я только не знаю часа, когда это точно случится, в зависимости от Зины, которая приедет к вечеру и планов которой я не знаю. Либо это будет в десятом часу, либо около одиннадцати.

Бще и еще раз выражаю Вам нашу преданность и восхищение.

Ваш Пастернак».

У Бориса Леонидовича вошло в обыкновение посылать мне в день моего рожденья корзину белой сирени.

В цветочных магазинах существовала тогда привычка прибавлять к сирени еще какие-то зеленые отростки.

В одной из последних корзин, присланных мне Борисом Леонидовичем, кроме сирени был еще буквально огрызок веерной пальмы.

Пересаженная в грунт сирень если и приживалась, то ненадолго. А вот этот огрызок пальмы, пересаженный Всеволодом в горшок, жив и по сей день.

Начиная с 54-го года Пастернаки тоже прочно обосновались в Переделкине.

Привожу одну из дневниковых записей Всеволода, относящуюся к лету 54-го года.

«Ю/VI. Гроза. Дожди не подряд, а с перерывами. В промежутки грохочет гром, сверкают молнии, — и вся эта дачная местность, с ее домиками, заборами из штакетника, грядками огородными, кустами смородины, зараженными огневкой, раздвигается до пределов необычайных, почти звездных...

Пастернак (встретил его среди сосен, у дороги, где я лежал в траве, он ходил подписываться по телефону на заем).

— Я расскажу тебе почти анекдот. Меня попросили для "Бюллетеня ВОКСа" написать, как я работал над "Фаустом". Я сказал, что работал давно, многое забыл, мне не написать ничего и вообще святые истоки я боюсь и трогать. Пусть лучше напишет тот, кто знает перевод, а я, если понадобится, напишу несколько слов послесловия, от переводчика. Ну, написал Вильмонт, очень хорошо, а я приписал следующие мысли: "Фауст — это владение временем, попытка превратить короткий отрезок времени во что-то длительное, более или менее устойчивое". Я написал это, читаю по телефону сотруднице и спрашиваю: "Понятно?" — "Да, понятно, но ведь у нас переводчики, вот они, не знаю, поймут ли". — "А на каких языках выходит Бюллетень?" — "На английском". — "Знаете что? Давайте я напишу вам то же самое по-английски. Я не владею

им так же свободно, как русским, но все же..." — "Хорошо". — Написал. Спрашиваю: "Понятно?" Отвечают: "Да, очень, гораздо лучше, чем по-русски, мы посылаем в набор!.." Все это похоже на павловский рефлекс: собака приучена выделять слюну по таким-то и таким звукам метронома. Иначе ей все непонятно. Так и редактор. Действует неподходящий метроном — она не выделяет слюну, а по-английски действует другой, беззапретный метроном, она по нему привыкла выделять слюну!..»

Летом 55-го года умерла моя мама, Мария Потаповна. Хоронила я ее по православному церковному обряду на переделкинском кладбище.

Во время заупокойной литургии в переделкинской церкви я была поражена тем, что Борис Леонидович пел вместе с хором все церковные песнопения, а при погружении гроба в могилу все литании.

Потом, когда я благодарила его за полное теплого сочувствия участие в маминых похоронах, он выразил большое одобрение тому, что я, не посещающая церкви, похоронила маму по всем правилам.

Думаю, что приводимая ниже записка относится к 55-му или 56-му году, когда Борис Леонидович уже широко давал читать роман «Доктор Живаго».

«Дорогая Тамара Владимировна! Сердечный привет! Я очень помню замечательный вечер, который я тогда провел у Вас (то, что пишет Кома, т. е. больше: весь Кома был тогда для меня радост-нейшим открытием).

Я хотел повторить удовольствие встречи все равно с какой стороны, но дела у меня складываются хуже, чем я думал, усиливая мою озабоченность и торопливость, и, кроме того (но это то же самое), у меня не случилось ничего чрезвычайного, чем бы я заслужил это удовольствие.

Если рукопись моей прозы свободна, то передайте ее, пожалуйста, Зине. Если Вам или Коме, или кому-нибудь из Ваших хочется кому-нибудь ее показать, держите, сколько хотите. Кажется, Всеволода нет в Переделкине, а если он тут, крепко целую его и всем Вашим всего лучшего. Ваш Б. Я».

Поначалу устраивались обсуждения «Доктора Живаго» и даже споры. Всеволод упрекнул как-то Бориса Леонидовича, что после своих безупречных стилистически произведений: «Детство Люверс», «Охранная грамота» и других — он позволяет себе теперь небрежение стилем. На это Борис Леонидович возразил, что он «нарочно пишет почти как Чарская», его интересуют в данном случае не стилистические поиски, а «доходчивость», он хочет, чтобы его роман читался «взахлеб» любым человеком, «даже портнихой, даже судомойкой».

Для Всеволода же вопросы мастерства стояли тогда, как и всегда, на первейшем месте. Он непрерывно стремился к открытию тайны того, «как образ входит в образ. И как предмет сечет предмет».

Но Борис Леонидович в тот момент упорно провозглашал, пусть и не достигая желаемого, простоту во имя простоты. Пастернак подразумевал тогда под простотой неповторимость видения, свойственную только данному художнику, с только ему одному присущей образностью, а под сложностью — банальность общих мест.

Теперь же (в конце пятидесятых годов) он действительно впал в ересь упрощенчества (конечно, не в творчестве своем, а только в теоретизировании). Он всерьез развивал перед нами теорию о необходимости переиздания всех своих ранних стихов с построчным их прозаическим разъяснением.

В 55-м году (24 февраля) отмечался 60-летний юбилей Всеволода. Борис Леонидович не пришел на заседание и банкет в ЦДЛ, но прислал ему телеграмму:

«В великий пост провозглашаю великий тост за дорогого юбиляра и его Тамару чествуем славим шлем привет добрым здоровьем щеголяй сто лет до чрезвычайности

тужим что не можем придти на банкет Зинаида Николаевна с мужем и детьми возражающих нет.

Борис Пастернак»

Давнишняя мечта Всеволода — самая разнообразная литература. Обилие творческих индивидуальностей, не похожих одна на другую.

Много раз возникали разговоры об организации издательства «Товарищество писателей». Всеволод был горячим поборником этой идеи.

Летом 56-го года вновь заговорили об издательстве «Товарищества» (которое в созданном проекте носило название «Современник») и даже прочили Всеволода в председатели правления.

Всеволод охотно соглашался и даже наметил список произведений, которые следует опубликовать: первым в списке стоял роман Пастернака «Доктор Живаго». Нам было известно, что рукопись романа находится в «Новом мире», откуда — ни ответа ни привета.

И вот однажды Пастернак сказал нам, что он получил письмо из «Нового мира», за подписями всех членов редколлегии, во главе с тогдашним главным редактором Константином Симоновым, с отказом печатать роман, что письмо — неприятное, «хоть я его и не читал, — заверил нас Борис Леонидович, — и вам читать не советую! (Мы прочитали это письмо только тогда, когда оно было опубликовано в газетах, — уже во времена «травли» за премию.) Там тоже и подпись Кости (Федина), — добавил Пастернак, — но это ничего не значит, я его приглашу в гости, и вы увидите, что все будет как прежде»12.

Вскоре Борис Леонидович пригласил нас на обед.

«19 сентября 1956 г.

Дорогие, дорогие друзья мои Всеволод и Тамара Владимировна! Мы хотим попробовать собраться в воскресенье 23-го в 3 часа дня, за обедом, и просим и ждем Вас обоих.

Кроме того, приписка от себя самого в 1-м лице.

Я также приглашу Константина Александровича с тем же легким сердцем и без задней мысли, как в предыдущие годы, — пусть это Вас не удивляет.

Итак, до скорой встречи. Ваш Б. Пастернак».

Еще в кухне (ближний от нашей лесной калитки вход в дом был через кухню) мы увидели обнимающихся Федина и Пастернака.

Пастернак был очень оживлен, находился в явно приподнятом настроении.

Он всячески подчеркивал в тот день, что отношение его к Фе-дину нисколько не изменилось, несмотря на то что тот подписал письмо «Нового мира» с отказом печатать «Доктора Живаго».

После отказа «Нового мира» печатать новый роман и намерение его редактирования (с согласия Пастернака, дававшего карт-бланш) отнюдь не было оставлено Всеволодом, искали только издателя. Надеялись, что таким издателем явится альманах «Литературная Москва».

«26 сентября 1956г.

Дорогая Тамара Владимировна! Совершенно верно: Акимов попросил у меня почитать роман, и я его уполномочил получить его через Зою Ал.* от Казакевича. Это было давно, и я позабыл об этом.

Как всегда, все сходится. Мне на некоторое время придется расстаться с письмом из Нового Мира. Я только что, наконец, прочел его. Оно составлено очень милостиво и мягко, трудолюбиво продумано с точек зрения, ставших привычными и кажущихся неопровержимыми, и только в некоторых местах, где обсуждаются мои мнения наиболее неприемлемые, содержит легко объяснимую иронию и насмешку. Внутренне,

то есть под углом зрения советской литературы и сложившихся ее обыкновений, письмо совершенно справедливо. Мне больно и жаль, что я задал такую работу товарищам».

Нельзя не восхититься изяществом и тонким юмором в оценке Пастернаком письма редколлегии «Нового мира».

«28сент. 1956 г.

Тамара Владимировна, не оставляйте усилий, вызволите откуда-нибудь рукопись Всеволода**. Я очень хочу прочесть его роман. Как только Вы его получите, пришлите его мне.

Я перекинулся двумя-тремя словами с Комой по делу и, когда разговаривал с ним, еще не знал, что он написал несколько очень хороших стихотворений в Коктебеле, о чем я узнал после от Жени.

В следующий раз, когда мы увидимся, напомните мне, чтобы я Вам сказал о моих наблюдениях над нашим воскресным обществом, и Вы услышите кое-что, что Вам и Всеволоду, может быть, будет приятно. Поцелуйте его! Любящий вас обоих Б. П.».

* Зоя Александровна Никитина (Прим. Т. Ивановой). '* «Мы идем в Индию» (Прим. Т. Ивановой).

Поначалу 1957 год не принес никаких особых изменений. В конце октября 57-го года мы со Всеволодом, находясь в Югославии, куда поехали на тамошние (сразу несколько) спектакли «Бронепоезда», узнали от одного сербского писателя, что Фельтринелли объявил в печати о нахождении у него рукописи романа Пастернака «Доктор Живаго».

Сообщивший нам эту новость писатель не был лично знаком с Пастернаком, но преклонялся перед его поэзией и очень тревожился за его судьбу.

Когда находишься за границей, всегда хочется защитить свою родину.

Мы дружно принялись уверять, что все обойдется благополучно, хотя у самих душа была не на месте, так мы взволновались при мысли о возможных последствиях этого шага Бориса Леонидовича. Весь 58-й год мы часто, еще чаще, чем раньше, встречались с Пастернаками. Вместе переживали радость успеха «Доктора Живаго» за границей и тревогу по поводу того, как это отразится на положении Бориса Леонидовича у нас — в Советском Союзе.

Борис Леонидович был чрезвычайно радушным хозяином. Любил созвать друзей и на славу их угостить.

Мало заботясь об обстановке (и в квартире в Лаврушинском, и в переделкинской даче единственное украшение — развешанные по стенам окантованные рисунки Леонида Осиповича Пастернака), Борис Леонидович обращал большое внимание на сервировку стола и собственнолично покупал, даря Зинаиде Николаевне, хрусталь и фарфор.

Застольные тосты Бориса Леонидовича — настоящие произведения искусства.

Для него это было так:

Со мною сходятся друзья, И наши вечера — прощанья. Пирушки наши — завещанья, Чтоб тайная струя страданья Согрела холод бытия.

Жизнь ведь тоже только миг, Только растворенье Нас самих во всех других Как бы им в даренье.

Прошу читателей не пройти мимо рифмующихся слов: прощанья, завещанья и страданья.

Все три требуют расшифровки. Каждая такая пирушка в ту пору могла стать и прощальной, и перед началом «страданий», и несущей в себе зерно «завещательности» для пока остающихся.

Еще — это только предлог и повод, сущность — духовное общение, при чем не отпадает вероятность прощального.

Тон давался неповторимыми тостами Пастернака, а также музыкой (Юдина, Рихтер, Дорлиак, оба Нейгаузы) и чтением стихов (сам Борис Леонидович читал редко; чаще других Ахматова или кто-либо из приглашенных друзей: иногда приезжие грузины), а то вдруг Рафаэль Альберта13.

Но, повторяю, присутствовавшие на этих «завещаньях» тщательно Пастернаком продумывались. Непременно присутствовали Асмусы и Нейгаузы (старшие), Ливановы.

До того как Борис Пастернак получил Нобелевскую премию, о ней, о премии, целых два года шли разговоры.

До самой премии Пастернак еще не был подвергнут никакому остракизму. И у него часто собиралось обширное гостевание, и сам он ходил к друзьям и знакомым.

Лето 58-го года не принесло никаких изменений. 23 октября 1958 года вечером, около 11 часов, когда Всеволод уже лежал в постели и читал, а я была занята чем-то домашним, мне позвонила по телефону Мария Константиновна, жена Н. С. Тихонова, который был тогда секретарем СП, и сообщила о присуждении Пастернаку Нобелевской премии.

Я очень обрадовалась, а Мария Константиновна сказала, что радоваться, по ее мнению, преждевременно, но предупредить Пастернака, конечно, надо.

Я бросилась к Всеволоду, он немедленно встал, надел на пижаму халат, на халат пальто (стояла холодная поздняя осень), я тоже закуталась, и мы пошли к Пастернакам.

Дверь нам открыла Нина Александровна Табидзе, гостившая у Пастернаков. Борис Леонидович сбежал с лестницы из своего кабинета, известие о премии не застало его врасплох — лишь подтвердило уже имевшиеся сведения.

Мы горячо поздравили Пастернака, расцеловались с ним. Нина Александровна стала открывать вино. Я прошла в комнату к Зинаиде Николаевне, которая уже лежала в постели, она не захотела встать, сказала, что не ждет от этой премии ничего хорошего для Бореньки.

Вчетвером: Борис Леонидович, Нина Александровна, Всеволод и я — мы распили бутылку вина и все четверо были в очень радужном, счастливом настроении.

Всеволод от души радовался за Пастернака и все повторял ему:

— Ты лучший поэт эпохи и действительно по полному праву заслужил любую премию мира.

На следующее утро меня позвала к телефону Зинаида Капи-тоновна Улина (бывшая тогда секретарем в аппарате Союза писателей СССР) и попросила известить Федина (ни у Федина, ни у Пастернака телефонов на дачах не было, и они пользовались нашим) о том, что к нему выехал Д. А. Поликарпов (из ЦК).

Я тут же послала Федину записку и прошла в кабинет к Всеволоду. Обсуждая события, мы поглядывали в окно и скоро увидели быстро шагающего по пастернаковской дороге Федина.

Не прошло и пяти минут, как Федин прошагал обратно, а еще через пять минут в кабинет Всеволода вбежал Пастернак и, запыхавшись, сообщил, что Федин приходил к нему с «ультиматумом», и добавил: «Приходил впервые не как друг, а как официальное лицо».

Пастернак спрашивал у нас совета: Федин дал ему 2 часа срока на размышление для отказа от премии.

Всеволод сказал: «Поступай так, как сам находишь нужным. Никого не слушай. Я тебе вчера твердил и сегодня еще повторю: Ты — лучший поэт эпохи. Заслужил любую премию».

В ответ Пастернак воскликнул: «Тогда я пошлю благодарственную телеграмму».

Всеволод улыбнулся: «Вот и отлично!»

Пастернак побыл очень недолго, но несколько раз возвращаясь к тому, как его крайне поразил, более того, больно ранил официальный разговор Федина, не личный — между друзьями, а официальный, ультимативный.

Когда Пастернак ушел, я стала собираться в город, где у меня были дела, а к тому же это был день ангела — Зинаидины именины. И я должна была заехать к своей старшей сестре Зинаиде Владимировне.

Всеволод остался в Переделкине.

Вечером, когда я вместе со всеми своими взрослыми детьми находилась у сестры, мне позвонила из Переделкина няня Мария Егоровна и попросила скорее приезжать, так как Всеволоду Вячеславовичу очень плохо.

Я тут же связалась с поликлиникой и попросила отправить со мной в Переделкино врача. Сын Кома и его тогдашняя жена Татьяна Эдуардовна поехали вместе со мной, сперва в поликлинику, где захватили доктора и медицинскую сестру, потом на двух машинах в Переделкино. Всеволода мы застали укутанного пледами и обложенного грелками, лежащим на диване в столовой, где настежь была открыта дверь в сад.

Мария Егоровна рассказала, что сперва привезли повестку из Союза писателей (это было приглашение на собрание президиума правления по поводу «недостойного поведения Пастернака»), потом Всеволод Вячеславович что-то писал (недописанные наброски своей речи, которую он готовил для правления). И вдруг она услышала звук падения тела и вскрик.

Постучав в дверь и не получив ответа, она вошла и, увидев Всеволода лежащим без сознания на полу, бросилась за помощью к Пастернакам.

Оказав посильную для нее помощь Всеволоду, Мария Егоровна вызвала меня по телефону. Всеволод, как только увидел меня, сказал: «Посмотри, в кабинете на столе...»

На столе в кабинете я нашла повестку и недописанные наброски, один из которых был опубликован мною в 1988 году в «Неделе». Мария Егоровна сказала: «За вами, Тамара Владимировна, несколько раз приходили от Пастернаков,.а также приходил Корней Иванович Чуковский».

Как только Всеволоду была оказана первая помощь (доктор определил спазм сосудов мозга — возможность инсульта), я, оставив с отцом Кому и его жену, пошла к Пастернакам.

Там не было обычного именинного торжества. Кроме Асмусов, Нейгаузов, родственников и Нины Александровны Табидзе по случаю именин Зинаиды Николаевны пришла ее близкая приятельница Анна Никандровна Погодина и еще какая-то незнакомая мне странная пара: мужчина и женщина. Он представился: «Лихоталь», а Борис Леонидович пояснил, что человек этот, приехав к нему днем с иностранными корреспондентами, так и остался, даже к вечеру, еще и жену вызвал под тем предлогом, что и она-де Зинаида, и у нее сегодня именины. Борис Леонидович сейчас же увел меня от гостей — посоветоваться. У Бориса Леонидовича левая рука была на перевязи. Он сказал, что, когда читал повестку из Союза писателей, рука у него «вроде бы отнялась», сейчас — ничего, но болит.

Посоветоваться же было нужно относительно письма. Ввиду грозных событий дня (нависшая угроза исключения из Союза и т. д.) Борис Леонидович написал письмо Фурцевой.

Когда я недоуменно спросила, почему именно Фурцевой, Борис Леонидович ответил: «Ну, знаете, ведь она все-таки женщина...» (Что это было за письмо, я точно не помню, чересчур была взволнована всеми событиями и вызванным ими двойным

ударом, поразившим одновременно и Всеволода и Бориса Леонидовича.) Помнится только, что письмо было выдержано в очень благородных тонах, а кончалось примерно так: «Верю в существование высших сил не только на земле, но и на небе». Именно из-за этой «религиозной концовки» семейные и в особенности Корней Иванович, приходивший днем к Пастернакам несколько раз и даже фотографировавшийся вместе с Борисом Леонидовичем, которого снимали многочисленные иностранные корреспонденты, считали, что этого письма посылать не надо.

Я придерживалась иного мнения, думала, что любое письмо, как заявка о желании вступить в переговоры, в данной ситуации будет хорошо. Поэтому уговоренный мною Борис Леонидович вручил письмо своему сыну Лене, чтобы тот срочно отвез письмо в Москву. На этом решении я покинула Бориса Леонидовича и ушла к Всеволоду.

Мне на смену, когда я заняла свой пост около Всеволода, пошли к Пастернакам Кома и Таня.

Как потом выяснилось, Леня письма Бориса Леонидовича к Фурцевой не повез, потому что письмо отобрал у него Лихоталь, уверивший всех, что он лучше Лени доставит письмо.

Однако он его почему-то никуда не передал, а через несколько дней вернул Борису Леонидовичу.

Всеволод болел целый месяц. И весь месяц я караулила его от нежелательных вторжений, отлучаясь только для того, чтобы несколько раз в день сбегать проведать Пастернаков, которые жили в совершенном отъединении.

Кроме членов семьи и Нины Александровны, да еще поселенного у них Литфондом женщины-доктора, у Пастернаков в эти дни бывали только Нейгаузы и Асмусы. Однажды, как сообщил мне Борис Леонидович, зашла Лидия Корнеевна Чуковская.

Всех остальных, ранее бывавших там, как ветром сдуло. Борис Леонидович никого не осуждал, но однажды сказал иронически: «Андрей*, наверное, переселился на другую планету».

* Андрей Андреевич Вознесенский, раньше часто к нему забегавший: гостем я встретила А. Вознесенского в доме Бориса Леонидовича всего один раз (Прим. Т. Ивановой).

«25/X.58г.

Дорогая Тамара Владимировна, я встревожен болезнью Всеволода, — как он себя чувствует сейчас? Пожалуйста, передайте ему от меня пожелание скорее справиться с напастью.

Я должен ехать в город и не могу сейчас зайти к Вам.

Будьте здоровы. Ваш К. Федин».

О Пастернаке же, невзирая на их многолетнюю и очень близкую дружбу, в этот момент Федин вроде совсем позабыл. Нас же события, разыгравшиеся вокруг Нобелевской премии, интересовали тогда прежде всего.

Всеволод прямо-таки гнал меня:

— Иди к Борису, как-то он?! Обо мне не беспокойся. Скажи только Марии Егоровне, чтобы никого не пускала.

Привожу две дневниковые записи Всеволода, относящиеся к тому моменту:

26/X. 1958г.

«...Смирнов, плотник: — Целую неделю хожу, как пьяный. В рот ничего не беру, а пьян. Говорят, он (Борис Леонидович) против народа. Да ведь я его десять лет знаю. Он-то и есть самая близость к народу. А те, которые его не знают, верят. Я хожу и поднять глаза стыдно».

27/X. 1958г.

«...Пастернак сказал: — Перед тем, как приходить к вам, мне нужно принимать ванну: так меня обливают помоями».

Если я заходила к Пастернакам вечером, Борис Леонидович обычно шел провожать меня. Дачи рядом — проводы недалекие, но мы без конца ходили вдоль забора, от одной калитки к другой. Именно тут почему-то оказывалось, что надо очень много сказать друг другу.

Во время таких вот хождений, вернувшись из Тбилиси (куда он ездил с Зинаидой Николаевной зимой 59-го г.), Борис Леонидович рассказывал мне, как много значит для него дружба Нины Александровны Табидзе и ее дочери Ниты.

Он говорил, что, если бы Ниту не удерживали дома работа, муж, дети и она могла бы приезжать гостить к ним так же часто и подолгу, как Нина Александровна, «вся жизнь стала бы совсем другой, веселой, легкой, как в Тбилиси», — засмеялся и добавил: «Тогда и с двойственностью моей жизни, которая уже не по возрасту, можно бы покончить».

Конечно, это не подлинные слова Бориса Леонидовича, а только их общий смысл.

К огромному моему сожалению, я ничего не записывала и не в состоянии передать точного содержания наших бесед с ним. О чем мы говорили — «места и главы жизни целой отчеркивая на полях»?

Ведь если даже Всеволод записал в дневнике, что «образность суждений Бориса Леонидовича передать невозможно», то мне-то — куда уж!

Борис Леонидович всегда хотел дойти
До самой сути
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

Могу с уверенностью сказать одно: в этот, может быть, самый тяжкий период своей жизни («Если только можешь, Авва Отче, Чашу эту мимо пронеси») Борис Леонидович отнюдь не был ни мрачен, ни злобен. Нервен, встревожен — да. Но никого из тех, кто перестал приходить к нему и, как от чумы, бежал, издали завидев, он не осуждал.

Борис Леонидович очень боялся высылки за пределы СССР. Это, по его словам, было для него страшнее смерти.

Жизнь писателя, именно писателя-эмигранта представлялась ему немыслимой. Немыслимо писать, не слыша вокруг родного языка.

Привожу записки Пастернака того, острого «нобелевского» периода:

«Начало ноября 1958 г. Дорогие Всеволод и Тамара Владимировна! Кома знает, как и чем я занят и как разрисована у меня морда чем-то нехорошим. Но на бумаге могу позволить себе крепко расцеловать Всеволода, а Вам, Тамара Владимировна, поцеловать руку от всего сердца без страха заразить Вас. Любящие Вас Зин. Ник. и Б. П. Спасибо за все».

«24/ХП. 58 г.

Дорогая Тамара Владимировна, благодарю за вырезки и возвращаю. Не знаю, как выразить степень растроганности Вашей добротой и заботой. Мне кажется, у себя дома я не доставляю никому столько забот, как в последнее время Вам. Но отказаться от этой доли любопытства не могу. Спасибо, спасибо. Поклон Всеволоду и всем. Ваш Б. П.».

Борис Леонидович пишет о «доли любопытства», но многочисленные «вырезки» из зарубежной прессы, которую я ему доставала, пока он сам не начал получать обширнейшую почту — неисчислимое количество писем своих почитателей, — очень его радовали. Он, безусловно, придавал им значение. Ему писали все и отовсюду:

Горы, страны, границы, озера, Перешейки и материки. Обсужденья, отчеты, обзоры, Дети, юноши и старики.

«16сент. 1959 г.

Большое спасибо, дорогая Тамара Владимировна, за заботливость, — вырезку можно вернуть. Очень красивое описание древней площади в Понтремоли, где объявляют о присуждении премии, но в чем это награждение заключается, неоткуда почерпнуть14. Обнимаю Всеволода и целую Вашу руку. В конце недели я наверное дам знать о себе. Всем сердечный привет.

Ваш Б. П.».

В апреле Борис Леонидович заболел. «27/ГУ. 1960 г.

Дорогая Тамара Владимировна! <...> Я заболел сердцем и, верно, надолго. Целую Вас и Всеволода. Дела мои, по моему разумению, чрезвычайно неважны. Пишу лежа, отсюда такой почерк и все прочее.

Ваш Б. П.».

Приписка на обороте конверта:

«Просьба, чтобы Кома зашел ко мне в субб. или в воскрес, в 1-ю полов, дня от 12 до 2-х».

Апрель месяц был трагическим для нашей семьи. В первых числах мая скончался наш зять Давид Александрович Дубинский.

«3/V. 1960 г.

Дорогие Всеволод и Тамара Владимировна, что наши напасти и тревоги перед Вашим великим горем!!! Потрясены, болеем душой, плачем вместе с Вами всеми. Б. Пастернак».

В тот день, когда у Пастернака произошел инфаркт, но диагноз поставлен еще не был, я долго сидела возле Бориса Леонидовича (он все не отпускал меня), и он категорически попросил, как я уже писала в начале этих воспоминаний, не устраивать его на этот раз в больницу, многозначительно добавив: «Вы знаете, кому я там буду доступен, а я этого теперь категорически не хочу».

При известии об инфаркте Бориса Леонидовича (это был уже 2-й инфаркт) мы бросились со всех ног организовывать лечение на дому. Срочно требовалась кислородная палатка.

Привожу записку Федина.

«Дорогой Всеволод! Все сделано. Говорил с глав, врачом, и он высылает аппаратуру и организует все, что необходимо по ходу болезни. Обнимаю тебя. Конст. Федин».

Известие о смерти Бориса Леонидовича застало нас в Ялте, куда мы со Всеволодом отправились вместе с Комой и его женой Татьяной Эдуардовной, чтобы «отдышаться» после семейной трагедии. Врачи предписали Всеволоду срочно переменить обстановку.

Овдовевшая дочь Таня уехала со своим сыном Антоном в Ду-булты — она пожелала остаться с ним вдвоем, все близкие, кроме сына, оказались ей в ее горе — в тягость.

Борису Леонидовичу перед нашим отъездом в Ялту стало лучше. Врачи говорили, что болезнь протекает нормально и выздоровление — дело времени.

Последние сведения из Москвы были тревожными, но катастрофа, как и все катастрофы, разразилась нежданно. Когда сын Миша, у которого я каждый день справлялась по телефону о состоянии Бориса Леонидовича, сообщил о смерти Пастернака, мы были потрясены, и Всеволод опять плохо себя почувствовал. На семейном совете было решено, что он остается в Ялте, а я с Комой и Таней вылетаем в Москву на похороны.

Похороны были необыкновенны.

Их невозможно забыть даже и посторонним очевидцам, а не только тому, кому они раздирали сердце и в ком оставили неизгладимый след.

Стояла поздняя весна.

Сад Пастернаков был в пене вишневого и яблоневого цвета.

Гроб с телом Бориса Леонидовича был поставлен в столовой, откуда вынесли все, кроме цветов, которые беспрестанно прибывали и прибывали вместе с нескончаемой чередой людей, входивших через террасу и, пройдя мимо гроба, выходивших через кухню обратно в сад.

Когда настала пора нести гроб на кладбище, представители Литфонда предложили, чтобы гроб поставить на грузовик.

Но молодежь, присутствовавшая на похоронах в большом, даже подавляющем количестве, не допустила этого.

За гроб сразу взялись восемь мальчиков: по четверо с каждой стороны.

У изголовья встали сыновья Пастернака Леня и Женя, за ними шли мои сыновья Кома и Миша, потом — напротив друг друга — Станислав Нейгауз и Миша Поливанов, в изножий очутились Владимир Николаевич Топоров и напротив него Андрей Дмитриевич Николаев15.

Рядом со Станиславом Нейгаузом все время шел Сима Маркиш, уговаривая уступить ему место. Он говорил: «Стасик! Ты же пианист. Борис Леонидович никогда бы тебе не позволил натруж-дать руки».

А руки все мальчики, несшие гроб, действительно йатружда-ли. Они не просто несли, а время от времени поднимали гроб на вытянутых руках вверх, и он как бы плыл поверх голов провожавшей его несметной толпы, не умещавшейся на дороге и занявшей все огромное поле.

Несшие гроб молодые люди наотрез отказывались смениться, хотя путь был неблизкий и кладбище на косогоре. Но Симе Маркишу все же удалось пристроиться рядом со Стасиком и перенять от него часть тяжести.

Борис Леонидович пророчески предсказал свою смерть и похороны в стихотворении «Август».

...То прежний голос мой провидческий Звучал, не тронутый распадом.

И он звучит, этот голос, и ничто не заглушит его.

Прощай, размах крыла расправленный, Полета вольное упорство, И образ мира, в слове явленный, И творчество, и чудотворство.

Корней Чуковский

ИЗ ДНЕВНИКА (О Б. Л. Пастернаке)

1930

19 ноября. В Москве с 15-го. Видел: Ефима Зозулю, Воронско-го, Кольцова, Шкловского, Ашукина <...> и Пастернака. Вчера был в «Зифе» у Черняка. Зашел поговорить о Панаевой. Вдруг кто-то кидается на меня и звонко целует. Кто-то брызжущий какими-то силами, словно в нем тысяча сжатых пружин. Пастернак. «Любите музыку. Приходите ко мне. Я вам пришлю Спекторского — вам первому — ведь вы подарили мне Л<омоносо>ву1. Что за чудесный человек. Я ее не видел, но жена говорит...»

Оказывается, лет пять назад я рекомендовал Пастернака Ломоносовой, когда еще муж ее не был объявлен мошенником. И вот за это он так фонтанно, водопадно благодарит меня. Сегодня буду у него.

1931

27/XL Вчера за мной заехал к Кольцову Пильняк — в черном берете, любезный, быстрый, уверенный. <...> В доме у него два писателя. Платонов и его друг, про которых он говорит, что они лучшие писатели в СССР. <...>

Мы перешли на диван в кабинет. У Пильняка застучали зубы. Он укутался в плед. На стене в кабинете висит портрет Пастернака с нежной надписью: «Другу, дружбой с которым горжусь» — и внизу стихи, те, в которых есть строка:

И разве я не мерюсь пятилеткой.

Оказывается, эти стихи Пастернак посвятил Пильняку, но в «Новом мире» их напечатали под заглавием «Другу»2. Тут заговорили о Пастернаке, и Пильняк произнес горячую речь, восхваляя его. Речь была очень четкая, блестящая по форме, издавна обдуманная — Пастернак человек огромной культуры (нет, не стану пересказывать ее — испорчу — я впервые слыхал от П<ильня>ка такие мудрые отчетливые речи). Все слушали ее завороженные.

8/XIL <...> Вскоре после моего приезда в Ленинград, когда я лежал в гриппу, ко мне пришел Тынянов и просидел у меня весь вечер, стараясь развлечь меня своими рассказами.

Великолепно показывал он Пастернака: как Пастернак словно каким-то войлоком весь укутан — и ни одно ваше слово до него не доходит сразу: слушая, он не слышит и долго сочувственно мычит: да, да, да! И только потом через две-три минуты поймет то, что вы говорили<...>и скажет решительно: нет. Так что все реплики Пастернака в разговоре с вами такие:

— Да... да... да... да... НЕТ!

В показе Тынянова есть и лунатизм П<астерна>ка, и его оторванность от внешнего мира, и его речевая энергия. Тынянов изображал, как П<астерн>ак провалил у Горького на заседании

«Библ. поэтов» предложенную Т<ыняно>вым книгу «Опытов» Востокова: вначале с большой энергией кивал головой и мычал: да, да, да, а закончил эту серию «да» крутым и решительным «нет».

1932

24/IL Москва. Мороз. Ясное небо. Звезды. Сегодня день Мури-ного рождения. Ей было бы 12 лет3. <...> был я у Корнелия Зелинского4. Туда пришел Пастернак с новой женой Зинаидой Николаевной. Пришел и поднял температуру на 100°. При Пастернаке невозможны никакие пошлые разговоры, он весь напряженный, радостный, источающий свет. Читал свою поэму «Волны», которая, очевидно, ему самому очень нравится, читая, часто смеялся отдельным удачам, читал с бешеной энергией, как будто штурмом брал каждую строфу, и я испытал такую радость, слушая его, что боялся, как бы он не кончил. Хотелось слушать без конца — это уже не «поверх барьеров», а «сквозь стены». Неужели этот новый прилив творческой энергии дала ему эта миловидная женщина? Очевидно, это так, п. ч. он взглядывает на нее каждые 3—4 минуты и, взглянув, меняется в лице от любви и смеется ей дружески, как бы благодаря ее за то, что она существует. Во время прошлой нашей встречи он был как потерянный, а теперь твердый, внутренне-спокойный. Он не знает, что его собрание сочинений в Ленинграде зарезано5. Я сказал ему об этом (думая, что он знает), он загрустил. Она спросила: почему? — он сказал: «Из-за смерти Вяч. Полонского»6. Но она сказала: «И из-за книг»7. Он признался: да.

26/IIL Я все еще под впечатлением «поэмы». Здесь в Москве—в этот мой приезд — у меня 2 равноценных впечатления: «Волны» Пастернака и завод «АМО».

30/III. <...> Вечером позвонил мне Пастернак. «Приходите с Чукоккалой. Евг<ения> Влад<имировна> очень хочет вас видеть». Я забыл, кто такая Евг. Влад.<...>и сказал, что буду непременно. Но проспал до 10У2 — и поздно пошел по обледенелым улицам на Остоженку в тот несуразный дом со стеклянными сосисками, который построен его братом Алекс<андром> Л<еони-Довичем>. Весенняя морозная ночь. Звезды. Мимо проходят влюбленные пары с мимозами в руках. У подъезда

бывш. квартиры Пастернака вижу женскую длинную фигуру, в новомодном пальто, к-рое кажется еще таким странным среди всех прошлогодних коротышек. Она окликает меня. Узнаю в ней бывшую жену Пастернака, которую видел лишь однажды. Она тоже идет к Б<орису> Л<еонидовичу> и ждет грузина, чтоб пойти вместе.

Грузин опоздал. Мы идем вдвоем, и я чувствую, что она бешено волнуется. «Первый раз иду туда<...>говорит она просто. — Как обожает вас мой сын8. Когда вы были у нас, он сказал: я так хотел, чтобы ты, мама, вышла к Чуковскому, что стал молиться, и молитва помогла». Пришли. Идем через двор. У Паст<ернака> — длинный стол, за столом Локс, Пильняк с 0<льгой> (Хергеев-ной>, З<инаида> Н<иколаевна> (новая жена П<астернака>), А. Габричевский9, его жена Наташа (моя родственница по Марине), брат Пастернака, жена брата и проч. Через минуту после того, как вошла Евг. Вл.<...>стало ясно, что приходить ей сюда не следовало. З. Н. не сказала ей ни слова. Б. Л. стал очень рассеян, говорил невпопад, явно боясь взглянуть нежно или ласково на Евг. Вл., Пильняки ее явно бойкотировали, и ей осталось одно прибежище: водка. Мы сели с ней рядом, и она стала торопливо глотать рюмку за рюмкой, и осмелела, начала вмешиваться в разговоры, а тут напился Габричевский и принялся ухаживать за ней — так резво, как ухаживается только за «ничьей женой». З. Н. выражала на своем прекрасном лице враждебность, как будто я «ввел в дом» Евг. Вл. Габричевский заснул. Наташа принялась обливать его холодной водой. Пастернак смертельно устал. Мы ушли: Локс, Евг. Вл. и я. По дороге она рассказала о том, что П<ас-терн>ак не хочет порывать с ней, что всякий раз, когда ему тяжело, он звонит ей, приходит к ней, ищет у нее утешения («а когда ему хорошо, и не вспоминает обо мне»), но всякий раз обещает вернуться... Теперь я понял, почему З. Н. была так недобра к Евп Вл. Битва еще не кончена. Евг. Вл. — все еще враг. У Евг. Вл., как она говорит, 3 друга: Маршак, Сара Лебедева и Анна Дм. Радлова10.

2 апреля. Вчера был у меня Пильняк. <...> Говорит Пильняк, что в Японию ему ехать не хочется: «Я уже наладился удрать в деревню и засесть за роман, накатал бы в два месяца весь. Но Ст<алин> и Карахан посылают. Жаль, что не едет со мною Боря Пастернак. Я мог достать паспорт и для него, но — он пожелал непременно взять с собою З. Н., а она была бы для нас обоих обузой, я отказался даже хлопотать об этом, Боря надулся, она настрюкала его против меня, о, я теперь вижу, что эта новая жена для П<астерна>ка еще круче прежней. И прежняя была золото: Боря у нее б<ыл> на посылках, самовары ставил, а эта...»

1935

7277. 9-го мы были в Клубе им. Маяковского на Грузинском вечере. Приехали: Гришашвили, Эули, Табидзе, Паоло Яшвили,

Пастернак, Гольцев и еще какие-то. Луговской сказал речь, где указывал, что юбилей Пушкина, кот. будет праздновать Грузия, и юбилей Руставели, котор. будет праздновать Советский Союз<...Символизирует наше слияние. Грузины оказались мастерами читать свои стихи — особенно привела в восторг манера Гришашвили и Тициана — восточная жестикуляция, очень убедительная, от верхней стенки желудка к плечам. Когда вышел Пастернак, ему так долго аплодировали, что он махал по-домашнему (очень кокетливо) руками, чтобы перестали, а потом энергически сел. И читал он стихи таким голосом, в котором слышалось: «я сам знаю, что это дрянь и что работа моя никуда не годится, но что же поделаешь с вами, если вы такие идиоты». Глотал слова, съедал ритмы, стирал фразировку. Впрочем, читал он не много. Перед ним выступал Гитович11, который читал чей-то чужой перевод — и заявил публике по этому поводу, что ему стыдно выступать с чужими переводами. Придравшись к этому, Пастернак сказал: — А мне стыдно читать свои.

1946

21 августа. <...> Третьего дня я был у Пастернака: он пишет роман. Полон творческих сил, но по-прежнему его речь изобилует прелестными невнятными туманностями.

Сегодня 29 августа. В пятницу в «Правде» ругательный фельетон о моем «Бибигоне» и о Колином «Серебряном острове»12. Значит, опять мне на старости голодный год <...> сердце болит до колик — и ничего взять в рот не могу. Пришел Пастернак. Бодрый, громогласный. Принес свою статью о Шекспире13.

5 сентября. Весь день безостановочный дождь. <...> В «Правде» вчера изничтожают Василия Гроссмана14. Третьего дня у меня был Леонов. Говорит: почему Пастернак мешает нам, его друзьям, вступиться за него? Почему он болтает черт знает что?

10 сентября. <...> Вчера вечером были у нас Леоновы, а я в это время был на чтении у Пастернака. Он давно уже хотел почитать мне роман, кот. он пишет сейчас. Он читал этот роман Фе-дину и Погодину, звал и меня. Третьего дня сказал Коле, что чтение состоится в воскресенье. Заодно пригласил он и Колю и Маринуй. А как нарочно в этот день, на который назначено чтение, в «Правде» напечатана резолюция президиума СП, где Пастернака объявляют «безыдейным, далеким от советской действительности автором». Я был уверен, что чтение отложено, что Пастернак горько переживает «печать отвержения», кот. заклеймили его. Оказалось, что он именно на этот день назвал кучу народа: Звягинцева, Корнелий, Вильмонт и еще человек десять неизвестных. Роман его я плохо усвоил, т. к. вечером я не умею слушать, устаю за день к 8-ми часам, но при всей прелести отдельных кусков — главным обр. относящихся к детству и к описаниям природы — он показался мне посторонним, сбивчивым, далеким от моего бытия — и слишком многое в нем не вызвало во мне никакого участия. Тут и девушка, кот. развращает старик-адвокат, и ее мать, с которой он сожительствует, и мальчики Юра, Ника, Миша, и какой-то Николай Николаевич, умиляющийся Нагорной проповедью и утверждающий вечную силу евангельских истин.

Потом Юра — уже юноша сочиняет стихи — в роман будут вкраплены стихи этого Юры — совсем пастернаковские — о бабьем лете и о мартовской капели — очень хорошие своими «им-прессионами», но ничуть не выражающие душевного «настрой-ства» героя.

Потом П<астернак> пригласил всех ужинать. Но я был так утомлен романом и мне показался таким неуместным этот «пир» Пастернака — что-то вроде бравады — и я поспешил уйти.

1947

10 июня. <...> Видел я Пастернака. Бодр, грудь вперед, голова вскинута вверх. Читал мне свои переводы из Петефи. Очень хорошо — иногда. А порою небрежно, сделано с маху, без оглядки...

1951

31 августа. <...> Был у меня вчера Пастернак — счастливый, моложавый, магнетический, очень здоровый. Рассказывал о Горьком. Как Горький печатал (кажется, в «Современнике») его перевод пьесы Клейста — и поправил ему в корректуре стихи. А он не знал, что корректура была в руках у Горького, и написал ему ругательное письмо: «Какое варварство! Какой вандал испортил мою работу?»16 Горький был к Пастернаку благосклонен, переписывался с ним; Пастернак написал ему восторженное письмо по поводу «Клима Самгина»17, но он узнал, что П<астерна>к одновременно с этим любит и Андрея Белого, кроме того Горькому не понравились Собакин и Зоя Цветаева18, которых он считал друзьями П<астерна>ка, и поэтому после одного очень запутанного и непонятного письма, полученного им от Бориса Леонидовича, написал ему, что прекращает с ним переписку19.

О Гоголе — восторженно; о Лермонтове — говорить, что Лерм. великий поэт, это все равно что сказать о нем, что у него были руки и ноги. Не протезы же! — хахаха!20 О Чехове — наравне с Пушкиным: здоровье, чувство меры, прямое отношение к действительности. Горького считает великим титаном, океаническим человеком.

1953

26апр. <...> Жаль, что я не записал своей беседы с Пастернаком в его очаровательной комнате, где он работает над корректурами «Фауста». Комната очаровательна необычайной простотой, благородной безыскусственностью: сосновые полки с книгами на трех-четырех языках (книг немного, только те, что нужны для работы), простые сосновые столы и кровать — но насколько эта обстановка изящнее, артистичнее, художественнее, чем, напр., ориентальная обстановка в кабинете у Вс. Иванова — где будды, слоны, китайские шкатулки и т. д.

20/X. Был у Федина. Говорит, что в литературе опять наступила весна. <...> Боря Пастернак кричал мне из-за забора <...> «Начинается новая эра, хотят издавать меня!»...

25 октября. Был у Федина. <...> Федин в восторге от пастер-наковского стихотворения «Август», которое действительно гениально. «Хотя о смерти, о похоронах, а как жизненно — все во славу жизни».

1954

15 декабря. <...> Только что вернулся со Съезда. Впечатление — ужасное. Это не литературный съезд, но анти-литератур-ный съезд.

19 декабря. Не сплю много ночей — из-за съезда. Заехал было за Пастернаком — он не едет: «Кланяйтесь Анне Андреев-не»<...>вот и все его отношение к Съезду21. Я бываю изредка — толчея, казенная канитель, длинно, холодно и шумно. Сейчас ночью гулял с Ливановой и Пастернаком 2 часа. Он много и мудро говорил о Некрасове.

1955

28 февраля. Вчера снова ездил на могилу. <...> Видел Ивановых — Кому, Т. В.22, они проводили меня к Пастернаку, который и звонил мне и приходил ко мне. Пастернак закончил свой роман — теперь переписывает его для машинистки. Написал 500 страниц. Вид у него усталый: были у него Ливановы, и он был на домашнем юбилее Всев. Иванова — недоспал, пил. Приехав домой, я застал у себя Ираклия23, который гениально показал речь, сказанную Пастернаком на юбилее:

«Я помню... тридцать лет назад... появились такие свежие... такие необычайные — великолепные произведения Всеволода... а потом... тридцать лет прошло... и ничего!»

10мая. <...> Гуляя с Ираклием, встретили Пастернака. У него испепеленный вид — после целодневной и многодневной работы. Он закончил вчерне роман — и видно, что роман довел его до изнеможения. Как долго сохранял П<астерна>к юношеский, студенческий вид, а теперь это седой старичок — как бы присыпанный пеплом. «Роман выходит банальный, плохой — да, да<...>но надо же кончить» и т. д. Я спросил его о книге стихов. «Вот кончу роман — и примусь за составление своего однотомника. Как хотелось бы все переделать<...>например, в цикле "Сестра моя жизнь" хорошо только заглавие» и т. д. Усталый, но творческое, духовное кипение во всем его облике.

1956

1 сентября 1956. Был вчера у Федина. Он сообщил мне под большим секретом, что Пастернак вручил свой роман «Доктор Живаго» какому-то итальянцу, который намерен издать его за границей. Конечно, это будет скандал: «Запрещенный большевиками роман Пастернака». Белогвардейцам только это и нужно. Они могут вырвать из контекста отдельные куски и состряпать: «контрреволюционный роман Пастернака».

С этим роман<ом> большие пертурбации: П<астерна>к дал его в «Лит. Москву». Казакевич, прочтя, сказал: «Оказывается, судя по роману, Октябрьская революция —

недоразумение и лучше было ее не делать». Рукопись возвратили. Он дал ее в «Новый мир», а заодно и написанное им предисловие к Сборнику его стихов. Кривицкий склонялся к тому, что «Предисловие» можно напечатать с небольшими купюрами. Но когда Симонов прочел роман, он отказался печатать и «Предисловие». — Нельзя давать трибуну Пастернаку!

Возник такой план, чтобы прекратить все кривотолки (за границей и здесь), тиснуть роман в 3-х тысячах экземпляров и сделать его таким образом недоступным для масс, заявив в то же время: у нас не делают П<астерна>ку препон.

А роман, как говорит Федин, «гениальный». Чрезвычайно эгоцентрический, гордый, сатанински надменный, изысканно простой и в то же время насквозь книжный — автобиография великого Пастернака. (Федин говорил о романе вдохновенно, ходя по комнате, размахивая руками<...>очень тонко и проницатель-но<...>я залюбовался им, сколько в нем душевного жара.) Заодно федин восхищался Пастернаковым переводом «Фауста», просторечием этого перевода, его гибкой и богатой фразеологией, «словно он всего Даля наизусть выучил». Мы пошли гулять — и у меня осталось такое светлое впечатление от Федина, какого давно уже не было.

1958

14января. Гулял очень много с Фединым. <...> «В последнее время у меня была преинтересная переписка с Пастернаком — я так и сказал начальству: не натравливайте меня против Пастернака — я на это не пойду». Видел итальянское издание Б. Л-ча, с его портретом — и заявлением, что книга печатается без его согласия. Красивое издание — «Доктор Живаго»24.

1 февр. Заболел Пастернак. <...> Нужен катетр. Нет сегодня ни у кого шофера: ни у Каверина, ни у Вс. Иванова, ни у меня. Мне позвонила Тамара Влад., я позвонил в ВЦСПС, там по случаю субботы все разошлись. Одно спасение: Коля должен приехать — и я поеду на его машине в ВЦСПС — за врачами. Бедный Борис Леонидович — к нему вернулась прошлогодняя болезнь. Тамара Влад. позвонила в город Лидии Ник. Кавериной25: та купит катетр, но где достать врача. Поеду наобум в ВЦСПС.

Был у Пастернака. Ему вспрыснули пантопон. Он спит, Зин. Ник. обезумела. Ниоткуда никакой помощи. Просит сосредоточить все свои заботы на том, чтобы написать письмо Правительству о необходимости немедленно отвезти Б. Л-ча в больницу. Лидия Ник. привезла катетр. Сестра медицинская (Лидия Тимоф.) берется сделать соответствующую операцию. Я вспомнил, что у меня есть знакомый Мих. Фед. Власов (секретарь Микояна), и позвонил ему. Он взялся позвонить в Здравотдел и к Склифосовскому. В это время позвонила жена Казакевича — она советует просто вызвать «скорую помощь» к Склифосовскому. Но «скорая помощь» от Склифос. за город не выезжает. И вот лежит знаменитый поэт — и никакой помощи ниоткуда.

В Союзе в прошлом году так и сказали: «П<астернак> недостоин, чтобы его клали в Кремлевку». Зин. Ник. говорит: «П<ас-тернак> требует, чтобы мы не обращались в Союз».

3 февраля. Был у Пастернака. Он лежит изможденный — но бодрый. Перед ним Henry James*. Встретил меня радушно — читал и слушал вас по радио — о Чехове, ах — о Некрасове, и вы так много для меня... так много... и вдруг схватил мою руку и поцеловал. А в глазах ужас... «Опять на меня надвигается боль — и я думаю, как бы хорошо <умереть>... (Он не сказал этого слова.) Ведь я уже сделал <в жизни> все, что хотел. Так бы хорошо».

Все свидание длилось три минуты. Эпштейн сказал, что операция не нужна (по крайней мере сейчас). Главное: нерв позвонка. Завтра приедет невропатолог. <...>

Вчера у Пастернака. Лечат его бестолково. Приезжавшие два профессора (Раппопорт и еще какой-то <Ланда>) сказали Зин. Ник., что, делая ему горчичные

ванны, она только усилила его болезнь. («Он мог и умереть от такого лечения».) Клизмы ему тоже противопоказаны. До сих пор не сделаны ни анализы крови, ни анализы мочи. Не приглашена сиделка. Познакомился я у постели Бор. Л-ча с Еленой Ефимовной Тагер26, очень озабоченной его судьбой. Мы сговорились быть с нею в контакте. Сегодня и завтра я буду хлопотать о больнице. О Кремлевке нечего и думать. Ему нужна отдельная палата, а где ее достать, если начальство продолжает гневаться на него.

Ужасно, что какой-нибудь Еголин27, презренный холуй, может в любую минуту обеспечить себе высший комфорт, а П<ас-терна>к лежит — без самой элементарной помощи.

7 февраля. Вчера я не мог заснуть даже с нембуталом. <...> Подыскивал больницу для Пастернака. В 7-м корпусе Боткинской все забито, лежат даже в коридорах, в Кремлевке — нужно ждать очереди, я три раза ездил к Мих. Фед. Власову (в Совет Министров РСФСР, куда меня не пустили без пропуска; я говорил оттуда с М. Ф., воображая, что он там, а он — в другом месте; где — я так и не узнал); оказалось, с его слов, что надежды мало. Но, приехав домой, узнаю, что он мне звонил, и оказывается: он добыл ему путевку в клинику ЦК — самую лучшую, какая только есть в Москве<...>и завтра Женя28 везет Тамару Вл. Иванову за получением этой путевки. Я обрадовался и с восторгом побежал к Пастернаку. При нем (наконец-то!) сестра; у него жар. Анализ крови очень плохой. Вчера была у него врачиха — помощница Вовси (Зинаида Николаевна); она (судя по анализу

* Генри Джеймс. 306

крови) боится, что рак. Вся моя радость схлынула. Он возбужден, у него жар. Расспрашивал меня о моей библиотеке для детей. Зинаида Николаевна (жена Бориса Леонидовича) все время говорит о расходах и встретила сестру неприязненно: опять расходы. В поисках больницы забегал я и в Союз. Видел там Смирнова (В. А.) и Ажаева. Они пытаются добыть для П<астерна>ка Кремлевку, но тщетно.

Милый Власов! Он звонил проф. Эпштейну, расспрашивал о болезни П<астерна>ка. Звонил в Союз — узнать его отчество и т. д. Говорил с министром здравоохранения РСФСР и министг ром здр. СССР.

8 февраля. Вчера Тамара Владимировна Иванова ездила в моей машине (шофер — Женя) за больничной путевкой в Министерство здравоохранения РСФСР (Вадковский пер., 18/20; район Бутырок) к референтке министерства Надежде Вас. Тихомировой. Получив путевку, она поехала в больницу ЦК — посмотреть, что это за больница и какова будет палата Бор. Леон. Там ей ничего не понравилось: директор — хам, отдельной палаты нет, положили его в урологическое отделение. Но мало-помалу все утрясется. Хорошо, что там проф. Вовси, Эпштейн и др. Пришлось доставать и «карету скорой помощи». В три часа Женя воротился и сообщил все это Б-су Л-чу. Он готов куда угодно — болезнь истомила его. Очень благодарит меня и Там. Вл. По моему предложению подписал Власову своего «Фауста», поблагодарив за все хлопоты. З. Н. нахлобучила ему шапку, одела его в шубу; рабочие между тем разгребли снег возле парадного хода и пронесли его на носилках в машину. Он посылал нам воздушные поцелуи.

18 апреля. Видел Пастернака. Шел с Катей, Гидашами29 и Львом Озеровым. Вдруг как-то боком, нелепо, зигзагом подбегает ко мне Борис Л<еонидович>. «Ах, сколько вы для меня сделали... Я приду... Приду завтра в 5 час». И промчался, словно за ним погоня. Все это продолжалось секунду. Накануне он говорил по телефону, что хочет прийти ко мне.

Сегодня, 19-го апр., я был в городе. <...> Приехал в Переделкино и поспешил к Пастернаку. Он — после обеда. Зинаида Ник., Нейгауз и молодая невестка (забыл

фамилию). Б. Л. спокойнее — опять о моем «подвиге». Разговор о Henry James'e, о Леониде Мартынове, о Паустовском.

— Я всегда в больнице решаю, что читать можно только Чехова. Но на этот раз думаю: дай-ка возьму Куприна. С предисловием Паустовского. Читаю — немощно, претенциозно, пусто. — Отношение ко мне дружественное — но мне показалось, что он утомлен, и я ушел.

22 апреля. Сегодня были у меня: Оля Грудцова, Наташа Тренева; мы сидели и читали переводы Заболоцкого из Важа Пшаве-лы и Гурамишвили, когда пришли Пастернак, Андроников — и позже Лида. Пастернак — трагический — с перекошенным ртом, без галстуха, рассказал, что сегодня он получил письмо из Вильны по-немецки, где сказано:

«Когда вы слушаете, как наемные убийцы из "Голоса Америки" хвалят ваш роман, вы должны сгореть со стыда».

Я романа «Доктор Живаго» не читал (целиком). <...> Но сам он производит впечатление гения: обнаженные нервы, неблагополучный и гибельный.

Говорил о Рабиндранате Тагоре — его запросили из Индии, что он думает об этом поэте, а он терпеть его не может, так как в нем нет той «плотности», в которой сущность искусства.

Взял у меня Фолкнера «Light in AugustV

Сегодня он первый раз после больницы был в городе — купил подарки сестрам и врачам этой лечебницы.

14 июня. <...> Вдруг пришел ко мне милый Кассиль — и говорит, что он наверное узнал, что Пастернак собирается завтра выступить со своими стихами, с чтением своей автобиографии в Доме творчества, где наряду с почтенными переводчиками, литературоведами живет много шушеры — «которая сделает из пас-тернаковского выступления громчайший скандал — и скандал этот будет на руку Суркову».

Я побежал к П<астерна>ку предупредить его и все время твержу его стихи:

Как вдруг из расспросов сиделки, Покачивавшей головой, Он понял, что из переделки Едва ли он выйдет живой.

Не застал его дома, он пошел гулять; гуляет он часа два; я не мог дождаться его; З. Н. тоже против его чтения — просит уговорить. Условились, что сегодня утром он зайдет ко мне. Читать сейчас было бы безумием. А какие стихи! Я упиваюсь его «Августом», «Больницей», «Снегом».

* «Свет в августе» (англ.).

9 сентября. У меня с Пастернаком — отношения неловкие: я люблю некоторые его стихотворения, но не люблю иных его переводов и не люблю его романа «Доктор Живаго», который знаю лишь по первой части, читанной давно. Он же говорит со мной так, будто я безусловный поклонник всего его творчества, и я из какой-то глупой вежливости не говорю ему своего отношения. Мне любы (до слез) его «Рождественская звезда», его «Больница», «Август», «Женщинам» и еще несколько; мне мил он сам — поэт с головы до ног — мечущийся, искренний, сложный.

27 октября. История с Пастернаком стоит мне трех лет жизни. Мне так хотелось ему помочь!!! Я предложил ему поехать со мной к Фурцевой30. <...>

Дело было так. Пришла в 11 часов Клара Лозовская, моя секретарша, и, прыгая от восторга, сообщила мне, что Пастернаку присуждена премия, <...> я с Люшей31 бросился к нему и поздравил его. Он был счастлив, опьянен своей победой и рассказывал, что ночью у него был Всеволод Иванов, тоже поздравляя его. Я обнял Б. Л. и расцеловал его от души. Оказалось, что сегодня день рождения его жены. Я поднял бокал за ее здоровье. Тут только я заметил, что рядом с русским фотографом есть два иностранных. Русский фотограф Александр Васильевич Морозов32 был от

Министерства иностр. дел. Он сделал множество снимков. Тут же находилась вдова Тициана Табидзе, к-рая приехала из Тбилиси, чтобы Б. Л. помог ей продвинуть, осуществить русское издание стихов ее мужа. Она привезла неск. бутылок чудесного грузинского вина. Никто не предвидел, что нависла катастрофа. Зин. Ник. обсуждала с Табидзе, в каком платье она поедет с «Борей» в Стокгольм получать Нобелевскую премию. Меня сильно смущало то, что я не читал «Доктора Живаго» — то есть когда-то он сам прочитал у меня на балконе черновик 1-й части — и мне не слишком понравилось — есть отличные места, но, в общем, вяло, эгоцентрично, гораздо ниже его стихов. Когда Зин. Н. спросила меня (месяца два назад), читал ли я «Живаго», я сказал: «Нет, я не читаю сенсационных книп>. Забыл сказать, что едва мы с Люшей пришли к П<астерна>ку, он увел нас в маленькую комнатку и сообщил, что вчера (или сегодня?) был у него Федин, сказавший: «Я не поздравляю тебя. Сейчас сидит у меня Поликарпов33, он требует, чтобы ты отказался от премии». Я ответил: «Ни в коем случае». Мы посмеялись, мне показалось это каким-то недоразумением. Ведь Пастернаку дали премию не только за «Живаго» — но за его стихи, за переводы Шекспира, Шиллера, Петефи, Гете, за огромный труд всей его жизни, за который ему должен быть признателен каждый советский патриот. Я ушел. Б. Л.: «Подождите, выйдем вместе, я только напишу две-три телеграммы». Мы с Люшей вышли на дорогу. Встретили Цилю Сельвинскую34. Она несла горячие пирожки. — Иду поздравить. — Да, да, он будет очень рад. — Нет, я не его, а З. Н., она именинница. Оказалось, Циля еще ничего не знала о премии. Выбежал П<астерна>к, мы встретили нашу Катю и вместе пошли по дороге. П<астерна>к пошел к Ольге Всеволодовне — дать ей для отправки свои телеграммы, и, м. б., посоветоваться. Мы расстались, и я пошел к Федину. Ф<еди>н был грустен и раздражен. «Сильно навредит П<астер-нак> всем нам. Теперь-то уж начнется самый лютый поход против интеллигенции». И он рассказал мне, что Поликарпов уехал взбешенный. «Последний раз он был у меня, когда громили мою книжку "Горький среди нас". И тут же Фед<ин> заговорил, как ему жалко Пастернака. «Ведь Поликарпов приезжал не от себя. Там ждут ответа. Его проведут сквозь строй. И что же мне делать? Я ведь не номинальный председатель, а на самом деле руководитель Союза. Я обязан выступить против него. Мы напечатаем письмо от редакции "Нового мира" — то, которое мы послали П<астерна>ку, когда возвращали ему рукопись» и т. д.

Взбудораженный всем этим, я часа через два снова пошел к П<астерна>ку. У него сидел Морозов (из М-ва ин. дел) вместе с женой. Они привезли Зин. Н-вне цветы и угнездились в доме, как друзья. Была жена Н. Ф. Погодина. Был Леня, сын Б. Л-ча. Б. Л., видимо, устал. Я сказал ему, что готовится поход против него, и сообщил о письме из «Нового мира». А главное — о повестке, полученной мною из Союза писателей с приглашением завтра же явиться на экстренное заседание. Как раз в эту минуту приехал к нему тот же посыльный и принес такую же повестку. (Я видел посыльного также у дачи Всеволода Ив<анова>.) Лицо у него потемнело, он схватился за сердце и с трудом поднялся на лестницу к себе в кабинет. Мне стало ясно, что пощады ему не будет, что ему готовится гражданская казнь, что его будут топтать ногами, пока не убьют, как убили Зощенку, Мандельштама, Заболоцкого, Мирского, Бенед. Лившица, и мне пришла безумная мысль, что надо спасти его от этих шпицрутенов. Спасение одно — поехать вместе с ним завтра спозаранку к Фурцевой, заявить ей, что его самого возмущает та свистопляска, которая поднята вокруг его имени, что «Живаго» попал за границу помимо его воли<...>и вообще не держаться в стороне от ЦК, а показать, что он нисколько не солидарен с бандитами, которые наживают сотни тысяч на его романе и подняли вокруг его романа политическую шумиху. Меня поддержали Анна Никандровна Погодина, Морозов и Леня. Когда Б. Л. сошел вниз, он отверг мое

предложение, но согласился написать Фурцевой письмо с объяснением своего поступка. Пошел наверх и через десять минут (не больше) принес письмо к Фурцевой — как будто нарочно рассчитанное, чтобы ухудшить положение. «Высшие силы повелевают мне поступить так, как поступаю я», «я думаю, что Нобелевская премия, данная мне, не может не порадовать всех советских писателей», и «нельзя же решать такие вопросы топором». Выслушав это письмо, я пришел в отчаяние35. Не то! И туг только заметил, что я болен. Нервы мои разгулялись, и я ушел, чуть не плача. Морозов отвез меня домой на своей машине.

3 декабря. Весь ноябрь «я был болен Пастернаком». <...> Ни одной ночи я не спал без снотворного. Писал собачью чушь. <...> Здесь в Доме творчества отдыхает проф. Асмус. Он передал мне привет от Пастернака (кот. я ни разу не видел с 25-го окт.).

4 декабря. Вчера, гуляя с Асмусом, мы встретили Тамару Владимировну Иванову — в страшной ажитации. Оказывается, на юбилее Андроникова Виктор Влад. Виноградов сказал Тамаре Владимир., что Корнелий Зелинский подал донос на Кому Иванова, где утверждает, будто дом Всеволода Иванова это гнездо контрреволюции. В своем доносе он ссылается на Федина и Суркова. Вся эта кляуза опять-таки связана с делом Пастернака: Кома месяца 3 назад не подал руки Зелинскому и при этом громко сказал: вы написали подлую статью о Пастернаке36. Зелинский сообщил об этом на собрании писателей, публично. И кроме того — написал донос. Странный человек! Когда П<астернак> был болен, Зел. звонил ко мне: «Скажите, ради бога, как здоровье Бори?», «Я Борю очень люблю и считаю великим поэтом» и т. д. Теперь он ссылается на Федина. Тамара Владимировна, узнав об этом, пошла к Федину после бессонной ночи. «Правда ли, что вы солидаризируетесь с подлецом Зелинским и что в своем доносе он ссылается на вас?» — «Я не считаю 3-ого подлецом — и то, что он написал, не считаю доносом. Я возвращался с 3-им после осмотра памятника Фадееву и действительно говорил о Коме. Я говорил, что он и мне не подал руки» и т. д. Федин, по словам Ивановой, очень путался, сбивался... «А ведь мы 31 год были в дружбе... и мне так больно терять друга...» (Она плачет.)

У Комы дела плохи. Его травят. Карьера его под угрозой. «Но я горжусь, что воспитала такого благородного сына».

Нилин: «Пастернак очень щедр. За малейшую услугу — здесь в Городке писателей — он щедро расплачивается. Поговорит в Доме творчества по телефону и дает уборщице пятерку. По этому случаю один старик сказал: ему легко швырять деньги. Он продался американцами..>читали в газетах? Все эти деньги у него — американские».

1959

23 апреля. За это время я раза три виделся с Пастернаком. Он бодр, глаза веселые, побывал с Зиной в Тбилиси, вернулся по-молоделый, самоуверенный.

Говорит, что встретился на дорожке у дома с Фединым — и пожал ему руку — и что в самом деле! начать разбирать, этак никому руку подавать невозможно!37

— Я шел к вам! — сказал он. — За советом.

— Но ведь вы ни разу меня не послушались. И никакие не нужны вам советы.

Смеется:

— Верно, верно.

Пришел ко мне: нет ли у меня книг о крестьянской реформе 60-х годов. Нужны имена Милютина, Кавелина, Зарудного и т. д. и в каких комитетах они работали38.

Рассказывал (по секрету: я дал подписку никому не рассказывать), что его вызывал к себе прокурор и (смеется) начал дело... Между тем следователь по моему делу говорит: «Плюньте, чепуха! Все обойдется».

— У меня опять недоразумение... слыхали? — «Недоразумение» ужасно. Месяца три назад он дал мне свои стихи о том, что он «загнанный зверь». Я спрятал эти стихи, никому не показывая их, решив, что он написал их под влиянием минуты, что это не «линия», а «настроение». И вот оказывается, что он каким-то образом переслал «Зверя» за границу, где его и тиснули!!!!39

Так поступить мог только сумасшедший — и лицо у Пастернака «с сумасшедшинкой».

Переписывается с заграницей вовсю. Одна немка — приятельница Рильке — прислала ему письмо о Рильке, и вот что он ей ответил40, а кто-то адресовал ему свое послание во Франкфурт-на-Майне, и все же оно дошло.

Погода до вчерашнего дня была жаркая, и П<астерна>к ходил без шляпы, в сапогах, в какой-то беззаботной распашонке. <...>

5/V. <...> Тамара Влад. Иванова рассказала мне, что недавно ей позвонила Ольга Всеволодовна (приятельница Пастернака), с которой Тамара Владимировна не желает знаться.

— Ради бога, подите к Пастернаку и скажите ему — тайком от жены<...>чтобы он немедленно позвонил мне.

— Понимаете ли вы, что вы говорите. Я приятельница его жены и не могу за спиной у нее...

— Ради бога. Это нужно для его спасения.

Нечего делать, Тамара Владимировна пошла к Пастернаку. Зинаида Николаевна внизу играла в карты с женой Сельвинского (к-рый, кстати сказать, швырнул в П<астерна>ка комком грязи в «Огоньке»41)<...>прошмыгнула к нему в кабинет и выполнила просьбу Ольги Всеволодовны.

П<астерна>к тотчас же ринулся к телефону в Дом творчества.

Оказалось: он получил приглашение на прием к шведскому послу — и ему сообщило одно учреждение, что если он не пойдет к послу и вообще прекратит сношения с иностранцами, ему уплатят гонорар за Словацкого и издадут его однотомник42.

Он согласился.

8августа. <...> Вчера был у меня в гостях ни с того ни с сего индийский журналист — с гидом Светланой<...>далекий мне, как река Брахмапутра43. Какой-то президент всех индийских газет. <...> Гость пожелал видеть Пастернака. Я стал прощаться, говорил, что Пастернак в это время работает, что иностранцы, посещая его, причиняют ему много вреда, все же он решил зайти на минуту. П<астерна>ка я не видел месяца три. Он здоров, весел, в глазах «сумасшедшинка».

Мы были в саду. Здесь же был прелестный внучонок П<ас-терна>ка — двухлетний, который сразу пошел ко мне и требовал, чтобы я сел с ним на ступеньку и не уходил никуда. Издали я слышал, как Пастернак передает свои greetings* чуть ли не всей Индии.

Весь его сад превращен в огород — сплошная картошка. 15 августа, суббота. Вернулся из Америки В. Катаев. <...> Катаева на пресс-конференции спросили: «Почему вы убивали еврейских поэтов?»44

— Должно быть, вы ответили: «Мы убивали не только еврейских поэтов, но и русских»<...>сказал я ему.

* Приветствия (англ.). 313

— Нет, все дело было в том, чтобы врать. Я глазом не моргнул и ответил: — «Никаких еврейских поэтов мы не убивали».

О Пастернаке он сказал:

— Вы воображаете, что он жертва. Будьте покойны: он имеет чудесную квартиру и дачу, имеет машину, богач, живет себе припеваючи, получает большой доход со своих книг.

1960

10 апреля. <...> Дня три назад приходил ко мне Пастернак. Его не пустили ко мне. Он возвратил мне 5000 р., которые взял в прошлом январе на год.

— Ваш отец был так благороден, что даже не сказал вам, что я должен ему 5000<...>сказал он, вручая Лиде деньги.

Увы, я не был так благороден и, думая, что помираю, сказал Лиде о долге Пастернака.

23 мая. Болезнь Пастернака. Был у меня вчера Валентин Фердинандович Асмус; он по три раза в день навещает П<астер-на>ка, беседует с его докторами и очень отчетливо доказал мне, что выздоровление П<астерна>ка будет величайшим чудом, что есть всего 10% надежды на то, что он встанет с постели. Гемоглобин ужасен, РОЭ — тоже. Применить рентген нельзя.

31 мая. Пришла Лида и сказала страшное: «Умер Пастернак». Час с четвертью. Оказывается, мне звонил Асмус.

Хоронят его в четверг 2-го. Стоит прелестная невероятная погода — жаркая, ровная<...>яблони и вишни в цвету. Кажется, никогда еще не было столько бабочек, птиц, пчел, цветов, песен. Я целые дни на балконе: каждый час — чудо, каждый час что-нибудь новое, и он, певец всех этих облаков, деревьев, тропинок (даже в его «Рождестве» изображено Переделкино)<...>он лежит сейчас — на дрянной раскладушке, глухой и слепой, обокраденный^.. >и мы никогда не услышим его порывистого, взрывчатого баса, не увидим его триумфального (очень болит голова, не могу писать). Он был создан для триумфов, он расцветал среди восторженных приветствий аудиторий, на эстраде он был счастливейшим человеком, видеть обращенные к нему благодарные горячие глаза молодежи, подхватывающей каждое его слово, было его потребностью — тогда он был добр, находчив, радостен, немного кокетлив — в своей стихии! Когда же его сделали пугалом, изгоем, мрачным преступником — он переродился, стал чуждаться лю-дей<...>я помню, как уязвило его, что он — первый поэт СССР — неизвестен никому в той больничной палате, куда положили его,—

И вы не смоете всей вашей
черной кровью Поэта праведную кровь.

(Нет, не могу писать, голова болит.)

6 июня. Сейчас был у меня В. Ф. Асмус, который — единственный из всех профессоров и писателей — произнес речь на могиле Пастернака. Он один из душеприказчиков П<астерна>ка. Жена звонила ему из города, что на его имя все время приходят книги, подарки, благодарственные письма и т. д. Сейчас с запозданием из Англии приехала сестра Пастернака45. Асмус встретил ее, когда она говорила в Доме творчества по телефону. Остановилась она у Зинаиды Николаевны. Когда после смерти Пастернака сделали рентгеновский снимок46, оказалось, что у него рак легкого, поразивший все легкое<...>а П<астерна>к и не чувствовал. Только 6 мая он сказал А<сму>су: «Что-то у меня болит лопатка!» Сейчас самая главная проблема: Ольга Всеволодовна*. Я помню, когда я был у П<астерна>ка последний раз, он показывал мне груды писем, полученных им из-за границы. Письмами был набит весь комод. Где эти письма теперь? Асмус боится, что они — у Ольги Всеволодовны — равно как и другие материалы. <...>

Корнелий Зелинский, по наущению которого Московский университет уволил Кому Иванова за его близость к Пастернаку, теперь, с некоторым запозданием, захотел реабилитироваться. Поэтому он обратился к ректору у<ниверсите>та с просьбой:

«Прошу удостоверить, что никакого письменного доноса на В. В. Иванова я не делал». Ректор удостоверил:

«Никакого письменного доноса на В. В. Иванова К. Л. Зелинский не делал».

Копию этой переписки Зелинский прислал Всеволоду Иванову.

Это рассказала мне Тамара Влад. Иванова.

Она же сообщила мне, что Асмуса вызывали в университет и допрашивали: как смел он назвать Пастернака крупным писателем.

* Ивинская.

Он ответил:

— Я сам писатель, член Союза писателей, и полагаю, имею возможность без указки разобраться, кто крупный писатель, кто некрупный47.

Последний раз Тамара Вл. видела Пастернака 8 мая. Он шутил, много и оживленно разговаривал с нею, и врачиха Кончалов-ская, зная, что у него инфаркт, не велела ему лежать неподвижно и вообще обнаружила полную некомпетентность.

Он давал читать свою пьесу (первые три акта) Коме — уже в законченном виде48. Но, очевидно, этот текст передан Ольге Всеволодовне49, так как у Зин. Ник. есть лишь черновики пьесы. (О крепостной артистке, к-рую ослепили.) Вообще у 0<льги> В<севолодовны> весь архив Пастернака, и неизвестно, что она сделает с ним50.

Брат П<астерна>ка и его сын спрашивали его, хочет ли он видеть 0<льгу> В<севолодовну> <...>и говорили ему, что она в соседней комнате, он отчетливо и резко ответил, что не желает видеться с ней51.

1961

1 мая. <...> я встретил Асмуса. Асмус встревожен. Хотя он (вместе с Вильмонтом, Эренбургом и семьей Пастернака) душеприказчик Пастернака, Гослит помимо Комиссии печатает книгу Пастернаковских стихов. Стихи отобрал Сурков — в очень малом количестве. Выйдет тощая книжонка. Комиссия по наследству Пастернака написала высшему начальству протест, настаивая, чтобы составление сборника было поручено ей и был бы увеличен его размер. А Зин. Ник. — против этого протеста. «Пусть печатают в каком угодно виде, лишь бы поскорее!»

Сейчас у З. Н. — инфаркт. И в этом нет ничего удивительного. Странно, что его не было раныие<...>столько намучилась эта несчастная ж<енщи>на.

Поэтому протест написали тайком от нее, и Ленечка послезавтра повезет его куда следует52.

30 июля. <...> Был на кладбище. Так странно, что моя могила будет рядом с Пастернаковой. С моей стороны это очень нескромно — и даже нагло, но ничего не поделаешь. Покуда земной шар не перестанет вертеться — мне суждено занимать в нем с Пастернаком такие места: (в дневнике рисунок, изображающий могилы Пастернака, Давыдова53 и будущую могилу Чуковского. — Е. Ч.).

28 июня. <...> Третьего дня был у Зинаиды Николаевны Пастернак. Она живет на веранде. Возле нее — колода карт. Полтора часа она говорила мне о своем положении: по ее словам, П<ас-терн>ак, умирая, сказал: как я рад, что ухожу из этого пошлого мира. Пошлятина не только здесь, но и там (за рубежом). Перед смертью к нему пришли проститься его дети. Зинаида Николаевна спросила: «Не хочешь ли ты увидеть О. В.?» Он ответил: «Нет!» Ей сказал: «Деньги у Лиды, она знает, как добыть их для тебя54». Но вот Лида приехала сюда — и оказалось, что никаких денег у нее нет.

— Я совсем нищая! — говорила З. Н. — Когда в театре шли Борины переводы Шекспира, он весь доход от спектаклей клал на мою сберкнижку. У меня было 120

ООО рублей. Но его болезнь стоила очень дорого: консилиумы профессоров, каждому по 500 руб-лей<...>осталась у меня самая малость. Теперь 500 р. (то есть по-старому 5000) дал мне Литфонд, кроме того, Литфонд оставил меня на этой даче и не берет с меня арендной платы, но у меня нет пенсии, и продать нечего. Ольга, когда ее судили за спекуляцию, сказала: «У Пастернака было около 50 костюмов, и он поручил мне продать их». Все это бесстыжая ложь. У П<астерна>ка был один костюм, который привез ему Сурков из Англии55 — от покойного отца Пастернака<...>и старые отцовские башмаки, тоже привезенные Сурковым. В костюме отца я положила его в гроб, а башмаки остались. Вот и все. Когда арестовали Ольгу, пришли и ко мне — два молодых чекиста. Очень вежливых. Я дала им ключи от шкафов: «Посмотрите сами — ничего не осталось от вещей». Борис не интересовался одеждой, целые дни работал у себя наверху — вот я и осталась нищей; если истрачу последнюю копейку, обращусь к Федину, пусть даст мне 1000 р. — и к вам обращусь. Хочу писать Хрущеву, но Леня меня отговаривает. О моей пенсии хлопочет Литфонд, но есть ли какие-нибудь результаты, не знаю. Узнайте, пожалуйста. И было бы очень хорошо, если бы вы, Твардовский, Вс. Иванов — обратились бы к правительству с просьбой — получить за границей все деньги (валюту), причитающуюся Пастернаку, и выдать ей взамен советскую пенсию.

Проф. Тагер уже перед смертью П<астерна>ка определил, что у него был годовалый (она так и сказала) рак легких. Как раз тогда начался, когда началась травля против него. Всем известно, что нервные потрясения влияют на развитие рака. <...> Я не хочу покидать эту усадьбу, буду биться за нее всеми силами; ведь здесь может быть потом музей... Жаль, я больна (после инфаркта), не могу добраться до его могилы, но его могила для меня здесь...

21 ноября. <...> Звонил мне Женя Пастернак. Озабочен изданием стихотворений отца в «Библиотеке поэта». Том получается огромный. Обещал прийти ко мне в воскресенье — посоветоваться.

23/XI. Был у меня Лев Озеров — редактор стихотв. Пастернака, замученный Пастернаком. Слишком уж это тяжелая ноша. Ахматова рассказывала, что когда к ней приходил Пастернак, он говорил так невнятно, что домработница, послушавшая разговор, сказала сочувственно: «У нас в деревне тоже был один такой. Говорит-говорит, а половина — негоже».

1964

10января. Гулял с Андреем Андреевичем Громыко56. Высокий мужчина, бывалый — и жена его. Рассказывал им о Пастернаке — о том, что деньги огромные пропадают в США — гонорары за иностр. издания «Д-ра Живаго». Не лучше ли взять эти деньги (валютой) и выдать жене Пастернака советскими деньгами.

Прихожу домой — на столе книжка: Pasternak. Fifty Poems. Chosen and Translated by Lydia Pasternak-Slater. (Unwin Books)*.

Предисловие прелестное: биография матери, отца, отрывки из писем Бориса Леонидовича. Но переводы — уж лучше бы прозой. Большинство пастернаковских стихов передано в ритме Яку-ба Коласа — причем нечетные строки без рифмы, воображаю, как страдал бы Пастернак, если бы познакомился с такими переводами. У нас ни одна редакция не допустила бы таких переводов в печать57. Значит, напрасно я взъелся на бедную Miriam Morton и Марию Игнатьевну58 за переводы моих вещей. Коверкание русских текстов в Англии и США в порядке вещей.

1965

21 января. <...> Была у меня Раиса Орлова59 и рассказывала о выборах в правление Союза писателей. Целый день тысячи писателей провели в духоте, в ерунде, воображая, что дело литературы изменится, если вместо А в правлении будет Б или В,

при том непременном условии, что вся власть распоряжаться писателями останется в руках у тех людей, которые сгубили Бабеля, Зощенко, Маяковского, Ос. Мандельштама, Гумилева, Бенедикта Ливши-

* Пастернак. «50 стихотворений». Составление и перевод Лидии Пастернак-Слейтер.

ца, Тагер, Марию Цветаеву60, Бруно Ясенского, Пастернака и сотни других.

27июня. <...> пришел Женя Пастернак и принес сигнальный томик Библиотеки поэта?1, на котором крупными буквами начертано:

«Борис Пастернак»!!!

Он вез этот томик Зинаиде Николаевне в больницу. Это обрадовало меня, как праздник.

23 июля. <...> 3. Н. Пастернак вернулась из больницы домой — она купила 90 томов стихов Пастернака для раздачи друзьям.

30 июля. Вчера держал корректуру Пастернака — то есть моей вступительной статейки к его госиздатовскому томику62.

Чтоб размыкать тоску, пошел к пастерначатам — семилетнему Пете и пятилетнему Боре. Оказалось, что на даче Пастернака (под влиянием выхода его книги в «Библиотеке поэта») Литфонд вдруг сделал асфальтовую дорогу — от ворот до самой усадьбы. До сих пор эта дорога была отвратительна: острые камни, песок. А теперь для пастерначат раздолье: мчатся на самокатах как вихрь — очень сильные, смелые, ловкие. Когда они — ради показухи — взбираются на ворота, я закрываю глаза — так лихо они действуют своими мускуленками. По моему совету отец устроил им трапецию во дворе — они подтягиваются, потом передвигаются по железной палке вправо и влево: Боря называет это — «делать занавеску».

Сентябрь, 15. Дивная погода. Мне лучше. Главное событие: «Театральная повесть» Булгакова — чудо. В 8-й книге «Нов. мира». Ослепительный талант. Есть гоголевские страницы.

Статейка моя о Пастернаке — напечатанная в «Юности»63 — вызывает столько неожиданных похвал. От Сергея Боброва, от жены Бонди, от семьи Пастернака слышу необычные приветы по этому поводу. Была группа студентов — выразить благодарность.

1966

25 марта. <...> Кларочка на себе принесла 30 экз. стихов Б. Пастернака с моим жидковатым предисловием. Предисловие правлено кем-то, и в него введено даже ненавистное мне слово «показ». Так как я отказался порицать (в своей статье) Пастернака за его мнимые ошибки, то за это взялся <...> Банников, обожающий Пастернака гораздо больше, чем я. Он написал несколько хороших страниц — но потом все же ругнул «Доктора Живаго», упомянул о порочных идейных позициях П<астерна>ка, о его

«отгороженности и обособленности». Если бы это было пороком, мы не славили бы Генри Торо64.

И чуть он, Банников, стал брехуном, ему изменил даже стиль. Он пишет:

«Заблуждения и ошибки Пастернака» (359) (как будто заблуждения и ошибки не синонимы), в «умах и (?) душах» (338), «морально-этические» (357).

Нина Табидзе

РАДУГА НА РАССВЕТЕ

Летом 1931 года Паоло1 ненадолго уехал в Москву. Без него и солнце не так светило, и улицы казались пустынны, им не хватало его темперамента, его горящих глаз. Паоло присылал восторженные письма, рассказывал о своих встречах с московскими писателями. Мы ждали его с нетерпением, и наконец он приехал! Мы с

Тицианом, Колау Надирадзе2 и Валерианом Гаприндашви-ли3 сидим у него дома. Паоло рассказывает с воодушевлением. Особенно подробно и увлеченно говорит он о Борисе Пастернаке. Паоло был им очарован, описывал, какое у Пастернака особенное, вдохновенное лицо и голос и как пленительно он читал стихи. И тут же он прочел нам его новое стихотворение «Баллада» («На даче спят»), посвященное Зинаиде Николаевне Нейгауз. Рассказывал он о том, что Пастернак безмерно влюблен в эту женщину и, должно быть, женится на ней. Паоло сказал, что он очень просил Пастернака приехать в Грузию и тот обещал.

Через несколько недель в самом деле Борис Пастернак приехал в Тбилиси, вместе с ним Зинаида Николаевна и ее старший сын, пятилетний Адик. Это была очень красивая женщина, живая и интересная собеседница. Однако во всем ее облике чувствовались затаенное страдание и грусть. Они остановились у Паоло, Паоло нам позвонил, и мы снова пришли к нему. Тициан был сильно взволнован. Мы зашли за Валерианой и по дороге все говорили о том, таков ли на самом деле Пастернак, похож ли он — мы вспоминали рассказы Паоло.

Дверь открыла жена Паоло Тамара4. Мы вошли и, зачарованные, остановились: столько в нем было внутреннего кипения, такое было у Пастернака вдохновенное лицо! Мы стояли как вкопанные. Он улыбнулся — и все улыбнулись, и мы уже были друзья навек.

Мы не раз встречались с ними у Паоло, там мы с Тицианом впервые услышали, как Пастернак читал стихи. Он действительно весь загорался вдохновением, лицо его устремлялось ввысь, каждое его слово как бы жило и горело. Такого поэтического, вдохновенного лица я никогда больше не встречала.

Разговор касался того, как лучше познакомиться с Грузией, куда поехать, где и что посмотреть. Конечно, нужно было поехать в Кахетию, в Боржоми, Абастуман, Бакуриани.

Тициан сказал Пастернаку, что ему трудно поверить, что стихотворение «Демон» написал поэт, который никогда не видел Кавказа.

Приходил по ночам
В синеве ледников от Тамары.
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару.
Не рыдал, не сплетал
Оголенных, исхлестанных, в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма.

Пастернак отвечал ему, что всякий, кто любит и знает русскую поэзию, знает Кавказ и тем более Грузию. Мы все много раз там бывали.

Так, я думаю, бывает и с человеком, впервые приезжающим в Ленинград: как будто он жил там когда-то и снова приехал — в город Пушкина, Гоголя, Достоевского.

Читали стихи и наши поэты. Пастернак так глубоко чувствовал язык поэзии, что, не зная грузинского, чутко воспринимал смысл стихов Паоло и Тициана, даже не понимая слов. Это свойство его меня всегда поражало.

Это были какие-то необыкновенные поэтические встречи и вечера, на всю жизнь запомнившиеся их участникам.

Вместе с Борисом Леонидовичем и Зинаидой Николаевной мы много ходили по городу. Мы вместе ходили смотреть старый Тифлис. Глицинии цвели на балконах. Ветки глициний перекидывались с одной стороны улицы на другую. Пастернак был совершенно очарован Паоло, влюблен в него. «В те дни вы были всем, что я любил и

видел», — писал он в посвященном Паоло стихотворении. В нем же отразились и наши прогулки по городу.

Входили мы в квартал Оружья, кож и седел, Везде ваш дух витал И мною верховодил.

Уступами террас Из вьющихся глициний Я мерил ваш рассказ И слушал рот разиня.

Не зная ваших строф, Но полюбив источник, Я понимал без слов Ваш будущий подстрочник.

Вечером мы поднялись на фуникулере. Восхищенно глядя вниз на ночной Тбилиси, Пастернак сравнивал его с перевернутым звездным небом. Огни, разбросанные в чернеющей котловине, были действительно похожи на звезды.

Однажды мы все вместе поехали в Кахетию, в Цинандали, в бывшее имение поэта Александра Чавчавадзе. Мы водили Пастернака по старому парку, показывали ему дерево, за которое, по преданию, сын Шамиля привязывал лошадь. Отсюда, из дворца князя Чавчавадзе, сына поэта и брата Нины Грибоедовой, лезгины похитили его семью со всеми домочадцами. Пастернак с благоговением дотрагивался до каждого дерева, мысленно переносясь в те времена, когда здесь бывал Александр Сергеевич Грибоедов и его грузинские друзья. Мы долго стояли у обрыва возле полуразрушенной церкви, в которой, по преданию, венчались Грибоедов с Ниной Чавчавадзе, смотрели вниз на Алазанскую долину, на белеющий вдали Кавказский хребет. Борис Леонидович не уставал восторгаться видом. Моя маленькая дочурка Нита впервые в эту поездку по-настоящему увидела долину и поняла ее красоту, наблюдая восторг очарованного Алазанью Пастернака.

Тициан мечтал написать роман о том времени, собирал материалы, его восхищала поэтичная биография Нины Александровны Грибоедовой, ее мужество и преданность в любви. Он охотно и с большим вдохновением о ней рассказывал.

Когда мы вернулись из Кахетии, в Тбилиси было невыносимо жарко, и мы тотчас же отправились все вместе в Коджоры. Устроив гостям номер в гостинице, где когда-то жил Андрей Белый, мы пошли с ними на прогулку, полюбовались развалинами крепости

Кер-Оглы, потом поднялись к монастырю Удзо. На Манглисской дороге гостей поразил куст, весь обвязанный красными ленточками. С этим кустом связано народное поверье: если ребенок болеет коклюшем или корью, родственники его приходят сюда и украшают дерево, матери верят, что так можно задобрить болезнь, чтобы она пощадила ребенка.

И мне кажется, что, переводя стихи Тициана, Паоло и других грузинских поэтов, Пастернак очень живо чувствовал их образы, потому что упоминания о крепости Кер-Оглы, как бы висящей в воздухе, или об удивительных соловьях из Удзо не были для него случайной экзотической деталью, тбилисские Куру, Нарикалу и Метехи он видел сам и сам пережил. Пастернак обладал замечательным даром перевоплощения и именно поэтому, мне кажется, чувствовал так глубоко и тонко грузинскую поэзию.

Оставив Пастернаков в Коджорах, мы не раз потом навещали их. В один из наших приездов Борис прочитал Тициану свои новые стихотворения, они потом вошли в книгу «Второе рождение». Весь вечер он вдохновенно и влюбленно читал «Любить иных — тяжелый крест», «Красавица моя, вся стать», «Все снег да снеп>. Мы с Тицианом слушали как зачарованные. Этот чудесный вечер закончился прогулкой по шоссе в сторону Манглисси. И Пастернак, и Зинаида Николаевна рассказывали по дороге, какое изумительное впечатление произвела на них Грузия и ее народ, как милы и симпатичны люди, с которыми они встречаются в Коджорах, как чувствуют они себя здесь отдохнувшими и душой и телом.

В Коджорах Борис Леонидович с семьей прожили около месяца. Потом вместе с Тицианом и Паоло они поехали в Боржоми, а на обратном пути заехали в Бакуриани, где побывали в гостях у Гогла Леонидзе5. Ужин устроили прямо в лесу, и стол освещался факелами.

Должно быть, этот ужин и описал Пастернак позднее в посвященном Тициану стихотворении.

Еловый бурелом, Обрыв тропы овечьей. Нас много за столом, Приборы, звезды, свечи.

Как пылкий дифирамб, Все затмевая оптом, Огнем садовых ламп Тицьян Табидзе обдан.

Сейчас он речь начнет И мыслью — на прицеле. Он слово почерпнет Из этого ущелья.

О Бакуриани, об этом ужине у Леонидзе, о поразившей его красавице жене и детях Пастернак рассказывал мне по возвращении в Тбилиси. Побывал он в эту поездку и в Абастумани, где больше всего его поразил воздух. «Я не чувствовал земли, — говорил он, — кажется — ходишь по воздуху».

Из Тбилиси Пастернаки поехали на море в Кобулеты и прожили там целый месяц. Там он познакомился с Симоном Чикова-ни6 и Бесо Жгенти. О его впечатлении и чувствах, испытанных в Кобулетах, можно судить по стихам «Волны»...

Уезжая в Москву, Пастернак увозил с собой подстрочники стихов Паоло и Тициана. Он стал одним из первых, кто познакомил русскую общественность с грузинской поэзией. Его переводы как бы подготовили почву для дружеских встреч грузинских и русских поэтов.

Одна из таких встреч состоялась еще до I съезда писателей в Москве. Это был литературный вечер грузинской поэзии, организованный Союзом советских писателей. Из грузинских поэтов на вечере присутствовали Тициан, Паоло Яшвили, Гришашвили, Каладзе и другие. С чтением переводов с грузинского выступили Б. Пастернак, П. Антокольский, а также артисты московских театров. Совершенно исключительно прочла переводы Тициана артистка Театра имени Вахтангова Синельникова. Спустя много лет я неожиданно встретила ее на вечере П. Антокольского, и мы обе расплакались от нахлынувших воспоминаний. Из Москвы мы поехали в Ленинград, где вечер прошел с таким же огромным успехом, как и в Москве. Из русских литераторов в нем приняли участие К. Федин, Ю. Тынянов, Н. Тихонов, Б. Лившиц, В. Каверин, С. Спасский, А. Прокофьев. В один из вечеров нашего пребывания в Ленинграде я с Тицианом и Пастернаками сидели в номере гостиницы и беседовали. У Бориса Леонидовича было очень грустное, подавленное настроение. Но вот разговор зашел о поэзии вообще, а потом о стихах Тициана. Борис заметно оживился. А когда дошло до чтения стихов — грусть его как рукой сняло, человека словно подменили. Читая, он весь горел вдохновением и своим энтузиазмом заражал нас.

В Тбилиси мы снова встретились, когда он приехал в Грузию вместе с бригадой Оргкомитета, по инициативе Горького посланной для изучения грузинской литературы. Бригаду возглавил Павленко, и кроме Пастернака, в нее входили Тихонов, Форш, Гольцев и Тынянов.

Между всеми членами бригады и Тицианом установились удивительно теплые дружеские отношения. Это были сказочные дни, полные вдохновения, дни бесконечных поэтических встреч.

Однажды бригаду Оргкомитета пригласил к себе Гогла Леонидзе. Здесь во время ужина артисты Руставелевского театра А. Хорава, Восадзе, Эм. Анхаидзе изумительно спели сванский народный гимн солнцу «Лилео». Гимн оставил у русских гостей

незабываемое впечатление. Борис Пастернак был настолько поражен и восхищен им, что, как всегда, когда на него музыка действовала особенно сильно, глаза его наполнились слезами, и вместе с тем он весь обратился в слух, стремясь запомнить величественный мотив. Об этом гимне писал Тициану спустя несколько лет Павленко, прося достать ему ноты и грузинский текст. В этот приезд Борис Пастернак познакомился с известным грузинским художником Ладо Гудиашвили. Он был у него дома, смотрел картины, познакомился с семьей. Восхищение творчеством замечательного художника, любовь к нему и его близким Пастернак сохранил до конца жизни. Семья Гудиашвили отвечала ему тем же.

Пастернак был какой-то особенный, ни на кого не похожий. Трудно было представить его себе вне поэтического вдохновения. Это в нем покоряло каждого, кто с ним встречался. Поражал он также своим удивительным умением слушать — не из любезности, не из вежливости, нет, из человеколюбия, из уважения к человеку, кто бы он ни был. Пастернак умел слушать на редкость внимательно, все запоминая. Он часто потом вспоминал и рассказывал эти случайные разговоры. Он умел заставить другого человека уважать себя, как бы поднимая собеседника в его же собственных глазах.

Надолго запомнился приезд Пастернака в Окрованы. В его честь на большом балконе дома Полторацких был накрыт стол. Весь Тбилиси был виден оттуда как на ладони.

Борис встал лицом к городу, как бы обращаясь к нему, читал стихи:

Пока мы по Кавказу лазаем, И в задыхающейся раме Кура ползет атакой газовою К Арагве, сдавленной горами...

Пока я голову заламываю, Следя, как шеи укреплений Плывут по синеве сиреневой И тонут в бездне поколений,

Пока, сменяя рощи вязовые, Курчавится лесная мелочь, Что шепчешь ты, что мне подсказываешь, — Кавказ, Кавказ, о что мне делать!

Тициан прочитал тогда стихотворение «Маленькие собачки» («Сельская ночь»), а Паоло — Бальмонта: «Я на башню всходил».

В свободные часы Борис любил бродить по улицам Тбилиси. Нередко он начинал читать стихи, и тогда прохожие невольно останавливались, пораженные его вдохновенным лицом. А он, влюбленный буквально в каждого встретившегося ему тбилисца, отвечал им доброй, ласковой улыбкой и увлекал, заражал своим вдохновением. Это были кратковременные, но очень сердечные, надолго запоминавшиеся встречи.

Вообще нужно сказать, что Бориса Пастернака редко покидало вдохновение, такова была особенность его натуры. О чем бы он ни заговаривал, разговор неизбежно переходил к поэзии, даже самая, казалось бы, обыденная тема. И поэтому, когда он говорил, все вокруг невольно попадали под его влияние, подчиняясь его порыву.

Я помню, как часто мы встречались с Пастернаком в Москве в период работы I съезда писателей. Тициан, Пастернак, Тынянов и Бабель держались все время вместе. Речь Тициана на съезде произвела большое впечатление, к нему подходили делегаты, знакомились, жали руки7.

В бывшем кафе Филиппова на улице Горького была устроена в дни съезда писательская столовая. Мы с Нитой приехали тогда из Ленинграда. Вечером мы с Тицианом пошли в кафе. Не успели мы войти, как Пастернак с присущей ему непосредственностью воскликнул на весь зал, обращаясь к Федину: «Костя, вот пришла жена Тициана и родственница Нины Грибоедовой». Едва мы сели за стол, он взял Ниту за руку и куда-то увел. Они вернулись спустя час. Оказалось, что Борис Леонидович повел девочку к памятнику Пушкина, ему хотелось, чтобы она именно

тут, возле памятника, услышала пушкинские стихи. Он рассказывал ей о Пушкине и других русских поэтах, читал стихи.

Горький называл тогда Ниту «съездовской дочерью».

В те дни в «Известиях» были напечатаны несколько стихотворений Тициана в переводе Пастернака. «Не я пишу стихи...», «Иду со стороны черкесской» и стихотворение Паоло о Ленине8. Леонид Леонов, встретив Тициана на лестнице Дома писателей, остановился, крепко его обнял и сказал: «Как замечательно, что «Известия» опубликовали ваши стихи. И какие стихи! На душе стало светлее».

Вскоре затем Пастернак перевел «Маленьких собачек» и «Окрованы». Последнее Пастернаку особенно нравилось:

Если мужества в книгах не будет, Если искренность слез не зажжет, — Всех на свете потомство забудет И мацонщиков нам предпочтет.

Прочувствованные упоминания крепости Кер-Оглы и Удзо возвращали его к увиденному своими глазами во время пребывания в Коджорах.

После нашего возвращения из Москвы оживилась переписка между нами и Пастернаком.

Борис Леонидович очень любил письма Тициана, а одно из них, по его словам, он всегда носил с собой как талисман. Он взял его как самое дорогое, вместе с письмами отца и любимого им поэта Рильке, в Париж, когда ехал туда больной на Конгресс культуры. Он писал потом Тициану: «Я часто клал его себе на ночь под подушку, в суеверной надежде, что, может быть, оно мне принесет сон, от недостатка которого я так страдал все лето».

В письме Тициана, в частности, говорилось:

«Круг людей, интересующихся Вами в Грузии, фактически растет, не знаю, чем объяснить это пристальное внимание даже простых грузин к Вам; должно быть, они тоже чувствуют Вашу любовь к Грузии, что до сих пор держится на "Волнах" книги "Второе рождение"».

Ни один наш приезд в Москву не проходил без того, чтобы Пастернаки не пригласили нас в гости и не собрали бы всех наших друзей. За столом происходило нечто вроде литературных состязаний: каждый поэт старался победить другого своими поэтическими шедеврами. Тициан всегда читал свои стихи по-грузински.

Приезжая в Москву, я очень любила бывать у Пастернака на Волхонке и иногда вечерами запросто заходила к ним. Зимой Зинаида Николаевна сама топила печь. Мы садились перед огнем и вели долгие разговоры, чаще всего о семье, о детях. Старший сын Зинаиды Николаевны Адик был смелый мальчик, красивый, он особенно привязался ко мне — мы ведь были знакомы еще по первому приезду Пастернаков в Грузию. Стасик отличался задумчивым, тихим нравом, даже говорил очень тихо. Борис нежно любил сыновей Зины, особенно младшего, будущего талантливого пианиста.

Пока мы с Зиной болтали, Борис работал в своей комнате, он и не знал, что я пришла. Выходя, он очень радовался, видя меня. Как все мужчины, хоть это и приписывают женщинам почему-то, он любил с нами посудачить. А когда я уходила, он шел меня провожать и по дороге часто рассказывал о себе, о своей прежней жизни здесь, на Волхонке, с родителями, о том, как он ушел из родительского дома, хоть родителей очень любил, ушел, потому что доставлял им слишком много хлопот своей личной, для него интересной, но им непонятной жизнью.

Тициан бывал очень рад, когда Борис, проводив меня, заходил к нам в номер гостиницы. У них тут же завязывался разговор о новых стихах, о поэзии, о переводах.

Запомнился мне день 14 января в Москве, день нашей свадьбы, рождения Ниты и мои именины. Утром мы с Тицианом вышли в город, чтобы послать дочери телеграмму, а когда вернулись в номер, застали громадную корзину цветов, — целый

куст белой сирени — и две красивые палехские коробочки — мне и Ните. Это приходил Борис Леонидович. Он вообще был, нужно сказать, очень внимательным и добрым человеком. Вечером собралось много народу. Пришли Борис с Зиной, Софья Андреевна Толстая (внучка Льва Толстого, вдова Есенина), Борис Пильняк с женой Кирой Андроникашвили, Паоло и другие. Ираклий Андроников в это время выступал, если не ошибаюсь, в Доме искусства. И Борис должен был туда поехать. Ираклий позвонил, что Бориса ждут, а Борис ответил:

— Я не могу, я у Тициана, я здесь выступаю! Ираклий настаивал, но Борис ему ответил:

— Вы знаете, здесь такая аудитория, Ираклий, я вам тоже советую сюда поскорее приехать.

Ираклий потом превратил это в очень забавный диалог и даже со сцены его рассказывал.

Борис Пастернак и Зина поселились на даче в Переделкине и иногда даже зимой оставались там, и мы часто ездили к ним. Борю хорошо знали все жители поселка.

Как-то раз весною 1937 года Константин Федин, Пильняк и я возвращались из Переделкина в Москву. Неожиданно бросились нам в глаза траурные флаги. Пильняк остановил первого встречного милиционера и спросил: почему объявлен траур? Милиционер ответил, что умер Серго Орджоникидзе9.

Когда я вошла в номер гостиницы, Тициан беседовал с репортерами французских газет. Мне сразу бросилось в глаза его состояние: видно было, что он едва сдерживается при посторонних. Только я подошла к нему, он расплакался.

В тот же вечер мы выехали в Тбилиси. В дороге Тициан написал стихотворение «Дагестанская весна».

Плача я становлюсь в их ряды и стою. Горе сердце неистово точит, Точно деревом стал я у скал на краю И на ветках разбухшие почки.

Это было одно из последних его стихотворений.

Когда, после моей трагедии, я осталась одна, на семнадцатый день пришла от Бориса телеграмма: «У меня вырезали сердце я б не жил но у меня теперь две семьи Зина с Леней и вы с Ни-той»10.

Свое слово он сдержал. В тяжелые годы, вплоть до реабилитации Тициана, Борис Леонидович поддерживал нас морально и материально, а потом каждое лето я проводила у них. Он был лучше и добрее родного брата. Я думаю, мало было в то время таких братьев и сестер, которые бы без страха и с такой любовью заботились о близких. Возвращаясь домой со службы, я почти каждую неделю с радостью находила лежавшее на столе письмо от него. Словно солнце заглядывало в мою комнату. Он писал письма размашисто, и мне казалось, что на листках легла тень крыльев ласточки, и для меня, усталой, разбитой, все освещалось солнцем его заботы и ласки. Он знал это и старался письмом подбодрить меня, поддержать мои силы.

Я почти двадцать лет бывала у Пастернаков в Переделкине и невольно была свидетельницей жизни их дома и распорядка дня.

Борис вставал рано утром и спускался вниз из своего кабинета, расположенного на втором этаже. Это была большая комната с широкими окнами. Одно выходило в сосновый лес, а другое — в сторону поля, вдали — кладбище и церковь на горе. Умывался он во дворе, даже зимой, при —30°, так что от него шел пар. Когда был помоложе, ходил купаться в реке по утрам. Веселый, бодрый, краснощекий, он заходил в столовую, и мы садились пить чай. Чай он пил очень крепкий, любил сам его заваривать. Я всегда садилась напротив, и этот утренний завтрак бывал для меня самым интересным часом. Он Зине и мне рассказывал о своих новых замыслах, — так помню его беседы о Гете, о том, что он нашел ключ к его переводам и как сблизился с

его творчеством. После чая Борис Леонидович сам мыл свою маленькую с синей каемкой чашку, говоря, что в это время уже приступает к работе — обдумывает план. Поставив чашку в буфет, он сразу шел в кабинет работать.

Работал он примерно до часу дня и в неурочное время спускался вниз, только когда видел, что идет почтальон. Бывали дни, когда он получал до семидесяти писем, а менее двадцати — тридцати почти не бывало. Письма шли из разных концов света, даже из Африки и Австралии. До инфаркта он спускался из своего кабинета в час дня, снимал рубашку и шел на огород: он любил копать землю, окучивать картофель, вообще возиться в саду. Привозил навоз. Весной обрезал с яблонь сухие сучья, собирал листья и сжигал их, эти костры в саду он очень любил. В его стихах чувствуется большая любовь к природе и понимание ее.

Прежде всего, он любил природу не так, как мы все ее любим. Он, как Миндия — герой Важа Пшавела, слышал и понимал ее язык. Он слышал треск лопающихся почек, он понимал голоса птиц, и, вместе с ними радуясь солнцу, воде и небу, он как бы с ними вместе хлопал крыльями и плескался в воде, чирикал и уносился ввысь. Сколько раз вдруг, бросив работу, он, подойдя к окну, звал меня и говорил:

— Нина, вы слышите, соловей поет, это в саду у Фадеева. Или звал Зину:

— Посмотрите в сторону церкви, как сосны изумительно освещены.

Те самые сосны, под которыми он похоронен.

Нередко бывало, что, вернувшись с прогулки, он доставал исписанный листок бумаги и читал на веранде мне и Зинаиде Николаевне новое стихотворение. Однажды как-то он прочел нам стихотворение «Август» и, поддавшись владевшему им тягостному чувству, попросил, когда он умрет, похоронить его на кладбище под соснами11. Разве могли мы тогда предположить, что придется так скоро исполнить это его желание...

Приняв после прогулки душ, часам к трем Пастернак садился за обеденный стол такой солнечный, как если бы сам излучал те лучи, что принял в себя, работая в саду и на огороде. За столом он всегда умел найти тему разговора, интересную для всех, так что каждый невольно втягивался в беседу.

Когда сын его Леня, которого он очень любил и с которым много возился, подрос, он за обедом, во время разговора, все время обращался к нему и спрашивал, согласен ли он с отцом.

После обеда спал, но недолго, не более двадцати — тридцати минут. Просыпаясь, спускался вниз — пить чай. Этот чай он всегда пил один, две небольшие чашки крепкого чая, мыл чашку, ставил ее на место. При этом он бывал очень задумчив, ни с кем не разговаривал, обдумывая то, над чем ему предстояло работать. И ему старались не мешать. Потом он шел работать к себе.

Зина оберегала его покой, чтобы никто не мешал ему, когда он работает. Он не выносил шума, и поэтому даже во дворе бывала абсолютная тишина.

В девять-десять часов вечера он опять спускался и шел гулять. Ужинал в одиннадцать часов, и этот ужин тоже бывал очень интересным. Борис Леонидович говорил о написанном им за день, разбирал свои неудачи, делился новыми замыслами.

Летом, сидя за ужином на террасе, он слышал все запахи сада. Вдруг он говорил:

— Чувствую, как табак пахнет.

Он был удивительно чувствителен к запахам.

Во время его болезни я по его просьбе рассказывала, что зацвели вишни, цветут яблони.

Он очень любил цветы, но не любил срезанные, в вазах. Я думаю, он их жалел.

По воскресеньям собирались гости. Приходили друзья. Он бывал приветлив и весел, очень остроумен. Обычно к нему приезжали Генрих Густавович Нейгауз и

Станислав Нейгауз с женой, актер Ливанов с супругой Евгенией Казимировной, чтец Журавлев с супругой, иногда Рихтер с Ниной Дорлиак, жена Прокофьева. Константин Федин был сосед, и часто Боря звал его к себе, он его очень любил. Одно время дружил с Тихоновым и любил его до конца своей жизни. С удивительной теплотой относился к Леонову, хотя редко с ним виделся.

За день до смерти он подозвал меня и сказал, что к нему приходил Леонов и говорил с ним об издании переводов Шекспира. На самом деле Леонова не было, — это ему показалось.

Он очень дружил с Всеволодом Вячеславовичем Ивановым.

С Фадеевым были сложные отношения, но дружелюбные. Фадеев его называл Боренькой. Однажды они с Зиной уехали в Москву, а когда вернулись, то увидели десять яблонь, посаженных кем-то у них в саду. Они поразились: кто это посадил их? Потом работница рассказала, что яблони посадил садовник Фадеева — Фадеев ему велел. Боря был очень тронут.

Часто бывали у них брат Бори Александр Леонидович со своей супругой Ириной Николаевной и ее брат Николай Николаевич Вильмонт.

Когда приезжали в Москву грузины, Борис обязательно звал их к себе. Кроме нас с Тицианом и Паоло у них бывали Георгий Леонидзе с женой, Бесо Жгенти и Симон Чиковани с Марикой. Боря очень дружил с ними и рад был, когда Симон получил премию. А Симон подарил Борису рисунок его отца: они с Марикой случайно купили его в комиссионном магазине в Ленинграде. Чиковани и Бесо Жгенти приезжали в последний раз за месяц до смерти Пастернака. Очень тепло Борис относился и к супруге Николая Мицишвили, погибшего в тридцать седьмом году, и к дочери его Марине.

За столом, в конце обеда, Пастернак часто читал гостям свои стихи. Особенно мне запомнилось, как вдохновенно он прочел стихотворение «Быть знаменитым некрасиво». Потом вписал эти стихи в сборник, подаренный Евгении Казимировне Ливановой.

Удивительно было его умение говорить о самых простых вещах увлекательно и вдохновенно, он умел находить новый и необыкновенный смысл в обыденном предмете, одушевлял его.

Помню, как в 1940 году Зина и Боря настояли, чтобы я приехала к ним летом на дачу.

Я поехала и до слез была тронута их заботой и необычайным вниманием. Предназначенная мне комната была в спокойных тонах и убрана цветами. Гости бывали те, с которыми дружил Тициан. Среди них очень тепло относился ко мне Федин. Каждый из них приглашал меня к себе. В гостях у Всеволода Иванова я в последний раз видела А. Н. Толстого. Там был и Борис. Друзья предавались воспоминаниям. Алексей Толстой вспоминал друзей своей молодости Гумилева, Макс. Волошина. Вдруг Пастернак вспомнил стихи Тициана:

Внимательно слушает Балтрушайтис, Волошин склонил свою львиную гриву...

И потом они весь вечер говорили о Тициане.

Я прожила в Переделкине полтора месяца и уехала удивительно успокоенная. Вдогонку летели письма.

Следующий раз мы встретились с Пастернаком во время его приезда в Тбилиси на юбилей Николая Бараташвили, которого он перевел всего. Это были изумительные переводы. Когда Пастернак прилетел в Тбилиси, его встретили на аэродроме и повезли в гостиницу, но он отказался выйти из машины, сказал, что не выйдет, пока его не отвезут к Нине Табидзе.

Помню, я была дома, лежала на тахте в безумной тоске и вдруг слышу: «Нина, Ниночка!»

Я выглянула в окно и увидела Бориса Леонидовича, стоявшего возле дерева.

— Это вы? — только и могла я сказать и расплакалась.

С ним был Симон Чиковани, они долго сидели у меня, вспоминали Тициана и Паоло, первый приезд в Грузию.

Когда Борис Леонидович вернулся в гостиницу, его номер был уже занят, и Симон Чиковани с большой радостью пригласил его к себе.

Все дни своего пребывания в Тбилиси Пастернак не расставался со мной, постоянно подчеркивая свое внимание ко мне и моей семье.

До этого времени я ни разу не была в Союзе писателей, мне это было слишком тяжело. Но вот пришел Борис вместе с Симоном и стал уговаривать меня пойти на вечер. Я не соглашалась. Симон ушел, ему было необходимо быть там как секретарю Союза, а Боря остался и сказал, что не пойдет на юбилей, если я не пойду с ним. Некоторое время спустя Симон прислал за нами машину и записку, что Бориса ждут и чтобы я непременно ехала. Мне пришлось подчиниться.

Борис Леонидович необыкновенно трогательно ввел меня в зал и посадил рядом с собой. Когда его просили почитать стихи, он, обращаясь ко мне, спрашивал: что я хочу, чтобы он прочел.

Точно так же он уговорил меня пойти в Театр оперы и балета им. Палиашвили, где проводился юбилей Бараташвили. Всем своим поведением, рискуя в те годы многим, Борис Леонидович старался показать мне свое уважение, облегчить горе, показать, что он искренне скорбит о гибели Тициана и Паоло.

Уезжая, он подарил мне недавно вышедший сборник стихов с такой надписью: «Дорогой Нине на память о днях, когда возвращение Тициана стало казаться сбыточным, о первых минутах встречи с ней в день моего приезда в Тбилиси 19 окт. 1945 и о юбилее Бараташвили от Бори. Перед отъездом 27 окт. 1945, Тбилиси. Храни Вас Бог, живите долго, будьте здоровы». Эта книжка всегда лежит у меня на столе, как постоянная память.

Нита ездила в Москву и была в Переделкине.

Уже после реабилитации Тициана в 1955 году я поехала в Москву вместе с Евфимией Александровной Леонидзе. Наш приезд совпал с постановкой в Малом театре «Макбета» в переводе Пастернака. После спектакля Борис Леонидович пригласил К себе в Переделкино актеров, принимавших участие в спектакле, режиссеров и своих друзей. Среди гостей были Гоголева, Царев, Ливанов с супругой, Рубен Симонов, Журавлев с супругой, Константин Федин, Всеволод Иванов и другие, а также испанский писатель Альберта и его жена Мария Тереса Леон с дочерью. Был также армянский поэт Ашот Граши.

Царев, Симонов и другие актеры читали стихи. Борис прочел свои новые переводы из Тициана: «Ликование», «Восходит солнце, светает», «Стихи о Мухранской долине». Читая, он плакал. Его волнение передалось всем.

Плакала и я. И вот каждый из гостей захотел вспомнить Тициана и выпить за его память. Особенно тронули меня Альберта и Мария Тереса Леон: обнимая меня, они вспоминали литературный вечер Тициана, в котором они сами когда-то принимали участие.

Боря очень любил природу, любил ходить за грибами. Искал их один, шел по лесу с палкой и разыскивал их, причем, кроме белых и подосиновиков, ничего не брал. Очень быстро наполнял корзину. Как-то вечером Зина и я только что легли, мне вдруг стало плохо. Я крикнула Зине, что мне плохо, и потеряла сознание. Зина позвала Бориса, он слетел сверху, безумно испуганный, и почта до утра просидел со мною, а утром я как

ни в чем не бывало настояла, чтобы они взяли меня с собой, и мы все вместе, со всей семьей отправились за грибами.

Почти каждое лето приезжала я в Переделкино. Много радостного испытала я там, но там же пришлось мне пережить и страшное, тяжелое горе — смерть близкого друга.

Я помню день, когда ему стало плохо. Мне передали его просьбы подняться к нему в кабинет. Увидев меня, он сказал, что на этот раз ему уже не встать, что раньше он мог работать хоть стоя, а теперь уже совсем не в силах писать. Я стала его укорять за такое мрачное настроение, говорила, что ему непременно надо закончить пьесу, которую он начал писать, что он слишком нужен своим близким и друзьям и уж хотя бы поэтому он должен перебороть болезнь.

Через два дня Борис Леонидович спустился вниз, но подняться к себе наверх уже не мог. Его уложили в маленькой комнате первого этажа, в рояльной. Оттуда он уже не выходил, силы его все убывали. Он с тоской жаловался:

— Сегодня я смог написать только две строчки, совсем писать не могу, садиться тоже не могу.

Он брал мой палец, гладил и говорил: «^енацвале». Потом просил прочитать ему телеграммы из Грузии.

Когда я, еще перед тем как ему стало плохо, собиралась возвращаться в Тбилиси, он упросил меня остаться. Только значительно позже я поняла, что он в то время переживал, как боялся, что после его смерти Зина останется одна, никого из близких с ней рядом в эти минуты не будет.

Еще несколько лет назад, когда Борис Леонидович тяжело болел и его положили в Кремлевскую больницу, он оттуда все время звонил, чтобы пришла Зинаида Николаевна вместе с Ниной Александровной. Мы пришли. Борис уже тогда не надеялся, что встанет, гладил руку Зине и говорил:

— Как я рад, что Нина с нами, как в первые дни нашей любви. Однажды в саду у Всеволода Иванова в Переделкине я собрала незабудки и принесла Боре в комнату.

— Посмотрите: «Цвет небесный, синий цвет», — сказала я. Он тотчас откликнулся:

— На лужку собрала.

Воспоминание об этой фразе до сих пор всегда вызывает у меня слезы.

Другой раз я принесла ему желтые цветы и поставила их в синюю вазу. Это было его любимое сочетание. Он просил поставить вазу на рояль, а про цветы сказал, что они называются мать-и-мачеха.

Как-то, уже незадолго до смерти, Борис вдруг сказал, что Зина и я за последнее время очень изменились и ему больно смотреть на нас. Тогда на следующий день, чтобы его подбодрить, узнав, что у него немного прибавилось гемоглобина в крови, я подкрасила губы и, войдя к нему, сказала с улыбкой:

— Вам лучше, и мы с Зиной тоже выглядим лучше!

Борис Леонидович посмотрел на меня, покачал головой и ответил:

— Нет, Ниночка, мне очень худо и вам не лучше. На другой день его не стало.

Александр Гладков

ВСТРЕЧИ С ПАСТЕРНАКОМ

Крыши городов дорогой, Каждой хижины крыльцо, Каждый тополь у порога Будут знать тебя в лицо. Б. Пастернак

Я познакомился с Борисом Леонидовичем в конце зимы 1936 года в доме Мейерхольда1.

Всеволод Эмильевич пригласил меня на обед в обществе Пастернака с женой и Андре Мальро с братом2. Обед затянулся до вечера. Мальро со своим спутником уехал на Курский вокзал к крымскому поезду. Вместе с М. Кольцовым и И. Бабелем он отправлялся в Тессели к больному Горькому. После их ухода я тоже хотел уйти, но

меня задержали, и я провел длинный блаженный вечер в обществе Пастернака и Мейерхольда с женами за превосходно сваренным самим В. Э. кофе с каким-то небывалым коньяком.

Разговор за кофе был интересен, конфиденциален и значителен, но почти весь связан с Мейерхольдом и его тогдашним положением. Я расскажу здесь о нем, потому что он ярко и своеобразно характеризует и Б. Л. Пастернака.

Дело было вот в чем. На спектакль «Дама с камелиями» трижды почти подряд приезжал один высокопоставленный товарищ из числа ближайших личных сотрудников Сталина3. Однажды он зашел к З. Н. Райх или как-то передал ей (сейчас я уже не помню), что он сожалеет, что в помещении на улице Горького, 5, где тогда помещался ГОСТИМ, нет правительственной ложи и поэтому Сталин не может приехать на спектакль, а то, он уверен, спектакль, несомненно, понравился бы ему, а это имело бы большие последствия для театра и самого Мейерхольда. Он добавил, что не исключена возможность специального приема Мейерхольда Сталиным с тем, чтобы В. Э. высказал ему свои пожелания и пр. Он, разумеется, ничего заранее обещать не может, но готов сделать попытку организовать такую встречу, если, конечно, сам Мейерхольд к этому стремится. Это было вскоре после появления известной статьи «Сумбур вместо музыки»4 и запрещения оперы Шостаковича «Катерина Измайлова». Мейерхольд горячо сочувствовал Шостаковичу и отказался дать интервью, приветствовавшее пресловутую статью, что в то время было актом большого гражданского мужества. Но все же общее положение еще не кажется ему безнадежным. В ГОСТИМе репетируется спектакль памяти Маяковского и понемногу завариваются работы по «Борису Годунову». И вот в этот день (5 марта) после обеда, за кофе, он рассказал нам о предложении товарища П., подчеркнул, что все присутствующие его друзья, которым он полностью доверяет, и он просит дать ему совет: искать ли ему встречи со Сталиным, а в случае положительного ответа — какие вопросы перед ним поставить: просить что-то для театра или попытаться защитить Шостаковича и коснуться других тем.

Более странных советников он не мог себе и выбрать. Безбрежная эмоциональность З. Н. Райх, субъективизм Б. Л. Пастернака и мой совершенно ничтожный жизненный опыт — что во всем этом мог почерпнуть Мейерхольд, который сам был гораздо зрелее политически и житейски всех нас вместе взятых? Мы его искренне любили — в этом он мог быть уверен, но самая большая любовь не лучший советчик в таком серьезном деле. Как на военном совете, первое слово дали самому младшему чину, то есть мне. Я, разумеется, сказал, что нужно непременно добиваться этой встречи и что В. Э. должен беседовать со Сталиным не только о себе и ГОСТИМе, но и о всех насущных проблемах искусства. «Кому же, как не вам, коммунисту и лучшему режиссеру страны, сказать Сталину всю правду о том, как некомпетентные помощники компрометируют смысл партийных установок в области искусства», — говорил я с наивностью, от которой очень скоро не осталось и следа. Зинаида Николаевна поддержала меня, но осторожно добавила, что лучше ограничиться вопросом о работе самого Мейерхольда и не касаться Шостаковича, которому может помочь только время и его собственный труд. Но Б. Л. Пастернак не согласился с нами обоими. Многословно и сложно, как всегда, с множеством всевозможных отступлений и длинных придаточных предложений, но очень решительно тем не менее он советовал не искать встречи со Сталиным, потому что ничего хорошего из этого все равно получиться не может. Он рассказал о печальном опыте своего телефонного разговора со Сталиным после ареста поэта О. Мандельштама, когда Сталин, не дослушав его, повесил трубку5. Он горячо и красноречиво доказывал Мейерхольду, что недостойно его, Мейерхольда, являться к Сталину просителем, а в ином положении он сейчас быть

не может, что такие люди должны или говорить на равных, или совсем не встречаться и так далее и тому подобное...

Казалось бы, что ближе всех к реальности был совет по-женски инстинктивно-практичной З. Н. Райх, но, к моему удивлению, Мейерхольд согласился с Пастернаком: сказал, что он понял, что сейчас действительно не время добиваться этой встречи, и он просит всех забыть об этом разговоре. Он на самом деле отказался хлопотать о приеме, хотя, конечно, гипотетически некоторые шансы на успех были. И кто знает... Ведь не все же опальные погибали! Быть может...

На память о нем мне осталась фотография: В. Э. Мейерхольд, Б. Л. Пастернак и я на маленьком диванчике в столовой Мейерхольдов. Как раз перед обедом к В. Э. пришел фоторепортер из «Журналь де Моску», и он, притянув меня за руку, усадил и заставил сняться с собой и Пастернаком.

Тогда доводы Пастернака показались мне благородными, но непрактичными, чем-то вроде поэтического донкихотства, которым я был готов восхищаться, но которому не сочувствовал, так как мне ужасно хотелось, чтобы у Мейерхольда все обошлось. Сейчас я думаю, что Б. Л. был прав и то, чего он не договорил (хотя говорил пространно и горячо), Мейерхольд понял и как раз с этим согласился. Помню хорошо, как он слушал Б. Л. — сначала глядя на него, потом как-то уйдя в себя и как бы задумавшись, с потухшей папиросой во рту...

Но все же это было началом знакомства с Пастернаком.

Встречая после Б. Л. довольно часто на концертах, я кланялся, и он отвечал, но разговаривать с ним мне долго не случалось, кроме одной встречи на Гоголевском бульваре, когда он сам остановился и заговорил с необычайной прямотой и откровенностью. Было это осенью 1937 года, в разгар арестов и расстрелов. Говорил он один, а я молчал, смущенный неожиданной горячностью его монолога, который он вдруг оборвал чуть ли не на полуслове. Только что в Москве пронесся слух о трагической гибели П. Яшвили. Б. Л. был взволнован и вспоминал Достоевского. Помню фразу о Шигалеве6. Незадолго перед этим был арестован мой брат, и запись о встрече в блокноте красноречиво лаконична: дата, Гоголевский бульвар, Пастернак...

В начале года он подвергся поношениям на так называемом пушкинском пленуме правления Союза писателей — расплата за похвалы Бухарина в докладе о поэзии на Первом съезде писателей. Особенно злыми были выступления А. и Х.7 Речь Х. на первый взгляд может показаться странной. Почему он, сам подлинный, тонкий поэт, присоединился к грубым, демагогическим нападкам на Пастернака? Понять это можно, только если представить психологию времени, насыщенного страхом и вошедшей в норму человеческого обихода подлостью. Откройте любой лист газеты того года — и вы увидите, как часто завтрашние жертвы, чтобы спастись, обливали грязью жертв сегодняшнего дня. Еще осенью или в начале зимы 1936 года разыгралась история с отказом Пастернака подписать протест против книги А. Жида «Возвращение из СССР». Пастернак сослался на то, что он не читал книги, и это было чистейшей правдой, но ее не читало также и девять десятых писателей, давших свои подписи. Нравственная щепетильность Пастернака казалась позой вызова, чем она вовсе не была. Помню, как искренне негодовал литератор В.8, подписавший протест. «Ну и что же, что не читал? — говорил он. — Я тоже не читал. Можно подумать, что все остальные читали! И чего ему больше всех надо? Ведь "Правда" написала, что книжка — вранье...» В этом эпизоде уже был в зародыше тот конфликт Пастернака с Союзом писателей, который так драматично определился в дни Нобелевской премии. Ведь тогда тоже большинство осуждавших Б. Л. не читало его романа.

После этого Пастернака долго не печатали. Только перед самым началом войны вышла книжка его переводов (Клейст, Байрон, Петефи и др.) и в журнале «Молодая гвардия» был опубликован «Гамлет» (перевод трагедии).

В эти годы Пастернак иногда возникал на страницах журналов или вновь надолго исчезал, подвергаясь критической анафеме. Он обладал способностью нечаянно попадать в разные политически двусмысленные обстоятельства. То это были комплименты Бухарину, то дискуссия о книге А. Жида.

Я слышал выступление Б. Л. на Первом съезде писателей. Это было в конце лета 1934 года, а в декабре выстрелом в Кирова раскололись тридцатые годы. Убийство Кирова положило начало сталинским репрессиям против его реальных и воображаемых недругов. О массовых ссылках из Ленинграда все знали, но считали это локальным и единичным мероприятием. Только дальнейшее показало, что это была прелюдия к расправам 1937-го и следующих годов. В литературной среде до конца 1936 года обострения не замечалось, и даже арест О. Мандельштама в мае 1934 года никого особенно не встревожил. Летом 1936 года умер Горький, и только после этого события стали развертываться круто. Все это время Пастернак много переводил грузинских поэтов. Двумя изданиями вышел его однотомник. Впрочем, из второго издания в поэме «Высокая болезнь» уже были выброшены строки, заключавшие описание выступления Ленина на съезде Советов: «Предвестьем льгот приходит гений / И гнетом мстит за свой уход». В них аполитичный поэт оказался более зорким пророком, чем многоопытные политики.

Моя память довольно точно датирует с начала тридцатых годов все полосы «признания» Пастернака и полосы «опал». Время признания длилось до конца 1936 года, т. е. до упоминавшегося мною эпизода с книгой А. Жида. Высшими его точками можно считать телефонный звонок Сталина Пастернаку с вопросом об арестованном Мандельштаме и овации после речи на съезде писателей. Потом, где-то в середине 1940 года, снова наметилось смягчение почти четырехгодичной «опалы». Это был короткий период общей разрядки, необходимость которой, вероятно, диктовала обострившаяся военная опасность. Вышла книга переводов Б. Л., печатался переведенный в эти годы «Гамлет». Тогда же вышел сборник «Из шести книг» А. Ахматовой со стихотворением, посвященным Пастернаку. Оно кончалось так: «И вся земля была его наследством, а он ее со всеми разделил». Эта полоса продолжалась до первых послевоенных лет. В марте 1947 года в газете «Культура и жизнь»9 появилась резчайшая статья о Пастернаке, и новая эпоха «опалы» длилась до смерти Сталина. Кроме переводов, ничто выходящее из-под его пера не печаталось вплоть до 1954 года, когда журнал «Знамя» поместил цикл стихов Пастернака из романа «Доктор Живаго». Я прочитал его, еще находясь в лагере. Когда я вернулся в Москву, по рукам уже ходила рукопись романа. Все ждали его появления в журнале и отдельным изданием, называлась даже фамилия редактора книги, и никому не приходило в голову, что вскоре он станет запретным плодом. Готовился к печати новый большой сборник стихов Пастернака. Но в 1957 году роман вышел в Италии, а в 1958 году получил Нобелевскую премию. Поздней осенью Пастернак был исключен из членов Союза писателей. Я его видел в последний раз в самый разгар этих событий.

Чаще всего я встречался с ним во время войны и в первые послевоенные годы. Уже был переведен «Гамлет» и заканчивался перевод «Ромео и Джульетты». Он работал над «Антонием и Клеопатрой». Была написана книжка «На ранних поездах», писались стихи о смерти Марины Цветаевой, стихи из книги «Земной простор» и из романа в прозе, писался роман. Была начата и потом брошена поэма о военных буднях.

В этот период я записывал более или менее подробно разговоры с ним, т. е., конечно, главным образом то, что говорил он. Несмотря на дальнейшие передряги

моей жизни, записи сохранились. Они являются основным содержанием этих заметок, а все прочие воспоминания должны помочь восстановить реальный фон наших разговоров — обстоятельства времени и места.

В самом конце осени 1941 года я попал в Чистополь, куда была эвакуирована часть Союза писателей. К моему приезду Б. Л. находился там уже несколько недель. Я не застал М. И. Цветаеву: она полувынужденно (трудности с пропиской) уехала дальше по Каме в Елабугу навстречу своему концу10.

Маленький обычный провинциальный городок с приездом эвакуированных москвичей и ленинградцев принял своеобразный вид. Особый оттенок придавали ему писатели, которых было, вероятно, несколько десятков. В модных пальто и велюровых шляпах они бродили по улицам, заквашенным добротной российской грязью, как по коридорам дома на улице Воровского. Не встречаться два-три раза в день было почти невозможно. Все получали деньги через отделение ВУАПа, разместившееся на втором этаже деревянного домика; все обедали в крохотной столовке, напротив райкома; все ходили читать подшивки центральных газет в парткабинет, все брали книги в библиотеке Дома учителя. Здесь были тогда: Л. Леонов, К. Федин, Н. Асеев, К. Тренев, В. Шкловский, М. Исаковский, Д. Петровский, Д. Дерман, Г. Мунблит, С. Гехт, А. Глебов, А. Явич, Г. Винокур, Г. Гудзий, П. Шубин, С. Галкин, П. Арский, М. Зенкевич, В. Боков, А. Эр-лих, А. Письменный, Гуго Гупперт, М. Рудерман, С. Левман, А. Арбузов, А. Лейтес, В. Парнах, М. Петровых, М. Добрынин, Вс. Багрицкий, И. Нусинов и другие, плюс множество писательских жен. К семьям приезжали А. Фадеев, А. Сурков, С. Липкин, М. Лифшиц, Е. Долматовский и другие.

В этом составе писательская колония на берегу Камы просуществовала недолго. Уже в первые месяцы 1942 года все стали постепенно разъезжаться, особенно те, кто был помоложе и предприимчивее. Мы с Арбузовым уехали в середине марта. Немного раньше уехали Павел Шубин, Вс. Багрицкий и другие. Б. Л. в конце

1942 года приезжал в Москву, потом опять вернулся в Чистополь, перезимовал там, а летом 1943 года снова жил в Москве, сначала один, без семьи, а затем перевез и семью.

Мой первый разговор с Пастернаком в Чистополе свелся к воспоминаниям об истории нашего знакомства. Не прошло еще и двух лет с гибели Мейерхольда, о подробностях которой долго никто не знал: он просто исчез, как тогда исчезали многие. О судьбе его ходили самые разнообразные слухи, совершенно неверные, как потом оказалось. С этих слухов и начался наш первый разговор, предопределивший тон откровенности и доверия.

Жизнь Б. Л. в Чистополе зимой 1941/42 года не была «сладкой сайкой». В бытовом отношении ему жилось хуже, чем большинству писателей, не говоря уже о литературных первачах. Некоторые из них снимали целые дома, а он ютился в небольшой и неудобной комнатушке (улица Володарского, 75). Контраст его быта с бытом, например, Л. или Ф.11 был поразительный. Л. держал даже специального сторожа, который охранял по ночам с охотничьим ружьем его чемоданы. Один литератор бочками скупал мед на скудном местном рынке, где цены вскоре стали бешеными. Другой, чтобы не зависеть от привоза на рынок мяса, купил сразу целого быка. Но большинство бедствовало. Я помню новеллиста Г., продававшего на рынке белье жены и, разумеется, по неопытности ничего не выручавшего. На том же рынке поэт А.12, женатый на сестре жены Г., привезший большие сбережения и живший припеваючи, бродил с сумкой, скупая за бесценок разные вещи. Поэт и переводчик, в прошлом парижанин, музыкант и танцор, книга стихов которого вышла с иллюстрациями Пикассо, Валентин Парнах, похожий в своей видавшей виды заграничной шляпе на больного попугая, следил в столовке за пару мисок пустых щей,

чтобы входящие плотно прикрывали дверь. Помещение не отапливалось. И вот, приходя в эту столовую, где температура была такая же, как и на улице, и где никто не раздевался, Пастернак обязательно снимал пальто и вешал на гвоздь шляпу. Мало того, он и в столовую брал с собой работу: англо-русский лексикон, миниатюрный томик Шекспира и очередную страничку перевода. Помню еще какие-то длинные листки, на которые он выписывал трудные места. В ожидании порции водянистых щей из капусты (вскоре кончились и они) он работал. Одной из труднейших проблем чистопольского быта были дрова. Все хозяева пускали только квартирантов с дровами. Однажды райисполком выделил писателям несколько десятков кубометров сырых промерзших дров, сложенных далеко на берегу Камы. Подъезда к ним почему-то не было, и сначала их нужно было перетаскать к дороге. Состоятельное меньшинство наняло грузчиков и возчиков, но большинство отправились таскать дрова сами. Я работал рядом с Пастернаком. Он не ворчал, не жаловался, а ворочал поленья если и не с удовольствием, то, во всяком случае, бодро и весело. А мороз в тот день стоял почти тридцатиградусный.

В комнате, которую снимали Б. Л. с женой, всегда было холодно из-за какого-то нелепого расположения печей. Он жаловался, что у него, когда он пишет, зябнут пальцы. Ходить приходилось через кухню общего пользования, где шумело три примуса. Иногда, чтобы температура сравнялась, Б. Л. открывал дверь на кухню. Часто к шуму примусов присоединялись звуки патефона. Набор пластинок был разнообразный: Утесов, модные танго, хор Пятницкого. Все это неслось в комнату, где работал Б. Л. Жены его целыми днями не бывало дома. Зинаида Николаевна служила воспитательницей в интернате литфондовского детдома, где ей давали обед и ужин. Ужин она приносила домой и делила с Б. Л. И в этих условиях он не унывал. «Видите, я с утра и до ночи один, но зато могу без помех работать», — бодро сказал мне Б. Л., когда я пришел к нему в первый раз. Он в неудобствах и трудностях быта старался найти хорошую сторону. «Зато мы здесь ближе к коренным устоям жизни, — часто говорил он. — Во время этой войны все должны жить так, особенно художники...»

Я редко встречал таких терпеливых, выносливых, неизбалованных людей, как Пастернак. Простота и скромность жизни, казалось, были его потребностью. В дневнике его соседа по Переделкину, драматурга Афиногенова, есть запись об осени 1937 года, в которой автор дневника удивляется нетребовательному и простому характеру Б. Л. и пишет, что человеку такого духа будет легко везде и даже на тюремных нарах. Как раз в то время Афиногенов напряженно ожидал ареста, и он мог говорить об этом и с Пастернаком, у которого тоже, конечно, не было ника-^ кой гарантии безопасности. В лагерях никому не было легко, но тяжелее всего бывало людям, привязанным к быту, комфорту, к мелким усладам и развлечениям. В заключении я часто вспоминал Б. Л., и мне казалось, что и там он был бы внутренне спокоен, весел, приветлив. Я не сравниваю эвакуацию с заключением, но думаю, что в иных случаях в лагерях было легче. Думаю также, что если бы М. Цветаева попала не в Елабугу, а в лагерь, то она могла бы выжить: уж во всяком случае там скорее она нашла бы дружескую поддержку, среду, тепло товарищества и бескорыстную медицинскую помощь...

При позднейших встречах со мной Борис Леонидович всегда сердечно вспоминал Чистополь и даже написал об этом в подаренном мне своем однотомнике: «На память о зимних днях в Чистополе и даже самых тяжелых...» И все же чистопольская жизнь не была идиллией: преображенная памятью, она казалась такой из бьющейся в лихорадке политических страстей Москвы конца 40-х и начала 50-х годов. Лучше всего о законах ретроспекции сказал сам поэт в «Высокой болезни»: «И время сгладило детали, а

мелочи преобладали». Порой эти «мелочи» вставали поперек горла и терпеливому, выносливому, безмерно снисходительному Пастернаку.

Однажды, когда патефон на кухне дребезжал непрерывно несколько часов, Б. Л. не выдержал, вскочил, вышел и сбивчивыми, слишком длинными фразами попросил, чтобы ему дали возможность работать. Я слышал о происшедшем только из рассказа самого Б. Л., но, по-видимому, патефон остановили, пробормотав под нос что-то вроде: «Подумаешь...» Но Пастернак в этот день работать больше не мог. Он ходил из угла в угол, браня себя за отсутствие выдержки и терпения, за чрезмерную утонченность и барство, за непростительное самомнение, ставящее свою работу, может быть никому не нужную, выше потребности в отдыхе этих людей, которые ничем не виноваты, что их не научили любить хорошую музыку, и так далее и тому подобное. В тот же вечер на общегородском торжественном собрании в честь Дня Красной Армии, где эвакуированные писатели читали свои произведения, когда пришла очередь Б. Л., он, выйдя на сцену, неожиданно отказался читать и заявил, что не имеет права выступать после того, что произошло утром, что считает своим нравственным долгом (тогда слово «нравственный» было еще в забвении, а не в ходу, как сейчас) тут же принести извинения людям, которые... Городское начальство ничего не поняло, но было недовольно и морщилось. Писатели посмеивались, а переполненный зал недоумевал. Помню сконфуженное лицо Федина. Запутавшись и сбившись, Пастернак оборвал свою речь на полуслове и в отчаянии, что он снова все усложнил, ушел с собрания. Я догнал его, и мы долго бродили среди сугробов. Я догадался, что не нужно комментировать случившееся, и заговорил о бродивших в те дни слухах о новых невероятных победах наших армий, о взятии Брянска, Харькова, Полтавы, Киева и Одессы и о том, почему об этом не сообщается официально.

Поведение и отдельные неловкие поступки Б. Л. часто вызывали смех и улыбки. Во время работы Первого съезда писателей в Колонный зал пришла с приветствием делегация метростроевцев. Среди них были девушки в прорезиненных комбинезонах — своей производственной одежде. Одна из них держала на плече тяжелый металлический инструмент. Она встала как раз рядом с сидевшим в президиуме Пастернаком, а он вскочил и начал отнимать у нее этот инструмент. Девушка не отдавала: инструмент на плече — рассчитанный театральный эффект — должен был показать, что метростроевка явилась сюда прямо из шахты. Не понимая этого, Б. Л. хотел облегчить ее ношу. Наблюдая их борьбу, зал засмеялся. Пастернак смутился и начал свое выступление с объяснений по этому поводу.

Высокий комизм происшествия заключался в том, что тяжелый инструмент на плече у девушки лежал не по необходимости, а, так сказать, во имя некоего обряда, надуманного и тем самым фальшивого. Он в данном случае был трудовой эмблемой, а Б. Л. своим прямым и естественным зрением этого не заметил, а увидел лишь хрупкую женщину, с усилием держащую какую-то неуклюжую металлическую штуку. Над ним хохотали, сконфуженно улыбался он сам, поняв наконец свою оплошность, но по-настоящему смеяться следовало над организаторами этого лжетеатрального приветствия.

Своеобразие эпохи было в том, что у всех выработалась привычка к подобным демонстративным и напыщенным изъявлениям гражданских чувств. Уже никого не удивляли не только это ненужное кайло на женском плече, но и огромные стихотворные послания от имени целых народов великому вождю или на протяжении многих месяцев печатаемые в газетах длинные колонки списка его поздравителей ко дню рождения. Еще не так много времени прошло с тех пор, а это уже кажется почти непонятным, а тогда подозрительно-странным выглядел чудак, не принимав-ший-всерьез этих обрядов почитания.

Неверно считать, как об этом написал один молодой мемуарист, что Пастернак «играл» свои странности. Это могло казаться тем, кто разучился всегда и при всех обстоятельствах быть самим собой, что, разумеется, нередко выглядит «смешно» в среде притворщиков и людей, закованных в бытовые условности. Прямодушие и честность дипломатам и хитрецам всегда кажутся наивностью, граничащей с глупостью. Подобных «глупостей» множество в жизни Пастернака. Но это те «глупости», которые имел в виду Анатоль Франс, говоря, что их редко делают дураки, а гораздо чаще очень умные люди.

Дальше пойдет мой чистопольский дневник: вернее — отдельные записки из него, связанные с Б. Л. Пастернаком, встречами и разговорами с ним. Они делались по горячим следам в маленьких книжках клетчатой бумаги в черных коленкоровых переплетах. Привожу их почти без сокращений. Кое в чем они совпадают со ставшими нам известными высказываниями Б. Л. на разные темы в частично опубликованной переписке, в «Автобиографии» и на страницах романа, но чаще дополняют, развивают или даже иногда противоречат чему-то высказанному позднее. Среди сохранившихся записей есть и такие, которые я не мог впоследствии связно изложить: очевидно, стремясь к полноте, я что-то записывал очень условно, полушифром. Кое-что восполню по памяти: до сих пор многие фразы Б. Л. звучат в ушах, как будто только что сказанные вчера.

75 ноября. Сегодня днем на площади у райкома меня остановил Б. Л. Я уже несколько раз встречал его и кланялся. Он отвечал, но, как выяснилось, забыв, где и как мы познакомились...

— Послушайте, ваше лицо мне удивительно знакомо...

— Да, мы встречались с вами, Борис Леонидович.

— Но где же, где?

Я напоминаю об обеде у Мейерхольда.

— Да, да, вспомнил, — восклицает он. — Конечно. Да, да. Отлично помню.

Мы говорим недолго о Мейерхольде. Лицо его омрачается. Потом он спрашивает меня: как я оказался в Чистополе.

Он в черной шубе и черной каракулевой шапке. В волосах уже заметна проседь, но еще ее мало. Пожалуй, он моложав для своего возраста.

Я провожаю его по улице Володарского. Он живет в самом конце ее, напротив городского сада. Прекрасный зимний русский морозный денек.

Все литераторы, оказавшиеся здесь, единодушно бранят Чистополь, но Б. Л. говорит, что ему тут нравится. Он зовет меня зайти к себе, но я спешу домой, и мы уславливаемся повидаться на будущей неделе. Он кажется бодрым и ничуть не растерянным, как большинство. Узнаю от него, что Шкловский вчера уехал в Алма-Ату. Кама еще не встала окончательно, но пароходы уже не ходят. Четыре дня нет почты.

18 декабря. Снова обедаю с Б. Л. в столовой Литфонда. Рисовый суп, очень жидкий и почти несъедобный, рагу из чего-то, что здесь условно называется бараниной. Б. Л. с аппетитом грызет горбушку черного хлеба. Говорим о военных и политических новостях. Я рассказываю о бесчинствах немцев в Ясной Поляне (слышал утром по радио). Он ужасается, недоумевает и почти не верит.

20 декабря. Морозный денек. Наши части заняли Рузу, Тарусу, Ханино. Так говорится в утренней сводке. В то время, как в помещении ВУАПа наши пикейные жилеты и домашние стратеги, дымя махоркой, обсуждают эти события и совместно планируют следующие удары (Леонов, Лейтес, Левман, Дерман, Мунблит, Гупперт и др.), приходит бодрый, раскрасневшийся с мороза Пастернак и, поздоровавшись со

всеми, проходит к Хесину, на ходу напоминая мне, что я обещал принести ему пьесу. Сговариваемся на послезавтра.

22 декабря. Днем захожу к Пастернаку. Он живет в небольшой комнатке, ход в которую через кухню, где, кажется, вечно шумно и грязно. На столе словари, томик Шекспира и книга В. Гюго о Шекспире на французском языке. Когда я беру ее в руки, Б. Л. начинает ее хвалить и сожалеет, что она мне недоступна. У меня тут всего один экземпляр пьесы с массой опечаток, сделанных при перепечатывании в Отделе распространения, выправленных мною расплывшимися на скверной бумаге чернилами, но Б. Л. это не смущает. Он только спрашивает: можно ли ему не торопиться и читать понемножку, так как «я терпеть не могу читать залпом».

25 декабря. Днем встретил в столовой Б. Л. Он зовет меня сесть за свой стол.

Едим постные щи, к которым дается 200 грамм черного хлеба. Второго нет. После обеда он зовет прогуляться: сегодня теплее. Идем мимо собора к Каме и направо к затону. Разговор о многом. Снова об его «Гамлете». Он удручен неудачей с постановкой. Он ставит эту работу, пожалуй, слишком высоко по сравнению с другими, даже оригинальными своими произведениями. Жаловался на то, что чем серьезнее переводческая работа, тем меньше шансов, что она может как-то обеспечить, — Шекспир, поверьте, мне почти ничего не дает, а грузинские поэты могут прокормить год-полтора... Говорим о том, что может быть после войны. Он представляет Ставского, как нового Скалозуба, который построит всех нас в шеренгу и станет командовать еще круче.

— Если после войны все останется по-прежнему, я могу оказаться где-нибудь на севере среди многих своих старых друзей, потому что больше не сумею быть не самим собою...

Он прочитал два акта «Давным-давно» и говорит, что они веселы, живы и изящны, но, пожалуй, слишком «густо написаны...».

— Не чересчур ли вы увлеклись фоном и колоритом? Впрочем, он оговаривается, что это только самые первые,

предварительные замечания, а настоящий большой разговор о пьесе у нас будет позднее, когда он прочтет все 4 акта.

31 декабря. Снова долгая прогулка с Б. Л. Он слегка простужен: у него прострел в спине. Обычный для него длинный, перебивающийся отступлениями, захлебывающийся монолог. Сегодня радио сообщило прекрасные новости: наш десант занял Керчь и Феодосию. Сначала говорим об этом, потом о войне вообще. Б. Л. рассказывает, что все месяцы войны в Переделкине и в Москве до отъезда у него было отличное настроение, потому что события поставили его в общий ряд и он стал «как все» — дежурил в доме в Лаврушинском на крыше и спал на даче возле зениток, и все это было далеко от «советского писательства». Ему тогда казалось, что всеобщее бегство и паника отсеют от литературы чиновников и «отцов-командиров», но, кажется, это, увы, не так... «Я не оценил их способности к приспособлению и феноменальной живучести...» При прощании Б. Л. пожелал мне в наступающем новом году: «всего того, о чем мы так много говорим между собой и еще больше молчим...» Я зову его встречать Новый год с нашей компанией. Сначала он даже как будто обрадовался, сказал, что собирался быть этим вечером дома один, так как З. Н. на вечере в детском интернате, и спросил адрес Сони и Анели, но потом вспомнил про свой прострел и решил, что, пожалуй, лучше он посидит дома. Странный штрих: он не знал, что Крым уже занят немцами, и удивился, когда я ему это сказал.

— Будущее — это худшая из всех абстракций. Будущее никогда не приходит, каким его ждешь. Не вернее ли сказать, что оно вообще никогда не приходит? Если ждешь А, а приходит Б, то можно ли сказать, что пришло то, чего ждал. Все, что

реально существует, — существует в рамках настоящего. Наше ощущение прошлого тоже дано нам в настоящем. Собственно говоря, это тоже абстракция, но все же менее условная, чем будущее...

— Человеку одинаково нужны и разум, и смута, и покой, и тревога. Оставьте ему только разум и покой, он будет скучно вянуть, спать. Дайте ему смуту и тревогу — он потеряет себя и свой мир. Поэт — это крайний человек. Он ищет разум в смуте и в покое тревогу, в разуме — смуту и в тревоге — покой. Потребность искать во всяком явлении его противоположный полюс свойственна каждому, как почти каждому свойственен зачаток дара поэзии...

Вечером, перед тем как идти в нашу компанию, захожу на минутку к нему, чтобы еще раз предложить ему участвовать во встрече Нового года. Он лежит в постели с книжкой Гюго. На столе маленькая лампочка. Так встречает Новый год Пастернак. А у Л. и Ф. готовят уже несколько дней и закуплены всяческие разносолы. Видно, им не пришло в голову его пригласить. Он снова отказывается идти и еще раз поздравляет меня.

16 января. Встретил на лестнице в управлении Б. Л. Поздоровавшись, он спросил — почему я так похудел? (Я болел, да и живем мы сейчас весьма худо.) И прибавил, что на днях у него ко мне будет большой разговор. Эти дни все веселы: на фронтах хорошо.

24 января. Иду днем к Б. Л. Последние дни стояли невиданные здесь морозы. 21-го и 22-го в Чистополе было 53 градуса ниже нуля, а в затоне — 58. Б. Л. сидит за столом, накинув на плечи пальто — у него дома холодно. Я извиняюсь, что помешал работать, но он говорит, что сидел и читал и рад, что я зашел...

— Вы не читаете по-французски?.. Ах, да, я вас уже спрашивал... Я хотел поделиться с вами наслаждением, которое я получаю от чтения книги Гюго о Шекспире. Я читаю ее понемногу. Она возбуждает столько мыслей, что большими порциями читать ее просто невозможно. Это сокровищница мыслей, и не только о Шекспире, но и об искусстве вообще.

— Вы знаете, с тех пор как я работаю над переводами Шекспира, мне хочется написать что-то о нем. Нет, вернее, мне хотелось, пока я не прочел эту книгу Гюго. Теперь я просто не смею. Подумать только, она у нас не переведена... Нет, послушайте еще. Я вам не надоел? Ну, хорошо...

«Гамлет прикидывается помешанным не для того, чтобы ему было удобнее выносить план мести, а для того, чтобы не быть убитым. Поэт в то же время прекрасный историк, знающий нравы этих зловещих королевств. В те времена горе было тому, кто узнавал про преступление, совершенное королем. Вольтер предполагает, что Овидий был сослан из Рима за то, что знал что-то страшное про Августа. Знать, что король убийца, само по себе было государственным преступлением. Человек, подозреваемый в подозрении, мог считать себя погибшим...»

Б. Л. читает характеристику Макбета. Я рассказываю ему, как однажды в разговоре о процессах 1936—1938 гг. В. Э. Мейерхольд сказал: «Читайте и перечитывайте "Макбета"!..» Б. Л. охает, замолкает, потом говорит: «Нет, не буд^м об этом. Это слишком страшно... (Помолчав.) Вот видите, какой живой этот великан Шекспир. Он нам внушает ассоциации, от которых страшно...»

Он пересказывает наблюдение Гюго о «двойном действии» Шекспира.

Говорим о его переводах. Его отношение к ним — образец того, как должен писатель относиться к вынужденно-необходимой, хотя и не основной своей работе: взявшись за них, он заставил себя этим искренне увлечься.

2 февраля. Б. Л. в разговоре о войне замолкает, делается рассеян, о чем-то думает, потом вдруг неожиданно спрашивает — нет ли у меня на два-три дня взаймы 15

рублей? К счастью, у меня есть. Он берет, благодарит, потом порывисто снова вынимает бумажник из кармана, достает деньги и протягивает их обратно:

— Нет, не могу взять у вас. Вы не Погодин.

— Так вы же берете не полторы тысячи, а пятнадцать рублей.

— Да, конечно, но... (Он колеблется.) Видите ли, у меня сейчас такой заворот с деньгами... Ну, хорошо, я возьму... Впрочем, нет. Вы бедняк, и вам самому нужны. Да?

— Да нет же, Б. Л., — я обойдусь.

— Нет, нет, я знаю, слышал, вы живете не к^к Федин и Леонов.

— Но у них вы и не просите. А мы в этом равны, и взять у меня естественно.

— Ну, хорошо, я возьму. Мне очень нужно. Как это глупо: просить 15 рублей. Спасибо!

Мы оба сконфужены и преглупо себя чувствуем.

4 февраля. На очередной «литературной среде» в Доме учителя должен быть вечер переводов молодого поэта Якова Кейхауза. Мороз и метель. Кроме автора приходят только старик Павел Ар-ский, Гуго Гупперт и я. Кейхауз чахоточный, скверно одетый высокий малый с ассирийского вида бородкой и тонкой шеей, замотанной в зеленый шарф. Пока решаем, что делать и не перенести ли вечер, появляется оживленный и румяный с мороза, доброжелательный и приветливый Б. Л. и красноречиво просит прощения за опоздание. Кейхауз заявляет, что он готов читать для собравшихся. Он читает «Остров Бимини» Гейне и несколько очень хороших переводов из «Исторического цикла» Киплинга. Б. Л. слушает с видимым удовольствием и просит повторить довольно длинную поэму «Остров Бимини». Кейхауз розовеет от счастья. Б. Л. слушает улыбаясь и после очень хвалит перевод. Он просит прочесть какие-нибудь оригинальные стихи. Кейхауз, извинившись за мрачность своих тем, читает вступление и несколько отрывков из поэмы «Ночь в одиночке», посвященный 16 октября в Москве, эвакуации, войне. Потом читает три стихотворения о сыне, второе из которых Б. Л. очень хвалит и тоже просит повторить. Он говорит, что ему нравятся стихи Кейхауза за то, что они существуют не «по инерции ритмической, подражательной или словесной, а как акты познания поэтом мира». Бедняга поэт на седьмом небе. Мне этот скромный вечер доставил больше радости, чем вечер Асеева на прошлой неделе. На обратном пути я провожаю Б. Л. и слушаю его хаотические монологи, из которых запомнил, как всегда, только малую часть... Он очень опечален тем, что в следующую среду отменяется чтение недавно законченного им перевода «Ромео и Джульетты» из-за намеченного на этот день Пушкинского вечера. Б. Л. говорит, что 11-е — день его рождения (29-е по-старому) и поэтому он очень хотел читать именно в этот день. Его огорчение по-детски непосредственно и велико. До площади с нами идет Гуго Гупперт, немецкий поэт, эмигрант, отличный переводчик Маяковского. На днях в газетах было напечатано обращение к немецкому народу германских писателей и общественных деятелей. Среди прочих подписей есть и подпись Гупперта. Я спрашиваю Гуго: как у него запросили из Чистополя подпись, но оказывается, что он вообще ничего не знает об этом и слышит от меня первого. Смеясь, он говорит, что утром первым делом побежит в парткабинет читать газеты.

10 февраля. Прогулка с Б. Л. Разговор начинается с его работы над переводами Шекспира. А потом еще о многом. Кое-что запомнил и записываю...

— «Ромео и Джульетту» я перевожу не так, как «Гамлета», стремлюсь быть проще. Непереводимые метафорические выражения и народные поговорки перевожу их смысловым, а не образным эквивалентом...

— Лучшими русскими переводами «Ромео и Джульетты» я считаю перевод Михаловского в трехтомнике Гербеля и перевод Аполлона Григорьева, хотя последний

страдает чрезмерной русификацией текста. Вершиной пьесы по красоте я считаю 5-й акт...

— Никогда не забуду ночь бомбежки Москвы 23 июля, розовые зарева летним утром. Я всю ночь был на крыше, а через день я прочитал в «Известиях» очерк об этом одного моего коллеги, который всю ночь просидел в подвале. (Говорю: «Ну это просто элементарное жульничество».) Нет, нет... Он не жулик, он хочет лучшего, я браню не его, а потребность в таком очерке...

— Зло, чтобы существовать, должно притворяться добром. Оно безнравственно уже этим притворством. Можно сказать, что зло всегда обладает комплексом неполноценности: оно не смеет быть откровенным. Интеллигенты типа Ницше главной бедой зла считали именно эту его неполноценность, его способность быть оборотнем. Им казалось, что явись зло в мире само собой, оно станет нравственным. Но это невозможно: даже фашизм под самое черное из своих преступлений — расизм — подводил какие-то объяснения о пользе немецкого народа...

— Я люблю у Ницше одну мысль. Он где-то говорит: «Твоя истинная сущность не лежит глубоко в тебе, а недосягаемо высоко над тобой». Это уже почти христианство...

— Во мне есть еврейская кровь, но нет ничего более чуждого мне, чем еврейский национализм. Может быть, только великорусский шовинизм. В этом вопросе я стою за полную еврейскую ассимиляцию, и мне лично единственно родной кажется русская культура, с широтой любых влияний на нее, в пушкинском смысле...

15 февраля. Идем с ним, как обычно, к Каме и говорим о разном:

— Меня многие принимают не за то, что я есть. Это всю жизнь отравляло мои отношения с Горьким. В Переделкине Фадеев иногда, напившись, являлся ко мне и начинал откровенничать. Меня смущало и обижало, что он позволял себе это именно со мной...

— Фадеев лично ко мне хорошо относится, но если ему велят меня четвертовать, он добросовестно это выполнит и бодро об этом отрапортует, хотя и потом, когда снова напьется, будет говорить, что ему меня жаль и что я был очень хорошим человеком. Есть выражение «человек с двойной душой». У нас таких много. Про Фадеева я сказал бы иначе. У него душа разделена на множество непроницаемых отсеков, как подводная лодка. Только алкоголь все смешивает, все переборки поднимаются...

— Если бы мне когда-нибудь пришлось выпускать собрание сочинений, я был бы беспощаден к своим ранним произведениям. Если говорить совершенно прямо, то мое будущее собрание сочинений еще не написано. Ну, на два тома, может, и наберется. Но не больше, нет, не больше, клянусь вам. И это не кокетство, не подумайте так, избави боже. Это мое сокровеннейшее убеждение: я несколько десятков лет живу, по существу, в кредит и ничего стоящего пока не сделал. Я не боюсь этих мыслей, они страшны духовным банкротам, а меня они только подбадривают...

Я спрашиваю его о том, почему он прекратил свою работу над большим романом в прозе, отрывки из которого появились в «Литературной газете» и «30 днях» в 1938 году.

— Мне очень мешало писать этот роман все время меняющееся из-за политической конъюнктуры отношение к империалистической войне...

20 февраля. Сегодня утром сел за работу, как обычно, вдруг стук в окно. Смотрю — Б. Л. Выбегаю. Он не хочет заходить и зовет меня гулять. Возвращаюсь одеться, а он ждет меня, сбивая с крыши сосульки.

— Вот уже седею, а сосульки все те же самые, что и в детстве, — говорит он. — Вон ту я, кажется, помню...

Идем нашим постоянным маршрутом к Каме мимо церкви, а потом направо к затону.

Я получил от мамы известие, что в Москве уже висят афиши премьеры моей пьесы, и говорю ему об этом. Он весело поздравляет меня.

Хороший, почти весенний денек и интересный длинный разговор, из которого записываю только малую часть.

Он начинается с того, что Б. Л. говорит о вмерзших в Каму барках, что, когда он на них смотрит, он всегда вспоминает Марину Цветаеву, которая перед отъездом отсюда сказала кому-то, что она предпочла бы вмерзнуть в Чистополе в лед Камы, чем уезжать. «Впрочем, тогда еще было далеко до зимы, но ее ждали с ужасом, а по Каме все шли и шли бесконечные баржи...»

— Я очень любил ее и теперь сожалею, что не искал случая высказывать ей это так часто, как ей это, может, было нужно. Она прожила героическую жизнь. Она совершала подвиги каждый день. Это были подвиги верности той единственной стране, подданным которой она была, — поэзии...

— Конечно, она была более русской, чем все мы, не только по крови, но по ритмам, жившим в ее душе, по своему огромному и единственному по силе языку...

— Все мы писали в юности плохо, но у меня этот период затянулся, так как вообще я человек задержанного развития: у меня все приходит позже. Марина прошла свой подражательный период стремительно и очень рано. Еще в том периоде жизни, когда все ошибки и ляпсусы простительны и даже милы, она уже была мастером редкой силы и уверенности...

— Я виноват, что в свое время не отговаривал ее вернуться в Советский Союз. Что ее здесь ждало? Она была нищей в Париже, она умерла нищей у нас. Здесь ее ждало еще худшее — бессмысленная и безымянная трагедия уничтожения всех близких, о которой у меня нет мужества говорить сейчас13...

Я спрашиваю Б. Л.: кто виноват в том, что она, вернувшись на родину, оказалась так одинока и бесприютна, что, в сущности, видимо, и привело ее к гибели в Елабуге?

Он без секунды раздумия говорит:

— Я!.. — и прибавляет: — Мы все. Я и другие. Я, и Асеев, и Федин, и Фадеев. И все мы... Полные благих намерений, мы ничего не сделали, утешая себя тем, что были беспомощны. О, это иногда бывает очень удобно — чувствовать себя беспомощными. Государство и мы! Оно может все, а мы ничего. В который раз мы согласились, что беспомощны, и пошли обедать. Большинству из нас это не испортило даже аппетита. Это наше общее преступление, следствие душевной глухоты, бессовестности, преступного эгоизма...

— Когда-нибудь я напишу о ней, я уже начал... Да, и стихами и прозой. Мне уже давно хочется. Но я сдерживаю себя, чтобы накопить силу, достойную темы, то есть ее, Марины. О ней надо писать с тугой силой выражения...14

Мы говорим (переход понятен) о Сталине и о том, о чем любили говорить люди тридцатых и сороковых годов, — знает ли он о всех преступлениях режима репрессий? Естественно, что эту часть разговора я записывал в очень сокращенном и зашифрованном виде.

После небольшой паузы Б. Л. говорит:

— Если он не знает, то это тоже преступление, и для государственного деятеля, может, самое большое...

Далее Б. Л., говоря о Сталине, называет его «гигантом дохристианской эры человечества».

Я переспрашиваю: может быть, «послехристианской эры»?

Но он настаивает на своей формулировке и длинно мотивирует ее. Но я этого не записал.

27 февраля. Гуляем с Г. О. Винокуром15 и после обычных разговоров о войне переходим к Пастернаку. Винокур верно говорит, что живой Пастернак является ходячим опровержением пошлого тезиса о том, что книжная мудрость и непосредственное поэтическое восприятие мира являются антагонистами. Настоящему поэту ничего не мешает. Не будь Пастернак так образован, разве был бы столь неожиданен и велик круг его ассоциаций? И Гете, и Байрон, и Пушкин, и Фет, и Блок были очень образованными людьми, и от этого еще пышнее расцветал их поэтический дар. Говорим об отношениях Пастернака и Асеева, и Винокур вспоминает Пушкина и Баратынского. «Сальеризм» Баратынского и то же у Асеева. Винокур, хорошо знавший Маяковского, подтверждает рассказ Л. Брик о том, что Маяковский без конца бормотал строки Пастернака. Он любил Б. Л., как любят непослушного младшего брата. В их отношениях (а Винокур наблюдал их вместе) всегда были: ровная теплая приязнь Маяковского и бурные смены восторгов и какого-то детского бунта Пастернака, бунта младшего брата против стеснительной опеки старшего. Я прошу Г. О. прокомментировать мне странную фразу, недавно сказанную Б. Л., о том, что «квартира Бриков была, в сущности, отделением московской милиции...»16. Г. О. усмехается, молчит, а потом с оговорками, что это только его личное мнение и прочее, начинает рассказывать о дружбе Бриков со знаменитым Яковом Аграновым, крупным чекистом, занимавшимся по своей линии литературными делами.

Агранов сначала заведовал специальным отделом в ГПУ и НКВД, потом стал заместителем наркома и погиб в 1937 году (тогда говорили, вспоминаю я, что он выбросился из окна, когда за ним пришли). Агранов с женой часто бывал у Бриков. Г. О. сам его у них, встречал. По его могучей протекции Маяковскому так легко разрешали заграничные поездки, но когда В. В. влюбился в Париже в Татьяну Яковлеву, сделал ей предложение и должен был снова ехать осенью 1929 года в Париж, ему не дали визу. Возможно, Брики опасались женитьбы Маяковского на эмигрантке и, вероятно, информировали об этом Агранова. На Маяковского этот первый в его жизни отказ в визе произвел страшное впечатление. С его цельностью, он не мог понять и примириться с тем, что ему, Маяковскому, не доверяют. Тут начало внутренней драмы, которая привела его к самоубийству. Г. О. говорит, что это не обязательно трактовать плохо: со своей точки зрения Брики были, быть может, и правы, оберегая Маяковского от этого опасного, по их мнению, увлечения, но, так или иначе, во вмешательстве Агранова было нечто зловещее. Вероятно, Б. Л. имел в виду этот эпизод, о котором друзья Маяковского знали.

Г. О. был близок к журналу «ЛЕФ», печатался в нем, дружил и с Бриками и с Маяковским. Он умница с отличным вкусом и прекрасный человек.

7марта. Почти пятичасовой разговор с Б. Л. у него дома, после которого я ухожу пьяным от счастья. Пьесу он не успел дочитать, и говорили мы о другом, но бесконечно интересном...

Явился я к нему, выбрившись, в начале первого. Он моется в своей комнате и кричит мне, чтобы я подождал минутку на кухне. Тут же у керосинки рыхлая хозяйка с детишками. На стене плакат к фильму «Песнь любви». За дверью веселый плеск воды и громкое фырканье Б. Л. Наконец дверь раскрывается, и он приглашает войти. Он в брюках и нижней мятой и забрызганной белой рубашке. Разговаривая, он продолжает одеваться, застегивает ворот, надевает воротничок, подтяжки, пиджак. На пиджаке нижняя пуговица правого борта болтается на ниточке, и я невольно все время на нее смотрю. Пол залит водой. Б. Л. приносит щетку и затирает пол. Он уже усадил меня на стул, а сам еще расхаживает и только минут через двадцать садится на кровать.

Я снова рассматриваю комнату, пока он выходит. Она средней величины и неважно побелена. Посредине стены идет бордюр с черными и красными птицами. Две

сдвинутые рядом кровати (узнаю наши «литфондовские» из интерната: у меня такая же), рабочий стол Б. Л. и несколько стульев. В углу подобие шкафчика. Очень неуютно, но довольно светло. На столе лежит толстая рукопись большого формата — это «Ромео и Джульетта». Старинное издание Шекспира в двух томах на английском. Английский словарь. Французский словарь. Книга В. Гюго о Шекспире на французском языке, вся переложенная узкими бумажными листиками. Под книгой толстая тетрадь, полная выписками (почерк Б. Л.), — проза, наверно из Гюго. На столе чернильница, кучка карандашей, лезвия для бритвы, стопка старых писем и каких-то квитанций...

В волосах Б. Л. уже заметна проседь, но она еще не преобладает. Глаза желто-карие, крепкие лицевые мускулы, свежая кожа. Впереди нет верхнего зуба. Он оживлен и подвижен.

Очень трудно записать этот разговор. Насколько мне было легче записывать В. Э. М., Б. Л. всегда многословен, сбивчив, хаотичен, хотя все говоримое им внутренне последовательно и только форма импрессионистически-парадоксальная. Затрудняясь в каком-нибудь слове, он неясно мычит, и это странное междометие сопровождает все его монологи...

— Вы мне сказали, что я перехвалил последние стихи Асеева. Я после думал об этом. Может быть, вы и правы, но я хвалил отчасти потому, что хотел поддержать его в укреплении чувства внутренней независимости, которое Асеев после многих лет стал возвращать себе только здесь, в Чистополе, очутившись вдали от редакций и внутрисоюзных комбинаций. Ряд лет я был далек от него из-за всего, что определяло атмосферу лефовской группы, и главным образом из-за компании вокруг Бриков. Когда-нибудь биографы установят их гибельное влияние на Маяковского. Асеев очень сложный человек. Уже здесь, в Чистополе, он недавно ни с того ни с сего оскорбил меня и даже вынудил жаловаться на него Федину. То, что вы называете «перехвалил», — вероятно, находит себе объяснение в моем желании побороть обиду и неприязнь, которым я решил не дать расти в себе...

— Всякая стадность — убежище неодаренности17. Все равно на какой платформе, на основе ли ницшеанства, марксизма или соловьевского христианства. Тем, кто любит и ищет истину, не место в любых марширующих рядах, куда бы они ни маршировали...

— Мне странно, что многие живущие здесь писатели ноют и жалуются и не могут оценить тех благ, которые им дала эвакуация в отношении приобретения внутренней независимости. Я уверен, что я буду навсегда благодарен Чистополю за одно это...

— Мое положение в литературе двусмысленное. Почему вы улыбаетесь? Это правда. Меня ценят за большее, чем я дал. Я в огромном долгу и со всей своей известностью часто кажусь себе Хлестаковым... (С заметной горечью.) А иногда мне кажется, что я нечто вроде привидения. Когда я попадаю в общество так непоколебимо уверенных в себе Федина, Леонова и других, я чувствую себя очень странно. С одной стороны, есть как бы литературное имя, и даже за рубежом. С другой стороны, я живу с непроходящим чувством, что я почти самозванец. Что я сделал? Что мы все сделали? Мы получили в наследство замечательную русскую культуру и разменяли ее на поденки и куплеты...

— Я много бы дал за то, чтобы быть автором «Разгрома» или «Цемента». Да, да, и не смотрите на меня с таким удивлением... Поймите, что я хочу сказать. Большая литература существует только в сотрудничестве с большим читателем...

— Мы все ждем гениальных произведений нашего времени. Я уверен, что и Федин и Леонов ощущают свою неполноценность...

— Когда я говорю «мы», то это всегда значит — те, кто идет от преемственности и традиции...

— Я шесть лет перевожу. Надо же наконец что-то написать...

— Когда я бываю изредка на собраниях в нашем Союзе писателей и слушаю речи моих собратьев, которых я, вероятно, ничем не лучше, я всегда почему-то вспоминаю героев «Плодов просвещения» с их банкетно-адвокатским красноречием, с приподнятой фанфарной пошлостью, которая вошла в обычай и стала как бы обязательной...

— Не говорите мне, что во всем плохом, что окружает нас, мы сами ничуть не виноваты. Общественные настроения не создаются дедуктивно или спускаются сверху. Мы сами создали себе добавочные путы, мы сами возвели в ежечасный ритуал присягу в верности, которая, чем чаще ее повторяют, тем больше теряет в своей цене...

— Мы окружены во всем, что делаем и говорим, предвзятыми мнениями и застарелыми предрассудками. Нам бы сейчас нового Толстого, чтобы он по ним ударил своей бесцеремонной правдивостью. Заметили ли вы, что многие ложные взгляды стали догмами только потому, что они утверждаются в паре с чем-нибудь иным, неопровержимым или святым, и тогда часть благодати с абсолютных истин переходит на утверждения сомнительные или и вовсе ложные?..

— В наши дни политический донос — это не столько поступок, сколько философская система...

— Сколько аморальных, жестоких, злобных понятий существовало под прикрытием великого слова «революция»!..

Когда я ухожу, он снова церемонно извиняется, что не успел дочитать пьесу. «То есть, вернее, я и не раскрыл ее. Мне вчера помешали. Но это не беда. У нас будет повод снова вскоре встретиться, хорошо? Я с вами люблю разговаривать. Вы мне не поддакиваете, но, кажется, меня понимаете...»

14 марта. Разговор с Б. Л. о прочтенной им «Давным-давно»... вечером дома у Б. Л. Он нездоров и полулежит. Долго за это извинялся. У него нет лекарств, а Зинаида Николаевна на дежурстве в детском интернате Литфонда. Отдал ему завалявшуюся в кармане коробочку кальцекса. Он просит зайти по дороге в интернат, разыскать З. Н. и попросить ее пораньше вернуться домой, что я и делаю. З. Н. как-то довольно равнодушно выслушивает меня и сухо говорит: «Хорошо. Спасибо...»

Трескучий мороз, и, хотя еще не поздно, чистопольские улицы почти пусты. Тускло светят в окнах слабые лампочки. До дома, где я живу, мне надо пройти две длиннющих улицы: улицу Володарского и пересекающую ее улицу Льва Толстого. Я одолеваю этот путь как на крыльях, не замечая ни мороза, ни обледенелых колдобин под ногами, по которым и днем-то нелегко пройти. Снова и снова перебираю в памяти все, что сказал Б. Л.

Да вправду ли это было — я говорил с Пастернаком о своей пьесе? В самых смелых мечтах я никогда не надеялся на это. Я еще не видел ее на сцене, а уже получил за нее высшую награду — его одобрение. Даже если большую часть его отнести на счет его доброжелательности и дружеской снисходительности, то и того, что остается, вполне достаточно, чтобы чувствовать себя безмерно счастливым.

17марта. Не видел вчера Б. Л. в кино и подумал, что он еще болен. Завтра я лечу в Свердловск, вызов от Театра Красной Армии в кармане, и решаю зайти к нему проститься. Так и оказалось — он лежит. Он один дома и обрадовался мне. Простились сердечно.

Виктор Боков

СОБЕСЕДНИК РОЩ

Анна Ахматова назвала Пастернака собеседником рощ. Он таким и был. Природы праздный соглядатай — определил себя Фет. Пастернак не был праздным, в природе он был деятельным. Я видел его в саду с лопатой, с засученными рукавами, вдохновенно копающим гряды, славящим языческое плодородье. Он был вписан в Переделкино,

как знаменитая древняя церковь, как самаринский пруд, как сосны по дороге на станцию.

Природа Переделкина вся в его стихах. Он был весь распахнут пространству, в его поэтической печи гудела мощная тяга — дрожат гаражи автобазы. Это его строка, это сам он рвался, как нетерпеливый конь, в просторы. Он был размашист в почерке, в шаге, в поступке.

В канаве билось сто сердец!

Это и дождь, и сам Пастернак, слепок с его натуры, его одержимый импрессионизм.

Это круто налившийся свист — определил он поэзию. Это опять-таки про самого себя, ибо было в наливе его поэзии что-то фламандское, плотское, языческое. Его поэтические сопоставления предельно смелы и демократичны:

Как кочегар на бак Поднявшись отдыхает, Так по ночам табак В грядах благоухает.

Думаю, что это пришло от длительного, близкого обращения к Шекспиру. В одну из встреч на даче в Переделкине он заметил:

— Неправильно переводили: женщина, ничтожество твое имя. У Шекспира этого нет, вот глядите. (Он взял томик по-английски, нашел нужное место.) Здесь глагол — фраэлти — ломать. Женщина — вероломство, вот что сказал Шекспир. Ничтожество и вероломство не одно и то же.

Встречи с ним, а их было немало за годы нашей дружбы, я приравниваю к престольным праздникам, которые застал я в своей родной подмосковной деревне.

Обычно, увидев меня в окно своей дачи, бежал он крупной рысью навстречу, горячо обнимал и сразу включал свой виолончельный голос:

— Говорят, что надо обниматься мирами, а сами обнимаются руками!

Идем в глубину усадьбы, на дачу, мимо прижавшихся к забору берез.

Поток его мыслей, высказываемых вслух, непрерывен, неудержимо несется он к искомой истине:

— Это неверно, что поэты учатся друг у друга, они набираются друг у друга смелости. Какая силища Павел Васильев! Как вы находите?

— Согласен! Это глыба, крупный характер!

55-й год. Написалось у меня стихотворение «Гром идет, перекатываясь».

Показалось, что я подражаю Борису Леонидовичу. Поехал в Переделкино, признался в своем сомнении, прочитал.

— Нет! Нет! Это вы, это ваш голос! Разговоры о жизни, о литературе.

— Кто у вас в будке-то сейчас?

— В какой будке? — не понял я.

Будка оказалась роковой, когда «будочники» исключили Пастернака из Союза писателей и похоронили как члена Литфонда. Несмываем этот позор.

Хорошо помню день похорон. Переделкино переполнено теми, кто пришел отдать последний долг любимому поэту. Подали автобус, чтобы поставить гроб. Провожающие запротестовали:

— Не дадим! Понесем сами!

И несли. Несли близкие по крови, несли близкие по духу. Гордо белел в открытом гробу прекрасный профиль поэта. В числе тех, кто нес его гроб на переделкинское кладбище, был

и я, трепетный его обожатель, тогда уже признанный им поэт. Это можно прочесть в автографах Пастернака на подаренных мне книгах. Именно в день похорон сложились у меня стихи:

Сад зацвел без хозяина, Все белеет от вишен. Не его приказания Будут яблони слышать.

Соловьи на прощанье Бьют коленца и дроби. Но на даче молчанье, Хозяин во гробе...

День раннего лета медленно меркнул, но люди не расходились. Длительное молчание их над свежим холмиком земли, принявшей прах поэта, воспринималось как реквием, как клятва помнить поэта и защищать этой памятью от любых посягательств на его имя.

Волнами шли на меня после похорон воспоминания о большом поэте, которого Маяковский считал гением.

Зимой 1942 года шли мы с Борисом Леонидовичем по городу Чистополю, что над Камой. Закатывалось солнышко по-пушкински ясного морозного дня.

— Посмотрите, какие крыши, — воскликнул Борис Леонидович. — Это же медовые пряники! Отламывай и ешь!

Тут в нем говорил отец, выдающийся художник, которого любил Л. Н. Толстой.

Помню, написал я в Чистополе в самых трудных условиях новогодний рассказ, было в нем больше печатного листа. Решили собраться у К. А. Федина, на Бутлеровой улице. Рассказ был необычен своими художественными приемами. Охотник стреляет в зайца, не попадает. Заяц говорит ему человечьим голосом: «Промазал!»

Весь рассказ был сказочным, фольклорным по духу. Я читал, Федин и Пастернак слушали.

Первым высказался о рассказе Пастернак:

— Хорошую вы свечу зажгли к Новому году. Это чем-то роднится с рождественскими рассказами Диккенса.

— Мне нравится гоголевская чертовщина вашего рассказа, — оценил К. А. Федин.

Потом ужинали втроем. Дора Сергеевна, жена Федина, поставила на стол кушанье, предлагалось угадать, что это за блюдо.

— Кролик! — догадался я. Хозяйка сияла оттого, что кролик, сделанный под дичь, был принят с восторгом.

В марте 1942 года я был призван в Чистополе в армию. Ну как было уехать, не простившись с обожаемым маэстро. Захожу на квартиру, где жил Пастернак.

— Его нет, — сказали хозяева, — он ушел на колонку за водой. Дверь открылась, и на пороге встал Пастернак. В руках он держал две новых оцинкованных бадьи с дымящейся от холода водой.

— Это ваша судьба, — воскликнул Борис Леонидович, — я как знал, что вы придете проститься, всклень налил!

Он благословил меня в путь, который оказался невероятно трудным и трагическим. Меня ждал острог, бериевские застенки, клевета.

Вспомнилось, как мы провожали в эвакуацию Марину Цветаеву.

7 июля 1941 года Пастернак сказал мне в Переделкине:

— Завтра уезжает в эвакуацию Марина Цветаева, вы не хотите поехать со мной и проводить ее?

Что за вопрос! Конечно, хочу.

8 июля 1941 года1 из Переделкина в Москву ехали поездом, до речного вокзала трамваем. Мы увидели ее на площади, у спуска к пристани. Стояла она одна в окружении саквояжей и сумок. Мы подошли. Пастернак представил меня.

Я успел заметить — на Марине кожаное пальто темно-желтого цвета, синий берет, брови домиком. Когда человека охватывает чувство тоски и страданья, брови его встают именно так — «домиком».

Люди лихорадочно грузили свои вещи, везли на пароход, толкались, мешали друг другу. Как затравленная птица в клетке, Марина поворачивала голову то в одну, то в другую сторону, ее глаза еще больше страдали.

— Боря! — не вытерпела она. — Ничего же у вас не изменилось! Это же 1914 год! Первая мировая.

— Марина! — прервал Борис Леонидович. — Ты что-нибудь взяла в дорогу покушать?

Она удивилась вопросу:

— А разве на пароходе не будет буфета?

— С ума сошла! Какой буфет! — почти вспылил Пастернак. Я знал, что тут, поблизости, есть гастроном. Пошли вместе

с Борисом Леонидовичем. Сколько могли унести в руках, столько и купили бутербродов с колбасой и сыром.

Видя, что вещи Марины не помечены, я решил их переметить. Взял у мороженщика кусок льда и, намочив им место для надписи, написал химическим карандашом:

Елабуга. Литфонд. Цветаева. На следующем брезентовом мешке я уже написал вариант: Цветаева. Литфонд. Елабуга.

Марина сочувственно заулыбалась:

— Вы поэт?

— Собираюсь быть поэтом.

И тут впервые на близком расстоянии взглянул в глаза Марины. Невероятное страдание отражалось в них.

— Знаете, Марина Ивановна, — заговорил я с ней, — я на вас гадал.

— Как вы гадали? — заинтересовалась она.

— По книге эмблем и символов Петра Великого.

— Вы знаете эту книгу? — невероятно удивилась Марина.

— Очень хорошо знаю. Я по ней на писателей загадываю.

— И что мне вышло?

Я не ответил. И как было ответить, если по гадательной древней книге вышел рисунок гроба со звездочкой и надписью «не ко времени и не ко двору».

— Я поняла! — сказала Марина. — Я другого и не жду! Оказывается, она знала эту книгу наизусть.

Во время разговора, касающегося судьбы Марины, подошел неизвестный мне молодой человек и обратился к Марине Ивановне:

— Мама! Я не поеду в эвакуацию. Бесчестно бросать Москву в такое тяжелое для нее время.

Сказал и удалился. Это был сын Марины Мур.

Невероятно странным показался мне его поступок. Сын отпускал родную мать в неведомые края, не сказав ей ни единого слова утешения, не обняв ее2.

Подходило время отплытия. Удачно, что в такое время случается редко, поймал я на улице «левый» пикапчик, подогнал его и стал кидать вещи Марины в кузов. От напряжения при подъеме вещей у меня на костюме оторвалась пуговица. Марина во что бы то ни стало хотела пришить ее. Я еле-еле отговорил ее от этой невозможной затеи. Пикап тихо тронулся, мы пошли за ним, чтобы погрузить Марину на пароход. Через полчаса он уже отчаливал от московской пристани. Марина стояла на палубе и трепетно махала рукой на прощанье. Пароход давал гудки, в них жила тревога. Сколько человеческих судеб увозил он тогда с собой!

Пастернак не знал тогда, что и сам он отправится в эти края, но Марины не будет в живых.

Я рассказываю несколько подробно, потому что никто уже не может, кроме меня, рассказать об этом — нет в живых ни Пастернака, ни Цветаевой. А он очень любил ее, и эта любовь была взаимна. Марина Цветаева определила поэзию Пастернака как световой ливень. Лучше не скажешь!

Говорить с Пастернаком о поэзии и поэтах я любил. Его определения были всегда неожиданны, смелы, правдивы и, что очень важно, образны. Чем можно постигать поэзию, как не образом?

Как-то заговорили с ним о Степане Щипачеве3, весьма уважаемом в сталинские времена лирике, широко популярном среди читающей публики.

Пастернак протянул ко мне ладонь и, озорничая взглядом, объяснил:

— Щипачев — это официальное сердечко, бьется на виду у всех!

Смотрел и сам верил, что в ладони лежит «сердечко» Щи-пачева.

Разрешили одного лирика на всю эпоху! Не мало ли?!

Помню, приехал с электричкой в Переделкино. Вышел. Смотрю, в толпе перрона Пастернак. Пошли вместе. Не дорогой, где сосны, а мимо церкви, по тропинке. Дошли до Сетуни. По кла-динкам перешли речку. Летнее солнце шло на закат, но еще не спадал зной. Хотелось пить. Пастернак подошел к бетонному колодцу, в котором накапливалась родниковая вода и текла через железную трубу наружу. Пастернак пригоршней стал жадно пить. Он был невероятно красив в эту минуту. Напился, умылся, пошли по полю, что напротив его дачи.

— Хочется написать стихи, — признался он, — где бы выпукло показать физиологию России, ее чумазое, рябоватое лицо!

Где-то там, в глубине его поэтического материнства, уже стучала детскими ножонками новая книга «Когда разгуляется».

В этой книге Пастернак пришел к классической ясности. Когда-то он обещал — «нельзя не впасть, как в ересь, в неслыханную простоту». Он впал в эту великую «ересь». Он, который стоял у гроба Л. Н. Толстого, он, который в удивительной своей повести «Детство Люверс» так своеобразно отреагировал на реализм Л. Н. Толстого и талантливо продолжил его традиции.

Прекрасное стихотворение «Дрозды» заканчивается словами «я тоже с них пример беру».

Не только с дроздов брал пример художник слова Пастернак. Он владел мировой культурой.

Он брал пример с Гете, когда переводил «Фауста»; он брал пример с Шекспира, перевоплощая его на русский язык; он брал пример у Николоза Бараташвили. Он брал пример и набирался смелости (это его слова) у высоких вершин человеческого духа, потому что сам был гений!

Михаил Левин

НЕСКОЛЬКО ВСТРЕЧ

I

Ранней осенью 1942 года, приехав из Ташкента в Москву, я привез Борису Леонидовичу письма Евгении Владимировны и Жени вместе с небольшой посылкой сушеных ломтей дыни и еще каких-то сухофруктов... По телефону он назначил мне встречу у станции метро, сказав, что живет сейчас не у себя, а в доме друзей1. По-видимому, он знал, что я плохо вижу, так как дотошно выспрашивал мои особые приметы, несмотря на заверения, что я сам его узнаю. И действительно узнал, хотя уже наступал пасмурный моросящий вечер, а Пастернак был в низко надвинутой кепке и с поднятым воротником макинтоша. Шли недолго и молча. В комнате, куда он меня провел, горела настольная лампа и было полутемно. По контрасту с уличным молчанием меня сперва ошеломил обвал слов. Тут были и радость получения писем, и восторг предвкушения подробного рассказа, и еще что-то праздничное, но уже совсем непонятное.

Борису Леонидовичу хотелось детально узнать о жизни, быте и занятиях Евгении Владимировны и Жени, и он часто перебивал меня вопросами. Когда я упомянул, что

по просьбе Е. В. позировал ей для портрета, Пастернак спросил, что она мне рассказывала во время сеансов. Ведь художники не любят, когда модель скучает (если только это не глупая красавица), им нужно живое лицо с игрою ума и чувств. Вот они и заводят долгий монолог, а так как другая часть мозга занята своим делом, то в таком монологе бывает много подсознательного. И это самое интересное.

Бориса Леонидовича волновала настоящесть склонности сына к занятиям физикой (Женя учился на первом курсе физфака, а я был двумя курсами старше), и он опасался, что Женино увлечение увянет в бронетанковой академии, куда тот был зачислен после мобилизации. Но тут Пастернак улыбнулся и сказал, что ведь многие знаменитые французские математики прошлого века были по образованию военными инженерами. И явно обрадовался, услышав от меня, что и Майкельсон2 обучался в военно-морском заведении.

Затем пошли расспросы о писательской колонии в Ташкенте. К его удивлению, я мало кого знал лично. И он даже по-детски как-то обиделся, узнав, что я не был знаком с А. А. Ахматовой и могу рассказать о ней только с чужих слов. Зато о В. В. Иванове и его семье выспросил все... Однажды Всеволод Вячеславович проигрывал на своих сыновьях и на мне сочетания: «Сокровища Александра Македонского» и «Средняя Азия». Мы должны были безо всякой его подсказки придумывать разные сюжеты и варианты. Услышав про эту игру, Борис Леонидович сказал, что речь может идти, конечно, не о золоте и драгоценностях. Их бы давно разворовали, и потом, это просто не интересно. Сокровища — походная библиотека Александра, составленная, может быть, Аристотелем. И в ней не дошедшие до нас трагедии Эсхила и Софокла, стихи, известные сейчас лишь по фрагментам, утерянные сочинения Платона и самого Аристотеля!

В Ташкенте я несколько раз слышал в авторском исполнении военную поэму К. И. Чуковского, которая тогда еще не имела названия, «Одолеем Бармалея». Сообщение Звериного Информбюро:

Наши потери — Четыре тетери И эскадрон Ворон —

привело Бориса Леонидовича в восторг. Тетери — это генералы? Я ответил, что именно так спрашивали во всех аудиториях, где читал Корней Иванович. От малолеток до академиков на Пушкинской, 84. «Это не удивительно, — сказал Пастернак, — ибо тут абсолютно басенная точность, как у дедушки Крылова. И строки эти, конечно, навсегда останутся в нашей литературе».

Рассказывал я и о другом чтении — пьесы А. Н. Толстого про Ивана Грозного^ сочиненной в соответствии с тогдашним направлением умов. Она была шумно одобрена и писателями и историками.

«Неужели никто не остался верен Алексею Константиновичу Толстому?» — спросил Пастернак. «Один только С. Б. Веселов-ский». Борис Леонидович раньше не слыхал об этом замечательном нашем историке, а мне посчастливилось быть его собеседником, точнее, слушателем в Ташкенте. Пастернак потребовал пересказа. Достоверность и выпуклость подробностей Опричнины и Смуты — даже в моем переложении — мучительно приворожили Бориса Леонидовича. Он не давал мне комкать рассказ, переспрашивал имена и страшные цифры. И сейчас, каждый раз раскрывая книги С. Б. Веселовского3, напечатанные уже после смерти Пастернака, я снова вижу перед собой возбужденное лицо Бориса Леонидовича, переживающего дела почти четырехсотлетней давности как события, случившиеся вчера.

Еще в середине рассказов и расспросов время стало приближаться к комендантскому часу. Борис Леонидович попросил остаться, предложив переночевать на диване. Поужинали холодными картофелинами и несколькими ломтиками хлеба. К

чаю из термоса Пастернак нарезал ровными квадратиками пластину сушеной дыни, и я подивился прозекторской верности его ножа.

Утром Борис Леонидович спохватился и стал расспрашивать о моих обстоятельствах и планах. При упоминании о работе на рамановском спектрографе в Карповском институте он очень заинтересовался сутью дела, а потом сказал, что в молодости знавал Л. Я. Карпова4. Но не стал распространяться, и мне показалось, что эти слова предназначались не мне, а были меткой каких-то воспоминаний.

В передней Борис Леонидович стал подавать мне пальто. Бормоча: не надо! не надо! — я пытался его отнять, потом не попадал в рукава и ушел в полном смятении, толком не попрощавшись.

II

За год или за два до смерти Сталина я приехал в зимние каникулы на несколько дней из Тюмени в Москву. Мой паспорт внешне выглядел вполне пристойно, но нарываться не стоило, и я ночевал каждый раз на новом месте. Поэтому однажды Миша и Кома Ивановы отвезли меня в Переделкино и поместили на дачу, где в одиночестве маялся И. Л. Андроников. Из-за поврежденной ноги он не мог выходить наружу и очень страдал без человеческого общества. Разговор затянулся до поздней ночи. Говорил, конечно, в основном он, и больше всего о Лермонтове, а я наслаждался его рассказами.

Утром на улице я встретил Бориса Леонидовича, удивившегося моему появлению в Переделкине. Объясняясь, я коснулся рассказа Андроникова, и Борис Леонидович сказал, что Лермонтов — единственный писатель, которого он прочитал всего подряд еще мальчиком в иллюстрированном издании, вышедшем под наблюдением Л. О. Пастернака5. И Лермонтов явился весь сразу, как море при повороте горной дороги.

Борис Леонидович справился о моей матери, наглухо исчезнувшей после ареста в 1948 году. Эта сторона тогдашней жизни мучила его, как мне кажется, всегда. Еще раньше, когда я сам после освобождения первый раз встретился с Борисом Леонидовичем, он с множеством извинений выспрашивал подробности следствия, тюрем и шараги. Спрашивал он и о тюремных стихах. Он считал их средством сохранения памяти и сравнивал с поэзией бесписьменных народов. И добавил, что это относится именно к стихам нашего времени, потому что в прошлом веке одному лишь Шевченко запретили писать, а, скажем, Кюхельбекер исписывал в Свеаборгской крепости одну сотню листов за другой.

Отвечая на вопросы Пастернака о жизни в Тюмени, я поведал главную тайну, которой тщеславились горожане. В начале войны в Тюмень вывезли саркофаг Ленина и вместе с ним отца и сына Збарских. Оба жили под видом обычных эвакуированных, и для пущей маскировки начальство распространяло слухи, что у них неприятности из-за подпольной частной деятельности.

Сравнение Лермонтова с морем вызвало у меня воспоминание о летнем переходе из Домбая в Сухуми, когда за Клухорским перевалом я впервые увидел такое большое море. В это лето я познакомился в Домбае с В. Л. Карповым6.

Тут неожиданно для меня произошел кумулятивный эффект. Вдруг Борис Леонидович почти закричал, что он и я во времени, по окружению и обстоятельствам принадлежим к абсолютно разным пластам. В жизни у нас было всего пять-шесть встреч. И, однако, я столько раз ступал в оставленный им след.

Семилетним мальчиком поселился с мамой в доме, где когда-то жил он7, и кусок улицы от Пречистенской пожарной части до выхода на храм Христа Спасителя стал для меня главным местом Москвы. На Староконюшенном переулке я разглядываю найденные за школьными шкафами большие глянцевые картонки, оставшиеся от Медведниковской гимназии. На них античные сюжеты, императоры, и именно такие

учебные пособия немецкой работы запомнились Пастернаку. Через несколько лет с хоров

Колонного зала, рассматривая в полевой бинокль президиум Съезда писателей, я узнаю именно его, по карикатуре, вывешенной в фойе. Еще позже, приехав на полдня в дорогое его памяти Узкое, случайно знакомлюсь с С. Шмидтом8, который потом сводит меня в Ташкенте с Женей. И там из институтской хроники извлекаю сведения о Л. Я. Карпове. В горах знакомлюсь с В. Л. Карповым, чьим домашним учителем был когда-то Пастернак. А теперь еще тюменская легенда о Збарских, роль которых в жизни Бориса Леонидовича была мне в то время, конечно, неизвестна. Такой букет пересечений не прощали в старину даже дамам-писательницам.

Сейчас я могу добавить, что моя однокурсница вышла замуж за Никиту Живаго, сына московского профессора. И еще — что и в моей судьбе некоторую роль сыграл Поликарпов. Но тут я опередил Пастернака на четыре года.

III

В январские каникулы 1955 года я навестил моих друзей и однодельцев Юлия Дунского и Валерия Фрида, незадолго до этого вышедших на вечное поселение в Инте. Возвращаясь в Тюмень через Москву, я вез, среди прочего, пунктирную запись стихотворного обзора журнальных публикаций, прочитанных в КВЧ спецлагеря, где судьба свела их на одном ОЛПе. Обзор был сложен еще в зоне. Именно сложен, первую запись с многочисленными пропусками слов и строк сделал я не без сопротивления и опасений авторов. В обзоре были две строфы, относящиеся к Пастернаку. Они шли непосредственно за симоновским куском:

...И Русским занимается вопросом9, Как подобает всем великороссам. Совсем другое дело Пастернак... Тот поступил, как истинный философ: Не ставит, чтобы не попасть впросак, Ни русских, ни еврейских он вопросов, Уйдя в Шекспира от житейских гроз. To be or not to be? — вот в чем вопрос! Я не могу похвастаться знакомством Ни с автором — самим Пастернаком, Ни с творчеством его. С его потомством Я был, по воле случая, знаком, И, признаюсь, мне нравился Евгений Сильней его других произведений.

Перед отъездом из Москвы я успел проговорить эти строфы Жене, а в следующий приезд мне передали желание Бориса Леонидовича повидаться. Первым делом он порадовался освобождению моей матери и попросил рассказать подробности почти сказочного вызволения ее из Казанской тюремной больницы.

Мою мать10 арестовали по «аллилуевскому делу», делу вдовы сталинского шурина. Сперва взяли всех друзей вдовы, а по второму заходу загребли знакомых этих друзей, в том числе и мою мать.

Борис Леонидович умел и любил слушать, и в разные времена мне приходилось подолгу занимать его внимание. Жадно выслушав всю историю ареста, чудовищных обвинений, методов следствия, Пастернак потом, уже немного остыв, выделил, несколько раз переспрашивая, всю цепочку «счастливых совпадений», разделенных в моем не слишком упорядоченном рассказе большими промежутками. И мне показалось, что он нашел в этой цепочке подтверждение какой-то важной для него общей позиции.

Интинские строфы развеселили Бориса Леонидовича. Приятно услышать похвалу людей, декларирующих незнание его стихов. Попросил прочесть еще что-нибудь, но большинство персоналий остались ему непонятными: он не читал ряд произведений, отделанных в обзоре, а иногда и не слыхал про их авторов (Сакс, Суров, Мальц, Рыклин...). Резонанс вызвала строфа:

Чуковский мемуары пишет снова.

Расскажет многопомнящий старик

Про файвоклок на кухне у Толстого
И преферанс с мужьями Лили Брик.
— Ну как, брат Пушкин? Что, брат Маяковский? —
Со всеми был приятель брат Чуковский... —

выделявшаяся своей сравнительной безобидностью. Пастернак сказал, что он сам всегда изумлялся неисчерпаемому кругу знакомств Корнея Ивановича, но кто посмеет упрекнуть в непочтительности зеков, окунувшихся после трелевки леса в тогдашнюю изящную словесность. И, похвалив версификаторский профессионализм авторов, добавил, что злободневность и локальные привязки — опасная ловушка. Через несколько лет они уже нуждаются в комментариях. Так получилось у него самого с «лопатками»11. Гениальный конец «Возмездия» портит стих «Qwantum satis Бранда воли», теперь мало кому понятный. Зато, может быть, «Брантов бот» до сих пор на плаву как раз из-за пушкинского стихотворения...

Среди прочих интинских сюжетов я рассказал Борису Леонидовичу историю Ярослава Смелякова, находившегося в то время еще в зоне. Там он писал поэму о своей фезеушной юности (позже она получила название «Строгая любовь»), а готовые главы переправлял на волю. У меня были при себе списки этих главок, и Пастернаку захотелось послушать. Потом он попросил прочесть, что я помню из молодого Смелякова, и поразился, насколько расширился его духовный горизонт. Даже такая малость: в «Любке» почти с афишной тумбы — «Опера "Русалка", пьеса "Ревизор"...», а сейчас: «Не знала улыбки твоей, Джиоконда, и розы твоей не видала, Кармен!» И так естественно было бы обыграть, что героиня поэмы — тезка Джиоконды, но Смеляков, к счастью, предоставил додуматься до этого читателю.

Главки поэмы были привезены не только для домашнего пользования. Интинские друзья Смелякова считали, что поэма может изменить его положение, и поэтому пытались по разным каналам переправить ее в столицу. Вот и мне надлежало передать перепечатанный текст* А. Я. Каплеру, который к тому времени уже жил в Москве. Мой пересказ ныне хорошо известной истории его арестов завершился неожиданным вопросом: как мог такой, по моим словам, умный, добрый и талантливый человек сочинить запомнившуюся Пастернаку отвратительную сцену, где Ленин, умиляясь распашонками будущего младенца, спокойно одобряет известие из деревни о том, что мужики поубивали всех помещиков (фильм Ромма «Ленин в Октябре» по сценарию Каплера). И все это еще до Октября и всеобщего ожесточения гражданской войны. Прямо какой-то, как писал Пушкин, сентиментальный тигр...

Интерес Пастернака к Смелякову оказался устойчивым. После XX съезда, когда уже в Москве меня познакомили с Ярославом Васильевичем, мои ответы на вопросы Бориса Леонидовича стали более содержательными. Однажды он спросил об отношении Смелякова к самодеятельной лагерной поэзии. Этого я не знал, но сказал, что он суров к дилетантам и вот, например, изругал мое подражание асеевской «Песне о Гарсии Лорке». Оно на-

* Еще один экземпляр предназначался жене Ярослава Васильевича — Дусе. Пастернак с волнением слушал обращенное к ней стихотворение и о строках: «Как младший лейтенант на спецзаданье, Я бросил все и прилетел в Москву» — сказал, что вот Чацкому не пришло в голову сравнить свой стремительный 700-верстный полет с фельдъегерским (Прим. М. Левина).

чиналось словами: «Почему ж ты, Россия, в небо смотрела, Когда Павла Васильева увели для расстрела...» — и было полно упреков нынешним поэтам, которые «до сих пор дальнозорки / И молчат о своих, вспоминая о Лорке». Смелякова оскорбила риторическая бесплотность Павла Васильева и Бориса Корнилова11 в моем опусе. Пастернак был того же мнения. Для меня тогда были совершенно неожиданными его

какое-то совсем личное отношение к Васильеву и слова, что в редком у нас жанре комических поэм с организованной строфикой «Принц Фома» может быть поставлен в один ряд с «Домиком в Коломне» и «Тамбовской казначейшей».

Потом последовал вопрос: почему я плохо отношусь к Асееву. В моем ответе фигурировало среди прочего газетное стихотворение с примерно таким текстом: «Судят Райка и сообщников Райка...12 преступная шайка». Этого не могло быть, резко возразил Пастернак. Для поэтов есть запрет, идущий от Пушкина: «Риэго был пред Фердинандом грешен»... Должно быть, у меня просто поскользнулся взгляд на подписях к соседним колонкам газеты.

До последнего времени я надеялся, что Борис Леонидович был прав, понимая, однако, ничтожность вероятности найти автора: стихи такого сорта не включают в сборники и собрания сочинений. Но недавно мне попал в руки томик стихов и поэм Н. Асеева, где напечатано «Нерушим союз демократий». Там есть и Райк, и многое другое...

IV

Весною 1956 года Леня Пастернак решил поступать на физфак, и Борис Леонидович попросил меня приехать в Переделкино. Едва войдя в дом, я был огорошен вопросом: можно ли в наше время заниматься физикой, оставаясь порядочным человеком? Я ответил, что физика не клином сошлась на прикладных ядерных проблемах и что не только к занятиям этими проблемами готовят на физическом факультете. Есть, скажем, оптика и многое другое. На это Борис Леонидович сказал, что оптику небось просто проходят, ведь там все давным-давно сделано и открыто, а сам предмет кажется ему несколько скучноватым. Заступаясь за любимую оптику, я упомянул эффект Черенкова13, и разговор вышел на конусы в оптике.

Пастернаку очень понравились и объяснение эффекта Черенкова (прекрасно, что для излучения надо двигаться по прямой быстрее, чем скорость света, а вилять можно по-всякому), и коническая рефракция Гамильтона. Он завистливо спросил, видел ли я сам это чудо превращения тонкого луча в коническую воронку. Тут я заметил, что одно из крупнейших достижений старой геометрической оптики — Декартова теория радуги — тоже связано с конусом повышенной концентрации лучей, дважды испытавших преломление на поверхности дождевых капель.

Слова о радуге необычайно взволновали Пастернака. Могу ли я объяснить ему, почему возникает радуга? То, что она цветная, — понятно, это из-за ньютоновой дисперсии. Но почему светится только узкая дуга, опирающаяся на землю? И главное, почему радуга всегда одна и та же? Последний вопрос я сперва не понял, и Борис Леонидович пояснил, что и большая, высокая радуга, и маленькая, низкая — куски одной и той же окружности*. Я сказал, что сейчас мы с Леней получим все эти результаты. Только честно, потребовал Пастернак, а не «ученые доказали», как пишут в нынешних книгах.

Так началось наше первое занятие физикой. Под моим присмотром Леня вывел формулу Декарта. Я вспомнил, что сам Декарт рассчитал ход нескольких тысяч лучей. «Неужели у него хватило терпения, — сказал Пастернак, — ведь он же был француз!»

В те годы элементы высшей математики еще не проходились в школе, но многие мальчики, и Леня в их числе, постигли их самоучкой. По словам Бориса Леонидовича, он в молодые годы вполне сносно дифференцировал, хотя, конечно, не столь лихо, как Брюсов. Техническую сторону дела Пастернак, естественно, позабыл, но у Лени оказался листок фотобумаги с основными формулами. Держа перед собой этот листок, Борис Леонидович внимательно следил за нашими выкладками, закончившимися конусом лучей радуги полураствором в 42°. Глядя на выведенные формулы, Леня сам

сообразил, что в южных широтах радуга бывает реже и что для капель жидкости с показателем преломления большим двух ее вообще не может быть. Пастернак был очень доволен и, кажется, поверил, что сын годится в физики.

По мнению Бориса Леонидовича, постоянство угла раствора радуги имело для древних колоссальное значение. Договор

* Мне кажется, что никтъ из поэтов и прозаиков, описывавших радугу, не заметил этого (Прим. М. Левина).

Бога с людьми был скреплен Его печатью на небесной тверди как раз напротив Солнца. И кусок этой неизменной печати высвечивается как напоминание о договоре или же как его подтверждение.

Позже, за ужином, опять зашла речь о роли различных неизменяемых величин и объектов в жизни и понятиях людей и народов. Пастернака очень заинтересовала информация о корабельных волнах Кельвина: при любой скорости корабля волновое возмущение за кормой локализовано в узком секторе с углом при вершине около 39°. Почему об этом нет у древних авторов? Ни в одной из великих «морских поэм»! Леня пошутил, что все мореплаватели смотрели вперед, не замечая того, что делается за кормой. «А Одиссей, — ответил Пастернак. — Когда уплывали от сирен. Впрочем, ему тогда было не до созерцания следа корабля. И потом, надо ведь наблюдать при разных скоростях. Но у царя Соломона есть "след корабля в море"... Хотя это не то. Может быть, что-то упоминается у финикийцев, надо спросить у Комы. А в чем особенность этого угла, откуда он?»

Я сказал, что косинус угла равен ^/д9 а синус половинного угла — */з- «Ну вот! — торжествующе заявил Пастернак. — Небось все это есть в каких-нибудь текстах, а переводчики и комментаторы придали цифрам кабалистический смысл или даже заменили их другими, для размера. Как это было при переводе киплингов-ских "Boots"*.

Последующие занятия с Леней носили более упорядоченный характер. Иногда Борис Леонидович подсаживался к нам, но, как мне кажется, его больше интересовало Ленино отношение к физике, чем предмет разговора. Уже под конец, при прогоне программных билетов, я объяснял, что законы Ньютона — это физические законы, а не аксиомы философского толка, имеющие универсальный смысл. В иных сферах действие не равно противодействию. Леня стал развивать эту мысль: поэтическое произведение приходит в движение под действием лишь внутренних сил. Пастернак уточнил, что так бывает только в лирике, а вещи эпического склада, от маленьких баллад до грандиозных поэм, нуждаются во внешних силах.

* В оригинале сумма чисел равна полному числу миль каждого дневного перехода. В переводе (русское название стихотворения — «Пыль») арифметика нарушена (Прим. М. Левина).

Я позволю себе добавить несколько слов о познаниях Бориса Леонидовича в математике и физике. Высшую математику в юности он изучил довольно обстоятельно и суть «исчисления бесконечно малых» помнил хорошо. Штудировал он и теорию функций комплексной переменной, так что с полным пониманием приводил сравнение Коши (определение функции в области по ее значениям на границе) с Кювье (восстановление всего скелета по нескольким косточкам). С физикой было хуже, но интерес к ней был, пожалуй, больше. Я привез Лене «Оптику» Эдсера (дореволюционное издание с белыми лучами света на черном фоне), и ею сразу завладел Борис Леонидович, унеся к себе наверх. В те годы физика была в моде, но подавляющее большинство гуманитариев интересовало два вопроса: бомба и парадокс близнецов в теории относительности. Из моих знакомых только Пастернак и Вс. Вяч. Иванов хотели узнать, как устроен мир и что случилось с его законами со времен их

детства. Однажды я привез Борису Леонидовичу знаменитую книгу Г. Вейля «Raum, Zeit, Matherie»* (тогда еще не было русского перевода), и, судя по вопросам, она не просто пролежала на его столе14.

Как-то он попросил рассказать о работах П. Л. Капицы и был чрезвычайно удивлен, узнав о суммировании ряда обратных степеней корней бесселевых функций. Почему он занялся этим вопросом, не имеющим никакого отношения ко всей его деятельности? Или просто «ветру и орлу и сердцу девы нет закона»? Много лет спустя я рассказал об этом П. Л. Капице, и тот сказал:

— Жаль, что он не спросил меня... V

В марте 1959 года «Огонек» напечатал подборку новых стихотворений Ильи Сельвинского, одно из которых («Отцы, не раздражайте ваших чад!») оканчивалось обвинением Пастернака: «...теперь для лавров Герострата Вы Родину поставили под свист!» Надо сказать, что к этому времени нобелевская истерика полностью сошла на нет, и это стихотворение было не голосом из хора, а сольным выступлением некогда знаменитого поэта, тридцать лет тому назад находившегося вместе с Пастернаком и Тихоновым в походной сумке военспеца Эдуарда Багрицкого.

* «Пространство, время, материя» (нем.).

Я сочинил что-то вроде эпиграммы:

...всех учителей моих — От Пушкина до Пастернака!

Из старых стихов И. Сельвинского

Человечье упустил я счастье — Не забил ни одного гвоздя. Из новых стихов И Сельвинского

Все позади —

и слава и опала, Остались зависть и тупая злость... Когда толпа Учителя распяла, Пришли и вы

забить ваш первый гвоздь.

Здесь первый эпиграф — ныряющий кусок «России», который сейчас, кажется, окончательно вынырнул. Второй — из нейтрального стихотворения «Карусель», напечатанного в той же огоньковской подборке, — служил одновременно отсылом к изюминке цикла.

Реакция Бориса Леонидовича оказалась для меня абсолютно непредсказуемой. Евангельскую ноту предательства он объявил совершенно безосновательной. Сельвинский никогда не считал себя, да и никем не считался, учеником Пастернака. В этом четверостишии, написанном, кстати, ради красного словца, ему нужен был поэт двадцатого века достаточно крупного калибра, а главное, подходящего размера. «До Гумилева» или «до Мандельштама» были бы куда выигрышнее в смысле набора рифм, но чего говорить о невозможном в то время. А, скажем, Луговской не годился, ибо раньше ходил под началом у Сельвинского.

Помолчав, Пастернак добавил, что и Пушкину Сельвинский не ученик. Пушкин у него, кажется, только раз упоминается. В стихотворении, где тепловатый пушкинский стих соседствует с пресной лужей и вяловатой сливой, на фоне которых кипящим диким источником (ну прямо лейтенантский гейзер в песенке Вертинского!) бурДит поэзия Сельвинского. Ни Писарев, ни футуристы с их «кораблем современности» не посмели охаивать стих Пушкина. Так что тут у Сельвинского только один предшественник — пресловутый Борис Федоров, назвавший, кстати, и своего тезку «Бориса Годунова» убогой обновой15. Сельвинский — сам себя сделавший поэт, и, может быть, только Маяковский как-то повлиял на него.

Не знаю, жалел ли потом Сельвинский об огоньковской публикации. Во всяком случае, во время похорон Пастернака он, по свидетельству Т. Глушковой, не прервал

занятий своего учебного литинститутского семинара, проходивших на переделкинской даче.

Немного погодя Борис Леонидович спросил, не сочинил ли я еще чего-нибудь на эту тему. Нехотя я прочитал ему «Гамлета» с шиллеровским эпиграфом:

Для мальчиков не умирают Позы...

Шум затих. Газет умолкла свора. Мир вокруг все глуше и тесней... Чаша отреченья и позора, Как кошмар в сыпнотифозном сне.

А давно ль огромной анакондой Извивалась подлости река... Утром — Гильденстерны из Литфонда, В полдень — Розенкранцы из ЦК.

В предзакатном свете снег алеет. Веря в ясность завтрашнего дня, Сочиняют фразы Галилея Мальчики, влюбленные в меня.

Борис Леонидович был огорчен. Мне самому очень не нравилось это стихотворение, но оно передавало мое тогдашнее убеждение, что вой и визг нобелевской травли не были артподготовкой к выдворению, а имели единственную цель: добиться отречения. Я даже употребил полублатное: «Вас взяли на бас», и Пастернаку понравилось это выражение. Потом он спросил — встречал ли я таких мальчиков, может, мальчиков на самом деле нет? Я ответил, что мальчики есть, правда, не такие молодые, скорее пожилые мальчики моих лет. Но есть. При жизни Пастернака я никому не читал это стихотворение.

Напоследок Борис Леонидович спросил, читал ли я «Дон Карлоса» в подлиннике. Я до сих пор жалею, что не решился тогда узнать подоплеку этого вопроса.

Надежда Павлович

ИЗ КНИГИ «НЕВОД ПАМЯТИ»

А для меня он был как юность, Как чудотворный взмах крыла, Как будто мира многострунность В нем радугой живой текла.

В 1918-1919 я познакомилась с Борисом Пастернаком. Мы оба вошли в так называемый Брюсовский президиум Всероссийского союза поэтов. Настоящей дружбы у нас не было, но встречались мы часто и на вечерах поэзии, и на заседаниях. Он провожал меня домой, а иногда мы просто гуляли по Москве. Борис был очень красив, по меткому слову Виктора Шкловского, был похож сразу и на араба, и на его коня1, такие же завихрения, как в его стихах, были и не только в его высказываниях, но даже в строе самой речи. Он действительно думал так — кругами, зигзагами, повторами, а не прямым логическим развитием мысли, но именно это и придавало особую, почти иррациональную прелесть, общению с ним. Диапазон его тогдашних интересов был очень велик — и музыка, и поэзия — классическая и современная, русская и зарубежная, — и острый интерес к окружающему, к революции, к реакции интеллигенции, в основном «прилитера-турной» и «прихудожественной». Мне он тогда открыл Райнера Мария Рильке, которого очень любил.

С Маяковским у него отношения были сложные, и со мной он этим не делился, а с Асеевым — приятельские.

Однажды мы с Борисом гуляли по набережной у храма Христа Спасителя. Это было близко от его квартиры. Был очень хороший солнечный день. Помню солнце, но не помню времени года, вероятно, ранняя весна. И он предложил — пойдемте к Асееву. Может быть, это было уже начало 20-го года2. Николай Николаевич жил где-то высоко, уже с женой, и кажется, и с сестрой жены, с сестрами Синяковыми, и мне было любопытно посмотреть на бездомного «Асеича», обретшего дом и семью. Жена была молодая, с кольцами на пальцах, не помню лица, помню украинское в облике, но не смуглота, а что-то золотое и бирюзовое. И Борис был весел и внимателен. Сам он в то время то ли ухаживал, то ли уже женился на художнице Жене, Женечке, как говорили о ней друзья и товарищи Бориса. Домашние отношения с четой Пастернаков

у меня не наладились, да и очень скоро после этого я переехала в Петроград. Дружелюбные отношения у нас на многие годы сохранились, и до конца мы звали друг друга Боря и Надя.

Встречались редко, но я знала, что в беде Боря всегда поможет и что никогда никакого лукавства и двоедушия с его стороны не будет.

Виделись мы раза два в год, обычно в Гослитиздате в Черкасском переулке, иногда встречались на лестнице и всегда обменивались теплыми вопросами. Так Борис обрадовал меня добрым отзывом о моей поэме «Воспоминания об Александре Блоке», напечатанной в 46-м году в «Новом мире»3, а другой раз, сияя широкой умиленной улыбкой, рассказал, что у него недавно родился сын, уже от второй жены. Когда мне понадобилось хлопотать об одном близком мне заключенном, я пришла к Пастернаку и он дал мне записку в Вересаевку4, но она не понадобилась и осталась у меня. Сделал он это легко, душевно и ласково.

Пастернак читал в доме литераторов свой перевод «Фауста»5. Заседание вел Асеев. И оба уже поседели. Я смотрела на них, чувствовала реально и свой возраст. Но глаза Бориса, манера держаться и говорить, самые интонации были молодые. Принимали его с любовью, с редкой товарищеской теплотой, и такая же любовь и старое товарищество сквозили в каждом слове Асеева. Борис читал прекрасно и воодушевленно и дошел до сцены в тюрьме — и вдруг заплакал.

И смущенно, и сквозь слезы сказал: «Не могу читать без слез про Маргариту в тюрьме. Я нарочно пробовал читать домашним. Как дойду до этого места — плачу. Сам себе читаю — плачу. Думал, здесь смогу прочесть — не могу».

Как мы все его любили в этот момент за какую-то почти первозданную чистоту.

Прошли годы. Он стал работать над «Живаго». У нас были общие знакомые, у которых была на прочтении часть рукописи (две папки). Я тоже захотела прочесть, они спросили Бориса, тот охотно согласился и потом сказал мне, что ему хотелось, чтобы я прочла, потому что тут есть кое-что даже из наших давних бесед — начала революции. Рукопись эта охватывала часть романа до приезда действующих лиц на Урал. Да еще была там тетрадочка стихов, входящих в роман, частью на христианские темы.

И тут возобновилось мое общение с Пастернаком, но вылилось оно в первое наше столкновение.

Сначала мы раза два-три поговорили по телефону. У меня возник ряд возражений и относительно прозы, и относительно стихов.

Сначала мы несколько раз говорили по телефону об этом, и он мне звонил, и я. Он спрашивает меня, а что я думаю о стихах в «Докторе Живаго», обратила ли я внимание на «Рождество», где он дает совершенно новые детали, например, сугробы6.

Я говорю:

— Стихи прекрасные, но сугробы в Рождественскую ночь в литературе уже были.

— кого?

— У Димитрия Ростовского7.

— Это у которого каноны?

— Не каноны, а «Четьи-Минеи», жития святых и стихи, и пьесы-мистерии.

— Это когда?

— До Ломоносова. Димитрий умер в 1711 году, был интереснейшим поэтом, ученым, передовым педагогом. Первый ввел в русское стихосложение ямбы, так был одержим ритмами, что и проза его в «житиях» в патетические моменты сама переливается в стихи, первый в русской науке поднял вопросы о Тьмутаракани и признании варягов, первый благожелательно отметил По-сошкова8 и сказал о необходимости напечатать его труд по русской экономике, который опубликовали только в XIX столетии. И создал Димитрий первую школу не только для дворянских

детей и детей духовенства, но и для нищих мальчиков крестьянских, школу с бесплатным обучением и стипендиями, с программой, в основание которой легли программы польских коллегиумов, но на русский лад, с примерами грамматическими не только из русской истории, но и тогдашней современности, и с провозглашением педагогического принципа, что душа ученика «tabula rasa»*, хотя Димитрий и не знал Локка9.

Все это я быстро выложила Борису по телефону. Борис: — Но вот в моем стихотворении о Рождестве — пастухи в кожухах.

Я: — И у Димитрия тоже. И там есть даже шинок в Вифлееме.

Обескураженный поэт защищается: — А моя Магдалина.

Я (торжествующе): Так и у него есть Магдалина. И я даже перевела ее на современный русский язык. И Магдалина Димитрия тоже прекрасна.

Борис: — Но вы заметили тот принцип снижения, приземления, разговорности? У меня он и в других стихах, и в этом цикле —

сильно. _

* Чистая доска (лат.).

Я: — Да, заметила. И считаю, что сам принцип правильный, органичный для нашего времени, когда надо особенно просто, без внешней патетики говорить о высоком. Стихи к «Живаго» — почти все — мне очень нравятся, особенно «Август»

Этот наш разговор с Борисом кончился мирно, но был как-то не до конца.

Потом мы обменялись письмами. Я говорила или писала Борису, а верней, это было и устно кратко, и письменно — подробно. (Копии своего письма у меня нет. Сохранилось ли оно в архиве Пастернака не знаю.)

Мои возражения относительно романа сводились вот к чему. Я представляю себе возможность гениального революционного романа, одушевленного высокой идеей преобразования человечества, но я представляю себе возможность создания и великолепного контрреволюционного романа о русской Ванде, если опять-таки будет поднята большая тема противопоставления старой нашей культуры тому вихрю, который поднял и перемешал вековые культурные пласты. Мы знаем, что и Пушкин страшился бунта, и Горький первое время после Октябрьской революции ужасался возможности гибели культуры. Но в обоих случаях большая, мировая идея должна быть движущей силой и осью героического романа.

Однако можно представить себе великое произведение, где та же революция была бы показана с точки зрения обывателя, но тогда нужно, чтобы все время ощущался суд автора. Никто Гоголя не смешает с Чичиковым, а в рукописи Пастернака я этого верховного авторского суда не чувствовала и Бориса часто можно было как бы отождествлять с доктором Живаго.

Были у меня возражения и композиционного порядка: в романе сменялись картины русской жизни 1918 года, их было очень много, полотно широчайшее, и отъезд героев романа на Урал давал простор и обоснование этому показу. Но я опять-таки вспомнила «Мертвые души». Если их композицию представить себе архитектурно, как большое здание с колоннами, то сцены у Плюшкина, у Коробочки будут именно как бы колоннами. Если их вынуть, здание не рухнет, но фасад будет нарушен, а эпизоды путешествия Живаго можно и тасовать и даже вынимать, в них нет устойчивости и необходимой композиционной закономерности при всей красоте и выразительности, когда они взяты сами по себе. Я говорила Борису об отдельных прекрасных образах, о русском пейзаже, дивно им запечатленном, но упрекала за отношение к интеллигенции, которая в романе идет работать к большевикам в основном из-за нужды, из-за пайка, а не от сердца.

И написала ему, что мой старик отец был бы внутренне оскорблен такой постановкой вопроса. Отец был «его превосходительство», действительный статский советник, многолетний судья, член окружного суда, человек суровой честности и старых традиций, он был в 1914 году эвакуирован из Риги в Череповец, и когда произошла Октябрьская революция и там образовался исполком, отец пошел туда и стал первым его юрисконсультом. Сказались традиции шестидесятников и семидесятников, на которых он был воспитан, да и будучи уездным членом суда в Ново-ржеве; он помогал революционерам, и они, бежав из тюрьмы, прятались в нашей квартире, куда местная полиция не смела соваться. Он пошел к большевикам не из-за пайка, с честью работал, с честью в глубокой старости вышел на пенсию и шкурный вопрос был бы для него оскорбительным.

Кроме того, я напомнила Борису, что наши с ним разговоры тогда ничем не напоминали высказываний его персонажей.

Борис мне ответил:

«24февр. 1954

Дорогая Надя!

Дернула меня нелегкая давать Вам эту рукопись! Горе не в том, что она Вам не понравилась, а в том, что в каждом моем шаге по отношению к Вам Вы будете теперь видеть следствия Вашего правдиво выраженного мнения и в каждом слове читать затаенную заднюю мысль. Например, на письмо Ваше я в другое время за страшным недосугом бы не ответил, а теперь я не располагаю этой свободой, я в ловушке, я должен Вам поскорее ответить, чтобы успокоить Вас. Естественная и легко представимая занятость не дает мне почти ни с кем встречаться, так было и долго будет наверное и с Вами, но без ознакомления с Живаго это сходило бы с рук безболезненно, а теперь наведет Вас на недолжные и ошибочные подозрения. Вы послали мне интересное и очень хорошо написанное письмо, но я не могу Вам этого сказать, потому что в моих словах Вам почудится скрытая язвительность в отместку за безоговорочность и строгость Вашего разбора. И, как снежный ком, который растет, Чеховская история (я не помню, как называется рассказ)10 с нервным пассажиром, принимавшим на ночь порошки от бессонницы, и совестливым и кающимся кондуктором.

Но как мне уверить Вас, Надя, что никакой, никакой решительно боли Вы мне не доставили, и не потому что я такой уж поклонник справедливости, что ради нее готов пожертвовать собой; и не потому, что не придаю значения Вашему отзыву; и не потому, что туп или самонадеян. Нет. Но правда так же далека и скрыта от меня, как и звезда и судьба моя, благодеяниями которой я жив и уцелел. Та и другая вне моей досягаемости. Я не знаю ничего о себе, и знаю только одно: работу. О последней у меня никакого мнения. Я так же чистосердечно согласен с Вами, как без всякой скромности соглашусь через десять минут с тем, кто скажет, что Живаго гениален. Я утром приму к сведению оба мнения и к вечеру оба забуду.

Когда я кончу эту вещь, я буду, может быть, немного свободнее. Тогда мы поговорим обо всем остальном, чего я второпях не могу и касаться. Будьте здоровы, всего лучшего. Не затеряйте рукопись.

Ваш Б. П.»

(Подлинник письма в моем фонде в Пушкинском Доме в Ленинграде.)

Письмо было чудесное по своей правдивости, по какому-то современному выражению в нем личности Бориса Пастернака, высокой и чистой.

В нем было и то стремительное, что характерно для всего творчества Пастернака — вечное «поверх барьеров».

Потом разразилась буря над поэтом, — через несколько лет после нашего душевного столкновения из-за «Живаго».

Я была против этого романа и до сих пор во многом с ним несогласна, но трагическая судьба поэта и мое расхождение с ним — одно из самых тяжелых моих воспоминаний.

Эмма Герштейн

О ПАСТЕРНАКЕ И ОБ АХМАТОВОЙ

1

В начале двадцатых годов, еще не держа ни одной книги поэта Пастернака, я уже слышала о нем много.

...На театральном диспуте Зинаида Райх не выдержала нападок оппонентов на Мейерхольда и выкрикивала со сцены в зал что-то задорное; сравнивала нападки на ее мужа Мейерхольда с травлей ее первого мужа — Сергея Есенина, а некто со спускающимся на лоб чубом и странным оскалом зубов, веселый и разгоряченный, подсел к ней на ступеньку большого помоста, стоящего на сцене. «Неужели ты не знаешь? Это — Борис Пастернак», —-сказали мне. <...>

Вокруг часто говорили, что он «непонятен». Но с этой своей «непонятностью» и, как тогда говорили, «камерностью» он становился все более и более модным. Это меня раздражало и вызывало недоброжелательное отношение к московским снобам, которые хвалились своими встречами с поэтом в салонах, чуть ли не «кремлевских»1. Однажды о подобной встрече в салоне небрежным тоном упомянула Ольга Давыдовна Каменева (в 1929-1931 гг. я была ее секретаршей).

В начале тридцатых годов облик Пастернака стал для меня будничнее. Бывая у Мандельштамов, поселившихся в Доме Герцена на Тверском бульваре, я часто наблюдала, как по двору проходил Борис Леонидович от писательской столовой до левого флигеля с полными судками в руках. Все знали, что там живут его уже оставленная жена и сын, а сам Борис Леонидович живет в другом месте с новой женой — прежней женой Нейгауза Зинаидой Николаевной. При встречах с друзьями Борис Леонидович ставил свои кастрюльки куда-нибудь на приступок и долго, почти со слезами, как передавали потом его слушатели, рассказывал о своей семейной драме.

Общих знакомых с Пастернаком к этому времени у меня появилось довольно много. Не без фамильярности отзывалась о нем Надежда Яковлевна Мандельштам, с едва заметным хвастовством ее брат Евгений Хазин2 («вот здесь, сидя в этом самом кресле, Борис Леонидович нам говорил...»), с обожанием Надя Жаркова, жена Бориса Песиса — знатока поэзии, одного из частых собеседников Пастернака. Всегда с любовью говорила о нем Анна Андреевна Ахматова, с которой я познакомилась зимой 1933/34 года у Мандельштамов, уже в Нащокинском переулке.

После ареста и высылки Осипа Эмильевича его московская квартира не сразу стала чужой. Там оставалась жить и его теща, которую я часто навещала. Это было естественно, так как я была связана тесной дружбой с поэтом Мандельштамом, его женой Надеждой Яковлевной и ее братом Евгением Яковлевичем.

Особенно часто я бывала в Нащокинском во время трех-четы-рехнедельных пребываний в Москве Надежды Яковлевны. Вообще-то она поселилась вместе с репрессированным мужем в Воронеже (первоначально даже в Чердыни, на Урале, откуда поэта перевели в центральную Россию), но связи с Москвой не порывала.

Иногда в этой квартире останавливалась также приезжавшая в Москву из Ленинграда Анна Андреевна Ахматова. К ней я приходила чуть ли не ежедневно.

Тут мне случалось заставать Бориса Леонидовича Пастернака. Личного знакомства у меня с ним не образовалось тогда, да я и не претендовала на это, но с удовольствием

слушала его речи, завороженная его интонациями, мимикой, звуком неповторимого голоса.

В памяти остались отдельные фразы. Например, беседуя с Надеждой Яковлевной, он закончил мысль афоризмом: «Время как время — ничего особенного». Очевидно, считал, что история человечества всегда, во все эпохи была насыщена великими или кровавыми событиями. Про начинающийся массовый террор и его жертвы говорил: «Это иррационально, это как судьба». Однако вспоминал: в день премьеры «Бани» Маяковского, то есть в 1929 году, он впервые услышал о расстреле старого знакомого, кажется, бывшего эсера3. У подъезда Театра Мейерхольда встретил Кирсанова, спросил его: «Ты знал, что NN расстрелян?» — «Давно-о-о...» — протянул тот, как будто речь шла о женитьбе или получении квартиры.

Однажды в непонятной еще для меня связи привел в пример повесть Чехова. Вот герой выходит из московского ресторана, газовые фонари освещают падающий снег, подъезжает извозчик — и из этих деталей возникает неповторимая чеховская атмосфера, Москва... А если он, Пастернак, напишет что-нибудь вроде — кончилось общее собрание. Глеб вышел из накуренного помещения. Накрапывал дождь. Он сел на скамью бульвара, снял кепку — «...и ничего не происходит!» — жалуется Борис Леонидович.

Это Пастернак примеривался к своему будущему «Доктору Живаго» — Анна Андреевна много позже мне говорила, что уже в те годы он посвящал ее в свой замысел — написать большой роман в прозе.

В 1936 году я была в Союзе писателей, когда там обсуждалось постановление ЦК о Шостаковиче, о его опере «Леди Макбет Мценского уезда», вообще о формализме в искусстве и литературе. Юрий Олеша наивно и честно рассказал с трибуны о внутреннем разладе, внесенном в его душу этими решениями. «Я не могу теперь читать статьи «Правды» с прежним чувством!» — горестно восклицал он.

Пастернак, несмотря на мычанье и инфантильную интонацию, говорил иронично. Он удивлен, что обсуждают такую старую проблему, как «формализм». Все это давно решено. Вспоминаются споры его молодости, насколько они были острее, чем нынешние дискуссии. Даже рапповские собрания «это — Афины!» по сравнению с сегодняшними. Но главным тезисом его выступления была идея закономерности трагического в искусстве наших дней. Речь его не имела никакого успеха ни в президиуме, ни в зале4.

В Госиздате, где готовилась книга стихов Пастернака, его замучили придирками. «Так что же, они тут нашли скрытую рифму — бомба?!»— вскрикивал, рассказывая об этом у Надежды Яковлевны, Пастернак — голос его будто раскалывался надвое, и восклицание переходило в хохот.

С Анной Андреевной он держался как-то иначе. Однажды я застала его уже «под занавес». Заканчивая беседу, он перевел разговор на свое домашнее. У него недавно умер тесть, ему досталась его шуба. Теплая. «Сейчас пойду проверю»5, — он ловко прощается, быстро надевает в передней шубу и уходит в морозную ночь. Странно было видеть его уютную светскость в этом жилище беды.

Вероятно, это было еще в 1934 году, когда мы собрались с Анной Андреевной на вокзал — она возвращалась в Ленинград. Неожиданно зашел Борис Леонидович, пожелавший ее проводить. Мы поехали вместе. По дороге Пастернак сошел с трамвая — «я вас догоню», мы несколько недоуменно переглянулись, но в зале ожидания он действительно нас настиг, держа в руках бутылку вина (ничего другого в ту пору в магазинах не нашлось), и преподнес ее Анне Андреевне.

До отхода поезда оставалось еще время, они разговорились об Андрее Белом, отзывались критически о его последней прозе и принадлежности к обществу

антропософов. Но когда речь зашла о статье Л. Б. Каменева, как говорят, убившей писателя, Борис Леонидович — сразу: «Он мне чужой, но им я его не уступлю». Дело в том, что в предисловии к последней книге Белого «Между двумя революциями» (М., 1933) Каменев охарактеризовал всю его литературную деятельность как «трагифарс», разыгравшийся «на задворках истории».

После некоторого молчания Борис Леонидович заводит щекотливый разговор. Он уговаривает Ахматову вступить в Союз писателей. Она загадочно молчит. Он расписывает, какую пользу можно принести, участвуя в общественной жизни. Вот его пригласили на редколлегию «Известий», он заседал рядом с Карлом

Радеком, к его словам прислушиваются, он может сделать что-нибудь доброе... Анна Андреевна постукивает пальцами по своему чемоданчику, иногда многозначительно, почти демонстративно взглядывает на меня и ничего не отвечает...

2

Опять событие! Опять горе! Осенью 35-го года возвращаюсь вечером домой. В передней, на маленькой угловой скамеечке, сидит Анна Андреевна со своим извечным потрепанным чемоданчиком. Вся напряженная; оказывается, она дожидается меня уже несколько часов. Мы заходим в мою комнату. «Их арестовали». — «Кого их?» — «Леву и Николашу» (Л. Н. Гумилева и Н. Н. Лунина)6. <...>

Я не заметила, сколько времени прошло — два дня? четыре? Наконец телефон — и снова одна только фраза: «Эмма, они дома!»7 Она зовет меня к Пильняку — она там. Я мчусь туда, на улицу «Правды». Там ликованье. Приехали гости. Какой-то важный обкомовец и еще кто-то «с тремя ромбами», — шепчет мне Анна Андреевна. Все они хотят видеть и поздравлять Ахматову — с «царской милостью»? Мы с Анной Андреевной сидим в спальной, она должна мне многое рассказать. Но Пильняк заходит, нетерпеливо зовет ее. Она говорит: «Борис Андреевич, это — Эмма!» Но ему ни до чего, ему нужно торжество с гостями в столовой. Он неохотно нас оставляет. Вот что мне рассказала Анна Андреевна.

Все было сделано очень быстро. Л. Н. Сейфуллина и ее муж, критик В. П. Правдухин, очевидно, были связаны как-то с ЦК партии. Мне кажется, что по их инициативе Анна Андреевна написала письмо Сталину, очень короткое. Она ручалась, что ее муж и сын — не заговорщики и не государственные преступники. Письмо заканчивалось фразой: «Помогите, Иосиф Виссарионович!» В свою очередь Сталину написал Пастернак. Он писал, что знает Ахматову давно и наблюдает ее жизнь, полную достоинства. Она живет скромно, никогда не жалуется и ничего никогда для себя не просит. «Ее состояние ужасно», — заканчивалось это письмо8. Пильняк повез Анну Андреевну на своей машине к комендатуре Кремля, там уже было договорено, кем письмо будет принято и передано в руки Сталину.

Я отметила тогда для себя разницу в отношении писателей к Мандельштаму и Ахматовой. Там чувство долга по отношению к замечательному поэту, здесь тот же долг, но согретый непосредственным чувством любви.

Рассказ Анны Андреевны был прерван Пильняком. Он торопит. Она вышла в соседнюю комнату показаться. Заиграл туш:

Пильняк завел новую пластинку. Он торжественно провозглашает: «Анна Ахматова!»

Через несколько минут Анна Андреевна вернулась проститься со мной. Я уходила. Она пошла за мной в переднюю. Я открыла входную дверь. Неожиданно она изогнулась, гибкая, высокая, и быстро, нежно поцеловала меня. В ту же ночь Анна Андреевна уехала в Ленинград.

Долго еще мы обсуждали с Евгением Яковлевичем этот действительно исторический эпизод. Анна Ахматова, которая, по мнению официозных критиков,

«забыла умереть», дает поручительство в политической благонадежности двум обвиняемым, и Сталин, внимая голосу матери, жены и опальной поэтессы, незамедлительно выпускает ее близких на свободу. Это тем более примечательно, что «дело»-то заключалось в «болтовне» за общим ужином. А под водку было прочтено, теперь уже знаменитое, антисталинское стихотворение Осипа Мандельштама, за которое он и был выслан.

Расстояние между обоими «делами» всего год с небольшим. Эти два события надо рассматривать слитно. Легкий приговор Мандельштаму (три года на поселении в университетском городе в центре России), милость, оказанная Ахматовой... Правда, все участники этих дел впоследствии, кто раньше, кто позже, «заплатили чистоганом» за эти милости. Но пока мы остаемся еще в начальном периоде тех зловещих тридцатых годов. Борис Леонидович Пастернак, обращаясь со своей просьбой, не мог, я думаю, не опираться на известный прошлогодний телефонный звонок к нему Сталина по поводу ареста Мандельштама. Тогда он, Пастернак, не знал, известно ли вождю крамольное стихотворение Осипа Эмильевича. Известно ли ему было, что Пастернак слышал эту эпиграмму из уст самого обвиняемого? Это, несомненно, сковывало Бориса Леонидовича. А знал ли он сейчас, что эти стихи опять всплыли в деле, в которое он так благородно вмешался?

На этот последний вопрос у меня ответа нет. Я и сама об этом узнала лишь через 20 лет после этого события. Но предполагаю, что, обращаясь к Сталину, Борис Леонидович следовал велению сердца, не думая о последствиях.

3

Прошло пять лет. Уже пережиты Ахматовой страшные дни и месяцы, описанные ею в «Реквиеме», еще не кончились ее жестокие испытания, как и у многих и многих, но о постоянном давящем душу горе никто не говорит вслух.

В 1940 году я видела Пастернака еще один раз у Николая Ивановича Харджиева9, в Марьиной роще. Борис Леонидович пришел, чтобы встретиться там с Анной Ахматовой. Ахматову связывала с литературоведом и искусствоведом Харджиевым многолетняя, теплая дружба.

В маленькой комнате на первом этаже, где до потолка возвышались деревянные полки, набитые книгами — редкостным собранием русской поэзии начала века, а на стене подлинная картина маслом художника К. Малевича — красный квадрат на белом фоне; где стояла тахта, две деревянные табуретки и маленький канцелярский стол, а на дощатом полу всегда постелен чистый половик, — Пастернак невольно вспомнил свои юношеские годы.

Разговор зашел о футуристической литературной группе 1913 года «Центрифуга». Он стал рассказывать со множеством смешных подробностей историю ссоры и несостоявшейся дуэли с лидером этой группы Сергеем Бобровым10. Одна фраза до сих пор звучит у меня в ушах из-за несравненной интонации и слов, произносимых на таком открытом горячем дыхании, что снова голос Пастернака раскалывался надвое и последнее слово как бы переходило в хохот Пана: «а мы развалились по диванам, распиваем дорогие коньяки...» Борис Леонидович вскакивает с табуретки, бегает по комнате (8,5 метра!) и, не прекращая рассказывать, с виноватым видом быстрыми движениями старательно поправляет ногой загнувшийся угол половика. Анна Андреевна смотрит на него с ласковой усмешкой. Николай Иванович остается невозмутимо спокойным.

Потом Анна Андреевна вспомнила, что ей нужно кому-то позвонить, Николай Иванович повел ее в коридор к телефону, и в наступившем молчании Борис Леонидович смущенно подсаживается ко мне на тахту и залихватски спрашивает: «Как жизнь?»

Вернувшись, Анна Андреевна рассказывает о еще более давних временах. На вечеринке заиграли «какую-то там кадриль или польку», гости начали танцевать, а в дверях гостиной появился Бальмонт, заломил руки и простонал: «Почему я, такой нежный, должен на это смотреть?!»

Почти перед самой войной, в июне 1941 года, в той же комнате, где Борису Леонидовичу явно не хватало места для разбега, опять проплыл его образ и даже промелькнула тень Бальмонта, но все это уже в отраженном свете.

Произошло это так. Как было заранее условлено, я зашла за Анной Андреевной к Харджиеву, чтобы идти с ней в Театр Красной

Армии, помещавшийся недалеко. У Николая Ивановича я застала не только Ахматову, но и Цветаеву и сопровождавшего ее литературоведа Теодора Соломоновича Грица. Он сидел на тахте, рядом с Харджиевым, брови его были трагически сдвинуты, что неожиданно делало его красивое и мужественное лицо детски наивным. На табуретках сидели друг против друга: у стола — Анна Андреевна, такая домашняя и такая подтянутая со своей прямой петербургской осанкой, а на некотором расстоянии от нее — нервная, хмурая, стриженная, как курсистка, Марина Ивановна. Закинув ногу на ногу, опустив голову и смотря в пол, она что-то монотонно говорила, и чувствовалась в этой манере постоянно действующая сила, ничем не прерываемое упорство.

Вскоре все поднялись, и невысокая Цветаева показалась мне совсем другой. Надевая кожаное пальто, она очень зло изобразила Пастернака в Париже, как беспомощно он искал платье «для Зины». Он попросил Марину Ивановну мерить на себя, но спохватился: не подойдет, «у Зины такой бюст!..». И она изобразила комическое выражение лица «Бориса» при этом, и осанку его жены Зинаиды Николаевны («красавица моя, вся стать»). Резкость слов Цветаевой и неожиданно развинченные движения поразили меня тогда неприятно.

<...> Лишь в шестидесятых годах я спросила Харджиева, не помнит ли он, о чем был разговор в то долгое свидание. «Анна Андреевна говорила мало, больше молчала. Цветаева говорила резко, нервозно, перескакивая с предмета на предмет». — «Они, кажется, не понравились друг другу?» — «Нет, этого нельзя сказать, — задумался Николай Иванович, — это было такое... такое взаимное касание кончиками ножа души. Уюта в этом мало».

Итак, — война. Осенью Анну Андреевну переправили на самолете из Ленинграда в Москву. Она остановилась у С. Я. Маршака. Москву бомбили, но все-таки это не артиллерийский обстрел, которого Анна Андреевна, как говорят, совершенно не могла выносить в Ленинграде. Придя к ней, я была свидетельницей, как ее с новыми чувствами приветствовали писатели. В частности, Надежда Павлович обнимала ее уж очень патетично.

В последние дни пребывания Анны Андреевны в Москве (14—15 октября) я застала ее уже на Кисловке, в квартире сестры Ольги Берггольц. Было много народу. Пришел и Пастернак. Анна Андреевна лежала на диване и обращала к нему слова чеховского Фирса: «Человека забыли». Это означало: «Я хочу ехать в эвакуацию вместе с вами, друзья мои».

Борис Леонидович был очень возбужден, рассказывал, как обучался в ополчении, и шутя угрожал воображаемому собеседнику — главному редактору издательства «Искусство»: «Я и стрелять умею!» Дело в том, что Пастернак хотел заключить договор с издательством на пьесу — «новую, свободную», но редактор отказал: «Мы еще не знаем, как вы пишете драмы. Вот если перевод — пожалуйста»11.

Все говорили об эвакуации из Москвы. Каждый входящий приносил какой-нибудь новый слух или новый проект. В речах мелькали названия городов — Чистополь,

Свердловск, Казань, Куйбышев, Ташкент, Алма-Ата... Меня никто не замечал. И только один Пастернак несколько раз тревожно взглядывал на меня и наконец подошел и тихо спросил: «А вы как едете?»

Я никуда не уезжала со своего Щипка всю войну, и это была самая странная, экзотическая, остановившаяся и быстро бегущая жизнь. Рассказывать о бедствиях, утратах, полной ломке характера и необычайно повысившейся роли надежды было бы трюизмом. Все это знают. Помнят также окончание войны, всеобщий подъем духа и наступившее затем оцепенение.

И вот в 1946 году Ахматова и Пастернак выступают в Колонном зале Дома союзов12. «Вы не ходите, это "не для белого человека"», — сказала мне Анна Андреевна, я и не была. Но она рассказывала, что Пастернак обнаружил полное владение законами эстрады. Переходил с одного конца сцены на другой, приговаривая: «А теперь, чтобы вы не соскучились, я перейду к вам»; от кого-то прятался за спины сидящих в президиуме и т. п. (А самой Ахматовой послали из зала записку: «Вы похожи на Екатерину И».) В Политехническом музее, кажется, в июне 1946 года, был отдельный вечер Пастернака с афишами13. Там я тоже не была, но знаю, что зал был битком набит, а у подъезда дежурила конная милиция.

Пастернак рвался к широкой аудитории. Ахматова больше радовалась благоговейному почитанию и восхищенному любованию многочисленных знакомых. Повторяли привезенное из Ташкента слово: «королева». Весь литературный beau monde* перебывал тогда на Ордынке у Ардовых, где она остановилась. Актеры, художники и даже эстрадники хотели засвидетельствовать Ахматовой свое почтенье. Не забывали ее и старые друзья совсем другого толка. Борису Леонидовичу очень нравилась эта оживленная

* Высший свет (фр.).

пестрота. Он говорил о впечатлении какого-то прибоя и прозвал квартиру Ардовых «узловой станцией», а имя ей — «Ахматовка». Это выражение закрепилось в доме Ардовых как указание на прием гостей, причем в зависимости от их числа различались «большая Ахматовка» и «малая». Но столь характерное для Пастернака сравнение с железной дорогой — забылось. <...>

Как-то утром я застала Бориса Леонидовича на «Ахматовке». Он любезничал с дамами, с нескрываемым восхищением взирал на красивую Нину Антоновну, которая заболела и лежала в постели. Борис Леонидович сидел у торца большого стола и угостил меня чудесным красным вином, которое принес с собой.

Он читал свои стихи. Я, не без сожаления, сказала, что у него изменилась манера чтения — теперь она больше приближается к актерской. Это замечание было ему не особенно приятно. Он сухо ответил, что теперь он читает лучше и так ему больше нравится.

Тут вошел в замешательстве брат Нины Антоновны: пора было ехать за доктором для больной — а на чем? Пастернак сейчас же предложил свои талоны на такси. Это была привилегия, которой удостаивались очень немногие писатели. Нина уставила на Пастернака свои блестящие черные глаза: «А разве у вас есть?» И Борис Леонидович захлопотал, засуетился, стал названивать домой, чтобы кто-нибудь из сыновей занес талоны на Ордынку (благо, это рядом).

А потом настал знаменитый август. Вышло постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой, и, хотя Пастернака оно прямо не касалось, его радостный подъем оборвался.

Борис Леонидович уединился. Публичные выступления его были прекращены. Доходили слухи, что он работает над романом.

Эти сведения приходили, главным образом, от Лидии Кор-неевны Чуковской, с которой я особенно подружилась в ту пору.

У нее я встречала хорошенькую, но слегка увядшую блондинку, работавшую с нею в «Новом мире», — Ольгу Всеволодовну Ивинскую.

Лидия Корнеевна вела в журнале принципиальную борьбу за высокое мастерство редактора, а блондинка с помятым лицом служила секретарем и отвечала на «самотек», то есть на стихи, присылаемые со всех концов Союза в редакцию «Нового мира». Она ненавидела эту работу, держалась за нее только из-за повышенной продовольственной карточки, но и этих благ не хватало, чтобы прокормить двоих детей и мать. Она была патетически бедна, как мы все ободранна, ходила в простеньких босоножках и беленьких носочках, иногда забрызганных грязью, плохо читала стихи, писала под копирку одинаковые ответы графоманам и демонстративно восхищалась Пастернаком. Борис Леонидович это замечал и при своих уже тягостных отношениях с редактором журнала (тогда это был К. М. Симонов) утешался ласковым приемом секретарши. «Она такая милая», — говорил он Лидии Корнеевне.

В «Новый мир» Пастернак приходил по поводу своего романа «Доктор Живаго». В редколлегии журнала уже установилось отрицательное отношение к этому еще не завершенному произведению, в которое Борис Леонидович вкладывал всю страсть своей души. Он считал этот роман итоговым для всей своей творческой жизни.

...Ранней весной Лидия Корнеевна предупредила меня, что вскоре у одной знакомой дамы соберется небольшое общество, куда буду приглашена и я. Борис Леонидович прочтет первые главы своего романа. Лида просила своих друзей написать потом Пастернаку о своих впечатлениях.

Пятого апреля, подъехав к дому в Настасьинском переулке, мы столкнулись в подъезде с Борисом Леонидовичем. Вместе с ним поднимались в лифте я и еще одна его знакомая, тоже приехавшая на чтение. Он меня узнал, спросил про Анну Андреевну, любезно обратился к незнакомой мне гостье.

Публика уже собралась, человек 18—20, может быть больше.

Расположились в трех-четырех рядах стульев. Бориса Леонидовича усадили за столик, лицом к нам.

Стали обсуждать порядок вечера. Лидия Корнеевна настаивала на чем-то, некто твердокаменный сказал наконец резко: «Я не понимаю, почему эта дама так нервничает», а она сидела рядом с Ивинской, и Борис Леонидович все время обращался к ним глазами и через головы сидящих спросил Лиду, как себя чувствует Корней Иванович.

Нежным и осторожным движением он вынул рукопись из кармана пиджака и бережно положил ее на стол. Затем произнес небольшое вступительное слово о современном распаде формы романа, которую он хотел возродить, о соотношении стихов и прозы, а затем обратился к присутствующим членам редколлегии «Нового мира», призывая их к деловому вниманию, и как-то жалобно и просяще сказал, что даже перестает чувствовать себя профессионалом.

Началось чтение.

Маленькие главки «Детства» с их заключительными абзацами он отчеркивал голосом так изящно и ритмично, что каждая пауза между ними ощущалась как наполненная пустота.

Некоторые реплики произносил, как сдержанное сокровенное признание: «Моя дорога стала», — так сказал железнодорожный рабочий во время всеобщей забастовки 1905 года, когда «ноги сами знали, куда они идут»... «Выстрелы, вы тоже так думаете», — это Лара бежит по московским улицам в исступлении отчаяния, вбирая в себя и церковное пенье, и звуки выстрелов революции. Эти главы давали ощущение полного

слияния судеб людей и истории. «И не вздумай, пожалуйста, отпираться» — записка подруги к Ларе, прочитанная тихо, потому что это было цитированием, но усилившая впечатление достоверности из-за интонационной и лексической точности.

Борис Леонидович снимал и надевал очки, криво садившиеся на нос, и, читая страницы о Ларе, казался страдающим пожилым отцом опозоренной дочери.

В другой раз увлекся, наслаждался, хохотал, когда читал фольклорные страницы сочной площадной брани во время какой-то потасовки рабочих на железнодорожном полотне.

Закончилось чтение главой, где Юра на могиле матери закричал: «Мама!»14 Оно было выслушано в глубоком благоговейном молчании. Объявили перерыв, после которого Борис Леонидович обещал прочитать отдельные отрывки из второй части и сообщить ее план.

Был устроен прекрасный чай, хозяева были очень гостеприимны. Многие вышли в широкий коридор, там прохаживались и беседовали, собравшись в небольшие кружки. А Борис Леонидович подходил то к одному, то к другому, тревожно заглядывал в глаза, стараясь угадать — каково впечатление. Нетерпеливо подошел он к двум «новомирцам», жадно прислушиваясь к их разговору. Но снисходительно, как взрослый ребенку, Борис Агапов возразил: «О нет! Мы говорим о своих будничных производственных делах». Подошел Борис Леонидович и ко мне, стоявшей у стены, и спросил с придыханьем: «Ну, как?»

После перерыва он стал читать главы о Ларисе и Паше в Камергерском переулке. Эти главы были иными, чем в окончательной редакции. Там была очень остро написанная любовная сцена между Пашей и Ларой, а в аксессуарах главную роль играла свеча, стоящая на подоконнике. В это самое время Юра проезжал в санях по Камергерскому переулку и обдумывал реферат о Блоке, заказанный ему для студенческого журнала. Взгляд его задержался на горящей свече, видной сквозь подтаявшее стекло. И когда он приехал домой, вместо реферата он стал писать стихи: «Мело, мело по всей земле, Во все пределы, Свеча горела на столе, Свеча горела», потом другие и, наконец, «Рождественскую звезду». И было ясно, что это стихотворение о наступлении новой эры, и Блок тоже предтеча другой, новейшей эры. И хотя в этой главе ничего сказано об этом еще не было, но связь была очевидна, и от этого весь роман производил впечатление высокого прозрения. (А когда впоследствии стихи были выделены в конец романа и присутствие их в прозе было рационалистически мотивировано, этот эффект, мне кажется, пропал.)

Стихи Борис Леонидович прочел отнюдь не по-актерски. Произнесение каждой строки «Рождественской звезды» продолжалось одинаковое количество секунд, как бы под стук метронома, поэтому длинные многосложные строки он читал ускоряя, а короткие медленно, чем достигалась также естественность и простота интонации. Реалии описательной части производили такое впечатление подлинности и достоверности (включая Ангела), что все мы слушали как озаренные, как будто мы сами в этот холодный апрельский вечер (форточки были открыты) присутствовали при рождении нового сознания. И когда он закончил, Евдокия Федоровна Никитина глубоко и блаженно вздохнула, тихо произнеся: «О Господи!» А Илья Самойлович Зильберштейн15 сказал в кулуарах со свойственной ему экспрессией: «Как мне его жалко. Он так любит свою работу».

Стали расходиться. На дворе была холодная весенняя ночь. Я видела, как Борис Леонидович вышел из парадного в летнем плаще. Тонкий лед хрустел под его шагами.

5

Длинный отрывок из моего длинного письма к Ахматовой: «...вторая новость очень радостная. Это — роман Бориса Леонидовича. Под романом подразумеваю его новую

прозу, а не новую любовь, которая тоже имеется. Эта книга такая, что после нее все написанное до сих пор кажется старомодным. Оказывается, все Хемингуэи существовали для того, чтобы их находки пошли в дело в новом русском романе, вновь созданном на основе старой формы. Радостно жить, когда знаешь, что рядом строится такое огромное здание. Поразительный натиск созидательной энергии.

Это произведение стало мне дороже всего на свете...

Через несколько дней после чтения я встретила Бориса Леонидовича на улице, возле его дома. Он сейчас же объяснил, что спешит куда-то — занять деньги, передать их, не задерживаясь, через лифтершу жене и идти куда-то дальше. Тем не менее он велел мне сделать с ним несколько шагов, потом стоял передо мной, с седой щетинкой на подбородке, в непромокаемом плаще (а было еще холодно), и тихо говорил: "Ведь это счастье — чувствовать, что в тебе есть такое. Ведь правда, да?" — с надеждой ждал он от меня подтверждения и успокаивался, когда я говорила "конечно, конечно". Он стоял предо мною, как огорченный Пан, и, казалось, жаждал утешения и понимания. И когда я ему сказала, что для меня "Сестра моя жизнь" и роман что-то единое, он по-детски обрадовался и счастливым голосом опять спросил: "Правда?" Когда я с ним попрощалась, неожиданно он быстро поцеловал меня.

Недели через две, проходя по проезду, название которого я всегда забываю, я издалека заметила: выделяясь из толпы, навстречу идет молодой человек в самом весеннем настроении. Не успела я насмешливо подумать — "страстный брюнет", как увидела рядом с ним стройную блондинку с распущенными волосами и совершенно затуманенным взором. Лицо "молодого человека" медленно надвигалось на меня выкаченными от восторга глазами, а ноги его как-то странно шаркали по тротуару, словно он ощущал через асфальт землю. Мимолетное "здравствуйте", какой-то неловкий, едва заметный жест, и видение исчезло.

Уже через несколько часов мне было доложено, что решающее объяснение "брюнета" с "блондинкой" произошло и что ей посвящено "все последнее великое", то есть роман и стихи...

Вскоре Борис Леонидович позвонил мне по телефону, извинился, что не сразу узнал меня там, в Третьяковском проезде (он-то название знал точно), и поздравил с Днем Победы.

Правда, звонок был не без повода, но об этом когда-нибудь расскажу...»

Я так и не рассказала Анне Андреевне ни о содержании телефонного разговора, ни о послужившем к нему поводе. Расскажу об этом теперь.

Легко догадаться, что вести о Пастернаке приходили ко мне от Лидии Корнеевны, часто еще встречавшейся тогда с Ивинской. Сам Пастернак сказал Лидии Корнеевне, что все в тот вечер доставляло ему давно не испытанное наслаждение — «почти чувственное»: самое чтение, квартира в Настасьинском переулке, публика, даже чай, даже лифт.

В ближайшие же дни я написала Борису Леонидовичу толстое письмо16. Я не стала посылать его по почте, а понесла его в Лаврушинский переулок, чтобы опустить в ящик на дверях квартиры Пастернака. Но у главного подъезда писательского дома, как уже известно из моего письма к Ахматовой, встретила его самого. Он был не один. Спутник его отошел в сторону, но ждать ему пришлось так долго, что, махнув рукой, он удалился.

Говоря свои тихие слова, Борис Леонидович время от времени ощупывал счастливым жестом внутренний карман пиджака, куда было положено мое еще не читанное им письмо, похлопывал себя по левой стороне груди. Вот каким событием был для него в эти дни каждый сочувственный отклик на его работу. Окружающую его глухоту он сравнивал с живейшим интересом к его творчеству на Западе: «А какие

отзывы я читаю о себе "там", целые разборы!» — он назвал неизвестное мне имя английского литературоведа. «Это их Веселовский», — пояснил он17.

Все это говорилось так доверчиво, что у меня пропала всякая стесненность или сомнение в нужности моего письма. Писать его было нелегко, потому что мой жалкий и утомительный быт уводил от сосредоточенности, требовалось очень сильное волевое напряжение, чтобы преодолеть эту рассеянную подавленность. Но мне хотелось передать главное: омовение души, которое я испытала, слушая Пастернака. Казалось, всеобщая надежда на духовное обновление, у меня лично связанная с редкими просветленными состояниями моей юности (она приходилась на самое начало двадцатых годов), найдет воплощение в этом новом современном романе. Вот почему я так смело, может быть дерзко, писала Пастернаку о «религиозном чувстве, уже освобожденном от веры в традиционного Бога». Под неточным выражением «традиционный Бог» я подразумевала скомпрометированный веками лицемерия и преступлений клерикализм, ибо возвращение к старым, как мне казалось — уже выхолощенным, церковным традициям не вязалось с именем Пастернака, и не этого я от него ждала.

О «Рождественской звезде», которую я считала ключом ко всему роману, я писала: «В книге описано наступление новой эры, когда земля жаждет нового гения. Все к этому готово. Каков он будет? Никто не знает: не дано знать и автору. Но, великий художник, он знает, как рождается гений».

Я была убеждена, что духовную жажду и ожидание нового слова разделяют со мною все преображенные войной люди, потрясенные ее неслыханными бедствиями, зверствами и подвигами самоотречения. А таких было большинство, хотя и не все могли дать себе отчет в этом, так как понятия, в которых они были воспитаны, отставали от происходящего в них процесса духовного созревания. Мне казалось, именно это имел в виду Пастернак, когда он описывал 1905 год, и поэтому я написала фразу, которую, как я надеялась, он должен был понять: «Их мысли — реминисценции, но их страсть — сокрушающая, новая. У всех кружилась голова от ощущения новизны и возможности все переделать. Не только возможности, но и необходимости...»

Особенно выделялась в первом варианте романа фигура Миши Гордона, с его рано осознанной национальной отчужденностью и знаменательными словами: «Когда я вырасту, я это переделаю».

«Прозвучит ли эта тема в следующих частях? Это очень важно», — спрашивала я Бориса Леонидовича в своем письме.

— Да, прозвучит, — сказал он мне по телефону, — прозвучит так, что —- вам я это скажу —- главным героем моего романа будет не Живаго, а Гордон.

Он много и подробно стал говорить на эту тему, заключив, что центральной идеей романа будет «выход из национальности». Некоторым подобием высказанных им тогда мыслей могут служить его же слова из «Заметок к переводам шекспировских драм» (об «Отелло»): «Идеи равенства наций при нем не было. Жила полной жизнью более всеобъемлющая мысль христианства о другом роде их безразличия. Эту мысль интересовало не рождение человека, а его обращение, то, чему он служил и себя посвящал».

На основании этого телефонного разговора я смею утверждать, что весной 1947 года роман в замыслах Пастернака нес некую историософскую идею, более широкую, чем историческое изображение трагической судьбы русского интеллигента, может быть, идею обновленного христианства. Но в том-то и дело, что в атмосфере невероятного, которая окружала нас последние десять лет, я ожидала не этого, а чего-то еще не бывшего и не сказанного. Вот почему я была удовлетворена тем, как сочувственно Борис Леонидович ответил на мои кощунственные по отношению к Церкви фразы, прибавив: «А если бы вы знали, сколько людей поняли меня именно

так» — то есть приняли его за апологета православия и поборника реставрации разрушенных верований и обрядов.

Я слушала его, стоя у телефона в коридоре, по которому взад и вперед сновали жильцы, а вечером попыталась записать его слова. Запись эта не сохранилась, и жалеть об этом нечего: для того чтобы передать философско-поэтические монологи Пастернака, нужно либо обладать равным ему талантом, либо знать его настолько хорошо, чтобы, изучив его манеру говорить, верно передавать его неповторимый синтаксис и отступления. По поводу стихов и прозы Пастернак упомянул Льва Толстого, который отзывался о стихотворстве как о скачках с препятствиями, то есть как об искусственной игре. Борис Леонидович объявил при этом, что сейчас любит у Пушкина только «Медного всадника» и «Балду». Соотносил свой роман с интеллектуальными романами Достоевского. А высказав все, что хотел, добавил в заключение: «На литературных вечерах ко мне иногда подходили и говорили похожее на ваши мысли. Знаете, в Доме печати... (в двадцатых годах). Были такие думающие комсомольцы... евреи».

Это был последний раз, когда я слышала голос Бориса Леонидовича. А увидела его лицо лишь через тринадцать лет — на его похоронах в Переделкине. Вынося гроб из дому, его высоко подняли на повороте. Полуденное солнце осветило белое-белое лицо со странным рисунком челюсти. Пастернак как будто прощался с близлежащим полем, с далекой каймой весенних рощ и с голубым светом. Гроб приспустили, двинулись к кладбищу. По обеим сторонам поля потекли разноцветные ленты провожающих. Казалось, что на осиротевшей коричневой даче все еще думает за роялем Святослав Рихтер.

6

Почему же за истекшие 13 лет я ни разу нигде не встретилась с Борисом Леонидовичем? Много было причин. Мелкое и крупное перемешалось и отвлекло меня от бурных событий чужой жизни. Наступившее отчаянное социальное и материальное положение окрашивало каждую мою встречу с любым собеседником тайной надеждой, не окажется ли она соломинкой, за которую я ухвачусь. Не дай Бог, если бы это прорвалось в разговоре с Борисом Леонидовичем! Я избегала случайных встреч с ним. Это заметил даже Ардов. Однажды с подчеркнутым удивлением он спросил меня, почему я не остаюсь, когда на вечер ждут Пастернака, другой раз обратил внимание на мой внезапный торопливый уход после телефонного звонка Пастернака, предупреждавшего о своем приходе.

Кроме того, было ясно, что Пастернак поглощен своим романом с Ивинской и для малознакомых людей места уже не оставалось. А о драматических событиях, происходящих в жизни и Бориса Леонидовича и Ольги Всеволодовны, я узнавала вначале от Лидии Корнеевны, потом от Анны Андреевны, а впоследствии об этих делах говорила уже вся Москва, да и не только Москва.

Благожелательное отношение к Ивинской сменилось у Лидии Корнеевны на негативное довольно скоро, но, когда она убедилась в совершении Ольгой возмутившего ее поступка, произошел полный разрыв18. Негодование Лиды разделяла не только я, но и Анна Андреевна. Пастернак просил ее разрешения представить ей Ивинскую, но Анна Андреевна отказалась. Впоследствии она утверждала, что отношения ее с Пастернаком постепенно портились из-за этого. Тем не менее Анна Андреевна была непреклонна.

Самая опала Пастернака, вся эпопея с его романом «Доктор Живаго» носила шумный характер благодаря участию в этом Ивинской. Это было так непохоже на благородную скромность Ахматовой, многие годы проведшей в еще худшем положении, чем Пастернак. Когда-то он и сам отмечал это, заступаясь за нее в письме к Сталину.

Теперь Ахматова находила много разительных перемен в Пастернаке. Она стала замечать, например, что он отрекается от старых друзей, с которыми его связывали годы и годы дружбы. Однажды он назвал пошляком Г. Г. Нейгауза (?) за то, что, не имея собственной дачи, он снимал квартиру в Переделкине. Поссорился с другом своей юности из-за критического отзыва о «Докторе Живаго»19. Все это рассказывала мне Анна Андреевна, жалуясь на перерождение Пастернака. Когда же он напечатал свою автобиографию, она возмутилась, узнав о его глубоком равнодушии ко всем поэтам-современникам, причем Мандельштама он назвал после Багрицкого. Все чаще и чаще Анна Андреевна высмеивала слова и поступки Бориса Леонидовича в быту, в частной жизни. Резко отрицательно относилась она к чувственным новым стихотворениям Пастернака, находя в них признаки старчества. Это — ненавистная ей «Вакханалия» да еще «Ева» и «Хмель». У Анны Андреевны бывали периоды такого равнодушия к Пастернаку, что у нее долго валялась на подоконнике машинопись с авторской правкой его «Заметок к переводам шекспировских драм». Она отдала ее мне, заметив только, что писала свое стихотворение о нем до того, как получила эти заметки. Он имела в виду строки своего стихотворения «И снова осень валит Тамерла-

ном» — «Могучая евангельская старость и тот горчайший гефси-манский вздох» и слова Пастернака о монологе Гамлета: «Это самые трепещущие и безумные строки, когда-либо написанные о тоске неизвестности в преддверии смерти, силой чувства возвышающиеся до горечи Гефсиманской ночи».

Может быть, равнодушие Анны Андреевны к шекспировским заметкам Пастернака объяснялось резким расхождением в их взглядах на проблему авторства Шекспира. Но главным камнем преткновения в дружбе Ахматовой с Пастернаком было ее отношение к «Доктору Живаго», которого она совершенно не принимала. Кажется, прямо в глаза она ему не высказывала своего мнения, но ведь Пастернак не мог не чувствовать ее равнодушия к своему, как он считал, главному созданию.

К этому я относилась очень нервно. Мы читали роман Пастернака отдельными поступающими из машинописи кусками и резко критиковали уральскую часть, которую Анна Андреевна считала проходной. Читала я отдельные части «Доктора Живаго» и у Елизаветы Яковлевны Эфрон, но уже ни разу не испытывала такого внутреннего подъема, как на первом авторском чтении. Это и было главной причиной моей боязни встретиться с Борисом Леонидовичем.

Анна Андреевна все более и более отчуждалась от него. И однажды, приехав из Ленинграда и приветствуя по телефону московских друзей, вдруг поняла, что с Пастернаком ей уже не о чем говорить и звонить ему не надо. Отойдя от телефона, она произнесла с досадой и горечью:

— Нет! Москва без Бориса — это уже не Москва!

Лидия Чуковская

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА Первая встреча*

1939. Лето. Я приехала из Ленинграда в Москву хлопотать о Мите1. Такси в Переделкино, где никогда не была. Адрес: «Городок писателей, дача Чуковского — сначала шоссе, потом что-то такое направо, налево». В Городке таксист свернул не туда, запутался, приметы не совпадали — непредуказанное поле — и ни

* Запись сделана в 1962 году по памяти (Прим. Л. Чу-ковской).

одного пешехода. Первый человек, который попался мне на глаза, стоял на корточках за дачным забором: коричневый, голый до пояса, весь обожженный солнцем; он полол гряды на пологом, пустом, выжженном солнцем участке. Шофер притормозил, и я через опущенное стекло спросила, где дача Чуковского. Он выпрямился, отряхивая землю с колен и ладоней, и, прежде чем объяснить нам дорогу, с таким жадным любопытством оглядел машину, шофера и меня, будто впервые в жизни

увидал автомобиль, таксиста и женщину. Гудя, объяснил. Потом бурно: «Вы, наверное, Лидия Корнеевна?» — «Да», — сказала я. Поблагодарив, я велела шоферу ехать и только тогда, когда мы уже снова пересекли шоссе, догадалась: «Это был Пастернак! Явление природы, первобытность».

28/XL 46. В 2, как условились, меня принял Симонов. Сначала дал список поэтов, у которых надо добыть стихи не позже 15 декабря — по три от каждого — лирические и «без барабанного боя».

— Я хочу сделать подборку: «в защиту лирики». В конце концов двадцать поэтов вряд ли обругают, а если обругают, то редактора — что ж, пусть...

Потом дал мне папку:

— Сядьте в уголке и разберитесь в этих стихах — я уж совсем запутался.

Я села в углу, за шкафами, где корректоры. Стала разбираться. Отобрала кое-что получше. <...>

6/XIL 46. Пришла домой смертно усталая. <...> Пришла, полежала и решила обзвонить по телефону поэтов, от которых журнал ждет стихов для лирической подборки. Начала, конечно, с Пастернака, ожидая радость.

А дождалась другого. Оказывается, Симонов обещал Борису Леонидовичу аванс за прозу — десять тысяч рублей2. Это было уже две недели назад. И с тех пор ему не позвонил. И Б. Л. просит ему передать, что если журнал не окажет ему этой материальной поддержки, то он не даст ни строки стихов.

Легко сказать — передай. Я всячески желаю уладить этот конфликт, желаю, чтобы Борис Леонидович получил десять тысяч (даже если журнал не может печатать его прозы — все равно: для русской культуры они не пропадут даром), желаю, чтобы были стихи, — но как не хочется звонить, дозваниваться — ух!

Я ему оставила в редакции записку — авось позвонит сам.

7/XII. 46. Симонову я наконец дозвонилась. Я доложила ему о Пастернаке. Он сказал, что хотел заплатить Пастернаку деньги, но не вышло и что он даст их ему только в январе. Казалось бы, скажи Пастернаку сам, и обиды бы не было, ан нет. Я позвонила Борису Леонидовичу и доложила. Он благодарил со свойственными ему преувеличениями.

21/XIL 46. Симонов на мой звонок через секретаря передал, чтобы я пришла к четырем в редакцию.

Хорошо. Я скоро тоже научусь беседовать с ним через секретарей и при помощи резолюций.

Я пришла. Он был облеплен людьми. <...>

Меня позвал Симонов.

— У меня есть 5 минут, — сказал он.

— Хорошо.

Я была готова... разговор перешел на Пастернака. Я спросила, заплатят ли Пастернаку аванс, обещанный ему, без Симонова3.

Тот дал при мне распоряжение и добавил:

— Не знаю, как Б. Л., — но моей этике не соответствует просьба о деньгах с угрозой не дать стихов — угрозой мне. После всего, что я для него сделал. Я бы на его месте так не поступал.

— Дай бог, вы никогда не будете на его месте.

Он стал собирать бумаги в свой желтый роскошный портфель. Я ушла. О, кажется, теперь я начинаю его постигать. Он хочет быть благодетелем и чтобы ему были за это благодарны. А люди не хотят благодеяний. Они хотят уважения по заслугам. Поэму Заболоцкого надо печатать не потому, что он восемь лет был в лагере, а потому, что поэма его хороша. Пастернака Симонов обязан сейчас поддержать, а не оказывать ему

милости — обязан, потому что он поставлен хозяином поэзии и Пастернак в его хозяйстве — первая забота... А если Борис Леонидович и не вполне справедлив к нему, то как можно сейчас требовать от Бориса Леонидовича справедливости?

30/XII. 46. Утром позвонил Симонов, вызвал на два — смотреть подборку лириков к № 2. Пошла. Довольно спокойно читали с ним и Ольгой Всеволодовной4. У него есть вредная тенденция брать и дрянь — только бы взять у всех, никого не обидя.

Опять тяжкий и бессмысленный разговор о Пастернаке. Тут уж я высказалась вполне: что, мол, Пастернак не может быть справедливым и ему, Симонову, надо самому позвонить Борису Леонидовичу и «помириться».

— Да ведь он меня обидел, а не я его. Что же я буду первый звонить.

— Потому вы первый, что вы годами моложе его на двадцать лет, а положением — старше в десять раз, — сказала я.

Вот как я обнаглела.

31/XIL 46. Происшествий много.

Ночью — так около часу или позже, — только я задремала, меня разбудил звонок Симонова. Возбужденный, злой голос сказал:

— Лидия Корнеевна, мне звонил Пастернак. И я с ним поссорился. И я хочу перед отъездом дать вам насчет него некоторые распоряжения.

Он знал, что завтра (т. е. значит, сегодня) мы всё равно увидимся — но не мог дождаться. Так его взбесил Б. Л.

— Я зол. Потом перестану, но сейчас зол. Разговор был скверный. И распоряжение мое вам такое:

15/1 Кривицкий5 выпишет Пастернаку деньги. 16/1 пригласит его для подписания условия. Об этом вы ничего не должны ни знать, ни говорить Пастернаку. Это дело Кривицкого. От вас же я требую следующего: если Пастернак, вне зависимости от договора и денег, даст вам стихи 15-го — вы сдадите их в набор. Если же нет, если он принесет их 16-го — вы их не примете.

И, извинившись за поздний звонок, — бросил трубку.

Это распоряжение, а не беседа о — поэтому я демонстративно молчала. Но настанет время, и я скажу ему всё про это. Сейчас говорить было бесполезно.

Но как это безжалостно относительно меня! Как же это я, три раза прося у Бориса Леонидовича по поручению Симонова стихи и постоянно изливаясь в любви, — 16-го скажу ему, что я у него стихов не беру!

И как это неумно. Что он, воспитывать Бориса Леонидовича хочет, этике его учить? Он решительно не понимает, что выдавать Борису Леонидовичу деньги, устраивать дела Бориса Леонидовича у Храпченко, Александрова и пр. — есть его обязанность перед русской культурой, перед народом6. Он делает это как одолжение, за которое Пастернак должен быть благодарен. Он, очевидно, не любит и не ценит его как поэта. Не понимает масштабов.

Долго я не могла уснуть.

Сердилась я и на Бориса Леонидовича, которому совершенно не следовало ссориться с Симоновым. Не из-за чего и не для чего, в сущности. Если Симонов ему и не благодетель, то, во всяком случае, дурного он ему тоже не сделал и хотел хорошего.

Теперь надо просить Тусю7 дать совет. Как быть. Не исполнить приказа Симонова было бы бесчестно. Ответить Борису Леонидовичу отказом, если он принесет стихи позже назначенного срока, я не могу. Подумаем.

Мешает мне также и то, что Б. Л. на днях в одном телефонном разговоре сказал мне, что участвовать в подборке ему не хотелось бы, т. к. он не верит в количество и пр. ...Ах, так, значит, не из-за денег, а просто не хочет. Зачем же было раньше мне этого не сказать. <...>

5/1. 47.

1 -го я позвонила Борису Леонидовичу и поздравила его с Новым годом. Ни слова не спросила о стихах, о Симонове. Но он сам сказал:

—- Знаете, я звонил Симонову. Сначала я его поблагодарил за хлопоты и пр. А напоследок сказал ему грубость. Он мне стал жаловаться, как трудно вести сейчас журнал, как много подводных камней и мелей и пр. Я ему говорю: так что же вы об этом не пишете? об этих трудностях? какой же вы после этого редактор, общественный деятель? <...>

23/1. 47. Грязный, страшный день.

Прием в редакции.

Прием! Ни комнаты, ни стола, грохающая в спину дверь. Я чувствовала себя униженной и бессильной. <...> Пастернак. Давно я его не видела. Постарел. Поседел, облез. А лицо всё —- уже не глаза, а только рот. Безумствовал.

Что делать со стихами? Как быть? Правда, выход есть. Кри-вицкий вызвал его только 20-го по поводу денег, а Ивинской он сказал, что разрешает дать стихи —- раньше.

Но не только в этом дело. Я не пойму, что лучше для него.

28/1. 47. До семи часов ждала Кривицкого. <...> Он спросил о Пастернаке. Я ему показала «Март», в котором совершенно уверена. И вдруг: это невозможно.

—- Почему?

—- Навоз! Всему живитель8! Да это же целая философия! Я ужасно разозлилась и наговорила резкостей. Сказала Кривицкому, что он, наверно, вообще не любит стихов.

Он сообщил, что любит Ахматову, Лермонтова, Тютчева и что Пастернак гений, но...

Вошел Дроздов9. Этот чинуша мне давно не нравится. Кри-вицкий дал ему прочесть стихи Пастернака.

— Это — издевательство, — сказал Дроздов.

Звонил Пастернак. Что он хочет перёд сдачей посмотреть стихи. «Я от Недогонова (?) узнал, что вы собираетесь печатать, и очень вам благодарен» (как будто можно было сомневаться, что я решу печатать!) Мы условились, что я буду у него в субботу.

Ох, нелегкая это работа / Из болота тащить бегемота.

5/IL 47. <...> Самое главное — в субботу была у Пастернака. Впервые я у него в городе. Холодновато, порядок, просто, картины на стенах. Было тихо и пусто, только кухарка гремела кастрюлями в кухне. Кажется, впервые мы были так, один на один, и он говорил со мной пристально и с интересом.

Как он жив — как молод — какой огонь в глазах — и как во-семнадцатилетне движется — и как постарел.

— Конечно, может быть симбиоз с действительностью. Это — чаще всего. И — второй путь, который неинтересен, потому что все это уже написано у Пушкина10. А есть еще третий — помимо всего, поверх всего.

О Симонове:

«Мне нравятся его аппетиты. Остальные хотят только ЗИС, а этот — и Америку, и Японию -г- ненасытимо».

Пригласил на четверг к Юдиной слушать его прозу11! Он дал мне с собой на день статью о Шекспире. Статья гениальна, как «Охранная грамота». Хочется всю переписать или выучить наизусть12.

В понедельник, как условились, зашел за статьей в «Новый мир». Мы посидели за столом. В этот день — препоганая статья Фадеева, где опять он скучно лягает Пастернака (и Платонова)13. Я спросила Бориса Леонидовича:

— Что, он не любит ваших стихов и вас? Почему он так упорно занят этим?

— Ах, почему? Нет, любит. Не знаю, не знаю... А я нарочно показываю, что не желаю с ним знаться. Летом какие-то помещичьи голоса у меня на участке: Шуня с гувернером...14 Я открыл окно и нарочно закричал: «Эй вы, фадеевские! Тут и без вас люди живут!»

Скоро он ушел, обернувшись на меня от дверей. <...> В редакции на днях — два часа разговоров с Мартыновым, который мне тяжел и противен («Смердяковское в нем», — сказал Пастернак) и который плохо перевел милого Гидаша.

Завтра будет письмо от Симонова по поводу моей второй посылки ему: Мочалова, Пастернак и др. Была телеграмма. Жду неприятного письма. <...>

7/II. 47 В «Новый мир». Ольга Всеволодовна ушла гулять с Пастернаком с тем, чтобы зайти ко мне. Звоню домой — они уже ушли. <...> Да, в редакции письмо от Симонова. Неприятное, как я и ждала. О числах ни слова. Рассуждения о стихах Пастернака — хотя и мягкие и деликатные, но, в сущности, кривицкие: он споткнулся на том же навозе в «Марте» и на «всё сожжено» в «Бабьем лете». Что, мол, сожжено15? Господи, ясно что — раз речь идет о лете. Не Красная же площадь и Николаевский мост.

Он просит меня просить Пастернака переставить строфы в «Марте» и заменить всё в «Бабьем лете». Ну нет, этого не будет... Я попрошу Константина Михайловича договориться с Кривиц-ким, Дроздовым и пр. окончательно и потом передам их решение Пастернаку — но предлагать поправок я не буду. Пусть берут или не берут... Борис Леонидович звонил вечером, благодарил за письмо.

Приехал бы уж Симонов поскорее. 6 февраля 1947

...Пришла с работы домой, стала собираться слушать Пастернака*. В 6 позвонил Борис Леонидович, чтоб я спускалась. Голос отчаянный. Я спустилась. В машине Алпатовы16 и Ольга Всеволодовна17.

Едем минут 20. Огни, и московская бессмысленная дорога, которую даже снег не красит.

Борис Леонидович в машине говорит неустанно, — но нет, сейчас я уже и не пробую вспомнить.

Когда мы подъехали к какому-то стандартному безобразию, выяснилось, что никто толком не знает адреса, хотя Пастернак и Алпатовы тут бывали. Борис Леонидович все говорит о бензоколонке, от которой будет пятый дом. Выходит, суетится, торопится. Он очень сегодня нервен. Наконец Алпатов все разузнал, и мы подъехали к дому, а потом прошли по тропе, сбиваясь в глубокий снег.

Комната. В тесноте сидят люди, которых я не вижу. Возглас: «Лида!» — это Николай Павлович Анциферов18, остальных не вижу**. Страшная духота от неумеренного центрального отопления, форточка не помогает, тошнота от духоты, теснота, сижу на скамеечке, и затекают ноги, больному глазу больно от

* У Марии Вениаминовны Юдиной. ** Н. П. Анциферов всегда звал меня по имени; он был моим учителем в Тенишевском училище.

лампы, стоящей возле Бориса Леонидовича, пахнет керосином (это вчера травили клопов, но недотравили: они явно ползают по стенам).

Борис Леонидович говорит много лишнего, страшно ощущает духоту, тесноту, суетливость полной хозяйки дома, которой негде суетиться; он стирает со лба пот.

Наконец начал.

Нет, еще слова и слова о романе. Точно могу записать немногое:

— Такого течения, как то, которое представляет у меня Николай Николаевич, в то время в действительности не было, и я просто передоверил ему свои мысли.

Читает.

Все, что изнутри, — чудо. Чудо до тех пор, пока изнутри. Забастовка дана извне, и хотя и хорошо, но тут чудо кончается. Читает горячо, как будто «жизнь висит на волоске»*, но из последних сил.

Не понимаю, какие люди кругом. Мучаюсь духотой, кровь стучит в больной глаз, и глаз наливается болью. Передо мною все время это горячее лицо и какой-то, может кажущийся, но вполне ощутимый, его поворот ко мне. Он как-то читает не только всем вместе, но и мне.

Хозяйка, топчась и задевая спиной, плечами и ногами окружающих, самоотверженно и приветливо разносит бутерброды и, к счастью, вино.

Никто не говорит ничего интересного, а я просто молчу.

Борис Леонидович ждет слов; торопится домой и хочет, напротив, не уезжать, а оставаться и пить; хочет говорить и хочет, чтобы говорили другие. То, что говорит он, также гениально, как стихи и как лучшие страницы романа, но я все роняю, все теряю: всего слишком много для моего страха забыть.

Глаз колет зайчик от зеркала.

Какая-то седая дама (судя по выговору, актриса) произносит какие-то вялые пустяки.

Борис Леонидович читает стихи из романа. «Рождество»! «Рождество»!

Читает, как всегда, с интонациями, для меня неожиданными. Назад еду в машине Весниных19. И вот я дома. И пишу ему письмо.

* Неточная строка из стихотворения Ахматовой «Муза».

* * *

10/IL 47. К одиннадцати часам поплелась в редакцию. Холодно, пусто, ко мне явились совершенно никчемные авторы?

Потом пришла Ивинская и наговорила кучу сплетен о том, что Кривицкий обижается, что мы считаем его врагом стихов, и обвиняет нас в формализме.

Этого надо было давно ждать.

Где ему понимать, что Жаров — искусство бессодержательное, а «Март» Пастернака — содержательное.

Меня тошнило и от ее слов, и от того, что мою позицию защищает — она, с кем я никак не связана.

Затем было счастье: Борис Леонидович, обещавший прислать мне «Рождество» и долго хваливший меня за то, как я эти стихи определила (в моем письме), — прислал их не мне, а Ивинской. И я прочла эти гениальнейшие из гениальных стихов20.

20/II. 47. Так.

«Мы пришли к выводу, что стихов хороших все-таки мало. И решили давать не по три, а по одному».

Я не была готова к этому, а когда я не готова, то и беспомощна. Я не сказала ему, что это — удар по хорошим стихам, а не по плохим: плохие все равно останутся, а хороших становится меньше.

Алигер, Смеляков, Наровчатов.

Далее он изложил мне их резолюции.

Я очень протестовала на Наровчатова.

Кокетлив, товарищ, кокетлив. Он долго восхищался «Свечой» Пастернака21; потом толковал, что ее нельзя дать; потом сказал, что сам позвонит ему. Потом:

— Я, может быть, для того и затеял всем дать только по одному, чтобы Пастернаку было не обидно.

Потом опять говорил о своем сложном положении:

— Ну как печатать людей, если потом тебе не дадут возможности их защищать?

— И все-таки, — сказала я, — хотя люди и их судьбы — это очень важно, но у нас есть забота более серьезная: литература.

Но это не дошло.

И не может дойти. И может, и не права я, а самое важное в действительности, чтобы люди были живы. И сыты. И веселы. <...>

25/II. 47. Ивинская принесла дурные вести: вчера Фадеев выступал с докладом на сессии в Институте мировой литературы и громил Пастернака. Очень как-то (слово вырезано. — Е. Ч.): школка, немецкое; переводит удачно только сумбур чувств, а не политическое и пр.; «не наш», «пропащий»... Придя домой со всем этим сором в душе, я позвонила Борису Леонидовичу. Хотелось услышать его голос. Боже мой, теперь и переводить ему не дадут, ведь это — голод... Разговор был сначала незначительный, потом он сказал фразу, из которой я поняла, что он еще ничего не знает.

— Я звонил к одному из Александровских людей, Владыкину; спросил его: можно ли мне затеять с Чагиным22 однотомник и можно ли устроить открытый вечер? Мне показалось, он выслушал благожелательно-Интересно, как теперь поступит Симонов с Пастернаком. 3/IIL 47. С утра была в редакции, работала с Уриным, Ойс-лендером.

Потом Ивинская уговорила меня пойти на совещание молодых, послушать «руководящие» доклады. Я согласилась, желая сама, своими ушами послушать о Пастернаке

Кировский дом пионеров. Капусто с пылающими щеками. Мы втроем в бельэтаже — опоздали, — Фадеев уже говорит. За столом как-то кучей президиум: Михайлов, Маршак, Тихонов, Федин. Впервые я увидела Фадеева (видела в Казани, спала рядом на стульях, но тогда не разглядела). По-моему, очень неприятное лицо с хитрым и злым ртом и белыми глазами.

Говорит с темпераментом, умело, но, по существу, плоско и неумно. О Пастернаке мягче, чем я думала (говорят, ему сверху приказали слегка поприкрутиться), не по первому разряду, а по второму, но в достаточной степени гадостно. О немецкости — нет, о чуждости — тоже нет, но индивидуализм, бергсонианство, ничего, кроме «Девятьсот пятого года» и Шмидта, невнятица, не может ничего дать молодежи и пр. пошлости. (Странно: я уже всё просто забыла и мне смерть как скучно вспоминать.)

В перерыве мы спустились вниз. В вестибюле Алигер, Тушнова, Недогонов, Наровчатов — множество всякого народа. Мы пересели во второй ряд. Доклад Перцова о поэзии. Нескладно, приблизительно, невнятно, бездарно. Тоже о Пастернаке. Вот в 46-м году вышло «Избранное». Что же позволяет себе поэт печатать в этом «Избранном?» (Жду с замиранием сердца: что же?) Строфы, которые так трудны, что пробираться через них — неокупающийся труд. И цитирует совершенно понятное, легкое об Урале (без родовспомогательницы и пр.)23.

Если бы я взялась за это нехорошее дело, я бы исполнила его лучше. Мало ли у Пастернака действительной зауми?

Затем — доклад Симонова о драматургии.

Он должен был докладывать о поэзии, но уклонился.

Я должна признаться, что говорил он умно, и элегантно, и благородно — ни на кого не кидаясь.

6/IIL 47. Страшный поток людей и гранок — страшный — державший меня часов семь — без еды — в грохоте дверей, в куреве — нет, не могу — в физическом и душевном ужасе.

Ивинская приносит газету, где ругают Пастернака и почему-то настойчиво требует, чтобы я зашла к Музе Николаевне24.

Иду, после всего.

Муза Николаевна радушна, поит кофе. Муж ее литератор, — кажется, нуден25. Затея Ивинской: пригласить Бориса Леонидовича читать к Музе Николаевне.

Я звоню ему, приглашаю.

Чувствую во всем этом какую-то фальшь и глупость.

7/Ш. 47. Я с утра в редакцию — там уже ждет Симонов, запершись с Кривицким. Меня принимают; по движениям, по лицу, по голосу Симонова вижу, что он не в духе, замучен, холоден, на какой-то другой, чужой волне. Говорит отрывисто, официально... Передает мне стихи ленинградцев — рывками — и вдруг — вскользь:

— Знаете, Пастернака мы не будем печатать. Так.

— Только позвоните ему перед отъездом, К. М., — говорю я. — Скажите сами.

Он как-то неопределенно кивает. А Кривицкий взрывается:

— Незачем тебе звонить... я не ждал от него... крупный поэт... что он дал за стихи? ни одного слова о войне, о народе! это в его положении!

— Мне жаль, — говорю я, — что мы просили у него стихов.

— Нисколько не жаль! Просили, а печатать не будем! Нечего стоять перед ним на задних лапках!

— Разве не просить у него стихов — значит, стоять на задних лапках?

— Товарищи, товарищи, не надо, у нас еще много дела, — морщится Симонов.

Услышав новость о Пастернаке, Ивинская начинает реветь и ревет весь день, бездельничая, отказывая всем, ничем не помогая мне, — и я испытываю к ней отвращение.

Скоро двенадцать.

Написала письмо Симонову о Пастернаке. Надо успеть передать.

16/IIL 47. Вчера позвонил Пастернак. Благороднее нельзя было ответить на мое жалкое письмо. Он же еще меня и утешал.

«Всё это пустяки... Важно то, что Вы меня уважаете и я никаким другим не буду... А я сейчас очень рад. Я узнал недавно, что издательство (какое-то английское название) выпускает переводы русских классиков (перечисляет), а из советских (sic!) только два: я и Блок. Я эти переводы видел и знаете чему обрадовался — я думал, что у меня многие стихи вокруг рифмы, а смысла не имеют никакого — но оказалось, что в переводе без рифм, где один прозаический подстрочник, — смысл всё равно есть». (?!)

20/Ш. 47. Вечером пришла Ольга Всеволодовна с целым ворохом сообщений о Кривицком. <...>

Говорили опять о предстоящем чтении Пастернака у Кузько. Хозяин глуп и плосок. Общество неизвестно. Положение перед «Новым миром» щекотливое. Ответственность перед Борисом Леонидовичем большая и ложится на меня (в его глазах), хотя я нисколько не была инициатором, а только согласилась принять участие.

Не жду хорошего.

5 апреля 1947

Борис Леонидович читал главы из романа у П. А. Кузько. Чтение было устроено Ивинской. Из приглашенных ею помню И. С. Зильберштейна и некоего гражданина в американских брюках; как мне объяснили, это отец Игоря Моисеева. Присутствовали: хозяин дома, Кузько; его молодая жена; его прежняя жена — пожилая Муза Николаевна (секретарша К. М. Симонова). Был также Агапов26 и какой-то неизвестный мне актер — на «ты» с Борисом Леонидовичем. Я пригласила своих друзей: Т. Г. Габбе, Э. Г. Герштейн и П. А. Семынина27. Тамара Григорьевна заболела и не пришла, а мы трое сидели рядом.

Накануне я отговаривала Ивинскую устраивать чтение у Кузько, но она была неудержима.

Уже через несколько дней ненавистник Пастернака, Кри-вицкий, кричал в редакции нечто угрожающее о подпольных чтениях контрреволюционного романа.

5 апреля 47-го года Борис Леонидович, читая роман у Кузько, произнес небольшое предисловие. Мне удалось записать его речь стенографически:

«Я думаю, что форма развернутого театра в слове — это не драматургия, а это и есть проза. В области слова я более всего люблю прозу, а вот писал больше всего стихи.

Стихотворение относительно прозы — это то же, что этюд относительно картины. Поэзия мне представляется большим литературным этюдником.

Я, так же как Маяковский и Есенин, начал свое поприще в период распада формы, — распада, продолжающегося с блоков-ских времен. Для нашего разговора достаточно будет сказать, что в моих глазах проза расслоилась на участки. В прозе осталось описательство, мысль, только мысль. Сейчас самая лучшая проза, пожалуй, описательная. Очень высока описательная проза Федина, но какая-то творческая мета из прозы ушла. А мне хотелось давно — и только теперь это стало удаваться, — хотелось осуществить в моей жизни какой-то рывок, найти выход вперед из этого положения. Я совершенно не знаю, что мой роман представит собой объективно, но для меня, в рамках моей собственной жизни, это сильный рывок вперед в плане мысли. В стилистическом же плане — это желание создать роман, который не был бы всего лишь описательным, который давал бы чувства, диалоги и людей в драматическом воплощении. Это проза моего времени, нашего времени и очень моя.

Летом просили меня написать что-нибудь к блоковской годовщине. Мне очень хотелось написать о Блоке статью, и я подумал, что вот этот роман я пишу вместо статьи о Блоке28. (У Блока были поползновения гениальной прозы — отрывки, кусочки.)

Я подчинился власти этих сил, этих слагаемых, которые оттуда — из Блока — идут и движут меня дальше. В замысле у меня было дать прозу, в моем понимании, реалистическую, понять московскую жизнь, интеллигентскую, символистскую, но воплотить ее не как зарисовки, а как драму или трагедию».

5—6/IV. 47. Ну вот опять ночь, опять после Пастернака.

Теперь я уже не сомневаюсь, что мы вчера присутствовали при чтении «Войны и Мира».

Это «Война и Мир» нашего времени, на этом будут расти наши дети.

Это великая книга великого народа. И задача теперь в том, чтобы он ее дописал, чтобы его не сломали раньше. Только это. Бог с ним, с печатанием.

...Явилась нарядная Ивинская, и я отправила ее с машиной за Борисом Леонидовичем. Потом за мной зашел приглашенный мной Семынин и потом Эмма Григорьевна. И мы отправились.

Нельзя сказать, чтобы я с легким сердцем шла на это дорогое свидание в чужом, неизвестном обществе, о котором мне известно, что Кузько глуп и пошл, Муза нелитературна, а гости — кто их разберет. Но волноваться было поздно.

Мы столкнулись у лифта — Борис Леонидович с Ивинской и мы.

Он в летнем очень некрасивом старом рыжем пальто и широкополой, не идущей ему шляпе.

В его присутствии меня все режет. Плохие фотографии на стенах. Японские трофеи Музы Николаевны — безвкусные тарелки — американский ширпотреб — «под Японию», который она ему — ему! — показывает. Новые, только что вышедшие книги, отточенные карандаши и квадратики бумаги, нарочито разложенные на общем столе в комнате Кузько; тупое, неинтересное лицо его молодой сожительницы (бывшей воспитанницы Музы Николаевны).

Мы довольно долго ждем опаздывающего Агапова.

Большинство мне незнакомо. Очень подозрителен по части глупости и пошлости человек, одетый под англичанина, в каких-то полуспортивных брюках.

Семынин забился в угол, у него измученное больное лицо. В последнюю минуту пришел хорошенький неглупый и неуместный Зильберштейн. Тушновой нет. Эмма Григорьевна, у которой было все время очень чистое лицо, сидела возле меня.

Борис Леонидович сидел за отдельным столиком, под лампой.

Он начал говорить об искусстве. Я многое записала стенографически. Главная мысль была, что проза — наиболее совершенная форма словесного искусства. Это — театр, но тут нужен не драматург, а прозаик.

Потом он начал читать.

Будто все окна открыли, будто я вступила в какую-то новую, легкую и светлую жизнь.

Я слушала вторично и еще отчетливее понимала величие. И стихи — стихи его героя.

Те самые, которые могли бы сделать «Новый Мир» литературой. «Март», и «Бабье лето», и — бессмертная — Звезда Вифлеема («Рождественская Звезда»).

И тут разразился один из гостей. Он сказал сразу то, что, как объяснял мне по телефону Борис Леонидович, его больше всего огорчает: стихи лучше. Между тем они не лучше. «Медный Всадник» не лучше «Войны и Мира», а для восприятия — легче как более конденсированная форма искусства. Боже, что кричал сытым голосом пошляк. Борис Леонидович мельком сказал что-то такое о Маяковском, пошляк сказал: «Весь Маяковский не стоит одного этого стиха».

Самодовольный голос.

Во время чтения он иногда восклицал с места: «Вот это великолепно».

Я готова была его убить.

Я старалась скорее увести Бориса Леонидовича — я сама многое бы сказала, — но тогда заговорили бы и идиоты, и.мне хотелось только поскорее его увести.

Мы шли втроем по Тверской — по холоду, — он под руку с Ивинской и я на пристяжке.

Он был прелестен и жалок. Он будто не знает, что гений, и хочет, чтобы это ему повторяли. Он лепетал что-то, что собирается мириться с Фадеевым, потому что сын сказал ему, что ему кто-то сказал, что, если будет установлено, что он дурно влияет на молодежь, — ему капут.

А я думала о том, что после гениальной прозы можно уже не драться с Кривицким, а просто идти помимо него, куда-то выше.

15/IV. 47. День содержательный — и даже какой-то весенний, — и по-весеннему теснит где-то возле сердца. И не понять — хорошо или плохо или только тяжко.

С семи начала звонить Константину Михайловичу в «Новый Мир», по условию. Он вдруг сказал, что с текущими делами я могу придти сейчас. Я схватила заветную папку с подготовленными циклами и помчалась. Очень весенняя улица — хододно, сухо, зеленоватое небо, огни при свете — что-то не ленинградское, нет, но как отзвук забытого гимна. Константин Михайлович вышел мне навстречу из кабинета — располневший, приветливый, любезный, неторопливый. В кабинете был, конечно, Кривицкий.

— Что вы так располнели? — спросила я.

— Пито много было, — сказал Константин Михайлович. — И скучно очень.

Кривицкий сказал, что удаляется на пятнадцать минут.

— Чтобы утешить вас с нашими отношениями с Пастернаком, — сказал сразу Константин Михайлович, — я хотел вам сказать, что я звонил ему и на днях встречусь

и подробно буду с ним говорить. Я привез ему привет от его сестры и посылку из Англии29. <...>

Затем я передала Константину Михайловичу заветную папку и ушла.

Я торопилась в этот вечер на другое свидание — с Пастернаком.

Легкий, веселый, весенний, какой-то возбуждающий вечер.

Но чуть я уселась напротив Бориса Леонидовича за круглым, накрытым белой скатертью столом, в тишине пустой квартиры, в мутном блике картин, — меня сразу охватило чувство усталости и, главное, ненужности моего прихода.

Борис Леонидович надел очки, взял карандаш и бумагу.

Я читала какие-то десять стихотворений, потом поэму30.

Прежде чем начать, я просила, чтоб он не был снисходительным — как бывала ко мне и другим, например, Анна Андреевна. С ее высоты всё хорошо.

Заговорили о ней, и в сторону он сказал:

— Стихи ведь непонятно чем измеряются. Ахматова, как и Мандельштам, и Гумилев, думает, что есть «ремесло», «уменье». А я думаю, что... — и он заговорил о глубине и о раскрытии человека, о личности.

Я читала, он помечал что-то на листках. Я совсем не волновалась. Только мне казалось все ненужным, скучным, и почему-то было все равно, что он скажет. Он сказал:

— Вот и не правы мы оказались в начале разговора. Те ваши стихи хороши, где не только глубина, а есть и форма, и довопло-щенность, и красота.

Такими он назвал «Вишни», «Но пока я туда не войду...», «И все таки я счастлива...», «В трамвае...», «Свернула в боковую тьму...» — и «Поэму», а в других отмечал отдельные удачи: «Мертвая — равная...», «И зорче мы видим глазами...».

Обо всем он говорил доброжелательно и, вероятно, искренне, но во мне совсем не было радости, и я все время думала: «надо, надо бросить стихи».

(Как он сам у Скрябина о музыке31.)

Потом сидели, ели невкусный торт, разговаривали. Мне он казался очень усталым, очень обиженным, замученным. Рассказал о Крученыхе, который пришел его уговаривать написать какое-то заявление, о Зинаиде Николаевне, которая выступает в обычной презренной бабской роли: «ты губишь Леничку» — и пр. ...Потом говорили о Риме, о христианстве, и меня поразило сходство с Герценом и жаль стало, что он его не знает: такое родство (как у всего великого). Потом о народе, о неверности этой мерки «народ понимает» — «народ не понимает». Я сказала:

— Лучше бы мериться на Чехова, например. Понял бы Чехов или нет? Потому что Чехов есть орган понимания русского народа — он, а вовсе не пассажир метро.

Он чудно сказал:

— Конечно, все для народа и через него и от него. Но вы правы... А я, когда чувствую себя признанным, когда слышу отклик, — вот тогда я чувствую себя в долгу и хочу уметь в остаток жизни заслужить это незаслуженное мной признание.

Говорил еще о всяких своих намерениях, которые иначе не назовешь, как бредовыми: пойти к Фадееву, прочесть ему кусок из романа...

Он верит, что кто-то его будет беречь, он повторил несколько раз: «Ивинская сказала, что Замошкин сказал, что печатать можно. Как вы думаете?»

Бедняга! Стоит мне на минуту подумать о Кривицком... Или Ермилове.

16/IV. 47.

Да, вчера Борис Леонидович сказал:

«Мне необходимы такие чтения, как было. Для меня это наслаждение, почти физическое, чувственное. От лиц, от лампы и стола в комнате, от улицы, по которой мы шли».

12 мая 1947

Вечером позвонил Б. Л. Он и вчера звонил мне, но был крайне возбужден, устал и невнятен. Он сказал, что читал у Кон-чаловских, где должно было быть много народа. И не пришел никто, кроме Иванова с Комой, причем Иванов был недоволен романом. Все это он произносил весьма сбивчиво, голосом измученным.

Это вчера. А сегодня он звонил мне потому, что я вчера послала ему поэму*. О, если бы на кухне не кричали и я могла бы за-

* Речь идет о моей поэме «Отрывки», напечатанной в 1978 году в сборнике: Лидия Чуковская. По эту сторону смерти (Paris, YMCA-Press), а в 1992-м в сборнике «Стихотворения», вышедшем в Москве в издательстве «Горизонт» (Прим. Л. Чуковской).

писывать параллельно или, хотя бы, запоминать! Но именно от напряжения, от усилия ничего не забыть я и не в силах помнить. На этот раз я поверила голосу его и спокойным словам и теперь счастлива. На этот раз он говорил искренне: тут, конечно, щедрость, но, хочется верить, и искренность. Постараюсь записать хотя бы крохи, обрывки, пусть без связи, но зато — точно.

«Аскетическая, протестантски-скромная, но всюду свободная и смелая вещь».

«Это лучше стихов. Там только отдельные строки, а тут все: и "хранитель холода", и Нева, и "унеси же его, унеси", и ящик».

14 мая 1947

Пастернак — мне о разговоре с Симоновым в «Новом мире». (Я уже там в это время не работала.) Б. Л.:

— Я ему говорю: «Неужели вы не понимаете, что я беспартийный не случайно? Что же вы думаете, у меня ума не хватает, чтобы подать заявление в партию? Или рука правая отсохла? Неужели вы меня хотите заставить на пленуме это объяснять? Ну что же, я объясню, потом меня сотрут в пыль и вы будете иметь удовольствие при этом присутствовать...» Единственные были в нашем разговоре человеческие слова, это о встрече Симонова с моей сестрой в Англии. Она пришла к ним, когда их принимали в Оксфорде. Вошла женщина и с нею два мальчика. Симонов сказал: «Два красивые мальчика». И они говорят по-русски. Вот это меня потрясло... Значит, она их научила по-русски... Они родились и выросли там.

Далее:

— Я запретил Зине рассказывать мне обо всех запугивающих сплетнях и вообще разговаривать на эту тему. Я принялся за переводы и роман.

Ивинская показала мне письмо Гольцева к Пастернаку. Плоское, убогое, деревянное: «Ты — человек глубоко советский и нападения на тебя Перцова и Суркова32 меня не удовлетворяют (!) Ты советский, и я тебя люблю. Но ты дал повод врагам тебя хвалить. Ты подарил мне стихи из романа, которые можно истолковать как отклик на современность — и поэтому ты должен теперь выступить с присущей тебе искренностью» и т. д.

Сколько, однако, людей толкают сейчас Бориса Леонидовича под руку! Из письма Гольцева следует, на мой взгляд, одна-единственная несомненная истина: так как на свете много Голь-цевых и того больше Кривицких — нельзя раздавать направо и налево ненапечатанные стихи.

17 июня 1947

День начался счастливо: звонком Бориса Леонидовича. С отвычки — голос его, доброта, щедрость его и гениальность каждый раз кажутся чудом. И возраст — юность бьет ключом. И опять это мучение; не могу, не умею записать поток речи слово в слово.

Сейчас он переводит Петефи в каких-то огромных количествах, потом возьмется за «Короля Лира». А роман отложен. Это его гнетет. Я придумывала утешения. «Ведь вы не просто так работаете над переводами, ведь это ради романа, вы зарабатываете себе возможность писать свое, не отрываясь». Утешение, конечно, слабое: внутри роман пишется уже сейчас, а переводы уничтожают в Пастернаке Пастернака. Не мытьем, так катаньем, а умеют-таки помешать ему писать свое.

Я спросила о лесе.

— Какой лес! Я леса не вижу, не бываю в лесу, я перевожу без перерыва, и когда вечером выхожу к Зине и Ленечке — это одно тартюфство, потому что от работы я уже глух и слеп... Все кончилось. Когда я писал роман, я чувствовал вокруг себя особое племя, родное мне, с которым мне было не больно, а теперь все это осталось где-то далеко, как не бывало. Приезжал ко мне Асмус, с ним брат с женой, все привычные, милые люди: потом я был у Константина Александровича, там Алянский33, — все мудры и рассудительны. Мы пили водку. Я потом говорю Зине: «Вот и водка мне перестала помогать». А она говорит: «Это не водка перестала, а люди перестали».

Расспрашивал подробно и ласково о моем житье-бытье. Я рассказывала (конечно, не рассказывая).

— Заходил как-то ко мне Корней Иванович. Я ему говорил снова о вашей поэме. Корней Иванович мне: «Бедная Лида». А я ему: «Почему она бедная? Она живет по закону поэтов, как все мы». Вот и вышло, что я вас не пожалел.

25 июня 1947

Была у Пастернака. Дед послал за Henry James'oM. Борис Леонидович взял книгу у Деда и еще не успел прочесть, а Деду срочно понадобилась. «Скажи, что мне только на один день для справки, а послезавтра я ему пришлю ее снова».

Пастернак, голый до пояса, копался на самом солнцепеке.

Увидев меня, он ушел в дом одеваться и крикнул из окна сверху, что книгу должен поискать.

Я была принята на террасе самой Зинаидой Николаевной, чего прежде никогда не случалось.

На ковровой дорожке молча играет Леничка. Белоснежная скатерть; белоснежная панама на голове у хозяйки, цветы в горшках на полу, на подоконниках. Уют и покой.

У Зинаиды Николаевны много тучных плеч и очень много тучной, черной от солнца спины: она в сарафане.

Говорит она как-то странно — отрывисто — в сторону, — глядя при этом не в лицо собеседнику, а куда-то мимо.

Она спросила, что я думаю о пленуме и о положении Бориса Леонидовича. Не следует ли Пастернаку обратиться с письмом «наверх»?

Я сказала, что в таких вещах я плохой советчик: газет не читаю, о пленуме не думаю ровно ничего, но, по-моему, всякие письма «наверх» — бессмысленны.

— Пока Борис не сделает заявления, его дела не поправятся, — сказала Зинаида Николаевна с резкостью.

— Каким же заявлением можно опровергнуть чушь? — спросила в ответ я. — Чушь тем и сильна, что неопровержима. Единственный способ, по-моему, — это молчать и работать. Ведь вот молчит же в ответ на все клеветы Ахматова — и молчит с достоинством.

— Ах, Боже мой, нашли с кем сравнивать! Борис — и Ахматова! — Тут Зинаида Николаевна впервые взглянула мне прямо в лицо. — Борис — человек современный, вполне советский, а она ведь нафталином пропахла.

Лучше бы всего было сразу встать и уйти. Но как же — без книги? И тут как раз спустился сверху Борис Леонидович, сверкающий сединой, новым галстуком, щедрой

улыбкой, радушием, пододвинул свой стул к моему —и уйти сделалось уж совсем невозможно. Ушла не я, а Зинаида Николаевна. Пока мы разговаривали (или, точнее, все время, пока Борис Леонидович произносил не воспринимаемый мною монолог) Зинаида Николаевна таскала воду в огород. Плечи и руки у нее сильные, мускулы как у борца.

Борис Леонидович между тем рассказывал мне о молодой Марине. Что? Не помню. Я молчала и притворялась слушающей, но не слыхала ровно ничего. Зинаида Николаевна, уже невидимая, крикнула откуда-то издали, чтобы мы шли обедать. Прекрасный предлог проститься, но Борис Леонидович загудел, загородил мне дорогу, и я осталась. Перешли на другую веранду. Обедать я не обедала, но сидела. Обед прошел в полном молчании: Зинаида Николаевна и Борис Леонидович ели поспешно и друг с другом не разговаривая. Наконец я простилась — как будто для этого необходимо было дожидаться их последнего глотка!

Борис Леонидович проводил меня до калитки.

— Вы, кажется, чем-то расстроены? — спросил он вдруг, вручая мне книгу.

— Я? Нет.

— А вот Зинаида Николаевна все расстраивается из-за пленума. Она даже требует, чтобы я что-то кому-то писал. Но я читать их не могу, как же я им буду писать? Кланяйтесь, пожалуйста, папе.

22 июля 1947

Борис Леонидович встретил на улице Люшу и попросил, если я могу, чтобы я зашла к нему завтра в четыре. 24 июля 1947

Вчера к четырем я собралась было к Пастернаку, но без четверти четыре он внезапно явился сам. (Это что же — Зинаида Николаевна не желает меня более видеть? Ну и ну!) Борис Леонидович в белых одеждах, а лицо и руки перенасыщены солнцем. Мы втроем — он, Дед и я — сели за стол в тени под деревьями. И сразу начался разговор, мучительный своею незапоминаемостью. Ведь не запоминать и не записывать Пастернака — великий грех — а как запомнить? Запоминаешь только тему, не слова; или хуже: и слова запоминаешь, но не точно... Он прочел «Бурю» Эренбурга и «Необыкновенное лето» Федина. Кое-что все-таки записываю точно. О «Лете» сказал: «В пятом номере лучше, чем в предыдущих». (Ему хотелось похвалить Федина, но он не придумал — как.)

О «Буре»:

— Вы заметили? В наших романах живет и действует очень странное народонаселение. И такие поучительные происшествия случаются! Я не знаю, не могу проверить, существуют ли на Марсе марсиане, — быть может, да! — но эти не существуют наверняка.

Корней Иванович начал расспрашивать его о работе: Пете-фи, Шекспир... Борис Леонидович вместо ответа заговорил о переводах Маршака — хвалебно, восторженно и с какой-то странной запальчивостью:

— Я прочел Маршака, — сказал он. — То есть я его, конечно, и раньше читал и знал, но мало; я знал только, что он хорошо переводит. А теперь перечел и убит. Шут в «Лире» и сонеты!.. Сколько Для этого нужно было благородства и, главное, честности. Человек выбрал себе участок, на котором он — полный хозяин. Какая находчивость рифмовки, какие эпитеты... И я со своими дилетантскими переводами почувствовал себя проходимцем, самозванцем...

Мы рассмеялись.

В эту минуту к нам робко приблизилась маленькая, миленькая, кудрявенькая, голубоглазенькая Люся П.34, которую Борис Леонидович однажды уже посылал ко

мне с каким-то поручением. Теперь она явилась сюда как гонец от Зинаиды Николаевны: Борису Леонидовичу пора домой обедать.

— А он у нас пообедает, — сказал Корней Иванович.

Но поднадзорный Пастернак покорно встал. Дед и я пошли провожать его. Люся П. следовала за нами на почтительном расстоянии. Когда мы пересекли шоссе, Дед начал объяснять Пастернаку, что он, Корней Иванович, как это Борису Леонидовичу памятно («вы даже обиделись тогда на меня, Борис Леонидович!»), далеко не все принимает в его переводах, но тем не менее рад, что кроме маршаковских — отличных! — существуют и пастернаковские переводы Шекспира. «Там у вас такие взлеты — недосягаемые».

Борис Леонидович остановился вдруг посреди дороги и закричал, даже не закричал — заорал:

— Перестаньте, пожалуйста!.. Не говорите, пожалуйста, ничего. Взлеты! Я сам от себя должен узнать, что я — порядочный человек... А не от вас. Даже не от вас!

Выкрикивал он громко, с надрывом, с отчаяньем и даже приседал от натуги, словно камни выталкивал из горла. 3 октября 1947

Утром, когда я еще в постели, звонок Бориса Леонидовича. В трубке напор счастливого голоса. Он сдал «Лира».

— Я как-то летом заходил к вам и к Корнею Ивановичу и пустил такую унылую, минорную ноту. Так вот, я хотел сказать вам, что теперь все другое, я очень счастлив, и все хорошо. Все дело в том, что надо быть прилежнее и больше работать.

Он берется теперь за роман и обещает вскорости устроить чтение новой главы. О «Лире» сказал:

— Я его перевел совсем по-новому. Из него всегда делали шумную вещь, а она тихая, там шум только в одном месте, в ремарке.

12 октября 1947

Звонил Пастернак. Густой, тягучий звук наполнял и переполнял трубку. Выливался из трубки и наполнял комнату. Долго еще жил в комнате, уже умолкнув.

... — Звоню я вам потому, что сегодня запнулась моя работа над романом, а у вас на меня легкая рука... Да, да, это так... Сейчас я читаю книги о 14-м годе, но на втором часе чтения начинаю клевать носом. Я стал плохим читателем, я уже совсем не могу читать нечто вообще, понимаете? Заниматься вообще чтением, читать вообще книги... А эти меня возмущают, кажутся скукой и ложью, и мой роман представляется мне одной из форм протеста против них.

Затем он рассказал, что недавно вместе с Зинаидой Николаевной он побывал на «Дяде Ване».

— Ну и как?

— Да, да, да, это хорошая пьеса, пойдите непременно. И спектакль хороший, но с одной оговоркой. Понимаете, что с ним случилось? Он попал в руки Серебряковых: он поставлен Серебряковым, декорирован Серебряковым, сыгран Серебряковыми... Помните, у Чехова дядя Ваня говорит, что Серебряков 25 лет пишет об искусстве, ничего в нем не понимая? Вот это с «Дядей Ваней» и случилось. Все покрыто лаком, это спектакль для современных генералов и генеральш, это не имеет никакого отношения к Чехову. Но когда привыкаешь к чужому языку, видишь, что спектакль все равно хорош... Таково искусство, оно все равно остается собою даже и в дурных руках.

Я вам только что сказал, что Чеховым там и не пахнет. Это не так. «Дядя Ваня» и в пошлых руках все равно «Дядя Ваня». 19 октября 1947

Звонил Пастернак. Он прочел мою статью о Герцене35 (посланную мной накануне через Ольгу). Мне посчастливилось: во-первых, статья пришлась ему по душе, а во-

вторых (карандаш в минуту звонка был тут же, под локтем), я, наконец записала Пастернака дословно. Он говорил, а я писала.

— Браво, браво, браво! Это ведь так трудно: литература о литературе, а у вас вышло литературное произведение большой силы и легкости, хотя вы ступили на беговую дорожку, на которой оступился бы всякий... Вот я попытался когда-то рассказать о Гансе Саксе, и у меня ничего не вышло, а ведь был такой интересный материал. Вы написали о Герцене по-герценовски, это та же стихия, что он сам. Вы не теряете зрительное™ в изложении отвлеченной мысли.

— Но мою статью никто не желает печатать.

— Как вам не стыдно пользоваться такой меркой. А самого Герцена, вы думаете, сейчас напечатали бы хоть одну строку, будь он жив? Я не о мыслях его говорю, а о поэзии. Ведь и он и вы — инородное тело, органическое явление природы (значит, поэзии) среди неорганического, но организованного мира. Организованный мир вечно уничтожает органический. Организованный мир нюхом чует противоположность себе (чем бы она ни прикрывалась) и норовит все органическое уничтожить. 6 января 1948

Зал наполнялся. Входили слушатели, входили и усаживались за большой стол переводчики: Инбер, Обрадович. Рядом со мною по другую руку села Ольга Всеволодовна — раскрашенная, усмешливая, приветливая, фальшивая. Сразу же возле нее закружилась ее постоянная свита — Крученых и нарядненькая, маленькая, миленькая Люся П.

Входили и усаживались люди. Пришел и Борис Леонидович, которому сегодня читать. Пришли Мартынов, Замаховская и наш Коля36. Выступающие садились за стол, но Борис Леонидович прошел в публику и расположился возле нас, точнее — возле Ольги Всеволодовны. Весь наш ряд был уже занят, поэтому, чтобы оказаться лицом к ней, он сел на стул предыдущего ряда верхом — то есть спиною к столу выступающих. Со мной он сначала забыл поздороваться (что так противоречит его обычной доброте и внимательности), вспомнил через несколько минут и, прервав на полуслове беседу с весело ухмыляющейся Ольгой, выпалил со внезапностью:

— Здравствуйте, Лидия Корнеевна! Спасибо, что пришли. Я очень рад вас видеть. Как здоровье Корнея Ивановича? Перестали уже наконец над ним измываться?

Я никогда еще не видела его таким взбудораженным. Волновался он перед чтением, что ли?

Председательствующий, Николай Семенович Тихонов, предложил Борису Леонидовичу сесть за стол переводчиков. Зал был уже полон. Пастернак, шумно извиняясь и всем мешая, неуклюже пробрался между рядами и наконец сел за стол — с краю.

Вечер начался. Загорелый под сединою Тихонов с грубоватыми чертами лица, выражающими, как всегда, непреклонную готовность прямодушно резать правду-матку, произнес, как всегда, несколько кривых и пустых слов — в данном случае о дружбе между русским и венгерским народом. Потом говорил Гидаш. Этот мне нравится. Быть может, какой-то крупностью, не только физической? Быть может, каким-то неуловимым сходством с Квитко? Гидаш — как и Квитко (хотя на другой лад) — коверкает русские слова. Обычно я этого не терплю, но словам их обоих легкий чужеродный акцент придает почему-то обаяние. Речь затруднена, и уже одна эта затрудненность делает ее не пустою. Мы слышим труд мысли... Гидаш очень сердечно рассказал о судьбе и поэзии Шандора Петефи.

Потом началось чтение. По очереди поднимаясь на кафедру, переводы из Петефи читали: Обрадович, наш Коля, Вера Инбер, Замаховская, Мартынов.

Каждый по два стихотворения. Каждого усердно снимал фотограф.

Я слушала и думала: «Как высок у нас, однако, уровень перевода». Изо всех читающих плох оказался один Обрадович. Все остальные — на уровне, а наш Коля и Леонид Мартынов даже хороши. Слушаешь их и любишь Петефи. Слышны стихи.

Поднимались на кафедру по очереди — как сидели. Наступила очередь сидевшего последним — Пастернака.

Тихонов назвал его имя. Аплодисменты.

Борис Леонидович встал. Аплодисменты.

Пастернак не взошел на кафедру, как другие, он сделал один шаг вперед — навстречу переполненному залу.

В начале вечера, когда он сидел неподалеку от меня, — он, как обыкновенно, казался мне моложавым. Наверное, с мороза. А сейчас я увидела серое, осунувшееся, постаревшее лицо — запавшие глаза, синие губы.

Нет, не синие губы, трагическое выражение рта.

Чуть только сделал он шаг вперед, сразу к самому его лицу придвинул свой аппарат фотограф. Борис Леонидович отмахнулся от света, как от мухи.

— Меня не надо фотографировать, — громко, с вызывающей брезгливостью сказал он. — Я не знатный. Снимайте лауреатов. А мне не мешайте читать.

Фотограф не смутился и все-таки щелкнул.

Пастернак начал читать. И сразу все те хорошие переводы, которые читались здесь только что, перестали быть поэзией, переводами стихов, вообще чем-нибудь. Я не знаю, было ли поэзией то, что читал он. Но голос его был трагедией. «Недаром славит каждый род / Смертельно оскорбленный гений»*. И лицо трагедией. Явление обнаженной трагедии — народу.

Лицо и голос открывали себя нам навстречу. Всем вместе и каждому из нас.

* Строки из стихотворения А. Блока «В огне и холоде тревог».

Слушатели подолгу рукоплескали после каждого стихотворения. Рукоплескали — ему. Рукоплескали существованию на свете Пастернака.

Переводчики, сидевшие за столом, сделались не более чем фоном явления поэта. Они перестали быть не только поэтами, но даже людьми. Тем более что они были единственными, кто не хлопал. Они казались неодушевленными, как, например, кафедра, графин или стол. Духом и жизнью был один Пастернак.

В ответ на аплодисменты Борис Леонидович полуобернулся к Тихонову. Спросил через плечо:

— Можно я прочту еще две вещи? Зал примолк, выжидая.

— Пожалуйста.

Снова грянули аплодисменты. И когда Пастернак прочел еще две вещи и сел — зал рукоплескал, не стихая, минут пять.

Но Борис Леонидович не читал больше. Вечер и так превратился из вечера Петефи в вечер Пастернака.

Тихонов объявил перерыв. Во втором отделении — музыка.

В перерыве Пастернак снова подошел к нам. Не к нам — к Ольге Всеволодовне. Он говорил только с нею, смотрел только ей в лицо, но говорил так громко, будто обращался по-прежнему ко всему залу.

(Люди в это время — кто стоял, кто сидел, кто уходил покурить. Но оборачивались.) Длился монолог Пастернака. Лицо у него было мученическое. Он произносил слова с такою глубиною искренности, что казался позирующим или нарочито изображающим искренне исповедующегося человека в каком-то спектакле. Я подумала: «Он сейчас заплачет». Об этом он и заговорил...

— Я — человек отвратительный, — сказал он. — Мне на пользу только дурное, а хорошее во вред. Моему организму вредно хорошее. Право, я словно рак, который

хорошеет в кипятке. Случается вот что: я читаю и вдруг вижу у всех в глазах, что они понимают меня, что они видят своими глазами все, про что я говорю. И у меня сразу начинает першить в горле от слез... — Он пошевелил пальцами в воздухе, стараясь показать, как першит. — Читать надо с легкостью, как бы шутя, а я так не могу. Мне мешают слезы.

Он вцепился в обе руки Ольги Всеволодовны. Их лица были почти на одном уровне, и страшно было видеть ее раскрашен-ность рядом с его обнаженностью.

— Вы прекрасно, прекрасно читали, — сказала ему в утешение Люся П. — Совсем как настоящий артист. Профессионально.

— Борис Леонидович, — спросила Ксения Некрасова37 — а почему вы не читаете свои стихи? Вам запрещено?

4 мая 1948

Дурные вести: новое издание «Девятьсот пятого года» разобрано после гнуснейшей статьи в «Октябре»38. Впрочем, бродят какие-то слухи о допущенных «перегибах» и грядущем «переломе». Да, если бы человек жил не 60—70 лет, а 200, то поэтам бояться было бы нечего: ведь полное собрание сочинений Бориса Леонидовича и Анны Андреевны выйдут, в сущности, совсем скоро. Я за них не беспокоюсь.

10 октября 1948

Ирина Владимировна Воробьева, редакторша Детгиза, рассказала мне, что по какому-то случаю Егорова, заведующая отделом классиков, кричала ей о Пастернаке: «Зачем вы пригреваете этого насквозь антисоветского человека? этого шизофреника?»

13 октября 1948

Я побывала у Барто39, которая вытребовала меня к себе, чтобы я помогла ей разобраться в вариантах ее поэмы к тридцатилетию комсомола. Живет она в писательском доме, в Лаврушинском переулке, на той же лестнице, что и Пастернак.

Оказывается, Агния Львовна чуть не влюблена в Пастернака, «это мой идол», читает наизусть его стихи, пересказывает свои разговоры с ним и пр.

— Но, Лидия Корнеевна, скажите мне, почему, объясните мне, почему он не напишет двух-трех стихотворений — ну, о комсомоле, например! — чтобы примириться? Ведь ему это совсем легко, ну просто ничего не стоит! И сразу его положение переменилось бы, сразу было бы исправлено все.

6 июня 1952

Я вместе с Наташей Роскиной40 в гостях у Вани41. Мне вдруг приходит на ум позвонить Борису Леонидовичу — ведь он от нас отделен всего тремя этажами! И в ответ обрадованный милый голос:

— Хорошо, через 10 минут я спущусь.

У нас суета. Наташа демонстративно пудрит нос, Вова42 заряжает аппарат, Ваня, моря нас со смеху, кричит:

— Подайте мне все мои ордена! — и взамен орденов Вова подает ему свою игрушечную позолоченную саблю.

Приходит Борис Леонидович. «Эра эта проходила в двери»*. Это он написал:

Чтоб тайная струя страданья Согрела холод бытия43.

Он:

«А кто вы такие? — спросила Мария»44.

Он: о пейзаже разлуки в этюде Шопена, где выражению подлежало не только нырянье саней по ухабам, не только плывущие белые хлопья и свинцовый черный горизонт, но и «кропотливый узор разлуки».

Я очень давно не видела его. Молодость, студенческость сделались в нем еще заметнее, еще разительнее — молодость движений. Движется он как мальчик. Но седина побелела, он сильно похудел, говорит напряженно, и лицо у него — больное.

Мне он сказал:

— Это, конечно, звучит нехорошо, как «вчера у нас пирог был, а вы не пришли», но я вчера читал свой роман, а вас не было. Я думал о вас, но не позвал.

— Когда же я прочитаю?

— Не беспокойтесь, вот кончу и буду навязывать вам, не отвертитесь. Ведь я пишу роман для немногих, и вы — одна из них.

Перескакивал с предмета на предмет. Ему, наверное, так же трудно разговаривать со всеми вместе, как и мне. Вова сфотографировал сначала всех, а потом Бориса Леонидовича. Пришел Талик Халтурин45, бородатый. Борис Леонидович говорил с ним очень нежно. Потом нежно говорил о Вове46, когда тот на минуту выбежал в кухню.

И скоро ушел.

8 мая 1954

Я видела их обоих вместе — Ахматову и Пастернака. Вместе, в крошечной комнате Анны Андреевны. Их лица, обращенные друг к другу: ее, кажущееся неподвижным, и его — горячее, открытое и несчастное. Я слышала их перемежающиеся голоса.

Вообще слишком много сегодня: я слышала новые куски «Поэмы».

Все это во мне остро и живо, как незаслуженное внезапное счастье, обернувшееся бедой... Какой-то пир горечи, жалости и гнева. Может быть, записывать следовало бы не сейчас, а поз-

* Строка из поэмы В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин».

хсе, когда все уляжется и понимать я буду яснее. Но я боюсь утратить верный звук. Лучше уж запишу сразу — пусть неразборчиво, комом, подряд.

Анна Андреевна приехала сегодня и позвонила. Ранним вечером я помчалась к ней.

...Поспешно, без обычных расспросов и пауз, вынула из чемоданчика экземпляр «Поэмы» (на машинке и в переплете) и стала читать мне новые куски...

В столовой раздался телефонный звонок. Никто не подходил. Я подошла.

— Это вы, Анна Андреевна?-— спросил Борис Леонидович.

— Нет, Борис Леонидович, это Лидия Корнеевна.

— Наконец-то я вас слышу! Вы еще не уходите? Не уходите, пожалуйста, я через полчаса на 10 минут зайду.

Этого получаса я не помню.

Он пришел. В присутствии их обоих, как на какой-то новой планете, я заново оглядывала мир. Комната: столик, прикрытый потертым платком; чемоданчик на стуле; тахта не тахта, подушка и серое одеяло на ней; ученическая лампа на столике; за окном — нераспустившиеся ветви деревьев. И они оба. И ясно ощущаемое течение времени, как будто сегодня оно поселилось здесь, в этой комнате. И я тут же — надо уйти и нельзя уйти.

Комната наполнена его голосом, бурным, рокочущим, для которого она мала. Голос прежний, да сам он не прежний. Я давно не видала его. Все, что в нем было восторгом, стало страданием. «Август»:

То прежний голос мой провидческий Звучал, не тронутый распадом...

Голос прежний, нетронутый, а он — тронут, уже тронут... чем? болезнью? горем? Его новый вид и смысл пронзает мне сердце. Никакой могучей старости. Измученный старик, скорее даже старичок. Старая спина. Подвижность, которая еще недавно казалась юношеской, теперь кажется стариковской и притом неуместной. Челка тоже неуместна. И курточка. А измученные, исстрадавшиеся глаза — страшны.

«Его скоро у нас не будет» — вот первая мысль, пришедшая мне на ум.

Войдя, он снял со стула чемодан, сел — и сразу мощным обиженным голосом заговорил о вечере венгерской поэзии, устроенном где-то за Марьиной рощей, нарочно

устроенном так, чтобы никто из любящих не мог туда попасть; афиши были, но на них стояло «вход по билетам», а билеты нарочно разослали учащимся втузов, которым неинтересно.

— Вечер из серии: «лучше смерть», — сказала Анна Андреевна.

— Да, да, и они роздали свояченицам...

Но бросаю — пересказывать речь Пастернака нет возможности, и я не берусь, это не Анна Андреевна. В его монологе были Ливанов, юбилей, Тихонов, кучера с ватными задами, вечер «Фауста» в Союзе писателей, где он, Борис Леонидович, заплакал, читая сцену Фауста с Маргаритой... И многое, многое еще, чего и пытаться не могу воспроизвести. Да и слушала я плохо, такую я чувствовала острую жалость к страданию, глядящему из его глаз.

Я спросила, как роман. Он сказал, что сейчас на несколько дней отложил роман, потому что занят срочной работой: переделывает «Фауста» для охлопковского театра. И стал объяснять нам, как именно он его переделывает.

28 января 1956

...Иду на поезд. В одной руке чемоданчик, в другой — муфта, которой я прикрываю от ветра лицо. Метель пастернаковская, и там, с левой стороны дороги, березы наряжены тоже в пастер-наковский иней. «Мело, мело по всей земле / Во все пределы», а платок поверх шубы и шапки упорно наползал на лоб и хуже встречного снега мешал мне глядеть. И вдруг я вижу, навстречу человек — большой, широкий, в валенках. Хозяин здешних мест и метелей — Пастернак. Я бросила в снег чемоданчик и муфту, он — рукавицы, обнял меня и поцеловал прямо в губы. Потом поднял все мое, подал — «Я немного провожу вас» — и пошел рядом. Я смотрела на него сбоку, искоса, платок и снег мешали видеть ясно. Кажется, он похудел, лицо заострилось. Он сразу заговорил о романе: «Шестьсот страниц уже. Это главное, а может, единственное, что я сделал. Я пришлю рукопись Корнею Ивановичу, а потом вам».

Я спросила про театр.

— «Малый» поставил «Макбета». Мне с ними легко, потому что они мне менее родственны, чем МХАТ. Они просто хорошие люди, хорошие актеры — Царев, Гоголева, - ав отношениях моих с МХАТом наличествует некий лунатизм.

Слева началась новая цитата из Пастернака: кладбище. Сам он обрастал снегом, белел, круглел, ширел, шапка и плечи в снегу, не человек — сугроб. Он спросил меня, что я делаю. Я ответила: пишу сценарий о Шмидте — и добавила, что Зинаида Ивановна, оказывается, еще жива47.

Он остановился и потер рукавицей лоб. Снег полетел между нами. «Зинаида Ивановна?— повторил он. — Жива?» — «Да, — сказала я, — она, говорят, сейчас работает медицинской сестрой в каком-то ванном заведении в Крыму». Мне казалось, он все не понимает. «Та самая, Борис Леонидович: "однако как свежо Очаков дан у Данта"»48.

Он понял, помычал от удивления (в самом деле, то, что Зинаида Ивановна жива, так же удивительно, как если бы вдруг оказалась жива другая дама из другой эпохи — например, Наталия Николаевна Пушкина), и мы пошли дальше. Идти навстречу ветру в гору было трудно, он взял у меня из рук чемоданчик. Заговорили об ожидаемой «Литературной Москве».

— Нет, нет, никаких стихов. Только «Заметки о Шекспире», да и те хочу взять у них. Вышло у меня с ними так неприятно, так глупо... Какая-то странная затея: все по-новому, показать хорошую литературу, все сделать по-новому. Да как это возможно? К партийному съезду по-новому! Вот если бы к беспартийному — тогда и впрямь ново. У меня с ними вышла глупость. Я такой дурак. Казакевич прислал мне две свои книжки. Мне говорили: проза. Я начал смотреть первую вещь: скупо, точно. Я и

подумал: в самом деле. В это время я как раз посылал ему деловую записку, взял да и приписал: «Я начал читать Вашу книгу и вижу, что это прекрасная проза». И потом так пожалел об этом! Читаю дальше: обычное добродушие... Конечно, если убить всех, кто был отмечен личностью, то может и это сойти за прозу... Но я не понимаю: зачем же этот новый альманах, на новых началах — и снова врать? Ведь это раньше за правду голову снимали — теперь, слух идет, упразднен такой обычай — зачем же они продолжают вранье?

Мы взошли на гору. Он умолк и на мои попытки продолжать разговор отзывался вяло. Я почувствовала, ему уже не хочется идти рядом со мной, а хочется туда, куда он спешил до нашей встречи. Он как оскудевающий ручей, который вдруг начинает просыхать, утекать в землю. Он ведь случайно встретил меня, случайно пошел рядом. Теперь он оскудевал...

— Вы похудели и потому стали похожи на Женю, — сказала я, не зная, что сказать.

Ответ прозвучал неожиданно:

— Разве Женя красивый? Я не нашлась...

...Он поставил мой чемоданчик в снег, повернулся и побежал с горы вниз, и уже из далекой сплошной белой мути я услышала басистое, низкое, мычащее: «До свиданья!»

14 февраля 1958

Забегалась — заработалась — сбилась с ног — со сна — с толку... Борис Леонидович болен... Опять, по-видимому, непорядок с почками, страшные боли. Зинаида Николаевна потеряла голову. Быть можег, задет какой-то нерв позвонка. Ездят три профессора в день, а самые простые анализы не сделаны и диагноза собственно нет. Боль лютая, он кричит так, что слышно в саду. Сказал Корнею Ивановичу, который был у него три минуты: «Я думаю, как бы хорошо умереть... Ведь я уже сделал в жизни все, что хотел... Только бы избавиться от этой боли... Вот она опять...» Возле него, в помощь Зинаиде Николаевне, две деятельные женщины: Тамара Владимировна Иванова и Елена Ефимовна Тагер49. Дед бился дней пять, писал и звонил в Союз, в Литфонд, пытаясь устроить Пастернака в хорошую больницу, в отдельную палату. Все было неудачно, пока он сам не поехал в город к некоему благодетельному Власову (секретарю Микояна). В конце концов удалось устроить Бориса Леонидовича в больницу ЦК партии и, кажется, даже в отдельную палату.

22 апреля 1958

Поднимаясь по лестнице к Деду, я на мгновение остановилась, чтобы перевести дух. И сразу наверху голос: горячий, глуховатый, страстный голос Бориса Леонидовича.

К сожалению, у Деда были: Ираклий50, которого не терпит Пастернак, Оля Наппельбаум и Наталья Константиновна Тренева. Так что мое свидание ни с Дедом, ни с Борисом Леонидовичем, в сущности, не состоялось. Но с Дедом я рассчитывала вечером увидеться наедине, а сейчас во все глаза смотрела на Бориса Леонидовича. И слушала во все уши.

Я зашла на середине монолога. Как всегда, запомнить бурный водопад его речи мне оказалось не по силам: словесные шедевры, рождаемые в кипении и грохоте, шли вереницей, один за другим, один уничтожая другой; зрительное сравнение здесь, пожалуй, более уместно: они шли, подобные облакам, которые только что напоминали гряду скал, а через секунду превращались в слона или змею.

Он говорил об искусстве (я застала конец); о Рабиндранате Тагоре (по-видимому, бранил); о письме, полученном на днях из Вильно от какого-то литовца, который его, Пастернака, призывает срочно устыдиться романа по причине успеха на Западе.

Мое первое впечатление было, что выглядит он отлично: загорелый, глазастый, моложавый, седой, красивый. И, наверное, оттого, что он красив и молод, печать

трагедии, лежащая в последние годы у него на лице, проступила сейчас еще явственнее. Не утомленность, не постарелость, а Трагедия, Судьба, Рок.

И еще новизна: его отдельность. Ото всех. Он уже один — он ото всех отделен. Чем? Сиянием своей гениальности?

Но это мощное и щедрое свечение исходило от него всегда. Чем же? Судьбой, Роком? Обреченностью?

По-своему, на свой манер, лицо у него, вопреки загару и здоровью, не менее страшное теперь, чем у Зощенко. Но, глядя на того, сразу замечаешь болезнь. Михаил Михайлович худ, неуверен в движениях, у него впалые виски и жалкая улыбка. Он — «полуразрушенный, полужилец могилы»*. А Борис Леонидович красив, моложав, возбужден, голосист — и — гибель на лице.

Впрочем, подсев ко мне поближе и понизив голос, он пожаловался не на что иное, а именно на болезнь. Болит нога.

— Сильно болит? — спросила я. -Да.

— Зачем же вы выходите в такую мокрую погоду?

— Эта боль больше погоды, больше всего, погода перед нею мелочь...

Он взял у Деда «Свет в августе» Фолкнера, шумно и весело простился с хозяином и гостями и вышел. Я проводила его до ворот. Он спешил.

26 октября 1958

Длится пастернаковская страстная неделя.

Сегодня «Правда» спустила на Пастернака Заславского.

Этот «публичный мужчина», если воспользоваться терминологией Герцена, из тех, кто торгует красой своего слога, призван, видите ли, напомнить Пастернаку (он — Пастернаку!) о совести, о долге перед народом.

Все тонет в фарисействе...

Все это давно уже нашло свое изображение в 66-м сонете Шекспира и в «Гамлете» Бориса Леонидовича.

Где-то он сейчас? Что с ним? Каково ему?

Глядят на меня с газетных страниц кавычки — излюбленный знак того жаргона, на котором изъяснялись у нас журналисты

* Первая строка из стихотворения А. Фета.

палачествующего направления; так и вижу через десятилетия: «деятельность» — в кавычках, «группка» — в кавычках, «школка» — в кавычках; теперь: «награда» — в кавычках, «мученик» — в кавычках.

Только два слова — враг народа — всегда употреблялись без кавычек. И еще два: внутренний эмигрант. 27 октября 1958

Может ли Борис Леонидович чувствовать себя оскорбленным статьей Заславского?

В 1938 году у меня был один спор с Г.: ощущает ли человек, когда его бьют в кабинете следователя, оскорбленность? или одну только боль? Я говорила — да, ощущает оскорбление, Г. говорил — нет. «Представь себе, — объяснял он, — что ты идешь по улице и тебя за ногу кусает собака. Рана глубокая, укус гноится, у тебя гангрена, ты страдаешь, ногу отнимают, ты остаешься калекой. Естественно, ты чувствуешь себя несчастной, но — оскорбленной ли? Оскорбить человека может, — говорил он, — только человек; кирпич, упавший на голову, наносит рану или смерть, но не наносит оскорбление».

Заславский, рядом с Борисом Леонидовичем, да и просто с любым порядочным человеком, всего лишь собака, науськиваемая на... Может ли Борис Леонидович чувствовать себя оскорбленным?

Да, я думаю, может. Потому что Заславский, какой бы он там ни был, все-таки человек. И потому, что побои эти наносятся словом и слова читают не собаки, не кирпичи, а люди...

Звонила в Переделкино. Деду хуже. Давление не снижается. Сна нет. Не потому ли, что там побывал Коля и заразил его общим страхом, царящим в Союзе писателей? И своим собственным в придачу — за то неловкое положение, в которое попал Дед?

Я-то считаю, что Дедовым поступком, совершившимся вполне естественно, следует гордиться, а как думает Коля — Бог весть.

К вечеру в городе распространился слух: Пастернак исключен из Союза писателей. Какой-то президиум собрался и исключил. Или правление. Черт их знает. У нас сейчас много правлений, я не в состоянии запомнить, что — что и кто где.

Но как бы там ни было, я — член Союза, стало быть, и я исключила его.

Когда исключали Ахматову, мне было легче. Не потому, упаси Боже, что мы тогда, после ссоры, еще не начали снова встречаться, и не потому, что я любила ее поэзию меньше, чем стихи

Пастернака. Нет, речь Жданова меня оскорбила, унизила — за нее, за нас всех, за Россию.

Но тогда мне было все-таки легче: я не была еще членом Союза.

А теперь — теперь — я тоже в ответе.

Пастернак называл меня своим другом. У меня есть его фотография с надписью: «Большому другу моему...»

Он возил меня на чтения своего романа. Он доверял мне.

Да если бы и не друг! Какая огромная часть созданного им мира стала моим!

Постоянно становится мной*...

Не становится — стала... И «Отплытие», и «Приедается все», «Не как люди, не еженедельно», и речь Шмидта, и «Я тоже любил, и она жива еще», и вся «Сестра моя жизнь», и «Рослый стрелок, осторожный охотник», и «В больнице». Всего не перечесть. И «Август», и «Гамлет», и стихи из романа...

28 октября 1958

С утра, встревоженная состоянием Деда, я поехала в Переделкино. Он лежал у себя на диване, укутанный одеялом по самое горло: балконная дверь полуоткрыта.

Глаза несчастные, потому что работать нельзя, и три ночи не спал, и, конечно, Пастернак, Пастернак.

Думает он, разумеется, только о том, что случилось. Эти мысли подняли давление, лишили его сна, уложили в постель. Не знаю, известно ли ему уже, что Пастернак вчера исключен из Союза?..

Я читала ему вслух какой-то роман Томаса Гарди, из середины, с того места, где кончила Клара51, не понимая ни единого слова, но «с толком, с чувством, с расстановкой». Он сначала будто вслушивался, потом опустил веки. Я отмахала еще страницы три и вгляделась в него, как столько раз вглядывалась в это засыпающее лицо в детстве. Спит? Притворяется? Хочет, чтобы я ушла? «Иди, иди, Лидочек, я сплю», — пробормотал он, и я вышла.

Спустилась, побродила по мокрому снегу и вдруг поняла, что я сейчас сделаю: пойду к Пастернаку.

Я с жадностью ухватилась за эту мысль.

По ту сторону нашей улицы, между нами и воротами Сель-винских, у обочины стояла машина. «Победа», что ли? Она и утром, когда я пришла со станции, была тут же; я еще подумала тогда:

* Строка из поэмы Д. Самойлова «Ближние страны».

вот кто-то приехал мешать Деду, надо не пустить, а может быть, это к Сельвинским? И сразу же забыла про нее. Сейчас я рассмотрела четверых одинаково одетых мужчин, погруженных в чтение одинаково раскрытых газет. На меня они даже и не взглянули, но, идя своей дорогой к шоссе, я все время чувствовала затылком провожающие меня восемь глаз.

Я свернула на шоссе, потом на улицу Пастернака, имеющую наглость именоваться улицей Павленко. Тут, за поворотом, я им уже не могла быть видна. Зачем они там торчат? Объект наблюдения — Дедова дача? Вряд ли. На пастернаковской дороге пусто, никого. Заборы слева, канава и поле справа. Бесконечно тянется фединский забор. Я никогда не думала, что он такой длинный. Что я скажу Борису Леонидовичу? Как перенесу сегодня обычную грубость Зинаиды Николаевны?

Сегодня этот короткий путь казался мне удивительно длинным. Я шла мимо глухих заборов, по пустой дороге, мимо канавы и поля. Кругом — никого. Но, к стыду моему, страх уже тронул меня своей лапой. Я чувствовала, что не они, а я сама уже подозрительно кошусь на кусты, на канаву, на знакомую тропу, пересекающую поле... Так, наверное, ходят люди по дорогам оккупированной местности: все свое, родное, знакомое и в сущности ничем не измененное, оно вдруг становится источником страха.

Подойдя к воротам, я каждую секунду ожидала окрика: «Стой!» *

Толкнула калитку. Вошла. Во дворе пусто; я подалась к боковому, правому, кухонному крыльцу. «Дома Борис Леонидович?» — «Дома». Работница побежала сказать ему и, вернувшись, объявила: «Идите через двор, он вышел вам навстречу». Он в самом деле шел по двору, вглядываясь в меня и не узнавая. Серая куртка, серые брюки, заправленные в сапоги. Узнав, убыстрил шаг и обнял меня.

— Исключили?—спросил он. Я кивнула.

— В газетах уже речи... и всё? У нас еще не было почты.

— Нет, только самое постановление. Я поглядела мельком.

* Как я узнала впоследствии от Вячеслава Всеволодовича Иванова, прямо напротив дачи Пастернака в этот день и еще 2-3 дня спустя дежурил «виллис», оснащенный подслушивающими приборами. Стоял он по другую сторону поля, мимо которого я шла (то есть довольно далеко), потому я его и не видела.

Он повел меня в дом. Помог снять пальто. Мы вошли в комнатку налево, маленькую, где только рояль, а на стенах — рисунки отца.

Усадил меня, принес другой стул и сел прямо напротив. В ясном дневном свете я увидела желтоватое лицо, блестящие глаза и старческую шею.

Он заговорил, перескакивая с предмета на предмет и перебивая себя неожиданными вопросами:

— Как вы думаете, и Лёне они сделают худо?

— Как вы думаете, у меня отнимут дачу?

Рассказал, что вчера поехал в город с намерением явиться на собрание, но в городе ему сказал кто-то, будто состоится общее собрание, и он решил не идти («На это сил нет»). Наспех написал записку, что не может прийти, потому что почувствовал себя дурно. Что отказывается от премии в пользу Комитета Мира. Что просит дать ему время — недели две, чтобы обдумать свое положение. Но что он решительно не согласен считать честь, ему оказанную, позором... Едва он успел вернуться в Переделкино, приехала на машине литфондовская докторша.

— Как вы думаете, почему ее послали? Потому что я написал о своем здоровье? Послали врача — лечить?

— Да, по-видимому, — сказала я без уверенности. — Это называется «беспощадность к врагу» в сочетании с «заботой о человеке».

— А мои близкие говорят, это была проверка: в самом ли деле я болен.

— И что же оказалось?

— Давление повышено... А знаете, — сказал он с раздумьем, взяв меня за руку и близко заглянув мне в глаза, — мои друзья, Ивановы, говорят, что мне следует уехать отсюда в город, потому что здесь, на улице, может кто-нибудь запустить в меня камнем.

Он вскочил и остановился передо мной.

— Ведь это вздор, не правда ли? У них воображение расстроено.

— Вздор! — сказала я решительно. — Совершеннейший вздор! Как это может быть!

(В ту секунду я была искренна: чья рука поднимется на Пастернака?! Но сегодня вечером, перед сном, вспомнила, как Дед в самом начале войны уверял нас, что Ленинград может не бояться бомбежек, потому что у кого же поднимется рука бросить бомбу в Адмиралтейство или на улицу Росси?..)

— Вздор! — повторила я опять. И потом, когда мне на секунду представилось, что мерзкая тема покинула нас, сказала, что из его последних стихов знаю «Птичку» и «Грозу» — от Деда.

Он отмахнулся раздраженно.

— Стихи — чепуха, — сказал он с сердцем. — Зачем люди возятся с моими стихами, не понимаю. Мне всегда неловко, когда этакой ерунде оказывает внимание ваш отец. Единственное стоящее, что я сделал в жизни, — это роман. И это неправда, будто роман люди ценят только из-за политики. Ложь. Книгу читают и любят.

Сегодня он говорил отчетливо и легко записываемо. Но в этой отчетливости была какая-то сухость и какое-то смятение — нечто более беспокойное, чем в обычных его бурных речах.

Я поднялась. Ничего путного я все равно не умела сказать ему. Он меня не удерживал. Надел пальто и вышел вместе со мною — он собирался дозваниваться из конторы городка в Москву. Я его уговорила идти лучше к нам: подумала, закрою поплотнее двери из столовой в переднюю, и Дед наверху не услышит голоса. Зачем Борису Леонидовичу идти сейчас в контору на всеобщее обозрение? Он согласился. Мы шли быстро. А машина у наших ворот? — мельком подумала я, но ему не сказала. Впрочем, теперь не все ли равно?

Безлюдье, пустота, безмолвие дороги и поля охватило нас и заставило умолкнуть. Я заметила, что Борис Леонидович одним глазом покосился на кусты и канаву.

— Как странно, — сказал он, с совершенною точностью выговаривая мою собственную мысль, — никого нет, а кажется, что кто-то смотрит.

— Упырь? — спросила я. — Тот, блоковский, или недавний, наш, все равно.

Он пробормотал что-то, кивнул, но, кажется, не понял. А я про себя молча прочитала этот блоковский отрывок, который воспринимаю и помню, как стихотворение из любимого третьего тома*.

* Мне припомнились строчки из статьи Блока «Солнце над Россией», опубликованной в 1908 году к восьмидесятилетию Льва Толстого. «Старым упырем» Блок называл Победоносцева. Вот несколько строчек из этого отрывка: «...Чья мертвая рука управляла пистолетами Дантеса и Мартынова?.. Кто увел Достоевского на Семеновский плац и в мертвый дом?.. Нет, не они смотрят за Толстым, их глазами глядит мертвое и зоркое око, подземный, могильный глаз упыря».

Мы подходили к нашей даче. Четверо сидели в машине вразвалку, уже не прикрываясь газетами, и во все глаза глядели на нас. Один даже высунулся. Они-то и есть — око? Нет, Блок прав, если бы это были только они, не было бы так странно и страшно. Око старого упыря... Борис Леонидович не обратил на них никакого внимания, не раздеваясь сел сразу в столовой звонить. Я плотно прикрыла дверь в

переднюю, чтобы голоса не услыхал наверху Дед, и вышла на крыльцо, чтобы самой не слышать разговора. Борис Леонидович переговорил очень быстро. Я проводила его до ворот, а потом — так не хотелось расставаться с ним! — до перекрестка. Парни, развалясь, тосковали в машине.

— А вы видели, — сказал мне вдруг Борис Леонидович своим обычным бодрым и громким голосом, — как ваша Люша прекрасно вышла на фотографиях? Решительно на всех. И ямочка на щеке! Я был очень рад*.

Его трогательное желание порадовать меня этим сообщением меня рассмешило. Хорошо, если этих отличных фотографий, где воспроизведена даже ямочка, не пожелают заметить в Люши-ном институте.

Мы простились. Он пошел было прочь (странно — мне впервые бросилось в глаза, как он хромает), но вернулся, обнял меня и поцеловал.

Только что я пришла домой и хотела было подняться к Деду, меня остановил телефонный звонок. Из Союза писателей. Просят Корнея Ивановича. Я сказала, что Корней Иванович очень болен, лежит, и повесила трубку. Снова звонок: Анна Андреевна приехала и требует, чтобы я как можно скорее предстала пред ее ясные очи...** Я отказалась ехать сегодня и обещала явиться завтра утром, когда меня сменят: боюсь оставить Деда.

И поднялась к нему.

Хорошо, что он не выходит на балкон и не видит машины.

* В тот день, когда сделалось известно, что Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе, Корней Иванович, взяв с собой Люшу, отправился поздравить его. Иностранные фоторепортеры запечатлели минуты поздравления, и фотографии появились на страницах многих иностранных журналов.

"* Ахматова приехала из Ленинграда в Москву.

29 октября 1958

Вспоминаю Герцена: «Какие вы все злодеи народа». Сегодня я с утра вызвала такси и — к Анне Андреевне, в ее новую резиденцию на Малой Тульской.

Еду. Мальчишка шофер внезапно обернулся ко мне:

— Читали, гражданочка? Один писатель, Пастер, кажется, фамилие, продался зарубежным врагам и написал такую книгу, что ненавидит советский народ! Миллион долларов получил. Ест наш хлеб, а нам же гадит. Вот, в газете пишут.

И протянул мне «Правду».

Ах, какие мы все злодеи народа! Мы не прочитали тебе, мальчик, Пастернака, не дали вовремя его стихов, его Шопена, его статей, чтобы ты оказался в силах встретить этот номер газеты так, как он того заслуживает.

Идет настоящая охота на душу «простого человека», этого ни в чем не повинного, нами обокраденного мальчика. И он — по нашей вине — беззащитен.

Хуже того: его можно научить бросить камнем. Если это случится, это тоже будет наша вина...

Анна Андреевна расспросила меня о здоровье Корнея Ивановича, но то была лишь вежливость, а главный теперешний ее интерес, страстный интерес — Пастернак.

К моему удивлению, она была потрясена — да, именно потрясена! — другого слова не подберу — тем, что я вчера видела его собственными глазами. Вчера вечером она столь настойчиво вызывала меня из Переделкина, в надежде, что я привезу оттуда какие-нибудь слухи о нем, еще не дошедшие до Москвы, но что я попросту видела его и говорила с ним — это ей на ум не приходило. Так что, по ее внушению, я сама впервые удивилась, что это было. Я перенесла получасовой допрос. Каждое слово, его и свое, и как он сидел, и когда вскочил, и когда схватил меня за руку, и каждую свою вчерашнюю мысль я передала ей со всею возможною точностью, но я не уверена,

удалось ли мне передать то чувство, которое я испытала, когда шла одна, а потом вместе с ним по знакомой, родной и почему-то уже чужой и опасной дороге.

Она спросила меня, могу ли я обещать, что достану машину и поеду с ней к нему, когда она решит ехать? Ей очень хочется.

Конечно, достану...

— По гроб жизни буду вам благодарна за ваш сегодняшний приход, — сказала Анна Андреевна. — Теперь я все знаю о Борисе, как будто побывала там сама. Не оставляйте меня без известий.

29 октября 1958, вечер

В городе новые слухи: какая-то речь Семичастного на сорокалетии комсомола, где он будто бы обозвал Пастернака свиньей...

Цицероны! И ведь говорят на века.

Но не это меня взбудоражило заново. Это как-то уже «по ту сторону». Поставила вверх дном душу другая весть: 31-го в 12 часов дня общемосковское собрание писателей.

Не чиновников — писателей!

Мне позвонили из Союза.

Повестка не объявлена, но догадаться легко: будут утверждать исключение Пастернака.

У, как заколотилось сердце, как сразу потянуло в эту прорубь, на эту вершину, на эту погибель, на трибуну: сказать. Все высказать им в лицо. Сказать, чтобы были произнесены и услышаны не только слова Семичастного. Но и мои.

А — Дед? Ведь меня исключат непременно. У него будет новый спазм.

На трибуну меня, конечно, не пустят. Там небось все распределено и прорепетировано заранее. Но я могу крикнуть с места, громко, на весь зал. Какую-нибудь одну фразу. Пусть потом меня выведут. Ну, например, такую:

— Пушкин говорил: надо быть заодно с гением!

Пусть зашикают, засвистят. Я сама уйду.

А Деду я нанесу рану. Ему 76 лет. Каждая рана сейчас может для него оказаться смертельной.

Наверное, те, кто любит Пастернака, просто на это собрание не пойдут. Заболеют. Уедут из города...

...А вдруг послезавтра придут хорошие люди и станут его защищать, а меня не будет и моих друзей не будет, чтобы в поддержку вырос лес рук?

30 октября 1958, день.

Нет. Никто из друзей, обожателей, поклонников идти не намерен. Я встретила одного знакомого, он сказал мне: «Сяду в машину и уеду в неизвестном направлении. Куда глаза глядят».

Врешь, от себя не уедешь.

Пятым действием драмы Веет воздух осенний...52

И «Августом», и «Гефсиманским садом». А ощутимее всего — национальным позором.

Но, с другой стороны, я не в силах сообразить: справедливо ли счесть национальным позором то, чего не ощущает нация? Вообще не ощущает? Ведь для народа такого явления — Пастернак — просто нет.

Прочитала речь Семичастного в «Комсомольской правде». Переписываю сюда, чтобы перечитывать и никогда не забывать.

Сначала сравнение с овцой. Паршивая овца в стаде. Ну, это обыкновенно. Потом — образ не выдержан! — овца превращается в свинью:

«Иногда мы... совершенно незаслуженно говорим о свинье, что она такая-сякая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья, — все люди, имеющие дело с этим животным, знают особенности свиньи, — она никогда не гадит там, где кушает... Поэтому, если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья никогда не сделает того, что он сделал. (Аплодисменты)».

Самое примечательное тут слово — кушает. «Свинья кушает». Вот он кто такой, товарищ Семичастный. Он полагает, что слово «ест» — грубое слово, а сказать о свинье «кушает» — это представляется ему более интеллигентным.

Завтра собрание.

О Борисе Леонидовиче слухи разные. Будто он написал какое-то заявление. Будто он у Ольги.

0 президиуме рассказывают, что там выступали не сквозь зубы, не вынужденно, а с аппетитом, со смаком — в особенности Михалков... Выступил с каким-то порицанием и наш Коля. Коля, который любит его и был любим им, который знает наизусть его стихи, который получал от него такие добрые письма. Какой стыд.

Врочем, я не вправе осуждать его. Он произнес те слова, от которых следовало воздержаться, а я не произнесу тех, которые должно произнести. Большая ли между нами разница?

1 ноября 1958

И в Москве, и в Переделкине (только не возле Деда) бесконечные разговоры о том, кто же, в конце концов, вел себя вчера на собрании гнуснее: Смирнов или Зелинский, Перцов, Безымен-ский, Трифонова или Ошанин?

Не все ли равно? Мы. Я.

А в газетах, газетах бедный мальчишка-таксист и его обокраденные братья выражают «гнев и возмущение». Председатель колхоза, учитель, инженер, рабочий, машинист эскаватора... Я так и вижу девку из редакции, так и слышу, как она диктовала им текст.

Это те самые сейчас выражают свой очередной гнев, о которых у него сказано:

Превозмогая обожанье, Я наблюдал, боготворя. Здесь были бабы, слобожане, Учащиеся, слесаря.

Он боготворил без взаимности.

Слесаря пишут: «Правильно поступили советские литераторы, изгнав предателя из своих рядов». Он и лягушка в болоте, он и свинья, и овца, и предатель.

А предатели-то на самом деле — мы. Он остался верен литературе, мы ее предали.

23 ноября 1958

Была в Переделкине. Заходила к Борису Леонидовичу. Домработница: «Ушел гулять. Не скоро вернется» (с усмешкой). Я поняла, что он, видно, ушел к Ольге. Оставила ему записочку с просьбой зайти, откликнуться. Но не последовало ничего.

31 декабря 1958

Последние часы уходящего года. Пишу письмо Борису Леонидовичу. И мая 1960 Трудный день.

В 6 часов вечера внезапно приехала Анна Андреевна: ее привезла в своей машине Наташа Ильина53.

В доме у нас тревожно. Корнею Ивановичу не лучше, гости к нему не поднялись. Анна Андреевна грузная, с одышкой, в лес не пошла, а села на скамью возле дома, радуясь воздуху и зелени.

Привезла показать мне новую строфу в «Поэму»...

Однако главные разговоры были о Борисе Леонидовиче.

Как раз накануне приезда Анны Андреевны я бегала в Дом творчества, к Ване, чтобы разузнать что-нибудь о Пастернаке: в Доме творчества всегда знают все раньше

всех. И в самом деле: только мы вышли с Ваней на балкон, к нам подсел Асмус, который ходит к Пастернакам по три раза в день. Валентин Фердинандович сказал, что больного он не видел со дня болезни, но сегодня слышал из-за двери его голос — изменившийся, слабый; лечит Пастернака Фогельсон, а дежурят возле него литфондовские врачи и сестры; инфаркт тяжелейший. «Фогельсон говорит — тяжелее, чем у Олеши».

Зачем же он это говорит! Олеша вчера умер.

После ужина Анна Андреевна пожелала съездить к Пастернаку, справиться о здоровье. Поехали. Наташа осталась за рулем. И вот я опять веду Анну Андреевну по тому же двору. Пусто. Мрачно. Анна Андреевна ступает с трудом, задыхаясь. Взошли на крыльцо — правое кухонное.

Нам навстречу — Леня и Нина Александровна Табидзе. Встретили сначала неприветливо: не узнали Ахматову. Потом подобрели. Нина Александровна, рассказывая, пошла нас проводить до ворот. Говорит, что сегодня Борису Леонидовичу лучше.

Анна Андреевна с измученными глазами еле сделала шаг вверх: в машину, внутрь. Все труднее и труднее с каждым месяцем дается ей этот единственный шаг.

В машине она сказала:

— Я так рада, что побывала здесь. Надеюсь, ему передадут. (В последнее время она была недовольна Борисом Леонидовичем, и, я думаю, сейчас, это ее точит.)

14 мая 1960

(Фогельсон полагает — мне передавал Асмус: инфаркт еще страшнее, чем у Олеши, но организм гораздо могущественнее; состояние хотя и тяжелое, но далеко не безнадежное. Началась кровавая рвота. Собирают консилиум.)

Трудно мне было все это произносить.

Я думаю о том: неужели я видела его в последний раз — вот тогда, в самом начале месяца, когда он пришел возвратить Деду деньги и книги? Дед лежал больной, после спазма, и к нему никого не пускали. Борис Леонидович очень торопился; он уже снял было калоши и пальто, но, услыхав, что Дед болен, стал сразу опять одеваться, хотя я и сказала, что поднимусь наверх, взгляну, что ему-то Корней Иванович будет рад и пр. Но он в передней совал мне в руки книги и какой-то конверт:

— Вот, передайте папе. Тут — я у него брал книги и деньги. Ваш отец удивительно благородный человек. Он, наверное, даже вам не сказал, что я давно уже должен ему 5 тысяч.

И, оставив меня с книгами и тысячами в руках, побежал чуть не бегом, сильно хромая.

Нет, это был не последний — я его еще раз видела — но уже не вблизи, а издали. Я шла по дороге вдоль поля. Меня обогнало такси. У ворот Бориса Леонидовича машина остановилась, и оттуда вышла дама. Ей навстречу поспешил Борис Леонидович, взял под руку и повел к себе.

В последний? И его — в последний раз?

26 мая 1960

У Бориса Леонидовича — рак.

(Псевдоним смерти. У Бориса Леонидовича — смерть.) 31 мая 1960, Переделкино Борис Леонидович скончался вчера вечером. Мне сказала об этом наша Марина54: позвонила утром с дачи в город.

Деду они не говорят, ждут меня.

Я поехала. В Переделкино, где уже нет Пастернака. В Переделкино, которое будет носить его имя.

Дед впервые решился встать с постели и переселиться работать на балкон.

Сидит в кресле, укутанный по пояс пледом, и пишет на дощечке.

Когда я вошла, он не сразу услышал — сидел, опустив бумагу на колено и вглядываясь в любимую березу со скворечником. Он всегда выискивает на ее стволе следующую свою строку. Поморщился с досадой: я прервала строку.

— Ну, что ты?

Я взяла стул, села напротив.

— Несчастье, Дед. И выговорила.

Совершая эту жестокую операцию, я видела ясно, при ярком свете солнца, какой он старый, как отекло лицо, какие синие губы, как он горбится в кресле. Маленький старичок. Только руки прежние, молодые, куоккальские. Но руки дрожат.

Он всхлипнул — без слез — и попросил принести из кабинета бумагу и конверт: письмо Зинаиде Николаевне.

Я принесла. Хотела остаться возле, но он не позволил.

— Иди, иди, я сам.

Я спустилась в сад, нарезала вишневых веток — целую охапку—и снова поднялась к Деду: за письмом.

Он уже был выпрямившийся. Расспросил меня о болезни, о последних днях Бориса Леонидовича. Я рассказала то немногое, что знала от Асмуса.

Взяла письмо, цветущую охапку — и туда.

На пастернаковской дороге (которая, смеху ради, называется улицей Павленко) я встретила Веру Васильевну55. Пошли вместе.

Пустая дорога. Яркое солнце. Жара.

Ворота распахнуты настежь. Бездомье, ничейность, брошен-ность, осиротелость.

Пустыня двора залита солнцем.

Нас облаяли две собаки, одна маленькая, другая большая.

Мы вошли в дом через левое крыльцо, никого не встретив. Постояли в прихожей. Ни звука, ни голоса.

На полу ведро с водой, и в нем гладиолусы. Направо, в спокойной столовой, на столе, большая ваза с цветами.

Я толкнула дверь в комнату налево — в ту самую, где я говорила с ним в день исключения из Союза.

Оглядевшись, не сразу поняла: это он лежит на узкой раскладушке, слева у стены, укрытый простыней.

Вера Васильевна откинула простыню.

Лицо искажено. Уста запали. И глаза. Глубоко подо лбом темные, черные, округлые веки.

Я начала укладывать вдоль тела ветки. Но тут вошла Берта Яковлевна Сельвинская и очень громко сказала нам, что класть цветы сейчас нельзя и открывать лицо нельзя. Засунула мои веточки в ведро у двери.

Я передала ей письмо для Зинаиды Николаевны, и мы ушли

Двор был по-прежнему пуст, но на дороге уже началось шевеление. Кто-то топтался у ворот, кто-то что-то фотографировал. Видела я только двоих, но спиною чувствовала — как тогда! — что и поле, и дорога простреливаются незримыми взглядами.

Вера Васильевна пересказала мне слух, которым мне противно марать свою тетрадку: будто из Союза к Зинаиде Николаевне приезжал Воронков, предлагал ей, что Союз возьмет похороны на себя, если она разрешит поставить гроб в ЦДЛ.

(«Союз Профессиональных Убийц» — так называл Союз писателей Булгаков.)

Зинаида Николаевна, к чести ее, отказалась.

Дед снова слег.

Опять вызывали врачей, терзаясь телефоном.

Я думаю, новый спазм, потому что головокружение и тошнота.

Кляну себя.

Вечером я пошла к Ване в Дом творчества. У ворот мне встретился заплаканный Асмус. Минутку мы посидели радом на скамье.

Видел он Пастернака в последний раз 6 мая, накануне инфаркта. Борис Леонидович жаловался на боль в левой лрпатке. «Но это не сердце, — говорил он. — Скорее — легкое. Рак легкого».

Асмус думает, это была саркома. Очень быстро она развилась: легкие, печень, желудок.

Умирал Борис Леонидович в сознании. Прощался с домашними — с Женей, Стасиком, Леней. За несколько часов до смерти сказал Зинаиде Николаевне:

— Что же, конец, и нам пора проститься.

Асмус ушел от них в 11 часов вечера и еще слышал из-за двери его голос.

1 июня 1960, Переделкино, утро

Как бы узнать их имена и выгравировать — в назиданье потомству — на особой доске позора!

В «Литературе и жизни»56 объявление: «Литфонд с глубоким прискорбием сообщает о смерти члена Литфонда Бориса Леонидовича Пастернака».

Не великая честь принадлежать к ихнему — и моему — Союзу. И сейчас, когда Пастернака уже нет, не все ли равно: член ли он Союза или всего лишь Литфонда?

Но ведь это нарочно придумано в оскорбление почившему, в уничижение славы России! Могли же они просто написать: извещаем о смерти Бориса Пастернака.

1 июня 1960, Переделкино, вечер

Часов в 9 я,снова к нему, с цветами из садоводства. Пышные их красные и желтые головки я все-таки окружила белыми веточками вишен — они ему ближе, родней. Никогда еще так рано не расцветали вишневые деревья на нашем участке, как в этом году.

Он в той же комнате, где вчера, но уже не на раскладушке, а выше, на столе, в гробу, весь в цветах. Кто-то рослый (я не разглядела кто) вошел вместе со мною, зажег свет и оставил меня одну.

Лицо другое. Словно он за ночь отдохнул немного от мучений и попривык быть мертвым. Спокойное лицо.

На простыне в ногах — красная роза. И я свои цветы положила к ногам.

Вошли и стали у гроба двое. Я узнала их, рабочие городка. Один монтер, один водопроводчик. Хмурые, робкие лица, озирающиеся, вглядывающиеся, пытающиеся понять.

И я вглядываюсь и пытаюсь понять...

2 июня 1960, Переделкино

Горе, усталость, жара; изобилие шпиков; милиционер-регулировщик, заставляющий всех выходить из машин на шоссе и загоняющий машины на нашу улицу; Воронков, с утра лично обозревающий вверенный его попечениям поселок; иностранцы, лопающиеся от любопытства, карабкающиеся со своими аппаратами на заборы и деревья, — и сквозь все это какое-то странное чувство торжества, победы.

Чьей-то победы. Не знаю, чьей. Быть может, его стихов? Русской поэзии?

Нашей с ним неразрывной связанности?

Никто над его могилой не произнес слова, которое жаждали услышать сосны, люди, поля. Но студенты до темного вечера читали его стихи. Наверное — это и было самое лучшее слово.

Толпа была пронизана гавриками.

Но гроб от стола до ямы пронесли на руках — по шоссе и на гору, к трем соснам. Вдоль заборов во весь путь молча, мужчины без шапок, женщины в платках, стояли люди. Встречные машины вынуждены были пятиться, отступать перед гробом, утыкаться в кюветы и не смели торопить нас гудками.

Толпа двигалась молча, торжественно, сознавая свою правоту.

Одни из пастернаковских ворот пошли через поле прямо на кладбище, другие — кругом, по шоссе, вслед за гробом.

Я пошла за гробом, хотя идти сегодня мне было совсем не по силам. Мучительнее всего, впрочем, было даже не идти, а перед этим стоять — час или более стоять накануне выноса на солнцепеке, уже простившись, но.еще ожидая, когда вынесут гроб.

Я уже прошла через столовую, где он лежал сегодня высоко, пышно, среди лент, венков, цветов, уже откровенно торжествующий и победительный. В честь его торжества тихо и непрестанно играла музыка: сменялись Юдина и Рихтер*. На стуле в столовой плакала Нина Табидзе. Стояли: Леня и Стасик. Стояла у гроба Зинаида Николаевна — я поклонилась ей, но она отвела глаза...

* Цитирую письмо ко мне Ирины Николаевны Медведе-вой-Томашевской. (В 1972 г. я ознакомила ее с моими «Записками».)

«...Сменялись Юдина и Рихтер — так нельзя. Юдина непрерывно играла с утра, а Рихтер приехал незадолго до выноса и сыграл, если не ошибаюсь, две вещи Баха. Он заранее выбрал, задумал, что будет играть. Рихтер очень любил Пастернака, и скажу мимоходом, что факт его участия в похоронах был очень замечен и не одобрен властями, и даже пытались на него воздействовать. (О том, что Рихтер только единожды сменил Юдину, а затем смешался с толпой и долго оставался на могиле — я знаю точно, так как приехала вместе с ним, на его машине.) Думаю, что и о Марии Вениаминовне Юдиной надо как-то сказать иначе. А то получается: два знаменитых тапера играли (как может подумать читатель) — по приглашению. Это ведь был живой акт любви, восхищения поэзией и в то же время — акт общественный, очень серьезный, значительный. Даже власти об этом догадывались».

М. В. Юдина исполнила вместе с друзьями трио Чайковского «Памяти великого артиста», а по преимуществу исполняла произведения Шуберта.

...А я, пройдя через столовую, оперлась на какие-то бревна, сваленные у правого крыльца, стояла и думала только об одном: как бы не упасть. Устоять.

Каверин. Паустовский. Аким. Рита Райт. Мария Сергеевна57. Володя Глоцер. Володя Корнилов. Фридочка58. Хавкин. Харджи-ев. Копелев. Смирнова. Ливанов. Коля и Марина. Калашникова. Волжина. Наташа Павленко. Ивич. Яшин. Казаков. Рысс. Рахта-нов. Любимов. Вильмонт. Старший Богатырев. Нейгауз.

Старые дамы, неизвестные мне, откровенно или прикровен-но седые, в перчатках и без.

Деревенские старухи с детьми.

Студенты.

Опираясь на бревна, я вглядывалась в лица. Болтовни было мало, толпа сосредоточена. Фридочка мне рассказала шепотом, что сразу после кончины Бориса Леонидовича, утром следующего дня, на Киевском вокзале появилось рукописное объявление:

«Граждане! Вчера скончался великий русский поэт Борис Пастернак. Похороны в Переделкине, 2 июня, в 2 часа дня». Вот вам и «член Литфонда»!

Объявление сорвали. Но оно появилось вновь. Опять сорвали. Опять появилось.

* Как я узнала через несколько лет, это были Даниэль и Синявский.

Фридочка от меня отошла, утешив меня этим объявлением, а сзади незнакомый голос негромко сказал:

— Вот и умер последний великий русский поэт.

— Нет, еще один остался.

Я ждала, холодея, не оборачиваясь.

— Анна Ахматова.

(И этот день придется пережить?)

...Какие-то двое молодых людей вынесли крышку гроба*.

Музыка.

Несут гроб. Несут венки.

На одной ленте я прочитала: «от семьи Ивановых». На другой: «от Литфонда».

Пронесли и наши два: «Корней Чуковский», «Лидия Чуковская».

Щелканье аппаратов. Нагло щелкают прямо в лица. Снимают не покойного, а нас, толпу.

И вот я иду вместе со всеми, в толпе, глотая пыль. Гроб от меня не очень далеко. Его несут Женя Пастернак, Кома Иванов, Копелев, Володя Корнилов.

Стоят, стоят люди вдоль заборов.

Когда, после мостика через Сетунь, толпа свернула и начала подниматься в гору — я задохнулась и отстала. Гроб уплыл далеко вперед — туда, наверх, к соснам.

— «И к лику сосен причтены». Помните? — спросил Харджиев. Гроб плыл на вершину, к соснам. Люди, поспевая за ним, шли

все быстрее, а я все медленнее. Здороваться и говорить я уже не могла, только головою мотала. Раневская. Ваничка Халтурин.

Когда я втащилась наверх, подойти к могиле уже было нельзя. Волна толпы прибила меня к сосне. Там я и осталась, из-за спин ничего не видя, но в тишине отчетливо слыша все.

Был когда-то немой кинематограф: лица, плечи, руки, движения — безголосье. Тут наоборот: голоса, движения — без лиц.

Я; толпа; корявый ствол — и впереди голоса.

Открыл митинг и произнес речь Асмус. Слова были какие-то никакие, несущественные, но они и не оскорбляли пустотою, потому что Валентин Фердинандович говорил горестно. Я слышала голос, горе, а не фразы.

(Паустовский нашел бы слово, но, как мне объяснили потом, он, из-за больной гортани, в этот день мог только шептать.)

Актер Николай Голубенцев прочел: «О, знал бы я, что так бывает».

Асмус закрыл митинг, сказав, что Борис Леонидович не любил длинных речей об искусстве.

И вдруг кто-то — я не видела, кто, но голос неинтеллигентный, неприятный и фальшивый — заявил, что будет говорить «от имени рабочих».

— Ты написал книгу, но ее задержали. А ты был за правду... Обрыв. Кто-то что-то прошипел. И в ответ на шип — девичий голос:

— Не затыкайте ртов!

Молчание. Жду нового голоса. Тот же? Другой? Нет. Слава Богу, юноша читает «Гамлета»:

— И неотвратим конец пути...

Потом другой юноша-невидимка говорит от имени богословов: Пастернак был христианин.

Начинают опускать гроб. Слышу по окрикам, стукам, топо-там: гроб в яму не лезет. Зычная команда:

— Раз! Два! Три! (Каково-то сейчас Жене?)

Мягко-жесткий, глухой, страшный звук комьев земли. Опустили.

Мне сделалось темно. Если бы не сосна и не чужие тела, я упала бы. Но тьма была одну секунду. Когда она рассеялась, я, сквозь толпу, пошла вниз.

Одно у меня было желание: лечь. Дойти до дому и лечь. Не на дороге, не в поле, а дома.

Трудно идти, когда нету ног. В жару я их часто лишаюсь. Ни колен, ни ступней; только боль, тугими кольцами сжимающая щиколотки.

Я даже не вошла в дом спросить о Деде. Доковыляла до своего домика, сняла туфли, чулки и легла.

Минут через 40 — Фридочка. Принесла мне вести о Деде, накапала капли и посидела возле.

Девушка, которая крикнула «не затыкайте ртов!» — это, оказывается, дочка Ивинской, Ирина59.

Молодежь до сих пор читает на могиле стихи. Наизусть — напечатанное и ненапечатанное. «Гамлет», «Август», «Другу». Толпа разошлась. Гаврики стали заметней. Фридочка, уходя, слышала разговор двоих, скучавших чуть пониже свежей могилы, у чьей-то ограды:

— А не разогнать ли нам это нарушение?

— Пусть понарушают, никуда не денутся. Победа — оцепленная оперработниками.

Анастасия Баранович-Поливанова

НЕСКОЛЬКО СЛОВ

О БОРИСЕ ПАСТЕРНАКЕ

С Пастернаком моя мама, Марина Казимировна Баранович, познакомилась в издательстве «Узел» в начале 1920-х, но настоящее знакомство состоялось значительно позже. Перед войной мама написала ему письмо — он откликнулся телефонным звонком, по возвращении же из эвакуации стал бывать у нас, а еще чаще звонил по телефону и часами разговаривал с мамой. (Дед ворчливо шутил: «Марина, тебя Пастернак, опять телефон будет занят два часа»). Так завязалась многолетняя дружба. Отношения стали особенно интенсивными, когда мама взялась перепечатывать для него роман (долгие годы так назывался и самим автором и всеми «Доктор Живаго»), а также бесчисленное количество стихов из него по мере их появления. Тогда же между ними завязалась переписка. И разговоры, разговоры, на протяжении многих лет, и не только о романе, — обо всем на свете, обо всем, что его в тот момент интересовало, волновало, мучило. Для него это были не просто разговоры, — мысли, которые потом ложились в прозу, в стихи, в статьи, письма, — об истории, христианстве, встречах с людьми, впечатлениях от концертов и спектаклей. Передать, воспроизвести их не удавалось никому, это все равно, что пытаться пересказывать его стихи, запоминались только отдельные слова, фразы.

Увидев в Большом театре «Ромео и Джульетту», возмущался помпезностью постановки: «Как если бы купец захотел кататься летом на санках и построил бы для этого сахарную гору... Словно начищенный сапог, на котором, как блоха, сидит Уланова»1.

Пленила его Людмила Целиковская в постановке «Ромео и Джульетты» в Вахтанговском театре, но побывав у нее в гостях, разочарованно рассказывал: «У нее комната без биографии».

Рассказывал о разговоре со Сталиным (и теперь и раньше существовало много версий, свидетелей все равно нет, поэтому все они со слов самого Пастернака и многочисленных пересказов); в его рассказе маме фраза «мы поэты ревнивы, как женщины» фигурировала2. Приведу маленький эпизод совсем по другому поводу, возможно, подтверждающий подобные чувства. У меня на книжной полке стояла фотография молодого Хемингуэя: «Это Энгельгардт (мамин давний и близкий друг)?

— спросил он однажды, наклонившись над полкой. — «Нет, Хемингуэй» — сказала я. Он резко отпрянул и ничего не произнес. Как-то заговорил о Маяковском, вернее о том, что он давно стал ему совершенно чужд (он тогда писал «Люди и положения», там все сказано). И тогда же добавил, что когда-то его восхищали строки «Я тебя одену в дым своих папирос».

Рассказывал, как в начале Первой мировой его вызывали на призывной пункт и он объяснял и показывал бумаги, что одна нога у него короче другой (после детского падения с лошади), а кто-то из членов медицинской комиссии стал у него за спиной и резким движением приподнял его здоровую ногу, — Борис Леонидович упал навзничь, и дальнейших объяснений не потребовалось.

Весной 1958 года из-за острой боли в колене его положили в Кремлевскую больницу, окна его палаты на третьем этаже выходили в наш переулок. Увидев нас с мамой, он высунулся из окна и, первые его слова были: «Настя, что у Вас с лицом?» Я только что вернулась из байдарочного похода, и от солнечного ожога у меня распухли переносица и подглазье. Какие же зоркие у него глаза, — подумала я тогда.

И еще несколько отрывочных фраз, сказанных в разные годы по разным поводам.

По поводу «Пятой симфонии» Шостаковича: «Подумать только, взял и все сказал. И ничего ему за это не сделали».

* * *

В 1946 году, когда он читал стихи в университете или в Политехническом музее, начал с того, что сейчас «учится писать стихи у Симонова и Суркова».

* * *

Ему нравились романы Джейн Остин. Заговорив о Прусте, сказал, что все части написаны ради последней — «Обретенного времени».

* * *

В 57-м году его уговаривали написать или подписать что-то о событиях в Египте.

— Я знаю, — сказал он, — вы хотите, чтобы я написал, что в Египте льется кровь, а в Венгрии вода, — и отказался3.

* * *

Однажды утром Зинаида Николаевна, — рассказывал он, — спросила его:

— Ты что, плохо себя чувствуешь?

— Да, — сказал он, — плохо.

— Но физически или душевно?

— Я не рожден, чтобы чувствовать себя физически.

* * *

Мою маленькую дочку сравнил с самоваром. И еще говорил, что она похожа на своего прадеда Г. Г. Шпета4.

* * *

На мамин вопрос, что он думает обо мне: Настя, как сложенная бумажка, пока не развернешь, не узнаешь, что в ней написано.

* * *

«Она мне будет говорить, чтобы я читал апостола Павла!» — рассмеялся он как-то, когда мама напомнила ему какое-то место из послания5.

* * *

Его вызывали на Лубянку по поводу реабилитации Мейерхольда, и следователь сказал:

— Вы ведь дружили с ними.

— Ну что вы, они были слишком советские люди6.

Не * *

Любил повторять, что хотел бы иметь очень много денег, чтобы помогать одиноким женщинам.

Не * *

На мой вопрос, почему он никогда не бывал в Коктебеле, ответил, что не любит театрализации жизни.

Не Не Не

Радовался за маму, когда она побывала в Ленинграде:«... Страшно рад, что вы в Ленинграде, мысленно совосхищаюсь и завидую...»

Не Не Не

Летом 1950 года я должна была поехать со знакомыми в поход на Кавказ, и очень огорчалась, когда поездка сорвалась. Борис Леонидович знал об этом, и чтобы меня немножко утешить, надписал мне очередную тетрадку своих стихов. Правда, надписывая, долго капризничал: «Как вы можете писать таким пером?».

Когда я подсунула ему чернильную авторучку, но без колпачка, заворчал, что такой короткой он тоже писать не может, и только когда колпачок был надет, сделал, наконец, надпись: «Дорогой Насте, вместо путеводителя по Кавказу с пожеланием счастливого лета...»

Не Не Не

Но мог и окатить холодной водой. Перед школьными экзаменами я всегда всем любила говорить, что провалюсь, желая услышать в ответ уверения в обратном. Так пристала я к Борису Леонидовичу, когда он по телефону из вежливости спросил, как я поживаю. «Но ведь об этом надо было думать раньше», — ответил он совершенно серьезно и даже строго.

Не Не Не

В декабре 1946 года у нас состоялось одно из первых чтений начальных глав романа, а в 1949 году он читал у нас начало второй части. Перед тем как начать читать, Борис Леонидович вдруг спохватился и спросил, сколько мне лет, когда я сказала, — четырнадцать, он успокоился и начал читать. Передать его манеру чтения невозможно, и все-таки: читал увлекаясь сам, тянул гласные и заливисто смеялся (запись на пластинке отрывка из «Генриха IV» в какой-то степени передает его голос и манеру читать прозу, именно прозу. А три или четыре, к сожалению, не очень удачно записанных стихотворения не дают об этом ни малейшего представления. Уходя, Б. Л. подарил маме книжку «Грузинские поэты» с несколькими новыми вклеенными стихами и надписью «...на память о рождественском гостеприимстве», а мне — свой перевод «Гамлета»: «Милой Насте Баранович к Новому году с пожеланиями всяких радостных неожиданностей и законных удач». В дальнейшем беловая рукопись всей первой части романа тоже была подарена маме.

О первом чтении потом Пастернак вспоминал в письме к маме: «Период, когда я читал у Вас» был «отдельным важным периодом моей жизни, ее отдельной эпохой, как дни вокруг «Сестры моей жизни» и время написания «Охранной грамоты». Это потом не повторялось. Я рад, что это связано с Вами, с Вашей комнатой...» По поводу той же комнаты, впервые отремонтированной с довоенных времен, он как-то пошутил: «Я подумал, что попал не к Вам, а в дом напротив7». (Там жили тогда В. М. Молотов, С. М. Буденный, А. С. Щербаков и пр.)

Шутил он часто и по самым разным поводам, — увидев громадных размеров торт, притащенный на мои именины приятелем, смеясь, разводил руками: «У нас, конечно, тоже бывают именины, приносят подарки, но это же не просто торт, а целая Красная площадь». И еще шутка, но с горечью. Огорченный, что ему самому не дали написать предисловие к переводу «Фауста», говорил: «Они думают, что я лирик, вроде чижика»7.

Борис Леонидович был необычайно отзывчив и щедр на ласковые и добрые слова. Когда я вышла замуж, мы получили от него такую телеграмму: «От души поздравляю родителей и новобрачных и желаю им в жизни удач откровений выигрышей и побед таких же радостных как их союз».

Однажды мама попробовала записать некоторые встречи и разговоры с Б. Л.; узнав об этом, Пастернак писал: «Ничего не говорю о ваших записках и воспоминаниях. Мне стыдно, что я их знаю, что они дошли до меня. Ужасное свидетельство против меня, что я не догадываюсь, как воспрепятствовать их возникновению». После этого мама уничтожила свои записи.

Я хочу привести несколько слов о Пастернаке из маминого письма к З. Руофф8:

«Вы были у Б. Л. в 57-м году — после тяжелой болезни, о которой он сам Вам сказал, что не чаял, что выкарабкается из нее, и в период появления одного задругам иностранных изданий ДЖ.

А представляли ли Вы себе когда-нибудь большого художника, нацело отрезанного от каких бы то ни было контактов с теми, для кого, ради кого и про кого он работает? Видели ли Вы когда-нибудь Бориса Леонидовича перед живой аудиторией? Знаете ли Вы, что каждое слово такого поэта — реальность. Вспомните те самые стихи, которые Вы поначалу не поняли. «Как будто побывал в их шкуре», «Я ими всеми побежден и только в том моя победа»9. Пожалуй, в этих стихах, как нигде, высказана тема «Б.Л. и люди».

Так вот, не только в те страшные дни, а всегда Борис Леонидович всеми возможными способами ловил отклик всех и каждого, и это нужно было ему не для тщеславия, поверьте мне.

А что касается его эгоцентричности — я могу Вам сказать, что всю жизнь была избалована людьми и их отношением к себе. Но у меня не было более внимательного, чуткого, самоотверженного друга, чем Б. Л. Как он умел помнить каждую мелочь, как он умел понимать то, чего другие даже не замечали. И не обо мне. О ком бы мы ни говорили, как он умел — и это было его первым жестом по отношению к вспоминаемому человеку — выделить что-то самое хорошее и главное в человеке. Я не знала более доброго человека, вникающего более глубоко в каждого встречного, умеющего сдержать в себе все, что могло бы обидеть человека, даже если этот человек так глуп и бестактен, что нет человеческих сил его терпеть. <...> Многие, по-видимому, считали Б. Л. гораздо глупее, чем он был. Он часто хвалил людей, с точки зрения других — преувеличенно и незаслуженно. А это диктовалось только его глубочайшей жалостью. <...> Дело совсем не в том, что я его хорошо знала, а Вы — нет. Дело в том, что Пастернак, так же, как и Рильке — не литература. Каждое их слово действительно написано кровью. И если мы признаем это и верим каждому их слову, то нам подобает учиться и смиренно ждать понимания».

Отклики всех и каждого ему действительно были важны и интересны, он ждал их и ловил, даже таких зеленых юнцов, вроде меня и моих друзей. Очень удивился, и как мне показалось, даже огорчился, когда на его вопрос, как мне понравился роман, я сказала, что никак не могу дочитать, потому что я все время плачу,

а ведь сам же потом написал: «Я весь мир заставил плакать над красой земли моей».

А само стихотворение «Нобелевская премия» мы с мужем узнали в ноябре 1958 вот каким образом. Когда разразился скандал после присуждения Нобелевской премии, мы с Мишей10 каждый вечер ездили в Переделкино на дачу к Ивановым, чтобы хоть что-то узнать о Борисе Леонидовиче. В один из таких вечеров Кома, по нескольку раз в день бывавший на соседней даче у Пастернака, пришел и прочитал его по памяти.

Михаил Поливанов

ТАЙНАЯ СВОБОДА

Дай нам руку в непогоду, Помоги в немой борьбе.

Александр Блок

С раннего довоенного детства я помню на пюпитре, стоявшем на круглом столе в комнате родителей, книжечку Пастернака «Второе рождение» с рисунком стилизованной рояльной крышки и клавиатуры на обложке. Все было необычно: имя, название книги, рисунок, который я долго не мог разгадать. Имя перестало быть таким таинственным, когда летом тридцать седьмого или тридцать восьмого года мы подружились с Евгенией Владимировной Пастернак и ее сыном Женей.

Мое знакомство со стихами Пастернака произошло немного позже, во время войны. В эвакуации в Казани книжка «Стихотворений» 1935 года оказалась одной из немногих в нашем доме. И вот в чужой комнате, куда к старухе татарке вселили всю нашу семью из семи человек, комнате, темной зимой от наросшего на окнах инея, дымной от печурки, на которой готовилась еда и которой мы обогревались, в трудные и голодные зимы 41/42-го и 42/43-го года я почти выучил все стихи Пастернака.

Стихи мне нравились, и, хотя многое еще было непонятно, меня это совершенно не смущало. Они помогали мне построить какой-то каркас моего душевного мира, который, мне казалось, со временем будет наполняться тем, что мне предстоит пережить и увидеть. Я отнесся к ним с доверием, как к одной из географических карт предстоящего мне пути. Я тогда их не расчленял, не пытался понять механизм их воздействия, — Пастернак был первым современным поэтом, которого я прочитал и полюбил. Многое я знал наизусть: «Так начинают, года в два...», «Рослый стрелок, осторожный охотник», «Марбург», «Волны», «Весна, я с улицы, где тополь удивлен...» Перечислять можно долго. Мне кажется, я воспринимал сначала музыку стихов, а их сообщение приходило позже и постепенно.

Когда летом 43-го года я вернулся в Москву, Марина Кази-мировна Баранович, старый друг нашей семьи, мать моей будущей жены, Насти, дала мне книжечку «На ранних поездах» и отдельные, перепечатанные на машинке стихи из «Земного простора». Мне оказалось трудно сперва вжиться в это новое звучание, обнаружить единство и непрерывность автора этих стихов с известным мне и любимым Пастернаком. Это было уроком роста и изменчивости живого автора, скрывающегося за отрешенным от него творением, и дарило захватывающее понимание того, что этот человек мой современник и вот сейчас пишет о бытовой и героической повседневности, формируя ее и проясняя. Помню, я твердил наизусть строки: «Там он жизни небывалой Невообразимый ход Языком провинциала В строй и ясность приведет»; или: «Я тихо шепчу: благодарствуй, Ты больше, чем просят, даешь» и другие из этих сборников еще не темными вечерами июля — августа 43-го года под небом, расцвеченным самыми первыми фейерверками салютов в честь наших побед в орловско-курских сражениях.

Казалось тогда, что жизнь так и пойдет под аккомпанемент и под руководством этих стихов, и время будет нас дарить новыми событиями и новым пониманием в согласии с духовным ростом и обликом их автора. Все же, что не укладывается в этот дух, — скучная рутина школьной жизни, не вполне понятные мне, мальчику, уроки индоктринации, фальшь которых ощущалась явно, как металлический привкус во рту, надо просто перетерпеть и переждать, как голод и нищету послевоенных лет, как что-то временное и наносное, от чего я буду освобожден именно этим новым духом.

Ждановское постановление 46-го года было вехой, после которой я понял, что это не так. Что мир моих мыслей, чувств и устремлений никак не совпадает с внешним ходом времени и должен оставаться только чем-то внутренним, почти подпольным, скрываемым. В эти годы я часто ходил в Консерваторию. Какая-то особенная публика

собиралась в то время в Большом зале на фортепианные вечера Софроницкого, Юдиной, Нейгауза, молодого Рихтера, на симфонические концерты с Пятой или Седьмой симфониями Шостаковича. Это были всегда одни и те же люди, знакомые друг с другом, часто известные мне. В фойе устанавливалась атмосфера клуба. На таких концертах часто бывал и Пастернак. Без слов и объяснений было понятно, что эти люди, эта музыка молчаливо, но твердо противостоят мертвящему духу времени, духу жданов-ских постановлений и всей остальной пышной, громогласной и уг-рожающей лжи, которой был полон внешний мир. В Большом зале был другой воздух, там иначе дышалось. В эпилоге к «Доктору Живаго» говорится, что в послевоенные годы «предвестье свободы носилось в воздухе, составляя их единственное историческое содержание». Это было заметнее всего в Консерватории.

Родители мои были знакомы с Пастернаком1. На одном из концертов в Большом зале меня с ним познакомили. Он пожал мне руку, и еще сутки после этого я чувствовал ее отдельно с такой отчетливостью, как если бы она отличалась цветом или запахом от другой. Это было для меня как бы физическим посвящением, принятием в тайное общество, к которому я уже давно принадлежал всей душой.

В те годы у нас дома не было «Охранной грамоты» Пастернака. Я только знал о ее существовании, но никогда ее не читал. Однажды, в конце зимы 46/47-го года, я после школы пошел в Историческую библиотеку, куда в то время записывали учеников стар-ших классов. Мне было задано сочинение по Горькому, и я решил посмотреть какие-нибудь статьи, чтобы не изобретать самому фраз о создании метода социалистического реализма в романе «Мать». Читать эти статьи было томительно скучно. Я решил для развлечения посмотреть, что у них есть Пастернака, и нашел там «Охранную грамоту». Я читал ее до закрытия библиотеки. На следующий день я не пошел в школу, а с утра опять пришел ее читать. Дочитав книжку, я снова открыл ее на первой странице и еще раз прочитал всю от начала до конца. Я ее читал как стихи, упиваясь широкими скачками мысли, неожиданными экскурсами в историю и философию. Мне передалось чувство полета, с которым она писалась, мне открылась внутренняя «тайная свобода», о которой говорили Пушкин и Блок, в незабываемом воплощении. Эта книжка многое мне открыла и в Пастернаке и в самом себе. Мне казалось, я вышел из библиотеки в московские снежные сумерки другим человеком.

Скоро я опять увидал Пастернака. В феврале 1948 года был объявлен вечер поэзии под названием «За прочный мир, за народную демократию»2. Это была какая-то странная формула.

В этом году происходили коммунистические перевороты в странах Восточной Европы. Может быть, под этим лозунгом их проводили? Потому что трудно было понять упорство, с которым именно в этом тяжелом виде неуклюжий лозунг внедрялся во всеобщее сознание. Тогда начала выходить газета с этим длиннейшим названием на русском, испанском, английском и других языках. В переводах это выглядело еще более громоздко. Газета прекратилась только после смерти Сталина.

И вот в вечере с этим названием участвовал Пастернак. В этом было что-то зловещее. Прошли уже те времена, когда Пастернак и Ахматова читали свои стихи на поэтических вечерах. Уже в разных газетах Пастернак упоминался в связи с критикой «безыдейности преклонизма перед Западом». Уже в погромной газетке «Культура и жизнь», начавшей выходить сразу после ждановского постановления, была напечатана доносная статья Суркова о Пастернаке3. И вот теперь Пастернак участвует в этом вечере с Грибачевым, Софроновым и другими, под председательством Бориса Горбатова.

Амфитеатр Политехнического музея был переполнен. Перед входом томился народ, спрашивали билеты, пытались пройти. Как раз когда я пришел, подошла Ольга

Всеволодовна, и Борис Леонидович вышел откуда-то сбоку ее встретить. Скоро раздались звонки, я заторопился в зал, а Борис Леонидович остался дожидаться своих опаздывающих друзей. Я поднялся в зал и сел где-то в пятом ряду чуть вправо от центра. Вышли и сели за длинным столом на возвышении участники. Председательское место занял Горбатов. Пастернака среди них не было. Немного погодя открыли вечер, и со вступительным словом вышел Сурков. Он начал говорить казенную речь с дежурными обвинениями в адрес американских поджигателей войны и немецких реваншистов. Его равнодушно слушали, и вдруг зал взорвался аплодисментами — это сбоку из-за занавесок вышел Пастернак и стал пробираться к своему месту. Сурков растерянно замолчал. Видимо, он сначала подумал, что аплодируют его речи, но потом, обернувшись, увидел Пастернака. Пастернак постарался поскорее сесть на свое место, но аплодисменты не утихали, несмотря на его укоряющие жесты, пока он не встал и не раскланялся. Сурков стал продолжать. Он перешел к нашей стране и ее борьбе «за прочный мир, за народную демократию» и к угрозам тем, кто от этой борьбы уклоняется, кто, вместо того чтобы жить интересами страны, своими безыдейными произведениями служит нашим врагам и так далее.

Он патетически гремел набором приевшихся фраз, и у всех было ощущение, что обвинения эти адресованы прямо Пастернаку и что его пафос подогрет только что гремевшей овацией. Потом начались выступления поэтов. Сидевший напротив меня Светлов сосредоточенно решал кроссворд, время от времени вписывая в клеточки слова.

Всем вежливо хлопали, но когда наступила очередь Пастернака, зал опять, как при его появлении, разразился дружными долгими аплодисментами. Он читал стихи из «Земного простора». Меня поразило его чтение. Он читал стихи как бы в очень камерной манере, совсем без декламации, вслушиваясь в них, подчеркивая интонацией смысловую сторону, но не отпуская и стихового размера и ритмических каденций строфы, ускоряя и замедляя течение строки. Много позже я видел его книжки, где, готовя стихотворение для чтения, он размечал его нотными знаками пауз и крещендо. Его скорее низкий голос шел из глубины и, казалось, захватывал его самого целиком этими произносимыми строками, и все окрашивалось неповторимой интонацией взволнованного, живого и подлинного чувства, где-то почти на грани всхлипывания и захлеба, с которой он говорил всегда, которая была его естественной сущностью.

К сожалению, единственная запись («Ночь» и «В больнице») очень мало передает его манеру чтения. Запись делал в 1957 году шведский журналист на портативный магнитофон4, и по ней слышно, что Борис Леонидович старается читать медленно, отчетливо и размеренно, приспособляясь и к непривычному для себя микрофону, и к плохо знающему язык шведу. Гораздо более живое представление дает пластинка, где он читает «Генриха IV» в зале ВТО.

Зал музея замирал и потом срывался в аплодисменты. Когда он запнулся, ему тут же подсказали строку. Казалось, все понимали, что присутствуют при чуде. Когда он кончил, его аплодисментами и криками заставили читать еще — «на бис». Он прочитал два новых стихотворения, которые многие уже знали: «Свеча» и «Рассвет» («Ты значил все в моей судьбе»). Сейчас кажется удивительным, как в то время можно было публично, в Большом зале Политехнического музея читать такие откровенно христианские стихи. Но, по-моему, дело в том, что тогда одичание было настолько глубоким, что огромное большинство, и в том числе, конечно, и официальные лица, просто не понимали, кто тот Ты, к которому обращается поэт. Да они просто ничего не понимали, кроме того, что стихи «безыдейные». Прямо по Оруэллу, который именно тогда писал «1984».

Скоро этот вечер прошел второй раз в Колонном зале5. Все повторилось, только, может быть, не с таким накалом, как в первый. Пастернак снова выделялся из всех — единственный свободный и живой в этом сборище казенных, безликих стихотворных агиток.

В эти годы Б. Л. Пастернак заканчивал первую часть «Доктора Живаго». Тогда он еще назывался «Мальчики и девочки», но в разговорах обычно назывался просто Романом. Сперва стали появляться «стихи из романа», и первым, еще в 46-м году, короткий восьмистрочный «Гамлет», как бы программа только что начатого романа:

Вот я весь. Я вышел на подмостки, Прислонясь к дверному косяку, Я ловлю в далеком отголоске То, что будет на моем веку.

Это шум вдали идущих действий, Я играю в них во всех пяти. Я один. Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить — не поле перейти.

Для меня это стихотворение стало заставкой, эпиграфом ко всему долгому периоду, в течение которого я узнавал «Доктора Живаго» по мере появления его частей.

В это время старое знакомство Бориса Леонидовича с Мариной Казимировной превратилось в тесную дружбу. Она перепечатывала ему «Доктора Живаго» частями и по многу раз с 1946 по 1955 год. Поэтому они часто встречались, он много ей писал деловых писем, всякий раз почти присоединяя к деловой части и какие-то общие мысли и соображения о ходе своей работы, о жизни, глубоко личные, очень для него важные. Дома у Марины Казимировны состоялось и одно из первых чтений глав из первой части романа6. Борис Леонидович сам составил небольшой круг приглашенных. Кроме хозяйки и ее дочери это были М. Петровых, поэт А. С. Кочетков с женой и К. Н. Бугаева7, вдова Андрея Белого. Это были общие друзья и Марины Казимировны и Бориса Леонидовича.

Марина Казимировна знала о моем отношении к Пастернаку. Мы с нею много о нем говорили, она давала мне все новые стихи, которые от него получала, и ей хотелось, чтобы я встретился с ним. Однажды, когда я был у нее, забежал по делу Борис Леонидович. Он торопился, посидел совсем немного и ушел, но обещал, что специально придет в гости познакомиться с ее молодыми друзьями. Действительно, скоро Марина Казимировна пригласила меня и Женю Левитина, моего ближайшего друга, очень подружившегося в те годы с нею и Настей, чтобы встретиться с Борисом Леонидовичем.

Он пришел, как всегда оживленный, уже в прихожей начал что-то говорить, казалось, спеша что-то объяснить, рассказать о важном и только что понятом. Передать, как говорил Пастернак, по-моему, еще никому не удавалось. Он сразу поражал напором и оригинальностью мысли. Разговор, а точнее его монолог, оттолкнувшись от любой случайной точки, немедленно восходил куда-то высоко к мировоззренческим основам, и уже оттуда и вне обыденной рациональной логики приходили суждения, умозаключения, почти максимы. Я знаю несколько попыток передать его разговор — у Вильмонта, у Гладкова, у Масленикоовой. Гладкова обвиняют в том, что у него это литературная композиция, использующая статьи, письма и «Доктора Живаго». Но это удачная и близкая реконструкция, и Борис Леонидович действительно часто говорил очень близко к тому, что потом писал. З. А. Маслени-кова, отрывочно и кратко записывавшая свои с ним разговоры во время сеансов, когда он ей позировал, передала спонтанность и кажущуюся бессвязность его высказываний, результат того, что он опускал все тривиальные промежуточные звенья, считая их само собой разумеющимися, и оставлял только основания и выводы. К сожалению, эта непосредственная живость ее записей сильно выцвела при последующей литературной обработке8.

Речь Пастернака захватывала и приковывала внимание немедленно. И в ней не было ничего от «шаманства», о котором, по чьим-то воспоминаниям, якобы говорил Мейерхольд. Неожиданностью ассоциаций, яркостью, свежестью и глубиной она, в сущности, больше всего напоминала манеру «Охранной грамоты» или его ранних стихов, до того, как он пришел к столь ценившейся им простоте позднего периода. И, так же как его ранние стихи, она покоряла еще до того, как ты успевал осознать, что и о чем он говорит.

В тот день Пастернак, конечно, говорил обо всех владевших им в ту пору мыслях. У меня записано: «говорил о христианстве, о смысле истории» и потом подробнее. Не стану эти записи приводить, потому что гораздо лучше об этом же написано в «Докторе Живаго». Уходя, он надписал мне, Жене и Насте машинописные тетрадочки своих новых стихов.

Я бросился уходить вместе с ним. Нам обоим было в одну сторону, в Замоскворечье, и по дороге я заговорил с ним о его ранних стихах. Я не понимал его отказа от своих ранних вещей. Даже какого-то их осуждения. Я ему сказал об этом. Он отвечал мне. Опять не берусь пересказывать его слова. Но то, что он говорил тогда, дало мне ключ к пониманию внутреннего движения, которое привело к «Доктору Живаго» и к новой манере в стихах. Искусство — это диалог, оно предполагает зрителя и должно говорить на языке своего времени, питаться из того же воздуха, которым питается жизнь. Воздухом своего времени действительно питалось его раннее творчество. Но с тридцатых годов, вероятно, отчасти и под влиянием бесчисленных осуждений, Пастернак перестал верить в читателя. Довольно многочисленные на самом деле любители его стихов, в том числе и из молодого поколения, вероятно, казались ему не характерными, книжными, принявшими его не из жизни, а из старых журналов. Он поверил, что многим, большинству даже, Сурков, Симонов и Твардовский говорят больше, чем он. Он не видел отклика на свои стихи и думал, что его нет. И обвинял в этом себя. В своих прежних книгах он видел герметичность, искусственность, усложненность, расчет на очень искушенного читателя. Я готов был признать, что это все было в двух первых книгах до «Сестры».

Но Пастернаку так много хотелось сказать выстраданного, обдуманного. Он сам так изменился со времени своих ранних книг, что прежний стиль стал для него обузой. Он испугался того, что изменяет основной для него толстовской, учительной традиции русской литературы. Ему хотелось быть проще, прямее, доступнее.

Освободившись к послевоенным годам совершенно от идеологического давления извне, Пастернак все же слышал какую-то правду в требовании создать новый язык, новую поэтику, более отвечающую новому времени, новому человеческому поколению, которое оформилось после войны. Очень реалистично и с надеждой относившийся к ходу истории, очень чуткий к нему, он эти требования времени принимал всерьез. Тем более что он уже знал, что и как он скажет этому новому.

До войны он еще отчасти верил и в идеологические требования и пытался писать свой роман (главы о Патрике, о 905 годе) на основе, к тому времени сильно износившегося и пощипанного, дореволюционного интеллигентского, восходящего еще к народничеству, мировоззрения, и у него ничего не получалось. Он чувствовал себя в безнадежном положении человека, взявшегося за квадратуру круга. Но после войны он обрел широкую идеологическую основу в очень свободно понятом христианском мировоззрении, очищенном от наслоений клерикализма, мешавших людям нескольких предыдущих поколений видеть его истину. Об этом написано стихотворение «Ты значил все в моей судьбе».

Это новое мировоззрение так упрощало ставшие перед этим невыносимыми отношения с миром вокруг него и с историей, что оно естественно слилось с новой,

упрощенной поэтикой, которой он с трудом и с неудачами добивался более десяти лет. Первые же плоды этого нового понимания, стихи Юрия Живаго, показали, как живо и естественно это соединение, как оно успешно. Поэтому Пастернак и считал роман «Доктор Живаго» своим главным свершением и с долей раздражения относился к друзьям и знакомым, защищавшим его старую поэтику и тем самым как бы требовавшим от него вернуться в уже прожитое время со всеми его неразрешимыми тупиками.

Пастернак с самого начала считал своим прямым долгом написать о революции и ее последствиях. Но эта тема требовала от него и нового языка. Теперь, когда прослежена его тридцатилетняя борьба за понимание главных событий времени, начавшаяся камскими главами 1918 года («Безлюбье») и закончившаяся «Доктором Живаго», это должно быть ясно всем. Но тогда это вызывало смущение и недоумение.

Мы расстались с ним у его подъезда в Лаврушинском переулке. Эта встреча была огромным событием в моей жизни. Пастернак освещал все вокруг себя. И свет его проникал далеко.

Еще через полгода, зимою 1948/49 года, я читал первую часть «Доктора Живаго», перепечатанную и сшитую толстой тетрадкой и выпущенную автором в широкий круг своих друзей. Появление «Доктора Живаго» было «выстрелом в ночи», но только выстрелом бесшумным, когда «Не потрясенья и перевороты Для новой жизни открывают путь, Но откровенья, бури и щедроты Души воспламененной чьей-нибудь».

Это был самый страшный, самый неподвижный из послевоенных годов. Рождалось какое-то египетское ощущение окаменевшего и ставшего государственным времени. Антисемитская кампания, новая волна арестов, ежегодное всенародное изучение

«Истории ВКП(б)» и трудов по языкознанию, пышное празднование семидесятилетия Сталина, «поток приветствий», не иссякавший, кажется, до самой его смерти, зловещий XIX съезд — все это становилось символом новой эпохи, обещавшей, что она будет вечной.

Но читавшие стихи Пастернака, читавшие «Доктора Живаго» уже видели все по-другому. Рушилось средостение между тобой и миром. Мы жили в окружении мертвых политических мифов и страхов. Мертвое хватало и подавляло все живое. Но узнавши Пастернака, нельзя было больше принимать это мертвое всерьез. То, что он назвал «магией мертвой буквы», уничтожалось его живым словом.

Культура, история, искусство, человек и общество — все вдруг осветилось новым и живым светом. Слова об истории и христианстве из записок Николая Николаевича Веденяпина* преобразили наше понимание этих предметов. Это было живое современное слово, сказанное о насущных и острых вопросах мировоззрения. Наше поколение, поколение, прочитавшее «Доктора Живаго» в пятидесятые годы, никогда не уйдет от формообразующего влияния его идей.

Позже, познакомившись с Бердяевым, Франком, Тейяром де Шарденом, мы смогли узнать истоки этих концепций, увидеть их происхождение из свободной мысли русского религиозного возрождения начала века и даже заметить в них остатки еще не претворенного рационализма XIX века, но тогда это все было абсолютно новым для молодых людей тех лет. Нас было не так много в то первое время, читавших уже роман, и это сразу ставило нас в особые, доверительные отношения. Я вспоминаю, как году в 1949 зимой, на концерте Рихтера в зале Клуба ЗИС, в перерыве меня познакомили с молодой женщиной, немного старше меня, объяснив ей, что я тоже читал «Доктора Живаго». Ее первый вопрос был, а как я отношусь к христианским идеям романа и не вызывают ли они у меня протеста. Как это ни странно сейчас, но это был естественный по тем временам вопрос. Причем протест подразумевался не с точки зрения верности этих идей христианству, а с примитивной атеистической точки зрения.

Я же понял христианство в «Докторе Живаго» не только как универсальное воззрение, но и — прежде всего — как религию свободы. Как-то эта черта раньше от меня ускользала. Слова «всякая стадность —

* Героя «Доктора Живаго».

прибежище неодаренности», «истину ищут только в одиночку и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно» тогда меня особенно глубоко поразили, как и слова о том, что на свете немного вещей, которым надо сохранять верность. Позже, размышляя об этом, я понял, что был прав не только в отношении «Доктора Живаго», но и в отношении христианства. Действительно, слова Христа — «и познаете истину, и истина сделает вас свободными» открывают нам именно такое понимание. Если мы вспомним, что Христос говорит: «Я есмь Истина», то становится очевидным, что тождество Христос, Истина, Свобода лежит в самой основе христианства. Поэтому Пастернак в «Живаго» действительно открывает нам важнейшую черту христианства, о которой слишком часто забывают и забвение которой бывало чревато долгими и тяжкими заблуждениями, от которых мы начинаем понемногу избавляться.

Следующей зимой Марина Казимировна пригласила моих родителей и меня слушать чтение начала второй книги. Это были главы о приезде Юрия Живаго в Москву с фронта, о московской зиме 17-го года и отъезде в Варыкино. Пастернак читал долго и увлеченно. Он сам смеялся, передавая речь дворника Маркела или возницы Вакха. Что-то он, вероятно, пропускал, но я помню свое впечатление от нескольких сцен: разочарование в вернувшемся из-за границы Николае Николаевиче, топку печи в Сивцевом Вражке, первое известие об Октябрьской революции в Серебряном переулке на Арбате, тиф Юрия Андреевича с двумя Садовыми, поставленными на стол в свете лампы.

В этой части изменилась как будто сама краска исторического времени, как будто небо вдруг заволокло тучами. Кларизм первой части уступает место сумеречному, притушенному изображению. Полиняли друзья — Гордон и Дудоров, растеряны и не знают, как взяться за дело, все участники событий. Что-то распалось. Что-то умерло. Сам Юрий Андреевич, кажется, постарел сразу на десять лет и из озаренного почти пророческим даром юноши превратился в усталого обывателя, покорно принимающего все, что ложится на его плечи. Странное, нерасшифрованное упоминание о его дневнике с названием «Игра в людей» бросало мертвящий свет на всю поблекшую картину жизни.

Я уходил с этого чтения встревоженный и озадаченный и не понимал смысла этих перемен. Папа тогда сделал мелкое замечание, что грязь, нищета и холод начинающейся разрухи относятся скорей к следующим зимам 18-19-го года, чем к этой, еще почти благополучной, осени и зиме 17-го. Пастернак даже принял это замечание, вписав позже фразу, что впечатления нескольких зим, может быть, смешались в памяти Юрия Андреевича. Но тогда, сразу после чтения, отвечая на папино замечание, он сказал, что ему не так важна точная историческая картина. Что все картины города и быта ему нужны только как сценический задник, который надувается и колеблется ветром истории и тем только и служит изображаемому, что своим движением передает этот ветер. Это было повторено много позже, почти дословно, в письме к Стифену Спендеру. Но восходит это к «елабужской вьюге, понимавшей по-шотландски», и круженью десятка мельниц в черный голодный год из «Нескольких положений», написанных в 1918 году.

После этого наступили годы, в течение которых я почти не встречался с Пастернаком и не много знал о нем. На это время падает его инфаркт в 1952 году, сложная семейная обстановка, арест Ольги Ивинской. До меня доходили его новые стихи, я знал, что он продолжает работу над романом, занят переводами. Он писал от

случая к случаю Марине Казимировне. Но все было тяжело и неустойчиво. Его сын Женя был в разгар антисемитской кампании отчислен из аспирантуры в Военной академии и, фактически, сослан на гарнизонную службу сперва в Черкассы, а затем в Читинскую область. Я встретился с Пастернаком на Киевском вокзале, куда пришел провожать Женю в Черкассы. Он был грустный и понурый, совершенно не походил на себя, обычно излучающего бодрость и оживление9.

Новая моя встреча с «Доктором Живаго» произошла уже в другую эпоху. Умер Сталин. Был арестован Берия. Мы жили с новорожденной дочкой и с Мариной Казимировной на даче в Болшеве. В августе Борис Леонидович прислал туда окончание романа — начиная с жизни в Варыкине и встречи с Ларой10. Я читал эти две несброшюрованные тетради большого формата, переписанные набело лиловыми чернилами его удивительным крупным почерком с взлетающими хвостами в конце слов и длинными, с нажимом надчеркиваниями и подчеркиваниями отдельных букв.

Долгое, писавшееся пять — семь лет повествование было закончено. Итог подведен. Роман о революции, о гражданской войне, о жестокой русской судьбе, определившей жизнь не одного поколения. По Пастернаку, революция была почти явлением природы — половодьем после накопившихся бессмысленностей и несправедливостей, естественным протестом живой стихии жизни, решительно не вмещавшейся в испорченные застарелой ложью рамки моральных, социальных и государственных уложений. Осуждение досталось не революции, а тем, кто после нее стал навязывать жизни новые, еще более жестоко неприглядные и умышленные формы. Эти теоретики террора и принуждения, даже действовавшие из лучших побуждений, как Антипов-Стрельников, все эти Ливерии Микулицыны, Тиверзины, Костоеды-Амурские, которые не желали видеть жизни из-за своих схем и теорий, привели страну к тому, что в ней стало нечем дышать. Живаго умирает в Москве в конце двадцатых годов, задыхаясь в сердечной астме. От него остается только книга стихов.

Символом России в революции я увидал и Лару. Перед побегом из партизанского плена Юрий Андреевич видит в тучах на небе лицо Лары. Это один из сквозных образов Пастернака. Ведь он же появляется в его первой книге о революции — в «Сестре моей жизни» с подзаголовком «Лето 1917 года», эта картина описана в эпиграфе из Николая Ленау. Лара, соблазненная и поруганная Кемеровским, брошенная ради умозрительной идеи Антиповым, ставшим грозным комиссаром-расстрелыциком, почти насильственно разлученная вмешательством ложных сил с Живаго, растерявшая своих детей и погибшая «в одном из неисчислимых лагерей Севера», — разве это не образ России тех лет, образ, прямо продолжающий Блока? Ведь в Ларе, как и в Юрии Живаго, заложено простое и естественное понимание живых законов существования, и оба они погибают жертвой тех, кто насильственно втискивает это существование в предумышленные каноны.

В эпилоге «минувшие полвека» расстилаются перед глазами уцелевших друзей Юрия Андреевича в образе города, на который они смотрят с высокого балкона; мелькает первый в русской литературе рассказ о лагере, в котором побывал Гордон; в одной фразе дается жесткое объяснение террора тридцатых годов. «Без гнева и пристрастия», но с болью свидетеля и участника рассказана давно задуманная эпопея.

Роман первыми читателями был принят очень по-разному. У многих возникло какое-то недоумение, рассыпавшееся в мелкие критические замечания. Не вызывали симпатий герои; отмечали неувязки и искусственности сюжета; бросались хвалить пейзажи. Немногие оценили его как совершенно новое явление, стилистически и содержательно открывавшее новые пространства и пути для русской литературы. Несколько лет спустя я разговаривал о «Докторе Живаго» с Ахматовой. Она, с ее склонностью к четким, запоминающимся формулам, сказала безапелляционно: это

гениальная неудача. Я пытался возражать ей, говоря, что в романе ярко выведен духовный мир и люди той эпохи. Она ответила так же категорически: это мое время, это мое общество, и я никого не узнаю.

Тогда я понял одну из важных причин того, что люди этого поколения часто были разочарованы романом. Юрий Живаго, конечно, «камень, отверженный строителями». Таких людей не было видно в литературно-художественном обществе тех лет, они были незаметны среди посетителей «Бродячей собаки» или кружка около «Мусагета». Легче представить себе их среди молодого окружения участников сборника «Вехи» или, позднее, в том Невельском кружке, из которого вышли Юдина, Бахтин, Матвей Каган и многие другие. Почти все люди этого рода были уничтожены или прожили свою жизнь очень незаметно. Недавно мы узнали имена Дмитрия Кончаловского, Александра Ельчанинова. Они ровесники Живаго и пример людей, к которым он духовно близок и с которыми тоже, вероятно, не встречалась Ахматова. Значение таких людей в преемственности поколений огромно, но до сих пор еще не оценено.

Из непосредственного окружения Пастернака, вероятно, Дмитрий Самарин, упоминаемый в «Охранной грамоте», и С. Н. Дурылин какими-то сторонами личности могли послужить прототипом Живаго. Но в существенной части Живаго, как до этого Спекторский, — это некоторый альтернативный автопортрет, наделенный многими собственными чертами, при совершенно иначе сложившейся судьбе.

Лето 1956 года было особенным. В феврале прошел XX съезд. Только что всем читался на открытых партийных собраниях неопубликованный доклад Хрущева. Польские и венгерские события еще только назревали, и никто не предвидел близкой реакции. Реабилитации, начавшиеся исподтишка еще два года назад, стали массовыми. Казалось, что наступает новое время. Готовилось собрание стихотворений Пастернака, в которое он включил и многое из написанного в последние годы. Летом мы читали его второй автобиографический очерк «Люди и положения», намеренно ограниченный в сроках и темах, но рассказавший о трагических судьбах его друзей Табидзе, Яшвили, Цветаевой.

Этим летом Пастернак передал рукопись «Доктора Живаго» сотруднику итальянского коммунистического издательства Фельтринелли, который появился по рекомендации Союза писателей у него на даче. Даже по тем «оттепельным» временам это был решительный и рискованный шаг. Говорили, что он предупредил сыновей Леню и Женю и даже как бы заручился их согласием на все последствия, которыми это могло угрожать. Но невозможно было представить, какая буря развернется через два года. Изменение внутренней обстановки той же осенью заставило функционеров Союза воспользоваться всеми средствами нажима для того, чтобы воспрепятствовать появлению романа на Западе. Включая и прямую ложь, что «Доктор Живаго» будет скоро опубликован в России и они просят подождать этого издания. Но все было тщетно, тем более что Фельтринелли вышел из компартии и впоследствии, перейдя на нелегальное положение, стал одним из организаторов Красных бригад.

Роман вышел в Италии и по-итальянски и по-русски. Немедленно вслед за этим появились другие издания и переводы на все языки11. Он стал, разумеется, бестселлером. Позже была сделана экранизация, обошедшая весь мир. Новорожденных девочек называли «Лара». Пастернак получал очень много писем. К нему рвались иностранные корреспонденты. Москва хранила глухое молчание. Стало ясно, что и стихов печатать не будут. Появились трудности даже с переводами, которые давали Пастернаку средства для жизни. С театральных афиш стали снимать его имя как переводчика. Наконец, в октябре 1958 года пришло известие о присуждении Пастернаку Нобелевской премии.

Первые два дня прошли тихо. Корреспонденты пришли на дачу Пастернака и увидали друзей, собравшихся, чтобы его поздравить. Другие успели взять интервью у министра культуры Михайлова, и он говорил, что рассматривает это присуждение как признание вклада России и что он знает Пастернака как поэта и переводчика, а теперь надеется узнать его прозу. Потом грянул гром. «Литературная газета» и «Известия» начали, а после выступления Семичастного уже не было ни одного издания, не включившегося в травлю. Союз писателей поспешно исключил Пастернака. Многие писатели, до этого считавшиеся порядочными людьми, не постеснялись по старому обычаю, часто даже не прочитав романа, повторять с чужого голоса надуманные, но страшные обвинения. Писатели, считавшиеся друзьями, оказавшись в эти дни в Крыму, поспешили телеграфно присоединиться к общему хору12.

Для Пастернака это были очень тяжелые дни. Ему, как известно, в оскорбительной форме угрожали лишением гражданства и высылкой из страны. Были опасения подстроенных хулиганских выпадов. Студентов Литературного института собирали, чтобы они провели демонстрацию перед домом Пастернака. Какие-то группы «хулиганов» появились на улице возле дачи. Николай Давыдович Оттен13 даже приехал из Тарусы пригласить Пастернака пожить некоторое время у него.

Пастернак, в страшном 1937 году отказавшийся поставить свою подпись под письмом с требованием расстрела осужденным генералам, здесь согласился подписать письма покаянного содержания. Одно — лично Хрущеву и второе — в «Правду», после того как первое было признано недостаточным из-за краткости и достойного тона.

Трудно передать ощущение всеобщего унижения. Ведь роман Пастернака был опубликован уже больше года назад. Казалось, что после смерти Сталина, падения Берии, разоблачений Хрущева такая кампания уже невозможна. Оскорбляла самая форма этого «всенародного осуждения» со стандартной фразой: «Я, конечно, эту книгу не читал, но...» Рабская психология проникла гораздо глубже, и на протяжении десятилетий мы снова и снова становились свидетелями организованной травли, когда по мановению дирижерской палочки, как возвратная лихорадка, снова приходил этот острый рецидив страха и раболепия. Еще грустнее было то, что многие писатели даже в частных разговорах осуждали Пастернака, как будто он нарушил какие-то правила цеховой морали или приличия. Мы, мол, все молчим и терпим, чем он лучше нас, что такое себе позволил.

Поддерживало и утешало Пастернака в эти тяжелые дни мировое общественное мнение, доходившее до него в виде писем и статей. Оно глубоко и верно оценило «Доктора Живаго». Я помню статьи Виктора Франка, Мишеля Окутюрье, Федора Степу-на14 и многие другие. Ведь и для Запада роман был потрясением — первым свободным словом, пришедшим из России за тридцать лет.

В конце августа 1959 года я встретил Бориса Леонидовича в Переделкине на дне рождения В. В. Иванова. Я приехал поздно. Все давно были за столом. Борис Леонидович, сидевший на внешней стороне, поднялся мне навстречу, обнял меня и поцеловал. Я был очень этим смущен. Народу было много. На дальней стороне стола сидела Ахматова. Это была, кажется, их первая встреча после большого перерыва, и атмосферу определяло напряжение между этими двумя центрами. Чувствовалась некоторая непростота. И весь стол, казалось, принимал участие в скрытом психологическом поединке. Ахматова, седая, с белым шерстяным платком на плечах, молча сидела с никогда ей не изменявшим спокойным достоинством. Напротив, Пастернак был оживлен и говорлив, но что-то нарочитое и лихорадочное чувствовалось в этом оживлении. Для многих из собравшихся он был еще героем скандала, тем более что прошлогодняя история была подогрета более поздним

событием. Публикация за границей стихотворения «Нобелевская премия» послужила поводом для новых нападок и вмешательств в жизнь Пастернака. Ему запрещали встречаться с иностранцами, опять укоряли в непатриотическом поведении.

Ахматова читала свои стихи. Его тоже просили, но он упирался и отнекивался, но потом согласился по просьбе Анны Андреевны, «чтобы мне не одной читать». Ахматова прочитала три стихотворения — «Поэт» («Подумаешь, тоже работа...»), «Читатель» («Не должен быть очень несчастным...») и «Летний сад» («Я к розам хочу...»). Первое он прервал после первых четырех строк словами «Ах, как это хорошо!», а когда Анна Андреевна его дочитала, еще раз прочитал это четверостишие, восхищаясь им. О стихотворении «Читатель» («И рампа торчит под ногами, Все мертвенно, пусто, светло...») он сказал: «Как это мне близко! Ощущение театра как модели всякого искусства» — и связал с этим подчеркнуто равнодушное отношение к театру людей искушенных. О стихотворении «Летний сад» Ахматова рассказала, что ей позвонили из «Правды» и попросили дать стихи. Она предложила это стихотворение, «но они почему-то не захотели его печатать». Пастернак подхватил, что это и впрямь удивительно, что «Правда» его не напечатала, «надо было бы, чтобы она его напечатала на розовой страничке», — шутил он.

Сам он прочитал только одно стихотворение — «На протяже-ньи многих зим Я помню дни солнцеворота...», но говорил много и охотно. Он сказал, что любит свой последний сборник — «он проще, прозрачней, чем стихи из романа, не такой торжественный и многозначительный». Еще он говорил, что ему в этих стихах дороже всего то, что «оказывается, это содержание может быть выражено, и это — самое главное». Говорил о пьесе, которую пишет, но все никак не втянется в нее окончательно. «Надо написать что-нибудь до конца, чтобы лица начали жить самостоятельной жизнью, а у меня этого еще нет». Ему хотелось втянуться в эпоху, в стиль и язык 50—60-х годов. Для этого он решил почитать что-нибудь малознакомое «и взял первый том Герцена; и вот какое впечатление — если подсыпать там какого-нибудь порошка, получится что-то очень знакомое, ну, скажем, Эренбург». За Герцена сразу заступились Т. В. Иванова и Ахматова. Пастернак немедленно отступил: «Ну, я не имел в виду "Былое и думы"».

Потом он заговорил о письмах, которые получает со всего света. Россия, сказал он, сейчас вызывает везде очень большой интерес. Из-за своей судьбы, из-за своего будущего, огромных скрытых возможностей. Но почему-то ошибочно этот интерес связывают с политическими случайностями нашей жизни. В одном из писем мексиканская школьница прислала французское стихотворение со строчкой

O, Laika, la victime de la science... *

Много таких смешных писем.

Было не очень поздно. Все сидели еще за столом. Но Пастернак встал и, ссылаясь на ожидающую его завтра работу, попрощался. Я пошел проводить его на соседнюю дачу. По дороге он говорил по поводу своей новой пьесы, что раньше, в классической литературе изображалось движение событий от причины к следствию. Но не это важно, и ему хочется «в духе отступления от детерминистского описания» говорить о целом, о его движении, о тех возможностях, которые могут осуществиться или не осуществиться. Существо, по его словам, именно в движениях целого, в потенциально заложенных в нем импульсах осуществимости.

Я вернулся к Ивановым и остался у них ночевать. На следующий день в девятом часу утра я вышел на станцию и по дороге, проходя мимо пастернаковской дачи, увидел его, бодрой, торопливой походкой, с полотенцем через плечо идущего к душевой кабинке.

В конце зимы 60-го года у нас с друзьями возникла идея записать Пастернака на магнитофон. Он, как всегда, был очень занят — перепиской, работой над своим последним замыслом — пьесой «Слепая красавица». 1де-то в марте он согласился записаться «после Пасхи». Но после Пасхи Борис Леонидович заболел. Сперва говорили о простуде, в результате которой обострились давние неприятности. Но скоро сообщения стали принимать все

* О Лайка, жертва науки... (#.).

более тревожный характер. Менялись врачи, ставились новые диагнозы, созывались консилиумы, а Пастернаку становилось все хуже.

В мае Ел. Еф. Тагер просила меня помочь перевезти в Переделкино кислородную палатку. С большим трудом мы доставили на дачу на грузовике это громоздкое оборудование. Мрачная и озабоченная Зинаида Николаевна вышла из дому, указала, где его поставить, и ушла. Было ясно, что палатка не нужна и вообще вряд ли что-нибудь может помочь. Скоро выяснилось, что это рак легкого. Сам Пастернак понимал, что он умирает. Из Оксфорда вызвали его сестру Лидию.

Тридцатого мая я поехал с первой женой Пастернака Евгенией Владимировной во Внуково встречать самолет из Лондона, которым должна была прилететь Лидия Леонидовна. Рейс запаздывал. Когда самолет прилетел, выяснилось, что ее нет. В этот день я дважды к разным самолетам ездил во Внуково и возвращался в Переделкино сказать, что Лидия Леонидовна не прилетела. Второй раз это было уже поздно вечером. Зинаида Николаевна пригласила меня в дом, где царила тяжелая обстановка последних часов болезни. Она попросила меня попытаться дозвониться в Оксфорд и узнать, когда же прилетает Лидия Леонидовна. Около полуночи я был в международном переговорном пункте на Центральном телеграфе. Длинная комната, где с одной стороны были окошки для заказов, а с другой в ряд десять — пятнадцать кабинок, напоминала переговорный пункт в средней руки курортном городке. Толпа корреспондентов звонила в свои редакции. Во всех разноязычных речах слышалось имя Пастернака. Когда я дозвонился до Оксфорда, племянник Бориса Леонидовича Николас Слейтер, спросив о состоянии Пастернака, объяснил, что мать в Лондоне, но советское посольство все еще не дает ей визы и что она вылетит немедленно, когда ее получит. Она в конце концов прилетела уже после похорон Бориса Леонидовича.

Когда я вышел из кабины, то услыхал, что в соседней кабине какой-то корреспондент диктует сообщение о смерти Пастернака. Я не поверил, но к трем часам ночи, добравшись до дома, увидал Марину Казимировну. Она ждала меня, чтобы сказать о кончине Бориса Леонидовича. Мы прошли с нею на кухню и молча посидели. В окне розовело небо, всходило солнце.

На следующее утро мы с Мариной Казимировной поехали в Переделкино. Пастернак лежал в маленькой комнате на первом этаже, где он болел и умер. В сторонке сидел Иван Бруни и рисовал его. Мы немного постояли, простились и вышли. Уже тоненькой струйкой шел прощаться народ. На другой день я был там опять с Настей. Народа было уже очень много. В соседней комнате стоял рояль. Сменяя друг друга, Рихтер и Юдина играли траурную музыку. Прощающиеся непрерывной цепочкой входили с центрального крыльца и выходили через боковые двери. Это продолжалось весь день15.

Поздно вечером я еще раз приехал на отпеванье. Оно происходило в той же комнате. Кроме семьи было еще человек пять — семь.

На другой день были похороны. Мы приехали в Переделкино на машине с папой и Мариной Казимировной. По дороге стояла милиция. Хотя мы приехали часа за два до начала, нас вежливо попросили поставить машину на соседней улице у дачи Чуковского и идти пешком. Там уже стояло много машин с иностранными номерами.

На даче продолжалось прощанье, как вчера, но только люди не расходились, а оставались на участке или на улице перед домом. Собралось очень много народа, хотя никаких сообщений о времени похорон, как известно, не было. Это было первое общественное проявление на моей памяти — провожать Пастернака собралась многотысячная толпа. Тут и там, но главным образом у ограды участка, появлялись специальные молодые люди. Их легко было узнать по деловитой озабоченности, с которой они за всем наблюдали. У некоторых из них были киноаппараты, и они снимали группы собравшихся. Я слышал, что потом каких-то писателей приглашали на просмотр этих фильмов и просили назвать тех, кого они могли узнать. Из известных писателей я помню там только Паустовского, зато очень много было знакомых из интеллигентских кругов и из молодых людей. Было тоже много иностранных корреспондентов с фото- и киноаппаратами.

В доме прощание проходило так же, как накануне, но только гроб был поставлен в большой комнате. Все время играла музыка.

Ко времени выноса тела установилась какая-то необыкновенно торжественная и серьезная обстановка. Был теплый, почти жаркий солнечный летний день. Тысячи людей стояли молча и очень серьезно на участке, на дороге, на поле перед дачей. Никто не теснился, не было ни давки, ни суеты, ни разговоров.

Гроб вынесли на плечах из дома и пошли по дороге к воротам. Медленно и торжественно люди вливались в процессию, шедшую за гробом. За воротами возникла короткая заминка. Там стояла присланная Союзом машина-катафалк, и организатор

Союза хотел, чтобы гроб поставили на катафалк. Он почему-то очень на этом настаивал. Но те, кто нес гроб — а впереди шли сыновья Женя и Леня, — решительно отказались это сделать. Кто-то сказал: «Мы сами будем его хоронить». Машина уехала, и гроб понесли на кладбище два километра на руках. Когда мы уже перешли мостик, я оглянулся и увидел нескончаемую, растянувшуюся на километр процессию. Одна группа отделилась и пошла низом наискосок к кладбищу. И в ней было очень много людей. Я вспомнил стихотворение Пастернака «Август», и оно меня поразило своей пророческой силой. Как будто это было действительно откровение о собственных похоронах. Все происходило, как в этих стихах. Высокая атмосфера покоя, торжества, надмирной отрешенности, атмосфера не конца, а завершения земного пути присутствовала здесь. Когда дошли до кладбища и опустили гроб на землю, выброшенную на край могилы, настало время последнего прощания. Сыновья, Стасик Нейгауз и Зинаида Николаевна стояли у гроба все время. Несколько самых близких людей подошли к гробу. Ольгу Всеволодовну, рыдающую, увели под руки дочь и ее подруга. Последней подошла домработница Татьяна Матвеевна. Она вложила в руки молитву и образок и укрепила на лбу венчик.

Из уже плотной вокруг могилы толпы все время выныривали какие-то личности, поторапливавшие заканчивать похороны. Они встречали глухое, но явное сопротивление. Всем не хотелось торопить момент закрывания гроба. Возникло какое-то почти физическое ощущение — не хватало отпускающего слова, речи, священника с короткой литией. В этот момент на край могилы вышел Валентин Фердинандович Асмус и произнес короткое, осторожное и сдержанное, но достойное надгробное слово. Он закончил фразой: «Покойный не любил пышных речей, поэтому не надо больше никаких выступлений». Но сразу вслед вышел актер Голу-бенцев со словами: «Над свежей могилой поэта должны звучать его стихи». Он прочитал известное стихотворение «О, знал бы я, что так бывает...».

Когда после этого уже настойчиво откуда-то сбоку скомандовали: «опускайте гроб», толпа взорвалась. Раздались крики: «Не мешайте нам хоронить своего поэта!» Кто-то — я его видел совсем рядом — выкрикнул: «Спасибо тебе, Пастернак, от

рабочих!» — раздалось имя «Доктор Живаго». Алена Пастернак, рядом с которой я стоял, сказала мне: «Миша, прочитай стихи!» — и сейчас же с нескольких сторон незнакомые люди повторили: «Миша, прочитай стихи!»

У меня в голове все время звучали строчки из «Августа», но надо было быстро решить, и я все-таки выбрал «Гамлета» и в мгновенно наступившей глубокой тишине прочитал шестнадцать строк этого стихотворения.

Напряжение схлынуло. Уже никто ничего не выкрикивал. Гроб закрыли и опустили в могилу. Стоявшие рядом бросили по горсти земли. Под простершейся, как в поклоне, широкой сосновой веткой вырос свежий холмик. Люди стали расходиться. Но очень многие остались. Предложили почитать стихи. Крикнули: «Август»! — «А это можно?» — спросил кто-то. «Теперь все можно», — ответили ему. Прочитали «Август», потом еще и еще и до поздних июньских сумерек, до ночи над могилой читали и читали стихи.

Валентин Берестов

СРАЗУ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Этот вечер Пастернака состоялся в Коммунистической (бывшей Богословской) аудитории Московского университета. Всего четвертый вечер после девятого мая, после Победы. По счастью, я записал о нем в свой дневник. На вечер меня привел Корней Иванович Чуковский. Мне исполнилось 17 лет, жил я в интернате при школе памяти Ленина в Горках Ленинских, в Москву ездил на паровике. Я учился тогда в девятом классе, а кроме того работал лаборантом физического кабинета нашей школы, получая тогдашних 135 рублей. Два рубля у меня вычитали, и я гордо объяснял: «За бездетность». Оставшихся денег как раз хватало на билеты в Москву и обратно. К тому времени, наверное, не было ни одной когда-либо опубликованной строки Пастернака, какой бы я не знал. Особенно я любил вышедшую во время войны книгу «На ранних поездах»1. Я прочел ее в эвакуации, в Ташкенте. Она возвращала меня не только в мирное детство, но и в какую-то небывало прекрасную эпоху. В более ранних и сложных книгах поэта я как-то особенно выделял строки про детство, про то, как «вечером переставала двигаться жемчужных луж и речек акварель, и у дверей показывались выходцы из первых игр и первых букварей»2, и про то, «что делать страшной красоте присевшей на скамью сирени, когда и впрямь не красть детей», и про то, как «плыл плач Комариный, Ползли Мураши, Волчцы по Чулкам Торчали», и мне казалось, будто мы с папой опять возвращаемся с Оки, с рыбалки, и нет ни войны, ни разлуки. Я и шел на вечер Пастернака за радостью, полагая, что ее у поэта в эти прекрасные дни найдется для меня сверх меры. А теперь слово семнадцатилетнему человеку сороковых годов. Итак, 13 мая 1945 года.

«...Пастернак возник неожиданно:

— Корней Иванович! Корней Иванович! — и увидев меня: — Я отождествил вас с кем-то тоже подымавшимся к Ивановым. Но мы когда-нибудь будем знакомы!»

— Здравствуйте, товарищи! С победой, товарищи! Нам придется совершить окольный путь. Я хочу провести себя и слушателей через это испытание... Я прочту из «Девятьсот пятого года», из «Спекторского», из самых-самых ранних стихов, из «Второго рождения» и «Земного простора»...

И стал читать. Я не ожидал такого чтения: и жесты, и интонации не совпадали со стихами, создавали какой-то новый, дополнительный образ каждого стихотворения. Иногда он, сцепив пальцы, держал руки перед собой, иногда поднимал голову, а когда читал «Опять весна», сделал шаг вперед и тряхнул головой:

Поезд ушел. Насыпь черна.

Где я дорогу впотьмах раздобуду?

Читая «Морской мятеж», сказал:

— Я не буду объяснять морские термины, например, «кнехт», — и тут же объяснил, что такое кнехт.

Наверху был какой-то малыш, все пытался шуметь, потом крикнул на весь зал:

— Я тоже хочу писать!

— Что он сказал? Хочет писать? Правильно! Молодец! Хотя это и трагично. Но тогда тем более молодец!

У Пастернака совсем молодые глаза, живущие напряженной и страстной жизнью, по контрасту с ними кожа на лице уже по-стариковски обтягивает череп и далеко выступающие челюсти, шея с выдающимися жилами.

— Я помню все эти стихи, а когда забуду, вооружусь очками и буду читать по книге.

Ему все-таки пришлось вооружиться очками, читая «Разрыв». Отчаянно не хотел читать, но всеобщий вопль галерки и задних рядов заставил его подчиниться. Сначала читал равнодушно, потом воодушевился, звонкая тоска появилась в голосе:

А в наши дни и воздух пахнет смертью: Открыть окно — что жилы отворить.

«Сестру мою — жизнь» ни за что не стал читать:

— Потому что эти две книги, «Сестра моя — жизнь» и «Темы и вариации», — не книги. Во времена Блока можно было доверяться таким стиховым вихрям, оставить на столе непросохший черновик, чтобы ветер вынес его на улицу... Нет-нет, вы не думайте, что я против Блока. Блока я ставлю в одном уровне с Пушкиным... Наша поэзия должна строиться на революционном задоре наших дней. Симонова и Суркова я считаю первой ступенькой этого нового реализма. Я хотел написать бытовую поэму «Зарево». Солдат приезжает в Москву. Война. Жене его трудно. Но во всем чувствуется победоносное...

Нас время балует победами, И вещи каждую минуту Все сказочнее и неведомей В зеленом зареве салюта.

Непрерывно на сцену через Алика Есенина-Вольпина3, который прямо там сидел, попадали записки.

— Товарищи, я не буду сейчас собирать записки, — сказал Пастернак и принялся их собирать. — Дайте мне газету, я их соберу в кулек и буду читать на досуге.

— Ответьте хотя бы на несколько.

— Хорошо.

Но все это были просьбы прочесть стихи.

— Да-да, я знаю это стихотворение... Наконец, он нашел настоящую записку:

— «Придете ли вы на вечер Софроницкого?» Я очень люблю Софроницкого, но я живу за городом.

— «Какое произведение военных лет вам больше всего нравится?» «Василий Теркин»... Товарищи, я хочу сказать вам, что мы не знаем, что мы будем писать. Мы становимся зажиточными. Впереди много творческих сюрпризов. С этим я и поздравляю вас, товарищи!

Он читал до тех пор, пока слушатели его не пожалели. Действительно, он чуть не валился с ног.

— Боря, — сказала его первая жена, — вот и газеты не надо. А сын улыбался.

Потом я хотел было пройти к Пастернаку, но Чуковский остановил. У выхода Чуковского окружили девушки:

— Ой какой праздник, я даже не знаю!

Чуковский сказал мне, что у Пастернака благополучная жизнь, что нет у него той щемящей боли, которая была у Блока и Некрасова.

У трамвайной остановки из открытых окон — звуки танца. Они как-то сообщаются ожидающим трамвая. В пригородном поезде темно. Один человек вспоминал, как у

него в День Победы трофейную зажигалку «тиснули», зевнул, вздохнул: «Эх, жизнь на колесах! Всегда в дороге...» Когда я приехал в Подмосковье, меня удивило, что в начале лета здесь почти белые ночи, «всю ночь дыхание зари».

Вот и вся запись. Что к ней добавить? С Корнеем Ивановичем все эти дни как бы шла рядом тень его сына Бориса Корне-евича, погибшего в московском ополчении. А Пастернак подобрал для этого вечера даже не стихи о войне, если не считать отрывка из так и не написанного «Зарева». Если поэт и вправду пророк, то Пастернак в тот вечер хотел напророчить нам, предсказать и даже как-то утвердить в жизни радость и надежду. «Мы не знаем, что мы будем писать». Увы, за нас это отлично знали другие.

Еще немного о его чтении. Интонации показались мне слишком прозаичными, разговорными. Но это потому, что о самых простых вещах, например, о кульке из газеты, куда он намеревался собрать записки, или о том, что он живет за городом и это мешает ему посетить концерт Софроницкого. Пастернак говорил с необычным напором и воодушевлением. Так говорят маленькие дети, полностью отдаваясь своим чувствам. И недаром поэту как равный отозвался пятилетний ребенок с галерки.

И утро шло кровавой банею, Как нефть разлившейся зари, Гасить рожки в кают-компании И городские фонари.

Запомнил и могу воспроизвести, как читал Пастернак последние строфы стихов «На пароходе», написанные в 1916 году. Самым длинным словом, гудевшим, как пароход на реке, было «шло-о-о», зато две последних строки он прямо-таки проглотил с какой-то смущенной, виноватой интонацией, дескать, простите, что слишком задержал ваше внимание на этой, может быть, малоинтересной картине. Слипшееся в один звук «игородские-фонари» было куда короче, чем «шло-о-о». Но как резко выделил он метафоры: «кровавую баню» и зарю, разлившуюся, как нефть. Метафоры, передававшие, в сущности, лишь краски камского рассвета, вспоминаются мне теперь как символы самых страшных опасностей для человечества: кровавая баня войны и нефть, разлившаяся на всю реку, — экологическая катастрофа... Тогда я об этом не думал. Но почему поэт остановил наше внимание на этих образах? Почему с такой силой прочел именно эти давние стихи? И, желая напророчить радость всем существом, как малый ребенок стремясь к ней, он этим чтением как бы пророчил новые беды.

И еще одна встреча с Пастернаком. Через четыре года. На улице Герцена. Я уже три года учился в том самом университете и слушал лекции в той самой Комаудитории. Пастернак шел от Никитских ворот к Консерватории. Я поклонился ему, не ожидая, что он меня помнит. И вдруг горячее:

— Здравствуйте, Берестов! Куда вы запропастились? Кто вы? Что вы?

-— Я -— археолог, Борис Леонидович!

— Да-да, археолог... Ну и что вы, как у вас говорят, копаете?

— Хорезм, Борис Леонидович.

— Да-да, Хорезм... Я слышал это слово, оно вызывает у меня какие-то ассоциации. Кстати, Берестов, я перед вами свинья свиньей. Вы не спорьте, а выслушайте. В 1944 году, когда вы приехали в Москву и наша милейшая Тамара Владимировна показала мне ваши стихи, я отождествил вас с кем-то другим, тоже подымавшимся к Ивановым. И я подумал: «Как этот человек может писать такие стихи?» Нет-нет, в своем, гумилевском, плане они были достаточно хороши. Но это сочетание, вы и тот человек, показалось мне дурным, противоестественным. Я дурно думал о вас и, кажется, даже дурно отозвался. А потом, в сорок пятом, наш милейший Корней Иванович познакомил нас, и я увидел, что вы прекрасно монтируетесь с вашими стихами. Я хотел вам это сказать, но вы пропали и больше не попадались. И вот теперь я это говорю, и камень упал с моей души.

Лишь потом узнал подоплеку. Оказывается, в конце войны Надежда Яковлевна Мандельштам написала обо мне Пастернаку: «К вам приставал Валя Берестов. Дрянь»4. Не знаю, чем, уехав из Ташкента в Москву, я вызвал ее недовольство. Я ничего не знал об инциденте между Мандельштамом и Алексеем Толстым и радостно писал в Ташкент о моем знакомстве с ним. Может, в этом причина. А «приставать» к Пастернаку я никак не мог. Мое тогдашнее чувство к нему выражается его же словами: «О, куда мне бежать от шагов моего божества».

И все же через 10 лет после того вечера в университете я таки «пристал» к Пастернаку. Я испытал неимоверное желание прочесть ему мое самое популярное в те годы стихотворение «Срочный разговор». Чуковский любил его и требовал, чтобы я при нем читал эти стихи каждому встречному, а Маршак находил их фатоватыми. От того, что скажет Пастернак, как бы зависела моя литературная судьба. Ведь он мог сравнить мои новые стихи с прежними. Вот запись 1944 года: «Третьего мая экземпляр моих стихов, находящийся у Ивановых, был показан Пастернаку. Ему понравились мои стихи 1942 года. Он считает, что эти стихи самые самостоятельные, потому что я тогда еще ничего не знал и нечему было подражать. Он считает меня способным человеком, но недоволен, что я подражаю ему. "Нужно или писать по-своему, или, если подражать, то великим образцам: Пушкину, Лермонтову, а не мне". Дальше про мое подражание Гумилеву. И нечто поясняющее сказанное потом в университете: «Пастернак считает свое прежнее творчество, кроме книги "Поверх барьеров", вычурным и манерным. Свое возрождение он начинает с переделкинского цикла. Считает, что Симонов и Сурков — "простота без претензий". Хочет быть понятным народу. Свои газетные стихи ему очень нравятся. Он считает: это именно то, что нужно писать теперь».

Интересно, что он скажет теперь, через 10 лет, и о себе и обо мне. Тем более что многие мои товарищи, в том числе и моложе меня, уже побывали у Пастернака с той же целью — прочесть ему свои стихи. И вот словно какая-то неведомая сила привела меня зимним вечером через кладбище и пустое снежное поле к переделкинской двери Пастернака.

Постучался. Борис Леонидович не удивился моему появлению, попросил подождать в прихожей. Мельком увидел, как он подбирал с пола большой комнаты усеявшие ее исписанные листы бумаги, наверное, черновики «Доктора Живаго». Когда пол был освобожден, я вступил в комнату и после ответа на настоятельное требование хозяина сказать ему, в какую сторону изменился его облик после того, как он вставил зубы, прочел-таки свой «Срочный разговор».

— Я еще не видел поэта, который бы не косвенно, через кого-либо, а прямо учился бы у Александра Сергеевича. Интересно, есть ли в вашей маленькой поэме его любимейшие слова, например «бледный»?

На стены крепости старинной Ложится бледный лунный свет, —

с ужасом вспоминаю я.

— Прекрасно! Замените эпитет, и тогда никто ничего не заметит, — добродушно советует Пастернак.

Я сижу в оцепенении. Как я мог ворваться вот так, чуть ли не ночью, без приглашения! Мне жаль устилавших пол страниц и того таинства, которое с ними тут без меня происходило, а теперь из-за меня, может, больше не произойдет. А Борис Леонидович уже отвечает на вопросы, которые сам же задает себе от моего имени:

— Нет, я не пойду на съезд писателей5. Ведь не дадут сказать самое главное. Наша беда в поэзии та же, что в сельском хозяйстве, — приписки. Да-да, идеологические приписки. Вы что-то выразили, высказали какое-то чувство. Но без приписки, без изъявления чувств, которые вы не испытываете, вас не напечатают. А иногда

напечатают, оставив одни приписки. И люди привыкают писать уже только одни приписки, ничего, кроме приписок.

...Вы, наверное, хотите узнать о поэтах, как я к ним отношусь. Из советских поэтов предпочитаю Твардовского, он очень талантлив. Ну, Мартынов, Маршак... Сурков. Да-да, не удивляйтесь. Он пишет, что думает: думает «Ура!» — и пишет «Ура!». У него есть свежие ритмы. Ну Заболоцкий, он вроде меня. Вы знакомы с Владимиром Соколовым? И еще запомните, пожалуйста, такое имя — Варлам Шаламов. Говорят, нужно много поэтов, хороших и разных. Это Маяковский сказал6. А зачем? У меня один отец. Зачем мне много отцов, пусть хороших и разных?

И он что-то гудел и мычал об одном Тютчеве, а не о десяти, пока я отступал к двери.

Больше я к нему не приставал, даже когда две зимы прожил рядом с ним, на даче Ираклия Андроникова. Я видел, как он идет гулять в самую метель, видел весной его загорелую спину, когда он работал на огороде. А моя четырехлетняя дочь подружилась с его дворнягой Тобиком. Однажды мы гуляли с Маринкой, Тобик выскочил к ней и перепугал трех прогуливавшихся дам из Дома творчества.

— Однако, — закричали они, — чья это собака? Пастернака? Как он смеет, Пастернак, распускать своих собак?

Меня поразила неожиданно проявившаяся ненависть к поэту, она не предвещала ничего хорошего. А Маринка восхитилась:

— Папа, послушай, какой стишок сочинили тети:

Однако?

Чья это собака?

Пастернака?

Дамы посмотрели на нее с ужасом и опрометью бросились прочь.

Даже свою первую книгу «Отплытие» я не решился подарить Борису Леонидовичу, пока тот сам не узнал о ней и не попросил ее у меня. Через месяц на той же дорожке я от него услышал:

— Я опять перед вами свинья свиньей. Я не прочел ваш сборник. Хотя сам через Коржавина7 буквально вымогал его у вас. Но вы не огорчайтесь, я не только вас не прочел. Я не прочел Слуцкого, Евтушенко, Винокурова, еще кого-то, говорят, очень хорошего. Я всегда был хорошим товарищем, читал все, что мне дарят. Но сейчас из-за «Живаго» у меня роман с танком. Он идет на меня, а я ему улыбаюсь, кокетничаю с ним: вдруг все обойдется?.. И сейчас меня мало волнуют микрометрические различия между вами всеми. Простите. Боже, что я несу!

После исключения из Союза писателей я встретил его два раза. Дом творчества. По красному ковру, прикрепленному к мраморной лестнице, писатели, продолжая вести безумно смелые разговоры, двигались в столовую. А под лестницей был телефон, и к нему, не сняв пальто, направлялся от входной двери Пастернак. Головы моих отважных коллег резко повернулись к стене, разговоры еще более оживились, особенно жесты. Боюсь, что иные всерьез приняли решение знаменитого собрания — при встрече не подавать руки Пастернаку. Лучше уж сделать вид, что увлекся беседой, никого не видишь. Я же счел сей пункт резолюции казенной риторикой, припиской:

— Здравствуйте, Борис Леонидович!

Вот уж не думал, что можно так радоваться простой вежливости:

— Здравствуйте! Про вас очень хорошо говорили. Не помню где, не помню что, не помню кто, но помню, что хорошо, и мне это было приятно.

Майский вечер, почти белая ночь. Возвращаюсь в Дом творчества. У мостика над Сетунью Пастернак провожает кого-то:

— Милости просим! Милости просим еще и еще! Запросто!

Потом он заметил меня:

— Вы уже не живете у Андроникова? А знаете, про вас хорошо говорят.

Что же он такое сказал про человека, которого когда-то принял за меня, тогда шестнадцатилетнего? Человека, который ну никак не монтировался с моими стихами. И как он мог после пережитых им поношений беспокоиться, не повредил ли он много лет назад репутации подмосковного школьника с полудетскими стихами?

Исайя Берлин

ВСТРЕЧИ

С РУССКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ 1945 и 1956

Всякая попытка связных мемуаров — это фальшивка. Ни одна человеческая память не устроена так, чтобы помнить все подряд. Письма и дневники часто оказываются плохими помощниками.

Анна Ахматова

Летом 1945 года я был временным сотрудником британского посольства в Вашингтоне. В один прекрасный день мне сообщили, что на несколько месяцев меня переводят в распоряжение нашего посольства в Москве. Там не хватало людей, и было решено, что, поскольку я владею русским языком и у меня была возможность на Сан-Францисской конференции (и еще задолго до нее) кое-что узнать об официальном и неофициальном отношении американцев к Советскому Союзу, я смогу оказать помощь в работе посольства. Предполагалось, что я пробуду в таком качестве до Нового года, а там высвободится для работы в Москве какой-нибудь более профессиональный дипломат.

Не был я в России с 1919 года, когда наша семья уехала оттуда. Мне было тогда 10 лет. Москвы я не видел никогда. Я приехал в Москву ранней осенью, получил в свое веденье стол в посольской канцелярии и окунулся в текущие мелочи. Хотя я и являлся в посольство на работу каждое утро, мои обязанности (единственные, кстати, возложенные на меня) — чтение, резюмирование и комментирование советской прессы — были, по правде сказать, не слишком обременительными. По сравнению с западной содержание советской периодики было до крайности одноцветным, повторяющимся, наперед предсказуемым — везде, во всех газетах, одно и то же: и факты те же, и пропаганда та же. В результате у меня оставалось много свободного времени. Я ходил в музеи и театры, посещал исторические достопримечательности и архитектурные памятники, заходил в книжные лавки, праздно бродил по улицам. Но только в отличие от других иностранцев, во всяком случае тех из них, кто, как и я, приехал с Запада и не был коммунистом, я мог считать, что мне необычайно повезло: я познакомился с целым рядом советских писателей, среди которых были, по крайней мере, двое, отмеченных печатью исключительной гениальности*. <...>

Перед отъездом в Москву, в числе прочих советов и напутствий от английских дипломатов, служивших там, мне было сказано, что встреч с советскими людьми трудно добиться. Мне рассказали, что на официальных дипломатических приемах можно встретить некоторое количество тщательно отобранных высших чиновников, и они в основном повторяют партийную линию и избегают реальных контактов с иностранцами, по крайней мере из стран Запада; на таких приемах иногда разрешают присутствовать артистам балета и актерам, потому что они считаются самыми простодушными и наименее интеллектуальными среди людей искусства, а потому наименее подверженными опасности воспринять еретические идеи или выболтать какие-то тайны.

Короче, у меня заранее создалось впечатление, что, независимо от языкового барьера, из-за всеобщего страха перед контак-

* Я никогда не вел дневника и в этих заметках опирался на то, что помнил непосредственно во время работы над настоящим текстом, или на то, что, как мне помнилось, я хранил в памяти в течение последних тридцати с лишним лет и не раз рассказывал друзьям. Я слишком хорошо знаю, что память, во всяком случае, моя память, — не всегда надежный свидетель событий и фактов. В особенности это касается разговоров, которые я иногда пытаюсь здесь приводить дословно. Могу лишь сказать, что я записал все факты в точности так, как я их помню. Я буду рад любым документальным или иным свидетельствам, в свете которых настоящее изложение сможет быть дополнено или исправлено.

тами с иностранцами, особенно гражданами капиталистических стран, и из-за специальных инструкций для членов коммунистической партии, обязывающих их воздерживаться от таких контактов, все западные посольства находятся в культурной изоляции. Дипломаты и большинство журналистов и других иностранцев обитают как бы в зверинце с сообщающимися между собой клетками, однако отгороженном от всего остального мира высоким забором.

Я нашел это предварительное свое впечатление по большей части верным, но не в такой степени, как мне заранее казалось. За мое краткое пребывание в России я встречался не только с тщательно вымуштрованным штатом балетных танцоров и литературных чиновников, которые присутствовали на всех приемах, но и с подлинно талантливыми писателями, музыкантами и режиссерами, и среди них — с двумя великими поэтами. Одним из них был тот человек, которого я хотел увидеть больше всех, — Борис Леонидович Пастернак, стихи и проза которого меня глубоко восхищали.

Я не мог заставить себя искать знакомства с ним без предлога, хотя бы самого прозрачного. К счастью, я был знаком с его сестрами, которые жили тогда и, я счастлив сообщить, поныне живут в Оксфорде, и одна из них попросила меня взять с собой пару башмаков для ее брата — поэта. Теперь у меня появился повод, и я был очень за него благодарен. <...>

Стоял теплый солнечный день, какие бывают ранней осенью. Пастернак, его жена и Леонид, их сын, сидели за простым деревянным столом в маленьком садике на задворках дачи. Поэт радушно приветствовал нас. Марина Цветаева, с которой Пастернак дружил, сказала как-то, что он выглядит как араб и его конь1; у него было смуглое, меланхолическое, выразительное и очень породистое лицо, теперь знакомое всем по многочисленным фотографиям и портретам кисти его отца. Пастернак говорил медленно, своего рода монотонным низким тенором. Интонация его речи была плавной, ровной — нечто среднее между гудением и мычанием, — и все, кто знали его, безошибочно отмечали эту манеру. Каждая гласная произносилась им протяжно, как будто на манер заунывных лирических арий из опер Чайковского, но с более концентрированной силой и напряжением. Я неловко протянул ему пакет, который держал при себе, объяснив, что это подарок от его сестры Лидии — пара башмаков. «Ну нет, нет, что же это, что это вы! — сказал Пастернак, явно смущенный, как будто я предлагал ему благотворительное подношение. — Это какая-то ошибка, недоразумение. Это, должно быть, для моего брата». Мне тоже стало страшно неловко. Зинаида Николаевна попыталась исправить положение и спросила меня, оправляется ли Англия от последствий войны. Но прежде чем я смог ответить, Пастернак перебил меня: «Я был в Лондоне в тридцатых годах — в 1935 году — на обратном пути с Антифашистского конгресса в Париже. Давайте я вам расскажу, как это было. Это было летом, и я был на даче. Вдруг приезжают ко мне двое, наверное из НКВД, нет, пожалуй, мне помнится, из Союза писателей — тогда мы, должно быть, не так боялись таких визитов, — и один из них говорит: "Борис Леонидович, в Париже происходит

Антифашистский конгресс. Вы приглашены в нем участвовать. Мы просим вас выехать завтра. Вы поедете через Берлин. Вы можете там пробыть несколько часов и встретиться с кем вам будет угодно. На следующий день вы приедете в Париж и вечером будете выступать на конгрессе". Я ответил, что у меня нет подходящего костюма для такой поездки. Они сказали, что позаботятся об этом. Они предложили мне визитку и брюки в полоску, белую рубашку с твердыми манжетами и стоячим воротничком — и ко всему этому великолепную пару черных лакированных башмаков, которые оказались мне прямо по ноге. Но я как-то ухитрился все-таки поехать в моей обычной одежде. Потом мне рассказали, что в самую последнюю минуту Андре Мальро, один из главных организаторов конгресса, настоял на том, чтобы меня пригласили. Он объяснил советским властям, что если меня и Бабеля не будет, то пойдут лишние толки и пересуды, так как мы были признаны на Западе, а в то время не было уж так много советских писателей, которых готовы были бы слушать европейские и американские либералы. И вот, хоть меня и не было в первоначальном списке советских делегатов — да и как я мог там быть, — они согласились».

Как и было договорено, он поехал через Берлин, где встретился с сестрой Жозефиной и ее мужем. Он сказал, что, когда приехал на конгресс, там было много знаменитых и важных людей — Драйзер, Жид, Мальро, Форстер, Арагон, Оден, Спендер, Розамонд Леман и другие знаменитости. «Я выступил. Я сказал: "Я понимаю, что это конгресс писателей, собравшихся, чтобы организовать сопротивление фашизму. Я могу вам сказать по этому поводу только одно. Не организуйтесь! Организация — это смерть искусства. Важна только личная независимость. В 1789, 1848 и 1917 годах писателей не организовывали ни в защиту чего-либо, ни против чего-либо. Умоляю вас — не организовывайтесь!"2

Мне показалось, что они страшно удивились. Но что еще мог я сказать? Я думал, что у меня будут неприятности дома после этого, но никто никогда не упомянул об этом — ни тогда, ни теперь*. Из Парижа я поехал в Лондон, где встретился с моим приятелем Ломоносовым, — совершенно замечательный человек. Он, как и его тезка, — что-то вроде ученого — инженер3. После этого я на одном из наших пароходов отправился в Ленинград. У меня общая каюта со Щербаковым, который тогда был секретарем Союза писателей и был невероятно влиятелен**. Я говорил без умолку — день и ночь. Он умолял меня перестать и дать ему поспать. Но я говорил как заведенный. Париж и Лондон разбудили во мне что-то, и я не мог остановиться. Он умолял пощадить его, но я был безжалостен. Наверное, он думал, что я сошел с ума. Может быть, я многим обязан его диагнозу моего состояния». Сам Пастернак не сказал этого так прямо: иметь репутацию сумасшедшего или, по крайней мере, чудака было полезным, и, может быть, именно это спасло его во время страшных чисток, но другие присутствующие сказали мне, что они прекрасно поняли, что имелось в виду. Позднее они мне это объяснили.

Пастернак спросил меня, читал ли я его прозу — ив особенности «Детство Люверс» — произведение, которое я очень люблю. Я ответил, что читал. «Я вижу по выражению вашего лица, — сказал он без всякого основания, — что вы считаете эти вещи искусственными, вымученными, натянутыми, ужасным модернизмом, — нет, нет, не отрицайте этого, пожалуйста: вы так действительно считаете — и вы совершенно правы. Я сам стыжусь этих вещей — не стихов, а прозы. Она несет на себе отпечаток всего самого слабого и путаного, что было в модном тогда символизме с его мистическим хаосом — конечно, Андрей Белый был гений — в «Петербурге» и «Котике Летаеве» много замечательного — я сам это знаю, можете мне об этом не говорить, — но его влияние было фатальным, — Джойс — другое дело. Все, что я

тогда написал, — написано через силу, одержимо, изломано, искусственно, негодно; но сейчас я пишу совершенно по-другому: нечто новое,

* Я спросил Андре Мальро об этом много лет спустя.

Он сказал, что не помнит этой речи. '* Щербаков, позднее стал одним из могущественнейших

членов сталинского Политбюро и умер в 1945 году.

совсем новое, светлое, изящное, гармоничное, стройное, классически чистое и простое — как хотел Винкельман, да-да, и Гете; и это будет мое последнее слово, мое самое важное слово миру. Это — то, да, это именно то, что я хочу, чтобы запомнилось, осталось после меня; я посвящу этому весь остаток моей жизни».

* * *

Я не могу поручиться за точность всего этого разговора, но именно так мне запомнились и сами его слова, и его манера говорить. Этот замысел впоследствии вылился в «Доктора Живаго». В 1945 году он вчерне закончил несколько начальных глав, которые он попросил меня прочесть и передать его сестрам в Оксфорде4; я так и сделал, но о плане всего романа узнал только много позже. После этого он некоторое время молчал; никто из нас не проронил ни слова. Затем он рассказал нам, как полюбил Грузию, грузинских писателей Яшвили и Табидзе, грузинское вино, как хорошо его принимали каждый раз, когда он туда приезжал. После этого он учтиво спросил меня о том, что слышно на Западе; знаком ли я с Гербертом Ридом и его доктриной персонализма? Тут он объяснил, что доктрина персонализма исходит из нравственной философии (а в особенности из идеи личной свободы) Канта и его истолкователя Германа Когена, которого он хорошо знал и которым восхищался еще будучи его студентом в Марбур-ге до первой мировой войны. Кантовский индивидуализм — Блок совершенно не понял Канта, сделал его в стихотворении «Кант» мистиком — слыхал ли я об этом? Знаю ли я Стефана Шиманско-го, персоналиста, который издал некоторые его, Пастернака, вещи в переводе? Нет, в России не происходит ничего, рассказывать не о чем. Я должен понять, что в России (я заметил, что ни он, ни другие писатели, с которыми я встречался, никогда не употребляли выражение «Советский Союз») часы остановились в 1928 году или где-то около того, когда были по существу прерваны связи с внешним миром; к примеру, статья о нем и его произведениях в Советской Энциклопедии не упоминает о его жизни и творчестве в позднейший период. Тут вмешалась Лидия Сей-фуллина, пожилая известная писательница, вошедшая как раз в середине этой тирады. «Моя судьба точно такая же, — сказала она, — статья обо мне в Энциклопедии заканчивается словами: «В настоящее время С. находится в состоянии психологического и творческого кризиса». И эта характеристика не меняется уже двадцать лет. Для советского читателя я все еще нахожусь в состоянии кризиса, в своего рода оцепенении. Мы с вами, Борис Леонидович, как жители Помпеи, которых засыпал пепел, не дав им закончить предложение. А как мало мы знаем! Ну вот, я знаю, что Метерлинк и Киплинг умерли, а Уэллс, Синклер Льюис, Джойс, Бунин, Ходасевич — живы?» Пастернаку стало явно неловко, и он переменил тему, заговорив о французских писателях вообще. Он как раз читал Пруста — его французские друзья-коммунисты прислали ему все тома прустовского шедевра, — он, конечно, его прекрасно знал и сейчас лишь перечитывал. В то время он еще ничего не слыхал ни о Сартре, ни о Камю*, а о Хемингуэе был довольно низкого мнения5 («Не могу понять, что находит в нем Анна Андреевна» (Ахматова), — сказал он). Он очень радушно пригласил меня зайти к нему в его московскую квартиру, он сам там будет в октябре.

Пастернак говорил великолепными медлительными периодами, которые время от времени перебивались внезапным потоком нахлынувших слов; его речь зачастую

перехлестывала берега грамматической правильности — ясные и строгие пассажи перемежались причудливыми, но всегда замечательно яркими и конкретными образами, которые могли переходить в речь по-настоящему темную, когда понять его уже становилось трудно, — и вдруг он внезапно снова вырывался на простор ясности; иногда его разговор был настоящей речью поэта, как и его произведения. Кто-то сказал однажды, что есть поэты, которые поэты только тогда, когда пишут стихи, а когда пишут прозу, становятся прозаиками, а есть поэты, остающиеся поэтами всегда, что бы они ни писали. Пастернак был гениальным поэтом во всем, что он делал и чем он был. Это было совершенно очевидно и из его произведений, и из его обыкновенных разговоров. Я даже отдаленно не могу передать это особое пастернаковское качество. Пожалуй, был еще только один человек, который разговаривал, как Пастернак: Вирджиния Вулф. Если судить по моим немногим встречам с ней, то она так же, как Пастернак, заставляла мысли собеседника гнаться одна за другой; так же вдохновенно — а иногда пугающе — стирала без следа ваше привычное представление о реальности. Я употребляю слово «гений» вполне сознательно. Меня

* В 1956 году он уже прочел одну или две пьесы Сартра, но ни одной вещи Камю, который был объявлен реакционером и профашистом.

иногда спрашивают, что, собственно, я имею в виду под этим столь богатым ассоциациями, но неточным словом. На это я могу ответить только следующее: Нижинского как-то спросили, как ему удается прыгать так высоко. Его ответ, кажется, сводился к тому, что он не видит в этом особой проблемы. Большинство людей падают вниз сразу же после прыжка. «Но зачем опускаться сразу же? Почему бы не остаться в воздухе немного, прежде чем опуститься?» — говорят, ответил Нижинский. Мне кажется, что один из признаков гениальности — это способность делать нечто совершенно простое и вполне очевидное, что нормальные люди не могут и знают, что не могут сделать, — то, про что нормальный человек не понимает, как это может быть сделано и почему он этого сделать не сможет. Пастернак иногда говорил огромными прыжками, без видимой связи: его слова были более образны, чем я когда-либо встречал. Его речь витала дико и в то же время трогала до крайности. Что говорить, литературная гениальность знает много проявлений: насколько я помню, Элиот, Джойс, Йетс, Оден и Рассел разговаривали не так.

Я не хотел злоупотреблять гостеприимством хозяев и попрощался с поэтом. Его слова и вся его личность глубоко взволновали, даже потрясли меня.

После возвращения Пастернака в Москву я навещал его почти каждую неделю и в конце концов узнал его достаточно близко. Он всегда говорил с каким-то особым, лишь ему присущим колоритом, составленным из смеси жизненной силы и полета гениального воображения. Никому не удалось описать это. Не могу и я надеяться описать преображающий эффект его присутствия, его голоса, его жестов. Пастернак говорил о книгах и писателях. К сожалению, в то время я не вел никаких записей, и через призму многих лет я могу лишь припомнить, что из современных писателей он более всего любил Пруста и был весь погружен в его роман и в «Улисса» (позднейших вещей Джойса он не читал). Когда через несколько лет я привез в Москву несколько томиков Кафки по-английски, он не проявил к ним никакого интереса. Как сам он мне потом рассказал, он подарил их Ахматовой, которая была ими глубоко тронута; читала их и перечитывала до самого конца своей жизни. Он говорил о французских символистах, о Верхарне и Рильке, с которыми в свое время встречался. Рильке он просто боготворил как человека и поэта. Он был целиком погружен в Шекспира. Его собственные переводы Шекспира не удовлетворяли Пастернака. Особенно он был недоволен «Гамлетом» и «Ромео и Джульеттой». «Я попробовал заставить Шекспира работать на меня, — сказал он в начале разговора, — но не вышло»6. Затем

последовали примеры того, что он считал своими неудачами в переводе, но, к сожалению, я их не запомнил. Между прочим, он рассказал мне, что как-то вечером во время войны он слушал Би-Би-Си и услышал чтение поэзии. Пастернак с трудом понимал английский язык со слуха, но эти стихи показались ему прекрасными. «Чье это?» — спросил он сам себя, стихи показались ему знакомыми. «Да ведь это мое», — сказал он себе, но на самом деле это был отрывок из «Освобожденного Прометея» Шелли. Пастернак рассказывал, что вырос в тени Толстого, с которым хорошо был знаком его отец. Поэт считал Толстого несравненным гением, более великим, чем Диккенс и Достоевский, — писателем ранга Шекспира, Гете и Пушкина. Отец, художник, взял его с собой в Астапово в 1910 году, чтобы взглянуть на Толстого на смертном одре. Сам он не мог критически относиться к Толстому — Россия и Толстой были нераздельны. Что до русских поэтов, то гений Блока, несомненно, преобладал в свою эпоху, но блоковское лирическое чувство оставалось ему чуждо. Подробнее об этом он говорить не хотел. Белый был ему ближе — человек, способный к удивительным, неслыханным прозрениям, чудотворец и юродивый в традициях русского православия. Брюсова Пастернак считал своего рода самозаводящейся хитроумной механической конструкцией — не поэт вовсе, а умный и расчетливый ремесленник. О Мандельштаме он не упоминал совсем. К Марине Цветаевой, с которой он был связан многими годами дружбы, Пастернак относился с большой нежностью. Гораздо более амбивалентными были его чувства по отношению к Маяковскому: он знал его очень хорошо, они были близкими друзьями, и он многому научился от него. Маяковский был, конечно, титаном — разрушителем старых форм, и к тому же, добавлял он, в отличие от других коммунистов, он всегда и повсюду оставался человеком, — но нет, он не был крупным поэтом, ни в коем случае не был бы бессмертным божеством вроде Тютчева или Блока, ни даже полубогом, как Фет или Белый; он уменьшился со временем; в свое время он был нужен, необходим — время породило его, — бывают поэты, сказал он, у которых есть их час: Асеев, несчастный Клюев — репрессированный, Сельвинский, даже Сергей Есенин — такие, как они, бывают нужны в любой момент, — они, их талант, их творчество играют решающую роль в развитии национальной поэзии, а потом они уходят в небытие. Из всех таких фигур Маяковский был, несомненно, наиболее крупной. «Облако в штанах» было вещью центрального исторического значения, но совершенно непереносим этот крик: он раздувал свой талант, мучил и тискал его как только мог, пока он, наконец, не лопнул: грустные обрывки этого цветного воздушного шарика до сих пор валяются под ногами у каждого русского человека. Он был даровит и сыграл важную роль, но, грубый и как бы недоросль, кончил он сочинителем плакатных агиток. Любовные дела Маяковского имели катастрофические последствия для него как человека и поэта; он же всегда любил Маяковского как человека, и его самоубийство было одним из самых страшных дней в жизни самого Пастернака.

Пастернак был русским патриотом. Чувство исторической связи с родиной было у него чрезвычайно глубоким. Он снова и снова рассказывал мне о том, как он счастлив, что может проводить каждое лето в поселке писателей в Переделкине, поскольку оно когда-то было частью имения великого славянофила Юрия Самарина: ведь цепь этой традиции вела от легендарного Садко к Строгановым и Кочубеям, к Державину, Жуковскому, Тютчеву, Пушкину, Баратынскому, Лермонтову, к Аксаковым, Толстому, Фету, Анненскому, Бунину — в особенности к славянофилам, а не к либеральной интеллигенции, которая, по выражению Толстого, не знала, чем люди живы. Особенно явно проявлялось это страстное, почти одержимое стремление Пастернака прослыть русским писателем, чьи корни глубоко уходят в русскую почву, в его отрицательном отношении к своему еврейскому происхождению. Ему страшно не хотелось

затрагивать эту тему — не то чтобы он ее особенно стеснялся, — просто она ему была очень неприятна. Он бы хотел, чтобы евреи ассимилировались, исчезли как народ. За исключением ближайшей семьи, родственники — в прошлом или настоящем — не вызывали у него решительно никакого интереса. Он говорил со мной как верующий — хотя каким-то своим самобытным образом — христианин. Среди писателей, сознательно относившихся к своему еврейству, он с восхищением упоминал о Генрихе Гейне и Германе Когене (глава неокантианской школы, у которого Пастернак учился философии в Марбурге). Идеи Когена — в особенности его философия истории — производили, кажется, на Пастернака большое впечатление своей, как ему казалось, глубиной и убедительностью. Я заметил, что каждое мое упоминание о евреях или Палестине причиняло Пастернаку видимое страдание. В этом отношении он отличался от своего отца, художника. Как-то я спросил Ахматову, проявляли ли ее близкие друзья-евреи — Мандельштам, Жирмунский или Эмма Герштейн — чувствительность к данному предмету. Она ответила, что никто из них особенно не любил заурядной еврейской буржуазной среды, из которой они произошли, но ни у кого не было такого нарочитого избегания еврейской темы, как у Пастернака.

Его художественные вкусы сформировались еще в ранней молодости, и он навсегда остался верным властителям дум той эпохи. Память о Скрябине (одно время Пастернак сам хотел быть композитором) была для него священной. Я никогда не забуду дифирамб Скрябину, услышанный мною как-то раз из уст Пастернака и Нейгауза <...> Скрябинская музыка сильно повлияла на них обоих. Подобное же отношение было и к художнику-символисту Врубелю, которого, наряду с Николаем Рерихом, они ценили больше всех современных им художников. Пикассо и Матисс, Брак и Боннар, Клее и Мондриан значили для них столь же мало, как Кандинский или Малевич. В некотором смысле Ахматову, Гумилева и Марину Цветаеву можно считать последними крупными голосами поэзии девятнадцатого века, последними представителями второго русского возрождения (Пастернак и, совсем иначе, Мандельштам принадлежат к какому-то промежутку между двумя столетиями), при всем том, что акмеисты хотели причислить к девятнадцатому веку символизм, а сами себя считали поэтами нового века. Модернизм, кажется, совершенно не затронул Пастернака и его друзей — речь идет о их современниках — Пикассо, Стравинском, Элиоте, Джойсе. Ими могли восхищаться, но влияния они не оказали никакого. Как и многие другие течения, модернистское движение России было насильственно прервано по политическим причинам. Пастернак любил все русское и был готов простить своей стране все ее недостатки — все, за исключением варварства сталинского периода. Но даже это казалось ему в 1945 году тьмой, предвещавшей наступление рассвета; и он изо всей силы напрягал свой взор, стремясь различить его лучи. Эта надежда нашла свое выражение в последних главах «Доктора Живаго». Пастернак верил в то, что он был непосредственно причастен к внутренней жизни русского народа, и разделял его надежды, страхи и мечты. Пастернак считал себя голосом русского народа, как по-своему были Тютчев, Толстой, Достоевский, Чехов и Блок (к тому времени, когда мы познакомились, он не признавал никаких достоинств у Некрасова). Во время наших московских разговоров, когда я приходил к нему в гости и мы сидели одни перед полированным письменным столом, на котором не было ни книги, ни даже клочка бумаги, он постоянно возвращался к одной и той же теме — он был убежден, что он был близок к самому сердцу России. В то же время он настойчиво и гневно отрицал, что это можно было бы сказать и о Горьком и о Маяковском (особенно о первом). Пастернак чувствовал, что у него есть нечто, что он должен сказать властителям России, — нечто бесконечно важное, что может сказать лишь он, и он один, что именно — а он часто говорил об этом — оставалось для меня темным и невнятным. Может быть, в этом недопонимании был ви-

новат я, — впрочем, Анна Ахматова как-то сказала мне, что она тоже не понимала Пастернака, когда на него находил этот пророческий порыв.

Именно будучи в одном из таких приподнятых настроений, он и рассказал мне о своем телефонном разговоре со Сталиным относительно ареста Мандельштама. Этот разговор стал впоследствии знаменитым, и ходило и до сих пор ходит много разных версий о нем. Я могу лишь воспроизвести эту историю в том виде, как она мне запомнилась после того, как Пастернак мне ее рассказал в 1945 году. Согласно его рассказу, когда в его московской квартире зазвонил телефон, там, кроме него, его жены и сына, не было никого. Он снял трубку, и голос сказал ему, что говорят из Кремля и что товарищ Сталин хочет говорить с ним. Пастернак предположил, что это какая-то идиотская шутка, и положил трубку. Однако телефон зазвонил снова, и голос в трубке как-то убедил его, что звонок — настоящий. Затем Сталин спросил его, говорит ли он с Борисом Леонидовичем Пастернаком; Пастернак ответил утвердительно. Сталин спросил его, присутствовал ли он при том, как Мандельштам читал стихотворный пасквиль о нем, Сталине7. Пастернак ответил, что ему представляется неважным, присутствовал он или не присутствовал, но что он страшно счастлив, что с ним говорит Сталин, что он всегда знал, что это должно произойти, и что им надо встретиться и поговорить о вещах чрезвычайной важности. Сталин спросил, мастер ли Мандельштам. Пастернак ответил, что как поэты они совершенно различны, что он ценит поэзию Мандельштама, но не чувствует внутренней близости с ней, но что, во всяком случае, дело не в этом. Здесь, рассказывая мне этот эпизод, Пастернак снова пустился в свои длинные метафизические рассуждения о космических поворотных пунктах в истории, о которых он хотел поговорить со Сталиным, — такая беседа должна была явиться событием огромного исторического значения. Я вполне могу себе представить, как он в таком же духе говорил и со Сталиным. Так или иначе, Сталин снова спросил его, присутствовал он или нет при том, как Мандельштам читал свои стихи. Пастернак снова ответил, что самое главное — это то, что ему надо обязательно встретиться со Сталиным, что эту встречу ни в коем случае нельзя откладывать и что от нее зависит все, так как они должны поговорить о самых главных вопросах — о жизни и смерти. «Если бы я был другом Мандельштама, я бы лучше сумел его защитить», — сказал Сталин и положил трубку. Пастернак попытался перезвонить Сталину, но, совершенно естественно, не смог к нему дозвониться. Вся эта история доставляла ему, видно, глубокое мученье: в том виде, в каком она изложена здесь, он рассказывал ее мне, по крайней мере, дважды. Другие посетители также слышали этот рассказ из его уст, хотя, по-видимому, в несколько других версиях. Возможно, что именно попытки спасти Мандельштама, предпринятые в то время Пастернаком, и, в особенности, его обращение к Бухарину сыграли свою роль в том, что Мандельштама удалось, по крайней мере на некоторое время, отстоять, — он был уничтожен не сразу, а через несколько лет, — однако Пастернак явно считал, возможно, безо всякого на то основания, но, как, впрочем, считал бы на его месте любой человек, не ослепленный самодовольством или глупостью, что другой ответ, может быть, более помог бы обреченному поэту*.

За этой историей последовали рассказы о других жертвах: Пильняк, испуганно ждавший («он постоянно выглядывал из окошка») человека, который должен был принести ему на подпись заявление об осуждении и обличении одного из людей, обвиненных в 1936 году в измене. Когда никто в конце концов не пришел, Пильняк понял, что он тоже обречен. Пастернак рассказывал об обстоятельствах самоубийства Цветаевой в 1941 году. Он считал, что эту трагедию можно было предотвратить, если бы только «литературные тузы» не отнеслись к ней с такой возмутительной бессердечностью. Он рассказал о человеке, который просил его подписать открытое

письмо с осуждением маршала Тухачевского. Когда Пастернак отказался и объяснил пришедшему причины своего отказа, тот заплакал, сказал, что он самый благо-

* Согласно Лидии Чуковской, Ахматова и Надежда Мандельштам считали, что в этой ситуации «он вел себя на крепкую четверку».

родный и святой человек из всех, кого ему доводилось когда-либо видеть, горячо обнял его и побежал с доносом прямо в НКВД. Затем Пастернак сказал, что, хотя коммунистическая партия и сыграла во время войны положительную роль, и не только в России, одна мысль о возможности какого-либо соприкосновения с партией наполняла его все большим отвращением: Россия — это галера, каторжное судно, а партия — это надсмотрщики, бичующие гребцов. Хотел бы он знать, почему один дипломат из далекой английской «территории», аккредитованный тогда в Москве, которого я наверняка знаю, человек, который немного владеет русским языком, представляется как поэт и иногда заходит к нему, — почему этот господин твердит при любой подходящей или неподходящей оказии, что он, Пастернак, должен сблизиться с партией? Он совсем не нуждается в том, чтобы господа с другого конца планеты советовали ему, что делать, — могу я сказать этому субъекту, что его визиты нежелательны? Я пообещал, что скажу, но не сказал отчасти из страха повредить положению Пастернака, и без того шаткому. Этот дипломат из одной из стран британского Содружества вскоре покинул Советский Союз и, как мне рассказали его друзья, впоследствии немного изменил свои взгляды.

Пастернак упрекнул и меня: не за то, что я пытался навязать ему мои мнения по политическим или иным вопросам, но за нечто, казавшееся ему почти столь же дурным: вот мы оба в России, куда ни кинешь взгляд, повсюду отвратительно, жутко и мерзостно, — везде свинство; а между тем я кажусь положительно в экстазе ото всего этого, я брожу и гляжу на все, заявил Пастернак, зачарованными глазами. Я ничуть не лучше других иностранных гостей, ничего не желающих замечать и страдающих от абсурдных, ложных представлений, которые для несчастных туземцев просто непереносимы.

Пастернак был очень чувствителен к возможным обвинениям в том, что он старается приспособиться к партии и государству и подлаживается к их требованиям. Даже то, что он остался в живых, не давало ему покоя; он все боялся, что люди подумают, что он старался ублаготворить власти и пошел на какой-то низкий компромисс со своей совестью, чтоб его не трогали. Пастернак все время возвращался к этой теме и доходил до абсурда, пытаясь доказать, что он никак не способен на такие компромиссы, в которых ни один из людей, хоть мало-мальски знавших его, и не думал его подозревать. Как-то раз он спросил меня, читал ли я его сборник военного времени «На ранних поездах». Слышал ли я, чтобы кто-нибудь говорил об этих стихах как о попытке примириться и сблизиться с господствующим режимом? Я совершенно честно ответил ему, что никогда ничего подобного не слышал и что само предположение кажется мне полнейшим абсурдом. Анна Ахматова, связанная с Пастернаком узами самой теплой дружбы и уважения, рассказывала мне, что когда она возвращалась в Ленинград из Ташкента, куда ее в 1941 году эвакуировали, она остановилась в Москве и заехала в Переделкино. Через несколько часов после приезда она получила известие от Пастернака, что он не может видеть ее — у него температура — он в постели — это невозможно. На следующий день ей было передано то же самое. На третий же день Пастернак сам заявился к ней — выглядел он на редкость хорошо — ни малейших следов недомогания. Первое, что он спросил ее, было — читала ли она его последний сборник стихов8. При этом выражение лица его было столь страдальческим, что та тактично ответила, что нет, еще не читала. У Пастернака просветлело лицо: он явно испытывал огромное облегчение, и все пошло как нельзя

лучше. По-видимому, он стыдился их, и совершенно зря, потому что они встретили холодный прием у официальной критики. Наверное, эти стихи представлялись ему чем-то вроде нерешительной попытки написать гражданские стихи — жанр, к которому он питал полнейшее отвращение; тем не менее в 1945 году он продолжал надеяться на великое обновление русской жизни в результате очистительной бури, которой, в его представлении, явилась война, война, столь же страшно и ужасающе преобразительная, как и Революция, — чудовищный катаклизм, лежащий вне наших обывательски-узких моральных категорий. Он полагал, что подобные гигантские перемены не подлежат нашему суду; надо постоянно думать о них, думать неустанно и непрерывно, всю жизнь, пытаясь понять и постичь их в меру наших возможностей. Они лежат по ту сторону добра и зла, приятия или неприятия, сомнения или согласия. К ним следует относиться как к стихийным переворотам, землетрясениям, внезапным приливным волнам. Это — преобразующие события, находящиеся за пределами любых исторических и моральных мерок и понятий. Подобным же образом мрачный кошмар доносов, чисток, убийств ни в чем не повинных людей, после которых разразилась ужасающая война, казался ему необходимой прелюдией к какой-то будущей неизбежной неслыханной победе духа.

После этой первой встречи я не видел Пастернака 11 лет. К 1956 году его отчуждение от политического режима, господствовавшего в его стране, было полным и бескомпромиссным. Он не мог без содрогания говорить о режиме или его представителях. К тому времени его друг Ольга Ивинская, по его словам, уже подверглась аресту, допросам, издевательствам и мучениям. Целых пять лет она уже провела в лагере. Министр государственной безопасности Абакумов сказал ей во время допроса: «А твой Борис, наверное, презирает и ненавидит нас?» «Они были правы, — сказал мне Пастернак. — Она и не отрицала этого». Я ехал в Переделкино вместе с Нейгаузом и одним из его сыновей от Зинаиды Николаевны, его первой жены, которая потом вышла замуж за Пастернака. Нейгауз все повторял, что Пастернак — святой, человек не от мира сего; надеяться, что советские власти решатся опубликовать «Доктора Живаго», было настоящим безумием. Более вероятно, что замучат автора романа; Пастернак — величайший писатель, которого знала Россия в течение последних десятилетий, и вот теперь власть его уничтожит, как были уничтожены многие другие; это — наследие царского режима; какие бы различия ни были между Россией старой и новой, они едины в том, что касается недоверия к писателям и их преследования. Зинаида Николаевна говорила ему, что Пастернак твердо решил где-нибудь напечатать свой роман. Он пытался его разубедить, но безуспешно. Если Пастернак будет об этом говорить со мной, смогу ли я — это страшно важно, более чем важно, — это вопрос жизни и смерти, да, даже теперь — кто может быть в чем-либо уверен? — так смогу ли я убедить его, чтобы он воздержался от своего предприятия? Мне показалось, что Нейгауз прав: возможно, действительно Пастернака надо было физически спасать от самого себя.

Мы прибыли к домику Пастернака. Он поджидал меня у ворот и, впустив Нейгауза внутрь, сердечно обнял меня и сказал, что многое произошло за те одиннадцать лет, что мы не виделись, — в основном ужасное. Он остановился и спросил меня: «Вы, наверное, хотите мне что-то сказать?» И я выпалил с невероятной бестактностью (если не сказать идиотством): «Борис Леонидович, я очень рад видеть вас в полном здравии. Самое замечательное — это то, что вы выжили; некоторым из нас это кажется просто чудом» (я имел в виду антисемитские преследования периода последних лет жизни Сталина). Тут его лицо помрачнело, и он посмотрел на меня с нескрываемым гневом. «Я знаю, что вы думаете», — сказал он. «Что, Борис Леонидович?» — «Я знаю, все знаю, что у вас на уме, — ответил он срывающимся голосом (слушать его было

страшно), — не виляйте, я читаю ваши мысли яснее, чем свои собственные». — «Что же у меня на уме?» — спросил я снова, огорченный и расстроенный его словами.

«Вы думаете — я знаю, что вы думаете, — что я сделал что-то для них». — «Я уверяю вас, Борис Леонидович, я никогда ничего подобного не имел в виду — я не слышал, чтобы кто-либо — даже в шутку — хотя бы намекнул об этом!» В конце концов он, кажется, поверил мне. Вид у него, впрочем, был самый расстроенный. Только после того, как я уверил его, что культурные люди во всем мире уважают его не только как писателя, но и как свободную и независимую личность, он начал возвращаться в свое нормальное состояние. «Во всяком случае, — сказал он, — я могу повторить вслед за Гейне, что даже если я не заслужил, чтобы меня помнили как поэта, меня, по крайней мере, будут помнить как простого солдата в рядах армии человеческой свободы».

Он повел меня в свой кабинет. Там он вручил мне толстый конверт. «Вот, моя книга, — сказал он. — В ней все. Это мое последнее слово Пожалуйста, прочтите ее!» Я принялся читать «Доктора Живаго» сразу же после того, как вернулся от Пастернака, и закончил его уже на следующий день. В отличие от некоторых читателей романа в Советском Союзе и на Западе, книга эта показалась мне произведением гениальным. Я считал — и считаю и сейчас, — что роман передает полный спектр человеческого опыта, автор творит целый мир, пусть даже его населяет всего лишь один подлинный обитатель. Язык романа беспримерен по своей творческой силе. Встретившись с Пастернаком по прочтении романа, я почувствовал, что мне трудно сказать ему все это. Я просто спросил его, что собирается он делать с романом. Он сказал мне, что дал экземпляр книги итальянскому коммунисту, который работал в итальянской редакции советского радиовещания и в то же время состоял агентом миланского коммунистического издателя Фельтринелли. Он передал Фельтринелли всемирные авторские права на свой роман. Он хотел, чтобы роман, его завещание, самое настоящее, самое целостное из всех его произведений, — по сравнению с романом, его поэзия — это ничто (хотя, по его мнению, стихи из романа — лучшие из всех стихов, когда-либо написанных им), — чтобы его труд распространился по всему миру и стал «глаголом жечь сердца людей».

Улучив момент, когда знаменитый рассказчик Ираклий Андроников стал развлекать общество длинным и сложным рассказом об итальянском актере Сальвини, Зинаида Николаевна увлекла меня в сторону и стала со слезами на глазах умолять, чтобы я отговорил Пастернака от его намерения напечатать «Доктора Живаго» за границей без официального разрешения. Она не хотела, чтобы пострадали дети, — я ведь могу себе представить, на что «они» способны. Эта просьба глубоко тронула меня, и при первой же возможности я заговорил с поэтом. Я сказал, что закажу микрофильмы с рукописи и попрошу, чтобы их спрятали во всех концах света — в Оксфорде, в Вальпараисо, в Тасмании, на Гаити, в Ванкувере, в Кейптауне и Японии так, что текст сможет сохраниться, даже если разразится ядерная война. Готов ли он бросить вызов советским властям, подумал ли он о последствиях?

И тут — второй раз в течение одной недели — я услышал настоящий гнев в его словах, обращенных ко мне Он ответил мне, что мои слова, несомненно, были продиктованы самыми лучшими намерениями, что он тронут моей заботой о его безопасности и о безопасности его семьи (последнее было сказано не без иронии), но он прекрасно знает, что делает. Нет, я еще хуже, чем тот заморский дипломат, который одиннадцать лет назад пытался обратить его в коммунистическую веру. Он уже поговорил со своими сыновьями, и они готовы пострадать. Я не должен был более упоминать об этом деле — я ведь прочел книгу и, несомненно, должен понимать, что

она — и в особенности ее широкое распространение — значит для него. Мне стало стыдно, и я ничего не возразил.

Через некоторое время, возможно, для того чтобы разрядить атмосферу, он сказал: «Знаете, ведь мое нынешнее положение не столь уж шаткое, как можно подумать. Например, мои шекспировские переводы с успехом идут на сцене. Хотите, я расскажу занятную историю?» После этого он напомнил мне, что однажды познакомил меня с одним из самых знаменитых советских актеров — Ливановым (которого на самом деле звали, добавил он, Поливанов). Так вот, Ливанов был в восторге от пастерна-ковского перевода «Гамлета» Шекспира и несколько лет назад захотел его поставить и самому играть в нем. Он получил на это официальное разрешение, начались репетиции. Как-то раз его пригласили на один из обычных банкетов в Кремле, где должен был присутствовать сам Сталин. Во время банкета Сталин имел обыкновение выходить из-за стола и обходить всех гостей, приветствуя их и чокаясь бокалами. Когда он приблизился к столу, за которым сидел Ливанов, актер спросил его: «Иосиф Виссарионович, как нужно играть "Гамлета"?» Он хотел, чтобы Сталин сказал хоть что-нибудь, пусть даже самое незначительное, чтобы это можно было унести с собой под мышкой и козырять этим потом повсюду. Как выразился Пастернак, если бы Сталин сказал «Сыграйте его лилово», Ливанов бы потом говорил актерам, что их игра недостаточно лиловая, что Вождь дал насчет этого совершенно ясные указания — надо играть лилово. Лишь он один, Ливанов, был бы в состоянии точно понять, что имел в виду Вождь, так что и режиссеру и всем остальным останется лишь повиноваться. Сталин остановился и сказал: «Вы артист? Артист МХАТа?Тогда обратитесь с вашим вопросом к художественному руководителю театра. Я не специалист по театральным делам». Затем, помолчав, добавил: «Однако, поскольку вы обратились с этим вопросом ко мне, я отвечу вам: «Гамлет» — упадочная пьеса, и ее не следует ставить вообще». На следующий же день репетиции были прерваны. «Гамлета» не ставили до самой смерти Сталина. «Вот видите, — сказал Пастернак, — есть перемены. Все время происходят какие-то перемены». Снова воцарилось молчание.

После этого, как часто бывало раньше, он заговорил о французской литературе. Со времени нашей последней встречи он достал сартровскую «Тошноту» и нашел, что ее невозможно читать, ее непристойность возмутила его. Как же это может быть, чтобы после четырех столетий гениального творчества этот великий народ совсем перестал создавать литературу? Арагон — приспособленец, Дюамель и Геэнно невыносимо скучны. А что, пишет ли еще Мальро? Прежде чем я собрался ответить, одна из присутствующих на обеде — женщина с невинным, трогательным и милым лицом, — такие лица гораздо чаще встречаются в России, чем на Западе, — учительница, которая совсем недавно освободилась из концлагеря9, где провела пятнадцать лет только за то, что преподавала английский, застенчиво спросила, написал ли что-нибудь Олдос Хаксли после «Контрапункта» и пишет ли еще Вирджиния Вулф? — она ни разу не видела ни одной ее книги, но из заметки в одной старой французской газете, которая каким-то неизъяснимым образом попала в лагерь, она поняла, что ей может понравиться проза Вирджинии Вулф.

Трудно передать все то удовольствие, которое я испытал, когда начал делиться новостями о литературе и искусстве большого мира с этими людьми, так страстно тосковавшими по всему новому, новостями, которые они не могли тогда получить ни из какого другого источника. Я рассказал ей и всем присутствующим все, что я знал об английской, американской и французской литературе: это было похоже на разговор с людьми, потерпевшими кораблекрушение, заброшенными на необитаемый остров и отрезанными от всякой цивилизации. Все, что они слышали, казалось им новым, волнующим и прекрасным. Грузинский поэт Тициан Табидзе, большой друг

Пастернака, погиб во время чисток; его вдова Нина Табидзе была среди гостей. Она хотела знать, считаются ли до сих пор на Западе великими драматургами Шекспир, Ибсен и Шоу. Я ответил, что интерес к Шоу сильно упал, но что повсюду любят Чехова, пьесы которого часто ставятся на сцене. Я добавил, что Ахматова как-то сказала мне, что она не могла понять, в чем причина этого культа Чехова: его мир бесцветен и уныл, в нем никогда не светит солнце, не сверкают мечи, все покрыто отвратительным серым туманом, — мир Чехова — это море грязи, в котором беспомощно барахтаются жалкие человеческие существа, это искажение жизни (я слышал однажды, как У. Б. Йейтс высказывался в подобном же духе. «Чехов не знает ничего о жизни и смерти, — сказал он, — он не знает, что подножие небес полно лязгом скрещивающихся мечей»). Пастернак ответил, что Ахматова глубоко ошибается: «Скажите ей, когда увидите ее, — мы не можем свободно поехать в Ленинград, как, наверное, можете вы, — скажите ей от имени всех нас здесь, что все русские писатели обращаются к читателям с проповедью, даже Тургенев говорит нам, что время — великий исцелитель, и так далее в том же духе. Лишь один Чехов свободен от этого. Он — чистый художник — все растворено в искусстве. Он — наш ответ Флоберу». Он заметил далее, что Ахматова обязательно заговорит со мной о Достоевском и будет нападать на Толстого. Но на самом деле Толстой прав в оценке Достоевского: «Его романы — это ужасная белиберда, невыносимая смесь шовинизма и истерической церковности, а Чехов... — скажите это Анне Андреевне от моего имени! Я очень ее люблю, но никогда не мог ни в чем ее убедить». Когда я снова встретился с Ахматовой — уже в 1965 году, в Оксфорде, я почел за благо не передавать ей эти слова Пастернака: может быть, ей бы захотелось ему что-то возразить, ответить... но Пастернак уже был в могиле. А о Достоевском она действительно говорила мне со страстным восхищением <...>

Перевод с английского Д. Сегала, Е. Толстой-Сегал, О. Ронена в сотрудничестве с автором

Эдуард Бабаев

ГДЕ ВОЗДУХ синь...

1

В конце войны мой отец потерял зрение и оказался в Лефортовском госпитале в Москве.

В начале 1946 года я получил пропуск в столицу на десять дней, чтобы повидаться с отцом. И, если позволят госпитальные врачи, помочь ему вернуться домой.

Без такого пропуска нельзя было купить билета на вокзале.

Я был студентом. И Надежда Яковлевна Мандельштам, преподававшая английский язык в университете, узнав о том, что я собираюсь в Москву, страшно разволновалась и попросила меня передать Борису Пастернаку ее записку.

В этой записке было сказано, что она жива и работает на географическом факультете Среднеазиатского университета в Ташкенте.

И больше — ничего.

2

Меня никто не провожал.

До отхода поезда оставалось несколько минут, и я вышел из вагона, чтобы подышать свежим воздухом.

И вдруг увидел на перроне Владимира Липко. Он был поэт и переводчик, изящный человек в высокой шапке и с тростью в руке.

Липко еще издали заметил меня, помахал мне рукой и стал пробираться через толпу к моему вагону. Он прекрасно читал стихи с эстрады:

Если я уеду из Герата, вспомнит ли хоть кто-нибудь меня? На стене лишь сизый свет заката, вспомнит ли хоть кто-нибудь меня?

Читал нараспев, растягивая гласные. И получалось очень хорошо.

Но в обыденной речи он заикался, испытывая большие затруднения, особенно в словах, которые начинаются с согласного звука.

— П-передайте, — сказал он, когда мой поезд уже тронулся и проводник взмахнул фонарем.

Я поднялся на ступеньку вагона и взял из рук Липко картонную папку с завязанными тесемками.

— П-подстрочник, — сказал Липко, помогая себе жестом, так что трость его взлетела выше головы. — Д-доп-полнительно...

Проводник поднялся на ступеньку выше, и мне пришлось войти в тамбур.

Поезд набирал скорость.

Липко, сложив руки рупором у губ, крикнул вдогонку:

— П-пастернаку!

Это были подстрочники газелей Алишера Навои для антологии узбекской поэзии.

3

...На перекрестках продавали мороженое, мандарины и, как тогда говорили, рассыпные папиросы.

И все это, особенно мороженое, было восхитительным открытием той зимы. Поштучно все это стоило недорого...

Дворы и улицы были завалены снегом. Шапки прохожих на противоположной стороне улицы важно проплывали над гребнями белых сугробов. Запах мандариновой кожуры напоминал о каком-то забытом детском празднике.

От метро «Новокузнецкая» я без особого труда добрался до Лаврушинского переулка. И, наконец, отыскал дом с мрачноватым подъездом, который был указан в адресной записке.

Было около четырех часов дня, но уже смеркалось. Я поднимался по холодной пустынной лестнице, марш за маршем, и был страшно удивлен, когда меня на каком-то четвертом этаже обогнал бесшумный лифт.

Наконец, я позвонил у двери Бориса Пастернака, будучи совершенно уверен, что не застану его.

Но дверь отворилась.

Передо мной стоял человек в сером глухом свитере, похожий, как мне показалось, на боксера.

В глазах и повороте головы была та единственная в своем роде отчужденность и внимательность, которые не оставляли сомнений, что он Пастернак.

— Здравствуйте, Борис Леонидович! — сказал я. И передал ему рукопись и записку.

Я собирался уже уходить, когда он, пробежав глазами бумаги, сказал:

— Стряхните снег! — и потянул меня за рукав к себе.

Борис Леонидович привел меня в свою рабочую комнату, расположенную возле входной двери.

Комната была небольшая, с широким заснеженным окном.

Книг в комнате было немного, но стол и стулья были завалены свежими журналами и газетами.

У меня создалось такое впечатление, что я попал на какой-то диспут, начавшийся давно и все еще не оконченный.

Борис Леонидович показал мне свежий номер газеты «Британский союзник» со статьей о его переводах из Шекспира1. И сказал, что для продолжения работы ему нужны новые книги, которых достать невозможно...

И еще он сказал, что Шекспир важен не для прошлого (история), а для нас всех (современность).

Во время войны, продолжал он, мы научились понимать Шекспира как нечто насущное, как его понимал Пушкин. Его речь была обдуманной и строгой; по-видимому, она предназначалась для кого-то другого, но обрушилась на меня за неимением другого собеседника.

Современность Шекспира, доказывал он, хорошо понимала Анна Ахматова, когда еще до войны — что очень странно! — заговорила про окно Макбета. У Шекспира точно так же, как у Достоевского, важны подробности. И окно, на которое указывает Анна Ахматова, — страшная улика! Оно горит, и его видит Бирнамский лес.

Еще он говорил о том, что пишет или написал цикл статей о Шекспире2, которые по своей актуальности предназначены скорее для газеты, чем для академического комментария.

Но газеты недоступны, и комментария не миновать!

Ничего подобного я никогда не видел и не слышал. Не помню, кто-то сравнил его стихотворение «Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить этот приступ печали...» с органной фугой.

«Помешай мне шуметь о тебе!» — это действительно было похоже на органную фугу, когда кажется, что играет не орган, а стена, украшенная органом.

5

Мысль о комментарии огорчила Пастернака, и он вдруг умолк и развернул подстрочник газелей Алишера Навои.

И почему-то стал спрашивать меня об одиночестве. Что может, например, увидеть одинокий человек в Герате, выйдя на порог своего дома.

В Герате жил Навои.

Я осторожно сказал, что одинокий человек, даже в Герате, выйдя на порог своего дома, может, например, увидеть сизый отсвет заката на стене...

Пастернак кивнул и стал говорить о переводах. О том, что переводить от строки к строке чрезвычайно трудно и непродуктивно. Легко потерять представление о подлиннике. Надо переводить «как-то иначе», сказал Пастернак, как художники рисуют по «представлению».

Как это делается, никто не знает. Но есть замечательные примеры удач именно на этом пути.

В том случае, продолжал Пастернак, когда нельзя перевести стихи, надо переводить поэта. Это тоже очень трудно, однако и здесь возможны неожиданные удачи.

Видимо, он испытывал сомнения относительно такой нетрадиционной для русской поэзии формы, как газель, требующая равенства слогов в каждой строке и постоянной рифмы и постоянного лейтмотива («редиф»)...

6

Отвечая на какой-то вопрос Пастернака, я сказал, что приехал в Москву для того, чтобы помочь отцу. Он отнесся к домашнему и семейному смыслу моей поездки очень сочувственно.

И стал рассказывать, как в 1935 году ездил на международный конгресс в Париж, питая надежду повидать своего отца, жившего за границей. Но свидание не состоялось. И больше уже потом никогда не было такой надежды.

Я знал иллюстрации Л. О. Пастернака к роману «Воскресение» по репродукциям. В кабинете Бориса Леонидовича я увидел оригиналы некоторых из этих рисунков.

И зашла речь о Льве Николаевиче Толстом, которого я тогда читал по сохранившемуся в нашей небольшой домашней библиотеке изданию Каспари, где его художественные произведения печатались наряду с его же философскими работами.

Борис Леонидович сказал, что одна из самых трудных задач, с которыми столкнулась русская философия в начале XX века, состояла в определении настоящей позиции по отношению к Толстому и в связи с его «отлучением». Тень «отреченности», апокрифичности есть и на романе «Воскресение».

Лучшее, что сказано о Толстом в связи с его отлучением, по мнению Пастернака, принадлежит Сергею Булгакову. Поэзия шла тем же путем, что и философия. Толстой был одной из глубинных тем «Возмездия» Блока. Многие после непродолжительного увлечения «толстовством» возвращались к православию. Вообще пути «ухода» изучены лучше, чем пути «возвращения»...

Многое из того, что говорил Пастернак, казалось мне загадочным. Оно таковым и оставалось до той самой поры, когда был написан «Доктор Живаго», где главным как раз и является «путь возвращения»:

И через много-много лет

Твой голос вновь меня встревожил...

7

Невозможно сохранить и передать прямой речью разговор Бориса Пастернака. Потому что этот разговор, говоря его словами, непредвосхитим.

Но все же я записал тогда, не дословно, конечно, а именно как «несколько положений», то, что я слышал в Лаврушинском в тот вечер, когда я увидел его впервые.

Я не всегда улавливал связь между этими положениями и переход от одной темы к другой, но руководствовался лишь той последовательностью, которую сохраняла память, цепкая по отношению к новизне, ко всему неожиданному и странному.

Когда мы говорили, вернее, когда поэт говорил, а я слушал, лампа была у нас за спиной. И меня иногда отвлекала тень Пастернака на стене, повторявшая его движения и очень выразительная по своему рисунку.

* * *

Девятнадцатый век кажется теперь далеким, как высокогорный и недоступный ледник. Но ледник определяет режим рек в долине и отзванивает свою службу в каждой капле родника, в каждой искре водопада. Нам еще предстоит открыть для себя, чем был XIX век для России и для всего человечества.

* * *

В силу трагических условий существования искусства в наше время многие его ценности оказались в опасности. И наряду с поэтами в истории нашей поэзии выдающуюся роль получили известные и безвестные хранители ценностей, которые не давали и не дали пропасть бесследно многим рукописям. Подобные тем, кто выносил рукописи Марины Цветаевой из-под бомбежки во время войны.

* * *

Сейчас много говорят и пишут о мастерстве. И уже появились такие мастера, что становится страшно за литературу. Ремесло — это умение сказать хорошо то, что таковым по существу не является. Умение сказать искренне то, к чему искренне не лежит душа. К чему побуждает не бескорыстное чувство, а холодный расчет. Это ересь, которую нужно обличить. В конце концов Гете был прав, когда говорил, что поэт должен петь, как птица поет. Конечно, каждый художник должен быть мастером, иначе какой же он художник. Но есть нечто и поважней. Например, совесть. Мастерством тут не отделаешься.

Тут, может быть, как раз и понадобится неведение новичка, который не знает правил игры. Потому что игра рано или поздно кончается. А долги остаются.

* * *

Молодые поэты медиумичны. Они находятся как бы в состоянии гипнотического сна. Если прислушаться, то можно без труда узнать того, кто им внушает ритмы и речи. Они особенно восприимчивы к чужим ритмам, пока не обрели своего и не отбросили чужое. Они ходят осторожно, несмотря на видимую дерзость тех путей, которые они избирают. Идут как по карнизу. Это зрелище не может не вызывать сострадания. Кажется, что, если окликнуть их по имени, они сорвутся и разобьются. Поэтому простительно, если кто-то избегает, не хочет видеть этого зрелища. Но есть и такие, кто сделал себе профессию из созерцания лунатических этюдов на расшатанном карнизе.

* * *

Для поэзии необходима философия. Не как система отвлеченных понятий и формул, а как форма разумения жизни. У нашего поколения была хорошо разработанная философская основа. Был Николай Федоров. Его влияние на поэзию XX века было значительным. У Маяковского тоже есть экзистенциальные отголоски философии начала века. И не только у него...

* * *

Русскую философию откроют позднее, но вслед за русской поэзией. Она была на несравненной высоте. И так же, как поэзия, опережала мысль века. Теперь на Западе возникает новый интерес к русской поэзии и к русской философии. Персонализм открывает для себя русскую философию и находит в ней своих предшественников. После войны должна быть целая философская школа, возникающая под влиянием русской философии3.

* * *

Без философии поэзия мельчает, превращается в очерк или же фельетон. В ней появляется натуральность, зачастую искаженная предвзятыми оценками преходящего дня. Дело не в том, что тот или иной поэт недобросовестен, а в том, что сама поэзия вдруг начинает падать, теряет свою высоту. И оказывается там, где вступают в действие другие законы и условия.

* * *

Сейчас много переводят. Только что вышли в свет новые английские антологии русской поэзии. Переводы близки к оригиналам, добросовестны. Вообще чтение антологий поучительно. Многое видишь по-новому. Антология похожа на эскадру в море. Каждый корабль верен своему «маневру», но составляет лишь часть целого. Один доверился музыке, другой — пластике. Здесь напечатаны стихи Мандельштама4. Его стихи скульптурны, и это идет от батюшковской традиции, которая, как это вообще характерно для классицизма, обладает удивительной способностью к возрождению.

Тень Пастернака на стене повторяла его выпады и жесты, как светопись какого-то фантастического боя на ринге. Нет, все же недаром он мне с первого взгляда напомнил о боксере. «Но кто он, на какой арене стяжал он поздний опыт свой? С кем протекли его боренья...»

8

Он еще продолжал говорить о скульптурности Мандельштама, когда вдруг, по какому-то знаку, который я пропустил, мы перешли в другую комнату, в столовую, где горела лампа над головой, а на столе был накрыт вечерний чай.

Я решил, что теперь самое время попросить Бориса Леонидовича надписать его книгу, которую я взял с собой на этот случай. Но при виде своей книги он как-то болезненно поморщился и даже показал зубы.

— Это не то, — сказал он и вышел из комнаты. Однажды в Ташкенте я читал у окна сборник «Из шести книг», но пришла Анна Андреевна и сказала:

— Не то читаете!

В тот вечер я впервые услышал «Предысторию».

Это, наверное, и есть то, что Пастернак называет «строптивым норовом» «артиста в силе»: «Он отвык от фраз и прячется от взоров и собственных стыдится книг...»

Борис Леонидович принес из своего кабинета кипу больших листов, рукопись своей поэмы «Зарево». Многие страницы были переписаны набело, а некоторые и перепечатаны на машинке.

Анна Андреевна Ахматова называла почерк Бориса Пастернака «крылатым». Действительно, строки его были украшены какими-то праздничными надстрочными дугами и парусами. Как флот в открытом море.

Борис Леонидович говорил, что пишет роман в стихах. И каждую новую главу посылает в газету. Роман и газета не противоречат друг другу. Напротив, ему представлялось, что именно газета в наши дни является настоящим и естественным пространством для романа.

«Зарево», как я понял, должно было развернуться в объеме «Спекторского». И тут тоже были некоторые общие соображения о времени и судьбе писателя в наши дни, а также и о традиции русского романа XIX века.

Имя Достоевского не было названо, но оно подразумевалось и даже было вполне ясно обозначено в стихах:

В искатели благополучия Писатель в старину не метил. Его герой болел падучею, Горел и был страданьем светел.

Над этими строками витал дух большой прозы, чувствовалось притяжение романтического замысла. Недаром в стихах упоминались имена прозаиков минувшего и нынешнего века.

Мне думается, не прикрашивай Мы самых безобидных мыслей, Писали б с позволенья вашего И мы, как Хемингуэй и Пристли.

Упоминание о Хемингуэе и Пристли, романом которого «Затемнение в Гретли» мы зачитывались в 40-е годы, казалось мне тогда странным у Пастернака после его «Охранной грамоты».

И даже этот оборот — «Писали б с позволенья вашего» — был странен. Но все это объяснилось позднее, когда вышел «Доктор Живаго». По-видимому, его привлекал замысел большого беллетристического произведения, но с художественным идеалом и нравственным направлением «старинной» литературы, когда писатель не метил «в искатели благополучия»...

В «Зареве» были строфы, прямо обращенные в сторону «Доктора Живаго», как это становится очевидным теперь:

Я тьму бумаги перепачкаю И пропасть краски перемажу, Покамест доберусь раскачкою До истинного персонажа...

9

Пастернак переводил «Генриха IV» и говорил о том, что это пьеса юности и о юности самого Шекспира. Любой современник мог бы составить целый том комментариев к этой пьесе. Но это была бы история, а сейчас это — только юность, вечная юность Шекспира и его героя.

Борис Леонидович сказал, что величие Шекспира как драматурга проявляется и в том, как он смело расчищает место в «Генрихе IV» для мистрис Квикли. Чем больше

разглагольствует Фальстаф о себе, тем ярче обрисовывается сценический характер этой бранчливой, сговорчивой, простодушной, грубоватой и нежной мистрис Квикли, «лучшей бабы Англии».

Что касается самого Фальстафа, то посреди всех других героев он один неизменно говорит прозой. То есть он может, конечно, вдруг запеть балладу про короля Артура или сказать что-нибудь в рифму, когда хочет показать, что не лыком шит, или когда передразнивает кого-то, но он премудро держится самой трезвой прозы, даже когда пьян.

Однако в его прозе, может быть, как раз и скрыта истинная поэзия этой пьесы. «Гарри, — говорит он, обращаясь к принцу, — я поражен не только тем, как ты проводишь время, но и среди кого ты его проводишь. Потому что, хотя ромашка и растет тем гуще, чем больше ее топчут, иная вещь молодость. Чем больше прожигаешь ее, тем скорее она сгорает...»

Пастернак становился то мрачным, то смеялся, когда рассказывал о «Генрихе IV», как будто он не только перевел, но и открыл эту пьесу.

Я не удержался и сказал, что помню первую реплику Фальстафа: «What time of day is it, lad?»* — потому что посещал кружок английского языка, который вела Надежда Яковлевна, где без всякой подготовки, без грамматики, только со словарем, читали с листа Шекспира и начинали именно с «Генриха IV», потому что там много быстрых диалогов.

Борис Леонидович одобрительно прогудел что-то вроде того, что Шекспира так и следует читать — с листа.

— Да, да, — сказал он.

И разговор, дойдя до Надежды Яковлевны, оборвался.

И тогда я, не знаю сам почему, стал вдруг рассказывать о Юрии Казарновском5, не спросив даже, известно ли это имя Пастернаку.

Я рассказывал о том, как, отбыв свой срок заключения, в конце войны появился в Ташкенте этот человек.

Пришел прямо с вокзала в Союз писателей на Первомайской улице, продиктовал машинистке свои новые стихи об азиатских ливнях, похожих на полосатого тигра.

Узнал кто — где. И пришел прямо к Надежде Яковлевне, как призрак с того света.

Еще раньше, когда Анна Андреевна была в Ташкенте, я случайно отыскал в старом номере «Красной нови» два стихотворения неизвестного мне поэта — «Зоосад» и «Футбол». Стихи понравились, и я сказал об этом Анне Андреевне.

Она как-то вдруг встревожилась и позвала Надежду Яковлевну.

— Надя, — сказала она, указывая на меня, — он нашел Казарновского.

Надежда Яковлевна тоже была встревожена и сказала:

* «Который час, любезный?» (англ.).

— Казарновский был в пересыльной тюрьме с Осей... Кто знает, может быть, ты когда-нибудь увидишь его. Я не доживу...

И вот Казарновский пришел сам, как вестник из средневековой баллады, когда его никто не ждал. И были в нем, как в средневековой балладе, смешаны смех и слезы.

Казарновский был то, что называется «человек без возраста». На вид ему можно было дать и тридцать, и сорок лет...

Он был щуплый, легкий, одетый кое-как, «в рыбий мех». Все на нем было или ветхое, или с чужого плеча. Всегда улыбающееся лицо с испуганными глазами...

Он подружился с букинистами, подторговывал книгами. Отыскал сборник своих стихотворений, изданный еще до войны6. И читал завсегдатаям фанерного павильона возле ташкентского зоосада стихи про волка:

Ах, должно быть, страшно волку Одному среди волков...

Здесь его хорошо знали. Давали выпить и в долг, когда не было денег, за стихи. Называли его просто Юрочка.

Но он не был пьяница. Он был поэт и умел соблюсти свое достоинство, когда читал стихи.

Но бывали такие обстоятельства, такие унижения...

Зимой комната Надежды Яковлевны промерзала по углам. И тогда она целыми днями не вставала с кровати, укрывшись одеялом и своей прожженной, с обезьяньим мехом и разорванным рукавом черной кожаной курткой. Иногда вода в чашке на столе покрывалась льдом.

Однажды Юрочка, ближе к вечеру, не выдержал и ушел за дровами. Как выяснилось, он разобрал часть какой-то изгороди на улице. И был задержан милиционером.

Юрочка привел милиционера к Надежде Яковлевне и сказал:

— Это моя тетя...

Милиционер поглядел на комнату, на холодную печку, на замерзшее окно и свалил у порога конфискованные дрова...

Надежда Яковлевна смеялась и плакала. А призрак Юрочка неумелыми руками колол дрова и растапливал печку.

В рассказах Казарновского о пересыльной тюрьме были дан-товские подробности. Он вспоминал, как однажды О. Мандельштам был по ошибке заперт в камере, которую называли «камерой смертников». И там он прочитал нацарапанные на стене свои ранние стихи из «Камня»:

Неужели я настоящий

И действительно смерть придет?

Это и был тот самый ад, о котором сказано: «Оставь надежду всяк сюда входящий...»

Иногда он говорил, как старый каторжанин. Но при этом оставался «жургазовским жуиром», как называла его Надежда Яковлевна, «коктебельским мальчиком». Он и сам говорил, что ему лично гораздо больше нравится начало того четверостишия из «Камня», которое не поместилось на тюремной стене:

Я бродил в игрушечной чаще И нашел лазоревый грот,

потому что эти строки переносят его в Крым и напоминают ему тех прелестных нереид, от которых его насильственно оторвали и бросили в грязные бараки, о которых он и вспоминать не желает.

Ему негде было жить. Его пристроили в городскую больницу, где была крыша над головой и хоть какая-то горячая еда. Я посещал его в больнице. Он вызывал острое чувство жалости именно тем, что никогда ни на что не жаловался.

Только очень тосковал. Готов был хоть сейчас идти по шпалам в Москву. Я принес ему рубашку и брюки моего старшего брата, который тогда был в армии.

Юрочка отмылся, отлежался, как-то привык к палате, заигрывал с медицинской сестрой, писал стихи про «распоследнюю любовь».

Весной он снова появился в фанерном павильоне:

Здесь ты увидишь легко и недлинно Снова лицо своей первой любви На заумном хвосте павлина...

Подвыпившие дружки хохотали и хлопали его по плечу. Борис Леонидович слушал молча. Перед ним стоял недопитый стакан чая.

10

Когда я собрался уходить, Борис Леонидович сказал: — Я провожу вас!

И мы долго шли по широкой и пустынной лестнице, марш за маршем, вниз. И на каком-то четвертом этаже нас обогнал бесшумный лифт.

На улице был мороз. И ярко горела сильная лампа на столбе возле подъезда.

Из ворот садика, со стороны Третьяковской галереи, навстречу Борису Леонидовичу выбежал мальчик в башлыке.

Борис Леонидович обнял его за плечи и назвал по имени. Это был его младший сын Леонид.

И мы простились.

Дата этой встречи сохранилась в надписи Пастернака на книге его стихотворений: «Эдуарду Бабаеву на счастье в его первых шагах в Москве. 17 января 1946 года».

Встреча с Борисом Пастернаком оказалась для меня неожиданной, но, если можно так сказать, хорошо мотивированной.

Я знал, что он дважды упоминает мое имя в своих письмах7, знал также и о том, что он прислал Надежде Яковлевне собственноручно им переписанный английский перевод стихотворения Мандельштама «Tristia»...

Но все это было потом. А тогда на прощание Борис Леонидович дал мне свой телефон и просил звонить. Какая же другая встреча с поэтом может сравниться с первой?

К тому же срок моего пропуска в столицу истекал со дня на день.

И вдруг повеяло теплом, небо очистилось, как это иногда бывает в январе, и повеяло весной, как это тоже иногда бывает среди

зимы. ^ , п

Весна! Я с улицы, где тополь удивлен,

Где даль пугается, где дом упасть боится,

Где воздух синь...

Книга Пастернака с его дарственной надписью навсегда связана в моей памяти с теми днями, когда улицы Москвы были завалены чистым снегом, снегом моей юности, когда на морозе пахло мандариновой кожурой, и отец еще был жив, и еще не наступившая весна была полна надежды.

Елена Берковская

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 40-Х ГОДОВ

Имя Пастернака у нас в доме произносилось часто. Я знала, что это современный русский писатель, поэт, вернее. Имя у него было Борис, но фамилия как-то двоилась: Борис Пастернак — Борис Пильняк... Да, фамилия двоилась, зато имя было бесспорно Борис. Впрочем, все это было «взрослое» и неинтересно. Тем мои детские познания о Пастернаке и ограничились. Ну Пастернак и Пастернак.

Но когда летом 1940 года я вернулась в Москву, вернее в Пушкино, поступать в университет — Пастернака обрушили на мою голову лавиной.

Моя старшая сестра Оля и ее подруга Катя1, увлеченные и страстные последовательницы учения Н. Ф. Федорова2, всю жизнь свою положившие на пропаганду и посильное осуществление его идей, считали, что среди современников, в частности среди писателей, ближе всего к пониманию идей бессмертия и воскрешения подошел в своем творчестве именно Пастернак. Но для того, чтобы можно было обратиться к Пастернаку и доходчиво объяснить ему его роль и место в общем деле, следовало лучше познакомиться с его творчеством. Вот они и знакомились.

Академический процесс познания быстро перешел в увлечение, в восхищение, в экстаз; стихи читались друг другу вслух, учились наизусть. Серый том «Избранного» 1937 года3 был истерт, растрепан и не выпускался из рук. Вот в эту атмосферу, насыщенную, скорее перенасыщенную Пастернаком, попала я. От меня требовалось восхищение, трепет и запоминание наизусть. С моей точки зрения, это было возмутительным насилием над личностью. Стихи я любила с детства, знала наизусть... Но то ведь стихи! Пушкин, Некрасов, Фет, Алексей Толстой. Ну Ахматова, ну Гуми-

лев, Блок. А это? Мне в мои провинциальные 17 лет стихи Пастернака казались бессмысленным набором слов. Ну что это, правда? «И чекан сука, и щека его, и паркет, и тень кочерги отливают сном и раскаяньем сутки сплошь грешившей пурги». Совершенно ясно — бред и Олины очередные штучки. «Чекан сука» — какой «чекан», какого «сука»? (Кстати сказать, наизусть я «Болезнь» запомнила именно тогда на слух, ничего не поняв.) Боже мой, да что тут говорить. Бред есть бред!

Весь мой первый курс прошел под пастернаковский рефрен. То девицы читали и восхищались вдвоем, то приходил молодой поэт, студент с мехмата Боря Симонов и читал свое, такое пастер-наковское, что слушать не хотелось, то Оля с Катей ходили слушать пастернаковское чтение «Гамлета», то собирались писать ему письма, то еще что-то.

А 22 июня 1941 года началась война, и 3 июля я с истфаком уехала на трудфронт в Рязанскую область убирать сено. Работали мы от зари до зари, жили в шалашах из сена в чистом поле.

До ближайшей деревни 9 или 10 км. Сначала не было даже репродукторов (впрочем, может быть, и не только сначала, но и вообще не было. Забыла). Газеты нам приносили с недельным, минимум, опозданием, а в них сообщались не вполне понятные, но пугающие сводки с фронтов и то, что Москву бомбят. Письма шли еле-еле, а я и совсем не получала. Ощущение полной оторванности от мира, неизвестность того, что в Москве, что с Москвой, что будет с нами (поговаривали, что нас оставят на зиму), отсутствие писем удесятеряли страх за Олю и Катю. Все остальные хоть как-то, хоть что-то знают о своих. Я — ничего. Ясно, что их нет в живых. И вдруг, уже в конце лета, приходит толстое, многостраничное письмо от Кати. Вскрываю, трепеща... И что же? Ни слова о себе (ну живы, это ясно, и слава Богу), ни слова о Москве, ни слова ни о чем житейском... Все 10 или 12 страниц посвящены подробному и восторженному описанию того, как они познакомились с Пастернаком. Я только плюнула. Письмом я злобно разожгла костер. Боже мой, как я теперь жалею о нем. Об этом сумбурном Катином письме «по свежему следу». <...>

Всю весну Оля с Катей собирались, собирались писать к нему и наконец собрались. Так как в числе «достойных», кроме Пастернака, была и Марина Цветаева, то решили сначала пойти к нему и взять у него ее адрес. И отправились в Лаврушинский. Первая встреча была краткой. Он сказал Маринин адрес, и они отправились. Не знаю, сразу ли после этого девицы пошли к Марине Ивановне или через какое-то время, помню только, что когда они пришли к ней домой (не знаю, где она тогда жила), а может быть, в Мерзляковский к Е. Я. Эфрон, то узнали, что накануне она уехала в эвакуацию.

Вскоре после этого они поехали в Переделкино. Оля говорила, что они разговаривали с Б. Л. о «Спекторском» и что у Кати он как-то символизировался с Христом («Центральным Образом», как в то время они называли Христа. Для конспирации, или еще почему, не помню). Оля смущалась до слез, Катя объяснила Борису Леонидовичу, что и как ему следует «подработать» в своем сознании и в своих стихах. Впрочем, это я просто так язвлю на старости лет. А важно то, что Б. Л. отнесся к ним с глубокой серьезностью, дружелюбием, вниманием и теплом, и что с той поры он стал для нас не просто великим поэтом, но и удивительным живым человеком.

Потом Оля с Катей еще не один раз бывали у него в Переделкине и в Лаврушинском. Возили к нему моего приятеля и однокурсника Владека Кропоткина4, только что вернувшегося с оборонных работ. Б. Л. очень как-то заинтересованно относился к молодежи, и, очевидно, ему нравилось, что и Оля, и Катя, и Владек — не плакатные комсомольцы, а люди, интересующиеся, казалось бы, такими нестандартными в то время вопросами. Владек ему понравился и показался похожим почему-то на Нехлюдова. Потом, когда Владек был на войне, то Б. Л. много раз

спрашивал, жив ли он, как поживает «этот ваш Кропоткин». И добавлял: «Нехлюдов». «Ну почему Нехлюдов, Борис Леонидович? Вовсе он не Нехлюдов». — «Нет, Нехлю-ю-дов, Нехлю-ю-дов...»

Потом вернулась из совхоза я, и ахнуть мы не успели, начался октябрь. Немцы подошли к самой Москве. Писателей должны были эвакуировать в Чистополь. Университет — в Ташкент. 13 октября вечером Катя сказала: «Надо проститься с Борисом Леонидовичем». И мы с ней пошли на Тверской, где в квартире своей первой жены Евгении Владимировны он должен был быть.

Осталась в памяти заставленная московская квартира, темноватая комната. И прежде всего, конечно, сам Борис Леонидович. Сначала бросилась в глаза резкая, как показалось в первую секунду, некрасивость лица, необычный овал, необыкновенно молодые глаза и, конечно, голос. Пастернаковский неповторимый голос и манера речи. Необыкновенная простота обращения и непривычная мне уважительность к нам, девчонкам. «Екатерина Александровна, Елена Николаевна»... (на меня указывая, Катя: «А это, Борис Леонидович, младшая сестра Ольги Николаевны — Елена Николаевна»). Меня еще в жизни так не называли! Поцеловал руку Кате и мне. Мы уселись. Потом сел он тоже, «по-пастернаковски», по-мальчишески как-то, сдвинув колени и положив на них ладони рук, отодвинув немного наружу локти.

Разговор пошел сразу в нескольких планах: о его ближайших намерениях — ехать в Чистополь (семья уже там), об эвакуации университета, о письмах Цветаевой, которые он отдает нам и которые находятся сейчас у пастернаковской няни (сына Жени?). Она живет на Кропоткинской, на Пречистенке, неподалеку от Пречистенских ворот. (Записываем адрес.) Я не помню, как было с письмами. Обещал ли он их Оле и Кате раньше или это решение родилось тут же во время разговора о его эвакуации? И основной план разговора — фон, на котором ведутся другие сюжеты — это ощущение последней встречи, прощание. Немцы у Москвы. Что будет? Как будет?

Мне по 18-летней дурости и невозможности принять катастрофичность положения кажется, что Борис Леонидович преувеличивает опасность. И я замечаю убежденно, что Москву не могут сдать, на что он с готовностью и, очевидно, с полной убежденностью в обратном соглашается со мной. Он говорит о том, что его радует молодежь, радует, как она самоотверженно ведет себя сейчас, в такое тяжелое время, как его радует ее искренность, смелость и убежденность в победе. «Вот и сын Женечка тоже уверен», — говорит Б. Л. и добавляет, что он то ли вернулся с оборонительных работ, то ли должен вернуться.

Прощаемся. Он, наверное, с мыслью о том, что навсегда, Екатерина — не знаю, я с идиотской уверенностью, что все будет прекрасно. «Да хранит вас Высшее Существо», — говорит Борис Леонидович, и мы уходим.

Выходим на Тверской бульвар. Уже темно, большими хлопьями лепит мокрый снег. Мы садимся на трамвай и едем почему-то в сторону Трубной.

Ушла я от Б. Л., совершенно покоренная им, и впервые подумала, что у человека такой прелести и обаяния, возможно, все-таки и стихи не так ужасны?! Но стихи его в эту страшную первую военную осень не стали мне ближе, а личное восхищение постепенно отодвинулось, и я редко вспоминала о нем. Всех нас: Олю, Катю и меня развело в разные стороны. Оля преподавала историю в школе, недалеко от Пушкина, в селе Листвяны. Катя работала в эвакогоспитале санитаркой, я была «бойцом» пожарной команды на истфаке. Университет не работал, мы не учились. Из Чистополя на адрес истфака пришла открытка от Б. Л., в которой он писал о жизни в Чистополе и о том, что начал (или собирается начать?) переводить «Ромео и Джульетту».

Весной 1942 года, когда немцев отогнали от Москвы, возобновились занятия в университете. В пожарной команде появилась Катя, а через некоторое время моя

однокурсница Ирина Тучинская. Как-то однажды вечером, сидя на диване около круглой угловой печки, они разговорились друг с другом. Оказалось, что у них много общего в главном. Они проговорили, не давая своими громкими восклицаниями и счастливым смехом спать другим «пожарникам», не разделявшим их радости, всю ночь. Утром, вскочив, умчались куда-то. (В церковь, наверное?)

С этой ночи в течение нескольких лет они не расставались. На истфаке они почти не показывались, жили своей наполненной до краев интенсивно-духовной жизнью. Внешне все выглядело нелепо: экзаменов не сдавали, ничем осязаемым, казалось, не занимались, все время где-то и куда-то носились с вдохновенными лицами. Впрочем, по-настоящему все это вполне определялось соловьевским: «Я факты рассказал, виденье скрыв».

После сессии я уехала с университетом на трудфронт. На лесоповал. Вернулись мы только к октябрьским праздникам. Первое, что я узнала от Наташи Соболевой5, нашей общей подруги, придя на истфак, — это что Катя и Ирина (а мы с Наташей относились к их внезапно вспыхнувшей дружбе с ревнивым неодобрением) ушли из университета и живут вдвоем в пустующей комнате в Неопалимовском переулке. Комната принадлежала уехавшим в эвакуацию каким-то друзьям друзей.

На мой раздраженный вопрос, что же они теперь делают, последовал иронический ответ, что они занимаются разрешением проблемы бессмертия путем преображения любви к Софроницкому и Пастернаку. «Как, и к Пастернаку?» — изумилась я. (О влюбленности Кати в Софроницкого я знала еще летом.) «Да, и еще к Пастернаку». Оказалось, что Ирина («вообрази, этот Катин под-гудок», — как неизящно выразилась Наташа) влюбилась заочно (попробуй незаочно, если он в Чистополе) в Пастернака, написала ему длинное теоретическое письмо и вот теперь спасает его от смерти своей любовью. «И что же, послала письмо?» — «Не знаю, право». Как это ни удивительно, но черновики письма этого сохранились, и теперь, через 40 лет, перечтя его, мне кажется, что я понимаю, почему при всей фантасмагоричности написанного там Борис Леонидович не послал Ирину куда подале, а с открытой душой принял.

Прося извинения за то, что позволяет себе писать ему, незнакомому человеку и знаменитому писателю, она рассказывала о том, что последнее время со всех сторон от разных людей и разным образом она что-то слышала о нем, как будто все задались одной целью: донести его до нее. И как постепенно он вошел в ее жизнь и стал близок и стал всегда с ней; и она поняла, что полюбила его. Полюбила человека, а не поэта, т. к. сначала она даже и стихов его совсем не знала и только теперь постепенно он стал открываться ей и в своих стихах. Дальше шло очень «федоровско-катино» рассуждение о невыносимости для нее самой мысли о возможности смерти любимого человека и об осознанной преображающей любви как пути к бессмертию. И теперь, спустя 40 лет, когда Ирина так отрицательно относится к Федорову, кажется неправдоподобным читать то, что она писала в свои 22 года. Но что было, то было. Вот это-то письмо, написанное с молодой и серьезной убежденностью, искренностью и верой, весь этот соловьев-ско-федоровский мир, мир ушедшей молодости Бориса Леонидовича и такой неожиданный в то тяжелое военное время, такой нереально-ненужный, как, возможно, считал он, — вот все это вместе, я думаю, не могло не тронуть его.

Осенью, а может быть, еще летом 1942 года, Катя с Ириной (возможно, про просьбе Б. Л.?) были у него в Лаврушинском, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится квартира. Там стояли зенитчики. Квартира оказалась в полном разорении. Бумаги и книги валялись на полу, вещи раскиданы, стекол в окнах не было. Предприняли ли они что-то реальное — я не знаю (вероятно, написали в Чистополь), знаю только, что Ирина подобрала с полу несколько фотографий Б. Л. и пачку писем. Письма оказались его письмами к Зинаиде Николаевне 1931-1935 годов. Письма, хоть и не без смущенья

и стыда, всеми нами были прочитаны, и перечувствованы, и пережиты и находились у нас до тех пор, пока Оля не собралась с духом и не вернула их Зинаиде Николаевне. А фотографии до сих пор живут у нас уже с разрешения Б. Л.

В эту же зиму 1942/43 годов Б. Л. раза два6 приезжал из Чистополя в Москву и был (или бывал) у девиц в Неопалимовском. Он перевел «Ромео и Джульетту» и прислал им розовое ВТО'вское издание его перевода через молодого режиссера Плучека. Он был увлечен в ту зиму театром и очень хвалил пьесу своего знакомого, молодого писателя Александра Гладкова «Давным-давно». Не остались равнодушны к театральному искусству и Катя с Ириной. Ирина написала акт «Ромео и Джульетты», где герои воскресают и помогают девицам в обретении бессмертной любви. «VI акт» завершался эпилогом под названием «После чтения Данта» с участием Оли, Ирины и Кати. Тоже с вокресительным оттенком. Должны были послать все это Б. Л. с сопроводительным Катиным письмом; не знаю, было ли это послано или так и осталось только в черновиках.

Так прошла зима. В начале июля Борис Леонидович приехал в Москву. 5 (или 7?) июля я пришла вечером в Скрябинский музей, где меня ждали Катя и Ирина. В музее шел ремонт. Мебель и музейные экспонаты были в эвакуации. Мы сидели в кабинете под овальным портретом матери Скрябина, который почему-то не удостоился быть эвакуированным. Я восторгалась тогда Андреем Белым и рассказывала что-то о своем увлечении, а Катя благосклонно слушала. Когда я на секунду замолчала, Катя сказала, что послезавтра в ВТО Борис Леонидович будет читать перевод «Антония и Клеопатры» и надо пойти к нему и взять билеты. Я обрадовалась и беззаботно спросила: «И я пойду?» «Да, конечно, — сказала Катя, — и добавила: — Вот ты сейчас сходишь к нему и возьмешь билеты». Я сначала не поняла: «То есть как это я?» «Да так, — сказала Катя, — мне кажется, что пойти нужно тебе». Тут надо сказать, что я тогда была застенчива невероятно и пойти просто к малознакомому «взрослому» человеку, не то что к Пастернаку, было выше моих сил. А вот тут: «Мне кажется, что пойти нужно тебе». О, Господи! Но если Кате кажется, то какие могут быть возражения? И пошла она, солнцем палима, повторяя: «Храни меня Бог». Пошла овца на заклание.

Борис Леонидович жил тогда у брата на Гоголевском бульваре. До сих пор поражаюсь, как я рискнула пойти к нему. Арбат, переулки, Гоголевский бульвар. Большой, серый, конструктивистский дом.

Вот и нужный подъезд в глубине двора. Узкая лестница. Холодея от страха, поднимаюсь, звоню (или стучу?). Боже мой, может быть, убежать? Еще есть возможность. Нет, поздно. За дверью быстрые шаги... дверь открывается. В дверях Борис Леонидович. Смотрит несколько вопрошающе. Ну, естественно, он меня не помнит. «Здравствуйте, проходите, пожалуйста». — «Здравствуйте, Борис Леонидович». Вхожу. Косноязычной скороговоркой, путаясь в непривычно длинных именах с отчествами, объясняю, что Екатерина Александровна Крашенинникова просила меня зайти к нему за пропуском в ВТО, а я младшая сестра Ольги Николаевны Сетницкой. Б. Л. проводит меня в небольшую светлую комнату с обеденным столом посередине. На столе незабудки в стакане и стопка маленьких серых книжечек. Стою столбом. «Садитесь, пожалуйста». Сажусь на край стула, Б. Л. напротив меня, и я вижу, что из моего сбивчивого бормотанья он ничего не понял: ни зачем пришла, ни кто такая, — и все сказанное с такими душевными усилиями нужно повторить еще раз. И я повторяю, что я — младшая сестра Ольги Николаевны Сетницкой, но он меня, наверное, не помнит, хотя в октябре 1941-го мы были на Пушкинском бульваре, и что Екатерина Александровна просила меня зайти к нему, т. к. он обещал дать пропуск на его послезавтрашний вечер в ВТО. «А-а-а, — тянет он, — теперь я вспомнил вас и все

понял. Сейчас дам — и спрашивает, как зовут меня: — Вашу сестру зовут Ольга, а вас?» «Елена, — смущенно отвечаю я, — но я просто Лиля». «Просто Лиля», — повторяет он и дает мне записку к администратору ВТО. Потом берет из стопки серо-зеленую книжечку и говорит, что вот только что вышел сборник его последних стихов «На ранних поездах». Он недоволен им, это еще довоенные стихи. Я не поняла, чем именно он недоволен. Тем ли, что стихи довоенные, тем ли, что он не любит этих своих стихов, тем ли, наконец, что сборник так скудно издан. Он берет еще три экземпляра и дает мне. Всем нам: Оле, Кате, Ирине и мне. Благодарю. Он не надписал эти книжки, а я и не догадалась тогда, что можно попросить. 1де они теперь, эти четыре книжечки? Следа не осталось. Катя в мгновение ока щедрой рукой раздарила все четыре кому-то. До сих пор жалко!

Смущение мое понемногу прошло, и я уже менее сбивчиво и более внятно отвечала на какие-то вопросы Б. Л. о Кате, Ирине, Оле. Помню его слова о себе, о семье, которая еще в Чистополе7, что ее нужно перевозить в Москву, что в Лаврушинском жить еще нельзя, и он пока тут, у брата... И снова я была покорена его обаянием и простотой обращения. Я совсем осмелела, но надо было идти, т. к. ждали меня с нетерпением. Я попрощалась.

Б. Л. вышел со мной на лестницу и поцеловал руку. Как только дверь закрылась за ним, я тряхнула стариной, села на перила и в одну секунду пронеслась до низу и бегом в Музей.

Девы ждали меня. Мы все уселись на диван в кабинете, и я «с самого начала» все подробно: «Ну вот я вышла из Музея...» — рассказала им шаг за шагом, слово за словом... Смеясь и перебивая меня и друг друга, Катя с Ириной заставили меня несколько раз повторять, что сказал Борис Леонидович, что сказала я, как он посмотрел, что он сказал и т. д. и т. д. и т. д.

Настал день чтения «Антония и Клеопатры» (7 или 9? июля 1943 года8), как все концерты и вечера в то время, чтение начиналось в 5 часов.

Был жаркий и душный день. Собиралась гроза. Мы сидели в Музее и ждали из Дмитрова Володю Леоновича9. Наконец он приехал, и сразу же началось обсуждение каких-то вселенски-важных вопросов. Когда кто-то взглянул на большие часы в передней, было ясно, что мы опаздываем. «Бежим!» — крикнула Ирина, и, кубарем скатившись по лестнице, мы побежали. По улице Вахтангова, по Арбату, в лицо ветер... Когда на площади мы вскочили в трамвай, ветер уже рвет деревья, небо чернеет и полыхает молниями. На Пушкинской площади уже падают первые капли, а когда мы вбегаем в ВТО, дождь уже льет потоком.

В вестибюле полно народу. Все «взрослая» публика, многие знакомы, переговариваются друг с другом. Я первый раз в ВТО и остро ощущаю значительность момента. Кате и Ирине ВТО и такой вечер не впервой. Катя проталкивается в администраторскую за пропусками. Я волнуюсь: а вдруг не дадут? Но дают, и мы идем к лифту. Около лифта стоит вертлявый пожилой человек с большим черным портфелем под мышкой. Он как-то слегка пританцовывает, оглядывает нас и вдруг подмигивает. Подходит лифт. Кроме нас и этого типа, набивается еще много народу и оттирает его от нас, слава Богу. Я шепчу: «Катя, он что, сумасшедший?» Катя холодно отвечает: «Тише, это Крученых». Т. к. по невежеству я и не слыхивала о нем, то воспринимаю его фамилию как слово «крученый», тем более это подходит ему как нельзя более. «Как крученый?» — переспрашиваю я. «Да не крученый, а поэт Крученых, фамилия такая — Крученых, поэт-футурист», — теряя терпение, шепчет мне в ухо Катя. Мы вошли в Малый зал. Места впереди были уже заняты, и мы сели где-то сзади. Хотя на улице было еще светло, в зале горел свет, и окна были занавешены синими маскировочными шторами. В городе ведь затемнение.

На эстраду вышел Борис Леонидович, и чтение началось. Не помню, кто вел вечер, может быть, М. М. Морозов? Не помню, было ли вступительное слово. Помню, как, предваряя чтение, Борис Леонидович сказал несколько слов, из которых я помню только его определение сюжета пьесы, поразившее меня своей какой-то домашней выразительностью. Он сказал, что содержанием пьесы является роман обольстительницы и шалопая. Это прозвучало как-то очень неожиданно. Первый раз я его слушала тогда и была потрясена естественностью и искренностью чтения, была восхищена его манерой, его интонациями, завыванием, его растягиванием слов, его московской речью. Как Клеопатра зовет служанок: «И-ира, Хармиа-а-на»... И скороговоркой: «Свет Алексас, прелесть Алексас, скажи мне, где тот предсказа-а-тель, о котором ты говорил вчера цари-и-це»... И в смешных местах сам смеялся, и зал смеялся вместе с ним. А в каком-то месте остановился, посмотрел на публику и сказал: «Подождите, дальше будет еще лучше». В полной тишине прочел конец.

За окнами грохотало. Лил дождь. Когда он кончил, дождь перестал. Подняли шторы, открыли окна, и в зал ворвался уличный шум. Было еще светло. Стоял шум отодвигаемых стульев. Публика расходилась. Вокруг Б. Л. стояла кучка людей, благодарили, говорили что-то. Вдруг закрутилась какая-то суета, все зашумели, и на пошатывающийся венский стул взгромоздился Крученых, прижимая одной рукой портфель, вскинул другую вверх и громко прокричал: «Борис! Ведь такого Шекспиру не снится! Идет Клеопатра в твоей колеснице!» Все засмеялись, захлопали. А мне, еще не опомнившейся от прелести чтения, от благоговейного восхищения, переполнявшего меня, крученыховский экспромт показался так груб, так неуместен, что и не сказать.

У окна я увидела Катю. К ней через беспорядочно сдвинутые стулья пробирался Борис Леонидович. Он что-то сказал ей, и она с недовольным видом ответила. Я про себя подумала: как после всего этого у нее может быть такое сердитое лицо? О чем они говорили — мне слышно не было. Разговор их был как в немом фильме. Через минуту Катя отошла от него и стала высматривать нас с Ириной. В этот момент появилась Оля. Она, не помню уж почему, приехала к шапочному разбору. Мы посмеялись над ней и отправились восвояси. Катя была недовольна и вечером, и Борисом Леонидовичем. В этот раз я впервые заметила, что она большей частью бывала недовольна им, считая, что он недостаточно и не так думает, пишет, переводит, живет.

Через день после чтения «Антония и Клеопатры» в зале Чайковского был концерт В. В. Софроницкого. Не буду и пытаться сказать что-нибудь ни о концерте, ни об игре В. В. Незабываемый концерт!

На нем был Борис Леонидович. Он сидел в ложе справа, а мы во 2-м амфитеатре. Мы все: Катя, Ирина, Володя ия - были просто на небесах, в полном благорастворении от игры В. В., от Шопена, от всеобщего восхищения и от своей молодости, конечно. В антракте Б. Л. подошел к нам, и естественно и органично влился в нашу экстатическую атмосферу и, конечно, осветил ее своим присутствием еще больше. Говорили простые вещи: как прекрасен Шопен, как прекрасен В. В., как было бы хорошо, если бы он сыграл концерт из произведений одного Шумана или Брамса. Вдруг раздалось что-то вроде взрыва. На секунду все оцепенели. Ведь война не кончилась. Но оказалось, что перегорела лампа у осветителей. И вдруг почему-то сразу стало все иначе. Из волшебного мира, где мы только что были, мы вернулись в проход 3-го амфитеатра зала Чайковского. Все было то же — и все изменилось. Антракт кончился. Мы с Катей и Ириной перелезли через барьерчик между 3-м и 2-м амфитеатрами, чтобы сесть на свободные места поближе. И Борис Леонидович, оглянувшись кругом, легко перепрыгнул барьер вслед за нами.

С вечера чтения «Антония и Клеопатры» мы с Катей и Ириной уже не расставались. Жить нам, по сути, было негде, и с разрешения Танечки Шаборкиной,

Татьяны Григорьевны, директора Музея Скрябина, мы стали жить в пустом, бесконечно ремонтирующемся Музее. Катю удалось провести в штат Музея «пожарником». Мы с Ириной назывались «актив», или просто «музейные девочки». Прожили мы так с лета 1943 по конец 1945 года.

В нашей «музейной» жизни незримо или даже зримо Борис Леонидович присутствовал всегда. Ирина бывала у него часто, Почти каждый день. Мы с Катей реже. Мы ходили на все его выступления с чтением стихов и переводов. Он давал нам все свои новые стихи. Из его рук мы получили все военные стихи и статью о Верлене, Шопене и Баратынском10, а позже стихи из романа и сам роман.

Редкий день проходил без разговоров по телефону. Главным образом, конечно, звонили мы. Только позже я поняла, как беспредельно терпелив, сердечен и внимателен он был. Всегда серьезно и сочувственно выслушивал наши высокие или жанровые, но всегда фантастические идеи и мысли, ни разу не позволив себе ни тени снисходительности или иронии. Хотя бы, например, в таком случае.

Однажды зимой Ирина лежала на голом пружинном матрасе, стоявшем почему-то на столе в комнате Е. А. Софроницкой11, бывшей в то время в эвакуации, и страдала. Возможно, что лежала она в такой бесприютности, чтобы усугубить свои страдания еще больше. Страдали мы тогда часто, интенсивно и по разным поводам. Называлось это «находиться в погребении» или просто «погребаться». Так вот Ирина погребалась. Внимание и чуткость ближних очень помогали в таких случаях. Поэтому после некоторого размышления я пришла к убеждению, что Ирине может помочь мой разговор с Борисом Леонидовичем о ней. Поскольку Ирина страдала от того, что он не любит ее, то, подумала я, мне следует довести это до его сведения и выяснить точно, как именно он к ней относится. Если не любит, то хорошо, чтоб полюбил, а возможно, он ее и любит, но просто не отдает себе отчета в этом.

Предприятие это было для меня безмерно трудным: вот так, здорово живешь, явиться к Б. Л., оторвать его от работы и, о Боже, беседовать с ним на такую, мягко говоря, необычную и деликатную тему. Но чем труднее это было для меня лично, тем нужнее было именно мне преодолеть эту трудность и выполнить свой нравственный долг перед Ириной. Катя всецело одобрила мою идею, и с ее благословения я отправилась.

Б. Л. жил тогда у Асмусов на Зубовском бульваре. К неудобству для меня, при всех наших тогдашних эскападах во мне всегда сохранялся здравый смысл, говоривший о безумии предстоящих затей. Чтобы эти затеи осуществлять, мне приходилось бороться с ним и преодолевать. Преодолевать же было трудновато. Итак, в борьбе со здравым смыслом пробежали эти 15—20 минут моего пробега от Музея до Асмусов. Вот я уже замираю у дверей. Вечное малодушное колебание: может быть, все же уйти? Но звоню. Открывает Ирина Сергеевна. Здороваюсь. Спрашиваю, дома ли Б. Л. Он дома и уже вышел на мой голос. Идем к нему. Он что-то говорит, спрашивает, но явно ждет, что же скажу ему я. И я бросаюсь в пропасть. Начинаю с Ирининых страданий. Вот Ирина, такая хорошая, такая удивительно хорошая, так страдает. Она так любит Бориса Леонидовича... Он, конечно, знает об этом... И вот я бы хотела его спросить, как он относится к ней? И Борис Леонидович, ничуть не удивившись нелепости и наглости моего вопроса, начинает говорить о том, как прекрасно он относится ко всем нам, как ему нравится наша жизненная увлеченность, наша одержимость высокими идеями, наша удивительная и трогательная дружба, как он ценит наше отношение к нему, как он рад, что вообще на свете есть такие люди, как мы... Все это было, конечно, распрекрасно, но абсолютно не то, что было нужно. «Нет, Борис Леонидович, не о нас в целом речь, а об Ирине». Что думает он именно о ней, как относится он к ней — загоняла я в угол несчастного Б. Л. И он отвечал мне, что, конечно, Ириша такая

милая, так прекрасно, так незаслуженно прекрасно относится к нему... Она такая молоденькая и прелестная, что когда он смотрит на нее, то невольно как-то тает... «Тает». Это было уже нечто. «Борис Леонидович, — сказала я уверенно, — я думаю, что вы все же любите ее, только сами этого не понимаете». Тут он опять не прогнал меня прочь, а посмотрел серьезно и сказал: «Вы так думаете?» «Да, да», — обрадовалась я. «Может быть, вы и правы, возможно, что все эти чувства тоже своего рода любовь», — добавил он. Это было уже то, что нужно. «Борис Леонидович, можно я передам ваши слова Ирине, а то она так погребается». Он улыбнулся и разрешил. Тем и кончился мой вопиющий визит.

Многое стерлось из памяти. Остались какие-то разрозненные случайные кусочки. Но все равно, запишу и их.

Но прежде чем продолжать дальше, мне бы хотелось еще сказать о различиях в нашем отношении к Борису Леонидовичу. При общем благоговении и восхищении его талантом, его духовной высотой, добротой и обаянием, при нашей общей «пропитанности» его стихами, оно было очень разным.

Для Оли он был, если сказать кратко, «Учитель Жизни».

Для Кати это был гениальный человек, который постоянно заблуждался, ошибался, «недопонимал» что-то, почему и следовало неукоснительно указывать ему на эти ошибки, заблуждения и недопонимание и помогать освободиться от всего этого.

Для Ирины он был жизнью, счастьем и болью. Любила она его самозабвенно и молилась за него постоянно.

Для меня, как и для Оли, он был духовным наставником, но кроме того, в каком-то плане и заменял отца, отнятого насильственно, когда мне было 14 лет.

Борис же Леонидович относился ко мне всегда с таким теплом и сердечным вниманием, так живо интересовался моими делами, расспрашивал о родителях, жизни в Харбине12. Очень огорчался, когда мы бросили университет, резонно считая, что и в таком никчемном заведении, каким мы его считаем, можно многому научиться, не говоря уж о необходимости диплома в нашей малоуютной жизни.

Получив от Б. Л. «На ранних поездах», я погрузилась в стихи. Тут-то я наконец восприняла их. Сначала «Иней», потом «Сосны» и все другие, потом вскоре и все, им написанное. Как живо помню Ирину, бегающую по комнате, декламирующую с завыванием «под Б. Л.» «Иней». С него началось. И очень скоро я уже думала: «Как же возможно не воспринимать это? "И чекан сука, и щека его, и паркет, и тень кочерги..." Что может быть лучше?»

А теперь — эти почему-то застрявшие в памяти мелочи, просто кусочки.

Ирина с Б. Л. куда-то едут в метро, бегут вниз по эскалатору, смеясь и прыгая через ступеньку. На встречном эскалаторе — Федин. Здороваются. Б. Л. немного смущенно говорит, что неудобно, бежит, как мальчишка, «в таком виде» (он вышел из дома в затрапезе). Ирина возражает: «Что вы, Борис Леонидович, у меня еще хуже вид!» Б. Л.: «Вам можно».

Ирина с Катей взяли у В. Н. Татаринова13 (мужа М. А. Скрябиной14) почитать «Глоссалолию» Андрея Белого. Владимир Николаевич книгой очень дорожил и просил быть внимательнее. Девицы, не успев открыть, мигом книгу потеряли. Что делать? Книга редкая, купить невозможно. Случайно Ирина обмолвилась об этом Б. Л. И, о счастье, он где-то нашел «Глоссалолию».

Мы увлечены антропософией. М. А. Скрябина как-то принесла в Музей портрет доктора Штейнера. Пожилой красивый человек с резкими чертами лица и пронзительным взглядом. Ирина решает, что необходимо показать его Б. Л. Берет портрет, уходит. Отсутствует довольно долго. Возвращается. Мы к ней: ну как? «Я пришла, а портрет держу под мышкой, чтоб было видно. Б. Л. спрашивает: «Что это у

вас за фотография?» Я молча показываю. А он сразу: «Это Штейнер?» Мы все в восторге. Знает. А раз знает — значит, естественно, и принимает антропософию.

Осенью 1943 года мы с Катей зачем-то пришли на Гоголевский. Б. Л. не было дома. Ирина Николаевна усадила нас пить чай. Катя оживленно разговаривала с ней о чем-то. Помню только рассказ о том, что в какое-то из очередных голодных времен, когда все они все еще жили на Волхонке, случился на столе торт (то ли гости были, то ли праздник), и вдруг лопнул стакан, и стекла засыпали торт. Жалко ужасно. Все говорят: «Выбросить, выбросить». Но так жалко. И они с Б. Л. выбрали из крема стекла и съели весь торт. И ничего, столько лет прошло, и живы.

Больше всего на свете в те годы я любила Андрея Белого. Считала даже, что он — это я. «Интересно, как относится к Белому Б. Л.?» — размышляла я вслух. Катя на секунду задумалась и сказала: «Ты сейчас же к нему сходи и спроси.» Я сразу сникла. Но куда денешься? Надо идти. Побрела. И вот я у Б. Л. Знакомый уже, приветливый возглас: «Ли-и-ля, здравствуйте!» Я вхожу. И тут же спрашиваю: «Борис Леонидович, как вы относитесь к Андрею Белому?» Он (ничуть не удивившись): «Андрей Белый? Это мой духовный отец». Какое счастье. Прощаюсь. Ухожу.

Мы копали картошку осенью 43 года. Вдруг Катя говорит, что она чувствует, что Б. Л. сейчас голоден и, наверное, ему нечего есть. Было это, кажется, вскоре после его поездки на фронт.

Отбирается лучшая картошка, и Катя с Ириной едут в Москву. Ирина варит картошку, делает из нее котлеты, жарит неизвестно на чем и везет в судке Б. Л. Он тронут, смущен, но котлет не берет. Говорит, что не голоден. Не помню, удалось ли ей всучить ему эти котлеты, наверное да, т. к. вернуться с ними в Музей было немыслимо.

Ирина учится пению у старушек Монигетти15. Звонит Борису Леонидовичу. «Б. Л., можно я вам спою?» Не знаю, что именно он отвечает, но, очевидно, соглашается, т. к. Ирина тут же начинает петь в трубку.

Как-то, вернувшись от Б. Л., Ирина, как всегда подробно, рассказывает об их встрече, отвечает на наши вопросы: «А ты? А он? А ты?» И вдруг неожиданно, от самой глубины души восклицает: «Господи! Хоть бы его разбил паралич!» Мы вместе: «Ты с ума сошла!» Ирина: «Да нет, я так просто, ну пусть не паралич, а что-нибудь еще. Он бы лежал прикованный к постели, и я бы могла сколько угодно ухаживать за ним. Все бы отступились, бросили бы его, а я бы заботилась!»...

М. А. Скрябина занималась с нами эвритмией. Одним из видов наших занятий было чтение стихов в определенных красках и ощущениях. Я «работала» над каким-то куском «Песни о купце Калашникове». Что-то у меня не ладилось. То ли краски были не те, души ли не чувствовалось, уж не помню. Ирина при полном одобрении Кати посоветовала мне почитать неудавшийся отрывок Борису Леонидовичу. Уж он-то сразу увидит, те ли краски и есть ли душа. Не скажу, чтоб это предложение меня обрадовало. Но, куда денешься? Поплелась в Лаврушинский. Дверь открыла Зинаида Николаевна. «Б. Л. в Переделкине». С облегчением прощаюсь с ней и, ликуя, бегу в Музей. Но не тут-то было. «Придется ехать в Переделкино», — задумчиво сказала Катя. И поехала я в Переделкино. Вот и дача. Стучу. Открывает какая-то старушка. «Б. Л. дома?!» — «Нет, он только что уехал в Москву. Вы его не встретили?» О, счастье! Нет дома! Не надо читать ему стихи! Можно ехать в Москву! Лучезарно улыбаюсь старушке, благодарю за приглашение обо

Борису Леонидовичу понадобилась Библия. Ирина обрадовалась. У нее была Библия. Синодальное издание начала века, среднего формата в черном тисненном золотом кожаном переплете с гравюрами Доре. В великолепном состоянии. Ура! Отдадим! Беда была в том, что книга, собственно говоря, Ирине не принадлежала. Принадлежала она ее духовнику отцу Леопольду, который дал ей Библию на время.

Срок ограничен не был, но... на время. Но какая ерунда! Мы все решили, что Б. Л. книга гораздо нужнее, а отец Леопольд в крайнем случае добудет себе еще. И Библию подарили Борису Леонидовичу. Он был очень доволен.

Но время шло, и в какой-то недобрый час отец Леопольд пожелал иметь свою книгу. Вечный вопрос: что делать? Что же делать?.. Ирина тянула, виляла, но о. Леопольд уперся. Не отдать ему книгу было невозможно. Но отобрать ее у Б. Л. было так же, если не более, невозможно.

Спас положение, спасибо ему, Катин отец, Александр Ефимович. Смеясь в бороду и приговаривая свое любимое «Ах, дуры вы, девки, дуры», он отдал нам свою Библию. Она была, конечно, не такая нарядная, но тоже хорошая. Бия себя в грудь, каясь и извиняясь, Ирина рассказала Борису Леонидовичу все. Он, смеясь, отдал ей леопольдовскую книгу и взял крашенин-никовскую. Ничего не подозревавший отец Леопольд получил свою. Честь была спасена.

Как-то в начале 45-го или, может быть, в конце 44-го года позвонил Борис Леонидович и рассказал, что познакомился со словацким поэтом Ондрой Лысогорским, с которым сразу нашел общий язык на почве любви к Рильке. Сказал, что Лысогорский настоящий поэт, и предложил нам сходить на вечер в Клуб писателей, где тот должен выступать. Вечер был, очевидно, посвящен славянской поэзии, так как тогда к концу войны начали носиться со славянством.

Мы с Катериной отправились. Вечер был в комнате (№ 8?) на антресолях над лестницей. Помню полутемную большую ком

греться — и назад! В Москву я, правда, вернулась поздно вечером. Поезда ходили плохо, и я прождала на станции 4 часа, промерзнув до костей. Мороз был хороший.

нату, освещенную зеленой настольной лампой. Было уютно и тепло. Из мрака читали свои переводы совсем еще молодой Левик и кто-то еще. Читал и Лысогорский, высокий лысоватый человек лет сорока. В перерыве Катя подошла к нему и сказала, что Б. Л. Пастернак что-то (не помню что) просил ему передать. Лысогорский улыбался и отвечал по-русски с сильным акцентом. Катя пригласила его в Музей.

На следующий день Катя сказала, чтоб я позвонила Б. Л. и рассказала ему о вечере. Я позвонила, рассказала и сказала, что Ондра Лысогорский нам очень понравился и что Катя пригласила его к нам в Музей. В ответ на мой рассказ, после довольно долгого молчания, Б. Л. начал как-то очень неопределенно и явно выбирая слова, говорить, как хорошо, что мы ходили на вечер и как хорошо, что Лысогорский нам понравился... Но, чем больше и чем невнятнее он говорил, тем яснее можно было понять, что хоть все и прекрасно, но лучше было бы не звать его к нам в Музей и не встречаться с ним в неофициальных местах. Иностранец все-таки.

Холодом реальности повеяло из телефона. Мы опомнились. Знакомство с иностранцем, которого только и не хватало нам в Музее, не состоялось.

Зачем-то я пришла однажды к Б. Л. в Лаврушинский. Он был, как мне показалось, чем-то расстроен. На мой вопрос, не случилось ли что-нибудь, он сказал, что после очень долгого перерыва получил наконец письмо от Аси Цветаевой, сестры Марины. Из лагеря. Тут же он дал его мне прочесть. До сих пор я отчетливо помню даже внешний вид этого лагерного письма на листке в клетку из школьной тетради, исписанном вдоль и поперек торопящимся корявым почерком, напомнившим мне почерк моей мамы. Ужасное, отчаянное письмо, где Ася пишет, что она только теперь узнала о смерти сестры. И из него ясно, что она не знает, как, и когда, и где умерла Марина и ничего не знает про Мура (а он уже погиб к этому времени). И пишет на авось, не зная, дойдет ли ее письмо до Бориса Леонидовича. Не письмо, а страшный, отчаянный вопль, вопль из таких преисподних глубин, что чудом казалось, что оно все

же дошло до адресата. Не знаю, почему она совсем ничего не знала о Марине. Прошло ведь уже больше двух лет. То ли от нее скрывали, то ли письма не доходили?

Помню ясно почерневшего какого-то Бориса Леонидовича, который взволнованно и сбивчиво мне говорит что-то, и я даже не сразу соображаю что. Но тут же я понимаю, что он клянет себя и за смерть Марины, и за свое невнимание к Асе, и за какое-то «свинство» по отношению к Нине Табидзе. И тут я понимаю, что в это тяжелейшее время он и писал им всем, и умудрялся что-то постоянно посылать. А он все ругал себя и ругал...

А теперь я должна написать об ужасном событии, которое принесло нам, хоть и безличную, но геростратову славу. Речь идет о письмах Марины Цветаевой к Борису Леонидовичу.

Когда мы с Катей в октябре 1941 года были у Бориса Леонидовича и прощались с ним, то в этот вечер он отдал нам письма Марины Ивановны к нему. Возможно, Оля и Катя просили его об этом раньше, а может быть, именно в эти дни, думая о сохранности писем накануне своего отъезда в Чистополь, он решил отдать их нам. А может быть, наоборот, отдал их, считая, что «не надо заводить архива, над рукописями трястись»... Не знаю.

Собственно, в этот вечер 13 октября он их нам не дал, а распорядился, чтобы мы взяли их у няни его сына. Он предупредил ее об этом, и когда мы с Катей утром печально памятного 16 октября16 зашли к ней в маленький двухэтажный узкий кирпичный дом на Кропоткинской, то она сейчас же вынесла нам толстую пестренькую картонную папку сероватого цвета с черным матерчатым корешком и черными же завязками. Так письма оказались у нас. Сначала они были у нас с Олей в Пушкине. Кроме писем Цветаевой, там было еще несколько писем Андрея Белого, Р. Рол-лана и, как будто, Горького17.

С восхищенным интересом мы прочитали их. Оля начала делать аннотированную опись и некоторые письма перепечатала. Как жаль, что она не довела этого до ума!

Через год, летом или осенью 42-го года, когда появилась Ирина, Катя забрала у Оли папку и серый томик стихов Б. Л., сказав, что «Ирине они нужнее». Оля отдала, но до сих пор не может себе этого простить и, с непрошедшей обидой, добавляет: «Ирине они нужнее. Но почему они ей нужнее? Ах, я идиотка! Зачем отдала?» Но ничего уж теперь не поделаешь.

Надо отдать должное Ирине: с величайшим тщанием и аккуратностью она разобрала письма и привела их в музейный порядок, берегла и лелеяла, как могла. Письма были у нее в Неопалимовском, а потом в Музее. В »музейное время», то есть в 43-м — начале 44-го года, мы начали их переписывать, Ирина и я. Но это было скучно и долго, и переписка, не успев начаться, заглохла. Через некоторое время Борис Леонидович попросил дать письма Крученыху, который хотел их переписать. Ирина сказала, что писем она не даст, а будет возить ему по одному с тем, чтобы он при ней переписывал их. Б. Л. согласился. Все кончилось тем, что Ирина ездила к Алексею Елисеевичу, но не он, а она переписывала письма в толстую общую тетрадь. Ездила она через пень-колоду, писала неохотно и только благодаря железной хватке Крученыха все же было переписано 21 или 22 письма.

Однажды, мне кажется, что это было вскоре после окончания войны, Ирина была у Алексея Елисеевича. К великому сожалению, она возила с собой всю папку писем, а не по одному, как собиралась. Мы с Катей были в Тарасовке и ждали ее из Москвы. Она почему-то задерживалась. Наконец, страшно взволнованная, она прибежала домой и не своим голосом сказала: «Я потеряла письма...» Как? Где? И она рассказала, как была у Кручены-ха, как потом поехала домой, как, идя от станции, перешла шоссе, поле и вошла в лес. Там она почувствовала, что устала, и присела на пень отдохнуть.

Положила папку на пень, так как было сыро, села на нее, посидела, помолилась, встала и пошла. Пройдя немного, она с ужасом сообразила, что папка осталась лежать на пне. Она опрометью бросилась обратно, но писем не было. Она обошла и обшарила все вокруг: каждый пень, каждый куст, но папка как в воду канула. Выслушав Иринин рассказ, мы втроем побежали на то место, чтобы посмотреть и поискать еще раз. Повесили на деревья бумажки: «Кто нашел...», спрашивали всех знакомых и незнакомых. Никто не видел, никто не слышал, никто ничего не знал.

На потерю писем Борис Леонидович отреагировал как-то совершенно спокойно. Возможно, что по безмерной своей снисходительности и доброму отношению к нам он ничем не выдал своего огорчения, а может быть, все по той же причине, что не надо заводить архивов.

Так и неизвестно, что сталось с письмами. Растопили ли ими печку местные жители или просто выбросили... Или... до сих пор теплится ничем не оправданная слабая надежда: а вдруг целы и выплывут еще откуда-нибудь?..

Много лет спустя в своей автобиографии «Люди и положения» Борис Леонидович написал об этой истории совсем не так, как оно было. К сожалению и стыду нашему, не излишняя тщательность хранения погубила их. (Какая уж там тщательность.) Никогда они не хранились в сейфе Музея Скрябина. Лежали где придется: в столе, на столе, на окне... И не возила их Ирина каждый день, возвращаясь из Музея в Тарасовку, хотя бы потому, что никто из нас тогда не работал по-настоящему в Музее. Просто мы жили там, по мелочам помогая Татьяне Григорьевне: то переписывать инвентарные книги, то еще что-нибудь. А в Тарасовке, где жили Катины родители, мы бывали наездами. И забыты они были не в чемоданчике в электричке, а в папке в лесу.

Я не знаю, почему Борис Леонидович написал это так, как написал. Потому что позабыл, как оно было, потому ли, что счел то, что он написал, более правдоподобным, чем идиотизм нашей безответственности, или, может быть, Ирина, каясь, рассказала ему так, как он потом написал в автобиографии?.. И никто теперь не узнает.

Когда в 1967 году в «Новом мире» были опубликованы «Люди и положения», в Музей стали звонить множество людей и интересоваться подробностями пропажи писем. Ирина, уже много лет к тому времени работавшая научным сотрудником Музея, выходила из себя. Постепенно звонки сошли на нет.

И еще прошли годы. Уже теперь в 70-х годах старший сын Бориса Леонидовича, Женя, Евгений Борисович, как-то на Пас-тернаковских чтениях в Музее Скрябина упомянул о пропаже писем. И добавил, что Пастернак простил Ирине потерю их и не в претензии на нас, «музейных девочек», и в частности на Ирину. Услышав это, Ирина смертельно обиделась, хотя, по совести, обижаться-то было не на что. Чтобы успокоить Ирину, Катя, с присущей ей свободой обращения с фактами, сказала: «Ириша, успокойся. Я возьму этот грех на себя. Пусть будет, что это я потеряла письма». Этой версии Катя с тех пор и придерживается. Кое-кому она рассказывает, как пропали письма. И про пень, и про молитву, и про поиски, но так, будто это было с ней.

Убивавшаяся поначалу Ирина пришла к убеждению, что, может быть, так оно и надо, и слава Богу, что письма пропали. Теперь так же считает и Катя.

Я же считаю, что с разными нюансами ответственны мы все. Mea culpa*18.

* Моя вина (лат.).

В начале февраля 1947 года Борис Леонидович позвонил в библиотеку19 и пригласил нас к М. В. Юдиной слушать чтение начала романа. Катя не могла или не захотела пойти, поэтому отправились втроем: ее младшая сестра Маша20, наша приятельница Ирина Гулидова21 и я.

Нам был дан адрес: где-то на Беговой улице. Ехали мы впритык и то ли в метро, то ли уже на улице потеряли Ирину. Мы с Машей метались, искали, кричали, но она как в воду канула. Мы решили ехать вдвоем. Жила Мария Вениаминовна в двухэтажном коттедже на Беговой, от которого теперь и следа не осталось. Замирая от волнения (столько незнакомых, да и хозяйка дома — знаменитая пианистка, а ну как скажет: «А кто вы такие? А вы куда?»), мы постучали (или позвонили). Дверь открыла сама Мария Вениаминовна в черном бархатном концертном платье с пышными черными с проседью волосами по плечам. «Здравствуйте», — сказали мы с Машей неуверенно. Нам ответили доброжелательно и радушно: «Проходите, проходите, девочки. Раздевайтесь. У нас тепло». Тепло — тогда это было очень важно. Замерзшие с мороза, с метели, которая мела, мела по всей земле в тот вечер, мы сняли пальто и вошли в теплую комнату с розовыми стенами. Там было уже много народу. К счастью, мы оказались не последними. Ждали еще гостей. К сожалению, за эти годы я забыла, кто именно был у Юдиной в этот вечер. Помню отчетливо Зинаиду Николаевну и Н. П. Анциферова. Кажется, был Александр Леонидович и, может быть, Алпатов? Скоро все собрались.

Б. Л. сел за столик и начал читать: «Шли и шли и пели вечную память...», и с этих слов и до той минуты, когда он остановился на последнем слове, я уже ничего не замечала. Все читаемое было пронзительно просто именно той простотой, которая «всего нужнее людям». Все было знакомо и важно, все было мое до самой глубины. И маленький Юра на могиле матери, и Миша Гордон, едущий в поезде и ощущающий сиюминутность возникновения пейзажа только благодаря остановке поезда, и рассуждения Николая Николаевича о Риме. С той самой минуты я почувствовала, что это самая высокая литература, поняла, что это гениально.

Б. Л. кончил читать. Прочитал он, по-моему, до «Елки у Свен-тицких». Все сразу заговорили, зашумели, послышались похвалы. Стали задавать вопросы. Кто-то спросил, что будет дальше? Он ответил, что Юра женится на Тоне, станет врачом, начнется война, революция... Он познакомится с Ларой и будет много печального. На вопрос Н. П. Анциферова, есть ли прототип у Веденяпи-на и не Флоренский ли? И чьи это идеи? — ответил, что не Флоренский безусловно, а скорее Бердяев, что же касается идей, то это идеи его самого. «Это мои идеи». Кто-то спросил, можно ли назвать эту вещь традиционным романом. Б. Л. сказал, что в общем можно, но скорее это не роман, а эпопея. «Эпопе-е-я», — растягивая «е» повторил он. Спросили, какую роль будут играть в романе стихи, и он ответил, что так как это стихи Юры Живаго, то скорее всего они будут просто отдельной тетрадкой. Спрашивали о названии. Окончательного названия еще не было, но — пока существовало условное заглавие «Мальчики и девочки». «Это про нас» — мелькнуло у меня в голове. И этот тройственный союз, который начитался «Смысла любви» и «Крейцеровой сонаты» и помешан на проповеди целомудрия и проч... (Хоть мы и не помешались на «Крейцеровой сонате» — все равно про нас.)

Бориса Леонидовича просили почитать стихи, но он не захотел. Мария Вениаминовна стала звать гостей к столу, а мы с Машей должны были бежать. Мы благодарили Б. Л., восхищались, снова благодарили.

М. В. приглашала нас остаться ужинать. Но хоть это и было заманчиво со всех сторон, мы остаться не могли. Было и очень поздно, и мысль о потерянной где-то в метелях Ирине терзала душу. Мы попрощались и вышли на улицу. Снег перестал. Кругом было бело и нереально. Занесенные снегом крыши коттеджей, белые деревья, словом, «булки фонарей и пышки крыш»... Издали показался трамвай. Когда он подошел, мы вскочили в него и доехали до метро. От Курского вокзала до Рогожской, где жила Ирина, мы бежали пешком, переполненные чистым восторгом и

одновременно терзаемые нечистой совестью. Окно светилось. Ирина не спала. Мы постучали в окно и вошли с поджатыми хвостами, как уличенные в дурном поступке собаки.

Ирина взглянула на нас с отвращением и сказала: «Гадины».

Когда я стала работать в библиотеке, то Б. Л. иногда звонил мне по телефону: то узнать, есть ли в нашем фонде та или иная книга, то навести какую-либо справку. Его звонки вызывали восхищенное смятение среди любивших его стихи библиографов и сразу узнававших его неповторимый голос: «Лиля, вас Пастернак к телефону», — завистливо звали меня. А моя приятельница Инна Левидова говорила мне потом, что, услышав голос Б. Л. в телефоне, подумала: «Как, эта пигалица знакома с Пастернаком?» Я гордилась.

Однажды Борис Леонидович позвонил и, многословно извиняясь, попросил меня проверить, есть ли в библиотеке поэма Александра Петефи (он произносил Петё-ё-фи) «Витязь Янош» по-немецки, и если есть, то не смогу ли я взять ее ему для перевода. Книга была в каталоге, оказалась и на полке. Сложность была в том, как мне ее получить. Я забегала. Моя начальница, очевидно, из воспитательных соображений книгу не давала, так как у Б. Л. не было абонемента в нашей библиотеке, а у меня не было от него доверенности. В конце концов абонемент ему открыли, велели взять доверенность, книгу мне дали, и я отправилась в Переделкино. Какое счастье: не мне что-то нужно от него, а я могу быть полезной ему, ему в его работе!

Это был конец мая 1947 года.

Помню молодую зелень, ясное небо, желтую дорогу, сосны. Вот и его дом. Вошла в калитку. Он издали увидел меня и вышел встретить в сад. В рубашке с засученными рукавами, такой домашний и радушный, что я даже перестала стесняться. Мы прошли на террасу. Я отдала книгу. Он рассказывал, что переводит «Короля Лира» и вот еще Петефи. А роман сейчас отложен, хотя теперь он увидел возможность для себя писать и понял, как писать, и говорил, что ему хочется писать.

В то время в «Новом мире» печатались «Первые радости» Федина, и Борис Леонидович сказал, что он не понимает, что произошло с Фединым. Он же был хороший писатель, вот его «Братья», например. А то, что он пишет сейчас, — это совсем другое («Это же не литерату-ура»). И вообще проза наша сейчас ужасна, вернее, ее просто нет. С поэзией, с его точки зрения, картина как-то лучше, наверное, потому, что стихи писать проще. Я подумала: «Да уж, проще» и сказала, что и с поэзией, по-моему, картина ничуть не лучше, чем с прозой. Он сказал: «Вы так думаете? Нет, все же лучше». И стал говорить о Симонове, бывшем тогда в расцвете своей популярности, о том, что не то чтобы Симонов был просто не поэт — нет, он поэт, но ему (Б. Л.) хочется понять, что нравится людям в Симонове, хочется понять Симонова «как явление». (Сейчас бы сказали «феномен Симонова».) Я пробормотала что-то о том, что широкой публике всегда нравятся плохие поэты, и он упрекнул меня в максимализме. Надо было уходить, а так не хотелось. Б. Л. вышел меня проводить, что-то говорил дружеское, приглашал. Смущаясь, я простилась и побежала на станцию.

Однажды — это было, наверное, году в 1948, я зашла к Б. Л. в Лаврушинский за новыми стихами. Он дал мне тетрадку переписанных на машинке стихов из романа. (Эта тетрадка до сих пор жива у нас, протертая от постоянного чтения, подклеенная со всех сторон.) Спрашивал, как мы живем, где кто? Наша музейная жизнь к этому времени кончилась. Катя жила у родителей и работала, Ирина училась в университете, я вышла замуж, кончала истфак и тоже работала. Он радовался, что мы с Ириной учимся, так как всегда живо интересовался нашим ученьем и очень огорчался, когда мы бросали это «рутинное заведение» — университет. Поздравил меня с замужеством,

расспросил про Юлия и вдруг как-то неожиданно для меня рассказал, что познакомился недавно с одной девушкой, которая такая милая, вроде нас, и которая, совершенно непонятно почему, прекрасно к нему относится. «Знаете, ну прямо, как Ириша-а». Ну как же, как Ириша, подумала я иронически. Какая-то девка втюрилась в него и повисла на шее, а он по беспредельной своей хорошее™ так по-рыцарски о ней. Я спросила, откуда она взялась, но не помню, что он ответил, хотя про возникшую на его горизонте «девушку» запомнила.

Вскоре после этого мы с Юлием были в Консерватории и, выходя после концерта, столкнулись у выхода с Борисом Леонидовичем. Он был вместе с какой-то толстой, румяной, с волосами, крашенными перекисью, особой лет, как мне тогда показалось, 35-ти. Он радостно познакомил нас с нею. «Вот это та девушка, о которой я говорил вам». Оказалось, что ее зовут Ольга.

В эти годы мы с Юлием иногда встречали Б. Л. в Консерватории. Я познакомила Бориса Леонидовича с ним. Это было в фойе первого амфитеатра. А иногда я встречала его в Лаврушинском или Климентовском. И до сих пор я, по старой привычке (а вдруг встречу), хотя его уже давно нет в живых, хожу с Пятницкой на Полянку этим путем. И все кажется, что навстречу покажется Борис Леонидович. А вдруг?

В начале 1949 года Борис Леонидович должен был читать свой перевод 1-й части «Фауста» в ВТО. Читать после большого перерыва, после возмутительных статей, после гнусной ругани Фадеева, в самый разгар «борьбы с космополитизмом».

А. Е. Крученых дал Оле пропуск на вечер в Малый зал, по которому прошли мы с Юлием. Уселись где-то в конце зала. Народу тьма. Вышел Борис Леонидович. Хорош, как всегда. Встретили аплодисментами. «Фауста» я в ту пору не любила и считала скучнейшим до последней степени. Чтение началось, и сразу куда-то исчезло фаустовское занудство, и возникли прекрасные стихи, появился живой Фауст. И Мефистофель... «в чулках, как кровь, при паре бантов, по залитой зарей дороге, упав, как лямки с барабана, пылили дьяволовы ноги»... Читая сцены с Мефистофелем, Б. Л. смеялся, а в конце, где Маргарита в темнице, голос его дрогнул. Когда он кончил, все закричали: «Еще, еще!..» Он стал перебирать страницы и сказал, что прочтет еще страничку и добавил: «О Боге!» Но тут же передумал и читать не стал. Публика хлопала и требовала чтения дальше, кто-то кричал: «Стихи, свои стихи почитайте!» И тут Борис Леонидович встал, обвел глазами зал и сказал громко: «Кто-то здесь хотел передать мне рукопись романа». Экземпляр романа был в это время у нас, и Оля после окончания чтения собиралась передать его Борису Леонидовичу. Услышав эти слова, Оля побагровела и заметалась. Б. Л. еще раз оглядел зал и, не заметив Оли, добавил: «Ольга Николаевна, вы здесь?» Оля была на грани удара. «Лилька, отдай!» — сунула она мне в руки папку с рукописью, и я, смеясь и ругая ее, стала проталкиваться вперед. «Это вы, Лиля, спасибо!» — сказал Борис Леонидович, и я вернулась к Оле и Юлию.

Больше чтений Бориса Леонидовича я не слышала. Может быть, их больше и не было.

Году в 53-м роман был окончен22, и очень хотелось прочесть его целиком. Я хотела, чтобы Оля попросила его у Бориса Леонидовича.

Оля отказалась наотрез. Такая категоричность была результатом более чем неуместного последнего Олиного посещения Лаврушинского. Время было какое-то очередное очень плохое, и по Москве прошел слух, что Б. Л. арестовали. Ничего невероятного, к сожалению, в этом слухе не было. Оля и я звонили ему, но к телефону никто не подходил. Было очень страшно. И Оля, человек действия, пошла в Лаврушинский. Поднялась, позвонила. Дверь открыла неприветливая Зинаида Николаевна и сказала Оле, что Б. Л. нет дома. То ли в Переделкине, то ли просто вышел, уж не помню. Оля посмотрела на З. Н. чистыми и счастливыми глазами и

сказала: «Вот хорошо, а мы уж думали, что его посадили». З. Н. едва не спустила ее с лестницы. Так вот после этого Оля идти за романом не хотела. Пришлось пойти мне.

Позвонила в Лаврушинский. (До сих пор помню телефон: В-1-77-45.) Б. Л. подошел сам. Так радостно было снова услышать его голос. С готовностью обещал дать роман, но не сейчас, так как дома в тот момент не было ни одного экземпляра. Попросил позвонить ему через несколько дней. Я позвонила, на этот раз роман был дома, и в назначенный день мы с Юлием отправились к нему. Поднялись по лестнице, и тут я сказала Юлию: «Я схожу, а ты подожди меня тут». И он остался «тут», на лестнице, и вот уже скоро 30 лет он (и вполне справедливо) не может мне этого простить. Я позвонила. В дверях Борис Леонидович. Все такой же. В сером свитере, улыбается. Провел в комнату направо. На оранжевой стене — рисунок Леонида Осиповича. Дает мне папку, говорит, кому передать по прочтении. Кажется, М. В. Юдиной. Благодарю. Потом спрашивает, что я делаю, окончила ли университет? (Дался ему этот университет!) Да, окончила. Я что-то говорю, рассказываю о своих библиотечных коллизиях. Он смотрит на меня внимательно и говорит: «Как я давно вас не видел, вы стали совсем взрослая». Я не знаю, что ответить, что-то бормочу, и чтоб скрыть заливающее меня совсем невзрослое смущение, спрашиваю, не покажет ли он мне и моему мужу, он график, работы Леонида Осиповича, его ведь нигде не посмотришь. (Совесть об оставленном на лестнице Юлии гложет меня, не переставая.) Б. Л. отвечает, что да, да, конечно, он покажет, но не сейчас, так как сейчас папочкины работы то ли не разобраны, то ли где-то сложены, и это такое «свинство» с его стороны, а потом, да, да, конечно.

Он спрашивает про Ирину, которая уже несколько лет в лагере, осужденная на 25 лет. Спрашивает, не нужно ли ей помочь. Я рассказываю о ней, благодарю его. Он говорит о романе. Я слушаю, а время идет, а Юлий на лестнице, и нет сил встать и уйти, и нет духу сказать, что я оставила мужа на лестнице... Но, собравшись с силами (ах, как не хочется уходить!), я с сожалением прощаюсь, он целует мне руку, и я ухожу. Больше я его живым не видела.

Шли 1950-е годы. Оля подарила мне на день рожденья перепечатанные ею новые стихи Б. Л. Тогда они еще не назывались «Когда разгуляется». Потом роман, уже обретший твердое название «Доктор Живаго», вышел в Италии. Говорили, что вот-вот его должны печатать в «Новом мире». Время шло, роман не печатали. А осенью 58-го года ему присудили Нобелевскую премию и разразилась вся эта чудовищная скандальная травля. Никогда не забуду этих жутких угроз (и непристойной ругани) человеку, который не только не сделал ничего мало-мальски дурного и незаконного, но которым нужно и необходимо восхищаться, ценить и гордиться, гордиться тем, что он есть на свете. Газеты сверкали заголовками: «Лягушка в болоте» и прочими. Письма «возмущенных читателей» начинались так: «Я романа не читал, но...», и дальше кидался очередной камень. По рукам сейчас же пошло стихотворение Б. Л., начинавшееся словами «Я пропал, как зверь в загоне...»

Оля с Катей поехали к нему в Переделкино. Я тоже хотела, но вечное «опасение»: «только меня ему еще не хватало» остановило. Не поехала. А как жалею теперь! Наташа Соболева написала ему письмо.

Но не буду писать стертых слов о Нобелевской премии. И так все сказано и все известно.

В конце мая 1960 года (или в середине?) мы узнали, что у Бориса Леонидовича тяжелый инфаркт и он при смерти. То говорили, что безнадежно, то, что лучше. Стали говорить, что вовсе не инфаркт. Утром 30 мая мне на работу позвонил А. Е. Крученых и сказал, помолчав: «Пастернак умер». И больше ничего не сказал. И хоть не было это неожиданностью, но в душе оборвалось все...

С Олей я в это время была в ссоре, но тут же позвонила ей. «Ты знаешь...» — начала я. «Знаю», — ответила она. Мы помолчали. Она опустила трубку. Я почему-то сидела в этот момент на столе и до сих пор помню ощущение тупой пустоты, охватившей меня. Нет на свете Бориса Леонидовича. Господи. Господи...

Похороны были назначены на 2 июня. Оля с Катей ездили накануне в Переделкино проститься. 2-го июня был теплый, солнечный день. Похороны должны были быть в 4 часа. В библиотеке ко мне подошла Инна Левидова. «Ты едешь?» — «Конечно». — «Поедем вместе?» — «Разумеется».

В первом часу я зашла к своей строгой и строптивой заведующей, очень не любящей неурочно отпускать людей с работы, и сказала ей: «Я сейчас еду на похороны Пастернака». Она посмотрела на меня пристально и сказала: «Езжайте».

Уж не помню, где мы встретились с Юлием, Машей и Ильей23, но в метро ехали уже вместе. У Киевского вокзала купили сирени, тюльпанов, нарциссов. Над окошечком пригородной кассы висел тетрадный листок с надписью от руки, сообщавшей, что сегодня,

2 июня, в 4 часа дня в Переделкине будут похороны великого русского поэта — Б. Л. Пастернака. И план, как пройти от станции к даче.

Потом говорили, что писали это Володя Муравьев24 с братом. Уж не знаю, правда ли.

Мы сели в поезд. Было довольно много народу. Все на удивление интеллигентного вида люди и с цветами. Мы понимающе переглянулись. Когда поезд подошел к Переделкину, вместе с нами вышли все. Вагон опустел.

Как всегда в Переделкине, нас охватила его удивительная, одухотворенная, как говорили в молодости, «пропастерначенная» атмосфера.

И мы прошли по такой знакомой дороге, тихо разговаривая и читая стихи. Инна прочла «Рослый стрелок, осторожный охотник». И не верилось, что умер Борис Леонидович, что нет его на земле, что идем мы на его похороны. На душе было тихо и печально. «Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою...»

В саду и около дома толпилась масса народу. От калитки к дому, к террасе стояли люди прощаться. Мы не присоединились к ним, а сели на край придорожной канавки и долго сидели молча, глядя на людей с хорошими печальными лицами, узнавая знакомых и полузнакомых, как-то растворяясь в этом пропастерна-ченном удивительном воздухе.

Мимо нас по дороге туда и обратно, погруженные в свой разговор, ходили, оба низенькие, Паустовский и Каверин. По зеленому двору в чем-то светлом прошла Т. В. Иванова, промелькнул Лева Копелев25. Помню Н. Любимова с Н. Чуковским, Эмку Ман-деля26, Е. Мелетинского27...

Не обошлось и без ложки дегтя, необходимой у нас. Дорога и поле кишели людьми с фото- и киноаппаратами. Некоторые из них были иностранные и наши корреспонденты, некоторые любители, а некоторые явно гэбэшники. С длиннейшими телевика-ми, с блитцами, они фотографировали все, что нужно и ненужно, а главным образом, как можно больше отдельных людей. Один из них взгромоздился на сложенные снегозаградительные щиты, тыкал телеобъективом во все стороны и так вертелся на своем неустойчивом пьедестале, что щиты под ним разъехались и он рухнул с грохотом вниз, к общему удовольствию всех.

Наконец и мы пошли проститься. Встали в конец. Люди стояли через весь сад, но движение было почти непрерывно, и довольно скоро мы вошли в дом. Гроб, весь засыпанный цветами, стоял перпендикулярно, как мне кажется, окну. Всюду стояли букеты и лежали охапками цветы. Положили и мы свои.

С ощущением полного неправдоподобия смотрела я на Бориса Леонидовича. Лицо спокойное. Седой. Пожалуй, старый. (Он же никогда не был старым!) Он? Или не он? И как уже полное неправдоподобие — за гробом, в головах, стоит и смотрит на него он сам... Молодой, живой, здоровый... Это было какое-то мгновенное наваждение, так как в ту же секунду я поняла, что это старший сын Б. Л. — Женя.

В соседней комнате играл на рояле Генрих Густавович Нейгауз.

Тут же, кажется, была и М. В. Юдина.

Мы немножко постояли, прощаясь и не отрывая глаз от гроба...

Вот и все... Прощайте, дорогой Борис Леонидович.

Мы вышли. Около крыльца слева сидела распухшая от слез Ольга Всеволодовна. Какая-то знакомого вида женщина (не Люся ли Попова, подумала я) поила ее водой.

В саду я увидела Зинаиду Николаевну. Бегали весело две маленькие собаки. Казалось, время остановилось.

Мы вернулись на свою канавку.

Вскоре пошел говор: «Сейчас выносят. Выносят...» Толпа пришла в движение, и из дома над людьми поплыл гроб. «Несут, несут...» По дорожке, к воротам, и вот уже на улице. Мы вливаемся в поток. Несут по 4 человека с каждой стороны. Идти неудобно. Несут по очереди. Вот Кома Иванов. Вот стал Лева Копелев. Щелкают беспрерывно аппараты всех мастей, забегают вперед репортеры, «чистые» и «нечистые». Вся дорога от дома до кладбища запружена людьми. Наверное, несколько тысяч.

И неоставляющее чувство грусти и тишины в душе. И скорбь, что нет больше на земле Бориса Леонидовича, и счастье, что он был, и гордость за него, за всю его так безукоризненно прожитую жизнь...

Гроб плывет над головами. Тихо и спокойно. И нет кругом нашего вечного безобразия, и нет неприглядной суеты и лицемерия, и люди пришли по зову сердца (ну не все, конечно, но большинство).

Идем молча. Вижу Олю. Киваю ей. И Катя тут. Подходит Наташа Соболева. С нами и Саша Софроницкий28. Он один. Ирина с тяжелым ревмокардитом лежит в больнице, и мы решили пока ей не говорить, чтобы она не убежала из больницы на похороны. Вот Саша и один с нами.

Процессия уже идет по склону холма. У больших сосен вырыта могила. Остановились. Гроб опускают в могилу. Летят комья земли. Мы тоже бросаем.

Какая-то суета с надгробным словом. Раздался голос В. Ф. Асмуса, сказавшего краткие и человеческие слова. Забыла, что именно он сказал, помню только что-то по-человечески тепло и достойно. Кто-то прочел «Гамлета». Какой-то парень, бия себя в грудь и почему-то крича, что он «от рабочих», стал мерзостно читать «Август», завывая и акцентируя не то и не так. Это было уже невыносимо.

Мы ушли.

1970-1990

Галина Нейгауз

БОРИС ПАСТЕРНАК

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Я жила в одном доме с Нейгаузами — второй семьей Генриха Густавовича — и была дружна со Стасиком, который часто бывал у своего отца. Во время эвакуации мы со Стасиком переписывались, а когда он вернулся, стали часто общаться (это был 1943 год, и нам было по шестнадцать лет).

Новый, 1944 год я встречала со Стасиком у Асмусов, друзей Пастернаков. Чувствовала я себя очень неловко, так как молодежи, кроме нас, не было. Да и взрослых было всего четыре человека — Валентин Фердинандович и Ирина Сергеевна Асмусы и Пастернаки. Борис Леонидович сразу заметил мою скованность и стал

изредка ко мне обращаться, втягивая в общий разговор. Стихов Пастернака я в то время не знала, так как его почти не печатали, а прежние сборники были редкостью. Асмусы, будучи страстными поклонниками поэзии Пастернака, знали массу стихов наизусть и много в этот вечер читали. Борис Леонидович был очень радостным, шумным, шутил, читал свои новые стихи и почему-то страшно обрадовался, узнав, что я не знаю его стихов. Он стал даже меня оправдывать, говоря, что ранний период его творчества сложный, наверное, не всем понятен; да и сам он теперь стихи того времени не любит! И тут же добавил: «Вот, этим летом вышел маленький сборник, и я вам его обязательно подарю». (Это был сборник стихов «На ранних поездах». Борис Леонидович действительно подарил мне через несколько дней целую стопку книжек, на каждой расписался и просил передать их всем моим друзьям.) Сначала Пастернак мне показался очень некрасивым — вытянутое лицо, тяжелая челюсть, крупный нос, гудящий голос, речь тягучая — нараспев. К манере его говорить нелегко было привыкнуть. Да и понять было довольно трудно, так как он быстро переходил от одной мысли к другой, иногда как будто бы отвечая на какой-то свой внутренний вопрос. Однако, когда читал стихи, лицо его преображалось, глаза сияли и в них появлялась почти детская доброта и теплота. С ним становилось легко. Впоследствии я убедилась, что Борис Леонидович располагал к себе всех, при этом существовала какая-то граница, отделяющая его от окружающих.

Следующий Новый год мы со Стасиком встречали у Пастернаков на даче в Переделкине. В то время Пастернаки зимой на даче еще не жили, однако в доме стояла огромная укрепленная елка, стол был красиво накрыт и были гости. Из молодежи, кроме нас, был Леня — сын Бориса Леонидовича и Зинаиды Николаевны, которому в Новый год исполнилось восемь лет. На этот раз из гостей были Погодины, Асмусы и Лариса Ивановна Тренева. Среди ночи зашел Константин Александрович Федин, сосед по даче. Борис Леонидович ему очень обрадовался. Начался разговор о литературе, и я сказала что-то восторженное по поводу только что прочитанного романа Федина «Города и годы». Борис Леонидович радостно поддержал меня и посоветовал еще прочесть «Братья», сказав, что там много интересных мыслей об искусстве. (Эту книгу Константин Александрович впоследствии подарил нам с надписью: «Гале и Стасику — сердечно. К. Федин. VIII—1948 г.») Пастернак стал утверждать, что проза гораздо интереснее поэзии, в нее можно больше вложить мыслей, она более объемна и доходчива. И вот тут я впервые услышала, что Борис Леонидович пишет роман.

В 1946 году мы со Стасиком поженились и в течение 14 лет каждое лето жили под одной крышей с Борисом Леонидовичем в Переделкине. Зимой приезжали туда на все праздники: Новый год, дни рождения, Пасху, Рождество, которые очень любил Пастернак и на которых обычно бывали близкие ему люди. Сейчас уже никого не осталось, кто знал бы так близко Бориса Леонидовича в повседневной жизни, как довелось мне. Как-то Борис Николаевич Ливанов сказал мне: «Ты постоянно находишься среди великих людей! Записывай все разговоры, а потом напишешь воспоминания». К сожалению, я этого не делала.

В Переделкине Стасик много занимался. Борис Леонидович часто, возвращаясь с прогулки, останавливался у двери комнаты, где занимался Стасик, и, затаив дыхание, слушал. Как-то Пастернак принес статью, написанную в 1945 году к 135-летию со дня рождения Шопена (это был машинописный текст с его карандашными пометками и исправлениями), и подарил Стасику с надписью: «Новому и восхитительному союзнику — Стасику и его Гале с давно им известной и еще неизвестной любовью».

Несмотря на большую занятость, Борис Леонидович из Переделкина ездил в Москву на концерты Станислава и часто после концерта бывал у нас дома, где собирались наши сверстники — актеры, музыканты и старшее поколение — Нейгаузы,

Ливановы, Погодины, Габричевские. Иногда после концерта мы все ехали в Переделкино. В один из таких вечеров собралось много молодежи. После ужина все стали просить Пастернака почитать стихи. Он сразу согласился. Мы слушали как завороженные — стихи читал он из разных лет и несколько из романа. Но вдруг его прервал молодой актер МХАТа и сказал, что лучше, если будет читать он, то есть актер. Пастернак очень обрадовался, хотя мы были растеряны от такой бестактности. Борис Леонидович поднялся к себе в кабинет и принес томик стихов. Актер читал плохо, жестикулируя. Чувствуя общую неловкость и смущение, Борис Леонидович после окончания чтения стал ободрять актера (хотя он так и не понял, что читал плохо), говоря, что такая манера чтения необычна и интересна, чем снял общее напряжение.

У Бориса Леонидовича был строгий режим. Зинаида Николаевна следила за тем, чтобы ничто не мешало работать и не срывало режима, и это Борис Леонидович очень ценил.

Зинаида Николаевна была гостеприимна — одинаково принимала и наших друзей и своих гостей. В праздники стол был накрыт особенно красиво, чем гордился Пастернак, называя его «произведением искусства».

Марина, наша дочка, была единственной внучкой Зинаиды Николаевны при жизни Бориса Леонидовича (Леня женился уже после смерти отца). С ее трехлетнего возраста Зинаида Николаевна стала устраивать детские елки. К ним готовились заранее. Зинаида Николаевна покупала подарки детям, из леса приносили огромную елку, которую мы все украшали. Ирина Николаевна Пастернак организовывала детские развлечения, с детьми постарше ставила даже спектакли, для которых шили костюмы. Активное участие в массовых сценах принимали и малыши. За танцы и чтение стихов дети получали награды. В конце праздника раздавали всем подарки. Приглашали внуков всех соседей, а некоторые дети приезжали даже из города. Криков, шума, радостей была масса. Во всем, как активный зритель, принимал участие Борис Леонидович (родителей на праздник не приглашали, и дети веселились одни под нашим присмотром). Борис Леонидович спешил на помощь, если кто-то падал, подсказывал стихи, смутившихся подбадривал. Как он говорил, ему все это напоминало его детство. Когда все счастливые и довольные расходились по домам, мы еще долго вспоминали детское веселье, а Борис Леонидович даже копировал «чтецов» и очень сам смеялся.

Я не помню Зинаиду Николаевну, сидящую без дела — она или убирала, или готовила (несмотря на то, что на даче всегда были работницы), или работала на огороде. Вечерами обычно играла в карты с Бертой Яковлевной Сельвинской и Ларисой Ивановной Треневой — это у них было как серьезное дело, и если кто-нибудь почему-то не мог, то сажали за карты меня и даже Леню. Необщительная и суровая по натуре Зинаида Николаевна могла часами рассказывать о своей жизни, Генрихе Густавовиче, Борисе Леонидовиче и всех перипетиях их жизни. На мой вопрос, кого же она любила, ответила уклончиво: «С Борей как за каменной стеной — все заботы он всегда берет на себя».

В доме обычно царила тишина, была идеальная чистота и порядок. Я никогда не слышала повышенного, раздраженного тона у Бориса Леонидовича — все свои взаимоотношения с Зинаидой Николаевной они выясняли наверху в кабинете. Однако Борис Леонидович очень мучился, когда Зинаида Николаевна становилась особенно мрачной, т. е. сердилась на него. Как-то мы с Борисом Леонидовичем были вдвоем, и он сказал: «Почему такая несправедливость?! Ведь в жизни каждый кого-то обижает, и все забывается. А я дважды обидел близких людей и всю жизнь чувствую свою вину, и все время мучаюсь!»

Широте и щедрости Пастернака не было предела даже в самое трудное для него время. Борис Леонидович всю жизнь содержал свою первую жену, Евгению Владимировну; не разрешал Зинаиде Николаевне брать деньги у Генриха Густавовича и содержал сам обоих его сыновей (дети ни в чем не чувствовали недостатка, у них всегда были карманные деньги, хотя в то время, как я их помню, им было всего 12—13 лет). По полгода он содержал нашу семью. В 1952 году у нас родилась дочка и с нами жила ее няня и моя мама. Когда же Борис Леонидович узнал, что Зинаида Николаевна в порядке воспитания в нас ответственности за семью решила брать с нас деньги, он очень рассердился. Все наши поездки с Зинаидой Николаевной и Леней на юг он целиком оплачивал. Сам же Пастернак в этот период был очень стеснен в материальном отношении и зарабатывал в основном переводами.

В Переделкино мы перевезли свой «разбитый» рояль, и Стасик на нем занимался. Как-то Борис Леонидович сказал, что рояль необходимо заменить, так как Стасик уже созревший пианист и должен иметь хороший инструмент. Рояль поехала покупать Зинаида Николаевна, а для консультации с ней поехал Генрих Густавович. У нее не хватило денег, и она взяла их у Генриха Густавовича, считая, что он тоже должен в этом участвовать. Я не помню Бориса Леонидовича таким рассерженным, как тогда, когда он узнал об этом.

В мае 1953 года у Стасика были гастроли в Тбилиси, и мы взяли с собой туда Леню (ему было 15 лет). Борис Леонидович дал ему деньги, чтобы Леня чувствовал себя самостоятельным и взрослым. Как я была поражена и тронута, когда в день моего рождения в Тбилиси Леня сделал мне подарок от себя и Бориса Леонидовича по его поручению. Семье Тициана Табидзе, когда его арестовали и окружающие боялись проявлять какое бы то ни было к ним участие, Пастернак помогал регулярно материально, и это продолжалось всю жизнь.

Как-то осенью, кажется, в 1947 году, к даче подошел странный человек: на нем была рваная телогрейка, кирзовые сапоги, сам заросший щетиной, с коротко остриженными волосами. Он попросил позвать Пастернака. Борис Леонидович быстро спустился из кабинета и раздетым вышел во двор. Я видела, что он звал этого человека в дом, но тот упорно отказывался. Довольно долго простояв во дворе, Борис Леонидович поднялся к себе и вынес оттуда свое пальто, костюм и еще какие-то вещи. Все это он передал ожидающему его человеку. Пастернак вернулся очень расстроенным, и я не стала даже спрашивать, кто это был. За ужином Борис Леонидович сам рассказал о тяжелой жизни учителя из провинции, о его аресте, лагерях. Будучи страстным поклонником Пастернака, ему удалось в ссылке сохранить сборник стихов, и ими он только и жил. Его волновало одно — вдруг он так и не увидит великого поэта? Поэтому прямо из лагеря он поехал в Москву, в Переделкино, чтобы сказать Пастернаку спасибо за его поэзию и за то, что он есть! Голос Бориса Леонидовича дрожал при одном воспоминании о жизни учителя, а потом Пастернак добавил: «Он знает мои стихи наизусть, даже те, которые я совсем забыл». Борис Леонидович подписал ему истрепанный сборник, подарил свои новые стихи и дал денег на дорогу, хотя тот упорно от них отказывался. Несколько лет учитель писал Борису Леонидовичу, и он каждый раз об этом рассказывал. Учитель (к сожалению, я не помню его имени) писал о чуткости, отзывчивости и доброте Бориса Леонидовича и о том, что «счастлив носить пальто великого во всех смыслах Пастернака и никогда его никаким другим не заменит».

Раза два-три за лето мы ездили в Верею за грибами. В этом обычно принимал участие и Пастернак. Для него каждая такая поездка была событием. Сборы проходили основательно: с вечера готовилась еда, корзины — все аккуратно складывалось. Вставали, как только светало, — часов в пять утра. По дороге в машине Борис Леонидович

не разрешал разговаривать, так как считал, что это отвлекает водителя. В лесу Пастернак наслаждался: уходил от всех в сторону. Собираться мы все должны были к 10 часам для завтрака. Корзина у Бориса Леонидовича всегда была полной. Однако есть грибы он не любил. Во всех других наших поездках он никогда не участвовал.

Иногда за грибами с нами ездил и Генрих Густавович. Правда, Пастернак не был от этого в восторге, как мы. Генрих Густавович к сбору грибов относился несерьезно: собирал много поганок и не приходил вовремя к завтраку (его всегда приходилось искать). В Переделкине у Пастернаков Генрих Густавович бывал каждое лето, приезжал часто, и для всех это было большой радостью. Несмотря ни на какие жизненные ситуации, Пастернака и Нейгауза связывала большая дружба и преклонение друг перед другом.

Видя их вместе, нельзя было не поражаться яркости и незаурядности этих натур, но особенно бросалось в глаза то, что они были абсолютно противоположны друг другу. При всей общности духовных интересов, взглядов и при том, что они понимали друг друга с полуслова, это были совершенно разные люди: живой, искрящийся остроумием и энергией, вспыльчивый и неотразимый в своем обаянии Генрих Густавович — и погруженный в свой внутренний мир, одухотворенный и по-детски доверчивый, восторженный Борис Леонидович. Пастернак, придающий огромное значение режиму, до невероятности пунктуальный и дисциплинированный; Нейгауз же, напротив, не переносил ничего однообразного и ограниченного определенными рамками, а любил все делать «экспромтом»; однако ко всему несвойственному ему самому относился с большим уважением.

Во время работы над книгой «Об искусстве фортепианной игры» Генрих Густавович читал отрывки Пастернаку. Тот приходил в восторг от легкости, с какой писал Генрих Густавович, — без черновиков, без повторной обработки рукописи. Часто Пастернак останавливал чтение восклицанием: «Это гениально! В одной фразе выражено столько нюансов, глубины, мысли!» Генрих Густавович бывал до того растроган похвалой, что на глазах у него появлялись слезы.

В Переделкино Генрих Густавович привозил своих учеников, с ним часто бывал там и Святослав Рихтер, которого очень любил Борис Леонидович.

Большой любовью Пастернак пользовался у местных жителей — при встречах они его радостно приветствовали, и он часто с ними беседовал; на любые просьбы всегда откликался. Этими общениями Пастернак гордился и дома обычно о своих беседах рассказывал.

У Бориса Леонидовича было два молодых друга-мальчика лет четырнадцати-пятнадцати, с которыми он многое обсуждал «на равных». Ими он гордился и часто о них рассказывал. Одним из этих мальчиков был Андрюша (Андрей Вознесенский), вторым — Кома (Вячеслав Иванов — сын Всеволода Иванова).

Андрюшу он считал очень талантливым, но огорчался, что он находится немного под его влиянием, и считал, что в будущем из него выйдет большой поэт, если он целиком займется поэзией (Андрей в то время собирался поступать в Архитектурный институт). Несколько раз Андрей был в гостях на даче, и Пастернак представлял его с большой теплотой и гордостью как своего ученика.

Кома Иванов был соседом по даче, и поэтому их можно было часто видеть гуляющими вместе вдоль поля, которое находилось против ряда писательских дач. Необычно выглядела эта пара — два таких разных по возрасту человека, с увлечением о чем-то беседующих. Кома был рядом с Пастернаком и в самые тяжелые времена, когда даже маститые писатели отвернулись от него, боясь показать хотя бы свое сочувствие (во время присуждения Нобелевской премии!). Как-то Всеволод Вячеславович Иванов, будучи в гостях у Пастернаков, сказал: «Единственно, что я сде-

лал хорошего в жизни, это родил тебе, Боря, сына». В этой шутке была доля правды, Борис Леонидович действительно очень любил Кому и был с ним близок, несмотря на разницу в возрасте.

Большой радостью для Пастернака был приезд гостей — он внимательно следил, как накрыт стол, удобно ли все разместились, хорошо ли чувствуют себя. Особенно его радовали приезды грузинских поэтов — за столом становилось шумно, весело. В Переделкине часто бывали Георгий Николаевич и Евфимия Александровна Леонидзе (иногда с дочерью Писо), Марика и Симон Чиковани, Виссарион Жгенти, Григол Абашидзе. Незадолго до трагической гибели в Переделкине была Ната Вачнадзе, о которой Пастернак сказал, что «ее красота вызывает желание стать на колени» (что он и сделал!). Поэты читали стихи, Борис Леонидович — переводы с грузинского и свои новые стихи, многие из них были из «Доктора Живаго». О переводах Пастернака Бараташвили и Важа Пшавелы Леонидзе говорил, что «они не уступают оригиналам» и его поражает, насколько близок Пастернаку дух Грузии, ее народ и поэтичность.

Застолья с грузинами обычно длились всю ночь, иногда они пели народные песни, от чего у Пастернака появлялись слезы. Обращаясь ко всем, он говорил: «Как это прекрасно! Ради этого уже стоит жить!» Частыми гостями в Переделкине бывали Ливановы, Нейгаузы, Юдина, Рихтер и Дорлиак, Ивановы, Погодины, Асмусы, Андрониковы, Вильям-Вильмонты, Федин (он обычно приходил на дни рождения), Журавлевы. Несколько раз были: Ахматова, Берггольц, Луговской, А. Тарковский, Ариадна Цветаева*. После премьер спектаклей «Мария Стюарт» и «Макбет» собирались актеры МХАТа и Малого театра. В эти дни Пастернак бывал на особенном подъеме, восторгался игрой актеров, был, как ребенок, непосредственен и счастлив. Поразительно было то, что Борис Леонидович умел сказать при госте о каждом что-то очень теплое, личное, присущее именно тому человеку, о котором говорил, а не общие фразы.

Как-то в один из праздников в Переделкине собралось много гостей. Мария Вениаминовна Юдина сыграла всю программу своего предстоящего концерта, а после этого еще читала стихи Пастернака, что очень смутило Бориса Леонидовича. После чтения все перешли в столовую. Зинаида Николаевна рассадила гостей. Обычно она сидела во главе стола, справа от нее — Леня,

* Эфрон. 556

потом Борис Леонидович, слева — Стасик и я. Далее она посадила чтеца Глумова, Анну Никандровну Погодину, Александра Леонидовича и Ирину Николаевну Пастернаков, а затем сидели — Погодин, Федин, Ливановы, Генрих Густавович, Ахматова и Берггольц. Глумов что-то долго бурчал, а потом, выпив, сказал, обращаясь к Зинаиде Николаевне, что возмущен тем, что его посадили не среди почетных гостей. Наступила полная тишина. Борис Леонидович встал из-за стола, подошел к Глумову и резко сказал: «Вы сидели более почетно — среди близких нашему дому людей. А теперь прошу вас покинуть мой дом». После ухода Глумова вместо неловкости все развеселились, а Федин сказал: «Боря! Ты был прекрасен!» — и это было действительно так. На следующий день Глумов прислал письмо с просьбой его извинить, но Борис Леонидович с ним больше никогда не разговаривал, несмотря на то, что вообще был очень отходчив.

Несколько раз мы пытались записать на магнитофон Пастернака, но техника в то время была такая громоздкая, что спрятать ее не удавалось, а увидя магнитофон, Борис Леонидович сразу начинал протестовать, говоря, что у него и отвратительный голос, и он не умеет говорить. Фотографировать же Пастернака хорошо удавалось Стасику, так как при нем Борис Леонидович не напрягался и чувствовал себя свободно. Как-то летом к Борису Леонидовичу пришла энергичная женщина — скульптор-любитель З.

А. Масленикова. Она упорно просила, чтобы Пастернак согласился ей позировать. Сначала Борис Леонидович категорически отказался, но она продолжала приходить. Зинаиду Николаевну или меня (увидя из кабинета, что она идет) Пастернак просил говорить, что его нет дома. Иногда она уходила, а иногда долго прогуливалась вдоль забора — Борис Леонидович это видел и впадал в отчаяние. Наконец сопротивление ей удалось сломать и Пастернак согласился на несколько сеансов. Борис Леонидович сокрушался о потерянном времени (ее работа продолжалась довольно долго). Скульптура ему не понравилась, объяснял он это тем, что у него внешность не скульптурная! Раздражался, говоря нам, что все сильно затянулось, но сам сказать Масленикову об этом не мог, а, наоборот, подбадривал, надеясь, что так работа скорее закончится. Не всегда он решался говорить то, что думал, и этим некоторые пользовались. Не умея обидеть человека, Пастернак страдал от попыток в чем-либо лавировать, да и не очень умел!

Борис Леонидович был очень нетребователен не только к повседневной еде, но и к одежде. У него был один выходной костюм, домашняя одежда, всегда идеально отглаженные рубашки и две-три пары обуви, тоже в аккуратном виде. Я не помню Бориса Леонидовича небрежно одетым в повседневной жизни — всегда подтянутый (даже на огороде в рабочей одежде). В 1953 году Стасик из Парижа привез ему серую куртку, которую он почти не снимал, очень ее любил и чувствовал себя в ней уютно; при гостях, а позже при журналистах он был всегда в ней.

Непосредственные и даже доверительные отношения у меня с Борисом Леонидовичем сложились не сразу. Всю жизнь он ко мне обращался на «вы», чему не раз удивлялся его брат Александр Леонидович. В начале 1950-х годов произошел неприятный инцидент у меня с Зинаидой Николаевной, сильно изменивший наши взаимоотношения с Борисом Леонидовичем. С утра она была чем-то раздражена, а когда мы поздно вставали, особенно сердилась. Резким тоном Зинаида Николаевна стала мне говорить, что мы не любим природу, рано вставать, с утра работать на огороде, как она, и вообще в жизни нас ничего не интересует. На это я ответила: «Нас многое интересует — мы любим читать, слушать музыку». В это время в комнату вошел Борис Леонидович, и Зинаида Николаевна сказала: «Галя говорит, что мы должны работать на них, а они — только наслаждаться жизнью!» Я была так возмущена и обижена таким искажением нашего разговора, что в слезах выбежала из комнаты. Пастернак сразу же вышел за мной и начал успокаивать. Сквозь слезы я стала объяснять, что разговор был совсем не такой. Он меня обнял и сказал: «Неужели вы думаете, что я могу поверить в то, что сказала Зина! Я вас достаточно знаю. А Зина вообще способна любой разговор перевернуть так, как ей захочется». Это был единственный случай, когда Пастернак сказал о Зинаиде Николаевне осуждающим тоном. С этого момента у нас с Борисом Леонидовичем установились самые теплые, непосредственные отношения. Он стал часто со мной наедине разговаривать, я же о многом его расспрашивать, чего не решалась раньше, так как ощущала границу между нами. Странно было еще то, что Пастернак, безумно любя Леню, редко с ним общался, не проявляя внешнего внимания, но страшно гордился и весь сиял, когда кто-нибудь восхищался Леней. Наша дружба с Леней и мое опекание его (Леня был очень застенчивый мальчик, довольно одинокий и тянулся к нам) Бориса Леонидовича радовали. Если Леня заболевал, то Борис Леонидович поднимал такую панику, от которой терялась даже Зинаида Николаевна.

Однажды Пастернак, говоря со мной о Стасике, заметил: «Талант дается Богом только избранным, и человек, получивший его, не имеет права жить для своего удовольствия, а обязан всего себя подчинить труду, пусть даже каторжному. По этому

поводу у меня есть стихи». Он позвал меня к себе в кабинет и прочел стихотворение «Не спи, не спи, художник...».

В 1949 году Стасик первым прошел по конкурсу внутри Союза на Шопеновский международный конкурс. За день до вылета в Польшу ему сообщили, что он не едет, не объяснив причины. Стасик был страшно подавлен, я же не могла поверить в такую несправедливость! Мы поехали в Переделкино. Зинаида Николаевна сразу же решила идти к Фадееву и просить его заступиться за Стасика (несмотря на то что Фадеев был соседом по даче, у Пастернаков в гостях при мне он никогда не бывал, однако, проходя иногда через участок Пастернаков, он и Борис Леонидович дружески беседовали. Стасика же Фадеев знал с четырехлетнего возраста). Мы написали письмо к Абакумову, председателю КГБ, и с этим письмом Зинаида Николаевна хотела пойти к Фадееву, чтобы он подписал1. Услышав это, Борис Леонидович страшно вспылил, говоря, что надо уметь гордо выносить всякую несправедливость; кроме того, любой конкурс не является настоящей оценкой человеческого таланта, и, зная Стасика, Борис Леонидович считает, что он и без конкурса сможет получить большое признание, если по-прежнему будет много работать, а не станет в позу обиженного. Письмо без подписи Фадеева, и по секрету от Бориса Леонидовича и Стасика мы все-таки отправили. Ответа, конечно, не получили.

Были разговоры, которые меня очень интересовали, и я их прекрасно помню — даже интонацию Бориса Леонидовича.

Во время одной из прогулок по городу Пастернак встретил Мандельштама, который здесь же — на улице — прочел ему крамольные стихи о Сталине. Борис Леонидович пришел в ужас и стал просить Мандельштама уничтожить их. На что тот только улыбнулся. Через некоторое время Мандельштама арестовали. Пастернак, узнав об этом, сразу же написал письмо Бухарину, который в то время был главным редактором «Известий». На следующий день позвонил Поскребышев и соединил Пастернака со Сталиным. Сталин спросил: «Вы ходатайствуете о Мандельштаме? Почему не обратились прямо ко мне? Я пересмотрю дело. Он ваш друг?» Борис Леонидович ответил: «Нет, мы не друзья. Мы с ним разного направления, но он прекрасный поэт!» Борис Леонидович был недоволен своим разговором, так как не успел сказать все, что хотел, — Сталин резко повесил трубку. Мандельштама освободили, но выслали в Воронеж. <...>

Борис Леонидович очень любил Диккенса, и нам удалось вытащить как-то его в театр. Пастернак смотрел с вниманием и интересом, в некоторые моменты у него появлялись слезы. После спектакля Борис Леонидович был в приподнятом настроении, подробно обсуждал спектакль, говоря, что «заслуга его и в том, что тот, кто не читал Диккенса, после спектакля захочет его прочесть; ведь Диккенса поставить на сцене невозможно». Он восторгался Кторовым и Калининой, которой подарил книгу в своем переводе с надписью: «Валентине Васильевне Калининой — Флоренс Домби. Еще Вы будете многим, многим и я рад Вам это сказать в этой надписи. Б. Пастернак, 19 мая 1950 г. Москва».

До начала 50-х годов на писательских дачах не было ни водопровода, ни отопления (готовили на печке). В один из летних дней, когда я была в доме, вбежала Зинаида Николаевна с криком: «Федины горят!» Мы все выскочили и увидели пылающую крышу (она была из дранки). Когда мы ворвались в дом, Дора Сергеевна Федина на кухне спокойно готовила обед. Поднялась паника. Зинаида Николаевна схватила внучку Фединых — Вареньку, которая, ничего не понимая, спала в детской кроватке (ей было около года), дала мне ее на руки и отправила к нам на дачу2. Из окон кабинета выбрасывали вещи, — бережно на руках приносили к нам рукописи, книги. И вдруг я услышала почти бешеный крик Бориса Леонидовича. Он кричал на пожарную

команду, которая приехала чуть ли не через полчаса и совсем без воды. Вскочив на ступеньку машины, Пастернак, показывая дорогу к речке, сам с ними уехал (до этого Борис Леонидович из колодца ведрами таскал воду). Один раз мне пришлось видеть Бориса Леонидовича бурным, разгоряченным, возбужденным — он был так прекрасен, что этот день остался у меня в памяти на всю жизнь. Дача сгорела почти дотла. Пожар начался из-за большого куска бумаги, который при растопке сунула в печку Дора Сергеевна, и он, пылающий, вылетел в трубу на крышу.

В 50-х годах в писательские дачи провели телефоны. Борис Леонидович категорически отказался. Он считал, что Подмосковье должно отличаться от Москвы полной оторванностью от города, а телефон — это уже непосредственная связь. У Бориса Леонидовича был почти ритуал — раза два в неделю он ходил в контору Городка писателей звонить по делам в город, и только в редких случаях, если было что-нибудь очень срочное, он ходил к Ивановым.

Обстановка в кабинете была просто аскетическая. Комната на втором этаже огромная (внизу под ней располагалось две больших комнаты). Вдоль всей правой и левой стены — окна. Как бы на две комнаты помещение разделяет арка; во второй половине кабинета, в противоположной стене в углу около окна — дверь на застекленную террасу (на этой террасе первые два лета ночевали мы, т. к. внизу было только две комнаты — две другие были пристроены в 1948 г.3). Слева от входной двери, около окна, стоял книжный шкаф (очевидно, еще от родителей Бориса Леонидовича), в котором была размещена энциклопедия Брокгауза и Ефрона, — это было видно через стекло. У противоположной стены сначала стояла самодельная широкая тахта, покрытая старым пледом (впоследствии ее передвинули под окно в центр, а на ее место поставили старую металлическую кровать, на которой спал Пастернак). В другой половине комнаты в середине окна и перпендикулярно к нему — письменный стол (на нем стояла лампа и чернильный прибор); вдоль стены, напротив двери на террасу, — секретер (он был куплен после того, как у Бориса Леонидовича стал болеть позвоночник и ему уже приходилось работать стоя). Здесь же рядом с секретером — большая открытая книжная полка (от пола до потолка). Слева от входной двери рядом с книжным шкафом к стене— прибита вешалка, на которой висела шляпа и костюм для огорода.

Были у нас и задушевные разговоры, и, по-моему, Пастернак с удовольствием отвечал на мои расспросы. Как-то я спросила — крещен ли он и верит ли в Бога? Борис Леонидович ответил, что не крещен, но это не имеет никакого значения, так как крещение только форма; в Бога же верит как во что-то совершенное и непостижимое человеческим разумом, а смерть — это не конец, а только переход из одного состояния в другое, и поэтому она ему не страшна. «Свое отношение к религии я выразил в "Докторе Живаго"», — сказал он4.

Однажды Пастернак застал меня за чтением «Войны и мира» и сказал, что себе он не может позволить перечитывать Толстого, так как слишком любит его и боится поневоле попасть под его влияние, что может отразиться на романе, который он пишет. И когда я стала расспрашивать, Пастернак предложил мне читать «Доктора Живаго» по мере отпечатывания. С этого момента мы много говорили о романе. Пастернак говорил, что самая большая его мечта — это опубликование «Доктора Живаго», так как он придает роману большее значение, чем всем своим стихам. «Это цель моей жизни», — сказал он.

В период 1949-1953 гг. вышло несколько больших переводов Пастернака. Каждую новую книгу Борис Леонидович дарил нам и обязательно с автографом. В 1948 году вышел Шекспир, «Генрих IV» — Пастернак подписал: «Гале и Стасику от любящего их Б. П. 7 янв. 1949 г.»; в 1950 году — Гёте «Избранные произведения» — «Дорогим

Гале и Стасику с постоянной и заслуженной нежностью. Б. Пастернак. 11 мая 1950 г.»; в 1953 году — Шекспир, «Избранные произведения» — «Гале и Стасику, детям непослушным и очаровательным, которых я люблю в периоды их лада и согласия. Б. Пастернак. 8 янв. 1953 г.». Эти книги я бережно храню!

...В 1948 году, когда «Доктора Живаго» собирались публиковать в «Новом мире», Борис Леонидович очень нервничал, часто ездил в Москву к машинистке, досконально все проверял. Однажды зашел Константин Александрович Федин, и они долго разговаривали в кабинете. Когда он ушел, Пастернак сказал, что не ожидал от Федина, такого большого писателя, настойчивых просьб убрать из романа некоторые серьезные рассуждения и мысли, без которых роман просто потеряет свой смысл. Конечно, Пастернак категорически отказался что бы то ни было изменять. Он предпочел, чтобы роман вообще не был опубликован (переговоры длились довольно долго!).

В 1956 году, кажется в мае, на дачу приехали два итальянца5. Пастернак поднялся с ними наверх в кабинет, они долго там говорили и, спустившись, быстро ушли, а Борис Леонидович через некоторое время пошел гулять. Мы со Стасиком после обеда поехали в Москву на машине. По дороге около пруда нас остановил Борис Леонидович. Он был взволнован и сказал, что поедет с нами в Москву, так как ему надо к Покровским воротам (такого до сих пор никогда не было, он всегда ехал с шофером на своей машине и с утра уже готовился к поездке!). Вопреки своим правилам не разговаривать в машине, он вдруг сказал: «А знаете, что я сейчас сделал? Только никому не говорите, и даже Зине, а то она просто умрет от страха! Я отдал роман итальянцам!» От такого сообщения мы со Стасиком были в панике, а Борис Леонидович как ребенок радовался впечатлению, которое произвел на нас. Он даже сказал, что, возможно, роман был бы у нас не всем интересен, однако автору важно мнение читателей, иначе бессмысленна вся его работа. (Как Пастернаку было обидно, когда в 1958 г. в печати выступали рабочие, колхозники и даже писатели, грубо оскорбляли автора и клеймили роман, не читая!) Относительно мирно, однако совсем не спокойно прошло почти два года. Борис Леонидович получал письма из-за границы, очевидно от читателей, но о них уже не рассказывал, эта тема была для нас «запрещенной». Однако внутреннее нервное напряжение было постоянно — глаза часто были грустными, иногда он бывал даже резок с близкими — это особенно ощущали и Леня, и Зинаида Николаевна.

В 1957 году Пастернак тяжело заболел. Самоотверженно ухаживала за ним Зинаида Николаевна, даже тогда, когда он был в больнице. И в больнице, а потом в санатории «Узком» он тосковал по своему кабинету в Переделкине и все время рвался домой. После больницы и санатория, где был Пастернак с Зинаидой Николаевной, он опять начал много работать, в основном над переводами, однако быстро утомлялся.

Гости Бориса Леонидовича стали раздражать. В это время у него испортились отношения с Генрихом Густавовичем — они часто спорили из-за «Доктора Фаустуса» Томаса Манна, которого боготворил Нейгауз и большие куски из романа читал наизусть, что Пастернака раздражало и он бывал даже резок. Нас всех это очень огорчало. Генрих Густавович стал редко бывать на даче. Реже приезжали и Ливановы, и Асмусы.

На именины в 1958 году Зинаида Николаевна позвала только близких. Мы приехали с вечера 23 октября. Каково же было наше удивление, когда мы увидели ярко освещенную столовую, стоящего посреди комнаты сияющего и радостного, с бокалом в руке, Пастернака и обнимающего его, тоже с бокалом в руке, Корнея Ивановича Чуковского, который обычно на празднествах у Пастернаков не бывал6. Около стола — тоже радостные и возбужденные — Зинаида Николаевна и Нина Александровна Табидзе. Нам сразу же объяснили, что приезжали иностранные журналисты и

сообщили, что по радио объявлено о присуждении Пастернаку Нобелевской премии. Их всех фотографировали, у Бориса Леонидовича брали интервью. Пришли поздравлять и Ивановы. Уже на следующий день начался скандал на уровне ЦК КПСС.

Уже 27 октября было вынесено постановление Президиума Правления Союза писателей об исключении Пастернака из членов Союза.

На общее собрание писателей Москвы, организованное 31 октября, Пастернак был вызван повесткой. На собрание Борис Леонидович не пошел, но с утра уехал в город. Вернулся очень огорченный, удивляясь, «что можно обсуждать, если роман никто не читал».

В эти дни я была в Москве по делам и ехала в автобусе. Какой-то пассажир начал вслух читать газету своему соседу, в которой последними словами поносили Пастернака и для наглядности печатались отдельные, вырванные из контекста цитаты. Несколько человек включились в тон газеты и стали высказывать свое возмущение. Тогда я не выдержала и спросила: «А читал ли кто-нибудь роман?» В автобусе наступила тишина, а потом один из пассажиров сказал: «Да ведь в газете ясно все сказано! Продал Родину!» Вернувшись в Переделкино, я рассказала случай в автобусе. Борис Леонидович спокойно сказал: «Они не виноваты, так как уже привыкли не разбираться ни в чем, а огульно верить нашим газетам. А возьмите какую-нибудь реплику или рассуждение Григория из «Тихого Дона» отдельно от текста романа и увидите, что Шолохова можно обвинить гораздо больше, чем меня! Кроме того, я уверен, что если бы роман напечатали, то большинство из тех, кто меня осуждает, и читать не стало бы, так как им было бы просто скучно. Однако реакции такой бы не было».

В течение двух недель мы со Стасиком почти безвыездно жили на даче. На Бориса Леонидовича было страшно смотреть, так он был измучен. Однако он ни разу не впал в отчаяние и держался очень стойко. После одного из вызовов в ЦК и настойчивого предложения выехать за границу Борис Леонидович начал терять мужество и был очень угнетен. Растерянно он спросил Зинаиду Николаевну и Леню, поедут ли они с ним, если его насильно вышлют? Зинаида Николаевна категорически отказалась, Леня промолчал. Это его еще больше подавило. Первый раз у меня появилась почти физическая боль за него. Сколько же было мужества, силы воли, выдержки и чувства собственного достоинства у Бориса Леонидовича, чтобы выдержать все и не сломаться. В это время на даче я видела только Женю — сына Бориса Леонидовича, с женой Аленой, Генриха Густавовича и Ивановых. Все они старались подбодрить Бориса Леонидовича и окружить теплом.

Жизнь вошла в прежнее русло, но Борис Леонидович был уже не тот. Временами у него болела нога, иногда сердце, глаза часто бывали грустные, и работать он стал меньше, хотя режим по-прежнему был строгим. Выезжал в Москву Пастернак еще реже, хотя по вечерам долго отсутствовал. В сентябре 1959 года он был последний раз на концерте Стасика в Доме ученых.

В конце 1959 года к Пастернаку приехал представитель из Союза писателей с предложением написать заявление о принятии его в члены Союза. Борис Леонидович категорически отказался, сказав, что он не хочет находиться в их обществе, — для него важно только то, что он член Литфонда и у него не отберут

дачу, где он может работать. Рассказывая нам об этом разговоре за ужином, Борис Леонидович с грустью сказал: «Как они все себя показали в тот период, а теперь думают, что все можно забыть».

В апреле 1960 года у Пастернака опять появились сильная боль в ноге и боли в сердце. А с 25 апреля он уже не вставал. Болел он тяжело, но терпеливо, стараясь не показывать своих страданий. Самоотверженно ухаживала за ним Зинаида Николаевна.

В первых числах мая я приехала на дачу. Борис Леонидович, услышав мой голос, сказал: «Галя! Не обижайтесь на меня, но я не хочу, чтобы вы заходили ко мне в комнату. Я очень плохо выгляжу!» Больше я его так и не видела. Как мне говорили тогда и Александр Леонидович, и Зинаида Николаевна, оба предлагали Борису Леонидовичу позвать О. В. Ивинскую (Зинаида Николаевна даже сказала, что в это время куда-нибудь уйдет). Борис Леонидович категорически отказался, говоря: «Я и так за многое буду отвечать перед Богом!»

Умер он 30 мая. В Союзе писателей боялись, что похороны превратятся в демонстрацию, и поэтому было прислано несколько человек для соблюдения порядка. Женя, Леня, Стасик и я поехали к председателю поселкового Совета и с ним направились на кладбище. Он предложил нам самим выбрать место.

Гроб от дачи до кладбища несли на руках, один сменяя другого. Вся дорога была заполнена людьми, все плакали. Из писателей я увидела только Паустовского и Ивановых (Федин был болен, и от него скрыли смерть Пастернака, что его потом очень тяготило). Над могилой произнес речь Валентин Фердинандович Асмус. Все слушали затаив дыхание, так как каждое слово врезалось в сердце. Всю ночь на могиле горели свечи, и народ до утра не расходился. Многие читали стихи Пастернака и стихи, написанные в память о нем.

Татьяна Эрастова

МОЙ РАЗГОВОР С ПАСТЕРНАКОМ

Первый раз я была у Б. Л. 13 января 1952 года, приходила просить «Доктора Живаго», он, наверное, был занят, словом, я там просидела, вернее, простояла десять минут.

Второй раз была 4 мая 1952 года, предлог — относила «Доктора».

Пастернак живет в доме писателей в Лаврушинском, под самой крышей, звонок у них не работал, долго стучала, наконец, открыл он сам. Как и в первый раз, меня просили вытирать ноги. У них кто-то спал, так что мы тихо прошли в его кабинет. Кабинет — сразу у двери — маленькая квадратная комнатушка с большим окном, по наружному подоконнику ходят голуби, виден нависающий угол крыши. Две другие стены заняты книжными полками. Книги солидные, с золотыми корешками и потрепанные. У окна стоит письменный стол, стул, сбоку шкаф и кресло. Б. Л. был в какой-то фуфайке (кажется, той же, что и в первый раз). Почти совсем седой, и глаза вовсе не лошадячьи, а большие и усталые. Сели. Заикаясь, стала хвалить книжку. Потом заговорил сам:

— Вот видите, Таня, я вас в тот раз и не успел ничего спросить. Вы как вообще узнали о рукописи, читали урывками, да? Ну и как?

— Ужасно понравилось и мне и всем нам, просто жутко по...

— Ну уж жутко, — улыбается. — А как вы вообще узнали о ней, то есть я не спрашиваю, кто вам дал, да, это вам сестра1 рассказала, она старше вас? Вы с ней живете?

— Нет, я живу с дедушкой, сестра живет отдельно.

— С дедушкой, а ваша мама, что... умерла?

— Нет, она не со мной живет2.

— Ах, да-да, да, хорошо. — Молчит, потом улыбается.

— Так вам, значит, сестра сказала. А что, в школе книгу не читали?

— Я не знаю, не спрашивала, ну, наверно, нет.

— Да, да. Так у вас не школьная компания, да? А вы там сами пишете, конечно?

— Нет, я не пишу.

— Ну у вас там пишут?

— Да, много пишут, почти все.

— А что, там только такие, как вы, или взрослые тоже есть?

— Нет, я там самая маленькая. Ну, там взрослые есть, как моя сестра тоже.

— Да, а ваша сестра замужем?

— Нет, что вы, ей восемнадцать лет.

— А как, это только вам захотелось прийти или сестре тоже.

— Ну нам всем хотелось прочесть, да ведь сестра приходила со мной, да не пошла. Она у меня очень хорошая, замечательная просто.

— Что, ваша сестра похожа на вас?

— Нет, что вы, Борис Леонидович, она — красавица.

— Да, а книгу у вас все время читали, она зря не лежала?

— Ну что вы! Все читали!

— И вам понравилось, да. Я вам вот что скажу, Таня. И это я не учу вас, нет, и не как на собрании, нет, ничего такого. Ну вот там меня попросили выбрать мои стихи, и я их так посмотрел, и вы знаете, я почувствовал, что я так не в тон, так не с жизнью. Вы меня поймите, ничто настоящее не может идти так вразрез с жизнью. И, быть может, там все они пишут плохо, и все, но лучше ошибаться всем вместе, чем ошибаться одному. Я сейчас остался совершенно один, так уж вышло, и я чувствую, что вы меня поймете, я совсем как-то в стороне от всего, совсем не в тон с жизнью.

— Да зачем же быть с ней в тон, если она плохая?

— Да, да, да... Я за собой никакого греха не чувствую, я даже не знаю, когда это случилось. Сначала мы все шли вместе, и я ничего не чувствовал, мы все были вместе, я, Маяковский, и я даже во время войны этого не чувствовал. Может быть, после этих постановлений об Ахматовой и Зощенко, я не знаю, но вдруг я оказался совсем один. Так уж вышло, и это нехорошо.

— Ну что вы, Борис Леонидович, нет, я с вами не согласна.

— Да, да. Это так. Вы вот знаете такую поэтессу Ахматову, она большой мой друг, да, вы читали ее последние стихи в «Огоньке»3? Так вот я говорю, это очень хорошо. Ну, они там какие-нибудь... но это все-таки Ахматова, в них мелодия есть, это все-таки стихи. Так вот я говорю, не нужно там себя перевоспитывать, как на собраниях говорят, а нужно просто сделать большое усилие. Да. И так же с этой книгой. Когда я ее писал, это все как-то совсем не так было. Вы уже не можете помнить, вы тогда еще маленькой были, а я помню. Когда кончилась война, совсем была другая атмосфера.

— А вы еще книгу не кончили, а чем она кончится?

— Ну, прочтете. Молчим.

— Ну ладно, Борис Леонидович, я пойду.

— Нет, постойте, постойте, сядьте. А кого вы еще признаете в вашей компании?

— Мы... Цветаеву, Маяковского... Ну, Пушкина, конечно.

— Да-да-да. Цветаева, она очень большой поэт, очень. И я, знаете, очень люблю не только ее последние, футуристические вещи, но и «Версты».

— Ой, «Версты» прелесть.

— Да, у меня было много ее вещей, но все растаскали. А вы в какой группе?

— Я в седьмом классе.

— Ну, вы молодец, молодец. В седьмом классе, вы молодец. У меня сын тоже в седьмом классе, ну он совсем не так начитан, как вы, видно. Да, так что я говорю, да, я с собой в разлад не иду, нет. Я вот перевожу, Шекспира, «Фауста», вы читали?

— Да, конечно.

— Ну вот, вот это меня со всем связывает. И вы знаете, где-то там на окраинах, на периферии, ведь их играют, мои переводы, да-да, там, куда все эти постановления еще не дошли.

— Как, разве их играют?

— Играют, играют, мне говорили, особенно «Ромео и Джульетту». Но ведь это Шекспир и Гете, а мои вещи — это так ни с чем не связано, это какие-то загробные миры. Как вот, знаете, ананас — не пища, не хлеб. А искусство — это прежде всего хлеб.

— Да ведь у них и не искусство вовсе.

— Да, ну я, в общем, собой доволен. Я зарабатываю, у меня есть высшая радость: я могу помогать женам своих товарищей, там они умерли, да, ну просто бедным. Эта радость у меня есть. Ну вот так. Да, и вот теперь я боюсь эти стихи давать. Я вот уже отослал анкету, очень простая, и стал отбирать стихи, но... Я, знаете, не за себя боюсь, мне-то ничего не будет. Меня сейчас как-то предоставили самому себе совершенно. Но я боюсь, чтобы эти стихи не вызвали взрыв ругани, чтобы они не стали плевать и ругаться. Потому что, так уж вышло, что я остался совсем один: одни просто искренне пишут так, а другие и хотели бы, как я, да у них отчего-то не вышло. И вот теперь они и злятся: отчего, мол, он может, а мы не можем. Так я боюсь, чтобы это не отразилось там, на периферии. Так вы молодец, что пришли.

Молчит.

— Ну я пойду, Борис Леонидович. Большое спасибо, большое спасибо. А вы нам конец дадите?

— Ну конечно, я вам позвоню. Да, у меня еще была такая радость: там меня в одном месте просили дать картины отца, для книги, и я тоже давал книгу сотрудницам, им вот, говорят, очень понравилось. Да, так я вам позвоню.

— Ну спасибо большое, да, мне велели спросить, там у нас. Вы читали «Доктор Фаустус» и «Избранник»?

— «Доктор Фаустус» — это Томаса Манна, да? Читал, читал, а «Избранник»?

— Это тоже его последняя книга.

— Да, да. Ну тогда садитесь. Я вот что о Манне думаю. Видите ли, он очень хорошо, в совершенстве, усвоил особый язык, каким вот на собраниях говорят, в газетах. Есть еще западноевропейский язык, им вот Гёте писал, но он сумел из него вырваться, так вот (машет руками). А Манн, он позволяет себе такие вещи, каких я бы себе никогда не позволил. Он себе это все позволяет. Вот, знаете, Толстой неплохо писал, а сколько раз он все переделывал, крошил, не жалел себя (машет руками). Ведь искусство — это прежде всего самоотверженный труд, ничего не жалея. Мне гораздо ближе другой немецкий поэт, Рильке, так вот тот был таким, он и сгорел весь, как и Маяковский. Вот ведь, знаете, как бывает: люди делают, делают язык, медленно делают, пока не придет один, гений, и не продвинет вперед, сразу, а потом они опять делают, делают. А вот Манн нет. Вот, предположим, какой-нибудь любитель, дилетант. Он напишет какую-нибудь вещичку и уж носится с ней, как с чем-нибудь. А Толстой по сотне раз все переделывал, и не потому, что Толстой трусливее, а потому что он по-настоящему работал. Мне Манна принес мой очень хороший друг, профессор Нейгауз, может, знаете. Он его очень любит. Но я до половины дочитал, а там отдал, меня очень просили. Так вот Манн, он талантливо пишет, очень, но его работы похожи на очень талантливые черновики. А как у настоящего изобретателя, у него все лаконично, все точно, и уже потом его будут распространять и растягивать. Вот и у Толстого, вы там, конечно, тоже творчески читаете, но там уже все готово, все ясно, вам не надо из пяти прилагательных через запятые выбирать одно нужное, да. А у Манна не так, его работы все-таки недописанные черновики, правда замечательные. Манна, например, может Нейгауз читать, вот из вашей компании, но так нет. И это нехорошо. У писателя прежде всего должна быть простота. Я вот этой простоты всегда придерживался, не той грубой, мещанской простоты, а простоты капитальной. Вот я здесь так сравниваю, но вы не думайте, я не из-за лиц или там произведений, а просто,

чтобы было ясно. Я ведь вот тоже писал, и все, но я не могу позволить себе такого свинства.

Молчит.

— Борис Леонидович, а что, вы доктора Живаго убьете?

— Я? То есть да, он умрет.

— Не надо, зачем?

— Ну что вы говорите, нет, он умрет, но останутся, там, как его, Гордон, да, и этот, Дудоров, и будут собираться и вспоминать все.

— А как там дальше будет?

— А там, там интересно будет, вот вы помните, в начале, там сначала описываются судьбы героев, а время на заднем плане, во второй книге наоборот, а потом опять будет время на переднем плане, Живаго с семьей поедет на Урал, и вот, будет ехать поезд в районах восстаний, и так там все будет. Потом Живаго просто, как доктор, попадет к партизанам, только как доктор. А его семья будет послана за границу, знаете, так посылали. Вот, ну потом уже будет время нэпа, он очень опустится, будет иногда забывать, что он доктор, даже сам будет дрова пилить, ну это у него будет периодами, а потом он умрет от разрыва сердца.

— АчтосЛарой?

— А Лара... у нее будет большое чувство, очень трагическое, и не потому трагическое, что оно будет без взаимности, но просто так все рушится, разбивается. Вот так у Достоевского бывает, трагическое, потому что обстановка такая, все кругом рушится, падает. Да. (Когда говорит о книге, смотрит в одну точку и не машет руками.)

А под конец будет опять, как в начале, помните, там с похоронами этой, ну и там тоже будет, если не философия, то просто какой-нибудь образ.

Молчит.

— Да. До свиданья, Борис Леонидович. Большое, большое спасибо. Ой! — Я налетаю на что-то хрустящее, и оно страшно хрустит.

— Ничего, ничего, это так. Так вы звоните, если вам что-нибудь надо будет. Я вам позвоню, если что. До свиданья, до свиданья. — Иду с лестницы. — Постойте, постойте. Я вам, когда звонил, не сказал своего имени, просто, знаете, чтобы по телефону.

— Правильно, конечно, я ведь ничего не говорила.

— До свиданья, до свиданья.

Андрей Вознесенский

МНЕ 14 ЛЕТ «Тебя Пастернак к телефону!»

Оцепеневшие родители уставились на меня. Шестиклассником, никому не сказавшись, я послал ему стихи и письмо. Это был первый решительный поступок, определивший мою жизнь. И вот он отозвался и приглашает к себе на два часа, в воскресенье.

Стоял декабрь. Я пришел к серому дому в Лаврушинском, понятно, за час. Подождав, поднялся лифтом на темную площадку восьмого этажа. До двух оставалась еще минута. За дверью, видимо, услыхали хлопнувший лифт. Дверь отворилась.

Он стоял в дверях.

Все поплыло передо мной. На меня глядело удивленное удлиненно-смуглое пламя лица. Какая-то оплывшая стеариновая вязаная кофта обтягивала его крепкую фигуру. Ветер шевелил челку. Не случайно он потом для своего автопортрета изберет горящую свечку. Он стоял на сквозняке двери.

Сухая, сильная кисть пианиста.

Поразила аскеза, нищий простор его нетопленого кабинета. Квадратное фото Маяковского и кинжал на стене. Англо-русский словарь Мюллера — он тогда был

прикован к переводам. На столе жалась моя ученическая тетрадка1, вероятно, приготовленная к разговору. Волна ужаса и обожания прошла по мне. Но бежать поздно.

Он заговорил с середины.

Скулы его подрагивали, как треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом. Я боготворил его. В нем была тяга, сила и небесная неприспособленность. Когда он говорил, он поддергивал, вытягивал вверх подбородок, как будто хотел вырваться из воротничка и из тела.

Вскоре с ним стало очень просто. Исподтишка разглядываю его.

Короткий нос его, начиная с углубления переносицы, сразу шел горбинкой, потом продолжался прямо, напоминая смуглый ружейный приклад в миниатюре. Губы сфинкса. Короткая седая стрижка. Но главное — это плывущая дымящаяся волна магнетизма. «Он, сам себя сравнивший с конским глазом».

Через два часа я шел от него, неся в охапке его рукописи — для прочтения, и самое драгоценное — машинописную, только что законченную первую часть его нового романа в прозе под названием «Доктор Живаго» и изумрудную тетрадь новых стихов из этого романа, сброшюрованную багровым шелковым шнурком. Не утерпев, раскрыв на ходу, я глотал запыхавшиеся строчки:

Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи...

В стихах было ощущение школьника дореволюционной Москвы, завораживало детство — серьезнейшая из загадок Пастернака.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи...

Стихи сохранили позднее хрустальное состояние его души. Я застал его осень. Осень ясна до ясновиденья. И страна детства приблизилась.

...Все яблоки, все золотые шары...

С этого дня жизнь моя решилась, обрела волшебный смысл и предназначение: его новые стихи, телефонные разговоры, воскресные беседы у него с двух до четырех, прогулки — годы счастья и ребячьей влюбленности.

* * *

Почему он откликнулся мне?

Он был одинок в те годы, отвержен, изнемог от травли, ему хотелось искренности, чистоты отношений, хотелось вырваться из круга — и все же не только это. Может быть, эти странные отношения с подростком, школьником, эта почти дружба что-то объясняют в нем? Это даже не дружба льва с собачкой, точнее — льва со щенком.

Может быть, он любил во мне себя, прибежавшего школьником к Скрябину?

Его тянуло к детству. Зов детства не прекращался в нем.

Он не любил, когда ему звонили, — звонил сам. Звонил иногда по нескольку раз на неделе. Потом были тягостные перерывы. Никогда не рекомендовался моим опешившим домашним по имени-отчеству, всегда по фамилии.

Говорил он взахлеб, безоглядно. Потом на всем скаку внезапно обрывал разговор. Никогда не жаловался, какие бы тучи его ни омрачали.

«Художник, — говорил он, — по сути своей оптимистичен. Оптимистична сущность творчества. Даже когда пишешь вещи трагические, ты должен писать сильно, а унынье и размазня не рождают произведения силы». Речь лилась непрерывным захлебывающимся монологом. В ней было больше музыки, чем грамматики. Речь не делилась на фразы, фразы на слова — все лилось бессознательным потоком сознания, мысль пробор-матывалась, возвращалась, околдовывала. Таким же потоком была его поэзия.

* * *

Когда он переехал насовсем в Переделкино, телефонные звонки стали реже. Телефона на даче не было. Он ходил звонить в контору. Ночная округа оглашалась эхом его голоса из окна, он обращался к звездам. Жил я от звонка до звонка. Часто он звал меня, когда читал на даче свое новое.

Дача его напоминала деревянное подобие шотландских башен. Как старая шахматная тура стояла она в шеренге других дач на краю огромного квадратного переделкинского поля, расчерченного пахотой. С другого края поля, из-за кладбища, как фигуры иной масти, поблескивали церковь и колокольня XVI века вроде резных короля и королевы, игрушечно раскрашенных, карликовых родичей Василия Блаженного.

Порядок дач поеживался под убийственным прицелом кладбищенских куполов. Теперь уже мало кто сохранился из хозяев той поры.

Чтения бывали в его полукруглом фонарном кабинете на втором этаже.

Собирались. Приносили снизу стулья. Обычно гостей бывало около двадцати. Ждали опаздывавших Ливановых.

Из сплошных окон видна сентябрьская округа. Горят леса. Бежит к кладбищу машина. Паутиной тянет в окно. С той стороны поля, из-за кладбища, пестрая, как петух, бочком проглядывает церковь — кого бы клюнуть? Дрожит воздух над полем. И такая же взволнованная дрожь в воздухе кабинета. В нем дрожит нерв ожидания.

Чтобы скоротать паузу, Д. Н. Журавлев, великий чтец Чехова и камертон староарбатской элиты, показывает, как сидели на светских приемах — прогнув спину и лишь ощущая лопатками спинку стула. Это он мне делает замечание в тактичной форме! Я чувствую, как краснею. Но от смущения и упрямства сутулюсь и облокачиваюсь еще больше.

Наконец опаздывающие являются. Она — оробевшая, нервно-грациозная, оправдываясь тем, что трудно было достать цветы. Он — огромный, разводя руками и в шутовском ужасе закатывая глазищи: премьер, сотрясатель мхатовских подмостков, гомерический исполнитель Ноздрева и Потемкина, этакий рубаха-барин.

Затихали. Пастернак садился за стол. На нем была легкая серебристая куртка типа френча, вроде тех, что сейчас вошли в моду.

Стихи он читал в конце. В тот раз он читал «Белую ночь», «Соловья», «Сказку», ну, словом, всю тетрадь этого периода. Читая, он всматривался во что-то над нашими головами, видное только ему. Лицо вытягивалось, худело. И отсвета белой ночи была куртка на нем.

Мне далекое время мерещится, Дом на стороне Петербургской. Дочь степной небогатой помещицы, Ты — на курсах, ты родом из Курска.

Проза? Поэзия? Как в белой ночи все перемешалось. Он называл это своей главной книгой. Диалоги он произносил, наивно стараясь говорить на разные голоса. Слух на просторечье у него был волшебный! Как петушок, подскакивал Нейгауз, выкрикивал, подмигивал слушателям: «Пусть он, твой Юрий, больше стихов пишет!» Собирал он гостей, по мере того как оканчивал часть работы. Так все написанное им за эти годы, тетрадь за тетрадью весь поэтический роман, я прослушал с его голоса.

Чтения обычно длились около двух часов. Иногда, когда ему надо было что-то объяснить слушателям, он обращался ко мне, как бы мне объясняя: «Андрюша, тут в "Сказке" я хотел как на медали выбить эмблему чувства: воин-спаситель и дева у него на седле». Это было нашей игрой. Я знал эти стихи наизусть, в них он довел до вершины свой прием называния действия, предмета, состояния. В стихах цокали копыта:

Сомкнутые веки. Выси. Облака. Воды. Броды. Реки. Годы и века.

Он щадил самолюбие аудитории. Потом по кругу спрашивал, кому какие стихи пришлись больше по душе. Большинство отвечало: «Все». Он досадовал на уклончивость ответа. Тогда выделяли «Белую ночь». Ливанов назвал «Гамлета». Несыгранный Гамлет был его трагедией, боль эту он заглушал гаерством и ку-ражами буффона.

Гул затих. Я вышел на подмостки, Прислонясь к дверному косяку...

Пастернак так рассказывал мне его историю. Получив постановку «Гамлета» во МХАТе и главную роль, Ливанов для пущего торжества над противниками решил заручиться поддержкой Сталина. На приеме в Кремле он подошел с бокалом к Сталину и, выкатив преданные глаза, спросил: «Вы все знаете, скажите, каким надо играть Гамлета?» Расчет был точен. Если вождь ответит, скажем, «Гамлет — лиловый или зеленый», то Ливанов будет ставить по-своему, говоря, что выполняет указание. Но Сталин ответил: «Я думаю, Гамлета не надо вообще играть». И, насладившись эффектом, добавил: «Это характер декадентский». С тех пор при жизни вождя «Гамлета» не ставили на нашей сцене.

Ливанов сморкался. Еще более обозначились его набрякшие подглазья. Но через минуту он уже похохатывал, потому что всех приглашали вниз, к застолью.

Спускались. Попадали в окружение, в голубой фейерверк испаряющихся натурщиц кисти его отца, едва ли не единственного российского художника-импрессиониста.

О эти переделкинские трапезы! Стульев не хватало. Стаскивали табуреты. Застолье вел Пастернак в упоении грузинского ритуала. Хозяин он был радушный. Вгонял в смущение уходящего гостя, всем сам подавал пальто.

Кто они, гости поэта?

Сухим сиянием ума щурится крохотный, тишайший Генрих Густавович Нейгауз, Гаррик, с неотесанной гранитной шевелюрой. Рассеянный Рихтер, Слава, самый молодой за столом, чуть смежал веки, дегустируя цвета и звуки. «У меня вопрос к Славе! Слава! Скажите, существует ли искусство?» — навзрыд вопрошал Пастернак. Рядом сидела стройная грустная Нина Дорлиак, гра-фичная, как черные кружева.

Какой стол без самовара?

Самоваром на этих сборищах был Ливанов. Однажды он явился при всех своих медалях. Росту он был петровского. Его сажали в торец стола, напротив хозяина. Он шумел, блистал. В него входило, наверное; несколько ведер.

«Я знал качаловского Джима. Не верите? — вскипал он и наливался. — Дай лапу, Джим... Это был черный злобный дьявол. Вельзевул! Все трепетали. Он входил и ложился под обеденный стол. Никто из обедавших не смел ногой шевельнуть. Не то что по шерстке бархатной потрогать. Враз бы руку отхватил. Вот каков куншtюк! А он сказал: "Дай лапу мне..." Выпьем за поэзию, Борис!»

Рядом смущенно и умильно жмурился большеглазый Журавлев в коричневой паре, как майский жук. Мыслил Асмус. Разлаписто, по-медвежьи заходил Всеволод Иванов, кричал: «Я родил сына для тебя, Борис!»

Помню античную Анну Ахматову, августейшую в своей поэзии и возрасте. Она была малоречива, в широком одеянии, подобном тунике. Пастернак усадил меня рядом с ней. Так на всю жизнь и запомнил ее в полупрофиль.

Врезался приход Хикмета. Хозяин поднял тост в честь него, в честь революционного зарева за его плечами. Назым, отвечая, посетовал на то, что вокруг никто не понимает по-турецки, а что он не только зарево, но и поэт и сейчас почитает стихи. Читал буйно. У него была грудная жаба, он тяжело дышал. Затем радушный хозяин поднял тост за него. Тост был опять про зарево. Когда Хикмет уходил, чтобы не простыть на улице, завернул грудь под рубахой газетами — нашими и зарубежными,

— на даче их было навалом. Я пошел проводить его. На груди у поэта шуршали события, шуршали земные дни.

Заходил готический Федин, их дачи соседствовали. Чета Вильям-Вил ьмонтов восходила к осанке рокотовских портретов.

Жена Бориса Леонидовича, Зинаида Николаевна, с обиженным бантиком губ, в бархатном черном платье, с черной короткой стрижкой, похожая на дам арт-нуво, волновалась, что сын ее, Стасик Нейгауз, на парижском конкурсе должен играть утром, а рефлексы у него на вечернюю игру.

Рубен Симонов со сладострастной негой и властностью читал Пушкина и Пастернака. Мелькнул Вертинский. Под гомерический стон великолепный Ираклий Андроников изображал Маршака.

Какое пиршество взору! Какое пиршество духа! Ренессан-ская кисть, вернее, кисть Боровиковского и Брюллова, обретала плоть в этих трапезах.

Он щедро дарил моему взору великолепие своих собратьев. У нас был как бы немой заговор с ним. Порой сквозь захмелевший монолог тоста я вдруг ловил его смешливый карий заговорщицкий взгляд, адресованный мне, сообщавший нечто, понятное лишь нам обоим. Казалось, он один был мне сверстником за столом. Эта общность тайного возраста объединяла нас. Часто восторг на его лице сменялся выражением ребячьей обиды, а то и упрямством.

Иногда он просил меня читать собравшимся стихи. Ныряя в холодную воду, дурным голосом я читал, читал...

На звон трамваев, одурев, Облокотились облака.

Одно из стихотворений кончалось так:

Несется в поверья верстак под Москвой, а я подмастерье в его мастерской.

Но при нем я их не читал.

Это были мои первые чтения на людях.

Иногда я ревновал его к ним. Конечно, мне куда дороже были беседы вдвоем, без гостей, вернее его монологи, обращенные даже не ко мне, а мимо меня к вечности, к смыслу жизни.

Порою комплекс обидчивости взбрыкивал во мне. Я восставал против кумира. Как-то он позвонил мне и сказал, что ему нравится шрифт на моей машинке, и попросил перепечатать цикл его стихотворений. Естественно! Но для детского самолюбия это показалось обидным — как, он меня за машинистку считает! Я глупо отказался, сославшись на завтрашний экзамен, что было правдою, но не причиною.

* * *

Пастернак — подросток.

Есть художники, отмеченные постоянными возрастными признаками. Так, в Бунине и совершенно по-иному в Набокове есть четкость ранней осени, они будто всегда сорокалетние. Пастернак же вечный подросток, неслух — «Я создан богом мучить себя, родных и тех, которых мучить грех». Лишь однажды в стихах в авторской речи он обозначил свой возраст: «Мне четырнадцать лет». Раз и навсегда.

Как застенчив до ослепления он был среди чужих, в толпе, как, напряженно бычась, нагибал шею!..

Однажды он взял меня с собой в Театр Вахтангова на премьеру «Ромео и Джульетты» в его переводе. Я сидел рядом, справа от него. Мое левое плечо, щека, ухо как бы онемели от соседства, как от анестезии. Я глядел на сцену, но все равно видел его — светящийся профиль, челку. Иногда он проборматывал текст за актером.

Вдруг шпага Ромео ломается, и — о чудо! — конец ее, описав баснословную параболу, падает к ручке нашего с ним общего кресла. Я нагибаюсь, поднимаю.

Пастернак смеется. Но вот уже аплодисменты и вне всяких каламбуров зал скандирует: «Автора! Автора!» Смущенного поэта тащат на сцену.

Пиры были отдохновением. Работал он галерно. Времена были страшные. Слава Богу, что переводить давали. Два месяца в году он работал переводы, «барскую десятину», чтобы можно потом работать на себя. Переводил он по 150 строк в сутки, говоря, что иначе непродуктивно. Корил Цветаеву, которая если переводила, то всего строк по 20 в день.

У него я познакомился также с С. Чиковани, П. Чагиным, С. Макашиным, И. Нонешвили2.

Мастер языка, он не любил скабрезностей и бытового мата. Лишь однажды я слышал от него косвенное обозначение термина. Как-то мелочные пуритане напали на его друга за то, что тот напечатался не в том органе, где бы им хотелось. Пастернак рассказал за столом притчу про Фета. В подобной же ситуации Фет будто бы ответил: «Если бы Шмидт (кажется, так именовался самый низкопробный петербургский тогдашний сапожник) выпускал грязный листок, который назывался бы словом из трех букв, я все равно бы там печатался. Стихи очищают».

Как бережен и целомудрен был он! Как-то он дал мне пачку новых стихов, где была «Осень» с тициановской золотой строфой — по чистоте, пронизанности чувством и изобразительности:

Ты так же сбрасываешь платье, Как роща сбрасывает листья, Когда ты падаешь в объятье В халате с шелковою кистью.

(Первоначальный вариант:

Твое распахнутое платье,

Как рощей сброшенные листья...)

Утром он позвонил мне: «Может быть, вам показалось это чересчур откровенным? Зина говорит, что я не должен был давать вам его, говорит, что это слишком вольно...»

* * *

Поддержка его мне была в самой его жизни, которая светилась рядом. Никогда и в голову мне не могло прийти попросить о чем-то практическом — например, помочь напечататься или что-то в том же роде. Я был убежден, что в поэзию не входят по протекции. Когда я понял, что пришла пора печатать стихи, я, не говоря ему ни слова, пошел по редакциям, как все, без вспомогательных телефонных звонков прошел все предпечатные мытарства. Однажды стихи мои дошли до члена редколлегии толстого журнала. Зовет меня в кабинет. Усаживает — этакая радушная туша. Смотрит влюбленно.

— Вы сын?

— Да, но...

— Никаких «но». Сейчас уже можно. Не таитесь. Он же реабилитирован. Бывали ошибки. Каков был светоч мысли! Сейчас чай принесут. И вы как сын...

— Да, но...

— Никаких «но». Мы даем ваши стихи в номер. Нас поймут правильно. У вас рука мастера, особенно вам удаются приметы нашего атомного века словечки современные — ну вот, например, вы пишете «кариатиды...». Поздравляю.

(Как я потом понял, он принял меня за сына Н. А. Вознесенского, бывшего председателя Госплана.)

— ...То есть как не сын? Как — однофамилец? Что же вы нам голову тут морочите? Приносите чушь всякую вредную. Не позволим. А я все думал — как у такого отца, вернее, не отца... Какого еще чаю?

Но потом как-то напечатался. Первую, пахнущую краской «Литгазету» с подборкой стихов привез ему в Переделкино.

Поэт был болен. Он был в постели. Помню склонившийся над ним скорбный осенний женский силуэт. Смуглая голова поэта тяжко вминалась в белую подушку. Ему дали очки. Как просиял он, как заволновался, как затрепетало его лицо! Он прочитал стихи вслух. Видно, он был рад за меня. «Значит, и мои дела не так уж плохи», — вдруг сказал он. Ему из стихов понравилось то, что было свободно по форме. «Вас, наверное, сейчас разыскивает Асеев», — пошутил он.

Асеев, пылкий Асеев со стремительным вертикальным лицом, похожим на стрельчатую арку, фанатичный, как католический проповедник, с тонкими ядовитыми губами, Асеев «Синих гусар» и «Оксаны», менестрель строек, реформатор рифмы. Он зорко парил над Москвой в своей башне на углу Горького и проезда МХАТа, годами не покидал ее, как Прометей, прикованный к телефону.

Я не встречал человека, который так беззаветно любил бы чужие стихи. Артист, инструмент вкуса, нюха, он, как сухая нервная борзая, за версту чуял строку — так он цепко оценил В. Соснору и Ю. Мориц. Его чтили Маяковский и Мандельштам. Пастернак был его пламенной любовью. Я застал, когда они уже давно разминулись. Как тяжелы размолвки между художниками! Асеев всегда влюбленно и ревниво выведывал — как там «ваш Пастернак»? Тот же говорил о нем отстраненно — «даже у Асеева и то последняя вещь холодновата». Как-то я принес ему книгу Асеева, он вернул мне ее не читая.

Асеев — катализатор атмосферы, пузырьки в шампанском поэзии.

«Вас, оказывается, величают Андрей Андреевич? Здорово как! Мы все выбивали дубль. Маяковский — Владим Владимыч, я — Николай Николаевич, Бурлюк — Давид Давидыч, Каменский — Василий Васильевич, Крученых...» — «А Борис Леонидович?» — «Исключение лишь подтверждает правило».

Асеев придумал мне кличку — Важнощенский, подарил стихи: «Ваша гитара — гитана, Андрюша», в тяжелое время спас статьей «Как быть с Вознесенским?»3, направленной против манеры критиков «читать в мыслях». Он рыцарски отражал в газетах нападки на молодых скульпторов, живописцев. В своей панораме «Маяковский начинается» он назвал в большом кругу рядом с именами Маяковского, Хлебникова, Пастернака имя Алексея Крученых.

Не Не Не

Тут в моей рукописи запахло мышами.

Острый носик, дернувшись, заглядывает в мою рукопись. Пастернак остерегал от знакомства с ним. Он появился сразу же после первой моей газетной публикации.

Он был старьевщиком литературы.

Звали его Лексей Елисеич, Кручка, но больше подошло бы ему — Курчонок.

Кожа щек его была детская, в пупырышках, всегда поросшая седой щетиной, растущей запущенными клочьями, как у плохо опаленного цыпленка. Роста он был дрянного. Одевался в отрепья. Плюшкин бы рядом с ним выглядел завсегдатаем модных салонов. Носик его вечно что-то вынюхивал, вышныривал — ну не рукописью, так фотографией какой разжиться. Казалось, он существовал всегда — даже не пузырь земли, нет, плесень времени, оборотень коммунальных свар, упыриных шорохов, паутинных углов. Вы думали — это слой пыли, а он, оказывается, уже час сидит в углу.

Жил он на Кировской в маленькой кладовке. Пахло мышью. Света не было. Единственное окно было до потолка завалено, загажено — рухлядью, тюками, недоеденными консервными банками, вековой пылью, куда он, как белка грибы и ягоды, прятал свои сокровища — книжный антиквариат и списки.

Бывало, к примеру, спросишь: «Алексей Елисеич, нет ли у вас первого издания «Верст»?» — «Отвернитесь», — буркнет. И в пыльное стекло шкафа, словно в зеркало,

ты видишь, как он ловко, помолодев, вытаскивает из-под траченного молью пальто драгоценную брошюрку. Брал он копейки. Может, он уже был безумен. Он таскал книги. Его приход считался дурной приметой.

Чтобы жить долго, выходил на улицу, наполнив рот теплым чаем и моченой булкой. Молчал, пока чай остывал, или мычал что-то через нос, прыгая по лужам. Скупал все. Впрок. Клеил в альбомы и продавал в архив. Даже у меня ухитрился продать черновики, хотя я и не был музейного возраста. Гордился, когда в словаре встречалось слово «Заумник».

Он продавал рукописи Хлебникова. Долго расправляя их на столе, разглаживал, как закройщик. «На сколько вам?» — деловито спрашивал. «На три червонца». И быстро, как продавщик ткани в магазине, отмерив, отхватывал ножницами кусок рукописи — ровно на тридцать рублей.

В свое время он был Рембо российского футуризма. Создатель заумного языка, автор «Дыр бул щыл», поэт Божьей милостью, он внезапно бросил писать вообще, не сумев или не желая приспособиться к наступившей поре классицизма. Когда-то и Рембо примерно в том же возрасте так же вдруг бросил поэзию и стал торговцем. У Крученых были строки:

Забыл повеситься
Лечу
Америку.

Образования он был отменного, страницами наизусть мог говорить из Гоголя, этого заповедного кладезя футуристов.

Как замшелый дух, вкрадчивый упырь, он тишайше проникал в вашу квартиру. Бабушка подозрительно поджимала губы. Он слезился, попрошайничал и вдруг, если соблаговолит, вдруг верещал вам свою «Весну с угощеньицем». Вещь эта, вся речь ее с редкими для русского языка звуками «х», «щ», «ю», «была отмечена весною, когда в уродстве бродит красота».

Но сначала он, понятно, отнекивается, ворчит, придуряется, хрюкает, притворяшка, трет зачем-то глаза платком допотопной девственности, похожим на промасленные концы, которыми водители протирают двигатель.

Но вот взгляд протерт — оказывается, он жемчужно-серый, синий даже! Он напрягается, подпрыгивает, как пушкинский петушок, приставляет ладонь ребром к губам, как петушиный гребешок, напрягается ладошка, и начинает. Голос у него открывается высокий, с таким неземным чистым тоном, к которому тщетно стремятся солисты теперешних поп-ансамблей.

«Ю-юйца!» — зачинает он, у вас слюнки текут, вы видите эти, как юла, крутящиеся на скатерти крашеные пасхальные яйца. «Хлюстра», — прохрюкает он вслед, подражая скользкому звону хрусталя. «Зухрр», — не унимается зазывала, и у вас тянет во рту, хрупает от засахаренной хурмы, орехов, зеленого рахат-лукума и прочих сладостей Востока, но главное — впереди. Голосом высочайшей муки и сладострастия, изнемогая, становясь на цыпочки и сложив губы как для свиста и поцелуя, он произносит на тончайшей бриллиантовой ноте: «Мизюнь, мизюнь!..» Все в этом «мизюнь» — и юные барышни с оттопыренным мизинчиком, церемонно берущие изюм из изящных вазочек, и обольстительная весенняя мелодия Мизгиря и Снегурочки, и, наконец, та самая щемящая нота российской души и жизни, нота тяги, утраченных иллюзий, что отозвалась в Лике Мизиновой и в «Доме с мезонином», — этот всей несбывшейся жизнью выдохнутый зов: «Мисюсь, где ты?»

Он замирает, не отнимая ладони от губ, как бы ожидая отзыва юности своей, — стройный, вновь сероглазый принц, вновь утренний рожок российского футуризма — Алексей Елисеевич Крученых.

Может быть, он стал барыгой, воришкой, спекулянтом. Но одного он не продал — своей ноты в поэзии. Он просто перестал писать. Поэзия дружила лишь с его юной порой. С ней одной он остался чист и честен.

Мизюнь, где ты?

* * *

Почему поэты умирают?

Почему началась первая мировая война? Эрцгерцога хлопнули? А не шлепнули бы? А проспал бы? Не началась бы? Увы, случайностей нет, есть процессы Времени и Истории.

«Гений умирает вовремя», — сказал его учитель Скрябин, погибший, потому что прыщик на губе сковырнул. Про Пастернака будто бы было сказано: «Не трогайте этого юродивого».

Может быть, дело в биологии духа, которая у Пастернака совпала со Временем и была тому необходима?..

В те дни — а вы их видели И помните, в какие, — Я был из ряда выделен Волной самой стихии.

Про Сталина он как-то сказал: «Я не раз обращался к нему, и он всегда выполнят мои просьбы». Вероятно, речь шла о репрессированных. Однажды за столом он пересказал телефонный диалог о Мандельштаме, про который злорадно судило окололитературное болото. Сталин позвонил ему поздно ночью. Разговаривать пришлось из коммунального коридора. Трубка спросила: «Как вы расцениваете Мандельштама как поэта?» Пастернак был искренен, он ответил положительно, хоть и не восторженно. Трубка сказала: «Если бы моего товарища арестовали, я стал бы его защищать». — «Но его же арестовали не за качество стихов, — начал поэт, — а вообще арестовывать — это...» В Кремле повесили трубку. Пастернак пытался соединиться — тщетно. Наутро он бросился к Бухарину, который был тогда редактором «Известий», хлопотать за Мандельштама. Сталина он называл «гигантом дохристианской эры».

* * *

У меня с ним был разговор о «Метели». Вы помните это? «В посаде, куда ни одна нога не ступала...» Потом строчка передвигается: «В посаде, куда ни одна...» — и так далее, создавая полное ощущение движения снежных змей, движение снега. За ней движется Время.

Он сказал, что формальная задача — это «суп из топора». Потом о ней забываешь. Но «топор» должен быть. Ты ставишь себе задачу, и она выделяет что-то иное, энергию силы, которая достигает уже не задачи формы, а духа и иных задач.

Форма — это ветровой винт, закручивающий воздух, вселенную, если хотите, называйте это духом. И винт должен быть крепок, точен.

У Пастернака нет плохих стихов. Ну, может быть, десяток менее удачных, но плохих — нет. Как он отличен от стихотворцев, порой входящих в литературу с одной-двумя пристойными вещами среди всего серого потока своих посредственных стихов. Он был прав: зачем писать худо, когда можно написать точно, то есть хорошо? И здесь дело не только в торжестве формы, как будто не жизнь, не божество, не содержание и есть форма стиха! «Книга — кубический кусок дымящейся совести», — обмолвился он когда-то. Особенно это заметно в его «Избранном». Порой некоторый читатель даже устает от духовной напряженности каждой вещи. Читать трудно, а каково писать ему было, жить этим! Такое же ощущение от Цветаевой, таков их пульс был.

В стихах его «сервиз» рифмуется с «положеньем риз». Так рифмовала жизнь — в ней все смешалось.

В квартиру нашу были, как в компотник, Набуханы продукты разных сфер: Швея, студент, ответственный работник...

В детстве наша семья из пяти человек жила в одной комнате. В остальных пяти комнатах квартиры жило еще шесть семей — семья рабочих, приехавшая с нефтепромыслов, возглавляемая языкастой Прасковьей, аристократическая рослая семья Неклюдовых из семи человек и овчарки Багиры, семья инженера Ферапонтова, пышная радушная дочь бывшего купца и разведенные муж и жена. Коммуналка наша считалась малонаселенной.

В коридоре сушились простыни.

У дровяной плиты среди кухонных баталий вздрагивали над керосинкой фамильные серьги Муси Неклюдовой. В туалете разведенный муж свистал «Баядеру», возмущая очередь. В этом мире я родился, был счастлив и иного не представлял.

Сам он до тридцать шестого года, до двухэтажной квартиры в Лаврушинском, жил в коммуналке. Ванную комнату занимала отдельная семья, ночью, идя в туалет, шагали через спящих.

Ах, как сочно рифмуется керосиновый свет «ламп Светлана» с «годами строительного плана»!

* * *

Все это было в его небольшой изумрудной тетрадке стихов с багровой шнуровкой. Все его вещи той поры были перепечатаны Мариной Казимировной Баранович, прокуренным ангелом его рукописей. Жила она около Консерватории, бегала на все скрябинские программы, и как дыхание клавиш отличает рих-теровского Скрябина от нейгаузовского, так и клавиатура ее машинки имела свой неповторимый почерк. Она переплетала стихи в глянцевые оранжевые, изумрудные и краплачно-красные тетрадки и прошивала их шелковым шнурком. Откроем эту тетрадь, мой читатель. В ней колдовало детство.

Еще кругом ночная мгла. Такая рань на свете. Что площадь вечностью легла От перекрестка до угла, И до рассвета и тепла Еще тысячелетье...

А в городе на небольшом Пространстве, как на сходке, Деревья смотрят нагишом В церковные решетки...

Видите ли вы, мой читатель, мальчика со школьным ранцем, следящего обряд весны, ее предчувствие? Все, что совершается вокруг, так похоже на происходящее внутри него.

И взгляд их ужасом объят.

Понятна их тревога.

Сады выходят из оград...

Они хоронят Бога.

Такая рань, такое ошеломленное ощущение детства, память гимназиста предреволюционной Москвы, когда все полно тайны, когда за каждым углом подстерегает чудо, деревья одушевлены и ты причастен к вербной ворожбе. Какое ощущение детства человечества на грани язычества и предвкушения уже иных истин!

Стихи эти, написанные от руки, он дал мне вместе с другими, сброшюрованными этой же багровой шелковой шнуровкой. Все в них околдовывало. В нем тогда царствовала осень:

Как на выставке картин: Залы, залы, залы, залы Вязов, ясеней, осин В позолоте небывалой.

В ту пору я мечтал попасть в Архитектурный, ходил в рисовальные классы, акварели, был весь во власти таинства живописи. В Москве тогда гостила Дрезденская галерея. Прежде чем возвратить в Дрезден, ее выставили в Музее имени Пушкина. Волхонка была запружена. Любимицей зрителей стала «Сикстинская мадонна».

Помню, как остолбенел я в зале среди толпы перед парящим абрисом. Темный фон за фигурой состоит из многих слившихся ангелов, зритель не сразу замечает их. Сотни

зрительских лиц, как в зеркале, отражались в темном стекле картины. Вы видели и очертания мадонны, и рожицы ангелов, и накладывающиеся на них внимательные лица публики. Лица москвичей входили в картину, заполняли ее, сливались, становились частью шедевра.

Никогда, наверное, «Мадонна» не видела такой толпы. «Сик-стинка» соперничала с масскулыурой. Вместе с нею прелестная «Шоколадница» с подносиком, выпорхнув из пастели, на клеенках и репродукциях обежала города и веси нашей страны. «Пьяный силён!» — восхищенно выдохнул за моей спиной посетитель выставки. Под картиной было написано «Пьяный Силен».

Москва была потрясена духовной и живописной мощью Рембрандта, Кранаха, Вермера. «Блудный сын», «Тайная вечеря» входили в повседневный обиход. Мировая живопись и с нею духовная мощь ее понятий одновременно распахнулись сотням тысяч москвичей.

Стихи Пастернака из тетради с шелковым шнурком говорили о том же, о тех же вечных темах — о человечности, откровении, жизни, покаянии, смерти, самоотдаче.

Все мысли веков, все мечты, все миры. Все будущее галерей и музеев...

Теми же великими вопросами мучились Микеланджело, Врубель, Матисс, Нестеров, беря для своих полотен метафоры Старого и Нового завета. Как и у них, решение этих тем в стихах отнюдь не было модернистским, как у Сальватора Дали, скажем. Мастер работал суровой кистью реалиста, в классически сдержанной гамме. Как и Брейгель, рождественское пространство которого заселено голландскими крестьянами, поэт свои фрески заполнил предметами окружавшего его быта и обихода. И в центре всех повествований мой разум ставил его фигуру, его судьбу.

Какая русская, московская даже, Чистопрудная, у него Магдалина, омывающая из ведерка стопы возлюбленного тела!

Жила она у Чистых прудов. Звали ее Ольга Всеволодовна.

Он называл ее Люся. Очень женские воспоминания ее «У времени в плену» пронзительно повествуют о последней любви поэта и его трагической судьбе.

Мне всегда его Магдалина виделась русоволосой, блондинкой по-нашему, с прямыми рассыпчатыми волосами до локтей. Я знал ее, красивую, статную, с восторженно-смеющимися зрачками.

А какой вещий знаток женского сердца написал следующую строфу:

Слишком многим руки для объятья Ты раскинешь по концам креста.

Конечно, о себе он писал, предвидя судьбу. Какой выстраданный вздох метафоры! Какая восхищенная печаль в ней, боль расставания, понимание людского несовершенства в разумении жеста мироздания, какая гордость за высокое предназначение близкого человека и одновременно обмолвившаяся, проговорившаяся, выдавшая себя женская ревность к тому, кто раздает себя людям, а не только ей, ей одной...

Художник пишет жизнь, пишет окружающих, ближних своих, лишь через них постигая смысл мироздания. Сангиной, материалом для письма служит ему своя жизнь, единственное свое существование, опыт, поступки — другого материала он не имеет.

Из всех черт, источников и загадок Пастернака детство — серьезнейшая.

О детство! Ковш душевной глуби! О всех лесов абориген. Корнями вросший в самолюбье, Мой вдохновитель, мой регент!..

И «Сестра моя жизнь», и «Девятьсот пятый год» — это прежде всего безоглядная первичность чувства, исповедь детства, бунт, ощущение мира в первый раз. Как ребенка, вырвавшегося из-под опеки взрослых, он любил Лермонтова, посвятил ему лучшую свою книгу.

Уместно говорить о стиховом потоке его жизни. В нем, этом стиховом потоке, сказанное однажды не раз повторяется, обретает второе рождение, вновь и вновь аукается детство, сквозь суровые фрески проступают цитаты из его прежних стихов.

Все шалости фей, все дела чародеев, Все елки на свете, все сны детворы. Весь трепет затепленных свечек, все цепи, Все великолепье цветной мишуры... ...Все злей и свирепей дул ветер из степи... ...Все яблоки, все золотые шары...

Сравните это с живописным кружащимся ритмом его «Вальса с чертовщиной» или «Вальса со слезой», этих задыхающихся хороводов ребячьей поры:

Великолепие выше сил Туши, и сепии, и белил... Финики, книги, игры, нуга, Иглы, ковриги, скачки, бега.

В этой зловещей сладкой тайге Люди и вещи на равной ноге.

Помню встречу Нового года у него на Лаврушинском. Пастернак сиял среди гостей. Он был и елкой и ребенком одновременно. Хвойным треугольником сдвигались брови Нейгауза. Старший сын Женя, еще храня офицерскую стройность, выходил, как из зеркала, из стенного портрета кисти его матери, художницы Е. Пастернак.

Квартира имела выход на крышу, к звездам. Опасаться можно было всякого: кинжал на стене предназначался не только для украшения, но и для самозащиты.

Стихи сохраняли вещное и вещее головокружительное таинство празднества, скрябинский прелюдный фейерверк.

Лампы задули, сдвинули стулья... Масок и ряженых движется улей... Реянье блузок, пенье дверей, Рев карапузов, смех матерей... И возникающий в форточной раме Дух сквозняка, задувающий пламя...

В елке всегда предощущение чуда. Именно на елке стреляет в своего совратителя юная пастернаковская героиня. «Признайтесь, Андрюша, вам хотелось бы, чтобы она стреляла по другой причине, чтобы она политической была», — поддразнивал он меня при гостях.

Дней рождения своих он не признавал. Считал их датами траура. Запрещал поздравлять. Я исхитрялся приносить ему цветы накануне или днем позже, 9-го или 11-го, не нарушая буквы запрета. Хотел хоть чем-то утешить его.

Я приносил ему белые и алые цикламены, а иногда лиловые столбцы гиацинтов. Они дрожали, как резные — в крестиках — бокалы лилового хрусталя. В институте меня хватало на живой куст сирени в горшке. Как счастлив был, как сиял Пастернак, раздев бумагу, увидев стройный куст в белых гроздьях. Он обожал сирень и прощал мне ежегодную хитрость.

И наконец, каков был ужас моих родителей, когда я, обезьяня, отказался от своего дня рождения и подарков, спокойно заявив, что считаю этот день траурным и что жизнь не сложилась.

...Все злей и свирепей дул ветер из степи... ...Все яблоки, все золотые шары...

Наивно, когда пытаются заслонить поздней манерой Пастернака вещи его раннего и зрелого периода. Наивно, когда, восхищаясь просветленным Заболоцким, зачеркивают «Столбцы». Но без них невозможен аметистовый звон его «Можжевелового куста». Одно прорастает из другого. Без стогов «Степи» мы не имели бы стогов «Рождественской звезды».

* * *

Не раз в стихах той поры он обращается к образу смоковницы. На память приходит пастернаковский набросок, посвященный Лили Харазовой4, погибшей в 20-е годы от тифа. Он есть в архиве грузинского критика Г. Маргвелашвили5.

«Под посредственностью обычно понимают людей рядовых и обыкновенных. Между тем обыкновенность есть живое качество, идущее изнутри и во многом, как это ни странно, отдаленно подобное дарованию. Всего обыкновеннее люди гениальные... И

еще обыкновеннее, захватывающе обыкновенна — природа. Необыкновенна только посредственность, то есть та категория людей, которую издавна составляет так называемый «интересный человек». С древнейших времен он гнушался рядовым делом и паразитировал на гениальности... понимал ее как какую-то лестную исключительность, между тем как гениальность есть предельная и порывистая, воодушевленная собственной бесконечностью правильность»6.

Позже он повторил это в своей речи на пленуме правления СП в Минске в 1936 году.

Вы слышите? «Как захватывающе обыкновенна — природа». Как обыкновенен он был в своей жизни, как истинно соловьино интеллигентен в противовес пустоцветности, нетворческому купеческому выламыванию — скромно одетый, скромно живший, незаметно, как соловей.

Люди пошлые не понимают жизни и поступков поэта, истолковывая их в низкоземном, чаще своекорыстном значении. Они подставляют понятные им категории — желание стать известнее, нажиться, насолить собрату. Между тем как единственно, о чем печалится и молит судьбу поэт, — это не потерять способности писать, то есть чувствовать, способности слиться с музыкой мироздания. Этим никто не может наградить, никто не может лишить этого.

Она, эта способность, нужна поэту не как источник успеха или благополучия и не как вождение пером по бумаге, а как единственная связь его с мирозданием, мировым духом — как выразились бы раньше, единственный сигнал туда и оттуда, объективный знак того, что его жизнь, ее земной отрезок, идет правильно.

В миг, когда дыханьем сплава В слово сплочены слова!

Путь не всегда понятен самому поэту. Он прислушивается к высшим позывным, которые, как летчику, диктуют ему маршрут. Я не пытаюсь ничего истолковывать в его пути: просто пишу, что видел, как читалось написанное им.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи, Но часть было видно отлично отсюда Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи. Как шли вдоль запруды...

Его не понимали. Он обиженно гудел: «Вчера он, вернув мой роман, сказал: "У тебя все написано сумасшедшим языком. Что же, Россия, по-твоему, сумасшедший дом?" Я ответил: "У тебя все написано бездарным языком. Что же, Россия — бездарность?"»

В другой раз смущенно рассказывал, что встретил на дорожке в сумерках одного бесчестного критика и обнял его, приняв за другого. «Потом я перед ним, конечно, извинился за то, что поздоровался по ошибке...»

Тпр-р! Ну, вот и запруда. Приехали. И берег пруда. И ели сваленной бревно. Это все цитаты из его «Нобелевской премии».

Что же сделал я за пакость, Я, убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать Над красой земли моей.

Он до сих пор остается для меня нобелевским лауреатом. Пора ему вернуть премию. Ведь письмо об отказе, созданное под давлением, было написано не им, а его близкими. Он вставил лишь одну фразу. Да и что для художника премии? Главной наградой ему были любовь и признание этого леса, людей, его земли.

Ставил ли он мне голос?

Он просто говорил, что ему нравилось и почему. Так, например, он долго пояснял мне смысл строки: «Вас за плечи держали ручищи эполетов». Помимо точности образа он хотел от стихов дыхания, напряжения времени, сверхзадачи, того, что он называл «сила». Долгое время никто из современников не существовал для меня. Смешны были градации между ними. Он — и все остальные.

Сам же он чтил Заболоцкого. Будучи членом правления СП, он спас в свое время от разноса «Страну Муравию». Твардовского он считал крупнейшим поэтом, чем отучил меня от школьного нигилизма.

Трудно было не попасть в его силовое поле.

Однажды после студенческих военных летних лагерей я принес ему тетрадь новых стихов. Тогда он готовил свое «Избранное». Он переделывал стихи, ополчался против ранней своей раскованной манеры, отбирал лишь то, что ему теперь было близко.

Про мои стихи он сказал: «Здесь есть раскованность и образность, но они по эту сторону грани, если бы они были моими, я бы включил их в свой сборник».

Я просиял.

Сам Пастернак взял бы их! А пришел домой — решил бросить писать. Ведь он бы взял их в свой, значит, они не мои, а его. Два года не писал. Потом пошли «Гойя» и другие, уже мои. «Гойю» много ругали, было несколько разносных статей. Самым мягким ярлыком был «формализм».

Для меня же «Гойя» звучало — «война».

* * *

В эвакуации мы жили за Уралом.

Хозяин дома, который пустил нас, Константин Харитоно-вич, машинист на пенсии, сухонький, шустрый, застенчивый, когда выпьет, некогда увез у своего брата жену, необъятную сибирячку Анну Ивановну. Поэтому они и жили в глуши, так и не расписавшись, опасаясь грозного мстителя.

Жилось нам туго. Все, что привезли, сменяли на продукты. Отец был в ленинградской блокаде. Говорили, что он ранен. Мать, приходя с работы, плакала. И вдруг отец возвращается — худющий, небритый, в черной гимнастерке и с брезентовым рюкзаком.

Хозяин, торжественный и смущенный более обычного, поднес на подносе два стаканчика с водкой и два ломтика черного хлеба с белыми квадратиками нарезанного сала — «со спасеньи-цем». Отец хлопнул водку, обтер губы тыльной стороной ладони, поблагодарствовал, а сало отдал нам.

Потом мы шли смотреть, что в рюкзаке. Там была тускло-желтая банка американской тушенки и книга художника под названием «Гойя».

Я ничего об этом художнике не знал. Но в книге расстреливали партизан, мотались тела повешенных, корчилась война. Об этом же ежедневно говорил на кухне черный бумажный репродуктор. Отец с этой книгой летел через линию фронта. Все это связалось в одно страшное имя — Гойя.

Гойя — так гудели эвакуационные поезда великого переселения народа. Гойя — так стонали сирены и бомбы перед нашим отъездом из Москвы. Гойя — так выли волки за деревней. Гойя — так причитала соседка, получив похоронку, Гойя...

Эта музыка памяти записалась в стихи, первые мои стихи.

* * *

Из-за перелома ноги Пастернак не участвовал в войнах. Но добровольно ездил на фронт, был потрясен народной стихией тех лет. Хотел написать пьесу о Зое Космодемьянской, о школьнице, о войне.

И так как с малых детских лет Я ранен женской долей...

Отношение к женщине у него было и мужским и юношеским одновременно. Такое же отношение у него было к Грузии.

Он собирал материал для романа о Грузии с героиней Ниной, периода первых христиан, когда поклонение богу Луны органически переходило в обряды новой культуры.

Как чувственны и природны грузинские обряды! По преданию, святая Нина, чтобы изготовить первый крест, сложила крест-накрест две виноградные лозы и перевязала их своими длинными срезанными волосами.

В нем самом пантеистическая культура ранней поры переходила в строгую духовность поздней культуры. Как и в жизни, эти две культуры соседствовали в нем.

В его переписке тех лет с грузинской школьницей Мукой, дочкой Ладо Гудиашвили, просвечивает влюбленность, близость и доверие к ее миру. До сих пор в мастерской Гудиашвили под стеклом, как реликвия в музее, поблескивает золотая кофейная чашечка, которой касались губы поэта.

Он любил эти увешанные холстами залы с багратионовским паркетом, где высокий белоголовый художник, невесомый, как сноп света, бродил от картины к картине. Холсты освещались, когда он подходил.

Он скользил по ним, как улыбка.

Выполненный им в молнийной графике лик Пастернака на стене приобретал грузинские черты.

Грузинскую культуру я получил из его рук. Первым поэтом, с которым он познакомил меня, был Симон Иванович Чиковани. Это случилось еще на Лаврушинском. Меня поразил тайный огонь в этом тихом человеке со впалыми щеками над будничным двубортным пиджаком. Борис Леонидович восторженно гудел об его импрессионизме — впрочем, импрессионизм для него обозначал свое, им самим обозначенное понятие — туда входили и Шопен и Верлен. Я глядел на двух влюбленных друг в друга артистов. Разговор между ними был порой непонятен мне — то была речь посвященных, служителей высокого ордена. Я присутствовал при таинстве, где грузинские имена и термины казались символами недоступного мне обряда.

Потом он попросил меня читать стихи. Ах, эти наивные рифмы детства...

На звон трамваев, одурев, облокотились облака...

«Одурев» — было явно из пастернаковского арсенала, но ему понравилось не это, а то, что облака — облокотились. В детских строчках он различил за звуковым — зрительное. Симон Иванович сжимал тонкие бледные губы и, причмокивая языком, задержался на строке, в которой мелькнула девушка и где

...к облакам
мольбою вскинутый балкон.

Таково было мое первое публичное обсуждение. Тогда впервые кто-то третий присутствовал при его беседах со мною.

Верный убиенным Паоло и Тициану7, он и меня приобщил к переводам. Для меня первым переводимым поэтом был Иосиф Нонешвили. И Грузия руками Нонешвили положила в день похорон цветы на гроб Пастернака.

Несколько раз, спохватившись, я пробовал начинать дневник. Но каждый раз при моей неорганизованности меня хватало ненадолго. До сих пор себе не могу простить этого. Да и эти скоропалительные записи пропали в суматохе постоянных переездов. Недавно мои домашние, разбираясь в хламе бумаг, нашли тетрадку с дневником нескольких дней.

Чтобы хоть как-то передать волнение его голоса, поток его живой ежедневной речи, приведу наугад несколько кусков его монологов, как я записал их тогда в моем юношеском дневнике, ничего не исправляя, опустив лишь детали личного плана. Говорил он навзрыд.

* * *

Вот он говорит 18 августа пятьдесят третьего года на скамейке в скверике у Третьяковки. Я вернулся тогда после летней практики, и он в первый раз прочитал мне «Белую ночь», «Август», «Сказку» — все вещи этого цикла.

— Вы долго ждете? — я ехал из другого района — такси не было — вот «пикапчик» подвез — расскажу о себе — вы знаете я в Переделкине рано — весна ранняя бурная странная — деревья еще не имеют листьев а уже расцвели — соловьи начали — это кажется банально — но мне захотелось как-то по-своему об этом рассказать — и вот несколько набросков — правда это еще слишком сухо — как карандашом твердым — но потом надо переписать заново — и Гёте — было в «Фаусте» несколько мест таких непонятных мне склерозных — идет, идет кровь потом деревенеет — закупорка — кх-кх — и оборвется — таких мест восемь в «Фаусте» — и вдруг летом все открылось — единым потоком — как раньше когда «Сестра моя — жизнь» «Второе рождение» «Охранная грамота» — ночью вставал — ощущение силы даже здоровый никогда бы не поверил что можно так работать — пошли стихи — правда Марина Казимировна говорит что нельзя после инфаркта—а другие говорят это как лекарство — ну вы не волнуйтесь — я вам почитаю — слушайте —

А вот телефонный разговор через неделю:

— Мне мысль пришла — может быть в переводе Пастернак лучше звучит — второстепенное уничтожается переводом — «Сестра моя — жизнь» первый крик — вдруг как будто сорвало крышу — заговорили камни — вещи приобрели символичность — тогда не все понимали сущность этих стихов — теперь вещи называются своими именами — так вот о переводах — раньше когда я писал и были у меня сложные рифмы и ритмика — переводы не удавались — они были плохие — в переводах не нужна сила форм — легкость нужна — чтобы донести смысл — содержание — почему слабым считался перевод Холодковского — потому что привыкли что этой формой писались плохие и переводные и оригинальные вещи — мой перевод естественный — как прекрасно издан «Фауст» — обычно книги кричат — я клей! — я бумага! — я нитка! — а здесь все идеально — прекрасные иллюстрации Гончарова — вам ее подарю — надпись уже готова — как ваш проект? — пришло письмо от Завадского — хочет «Фауста» ставить —

— Теперь честно скажите — «Разлука» хуже других? — нет? — я заслуживаю вашего хорошего отношения но скажите прямо — ну да в «Спекторском» то же самое — ведь революция та же была — вот тут Стасик — он приехал с женой — у него бессонница и что-то с желудком — а «Сказка» вам не напоминает Чуковского крокодила? —

— Хочу написать стихи о русских провинциальных городах — типа навязчивого мотива «города» и «баллад» — свет из окна на снег — встают и так далее — рифмы такие де ла рю — служили царю — получится очень хорошо — сейчас много пишу — вчерне все — потом буду отделывать — так как в самые времена подъема — поддразнивая себя прелестью отделанных кусков —

Насколько знаю, стихи эти так и не были написаны.

* * *

Часто в выборе вариантов он полагался на случай, наобум советовался. Любил приводить в пример Шопена, который, запутавшись в вариантах, проигрывал их своей кухарке и оставлял тот, который ей нравился. Он апеллировал к случаю.

Кого-то из его друзей смутила двойная метафора в строфе:

И, как сплавляют по реке плоты, Ко мне на суд, как баржи каравана, Столетья подплывут из темноты.

* Всесоюзное театральное общество.

Он исправил: «...неустанно столетья поплывут из темноты...» Я просил его оставить первозданное. Видно, он и сам был склонен к этому, — он восстановил строку. Уговорить сделать что-то против его воли было невозможно.

Стихи «Свадьба» были написаны им в Переделкине. Со второго этажа своей башни он услышал частушечный перебор, донесшийся из сторожки. В стихи он привнес черты городского пейзажа.

Гости, дружки, шафера
С ночи на гулянку
В дом невесты до утра
Забрели с тальянкой...
Сваха павой проплыла, поводя боками...

На другой день он позвонил мне. «Так вот, я Анне Андреевне объяснял, как зарождаются стихи. Меня разбудила свадьба. Я знал, что это что-то хорошее, мысленно перенесся туда, к ним, а утром действительно оказалась — свадьба» (цитирую по дневнику). Он спросил, что я думаю о стихах. В них плеснулась свежесть сизого утра, молодость ритма. Но мне, студенту 50-х, казались чужими, архаичными слова «сваха», «дружки»; «шафера» аукались с «шоферами». Вероятно, я лишь подтвердил его собственные сомнения. Он по телефону продиктовал мне другой вариант. «Теперь насчет того, что вы говорите — старомодно. Записывайте. Нет, погодите, мы и сваху сейчас уберем. В смысле шаферов даже лучше станет, так как место конкретнее обозначится: "Пересекши глубь двора..."»

Может быть, он импровизировал по телефону, может быть, вспомнил черновой вариант. В таком виде эти стихи и были напечатаны. Помню, у редактора вызвала опасения строка: «Жизнь ведь тоже только миг... только сон...» Теперь это кажется невероятным.

В первую нашу встречу он дал мне билет в ВТО*, где ему предстояло читать перевод «Фауста». Это было его последнее публичное чтение8.

Сначала он стоял в группе, окруженный темными костюмами и платьями, его серьги проглядывал сквозь них, как смущенный просвет северного неба сквозь стволы деревьев. Его выдавало сиянье.

Потом стремительно сел к столу. Председательствовал М. М. Морозов, тучный, выросший из серовского курчавого мальчугана, — Мика Морозов. Пастернак читал сидя, в очках. Замирали золотые локоны поклонниц. Кто-то конспектировал. Кто-

то выкрикнул с места, прося прочесть «Кухню ведьм», где, как известно, в перевод были введены подлинные тексты колдовских наговоров. В Веймаре в архиве можно видеть, как масон и мыслитель Гете изучал труды по кабалистике, алхимии и черной магии.

Пастернак отказался читать «Кухню». Он читал места пронзительные.

Им не услышать следующих песен, Кому я предыдущие читал... Непосвященных голос легковесен, И, признаюсь, мне страшно их похвал, А прежние ценители и судьи Рассеялись, кто где, среди безлюдья.

Его скулы подрагивали, словно треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом.

Вы снова здесь, изменчивые тени, Меня тревожившие с давних пор. Найдется ль наконец вам воплощенье. Или остыл мой молодой задор?.. Ловлю дыханье ваше грудью всею И возле вас душою молодею.

По мере того как читал он, все более и более просвечивал сквозь его лицо профиль ранней поры, каким его изобразил Кир-нарский. Проступали сила, порыв, решительность и воля мастера, обрекшего себя на жизнь заново, перед которой опешил

даже Мефистофель — или как его там? — «царь тьмы. Воланд, повелитель времени, царь мышей, мух, жаб».

Вы воскресили прошлого картины, Былые дни, былые вечера. Вдали всплывает сказкою старинной Любви и дружбы первая пора. Пронизанный до самой сердцевины Тоской тех лет и жаждою добра...

Ну да, да, ему хочется дойти до сущности прошедших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины.

И я прикован силой небывалой К тем образам, нахлынувшим извне, Эоловою арфой прорыдало Начало строф, родившихся вчерне.

Это о себе он читал, поэтому и увлек его «Фауст» — не для заработка же одного он переводил и не для известности: он искал ключ ко времени, к возрасту, это он о себе писал, к себе прорывался, и Маргарита была его, этим он мучился, время хотел обновить, главное начиналось, «когда он — Фауст, когда — фантаст»...

Тогда верни мне возраст дивный, Когда все было впереди И вереницей беспрерывной Теснились песни на груди,—

недоуменно и требовательно прогудел он репризу Поэта.

Думаю, если бы ему был дан фаустовский выбор, он начал бы второй раз не с двадцатилетнего возраста, а опять четырнадцатилетним. Впрочем, никогда он им быть и не переставал.

«Вот и все», — очнулся он, запахнув рукопись. Обсуждения не было. Он виновато, как бы оправдываясь, развел руками, потому что его уже куда-то тащили, вниз, верно в ресторан. Шторки лифта захлопнули светлую полоску неба.

Не ^ *

В Веймаре, на родине Гёте, находящийся на возвышенности крупный объем гетевского дворца неизъяснимой тайной композиции связан с крохотным вертикальным объемом домика его юности, который, как садовая статуэтка, стоит один в низине, в отдалении. В половодье воды иногда подступают к нему. Своей сердечной тягой большой дворец обращен к малому. Этот мировой закон притяжения достиг заповедной своей точки в композиции белого ансамбля большого Владимирского собора и находящейся в низине вертикальной жемчужины на Нерли. Когда проходишь между ними, тебя как бы пронизывают светлые токи обоюдной любви этих белоснежных шедевров, обращенных друг к другу — большого к малому.

Море мечтает о чем-нибудь махоньком, Вроде как сделаться птичкой колибри...

Так же гигантский серый массив дома в Лаврушинском был сердечно обращен к переделкинской даче.

Через несколько лет полный перевод «Фауста» вышел в Гос-лите. Он подарил мне этот тяжелый вишневый том. Подписывал он книги несуетно, а обдумав, чаще на следующий день. Вы сутки умирали от ожидания. И какой щедрый новогодний подарок ожидал вас назавтра, какое понимание другого сердца, какой аванс на жизнь, на вырост. Какие-то слова были стерты резинкой и переписаны сверху. Он написал на «Фаусте»: «Второе января 1957 года, на память о нашей встрече у нас дома 1-го января. Андрюша, то, что Вы так одарены и тонки, то, что Ваше понимание вековой преемственности счастья, называемой искусством, Ваши мысли, Ваши вкусы, Ваши движения и пожелания так часто совпадают с моими, — большая радость и поддержка мне. Верю в Вас, в Ваше будущее. Обнимаю Вас — Ваш Б. Пастернак».

Ровно десять лет до этого, в январе 1947 года, он подарил мне первую свою книгу. Надпись эта была для меня самым щедрым подарком судьбы.

* * *

Последние годы много болел. Травля добила его.

Я навещал его в Боткинской больнице9. Принес почитать «Сагу о Форсайтах». Он добросовестно прочитал и пошутил, возвращая: «Пока читаешь его, можно было свою книгу написать...»

Он написал мне из Боткинской: «Я — в больнице. Слишком часто стали повторяться эти жестокие заболевания. Нынешнее совпадало с Вашим вступлением в литературу, внезапным, стремительным, бурным. Я страшно рад, что до него дожил. Я всегда любил Вашу манеру видеть, думать, выражать себя. Но я не ждал, что ей удастся быть услышанной и признанной так скоро. Тем более я рад этой неожиданности и Вашему торжеству... Так все это мне близко...»

Тогда же, в больнице, он подарил свое фото: «Андрюше Вознесенскому в дни моей болезни и его бешеных успехов, радостность которых не мешала мне чувствовать мои мучения...»

Какой стыд охватил меня за свое здоровое сердце, ноги, лыжи, за свой возраст и ужас невозможности передать это другой, самой дорогой для меня жизни!..

Художники уходят без шапок, будто в храм, в гудящие угодья к березам и дубам...

Я знал его в течение четырнадцати лет. Сколько раз слова его подымали и спасали меня, и какая горечь, боль всегда ощущается за этими словами.

* * *

В поздних стихах его все больше становится живописи, пахнет краской — охрой, сепией, белилами, сангиной, — его тянет к запахам, окружавшим когда-то его в отцовской студии, тянет туда, где

Мне четырнадцать лет. Вхутемас
Еще — школа ваянья. В том крыле, где рабфак, Наверху
Мастерская отца...

Он окантовывает работы отца, развешивает их по стенам дома, причем имейно иллюстрации к «Воскресению», именно Катюшу и Нехлюдова — ему так близка идея начать новую жизнь. Он будто хочет вернуться в детство, все начать набело, сначала, задумал переписать заново весь сборник «Сестра моя — жизнь», он говорит, что точно помнит ощущения той поры, давшие импульсы к каждому стихотворению, переделывает несколько раз вещи тридцатилетней давности, не стихи перекраивает — жизнь свою хочет переделать. Поэзию от жизни он никогда не отделял.

Мне четырнадцать лет...
Где столетняя пыль на Диане и холсты...
В классах яблоку негде упасть...

Он одобрял мое решение поступить в Архитектурный, не очень-то жалуя окололитературную среду. Архитектурный находился именно там, где был когда-то Вхутемас, а наша будущая мастерская, которая потом сгорела, помещалась именно «в том крыле, где рабфак» и «где наверху мастерская отца»...

Брат его Александр Леонидович преподавал конструкции в нашем институте.

Я рассказывал ему об институте. Мы все были ошеломлены импрессионистами и новой живописью, залы которой после многолетнего перерыва открылись в Музее имени Пушкина. Это совпадало с его ощущением от открытия щукинского собрания, когда он учился. Кумиром моей юности был Пикассо. Замирая, мы смотрели документальный фильм Клузо, где полуголый мэтр фломастером скрещивал листья с голубями и лицами. Думал ли я, сидя в темной аудитории, что через десять лет буду читать свои стихи Пикассо, буду гостить в его мастерской и что напророчат мне на его подрамниках взбесившийся лысый шар и вскинутые над ним черные треугольники локтей?..

«Как ваш проект?» — записан у меня в дневнике пастерна-ковский вопрос. Расспрашивая о моем житье-бытье, он как бы возвращался туда, к началу начал.

Дни и ночи Открыт инструмент. Сочиняй хоть с утра.

Окликая детские свои музыкальные сочинения, как бы вспомнив сказанные ему Скрябиным слова о вреде импровизации, он возвращается к своей ранней «Импровизации», вы помните?

Я клавишей стаю кормил с руки Под хлопанье крыльев, плеск и клекот. Я вытянул руки, я встал на носки, Рукав завернулся, ночь терлась о локоть. И было темно. И это был пруд. И волны. — И птиц из породы люблю вас, Казалось, скорей умертвят, чем умрут • Крикливые, черные, крепкие клювы.

Может быть, как в его щемящем «пью горечь тубероз», в музыке этой, в этом «люблю вас» ему послышалась северянинская мелодия? Он молодел, когда говорил о Северянине. Рассказывал, как они юными, с Бобровым кажется, пришли брать автограф к Северянину. Их попросили подождать в комнате. На диване лежала книга лицом вниз. Что читает мэтр? Рискнули перевернуть. Оказалось — «Правила хорошего тона».

Много лет спустя директор игорного дома «Цезарь Палас» в Лас-Вегасе, рослый выходец из Эстонии, коротко Знавший Северянина, покажет мне тетрадь стихов, исписанную фиолетовым выцветшим почерком Северянина, с дрожащим нажимом, таким нелепо трепетным в век шариковых авторучек.

Как хороши, как свежи будут розы, Моей страной мне брошенные в гроб!

Расплывшаяся, дрогнувшая буковка «х», когда-то прихлопнутая страницами, выцвела, похожая на засушенный между листьями лиловато-прозрачный крестик сирени, увы, опять не пятипалый...

Вышедший недавно томик Северянина не особенно удачен. В нем смикширована как вызывающая безвкусица, так и яркий характер, лиризм поэта, музыкально отозвавшийся даже в ранних Маяковском и Пастернаке, не говоря уже о Багрицком и Сель-винском.

Поздний Пастернак много работал над чистотой стиля.

В одном из своих прежних стихов он сменил «манто» на «пальто». Он переписал и «Импровизацию». Теперь она называлась «Импровизация на рояле».

Я клавишей стаю кормил с руки Под хлопанье крыльев, плеск и гогот. Казалось, — все знают, казалось, — все могут Кричавших кругом лебедей вожаки.

И было темно, и это был пруд И волны; и птиц из семьи горделивой, Казалось, скорей умертвят, чем умрут Крикливо дробившиеся переливы.

Как по-новому мощно! Стало строже по вкусу. Но что-то ушло. Может быть, художник не имеет права собственности над созданными вещами? Что, если бы Микеланджело все время исправлял своего Давида в соответствии со все совершенствующимся своим вкусом?

Художники часто отшатываются от созданного ими, считая прошлое свое греховным, ошибочным. Это говорит о силе духа, но ни в коем случае не может отменить созданий. Так было с Толстым. Такова аскеза позднего Заболоцкого. Возраст жаждет второго рождения. В 1889 году, получив приглашение участвовать в выставке «Сто лет французского изобразительного искусства», Ренуар ответил: «Я объясню вам одну простую вещь: все, что я сделал до сих пор, я считаю плохим, и мне было бы чрезвычайно неприятно увидеть все это на выставке». Этим «плохим» казались ему и зелено-розовая Самари, и жемчужная спина Анны, и «Качели» — то есть «весь Ренуар», — к счастью, он не мог уже ни уничтожить их, ни переписать в «энгровской» или новой красно-коричневой манере.

Пастернак пытался побороть прошлого Пастернака — «с самим собой, самим собой».

Жаль и знаменитой изруганной строки. Она стала притчей во языцех после сурковского разноса.

Это — сладкий заглохший горох, Это — слезы вселенной в лопатках...

Лопатками в давней Москве называли стручки гороха. Наверное, это сведение можно было бы оставить в комментариях, как сведение о пушкинском брегете. Но, видно, критические претензии извели его, и под конец жизни строка была исправлена:

Это — слезы в стручках и лопатках...

Он был тысячу раз прав. Но что-то ушло. «Есть речи — значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно». Невозвратимо жаль ушедших строк, как, может быть, глупо, но жаль некоторых исчезнувших староарбатских переулков.

Вообще в его работе было много от Москвы с ее улицами, домами, мостовыми, которые вечно перестраиваются, перекраиваются, всегда в лесах.

Пастернак очень московский поэт. В нем запутанность переулков, замоскворецких, Чистопрудных проходных дворов, снесенных колоколен, Воробьевых гор, их язык, этот быт, эти фортки, городские липы, эта московская манера ходить — «как всегда нараспашку пальтецо и кашне на груди».

В московские особняки Врывается весна нахрапом...

Москва вся как бы нарисована от руки, полна живой линии, языкового просторечья, вольного смешения стилей, ампир уживается рядом с ропетовским модерном и архаикой конструктивизма (восемьсот лет, а все — подросток!), да и дома в ней как-то не строятся, а зарастают кварталы, как разросшиеся деревья или кустарники.

В отличие от Северной Пальмиры, которая вся чудодейственно образована по линейке и циркулю, с ее «постоянством геометра», классицизмом, — московская школа культуры, как и образа жизни, стихийнее, размашистей, идет от византийской орна-ментальности и близка к самой живой стихии языка.

Все дымкой сказочной подернется, Подобно завиткам по стенам В боярской золоченой горнице И на Василии Блаженном.

Мэтром его был Андрей Белый — москвич по духу и художественному мышлению. Особенно он ценил сборник «Пепел». Он объяснял мне как-то, что жалеет, что разминулся с Блоком, ибо тот был в Петрограде. Впрочем, деление на поэтов московских и петербургских условно, так, например, в «Двенадцати» Блока уже гуляет «московская» струя. Детская тяга к Блоку сказывалась и в пастернаковском определении поэта. Он сравнивает его с елкой, горящей через замороженное узорами окно. Так и видишь мальчика, с улицы глядящего на елку сквозь морозное стекло...

Весна! Не отлучайтесь Сегодня в город. Стаями По городу, как чайки, Льды раскричались, таючи.

* * *

Мы шли с ним от Дома ученых через Лебяжий по мосту к Лаврушинскому. Шел ледоход. Он говорил всю дорогу о Толстом, об уходе, о чеховских мальчиках, о случайности и предопределенности жизни. Его шуба была распахнута, сбилась набок его серая каракулевая шапка-пирожок, нет, я спутал, это у отца была серая, у него был черный каракуль, — так вот он шел легкой, летящей походкой опытного ходока, распахнутый, как март в его стихотворении, как Москва вокруг. В воздухе была талая слабость снега, предвкушение перемен.

Как не в своем рассудке,

Как дети ослушанья...

Прохожие, оборачиваясь, принимали его

за пьяного.

«Надо терять, — он говорил. — Надо терять, чтобы в жизни был вакуум. У меня только треть сделанного сохранилась. Остальное погибло при переездах. Жалеть не надо...» Я напомнил ему, что у Блока в записях есть место о том, что надо терять. Это когда поэт говорил о библиотеке, сгоревшей в Шахматове. «Разве? — изумился он. — Я и не знал. Значит, я прав вдвойне». Мы шли проходными дворами.

У подъездов на солнышке млели бабушки, кошки и блатные. Потягивались после ночных трудов. Они провожали нас затуманенным благостным взглядом.

О, эти дворы Замоскворечья послевоенной поры! Если бы меня спросили: «Кто воспитал ваше детство помимо дома?» — я бы ответил: «Двор и Пастернак».

4-й Щипковский переулок! О, мир сумерек, трамвайных подножек, буферов, игральных жосточек, майских жуков — тогда на земле еще жили такие существа. Стук консервных банок, которые мы гоняли вместо мяча, сливался с визгом «Рио-риты» из окон и стертой, соскальзывавшей лещенковской «Муркой», записанной на рентгенокостях.

Двор был котлом, клубом, общиной, судилищем, голодным и справедливым. Мы были мелюзгой двора, огольцами, хранителями его тайн, законов, его великого фольклора. Мы знали все. У подъезда стоял Шнобель. Он сегодня геройски обварил руку кипятком, чтобы получить бюллетень на неделю. Он только стиснул зубы, окруженный почитателями, и поливал мочой на вспухшую пунцовую руку. По новым желтым прохарям на братанах Д. можно было догадаться о том, кто грабанул магазин на Мытной.

Во дворе постоянно что-то взрывалось. После войны было много оружия, гранат, патронов. Их, как грибы, собирали в подмосковных лесах. В подъездах старшие тренировались в стрельбе через подкладку пальто.

Где вы теперь, кумиры нашего двора — Фикса, Волыдя, Шка, небрежные рыцари малокозырок? Увы, увы...

Лифты не работали. Главной забавой детства было, открыв шахту, пролететь с шестого этажа по стальному крученому тросу, обернув руки тряпкой или старой варежкой. Сжимая со всех сил или слегка отпустив трос, мы могли регулировать скорость движения. В тросе были стальные заусенцы. На финише варежка стиралась, дымилась и тлела от трения. Никто не разбивался.

Игра называлась «жосточка».

Медную монету обвязывали тряпицей, перевязывали ниткой сверху, оставляя торчащий султанчик — как завертывается в бумажку трюфель. Жосточку подкидывали внутренней стороной ноги, «щечкой». Она падала грязным грузиком вниз. Чемпион двора ухитрялся доходить до 160 раз. Он был кривоног и имел ступню, подвернутую вовнутрь. Мы ему завидовали.

О, незабвенные жосточки — трюфели военной поры!..

Шиком старших были золотые коронки — «фиксы», которые ставились на здоровые зубы, а то и зашитые под кожу жемчужины. Мы же довольствовались наколками, сделанными чернильным пером.

Приводы в милицию за езду на подножках были обычным явлением. Родители целый день находились на работе. Местами наших сборищ служили чердак и крыша. Оттуда было видно всю Москву, и оттуда было удобно бросить патрон с гвоздиком, подвязанным под капсюль. Ударившись о тротуар, сооружение взрывалось. Туда и принес мне мой старший приятель Жирик первую для меня зеленую книгу Пастернака.

Пастернак внимал моим сообщениям об эпопеях двора с восхищенным лицом сообщника. Он был жаден до жизни в любых ее проявлениях.

Сейчас понятие двора изменилось. Исчезло понятие общности, соседи не знают друг друга по именам даже. Недавно, наехав, я не узнал Щипковского. Наши святыни

— забор и помойка — исчезли. На скамейке гитарная группа подбирала что-то. Уж не «Свечу» ли, что горела на столе?..

Так же благодаря изящной мелодии впорхнуло в быт страны цветаевское: «Мн^ нравится, что вы больны не мной».

* * *

Когда-то, говоря в журнале «Иностранная литература» о переводах Пастернака и слитности культур, я целиком процитировал его «Гамлета» (так впервые было напечатано это стихотворение)10. Не то машинистка ошиблась, не то наборщик, не то «Аве, Оза» повлияло, но. в результате опечатки «авва отче» предстало с латинским акцентом как «аве, отче». С запозданием восстанавливаю правильность текста:

Если только можно, авва Отче, Чашу эту мимо пронеси...

Эта нота как эхо отзывается в соседнем стихотворении:

Чтоб эта чаша смерти миновала, В поту кровавом он молил Отца.

Недавно тбилисский Музей дружбы народов11 приобрел архив Пастернака. С волнением, как старого знакомого, я встретил первоначальный вариант «Гамлета», заученный мной по изумрудной тетрадке. В том же архиве я увидел под исходным номером мое детское письмо Пастернаку. В двух строфах «Гамлета» уже угадывается гул, предчувствие судьбы.

Вот я весь. Я вышел на подмостки, Прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске То, что будет на моем веку. Это шум вдали идущих действий. Я играю в них во всех пяти. Я один. Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить — не поле перейти.

Поле соседствовало с его переделкинскими прогулками.

В часы стихов и скорби, одетый, как местный мастеровой или путевой обходчик, в серую кепку, темно-синий габардиновый прорезиненный плащ на изнанке в мелкую черно-белую клеточку, как тогда носили, а когда была грязь, заправив брюки в сапоги, он выходил из калитки и шел налево, мимо поля, вниз, к роднику, иногда переходя на тот берег.

Смерть глядела через поле. Она казалась спасеньем от облавы. Он предлагал Ольге вместе покончить с собой. Здесь он написал, «как зверь в загоне»:

Но и так, почти у гроба Верю я, придет пора — Силу подлости и злобы Одолеет дух добра.

Чувственное поле ручья, серебряных ив, думы леса давали настрой строке. С той стороны поля к его вольной походке приглядывались три сосны с пригорка. Сквозь ветки аллеи крашеная церковка горела как печатный пряник. Она казалась подвешенной под веткой золотой елочной игрушкой. Там была дачная резиденция патриарха. Иногда почтальонша, перепутав на конверте «Патриарх» и «Пастернак», приносила на дачу поэта письма, адресованные владыке. Пастернак забавлялся этим, сияя как дитя.

...Все яблоки, все золотые шары...

...Все злей и свирепей дул ветер из степи...

* * *

Хоронили его 2 июня.

Помню ощущение страшной пустоты, охватившее в его даче, до отказа наполненной людьми. Только что кончил играть Рихтер.

Все плыло у меня перед глазами. Жизнь потеряла смысл. Помню все отрывочно. Говорили, что был Паустовский, но пишу лишь о том немногом, что видел тогда. В памяти тарахтит межи-ровский «Москвич», на котором мы приехали.

Метнулась Ольга, я обнял ее.

Писателей было всего несколько. Кое-кто прислал своих жен, иные, прячась, наблюдали из-за калиток. Передавали слух об обмороке Федина.

Его несли на руках, отказавшись от услуг гробовоза, несли от дома, пристанища его жизни, огибая знаменитое поле, любимое им, несли к склону под тремя соснами, в который он сам вглядывался когда-то.

Дорога шла в гору. Был ветер. Летели облака. На фоне этого нестерпимо синего дня и белых мчавшихся облаков врезался его профиль, обтянутый бронзой, уже чужой и осунувшийся. Он чуть подрагивал от неровностей дороги.

Перед ним плелась ненужная машина. Под ним была скорбная неписательская толпа — приехавшие и местные жители, свидетели и соседи его дней, зареванные студенты, героини его стихов. В старшем его сыне Жене отчаянно проступили черты умершего. Каменел Асмус. Щелкали фотокамеры. Деревья вышли из оград, пылила горестная земная дорога, по которой он столько раз ходил на станцию.

Кто-то наступил на красный пион, валявшийся на обочине.

На дачу я не вернулся. Его там не было. Его больше нигде не было.

Был всеми ощутим физически Спокойный голос чей-то рядом. То прежний голос мой провидческий Звучал, не тронутый распадом...

** *

Помню, я ждал его на другой стороне переделкинского пруда у длинного дощатого мостика, по которому он должен был перейти. Обычно он проходил здесь около шести часов. По нему сверяли время.

Стояла золотая осень. Садилось солнце и из-за леса косым лучом озаряло пруд, мостик и края берега. Край пруда скрывала верхушка ольхи.

Он появился из-за поворота и приближался не шагая, а как-то паря над прудом. Только потом я понял, в чем было дело. Поэт был одет в темно-синий прорезиненный плащ. Под плащом были палевые миткалевые брюки и светлые брезентовые туфли. Такого же цвета и тона был дощатый свежеструганый мостик. Ноги поэта, шаг его сливались с цветом теса. Движение их было незаметно.

Фигура в плаще, паря, не касаясь земли, над водой приближалась к берегу. На лице блуждала детская улыбка недоумения и восторга.

Оставим его в этом золотом струящемся сиянии осени, мой милый читатель.

Поймем песни, которые он оставил нам.

Николай Любимов

БОРИС ПАСТЕРНАК

ИЗ КНИГИ «НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ»

...Вся земля была ему наследством, А он его со всеми разделил.

Анна Ахматова

Все дальше и дальше уплывает в даль прошлого день его похорон, но все ощутимее боль, что нет его с нами, и духовный облик его от времени лишь хорошеет, и все беззакатней, все праздничнее и животворней исходит от него и от его поэзии свет.

...Впервые я увидел Пастернака мельком, перед самой войной, на лестнице Гослитиздата, помещавшегося тогда в Большом Черкасском переулке. Узнал я его мгновенно.

Эренбург поделился с читателями своим впечатлением: когда в Париже Андре Жид впервые увидел Пастернака, то у Жида было такое выражение лица, как будто навстречу ему шла сама Поэзия. Разумеется, я не знаю, какое у меня в тот момент было выражение лица, но что я воспринял приближение Пастернака именно как приближение самой Поэзии — это я помню отлично.

А ведь у Пастернака не было ничего от небожителя: и походка-то у него была косолапая, и гудел-то он, как майский жук, проводя звук через нос, произнося «с» с легким присвистом и вдруг срываясь на почти визгливые ноты, и смеялся-то он, обнажая редкие, но крупные лошадиные зубы, и держался-то с полнейшей непри-

нужденностью, хотя и без малейшей развязности, без малейшего амикошонства даже с самыми близкими своими друзьями, но всегда и везде — как у себя дома.

Ощущение приближения самой Поэзии возникало у меня потом при каждой встрече с Пастернаком, даже когда мы были коротко знакомы, ощущение ее безыскусственного очарования, в которое вплеталась детскость грусти и веселья, лукавинки и озорства.

Летом 1941 года мне дали довольно бледный экземпляр отпечатанных на машинке новых тогда для меня стихотворений Пастернака, написанных им перед войной. И хотя время, казалось бы, совсем было неподходящее для упоения звоном лир, ибо читал я эти стихи под грохот зениток в Болшеве, куда уезжал к знакомым отдыхать от дежурств на крыше, я был обрадован, как при беседе с человеком, который давно тебя чем-то пленил, но с которым до сей поры ты никак не мог найти общий язык, и вдруг... Наконец-то! Средостения более нет. Ах, Боже мой, — думалось мне, — какой же это дивный поэт, какой русский и какой в то же время всечеловеческий!.. И с какой чудесной неожиданностью случилось с ним это преображение!

Торжественное затишье, Оправленное в резьбу, Похоже на четверостишье О спящей царевне в гробу.

И белому мертвому царству, Бросавшему мысленно в дрожь, Я тихо шепчу: «Благодарствуй, Ты больше, чем просят, даешь».

(«Иней»)

Последние две строки я тихо шептал потом всюду, где родная природа особенно ненаглядна.

...Война продолжалась. До меня доходили обрывки разговоров Пастернака с Богословским1. Кто-то сказал во время обеда в Клубе писателей Пастернаку, что тот удивительно вел себя в Чистополе, оказывая помощь кому и чем мог. На это Пастернак ответил:

— Ну, это пустяки. Хотя вообще я убежден, что если бы власть у нас в стране перешла ко мне и к моим друзьям, народу стало бы жить неизмеримо легче.

И это на всю союз-писательскую харчевню, где шпики сидели, да и сейчас посиживают, чуть не за каждым и не под каждым столом!

Или — там же и не менее гулко:

— Я люблю советского человека, но только ночью, на крыше, во время бомбежки, но это потому, что тогда все вообще напоминает вечера на хуторе близ Диканьки!

Кстати сказать, все лето 1941 года Пастернак неукоснительно дежурил, когда ему это полагалось по расписанию, на крыше «Лаврушинского дома», меж тем как пламенный советский патриот Асеев, откликавшийся в газетах едва ли не на каждую годовщину Красной Армии лефовско-барабанной дробью, мигом выкатился из Москвы, едва лишь загрохотали первые гитлеровские орудия, меж тем как Луговской, Кирсанов и другие, задолго до войны призывавшие в своих стихах читателей держать порох сухим, нанимали вместо себя дежурить кого-либо из простонародья, а пролетарский писатель-коммунист Федор Гладков, игравший роль, как в «Анатэме» Леонида Андреева, «некоего ограждающего» вход в бомбоубежище, властной рукой пытаясь оттолкнуть постороннюю женщину, объявил ей: «Здесь только для писателей!»; женщина в свою очередь оттолкнула его еще более мощной, рабочей мозолистой рукой и, второпях приняв его за существо одного с нею пола, на что физиономия и прическа Гладкова давали ей некоторые основания, проговорила: «Пошла ты к черту, старая б..!» — и благополучно проникла в привилегированное бомбоубежище.

Пастернаку не терпелось, чтобы Сталин и Гитлер столкнулись лбами.

— Скорей бы пятый акт! — говорил он летом 42-го года Богословскому.

Время было полуголодное. Многие писатели осаждали приемные начальников литературного департамента — Фадеева и Ско-сырева2, а потом, после смены кабинета в 44-м году, Тихонова и партработника Поликарпова3, прозванного писателями «Полит-карповым», и чего-то выпрашивали: кто — талончиков на завтрак, кто — талончиков на ужин, кто — «литерной карточки», кто — «абонемент». Пастернак сочинил эпиграмму «На советского поэта» и прочел Богословскому, а тот запомнил:

На поэта непохожий, Ты не Фидий, не Пракситель. Ты — в прихожей у вельможи Изолгавшийся проситель.

Но вот уже наметился исход войны, роковой для гитлеризма. Пастернак выехал на фронт. Затем стали появляться в печати его фронтовые стихи. Такие его строки, как «Нас время балует победами...», не будили в моей душе сочувственного отклика, более того, они меня отталкивали, во-первых, потому, что я помнил его совсем недавние высказывания, а во-вторых, за этими победами я уже прозревал эру новых злодеяний, чинимых упивающимся своим торжеством деспотом, — торжеством, завоеванным ему людьми, в семьях у которых кого-нибудь да выбило грозой ежов-щины. Я был уверен, что Чехия, Моравия и Сербия4, за которых радовался Пастернак в другой своей оде, попадут из гитлеров-ско-гиммлеровского огня в сталинско-бериевское полымя. Кстати сказать, сам Борис Леонидович впоследствии в разговоре со мной дал достодолжную оценку и надлежащее истолкование этим своим стихам. Но об этом — чуть-чуть позже.

Весной 1944 года Пастернак читал в Клубе писателей, в старом здании, в восьмой комнате на антресолях, свой перевод «Антония и Клеопатры», заказанный ему Вл. Ив. Немировичем-Данченко.

Во время публичных выступлений Пастернак держал себя до того по-семейному, до того по-родственному, что казалось, кончится вечер — и он всех слушателей пригласит к себе или пойдет в гости к кому-нибудь из нас.

В тот вечер, когда Пастернак читал свой перевод «Антония и Клеопатры», я впервые увидел, с какой ненаигранной, врожденной непринужденностью держит он себя «на публике», и впервые услышал, с какой выразительностью, достигаемой, на первый взгляд, самыми простыми средствами, почти не меняя тембра голоса, воссоздает всю партитуру трагедии.

Эдуард Багрицкий пел и свои и чужие стихи, что отнюдь не смазывало их живописности и не затемняло их смысла. Пастернак как бы рассказывал стихи, что отнюдь не заглушало бурления их ритмического потока и, так же как у Багрицкого, не заволакивало очертаний, не разжижало красок и не скрадывало биения мысли.

7 июня 1944 года в том же Клубе, но уже в тогдашнем большом зале, где теперь ресторан, состоялся особый вечер — вечер «ранних стихов» Антокольского, Пастернака, Тихонова, Сельвинского. Сюда же затесался (наш пострел тогда везде поспевал) и Эренбург, похожий на Соломона из пушкинского «Скупого рыцаря», но только преуспевшего, и читал изысканно-пустопорожние, захолустно-декадентские стихи.

Украшением вечера явился Сергей Городецкий, внезапно вновь вломившийся в непролазную языческую чащобу, запрыскавший золочеными стрелами, загрохотавший перуньими громами, показавший нам прячущихся за мшистыми пнями и корягами чертяк и колдунов.

Пастернак нарушил жанр вечера. Он прочел для проформы несколько широко известных ранних своих стихотворений, вроде: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», а затем, попросив позволения прочесть отрывки из новой вещи, прочел «Зарево», но, кажется, тогда он называл эту вещь «Отпускник». Поэма так и осталась незаконченной5. Мне она тогда же показалась еще одним «скрипичным капричьо».

Дополыхивает, дотлевает единственная в истории человечества война, война, тем именно и страшная и не похожая ни на какую другую, что она шла не только на фронте, с врагом подлинным, с врагом внешним, но и в тылу, с крестьянами, с интеллигентами, с обывателями, а лучший поэт русской современности Борис Пастернак отделывается описанием бытовых и сердечных неурядиц у отпускника и восклицаниями, заимствованными из газетных передовиц:

А горизонты с перспективами! А новизна народной роли!

Возвращаясь с «вечера ранних стихов», я поделился своими грустными впечатлениями с моим спутником Богословским:

— А ведь король-то гол! Ему нечего сказать о нашем страшном времени, хотя бы и при помощи эзопова языка.

Николай Вениаминович скрепя сердце вынужден был согласиться.

Любопытно, что у меня ничего не осталось в голове из «Отпускника». Мне запомнилось чтение Пастернака — опять-таки не пошло-актерское и не завывально-поэтическое, совсем особенное, сложное в своей видимой простоте, и опять-таки его живая манера общения со слушателями, как со своими добрыми знакомыми. Перед тем как начать чтение, он извинился за то, что будет плохо читать, оттого что в квартире у него ремонт, он живет у друзей, и всю ночь не спал, оттого что его немилосердно, поедом ели клопы. Подобные предуведомления, как я убедился с течением времени, никогда не были у Пастернака заигрыванием с публикой, оригинальничаньем или манерничаньем — нет, так просто и открыто — повторяю — держал он себя со всеми, кроме «начальства» и кроме «шеренги подлипал», в разговоре с которыми у него могли внезапно появиться и высокомерные, и презрительные, и гневные ноты.

Вывод, сделанный мной после «вечера ранних стихов», был, само собой разумеется, вывод скороспелый, но в оправдание себе я должен сказать, что и самые близкие ему поэты начинали тогда тревожиться за поэтическое будущее Пастернака. Когда Пастернак сообщил Ахматовой, что собирается переводить «Фауста», она с дружеской укоризной в голосе заметила, что ему пора создать своего собственного «Фауста». Поздний Пастернак ответил маловерам «Стихами из романа» и книгой «Когда разгуляется» — все это принадлежит к лучшему, что человек когда-либо писал о Боге, о природе и о самом себе.

Мое знакомство с Пастернаком произошло в Гослитиздате летом 1943 года, все в том же Большом Черкасском переулке, на третьем этаже. Я тогда редактировал однотомник произведений Федерико Гарсия Лорки, и заведующий отделом иностранной литературы Борис Леонтьевич Сучков попросил меня привлечь к этому изданию в качестве переводчика стихов и Пастернака, питая на его согласие тем большую надежду, что перед войной Пастернак перевел несколько стихотворений Рафаэля Альберти, поэта, куда менее заманчивого для переводчика. Борис Леонидович говорил со мною не любезно (это слово никак не передает его способа общения с людьми), а со свойственной ему дружелюбной открытостью, с тем опять-таки врожденным и непреложным убеждением, что на свете «ни одна блоха — не плоха», за исключением разве высшего начальства, да и среди начальства попадаются блохи кусачие и менее кусачие.

Борис Леонидович словно чувствовал передо мной какую-то неловкость, что вот он отказывается переводить Лорку (он тогда был занят переводом «Антония и Клеопатры») и этим огорчает меня, и словно старался неловкость эту замять. Другой на его месте мог бы ответить вежливым, но кратким и решительным отказом и на сем поставить внушительную точку. А Пастернак стал рассказывать, как он переводил Альберти, что представляется ему в нем как в поэте наиболее любопытным, подробно расспрашивал меня о Лорке — так, как будто собирался перевести по крайней мере

целую книгу его стихов. И все это с его обычной чисто наружной сбивчивостью, наружной бессвязностью, хаотичностью, разбросанностью, противоречивостью, с его любовью к блужданиям в словесных лабиринтах, хотя блуждал он, держа в руке незримую для собеседника тезееву нить.

Так минутный деловой разговор с Пастернаком превратился для меня в увлекательную беседу.

С того дня никаких поводов для бесед у меня с ним не возникало, и при встречах мы только раскланивались.

Но вот после войны до меня начинают доходить слухи, что Пастернак вовлечен в круг христианских идей. Ему тогда еще разрешали творческие вечера с правом отвечать на записки. На одном из таких вечеров в присутствии переводчика Владимира Любина, который мне об этом и рассказывал, Пастернаку была брошена записка: «Верите ли вы в бессмертие души?» Пастернак сказал:

— Ответ на такой вопрос — не выстрел из пистолета, для которого достаточно только нажать курок. Сейчас я могу вам ответить лишь так: этим вопросом — бессмертием души — жила вся русская поэзия: от Ломоносова и Пушкина до Владимира Соловьева и Блока.

В июне 1946 года был объявлен его вечер в Политехническом музее — это был последний его именной вечер как оригинального поэта. Затем ему разрешали изредка участвовать в «сборных солянках», и дважды читал он отрывки из своего перевода «Фауста» — в Малом зале ВТО и в Клубе писателей.

В ВТО он читал «Фауста» еще при жизни Сталина, насколько у меня хватает памяти — в 1950 году. Устроителем и председателем этого вечера был единственный из русских послереволюционных шекспироведов, сразу и в полную меру оценивший переводы Пастернака из Шекспира, — Михаил Михайлович Морозов.

У контроля развивал бешеную энергию будущий поэт-переводчик Константин Петрович Богатырев, чтобы всеми правдами, а главное — неправдами провести на вечер как можно больше народу, и ухитрялся по одному билету протащить чуть ли не десяток жаждущих услышать «Фауста» и увидеть Пастернака.

В конце вечера Морозов куда-то отлучился (по крайнему моему разумению, к «трактирной стойке», к коей он весьма охотно и при каждом удобном случае «пригвождался»), а в это время Пастернак закончил чтение «Фауста», уже отгремели аплодисменты переводчику, и уже все требовательнее, все неотступнее и грознее стали раздаваться крики: «Прочтите свои стихи!» Пастернак упорно отказывался и вдруг на секунду дрогнул, молча что-то начал доставать из другой папки. И вот тут я увидел, что в проходе меж рядов пробирается бледный как полотно «Мика» Морозов. Он с неожиданной для его грузной фигуры легкостью сильфиды вспорхнул на эстраду и помертвелыми губами, однако громко и отчетливо, на весь Малый зал, произнес:

— Вечер окончен, товарищи! Вечер окончен!

На вечере в Политехническом музее6 Пастернак читал и ранние свои стихи, как, например, «Импровизация» («Я клавишей стаю кормил с руки...»), причем, когда он вдруг запинался (на сей раз — непреднамеренно) на какой-нибудь давней строчке, ему со всех сторон подсказывали слушатели.

Прочел он и несколько стихотворений из «Ранних поездов». До сих пор стоит у меня в ушах его по-детски добродушно-успокаивающий голос:

1лухая пора листопада. Последних гусей косяки. Расстраиваться не надо: У страха глаза велики.

Прочел он «Зиму» и «66-й сонет» Шекспира. Сонет с его словно про то время написанными строчками:

И вспоминать, что мысли заткнут рот, И разум сносит глупости хулу... —

был покрыт громкими рукоплесканиями и требованиями прочесть еще раз, — Пастернак был вынужден прочитать его на бис. Читал он и «На Страстной», но я, как это иногда бывает, загляделся на него и весь ушел не в слух, а в зрение. Особенно меня поразило его стихотворение «Памяти Марины Цветаевой», которое было напечатано только после его кончины, и «Гамлет», в котором разговор со временем идет у поэта уже начистоту и напрямки:

Если только можно, Авва Отче, Чашу эту мимо пронеси.

Но продуман распорядок действий, И неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить — не поле перейти.

Тут я удостоверился, что разговоры о христианстве Пастернака — разговоры не пустые и что он уже отдает себе полный отчет в том, какое тысячелетье теперь на нашем российском дворе.

После вечера ко мне подошел тогда только что демобилизовавшийся племянник Осипа Брика Павел Топер, ныне — благополучный литературный чиновник, метрдотель почти при каждой делегации иностранных писателей, со словами:

— Как дико представить себе, что Пастернак — член Союза писателей!

Он был совершенно прав В октябре 1958 года, во время «горячих обсуждений», как назвала «Правда» одно из заседаний, на которых разбиралось «дело» о присуждении Пастернаку Нобелевской премии, «братья»-писатели издали такое дикое зловоние, что хоть зажимай нос.

...Несколько месяцев спустя, уже после того, как Ахматову и Зощенко вытряхнули из Союза писателей и лишили пайков, я услышал от Богословского, что Пастернак пишет задуманный им еще до войны роман под заглавием «Мальчики и девочки» и что сердцевину его составляет христианство. Пройдет еще некоторое время — и Николай Иванович Замошкин даст мне перепечатать стихотворение Пастернака «Рождественская Звезда».

При чтении «Рождественской Звезды» я пережил одно из тех редких потрясений, какие когда-либо вызывало у меня искусство слова.

Всякое истинное искусство традиционно и своеобычно, национально и всечеловечно, вечно в своей современности. Оно зарождается не в воздухе — оно вырастает на почве, сосет мочками корней соки земли, а затем уже принимает неповторимую окраску и разливает особое благоухание. Пастернак не одинок в своем стремлении внести психофизиологические черточки в облик действующих в Евангелии лиц. Пастернак не одинок и в показе чудесного, вспыхивающего среди обыденного, в дерзновенном смещении широт и долгот.

Так, Чехов в рассказе «Студент» (рассказе, который, по свидетельству Н. Н. Вильмонта, любил Пастернак), нимало не снижая, как сам автор выражается в финале, «высокого смысла» евангельских событий, вот уже сколько веков отзывающихся в мире своим незаглушимым гулом, а лишь приближая их к нашему взору, к нашим чувствам и ощущениям, угадывает увиденные им на многовековом расстоянии, казалось бы, мелкие, но такие важные, так много объясняющие в поведении апостола Петра черточки: «После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Потом... Иуда... поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, невыспавшийся \ предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед... Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как его били...»

Так, Бунин заставляет своих иконописцев из стихотворения «Новый храм» вспоминать детство Христа, «порог на солнце в Назарете, верстак и кубовый хитон».

Так, тот же Бунин, описывая бегство святого семейства в Египет, замечает, что Божья Матерь запахнула младенца куньей шубкой.

Вот так и у Пастернака:

Доху отряхнув от постельной трухи И зернышек проса, Смотрели с утеса

Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост, Ограды, надгробья, Оглобля в сугробе

И небо над кладбищем, полное звезд.

Звезда пламенеет, «как стог», «как отблеск поджога, как хутор в огне и пожар на гумне».

Налитая южной знойной синевой вифлеемская ночь оборачивается русской морозной ночью с обжигающим щеки ветром и шуршащими извивами поземки, ибо для русского мужика рождественская ночь не менее значительна, чем для вифлеемского пастуха или же ученого звездочета.

А жизнь вокруг идет своим чередом, жизнь будничная, привычная и все же пленительная этой своей неприглядностью:

Средь серой, как пепел, предутренней мглы Топтались погонщики и овцеводы, Ругались со всадниками пешеходы,

* Курсив мой. — Я. Л.

У выдолбленной водопойной колоды Ревели верблюды, лягались ослы.

Но среди серой мглы еще ярче горит глядящая на Деву Звезда Рождества.

...Когда я прочел «Рождественскую Звезду», сидя в квартире у Замошкина, он высказал такую мысль: у Есенина, наверно, было предчувствие, что не жилец он на белом свете, — вот почему он немного поимажинистовал, походил на голове — и скорей-скорей на большую дорогу русской поэзии. У Пастернака этого предчувствия не было, — вот почему он так долго позволял себе резвиться и кувыркаться через голову. А теперь настал конец его затянувшейся бездумной молодости...

«Рождественская Звезда» как взошла на поэтическое небо, так с тех пор и лучится на нем, а взошла она в ту самую пору, когда Россия была погружена не в предгрозовой, с прозорами, а в бесси-янной густоты аспидный мрак довременного хаоса. Стихотворение скоро разошлось в списках по Москве и Ленинграду. Особенно об этом старалась пианистка, неугомонная Мария Вениаминовна Юдина. Качалов плакал, читая «Звезду». Даже Фадеев знал ее наизусть. От самого Пастернака я слышал, что однажды вечером, когда у него сидели гости, ему позвонил Фадеев и сказал, что Бориса Леонидовича непременно хочет видеть только что приехавший из Чехословакии Незвал и что завтра можно организовать встречу в «Метрополе». Пастернак, будучи под хмельком, предъявил Фадееву ультиматум: или он сейчас привезет Незвала к нему домой, или встреча не состоится. Фадеев заартачился, но потом сдался и с Незвалом и кое с кем из своей свиты приехал к Пастернаку в Лаврушинский. Незвал стал просить хозяина почитать новые стихи. Пастернак, сделав вид, что не заметил умоляющих знаков Фадеева, начал читать. Когда же он прочел «Звезду», Незвал бросился душить Пастернака в объятиях.

Слухи о романе, над которым работает Пастернак, все ширились. Стало известно, что он читает главы и стихотворения из романа у своих знакомых. Я попросил Клавдию Николаевну Бугаеву, вдову Андрея Белого, замолвить за меня словечко, чтобы Пастернак пригласил меня на чтение, куда ему заблагорассудится. Пастернак обещал.

Вскоре после этого я встретил Пастернака на Тверской и, остановив его, обратился к нему с той же просьбой уже непосредственно, сославшись на свою дружбу с Клавдией Николаевной.

В глазах Бориса Леонидовича промелькнуло что-то вроде солнечного зайчика.

— Ах, это вот что такое! — воскликнул он, сопоставив наш разговор о Лорке (он был необыкновенно памятлив и на лица, и на разговоры: однажды я признался ему, что плохо сплю; после этого мы с ним не виделись полгода, и первый вопрос его был при следующей встрече: «Ну как ваша бессонница?») и просьбу Клавдии Николаевны, и тут же подтвердил свое обещание позвать меня на одно из ближайших чтений.

И опять, как и при первой нашей встрече, он не оборвал разговора, а тут же, на тротуаре, прочел мне «краткий курс истории советской литературы».

— Ну, какой период в истории послереволюционной поэзии можно назвать наиболее ярким? Это — молодость Маяковского, молодость Есенина, ну, моя молодость, — добавил он с некоторой, нисколько не деланной запинкой, — а потом многие трагически ушли из жизни, многих произвели в писатели, и началась белиберда...

Чтение, однако ж, все отдалялось. Зато при случайных встречах мы все дольше простаивали на тротуарах. Как только в газете «Культура и жизнь», которую недаром прозвали «братской могилой» и «Александровским централом» по имени одного из тогдашних громовержцев в литературе и искусстве, цекиста Георгия Федоровича Александрова, появилась статья Суркова о Пастернаке7, я позвонил Борису Леонидовичу, чтобы выразить ему свое сочувствие. Если память меня не подводит, это был мой первый звонок ему по телефону.

Пастернак ответил мне совершенно спокойно:

— Стрела выпущена из лука, и она летит, а там что Бог

даст.

После этого я все чаще стал звонить ему по телефону. Наконец Борис Леонидович твердо обещал:

— Я буду у вас читать роман после Пасхи, на Фоминой.

Принимая в соображение, что период «слова и дела государева» после войны ни на один день не прекращался8, я строго ограничил число слушателей. В это число, помимо домашних, входили Клавдия Николаевна Бугаева, Николай Вениаминович Богословский с женой Анной Давыдовной и поэт-символист, историк литературы и переводчик Юрий Никандрович Верхов-ский, с по-священнослужительски длинными, зачесанными назад волосами, с окладистой, мягкой на вид бородой, в которой было что-то ласковое, как и во всем его облике — облике то ли сошедшего с иконы русского святого, то ли божьего странника, то ли уездного или сельского «батюшки». Жили мы тогда возле Триумфальной площади (площади Маяковского), так что нас находили или мгновенно, или плутая, как во темном густом бору. Чтобы облегчить Борису Леонидовичу проникновение в наше обиталище, я за ним заехал в Лаврушинский. Заехал, по своему обыкновению, более чем заблаговременно, и мы решили прогуляться от Лаврушинского до центра, а там уже спуститься в метро. Дорогой, понятно, разговорились. Начали опять-таки с оскудения поэзии.

— Вы, конечно, помните эти ваши строки, Борис Леонидович, — сказал я:

Напрасно в дни великого совета, Где высшей страсти отданы места, Оставлена вакансия поэта: Она опасна, если не пуста.

Вот они к вам прислушались, мысленно поблагодарили за добрый совет и упразднили эту самую вакансию по причине ее крайней опасности.

Потом я заговорил о его последних книгах стихов — «На ранних поездах» и «Земной простор» — и честно признался, что до этих книг я отдавал ему дань глубочайшего уважения, а полюбил его всем существом после переделкинских пейзажей.

— Да-да-да-да-да, вы правы, — он любил повторять «да», — я только после этих книг человеком стал. Я навыдавал читателю уйму векселей, а читатель — особенно

молодежь — был ко мне милостив и терпеливо ждал, и вот только сейчас я начал с ним расплачиваться. Тут-то меня от него и отгородили. (Точно помню, что этот разговор происходил, когда мы шли по Кадашевской набережной.)

Много спустя, уже перед концом жизни, Пастернак в автобиографии вынес своей затянувшейся «начальной поре», когда он, пользуясь его собственным выражением, «возводил косноязычие в добродетель» и «был оригинален поневоле», столь же суровый приговор: «Слух у меня тогда был испорчен выкрутасами и ломкою всего привычного, царившего кругом. Все нормально сказанное отскакивало от меня. Я забывал, что слова сами по себе могут что-то заключать и значить, помимо побрякушек, которыми их увешали»9.

К концу пути, когда мы уже вышли из метро «Маяковская», разговор наш перешел на тему о христианстве.

— Перед человечеством только один путь: христианство. Иначе — танк, царство танка, — с несвойственной ему медлительной властностью в голосе сказал Пастернак.

—- А как вы смотрите на связь христианства с искусством?

— Они неразделимы! — уже на высокой ноте, но столь же убежденно произнес Борис Леонидович. — Именно это я и пытался выразить в «Рождественской Звезде».

Несколько лет спустя, когда я был у Бориса Леонидовича в гостях, он мне сказал:

— Христианство для меня не религия, а гораздо больше, чем религия. Это образ мыслей свободных и больших людей...

...Чтение первых глав романа и первых вошедших в него стихотворений происходило у нас в фантастической обстановке. Словно на грех, стоило нам с Борисом Леонидовичем появиться, как погас свет во всем нашем многокорпусном доме, и погас безнадежно. Но у нас тогда еще не была упразднена керосиновая лампочка, от военного времени оставался небольшой запас керосину, и вот Борис Леонидович при тусклом свете, падавшем только на него и на его рукопись, принялся читать «Доктора Живаго». Читал с подъемом, минутами, в комических местах, прерывая чтение заразительно-молодым смехом, минутами — с дрожью закипающих в горле слез. Действовало все: и то, что Борис Леонидович — наш гость, и то, как он читает, и этот полумрак, обступавший его, отчего он сам, освещенный лампой, казался источником света, но в тот вечер я был в полном восторге не только от стихотворений, но и от прозы. Впрочем, я и сейчас держусь того мнения, что лучшее в романе «Доктор Живаго» — это самое его начало. И все же после чтения романа в моей, тогда еще загребущей памяти сохранилось несколько великолепных частностей, вроде пенсне, злобно прыгающего на носу у толстовца, а стихи я хоть и не запомнил наизусть с голоса, но общий их рисунок вырисовался в памяти неизгладимо.

Вот уже и нет за окном майского теплого синего вечера, за окном гудит метель, беснуется белая ее круговерть, а где-то в окне неугасимо горит спасительная, как маячный огонь, свеча:

Метель лепила на стекле Кружки и стрелы. Свеча горела на столе, Свеча горела, —

живописно и мелодично читал Пастернак («Зимняя ночь»).

К стихотворению «На Страстной» я в тот вечер прилепился душою тотчас же и с не меньшей силой, чем к «Рождественской Звезде». Ни у одного русского поэта не найдешь такого верного, обильного точными — до мелочей — наблюдениями и в то же время возвышенного описания страстных богослужений. И вновь это ощущение вселенскости совершающихся событий:

И лес раздет и непокрыт И на Страстях Христовых, Как строй молящихся, стоит Толпой стволов сосновых.

Сады выходят из оград, Колеблется земли уклад: Они хоронят Бога.

Моя дочь Леля, которой было тогда пять с половиной лет и которая присутствовала при этом чтении, на другой день бойко прочла мне наизусть:

Еще кругом ночная мгла, Еще так рано в мире, Что звездам в небе нет числа, И каждая, как день, светла, И если бы земля могла, Она бы Пасху проспала Под чтение Псалтири.

После того как Борис Леонидович умолк, со старческой неторопливостью заговорил Юрий Никандрович Верховский, неотрывно глядя на Пастернака благодарным взглядом своих кротких голубых глаз. Основная мысль его сводилась к следующему. Каждый большой художник слова, заплатив дань неуравновешенной молодости, в зрелом возрасте тяготеет к классической ясности и глубине. Так случилось — в той или иной мере — с поздним Сологубом, с поздним Блоком, с Белым — автором «Первого свидания», так случилось с Гумилевым, так случилось, если хотите, и с Маяковским, автором «Во весь голос». И вот сейчас, заключил Юрий Никандрович, мы присутствуем при рождении классического Пастернака, который, не утратив того положительного, что он приобрел во время своих футуристических исканий, пришел к классической собранности сознания, к классической четкости образов и к классической стройности архитектоники.

После Верховского, выражаясь официальным языком, «взял слово» я. Клавдия Николаевна потом говорила мне, что ей было заметно, как отчаянно я волновался. Я с бухты-барахты, только в несколько иных, более резких выражениях, высказал Пастернаку то же, что высказывал ему по дороге к нам. Я признался без околичностей и подходов, что до «Ранних поездов» я восхищался Пастернаком, но любить его не любил никогда, более того: что последние годы я, читатель, был на него в обиде за его игру в прятки с нашей грозной и грязной эпохой, отличающейся от других грозных и грязных эпох русской истории тем, что она так или иначе коснулась едва ли не каждого из нас, что почти никого из нас не обошла она своим кубком с отравленным вином, что я был на него в обиде, что он, при его-то даре, которым наградил его Господь Бог, не стал, не захотел стать властителем дум моего поколения. Сегодня — праздник на улице моего поколения, на улице всей русской, нет, куда там русской — мировой литературы.

— Я согласен с Юрием Никандровичем, — продолжал я, — все ценное, что вы приобрели до сих пор, все ваше собственное, пастернаковское, вы не растеряли, вы от него не отреклись. В таком, казалось бы, «надмирном» стихотворении, как «Рождественская Звезда», вы своим пастернаковским глазом, влюбленным в житейский обиход, разглядели и водопойную колоду, и овчинную шубу, в «На Страстной» вы расслышали «стук рессор»** и это придает «Рождественской Звезде» и «На Страстной» особую, чисто пастернаковскую прелесть, непререкаемую убедительность жизненной правды свершившегося чуда. Но за последнее время вы совершили восхождение на такую высоту, которая под силу только гениям. Помните, вы писали во «Втором рождении»?

И стук рессор и черный флер Весеннего угара —

Пастернак заменил на:

И воздух с привкусом просфор И вешнего угара.

Когда строку диктует чувство, Оно на сцену шлет раба,

* Впоследствии строки из «На Страстной».

И тут кончается искусство, И дышат почва и судьба.

«Ранними поездами» и особенно сегодня вы доказали, как вы тогда были неправы: ваше искусство не кончилось; напротив, оно вымахнуло, как могучее дерево, — именно потому, что в ваших стихах стала дышать русская почва и в них забрезжила судьба человечества, судьба всего мира.

Глаза Бориса Леонидовича чуть заметно затуманились. Я почувствовал, что он растроган — растроган не самими похвалами (их он наслушался до пресыщения). Видимо, его задело за живое, что то был восторг не телячий, а осмысленный, зрячий.

Так воспринимали «Стихи из романа» не только собравшиеся в тот вечер у меня.

Когда Бориса Леонидовича уже не было в живых, мы как-то разговорились о его творческом пути с Семеном Израилевичем Липкиным, с чьими вкусами мои вкусы большей частью сходились. Сходились в главном: мы оба — неисправимые реалисты. Говорили мы в тот раз главным образом о стихах Пастернака из его романа.

— До стихов из романа Пастернак как бы приостановился в раздумье, — заметил Липкин. — А тут вдруг на наших глазах этот исполин прикоснулся к чему-то и зашагал, зашагал, зашагал...

Вскоре после чтения за поздним временем все разошлись по домам. Незадолго до ухода Борис Леонидович с серьезным лицом сказал:

— Я не понимаю, как мы можем быть недовольны жизнью. Напротив, мы живем под гусли. Мы не успеваем проснуться, как нам уже сообщают по радио, что мы счастливы.

Я не удовольствовался тем, что высказал Борису Леонидовичу после чтения. Я написал ему небольшое благодарственное письмо и опустил в почтовый ящик, висевший на двери его квартиры. Что я в нем писал — хоть убейте, не помню. Помню только, что кончалось письмо так: «Христос с Вами!» (Сын поэта, Евгений Борисович, говорил мне, что письмо у Бориса Леонидовича сохранилось.) В ответ я получил от Пастернака по почте бандероль. В ней была тетрадка с напечатанными на машинке стихами. Стихи здесь расположены в таком порядке: «Из романа в прозе 1. "Гамлет"; 2. "Март"; 3. "На Страстной"; 4. "Объяснение"; 5. "Бабье лето"; 6. "Зимняя ночь"; 7. "Рождественская Звезда"». На обороте обложки Борис Леонидович от руки написал:

«Милому Николаю Михайловичу Любимову на счастье ему и его семье. Пастернак».

Спустя месяц у нас родился сын, и мы назвали его в честь Пастернака — Борис.

Начиная с лета 1947 года я более или менее часто звонил Борису Леонидовичу по телефону (у меня тогда телефона не было) или по его приглашению приезжал к нему в Лаврушинский переулок. Чаще всего мы сидели с ним вдвоем, и он угощал меня чаем с моим любимым пирогом с яблоками, который с вдохновенным искусством сооружала Зинаида Николаевна.

Однажды мы встретились с ним в приемной у тогдашнего директора Гослитиздата Петра Ивановича Чагина, и в эту встречу я уловил неожиданное сходство Пастернака с Качаловым. Выражалось оно в том, что оба они, столь разные во всем остальном, боялись, как бы кто про них не подумал, что они возгордились, смотрят на других свысока, и в этой своей боязни оба перегибали палку. Счастье их собеседников заключалось в том, что они похвалы и того и другого принимали за чистую монету.

На сей раз Борис Леонидович подошел к Сельвинскому и прогудел:

— Илья Львович! После ваших последних стихов, право, начинаешь задумываться над смыслом собственного существования.

Вышли мы из Гослита вместе с Борисом Леонидовичем. Я не выдержал и обратился к нему:

— Борис Леонидович! Зачем вы так расхвалили Сельвинско-го? Ведь стихи-то дрянь? Он уже давно — живой труп в поэзии.

— Да-да-да-да! — обрадованно подхватил Пастернак. — Вы правы. Тут загадки нет: он... умом не блещет.

Та краткая характеристика, какую Пастернак дал Сельвинскому, уже тогда страдала односторонностью. Не умен — это еще с полгоря, но и не поэт в подлинном, высоком

смысле этого слова, а версификатор-эстрадник, циркач. В стихах у раннего Сельвинского тоже было, пользуясь его же удачным выражением, столько же поэзии, сколько авиации в лифте, но в юности у него была, по крайней мере, мускулатура акробата. С годами — и очень скоро — мускулатура у него стала как коровье вымя. Но и это тоже с полбеды. Это же Сельвинский, открывая вечер поэтов в сезон 1937—1938 годов в Клубе МГУ — вечер, на котором я присутствовал, — начал здравицей в честь благодетельного НКВД, очистившего ряды советской литературы от врагов.

Уже давно кончились в печати разговоры о «Докторе Живаго» и о Нобелевской премии, присужденной Пастернаку. Но вот в «Огоньке», в одиннадцатом номере от 8 марта 1959 года, Сель-винский тиснул три стихотворения под общим названием «Из новых стихов». Одно из стихотворений — «Карусель» — кончается следующими глубокомысленно-исповедальными строчками:

Человечье упустил я счастье! Не забил ни одного гвоздя.

Третье стихотворение касается уже того, кто для Сельвинско-го был когда-то учителем, о чем он громогласно заявил в стихах. Он обращается к этому, правда, не названному по имени, «поэту, заласканному врагом»:

К чему ж былая щедрая растрата Душевного огня, который был так чист, Когда теперь для славы Герострата Вы родину подставили под свист?

За эти проститучьи стишонки Сельвинский поплатился звонкой затрещиной. Москву облетела эпиграмма:

Все миновало: слава и опала, Осталась только зависть, злость. Когда толпа учителя распяла, Ты вбил свой первый гвоздь10.

Еще как-то мы столкнулись с Борисом Леонидовичем в полутемном коридоре гослитиздатовского третьего этажа. Пастернак сообщил мне, что к нему заезжал с официальной просьбой — выступить на каком-то праздничном вечере в Доме Союзов — тогдашний секретарь парткома Союза писателей Александр Жаров и подарил ему книгу своих «стихов» с почтительной надписью.

— Вот Николай Алексеевич Заболоцкий уверяет меня, что стихи Жарова и ему подобных — если и стихи, то какого-то особого, пятого, что ли, измерения, — продолжал гудеть на весь коридор Пастернак. — А по-моему, он не прав. Я проглядел жаров-скую книгу. И знаете, что я вам скажу? (Пастернак всегда произносил не разговорно: «што», а книжно: «что».) Право, это ничуть не хуже моего «Лейтенанта Шмидта», «Девятьсот пятого года» и особенно моих стихов о войне.

В сталинские годы я ходил в Союз писателей преимущественно в один его цех: в библиотеку. Борис Леонидович ходил туда только стричься в парикмахерскую, расположенную рядом с раздевалкой. Вот мы с ним в раздевалке и столкнулись. Не успели поздороваться — глядь: по лестнице спускается критик Перцов, похожий на старого брыластого кобеля. Как на грех, он недавно в Институте мировой литературы бросил упрек Пастернаку, что тот и в переводы грузинских поэтов вносит свое ущербное декадентское мировоззрение, что он по своему образу и подобию творит из грузинских поэтов мистиков и пессимистов. Если перевести пер-цовскую рацею на язык практический, это означало: «Отнимите у Пастернака и переводы» — этот последний кусок хлеба, который ему пока еще оставили. Выступление благородное, что и говорить. А ведь Перцов — бывший соратник Пастернака по Лефу11:

Все же бывший продармеец, Хороший знакомый!..

Завидев Пастернака, Перцов сделал стойку, впрочем — стойку нерешительную. Затем совладал с собой и, приятно осклабившись, двинулся навстречу Пастернаку и робко протянул ему лапу. После секундного колебания Пастернак слабо пожал ее, но тут же отдернул руку.

— Послушайте, — сказал он, — я подал вам руку, но только потому, что все это, — тут он сделал кругообразный жест рукой, показывавший, что он обводит ею не только Клуб писателей, а нечто гораздо более широкое, — ужасно похоже на сумасшедший дом.

Перцов, негаданно осмелев, тявкнул:

— Но ведь и вы находитесь здесь же.

— Нет, простите, я остался снаружи, — отрезал Пастернак. Я поехал проводить его, и дорогой, в трамвае, он, не снижая

голоса до шепота, заговорил о том, что физически ощущает близкий конец сталинского строя.

— Еще гремели победы Гитлера, а уже чувствовалось, что он вот-вот выдохнется. Так и сейчас: наверху оркестры, знамена, потешные огни, а мне все слышится подземный гул.

В одну из встреч с Борисом Леонидовичем я стал просить его написать стихотворение о Воскресении Христовом'и этим стихотворением закончить евангельский цикл стихов из романа. В ответ Борис Леонидович сказал, что он и сам об этом подумывает, но всякий раз отступает перед трудностью. После я несколько раз приставал к нему с той же просьбой, но он отвечал все уклончивее и неопределеннее, говорил, что боится не справиться, что, как ему кажется, тема Воскресения Христова вообще превышает человеческие возможности и что, вернее всего, он ограничится тем, что сказано о Воскресении в «На Страстной».

Каждая, даже быстролетная встреча с Борисом Леонидовичем была мне подарком судьбы; каждая, даже быстролетная встреча западала в память.

Вот он поднимается по эскалатору на Новокузнецкой станции метро, откуда-то возвращаясь к себе домой в Лаврушинский переулок, а я спускаюсь. Он улыбается и машет рукой. Вот я подхожу к его дому, а он отъезжает с кем-то на легковой машине. Завидев меня, машущего ему шляпой, высовывается в окошко, и опять — улыбка, приветственное и прощальное маханье рукой. Даже после этих безмолвных, мимолетящих встреч я весь день ходил именинником.

По окончании одного из разговоров с Борисом Леонидовичем я, как всегда, взволнованный широтой его художественного, религиозного, политического мышления и той смелостью, с какой он высказывал свои взгляды в любой обстановке и какую только он тогда, во время «трусов и трусих», себе позволял, — я, прощаясь с ним, сказал:

— Я никогда не был в горах, но мне кажется, что человек даже после короткой беседы с вами испытывает то же, что должен испытывать человек, надышавшийся воздухом горных лугов.

— Да перестаньте! — сердито зажужжал Борис Леонидович, а глаза его смотрели на меня ласково. Он любил, чтобы его хвалили, — слишком часто побивали его камнями, — он только силился это скрыть.

В другой раз я сказал ему, что если бы не существовало Блока, я бы, как читатель, почти ничего от этого не потерял, а не будь позднего Пастернака, мне гораздо труднее было бы жить на свете.

И вот тут Борис Леонидович цыкнул на меня с возмущением непритворным. А я и в том и в другом случае говорил то, что чувствовал и думал, без малой капли желания льстить ему и кадить. Да я и всегда говорил с ним о его творчестве напрямик, за исключением прозаической части романа «Доктор Живаго». Но это статья особая.

Время от времени я получал от Бориса Леонидовича конверты, надписанные уже знакомым мне дорогим почерком с длинными линиями, идущими от первой буквы и накрывающими все слово. В конвертах оказывались новые стихи с неизменно милым

коротким письмом. В одном из таких конвертов я обнаружил «Рассвет», «Чудо» и «Землю». Им предпослано несколько строк письма. На самом верху дата — «10 янв. 1948».

Рождество 1950 года было для меня Рождеством по-особенному печальным. И надо же было случиться так, что именно в первый день Рождества, когда душу мне облегла промозглая свинцово-серая осень, я получил от Бориса Леонидовича новые стихи с таким письмом:

«5 янв. 1950. Дорогой Николай Михайлович! Не могу сказать, как дорог мне был Ваш звонок, как тронула Ваша память. Хочется Вас отблагодарить, но не знаю, вознагражу ли я Ваше внимание посылкой этих стихотворений ранее обещанного!

Наверное, все это наброски (по сравнению с прежними), хотя не знаю, м. б. все так и останется. Есть черновые еще нескольких вещей, но они мне не нравятся. 2-е стих, обрывается неожиданно, все его концы получились тяжелые и холодные, это промежуточное перед "Тайной Вечерей"*.

Позвоните мне, скажите что-ниб. ласковое от себя и Кл. Ник.** Мне теперь по-другому трудно, нежели раньше, по-другому неблагополучно. Но Бог даст справлюсь.

Сердечный привет Маргарите Романовне***.

Ваш 2>. Пастернак».

На этот раз он мне прислал: «Засыплет снег дороги...», которому потом дал заглавие «Свидание», «Когда на последней неделе...», которое после озаглавил «Дурные дни», и «Магдалину» («У людей пред праздником уборка...»).

Все эти стихи я люблю до блаженных спазм в горле, но особенно мне дорога вот эта, «хореическая» «Магдалина». Вновь скажу: только человек, не просто принявший христианство, крестившийся не одной лишь водою, но и Духом Святым, знающий сердцем, что есть «радость о Дусе Святе», мог написать вот это:

Но пройдут такие трое суток И столкнут в такую пустоту, Что за этот страшный промежуток Я до Воскресенья дорасту.

В этой строфе сказано все: и что сталось бы со всеми нами, со всем миром, если б Христос не воскрес, и что до Воскресения можно «дорасти», только пройдя по мукам.

* Пастернак имеет в виду «Когда на последней неделе...». '* Клавдии Николаевны Бугаевой. '* Моей жене.

В следующую мою встречу с Борисом Леонидовичем у него на дому речь, разумеется, шла о «Магдалине».

Борис Леонидович сообщил мне, что лейтмотивом первоначального варианта «Магдалины» была ее земная любовь к Христу, ее ревнивый восторг перед Ним, и привел мне одну строфу из этого отвергнутого им варианта, который я тогда же запомнил с его голоса, а придя домой, записал:

Но Тебе понятнее Иуда, И родней Фома, и ближе Петр, Светлый Божий праздник, Божье чудо, Божий промах, Божий недосмотр.

Прочитав строфу, Пастернак заметил, что Рильке, вернее всего, именно на этом и построил бы стихотворение о Марии Магдалине, если б ему захотелось о ней написать. Но сейчас не такое время. Сейчас нельзя уходить на запасные пути.

Это уже рассуждал Пастернак не «Поверх барьеров», не «Сестры моей — жизни» и даже не «Второго рождения».

Много позже, когда я уже знал его «Разлуку», Пастернак рассказал мне, что прочел это стихотворение Ахматовой, а она заметила: «В былое время вот эти две строфы:

Она была так дорога Ему чертой любою, Как морю близки берега Всей линией прибоя.

Как затопляет камыши Вода во время шторма*, Ушли на дно его души Ее черты и формы — Волненье после шторма...

разрослись бы в целое стихотворение, этот образ стал бы самоценным. Но вы совершенно правильно отвели ему подчиненную роль: сейчас не до камышей. Сейчас надо писать об арестах и о разлуках».

Еще в 1931 году Пастернак принуждал себя вослед Пушкину «в надежде славы и добра глядеть на вещи без боязни», твердить себе: «Начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни» —

* Впоследствии Пастернак изменил эту строчку так: «Волненье после шторма».

и утешаться этой параллелью, хотя параллель эту он выдумал, ибо мятежей, если не считать хилых крестьянских бунтов в 1930 году, во время коллективизации, на Советской Руси в ту пору не было, а вот ссылок и казней было столько, что Николай Павлович рядом с Иосифом Виссарионовичем выглядит царем Берендеем из «Снегурочки» Островского. Так далеко не сразу душа Пастернака-поэта стала «печальницей», «усыпальницей замученных». Так далеко не сразу принялся он «рыдающею лирой оплакивать их».

О Пастернаке и его христианских стихах я как-то вкратце рассказал о. Александру Скворцову. Выслушав меня, о. Александр высказал мысль, что христианская идея так велика и прекрасна, что для самовыражения она всегда избирает лучших из лучших.

Вскоре после того, как я получил от Пастернака цикл с «Магдалиной», в Москву из Ленинграда приехал на несколько дней поэт Сергей Дмитриевич Спасский и зашел к нам. Я дал ему прочесть эти стихи.

Прочтя, он долго сидел, будто окаменелый и словно бы мрачно задумавшись. Затем вдруг прояснел и голосом, в котором прозвучали непримиримость и убежденность, произнес:

— Нет, ничего они с нами не поделают!

И тут же кстати вспомнил, как еще до войны в Ленинграде его вызывали в НКВД и пытались всякого рода угрозами завербовать в ряды секретных сотрудников. В качестве одного из доводов, почему Спасский им до зарезу нужен в роли наушника, нар-комвнуделец привел нижеследующий:

— Вот, например, нас очень интересует Пастернак. Но ведь мы-то к нему в дом не проникнем. А нам известно, что вы с ним дружите.

Вообще интерес этого учреждения к Пастернаку не угасал до последних дней его земной жизни. Сменялись игемоны, а любознательность не уменьшалась. Нет-нет да и пускался слух, что Пастернак арестован. Видимо, подмывало проверить, как и кто будет на подобный слух реагировать. В 1949 году я перед отъездом на дачу забежал к Богословским, жившим в писательском доме в Нащокинском переулке. Анна Давыдовна взялась проводить меня до вокзала. Уже подходя к метро «Дворец Советов» (ныне — «Кропоткинская»), мы встретились с приятельницей Клавдии Николаевны Бугаевой. Глядя на нас расширенными от ужаса глазами, она спросила:

— Правда ли, что Пастернак арестован?

— Когда?

— Несколько дней назад.

— В первый раз слышим. Идем дальше. В метро я говорю:

— Аня! Я не могу ехать на дачу, не узнав толком. Как хочешь, а узнай сейчас же.

— Хорошо. Вот доедем до «Комсомольской», там я из автомата позвоню Елене Сергеевне Булгаковой — она с ним часто встречается и должна знать. На квартиру к нему звонить бессмысленно — вся семья на даче в Переделкине.

Найдя автомат, Аня, словно в романе, забывает номер телефона Елены Сергеевны, с которой перезванивалась едва ли не ежедневно. Наконец ее осеняет. Звонит. По ее блестящим, хорошим армянским глазам догадываюсь, что все благополучно.

— Елена Сергеевна только вчера допоздна провела с ним вечер у Ардовых по случаю приезда Ахматовой.

— Слава Богу!

Крепко целую Аню и, не чувствуя тяжести до отказа набитого съестным рюкзака, мчусь со всех ног на электричку, которая вот сейчас отойдет...

А уже в последнюю его зиму в КГБ вызвали Ольгу Всеволодовну Ивинскую, которая мне сама об этом с глазу на глаз рассказывала. Беседовавший с ней новоявленный Бенкендорф объявил:

— Мы слыхали, он пьесу пишет. Зачем это он пьесу пишет? Вы ему передайте, что ведь он еще не прощен. Пусть лучше стихи сочиняет.

...Я гораздо больше любил, когда Пастернак приглашал меня к себе одного, главным образом потому, что все его внимание, естественно, было сосредоточено на мне, как на единственном его собеседнике, вернее — слушателе, а во-вторых, потому, что, признаться, я недолюбливал его окружение; я не мог понять, как этот огромный человек (не говоря уже о поэте) мог довольствоваться обществом таких людей; как ему не мелко плавать в этом озерце; как ему не осточертел, скажем, Ливанов, и в жизни все время игравший Ноздрева (чем не налюбуешься из зрительного зала, то мало привлекательно в жизни).

Впрочем, один званый вечер запомнился мне накрепко. Были Анна Ахматова, Симон Чиковани, Ливанов, Шенгели, Чагин, Нато Вачнадзе и еще кто-то из грузин. На столе — строй бутылок с водкой русской, водкой грузинской и грузинским сухим вином.

Грузины во главе с Чиковани без конца предлагают выпить за «вэлыкого русского поэта Барыса Леонидовича Пастернака». Чтобы замять неловкость, Шенгели предлагает тост «за лучшую поэтессу всех времен и народов Анну Ахматову», Пастернака просят почитать стихи. Он отказывается — опять-таки, видимо, из деликатности, ибо Ахматову никто об этом не просит, и взамен предлагает прочитать свой перевод стихотворения Чиковани «Гнездо ласточки».

Я слушаю Пастернака, а смотрю на Чиковани: на лице у Чиковани написано особого рода счастье, какого я прежде ни у кого не видел, — счастье узнать свои стихи на чужом языке.

Когда мы с Пастернаком оставались наедине, разговор касался самых разнообразных тем (делился он со мной и глубоко личными своими переживаниями). Эпоха была такова, она так больно задевала самые чувствительные наши нервы, что начисто отбросить политику нам не удавалось. И вот Борис Леонидович, из наивной предосторожности забросав телефон диванными подушками, пускается в рассуждения:

— Нас уверяют, что мы счастливы. Но почему же тогда миллионы в тюрьмах и концлагерях? Очевидно, эти люди не считали себя счастливыми. Значит, тут уж сама статистика опровергает нашу теорию счастья.

Заходил разговор и о писателях-современниках.

— Помните французского офицера из «Войны и мира» с его пристрастием к ma pauvre теге*? Вот и у каждого из наших присяжных публицистов есть свой pauvre mere. У Эренбурга от чикагских мясников до баскских священников все почему-то не отрывают взоров от Кремля. У Леонова — это расшитые петушками полотенца.

Я сказал, что, по-моему, уж лучше Симонов, лучше потому, что откровеннее.

— Да-да-да-да-да, — охотно раскатился он своей обычной дробью, — вы правы — уж хапать, так хапать. (Борис Леонидович имел в виду как из рога изобилия сыпавшиеся почти ежегодно на Симонова Сталинские премии — знаки особой монаршей милости.)

Из своих современников Пастернак особенно не жаловал Илью Эренбурга. Он рассказывал мне, что как-то у него за обедом один из его родственников, молодой человек, принялся восхищаться фельетонами Эренбурга.

— А я ему сказал: «Послушай! Ты хотя бы у меня в доме постыдился превозносить Эренбурга. Ведь он кадит тем людям, которые схватили меня за горло и не отпускают вот уже сколько лет».

* Моей милой матушке (фр.).

Вообще Эренбург был для Пастернака мерилом всего высокопарно-фальшивого, нерусского ни по духу, ни по языку. Однажды он сказал:

— Попробовал перечитать Герцена. Это почти так же плохо, как Илья Эренбург.

Конечно, это шутка, но в каждой шутке есть доля истины. Пастернака даже у Герцена коробили превыспренняя витийствен-ность и часто встречающиеся галлицизмы.

Пастернак называл любовь к нему Эренбурга (а Эренбург и впрямь любил поэзию Пастернака) любовью без взаимности.

У Арго есть «неудобная для печати» басня. Незамысловатая ее сюжетная линия сводится к тому, что два критика, увидев на улице экскременты, заспорили, какого они происхождения: кошачьего или собачьего.

И дело перешло тут в драку: Кто — за кота, кто — за собаку.

Мораль сей басни такова:

Читатель! Если видишь ты говно, Скажи без лишних разговоров: «В конце концов, не все ли мне равно, Ажаев это иль Панферов?»

Вот уж для Пастернака это было решительно все равно. Он не измерял таких писателей и не радовался, что Вера Панова, предположим, на миллиметр даровитее и благороднее Николаевой. Когда в самый разгар хрущевского «либерализма», длившегося до венгерских событий 1956 года, Казакевич, впоследствии извративший историю первых лет Октябрьской революции, исказивший роль Ленина в разгоне меньшевиков и изобразивший его этаким интеллигентским добрячком, пристал к Борису Леонидовичу с ножом к горлу — дать что-нибудь для редактируемого им альманаха «Литературная Москва», Борис Леонидович спросил:

— А, собственно, почему я непременно что-то должен дать для вашего альманаха?

— Лучше ж нам, чем Кочетову, — настаивал Казакевич.

— А для меня что вы, что Кочетов — я между вами никакой разницы не вижу, — выпалил Борис Леонидович.

Как-то я ему сказал, что перечитал Пильняка, и мне кажется, что как писатель он жив (так мне казалось тогда). Борис Леонидович встал, подошел ко мне и поцеловал меня за добрые слова о своем друге.

В последнюю встречу с Пастернаком я поблагодарил его за те слова, которые он в автобиографии говорит о Есенине:

«Со времен Кольцова земля русская не производила ничего более коренного, естественного, уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесподобною свободой и не отяжелив подарка стопудовой народнической старательностью. Вместе с тем Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую, вслед за Пушкиным, мы зовем высшим Мо-цартовским началом, Моцартовской стихиею».

Есенина травили посмертно и власть имущие, вроде Бухарина, и фельетонисты «Правды», и рапповцы. На Есенина смотрели сверху вниз формалисты, вроде Эйхенбаума, и просто снобы, не подозревающие, что, как сказал Пруст, «со снобизмом всегда связана возможность впасть в безвкусицу». А тут нате вам: поэт, прошедший через все изыски, так высоко отзывается о поэте, дорогом нормально бьющемуся

читательскому сердцу, конечно, не своими имажинистскими пасьянсами, а стихами о русской природе, о душе животных и о своей пропащей судьбе — судьбе человека, чувствующего, что его поэзия новому миру не нужна и что, пожалуй, сам он тоже здесь не нужен.

— Мы с ним ругались, даже дрались, до остервенения, — вспоминал Борис Леонидович, — но когда он читал свою лирику и «Пугачева», так только, бывало, ахаешь и подскакиваешь на стуле.

О Маяковском Пастернак говорил с душевной болью, как о человеке, который все-таки ему чем-то близок, чем-то дорог — хотя бы воспоминаниями молодости, всегда неизгладимыми и неодолимыми, и которого ему бесконечно жаль — и потому, что Маяковский наступил на горло собственной песне, и потому, что он трагически ушел из жизни. Пастернак воспел этот уход, он воспринял его как героический поступок, но, как человек, как бывший друг Маяковского, он, конечно, с содроганием думал о выстреле в тесной комнатке.

Он вспоминал о последней своей «посиделке» в Лефе:

— Маяковский был печальный, неблагополучный и одинокий, как курган. А вокруг него все эти Чужаки летали нетопырями.

Единственный из «лефов», кому Пастернак явно завышал отметку как поэту, глядя сквозь пальцы и на его подражания то Городецкому, то Хлебникову, то Маяковскому, и на его газетную халтуру, и на графоманию, махрово распустившуюся в его «Маяковскиаде», то бишь «Маяковский начинается», и кому он спускал его поведение, спускал по старой, еще «центрифужьей» дружбе, был Асеев.

...Пастернак мог давно не перечитывать какого-нибудь писателя, но раз оставшееся, и притом всегда на редкость точное, представление о нем отпечатывалось в его читательской памяти. Переводческий труд облегчало ему то чувство стиля, каким он был наделен. Однажды он поразил меня меткостью характеристик, которую обнаружил в разговоре о как будто бы далеких ему писателях. После довольно длительного перерыва в наших свиданиях он спросил меня, что я за последнее время успел сделать. Я ответил, что перевел «Брак поневоле» и «Мещанина во дворянстве» Мольера, а теперь перевожу драматическую трилогию Бомарше.

— Наверное, переводить Мольера было труднее? — спросил Борис Леонидович и сам за меня ответил: — Мольер писал так, как будто только записывал подслушанную им живую речь живых людей, а Бомарше, конечно, очень, очень талантлив, но это литератор, сознающий, что он литератор, и щеголяющий своей литераторской выправкой. А для перевода эта его витиеватость куда легче, чем простота Мольера.

И тут я вспомнил другие слова Пастернака:

— Пушкин, Достоевский и Чехов писали так, как будто они еще и не начинали быть писателями.

Но вообще о переводе он говорил редко — очевидно, оттого, что в ту пору Борису Леонидовичу было уже мучительно отвлекаться от оригинального своего творчества ради перевода — отвлекаться во что бы то ни стало, отвлекаться из-за куска хлеба. (Недаром он полушутя сказал однажды, что Шекспир и Гете подчас осточертевают ему, как «Правда» и «Известия».) Он только отозвался на мой перевод «Дон Кихота» и сказал, что это моя неотъемлемая победа, что это явление русского искусства.

Признаюсь, редко что доставляло мне такую радость, как письма ко мне Ариадны Сергеевны Цветаевой-Эфрон.

8 апреля 1966 года, перед Пасхой, она мне написала:

«С самым светлым праздником в году поздравляю Вас, милый Николай Михайлович... Помните, еще в 1960 году, незадолго до Пасхи, виделись мы с Вами в последний раз с Б[орисом] Леонидовичем]? — но ведь такова воскрешающая и

воскресительная сила этого человека, что последнего раза будто и не было. Всегда в эти дни вспоминаю и его, и Вас...»

В 1967 году я послал Ариадне Сергеевне книгу переводов Бориса Леонидовича, выпущенную издательством «Прогресс» с моим предисловием12. В ответ я получил от нее письмо:

«22 марта 1967

Дорогой Николай Михайлович! Огромное спасибо за книгу (хотя она и маленькая, а "книжечкой" не назовешь!). Предисловие Ваше — просто чудо: вольно, точно, без обиняков, и, хотя и сжато, а — глубоко и просторно. Очень я этому рада — как "глотку воды во время жажды жгучей". Как-то говорили мы с Б. Л. о переводах, о переводчиках, о редакторах, о буквализме, о занудстве и прочем — и он сказал: "А вот Любимов — свободный человек!" — и захохотал от удовольствия. Это было сказано давно уже, во времена куда как не свободные, стиснутые (когда Андрей Вознесенский ходил еще в робких Андрюшах, Ахматова не разжимала рта, а Рихтер давал концерты не западнее Царевококшайска).

Спасибо Вам, милый, свободный человек; дай Вам Бог!

Ваша А. Э.»

...Несмотря на затянувшееся сталинское кромешье, несмотря на гибель друзей, так и не вышедших из застенков и не вернувшихся с каторги, несмотря на то что он сам каждое мгновенье своей жизни мог ждать, что его схватят и повлекут, «аможе не хбщеши», несмотря на то что его не печатали, несмотря на то, что тираж книги избранных его стихотворений в 1948 году пустили под нож, несмотря на все это, Пастернак сохранил жизнерадостность. Я видел слезы на его лице после того, как он узнал об аресте Ольги Всеволодовны Ивинской. Я слышал, как срывался его голос от подступавших к горлу рыданий, когда на обсуждении его перевода «Фауста» в Клубе писателей он читал сцену в тюрьме. Но я ни разу не видел на его лице унылого, тоскливого выражения. В 1951 году он мне сказал:

— Я здоров, я очень люблю жизнь, люблю такие дни, как теперь: после заморозков — вдруг оттепель. Все как бы нарисовано тушью, разгонисто, чудесно. Я утром вышел — такой день, как будто его сам Господь Бог написал.

Он произнес эти слова без сентиментальных оттенков, скорее с оттенком светлой грусти, что придало им какую-то особую значительность.

Когда Пастернак говорил о том, что его возмущало, было видно, что гнев задевает лишь поверхностные слои его души, не всколыхивая ее и не доходя до ее дна, — что это всего лишь рябь, а не волнение, что злоба, даже и священная, — это чуждая ему стихия. И уж совсем добродушно отмахивался он от некоторых неотбойных поклонниц, коих одолевал философский и риф-мосплетательский зуд.

— Мне надо семью кормить, — пресерьезно говорил он, — а они заставляют меня читать свои многоверстные послания и стихи.

Он был благожелателен, благодушен, долготерпелив. Богословский присутствовал при том, как он, улыбаясь, звонил из Детгиза по телефону кому-то из знакомых, извиняясь за опоздание:

— Я сейчас приеду. Я задержался в Детгизе: меня тут учили, как надо писать стихи.

Речь шла о редактуре сборника его переводов Шекспира. К чести тогдашнего Детгиза должен сказать, что это было прекрасное издание: по нему школьники приучались понимать и любить Шекспира13.

...В начале 50-х годов по Москве разнеслась весть, что Пастернак в Боткинской больнице, что у него, вероятно, инфаркт, и, как говорится, по всей форме. Я регулярно звонил Зинаиде Николаевне, справлялся о здоровье. Затем узнаю, что Борис Леонидович выздоровел и уже дома. Как-то вечером иду к Ланну, жившему в том же подъезде,

что и Борис Леонидович, и вижу: Борис Леонидович посиживает с Зинаидой Николаевной на лавочке. Я бросился к нему. Обнялись, расцеловались.

Борис Леонидович дал своеобразное объяснение своей болезни:

— Перед тем как слечь, я все время принуждал себя делать то, что мне было не по нутру: рвал себе зубы и читал «За правое дело» Гроссмана.

Ранней весной 1954 года я позвонил Борису Леонидовичу. Он спросил, откуда я звоню. Я ответил, что из его дома, снизу, из квартиры Евгения Львовича Ланна. Он сказал:

— Мне очень хочется с вами повидаться, дорогой Николай Михайлович, мы ведь с вами давно не виделись, и хотелось бы почитать вам свои новые стихи, которых вы не знаете. Спросите, пожалуйста, Александру Владимировну и Евгения Львовича: ничего, если я к ним сейчас спущусь? У них, кроме вас, никого нет? Я подожду у телефона.

Уговаривать Кривцову и Ланна мне не пришлось.

Появился Борис Леонидович. В тот вечер он был как-то особенно, более обыкновенного, приветлив, жизнерадостен, прост, так и сыпал шутками. Потом, сидя рядом с кроватью, на которой всегда полулежала хозяйка дома, начал читать стихи.

Я вижу его прекрасное в своей одухотворенности и вместе с тем совершенно естественное в своем выражении лицо, я слышу его голос, в котором нет ни одной театральной ноты, ибо он вовсе и не собирался «вадсоко парить», а почти шепчет как бы в полусне:

Сомкнутые веки. Выси. Облака. Воды. Броды. Реки. Годы и века —

выделяя последнюю строку так, что вы чувствуете, что предание о Георгии Победоносце, вступающем в бой с темными силами за незащищенную красоту, всегда будет волновать человечество. Я вижу его любующимся тем, как после ночной грозы.

Смотрят хмуро по случаю Своего недосыпа Вековые, пахучие Неотцветшие липы.

А затем в неуютную, словно необжитую комнату Ланна вливается петербургская белая ночь:

Мне далекое время мерещится, Дом на стороне Петербургской.

Белая ночь уплывает, и в окна ей на смену вплывает другая весна, ранняя, далекая, лесная, дебряная, уральская, с колдобинами и промоинами, с топью и хлябью распутицы, с гулом и разгулом полой воды:

А на пожарище заката, В далекой прочерни ветвей, Как гулкий колокол набата, Неистовствовал соловей.

Спустя несколько дней Борис Леонидович прислал мне все эти стихи, отпечатанные на машинке, а вдогонку еще два стихотворения, написанные от руки: «Разлука» и «Свадьба».

«Разлука» — это было первое в советской поэзии стихотворение с намеком на арест героини. Уже одним этим оно брало за сердце, не говоря о том, что в него — это чувствовалось с первых строк — был вложен душевный опыт самого поэта. «Свадьба» поразила меня другим. До «Свадьбы» я не подозревал, как близка, как родственна Борису Пастернаку деревенская, страдная и хороводная, сарафанная и шушунная кольцовско-есенинская стихия. Недаром в 30-х годах самые большие надежды Борис Леонидович возлагал не на кого-нибудь, не на Заболоцкого, который, казалось, должен был быть ему тогда ближе, а на Павла Васильева с его «Стихами в честь Натальи».

На семинаре молодых поэтов 1935 года, о котором мне тогда же рассказывал присутствовавший на нем Александр Яшин, Пастернаку задали вопрос, кто, по его мнению, из молодых поэтов стоит на правильном пути. Пастернак назвал Павла Васильева, Ярослава Смелякова и Леонида Лаврова. На это ему возразили, что ведь все трое недавно арестованы. «Ах вот как? Ну, тогда, значит, не на правильном», — ответил Пастернак. Замечу мимоходом: я убежден, что Пастернак знал об аресте этих

трех поэтов и сказал о правильности их пути умышленно. А тут притворился, что в первый раз слышит. Пастернак, как многие дети, был отличный актер-реалист. Когда же, после смерти Сталина, военная прокуратура занялась реабилитацией расстрелянного в 37-м году Павла Васильева, обвиненного в том, что он по наущению Бухарина, покровительствовавшего Васильеву как поэту и охотно печатавшего его стихи в «Известиях», готовил покушение на «самого большого человека», Пастернак написал в прокуратуру письмо, в котором отметил, что Васильев «безмерно много обещал», что Васильев был наделен тем «ярким, стремительным и счастливым воображением», без которого не бывает настоящей поэзии и которого он, Пастернак, после Васильева ни в ком уже не видел.

Вскоре после присылки стихов мы встретились с Борисом Леонидовичем. Он был бодр, говорил, что все хорошо на свете, один за другим выходят люди из концлагерей и что в его литературной жизни есть сдвиг: «Знамя» печатает цикл его стихотворений.

Словом, он верил в то, что постепенно разъясняется, и не хотел замечать зарниц, не хотел слышать погромыхиванья, без чего не обходится даже самое долгое вёдро — слишком уж просило его сердце «света и тепла».

Затем он стал жить в Переделкине круглый год, телефона у него там не было, сваливаться на него, как снег на голову, я считал неудобным, к тому же я весь ушел в перевод «Гаргантюа и Пантагрюэля», и встречи наши почти прекратились. До меня лишь долетали вести о его жизни. Слышал я, что к нему приезжали из Союза писателей с просьбой подписать какой-то протест против каких-то зарубежных «зверств», на что он ответил:

— А в Венгрии водичка лилась? Что же мы не протестовали тогда?

И подписать отказался14.

Слышал я, что Павел Антокольский приезжал к нему уговаривать его взять «Живаго» из итальянского издательства, на что Пастернак ответил:

— Павлик! Мы с тобой старики. Нам с тобой поздно подлости делать.

— Смотри! Не сделай рокового шага. Не упади в пропасть! — с актерско-любительским пафосом прохрипел Антокольский. — Возьми рукопись назад. Помни, что ты продаешь советскую литературу.

— Да что там продавать? — возразил Пастернак. — Там уж и продавать-то нечего. Вы сами давно все продали — и оптом, и в розницу.

В начале 59-го года один мой знакомый15, написавший еще до истории с «Живаго» статью о Пастернаке, которую так и не напечатали, но которую, прочитав в рукописи, одобрил Пастернак, навестил Бориса Леонидовича в Переделкине. Он привез мне от Бориса Леонидовича привет и просьбу — позондировать почву в издательствах, ибо его — не с материальной, а с моральной стороны — начинает угнетать полное отсутствие заказов.

Случай не замедлил представиться. Я был редактором двухтомника пьес Кальдерона, готовившегося в издательстве «Искусство». Дело было уже на мази. Нежданно-негаданно издательский редактор Зоря Моисеевна Пекарская звонит мне, что состоялся очередной совет ученых и неученых мужей — членов редколлегии «Библиотеки драматурга», в которой должен был выйти Кальдерой. На этом совещании мужи спохватились и всполошились: «Какой же Кальдерон без "Стойкого принца"?» Так вот решено, мол, непременно включить «Стойкого принца» в новом переводе. Кому же заказать перевод? А сроки — драконовские. Я ответил, что прекрасно и быстро перевести «Стойкого принца» может только один человек в Советском Союзе: Борис Леонидович Пастернак. Зоря Моисеевна, естественно, растерялась: «Да, но ведь Пастернака не печатают». Я ответил ей в сердцах, что родить второго Пастернака я при всем желании не могу, а вести переговоры с кем-либо еще

считаю бессмысленным. Обойдемся в таком случае и без «Стойкого принца». «Ну, хорошо, я поговорю с директором», — нерешительно сказала Зоря Моисеевна. Не проходит и десяти минут, как я вновь услыхал в трубке ее уже ликующий голос: «Караганов сказал, что он очень рад. Ему, оказывается, дали указание как можно скорее предоставить Пастернаку работу, а он не знал, где эту работу найти. (Гуманизм Караганова и вышестоящих лиц объяснялся просто: разговорами за границей о том, что Пастернака в СССР не печатают.)

Не могли бы вы съездить к Пастернаку в Переделкино и от имени издательства повести с ним переговоры?» «Je ne demande pas mieux»*, — подумал я и, немедленно дав согласие, на другой день был уже в Переделкине и сговорился с Борисом Леонидовичем, что он берет на себя перевод «Стойкого принца». Показав мне груды писем, которые он теперь стал получать не только со всех концов Руси великой, но и со всех концов земного шара, он заметил, что игра с «Доктором Живаго» для него вполне стоила свеч. Я заговорил о тех его стихах, что потом составили последнюю его книгу «Когда разгуляется». Он отозвался на мои восторги довольно кисло, с неподдельным недоумением: что там, дескать, может особенно нравиться? Он сказал, что самым главным для него были и остаются роман и пьеса, которую он сейчас пишет.

Зимой 1959—1960 годов мы виделись с ним несколько раз. Моя «редактура» «Стойкого принца» свелась лишь к пятнадцати предложениям на всю пьесу. Я уже не говорю о том, что Пастернак обогатил русскую драматическую поэзию еще одним самоцветом. Это ему было не впервой. Поразительно то, что, зная испанский язык с пятого на десятое, заглядывая по временам для самопроверки в немецкий и французский переводы, он ухитрился сделать в переводе всей труднейшей трагедии лишь две смысловые ошибки. Помимо таланта, его еще всегда выручало обостренное филологическое чутье.

В день его 70-летия я послал ему в Переделкино телеграмму, в которой называл его «красой и гордостью русской литературы». Телеграфистка в 55-м отделении связи на Палихе, принимая телеграмму, вскинула на меня удивленные, слегка испуганные и даже с промелькнувшей тенью негодования глаза. Видимо, история с «Доктором Живаго» была ей памятна. Что другое, а забивать па-мороки у нас насобачились: «Я сама не читала, но раз в газетах пишут, что он предатель, стало быть, он предатель и есть...»

* Мне лучшего не надо (фр.).

Вскоре я получил приглашение к Борису Леонидовичу на обед, который состоялся на квартире у Ивинской. Кроме меня тут были Ариадна Сергеевна Цветаева-Эфрон и Константин Петрович Богатырев.

С несвойственной ему ворчливостью Пастернак за обедом рассказал:

— Одна швейцарка вздумала доставить мне удовольствие: прислала мне книгу моих ранних стихов в своем переводе на немецкий16. Вот удружила! В них и по-русски-то ничего понять нельзя, а немецкие их переводы надо сунуть в аквариум рыбам на корм.

Конечно, тут есть «красное словцо», но в каждом красном словце мелькает хотя бы отсвет истинного отношения человека к затронутой им теме.

Мы начали строить планы, какое участие примет Борис Леонидович в затевавшемся тогда под моей редакцией собрании сочинений Лопе де Вега, что именно ему хочется перевести. Видимо, Кальдерон раззадорил его, и у него чесались руки приняться за Лопе де Вега.

После обеда мы ушли с Борисом Леонидовичем одновременно. Оказалось, что нам с ним по пути: в Лаврушинский переулок. Дошли до Маросейки. Я стоял пень пнем, а

Борис Леонидович с юношеской легкостью гонялся за такси, перебегая с тротуара на тротуар.

Наконец мы сели в такси.

Вот его последние слова, сказанные мне перед разлукой на земле:

— Знаете, что я вам скажу: все произошло так, как должно было произойти, и я за все благодарю Бога. И за то, что я не в Союзе писателей, тоже, — с улыбкой добавил он. — Быть членом Союза, хотя бы даже как Шолохов: вечно пьяным, буянящим, в пуху и в шапке на затылке, нет уж, увольте!..

...Пока Пастернак был жив, мне было отрадно не столько сознание, сколько подсознание, что он «между нами живет». Как я его люблю, и как осиротеет Поэзия, как осиротеет Земля, когда он уйдет от нас туда, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная, — это я всей неприкаянностью опустевшей души моей ощутил, когда шел за его гробом в тихий и радостный летний день.

Переделкино — Москва Август 1966 — апрель 1967

Варлам Шаламов

ПАСТЕРНАК

Я не биограф Пастернака, не репортер. Мне было радостно найти в Пастернаке сходное понимание связей искусства и жизни. Радостно было узнать: что копилось в моей душе, в моем сердце понемногу, что откладывалось как жизненный опыт, как личные наблюдения и ощущения, — разделяется и другим человеком, бесконечно мною уважаемым. Я — практик, эмпирик. Пастернак — книжник. Совпадение взглядов было удивительным. Возможно, что какая-то часть этой теории искусства воспитана во мне Пастернаком — его стихами, его прозой, его поведением, — ведь за его поэтической и личной судьбой я слежу много лет, не пытаясь познакомиться поближе. Не потому, что идолы теряют, когда рассматриваешь их слишком близко — я бы рискнул на это! — а просто жизнь уводила меня очень далеко от городов, где жил Пастернак, и как-то не было ни права, ни возможности настаивать мне на этой встрече.

Когда мы стали встречаться, я казался Пастернаку не столько человеком, рожденным его собственными идеями, сколько единомышленником, пришедшим к его мыслям трудной дорогой. Записана тысячная часть наших разговоров. Есть большое количество моих писем к нему — писем, на которые он отвечал при встречах. По его просьбе я написал подробный разбор «Доктора Живаго» в рукописи. Этот разбор, написанный в два приема (первая и вторая части), должны быть в бумагах Бориса Леонидовича1.

В Бутырской тюрьме, во время следствия, мы часто играли в «слова». Из букв заданного слова надо было составить другие слова, повторяя комбинации букв сколько угодно. Все повторения вычеркивались взаимно, и победителем считался тот, кто записал больше слов-вариантов. Это было превосходное упражнение на аллитерации, специальная техника поэта, воспитание его уха.

— Фамилия героя романа? Это история непростая. Еще в детстве я был поражен, взволнован строками из молитвы церковной православной церкви: «Ты есть воистину Христос, Сын Бога жи-ваго». Я повторял эту строку и по-детски ставил запятую после слова «бога». Получалось таинственное имя Христа «Живаго». Не о живом боге думал я, а о новом, только для меня доступном, по имени «Живаго». Вся жизнь понадобилась на то, чтобы это детское ощущение сделать реальностью — назвать этим именем героя моего романа. Вот истинная история, «подпочва» выбора. Кроме того, «Живаго» — это звучная и выразительная сибирская фамилия (вроде Мертваго, Веселаго). Символ совпадает здесь с реальностью, не нарушает ее, не противоречит ей.

У Пастернака не было секретарей. На каждое письмо из любой страны отвечал он собственноручно — и на языке автора. Стихов Пастернаку слали немного, и заводить

особый резиновый штамп для ответа, какой был у Льва Толстого, Пастернаку не было необходимости. Льву Толстому слали много стихов. Но он никогда их не читал — раз навсегда секретарям было дано распоряжение отсылать стихи обратно. Позднее был заведен резиновый штамп такого текста: «Уважаемый имярек. Лев Николаевич прочел Ваши стихи и нашел их очень плохими. Секретарь (подпись)».

Письма Пастернака, написанные крупным разборчивым почерком, писались всегда обыкновенным школьным пером, химическими лиловыми чернилами. Никакими авторучками Пастернак не пользовался. Рукописи написаны простым черным карандашом, хорошо отточенным.

Пишущая машинка — не для Пастернака. Ему были бы под стать державинские, пушкинские перья. Я отлично представляю себе Пастернака с гусиным пером в руке.

Пастернак нездоров. Пастернак болеет. Не принимает, встретиться с ним нельзя. Сердце? Гипертония? Нет, экзема. Экзема выбрала место на щеке Пастернака, и это пустячное заболевание ужасно его угнетало, не давало показываться на люди.

С утра — работа, в три часа — послеобеденная прогулка. Вечер в чтении, прогулка перед сном и почти всегда — снотворное: нембутал, барбамил.

Пастернак не читал газет. Не имел газетного «иммунитета».

<В. Ш.> — Сейчас никто не говорит по вопросам искусства, по вопросам существа нашей работы.

<Б. П.> — Вы невысокого мнения о Сельвинском. Сель-винский поэт, не виршеписец. Я хотел прочесть что-либо из современного. Каверин, говорят, написал хороший роман «Доктор Власенкова». Но прочла жена, сказала, что начало хорошее, а дальше — неудача. У Каверина почти во всех его вещах начало лучше середины. Скоро надоедает автору собственный сюжет.

Я не люблю Горького. Притом наше время показало, что «человек» отнюдь не «звучит гордо».

На <мое> творчество большое влияние, непрямое, может быть, кроме Анненского и Блока, имеет Андрей Белый. Это — гений. Когда Белый умер, мы написали некролог (он был напечатан в «Известиях»): «Считаем себя его учениками». Подписи было три: Пильняка, Санникова и моя2.

Сурков несколько лет назад обвинил меня в том, что я написал стихи о Керенском. У меня действительно есть такие стихи, но ведь они относятся к 1917 году.

Когда отец уезжал в Англию, мы поссорились3. Я видел много светлого тогда, вначале... Потом этот свет потускнел. Судьбы людей, которых я знал, говорили о многом. В 1930 или 31 году я ездил на Урал в составе писательской бригады и был поражен поездкой — вдоль вагонов бродили нищие — в домотканой южной одежде, просили хлеба. На путях стояли бесконечные эшелоны с семьями, детьми, криком, ревом, окруженные конвоем, — это тогдашних кулаков везли на север умирать. Я показывал на эти эшелоны своим товарищам по писательской бригаде, но те ничего путного ответить мне не могли. А через два-три года начались «Кировские потоки» и «ежовщина».

На вечере в Политехническом, где Пастернак читал в числе прочих стихотворений «Другу», выступил Безыменский и сказал, что такие стихи — антисоветская пропаганда, выступление классового врага. Возмущенный до глубины души Пастернак вышел на авансцену.

— Я одно только скажу: Безыменскому я больше руки не подам, — и отошел в сторону.

От волнения я и звонить не мог. В семьдесят вторую квартиру позвонила моя жена. Дверь быстро открылась, и вот Пастернак на пороге — седые волосы, темная кожа, большие блестящие глаза, тяжелый подбородок. Быстрые плавные движения.

Маленькая прихожая, вешалка, открытая дверь в кабинет справа и крайняя комната с роялем, заваленным яблоками, глубокий диван у стены, стулья. По стенам комнаты — акварели отца.

У меня где-то записано это свидание. Я пробовал его вспомнить сразу, когда шел пешком через мост на Красную площадь, мимо Василия Блаженного, — семнадцать лет я не был в Москве. Судьба была ко мне слишком добра, слишком. Через семнадцать лет я встретился с городом, который я любил и знал, в котором я вырос, учился и сражался, — встреча с городом тоже чего-то стоит.

Только вчера я приехал с Колымы, из ледяного тумана Заполярья, из страшного мира лагерей Колымы, только вчера я встретился с женой, которая ждала меня семнадцать лет. Только вчера я встретился с дочерью, которую оставил 12 января тридцать седьмого года, поцеловал ее в кроватке и ушел за следователем, делавшим обыск, — ушел на целых семнадцать лет. Дочь выросла без меня — она была уже студенткой. Впервые в ее и моей жизни встретились мы вчера. По Москве еще ходили ежевечерне милиционеры, проверяя в каждой квартире лишних и чужих, а у меня был паспорт с 39-й статьей, с правом проживания в поселках с населением не выше 10 ООО человек.

Куда я ехал? Сам еще не знаю. Что за человек моя дочь? Что за человек моя жена? Разделят ли они те чувства, которые переполняют меня до краев, чувства, которых хватит еще на 25 лет тюремного срока? Что мне слушать? Только собственное сердце, собственную совесть, где никакая логика ничего не оправдает и ничему не поможет.

Счастье, великое мое счастье было в том, что на вторые сутки моего появления в Москве я мог звонить у этой двери, в Лаврушинском переулке. Ибо завтра был уже поезд, ночевать мне было негде.

Но сегодня, 13 ноября 1953 года, я поднимался по лестнице и за дверью 72-й квартиры ждал меня Пастернак — что могло быть поразительнее?

Волнений было слишком много для одного дня, для одного года, может быть.

Я привез и отдал ему книжку стихов, синюю тетрадь, записанную еще около Оймякона, в Якутии.

Через час после моего ухода Пастернак позвонил сестре жены — он рад, он взволнован стихами. Но это я узнал только из письма — я уехал утром в Конаково, на фарфоровую фабрику.

Разговоры наши — не интервью, не беседы репортера со знаменитостью. Я приехал учиться жить, а не учиться писать. Пастернак задолго до нашей первой встречи был для меня больше чем поэтом. Никакого вопросника не было во время наших встреч. В своих письмах я писал, спрашивал, и во время встреч Борис Леонидович на многое отвечал.

Мне было сорок шесть лет. Из них двадцать я пробыл в тюрьме и в ссылке.

Но все беседы наши больше касались общих вопросов искусств, чем лагеря, тюрьмы.

Борис Леонидович был «общий», и я это хорошо понимал. Но то, о чем мы говорили, имело важность прежде всего для меня, для моего собственного поведения.

Мне было легко и радостно узнать, что по целому ряду вопросов мы держимся одинаковых взглядов. Так и должно было быть, иначе — что бы меня заставило желать личной встречи?

Я — тяжелодум, я всегда вспоминал дома самые сложные аргументы, которые не пришли в голову.

<Б. П.> — Где Пильняк? Вы не встречали такого, кто бы знал? Ничего не слышали?

— Нет. Пильняк умер.

<Б. П.> — Я знаю: «там» на меня тоже заведено дело. Дело Пастернака. Мне рассказывали. Но не арестовали... Сколько друзей... а я жил и живу... В день, когда Сталин умер, я написал вам письмо — 5 марта — открытку, что перед смертью все равны. Я был в Переделкине, стоя у окна — увидел — несут траурные флаги — и понял4. Соседка моя два-три года назад сказала: «Я верю, глубоко верю, что настанет день, когда я увижу газету с траурной каймой». Мужество, не правда ли?

Шолохов — первая часть «Тихого Дона» великолепна. Сила, свежесть. Больше не написал ни строки. Очень далек от гуманизма, от человеколюбия. Человеческая жестокость — вот его подстрочная тема.

Я гляжу ему в лицо, в веселые его глаза и весело слушаю:

— Нынешний год был хорошим годом. Я написал две тысячи строк «Фауста». Заново перевел. Была уже вторая корректура, но захотелось кое-что изменить — и как из строящегося здания выбивают несколько подпорок — и все готовое рассыпается в прах и надо строить заново. Так мне пришлось писать этот перевод заново. Я очень спешил, радостно спешил. Я понимал Фауста так: ведь Гёте был ученый, естествоиспытатель, и чертовщина Фауста не могла быть темой его поэтического одушевления. Не легенда народная, а реальная жизнь, напоминающая эту легенду, поэтический земной поток сквозь маски Фауста — так надо было его понять и так переводить. Эта попытка мной и сделана, и новый перевод во многом отличен от того, что было напечатано.

Я: — Это первый полный «Фауст» на русском языке?

Пастернак: Нет, не первый. «Фауста» переводил Фет, Холод-ковский. Но я не брал, не смотрел этих переводов, когда работал. Вот когда я переводил «Гамлета», я обложился переводами чужими, всеми, которые мне были только доступны и известны, и двигался от строки к строке, сверяясь поминутно; «Фауста» я перевел без всяких вех, один... «Фауст» выйдет в ноябре, днями.

Но этот год, пятьдесят третий год, был для меня не только годом переводческих удач. Я написал еще летом несколько стихотворений. Строго говоря, они еще не записаны. Хотите, я прочту?

— Еще бы.

Много лет назад, в клубе 1-го МГУ, в бывшей церкви, Пастернак читал «Второе рождение». На стульях сидели актеры, музыканты, ученые — чуть ли не каждый мог собрать публику на собственный вечер. Здесь все они были зрителями, слушателями, искателями истины. Где-то в толпе, забившись в самый безвестный угол, сидел и я, ловя каждое слово. Стихи читают по-разному. Есть манера Блока, равномерная, энергично отрубающая строку за строкой. Есть напевное чтение Северянина и Есенина. Есть ораторское чтение Маяковского. Пастернак читал стихи, как прозу, ритмизованную прозу. Получается теплее, проще, задушевнее. Тогда, в университете, Пастернак просил прощения, что не умеет читать стихи.

«Второе рождение» Пастернак читал по книжке, постоянно справляясь с текстом, не отводя от глаз маленькую книжицу.

— Не пропускайте, читайте все. Вы не прочли «Опять Шопен не ищет выгод».

— Сегодня мне не хочется читать это стихотворение. Начались «ответы на записки», любимая московская потеха.

Для этих ответов такой характер, как Маяковский, заготовлял и вопросы и ответы заранее. Это называлось — домашняя подготовка. Кто лучше сострит, тот и прав. Кто лучше обхамит литературного противника — тот и победитель. Но с Пастернаком дело обстояло совсем не так. Он развертывал и читал вслух подряд все записки, которые передавались на эстраду, и сразу отвечал со всей серьезностью, без тени улыбки, боясь

только одного: как бы не солгать, не покривить душой при ответе ради «красного словца».

Помню — был вопрос явно провокационный: «Какую пользу принесет литературе постановление о роспуске РАППа?»5 Борис Леонидович провел рукой по виску, — был он тогда почти не седой, — и ответил: «Литература живет по своим законам, и после постановления снег не будет идти снизу вверх».

Много говорил тогда Пастернак о том, что он не будет больше писать стихов, будет писать только прозу...

Было все это в тридцать третьем году или в конце тридцать второго— двадцать, стало быть, лет назад.

Борис Леонидович читал в двух шагах от меня на память. Цветаева когда-то написала, что не знает своих стихов наизусть, и объяснила, почему это происходит: «Я слишком редко читала». Это замечание — правильное. Свои стихи надо учить, как чужие, и даже труднее запоминать, чем чужие, из-за вариантов, отвергнутых, выброшенных строк, строф и слов. Этой опасности нет при пользовании чужим текстом.

Я понял, что Пастернак тысячу раз уже повторил свои новые стихи, — для себя ли, для близких, для знакомых читал ли, этого я не знал. Но любое стихотворение звучало без запинки. Все это были те самые стихи, которые после стали известны как «Стихотворения из романа в прозе».

Первым читалось «Половодье», «Мне далекое время мерещится», «Колыбельная» и «Август», конец которого затвердил я про себя тут же. «О плаще и хмеле», «Русская сказка».

— Скорей — ваша тема, — сказал Борис Леонидович.

Пирушки наши — завещанья, Чтоб теплая* струя страданья Согрела холод бытия.

<В. Ш.> — Я когда-нибудь напишу рассказ, как я за вашим первым письмом ездил в пятидесятиградусный мороз, пересаживаясь с оленей на собак и с нарт — на автомобиль. Пять суток я ездил за этим письмом.

<Б. П.> — В ответе вашем на мое большое письмо мне больше всего понравилось суждение о рифме. Рифма — как поисковый инструмент поэта, — это очень верно, очень хорошо. Теперь очень любят ссылаться на авторитеты. Так вот — это пушкинское определение рифмы.

Понимание искусства надо выстрадать. Самой важной перепиской такого рода для меня была переписка с Цветаевой — она все это очень тонко, очень больно понимала и чувствовала. Вот мне приходится читать статьи искусствоведа нашего Алпатова — учено, книжно, а не выстрадано, не выбелено и потому — холод-

* У Пастернака — «тайная».

но, мертво. Огромный личный опыт, такой, как у вас, поможет вам найти правильный путь.

Я пытаюсь объяснить, чем был для нас Пастернак на Колымской каторге, в заключение пытаюсь объяснить, почему стихи Пушкина или Маяковского не могли быть той последней нитью, соломинкой, за которую хватается человек, чтоб удержаться за жизнь — за настоящую жизнь, а не жизнь-существование...

Как Орлов, бывший референт Кирова, читал вечером в бараке накануне расстрела:

Скамьи, шашки, выпушка охраны, Обмороки, крики, схватки спазм...

будет день

Сядут там же за грехи тирана

В грязных клочьях поседелых пасм...

Будет так же ветрен день весенний,

Будут высшие соображенья

И капели вешней дребедень

<Б. П.> — Маяковский? Разве вы не видите, что из него сделали теперь? Хорошо, что вы не знаете «Охранной грамоты». «Охранную грамоту» я знал чуть ли не наизусть, но промолчал.

— Как много плохого принес Маяковский литературе — и мне, в частности, — своим литературным нигилизмом, фокусничеством. Я стыдился настоящего, которое получалось в стихах, как мальчишки стыдятся целомудрия перед товарищами, опередившими их в распутстве... Вы не знаете языков?

— Нет, — в нашем поколении знание иностранных языков считалось чуть ли не подготовкой к шпионажу. Во всяком случае, отягощало «обвинение» при случае... Почти столь же тяжкое преступление, как иметь родственников за границей.

— Когда будет наконец время печатать то, что думаешь? — спрашивает он сам себя и вздыхает. — Я был на пленуме, послушал. К голосовым упражнениям такого рода можно привыкнуть года за два. Сидят и твердят, как заклинание: «Нам нужна хорошая драматургия! Нам нужна хорошая драматургия!» Это похоже вот на что: по улице идет молодой человек, и все ему желают хороших внуков, и он твердит, что хочет хороших внуков. А ему надо думать о детях, а не о внуках. Надо получить жизнь хорошую, тогда будет и хорошая драматургия... Было ощущение, что грозная пелена спала, и казалось, что люди, как у Андерсена, заколдованные в жаб, будут опять превращаться в людей. Но время идет, а жабы в людей что-то не расколдовываются... Павел Васильев — вот кто был истинно талантлив из молодежи. Это — клюевский ученик, а Клюев был настоящим поэтом. Большим поэтом.

<В. Ш.> — Воровская Галочка, дочка Александра Константиновича, была на Колыме как «ЧС».

— Я это тоже все знаю. Как «член семьи». Ужасно. Александра Константиновича я знал и относился к нему с великим уважением. Позвольте спросить вас о Мандельштаме, о его судьбе.

— Знаю только с чужих слов, что Мандельштам умер в 1938 году во Владивостоке, на пересылке, не попав на Колыму, куда его везли. Остался должен лет десять6.

— У нас нет Льва Толстого. Под силой его гения росло много писателей. В одном из своих писем вы писали, что я обратился к евангельским темам. Но ведь дело не в евангельских темах, а в том удивительном соответствии реальности, жизненного тона с каким-то с детства известным сказочным событием, перекличка душевная с чувствами и мотивами...

— Я так это и понимал и писал, отнюдь не осуждающе.

— В ваших письмах было очень интересное для меня замечание о том, что поэтические идеи Пастернака близки поэтическим идеям Анненского, это совершенно верно, хотя никто никогда мне этого не говорил. Иннокентий Анненский — мой учитель.

— Вместе с Блоком...

— Блока мы все боготворили. Тогдашние молодые. Блок был всеобщий кумир. Но заражались от Блока жертвенностью, святостью поэтического долга, бурей чувств. Я находил у Анненского ряд тончайших замечаний, которые подсказывали пути, по которым никто еще никогда не ходил. Я писал уже вам, что я хотел бы уничтожить все из старого, за исключением «Февраль, достать чернил и плакать», «Был утренник, сводило челюсти», и написать по-новому, где деталь, подробность была бы столь же весома, как у Анненского или Льва Толстого.

<Б. П.>— Я в это лето вернулся к прежней работоспособности — вставал ночью к бумаге, забыл про режим, про инфаркты.

<В. Ш.> — Я написал вам с севера письма. Послал стихи, которые и отвезти-то все боялись, потом одна врачиха согласилась, привезла в Москву — а у вас инфаркт. И я, получив об этом сообщение, подумал: «Вот как мне везет». Но вы поднялись, и встреча наша состоялась.

<Б. П.> — В марте — апреле (после смерти Сталина) звонили мне из «Знамени», из «Литгазеты» — нет ли у меня чего-нибудь готового для печати... Смешно...

Борис Леонидович целует меня в прихожей.

— Я хочу, чтоб вы прочли мой роман. Половина его написана. Окончание романа — моя ближайшая работа. Возьмите первую часть у Н. А. Кастальской. Все это — и роман, и стихи, и «Фауст» — работа одного плана. Человек ведь не пишет — вот одно, а вот другое, — все, что написано, есть отражение, ощущение одного периода. Впрочем, все это хорошо известные вещи, и напрасно я вам все это говорю...

Мы выходим на лестницу. Борис Леонидович машет нам рукой. Сил спускаться почти нет, держусь за перила. Жена отчитывает меня:

— Ты поздоровался с Б. Л. раньше, чем он поздоровался со мной. Так не полагается.

Той же ночью я уехал в Конаково. Фельдшерское место горз-драв мне давал при условии, если местное НКВД согласится на мое житье в поселке фарфоровой фабрики. Начальник райотдела НКВД был и не любезен и не груб, глубоко равнодушен. Выслушав краткую мою просьбу, сказал лениво:

— Найдете работу, и можно будет прописать, хоть в Конакове не 10, а 14 тысяч жителей.

Работа была — требовалось разрешение на прописку. Эту «психотехнику» я знал хорошо и медлить не стал — уехал в Калинин. Оставив надежды на фельдшерскую работу, устроился товароведом, а вернее, агентом по техническому снабжению в Озерецко-Неплюевское строительное управление. Поселили меня в «гостинице» — в «доме приезжих». Это была обыкновенная крестьянская изба, которую хозяйка сдавала строительству. Пять коек в комнате. Стол. Стулья. Пьянство каждый вечер. Сюда-то привез я из Москвы первую часть «Доктора Живаго» и читал, читал, читал... А когда все засыпали, писал. Писал о всем, что было разбужено во мне этим романом.

В конце ноября я взял рукопись у Бориса Леонидовича. Опять никого не было дома. Этот второй разговор был в каби-нетике справа. Там — книжные полки. Письменный стол с выдвижными ящиками — откуда-то из глубины вынырнула зеленая книжка стихотворений.

Борис Леонидович поправил карандашом ошибки и отдал книжку.

Идет разговор о моей «синей тетради» — той тетрадочке, которую отдал я в прошлый приезд. Ее у меня сейчас нет. Читает Б. Л., говорит несколько лестных слов о моих стихах.

— Если вы не должны писать стихов, то и я не должен писать. Послушайте стихотворение: «Ты значил все в моей судьбе». Я дал несколько стихотворений представителю «Литературной газеты». Тот выбрал «Рассвет»: «Это ведь Сталину посвящено, не правда ли?» Какому Сталину? Это стихотворение посвящено Богу, Богу. Звонит снова: «Извините, мы ничего напечатать не можем». Я хочу, чтобы вы внимательно послушали «Свадьбу». В стихотворении этом есть кое-что новое для меня. И я хотел бы знать — действует ли «Свадьба» так же, как прежние мои вещи. «Свадьба» — пример выхода на широкую публику, где самое откровенное, философское изложено в нарочито обнаженном виде.

Жизнь на свете только миг*, Только растворенье Нас самих во всех других, Как бы им в даренье.

В «Докторе Живаго» Юрий говорит то же самое. Позднее в стихах «Быть знаменитым» — «Во всем мне хочется дойти»... та же мысль изложена в новых, еще более четких вариациях.

— Это — круто налившийся свист... Это — двух соловьев поединок.

Ожидание большого читателя перешло в ощущение приближения этого читателя. Поэт русской интеллигенции хочет говорить со всем народом, со всем миром.

<Б. П.> — Всю жизнь я хотел сказать многое для немногих.

Стихи последнего времени, начиная со сборника «На ранних поездах», дышат другим. Я пожертвовал многим, возвращаясь на классические дороги. Напрасно вы с таким пренебрежением говорите о Сельвинском. Сельвинский — поэт. Просто его беда, что он увяз в «украшательстве», в «искусственности» и этому посвятил свою жизнь. Вместо того чтобы искать правду жизни, занялся формальными исканиями, задушившими в нем искренний голос. Мартынов — это не поэт. Это — искусственность, а не искусство. Поэт, которому нечего сказать? Разве бывают такие поэты? «1905 год» и «Лейтенант Шмидт» — это два сборника, которые я хотел бы забыть._____

* У Пастернака: «Жизнь ведь тоже только миг...»

<В. Ш.> — Море из «Морского мятежа» мне кажется превосходным стихотворением.

Ты в гостях у детей.
Но какою неслыханной бурей
Отзываешься ты,
Когда даль тебя кличет домой!

<Б. П.> — Отдельные удачи — не в счет. Марина Цветаева, чье поэтическое ухо было всегда инструментом совести, отрицала самым категорическим образом ценность этих двух сборников моих. Сразу написала, что я «списываю у соседа», что стихи меня недостойны. Я не особенно обратил тогда на ее слова внимание, а потом увидел, услышал сам — сколько в них искусственности.

В 1956 году чехи прислали с Паустовским письмо Б. Л., предлагая издать «1905 год» и «Лейтенанта Шмидта» в «Избранном». Борис Леонидович категорически отказался. Я читал черновик ответного письма. Пастернак благодарит издателей за приглашение, но разрешение на издание этих сборников не дает. Если издатели действительно относятся к нему с уважением и могут помочь выполнить заветное желание поэта, пусть издадут его новый роман «Доктор Живаго», где он, Пастернак, отвечает на все вопросы искусства, жизни, истории и общества. В этом же письме Пастернак отрицательно отзывается о прозе Горького и Алексея Толстого — писателей, отступивших, по его мнению, от идей, от задач большой русской литературы. Послано ли было это письмо, я не знаю.

<Б. П.> — Нобелевской премией меня хотели наградить в 1954 году. Но правительство наше в ответ на запрос Стокгольмского комитета сообщило, что возражает категорически. Правительственный кандидат — Шолохов. Первая часть «Тихого Дона» была очень хороша. Да, весна была тогда, весна. Всю жизнь я хотел писать прозу. Рассказы печатал плохие. «Детство Люверс» показало мне, что кое-что новое я вижу. «Охранная грамота» была развитием тех же начал, которые виделись в «Детстве Люверс». «Доктор Живаго» — это другое. Все косноязычие, что плыло свободным потоком, подобно стихам, где много находок связаны, подчеркнуты аллитерацией и, может быть, ею рождены. Все это мудрствование было выброшено, отметено. Я стремился, понятно, сохранить отца — тональность. «Доктор Живаго» в этом отношении несомненный и значительный шаг вперед. Особенно меня беспокоит вторая часть. Столько есть примеров, когда вторая часть, конец ослабевает. То ли

писать надоело, то ли автор потерял интерес к тому, что бурлило в нем вчера. Для меня в этом отношении вторая часть была предметом особых забот. Сделал все, что мог.

Третья встреча. 2 января 1954 года. Девять часов вечера.

— Вот вам «Фауст». Многие хотели получить, но я сберег для вас.

Телефонный звонок.

— Да, Коля, да. Благодарю. Поздравляю и тебя. Асеев. — Борис Леонидович говорит грустно и негромко. — Асеев. Бывший товарищ. Чужой, совсем чужой человек. Лефовские круги я вспоминаю с отвращением. Пусть переводы, пусть случайная работа — только не это лефотворчество. Искусство гораздо серьезней и требует совсем других человеческих качеств, чем думали Маяковский и Асеев. Нравственная ответственность поэта, ответственность русского писателя очень велика.

В тридцать пятом году я был в Париже на конгрессе.

(Это был тот самый Конгресс защиты культуры, на котором русскую делегацию представляли Шолохов, Шагинян и Виктор Финк. После первых выступлений советских делегатов организаторы конгресса — братья Манны, Мальро — бросились к Эренбур-гу. Эренбург был «офицером связи» между Западом и Востоком.

— Кого вы привезли? Мы хотим говорить о смысле жизни, о душе Запада и душе Востока, а нам читают цифры надоя и уборки свеклы. Спасайте.

Эренбург послал телеграмму, и в Париж спешно прибыли Пастернак и Бабель. Пастернак вышел говорить — ему аплодировали пятнадцать минут. Он сказал красивую речь — ту самую, где говорил, что поэзия — в траве — надо только нагнуться, чтобы ее поднять.)

— Ко мне обращались писатели, журналисты — много, много, чтобы я высказал свое мнение, свое суждение о времени. Я обещал это сделать особо, а не в газетных беседах. Я хочу выполнить свое обещание. Я не хочу быть Хлестаковым, быть хвастуном. Я написал роман — в нем я даю ответ на все вопросы, которые задавали мне в течение ряда лет и устно, и письменно, и в выступлениях, и в речах, и в беседах. Я написал «Доктора Живаго». Я еще не кончил романа. По плану я проведу его через двадцатые годы и доведу до «ежовщины» — доктор погибает в концлагере.

Почему поэту важно писать прозу? Поэт Пушкин воспринимается вместе с его прозой, на ее фоне понимается. Не все можно сказать стихами. Стихи Лермонтова понимаются, чувствуются тоньше, точнее, лучше, если помнить 6 его прозе. Сама проза — материал для лучшего понимания стихов. А вот Верлен, который не писал прозу, требует для полного восприятия — современной ему французской живописи.

Единство нравственного и физического мира в «Докторе Живаго» — это от Толстого, это его принцип.

<В. Ш.> — Вам не кажется, что женщины лучше мужчин? На севере я знаю много случаев, когда жены приезжали за мужьями-заключенными. Женщины мучались, голодали и холодали, подвергались всяческим издевательствам и штурмам похотливого лагерного начальства — губили себя, ведь свиданий не давали, да и Колыма — это ведь пол-Европы, восьмая часть Советского Союза. Поселки там разбросаны один от другого, а инструкция начальникам из Москвы, чтобы разлучать, а не соединять. Жена с трудом устраивается на работу поближе к мужу, и, как только это установлено, мужа в тот же день переводят на какой-нибудь дальний участок. Режим, бдительность. И жены это всё знают наперед и все-таки едут.... Я не знаю ни одного случая, чтобы муж последовал за ссыльной женой. Да, женщины лучше, лучше, лучше. Вы знали Рейснер, Борис Леонидович?

— Знал. Познакомился на чьем-то докладе, вечере. Вижу — стоит женщина удивительной красоты и что ни скажет — как рублем одарит. Все умно, все к месту. Обаяния Ларисы Михайловны, я думаю, никто не избег. Когда она умерла, Радек

попросил меня написать стихотворение о ней. Я написал «Бреди же в глубь преданья, героиня».

— Оно не так начинается.

— Я знаю. Но суть — в этих строках. В память Ларисы Михайловны я дал имя своей героине из «Доктора Живаго».

Поэту необходимо все время писать прозу. Куски отдельные, не заметки, не записи, а куски художественной ткани. Значение таких отрывков очень велико. Надо стараться никому не подражать. Именно в отрывках, в кусках вы избежите чужих стилевых влияний и, значит, добьетесь победы. Ваш огромный личный опыт, ответственность ваша велика. По письмам я уже получил представление о вас. Физический ваш облик укрепляет меня в моем суждении. Хочу верить, что вам дано сказать многое.

Я переводил много. Переводы мне даются легко. Перевожу для театра. После шекспировских пьес получил заказ на «Марию Стюарт» Шиллера. Это будет легкая работа. Я много переводил Тициана Табидзе, Яшвили. Я ведь их обоих знал.

— Вы никогда не переводили Гейне?

— Я не очень жалую романтическую иронию. И поэзия, и жизнь слишком серьезны — там не до шуток. За шуткой не спасешься. Ирония — плохое оружие, плохой щит. Со сборника «На ранних поездах» я вышел на новую дорогу. А прежнее — только самое лучшее — я ведь писал вам, что «Был утренник», «Февраль, достать чернил и плакать».

Гоголь о Пушкине написал: «У него в каждом слове — бездна пространства»7. Вот эти слова можно отнести к Пастернаку всех времен, а больше всего — времени «Сестры моей жизни» с необычайной, небывалой в мировой поэзии емкостью строки.

Тогда б по свисту строф, по крику их, по знаку, По крепости тоски, по юности ее Я б уступил им всем, я б их повел в атаку, Я б штурмовал тебя, позорище мое!

Пастернак не только не был отшельником, но держал руку на пульсе времени. Стремился выступать везде, где только можно было выступить.

— Пусть мне дадут зал и продают билеты. Я покажу — соберу ли я слушателей... Меня позвали к Пришвину незадолго до его смерти. Мы не были знакомы раньше. Приезжаю. Пришвин в постели. Говорит: «Позвольте пожать вашу руку и поблагодарить вас за все, что вы написали. Как же, думаю, умру и не познакомлюсь с вами». Вот такой разговор. Меня очень тронул этот визит, эти слова.

— Каково ваше суждение о Пришвине?

— Очень высоко ставлю. Очень. Понимал все. Природа ему нашептала. Он человек не книжный.

«И творчество и чудотворство». Я повторял про себя эту строку из «Августа», взволнованный этим рассказом. Позднее оказалось, что «отпущение грехов» понадобилось не только Пришвину.

<Б. П.> — Приехал итальянский писатель Мачиаро.

«Мои пьесы идут во всех театрах мира, я признан, я писатель и драматург. Но у меня есть нечто, о чем бы я хотел поговорить именно с вами, и притом без переводчика».

Выбирается французский язык. Итальянец рассказывает:

«Я долго шел к своей славе, трудно. В молодости у меня был друг — его романы, стихи, пьесы уже получили известность. Я не буду называть его имени — вы знаете это имя. Мы были очень дружны. Я был в полосе несчастий, я думал только о смерти. Мой друг сказал: "Я чувствую, что успех мой случаен, я ничего уже не создам. Я тоже хочу умереть". И мы назначили день и час, чтобы покончить с собой каждый у себя дома. Завтрашний день, завтрашний час. Мой друг покончил с собой. А я — я остался в живых. Я струсил, понимаете, струсил. И целую жизнь я ношу на себе это невидимое

страшное клеймо. И вот о том, что такое самоубийство, я и приехал говорить с вами, господин Пастернак. Мне кажется—в мире нет людей, поэтов, писателей, философов, так далеких от самоубийства, как вы. Говорите со мной».

Борис Леонидович говорил, что все проходят через это. Но не все кончают с собой.

— Часто плачут от волнения. Кажется, и причин нет. На экране покажут лошадь крупным планом, а у меня слезы от волнения. Или Брамса играют — плачу и приговариваю: плохой, плохой композитор...

Содержание не должно перегружать стихи. Стихи должны быть легче, более игрой... Пример, где содержание раздавило стихотворение и убило поэзию, — работы Владимира Соловьева... А обратные примеры, где поэт чутко следит, чтобы содержание, главенствуя, не ущемляло бы прав всего остального, — Тютчев, Баратынский, Рильке.

Это — тоже отрицание прежнего. «Сестра моя жизнь» велика огромной смысловой нагрузкой каждой строки. Емкость строк «Сестры моей жизни» необычайна, несравненна. И кроме того, разве есть у самого Б. Л. стихи, в которых бы содержание потеснилось, уступая главное место чему-то другому. «Все другое» в его стихах, и прежних, и новых, занимает ровно столько места, сколько ему отведено содержанием.

<Б. П.> — Не бывает гениального пустозвонства. Гениальный шут может быть только тогда, когда его шутки — не шутки. Конечно, я тоже дежурил на крыше дома, сбрасывал немецкие «зажигалки». Военные стихи мои не халтура, не принуждение. В большой войне тиран сливается с народом — это закон старый.

Борис Леонидович был не фанатик, не скептик, не поучающий вождь, проповедующий новую теорию искусства. Теория искусства и жизни была у него законченная, цельная, и лекций никаких по этому поводу он не читал, и взгляды излагались им всегда по какому-нибудь конкретному случаю.

Несомненно, он много думал о смерти, о смысле жизни, о своем месте в обществе — и сделал все выводы из своих размышлений.

<Б. П.> — Мне кажется, что по-настоящему захватить человека может только произведение, трактующее страдания, боль... Что в искусстве минор сильнее мажора. Что «Евгений Онегин» не потому волнует всех, что это «энциклопедия русской жизни», а потому, что там любовь и смерть.

<В. Ш.> — Возможно... Кстати, Белинский отнюдь не такой большой авторитет среди русских литераторов. Есть старая традиция, отрицающая Белинского: Гоголь, Достоевский, Блок — большие имена.

21 июня 1956 года я обедал у Пастернака в Переделкине. Будучи человеком не очень сведущим в вопросах этикета, явился я ровно к назначенному времени и застал хозяина в ванне. Провели меня на террасу, познакомили с женой Луговского, которая явилась с какой-то литературной просьбой мужа — стихи для сборника должен был дать или обещать Пастернак. Гости съезжались на дачу. Пришел Асмус, Симонов (актер), ждали только Ней-гаузов, чтобы начать обедать. Борис Леонидович читал на террасе нам куски из новой автобиографии, которую он тогда готовил для сборника своих стихов в Гослитиздате — сборник этот вышел много лет спустя в очень ощипанном виде, а автобиография была напечатана во Франции, кажется. У нас она ходила по рукам — Пастернак, как и Мандельштам, Цветаева, Ходасевич, обходился без помощи Гутенберга.

Эти куски автобиографии (которую я читал и раньше) о Блоке, о первом своем сборнике «Близнец в тучах», где никаких «технических» задач не ставилось, о попытке писать свободно, дать вылиться тому, что накоплено неизвестно как, как эта великая способность потом была понемногу утрачена.

На стенах переделкинских комнат — акварели отца, как и в Лаврушинском.

Помню, обратил я внимание, что в доме очень мало зеркал. Когда входишь в комнату, обычно раньше всего замечаешь зеркала — это самые живые кусочки любой комнаты. Здесь зеркал не было. Случайность? Нет. Хозяева дачи были уже в таком возрасте, когда зеркала могут только подсказывать неприятное, неизбежное.

И старость дом не миновала. Как бы ни крепок был закал. Вот почему зеркал здесь мало, Напоминательных зеркал*.

Б. Л. свел меня наверх, пока собирались гости, на чердак, куда сходит небо, — большая комната с диваном, с большим письменным столом, со шторами во все огромное окно. Распахнув эти шторы, Пастернак встречался ежедневно с небом, с лесом, с солнцем. Отсюда, из своего рабочего кабинета, присмотрел он и место для своей могилы. У трех сосен на кладбищенской горе он и похоронен. Но он умер только через четыре года, еще не было ни Нобелевской премии, ни радиостанций всего мира, ревущих: «Пастернак, Пастернак». Не было ни письма Неру, ни героических усилий написать «Спящую красавицу»8.

— Вот хочу вам показать свой рабочий кабинет.

Я поблагодарил. Мы вышли к гостям. Пастернак: «Вот человек, который отразил в русской поэзии ту самую эпоху».

Приехали Нейгаузы — отец и сын с женой, пришла Ольга Берггольц, Луговской, и обед начался.

— Сыграйте это, — Борис Леонидович — к Нейгаузам. И тот, и другой отказываются.

— Если бы я был музыкант, — Борис Леонидович берет меня за плечо, — я бы такие разделывал вещи, такие...

Борис Леонидович весел, оживлен. Рюмку за рюмкой пьет коньяк, тост следует за тостом.

Ощущение какой-то фальши не покидает меня. Может быть, потому, что за обедом много внимания отдано коньяку, — я ненавижу алкоголь. Мне кажется, что жена и Нейгаузы — словом, ближайшее его окружение — относятся к нему, как к ребенку-мудрецу. Не очень считаются с его просьбами (отказ Нейгаузов играть и кое-что другое). Сами просьбы, с которыми он обращается к домашним, как-то нетверды. Он — чужой человек в доме. Дача, хозяйство, приемы, обеды, все, что миновало и минует его (житейская чаша), — обошлось, видимо, дорого.

Нейгауз рассказывает о встрече с Варпаховским в Киеве — тот встретился на улице со своим собственным следователем. Что тут удивительного?

Разговор о «Высокой болезни».

* Стихи В. Шаламова.

Предвестьем льгот приходит гений И гнетом мстит за свой уход.

— Эти знаменитые последние строки «Высокой болезни» в однотомник (который редактировал Луппол) входили, — рассказывает очень оживленно Борис Леонидович. — Я уже держал в руках «листы», где эти строки сохранялись. Я позвонил Луппо-лу — как бы его не подвести, и Луппол перепугался страшно. Благодарил. Еще раз звонил — благодарил. Где теперь Луппол? Там, где все. Церковные стихи Есенина и богохульство Маяковского — для искусства лишь равноправное использование одного и того же материала. Один — богохульничает, второй славословит, а главное в том, что ни Маяковский, ни Есенин обойтись без этих образов не могут. Евангельские церковные образы важны для жизни, необходимы. Своими стихами из романа в прозе я подтверждаю ту же самую мысль.

Я читал «Ландыш», «Шесть стихотворений», «Камею»9.

Как слушали? Рубен Симонов слушал как актер — бесстрастно и вовсе равнодушно. С таким же бесстрастием и равнодушием глотал он коньяк. Луговской

слушал больше как редактор, чем как поэт: это можно напечатать, а это нельзя. Его жена замечала только то, что научил ее замечать муж, — «бронзы звон» или «границы грань» — грубые аллитерации.

Нейгауз-старший слушал с великим добросердечием и симпатией, сдобренной хорошей дозой коньяку, не особенно вникая в содержание и не волнуясь этим содержанием.

Станислав Нейгауз, увидя с первых строк, что ни о чем, что могло бы потревожить дух музыки, тут речи не пойдет, слушал с дружелюбным и терпеливым вниманием.

Ольга Берггольц слушала хорошо, косясь на Пастернака, не зная еще, как оценить, и готовилась читать сама свои тюремные стихи.

Зинаида Николаевна слушала одобрительно — стихи с Севера должны быть одобрены, да и Борису Леонидовичу они нравятся.

Борис Леонидович слушал, опасливо обводя глазами гостей, готовый броситься на любого, кому бы эти стихи не понравились. Но понравились всем.

Гений в плену семьи.

Вскоре после этой нашей встречи я узнал, что Бориса Леонидовича Литературный институт — тот самый, имени Горького, — просил прочесть несколько лекций. Борис Леонидович отказался.

— Все мои заботы — нынешние — это хлопоты по опубликованию романа. «Доктор Живаго» должен увидеть свет. Больше ни о чем не хочу думать, ничем не хочу заниматься. — Это краткий разговор на ходу в Переделкине, около калитки — Борис Леонидович в войлочной круглой шляпе грибом.

2 декабря 1956 года я еще раз видался с Б. Л., но на улице. Я был не один, не задавал вопросов, и все записанное тогда произнесено почти что мимоходом. Борис Леонидович сразу начинает говорить о параллельности двух своих существований, двух своих жизней. Одна — вот этот мир повседневности, другая жизнь — в каком-то большом плане, если не бессмертия, то жизнь в кругу больших вопросов, в отвоеванном им месте, в движении каких-то вечных идей, так неохотно пускающих за порог всякого нового человека. Параллельная жизнь — это не приспособляемость. В обоих существованиях живут не кривя душой.

— Мы — свидетели времени, когда идеи, имеющие начало в Сен-Симоне и кончающиеся опытами осуществления этих идей в реальности последних лет, уступят место в искусстве и жизни росткам чего-то нового, «нераспропагандированной» живой траве, уже растущей.

О Бурлюке. Я отказался видеться с Бурлюком. Лили Юрьевна Брик подготовляла эту встречу. Сослался на экзему. Да и в самом деле экзема тогда разыгралась. Что у меня общего с Бурлюком: нарисуют женщину с одной рукой и объявляют свое произведение гениальным. Я давно, слава Богу, избавился от этого бреда. Так мы и не повидались.

Когда Маяковский читал «Человек», Белый слушал его зачарованно, слушал, как ребенок. Я рассказывал об этом вечере в «Охранной грамоте».

Белый — гений. Но не универсален, не всегда. Наставленный на что-нибудь одно, он прозорлив, гениален. Наставленный на другое — ничтожен. Хороша, отлична его проза. Дань этой прозе отдал и я в «Детстве Люверс». Из стихов лучший сборник Белого «Пепел». Белый — методист. Если бы от его дыхания, от его голоса лопнуло какое-нибудь стекло в зале, он выбил бы остальные стекла кулаками.

После самоубийства Маяковского я был у него на квартире, потрясенный. В соседней комнате — Бухарин. Бухарин говорит пошлые вещи. Я думал — мне тяжело, но я чего-то не понимаю, в чемто ошибаюсь, но верю чувству своему10. И только на процессах 37—38-го годов я увидал, что и им тяжело, что время мучает всех.

Белый мог чувствовать, воспринимать искусство, как никто. Коры самодовольства (положения, славы) не было у него. Он обнаженными нервами воспринимал все талантливое. Белый был потрясен «Человеком» Маяковского. Тогда Бальмонт читал какие-то сонеты. Я был молод, сказал что-то резкое Бальмонту. Бурлюк отвел меня в сторону и шепнул: «Не горячитесь. Вы тоже талантливы, вы еще будете с нами работать».

— С кем я вижусь? Иванов, Нейгаузы, Ливанов, Симонов...

Чем я занимаюсь сейчас? Застой творческий. Вероятно, еще напишу несколько стихотворений. Читаю французские, немецкие книги — для практики в языке. Если поеду за границу (меня зовут в Венецию)11, хочу свободно владеть языком. Хочу напечатать роман — вот главная моя задача, цель жизни. Скоро выходит мой однотомник. Банников просил меня написать предисловие — напишу поправки к «Охранной грамоте».

В этом однотомнике — который был рассыпан в 1957 году и вновь собран в 1961-м — подверглись жестокой ухудшающей авторской правке ранние стихи Бориса Леонидовича.

Банников в свое время безуспешно протестовал против исправлений, ратовал за привычные, известные всему миру варианты, но Б. Л. настоял на своем.

В тот вечер Борис Леонидович выглядел превосходно, крепким физически и духовно.

— Я дышу легко. Я не чувствую необходимости лгать, фальшивить. Я не подписал письма против французских писателей (Сартра и других), и, кажется, наши именно хотели, чтобы я не подписал его.

Зато Сартр в своей статье о «Холодной войне» написал, что Пастернак — отшельник, живущий вне времени и пространства. Но о Сартре после.

Волков-Ланнит12 спросил мнение Пастернака о Шкловском. Б. Л. ответил, что ценит и помнит интересные книги Шкловского, но все его открытия («приемы» и т. п.) — вовсе чуждое, чужое творческим принципам и практике Пастернака.

— Сейчас не важно, кто талантлив, кто не талантлив в нашем искусстве. Важно столкнуть искусство с мертвой точки...

Б. Л. далеко не вне политики. Он — в центре ее. Он постоянно определяет «пеленги» и свое положение в пространстве и времени.

<Б. П.> — В стихах первый вариант — всегда самый лучший. Самый честный, вернее. Когда-то я смотрел на себя как на инструмент, которым владеет кто-то, чтоб стих лился свободно, как бы чужой рукой писались стихи. В юности, в молодости я отдавался силе этого потока.

<В. Ш.> — Мне кажется, даже у больших поэтов в небольшом стихотворении можно угадать — какая строфа была написана первой.

— По всей вероятности.

Позднее, читая воспоминания Фокина13, я встретился с той же мыслью— первый танец всегда самый искренний («Первый исполнитель и является наиболее подходящим»).

Это — та же трактовка того же вопроса. Пастернак писал стихи пятьдесят лет. Всякий, кто сколько-нибудь внимательно перечитывал стихи поэта, сборники, изданные им, знает, что канонических текстов его стихов не существует. При подготовке каждого издания (а их было немало за пятьдесят лет работы, за семьдесят лет жизни) Пастернак всегда делал исправления строк, меняя слова, снимая строфы, меняя их порядок. Эти исправления далеко не всегда улучшали стихотворение.

Даже в самых первых переизданиях тексты отличаются от первоначальных; особенно много правки было внесено при подготовке ленинградских изданий 1932 и 1933 гг.14

Не всегда можно установить, по чьей воле сняты строфы, изменены слова — самого поэта или цензуры.

Окончание стихотворения «Весной бездонной» в журнальном тексте и тексте «Второго рождения» было:

О том ведь и веков рассказ, Как, с красотой не справясь, Пошли топтать, не осмотрясь, Ее живую завязь. А в жизни красоты как раз И крылась жизнь красавиц, Но их дурманил лоботряс И развивал мерзавец...

Отсюда наша ревность в нас И наша месть и зависть.

В ленинградском издании 1932 года «Высокая болезнь» кончается известными, широко известными строками:

Я думал о происхождении Века связующих тягот, Предвестьем льгот приходит гений И гнетом мстит за свой уход.

В том же издании 1933 года этих строк нет.

Особенно много исправлений в однотомнике, который собирался в 1956 году (издан в 1961-м). Здесь редактор Банников безуспешно боролся с поэтом, защищая старые, известные, канонические варианты.

Замечательные строки «Зеркала» из «Сестры моей жизни» испорчены. Было:

И вот в гипнотической этой отчизне Ничем мне очей не задуть.

Теперь:

И вот в усыпительной этой отчизне Ничем мне очей не задуть.

Мотивом всех этих переделок была отнюдь не требовательность. Просто Пастернаку казалось, что строй образов того, молодого времени чужд его последним поэтическим идеям и поэтому подлежит изменению, правке. Пастернак не видел и не хотел видеть, что стих живет, что операции он проделывает не над мертвым стихом, а над живым, что жизнь этого стиха дорога множеству читателей. Пастернак не видел, что стихи его канонических текстов близки к совершенству и что каждая операция по улучшению, упрощению лишь разрывает словесную ткань, разрушает постройку.

С этим он считаться не хотел.

Второе, что обязательно надо иметь в виду, — его особое отношение к собственному творчеству. Распоряжаться своим стихом свободно, никаким опубликованием текстов себя не связывая, — так Пастернак всегда смотрел на печатание своих стихов. Богатство словесное было неисчислимо, и он просто не видел необходимости за что-то цепляться, что-то чересчур придирчиво защищать.

Не надо заводить архива, Над рукописями трястись.

Стихи — это далеко не все в жизни, — эту мысль он высказывал неоднократно. В так называемой второй автобиографии, напечатанной в Париже, он пишет о Пушкине, что все будущее и настоящее Пушкину было менее дорого, чем улыбка Гончаровой15. В этой фразе — оправдание собственного поведения, претворяющего разносторонность живой жизни, участие в ней. Это проповедь жизнелюбия, оптимизма, активности — всех тех самых черт характера, которыми и отличался Пастернак.

Пастернак к сороковым годам резко изменил свои прежние оценки людей и событий, осудил Маяковского и лефовцев, разорвал и личные отношения со всем этим кругом. Но из бывших его товарищей остался человек, к которому Пастернак относился с неизменной симпатией. Этот человек — Алексей Крученых.

После 1956 года я видел Бориса Леонидовича лишь однажды — зимой пятьдесят седьмого года, на улице в Переделкине. Говорить с ним не пришлось... Случилось так, что о всех событиях до и после Нобелевской премии пришлось мне узнавать из газет.

12 января 1960 года в тетради сделана запись. Пастернак работает с большим увлечением над пьесой «в прозе». Пьеса — история русского крепостного актера перед освобождением (1861). Кроме пьесы — переводы и переписка громадная — каждому Б. Л. отвечает на языке автора письма. Летом 1959 года шли слухи, что Б. Л. «пишет роман из жизни идолопоклонников».

Работа над переводами Шекспира для Художественного театра и особенно «Мария Стюарт» Шиллера сблизила Б. Л. с актерами театра. Театр сделался для него не только отдушиной, но одним из путей познания мира. Великолепное стихотворение «Актрисе», посвященное А. П. Зуевой:

Талант — единственная новость, Которая всегда нова,—

напечатанное в журнале «Театр», дает понятие о настроениях того времени.

Я мог бы написать рассказ о своем колымском путешествии за письмом Пастернака.

31 мая 1960 года постучала в дверь Ариадна Борисовна Асмус и тревожным голосом сказала, что Борис Леонидович умер в ночь на 31-е. Валентин Фердинандович Асмус был с Пастернаком всю его болезнь, а со времени ухудшения и ночевал на пастернаков-ской даче.

Не инфаркт, не инсульт. А рак легких с метастазами в желудок и кишечник. Нечто вроде тургеневской диагностической ошибки16. Быть может, и инфаркты были не инфаркты... <...>

Приглашали и профессоров. Профессор Петров (по позднейшему рассказу Перля) был неприятно поражен оживленностью Пастернака, его стремлением облечь каждую фразу в красивую форму. «Ломанье», «предсмертное кокетство» — так умозаключил профессор Петров. Но это было не ломанье, не поза, а нездешний поэтический ход его мыслей, обгоняющих друг друга.

Профессор Петров не много в своей жизни имел дело с людьми искусства.

День и час похорон? Кремация? Панихида? Переделкинская могила? Выбрана была могила у трех сосен, а панихида не служилась, хотя слухи о том, что отслужили тайно, в деревне ходили.

Из Лондона приехала сестра. Ее известили с первых дней болезни, но до самой смерти поэта тянули выдачу визы, и сестра, 58 лет, с дочерью, не знающей русского языка, прилетела уже после похорон.

Б. Л. лежал с 25 апреля, состояние все ухудшалось. Рентген показал опухоль легких, рак легких. Все время работал лежа. Торопился дописать пьесу (пьеса за это время получила название — «Спящая красавица»). Говорил:

— Пусть ничего в моей личной жизни больше не случается ни плохого, ни хорошего — только бы кончить пьесу.

За несколько дней до смерти говорил Зинаиде Николаевне:

— Если мне суждено поправиться, я буду заниматься разоблачением пошлости — ее одинаково много на Западе и у нас.

В 0.30 31 мая он умер17, а через полтора часа Би-би-си уже передавало о его смерти по радио.

Газетные объявления были даны в обеих литературных газетах18, но сквозь зубы: о смерти писателя, члена Литфонда Пастернака Бориса Леонидовича. Ни слова о дне и часе и месте похорон, совсем как пушкинские похороны.

Первого июня я поехал и попрощался с Борисом Леонидовичем. Доступ к нему был открыт с вечера 31 мая (утром «замораживали»). Из маленькой комнатки,

«музыкальной», вынесли рояль, на крашеном полу остались резкие царапины, и внесли туда самого духа музыки. Внесли мертвым. Все время казалось, что чудо обязательно произойдет, что поэт воскреснет. Но Пастернак не отвечал. Цветов было мало — сирень, полевые. Все было тихо, сердечно. Вставали на колени, крестились, плакали — хотя и мало было людей. Я помню все это очень смутно. «Порядком» и справками распоряжались актеры Художественного театра. Кто-то бритый сообщил мне, что «вынос завтра в четыре часа».

Похороны — дело суетное, мирское. Я приехал пораньше, к двум часам, чтоб еще раз поговорить с поэтом, в последний раз послушать его. Не удалось. Уже было полно людей, и по всем тропам и дорогам шли гости. И гроб был уже перенесен из «музыкальной» комнаты и поставлен в столовой, и провожающие ходили вокруг гроба «по лучшим образцам».

Трещали невыносимо самолеты, спускающиеся во Внукове, жгло солнце, толпа людей во дворе все росла. Люди топтали башмаками сирень, гряды, траву, наступали на клумбы, крошили каблуками глиняные цветочные горшки. Шелестели киноаппараты, вспыхивали лампочки фотокорреспондентов. В два часа дня еще казалось, что фотокорреспондентов больше, чем друзей.

«Музыкальная» с царапинами рояля, который упирался, когда его вытаскивали отсюда, была зашторена, и в ней перезаряжали фотоаппараты.

В пять часов (а не в четыре) гроб поплыл к кладбищу, и оказалось, что людей собралось более тысячи. Много это или мало? Для «пушкинских» похорон много, а для прощания с первым лириком мира, с признанным поэтом мирового значения, нобелевским лауреатом — ничтожно мало. Это объясняется не только «дисциплинированностью» общества, плохой информацией, неудобным временем.

Но главной причиной, удержавшей многих на своих местах, были известные покаянные письма Пастернака, опубликованные в газетах.

Львом Толстым Пастернак не стал. Эти люди, для которых Пастернак был больше чем поэтом, остались дома. Пришли те, кому были дороги его стихи, главным образом стихи. У многих из карманов торчали сборники стихов Пастернака, как некие молитвенники, взятые на последние проводы. Эти молитвенники развертывались, раскрывались на знакомых местах:

О, знал бы я, что так бывает, Когда пускался на дебют...

Великая сосредоточенность была в его посмертных чертах. На мертвых темной кожи щеках исчезли знакомые морщины. Лицо приняло другое выражение. Это было лицо человека, который сказал людям все, что хотел.

Публика на последние проводы пришла очень разная, отчетливо разная. Много было крестьян и крестьянок переделкинских, тех, что посещают любые похороны по русской деревенской традиции. Переводчик Андрей Сергеев (тот самый, которого через несколько лет в журнале «Иностранная литература» назвали Сергеем Андреевым) шептал: «Есть народ, настоящий народ, и это очень хорошо». Это были не те люди, которых хотел бы видеть за своим гробом Борис Леонидович (если такая фраза не звучит кощунственно).

Третья часть была людьми, для которых стих Пастернака и его личность были (для их собственной жизни) чем-то важным, значительным. С его стихотворениями эти люди советовались, как с евангельскими текстами, и разлюбить поэта за его житейскую слабость, за нетвердость не могли. Многие из этих людей писали стихи — Винокуров, Межиров, Боков, Корнилов, Петровых, Звягинцева — или прозу, как Паустовский, Казаков, Каверин. Или актеры. Весь Художественный театр был здесь; отнюдь не навязчиво, не демонстративно, но Пастернак был их автор.

Были художники — Бродский и другие, литературоведы, как Клюева, и просто любители стихов — как Кастальская. Для всех этих людей участие в похоронах, в последних проводах любимого поэта было делом совести, делом долга.

Кроме этих людей было много писателей, приехавших из-за уважения к Пастернаку, но не потому, что требование души властно заставило их бросить все дела и приехать в Переделкино. Из «видных» писательских имен не было никого — ни Федина, ни Эренбурга, ни Леонова, не было, конечно, и руководящих представителей Союза писателей.

Наконец, четверть той толпы, следовавшей за гробом, была любителями сенсации, прибывшими на похороны в жадном ожидании какого-нибудь скандальчика или происшествия, если уж не политического, то личного. В числе этих любителей сенсации была и литературная молодежь институтская. Эта публика оттеснила всех пастернаковских друзей от могилы, куда был опущен гроб.

Иль я не знаю, что, в потемки тычась, Вовек не вышла б к свету темнота, И я — урод, и счастье сотен тысяч Не ближе мне пустого счастья ста?

<...> Пастернак давно перестал быть для меня только поэтом. Он был совестью моего поколения, наследником Льва Толстого. Русская интеллигенция искала у него решения всех вопросов времени, гордилась его нравственной твердостью, его творческой силой. Я всегда считал, считаю и сейчас, что в жизни должны

быть такие люди, живые люди, наши современники, которым мы могли верить, чей нравственный авторитет был бы безграничен. И это обязательно должны быть наши соседи. Тогда нам легче жить, легче сохранять веру в человека.

Евгений Пастернак

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Ранние детские воспоминания похожи на яркие отрывочные сцены. Первые из возникающих передо мною рисуют старую квартиру на Волхонке, наши комнаты, разгороженные шкафами и занавесками, папу за письменным столом в углу комнаты, где я спал, зеленый стеклянный абажур его лампы, допоздна горевшей у него на рабочем столе. Он без конца подливал себе крепкий чай из слегка шумевшего самовара. Просыпаясь, я поглядывал из-за занавески на его склоненную фигуру за столом в голубом облаке папиросного дыма.

Вспоминается радость нашего с мамой возвращения из Берлина осенью 1926 г. В Можайске отец неожиданно вошел в наш вагон, и я стоял у окна, ощущая его спиной, о чем-то спрашивал, он говорил, что скоро Москва и показывал, с какой стороны она должна появиться. Вдруг яркая огненно-золотая точка возникла за речной излучиной, Это был купол храма Христа Спасителя, и под взволнованные слова отца, говорившего, что там рядом наш дом, из окон которого в упор виден этот купол, — стали выплывать колокольни, кресты и крыши, поезд прогрохотал по мосту, и меня стали одевать и торопиться к выходу.

Совсем иным было наше возвращение из Германии спустя четыре года. Была зима, снег блестел на солнце. Я мучительно ждал Можайска, мы проехали мимо, солнце стояло низко, но все было ярко освещено. Я недоумевал, — уже должен был зажечься на горизонте купол. Вместе с вечерней зарей возникла замерзшая река под мостом, колокольня и купола Новодевичьего монастыря, крыши, дома. Поезд втягивался в сумеречныей дебаркадер, где нас ждал папа. Когда он поднял меня, я почувствовал его мокрое от слез лицо. Было уже совсем темно, когда мы приехали домой. В квартире было холодно и неуютно, из разбитых и заклеенных бумагой окон дуло. На столе стоял холодный ужин, картошка с селедкой и черным хлебом. Отец подвел меня к окну и откинул занавеску. Взошедшая луна освещала груды каменных глыб и битого кирпича от недавно взорванного храма Христа.

Написать об отце так, чтобы эти воспоминания не стали рассказом о моей собственной жизни, очень трудно. Приходится выбирать наиболее поздние впечатления, живо сохраненные памятью. Таковы отрывочные воспоминания о последних годах его жизни, записи его разговоров и ответов на мои вопросы. Конечно, именно эти годы записаны многими мемуаристами и представлены в сборнике достаточно широко. Но в то же время освещенные с разных сторон разными людьми, они создают широкую картину тех лет, и образ Бориса Пастернака не просто описывается в них во всех, но живо воскресает в наибольшей полноте.

В конце февраля 1957 г. Зинаида Николаевна пригласила нас с женой в Переделкино на то время, пока они с папой поживут в Москве. Шли репетиции «Марии Стюарт» во МХАТе, и папа часто бывал в театре. Однажды утром через неделю нас разбудила приехавшая к нам мама, встревоженная тем, что папа заболел и ему очень плохо. Она договорилась со знаменитым доктором И. Г. Баренблатом, и мне надо было срочно отвезти его к папе в Лаврушинский переулок.

Отец кричал от боли. Я остался у него после ухода врача, который снял острый приступ, но потребовал срочной госпитализации. Когда ему стало легче, папа позвал меня к себе и стал расспрашивать о наших делах. Я развлекал его разговором на разные темы и вдруг перешел на рассказ, который только что слышал от Симы Маркиша о намерениях Сталина, прерванных его смертью, выслать всех евреев из Москвы на Дальний восток. Боря помрачнел и резко остановил меня:

— Чтобы ты при моей жизни не смел мне об этом говорить. Ты живой человек на земле живого человека! И нам с тобой нет до таких вещей дела.

Это единственный раз, что я завел с ним разговор об антисемитизме. Я знал, что этой темы для него не существует, слишком большое и страшное место она занимала в его детстве и родительском доме, — когда совсем рядом проходили черносотенные погромы, дело Бейлиса, «процентная норма» регулировала его поступление в гимназию и определяла невозможность после окончания быть оставленным при университете. Я понимал, что мечта Миши Гордона «расхлебать», наконец, эту кашу, которую заварили взрослые, была его собственной мечтой, не позволявшей молча склоняться перед несправедливостью такого разделения. И слишком хорошо зная, как мертвит и суживает эта тема и связанные с ней психологические комплексы духовную свободу человека и какого труда стоило ему преодоление всего этого в себе, папочка стремился навсегда избавить меня от узости подобного взгляда на мир.

Мы с мамой навещали папу в Кремлевской больнице на Воздвиженке, куда его вскоре положили. Ему к тому времени уже стало лучше, прошли страшные боли, от которых он кричал. Он был еще очень слаб, но разговор, который он завел с нами, запомнился мне своею глубокой значительностью.

У него только что была Ольга Всеволодовна. Мы столкнулись с нею на выходе. Отец рассказал, что она занимается его издательскими делами. Но они внезапно застопорились — стихотворный сборник, который составлял Банников, застрял в типографии, — отец отказался вносить требуемые от него поправки в автобиографическое вступление к нему. Издание «Доктора Живаго», которое начали редактировать в Гослитиздате, тоже остановлено и, вероятно, книги не будет. И все же, несмотря на это, он должен сознаться, что очень счастлив своей жизнью и тем, что у него есть возможность любить и быть любимым в этом возрасте. Он говорил, что был воспитан с юности на крепком нравственном тормозе, и пример родительского дома привил ему толстовский взгляд на семью. Но лирика, которая стала его профессией, постоянно раскачивала его. Он рассказывал, что Зинаида Николаевна совершенно сгорела в романе с ним, но тем не менее он всегда на страже ее интересов и никогда этому не изменит. Его короткий роман с Ольгой Всеволодовной был резко оборван им

самим через год и никогда бы не возобновился, если бы ее не арестовали. И теперь, когда она освободилась, он, чувствуя себя виноватым перед ней, не может ей ни в чем отказать и полностью покорился всем ее желаниям.

Мама, слушая все это, плакала и повторяла, как она его понимает.

На каникулы мы собирались поехать в Закарпатье. Перед отъездом во Львов повидали папу в Узком, куда его устроили после больницы. Нас испугал его вид — страшные черные круги под глазами, слабость, худоба. Но он успокаивал нас, говоря, что это просто реакция на пенициллин, и теперь ему уже значительно лучше. Мы с ним гуляли по парку, он рассказывал о Владимире Соловьеве, который жил здесь у Трубецких, и показывал комнату, где он умер. Узкое стояло среди широких полей, на горизонте отдаленно рисовался огромный город, еще в знакомом нам с детства облике. Папа в 1928 году возил сюда в санаторий маму и очень любил этот дом и парк. Он объяснял нам, что название Узкое образовано от реки Усы и было сначала Усское. Через несколько месяцев мы узнавали «ворота с полукруглой аркой» и «дом неслыханной красы» в его стихотворении «Липовая аллея», написанном по возвращении из санатория.

Вскоре после нашего приезда из Мукачева папа забежал ненадолго к нам на Дорогомиловскую и рассказал, что написал несколько новых стихотворений. Когда я был у него в Переделкине, он дал мне с собой беловую тетрадь «Когда разгуляется» — посмотреть стихи и переписать их. Среди них была «Вакханалия». Он рассказывал нам потом, что композиционным моментом этого стихотворения было освещение снизу: свечки в храме, театральная рампа, краска стыда, заливающая лицо. Про «Золотую осень» он сказал:

— Осень я всегда воспринимал как музей. Под ногами ковры, каждое дерево — произведение искусства, их рассматриваешь, как картины, одно за другим.

Спрашивал, как на наш взгляд, надо ли вставлять в стихотворение «Снег идет» после слов:

...с ленью той Или с той же быстротой Может быть проходит время

строчку:

Или как слова в поэме?

Мне казалось, что без этих слов лучше, — поразительное сопоставление снегопада и хода времени звучало более отчетливо. В рукописи этой строки еще тогда не было, она была вписана позже.

В стихотворении «Ненастье» были такие строки:

Потный трактор пашет озимь В восемь дисков и борон.

Я сказал, что, по-моему, трактор боронит землю «дисковыми боронами» и надо было бы исправить. Он мне ответил, что считает, что бороной называется только рама с зубьями, прицепляемая позади дисков. Может быть, он был прав, но через некоторое время я с удивлением увидел в его тетради свой вариант:

В восемь дисковых борон.

Мы привезли из Мукачева черенки замечательной герани самых разных оттенков, которыми были украшены все балконы и окна Закарпатья, и поделились ими с папой. Наши герани прекрасно прижились. Зинаида Николаевна заказала специальные подоконники под цветы, и вдоль всего большого окна столовой были расставлены красные, розовые и белые герани, которые удивительным образом соответствовали словам из написанного за полгода до этого стихотворения:

К белым звездочкам в буране Тянутся цветы герани За оконный переплет.

Папа всегда говорил, что поэзия предваряет жизнь.

Он сказал тогда, что вскоре должен выйти «Доктор Живаго» у Фельтринелли, в Союзе писателей очень встревожены этим, — и у него неприятности. Но, как всегда,

это было сказано мельком, между прочим, чтобы не волновать нас, я не расспрашивал его. А у него в действительности были в это время страшные дни...

Уже зимой, когда первые бури после выхода романа в Италии несколько улеглись, отец рассказывал нам, как его вызывал к себе заведующий отделом культуры ЦК Поликарпов, называл предателем и двурушником и грозил арестом, если он не подпишет составленные им письма с протестом против изданий «Доктора Живаго» за границей и требованием возвращения рукописи «на доработку».

— Вы что же — против Октябрьской революции? — спросил он.

— Как вы догадались, Дмитрий Алексеевич! Вы все правильно поняли!

Этот диалог теперь лишился той страшной откровенности, характерной для отца, а у меня вызвавшей тогда чувство разверзающейся бездны.

У нас той осенью родился Петенька.

Когда это случилось, папа позвонил мне по телефону. Он немного огорчился, узнав, что мы уже назвали сына Петей, и сказал, что ничего не имел бы против, если бы мальчику дали имя Бориса. Ведь он тоже назвал Леню в честь дедушки, когда тот еще был жив. Меня это взволновало и я обещал, что его именем мы назовем своего следующего сына, а этот уже девять месяцев был Петенькой и называть его по-другому теперь не получится.

В декабре, вскоре после того, как Аленушку выписали из родильного дома, неожиданно, без предупреждения пришел папа, чтобы поздравить нас и посмотреть на Петеньку. Но Аленушка была в университете, я на работе, мама тоже куда-то ушла. Побыть с Петенькой мы попросили Марину Густавовну1. Боря около часу разговаривал с нею, ожидая возвращения кого-нибудь из нас. Марина потом рассказывала, как он говорил ей, что рождение Петеньки для него огромная радость и что этот мальчик — награда и искупление за все то горе, которое он принес нашей семье.

Потом папа приезжал к нам с подарками от Зинаиды Николаевны и спрашивал, нет ли у нас каких-нибудь книг о Шиллере — вероятно, он писал тогда свое предисловие к переводу «Марии Стюарт». У нас с мамой ничего не было, но у Леноры Густавовны нашлось старое немецкое собрание сочинений Шиллера с подробным вступлением и комментариями. Возвращая книги, он прислал нам посмотреть итальянское издание «Доктора Живаго» и номер журнала «Esprit» с переводами нескольких его стихотворений. Я тогда впервые увидел имя Мишеля Окутюрье2, прекрасного французского поэта и папиного переводчика, теперь большого нашего друга.

В это время в папиной переделкинской комнате появились новые полки с присылаемыми ему из-за границы книгами. Зинаида Николаевна купила ему большой гардероб, куда перевесили его немногочисленные костюмы и пальто, а освободившееся от них место в старом стеллаже было занято добавочными полками, куда аккуратно ставились новые книги. Папа очень радовался красоте изданий в нарядных блестящих обложках, и водил нас к себе наверх, чтобы показать полученные им подарки. Недавно многотомное собрание Вирджинии Вульф прислал ему Исайя Берлин, поразившись тем, что папа ее не читал. Как вспоминал потом Берлин, в папиной манере разговаривать он увидел что-то общее с Вирджинией Вульф, с которой был знаком.

Новые полки быстро заполнялись. Через год нижний ряд заняли роскошные художественные издания «Scira», присланные отцу Элен Пельтье3, в некотором расчете на то, что в случае нужды, их можно будет продать за хорошие деньги. Одну книжку малой серии «Scira», посвященную Боттичелли, отец принес маме. Скрытая символика этого подарка не обсуждалась, но была понятна им обоим. Кроме неизменного сопоставления маминой внешности с женскими образами раннего

итальянского Возрождения, папа знал, что Боттичелли был ее глубокой любовью. Его удивительная «Pieta» потрясла ее, когда она была в Мюнхене4, трагическое недоумение апостола Иоанна, разглядывающего гвозди Распятого, представлялось ей живым изображением ее горя, пережитого в те годы.

Вскоре в папином кабинете появилась старинная конторка, которую Зинаида Николаевна нашла ему в комиссионном магазине, чтобы он мог писать стоя, как велели ему врачи после недавней истории с ногой, и в ящики которой он складывал получаемые им письма. Его переписка с заграницей росла с каждым годом и очень его радовала. В ней он находил своих единомышленников и поклонников, потому что узкий круг друзей, которым ограничивалось в России число его читателей, не мог его удовлетворить. Когда в разговорах с папой я ссылался на их мнение, он говорил мне с раздражением, что никогда не писал и не стоит этого делать вообще только для знакомых, «для тебя и мамы, Таге-ров, Баранович и Поливановых, которые и так все понимают».

Зимой папа снова тяжело заболел. На этот раз Корней Иванович Чуковский, взявшийся помочь с устройством его в больницу, не мог добиться места в Кремлевке. Его положили в больницу МК партии в Давыдкове. (Еще несколько лет назад это здание было занято полком охраны Сталина, дача которого находилась неподалеку в глубине леса). Там папа пробыл почти два месяца до середины апреля.

Мы с мамой приезжали к нему дважды. Сначала он лежал в большой палате на двоих. Его соседом был какой-то крупный военный чиновник, специалист по вооружению. Мы привезли папе по его просьбе шариковые ручки, тогда только появившиеся в продаже. Ему когда-то дарили подобные заграничные ручки, но он не приноровился ни к ним, ни к автоматическим, предпочитая им обыкновенные с пером и чернильницей. Но в больнице, лежа на боку, можно было писать только шариковыми, хотя они пачкали и текли. Конечно, нужны они были не для работы, а только для открыток.

Во второй раз папа был гораздо оживленнее. Лежал в пижаме поверх застеленной кровати и рассказывал о готовящемся в Америке издании романа в «Пантеон букс» у Курта Вольфа. Кроме того, он поразил нас тем, что к нему приезжал в больницу Федор Панферов, главный редактор журнала «Октябрь». Полгода назад по его заказу папа написал странное, почти издевательское стихотворение «В разгаре хлебная уборка». Теперь Панферов предлагал отцу после больницы ехать с Ольгой Всеволодовной в Баку на нефтяные промыслы. Там его поместят в прекрасные условия, и он сможет собрать материал о героическом труде наших нефтяников и таким образом загладить все грехи.

Это предложение казалось совершенно диким, и папа соглашался с нами, но жаловался на настойчивость Ольги Всеволодовны, желавшей спасать его таким образом от политических нападок.

Панферов сам был тогда уже серьезно болен и его отправляли лечиться в Англию, где рассказами о своей дружбе с Борей он шантажировал Лиду5, пугая страшными последствиями, которые будет иметь для Бориной судьбы издание «Доктора Живаго» у Коллинзов, и требуя ее активного вмешательства. Ей хватило смелости отказаться участвовать в этих делах, и она уговаривала папу не ездить в Баку, опасаясь за его здоровье.

Когда мы собрались уходить, папа вышел нас провожать. Он опирался на палку, и каждый шаг был ему мучителен. По дороге он рассказал нам, как в раннем детстве ездил сюда, в Давыдково, с отцом на дачу к издателю Петру Петровичу Кончаловскому. У него было три сына, младшему из которых — Мите поручали нянчить маленького Борю, а старшие уходили играть в свои игры. Мите было скучно с

ребенком, и он сердился на мальчика за то, что он не давал ему участвовать в развлечениях старших братьев. Это был тот самый Дмитрий Петрович, историк Рима, у которого мы жили в Огневском овраге летом 1929 года, и чьих книг о судьбах России, написанных в Париже, мы еще не знали.

Оберегая от беспокойства за него, отец не посвящал нас в треволнения, связанные с изданием романа за границей. Но и в действительности этот год прошел сравнительно спокойно. Поэтому известие о том, что ему присудили Нобелевскую премию, было встречено нами с восторгом — как несомненная победа. Казалось, что честь, выпавшая русской литературе в его лице, должна стать общей радостью и праздником. Взволнованные, мы долго гуляли с Мишей Левиным по темным московским переулкам, считая, что Нобелевская премия — надежная защита от любых нападок завистников и недоброжелателей.

Как нам было стыдно своей радости, когда на следующий же день в газетах развернулась подлая кампания, объявившая Нобелевский комитет орудием холодной войны.

Мы с мамой и Аленушкой вечером того же дня поехали в Переделкино.

Папа был бодр, внутренне собран и приподнят. Он не читал газет и говорил, что занят переводом «Марии Стюарт» Словацкого — третьей «Марией Стюарт» в своей жизни. Первая была — Суинберна в 1916 году, вторая — Шиллера и вот теперь — Словацкого. Шутил, что так привык и сжился с ней, что она ему кажется членом семьи, — бедной Манечкой.

Первым делом он осведомился, не отражаются ли эти события на моих делах в институте. Узнав, что нет, сказал, что у Ленечки в университете тоже все спокойно. Он процитировал нам по-французски текст телеграммы, которую послал в Стокгольм: «Infiniment reconnaissant, touche, fier, etonne, confus»*. Мы грустно посмеялись с ним над тем, что в газетах миллионными тиражами в отзыве «Нового мира» были опубликованы как раз те самые места из романа, которые пугали редакторов в Гослитиздате, и их собирались выкинуть. И именно их прочли теперь читатели, не знакомые с остальным текстом романа.

Зинаида Николаевна рассказывала, что вчера приходил Федин и, едва поздоровавшись и не поздравив ее с именинами, на праздновании которых в этот день всегда бывал в доме, прошел прямо наверх к Боре. После довольно громкого разговора, отголоски которого были слышны внизу, ушел. Ей не понравилось выражение его лица, и она кинулась к Боре. Он лежал без сознания. Очнувшись, он сказал, что Федин приходил уговаривать его отказаться от премии и грозил страшными последствиями. Но он готов на все, а от премии не откажется и не станет плевать в лицо тем, кто хорошо к нему относится.

В понедельник 27 октября папа приезжал в Москву и заходил к нам. Его вызвали в Союз писателей на объединенное заседание Президиума. В последнюю минуту он почувствовал себя плохо и не решился подвергаться этому испытанию. Председательствовал на собрании его давний друг Николай Тихонов. Как мы узнали потом, Федин не пошел туда и в поднявшейся травле не участвовал.

Мы отпаивали папу чаем, а он рассказывал нам, что послал на заседание письмо, состоящее из восьми пунктов, в которых объяснял причины своего поведения. Это письмо отвез в Союз писателей Кома Иванов. Взволнованный и несчастный, папа перечислял нам эти пункты.

Он писал, что надеялся на то, что его радость разделят с ним товарищи, потому что эта премия присуждена не только ему, но всей той литературе, к которой он принадлежит, и ничто не

* Бесконечно признателен, тронут, горд, удивлен, смущен (фр.).

заставит его отказаться от этой чести. В его открытой готовности вынести все лишения он просил видеть не дерзкий вызов, но долг смирения. Деньги Нобелевской премии он согласен отдать в Советский Комитет защиты мира.

(В наших газетных статьях его телеграмма с благодарностью Нобелевскому комитету трактовалась, как доказательство его продажности.)

Кроме того, писал он дальше, премия дается не только за роман, но за всю совокупность творчества, как это обозначено в ее формулировке6. Роман был передан им итальянскому коммунистическому издательству и именно в то время, когда предполагалось его издание в Москве, и он был готов выправить все неприемлемые места, рассчитывая, что его текста коснется дружеская рука критика, а не экзекутора.

Он возражал против отождествления своего героя и его высказываний в романе с авторской позицией, а под конец заявлял, что не ожидает справедливости в вопросе о его исключении из Союза писателей. Они, конечно, могут сделать с ним все, что угодно, хоть расстрелять, но это не прибавит им ни счастья, ни славы. Он их заранее прощал, но предупреждал, чтобы они не торопились с исключением, поскольку все равно через несколько лет им придется его реабилитировать, — в их практике это случалось не раз.

Папа перечислял эти пункты по памяти, у него не осталось копии письма, я подсказывал ему то, что, мне казалось, можно было сказать в защиту. Так я напоминал ему, что его кандидатура уже раньше, еще до написания «Доктора Живаго», выставлялась на Нобелевскую премию и не нужно связывать роман и премию напрямую, как причину и следствие. Он соглашался и сказал, что написал об этом сам, и рассказал нам, как Горький в свое время даже хлопотал о том, чтобы советские писатели сначала публиковались за границей, чтоб таким образом получить всемирное авторское право, и хотел так издать «Охранную грамоту».

Текст этого письма был зачитан на заседании Президиума правления, которое единогласно исключило Пастернака из членов Союза писателей. Оно читалось потом на собрании Московской организации, его цитировали выступавшие, но в архивах Союза мне не удалось его найти, сколько я ни искал, ни сам, ни через других людей. Искренность и гордая независимость, звучавшие в письме, логика здравого смысла и благородство, которые все старались тогда подавить в себе в самом зачатке, вызвали страшное раздражение у писательских авторитетов, и они уничтожили все копии этого письма, которое называли «иезуитским». (Позже одну машинописную копию нашли в «Президентском архиве».)

Мы снова ездили к папе на следующий день. Маленькая гостиная с роялем была занята присланной к папе литфондовской врачихой. Она ходила обедать и ужинать в Дом творчества, остальное время одиноко сидела у себя. У всех в доме это вызывало недоумение, зарождались подозрения о ее истинной деятельности. Как-то, уговорив ее пойти погулять, Зинаида Николаевна с Ниной Табидзе кинулись проверять ее приборы и аппаратуру, считая, что найдут подслушивающие устройства. Но ничего такого там не оказалось.

Папа предполагал, что присутствие врача в доме объясняется его жалобами на плохое самочувствие, о котором он писал, отказываясь присутствовать на заседании. У него действительно оказалось повышенное давление и болели левое плечо и лопатка. Докторша нашла у него переутомление и велела поменьше работать. Но для папы было всегда наоборот — только работа давала ему хорошее самочувствие, без нее он заболевал.

Шепотом он сообщил нам, что «они» боятся, что он покончит с собой, и именно поэтому прислали врача со всеми средствами необходимой в таком случае срочной помощи.

— Но, — успокоил он нас, — я дальше, чем когда-либо, от этих мыслей.

Он рассказал нам, как в первые годы своей женитьбы, дедушка Леонид Осипович носил в кармане пузырек с ядом, о чем все знали, — на случай, если семейные заботы будут отрывать его от художественной деятельности. То, что было страшным ежедневным предупреждением семье, теперь представлялось смешным романтическим театром!

В среду 29 октября утром газеты сообщили о присуждении Нобелевской премии по физике Тамму, Франку и Черенкову. В конце неподписанной статьи содержался иезуитский абзац о принципиальной разнице между Нобелевской премией по литературе и по физике: если первая — политическая акция, то вторая — заслуженная награда всей советской науке. Вечером раздался телефонный звонок. Миша Левин просил меня съездить с ним и академиком Леонтовичем в Переделкино. Михаил Александрович Леонтович хотел объяснить Пастернаку, что настоящие физики — не подлецы и не поддерживают этого мнения. В частности, требуемую статью отказался написать Л. А. Арцимович, напомнив о завете Павлова ученым говорить только о том, что знаешь, и потребовав, чтобы ему дали прочесть «Доктора Живаго».

Была метель. Я вышел на угол Бородинского моста, вскоре подошла зеленая победа Леонтовича. Я сел вперед, чтобы показывать дорогу. До Переделкина доехали очень быстро. Машину поставили на перекрестке шоссе около трансформаторной будки. Я побежал на дачу, Зинаида Николаевна резко сказала мне, что папы нет дома — он пошел звонить по телефону. Она была мрачна и выразила сомнение в том, что он сможет принять приехавшего к нему академика. С этими неутешительными сведениями я вернулся обратно, но вскоре сквозь летящие хлопья густого снега мы различили в свете фонаря папину фигуру, который шел неуверенной походкой и все время оглядывался назад. Я не сразу узнал его. Его лицо было серым и страшным. Я кинулся объяснять ему, что привез Леонтовича, который хочет высказать свое участие и извиниться за физиков, но он отстранил меня рукой, сказав, что теперь это все уже не нужно, потому что он отказался от премии.

Подошли Леонтович с Мишей. Сначала папа просто не понимал, о чем идет речь, потому что, конечно, не читал статьи и ничего не знал о ней. Но вскоре между ним и академиком завязался разговор. Отец привел текст своей телеграммы в Стокгольм с отказом от премии, объясняя его тем значением, которое приобрела эта награда в нашем обществе, — и переводил французские слова телеграммы на русский. Все вместе медленно дошли до ворот папиной дачи, где он извинился, что не может нас принять, потому что утром ездил в город и очень устал. Он попросил нас взять с собой в Москву дочку Ольги Всеволодовны, Ирочку Емельянову, которая ждала под фонарем Фединской дачи.

До Москвы ехали молча. Снег залеплял стекла. Когда Ирочка вылезла на площади Маяковского, я попытался загладить неловкость и сказал Михаилу Александровичу, как неожиданно было для меня папино состояние. Вчера еще я видел его таким бодрым и стойким. Леонтович оборвал меня, сказав, что я дурак, его, напротив, поразило духовное величие Пастернака.

Дома я рассказал о поездке и папином отказе от премии. Я не мог понять, зачем он это сделал, — ведь никто не может оценить эту жертву, это уже лишнее и ничего не меняет. Мама заплакала и сказала:

— Боря должен был облегчить свою душу, иначе он не мог поступить.

Через шесть лет, когда Ольга Всеволодовна вернулась из лагеря, куда ее отправили вскоре после папиной смерти, и пришла к нам, она рассказала, что приехав в тот день в Москву, Боря звонил ей по телефону. Встревоженная разговором в Гослитиздате, где

ей отказались дать обещанный заказ на переводы, она в ответ на папины успокоительные слова, резко сказала:

— Да, конечно, тебе ничего не сделают, а от меня костей не соберешь.

Он бросил трубку и побежал на телеграф, где дал две телеграммы. Одну в Стокгольм, а другую в ЦК: «Дайте Ивинской работу в Гослитиздате, я отказался от премии».

У меня мороз пробежал по коже от этого рассказа, за откровенность которого я благодарен Ольге Всеволодовне. Я живо представил себе папино состояние и шокирующую несопоставимость двух полюсов: переводов Ивинской из корейской поэзии и высокой чести первой литературной награды мира. В скобках надо сказать, что собственные заработки не были для нее основным источником доходов. Рассказывая нам этот эпизод, она видела в нем лишь сильнейшее доказательство Бориной любви.

Через день состоялось собрание Московской писательской организации, на котором были многие из наших знакомых. К нам пришел Миша Левин, и, чтобы не томиться тревогой дома, мы бродили с ним по улицам. Только неделя прошла с тех пор, как мы, счастливые, так же гуляли с Мишей, узнав о присуждении премии. И вот теперь, униженные, уничтоженные, мы думали о противоестественности этого идиотизма, переживая жгучий стыд и боль.

В воскресенье утром я пошел к Овадию Герцовичу Савичу7 посоветоваться, он предложил мне поехать с ним на Истру к только что вернувшемуся из Швеции Эренбургу. Илья Григорьевич ездил вручать премию мира Лундквисту8, но в Швеции страшный скандал в связи с делом Пастернака, квартет, приглашенный на церемонию, не пришел, и Лундквист отказался принять премию.

Эренбург рассказывал нам, что в Швеции все радио и все газеты говорят с утра до вечера только о Пастернаке, и ему звонил по телефону один фермер и возмущался тем, что он разорится из-за этого — ему надо знать цены на зерно, долгосрочные прогнозы погоды и прочее, а все средства сообщения твердят только о Пастернаке.

Эренбург упрекал папу, считая, что тот делает все только себе во вред и даже от премии отказался совершенно не так, как нужно. Его прервал телефонный звонок Бориса Слуцкого, который спросил его, говорил ли он что-нибудь в Швеции о Пастернаке.

— Я согласился поехать в Швецию, — ответил Эренбург, — только с условием, что ни слова не скажу о Пастернаке.

— Счастливец, — по словам Эренбурга, позавидовал ему Слуцкий, — а я не мог отказаться, и теперь мне не подают руки9.

Эренбург рассказал о заступничестве Джавахарлала Неру, об интервью Хемингуэя, который предлагал Пастернаку свой дом на Кубе, и Стейнбека, заявившего, что нисколько не беспокоится за судьбу Пастернака, но возмущен поведением советских писателей, которые визжат и воют, как стервятники, впервые увидевшие вольный полет орла, о письмах Хрущеву от обоих Хаксли и разных Пен-клубов. Хрущеву, конечно, не было дела до этих писем, но когда ему позвонил по телефону Неру, то нашим посольствам были даны распоряжения разослать официальные заверения в том, что жизнь, свобода и имущество Пастернака вне опасности.

Я спешил уехать, мне надо было пересказать все это папе. Я думал, что это его поддержит. Он был в своем черном выходном костюме и посреди моего рассказа побежал к Ивановым, чтобы внести какие-то исправления в составлявшийся Поликарповым текст письма. Он скоро вернулся и был радостно взволнован известиями о поддержке Хемингуэя, Хаксли и Стейнбека.

В тот день было напечатано его письмо к Хрущеву. Я ни о чем не расспрашивал и понимал, как тяжело ему было подчиняться насилию. Публикация сопровождалась иезуитским сообщением ТАСС о том, что Пастернаку не будут чинить препятствий в выезде заграницу. Папа был этим встревожен и спросил меня, поеду ли я с ним в таком случае. Я с горячностью ответил:

— Конечно, с большой радостью, — в любом случае и куда угодно.

Он поблагодарил меня и грустно добавил:

— А вот Зинаида Николаевна и Ленечка сказали, что не могут покинуть родину. Ведь неизвестно, пустят ли меня обратно.

Он рассказал, что его снова вызывал к себе Поликарпов и в ответ на папин вопрос, чем тот еще его порадует, потребовал, чтобы он помирился с народом.

— Ведь вы — умный человек, Дмитрий Алексеевич, — передавал нам папа свой разговор. — Как вы можете употреблять такие слова. Народ — это огромное, страшное слово, а вы его вытаскиваете, словно из штанов, когда вам понадобится.Приехав к папе в следующее воскресение, уже после публикации второго письма, мы оказались невольными свидетелями того, как по дорожке сада один за другим стали приходить друзья — большей частью немолодые интеллигентные дамы. Они заходили — ненадолго и с опаской — выразить внимание, узнать, как и что. Папа некоторое время отсутствовал, разговаривали с Зинаидой Николаевной. Страшной печатью времени была боязнь тайных осведомителей и всеобщая подозрительность друг к другу. Каждая из пришедших считала своим долгом предупредить хозяйку, что недавно ушедшая — несомненный доносчик, и с ней надо быть осторожнее и ничего при ней не говорить. Не хочется ни называть их имена, ни, чтобы мои слова теперь, по прошествии стольких лет и при нынешней моде на разоблачения, могли служить материалом обвинений, но не могу без грустного смеха не вспомнить об этом. Когда пришел папа, гости по одиночке поднимались на несколько минут к нему наверх и, оглядываясь по сторонам, незаметно исчезали.

Но мы совершенно напрасно смеялись над папиными гостями, потому что, действительно, эти визиты строго контролировались, и теперь мы встречаем их имена в документах шефа КГБ Шелепина, представлявшихся в то время в ЦК. Слава Богу, никто из них не пострадал.

К концу декабря жизнь потихоньку вошла в прежнюю колею, и Новый год встречали тесной компанией. Мы приехали к папе 1 января часам к двум, зная, что в три обычно обедают. Но оказалось, что обед запаздывал, так как все поздно встали после встречи Нового года.

Мы сидели с папой в маленькой гостиной. В его словах сквозило мучительное чувство неуверенности и неустойчивости его положения, выбитость из работы. Рассыпан набор «Марии Стюарт» Шиллера в «Искусстве», из юбилейного собрания Шекспира выкинули все его переводы, и «Генриха IV» заказали переводить заново. Упоминание его имени в чужих статьях ведет к их запрету, в театрах сняты спектакли по его переводам.

Очень болезненно он воспринял мелькнувшее в западной прессе упоминание о том, что он не защитил Мандельштама перед Сталиным.

— Откуда могла взяться такая чепуха? Ведь о разговоре со Сталиным по телефону известно только с моих слов — то, что я рассказывал, — ведь не Сталин же распространял эти сведения.

И папа стал рассказывать нам о том, как Мандельштам читал ему свое стихотворение о кремлевском горце, которое очень испугало отца, и он, рассердившись на Осипа Эмильевича, сказал, что это не литература, а самоубийство, и он не хочет принимать в этом участия и ничего не слышал. Велел его никому больше не читать.

При передаче своего разговора со Сталиным папа особенно старался нам объяснить, как его смутило отсутствие логики в вопросах. Сталин спрашивал, почему он не заступался за Мандельштама, — в то время, как он потому и позвонил ему, что узнал через Бухарина о его заступничестве. Суть дела — что с Мандельштамом будет все в порядке — была высказана Сталиным в первых словах, так зачем же дальнейшие вопросы. Отец внезапно почувствовал за этим желание выпытать, насколько широко разошлось стихотворение Мандельштама. Боясь проговориться, он постарался как можно быстрее перевести разговор на другую тему и сказал, что хотел бы поговорить о жизни и смерти, после чего Сталин сразу повесил трубку.

Я не буду воспроизводить этот разговор, он был еще в 1930-х годах дословно записан по его рассказу Н. Я. Мандельштам и потом А. А. Ахматовой. Сравнивая разные поздние версии папиных рассказов об этом разговоре с тем, как он передавал это нам, я пришел к выводу, что первоначальная запись абсолютно точна.

За обедом на вопрос о переводе «Марии Стюарт» Словацкого папочка сказал, что он уже окончен и сдан, договор заключен, но денег не платят. Все в такой неопределенности, что пусть уж случилось бы самое страшное, но поскорей. Вероятно, от него ждут официального отречения от романа, но этого не будет. Вместе с ним пострадал Кома Иванов, которого по доносу Корнелия Зелинского выгнали с работы из университета. Зелинский сказал на Московском собрании писателей, что сын Всеволода Иванова перестал подавать ему руку после его статьи о Пастернаке, и припомнил к тому же, что Кома сводил внутреннюю эмиграцию с внешней, устроив во время приезда Романа Якобсона в Москву встречу с Пастернаком.

Мы приезжали к папе 10 февраля, когда справлялся день его рождения. За столом собрался весь круг его гостей: Г. Нейгауз, Тагеры, Ливановы, М. В. Юдина, Асмус, Галя Нейгауз со своей подругой и другие.

Удивительно было наблюдать папу на фоне этого общества. Казалось бы, все умные, значительные, блестяще образованные люди, но как они все тускнели и линяли перед ним! Молодая порывистость движений словно подталкивала его и устремляла вперед. Без малейшего напряжения его громкий гудящий голос наполнял дом и был слышен на улице. Он вел разговор за столом, давая ему свое направление, и о чем бы ни говорили — о музыке, — Клайберне, о немецкой литературе или театре, все приобретало в его устах особую полнокровность и существенность, подымаясь от плоскости отдельных наблюдений или фактов на высоту далеко идущих обобщений и всеобъемлющей глубины. Всегда начиная со скромных признаний в некомпетентности и отказываясь высказывать свое мнение, он потом говорил так ярко, значительно и по существу, что все слова, только что сказанные умными и знающими людьми, рядом с ним сразу бледнели.

Зашел разговор о Томасе Манне, которым восхищался Генрих Густавович, о «Докторе Фаустусе». Папа начинал с обязательной оговорки:

— Я, конечно, человек не начитанный и плохо разбираюсь в подобных материях, а вы все такие знатоки, как ты, Гарри, или ты, Женя, и все читаете и знаете. Наверное, вы правы, и я не могу с вами спорить, но я все-таки скажу, что не понимаю Томаса Манна и когда пробовал его читать, — а меня все уверяли, что это великолепно, — не мог продраться сквозь его описания и многочисленные подробности, ненужные, на мой взгляд, отвлекающие от существа, которое он хочет передать. Если он пишет, например, об утре, что оно было серое, туманное, сырое, промозглое и так далее и тому подобное — на три страницы одних прилагательных, — то мне это не нужно. Я вижу за этим просто неумение найти и выбрать то одно, необходимое определение, которое бы мне сказало все, что он хочет выразить, и которое единственно нужно — и больше никаких других. Целые ряды прилагательных вместо одного, ненайденного. Нужно

найти именно его вместо всего перечисления, но он его не находит. И я не смог его читать, — несмотря на все рекомендации и чужие похвалы, — меня это раздражало, это — дилетантизм, неумение и беспомощность, мне это не нужно.

Я напомнил папе его старое восхищение «Будденброками» Манна, он согласился: так оно и было, но это был другой Манн, молодой, а тут — знаменитый писатель, который позволяет себе печатать черновики, зная, что его читатели все одобрят.

Потом зашла речь о Федине, о его последней трилогии. Папа говорил:

— Советская литература — очень хорошая литература, она опирается на прекрасные образцы, берет их в пример. Но печатная машина все время ломается и против воли работает неточно, допускает ошибки, и все что-то не получается. Вот берут такую прекрасную вещь, как «Капитанская дочка», и печатают раз за разом — и все в порядке. Но когда машина выдает сначала «Капитанскую дочку», потом «Капитанского сына», потом «Генеральскую дочь», потом «Лейтенантского племянника», то это уже просто неисправность и никуда не годится.

Папа быстро взбежал по лестнице к себе наверх и тут же ссыпался вниз с недавно полученными им переводами из Пушкина Рольфа Дитриха Кайля. Он очень хвалил их и стал читать на выбор разные места из перевода «Евгения Онегина». Он задавал вопрос тем, кто не знал по-немецки — Гале Нейгауз и ее подруге, Зинаиде Николаевне и другим, — и просил угадывать, из какого места он читает, — так близко Кайль умел передать ритм и пушкинскую мелодию фразы. Ему в ответ читали эти стихи по-русски. Он по-детски радовался, по-видимому, он уже не первый раз пробовал эту игру, и всегда получалось. Папа также восхищался переводами Кайля своих собственных стихов и отметил, что Кайль прошел тот же путь в своем развитии, как и он сам: через Пушкина и Шекспира — к «Доктору Живаго».

Роскошный обед шел своим чередом: обильные закуски, горячий суп, который папа неизменно проглатывал, обжигаясь и торопясь, пока он не остыл, нашпигованные рябчики — весь кулинарный ассортимент Зинаиды Николаевны, любящей угостить. Гости, особенно Мария Вениаминовна Юдина, отдавали должное угощению, похваливая это «Божье даяние».

После обеда, когда гости разошлись, отец рассказывал нам, что некий испанец Хосе Вилалонга, желая заработать на нем пять миллионов долларов, организовывает его турне по Англии и Америке с циклом лекций о русской литературе. Я поинтересовался:

— Как 6н добьется того, чтобы тебя выпустили заграницу?

Но папу более всего возмущало бесцеремонное распоряжение его именем и намерениями, и он собирался решительно отказать испанцу.

Он говорил, что получает множество писем с просьбами денежной помощи — его во всем мире считают богатым человеком, а он дожил до того, что должен занимать у знакомых. Жаловался:

— Неужели я недостаточно сделал в жизни, чтобы на 70-м году быть не в состоянии обеспечить свою семью, и должен заново отыскивать средства к существованию.

Он сообщил нам, что ему уже делались недвусмысленные предложения помириться с Союзом писателей — они согласны вновь принять его.

— Наверное для этого надо принести публичные покаяния и отречься от романа, но они никогда от меня этого не дождутся.

История с Нобелевской премией глубоко сидела в нем. Особенно его мучило то, что он поддался испугу и жалости и опубликовал письма в газете — пошел против своих убеждений. Но он не говорил об этом в открытую и никогда не жаловался, — это

восстанавливалось из случайных обмолвок. Он ждал ответа на свои письма и возмущался элементарной невежливостью.

— Моему отцу в свое время великие князья письменно выражали благодарность по разным поводам, и даже жестокий Сталин считал не ниже своего достоинства исполнять мои просьбы о заступничестве за арестованных, но куда им до нынешних и до их величия.

Как-то он заезжал ненадолго к нам на Дорогомиловскую и рассказал, что его обязали на время приезда в Москву премьер-министра Англии Макмиллана уехать куда-нибудь, чтобы избежать встреч с журналистами. Это вызывало в нем бурное негодование по поводу бесцеремонного обращением с ним, ограничения его свободы и полного игнорирования его воли. Он видел в этом прямое оскорбление и насилие, которому становилось все труднее и труднее подчиняться. Это нарушало его рабочий распорядок, привычные занятия и устоявшийся обиход, которые были для него совершенно необходимы в то время, и менять их в угоду чужим желаньям не представлялось возможным.

Папа был увлечен открывшимся ему широким миром общения, после Нобелевской премии его и без того обширная переписка возросла в несколько раз. В иные дни он получал до 50 писем и считал себя обязанным на каждое отвечать. Это занимало много времени, и ему пеняли на то, что он зря растрачивается. Но он и раньше не позволял себе оставлять без внимания проявление уважения или любви, тем более, что, — отвечал он на наши упреки, — ему всю жизнь приходилось писать с оглядкой и потому многое из продуманного и насущного осталось ненаписанным. Только теперь он может высказать это тем, кому это интересно и нужно. Он не хотел ехать в Грузию, куда его звала Нина Табидзе, чтобы не накапливать письма и не увеличивать своей задолженности.

Мы увиделись лишь вскоре после его возвращения в середине марта. Он рассказывал о полете на знаменитом тогда самолете ТУ—104 — перелет он перенес плохо, о своих прогулках с Нитой Табидзе по городу, о Прусте, которого там, наконец, прочел до конца. Он хотел узнать, что значит у Пруста найденное время, и понял, что это одновременное присутствие в каждом моменте настоящего двух времен, прошедшего и наличного, и через еже-мгновенно существующее просвечивает как воспоминание прошлое, связанное с происходящим невидимыми нитями ассоциаций. Такое понимание всегда было близко ему самому, и он старался передать в своей прозе и стихах ощущение слитности и нерасчленимого единства разновременных моментов существования.

Эти мысли должны были получить воплощение в его новой пьесе. В Грузии у него пробудилось желание написать об археологических раскопках, при которых жизнь давно прошедших веков переплетается с реальными судьбами современных людей. Его заинтересовало время первого христианства в Грузии, апостольская деятельность Святой Нины и ее сподвижницы Сидонии. Он спрашивал, нет ли у нас каких-нибудь интересных книг по археологии.

С этими же просьбами он обращался к своим друзьям заграницей, и через некоторое время получил в подарок прекрасную книгу про Кумранские рукописи10, о которых нам с увлечением потом рассказывал. Мы ничего не знали о них до того, и для него, как и для нас, это было потрясающей новостью и открытием.

Через несколько дней отец снова неожиданно появился у нас и, взволнованный, сказал, что видел сейчас человека без шеи. Он вернулся от генерального прокурора Р. А. Руденко. Его остановила на дороге, когда он гулял в Переделкине, черная машина и увезла в Москву на допрос в прокуратуру. Руденко объявил ему, что против него заведено дело о государственной измене и потребовал прекратить всякие встречи с

иностранцами. Причиной этого вызова стала публикация стихотворения «Нобелевская премия» в «Daily Mail». Папа отдал его молодому английскому корреспонденту Энтони Брауну, аккредитованному в Париже, куда он возвращался на следующий день, и просил передать небольшую подборку своих последних стихотворений Жаклин де Пруайяр11. Но тот напечатал «Нобелевскую премию» в газете, снабдив комментариями, в которых последняя строфа о вере в победу добра над подлостью и злобой трактовалась как ожидание антисоветского переворота.

Папа сказал, что он подписал обязательство не рассказывать никому о допросе и просит сохранить наш разговор в тайне.

— Он потребовал от меня также письменного обязательства не встречаться с иностранцами, но я категорически отказался его дать. Я сказал, что готов подписать лишь то, что читал ваше требование, но никаких обязательств взять на себя не могу. Почему я должен вести себя по-хамски с людьми, которые меня любят и желают мне добра?

Вероятно, папа скрыл от Зинаиды Николаевны вызов к прокурору, чтобы ее не волновать, но она видела публикацию стихотворения и возмущалась комментарием Брауна. Записка с отказом от приема иностранцев полностью соответствовала ее желаниям и была вскоре повешена на двери. Папа объяснял в ней, что ему запрещено принимать иностранцев и просил их не обижаться на него за это. Записка на трех языках должна была помочь Татьяне Матвеевне12 отваживать посетителей. Приходившие к Пастернаку, прочтя записку, часто просили позволения взять ее себе как автограф, на память, и отцу приходилось каждый раз писать ее заново. Мы видели одну из них, когда приезжали к нему в апреле.

Зинаида Николаевна радостно сообщила нам, что Боря получил официальное известие из Инъюрколлегии о том, что на его имя пришли деньги из Норвегии и Швейцарии. Этих денег так много, что теперь им будет обеспечена безбедная старость.

Через несколько дней папа заезжал к нам, возвращаясь из Инъюрколлегии. Он хотел часть денег разделить между Зинаидой Николаевной и Ольгой Всеволодовной, что-то отдать в Литфонд для престарелых писателей, но большую часть оставить за границей на случай поездки туда. Впоследствии Ольга Всеволодовна рассказала нам, что они ездили в тот день вместе, и именно она настояла на том, чтобы прежде, чем брать деньги, спросить мнения Поликарпова. Тот категорически запретил это делать, сказав, что папа должен передать их все в Комитет защиты мира. Отвечая на мой вопрос о судьбе этих денег, он мрачно сказал, что распорядился отправить их обратно. Он понимал, что Комитет защиты мира — чистое вымогательство, и лучше уж было бы употребить эти деньги на детские сады.

— Впрочем, теперь все равно, — грустно заключил он.

Это было для него еще одним страшным ударом. Он мечтал о новой самостоятельной работе, и эти деньги обеспечили бы ему возможность ее написать.

Со своей стороны, Ольга Всеволодовна хлопотала о новых заказах на переводы, самая мысль о которых вызывала у отца ужас. Он говорил, что полжизни отдал на переводы — свое самое плодотворное время, и с горькой болью ощущал, как мало успел сделать в жизни. Пробудившиеся в Грузии замыслы пьесы приобретали новые очертания.

В издательстве «Искусство» Н. М. Любимову удалось выбить для отца перевод «Стойкого принца» Кальдерона, но первое ознакомление с текстом огорчило его. Кальдерон испугал своей холодностью и условностью формы.

Папа подробно рассказывал нам об этом, как и о своих взглядах на переводы вообще, когда мы втроем с полуторагодовалым Петенькой приехали пожить у него на даче по приглашению Зинаиды Николаевны. Она с Ниной Табидзе и Леней собиралась

в Ригу и Таллин, покататься по Прибалтике, и отдала нам свою комнату, «лесную», как она называлась, потому что окна выходили в лес.

Главным украшением нижних комнат были витрины с небольшими дедушкиными набросками. Их было очень интересно рассматривать. В первый же день, когда мы приехали, папа рассказал нам, что выбрал их из маленьких альбомчиков и дал окантовать. Под каждым рисунком он проставил даты и многие надписал. Он с удовольствием показывал их и объяснял сюжеты. Ему очень нравился рисунок с Жони, сделанный в 1918 году. Она стоит на кухне, повязанная по-бабьи косынкой.

— Правда, видно, что она чистит картошку? Как точно передана ее поза!

Папу встревожило, что Петенька может свалить на себя мраморные бюсты, стоявшие в столовой. По его просьбе сторож Гаврила Алексеевич Смирнов перенес их на террасу, куда Петя не ходил. Папа объяснил нам, хоть я эти портреты знал с детства, что один из них изображает Марию Антуанетту, а другой мадам де Помпадур и это, как будто, «настоящий Гудон».

Зинаида Николаевна с Ниной Табидзе и Леней уехали 23 июля в 5 часов утра. Отец провожал их. Накануне целый день готовились к отъезду, жарили баранину в дорогу, топили сливочное масло и складывали в банки. Мы остались в доме одни с папой и Татьяной Матвеевной, нашей старой знакомой и доброжелательницей. Первым делом нам был преподан железный распорядок дня. Папа вставал рано, сам убирал свою комнату, для чего у него на шкафу лежала всегда чистая пыльная тряпка, а около дверей — метла и совок. К этому он был приучен родителями с детства и сохранил привычку на всю жизнь. После этого он сходил вниз завтракать и шел работать, иногда забирая с собой наверх чашку чая. Мы завтракали одни. Папа спускался около часу и уходил гулять, — иногда — к Ольге Всеволодовне. Возвращался без четверти три, принимал душ в саду, переодевался во все чистое, и мы садились обедать. Петеньку мы кормили отдельно, до общего обеда, и укладывали спать.

Мы сидели втроем за большим столом, покрытым красной клетчатой клеенкой. За первым блюдом разговаривать было нельзя, отец глотал суп, пока горячий. Во время второго начинался разговор. Всегда с извинений, что он человек занятой, и ему некогда с нами посидеть поболтать, чтобы мы на него не обижались.

— Я всем так говорю, — добавлял он.

Потом переходил на рассказ о пьесе, которую начал тогда писать.

— Это об искусстве при крепостном праве. История актера провинциального театра конца прошлого века.

Он очень заинтересовался, когда я сказал ему, что Аленуш-кина бабушка Мария Александровна Крестовская была актрисой провинциальных театров, выступала в Киеве, Саратове, Смоленске и других городах в конце прошлого века и начале этого. Он сказал, что обязательно расспросит потом поподробнее, когда будет нужно по ходу работы.

— Ведь всякая работа — это всегда плагиат, использование чужих знаний и мыслей.

Он непременно спал после обеда минут двадцать, после чего спускался вниз за чашкой чая и уходил вновь работать. Работал часов до восьми — полдевятого и потом снова шел погулять.

В это время нам было велено ужинать, чтобы освободить на вечер Татьяну Матвеевну, папа ужинал позже, часов в десять, вернувшись после телефонных разговоров. Врачи рекомендовали ему более ранний ужин, но он жаловался, что не может уснуть, если перед этим не поест. На ужин всегда было холодное вареное мясо из супа и грузинская простокваша мацони, закваска которой каждый раз перекладывалась из готовой баночки в новую для следующей порции.

Когда папа ел свой холодный ужин, без помощи уже ушедшей спать Татьяны Матвеевны, мы возобновляли оборвавшийся разговор.

Боря говорил о своем разочаровании в Кальдероне. После Шекспира с его серьезным, детально разработанным содержанием, Кальдерон представляется простой опереткой, в которой не за что ухватиться. Его переводил раньше уже Бальмонт, и это было прекрасно. Вообще ему ближе переводы прошлого века, когда переводчики брали основное содержание вещи и, складывая его в старый, какой был под рукой чемодан, передавали читателю самое главное, существенное — силу и красоту оригинала, пленившие их. Ставя перед собой литературную задачу ознакомления, они не боялись что-то менять или пропускать мелочи.

Потом появились символисты со своей наукой и детально разработанной техникой. В задаче перевода они видели возможность продемонстрировать свое умете жонглировать словами, передавать любые нюансы и речевые обороты блестяще подобранными, точными, образными соответствиями. Они подвели под это дело целую академию, считая нужным вложить в этот чемодан и историю литературы, и современную эстетику, свойственные автору влияния, словарь и особенности поэтики. Чемодан сохранял форму оригинала, но становился неподъемным. Чтобы понять и оценить такой перевод по достоинству, нужен научный аппарат и исторический комментарий. Такова «Энеида» Брюсова. Но очарование оригинала из чемодана исчезало, общий замысел вытекал из упаковки, дух выветривался.

Советские теоретики, опираясь на достижения символистов, превращают перевод в лингвистическую задачу передачи отдельных оборотов, фраз, образов, теряя при этом самый смысл произведения, затемняя мысль требованиями словесной точности.

Переходя к своим собственным переводческим работам, папа говорил, что хотел объединить достижения прошлого века и нынешнего, но основной упор делал на гладкость и естественность языка, передающего живую силу искусства, а не его внешние формы, подчас убивающие жизнь. В первую очередь он хочет найти в переводимом авторе сильные его стороны, живое содержание вещи, то, что ее вызвало к жизни, что руководило автором при ее написании и служило основой. Когда это понято и найдено, подробности и мелкие обстоятельства ложатся сами собой в нужные места. Но пока он еще не может найти эту подспудную жизненную основу у Кальдерона, и это его огорчает.

Вскоре, однако, такая опора была найдена в открывшемся ему мире высокой аскетики раннего католицизма. Он говорил нам тогда о глубине черного бархата, на котором, как на фоне, отчетливо проступают черты религиозной мистерии со всеми ее условностями. Такие представления давались в память святого в дни его прославления. Отец воспринял театрализованное житие святого как исторически обусловленную художественную форму, найдя в «Стойком принце» благородно-аскетический реализм, который был ему нужен, чтобы полюбить Кальдерона.

Когда мы приехали в Переделкино, папа уже вовсю работал над пьесой о крепостном театре. Первые наброски делались еще в июне, перемежаясь чтением исторических материалов, касающихся подготовки реформ 1860-х годов. Разговор о пьесе зашел у нас уже в ближайшие дни по приезде.

Пьеса должна была показать жизнь талантливого человека, актера и драматурга, находящегося в крепостной зависимости. Формулировка невольно выдавала папино душевное состояние, страдания со всех сторон обложенного зверя, — если взять образ из стихотворения «Нобелевская премия». При этом, если в «Докторе Живаго» он показал несчастия, выпавшие на долю России в нынешнем веке, то в пьесе стремился вскрыть истоки этих бед, лежавшие в событиях 60-х годов XIX века.

Первоначально папа хотел назвать пьесу «Благовещение» и дать время накануне отмены крепостного права. В судьбе главного героя пьесы актера Агафонова должны были отразиться биографии Мочалова, Щепкина или Иванова-Козельского. Посланный своим барином учиться в Париж, Агафонов после отмены крепостного права открывал собственный театр в Москве. Папа рассказывал, что в прозаический текст пьесы он вставит стихотворный монолог Агафонова о судьбе крепостного таланта. Другим героем должен был стать вернувшийся с каторги дворовый, который открывает свое дело, — фигура, подобная знаменитым купцам-промышленникам Морозовым. Их положительный вклад в преобразование России противопоставлялся романтически-разрушительному началу истории в лице разночинной интеллигенции, основывающей свою деятельность на обиде и возмездии.

Он огорчался, что работа над пьесой продвигается слишком медленно — он занимался ею только по утрам. Надо было делать Кальдерона, кроме того, много времени отнимала переписка.

Он рассказывал нам об американском издателе Курте Вольфе, который хотел собрать в книгу лучшие статьи о романе и издать ее под названием «Памятник Живаго». Но папа остановил эти планы. Его интересы уже пережили время первых критических откликов на роман. Он отказался также написать контрстатью по поводу разборов известного критика Эдмунда Уилсона, о которой его просил английский поэт Стивен Спендер для своего журнала.

Папа весело смеялся над тем, что Уилсон писал о символическом подтексте романа «Доктор Живаго». Таинственный дом на углу Большой Молчановки и Серебряного переулка он трактовал как аллегорию пересечения Серебряного века русской литературы с «молчановкой» советского периода. Я хорошо помнил тот огромный доходный дом, который описывал папа в романе — там жило семейство Серовых, детей художника, с которыми папа сохранял теплые отношения и куда ходил в гости. А другой случай, который привел папа, — была расшифровка вывески «Моро и Ветчинкин. Сеялки и молотилки». Уилсон увидел в этих именах сочетание индоевропейского корня слова «смерть» — mort и Гамлета, имя которого может быть переведено на русский как Ветчинкин — Hamlet.

Понимая, что публикация его статьи в английском журнале может быть расценена у нас как новое преступление, папа рассказывал, что написал Спендеру письмо. Не сдоря с аллегорическими трактовками Уилсона, он говорил, что стремился в «Докторе Живаго» передать ход событий и фактов, как движущееся целое, как действительность, наделенную свободой выбора. И отсюда — намеренное затушевывание характеров и произвольность совпадений, которые ставит ему в упрек критика.

Очень долго впечатления этого последнего папиного лета, проведенного с ним вместе, ярко горели в памяти во всех подробностях. Мы жили каждый в своем ритме и своими делами. Он был погружен в свой мысли, которые иногда прорывались блестящими монологами на самые разные и неожиданные темы. Они были так значительны, что еще долгое время потом думалось, что я всегда смогу их записать во всех деталях. Но логическое развитие темы, совершенно ясное вначале, стало с годами утрачиваться. Кое-что мы вскоре записали, кое-что в сжатом виде мы находили потом в Бориных письмах к разным людям и радовались им, как старым друзьям.

Был разговор о разнице между настоящим искусством и подделкой.

— Представьте себе, что у вас погасла лампочка. Вы вызываете монтера. Приходит человек с кучей проспектов и книжек об электричестве и объясняет, как это полезно и удобно, но после его ухода свет как не горел, так и не горит. А другой человек, не говоря ни слова, лезет на лестницу, соединяет оборванные провода, и свет загорается. Так же и в искусстве. Не надо много поэтов, хороших и разных, которые только

рассказывают о пользе и выгоде электричества. С ними нельзя не согласиться, это действительно так и все правильно. И вот читаешь чужие стихи, которые приносят мне, — все хорошо, все верно, но свет не горит. Нужен только один, тот, который ввинчивает лампочку, чтобы стало светло.

Продолжая наш многолетний спор по поводу Эренбурга, папа сказал, что ему и Федину он предпочитает Суркова, чья позиция логически понятна и проста.

— Его откровенное непризнание всего того, что я собой представляю, требует непрестанной борьбы. Это — советский черт, его выпускают, чтобы одернуть, обругать, окоротить, вернуть рукопись «Живаго» из Италии. Но я его понимаю: это искренне и неизменно в течение всей жизни. Он так и родился с барабаном на пупке. А Эренбург — советский ангел. Дело в самом спектакле — все роли в нем распределены. Эренбург ездит в Европу, разговаривает со всеми и показывает, какая у нас свобода, как все прекрасно. И убежден в том, что знает, по каким правилам надо играть, что где говорить. И все в восхищении от того, что он себе позволяет. Такие люди мне непонятны и неприятны неестественностью положения и двойственностью своей роли.

Боря рассказывал, как весной 1956 года к нему приходили два человека. Это были Каверин и Казакевич, но папа не назвал их имена, только сказал, что одного из них даже считают талантливым. Они предлагали ему печататься в «Литературной Москве», и он дал им «Замечания к переводам Шекспира». Но вообще он не понимает этих, якобы свободных, писательских журналов. Лучше уж государственные, в них все ясно, что можно говорить, а что нет. А тут вроде все можно, тогда как из чувства взятой на себя ответственности они боятся вообще что-либо сказать. Он предлагал им напечатать роман, но они отказались, хотя Всеволод Иванов готов был его отредактировать.

Был разговор о музыке, о том, что все композиторы, классики, Гайдн и прочие — куранты своего времени, их очень приятно слушать — и только. Но дважды в истории музыки совершался «обвал содержания», оно скапливалось и прорывалось Бахом или Шопеном.

Папа с воодушевлением говорил, что проза XX века научилась обходиться без авторского присутствия, освободившись от автора как рассказчика и судьи, в отличие от романов прошлого века, где автор неизменно присутствует и делит героев на хороших и плохих своим отношением к ним и их поступкам. Папа выделял из общего правила прозу Лермонтова и повести Белкина, как родоначальников новой объективности в прозе, отмечая в этих вещах существование жизни самой по себе, как реальности, в которой нет авторского суждения и участия.

Прервав себя, он внезапно, лукаво улыбаясь, спросил меня:

— Как ты думаешь, чем писал Достоевский? Я не нашелся, что сказать. Он продолжал:

— Если Лермонтов писал кровью, Гоголь — слезами, Толстой — краской, Салтыков-Щедрин — желчью, то Достоевский писал ... — и папа сделал выжидательную паузу, — чернилами. И в этом заключается высшая профессиональность его прозы. У него — гипнотически-чернильная душа.

В «Повести о двух городах» Диккенса папа находил неиспользованные еще в литературе возможности. Его восхищал повторяющийся момент в «Повести», — когда эхо доносит в Лондон гул шагов революционных толп на улицах Парижа, герои «Повести» чувствуют тревогу, как будто они находятся одновременно в двух временах, в двух городах.

Помню приход Корнея Ивановича Чуковского, который после нескольких слов с папой мгновенно переключился на нашего Петеньку. Это было их первое знакомство. Корней Иванович уселся на лестнице террасы и сразу сумел завоевать его полное доверие.

Папе нравилось, что мы ежедневно купали Петеньку в большой ванне на огороде, приучая к холодной воде, и каждый раз, когда Петенька сидел на ковре в столовой, чем-то сосредоточенно занимаясь, а папа проходил мимо, он непременно останавливался, и они начинали играть в такую игру: Петенька махал на папу ручкой, а папа импульсивно шарахался в сторону и вскрикивал «Ай-яй-яй!», — как будто пугался. И оба весело смеялись. Это можно было повторять несколько раз подряд, что доставляло обоим почти равное удовольствие.

Папа говорил Петеньке серьезным голосом:

— Вот ты скоро начнешь разговаривать как большой, и тогда мы с тобой поговорим по-настоящему.

Петенька действительно вскоре, той же осенью, начал говорить, с каждым днем увеличивая словарь, — но к сожалению «поговорить по-настоящему» им уже не пришлось — через полгода папы не стало. Но тогда, мысленно сопоставляя привычную ему строгую педантичность ухода за ребенком, с тем, как мы легко сами справлялась с мальчиком, он говорил:

— Может быть вы и правы, что так просто его воспитываете. Наверное, так и надо.

В разговорах о Петеньке Боря с удовольствием отмечал, как мальчик похож на его детские фотографии. Петина смуглость напоминала ему, что его самого в детстве принимали за цыганенка.

Иногда папа ездил по делам в Москву. Рано утром, до жары, он бежал на электричку, возвращался вечером, усталый, но как всегда бодрый.

— Вот что значит, — никогда не читать газет! Не знаешь, что происходит, — рассказывал он как-то после такой поездки. — Рядом со мной сидел человек с «Правдой», я заглянул через плечо и вдруг вижу: большими буквами «Император». Я удивился, что это значит — в «Правде» — и вдруг — Император!

Что-то произошло, а я и не знаю ничего. Дальше больше, посмотрел еще: «Приезд в Москву императора». Ну и ну! Вот-так-так, дожили! Снова заглянул к соседу: Император Эфиопии. — Вот чудеса! Такого и не придумаешь!

Это были сообщения о встрече с Хрущевым Хайле Силассие.

Со стыдом вспоминаю, как однажды приходила к папе группа мальчиков — лет 18—20. Следуя установке, что папу нельзя отрывать от работы, мы пытались им это объяснить. Но такие разговоры обычно кончались тем, что папа подходил к окну и говорил, что сейчас спустится. Так было и тут. Когда он пришел, они уселись стайкой на диванчике в рояльной комнате, и папа довольно долго разговаривал с ними. Проходя в сад или столовую, я слышал, как он объяснял им, что под внешним благополучием наших будней на каждом шагу вскрывается пропасть бесхозяйственности, воровства и беззакония. Одним из примеров были Ленины рассказы о невозможности легально достать на дорогах бензин, который он вынужден покупать у самосвалов, — краденый из государственного кармана.

После их ухода я пытался объяснить папе, что опасно так разговаривать с незнакомыми людьми. На это он мне рассказал несколько совсем смешных случаев своих встреч с молодыми поклонниками.

Как-то вечером, занимаясь у себя наверху, он услышал шаги на чердаке, над головой. Он вышел и открыл люк. Оттуда вылез молодой человек. На вопрос, как он туда попал, тот сказал, что с улицы Горького он увидел свет в его окне и залез на чердак по пожарной лестнице. Папа удивился, услышав про улицу Горького, с которой видно его окно. Но это оказалась не московская улица Горького, а та, что в Переделкине, около магазина. После некоторого разговора о смысле жизни молодой человек стал раскланиваться, отец хотел выпустить его через дверь, но тот снова устремился на чердак. Оказалось, он оставил там свои галоши.

Другой юноша рассказал отцу, что все время чувствует себя словно во сне и спрашивал, что это такое и бывает ли у него тоже самое. Папа показал какие-то странные кругообразные движения около живота, которые делал при этих словах молодой человек. Папа сказал ему, что каждое жизненное проявление требует усилия, жизнь происходит наяву, и для того, чтобы жить, надо сделать усилие и проснуться.

В страшные дни прошлой осени подобные посещения и встречи на улице внушали нам всем страх за отца, которому могли причинить вред спровоцированные на это люди. Однажды, выйдя из ворот, я увидел за кустами фигуру. Это был один из рабочих поселка, сын сторожа, жившего на папином участке. Я остановился, он подошел ко мне и сказал:

— Вы не беспокойтесь, Борису Леонидовичу бояться нечего, мы его в обиду не дадим, мы здесь все при деле.

Однако я понимал, что это «дело» зависит от приказания, которое в любой момент может смениться на противоположное. Папе приходилось все время жить, преодолевая страх. Как-то раз, возвращаясь после прогулки, он грустно сказал мне, указывая на свою дачу:

— Раньше я думал, что здесь повесят доску: «Дом Живаго», а теперь понял, что этого никогда не будет.

Зинаида Николаевна с Ленечкой и Ниной Табидзе вернулись числа 8—9 августа, но нас оставили пожить еще на месяц, — до холодов. — Пока тепло, сказала Зинаида Николаевна, они с Ниной будут жить на террасе, и «лесная» комната им не нужна. В доме теперь все время звучала музыка. Играл Ленечка. Папа с гордостью объяснял нам, что он самоучкой, почти без помощи преподавателя, одолевает настоящие, серьезные вещи. Зинаида Николаевна с утра отправлялась на огород — полоть, и оттуда раздавался равномерный звон ее маленького совочка, у которого оторвался от ручки металлический кружок и мелодично звенел при каждом движении.

Регулярно приходила Зоя Афанасьевна Масленикова лепить папин портрет. Ее работа теперь стояла в маленькой комнате при гараже, куда папа иногда заходил «постоять» для нее. Мы с дядей Шурой помогали ей поставить станок, смотрели ее работу.

Как-то за обедом, — разговор затеяла Зинаида Николаевна, — я спросил отца, почему он отказался подписаться под Стокгольмским воззванием за мир. Он не ответил мне тогда, но вечером сам продолжил эту тему и сказал, что борьба за мир с помощью прокламаций — глупость и бессмыслица, и если он не сделал ничего в этом направлении тем, что он написал в течение жизни, то грош цена и его подписи. Его несколько часов уговаривал Ираклий Андроников, Зинаида Николаевна объясняла, что это не 37-й год, чтобы отказываться от подписи, что все подписываются, потому что хотят мира. Но Боря говорил, что и без воззвания все знают, что мир хорош, а война страшна. Подписываться под этим бессмысленно, но надо уметь сделать так, чтобы укрепить в человеке любовь к жизни, веру в то, что жизнь стоит того, чтобы жить. Надо сделать жизнь человека дороже, — чтобы было жалко ее лишиться. А когда жизнь — копейка и гроша ломаного не стоит, ее не жаль потерять, отдать ни за что. Тогда человек готов на все, и на войну тоже. Искусство — та сила, которая придает жизни большую ценность, делает ее краше, дороже, и тем противостоит разрушительным, самоубийственным тенденциям, то есть войне.

Я плохо себе представлял, что происходило тогда с отцом. Мне казалось, что я не выспрашиваю его из деликатности. Но, может быть, это был мой эгоизм и самопогруженность — привычка, — так ведь было всю жизнь. И меня больно поразили его слова, как-то сказанные о домашних:

— Ты знаешь, если я на их глазах буду в пруду тонуть, — и он сделал движение головой в сторону соседней комнаты, — то никто на помощь не кинется, пока я не позову. — И прибавил: — Это я сам их так приучил.

Так вот — и я был тоже так приучен, точнее так получилось по удаленности нашей раздельной жизни.

Как-то во время очередного ухода отца к Ольге Всеволодовне Татьяна Матвеевна сказала:

— Если бы дома ему хоть чуточку ласки, да кто бы ему еще был нужен, никуда бы он искать не пошел. Я спросил — А Ольга Всеволодовна?

— А та? Та его к смерти готовит.

Стихотворение «Ева» я в то время связывал с папиным разговором с одной южноамериканской поэтессой. Она спросила его, почему он не касается в романе и своей поэзии душевных частностей интимной жизни, вообще, почему лирика остается отгороженной от «прелести обнажения». С сожалением, как о чем-то упущенном, он сказал ей, что это осталось для него в прошлом, он в молодости думал об этом, и у него был плодотворный опыт. Но он не стал его развивать, потому что ничего такого в нашей литературе нельзя было себе представить, а теперь его интересуют более широкие планы.

Эта поэтесса была Надя Вербино, которая приезжала к нему по поручению Сузанны Сока, издававшей в Монтевидео в своем журнале «La Licorne» папину Автобиографию. Отец рассказывал нам, что она спрашивала его также, почему он пишет классическими размерами, которые теперь в западной литературе считаются совершенно устаревшими, так как сковывают мысль, а поиски рифмы навязывают лишние слова. Отец сказал, что пробовал vers libre в молодости и решительно отказался от него. Он считал, что славянским языкам свободный стих несвойствен, а формальная несвобода в стихотворении, напротив, —- напрягает мысль и слово, заставляет их быть более точными и лаконичными и не дает ложному глубокомыслию заполнять страницы водой.

Мы смотрели по телевидению кинофильм «Последний дюйм», где несколько раз повторялась удивительная песня, которую пел женский высокий голос на фоне хорового сопровождения. Боря как раз проходил через столовую, где мы сидели и, послушав и взглянув на экран, сказал, что на него всегда с неотразимой силой действует женский сольный альт над хором. Я спросил его, не фольклорная ли это песня. — Нет, что ты, — возразил он, —- конечно, авторская, и хорошего композитора.

На титрах потом мы увидели фамилию Метека Вайнберга13, мужа Талочки Михоэлс.

21 августа мы с папой были приглашены к Ивановым на Ко-мин день рожденья. Ему исполнилось 30 лет. Боря пришел только около 10 часов. Когда он появился в дверях, поднялся спор, где ему сесть. Его сажали в центре стола — рядом с Анной Андреевной Ахматовой, он хотел с краю, был внутренне напряжен и не соглашался на роль свадебного генерала, которую ему навязывали. В результате они с Анной Андреевной сидели друг против друга.

Анну Андреевну спросили о ее публикациях и издательских предложениях. Она сказала, что как раз недавно получила заказ от «Правды». В то время в газету по воскресеньям вкладывалась дополнительная литературная страница, для которой и требовались ее стихи. Она послала, но «Правда» не напечатала. Анну Андреевну попросили прочесть эти стихи и она прочла:

* О Лайка, ты жертва науки...

Я к розам хочу в тот единственный сад, Где лучшая в мире стоит из оград...

Про Летний сад, статуи и лебедей, про шествие теней прошлого, освещенных переливами перламутра.

После чтения возникло молчание, которое нарушил папа, сказав, что если бы «Правда» напечатала это стихотворение, она должна была бы совершенно перемениться с этого дня, а литературная страница — выходить в кружевных оборках или вся розовая и т. п. Анна Андреевна обиженно промолчала, комплименты задели ее.

Стали просить ее еще что-нибудь прочесть. Она выбрала «Из тайны ремесла», но перед этим спросила, знают ли присутствующие, что такое lime lite и объяснила, что это театральная рампа. Мне показалось, что стихотворение обращено к Пастернаку как продолжение разговора. В чтении слышались раздраженные интонации:

И рампа торчит под ногами, Все мертвенно, пусто, светло, Лайм-лайта холодное пламя Его заклеймило чело.

Потом были стихотворения «Работа», «Муза» и что-то еще, после чего Анна Андреевна попросила почитать Борю. Он сказал, что ничего не пишет сейчас и занят только перепиской. Рассказал об огромном интересе к России во всем мире, вызванном спутниками. Одна французская девочка прислала ему стихи:

O, Laika,tu es la victime de la science...*

С большой неохотой, после настойчивых просьб Симы Маркиша, папа прочел «Снег идет» и «Золотую осень».

В начале сентября мы еще были в Переделкине, когда папа, как-то вернувшись после прогулки, неожиданно сказал, что к вечеру приедут американский дирижер Леонард Бернстайн с женой. Он встретил ее на дороге и пригласил их обоих к себе. Когда гости приехали, то г-жа Бернстайн рассказала, что сегодня восьмая годовщина их свадьбы, и она решила доставить себе удовольствие, наугад поехала в Переделкино и встретила Пастернака.

Пока готовился ужин, Бернстайн в маленькой гостиной играл на рояле мелодии из своей «Вестсайдской истории», показы-

вая пальцами левой руки на крышке рояля, как танцуют герои. Потом, уже за столом, он рассказал о своем вчерашнем концерте, где дирижировал одно произведение американского композитора из Кентукки Чарлза Айвза и «Весну Священную» Стравинского. Перед началом концерта Бернстайн сказал несколько слов об их удивительном музыкальном родстве, хотя и взаимной удаленности — географической и культурной. После слов о том, что оба произведения не известны советским слушателям, из правительственной ложи раздался крик министра культуры Михайлова: «Это ложь!» На следующий день в газете объяснялось, что дирижер позволил себе клеветнические выступления, потому что «Весна Священная» Стравинского исполнялась в России в каком-то клубе в начале революции. Бернстайн кинулся в редакцию с требованием опубликовать письменное опровержение, поскольку он хотел сказать всего лишь, что сидящие в зале не знакомы с музыкой, которую он привез. Но газета отказалась его печатать, и он был взбешен.

— Как вы можете жить с такими министрами! — воскликнул он.

Папа улыбнулся и порывисто возразил:

— Что вы говорите, причем тут министры. Художник разговаривает с Господом Богом и для него пишет свои вещи. А тот ставит ему спектакли с разными персонажами, которые исполняют разные роли, чтобы художнику было что писать. Это может быть трагедия, может быть фарс — как в вашем случае. Но это уже второстепенно.

Бернстайн был в восторге.

В следующее воскресенье, 12 сентября, к обеду, как обычно, съехались гости, Зинаида Николаевна пригласила Ливановых. Их ждали, затягивая начало обеда, но они все не приезжали.

Борис Николаевич появился только к концу обеда. Он был сильно пьян. Оказывается, они сегодня поссорились с женой — и тут по ее адресу полилась грубая брань, разносимая его громким актерским голосом по всему дому. Еле удалось переключить его на другую тему. Ливанов привез с собой двух незнакомых людей странного вида и, представив их как своих друзей и замечательных людей, объяснил, что сегодня познакомился с ними в ресторане «Националь» и обещал им показать Пастернака.

За столом происходила перетасовка, находили места новым гостям, пересаживались, искали чистые приборы. Ливанов потребовал, чтобы спутники произнесли тост в честь гениального

Пастернака; преодолевая страх, косноязычие и хмель, они что-то по очереди пытались выжать из себя и называли папу «известным переводчиком». Я знал, как должны были подействовать на него такие похвалы. Это было, как красная тряпка для быка. Папа терпел, терпел и наконец взорвался, наговорил Ливанову резкостей и попросил его уехать и увезти своих собутыльников.

Обед был испорчен, все подавлены некрасивой сценой, папу страшно мучило, что он сорвался, Зинаида Николаевна защищала своего любимца Ливанова.

В какой-то из дней начала сентября мы ездили на машине за грибами. Такие поездки были ежегодной традицией. Для папочки это была встреча с настоящим лесом, далекое путешествие — почти за 100 верст, тема стихотворения, издавна существовавшая в его жизни и недавно нашедшая свое новое выражение. Для меня это было впервые. Наверное, можно было найти грибное место значительно ближе, но после многих вариантов, излюбленным местом стал лес вблизи Вереи.

С вечера Зинаида Николаевна готовила обильную еду — ведь уезжали еще затемно, а возвращались к осенним сумеркам. В багажник складывались большие корзины. Вел машину Леня. В тот раз ездили отец, Зинаида Николаевна, Татьяна Матвеевна и я. Разговаривать во время поездки было нельзя. Папа сидел впереди рядом с Леней и неотрывно смотрел на дорогу и по сторонам. Движущаяся окрестность требовала его неослабного внимания, это было как молитва, в его сосредоточенности чувствовалось религиозное отношение к природе как воплощению Божию.

Ехали по Минскому шоссе, промеж густых лесов, въезд в которые был запрещен. С шоссе сворачивали влево у памятника Зое Космодемьянской и в конце концов выезжали на старую дорогу с канавами по обе стороны. Лес был еловый с примесью берез. Попадались осиновые рощицы. Папа собирал только белые, подосиновики и подберезовые, за остальными — не нагибался. Расходились в разные стороны, аукались. Леня давал сигнал клаксоном, приглашая поесть. Папа облюбовал себе осиновый перелесок с густой травой и набрал почти полную корзину крепких и чистых красноголовых подосиновиков.

С опушки за большим полем были видны крыши окраинных домиков Вереи. Мы собрали сотни две боровиков разного возраста и качества. Молодые потом Зинаида Николаевна сушила в духовке, а более старые вместе с лисичками и всеми прочими жарила в сметане на огромной сковороде. Грибы ели несколько дней.

Как-то вскоре, вернувшись в Переделкино после работы, я застал Зинаиду Николаевну в полной растерянности и волнении. Папа заперся у себя наверху, не обедал и был самоубийственно мрачен. Я постучался, он меня впустил. На конторке лежали газеты, в которых в холуйски-восторженных тонах сообщалось о поездке Хрущева к Шолохову, в его поместье в станице Вешенской: фотографии, текст речей.

Встреча была посвящена тому, что Хрущев стремился убедить Шолохова переписать конец «Поднятой целины».

— Что с тобой? — спросил я папу.

Он был чернее тучи и смотрел на меня с гневом и негодованием.

— Почему это так огорчает тебя, ведь это совершенно тебя не касается.

— Что? — почти закричал он на меня. — Глава государства едет к этому мерзавцу, чтобы уговорить его написать еще одну ложь. Какое неприличие, разнесенное на весь мир! Раньше расстреливали, лилась кровь и слезы, но публично снимать штаны было все-таки не принято.

Я рассмеялся и стал говорить ему, что именно поэтому ему нет до этого никакого дела, точно так же, как к нему не имеют отношения другие виды фиглярства и беспардонной лжи, даже на мировом уровне. Я говорил довольно долго. Отец постепенно отходил, стал успокаиваться, надел сапоги и собрался на прогулку. Мы вышли вместе. Проходя через столовую, он улыбнулся Зинаиде Николаевне и поцеловал ее. Уже темнело, когда мы подошли к трансформаторной будке, и он сказал:

— Иди домой и не беспокойся. — Потом добавил: — Но им придется еще сильно потратиться, чтобы ему дали Нобелевскую премию.

Вскоре мы перебрались в Москву, но Зинаида Николаевна приглашала нас приезжать к ним на выходные дни.

Как-то в один из таких приездов мы оказались невольными свидетелями семейной сцены. Зинаида Николаевна, посадив отца за стол против себя, в столовой, а Леню со Стасиком по бокам от него, выговаривала отцу свои претензии. Мы были в маленькой рояльной комнате, запертые закрытой дверью в столовую. По-видимому, причиной разговора была необходимость покупки новой машины «Волги» вместо старой «Победы», деньги на которую папа принес вечером, видимо, от Ольги Всеволодовны. После разговора папа вышел серый и подавленный.

Через много лет, перебирая оставшиеся черновики и наброски пьесы «Слепая красавица», я наткнулся на запись, сделанную в те дни и датированную 14 октября. Выйдя тогда на террасу, отец увидел «бело-черную картину октябрьского вечера. Танцующий снег. Катя<тся> холодные несущиеся облака, луна <...>». Желая передать своей героине графине Елене Артемьевне то состояние униженности и тоски, которое им владело, — он хотел, чтобы она выглянула в окно, произнося «короткие реплики быстрого монолога»: «И это тот человек, ради которого я пожертвовала...»

В своей пьесе папа к этому времени передвинул начало действия в середину, и стал писать пролог, относящийся к 40-м годам. Вскоре было найдено название — «Слепая красавица». Оно объяснялось судьбой крепостной девушки, ослепшей от осколков и пыли гипсовой головы, разбитой выстрелом. С другой стороны, — как рассказывал нам папа, — этот образ возник по аналогии со «спящей родиной — красавицей» у символистов, у Андрея Белого и Блока из «Возмездия».

Периодически отношения с Ольгой Всеволодовной создавали отцу мучительные ситуации, особенно в те моменты, когда, по ее словам, она ставила вопрос ребром и требовала легализации их отношений. Ей казалось, что Борино имя защитит ее от арес-та. Уступая, отец достаточно открыто афишировал свою «двойную жизнь» и называл ее Ларой своего романа.

Кто-то из доброхотов принес одну из таких публикаций Зинаиде Николаевне.

— Как же так, Боря, ведь ты всегда говорил мне, что Лара — это я. И Комаровский — мой первый роман, мое глаженье, мое хозяйство, — спросила она.

Папа, на ходу, подымаясь по лестнице к себе наверх и не желая заводить долгий разговор, спокойно ответил:— Ну, если это тебе льстит, Зинуша, то — ради Бога: Лара — это ты.

Тема была продолжена с нами уже у нее в комнате. Зинаида Николаевна вспоминала, как Боря у нее на глазах в течение многих лет истекал кровью сердца по первой жене, и считала, что если бы она теперь собрала чемоданы и уехала из Переделкина, — этого расставания ему просто не пережить.

Мы поехали в Переделкино 10 февраля — хотели покататься на лыжах и поздравить папу с днем рождения. Постояли, поглядели на нарядный темно-коричневый дом с белыми рамами окон и решили, что приедем на следующий день — с цветами и подарками. На этот раз с нами была мамочка. Боря выглядел усталым и мрачноватым. Когда я стал расспрашивать, сказал, что вчера были гости, Рихтер и Мария Вениаминовна Юдина, прекрасно играли.

Он рассказал, что его беспокоят трения с Фельтринелли14, который как акула капитализма хочет получить права на все написанное им — раннее и то, что он еще напишет. Однако издатель был очень недоволен, когда Боря попросил его послать небольшие денежные подарки сестрам в Англию, своим переводчикам и другим друзьям за границей из своих заработков, и не торопился выполнять эту просьбу, объясняя тем, что на такие подарки уйдет половина гонорара.

— Бог с ним, — устало заключил он.

Папа совершенно не знал, сколько на самом деле там денег и не хотел знать, сказал, что знает только, что деньги Нобелевской премии в связи с его отказом должны вернуться в Нобелевский фонд.

Он показал нам прекрасное французское издание романа с иллюстрациями Алексеева. Некоторые сюжеты ему очень нравились. Особенно начало, которое сделано как кинокадры движущейся похоронной процессии. Он рассказывал о технике Есгап d'epingle*, выдуманной Алексеевым, и специальной бумаге, через которую картинки не просвечивали и не мешали напечатанному тексту.

О первых признаках заболевания отца мне стало известно только после 9 апреля, когда мы ходили на «Братьев Карамазовых», где Ливанов играл Митеньку. Билеты передала нам Зинаида Николаевна по папиной просьбе. Сказала, что у папы боль в левой лопатке и он не может пойти.

Потом я узнал, что папа хотел закончить намеченную часть работы и полежать несколько дней, показаться врачу. Он переписал набело отделанные сцены пьесы вскоре после Пасхи, превозмогая страшные боли в спине. Рассказывал, как ему приходилось время от времени ложиться, чтобы их унять, и снова садиться за переписывание. В конце апреля боли стали невыносимыми, и он сдег. Чтобы не подниматься по лестнице, он расположился на диванчике в рояльной.

Мы с Аленушкой были у него 2 мая. Он рассказывал нам о переписанной части пьесы, которую хочет прочесть, если поправится. Его состояние не вызывало тогда особого беспокойства,

* Экран из иголок (фр.).

к нему, как обычно, приходили знакомые, и врач Самсонов находил только отложение солей и велел больше двигаться. Но папа ясно предчувствовал свой скорый конец и сам поставил себе диагноз рака легких. Для убедительности он напомнил мне, как в Кремлевской больнице у его соседа были такие же боли в спине, и ему так же говорили про отложение солей.

— Вчера приходила ко мне Катя Крашенинникова, — добавил он, — и я ей исповедался, она приготовила меня к смерти.

Через несколько лет Екатерина Александровна нам рассказала, что попала в Переделкино в тот день совершенно случайно, по делам прописки одного монаха. Неожиданно для себя решила зайти к папе. Зинаида Николаевна встретила ее словами:

«Борис Леонидович вас звал». Когда она вошла к папе в комнату, он ей сказал: «Я умираю».

Оказывается, он уже давно собирался пойти с нею в церковь, чтобы исповедаться и причаститься, но что-то мешало им встретиться. И тут он уже не мог более этого откладывать в предчувствии близкой смерти, которую ждал с часу на час. Он просил ее вместе с ним пройти через таинство исповеди и стал читать наизусть подряд все причастные молитвы с закрытыми глазами и преобразившимся, светлым лицом. Сила таинства и живое ощущение присутствия Христа были настолько поразительны, что даже неожиданность его слов о близости смерти отошла на задний план.

Он сказал, что Зинаида Николаевна отказалась позвать к нему священника, и просил Катю взять на себя все, что касается его погребения. Он это говорил нарочно громким голосом и попросил Катю открыть дверь, чтобы Зинаиде Николаевне было слышно. Прощаясь, он поцеловал ее в глаза, Катя его перекрестила. Эту исповедь она потом сообщила священнику, своему духовнику, и он дал разрешительную молитву.

— Так делали в лагерях, — закончила она свой рассказ.

В тот день папа сказал нам также, что хочет, чтобы его архив, за исключением начатой «Слепой красавицы», продолжение которой лежало у него в папке в рояльной комнате, был уничтожен. Он говорил, что у него в ящиках стола, кроме чистой бумаги и некоторого запаса хорошей бечевки, нет ничего ценного, и просил Зинаиду Николаевну позвать для уничтожения его бумаг Костю Богатырева и Кому Иванова. Он объяснял это тем, что нам с Ленечкой это будет слишком больно, а чужим мальчикам — все равно, и они сделают с легкостью. Вероятно, он помнил, как плохо я в свое время выполнил подобное поручение. Но Зинаида Николаевна, по его словам, наотрез отказалась звать Кому и Костю. Более того, она после этого ни того, ни другого просто не хотела к нему пускать.

В этом сказывалось папино желание, многократно высказывавшееся нам ранее, уберечь нас с Леней от участия в его жизни, как от несвободы и тяжести, взятых на себя добровольно, но приносящих только огорчения. По его представлению, занимаясь его делами, мы обречем себя на вторичность, чего он сам всю жизнь всеми силами старался избегать. Начало этого лежит в подкупающей легкости вторичного, а в перспективе получается отказ от необходимых для подлинной и первичной работы усилий и труда.

Папино состояние резко ухудшилось 6-9 мая. Я возил к нему кардиолога Татьяну Ивановну Бибикову и через день — клинициста широкого профиля Нину Максимовну Кончаловскую. Они отмечали сильную стенокардию. Начиная с 8-го мая он не вставал с постели. Было установлено круглосуточное дежурство врача и сестер из Литфондовской поликлиники. Кардиограмма показала инфаркт. Я ездил в Переделкино почти каждый день. Когда зашла речь о госпитализации и приехала машина скорой помощи, чтобы везти его в Первую Градскую больницу, папа вызвал меня к себе и резко сказал, что категорически отказывается ехать в больницу.

— Ты знаешь, в чьи руки я там попаду. Я этого не хочу.

Зинаида Николаевна завернула машину обратно.

Ответственность теперь целиком ложилась на наши плечи, а папино состояние ухудшалось с каждым днем. Появились признаки внутреннего кровотечения. По просьбе Зинаиды Николаевны в Переделкино переехал Шура. Он предлагал папочке позвать к нему Ольгу Всеволодовну — по первому требованию. Зинаида Николаевна согласна была уйти на это время из дома. Но отец каждый раз отказывался, он писал и посылал ей каждый день записки, уверяя в том, что ему действительно плохо и он, правда, не может с нею увидеться. Не хочу гадать, что это все значило, она звонила мне по телефону, и ее расспросы поражали наивностью и совершенным непониманием

того, что происходит в действительности. Несмотря на сведения, регулярно получаемые от медсестер, которых папа посылал к ней с записками, ей казалось, что все это — только предлог, чтобы не встречаться с ней. В ее интонации звучала обида.

Диагнозы врачей менялись. Миша Поливанов с Еленой Ефимовной Тагер привезли папе кислородную палатку.

По совету Нины Кончаловской я привез к отцу прекрасного кардиолога профессора Виталия Григорьевича Попова, который сразу заметил сходство картины заболевания с раком легкого и метастазом в сердце. Это нас всех очень напугало, но когда вечером Нина Максимовна позвонила ему, он сказал, что это не диагноз, а предположение, не подкрепленное исследованиями.

Началось катастрофическое падение гемоглобина, встала необходимость переливания крови. Привезли ренгеновскую установку. Попов и Кассирский подтвердили диагноз рака левого легкого с метастазом в сердце. Это было 26 мая.

Несмотря на тяжелое самочувствие и мучительные боли, папа мужественно и с неугасающим интересом относился ко всему происходящему. Он с пониманием и по существу разговаривал с врачами, которые старались скрыть от него серьезность положения, позволял обманывать себя и поддавался их уверениям, шутил с сестрами. Живая непосредственность характера не оставляла его до последних дней. Отцу было трудно отказаться от общения с людьми, но нас предупредили, что разговоры и волнения ему вредны, и мы отказывали Боре в его постоянном желании делиться своими наблюдениями и мыслями. Теперь, когда я знаю, что все предосторожности были излишни и он был обречен, особенно больно вспоминать об этом.

На следующий день после рентгена и окончательного диагноза папа, почувствовав страшную слабость, позвал меня к себе.

— Как все неестественно. Этой ночью мне вдруг стало совсем хорошо, — а оказалось, что это — плохо и опасно. Спешными уколами меня стали выводить из этого состояния и вывели. А теперь, вот пять минут тому назад, я сам стал звать врача, а оказалось — чепуха, газы. И вообще я чувствую себя кругом в дерьме. Говорят, что надо есть, чтобы действовал желудок. А это мучительно. И так же в литературе: признание, которое вовсе не признание, а неизвестность. Казалось бы, засыпало раз, и уже окончательно, хватит. Нет воспоминаний. Все по-разному испорченные отношения с людьми. Все отрывочно — нет цельных воспоминаний. Кругом в дерьме. И не только у нас, но повсюду, во всем мире. Вся жизнь была только единоборством с царствующей пошлостью за свободный и играющий человеческий талант. На это ушла вся жизнь.

Я записал эти слова сразу по возвращении домой, взволнованный и потрясенный разговором. Но теперь, по прошествии более чем тридцати лет, я вижу в них незнакомые мне ранее отчаяние и безнадежность, которые с неуменьшающейся силой заставляют меня по-прежнему страдать вместе с ним.

Мы со дня на день ждали приезда Лиды, а она сидела в советском посольстве в Лондоне и ждала визы. Мы с Леней отправили телеграмму Хрущеву, чтобы ей разрешили попрощаться с братом. Я старался вселить в папу силы и надежду на встречу с сестрой. Мама с Мишей Поливановым ездили во Внуково ее встречать.

На следующий день после моего разговора с папой ему делали переливание крови, и его общее состояние резко улучшилось. Когда я приехал в Переделкино, то с порога услышал его звонкий и бодрый голос. Он просил Шуру принести ему газетные вырезки и телеграммы и рассказать о новостях. Вечером я уехал несколько успокоенный. Но на следующее утро, 30 мая, снова стало плохо, папа терял сознание, а новое переливание крови врачи не решались делать до вечера. Оно не дало результата — кровь пошла горлом.

Через некоторое время папа позвал нас с Леней к себе и попросил оставить нас одних.

— Что же — давайте прощаться? — как бы спросил он. — Вы оба мои законные дети, — и кроме естественного горя и боли после моей смерти, кроме самой этой утраты, вам ничего не угрожает. Вы признаны законом.

Но есть другая сторона моего существования, незаконная. Она стала широко известна за границей. Это получилось так — из-за участия в моей судьбе, в моих делах, особенно в последнее время, в истории с Нобелевской премией... Когда приедет Лида, она этим займется. Она многое должна узнать не от вас. Лида все это устроит... Это — сторона незаконная, и ее никто не сможет защитить после моей смерти. Поняли ли вы?

Я спросил:

— Ты хочешь сказать, что поручаешь нашей защите все, что ты оставляешь?

— Нет, совсем не то. Я хочу, чтобы вы были к этому безучастны, и чтобы эта вынужденная безучастность не была вам обидна и в тягость.

Он дышал все реже и реже, пульса не было. Мучительно было видеть движения его губ, как у рыбки, вытащенной из воды.

Почти как продолжение разговора с нами, но несколько громче, обращаясь к врачу и сестрам, он сказал:

— Какая у вас следующая процедура, — кислородная палатка? Давайте кислородную палатку.

Минут через десять его не стало.

К маме я приехал только под утро, после телефонного разговора с Оксфордом. Она не спала и горько пеняла мне за то, что я не дал ей присутствовать при папиных последних минутах.Наут-ро мы поехали с ней в Переделкино.

В ту ночь внезапно потеплело, и единым порывом в саду зацвели вишни. Та самая аллея, которую он сам когда-то посадил, теперь наполняла воздух умиротворяющим благоуханием.

Вечером мы присутствовали на отпевании, которое совершал в той же маленькой комнате архимандрит Иосиф из Переделкинской церкви.

Евгений Евтушенко

БОГ СТАНОВИТСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Как говорится в одном Песнопении

на Благовещение, Адам хотел стать Богом и ошибся, не стал им, а теперь Бог становится человеком, чтобы сделать

Адама Богом.

Борис Пастернак

1. ПОЧЕРК, ПОХОЖИЙ НА ЖУРАВЛЕЙ

На иконах-то Бога увидеть легко, а вот в людях — накладно...

Но есть люди, которые напоминают нам о существовании божественного, и они почему-то совсем не похожи на иконы. Такая естественная божественность и в то же время неиконность были в Пушкине и в его грациозном правнуке — Пастернаке, в чьих глазах танцевали пушкинские солнечные зайчики.

Есть люди, счастливые по обстоятельствам, а есть счастливые по характеру. Пастернака природа задумала как счастливого человека. Потом спохватилась, не позволила стать слишком счастливым, но несчастным сделать так и не смогла.

Ахматова писала о Пастернаке так:

Он награжден каким-то вечным детством, Той щедростью и зоркостью светил, И вся земля была его наследством, А он ее со всеми разделил.

Великий художник только так и приходит в мир — наследником всего мира, его природы, его истории, его культуры. Но истинное величие состоит не только в том,

чтобы унаследовать, а в том, чтобы разделить со всеми. Иначе самый высокообразованный человек превращается в бальзаковского Гобсека, пряча сокровища своих знаний от других. Для образованной посредственности обладание знаниями, которые он засекречивает внутри себя, — это наслаждение. Для гения — обладание знаниями, которые он еще не разделил с другими, — мучение. Вдохновение дилетантов — это танцевальная эйфория кузнечиков. Вдохновение гения — это страдальческий труд родов музыки внутри самих себя, подвиг отдирания плоти от плоти своего опыта, ставшего не только твоей душой, но и телом внутри твоего тела. Пастернак часто сравнивал поэзию с губкой, которая всасывает жизнь лишь для того, чтобы быть выжатой, как он выразился, «во здравие жадной бумаги». В отличие от Маяковского, которого он сложно, но преданно любил, Пастернак считал, что поэт не должен вбивать свои стихи, свое имя в сознание читателей при помощи манифестов и публичного самодемонстрирования. Пастернак писал о роли поэта совсем по-другому: «Быть знаменитым некрасиво», «Со мною люди без имен, деревья, дети, домоседы. Я ими всеми побежден, и только в том моя победа».

Тем не менее Пастернак, воспевающий подвиг «незамечен-ности», стал в мире, пожалуй, самым знаменитым русским поэтом двадцатого века, превзойдя даже Маяковского. Почему же так случилось? Вся эта апология скромности не была далеко рассчитанной калькуляцией Пастернака, с тем чтобы самоуничижением, которое паче гордости, в конце концов выжать из человечества умиленное признание. Гениям не до скромности — они слишком заняты делами поважнее. Пастернак всегда знал себе цену как мастеру, но его больше интересовало само мастерство, чем массовые аплодисменты мастерству. Нобелевский комитет заметил Пастернака только в момент разгоревшегося политического скандала, а ведь Пастернак заслуживал самой высокой премии за поэзию еще в тридцатых годах. «Доктор Живаго» — вовсе не лучшее из того, что было им написано, хотя роман и представляет собой этапное явление для истории русской и мировой литературы. Сложные, запутанные взаимоотношения Лары и Юрия Живаго, когда перипетии революции и гражданской войны то соединяли, то разъединяли их, в чем-то похожи на взаимоотношения Кати и Рощина в трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам», законченной задолго до «Доктора Живаго», в тридцатых годах. Но Толстой историю ставил выше истории любви, а Пастернак поставил историю любви выше истории, и в этом принципиальное различие не только двух романов, но и двух концепций. Французский композитор Морис Жарр, писавший музыку для фильма, уловил это, построив композицию на перекрещивании революционно маршевых мелодий с темой любви — темой Лары, темой гармонии, побеждающей бури. Не случайно именно эта музыкальная тема на протяжении лет пятнадцати — двадцати стала едва ли не самой популярной во всем мире, и ее играли везде, но лишь в Советском Союзе — анонимно, ибо здесь роман был запрещен. Однажды, когда наше телевидение передавало чемпионат Европы по фигурному катанию и один из фигуристов начал кататься под мелодию Лары, югославский комментатор, зная прекрасно, что его голос транслируется в Советском Союзе, воскликнул: «Исполняется мелодия из кинофильма «Доктор Живаго» по роману Бориса Пастерна...» — и советские контрольные аппараты моментально выключили звук. Фигурист на экране кружился на льду в полной тишине. Было слегка смешно, но гораздо более — стыдно и грустно.

Произошло нечто парадоксальное. Пастернак, никогда не участвовавший ни в какой политической борьбе, оказался неожиданно для себя в самом ее центре. Впрочем, неожиданно ли? Он сам многое предугадывал, даже самопредлагался, вызывая на себя пулю охотника от имени птицы и прося его: «Бей меня влет!» Он сам предсмертно взлетел, как вальдшнеп на тяге, сделав всего себя дразнящей целью.

Скандал вокруг романа при том, что он нанес страшный моральный и физический удар самому Пастернаку, оказался по подлой иронии судьбы великолепной рекламой на Западе и сделал давно существующего великого поэта наконец-то видимым и в подслеповатых глазах Нобелевского комитета, и в глазах так называемых «массовых читателей».

Но означает ли это, что Пастернак был понят на Западе как великий поэт? Почувствован — может быть, но понят — навряд ли. Даже роман многие не поняли — слишком якобы сложен, а киноверсия при великолепной музыке и прекрасной игре Джу-ли Кристи была все-таки сентиментализирована, упрощена, и восточный красавчик Омар Шариф слишком рахатлукумен, для того чтобы быть русским предреволюционным интеллигентом доктором Живаго, воспитанным на Толстом, Достоевском, Чехове. Поэзия Пастернака, как и вообще любая поэзия, почти непереводима, но все-таки остается это спасительное крошечное почти. Для того чтобы понять корни поэтики Пастернака, необходимо обратиться к его биографии — семейной и литературной.

Борис Пастернак родился в семье художника Леонида Пастернака, личности близкой к таким крупнейшим фигурам русской интеллигенции, как Толстой, Рахманинов, Менделеев. Интеллигентность здесь не была заемной, а являлась самим воздухом семьи. Пастернак в ранней молодости выбирал между музыкой и поэзией. Он выбрал, к счастью для нас всех, второе, даже когда его идол — Скрябин, прослушав музыкальные сочинения юноши, «поддержал, окрылил, благословил». Может быть, Пастернаку не хватило противодействия. Он выбрал образование философское, а профессию литературную, учился в Марбурге. Безусловно, огромное влияние на Пастернака оказала поэзия Райнера Марии Рильке. Это особенно легко понять, когда читаешь несколько стихов Рильке, написанных им по-русски, с очаровательными грамматическими и лексическими неправильностями, и тем не менее очень талантливо и с явным, как бы пас-тернаковским акцентом. Можно легко догадаться, что многое из Рильке на немецком стало пастернаковским. Но Пастернак, несмотря на то что впитал столько из западной культуры, западником в безоговорочном смысле слова не был никогда. Он написал однажды даже слишком категоричные строки: «Уходит с Запада душа — ей нечего там делать». Пастернак вслед за Пушкиным был одновременно и западником, и в каком-то смысле славянофилом, возвышаясь и над имитацией западной культуры, и над русским ограниченным национализмом. Сам Пастернак в конце жизни критиковал свои первоначальные поэтические опыты, ставя их ниже последних стихов, но не думаю, что он был прав. Писателям вообще свойственно любить свои самые последние произведения, хотя бы за счет кокетливого унижения предыдущих.

Пастернак прожил долго, и его поэтика мужала и менялась вместе с ним. Восстание против академического классицизма в начале двадцатого века происходило в России везде — и в живописи, и в музыке, и в поэзии. Молодой Пастернак даже примкнул тогда к футуристам, которых возглавлял Маяковский. Он называл гениальным пастернаковское четверостишие:

В тот день всю тебя, от гребенок до ног, Как трагик в провинции драму Шекспирову, Носил я с собою и знал назубок, Шатался по городу и репетировал.

Но это, видимо, нравилось Маяковскому потому, что было похоже на самого Маяковского. В раннем периоде у двух этих великих — хотя совершенно противоположных — поэтов было некоторое сходство, но потом оно исчезло. Они, по выражению Уолта Уитмена, соединились на мгновение, как орлы в полете, и продолжали свой путь уже совершенно отдельно. Пастернак, по собственному признанию, даже спровоцировал ссору, чтобы расстаться, на что они оба были заранее

обречены. Но, пожалуй, никто так не любил, не жалел Маяковского, как Пастернак. Именно Пастернак написал о самоубийстве Маяковского такие строки:

Твой выстрел был подобен Этне В предгорьи трусов и трусих.

А гораздо позднее в своих автобиографических заметках Пастернак дал точный анализ того, что посмертная похвала Сталина Маяковскому: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи» — была для репутации Маяковского не спасительной, как это тогда казалось, а убийственной. «Маяковского стали насильственно насаждать, как картошку. Это было его второй смертью», — писал Пастернак. Это совпадало с горькой мыслью Пастернака:

Я думал о происхожденьи Века связующих тягот. Предвестьем льгот приходит гений И гнетом мстит за свой уход.

Сам поэт, начав с бунта формы против классицистов и доходя в концентрированное™ метафор иногда до почти полной непонятности, постепенно опрозрачнивался и с годами пришел к хрустально чистому, профильтрованному стиху. Но это была подлинная классика, которая всегда выше реминисцент-ного классицизма. Поздние стихи Пастернака потеряли в плотности, но зато выиграли в чистоте, в отсутствии лишнего. У его стиха поразительное слияние двух начал — физиологического и духовного. Философия его поэзии не умственно выработанная, а «выбормотанная». Но, конечно, за этим кажущимся импровизационным полубредом была огромная человеческая культура. Бред высочайше образованного, тончайше чувствующего человека будет совсем другим, чем бред диктатора или бюрократа.

Пантеизм Пастернака включал в себя и женщину как высшую материнскую силу природы. После Пушкина, пожалуй, никто так не чувствовал женщину:

И так как с малых детских лет Я ранен женской долей, И след поэта — только след Ее путей, не боле...

Эротику Пастернак поднимал на уровень религиозного поклонения, на уровень великого языческого фатума:

На озаренный потолок Ложились тени, Скрещенья рук, скрещенья ног, Судьбы скрещенья.

Стих Пастернака обладает поразительно скрупулезным стереоскопическим эффектом, когда кажется, что прямо из страницы высовывается ветка сирени, отяжеленная влажными лиловыми цветами, в которых возятся золотые пчелы.

Душистою веткою машучи,
Впивая впотьмах это благо,
Бежала на чашечку с чашечки Грозой одуренная влага.

Пусть ветер, по таволге веющий, Ту капельку мучит и плющит. Цела, не дробится, — их две еще, Целующихся и пьющих.

Я никогда не пытался познакомиться с Пастернаком, ибо считаю, что случай должен сам соединить людей. Читая его стихи с детства, что, честно говоря, не было типично для советских мальчиков сталинского времени, никаких встреч я не искал.

Году в пятидесятом Пастернак должен был читать в Центральном доме литераторов свой перевод «Фауста»1. Вокруг поэзии была тогда некая особая приглушенность, и никакого столпотворения и конной милиции не было. Дубовый зал был полон, но отнюдь не переполнен, и мне, семнадцатилетнему начинающему поэту, все-таки удалось туда проникнуть. Устроители нервничали. Пастернак опаздывал. Положив свою шапку со стихами внутри на галерочное место, я спустился вниз, в вестибюль, с тайной надеждой увидеть Пастернака поближе. Его почему-то никто не ожидал в вестибюле, и, когда распахнулась вторая дверь и он вошел, кроме меня, перед ним никого не оказалось.

Он спросил меня нараспев и чуть виновато улыбаясь: «Скажите, пожалуйста, а где тут состоится вечер Пастернака? Я, кажется, опоздал...» Я растерялся, лишившись дара речи. На счастье, из-за моей спины выскочил кто-то из устроителей, стал помогать ему снимать пальто. Пальто Пастернака меня поразило, потому что точно такое же, коричневое, в елочку, с запасной пуговицей на внутреннем кармане, недавно купил мой покровитель, заведующий отделом газеты «Советский спорт» Н. Тарасов. Пальто, правда, было итальянским, что являлось по тем временам редкостью, но купил он его в самом обыкновенном Мосторге за 700 старых рублей, и уже несколько таких пальто мне попадались на улицах. Не знаю, как мне представлялось, во что должен быть одет Пастернак, но только не в то, что носит кто-нибудь другой. Самое удивительное на нем было даже не пальто, а кепка — серенькая, с беленькими пупырышками, из грубоватого набивного букле, стоившая тридцатку и мелькавшая тогда на десятках тысяч голов в еще не успевшей приодеться после войны Москве. Но несмотря на полную, обескуражившую меня обыкновенность в одежде, которой я по неразумению не мог предположить у настоящего, живого гения, Пастернак был поистине необыкновенен в каждом своем движении, когда он, входя, грациозно целовал кому-то ручку, кланялся с какой-то, только ему принадлежащей, несколько игривой учтивостью. От этой безыскусственной врожденной легкости движений, незнакомой мне прежде в моем грубоватом, невоспитанном детстве, веяло воздухом совсем другой эпохи, чудом сохранившейся среди социальных потрясений и войн. Только сейчас, когда сквозь все более нарастающую даль я восстанавливаю в памяти это всплескивание руками, эту непринужденность поворотов, это немножко озорное посверкивание радостных и осторожных глаз, эту ненапряженную игру лицевых мускулов смуглого лица, мне почему-то кажется, что так же легко и порывисто двигался по жизни Пушкин, окруженный особенным воздухом.

Когда Пастернак стал читать свой перевод «Фауста», я был буквально заворожен его чуть поющим голосом. Но самому Пастернаку собственное чтение не очень, видимо, нравилось, и где-то на середине он вдруг захлопнул рукопись и беспомощно и жалобно обратился к залу: «Извините, ради Бога, я совсем не могу читать. Все это глупость какая-то». Может быть, это было легким кокетством, свойственным Пастернаку, ибо зал зааплодировал, прося его продолжать. В зале, кутая плечи в белый пуховый платок, сидела красавица Ольга Ивинская — любовь Пастернака, ставшая прообразом Лары. Я ее хорошо знал, потому что еще с 1947 года ходил к ней на литературные консультации в журнал «Новый мир», а ее близкая подруга Люся Попова руководила пионерской литературной студией, где я занимался. Но о любви Пастернака и Ивинской я узнал гораздо позже. Когда Пастернак стал читать, мне сразу запомнились навсегда строчки из его перевода «Фауста»:

Искусственному замкнутость нужна. Природному вселенная тесна.

Многочисленные пародии и шаржи тех лет изображали Пастернака только как замкнувшегося в самом себе сфинкса, в статьях главным образом цитировались его ранние, написанные явно с улыбкой строчки:

Какое, милые, у нас Тысячелетье на дворе?

С той встречи и навсегда Пастернак казался мне частью природы, гармонически движущейся внутри себя. Прошло несколько лет. Два молодых поэта из Литинститута, где я учился тогда, — Ваня Харабаров и Юра Панкратов — постоянно ходили к нему на дачу, читали ему свои стихи, подкармливаясь у него, и не раз передавали Белле Ахмадулиной и мне приглашение зайти. Белла возмущалась тем, что эти два молодых поэта нередко в студенческой компании небрежно называли Пастернака «Боря», и тем, что они, судя по их рассказам, отнимают у Пастернака столько времени. Она только однажды столкнулась с Пастернаком на тропинке, но так и не заговорила с ним.

Как-то раз мне позвонили из иностранной комиссии Союза писателей и попросили сопроводить итальянского профессора Анжело Мария Риппелино на дачу к Пастернаку. Я сказал, что незнаком с Пастернаком и не могу этого сделать. Мне объяснили, что неловко, если Риппелино поедет куда-то за город без провожатого. «Но он же прекрасно говорит по-русски», — ответил я. Тогда мне объяснили, что я не понимаю самых простых вещей. «Попросите кого-нибудь другого, кто знает Пастернака», — ответил я. «Но что же делать, если сам Риппелино согласился поехать к Пастернаку только с вами», — застонал в трубке страдающий голос. Пришлось мне поехать без предупреждения.

Из глубины сада, откуда-то из-за дерева, неожиданно вышел все такой же смуглый, но уже совсем седоголовый Пастернак в белом холщовом пиджаке. «Здравствуйте», — произнес он, как и раньше, чуть нараспев, глядя на меня своими удивленными и в то же время ничему не удивляющимися глазами. И вдруг, не выпуская моей руки из своей, улыбаясь, сказал: «Я знаю, кто вы. Вы — Евтушенко. Да, да, именно таким я вас и представлял — худой, длинный и притворяющийся, что не застенчивый... Я все про вас знаю — и то, что вы в Литинституте лекции нерегулярно посещаете, и всякое такое... А это кто за вами идет? Грузинский поэт? Я очень люблю грузин...» Я объяснил, что это вовсе не грузинский поэт, а итальянский профессор Риппелино2, и представил его. «Ну и очень хорошо. Итальянцев я тоже люблю. И вы в самое время пришли — у нас как раз обед. Ну пошли, пошли — вам, наверное, есть хочется». И сразу стало просто и легко, и мы вскоре сидели вместе за столом, ели цыпленка и пили вино. Несмотря на то что тогда Пастернаку было уже за шестьдесят, ему нельзя было дать больше пятидесяти. Весь его облик дышал удивительной искристой свежестью, как только что срезанный букет сирени, еще хранящий на лепестках переливающуюся садовую росу. Он был весь каким-то переливающимся — от всплескивающих то и дело рук до удивительной белозубой улыбки, озарявшей его подвижное лицо. Он немножко играл. Но когда-то он написал о Мейерхольде:

Если даже вы в это выгрались, Ваша правда, так надо играть.

Это относилось и к нему самому. И в то же время мне приходят на память другие строчки Пастернака:

Сколько надо отваги, Чтоб играть на века, Как играют овраги, Как играет река.

Действительно, сколько надо было иметь в себе природной душевной отваги, чтобы сохранить умение так улыбаться! И это умение, наверно, было его защитой. Пастернак действовал на людей, общавшихся с ним, не как человек, а как запах, как свет, как шелест. Он смеясь рассказывал: «Ну и случай у меня сегодня был. Приходит ко мне один знакомый кровельщик, вытаскивает из карманов четвертинку, кружок колбасы и говорит: «Я тебе крышу крыл, а не знал, кто ты. Так вот, добрые люди мне сказали, что ты за правду. Давай выпьем по этому случаю!» Выпили. Потом кровельщик мне и говорит: «Веди!» Я его сначала не понял: «Куда это тебя вести?» «За правду, — говорит, — веди». А я ведь никого никуда вести не собирался. Поэт — это ведь просто дерево, которое шумит и шумит, но никого никуда вести не предполагает...» И, рассказывая это, косил глазами на слушателей и лукаво спрашивал ими: «Как вы думаете, правда это или неправда, что поэт — это только дерево, которое никого никуда вести не предполагает?» Марина Цветаева написала, что Пастернак был похож одновременно на араба и на его коня. Это удивительно точно. Потом Пастернак прочел стихи, немного раскачивая головой из стороны в сторону и растягивая слова. Это была недавно написанная «Вакханалия». При строчках:

Но для первой же юбки Он порвет повода, И какие поступки Совершит он тогда! —

он озорно посмотрел на свою жену, нервно теребящую край скатерти, и весело вздохнул от сознания своей шалой молодости, еще бродившей в нем.

Пастернак попросил меня прочитать стихи. Я прочел самое мое лучшее стихотворение того времени — «Свадьбы». Однако оно Пастернака почему-то оставило равнодушным — видимо, он не почувствовал внутренней второй темы и оно показалось ему сибирской этнографией. Но Пастернак был человек доброй души и попросил меня прочесть что-нибудь еще. Я прочел стихи «Пролог», которые ругали даже мои самые близкие друзья:

Я разный —
я натруженный и праздный.
Я целе-
и нецелесообразный. Я весь несовместимый,
неудобный, застенчивый и наглый,
злой и добрый.

И Пастернак неожиданно пришел в восторг, вскочил с места, обнял меня, поцеловал: «Сколько в вас силы, энергии, молодости!..» — и потребовал, чтобы я прочел еще. Я думаю, что только моя сила, энергия и молодость ему и понравились, а не сами стихи. Но он мне дал шанс. Я прочел только что написанное «Одиночество», начинавшееся так:

Как стыдно одному ходить в кинотеатры, без друга, без подруги, без жены...

Пастернак посерьезнел, в глазах у него были слезы: «Это про всех нас — и про вас, и про меня...» Я попросил его поставить автограф на книге «Сестра моя жизнь», на которой стоял давний автограф моей мамы. Пастернак неожиданно для меня воспринял просьбу очень серьезно, ушел с книжкой на второй этаж и появился лишь через полчаса. С той поры — это самая драгоценная книга в моем доме.

Уже ушел и Риппелино, и все другие гости, и была глубокая ночь. Мы остались вдвоем с Пастернаком и долго говорили, а вот о чем — проклятье! — вспомнить не могу.

У меня, правда, был потом случай и похуже, когда на дне рождения вдовы расстрелянного еврейского поэта Маркиша — Фиры я целый вечер сидел рядом с молчаливой, одетой во все черное старухой, пил и болтал пошлости, будучи уверен, что это какая-нибудь провинциальная еврейская родственница. Помню, эта старуха, видимо не выдержав моей болтовни, встала и ушла.

— О чем вы говорили с Анной Андреевной? Я ведь вас нарочно посадила рядом... — спросила Фира.

— С какой Анной Андреевной? — начиная холодеть и бледнеть, спросил я, все еще не веря тому, что произошло.

— Как — с какой? С Ахматовой... — сказала Фира.

Так, к счастью, не случилось с Пастернаком, но вот крупная часть разговора исчезла из памяти абсолютно. Помню только, что я должен был утром улетать в Тбилиси, и Пастернак часам к 5 утра вдруг захотел полететь вместе со мной. Но тут появилась уже, казалось, ушедшая спать Зинаида Николаевна и грозно сказала:

— Вы — убийца Бориса Леонидовича. Мало того, что вы его спаиваете целую ночь, вы еще хотите его умыкнуть... Не забывайте того, сколько ему лет и сколько вам.

Я потихоньку смылся от ее справедливого гнева, неожиданно для себя самого проведя в доме великого поэта с 11 часов утра до 5 часов утра следующего дня — 18 часов!

Пастернак вскоре дал мне прочесть рукопись «Доктора Живаго», но на преступно малый срок — всего на ночь. Роман тогда меня разочаровал. Мы, молодые писатели послесталинского времени, увлекались тогда рубленой, так называемой «мужской» прозой Хемингуэя, романом Ремарка «Три товарища», «Над пропастью во ржи» Сэлинджера. «Доктор Живаго» показался мне тогда слишком традиционным и даже

скучным. Я не прочел роман — я его перелистал. Когда утром я отдавал роман Пастернаку, он пытливо спросил меня:

— Ну как?

Я как можно вежливее ответил:

— Мне нравятся больше ваши стихи.

Пастернак заметно расстроился и взял с меня слово когда-нибудь прочесть роман не спеша.

В 1967 году, после смерти Пастернака, я взял с собой иностранное издание «Доктора Живаго» в путешествие по сибирской реке Лене и впервые его прочитал. Я лежал на узкой матросской койке, и, когда я переводил глаза со страниц на медленно проплывающую в окне сибирскую природу и снова с природы на книгу, между книгой и природой не было границы.

В 1972 году в США Лилиан Хеллман, Джон Чивер и несколько моих друзей почему-то затеяли спор, какой роман самый значительный в XX веке, и все мы в конце концов сошлись на «Докторе Живаго». Да, в нем есть несовершенства — слаб эпилог, автор слишком наивно организует встречи своих героев. Но этот роман — роман нравственного перелома двадцатого века. Когда я читал его впервые, мне и в голову не пришло, что с ним может случиться. Начался трагический скандал.

Роман вышел во всем мире. Некоторые западные газеты печатали рецензии с провокационными заголовками типа «Бомба против коммунизма». Такие вырезки услужливые бюрократы, разумеется, клали на стол Хрущеву. После Нобелевской премии скандал разгорелся еще сильней. Советские газеты наперебой публиковали так называемые «письма трудящихся», которые начинались примерно так: «Я роман «Доктор Живаго» не читал, но им предельно возмущен». Первый секретарь ЦК комсомола, будущий руководитель КГБ Семичастный потребовал выбросить Пастернака «из нашего советского огорода». Меня вызвал к себе тогдашний секретарь парткома московских писателей Виктор Сытин и предложил на предстоящем собрании осудить Пастернака от имени молодежи. Я отказался. Секретарь парткома заставил меня поехать к секретарю Московского комитета комсомола Мо-сину. Надо отдать должное Мосину, он меня не пытался переубедить, и в его глазах было не бюрократическое негодование, а удивленное пытливое уважение. Когда я прямо спросил его: «Скажите честно — а вы сами читали роман?», он опустил глаза и жестом остановил возмущенные излияния Сытина по моему адресу:

— Товарищ Евтушенко изложил нам свою точку зрения. Вопрос закрыт.

Через много лет, придя в ЦК пробивать очередные стихи, остановленные цензурой, я встретил в коридоре Мосина — он работал в сельхозотделе.

— А вы знаете, — сказал он, — после того разговора я и «Доктора Живаго» прочел, да и вас начал читать.

В. Солоухин через много лет после своего выступления против Пастернака утверждал, что отказаться тогда было невозможно. Неправда — отказаться от предательства всегда возможно. Снежный ком все нарастал. Неожиданным ударом для многих и меня было то, что на собрании против Пастернака выступили два крупных поэта — Мартынов и Слуцкий.

После этого — единственного в своей безукоризненно честной жизни недостойного поступка — Слуцкий впал в депрессию и вскоре ушел в полное одиночество, а затем в смерть. И у Мартынова, и у него была ложная идея — они полагали, что, отделив левую интеллигенцию от Пастернака, тем самым спасают «оттепель». Но, пожертвовав Пастернаком, они пожертвовали самой «оттепелью». Через несколько лет после смерти Бориса Леонидовича Хрущев рассказал Эренбургу, что, будучи на острове Бри-они в гостях у маршала Тито, он впервые прочитал полный текст «Доктора Живаго» по-

русски и с изумлением не нашел ничего контрреволюционного. «Меня обманули Сурков и Поликарпов», — сказал Хрущев. «Почему бы тогда не напечатать этот роман?» — радостно спросил Эренбург. «Против романа запустили всю пропагандистскую машину, — вздохнул Хрущев. — Все еще слишком свежо в памяти... Дайте немножко времени — напечатаем...» Хрущев не успел это сделать, а Брежнев не решился или даже не подумал об этом.

Однако вернемся туда, в год скандала, ко времени моей последней встречи с Пастернаком в 1960 году. Я боялся быть бестактным сочувствователем, зайдя к Пастернаку без приглашения. Межиров подсказал мне, что Пастернак, наверное, появится на концерте Станислава Нейгауза3. Мы поехали в Консерваторию и действительно увидели Пастернака в фойе. Он заметил нас издалека, все понял, сам подошел и, стараясь быть, как всегда, веселым, сразу обогрел добрыми словами, какими-то незаслуженными комплиментами, цитатами из нас и пригласил к себе. Я вскоре приехал к нему на дачу. От него по-прежнему исходил свет, но теперь уже какой-то вечерний.

— А знаете, — сказал Пастернак, — у меня только что были Ваня и Юра... Они сказали, что какие-то Фирсов и Сергованцев собирают подписи под петицией студентов Литературного института с просьбой выслать меня за границу... Ване и Юре пригрозили, что, если они этого не подпишут, их исключат и из комсомола, и из института. Они сказали, что пришли посоветоваться со мной — как им быть. Я, конечно, сказал им так: «Подпишите, какое это имеет значение... Мне вы все равно ничем не поможете, а сЬбе повредите...» Я им разрешил предать меня. Получив это разрешение, они ушли. Тогда я подошел к окну своей террасы и посмотрел им вслед. И вдруг я увидел, что они бегут как дети, взявшись за руки и подпрыгивая от радости. Знаете, люди нашего поколения тоже часто оказывались слабыми и иногда, к сожалению, тоже предавали... Но все-таки мы при этом никогда не подпрыгивали от радости. Это как-то не полагалось, считалось неприличным... А жаль этих двух мальчиков. В них было столько чистого, провинциального... Но боюсь, что теперь из них не получится поэтов...

Пастернак оказался прав — поэтов из них не получилось. Поэзия не прощает. Предательство других людей становится предательством самого себя.

Расставаясь, Пастернак сказал:

— Я хочу дать вам один совет. Никогда не предсказывайте свою трагическую смерть в стихах, ибо сила слова такова, что она самовнушением приведет вас к предсказанной гибели. Вспомните хотя бы, как неосторожны были со своими самопредсказаниями Есенин и Маяковский, впоследствии кончившие петлей и пулей. Я дожил до своих лет только потому, что избегал самопредсказаний... ,1

Надпись, которую Пастернак сделал мне на книге в день первого знакомства 3 мая 1959 года, звучит так:

«Дорогой Женя, Евгений Александрович. Вы сегодня читали у нас и трогали меня и многих собравшихся до слез доказательствами своего таланта. Я уверен в Вашем светлом будущем. Желаю Вам в дальнейшем таких же удач, чтобы задуманное воплощалось у Вас в окончательных исчерпывающих формах и освобождало место для последующих замыслов. Растите и развивайтесь.

Б. Пастернак».

Цветаева заметила4, что почерк Пастернака был похож на летящих журавлей.

Рано ушедший критик В. Барлас, когда-то открывший мне многое о Пастернаке, писал: «Многие остаются живыми чересчур долго... Но они выигрывают только годы лжи и страха...» Пастернак тоже боялся. Пастернак тоже не всегда вступал в прямое

противоборство с ложью. Но он переступил через свой страх, который мог стать ложью, и, умерев, выиграл дарованные его журавлям долгие годы полета.

2. РОМАН О РОМАНЕ

В 1985 году Михаил Горбачев ошеломил и очаровал человечество, включая даже Маргарет Тэтчер, тем, что совершенно неожиданно для Коммуниста Номер Один Империи Зла произнес тезис о примате общечеловеческих ценностей над классовой борьбой, что полностью опрокидывало всегдашнюю коммунистическую доктрину.

Но под гром аплодисментов, оглушивших забывчивое человечество, никто, в том числе и сам Горбачев, даже не вспомнил о том, что примерно тридцать лет назад один человек из той же самой страны, осмелившийся воплотить этот тезис в романе, был морально распят своими соотечественниками.

Я не знаю — читал ли этот роман Горбачев. Наверное, нет, и, возможно, будучи комсомольским функционером, не читая романа, даже осудил его на каком-нибудь собрании, как это было предписано «сверху». Но это не так важно.

Идеи, вброшенные в воздух человечества с опасной для их авторов преждевременностью, не напрасны. Они становятся как бы магнитами, парящими в воздухе, и постепенно притягивают к себе все больше и больше душ. Так было в римских каменоломнях во времена раннего христианства, так было в советских убежищах свободы — в крошечных кухоньках, где русская интеллигенция зачитывалась запрещенным романом Пастернака в бледных, истертых до дыр машинописных копиях.

Вдыхая роман в себя, его тайные читатели выдыхали его, и мысли романа все больше становились воздухом готовящейся к переменам России. Глоток этого воздуха, по его собственному признанию, достался и Горбачеву, когда он приехал в Москву и услышал в университетском общежитии стихи молодых поэтов одного с ним поколения, перевернувшие его прежние ортодоксальные взгляды.

Можно написать роман о романе «Доктор Живаго». Впрочем, он уже написан историей. Эпилогом этого романа о романе вполне может стать рассказ о скамейке, много лет стоявшей рядом с могилой поэта на переделкинском кладбище. Скамейка была деревянная, а ножками ее были железные трубы, вкопанные в землю. На эту скамейку благоговейно присаживались паломники, приносившие цветы на могилу, читали Пастернака по памяти. Сюда приезжали и ночью, зажигали свечу, воспетую в знаменитом стихотворении из романа, пили вино. Скамейка эта была местом конспиративных встреч диссидентов с иностранными корреспондентами, идеальным укромным уголком для исповедей и казалась надежным убежищем от всевидящего глаза Большого Брата. Писательская бюрократия, исключившая Пастернака из Союза писателей, много лет сопротивлялась созданию его Дома-музея, однако, когда в конце концов музей был все-таки открыт, скамейку решили сменить за ветхостью. Каково же было потрясение тех, кто занимался ремонтом, когда в железных ножках скамейки обнаружили подслушивающее устройство, а затем нашли ретранслятор на одной из прославленных трех сосен, взмывающих в небо над могилой. Ретрансляция разговоров передавалась на особый подслушивательный пункт на даче одного из руководителей Союза писателей, где постоянно находилась особая группа из КГБ, о чем хозяин дачи, конечно, не мог не знать5.

Вот как боялись не только живого Пастернака, но даже его могилы!

Но почему? Пастернак был лишен какой 6ц то ни было политической агрессивности и интересовался политикой только как историк. По характеру он был мягок, даже несколько кокетливо женственен, и склонен к компромиссам гораздо более, чем к конфронтации. Он написал несколько революционно-романтических поэм

— о 1905 годе, о лейтенанте Шмидте. Вослед своему отцу-художнику он с натуры срисовал вовсе не разоблачительный портрет Ленина:

Столетий завистью завистлив, Ревнив их ревностью одной, Он управлял теченьем мыслей И только потому — страной.

Пастернак не был «врагом социализма», в чем его обвиняли на родине, а изначально даже симпатизировал ему.

Ты рядом — даль социализма. Ты скажешь — близь! Средь темноты,

Во имя жизни, где сошлись мы, Переправляй, но только ты.

В 1934 году, во время Первого съезда писателей СССР, когда на сцену с приветствием вышла молоденькая хрупкая девушка — рабочая Метростроя, гордо держа на плече отбойный молоток как символ пролетарского труда, освобожденного от цепей капитализма, Пастернак вскочил со стула и бросился к девушке, чтобы помочь ей нести такую, как ему показалось, непосильную тяжесть.

Пастернак, в отличие от Мандельштама, не писал стихов против Сталина и даже послал вождю соболезнование по поводу трагической смерти его жены, что было наименее неблагородным видом приспособленчества к жестокой реальности, которая могла не пожалеть ни самого Пастернака, ни его близких. А во время войны Пастернак воодушевленно надел военную форму Красной Армии и со всей вообразимой искренностью воспевал ее подвиги.

«Но жизнь тогда лишь обессмертишь, когда ей к свету и величию своею кровью путь прочертишь». Догадывался ли он о том, что его личная главная война будет после войны, когда ему придется прочертить собственной кровью путь на страницах романа, как на заснеженных полях сражений под Москвой?

Больше, чем догадывался, — готовился к этому. Еще в ранних тридцатых он назвал старость Римом, требующим от актера не читки, а гибели.

Когда строку диктует чувство, Оно на сцену шлет раба, И тут кончается искусство, И дышат почва и судьба.

Старость наступила и вытолкнула его на арену — даже в какой-то степени против его собственной воли. Роман — далеко не самое совершенное, что написал Пастернак, но зато самое главное и для него самого, и для истории. Роман забраживал в нем давно, но решиться на роман, как на рискованный поступок, он сумел только после победы в войне против фашизма на волне общего и собственного подъема. Отчего произошел этот подъем, казалось непредставимый после стольких предвоенных арестов и расстрелов, после дамоклова меча страха, висевшего над каждой головой, после позора отступлений в начале войны? От неожиданного подарка судьбы, когда, к облегчению совести многих советских людей, фашизм оказался чудовищем еще страшнее отечественного, патриотизм стал не просто приказанным свыше, а долгом и даже искренним вдохновением.

Один из героев романа Пастернака говорит другу:

«Люди не только в твоем положении, на каторге, но все решительно, в тылу и на фронте, вздохнули свободнее, всею грудью, и упоенно, с чувством истинного счастья бросились в горнило грозной борьбы, смертельной и спасительной... Извлеченная из бедствий закалка характеров, неизбалованность, героизм, готовность к крупному, отчаянному, небывалому...»

Отсюда и сам роман «Доктор Живаго» — из готовности к крупному, отчаянному...

Но выигранная война с чужеземным фашизмом постепенно становилась проигранной фашизму собственному, обманчиво притворяющемуся антифашизмом. Парадокс истории состоял в том, что, борясь с Гитлером, Сталин поступал не лучше Гитлера по отношению к собственному народу, продолжая держать миллионы людей за лагерной колючей проволокой.

Сталин, с неожиданной сентиментальностью во время банкета в честь Победы проговорившийся о вине перед собственным народом, спохватился, начал закручивать гайки, чтобы не дать людям слишком распрямиться от гордости за выстраданную ими победу. Сталину весьма не понравилось, когда ему было доложено, что при появлении Анны Ахматовой на сцене Политехнического музея зал встал — ранее вставали только при его, сталинском, появлении. Надо было расправиться с опасными микробами свободолюбия, неожиданно заразившими народ во время войны. Надо было «стреножить» вчерашних победителей, чересчур вольно гарцевавших на полях битв в Европе. Надо было показать «свое место» всем, в первую очередь главному победителю — маршалу Жукову, а потом, конечно, слишком свободомыслящим интеллигентам. Реальностью стали «холодная война», государственный антисемитизм под псевдонимом «борьба с безродными космополитами», издевательство над Шостаковичем, Ахматовой, Зощенко...

«Крупное, отчаянное...» не было нужно партийной бюрократии. Хрущев, сам решившийся в 56-м году на крупный, отчаянный шаг — разоблачение Сталина, решил монополизировать право на «отчаянность» лишь для себя самого. Все остальное его раздражало и пугало. Именно он, а не кто иной, всего-навсего через несколько месяцев после своей антисталинской речи по-сталински потопил в крови венгерское восстание.

Пастернак наверняка понимал, что надежд на спокойное на-печатание романа не остается, но роман уже почти существовал и словно поезд, обрастая новыми главами, как подцепляемыми к нему новыми вагонами, неостановимо шел к откосу.

Пастернак стал нервничать и, по собственному туманному определению в биографических заметках, начал позволять себе неожиданные «выходки». По свидетельству поэта Геннадия Айги, один из смельчаков, провожавших Пастернака в последний путь на кладбище, — переводчик К. Богатырев, впоследствии при загадочных обстоятельствах до смерти избитый неизвестными лицами в собственном подъезде, рассказывал одну примечательную историю. Сосед Пастернака по даче — превратившийся в официального писателя бывший член литературной диссидентской группы «Серапионовы братья» — Константин Федин пригласил его домой на празднование получения им Сталинской премии. Гость Федина — тоже вполне официальный драматург Всеволод Вишневский — с оскорбительно-снисходительной доброжелательностью поднял тост: «За будущего поэта Бориса Пастернака!» Все замерли, потому что еще лет тридцать назад Пастернака многие считали не просто поэтом, но гением, и это звучало как ядовитая насмешка. Неожиданно для обычно уклонявшегося от конфликтов Пастернака он ответил грубым матом, непредставимым в его суперинтеллектуальных устах. Растерявшийся от такого отпора, Вишневский попытался поправиться: «Я имел в виду — за будущего советского поэта».

Но взбешенный Пастернак ответил еще более красочной руганью — в стиле революционных матросов из пьес Вишневского. С женой Федина случилась истерика, и она принялась поносить Пастернака за его «антисоветскость». Федин, пытаясь заставить ее замолчать, замахнулся на собственную жену бутылкой, но, к счастью, другой писатель — романтический эссеист Паустовский — вырвал ее из его рук. Это, впрочем, мог сделать и сам Пастернак. Все эти «срывы» не случайны: нервы у Пастернака были внатяг — он предчувствовал неизбежный конфликт с обществом.

Один из самых либеральных по тому времени журналов «Новый мир» отверг роман, направив поэту коллективное письмо редколлегии, в котором были еще относительно сдержанные, но потенциально опасные упреки в недооценке великого значения Октябрьской революции. Пастернак, видя, что тучи над его головой сгущаются, сам вызвал на себя молнию — отдал рукопись первому подвернувшемуся итальянцу. По тем временам передача рукописи иностранцу была поступком

неслыханной дерзости. Частично это был шантаж — авось теперь власти испугаются и напечатают роман на родине, прежде чем он выйдет за границей, но главным образом довлел страх, что любимое дитя пропадет, потеряется, будет отторгнуто от людей или придет к ним только тогда, когда его самого, Пастернака, не станет и он никогда не узнает о судьбе своего ребенка. Издатель Пастернака — Джанджа-комо Фельтринелли, миллионер-левак, впоследствии случайно взорвавшийся в результате игр с динамитом, — сообщил мне в 1964 году деталь, подтверждающую, что Пастернак действовал продуманно: условился с ним, что издатель должен верить только телеграммам, написанным по-французски. Это лишний раз доказывает — он понимал, что его ждут крупные неприятности. Когда власти и некоторые близкие люди начали обоюдный нажим на Пастернака, чтобы он остановил печатание романа за границей, он послал такую телеграмму, но по-русски — в латинской транскрипции.

Желая столкнуть Хрущева с пути либерализации и опытным нюхом почуяв, что какая-то часть его души тоже хочет «заднего хода», идеологические чиновники подготовили искусно подобранный из «контрреволюционных цитат» «дайджест» в 35 страниц из «Доктора Живаго» для членов Политбюро и умело организовали на страницах газет «народное возмущение» романом, который никто из возмущавшихся им не читал. Пастернаком начали манипулировать, сделав его роман картой в политической грязной игре — и на Западе, и внутри СССР. Антикоммунизм в этой игре оказался умней коммунизма, потому что выглядел гуманней в роли защитника преследуемого поэта, а коммунизм, запрещая этот роман, был похож на средневековую инквизицию.

Но партийной бюрократии было плевать, как она выглядит в так называемом «мировом общественном мнении», — ей нужно было удержаться у власти внутри страны, а это было возможно лишь при непрерывном производстве «врагов советской власти». Самое циничное в истории с Пастернаком в том, что идеологические противники забыли: Пастернак — живой человек, а не игральная карта, и сражались им друг против друга, ударяя его лицом по карточному столу своего политического казино.

Что же сделал я за пакость, Я, убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать Над красой земли моей, —

так в недоуменном отчаянье восклицал Пастернак, написав в предсмертном капкане стихотворение «Нобелевская премия». Но это недоумение было необоснованным. Где-то в глубине души Пастернак давно знал, что рано или поздно ему не удастся избежать прямого противостояния с государством, хотя таким внутренним скрытным противостоянием была вся его жизнь.

Как любого великого художника, Пастернака тошнило от прописных истин, от торжествующей банальности, от вульгарного языка и манер, от помпезного самопрославления, от нетерпимости к тем, кто не мычит в унисон со всем стадом. Это было не столь политическим, сколь физическим неприятием стадности, конвейерности. Это было не ненавистью или презрением — к таким чувствам Пастернак по нерезкости своего характера не был предрасположен, — а брезгливостью духовно чистоплотного человека. Пастернака приводило в отчаянье желание подменить идеи идеологией, а уважение к драгоценности каждой личности — культом обезличенного коллективизма. «Хорошо, когда человек обманывает ваши ожидания, когда он расходится с заранее составленным представлением о нем. Принадлежность к типу есть конец человека, его осуждение. Если его не подо что подвести, если он не показателен, половина требующегося от него налицо. Он свободен от себя, крупица бессмертия достигнута им».

Как ни оттягивал грациозно толерантный Пастернак столкновения с неуклюжей, всерастаптывающей махиной государственной нетерпимости, это столкновение должно было случиться.

Еще в ранние тридцатые годы в монологе диссидента царского режима — лейтенанта Шмидта — Пастернак предсказал свою судьбу:

...Наверно, вы не дрогнете, Сметая человека. Что ж, мученики догмата, Вы тоже — жертвы века.

Я знаю, что столб, у которого Я стану, будет гранью Двух разных эпох истории, И радуюсь избранью.

Пастернак и тут остался верен себе — он пожалел своих палачей наперед. Но они должны были до него добраться — рано или поздно. Он был им больше чем ненавистен — он был им непонятен. Он смертельно раздражал их тем, что не боролся с ними, а жалел их. Эту жалость они искривленно воспринимали как презрительное высокомерие, которого у Пастернака сроду не было, как вообще у всех природных гениев. Природа жалости непонятна политическим мясникам, воображающим себя хирургами общества, а отсутствие ненависти кажется подозрительным. Пастернак никого не ненавидит в своем романе, а жалко ему всех — и запутавшегося комиссара Стрельникова, и молоденького белогвардейца Сережу Ранцевича, и крестьянина Памфила Палых, зарубившего всю свою семью топором только потому, что он боялся еще более страшных пыток и мучений со стороны белых, и даже Комаровского — губителя Лары, но временами и ее спасителя.

«Доктор Живаго» — пожалуй, самый нежный роман двадцатого века, который отплатил автору такой мстительной жестокостью. Век настолько параноидально зациклился на политике, что принял этот роман за политический, а ведь он прежде всего о любви. «Они любили друг друга не из неизбежности, не »опа-ленные страстью», как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья... Начала ложной общественности, превращенной в политику, казались им жалкой домодельщиной и оставались непонятны». Смысл романа в том, что история любви выше истории как таковой. Вот чего не могли простить политические фетишисты.

Во время похорон Пастернака агенты КГБ нагло подходили к каждому осмелившемуся прийти попрощаться и фотографировали крупным планом — для досье. Надеюсь, что в архивах секретной полиции сохранилась эта уникальная антология лучших лиц московской интеллигенции. На одной из западных фотографий — два тогда еще не известных миру молодых человека, бесстрашно подставивших плечи под пастернаковский гроб, Андрей Синявский и Юлий Даниэль. Всего через шесть лет, в 1966 году, им суждено было не менее бесстрашно подставить свои плечи под крест жертвенности, неизбежный для не покорившихся цензуре российских литераторов.

«Доктор Живаго» был первой книгой, которая пробила железный занавес. Сквозь эту все расширявшуюся брешь, обдирая страницы о ее ржавые зазубрины и заусенцы, на Запад прорывались все новые и новые рукописи, затем возвращаясь на родину нелегальными книгами в чемоданах рисковавших своей головой туристов, членов официальных делегаций и даже дипломатов. Самиздат и Тамиздат пробивали сквозь толщу цензуры туннель с двух концов.

Однажды, году в 1972-м, мой прилет откуда-то из-за границы в Шереметьево совпал с возвращением после парижских гастролей Театра на Таганке. Таможенники безжалостно перерывали даже нижнее белье актеров, ища то, что было страшнее бомб и наркотиков, — запрещенные книги. Крошечный лысенький комик Джебраилов, стоя в очереди к таможенной стойке, на виду у всех с лихорадочным простодушием

дочитывал самую «опасную» тогда книгу — «Архипелаг ГУЛАГ», перед тем как ее неизбежно конфискуют через несколько минут.

Обе эти книги в конце концов вернулись на родину — примерно в одно и то же время, если не ошибаюсь, в 1989 году. Рассеченная надвое русская литература счастливо и мучительно срасталась, и запрещенные когда-то книги становились хирургическими нитками, сшивающими кровоточащие разрывы. Но когда разрывы срослись и настала пора «снять швы», эти нитки выдернули за ненужностью. А жаль. Есть распространенное мнение, что переломную роль в России сыграли книги Солженицына. Это правда, и памятник ему будет стоять на русской земле. Он когда-то выиграл свой бесстрашный поединок с государством, но сейчас его победа фатально превращается в поражение именно потому, что он слишком надеялся, будто эта победа даст ему лицензию на роль отца нации, народного проповедника, наставника правительства. Однако похоже, что его указующий перст надоедает не очень склонным к благодарности современникам.

Пастернак посмертно счастливее, чем живой Солженицын. Преимущество Пастернака в том, что он не добивался победы, не ставил на нее, не стремился к роли общественного ментора.

Гораздо выше поучительства он ставил растворение в жизни.

Жизнь ведь тоже только миг, Только растворенье Нас самих во всех других Как бы им в даренье.

Ни коммунизму, ни антикоммунизму в конце концов не удалось превратить этот роман в яблоко раздора. Роман «Доктор Живаго» растворился в воздухе эпохи, так сблизив Запад и Россию, как не удалось никаким политикам, мерцая над Берлинской стеной, над железным занавесом серебряной ниточкой мелодии Лары — самой знаменитой мелодии XX века, которую самому Пастернаку не удалось услышать. В романе есть и слабости, но не забудем, что Пастернак-новеллист был молодым писателем. Однако те, кто относится к роману с оттенком высокомерной снисходительности, совершают ошибку, приятно льстящую их самолюбию. Я бы не назвал весь роман шедевром, но в нем, безусловно, есть страницы-шедевры. Вспомните хотя бы главу о мальчике на похоронах матери, смерть офицера, пристреленного потому, что он стал смешным, когда вскочил на бочку с пламенной речью, но не удержал равновесия, или Юрия Живаго, целящегося в обугленное дерево, чтобы не попадать в людей, и все-таки нечаянно их убивающего...

Но самое главное в романе не столь его сюжет, сколь его особая религиозность, обращенная к людям, а не к иконам. Лара становится Богом для Юрия, Юрий становится Богом для Лары.

Когда-то Пастернак писал в «Высокой болезни»:

Всю жизнь я быть хотел как все, Но век в своей красе Сильнее моего нытья И хочет быть, как я...

Двадцатому веку не удалось быть таким, как Пастернак, подняться до вершин его духа, поэтому век его и распял — от зависти. Удастся ли двадцать первому веку быть таким, как Пастернак?

Елена Чуковская

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

23. X. 58г. Сегодняшний день я должна описать для истории. Утром приехала Клара и сказала, что Борису Леонидовичу дали Нобелевскую премию. Я почувствовала такую радость, что кинулась ее обнимать и целовать. Он на хорошем взлете насыпал им соли на хвост. Клара рассказала, что в Союзе замешательство, все начальство разбежалось, несчастной секретарше звонят из Нью-Йорка и говорят, что хотят говорить с Пастернаком, а он на даче и там нет телефона.

Я говорю: «Дед, давай пошлем Борису Леонидовичу поздравительную телеграмму». Он: «Зачем, мы лучше сами пойдем и поздравим его».

В час идем. У ворот две иностранные машины. Я предлагаю деду вернуться, т. к. не люблю незнакомого общества, и к самому-то Пастернаку насилу заставила себя идти, а тут еще гости.

— Как я ненавижу в тебе эту боязнь людей! Идем.

Входим. К нам навстречу поднимается Пастернак, веселый, победоносный. Целует деда и меня. Мы что-то бормочем. Кругом вспышки магния. В комнате находятся Зинаида Николаевна, незнакомая мне дама, трое мужчин, которых Пастернак представляет нам как корреспондентов «Пари матч», нью-йоркской газеты и МИДа.

Пастернак увлекает нас в маленькую комнатку, где очень возбужденно рассказывает, что ни один из наших писателей, кроме Ивановых, не поздравил его и не был у него, а что вчера приходил Федин и сказал, что он даже не может поздравить Бориса Леонидовича, т. к. по поручению властей пришел предложить ему отказаться от премии. Пастернак отказался отказаться.

Входим в гостиную. Корреспонденты беспрерывно снимают деда с Пастернаком, как потом выясняется — для кино. Разговор странный. Вчера целый день у них были гости — французы, итальянцы, англичане. Зинаида Николаевна вдруг начинает говорить что-то конфиденциально деду по-русски, махнув рукой на корреспондентов — мол, они ничего не понимают, хотя они прекрасно говорят по-русски. Больше всего ее занимает вопрос, пустят ли ее в Швецию, и она много раз к нему обращается: «Корней Иванович, как вы думаете — меня-то пустят? Ведь должны пригласить с женой».

Пастернак показывает пачку телеграмм — все из-за границы. Из Советского Союза — ни единой. З. Н. несколько раз повторяет, что Нобелевская премия это не за «Живаго» и не имеет политической окраски, так как ее хотели дать тогда, когда «Живаго» еще не был написан1.

Минут через пятнадцать, когда все уже ослеплены вспышками магния, корреспонденты благодарят и уходят. Мы сидим еще минут пятнадцать, пока Пастернак наверху пишет благодарность в Швецию и затем выходит опять.

— Зина, я когда говорю что-нибудь, то говорю метафизически, а ты так прямо и брякаешь, так нельзя.

Оказывается, еще до нас корреспонденты спросили его, есть ли у него приветствие от Советского правительства, и он сказал, что вся корреспонденция идет на московскую квартиру и он еще не знает, а жена прямо ляпнула — ну конечно, нет, думаете, они нас поздравят!

Идем гулять. Борис Леонидович выходит с нами. Он говорит что-то об облаках, о том, что для него роман — это не политика, не выпады, а что-то совсем другое. Не хочет брать Зинаиду Николаевну с собой в Швецию. Расстаемся на углу. <...>

Брожу по аллее, как вдруг меня догоняет дед. Он идет к Фе-дину и просит зайти за ним минут через десять. Я отказываюсь. Все это происходит часов в пять вечера. Долго болтаюсь на улице, делать ничего не могу. Все время думаю, что будет дальше, и произношу в уме разные речи.

Шесть часов, семь, восемь, девять. Деда нет. Так как еще ни разу за последние годы не было случая, чтобы он лег спать позже 9-ти часов и пришел домой позже восьми, то у нас дома страшное волнение. Катя звонит в разные места, разыскивая деда, мы с Сашей идем к Федину. Там все заперто со всех сторон, и деда, по-видимому, нет.

Приходим домой в смятении. Наконец около десяти он приходит страшно возбужденный и сразу начинает рассказывать. Он зашел к Федину и стал его уговаривать: «Ведь у вас же есть литературное имя, не пятнайте его, ставя свою подпись под таким документом» (Федин сообщил ему, что завтра Пастернака в 12

часов дня будут исключать из Союза писателей за нарушение Устава и опубликование своих произведений за рубежом). Федин сказал, что уже ничего нельзя сделать.

Дед предлагал ему завтра с утра ехать вместе к Фурцевой, но тот отказался.

Оказывается, против Пастернака уже страшное негодование, т. к. Поликарпов приезжал к Федину, и когда Федин пошел к Пастернаку, то в это время Поликарпов ждал у него на даче ответа и самого Бориса Леонидовича, а тот либо не понял, либо не пожелал понять, но, в общем, не пришел разговаривать. Это переполнило чашу терпения.

Узнав все это, дед пошел опять к Борису Леонидовичу и предложил ему написать объяснительное письмо Фурцевой и изложил его примерный план. Пастернак взошел наверх и написал нечто обратное тому, что предлагал ему дед: что «нельзя рубить топором. Смирение». Как сказал дед — гениально, но совершенно противоположно тому, что нужно. Дед сказал, что этого отправлять нельзя, и ушел.

Да, кроме того, за это время приходил Кома и сказал, что премия дана за Живаго и за продолжение традиций русских классиков.

Я доказывала, что если бы вместо истерических и подстрекательских статей издали бы своевременно книжку стихов Пастернака, то было бы гораздо больше пользы для России.

26.X. В «Правде» продажная статья Заславского, от которой просто воняет. Говорят, что в городе демонстрации перед Союзом писателей: «Долой Иуду Пастернака». Люди, которые, как я уверена, не читали его ни строчки и, во всяком случае, того романа, против которого они, вернее, их настроили. Мне омерзителен сам метод. Это и есть фашизм. Хлебников: «Первая заглавная буква новых дней свободы так часто пишется чернилами смерти»2.

Константин Ваншенкин

КАК ИСКЛЮЧАЛИ ПАСТЕРНАКА

Почти всю вторую половину октября пятьдесят восьмого года я провел за городом: вернулся, помню, вечером и только вошел, как раздался телефонный звонок. Говорил К. В. Воронков, секретарь по оргвопросам Союза писателей СССР.

— Константин Яковлевич, завтра, в десять утра, срочное заседание правления. — И после короткой паузы: — По поводу Пастернака. (Он сделал ударение на последнем слоге.) Все четко, деловито — привычно уже.

Я ничего не знал, позвонил друзьям, выясняя. Утром — пошел.

Вестибюль старинного здания так называемого «большого Союза» гудел от голосов, как всегда бывает перед пленумами или съездами. Множество известных писателей, словно еще не вникающих в причину случившегося, было собрано сюда буквально по тревоге. Съехались и слетелись из разных концов и, опять же как всегда, радостно обнимались, интересовались делами, здоровьем близких. Говорили обо всем, кроме главного.

Набились в конференц-зал, едва уместившись в несколько рядов, вдоль длинного стола, окон и стен. Здесь и была официально объявлена суть дела.

Поэт Борис Пастернак написал роман в прозе — «Доктор Живаго». Роман клеветнический. Клевета — на революцию. Автор предложил свое произведение журналу «Новый мир», но роман был отвергнут. Это случилось еще в пятьдесят шестом году. (Как раз накануне моего приезда «Литературная газета» опубликовала то давнее уже, очень длинное письмо редколлегии «Нового мира» Пастернаку, начинавшееся сдержанным обращением: «Борис Леонидович!..»1 Потому-то Воронков и говорил со мной столь буднично — как о факте общеизвестном: «По поводу Пастернака...») Получив отказ, автор передал роман итальянскому издательству, которое и

выпустило его в свет отдельной книгой. Но и это еще не все. Только что роман получил Нобелевскую премию.

Необходимо, вероятно, сделать следующее уточнение. История с прохождением рукописи в «Новом мире» и возвращением ее автору происходила в бытность главным редактором журнала К. Симонова. Теперь Симонов с семьей уехал на длительное жительство в Ташкент, а в журнал вторично в своей жизни совсем недавно заступил главным А. Твардовский. Что называется, на круги своя. Он и новая редколлегия касательства к роману, естественно, не имели.

На заседании кроме членов президиума (тогда это так называлось) правления Союза писателей присутствовал заведующий Отделом культуры ЦК КПСС Д. А. Поликарпов.

Началось обсуждение. Нужно сказать, что в последние годы Пастернак опять стал печататься — в «Знамени», в альманахах «День поэзии», «Литературная Москва». А до этого был боль-Щой перерыв. В 1946 году, после известных документов по поводу журналов «Звезда» и «Ленинград», зацепили и Пастернака. В выпускавшейся тогда газете «Культура и жизнь» говорилось об аполитичных и безыдейных тенденциях в поэзии Б. Пастернака. Вероятно, так, на всякий случай. Ведь очевидно, что ничего безыдейного и аполитичного в его стихах нет.

С. А. Ермолинский рассказывал мне много лет спустя, как в день выхода газеты он встретил Бориса Леонидовича на Арбате и растерялся, не зная, как себя вести. Но Пастернак остановился и очень оживленно сказал, что, мол, нет худа без добра, что он занимался составлением своей большой книги для Гослитиздата, а сейчас она, конечно, не пойдет, и он сможет наконец закончить перевод «Фауста». (Правда, в сорок восьмом в «Советском писателе» у него все же вышли «Избранные стихотворения».)2 Посмотрите также по датам, какие стихи написал он в ту пору. Какая сила, жизнестойкость! Как это все не выбило его! И после нобелевской истории тоже. Страдало сердце поэта, но стих не пострадал. Напротив.

Итак, обсуждение. Мне было странно, что его называют декадентом. Для меня этот термин всегда связан с невероятно далекой, дореволюционной порой. Звучали такие слова, как «провокация», «возня», «клевета», «ненависть».

Самое же удивительное, — но тогда почти никому это удивительным не казалось, — что большинство присутствующих не читало роман. С ним были знакомы только рабочие секретари и члены бывшей редколлегии «Нового мира». Некоторые вообще не могли уяснить смысл происходящего. Один седобородый аксакал воскликнул:

— Слушаю, слушаю и никак не могу понять — при чем здесь Швеция?!

Но ведь выступали, осуждали.

Неустоявшаяся какая-то была полоса. С одной стороны — такое событие, как реабилитация, следом оживление в литературе, появление альманахов, о которых я упоминал, настойчивое приглашение и возвращение Твардовского в «Новый мир», напе-чатание через какое-то время «Теркина на том свете», оправданные ожидания выхода ряда вещей Булгакова, Платонова, Мандельштама; и с другой — продолжающиеся гонения на генетику, кибернетику или история с Пастернаком.

Известный стихотворец, выступая там, рассказал, что в конце войны или вскоре после нее группе писателей, награжденных ранее, вручались медали «За оборону Москвы». В числе отмеченных был и Пастернак.

...В воспоминаниях Я. Хелемского «Ожившая фреска» описывается, как рвался на фронт Пастернак и попал-таки в писательскую бригаду во главе с Серафимовичем, а до этого, в первый период, дежурил ночами на крыше в Лаврушинском, тушил немецкие «зажигалки».

С ним вместе смотрел в военное небо В. Казин, рядом стояли и другие, а начальником ПВО дома был И. Уткин.

Проходил Пастернак и занятия во Всевобуче. Однажды писателей повели в тир, на стрельбы. Самым метким оказался Борис Леонидович. Правда, тут же кто-то пустил слух, что другие ошиблись и тоже стреляли по его мишени. Как бы там ни было, он выглядел молодцом. Нелепы разговоры о его оторванности от жизни и народа...

Так вот, продолжал стихотворец, когда писателям вручались награды, Пастернак не явился, а прислал из Переделкина сына. «Как нужно было не уважать нас и наше общее дело», — закончил он.

Да нет, думаю я сейчас, причина совсем другая, как раз обратного свойства. Пастернак не мог всерьез считать себя участником войны, он наивно решил, что награждение — чистая формальность, и пожалел терять рабочий день.

Но ведь и это обернули против него.

Выступала прекрасная писательница, уважаемая, увенчанная3. Она говорила резко, прямолинейно, неприязненно. Я не верил своим ушам. Впоследствии А. К. Гладков, человек поистине замечательный, спросил ее — как она могла так поступить? И зачем? Она ответила, что испугалась. Она решила, что начинается новый тридцать седьмой год, а она знает, что это такое. И что у нее большая семья, и всех их она очень любит. Вот так.

Я долго думал, называть ли поименно людей, осуждавших Пастернака, и решил, что не стоит. Кто-то и так поймет, догадается, кому-то это и не нужно. Те люди сами наказали себя. Мы знаем терзавшихся потом всю жизнь. Прошло много лет, большинства из них уже нет на свете. Другие очень изменились — к лучшему. А иные даже забыли, что это случилось с ними.

Объявили короткий перерыв, снова заседание однообразно продолжалось. Вдруг я увидел, что Твардовский поднялся и, задевая колени сидящих, стал боком протискиваться к выходу. Через минуту-другую следом двинулся Рыленков. Проходя мимо, он легонько потянул меня за руку. Я тоже стал пробираться к дверям. В вестибюле было пустынно и прохладно. Мы закурили, кого-то поджидая. Тут появился из зала С. С. Смирнов. Они явно условились заранее. Мы двором прошли в нащ клуб — тогда еще не было нового здания. Буфет уже работал, мы сидели за столиком, закусывали, помню, крутыми яйцами.

Твардовский был мрачен, раздражен. Но мог ли он предположить, что через одиннадцать лет его будут, — нет, в чуть иной форме, — нет, не исключать, но снимать с должности, причем уже во второй раз!

В моих опубликованных воспоминаниях о Твардовском есть такое место: «...когда я сказал к слову, что не знаком с Пастернаком, Твардовский ответил веско: "Немного потеряли".

Думаю, что немало...»

Разговор происходил как раз в тот день, в буфете. Следом в моих воспоминаниях идет такая фраза: «Однако позднее, в одной из своих статей, он сам назвал Пастернака "по-своему замечательным поэтом..."»

Твардовский еще там сказал:

— Мы не против самой Нобелевской премии. Если бы ее получил Самуил Яковлевич Маршак, мы бы не возражали...

Минут через двадцать мы вернулись на заседание. Оно тянулось чуть не весь день. Я, понятно, слышал не все выступления. Но два из слышанных мною были против исключения. Твардовский напоминал, что есть мудрая русская пословица по поводу того, сколько раз нужно отмерять и сколько отрезать. А Грибачев без обиняков заявил, что исключение Пастернака повредит нам в международном плане.

Потом мы снова, уже сложившимся коллективом, посетили клуб.

Твардовский и Рыленков говорили на этот раз о женитьбе Исаковского (он овдовел три года назад). Новую его жену, их землячку, они давно знали. Потом мы снова вернулись в здание Союза, снова поднялись по ступеням, оставляя справа в нише статую Венеры, поочередно отразились в большом напольном зеркале и повернули налево. Там, у дальней стены, стоял диван, и над ним висела картина. Она висела там очень долго, и я не помню, была ли она уже снята к тому времени. На ней был изображен М. Горький, читающий членам правительства поэму «Девушка и смерть». Над столом светил уютный абажур, а в комнате находились Сталин, Молотов, Ворошилов, кто-то еще. Эту картину неофициально называли: «Прием Горького в Союз советских писателей».

Мы сидели на диване под этим историческим полотном и курили. А заседание продолжалось своим чередом.

Дверь из зала отворилась, и появился прозаик, он же главный редактор4. Человек он был дисциплинированный, но вот тоже не выдержал, вышел поразмяться. Засунув руки в брючные карманы, он с независимым видом сделал круг по вестибюлю и остановился против нас, вернее, против Твардовского.

— Что же ты, Саша, — сказал он своим высоким, как бы дурашливым голосом, — роман-то этот хотел напечатать?

Он болтал от нечего делать, — что называется, подначивал. Твардовский ответил почти брезгливо:

— Это было до меня, но и прежняя редколлегия не хотела. Ты знаешь.

— Хотел, хотел.

— А вот ты, коли на то пошло, стихи его печатал.

— Стихи? — переспросил тот. — Ерунда, пейзажики... Твардовский, видимо, жалел, что начал отвечать, связался.

— Знаешь что, — сказал он доверительно,— иди-ка ты отсюда.

— Почему это я должен идти?

— Потому что ты человек без чести и совести, — разъяснил Твардовский проникновенно.

Но собеседник все сопротивлялся:

— Почему это я человек без чести и совести? И тут Твардовскому надоело:

— Иди... — и он уточнил адрес.

Тот повернулся на каблуках, опять сделал круг по вестибюлю и удалился на заседание.

Никто по этому поводу не сказал ни слова. А редактор потом года два со мной еле здоровался, как со свидетелем диалога.

И вдруг из зала вышел Поликарпов. Вид у него был хмурый, озабоченный. Он повернул было направо, в глубь здания, но, увидев нас, подошел и решительно попросил пройти с ним вместе — на несколько минут. Они поднялись, я остался, считая, что ко мне это не имеет отношения, но Поликарпов подтвердил:

— И вы, пожалуйста...

Он пошел впереди нас по узкому коридору, прямо в кабинет, который все еще называли фадеевским. Мы вошли, он притворил дверь и тут же, не приглашая садиться, спросил у Твардовского:

— Так нужно исключать или нет?

— Я уже сказал, — ответил Твардовский.

— Вы? — к Сергею Сергеевичу.

— Я того же мнения.

— Вы? — Рыленкову.

— Дмитрий Алексеевич, он такой лирик! — завосхищался тот...5 Я тоже сказал, что против исключения.

— Спасибо. — Поликарпов направился к столу, а мы вышли.

Твардовский много времени спустя объяснил мне как-то, что Поликарпов приехал в Союз контролировать исключение. Однако, опытный человек, он в какой-то момент засомневался в целесообразности этого акта. Сам он, разумеется, не мог хотя бы приостановить события и отправился звонить Суслову, пославшему его, а по дороге для большей уверенности поинтересовался мнением еще нескольких писателей.

Суслова на месте не оказалось, Поликарпов вернулся в зал, где дело шло к концу.

А дозвонись он, может быть, сюжет бы изменился? Не знаю, но что-то не верится.

Теперь в зале сам собой установился определенный порядок: люди выступали просто подряд, один за другим, — как сидели. Когда моя очередь стала приближаться, я встал и вышел — будто покурить. Одновременно со мной вышли из зала Алигер и Арбузов — из тех, кого я видел. Тут же я поехал домой.

На том заседании «отщепенец Пастернак» (так сказано в постановлении) был исключен из членов Союза писателей.

А через три дня состоялось общее собрание писателей города Москвы на эту же тему. Оно проходило напротив, через улицу, в тогдашнем Доме кино. Председательствовал С. С. Смирнов, он руководил тогда Московской писательской организацией. Он вел собрание спокойно, внимательно, порой увлеченно.

Народу пришло — уйма. Те, что присутствовали на предыдущем заседании, были уже сыты этим, болтались по фойе. Дело, по сути, было сделано.

Но в теперешней резолюции фигурировала еще и такая формулировка: «Собрание обращается к правительству с просьбой о лишении предателя Б. Пастернака советского гражданства». Известная поэтесса, старенькая, но еще вполне бодрая, востроносенькая, с белыми кудельками, вносила поправку из зала6. Смирнов не слышал, переспрашивал.

Она повышала голос:

— Там говорится, пускай он будет изгнанником. Но слово «изгнанник» звучит слишком жалостливо, сочувственно. Нужно жестче: пусть он будет изгоем...

Но это ладно. Хуже, что среди выступавших были люди, которых я любил и сейчас люблю, особенно те два поэта7, — с ними-то что случилось? И того и другого это мучило потом до конца.

Перед голосованием мы стояли в фойе, у раскрытых задних дверей, напротив сцены, — я, Трифонов, Винокуров и еще неболь-

шая толпа. И так у каждой двери. Мы были вне зала и таким образом присутствовали, но не голосовали. Наивно, конечно, и немного стыдно даже, но так было. Тогда это казалось чуть ли не смелостью.

Зачитали резолюцию.

Смирнов спросил почти подряд:

— Кто «за»? Кто «против»? Кто воздержался? — и заключил: — Принято единогласно. На этом общее собрание писателей Москвы объявляется...

Тут одни повалили из зала, а другие, напротив, в зал, услышав, что какая-то пожилая женщина закричала с места:

— Неправильно! Не единогласно. Я голосовала против... Сергей Сергеевич сначала делал вид, что не слышит ее,

но она приблизилась к сцене, и он вынужден был спуститься к ней. Но что значит — вынужден? Последующие литературные руководители вряд ли бы спустились.

Она горячо втолковывала ему что-то, он нагибался к ней, оправдывался.

«Кто это?» — спрашивали кругом. «Аллилуева»8. — «Писательница?» — «Да, реабилитированная. Из той семьи...»

Потом я прочитал роман. Помимо прекрасных стихов, подаренных автором своему герою, глубоко запали, запомнились не сюжетные линии, а картины зимней ночной и иной Москвы, уральского имения, остановившегося на перегоне поезда, звуки дальней стрельбы, ощущение смутной, нарастающей тревоги.

И еще. Опубликуй «Новый мир» этот роман тогда, большинство подписчиков журнала не дочитало бы его до конца. Говорю это, разумеется, не в укор художнику. Это типичная проза Пастернака — для подготовленного читателя высокого уровня.

И конечно, ничего предосудительного там нет. Впрочем, теперь это ясно почти каждому.

Анна Голодец

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Утром 9 мая 1960 года привезли электрокардиограмму заболевшего Б. Л. Пастернака. Заведующий кабинетом функциональной диагностики Е. Б. Нечаев констатировал свежий инфаркт миокарда и мерцательную аритмию. В 13 часов дня мне сообщили о том, что у Бориса*. <...>

По распоряжению Союза писателей поликлиника должна организовать круглосуточное дежурство врача, то есть поселить на дачу Бориса Леонидовича врача. Начальство предложило ехать мне. Больного я никогда не видела.

По дороге предстояло заехать за доктором Самсоновым и проф. Фогельсоном. Из рассказа Самсонова, наблюдавшего Бориса Леонидовича с конца апреля, я узнала, что болезнь началась недели за три до регистрации инфаркта. Борис Леонидович ни за что не хотел поддаваться, скрывал от окружающих недомогание. Врачей позвали по настоянию Зинаиды Николаевны.

9 мая, в день снятия электрокардиограммы, у него была высокая температура. Он лежал в постели, не вставая. Когда мы приехали, на даче были жена Бориса Леонидовича — Зинаида Николаевна, его брат Александр Леонидович с женой Ириной Николаевной и домработница Таня. Вскоре пришла Т. В. Иванова, принимавшая в происходящем горячее участие.

Больной лежал в рояльной. Это маленькая комната (м. 12), окнами на северо-запад. Вместо кровати был матрац на ножках, очень неудобный, с уклоном на сторону. Борис Леонидович встретил нас оживленно, извинился за причиненное беспокойство. Он не чувствовал болей. Жаловался лишь на неудобства, связанные со строгим постельным режимом. Старался выговорить себе побольше свободы, но всем решениям врачей подчинялся.

Трудней всего было уговорить его не бриться хотя бы два дня и меньше разговаривать.

В истории болезни было зарегистрировано наличие свежего инфаркта, повторного (первый был в 1952 г.) с мерцательной аритмией, с выраженным застоем в легких. Состояние больного расценивалось как тяжелое. Уехал проф. Фогельсон с д-ром Самсоновым.

Остались я и дежурная сестра. Вечер быстро прошел в хлопотах. Мы с медицинской сестрой по очереди провели около Бориса Леонидовича ночь, следя, чтобы он, забывшись, не повернулся. Но Борис Леонидович не спал, как не спал он и последующие ночи и дни, все более изматываясь от бессонницы и мыслей, которые он называл «кошмарными снами без сна». <...>

* В записях опущены специальные медицинские подробности.

Борис Леонидович привык ночью, часов в 11, после работы, что-нибудь съесть, и Зинаида Николаевна просила не нарушать этой традиции, якобы обеспечивающей хороший сон. Мы не стали ей возражать. Но сна не было.

10 и 11 мая — самые светлые дни за время болезни Бориса Леонидовича.

В доме все вздохнули свободней. Зинаида Николаевна распорядилась продолжить ремонт кабинета, расположенного на 2-м этаже. <...>

Зинаида Николаевна человек очень сдержанный, волевой, энергичный. В минуты опасности она больше уходит в работу физическую. Немногословна. Не сентиментальна. Таня — целые дни плачет, все у нее из рук валится, ежеминутно ее отпаивали валерьянкой. Она полна возмущения, что окружающие не переживают, что Зинаида Николаевна не разрешает подать Борису Леонидовичу жирный суп. Я поддерживаю Зинаиду Николаевну, и она рассматривает это как сговор против нее. Но подчиняется. И с тех пор все, что готовится и подается Борису Леонидовичу, проходит мой контроль. Александр Леонидович всячески наводит меня на разговор об инфарктах, об исходах этой болезни, о критических сроках. Несмотря на то что я упорно продолжаю говорить о тяжести состояния Бориса Леонидовича, о возможности осложнений и страшного исхода, он снова и снова заводит разговор о том же, подбирая факты, опровергающие мой «пессимизм», и уходит явно недовольный мною.

Он и Ирина Николаевна архитекторы на пенсии. Ирина Николаевна чертит нам температурную кривую и записывает все медицинские заключения (для родных, как она говорит).

Леня — младший сын Бориса Леонидовича — не посещает университет. Он взял отпуск по болезни. Он выполняет все поручения, подменяет шофера, бреет Бориса Леонидовича, часами сидит возле матери или убегает в сторожку, где рояль, и играет. Он очень сдержан в своем горе и всячески старается помочь. Старший сын Бориса Леонидовича — Женя — отличается необычайной энергией и дотошностью, которые оказываются уместными. Он организует в дальнейшем всяческие консультации, переливания крови, достает медикаменты с немыслимой быстротой.

Приехала первая жена Бориса Леонидовича — Евгения Владимировна, его поклонница Елена Ефимовна Тагер, приходят Сель-винские, Берта Яковлевна и их дочь Циля. Три раза в день «за сводкой» прибегает Валентин Фердинандович Асмус. Всех принимают во дворе. В доме — тишина. Все говорят шепотом. К Борису Леонидовичу никого не впускают, кроме Зинаиды Николаевны и брата — по его просьбе, ненадолго.

Почта приносит много писем и телеграмм. О них говорит Борису Леонидовичу брат. Прочитать их Борис Леонидович не просит. Вначале он просил складывать почту в его комнате, на рояле, но потом забыл об этом. В голове у него постоянно литературные образы, о которых он рассказывает. «Спорят между собой переводы Шекспира, Гете и куда-то проваливаются, увлекая меня». Мы его останавливаем. Просим молчать. Борис Леонидович сердится: «О чем же мне говорить? Не о левой же лопатке, которая болит. К тому же она не разговаривает по-русски».

Борис Леонидович не жалуется на страдания, не капризничает. Он либо лежит с закрытыми глазами, либо смотрит на нас (медицинскую сестру и меня) и тут же начинает извиняться за то, что вот он заболел, а нам приходится за ним ухаживать, говорит, что сам виноват в своей болезни. Очень давно появилась тяжесть и неприятное чувство, а временами и боль в левой лопатке. Но все казалось несерьезным, а по временам настолько серьезным, что страшно было признаваться.

«Я думал, что внутренним сопротивлением болезни можно одержать над ней победу. Я ошибся и сам себе все это наделал».

И мая приехала Анна Андреевна Ахматова. К Борису Леонидовичу она не заходила, но он был очень рад ее приезду. Она недолго пробыла во дворе с семьей Бориса Леонидовича и уехала <...>*. Вечером 11-го я уехала в Москву, оставив приехавшего мне на смену д-ра Т. Н. Пешковского.

12 мая 1960 г.

Вечером я возвратилась. Мне сказали, что истекшие сутки прошли спокойно. Борис Леонидович встретил меня радостно. Попросил, чтобы я не позволяла никому его кормить и делала б это сама. <...>

В доме продолжался ремонт кабинета Бориса Леонидовича. Рабочие ходили на цыпочках, не производя ни малейшего шума. Я не представляла себе, что ремонт можно проводить так тихо. Все, кто обслуживал Бориса Леонидовича тогда — работница, сторож, садовник, почтальон, — очень любили его. Каждый мне

* Вскоре с приступом стенокардии ее отвезли в больницу им. Боткина.

рассказывал о том, какой Борис Леонидович добрый, внимательный, простой в обхождении.

Приезжала старая няня, вырастившая Леню, и сказала, что отслужила молебен, «чтоб все кончилось хорошо».

Каждый вечер приезжала Масленикова. Привозила цветы, парных цыплят, свежую клубнику, черешни, когда их не было еще в Москве. В дом она не заходила. Справлялась, что еще надо, и уезжала на поезде в Москву. Иногда она проделывала этот путь дважды.

У меня она и спрашивать о Борисе Леонидовиче боялась. Только просила делать все, чтоб Борис Леонидович поправился.

В ночь на 13 мая 1960 г. Борису Леонидовичу стало плохо. <...> Борис Леонидович не спал. Опять говорил, что виноват в своей болезни. Тут он впервые сказал, что у него две болезни — «инфаркт и живот». Говорил о том, что его история не закончится историей болезни и даже смерти. «И после еще некоторое время будут разговоры, а потом все признают. Я ведь все-таки нобелевский лауреат».

Рано утром я вызвала проф. Фогельсона. Электрокардиограмма показала ухудшение... Решено привлечь хирурга.

День прошел напряженно. Борис Леонидович очень страдал, но, когда его спрашивали отчего, он говорил, что очень болят ноги, а «пятки ведут себя как личные враги, фамилии которых он забыл...».

В ночь на 14 мая. <...> Было резкое падение сердечной деятельности, желудочное кровотечение. В 4 часа утра я разбудила Зинаиду Николаевну. Шофера срочно послали за лекарствами. Было сделано все, чтоб остановить кровотечение с учетом наличия острого инфаркта.

Борис Леонидович очень тяготился тем, что не может сам бриться, вынужден совершать туалет с посторонней помощью. Это он разрешал только Зинаиде Николаевне, которой помогали медицинские сестры.

Мне разрешалось входить, когда он был «в полном порядке» — причесан, при зубах.

14 мая утром неожиданно для всех приехал д-р Н. А. Долго-плоск. Он приехал по просьбе О. В. Ивинской, о которой мне говорили, называя ее «нежелательный источник». Зинаида Николаевна не хотела разрешить осмотр, но мы ее уговорили не упрямиться. Долгоплоск лечил Бориса Леонидовича во время первого инфаркта.

Борис Леонидович узнал Долгоплоска и сказал, что если придется лечь в больницу, то он бы хотел к нему, если Наум Александрович не откажется от такого капризного больного, на что Долгоплоск сказал, что Борис Леонидович был очень спокойным,

выдержанным й приятным больным в 1952 году и что он с удовольствием будет лечить его и теперь.

В истории болезни записали: «Состояние тяжелое. Нетранспортабелен». А днем, после осмотра проф. Фогельсона, было решено госпитализировать БориЬа Леонидовича. Очень оперативно было подготовлено место в 1-й Градской больнице. Но Зинаида Николаевна категорически отказалась от госпитализации из-за отсутствия отдельной палаты.

Чем глубже захватывала болезнь Бориса Леонидовича, тем больше он радовался приезду консультантов, которые бывали в большом количестве не реже чем через день, а иногда и два раза в день.

15 мая был расширенный консилиум в составе профессоров Фогельсона, Шпирта, Петрова и Попова.

Заключение профессоров: инфаркт миокарда, тромбоз вен желудка. Рак желудка.

Родным о последнем не сказали.

Вечером Борису Леонидовичу сделали инъекцию. Он впал в забытье, временами переходящее в сон — впервые за время болезни. Когда Борис Леонидович проснулся, спросил, где же Леонов. Он ясно видел его рядом с собой и разговаривал с ним о «Фаусте». Узнав, что того не было, Борис Леонидович очень расстроился и просил не давать ему ничего «дурманящего».

Борис Леонидович много времени находился в кислородной палатке. В ней ему легче дышалось, и даже иногда он спал без кошмаров.

По решению консилиума нужно было достать ауромицин. В тот же вечер Леня привез наш препарат и канадский. Последний ему был навязан «нежелательным источником», и, передавая лекарство, он просил меня применить его, конечно если другим нельзя заменить. Мы начали лечение своим препаратом.

Ежедневно делались лабораторные исследования. Ответ я получала через несколько часов по телефону. <...>

Родным казалось, что все не так уж безнадежно. Александр Леонидович продолжал меня «мучить» медицинскими разговорами. После двух дней лечения температура опять спала. Но Борис Леонидович продолжал слабеть с каждым днем.

Когда я спрашивала о самочувствии, он говорил, что «круг возможностей становится все уже, но в этом кругу мне сейчас спокойно». На сердце он не жаловался... <...>

Борис Леонидович просил точно сообщать ему о предстоящих манипуляциях. Вместе мы обсуждали очередность приема лекарств, срок лежания в кислородной палатке. <...>

Борис Леонидович тщательно следил за аккуратным выполнением назначений. Получая облегчение, он радовался от души и тут же шутил над собой: «Как вся литература от меня далека, вся эта чепуха, важней всего, оказывается, ощущение покоя в животе».

Он часто просил оставлять его одного. Он не чувствовал себя свободно в нашем присутствии.

На мои предложения пригласить кого-либо из родных часто отвечал отказом. Временами спрашивал — приходил ли Федин. Но Федин не приходил.

К нему заходили Александр Леонидович, Зинаида Николаевна, Н. А. Табидзе, сыновья.

С вечера начинал беспокоиться — «как мы будем спать». Вырабатывали план чередования кислородной палатки с приемом валокордина.

Леня проверял исправность кислородной палатки и умение очередной медсестры управляться с ней. «Теперь я буду спать», — говорил он. Все уходили. Но Борис

Леонидович не спал. По ночам его «окружали книги, которые говорили на разных языках» и «причиняли мучительную тяжесть».

Я находилась в соседней комнате. Туда доносились малейшие шорохи из комнаты Бориса Леонидовича. Заслышав их, я тихонько подходила к двери. Борис Леонидович это слышал и говорил дежурной сестре: «Что-то Анне Наумовне не спится, пусть войдет ко мне».

Говорил, что напрасно я беспокоюсь, но, раз я уже здесь, «давайте обсудим». И мы «обсуждали». Сестра уходила по всяким делам на кухню. Он закрывал глаза, но сон не приходил. Минут через 20 замечал, что я еще сижу, очень огорчался, просил извинения, что «создал мне такую жизнь».

По утрам, когда он просыпался после двух часов «блаженства и покоя» — в те считанные разы, когда мы давали ему наркотики (без его ведома), — Борис Леонидович расспрашивал, кто в доме, чем занимаются. Иногда к нему заходила Н. А. Табидзе. Борис Леонидович приветствовал ее по-грузински, расспрашивал о дочери и ее семье, которые живут в Тбилиси, целовал руку, а «теперь, Ниночка, идите». Ни с кем, кроме медицинского персонала, Борис Леонидович не говорил о своем страдании. С родными он говорил об их делах. У Зинаиды Николаевны просил прощения за то, что «разоряет» ее своей болезнью (постоянное дежурство медицинских сестер оплачивала Зинаида Николаевна). Обычно медицинская сестра и я присутствовали при посетителях. Очень редко Борис Леонидович просил оставить его наедине с Зинаидой Николаевной или Александром Леонидовичем.

Борис Леонидович знал, что у него язва желудка — осложнение инфаркта, — и поэтому очень осторожен был, когда предлагали «непроверенные» блюда. Он выяснил, что самая опасная еда — с выраженными вкусовыми качествами. Он отказался от прежде любимого крепкого горячего чая. Настороженно относился к еде, приготовленной Таней, говоря, что «ее глупость в этом вопросе доходит до святости». Однажды Таня приготовила слишком сладкий мусс. Борис Леонидович отказался его есть и попросил в будущем «присматривать за Таней». «Что вы, Борис Леонидович, ведь Таня всю душу вкладывает, делая что-либо для вас». — «Душу она вкладывает, а грязь остается».

Ежедневно к даче подъезжали машины иностранных корреспондентов. Их не впускали во двор. Александр Леонидович выходил за калитку и говорил с ними. Я рассказывала об этом Борису Леонидовичу, думая как-то развлечь. Но он очень равнодушно выслушивал меня. Как-то днем я долго не заходила к Борису Леонидовичу. Читала в своей комнате статьи, присланные немецким доктором, о лечении язвы желудка. Прислал их он вместе с коротеньким письмом, в котором выражал восхищение талантом Бориса Леонидовича, желал ему выздоровления и просил ознакомить лечащего врача с его статьями, в надежде на то, что рекомендации, предложенные в них, могут быть полезны Борису Леонидовичу.

Когда я вошла к Борису Леонидовичу, он спросил, что я делала. «Наверно, вы все пишете историю моей болезни».

Я ему рассказала о статье и показала письмо. Борис Леонидович оживился. Попросил прочитать письмо. Это был единственный раз, когда Борис Леонидович заинтересовался корреспонденцией.

Из Голландии приехали люди с огромным букетом тюльпанов. Борис Леонидович не стал их смотреть и просил не вносить в его комнату. Он никогда не рвал цветов и не любил их в вазах. Но любовался ими в саду, в поле (со слов родных).

Напротив комнаты, где лежал Борис Леонидович, росли вишневые деревья. Борис Леонидович часто спрашивал, цветут ли они. И вот когда появились цветы, я предложила принести ему веточку. Он быстро отказался, а потом все расспрашивал,

как они цветут. Бориса Леонидовича раздражал яркий солнечный свет. «Я бы хотел, чтобы во время моей болезни было пасмурно». Он безошибочно предсказывал смену погоды и очень огорчался, предчувствуя жаркий день.

18 мая ночью меня позвала дежурная сестра. <...>

Борис Леонидович заметно похудел. Его прекрасная мускулатура и кожа начали терять упругость. <...>

Больше всех сестер Борис Леонидович полюбил Марфу Кузьминичну, старшую сестру, которая сочетала в себе искусство ухода за лежачими больными с непреклонным характером, не поддавалась уговорам больного. Дело в том, что Борис Леонидович по ночам просил не закрывать окно. Лежал он в легкой сорочке и не разрешал себя одевать теплее. Рядом с кроватью висел шерстяной жакет, но надеть его на Бориса Леонидовича было невозможно. Наши просьбы он считал «глупой прихотью» и в лучшем случае разрешал плотнее прикрыть себя одеялом. В ночь дежурства Марфы Кузьминичны я увидела Бориса Леонидовича, лежащего в жакете. Когда Марфа Кузьминична отвернулась, он показал глазами на нее, изобразил испуг и приложил палец к губам. Как-то утром, перед приходом смены, ночная сестра стала особенно тщательно все прибирать, разглаживать постель и сказала, что ее сменит Марфа Кузьминична (старшая сестра, ее все побаивались). Когда я вошла, Борис Леонидович посмотрел на меня жалобно и сказал: «Ну, сегодня придет деспотичная сестра, будем держаться».

Как-то ночью медицинская сестра Марина прибежала ко мне, не зная, можно ли дать Борису Леонидовичу карандаш, который он попросил. Я разрешила. Утром она сказала, что он ничего не захотел писать.

Когда у нас окрепло подозрение, что у Бориса Леонидовича рак, я и Александр Леонидович часто предлагали ему позвать к нему, кого ему хочется видеть. Он отказывался. <...>

Я заметила, что настойчивые предложения кого-либо пригласить вызывали грусть у Бориса Леонидовича. Очевидно, в этом он почувствовал безнадежность своего положения.

С каждым днем Борис Леонидович все больше менялся. Это было очень страшно. Все трудней он переносил процедуры. <...>

18 мая ночью было резкое ухудшение. Аритмия, падение давления. К утру с этим удалось справиться. При обычном утреннем обслуживании я обнаружила над левой ключицей раковый узел. Осмотр несколько затянулся. Обсудили с медицинской сестрой все назначения, и я сказала, что иду звонить в поликлинику — узнать результат анализов. Я всегда говорила Борису Леонидовичу, когда уходила; после того, как я не появлялась в его комнате несколько часов, он забеспокоился — не уехала ли я в Москву.

Звонить я ходила на соседнюю дачу к Ивановым или Леня возил меня в Дом творчества, чтобы оградить от общения с иностранными корреспондентами, шнырявшими вокруг.

На этот раз я звонила В. Г. Попову. Он сказал, что приедет днем. Мое наблюдение не было для нас неожиданностью. Просто хотелось, чтоб было что-нибудь опровергающее наш диагноз. К сожалению, каждый день приносил нам обратное.

В мое отсутствие Бориса Леонидовича кормила Зинаида Николаевна, и он сказал, что у меня усталый вид и надо следить за моим отдыхом. Не научилась, значит, я владеть собой.

Возвратившись, я сказала, что приедет В. Г. Попов. Его любил Борис Леонидович и вся его семья. Борис Леонидович попросил, чтоб его побрили и привели в порядок к приезду профессора.

Сестры очень умело перестилали постель, почти не двигая Бориса Леонидовича. Обычно он старался помогать, а тут не смог. Когда туалет был закончен и я с сестрой налаживали кислородную палатку, Борис Леонидович немного нервничал и сказал: «Во что я превратился — в засушенный листок между страниц книги».

22 мая 1960 г. Резко упал гемоглобин в крови — картина острого лейкоза. Решено было пригласить профессоров Кассирско-го и Петрова. Вновь заговорили о необходимости госпитализации. Зинаида Николаевна очень встревожилась. Она считала, что Бориса Леонидовича нужно отвезти в больницу только в случае необходимости «оперировать язву», а все остальное можно организовать дома. Она настояла, чтоб был сделан снимок легких и желудка на дому. Мы объяснили, что последнее — невозможно. Рентгенография легких была сделана 25 мая. Все организовала Е. Е. Тагер при помощи своего брата — рентгенолога проф. Тагера.

Борис Леонидович спокойно выслушал мое сообщение о том, что привезена рентгеновская установка. Когда все было сделано, Борис Леонидович сказал сестре: «Ну вот, теперь все узнают и все пойдет по-другому». Он очень устал после рентгена. Лежал в кисдородной палатке. Не захотел есть. К вечеру того же дня привезли снимок и приехали профессора Кассирский и Петров.

Заключение проф. Тагера: бронхогенный рак (?) левого легкого и метастазы в обоих легких.

Мы действительно узнали многое, но не все...

Кассирский понравился Борису Леонидовичу своей живостью, меткостью речи. Сказал, что он внешне напоминает ему Андроникова...

В эти дни он был уже очень слаб...

На столике оставались часы с крупной секундной стрелкой, по которым я обычно считала пульс и дыхание, и кружка коричневого цвета с отбитой эмалью, служившая ему многие годы. Борису Леонидовичу для определения времени часы были не нужны. Он безошибочно определял время по каким-то ему одному ведомым приметам даже ночью, но последние два-три дня стал ошибаться и очень огорчался этому.

Вечером того дня, когда был сделан снимок, он спросил, нет ли ответа. Я сказала, что должна его узнать на следующий день по телефону. После завтрака он сказал: «А теперь вы, наверно, пойдете звонить». Я ушла на 30-40 минут и вернувшись сказала, что на снимке подтвердился диагноз затяжной пневмонии. Он пристально смотрел на меня, расспрашивая, что это за болезнь и как она протекает. Мне казалось, что он не верит. Днем приехал В. Е. Гил-лер — главный врач поликлиники Литфонда. Это было неожиданно для Бориса Леонидовича. Борис Леонидович очень обрадовался. Потом говорил: «У вас, видно, толковый главный врач и внешне приятный, немного похож на Федина».

Приехать Гиллера я просила накануне, чтобы вместе с семьей Бориса Леонидовича обсудить, как дальше вести больного. Когда родным стало известно, что у Бориса Леонидовича рак, они вначале хотели скрыть это от приходящих и прочих интересующихся здоровьем Бориса Леонидовича. Только Леня справедливо заметил, что скрывать будет очень сложно, так как вокруг дачи почти постоянно торчали иностранные корреспонденты, все пронюхивающие. <...>

Надо было срочно достать трипанозу и пригласить проф. Минца и Попова. Они приехали в тот же день к вечеру. Отметили крайне тяжелое состояние больного, подтвердили диагноз...

27 мая в 4 часа утра исчез пульс, сознание было спутанным. После активной терапии пульс постепенно восстановился. Борис Леонидович открыл глаза, удивленно посмотрел на нас. «Почему вы суетитесь?» «Что вы без конца щупаете пульс? Мне

было так хорошо. Я ничего не чувствовал, а вы своими уколами вернули мне беспокойство».

Должна признаться, что у меня лицо было в слезах. Борис Леонидович внимательно смотрел на меня и ни о чем не спрашивал. Марфа Кузьминична выглядела не лучше меня, но быстро повернулась спиной, разбирая шприцы, — у меня положение было безвыходным, и я начала объяснять, что проснулась из-за кота Мишки, который влез в окно моей комнаты, раскрыл дверь и устроил сквозняк. Обвинила я бедного кота потому, что Борис Леонидович, зная его повадки, по вечерам просил найти кота и запереть на кухне. «Ну как же так. Вы должны были встать, выбросить Мишку. Закрыть все».

Я не выпускала руку Бориса Леонидовича, а он продолжал говорить о том, что напрасно мы его колем, что ему было хорошо, а теперь «опять беспокойство и мысли», что «жизнь была хороша», что, если она продлится, он ее посвятит только «борьбе с пошлостью в литературе мировой и у нас», что «пишут обо всем не теми словами». Это были его последние слова о литературе, которые слышала я.

Днем он спросил, жив ли Олеша, который заболел раньше Бориса Леонидовича и умер в начале мая. Медицинская сестра, не знавшая Олешу и не читавшая газет, вполне чистосердечно сказала, что если б он умер, то в «Литературной газете» было бы объявление, а она этого не видела.

Позже, когда я с Зинаидой Николаевной были у Бориса Леонидовича, он задал тот же вопрос. Зинаида Николаевна немного расстроилась, но я ее выручила, сказав, что, судя по всему, он уже не болен. Мы предупредили остальных членов семьи, и не зря, так как Борис Леонидович об этом говорил и с Александром Леонидовичем.

Борис Леонидович несколько раз повторял, как ночью ему было хорошо, когда «все ушло», и сказал, что «если так умирают, то это совсем не страшно».

Вечером приехали В. Г. Попов и доктор из института имени Склифосовского, и медицинская сестра О. А. Тараскина. Они привезли все необходимое для переливания крови, вплоть до штатива для ампулы. Определили группу крови. Борис Леонидович сказал, что во время Отечественной войны был донором.

Переливание прошло очень хорошо. Борис Леонидович заметно оживился, немного поднялось артериальное давление, неуклонно падавшее последние дни.

Когда вынули иглу из вены, на постель и на доктора брызнула кровь. Борис Леонидович критически посмотрел на все это и сказал: «Кровавая картина».

Вскоре он уснул. Ночь прошла спокойно...

Я была допущена, когда Борис Леонидович был «в полном порядке». Глаза оживленно блестели, он громко разговаривал, выражал неудовольствие, что мы делаем много инъекций. К нему зашла Н. А. Табидзе. Передала привет от дочери и зятя, врача из Тбилиси. «А что Алик говорит о моей болезни?» — спросил он. До этого у меня с Борисом Леонидовичем был серьезный разговор. После рентгена легких он с напряженным интересом прислушивался к моим распоряжениям и, увидев, что лечение не прекращается, а, наоборот, усилилось, спросил, часто ли мне приходилось лечить больных с инфарктом, протекающим с такими осложнениями, как у него. Я ответила утвердительно. «Они выздоровели?» — «Да». — «Назовите их». Я назвала.

Спросил, что ему делают для рассасывания пневмонии, — я ответила.

Оказывается, задолго до болезни Борис Леонидович время от времени говорил, что у него рак легкого, и, очевидно, все время болезни думал об этом, но никому ничего не говорил. Наше поведение после рентгена как будто бы рассеяло эти мысли. Мне кажется, Борис Леонидович позволил себя убедить: просто инфаркт миокарда с тяжелыми осложнениями. Хочется в это верить. <...>

Все сестры очень привязались к Борису Леонидовичу и говорили, что готовы дни и ночи быть возле него без всякой оплаты, только бы поправился, что такого благородного человека они не встречали, что не видели тяжелых больных, которые были настолько внимательны и заботливы к другим.

Борис Леонидович следил, чтоб сестры вовремя ели, чтоб одевались на ночь теплее, проверял, приготовлена ли теплая одежда. Как-то одна из сестер вздремнула ночью, но быстро очнулась и извинилась. Борис Леонидович сказал: ничего, у вас это хорошо получается. После ночи на 27-е Борис Леонидович просил, чтобы дежурила Марфа Кузьминична.

После приезда Минца мы с Борисом Леонидовичем, как обычно после консультаций, делились впечатлениями. Я рассказала, что Минц недавно перенес инфаркт и еще не приступил к работе. Приглашение застало его накануне отъезда на дачу после больницы. Борис Леонидович удивился: «Такой молодой и уже после инфаркта», «Он похож на шекспировского могильщика густой темно-рыжей шевелюрой и бровями, а лицо у него очень приятное».

Как-то Борис Леонидович задремал. Открыл глаза и молча осмотрелся, сказал, что, несколько раз просыпаясь, думал, что находится в больнице. «Когда б ни открыл глаза, вижу около себя белые халаты». Я сказала об этом родным и просила их чаще заходить к Борису Леонидовичу. Но он к этому не стремился.

Однажды я предложила Борису Леонидовичу почитать вслух. «Я ведь сам пишу книги, что же мне читать чужие», — ответил он с некоторым раздражением. Он отказывался слушать музыку, читать. Большую часть времени молчал.

Примерно на 6-й день болезни, когда Борису Леонидовичу стало хуже, утром, в то время, когда все завтракали, а с больным была Таня, я увидела, что она вышла в слезах и позвала Зинаиду Николаевну и Александра Леонидовича. Я оставалась за столом. Сестра зашла к больному. Вскоре пришла в столовую и сказала, со слов Тани, якобы Борис Леонидович хочет причаститься. Потом об этом говорил Александр Леонидович, но Борис Леонидович не повторил своего желания.

После 27 мая Борису Леонидовичу стало особенно плохо... Было жарко. Мы часто меняли простыни, подтягивали Бориса Леонидовича повыше, и как-то он сказал мне: «Ведь вы всё понимаете. Зачем же на таких гужах тянете меня в жизнь? Посмотрите на дно своей души. Жизнь была хороша, очень хороша. Но и умирать когда-нибудь надо». Он говорил: «С каждым днем сужается круг возможностей — уже почти ничего не остается».

28 мая было первое переливание крови.

29 мая состояние было улучшено на день.

Вечером упало давление, пульс с перебоями, усилилась одышка. Решено было 30 мая снова перелить кровь. С утра Борис Леонидович нетерпеливо ждал этого. Силы Бориса Леонидовича с каждым часом убывали. <...> Он лежал, откинув одеяло, двери и окна были распахнуты, и все время жаловался на духоту. В этот день Борис Леонидович разговаривал совсем мало. Его очень беспокоило присутствие людей в комнате, и дежурная сестра находилась возле двери в коридоре, а я у окна его комнаты со стороны террасы. Когда дыхание становилось неровным, мы входили, делали инъекции, давали кислород. Это было каждые два часа. Это было в первой половине дня. С обеда мы не выходили из комнаты...

Утром он позвал Леню. Попросил побрить его и наладить палатку. Спросил, как занятия, порадовался, узнав, что он сдал экзамен. Долго смотрел на сына.

Время тянулось медленно. От инъекции до инъекции. Нам казалось, что мы теряем Бориса Леонидовича. Во второй половине дня приехал Женя. Он был в издательстве, узнал, что выходит перевод Бориса Леонидовича. Я сказала ему об этом и предложила

позвать Женю. Вначале Борис Леонидович отказался: «Все это чепуха, какое это имеет значение». И все-таки позвал Женю. Я и сестра вышли из комнаты. Вскоре к Борису Леонидовичу вошел Александр Леонидович и быстро вышел, сказав, что Борис Леонидович ничего не говорит.

Мы с сестрой принялись за инъекции, ненадолго выключили кислородную палатку, так как в ней Борису Леонидовичу было тяжко, и Станислав Нейгауз давал ему кислород прямо из шланга.

В 21 час привезли кровь. В. Г. Попов помрачнел, увидев больного...

Было ясно, что часы Бориса Леонидовича сочтены. Дыхание становилось все более прерывистым. Борис Леонидович позвал Зинаиду Николаевну.

Примерно в 23 часа взгляд Бориса Леонидовича начал затуманиваться. Позвали сыновей. Вскоре позвали меня и мед. сестру. Женя громко сказал: «Боренька, скоро приедет Лида, она уже в пути. Продержись еще немного». Он открыл глаза. Утвердительно кивнул головой. «Лида — это хорошо», — сказал Борис Леонидович и попросил всех, кроме детей, выйти из комнаты*.

Приехала она в четверг, после похорон Бориса Леонидовича.

Когда я и сестра вошли, пульса не было. Сознание еле теплилось. Жизнь сосредоточилась в судорожных вдохах, которые становились все реже.

В 23.20 Бориса Леонидовича не стало.

* Только дня за 4 до конца он сказал, что хотел бы поговорить с сестрой Лидой, живущей в Лондоне. Сейчас же сыновья отправили телеграмму в Лондон. Это было в пятницу. В субботу пришел ответ, что начаты хлопоты о визе. В понедельник пришла еще одна телеграмма, а вслед за тем — был телефонный разговор о том, что Лида вылетает. Вечером в понедельник сыновья поехали на аэродром, но Лида не прилетела, так как ей не была выдана виза.

Сразу же я по телефону сообщила об этом в поликлинику Гиллеру. <...>

Около дачи находилась машина иностранной марки. Ночью корреспонденты пытались войти во двор, но это увидел Александр Леонидович и выгнал их прочь.

Остаток ночи я и медицинская сестра провели на даче — родные просили нас не уезжать. Никто не спал. Разговаривали тихо.

В 6 часов утра во дворе появилась расстроенная, плачущая женщина, громко кричавшая: «Теперь вы можете меня пустить, теперь меня бояться нечего».

Никто не вышел ей навстречу.

Она прошла к Борису Леонидовичу.

Часов в 11 приехала машина из поликлиники, на которой Арий Давидович Ратницкий привез бланк свидетельства о смерти. Заполнив его, я завершила круг своих обязанностей и постаралась незаметно уехать.

КОММЕНТАРИИ

Тексты воспоминаний, если специально не оговорено, печатаются по изданию: Воспоминания о Борисе Пастернаке. Слово/Slovo. Москва, 1993.

А. Пастернак

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Александр Леонидович Пастернак (1893-1982) — архитектор. Автор книги «Воспоминания», с сокращениями вышла в Мюнхене (по-русски; 1983), а в 1984 году в Оксфорде на английском, иллюстрированная рисунками Л. О. Пастернака; полностью: М., «Прогресс-традиция», 2002.

1 Леонид Осипович Пастернак (1862—1945) в сентябре 1921 года с женой и дочерьми Жозефиной и Лидией уехал в Германию, жил в Берлине. В 1938 году семья перебралась в Англию. С 1940 года, после смерти жены, Л. Пастернак, жил в

Оксфорде. Его воспоминания «Записи разных лет», собранные и обработанные Ж. Пастернак, вышли в 1975 году в Москве в изд-ве «Советский художник».

Розалия Исидоровна Пастернак (1868-1939) — пианистка и педагог, с большим успехом концертировавшая в России и за границей. Уже в 1885 году в Одессе вышла ее краткая биография, написанная О. Бах-маном. Ее игру высоко ценил Л. Толстой. Ради семьи отказалась от концертной деятельности. Ее последним публичным выступлением 11 ноября 1911 года было участие в концерте в Большом зале консерватории, посвященном памяти Л. Толстого.

2 В 1903 году Пастернаки жили в Оболенском около Малоярославца. Об этом Б. Пастернак рассказывает в очерке «Люди и положения».

317 октября 1905 г. Николай II подписал манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», в котором декларировались основные гражданские свободы и учреждалась Государственная Дума.

4 Имеется в виду разгром Севастопольского восстания при участии генерала А Н. Меллер-Закомельского (1844-1923) и его карательные экспедиции на Сибирской железной дороге в 1906 г.

5 Юлий Дмитриевич Энгель (1868-1927).

6 Поездка в Петербург состоялась в конце декабря 1904 г.

7 Первые сохранившиеся у А. Л. Пастернака наброски стихотворений датируются 1909—1910 гг.

Ж. Пастернак

ВОСПОМИНАНИЯ

Жозефина Леонидовна Пастернак (1900-1993) — доктор философии. Выпустила под псевдонимом Анна Ней в 1938 году в Берлине в изд. «Петрополис» книгу стихов «Координаты», позже под настоящей фамилией автора книга вышла в Мюнхене. В Париже (YMCA-Press, 1984) опубликован сборник стихов «Памяти Педро».

1 Генриетта Абрамовна Дайлис.

2 Генриетта Петровна Лунц.

3 Федор Карлович Пастернак (1880-1976) — троюродный брат, впоследствии муж Ж. Пастернак.

4 В Париже с 21 по 25 июня 1935 г. проходил Международный Конгресс писателей в защиту культуры.

5 О двух типах женской красоты Пастернак писал в «Послесловье» к «Охранной грамоте» (1931).

Л. Пастернак-Слейтер

БОРИС ПАСТЕРНАК. ЗАМЕТКИ

Лидия Леонидовна Пастернак (в замужестве Слейтер; 1903—1989) — биохимик, доктор наук. Автор книг стихов «Вспышки магния» (1975), «До восхода солнца» (1972). Переводчик стихов Пастернака на английский язык, выходивших несколькими изданиями (1958,1959,1963,1972,1973, 1980).

К. Локс

ПОВЕСТЬ ОБ ОДНОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ (1907-1917)

Константин Григорьевич Локс (1889-1956) — историк литературы, переводчик и педагог. В 1913 году окончил историко-филологический факультет Московского университета. В 20-х годах был заведующим кафедрой прозы Высшего литературно-художественного института им В. Я. Брюсова, после войны преподавал в ГИТИСе. Переводил Бальзака, Мериме, Стендаля. Печатался как критик и историк литературы в журналах «Интернациональная литература», «Новый мир», «Знамя», «Литературная учеба». «Повесть об одном десятилетии» посвящена литературной жизни его поколения, полностью опубликована в сб. «Минувшее», № 15, М.-СПб., 1994.

1 Юлиан Павлович Анисимов (1886-1940) — поэт, переводчик, художник, автор книги стихов «Обитель» (1913). В очерке «Люди и положения» Пастернак писал о нем: «Хозяин, талантливейшее существо и человек большого вкуса, начитанный и образованный, говоривший на нескольких иностранных языках свободно, как по-русски, сам воплощал собою поэзию в той степени, которая составляет очарование любительства и при которой трудно быть еще вдобавок творчески сильною личностью, характером, из которого вырабатывается мастер». Пастернак познакомил Анисимова с поэзией Р. М. Рильке.

2 Борис Александрович Садовской (настоящая фамилия Садовский; 1881-1952) — поэт, следовавший классической традиции русской поэзии. Выпустил сборник стихов «Самовар» (1914) и др. Выступал также как критик.

3 Доклад А. Белого был прочитан 1 ноября 1910 года.

4 Псевдоним Льва Львовича Кобылинского (1879—1947), сына известного московского педагога Л. И. Поливанова. Окончил юридический факультет Московского университета. Поэт, теоретик символизма, переводчик Бодлера. Автор книг: «Иммортели» (1904). «Stigmata» (1911), «Арго» (1914). С 1913 года жил в Швейцарии. Герой юношеской поэмы Цветаевой «Чародей».

5 О кружке, собиравшемся у Анисимова, Пастернак в очерке «Люди и положения» пишет: «У кружка было свое название. Его окрестили "Сер-дардой", именем, значения которого никто не знал. Это слово будто бы слышал член кружка, поэт и бас Аркадий Гурьев однажды на Волге».

6 Вера Оскаровна Станевич (1887—1967) — поэтесса и переводчица; в 1912 году стала женой Анисимова.

7 Сергей Павлович Бобров (1889—1971) — поэт, переводчик, прозаик, теоретик стиха, одним из первых применивший математические методы в стиховедении. Писал книги для Детгиза по занимательной математике. Переводил Диккенса, Франса, Стендаля. Автор биографической прозы «Мальчик», вышедшей в сильно сокращенном виде в 1966 и в 1976 году (2-е изд.). В автобиографическом очерке «Люди и положения» Пастернак, говоря о людях, окружавших его в молодости, вспоминает Боброва. Переписка Пастернака с Бобровым охватывает 1913—1956 годы, с перерывами.

8 Альманах «Лирика» вышел в апреле 1913 года, он объединил восемь молодых поэтов, представивших каждый по пять стихотворений: Аниси-мов, Асеев, Бобров, Пастернак, Раевский (Дурылин), Рубанович, Сидоров, Станевич. Был взят следующий эпиграф из стихотворения Вяч. Иванова «Воззревшие»: «Пора птенцам, Орлица, / Очами пить эфир: / Яви теням — их лица, / И странным мира — мир».

9 Сергей Николаевич Дурылин (1886-1954) — театровед, искусствовед. Учился в Московском археологическом институте. Печатал стихи и прозу. В 1920 году стал священником. Был в ссылке с 1922 по 1932 год. Автор многочисленных работ о русском театре. Пастернак писал о роли Дурылина в его жизни в очерке «Люди и положения»: «Это он переманил меня из музыки в литературу, по доброте своей сумев найти что-то достойное внимания в моих первых опытах». Переписка Пастернака с Дурыли-ным опубликована в сб. «Встречи с прошлым», JNfe 7, М., 1990.

10 В этом барском доме одновременно с Пастернаками проводили лето еще пять или шесть семейств. Пастернаки занимали четыре комнаты этого прекрасного дома. Он цел и теперь, в нем расположена школа, недалеко от станции «Колхозная». Пастернак описал его в очерке «Люди и положения».

11 Зиму и весну 1914—1915 годов Пастернак жил в доме коммерсанта Морица Филиппа в качестве воспитателя его сына Вальтера. Летом 1914 года жил на даче у

поэта Ю. Балтрушайтиса и занимался школьными предметами с его сыном. (См. об этом в очерке «Люди и положения».)

12 Предисловие было написано Н. Асеевым: «Мы знаем, что звонко прозвучат эти стихи в оцепенелой тишине русского Символизма, ибо они наследство его по праву рождения и им довлеет рыцарский меч раскаленный».

13 Стихотворение не было напечатано и осталось неизвестным.

14 Пастернак посылал Локса к Анисимову с требованием немедленного письменного извинения.

15 Это стихотворение было коренным образом переработано, снято посвящение «И. В.» (Иде Высоцкой). В новой редакции оно получило название «Зимняя ночь». Опубликовано в новой редакции в журнале «Новый мир» (1928, № И).

16 Чудовский переулок — теперь ул. Огородной Слободы. Высоцким принадлежал дом, где потом находился Дворец пионеров.

17 Сестер Синяковых было пять, и все они, как вспоминали современники, отличались красотой. Надежда Михайловна, в замужестве Пиче-та (1889-1975), — пианистка; Мария Михайловна, в замужестве Уречина (1890-1984), — художница; Ксения Михайловна, в замужестве Асеева (1893-1985); Вера Михайловна, в замужестве Гехт (1895-1973); и Зинаида Михайловна, в замужестве Мамонова, певица. Приехали они из села Красная Поляна, находившегося под Харьковом.

18 Любовные стихи книги «Поверх барьеров» (1917) посвящены Надежде Михайловне Синяковой.

19 Тверской бульвар, дом № 9.

20 Василий Васильевич Каменский (1884—1961) — поэт, близкий Маяковскому, Хлебникову, Асееву. Переменил множество профессий. Был конторщиком, бухгалтером, актером, авиатором. Занимался живописью и участвовал в выставках современного искусства. Автор поэтических книг «Танго с коровами. Железобетонные поэмы» (1914), «Девушки босиком» (1917), «Звучаль Веснеянки» (1918) и многих других.

21 Биохимик Борис Ильич Збарский (1885—1954) был главным инженером заводов З. Г. Резвой (вдовы Саввы Морозова) во Всеволодо-Вильве на Урале, где Б. Пастернак провел зиму и весну 1916 года. Следующую зиму Збарский и Пастернак работали на заводах Ушковых в Прикамье. Пастернак встречался с ним и в последующие годы. Рассказы Збарского о жизни Пастернака во Всеволодо-Вильве опубликованы А. Штейном в его мемуарах «И не только о нем...» (Отрывки мемуарных записей 1960-1967 гг.) в журнале «Театр» (1988, № 1-2).

22 Первое издание книги «Поверх барьеров» — М., 1917. Издание 1929 года под этим же названием, с подзаголовком «Стихи разных лет», включало переработанные стихи первого издания, стихи из «Близнеца в тучах», а также новые стихи, то есть по существу это была новая книга.

23 Стихотворение «Импровизация» (1915) не претерпело никаких изменений в издании «Поверх барьеров» 1929 года.

24 Стихотворение «Петербург» 1915 года.

25 В июне — июле 1917 года писались «Драматические отрывки», посвященные Французской революции, они были опубликованы в газете «Знамя труда» (1 мая и 16 июля 1918 года). Но в них нет сцены, которую вспоминает Локс.

26 Повесть, изданная в 1922 году как «Детство Люверс», была началом написанного зимою 1917/18 года вчерне романа.

27 Локс писал: «...его единственная фабула — громкий, во весь голос, разговор о том, о чем мы не умеем говорить или говорим шепотом... Человек медленно прорастает сквозь дремучую толщу мира, его на каждом шагу окружают неслыханные чудеса,

очень, впрочем, обычные, — улыбка матери, синие звезды и более прозаический свет лампы» («Красная новь», 1925, № 8, с. 286-287).

С. Дурылин

ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ «В СВОЕМ УГЛУ»

Сергей Николаевич Дурылин (1886-1954) — театровед, искусствовед. Был в ссылке с 1922 по 1932 год. Автор многочисленных работ о русском театре.

1 Доклад «Символизм и бессмертие» был прочитан 10 февраля 1913 г. См. об этом «Люди и положения».

2 Артур Никит (1853-1922) — венгерский дирижер.

3 См. «Белые стихи» Пастернака 1918 г.

4 «Охранная грамота».

5 Неточная цитата из «Огненосцев» Вяч. Иванова.

6 Заключительная строка из стихотворения Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?».

7 Этот экземпляр находится в Hoover Institution Archives (собр. Т. Хольцмана; США).

С. Бобров

0 Б. Л. ПАСТЕРНАКЕ

Сергей Павлович Бобров (1889-1971) — поэт, переводчик, прозаик, теоретик стихосложения, одним из первых применил математические методы в стиховедении.

1 Газета «Приазовский край», 28 июля 1914 г.

2 Абзац относится к 1940 г.

3 Федор Федорович Платов (1895-1967) — художник и литератор. Написанная для Центрифуга «Третья книга от Федора Платова» (1916) была напечатана и конфискована цензурой.

4 «Черный бокал» — статья Пастернака во втором сборнике «Центрифуга». М., 1916.

5 Николай Николаевич Суханов (Гиммер) — публицист, историк революционного движения, сотрудник Горького по газете «Новая жизнь», журналам «Летопись» и «Современник», в котором был опубликован перевод Пастернака комедии Г. Клейста «Разбитый кувшин» (1915, № 5).

Л. Горнунг

ВСТРЕЧА ЗА ВСТРЕЧЕЙ

Лев Владимирович Горнунг (1902-1995) — поэт, мемуарист, фотограф-портретист. Автор воспоминаний об А. Ахматовой, М. Волошине, С. Пар-нок, О. Мандельштаме.

1 Борис Владимирович Горнунг (1899—1976) — филолог.

2 Петр Никанорович Зайцев (1889-1970) — поэт, мемуарист, автор сборника стихов «Южное солнце» (1923). В 1922-1925 гг. секретарь издательства «Недра». Один из основателей кооперативного издательства «Узел». Автор воспоминаний об Андрее Белом.

3 Сергей Сергеевич Заяицкий (1893—1930) — поэт, прозаик. Автор книги «Африканский гость» (1927) и поэмы для детей «Клю и кля» (1925).

4 Софья Яковлевна Парнок (1885-1933) — поэтесса, прозаик, критик. Автор сборников «Стихотворения» (1916), «Розы Пиерии» (1922), «Лоза» (1923), «Музыка», «Вполголоса» (1928), «Собрание стихотворений» (Анн-Арбор, «Ардис», 1979. Составитель С. В. Полякова). С. Парнок посвящен цикл стихотворений М. Цветаевой «Подруга».

5 Александр Ильич Ромм (1898—1943) — поэт, переводчик. Во время Отечественной войны корреспондент на Черноморском флоте. Покончил с собой. Брат кинорежиссера Михаила Ильича Ромма.

6 А. Ахматова была против этого вечера, и он не состоялся.

7 Михаил Алексеевич Кузмин (1875-1936) — поэт, прозаик. Пастернак высоко ценил прозу М. Кузмина. На подаренном М. Кузмину экземпляре «Сестра моя жизнь» (М., 1922) Пастернак написал: «Дорогому Михаилу Алексеевичу Кузмину. Всей душой на полном блюде приведенной нотной основы. Б. Пастернак». Надпись сделана вокруг записи музыкальной фразы из четвертой баллады Шопена. В 1924 г. Пастернак посвятил Кузмину повесть «Воздушные пути».

8 Ответы Пастернака напечатаны не были. Сохранились в фонде А. Крученых (РГАЛИ). Опубликованы в журнале «Звезда», 1990, № 2.

9 Генрих Эрнестович Ланц (1886-1945) — философ, филолог, родился в Москве в семье выходца из Америки. С начала 1920-х гг. преподавал в Стенфордском университете (США), приезжал с лекциями в СССР.

10 Алексей Елисеевич Крученых (1886—1968) — поэт, коллекционер книг и рукописей. После смерти С. Есенина издал несколько литографированных брошюр, разоблачающих есенинщину. Наиболее известная из них «Есенин и Москва кабацкая».

11 Дмитрий Васильевич Петровский (1892—1955) — поэт, литератор. Одно время примыкал в Лефу. Автор сборников «Повстанья» (1925), «Поединою» (1926) и др. Был в дружеских отношениях с Пастернаком с 1914 по 1928-й, когда резко и необоснованно порвал с ним.

12 Давид Давидович Бурлюк (1882-1967) — поэт-футурист и художник.

13 Сергей Юрьевич Судейкин (1883-1946) — живописец, театральный художник. В 1910-е гг. участник «Голубой розы» и «Мира искусства», участвовал в Русских сезонах С. Дягилева. Жил во Франции, потом в США.

14 Павел Николаевич Лукницкий (1900-1973) — писатель, биограф А Ахматовой и Н. С. Гумилева.

15 Иван Александрович Кашкин (1899-1963) — переводчик, критик, литературовед. Создатель новой школы перевода. Переводил Д. Конрада, Дж. Чосера, Т. Харди и др. Автор первых в Советском Союзе работ о Хемингуэе, которые высоко оценил сам Хемингуэй.

16 Ирина Николаевна Пастернак, урожденная Вильям (1898-1986).

17 Василий Алексеевич Ватагин (1883/84-1969) — скульптор. В 1924 г. сделал скульптурный портрет Пастернака.

18 Самуил Евгеньевич Фейнберг (1890-1962) — знакомый юности Пастернака.

19 Владимир (Вольдемар) Казимирович Шилейко (1891—1930) — востоковед, поэт, переводчик. Ему принадлежит перевод «Гильгамеша».

20 После присуждения Нобелевской премии Пастернаку его бывший ученик Вальтер Филипп прислал письмо, в ответ на которое Пастернак ответил 21 янв. 1959 г. (т. X наст. собр.).

21 «Неизданный Хлебников» — выпуски I-XXX. М., 1928-1933.

22 Павел Николаевич Медведев (1891-1938) — литературовед, в то время заведующий литературно-художественным отделом Ленинградского отделения Госиздата.

23 Юрий Никандрович Верховский (1878-1956) — поэт, переводчик, историк литературы. Автор сборников стихов: «Разные стихотворения» (М., 1908), «Солнце в заточении» (М., 1922), «Идиллии и элегии» (П., 1910). Автор исследований в области пушкинской эпохи: «Е. А. Баратынский. Материалы к его биографии. Из Татевского архива Рачинских» (1916), «Поэты ггушкинской поры» (1919), «Барон Дельвиг. Материалы биографические и литературные» (1922). Переводил поэтов Возрождения, Мицкевича, грузинских лириков.

24 Владимир Владимирович Софроницкий (1901-1961) — пианист и педагог.

25 Леонид Евгеньевич Фейнберг (1896-1980) — художник-график. Автор работы «Сонатная форма в поэзии Пушкина». Знакомый Пастернака.

26 «Волны» — цикл стихотворений, написанный в сентябре — октябре 1931 г. в Грузии и в Москве. Впервые в «Новом мире», 1932, № 1. Вошел в книгу «Второе рождение» (1932).

27 Альберт Коутс (1882-1953) — английский композитор, дирижер. С 1919 г. — главный дирижер Ковент-Гарден. В 1926-1927 гг. и 1932 г. концертировал в Ленинграде и в Москве.

28 Андрей Владимирович Звенигородский (1878-1961) — поэт. Автор сборников стихов: «Delirium tremens* (М., 1906), «Sub Jovefrigido» (М., 1909). Близкий знакомый О. Мандельштама.

29 Константин Абрамович Липскеров (1889-1954) — поэт, переводчик грузинских и армянских поэтов.

30 Марина Казимировна Баранович (1901/2-1975) — переводчица. Друг Пастернака. Перепечатывала роман Пастернака «Доктор Живаго». В архиве М. Баранович сохранилось 23 письма Пастернака.

31 В семейном архиве Б. Пастернака сохранилось заявление, написанное рукой Пастернака, о пособии на лечение от 24 июля 1948 года, А. Ахматова только поставила свою подпись. В тот же день Пастернак писал З. Пастернак в Переделкино: «Анне Андреевне достал пособие в 3000 в Литфонде... В ЦК и в Союзе разрешили издательствам дать ей переводную работу. Я позвонил Головенченке. Скучающий высокомерный тон. А? Ахматова? Да, говорили. Надо будет выяснить, умеет ли она переводить. Я послал его к чертям и бросил трубку...» (т. VIII наст. собр.).

32 Леонид Борисович Пастернак (1938-1976) — физик-кристаллограф.

33 Чтобы выразить поддержку Пастернаку в эти дни, Л. Горнунг послал ему записку: «Дорогой Борис Леонидович. Шлем Вам привет. Не падайте духом. Все образуется. Берегите здоровье и всех своих. Ваши друзья с Вами душой и сердцем. Ваш Л. Г. 18 ноября 1958». (Семейный архив Б. Пастернака.)

34 Это, очевидно, было вызвано тем, что 26 января 1959 г. в дни работы внеочередного XXI съезда КПСС Пастернак написал Н. С. Хрущеву письмо, в котором отвергал нападки на роман: «...суд вынесен о книге, которой никто не знает. Ее содержание искажено односторонними выдержками. Искажена ее судьба. Появлению ее на Западе предшествовали полу-торагодовые договорные отношения с Гослитиздатом на ее цензурованное издание». В этом же письме Пастернак напоминает Н. С. Хрущеву, что он не только писатель, но и переводчик. «...Не хочу утомлять Вас ни перечнем сделанного мною в этой области... Достаточно одного Вашего недвусмысленного распоряжения, если Вы пожелаете его сделать, чтобы Ваши исполнители сами восстановили все подробности, не отягощая ими Вашего внимания, и чтобы все изменилось. По последствиям я догадаюсь о Вашем решении, они мне будут ответом» (т. X наст. собр.). Пастернаку дали возможность в издательстве «Искусство» перевести «Стойкого принца» Кальдерона. Но сборник стихотворений Пастернака в Гослитиздате был издан в 1961 году после смерти поэта.

35 Никаких пожеланий о похоронах Пастернак никогда не высказывал.

О.Петровская

ВОСПОМИНАНИЯ

О БОРИСЕ ЛЕОНИДОВИЧЕ ПАСТЕРНАКЕ

Ольга Георгиевна Петровская (1902-1988) — поэтесса, переводчица, мемуаристка. Составитель (совместно с К. Асеевой) сборника «Воспоминания о Николае Асееве» (М., 1980). Главы из мемуарной книги «Утро» опубликованы в журнале «Радуга» (Киев, 1970, № 1).

1 Владимир Александрович Силлов (1901—1930) — критик, много занимавшийся Хлебниковым и составивший библиографию его произведений. Был консультантом производственного отдела фабрики № 1 «Совки-но». 8 января 1930 г. арестован и расстрелян 16 февраля. Тайно захоронен тогда же на Ваганьковском кладбище.

2 Узнав о расстреле от Кирсанова 16 марта на премьере «Бани» Маяковского, Пастернак писал отцу: «Знал я одного человека, с женой и ребенком, прекрасного, образованного, способного, в высшей степени и в лучшем случае передового. Возрастом он был мальчик против меня, мы часто с ним встречались в период между 24-м и 26-м годами... Ему было 28 лет. Говорят, он вел дневник, и дневник не обывателя, а приверженца революции, и слишком много думал, что и ведет иногда к менингиту в этой форме. Когда, узнав все это, я пошел к его жене, с которой был одно время в большой дружбе, у ней уже зарубцевалась шрамом через всю руку ее первая попытка выброситься из комнаты на улицу...» (т. VIII наст. собр.).

Пастернак писал о Силлове Н. Чуковскому 17 марта 1930 года: «Из Ле-фовских людей в их современном облике, это был единственный честный, живой, укоряюще благородный пример той нравственной новизны, за которой я никогда не гнался по ее полной недостижимости и чуждости моему складу... Скажу точнее: в Москве я знал одно лишь место, посещение которого заставляло меня сомневаться в правоте моих представлений. Это была комната Силловых в пролеткультовском общежитии на Воздвиженке» (т. VIII наст. собр.).

3 В «Охранной грамоте» Пастернак вспоминает, что, узнав о самоубийстве Маяковского, он «вызвал на место происшествия Ольгу Силло-ву. Что-то подсказало мне, что это потрясение даст выход ее собственному горю».

4 Тициан Табидзе (1895-1937), Паоло Яшвили (1895-1937).

Б. Кунина

0 ВСТРЕЧАХ

С БОРИСОМ ПАСТЕРНАКОМ

Евгения Филипповна Кунина (1898-1997) — поэт, переводчик, мемуарист. Ее воспоминания о П. Антокольском напечатаны в сб.: «Воспоминания о Павле Антокольском» (М., 1987).

1 Иосиф Филиппович Кунин (1901-1996) — музыковед, автор книг «Чайковский», М., 1958; «Римский-Корсаков», М., 1964; «Юлий Энгель. Глазами современников», М., 1981.

2 В бумагах директора Тургеневской читальни сохранилась расписка Пастернака в получении денег за этот вечер: «Двадцать миллионов рублей за выступление в Тургеневской читальне 22 июня от Е. Ф. Куниной получил. Б. Пастернак. 23/VI.22» (Семейный архив Б. Пастернака).

3 Цитата из письма Пастернака к О. Фрейденберг 13 октября 1924 года. Речь идет о заступничестве Пастернака за И. Ф. Кунина, арестованного и высланного за участие в кружке социал-демократической молодежи.

Хлопоты велись Пастернаком через Карла Радека. Кунину было позволено временно вернуться в Москву для операции. Последовавшее за тем острое психическое расстройство дало возможность признать его «условно осужденным».

Т. Толстая

ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ

Татьяна Владимировна Толстая (1892-1965) — поэтесса, под псевдонимом Вечорка выпустила несколько стихотворных сборников, автор исторических романов о Бестужеве-Марлинском, Лермонтове и Рылееве, мемуарист. Ее записи о Пастернаке были опубликованы А. Е. Парнисом в «Приложении к Литературной газете», февраль 1990.

1 Хозяйками квартиры были не Чугуновы, а писательница Ольга Петровна Рунова (1864-1952) и ее дочь концертмейстер Н. А. Мещерская (1892-1966).

2 Константин Константинович Сараджев (1900-1942) — звонарь-композитор, ему посвящена повесть А. И. Цветаевой «Московский звонарь».

3 «Сон на Волге» — опера А. Аренского.

4 Борис Михайлович Зубакин (1894-1937) — археолог и поэт-импровизатор, богослов, друг А. И. Цветаевой.

5 Дочь Т. В. Толстой — Лидия Борисовна, в замужестве Либедин-ская и брат Т. В. Толстой, историк Алексей Владимирович Ефимов (1896-1971).

6 Имеется в виду книга стихов Татьяны Толстой «Треть души» (изд. Московского цеха поэтов, 1927), подаренная автором с надписью: «Б. Л. Пастернак. Т. Толстая. Москва, 1927».

7 Артем Веселый (Николай Иванович Кочкуров; 1899-1937) — автор романа «Россия, кровью умытая».

8 Речь идет о строчке из первой редакции главы «Детство» из поэмы «Девятьсот пятый год»: «Снег идет со вчера. / Он идет еще под вечер. / За ночь / Проясняется». В окончательном варианте разговорная форма заменена книжной: «Снег идет третий день».

9 Из стихотворения «Пространство»: «И тянется рельсовый след / В тоске о стекле и цементе».

10 В издательстве «Никитинские субботники» предполагалось выпустить книгу Т. Толстой о Рылееве. Маруся — Мария Константиновна Ефимова (1896-1975?) — двоюродная сестра Т. Толстой.

11 Имеется в виду «Статья о поэте», которая в процессе писания стала «Охранной грамотой», и обмен письмами с Рильке весной 1926 г.

12 Французский поэт Жюль Лафорг (1860-1887), автор книг стихов «Жалобы» и «Подражание Богородице-Луне». Пастернак вспоминал, что какое-то время писал под сильным влиянием Лафорга (утерянная им «Лафоргианская тетрадь» упоминается К. Локсом).

13 «Сестра моя жизнь» вышла летом 1922 г.

14 Имеется в виду лето 1914 г., которое Пастернак провел домашним учителем у Балтрушайтисов, соседом которых был Вяч. Иванов с женой Верой Константиновной Шварсалон (1890-1920).

15 Имеется в виду письмо 27 октября 1927 г. к Горькому, где Пастернак писал по поводу поездки Б. Зубакина и А. Цветаевой в Сорренто: «...На Ваше приглашенье смотрел, как на рождественскую сказку, вкус же к таким метаморфозам прямо у меня связан с тем чувством к людям, которое сами Вы во мне Вашей деятельностью воспитали. Я душой радовался их поездке, как чуду, свалившемуся с неба» (см. т. VIII наст. собр.). Пастернак виделся с Горьким после его возвращения в Москву в 1933 г.

Я. Черняк

ЗАПИСИ 20-х ГОДОВ

Яков Захарович Черняк (1898-1955) — критик, историк литературы и общественной мысли в России. Участник революции и гражданской войны. В 1922-1931 гг. работал в журнале «Печать и революция» и издательстве «Земля и фабрика». В 1931-1932 гг. старший научный сотрудник Государственной Академии искусствоведения. В 30-х годах был ученым секретарем издательства «Academia». Автор книги «Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве» (по архивным материалам). М.-Л., 1933; подготовил специальное издание трудов Н. П. Огарева с обширными комментариями, вышедшее в Политиздате (1952, 1956). С Б. Пастернаком Я. Черняк познакомился в журнале «Печать и революция»,

после того как была напечатана в 1922 году (кн. I) рецензия на книгу Пастернака «Сестра моя жизнь» (вышедшая в издательстве З. Гржебина в 1922 г.). В этой рецензии он писал: «"Сестра моя жизнь" симптоматична для всей русской поэзии. Она знаменует собой поворот от непримиримости школ (их односторонности) в такой же мере, как и от эклектизма, столь милого сердцу "уставших" <...> Художественная критика не разойдется в оценке редких по изобразительности и музыкальности стихов, построенных непринужденно и дерзко, в то же время в сложнейшей, сознательной культурной преемственности. Культурная традиция крепкой тканью соединяет лирические стихи книги в твердый культурный факт... Эта работа привела его к просветленной, а в отдельных стихах... к пушкинской ясности и простоте формы».

1 Речь идет о поэме «Высокая болезнь».

2 Книги были отправлены из Германии морским путем.

3 Разрешено цензурой.

4 С. Третьяков и Н. Асеев критиковали поэму Пастернака «Высокая болезнь». Поэма все же была напечатана в «ЛЕФе» (№ 5 за 1924 г.).

5 Николай Николаевич Вильям-Вильмонт (1901-1986) — историк литературы, германист, переводчик с русского на немецкий и с немецкого на русский, признанный знаток Гёте, автор книг «Великие спутники» (1966) и «Достоевский и Шиллер» (1984), «О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли». М., 1989. Познакомился с Б. Пастернаком весной 1920 года. Сестра Н. Вильям-Вильмонта — Ирина Николаевна (1899—1986) — вскоре стала женой Александра Леонидовича Пастернака.

6 Петр Семенович Коган (1872—1932) — историк литературы и критик, профессор 1-го и 2-го МГУ и других вузов. С 1921 года президент Государственной Академии художественных наук, в ведении которой находился Литературно-художественный институт им. В. Я. Брюсова. В РГАЛИ в архиве П. С. Когана сохранилось письмо Б. Пастернака в защиту отчисленного из института Н. Н. Вильям-Вильмонта (см. т. VII наст. собр.).

7 В это время был в дружеских отношениях с Пастернаком.

8 Варвара Александровна Монина — поэтесса, в то время жена С. П. Боброва.

9 Михаил Осипович Гершензон (1869—1925) — философ, историк литературы и русской общественной мысли. Участвовал в сборнике «Вехи» (1909). Один из создателей Всероссийского Союза писателей. Его перу принадлежат книги о Пушкине, декабристах, Чаадаеве, Грибоедове, Герцене и Огареве и др. Был близким старшим другом и наставником Я. З. Черняка. С 1919 года Я. Черняк жил в одной квартире с М. Гершензоном и его семьей.

10 Неточная цитата из стихотворения А. К. Толстого «Василий Шибанов».

11 Иван Сергеевич Рукавишников (1877-1930) — поэт и прозаик, автор многочисленных романов, еще при его жизни вышло 20-томное собрание его сочинений (1901-1925). В это время был профессором Московского высшего литературно-художественного института, где читал курс стиховедения.

12 В рукописи пропущена строка стихотворения, которую, очевидно, Я. Черняк не запомнил: «Так легче жить, а то почти не снесть...»

13 Пропущена следующая строчка: «И были домовым у нас в домах».

14 Ошибка памяти Я. Черняка. У Пастернака: «Что не безделка — улыбаться, мучась?»

15 В своем ответном слове В. Брюсов поблагодарил всех (не назвав никого) и в заключение сказал: «Я прочитаю стихи о Пушкине и Мицкевиче, вариация — подражание уважаемому моему сотоварищу Борису Пастернаку, вариация на тему "Медный всадник"» («Литературное наследство», 1976, т. 85, с. 240).

16 Евгений Германович Лундберг (1887-1965) — прозаик, переводчик, автор известной книги «Записки писателя» (Л., 1930). Слова Черняка о честолюбии, очевидно, были вызваны тем, что Лундберг в 1921 году в Берлине издал брошюру своего учителя Льва Шестова «Что такое большевизм» в издательстве «Скифы» и сам же уничтожил ее тираж. При этом он не выплатил издательству и свой долг.

17 Елена Константиновна Феррари (псевдоним Ольги Федоровны Голубевой; 1899—1939). В годы гражданской войны работала в подполье на Украине. Автор книги «Эрифилли», вышедшей в 1923 году в берлинском издательстве «Огоньки». Переписывалась в 1922-1923 годах с Горьким (см.: «Литературное наследство», 1963, т. 70. «Горький и советские писатели»).

18 Борисом Пастернаком, ю С. П. Бобровым.

20 Замечание по поводу неосуществленной поездки Б. Пастернака за границу. Гоголь уехал за границу в 1836 году. Он считал, что это некий рубеж не только в его писательской биографии, но в биографии духовной. Отец Матфей —■ Ржевский протоиерей — оказал серьезное влияние на мировоззрение Гоголя.

21 Пастернак подарил Я. Черняку беловую рукопись третьей, и последней, части «Лейтенанта Шмидта» (13 листов большого формата). На первом листе: «Спасибо, дорогой Яша, за помощь, без которой, я, м. б., этой трудной части и не поднял». На 13-м листе: «12/IV.1927. Б. Пастернак».

В архиве Черняка сохранился план Б. Пастернака: «Оставить в планировке номера шесть еще примерно строк на 60. Шмидт на суде. (Частник). Казнь. Верстку апрельского. Гранки майского. Сколько времени 240 стр. Еще до майских гранок». На оборотной стороне этого листка пояснения Я. Черняка: «Автограф Б. Пастернака 31 марта после окончания 3-й части "Лейтенанта Шмидта" (к 31 марта 3-я часть была дописана до строфы "Плотной кучей в сорок три шеи, к папкам обвинительного акта, в смертный шелест сто второй статьи"), —■ осталось дописать лишь Шмидта на суде, быть может, еще и Частника, а затем — Казнь или, б. м., только утро после казни. Так мне говорил Б. Л. вечером 31 марта, прося передать В. Полонскому, что он просит оставить в майском номере журнала "Новый мир" места еще строк на 60. Это и записано рукой Б. Л. на обороте. Последний вопрос — это о крайнем сроке представления окончательного текста, в гранки Б. Л. предполагает внести сильные изменения. 2/IV.1927» (РГАЛИ).

2215 апреля 1927 года Маяковский выехал за границу —■ в Польшу, Чехословакию, Германию, Францию. Вернулся в Москву 22 мая.

23 Григорий Яковлевич Сокольников (1888—1939) — старый большевик. Учился одновременно с Пастернаком в 5-й Московской гимназии. Был членом ЦК и послом СССР в Великобритании. Осужден по делу «параллельного антисоветского троцкистского центра» вместе с Пятаковым, Серебряковым и Радеком 30 января 1937 года.

24 Евгения Владимировна Пастернак, урожденная Лурье (1898-1965), —■ художница, первая жена Б. Пастернака.

25 Сохранилось письмо от 25 июля 1925 г., в котором Пастернак просил Я. Черняка о книгах для работы (т. VII наст. собр.).

26 Запись сделана в 1931 году, когда в «Красной нови» (1931, № 4, 5—6) появились 2-я и 3-я части «Охранной грамоты», оконченной в феврале 1931 года. Об огромном значении, которое имел для него Рильке, умерший в декабре 1926 года, Пастернак писал: «Тогда ближайшей моей заботой стало рассказать об этом удивительном лирике и об особом мире, который, как у всякого настоящего поэта, составляют его произведения... задуманная статья превратилась у меня в автобиографические отрывки о том, как складывались мои представления об искусстве и в чем они коренятся. Этой

работе, которую я посвящаю его памяти, я не придумал еще заглавия» (см. т. V наст. собр.).

Е. Черняк

ПАСТЕРНАК. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Елизавета Борисовна Черняк, урожденная Тубина (1899-1971). С 1919 по 1921 год занималась в Киевской консерватории. В 1920 году вышла замуж за Я. З. Черняка. Работала в отделе печати Наркоминдела, потом в иностранном отделе РОСТА Занималась литературными переводами, преподавала немецкий язык.

1 Эти слова были сказаны А. Камю в его Нобелевской речи «Художник и его время», произнесенной 14 декабря 1957 года: «Тогдашняя Россия — Блок и великий Пастернак, Маяковский и Есенин, Эйзенштейн и первые романы о стали и цементе — подарила нам великолепную лабораторию форм и сюжетов, плодотворное беспокойство, страсть к поискам».

2 Михаил Михайлович Морозов (1897—1952) — историк, литературовед, шекспировед, редактор и комментатор шекспировских переводов Пастернака. Другом детства Пастернака не был, но они, действительно, были знакомы с детства; Пастернак возил своих младших сестер на елки в дом М. К. Морозовой, матери Михаила Михайловича.

3 Мария Павловна Гонта — актриса и журналистка.

4 Ошибка. Летом 1923 года.

5 И. Владиславлев готовил издание библиографии по Ленину. Издание осуществлено не было.

6 В поэме «Спекторский» Пастернак писал: «Я бедствовал. У нас родился сын... / Нашелся друг отзывчивый и рьяный. / Меня без отлагательств привлекли / К подбору иностранной лениньяны».

7 Н. Вильям-Вильмонт не учился в немецких университетах.

8 Пастернаки уехали за границу в августе 1922 года и вернулись в Москву в марте 1923 года.

9 И. Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь» писал: «В заурядном немецком кафе по пятницам собирались русские писатели... Выступал Маяковский. Читали стихи Есенин, Марина Цветаева, Андрей Белый, Пастернак, Ходасевич».

10 Неточная строка из стихотворения «Земля» (1947).

11 Вячеслав Павлович Полонский (1886—1932) — историк литературы и общественной мысли. Создатель и главный редактор журнала «Печать и революция» (1921-1929); после отстранения В. Полонского журнал прекратил свое существование. С 1926 по 1931 год главный редактор журнала «Новый мир». Б. Пастернак познакомился с В. Полонским в 1922 году. Одновременно возникла дружба с Я. Черняком. На книге «Поверх барьеров», подаренной В. Полонскому, он написал: «Вячеславу Полонскому, самому дорогому и близкому из людей революции. Б. Пастернак, 28 октября 1929».. На смерть Полонского Пастернак написал стихотворение «Ты был обречен. Твой упрек...». Полонский высоко ценил поэзию Пастернака, которым, по его мнению, «гордилась бы любая из европейских литератур». «...Борис Пастернак, — писал он в 1927 году, — едва ли не крупнейший лирик нашего времени...»

12 Галина Иосифовна Серебрякова (1905-1980) — писательница, в то время была замужем за Г. Я. Сокольниковым. В 1967 году написала небольшие воспоминания о Пастернаке, в которых резко критикует роман «Доктор Живаго» (см.: Галина Серебрякова. О других и о себе. М., 1968).

13 Дом этот сохранился. На доме висит мемориальная доска.

14 Беловой автограф стихотворения «Приближение грозы» с посвящением Я. Черняку сохранился (РГАЛИ, ф. Я. Черняка).

15 Валентин Фердинандович Асмус (1894-1975) — философ и литературовед, профессор Московского университета и его жена Ирина Сергеевна Асмус (1893-1946).

16 В новую квартиру, состоящую из двух небольших комнат, расположенных одна над другой (поначалу кооперативную), по Лаврушинскому переулку, 17, Пастернаки переехали в самом конце 1937 года.

17 Гоголевский бульвар, 52.

18 Пастернак приехал на Конгресс позже, так как не входил в советскую делегацию. Он и Бабель были спешно отправлены на Конгресс по требованию западных писателей 21 июня 1935 г.

19 Сохранилось письмо Я. Черняка Пастернаку от 11 июля 1935 года: «...милый мой, дорогой друг и брат, неужели же Вы до сих пор не знаете, что стихийное потому в человеке и стихийное, что оно требует доверия и потворства человека. Оно его враг, если человеческое мнит себя законодателем. Оно величайшая помощь и — жизнестояние — человека, если он напрямик объявляет себя другом стихийного и говорит со стихией ласково. Не заманивайте в Ваш спор ни семью, ни друзей — говорите один на один в условиях не бегства, а покоя (уезжайте с рукописью в Грузию, в деревню, на берег Северного моря, в тишину (не в пышную природу) и уверяю Вас, Вы отлично будете спать и вернете себе все, что мните утраченным. Дорогой Боря, я косноязычен и высокопарен — но я так жду, что и в этой уродливой форме горячее зерно правды дойдет до Вас и послужит Вам! Обнимаю Вас крепко, желаю Вам радости. Ваш Як. Черняк...» (РГАЛИ, ф. Я. Черняка).

20 Александр Сергеевич Щербаков (1901-1945) — партийный и государственный деятель. Оргсекретарь Союза писателей СССР с 1934 по 1936 год.

21 Адриан Генрихович Нейгауз (1925-1945).

22 Нина Александровна Табидзе (1900-1964) — вдова Тициана Табид-зе, арестованного 10 октября 1937 года и вскоре расстрелянного, ближайший друг Пастернака и его семьи.

23 Ариадна Сергеевна Эфрон (1912-1975) — старшая дочь Цветаевой. Переписка ее с Пастернаком опубликована в книге «Борис Пастернак. Переписка». М., 1990.

24 В 1944-1948 годах Пастернак выступал с чтением стихов в Доме ученых, в Политехническом музее, в Московском университете, в Колонном зале Дома союзов. Как свидетельствуют материалы его архива, всегда тщательно готовился к выступлениям.

25 Исай Александрович Добровейн (1894-1953) — пианист, дирижер, композитор. В 1919 году директор Большого театра. В 1923 году эмигрировал. Друг юности Пастернака.

26 Владимир Владимирович Софроницкий (1901—1961) — пианист, профессор Московской консерватории.

27 В книгу «The Poetical Works of Lord Byron...», London, New York (б/г), вложена записка: «Все карандашные пометки, за исключением страницы 67, принадлежат Б. Л. Пастернаку (см. стр. 151, 191-193, 201, 294, 642). Пометы относятся, кажется, к 1925—1927 годам. Е. Черняк».

28 Вписано позднее. Книга Walter Pater «The Renaissance* (без титульного листа) подарена в начале 1971 года Александру Ильичу Фейнбергу (1947—1981), в то время студенту филологического факультета МГУ. В книгу вложена записка: «Все карандашные пометы (см. стр. 1, 59, 73, 77-78, 138-141, 147-151) принадлежат Пастернаку. Относятся они, кажется, к 1925-1927 годам. Е. Черняк».

29 Листок этот сохранился. «Список книг для Б. Л.: Леонов "Барсуки", "Вор", "Мемуары"; Поливанов "Мемуары"; Мстиславский "5 дней"; Шульгин "Дни"; Людендорф "Воспоминания"; Лемке "250 дней"; Всеволод "Рассказы и письма" II и III; Иохвед "Пристани"; Фадеев "Разгром"; Фурманов, тт. I и И; Серафимович "Жел. Поток"; Гладков "Цемент"».

30 Пастернак пишет в письме от 20 августа 1930 г.: «...Я в восхищеньи от Киева, и в связи с этими впечатлениями у нас с Женей был разговор о ней: многое в ней объясняется и становится рельефней в свете именно этих впечатлений; это как Комбрэ у Пруста».

А. Цветаева рассказывает...

Беседа А. И. Цветаевой с М. И. Фейнберг

Анастасия Ивановна Цветаева (1894—1993) — сестра Марины Цветаевой, писательница. Провела 10 лет в лагере и 7 лет в ссылке. Автор книги «Воспоминания» (М., 1973). Маэль Исаевна Фейнберг (1925-1994) — жена пушкиниста И. Л. Фейнберга, филолог, редактор, занималась русской и советской поэзией.

1 Цветаева уехала за границу 11 мая 1922 года.

2 Павел Григорьевич Антокольский (1895-1977). О дружбе с ним Цветаева рассказывает в «Повести о Сонечке».

3 Первое полное издание поэмы «Высокая болезнь» вошло в сборник «Поверх барьеров. Стихи разных лет». М.—Л. Государственное издательство, 1929.

4 Евгений Львович Ланн (Лозман) (1896-1958) — поэт, прозаик, переводчик. В его переводах вышли Диккенс, Харди, Дос-Пассос. Автор книг «Старая Англия» (1943), «Писательская судьба Максимилиана Волошина» (1926), «Литературные мистификации» (1930). Близкий знакомый сестер Цветаевых.

5 Этого письма в архиве нет.

6 Письмо от 22 сентября 1958года (см. т. X наст, собр.): «...Каким языком сердца все это написано, как это дышит почти восстановленным жаром тех дней! Как бы высоко я Вас ни ставил, как бы ни любил, я совсем не ждал дальше такой сжатости и силы. <...> Я боялся, как это часто встречается даже у хороших авторов, что Вы не все будете писать с действительной, вызванной в памяти натуры. <...> Ваш слог обладает властью претворения, — я забываю, что этих матерей и комнат и девочек уже нет, они заново повторяют свой обреченный выход, заново живут и заново уходят, и нет слез, достаточных, чтобы оплакать их исчезновение и конец. Какие драгоценные пропавшие клады...»

7 Письмо от 15 февраля 1953 года (т. IX наст. собр.).

8 Софья Исааковна Каган (1902-1994) — геолог, друг А. Цветаевой с 1922 года. Ездила с А. Цветаевой осенью 1960 года в Елабугу на поиски могилы Марины Цветаевой. Юдифь Матвеевна Каган (1924-2000) — филолог, переводчик «Утопии» Томаса Мора и переписки Эразма Роттердамского с Мартином Лютером. Автор книги «И. В. Цветаев. Жизнь. Деятельность. Личность». М., 1987.

Ф. Брюгель

РАЗГОВОР С БОРИСОМ ПАСТЕРНАКОМ

Фриц Брюгель (1897-1955) — австрийский писатель.

1 Были изданы в книге: Boris Pasternak. Lyrika. Praha. 1935.

2 Стих. «Все наклоненья и залоги...» (1936).

3 Ср.: «Как вдруг — издание из Праги. / Как будто реки и овраги / Задумали на полчаса / Наведаться из грек в варяги / В свои былые адреса».

4 Имеется в виду книга Рильке «Первые стихотворения», 1913, и прежде всего вошедший в нее сборник «Жертвы ларам», 1895.

5 Описанием этой встречи Рильке с Л. О. Пастернаком в 1900 г. начинается автобиографическая повесть «Охранная грамота» (1931).

6 Сборник Рильке «Мне на праздник».

7 Обстоятельства этой переписки и русский перевод писем см. Р. Рильке. М. Цветаева, Б. Пастернак. Письма, 1926. М., 1990.

8 Лариса Михайловна Рейснер (1895-1926) — писательница и революционерка. Стихотворение Пастернака «Памяти Рейснер» (впервые в сборнике «Поверх барьеров», 1929).

9 Лариса Рейснер. Рильке. — «Летопись», 1917, № 78.

Ан. Тарасенков

ПАСТЕРНАК. ЧЕРНОВЫЕ ЗАПИСИ (1934-1939)

Анатолий Кузьмич Тарасенков (1909-1956) — критик и литературовед. Печататься начал с 1925 года. С 1932 по 1941 год работал зав. отделом критики журнала «Знамя», а потом его ответственным секретарем. В январе 1944 года, после фронта, вновь был назначен на работу в «Знамя». С 1947 по 1950 год — старший редактор издательства «Советский писатель», а с 1950 года — заместитель главного редактора «Нового мира». Ему принадлежат работы о Блоке, Белом, Маяковском, Багрицком и многих других. В 1958 году выходят посмертно его избранные произведения в двух томах, в 1966 — библиографический указатель «Русские поэты XX века». В 2004 г. вышло второе издание этого труда. О Пастернаке Тарасенков написал десять статей. История их взаимоотношений, вернее, изменение отношения Тарасенкова к творчеству Пастернака — это история нашей общественной жизни, вынуждавшей критика в своих статьях отрекаться от ценимого им поэта. Еще в 1937 году Тарасенков был подвергнут критике в передовой статье «Правды» (от 28 февраля) за ошибки в оценке творчества Пастернака.

26 июня 1946 года Вс. Вишневский (в то время главный редактор журнала «Знамя») пишет Тарасенкову: «Снова думаю о прочитанном тобой "портрете" Б. Пастернака. Он будет иметь плохие последствия, особенно после острого обсуждения темы Пастернака 3 апреля. Ты в полемическом задоре готов опрокинуть всю советскую критику и библиографию по Пастернаку и объявить его великим советским поэтом, забыв совсем, что значит в народном, боевом, партийном плане слово "великий" (Архив М. И. Белкиной). Еще раньше, 18 марта 1946 года, на заседании президиума Союза писателей, на котором обсуждалось выдвижение на Сталинские премии по уже приготовленному списку, Тарасенков выдвигает книгу Пастернака «Земной простор». Его поддерживают Асеев, Кирсанов и Антокольский. Категорически против выступает Сурков. Тогдашний оргсекретарь СП Поликарпов срывает обсуждение.

21 марта 1947 года в газете «Культура и жизнь» появляется статья Суркова о Пастернаке. От Тарасенкова требуют, чтобы он признал эту статью правильной и выступил с этим в печати. Тарасенков не соглашается и подает заявление об уходе из журнала. Но под давлением Вс. Вишневского и А. Фадеева Тарасенков не выдерживает: он публикует резкую статью против Пастернака «Заметки критика» («Знамя», 1949, № 10).

1 «Борис Пастернак», «Звезда», 1931, № 5.

2 Это было в конце октября 1915 года. Об этой встрече Пастернак писал в «Охранной грамоте».

3 Выступление Пастернака на 13-м литдекаднике ФОСПа в Клубе писателей 6 апреля и продолжении его 11 апреля 1932 года. После чтения стихов было обсуждение, перешедшее в нападки и травлю. Сообщение о нем см.: «Литературная газета», 11 апреля 1932 года.

4 Павел Ильич Лавут — организатор вечеров и выступлений писателей.

5 Корнелий Люцианович Зелинский (1896-1970) — литературный критик.

6 В «Известиях» 6 марта 1934 года — подборка «Из грузинских поэтов»: пять стихотворений П. Яшвили и Т. Табидзе.

7 Сыну Бориса Леонидовича Жене в 1934 году было 10 лет.

8 А. Тарасенков. Творчество Бориса Пастернака. — В кн.: Борис Пастернак. Избранные стихотворения. М., 1934. «Борис Пастернак пришел в советскую действительность издалека. Маленький и узкий мирок дореволюционной буржуазной интеллигенции взрастил и воспитал его. Это был мирок, где, нарочно, отгородившись от шума и бурь большого социального мира, плели кружева своих этических, эстетических и философских построений люди прошлого». Импрессионизм ранней лирики через революционные поэмы переходит в «глубокий жизненный оптимизм» стихов «Второго рождения». Но «в поэзии нового Пастернака мы встречаем много старой тоски о прошлом, много мучительных предрассудков» (с. 3,12).

9 На очередном заседании Оргкомитета Асеев делал доклад о поэзии. Он разделил поэтов на четыре группы по технике и отношению к современности. Пастернак был отнесен к самому последнему разряду: «мотивированного отказа» от «современной тематики». «Скрываясь за вершины своего интеллекта, Пастернак занимается в поэзии обскурантистским воспеванием прошлого за счет настоящего» («Литературная газета», 16 мая 1934 года).

10 В своем выступлении на Всесоюзном поэтическом совещании Пастернак сказал, что отметки, которые Асеев расставил поэтам в своем докладе, «отдают приготовительным классом», и призвал поэтов «беречь чувство товарищества». Указывая, что форма играет отрицательную роль, когда ей поклоняются, он сказал: «Если бы рифмы можно было подбирать не на словах, а на нефти или на прованском масле, то поэзия лефовцев была бы совершенно бессодержательной» («Литературная газета», 24 мая 1934 года). Комментируя это выступление на съезде писателей, Д. Петровский сказал: «Не все знают, какая глубина была скрыта в каламбуре Пастернака, отвечавшего на нападки Асеева... Только материал, такой, как слою, в котором уже содержится целый мир смысла без участия в этом рифмача, — только этот материал подчас и спасал положение» («Первый Всесоюзный съезд советских писателей». Стенографический отчет. М., 1934, с. 534).

11 Пастернак слушал Павла Васильева на вечере 3 апреля 1933 года в редакции «Нового мира» и писал С. Спасскому о нем: «Большое дарование с несомненно большим будущим» (30 апреля 1933 года; т. VIII наст, собр.). Статья Горького «О литературных забавах» была опубликована в «Правде» 14 июня 1934 года, в ней он осуждал Васильева за «недостойное советского писателя бытовое поведение».

12 Пастернаку было поручено сделать на вечере Лермонтова 26 октября 1934 года вступительное слово.

13 Письмо Цветаевой Пастернаку было написано в октябре 1935 г. О ее «политической озлобленности» по отношению к СССР в это время говорить не приходится. «Просоветские» стихи Цветаевой к сыну написаны в 1932 году, в октябре 1934 года она написала «Челюскинцы».

14 Критик Герман Хохлов был в эмиграции, в начале 30-х годов вернулся в СССР. Его статья-рецензия на «Повесть» Пастернака под названием «Судьбы, найденные на снегу» напечатана в «Литературной газете» 26 сентября 1934 года.

15 Рецензия А. Тарасенкова «О грузинских переводах Пастернака» в журнале «Знамя», 1935, № 9. В рецензии он противопоставлял грузинские переводы старым переложениям Пастернака европейской поэзии, которые, кроме двух реквиемов Рильке, представляют собой средний уровень «грамотной и культурно сделанной работы».

16 Ярополк Семенов был в то время студентом Литературного института. Написал статью «Борис Пастернак»; напечатана в двух номерах

«Литературной газеты» от 24 и 29 августа 1935 года. Сохранилось письмо Семенова Пастернаку от 29 сентября 1942 года (РГАЛИ, ф. Авдеева).

17 Пастернак перевел стихотворение Егише Чаренца «Кудрявый мальчик». — «Известия», 7 ноября 1935 года.

18 Андре Жид. «Новая пища». Книга включала стихи, переведенные Пастернаком, и была напечатана в журнале «Знамя», 1936, № 1.

19 Книга стихов Пастернака была переведена чешским поэтом Йозе-фом Горой. Переписка с Горой публиковалась в «Вопросах литературы», 1979, № 7. Об этом — в стихах Пастернака «Все наклоненья и залоги...».

20 Д. Осипов (Д. О. Заславский). «Мечты и звуки Мариэтты Шаги-нян». — «Правда», 28 февраля 1936 года. Поводом для обвинения писательницы в «реакционной самовлюбленности» послужило то, что, протестуя против кампании о формализме, Шагинян демонстративно бросила свой билет члена Союза советских писателей. Президиум правления ССП осудил ее поступок 27 февраля, и она сама сразу признала его ошибкой.

21 Обсуждение поэмы Твардовского «Страна Муравия» состоялось в Доме литераторов 21 декабря 1935 года, председательствовал Д. Мир-ский. Тарасенков говорил о «масштабах оценки этой вещи» и не колеблясь откинул все скидки на тематику, возраст автора и его провинциальность: «Вещь действительно настоящая, которая может с полным правом войти в ряд лучших советских произведений <...>». Пастернак присоединился к его мнению, сказав, что «вещь талантлива, что она живет... Прав Тарасенков, что мы недостаточно оцениваем исключительность этого явления». Пастернак возражал против необходимости что-то переделывать в поэме, дорабатывать, о чем говорили выступавшие, — особенно по поводу конца, который считали непонятным. «Конечно, — сказал он, — Твардовский может над этим и дальше работать, но если у человека есть такое дарование, зачем ему сидеть на одном месте?» («Вопросы литературы», 1984, № 8, с. 189,190).

22 Пастернак выступил на общемосковском собрании писателей 13 марта 1936 года. Из газетных отчетов известно, что Пастернак, «не поняв огромного принципиального значения статей, помещенных в нашей печати, пытался огульно охаять их, заявив, что за этими статьями он не чувствует любви к искусству» («Комсомольская правда», 14 марта 1936 года). «Литературная газета» процитировала фразу: «Не орите, а если уж вы орете, то не все на один голос, орите на разные голоса» (15 марта 1936 года). Стенограмму выступления см. т. V наст. собр. «Когда на тему этих статей, — писал Пастернак О. Фрейденберг о своем выступлении, — открылась устная дискуссия в Союзе писателей, я имел глупость однажды пойти на нее и, послушав, как совершеннейшие ничтожества говорят о Пильняках, Фединых и Леоновых почти что во множественном числе, не сдержался и попробовал выступить против именно этой стороны всей нашей печати, называя все своими настоящими именами» (т. IX наст. собр.). Присутствовавший при этом разговоре у Тарасенкова Б. Закс вспоминает, что, выслушав изложение предполагаемой речи Пастернака, он в самой категорической форме высказался против выступления, что вызвало раз-дражение Тарасенкова: «Как ты можешь так говорить, ведь у Б. Л. в его речи столько интересных мыслей». Закс считал, что вопрос не в этом, а в том, к чему это приведет. «Я убежден, — говорил он, — от Пастернака ждут совсем не того, что он нам изложил. Никого он ни в чем не убедит. Его выступление только подольет масла в огонь» (Семейный архив Б. Л. Пастернака).

23 «Как-то в сумерки Тифлиса...» из цикла «Художник». Первоначальный, более пространный текст не известен. Рукописи, отданные в журнал «Знамя», теперь в собрании Т. П. Уитни в Америке: опубликованы в «Новом журнале», Нью-Йорк, № 165.

24 Антал Гидаш (1899-1980) — венгерский поэт. С 1926 по 1959 год жил в Советском Союзе. В своем выступлении 16 марта Пастернак хотел объясниться по тем вопросам, которые были превратно поняты. «Если я говорил так, что это может повести к каким-то недоумениям, что будто я под какими-то третьими руками мог подозревать народ, партию и т. д., то, конечно, лучше мне никогда не выступать. Опять-таки, товарищ Гидаш, я грамотный человек, я читаю газеты, я мог бы говорить о том, что я прочитал (т. V наст. собр.).

25 Драму Г. Клейста «Принц Гомбургский» Пастернак перевел в 1919 году, в 1936 году он радикально переписал свой перевод.

26 Постановлением ЦК ВКП(б) была организована Федерация объединений советских писателей (ФОСП), во главе которой стоял Оргкомитет.

27 Через двадцать лет этот рабочий, С. Максимов, написал Пастернаку письмо. Прощаясь с поэтом «в последние минуты своей жизни», он говорил о том, какое сильное впечатление на него произвели творчество и личность Пастернака.

28 В связи со строительством писательского дома в Лаврушинском переулке надо было вносить деньги на будущую квартиру.

29 Н. Тихонов рассказывал в 1979 году, что из выступления Пастернака на Конгрессе 1935 года они с Цветаевой, редактируя стенограммы, выбрали только — о «поэзии в траве».

30 После упреков Тарасенкову в культе Пастернака в «Правде» (28 февраля 1937 года), где Д. Мирский и Ан. Тарасенков обвинялись в том, что поставили Пастернака рядом с Пушкиным, Тарасенков в письме в редакцию журнала «Знамя» признал глубокую ошибочность своих высказываний о Пастернаке («Знамя», 1937, N° 6).

31 ...о Павле Васильеве, которого Б. Л. Пастернак считал талантливым и значительным поэтом. — «Павел Васильев, — говорил Пастернак 2 августа 1936 г. — имеет общую судьбу с Есениным. Он очень даровит и в нем есть — хоть уродливый — протест. Сельвинский — человек благополучный, никаких ни бездн, ни благородства у него нет. В сущности также дело и с Лидиным и с Пильняком, и с Леоновым» (Спецсправка секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР «О настроениях среди писателей»//Альманах«Российские вести», 1992, N° 29, июнь).

32 ...возмущение Б. Л. тем, что от него требовал интервью репортер об обслуживании переделкиных дачников гастрономом. — «Вот нам хорошо, возят продукты из Гастронома, — говорил Пастернак 2 августа 1936 г., — но уже на второй день является женщина с альбомом и просит записать ей туда похвальный отзыв. Зачем это? Что это: достижение Советской власти? Ведь доставка продуктов на дом есть во всем мире, была и у нас до революции» (там же).

33 Официальное извещение о «процессе 16-ти» появилось 15 августа 1936 года. 21 августа в «Правде» было напечатано письмо «По поручению президиума правления Союза советских писателей», подписанное 16 московскими писателями. Среди них стояло имя Пастернака. Прочитав это письмо, М. Цветаева писала А. Тесковой: «Дорогая Анна Антоновна. Вот Вам — вместо письма — последняя элегия Рильке, которую, кроме Бориса Пастернака, никто не читал. (А Б. П. — плохо читал: разве можно после такой элегии ставить свое имя под прошением о смертной казни (процесс шестнадцати?!)» — Марина Цветаева. Письма к Тесковой. Прага, 1969, с. 145.

34 Андре Жид приезжал в Москву летом 1936 года. Как говорил Пастернак на Пушкинском пленуме (февраль 1937), к нему в Переделкино привозили Жида на 15

минут. И. Бунин записал в своем дневнике: «28.1.41. Четверг. Был Andre Gide. Очень приятное впечатление... В восторге от Пастернака как от человека — это он мне открыл глаза на настоящее положение в России» (И. А Бунин. Собр. соч., т. 6. М., 1988, с. 501). Из опубликованных «Бесед с А. Жидом в 1941 г.» А Бахраха известно также, что в эту встречу Пастернак сказал ему о том, что происходит вокруг, и предостерегал его от увлечения теми «потемкинскими деревнями», или «образцовыми колхозами», которые ему показывали («Континент», 1976, № 8). Осенью 1936 года вышла книга А Жида «Возвращение из СССР», на которую «Правда» отозвалась гневной статьей «Смех и слезы А Жида» (3 декабря 1936 года).

35 Летом Б. Л. рассказывал о своем разговоре с А. Жидом... — «Я полон сомнений, — передавал Пастернак слова А Жида, — я увидел у вас в стране совсем не то, что ожидал. Здесь невероятен авторитет, здесь очень много равнодушия, косности, парадной шумихи. Ведь казалось мне из Франции, что здесь свобода личности, а на самом деле я ее не вижу. Меня это очень беспокоит, я хочу написать обо всем этом статью и приехал посоветоваться с вами по этому поводу... — Написать такую статью, конечно, можно, но реальных результатов она не принесет», — отвечал Пастернак 2 августа 1936 г. (Спецсправка секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР «О настроениях среди писателей» // Альманах «Российские вести», 1992, № 29, июнь).

36 Ответственный секретарь Союза писателей В. Ставский в своем докладе на общем собрании писателей 16 декабря сказал: «...Пастернак в своих кулуарных разговорах доходит до того, что выражает солидарность свою даже с явной подлой клеветой из-за рубежа на нашу общественную жизнь». Голоса: «Позор!» («Литературная газета», 20 декабря 1936 года).

37 Б. Пастернак. Избранные переводы. М., 1940. Эта книга включала драму Клейста «Принц фон Гомбургский».

38 «Принц фон Гомбургский» не был напечатан в «Знамени» ни в 1937 году, когда Пастернак его предложил журналу в первый раз, ни в 1940-м, после заключения договора Молотова и Риббентропа.

39 Перевод «Гамлета» делался по заказу В. Э. Мейерхольда.

40 Письмо М. Лозинскому было написано 1 марта 1940 года: «Я глубоко, против воли и наперекор природе, виноват перед Вами. Но теперь к первой моей вине присоединилась другая: уже и покаянное, извинительное мое письмо, которое я Вам мысленно пишу третий месяц, так запоздало, что, наверное, самое обращенье мое к Вам вызовет у Вас смех и лучше бы теперь совсем не писать...» (т. IX наст. собр.).

41 «Ритм Шекспира — первооснова его поэзии». — «Заметки к переводам шекспировских трагедий» (т. V наст. собр.).

42 См. об этом в «Заметках о Шекспире» (1939-1942) — т. V наст.
собр.

43 «Алхимик» Бена Джонсона в переводе Б. Пастернака был поставлен в сентябре 1924 года в Театре имени Комиссаржевской режиссером В. Сахновским.

44 Записано со слуха, правильно: Дэвенант.

45 V пленум правления Союза писателей состоялся в декабре 1937 года в Тбилиси; 10 окт. 1937 г. был арестован Т. Табидзе.

46 В статье о «Втором рождении» Тарасенков передавал аналогичные мысли Пастернака: «...утверждение трагедийности искусства, которое — по мысли Пастернака — трагично в самой своей основе» («Литературная газета», 11 декабря 1932 года).

47 Мейерхольд был арестован 20 июня 1939 года; 14 июля 1939 года убита его жена З. Н. Райх. Пастернак был связан с Мейерхольдом общей работой, свой перевод «Гамлета» он делал для него. «...Я должен был перевести Гамлета для Александринки,

— писал он О. Фрейденберг 14 февраля 1940 года, — ты, наверное, догадываешься, по чьей просьбе. Два или три раза я должен был поехать с ним посмотреть у вас его Маскарад, и все откладывал. Потом с ним случилось несчастье, а его жену зарезали. Все это неописуемо, все это близко коснулось меня» (т. IX наст. собр.).

48 Цветаева приехала 18 июня 1939 года.

49 А. С. Эфрон и С. Я. Эфрон в Испании не были.

50 После ареста А. С. Эфрон и С. Я. Эфрона.

51 Рабочая тетрадь Цветаевой, которую она давала читать друзьям. Три письма Б. Пастернаку и отрывки из писем к Шарлю Вильдраку (настоящая фамилия Мессаже; 1882-1971) опубликованы А. С. Эфрон («Новый мир», 1969, № 4). В 1928 году Вильдрак приезжал в Москву и познакомился с Пастернаком.

52 Знакомство Тарасенкова с Цветаевой состоялось летом 1940 года.

3. Пастернак

ВОСПОМИНАНИЯ

Зинаида Николаевна Пастернак (1897-1966; по первому браку Нейга-уз), по образованию пианистка, ученица Г. Нейгауза. Воспоминания были записаны З. Маслениковой в 1963-1964 гг.

1 Генрих Густавович Нейгауз (1889-1965) — пианист, теоретик искусства. Автор книг «Об искусстве фортепианной игры» (М., 4-е изд., 1982), «Размышления, воспоминания, дневники, избранные статьи, письма к родителям» (М., 1983).

2 Адриан (1925-1945) и Станислав (1927-1981) Нейгаузы.

3 Пастернак ушел от жены в декабре 1930 г., Нейгауз уехал на гастроли в январе 1931 г.

4 Сначала Пастернак жил у Асмусов, к Пильняку переехал в феврале.

5 28 января 1931 г.

6 З. Н. Нейгауз уехала в Киев 8 мая 1931 г., судя по ее письмам к Пастернаку, ее вызвали туда друзья, чтобы она поддержала Г. Г. Нейгауза во время его гастролей в Киеве.

7 Пастернак приехал в Киев после отъезда Г. Г. Нейгауза и останавливался в гостинице «Континенталь». Вернулся 27 мая для чтения «Спектор-ского» (28 мая); 29-го уехал с писательской бригадой на Урал.

8 Второй раз Пастернак приехал в Киев в начале июля 1931 г., и 14 июля они вместе с З. Н. прибыли в Тифлис.

9 Июль — октябрь 1931 года.

10 Николай Мицишвили (1894-1937) — грузинский поэт и критик. Автор вступительной статьи к грузинским переводам Пастернака, который, чтобы защитить Мицишвили от критических обвинений, перевел его стихотворение «Сталин». Но это его не спасло, он был арестован и расстрелян. Георгий Леонидзе (1899—1966) — грузинский поэт, с которым Пастернак переписывался и стихи которого переводил.

11 Симон Чиковани (1903-1966) — грузинский поэт, с которым Пастернак переписывался и чьи стихи переводил. Бесо Жгенти (1903-1978) — литературный критик.

12 Октября.

13 Стихи из книги «Второе рождение» публиковались в 1930-1931 гг. в журналах «Новый мир» и «Красная новь». Отдельное издание вышло в 1932 г.

14 Е. В. Пастернак позвонила по телефону в Москву, приехав в конце декабря 1931 г., она поселилась у своего брата.

15 В письме к сестре Жозефине 11 февраля 1931 г. Пастернак берет на себя вину за расставание с З. Н.: «Я не выдержал этой муки и как-то утром сказал несколько слов Зине. Она собрала свои вещи и хотела сама сходить за извозчиком. Я пошел за ним, мы

тихо простились, санки скрылись за углом, она уехала на квартиру к своему брошенному мужу, без возвращения к нему» (т. VIII наст. собр.).

16 Попытка самоубийства была в начале февраля 1932 г., квартира была предложена в конце апреля. В недостроенную, без ванны и кухни двухкомнатную квартиру на Тверском бульваре Пастернак с З. Н. Нейгауз и ее сыновьями могли въехать только в 20-х числах мая. Квартира была отремонтирована к осени, когда семейство вернулось с Урала.

17 Брак был зарегистрирован 21 августа 1933 г.

18 Поездка на Урал была в июле-августе 1932 г.

19 Декада грузинской литературы проходила в феврале 1935 года. 3 февраля был вечер в Москве, 9 февраля в Ленинграде.

2° Летом 1935 года.

21 Международный Конгресс писателей в защиту культуры проходил в Париже с 21 по 25 июня 1935 года. В советскую делегацию входили: М. Кольцов, И. Эренбург, А. Толстой, Н. Тихонов, Г. Табидзе, Я. Колас,

Ф. Панферов, Вс. Иванов, А. Лахути, В. Киршон, И. Луппол, И. Микитен-ко. Руководителем делегации был А. С. Щербаков, но фактическим руководителем был М. Кольцов. Речь Пастернака полностью не сохранилась (см. о ней в воспоминаниях И. Берлина). Из нее сохранился только небольшой отрывок: «Поэзия остается всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли; она всегда будет проще того, чтобы ее можно было обсуждать в собраниях; она навсегда останется органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи, и, таким образом, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет быть художником».

22 Ольга Михайловна Фрейденберг (1890-1955) — филолог-классик. Переписка ее с Пастернаком, длившаяся много лет, опубликована в журнале «Дружба народов», 1988, № 6-9.

23 Евгений Иванович Замятин (1884-1937) — писатель. В июне 1931 года написал письмо Сталину с просьбой дать ему разрешение на временный отъезд за границу. С 1932 года жил во Франции.

24 С дочерью — Ариадной Сергеевной Эфрон, мужем — Сергеем Яковлевичем Эфроном (1893-1941) и сыном — Георгием Сергеевичем Эфроном (1925-1944).

25 В Одоеве Пастернаки провели июль — сентябрь 1934 года.

26 Первый Всесоюзный съезд писателей проходил в Москве с 19 августа по 1 сентября 1934 года. Пастернак выступил 29 августа на вечернем, двадцать первом, заседании съезда.

27 Возражая Н. И. Бухарину, сказавшему в своем докладе: «...Борис Пастернак один из замечательнейших мастеров стиха в наше время, нанизавший на нить своего творчества не только целую вереницу лирических жемчужин, но и давший ряд глубокой искренности революционных вещей», А Сурков в своем выступлении заметил: «При глубочайшем уважении как к мастеру и поэту, я все же вынужден сказать, что для большой группы наших поэтов, для большой группы людей, растущих в нашей литературе, творчество Б. Л. Пастернака неподходящая точка ориентации в их росте». («Стенографический отчет Первого Всесоюзного съезда советских писателей». Москва, 1934, с. 495, 512.)

28 Пленум писателей в Минске проходил с 10 по 15 февраля 1935 года.

29 Роберт Петрович Эйдеман (1895-1937) — поэт, военачальник, комкор. С 1932 по 1937 год председатель Осоавиахима. Расстрелян.

30 Дискуссия о формализме проходила 10—16 марта 1936 года.

31 За строительство дома тоже заплатили большие деньги, которые через несколько лет после перехода дач в собственность Литфонда были возвращены

32 Александр Григорьевич Малышкин (1892-1938).

33 Элевтер Луарсабович Андроникашвили (1910-1989) — директор Физического института АН Груз. ССР, академик Груз. АН.

34 Сын А. Ахматовой, Лев Николаевич Гумилев (1912-1992), и ее муж, искусствовед Николай Николаевич Пунин (1888-1953), первый раз были арестованы 27 октября 1935 года. См. письмо Пастернака Сталину 1 ноября 1935 г. (т. IX наст. собр.). Второе письмо было написано самой А Ахматовой.

35 О. Мандельштам был арестован в ночь с 13 на 14 мая 1934 года.

36 О. Мандельштам был выслан в город Чердынь Пермской области. Вскоре ему переменили место высылки и разрешили жить в Воронеже.

371937 года.

38 Борис Андреевич Пильняк (1894-1938) был арестован на даче 28 октября 1937 года. Расстрелян.

39 Кира Георгиевна Андроникашвили (1908—1960) была арестована через месяц прямо на киностудии.

40 Паоло Яшвили застрелился 22 июля 1937 года.

41 Тициан Табидзе был арестован 10 октября 1937 года и вскоре расстрелян.

42 Письмо советских писателей «Не дадим житья врагам Советского Союза» было опубликовано в «Литературной газете» 15 июня 1937 года.

43 В заметке «Московская хроника» «Вечерняя Москва» от 2 января 1938 года писала: «Первым ребенком 1938 года оказался сын г-ки З. Н. Пастернак. Он родился ровно в 0 часов 1 января».

44 «Гамлета» репетировали до 1945 г. В. Б. Ливанов считает, что этого разговора не было.

45 Письма Пастернака остались в московской квартире, их вернула Зинаиде Николаевне О. Н. Сетницкая, подобравшая их с полу в пустой квартире в Лаврушинском переулке в 1942 г. (см. воспоминания Е. Н. Бер-ковской). В эвакуацию была взята тетрадь с «Охранной грамотой» и автографы стихов из «Второго рождения».

46 Б. Пастернак выехал из Москвы 14 октября поездом до Казани. Оттуда в Чистополь на самолете.

47 Перевод «Ромео и Джульетты» окончен в феврале 1942 г., «Антония и Клеопатры» — весной 1943 г.

48 Дмитрий Дмитриевич Авдеев (1879-1952).

49 Арсений Дмитриевич Авдеев (1901-1966) — театровед. Валерий Дмитриевич Авдеев (1908—1981) — биолог. Переписывался с Пастернаком.

50 Г. Нейгауз был арестован 4 ноября 1941 года и выпущен 19 июля 1942 года. Все это время находился в Лубянской тюрьме. Ему было разрешено жить в Свердловской области, потом в Свердловске.

51 Пастернак уехал в Москву в сентябре 1942 года и возвратился в Чистополь 26 декабря 1942 года.

52 В комнате не было печки, Пастернак просил купить дров, чтобы хозяева поставили там печку.

53 Пастернак только один раз ездил в Москву по делам — осенью 1942 г.

54 Пастернак познакомился с О. В. Ивинской (1912-1995) в октябре 1946 года. Она в 1946-1947 годах работала в «Новом мире» с начинающими авторами. К. М. Симонов был в то время главным редактором журнала.

55 Первое чтение было 3 августа 1946 г.

56 Роман был передан в Гослитиздат весной 1956 года.

57 Международный фестиваль молодежи проходил в сентябре 1957 г.

58 Рукопись романа была передана в мае 1956 г.

59 В письме от 22 марта 1957 года Дж. Фельтринелли писал: «Дорогой сударь. Несколько недель назад я узнал новость, что Ваш роман "Доктор Живаго" будет опубликован в Москве в будущем сентябре» (Семейный архив Б. Пастернака). 10 июля Дж. Фельтринелли написал в Гослитиздат: «Дорогие товарищи, мы хотим этим письмом подтвердить Вам, что мы не издадим романа Пастернака "Доктор Живаго" до того, как он выйдет в сентябре в советском издательстве» (Семейный архив Б. Пастернака).

6012 января 1948 года Пастернак сделал дарственную надпись на книге Шекспира «Гамлет» (Детгиз, 1947 г.): «Зине, моей единственной. Когда я умру, не верь никому: только ты была моей полною, до конца дожитой, до конца доведенною жизнью. Б. П.».

61 Статья Д. Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка» была напечатана в «Правде» 26 октября 1958 года. 3. Пастернак имеет в виду слова статьи Д. Заславского: «Сложное рифмоплетство чуждо ясному и чистому складу русской литературной речи».

62 Екатерина Алексеевна Фурцева (1910-1974) — партийный и государственный деятель, в то время министр культуры СССР. Письмо отправлено не было (см. т. X наст. собр.).

63 Б. Пастернака исключили из Союза писателей СССР 27 октября на совместном заседании президиума правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиума правления Московского отделения Союза писателей под председательством Н. Тихонова. «Все участники заседания единодушно осудили предательское поведение Пастернака, с гневом отвергнув всякую попытку наших врагов представить этого внутреннего эмигранта советским писателем». Было принято постановление: «О действиях члена Союза писателей СССР Б. Л. Пастернака, несовместимых со званием советского писателя» («Литературная газета», 28 октября 1958 года). Общее собрание московских писателей 31 октября лишь «всецело поддержало решение руководящих органов Союза писателей о лишении Б. Пастернака звания советского писателя и об исключении его из рядов членов Союза писателей СССР» и обратилось к правительству с просьбой о лишении его советского гражданства («Литературная газета», 1 ноября 1958 года). Стенограмма этого собрания опубликована в журнале «Горизонт», 1988, № 9.

64 Владимир Ефимович Семичастный — в то время первый секретарь ЦК ВЛКСМ — в своем докладе на пленуме ЦК ВЛКСМ сказал: «Пастернак — это внутренний эмигрант, и пусть бы он действительно стал эмигрантом, отправился бы в свой капиталистический рай... Его уход из нашей среды освежил бы воздух» («Правда» и «Комсомольская правда» от 30 октября 1958 года).

65 «Правда» от 6 ноября 1958 года.

66 Дмитрий Алексеевич Поликарпов (1905-1965) — в то время заведующий Отделом культуры ЦК КПСС.

67 В январе 1959 года.

68 Стихотворение «Нобелевская премия» было опубликовано в английской газете «Дэйли мэйл» И февраля 1959 года.

69 Гарольд Макмиллан (1894-1986) — в то время премьер-министр Великобритании.

701960 года.

71 Рената Швейцер — немецкая писательница, переписывалась с Пастернаком с апреля 1958 года.

72 Текст своей речи В. Ф. Асмус не записал. Сохранились только некоторые записи. В. Асмус начал свою речь словами: «От нас ушел Б. Пастернак, один из крупнейших писателей русских. Его отличало огромное поэтическое дарование, мастерство русской поэтической речи, редкая не только по ширине охвата, но и по тонкости, по проницательности, художественная восприимчивость ко всем видам искусства. <...> Он не навязывал себя современности, не спорил с нею <...> твердо знал, что придет время, когда современность к нему вновь обратится. Это время не за горами» (Приложение к «Литературной газете» «Век Пастернака», февраль 1990 г., с. 30).

М. Анастасьева

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК В ЖИЗНИ НАШЕЙ СЕМЬИ

Маргарита Викторовна Анастасьева — актриса МХАТа. Автор воспоминаний о С. Нейгаузе в сб.: «Станислав Нейгауз. Воспоминания, письма, материалы». М., 1988; составитель книги «Век любви и печали». М., 2002.

1 Виктор Феликсович Анастасьев (1888-1939) — инженер. Анна Робертовна Грейгер-Анастасьева (1897—1986) — пианистка.

2 Яков Саулович Агранов (1893-1938) — работник ВЧК с 1919 г. С 1934 г. — первый заместитель министра внутренних дел, комиссар госбезопасности. Арестован в 1937 г., расстрелян.

3 В 1935 году Пастернак обратился к М. И. Калинину. По его ходатайству срок заключения был снижен до 5 лет, но в 1938 году В. Анастасьев снова был осужден на 10 лет без права переписки. 14 августа 1935 года Пастернак писал З. Пастернак: «...исхода письма к Калинину, правда, жду, как чего-то нашего с тобой, как ребенка: родим свободу Виктору» (т. IX наст. собр.). Был расстрелян.

4 Летом 1935 г. Пастернак ездил в Париж на антифашистский конгресс.

5 Улица Тренева.

6 27 октября 1937 г.

7 Стихотворение о ночной фиалке «Любка» было написано в 1927 г.

8 Речь идет о предисловии К. Чуковского к книге Пастернака «Стихи». М., 1966. Было напечатано впервые в журнале «Юность», 1965, №8.

М. Гонта

МАРТИРИК

Мария Павловна Гонта (1904-1995) — актриса, журналистка, сценарист. В 30-х годах печаталась в журнале «Прожектор» и газете «Красная звезда». Принимала участие в создании фильма «Последний табор». Была замужем за поэтом Дмитрием Петровским.

1 Мария Федоровна Андреева (1872-1953) — актриса МХАТа. В 1918—1921 годах — комиссар Императорских театров, гражданская жена М. Горького. С 1930 по 1948 год — директор Дома ученых.

2 Поэма Н. Асеева, написанная к юбилею Октябрьской революции.

3 Письмо Пастернака И. Сталину, написанное в декабре 1935 года, опубликовано было в еженедельной газете ЦК КПСС «Гласность» 27 сентября 1990 года (№ 16) с неправильной датировкой. С исправлением датировки в «Русской мысли» 28 июня 1991 года. Пастернак писал: «Горячо благодарю Вас за Ваши недавние слова о Маяковском. Они отвечают моим собственным чувствам. Я люблю его и написал об этом целую книгу. Но и косвенно Ваши строки о нем отозвались на мне спасительно. Последнее время меня под влиянием Запада страшно раздували, придавали преувеличенное значение... Теперь, после того, как Вы поставили Маяковского на первое место, с меня это подозрение снято, и я могу с легким сердцем жить и работать по-

прежнему, в скромной тишине» (т. IX наст. собр.). В очерке «Люди и положения» Пастернак точно передает содержание этого письма.

4 Григорий Робакидзе (1880—1962) — философ, поэт-авангардист. С 1933 года жил в Германии, умер в Женеве. В 1988 году в издательстве «Мерани» вышел его роман «Змеиная кожа».

5 Этим другом была сама М. П. Гонта.

А. Афиногенов

ИЗ ДНЕВНИКА 1937 ГОДА

Александр Николаевич Афиногенов (1904-1941) — драматург, пьесы его шли во многих театрах страны. Сам Сталин в 1933 году редактировал его пьесу «Ложь», но признал ее неудачной, после чего Афиногенов прекратил ее репетиции в театрах. 19 мая 1937 года после статей в «Литературной газете», «Советском искусстве» и журнале «Театр», обвинявших Афиногенова в связях с троцкистами, был исключен из партии, а 1 сентября — из ССП, 3 февраля 1938 года восстановлен в партии, а 26 февраля — в ССП. Дневник, который он вел в это время, имел двойное назначение Часть записей явно предназначалась будущим следователям (Афиногенов ждал ареста), другие предназначались для себя. Именно в это время, когда Афиногенов остался, по существу, один, так как с ним считалось опасным общаться, Пастернак, его сосед по Переделкину, пришел к нему.

9 сентября 1941 года Афиногенов был назначен начальником литературного отдела Совинформбюро, а 29 октября, накануне вылета в США, был убит осколком бомбы в здании ЦК партии. 28 октября 1944 года в газете «Литература и искусство» был напечатан очерк «Афиногенов», где Пастернак вспоминал о своем знакомстве с ним: «Он писал для театра и, как все истинно драматическое, был в жизни подкупающе естественен. В противоположность писателям, изъясняющимся темно и непово-ротливо, он с умом и дельно говорил о вещах, представляющих интерес и значение. Он ставил себе ясные задачи и их легко и удачно разрешал...» (т. V наст. собр.).

124 января 1937 г. состоялось заседание президиума Союза писателей в связи с начавшимся 23 января процессом над Пятаковым, Радеком, Сокольниковым, обвинявшимися в организации параллельного антисоветского троцкистского центра. 25 января «Литературная газета» напечатала резолюцию президиума под названием «Если враг не сдается, его уничтожают». Ее подписали 25 человек, среди которых были Вс. Иванов, А. Афиногенов, И. Сельвинекий, Б. Пильняк и др. Подписи Пастернака не было. В архиве Союза писателей (РГАЛИ, ф. 631) вместе со стенограммами выступающих на собрании находится написанная карандашом записка Пастернака, начинающаяся словами «Прошу присоединить мою подпись к подписям товарищей под резолюцией Президиума Союза советских писателей от 25 января 1937 года. Я отсутствовал по болезни, к словам же резолюции нечего добавить» (см. т. V наст. собр.).

2 Ричард Витольдович Пикель (1896-1936) — литературный и театральный критик В молодости был секретарем Зиновьева. Осужден по делу вместе с Каменевым и Зиновьевым (Процесс «16-ти»). Расстрелян.

3 Владимир Михайлович Киршон (1902-1938) — драматург, поэт, видный деятель РАПП. Расстрелян.

4 Пленум правления ССП, посвященный 100-летию со дня смерти Пушкина, проходил с 22 по 26 февраля 1937 года.

5 Это была «генеральная проза» — как ее называл Пастернак. Роман Пастернака, без названия, был уже объявлен редакцией «Нового мира» на 1937 год (см. «Записки Патрика». Т. III наст. собр.).

6 В апреле 1937 года В. Киршон был исключен из партии, вскоре арестован и расстрелян. В дневнике Афиногенов резко пишет о Киршоне, не сомневаясь в его виновности.

7 Позднее, в очерке «Люди и положения», Пастернак писал: «Толстой прошел через всю мою жизнь, в особенности потому, что отец иллюстрировал его, ездил к нему, почитал его и что его духом проникнут был весь наш дом». Л. О. Пастернак был вызван в Астапово, когда умер Толстой. Б. Пастернак сопровождал его в этой последней поездке к Толстому.

8 Андрей Сергеевич Бубнов (1883-1938) — государственный и партийный деятель. Осужден и расстрелян.

9 Очевидно, это говорилось из боязни слишком откровенных разговоров в чужом доме. З. Н. Пастернак всегда сохраняла самые дружеские и близкие отношения с Н. А. Табидзе и ее дочерью Т. И. Табидзе и помогала им деньгами и помимо Пастернака.

10 Повесть Б. Пильняка «Красное дерево» была издана в 1929 году в Берлине в издательстве «Петрополис». 26 августа 1929 года в «Литературной газете» появилась статья Б. Волина, положившая начало травле Б. Пильняка и Б. Замятина за то, что они печатаются за границей. В знак протеста против бурной кампании, развернувшейся на страницах «Литературной газеты» и во Всероссийском Союзе писателей, Б. Пильняк (руководитель Московского отделения ВСП) и Б. Пастернак вышли из ВСП в Москве, а Е. Замятин — в Ленинграде.

11 Александр Сергеевич Яковлев (1906-1988) — авиаконструктор, академик, генерал-инженер, и Андрей Николаевич Туполев (1888-1972) — авиаконструктор, академик, генерал-полковник инженерной службы, — в то время были арестованы.

12 Евгения (Дженни) Бернгардовна Афиногенова (1905-1948).

Т. Иванова

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК

Тамара Владимировна Иванова — переводчик, мемуарист («Мои современники, какими я их знала». М., 1987), жена писателя Всеволода Иванова, автора пьесы «Броненосец 14-69».

1 Сергей Федорович Буданцев (1896-1938) — поэт и прозаик. Арестован в 1937 году, расстрелян 21 апреля 1938 года одновременно с Пильняком и И. Касаткиным.

2 Вера Васильевна Ильина (1894-1966). Впервые выступила в печати в 1916 г. Автор книг «Крылатый приемыш» (М.-Пг., 1923), «Гудок» (М., 1927), поэмы в стихах для детей «Шоколад» (М., 1923). В. В. Ильина — один из прототипов героини поэмы «Спекторский».

3 Объяснением этих слов Пастернака служит сказанное им на Пленуме правления в 1936 г.: «Скажем правду, товарищи: во многом мы виноваты сами... Мы все время накладываем на себя какие-то дополнительные путы, никому не нужные, никем не затребованные. От нас хотят дела, а мы все присягаем в верности» (т. V наст. собр.).

4 Константин Александрович Федин работал над второй частью мемуарной прозы «Горький среди нас».

5 Николай Федорович Погодин (1900-1962).

6 Речь идет о пьесе А. Н. Толстого «Иван Грозный» и поэме А. К. Толстого «Василий Шибанов».

7 Речь идет о статьях Эренбурга и стихотворных подписях под плакатами С. Маршака.

8 Микола Платонович Бажан (1899-1983) — украинский поэт. Близкий друг Ивановых.

9 Пастернак ездил в сентябре 1943 г. в расположение 3-й Армии. (См. его очерк «Поездка в Армию».)

10 Александр Васильевич Горбатов (1891-1973) в своей книге «Годы и войны» вспоминает о встрече с Пастернаком.

11 «Зарево». Поэма осталась незаконченной.

12 Письмо членов редколлегии «Нового мира» с отказом печатать роман было послано Пастернаку в сентябре 1956 года.

13 Испанский поэт Рафаэль Альберта познакомился с Пастернаком в 1955 году. В 1938 году Пастернак перевел 15 его стихотворений.

14 Информация о присуждении роману «Доктор Живаго» итальянской премии Банкарелла.

15 М. К. Поливанов (1930-1991) — физик; В. Н. Топоров и А. Д. Михайлов (в тексте — Николаев, ошибка автора) — филологи, однокурсники Вяч. Вс. Иванова.

К. Чуковский

ИЗ ДНЕВНИКА

Корней Иванович Чуковский (1882—1996) — литературный критик, переводчик, автор стихов для детей, книг «От двух до пяти», «Искусство перевода» и др.

1 Раиса Николаевна Ломоносова (1888-1973) — жена инженера-железнодорожника, профессора Юрия Владимировича Ломоносова (1876—1952). В центре ее интересов стоял перевод современной западной литературы на русский язык. За советами по выбору книг для перевода Раиса Николаевна обращалась к К. И. Чуковскому. В письме Чуковского к ней от 7 июля 1925 г. читаем: «Есть в Москве поэт Пастернак. По-моему — лучший из современных поэтов. К нашему общему стыду — он нуждается. Все мы обязаны помочь Пастернаку, ибо русская литература держится и всегда держалась только Пастернаками. Он пишет мне горькие письма. Ему нужна работа. Он отличный переводчик. Не пришлете ли вы ему какую-нибудь книгу для перевода — стихи или прозу, он знает немецкий и англ.». В другом письме, от 29 августа 1925 года, Чуковский писал Ломоносовой: «Кстати, я хотел познакомить с Вами поэта Пастернака и дал ему Ваш адрес... Я считаю его одним из самых выдающихся русских поэтов, и мне больно, что он так беспросветно нуждается. Не могли бы Вы ему помочь? Он хороший переводчик (с немецкого, английского, французского)... Вы спасете большого поэта от голода» («Минувшее». М.—СПб., 1994. № 15. С. 195). О последствиях этих писем сам Пастернак писал Д. П. Свято-полк-Мирскому в 1930 году: «...все делалось без моего ведома. К. И. знал, что я бедствую, и таким образом устраивал мой заработок... Сюрпризом, к-рый мне готовил К. И., я не мог воспользоваться. Но вряд ли он знает, какой бесценный, какой неоценимый подарок он мне сделал. Я приобрел друга тем более чудесного, то есть невероятного, что Р. Н. человек не "от литературы"» (т. VIII наст. собр.). Между Пастернаком и Ломоносовой завязалась переписка (см. тт. VII, VIII, IX наст, собр.), которая приобрела особую теплоту после встречи Раисы Николаевны с первой женой Пастернака, Евгенией Владимировной, в Германии в 1926 году. В 1935 году Пастернак встретился в Лондоне с Ломоносовой по пути в Ленинград.

2 Рукопись стихотворения под заглавием «Борису Пильняку» находится в Литературном музее.

3 Младшая дочь К. Чуковского Мария умерла от туберкулеза в 1931 году.

4 В архиве Зелинского в РГАЛИ (ф. 1604) сохранилось пять писем к нему Пастернака за 1926 год (т. VIII наст. собр.). Впоследствии выступал с резкими статьями, критикующими Пастернака.

5 В Издательстве писателей в Ленинграде был составлен план изданий собраний сочинений от Державина до Пастернака, договор подписан 12 августа 1931 года. Отдел культуры и пропаганды ЦК вычеркнул из списка имя Пастернака. Первый том предполагавшегося собрания вышел в 1933 году как «Стихотворения в одном томе».

6 В. П. Полонский умер от тифа 24 февраля 1932 года.

7 Имеется в виду критика, которую вызвали «Охранная грамота» и «Спекторский». О «Спекторском» писали А. Селивановский в «Литературной газете» от 15 августа 1931 года и А. Прозоров («Трагедия субъективного идеалиста») в журнале «На литературном посту», 1932, № 7. «Охранную грамоту» критиковали А. Селивановский, А Тарасенков, В. Ермилов и др.

25 февраля 1932 года Пастернак записал в альбом Чуковскому свое стихотворение: «Юлил вокруг да около. / Теперь не отвертеться. / И вот мой вклад в Чукоккалу / Родительский и детский. / Их, верно, надо б выделить, / А впрочем, все едино: / Отца ли восхитителю / Или любимцу сына...»

8 Евгений Борисович Пастернак.

9 Александр Георгиевич Габричевский (1891-1968) — историк изобразительного искусства и архитектуры, переводчик с итальянского языка многотомного трактата Вазари.

10 Сарра Дмитриевна Лебедева (Дармолатова; 1892-1967) — скульптор; Анна Дмитриевна Радлова (Дармолатова; 1891-1919) — поэтесса.

11 Александр Ильич Гитович (1909-1966) — поэт и переводчик.

12 Статья С. Крушинского «Серьезные недостатки детских журналов». Николай Корнеевич Чуковский (1904—1965) — прозаик, переводчик.

13 «Замечания к переводам из Шекспира». Первоначальная редакция датирована августом 1946 года.

14 Статья В. Ермилова о пьесе В. Гроссмана «Если верить пифагорейцам».

15 Марина Николаевна Чуковская (1905-1993) — жена Н. К. Чуковского.

16 В «Современнике» (1915, № 5) был напечатан перевод пьесы Г. Клейста «Разбитый кувшин». Журнал издавался Н. Н. Сухановым, но негласно редактировал его Горький. В очерке «Люди и положения» Пастернак вспоминал: «Вместо благодарности редакции "Современника" я в глупом письме, полном деланной, невежественной фанаберии, жаловался Горькому на то, что со мною были внимательны и оказали мне любезность... и оказалось, что я жаловался Горькому на Горького. Комедия была помещена по его указанию, и он правил ее своею рукою».

17 В письме от 23 ноября 1927 года Пастернак писал Горькому: "Сам-гин" мне нравится больше "Артамоновых", я мог бы ограничиться одним этим признанием. Однако, вдумываясь (просто для себя) в причины художественного превосходства повести, я нахожу, что ее достоинства прямо связаны с тем, что читать ее труднее, чем "Дело Артамоновых", что, обсуждая вещь, с интересом и надеждой тянешься к оговоркам и противоположностям, короче говоря, высота и весомость вещи в том, что ее судьба и строй подчинены более широким и основным законам духа, нежели беллетристика бесспорная» (т. VII наст. собр.).

18 Чуковский неверно записал имена. На самом деле: Борис Михайлович Зубакин (1894-1938) — археолог и импровизатор. Анастасия Ивановна Цветаева — младшая сестра М. Цветаевой, летом 1927 года по приглашению Горького гостили у него в Сорренто. Личное знакомство с ними разочаровало Горького, и он написал Пастернаку резкое письмо в ответ на его письмо, защищающее сестер Цветаевых и Андрея Белого.

19 Горький просил прекратить переписку (письмо 7 ноября 1927). Но отношения были восстановлены (см.: «Борис Пастернак в переписке с Максимом Горьким». — «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», 1986, т. 64, № 3). В 1933 году, когда А. Цветаеву первый раз арестовали, Горький способствовал ее освобождению.

20 Ср. слова из письма Пастернака к Р. К. Микадзе 18 ноября 1950 г.: «Память о нем (о Лермонтове. — Е. Я.), по сравнению с Пушкиным, была предельно отягощена и затруднена тем требовательным и ускользающе-неуловимым, чего в нем так много,

почти как в настоящем живом горе или в сырой природе. И только к концу столетия некоторые мысли у Владимира Соловьева, кое-что у символистов, а главное — работы Врубеля были первым эхом, первым отражением лермонтовского звука на полустолетнем расстоянии, так трудно подхватить и продолжить лермонтовскую исключительность, так немыслимо отвечать на его сигнал общими местами. А теперь и то немногое, что было достигнуто, возвращено назад, в старую исходную точку, и мы узнаем о Лермонтове, что был великий русский поэт, большой патриот и еще что-то. Это почти то же самое, что сказать, что у Лермонтова были руки и ноги» (т. IX наст. собр.).

21 А. Ахматова была делегатом Второго съезда писателей от Ленинградской писательской организации.

22 Вячеслав Всеволодович и Тамара Владимировна Ивановы.

23 Андроникова.

24 Книга вышла в миланском издательстве Фельтринелли в ноябре 1957 г.

25 Лидия Николаевна Тынянова (Каверина; 1902-1984) — жена В. Каверина, сестра Ю. Тынянова, писательница.

26 Елена Ефимовна Тагер (1909-1981) — искусствовед.

27 Александр Михайлович Еголин (1896-1959) — литературовед, директора ИМЛИ им. Горького, ответственный сотрудник ЦК партии. Был членом редколлегии при издании Собрания сочинений Н. Некрасова, которое составлял К. Чуковский.

28 Евгений Борисович Чуковский — внук Корнея Ивановича.

29 Екатерина ЕливферьевнаЛури (1916—1987) — племянница К. Чуковского, дочь его сестры. Агнесса Кун, переводчица с венгерского, которая редактировала переводы Пастернака из Петефи, и ее муж, венгерский поэт Антал Гидаш. С 1932 по 1959 год Гидаши жили в Советском Союзе.

30 Екатерина Алексеевна Фурцева. В это время министр культуры СССР.

31 Елена Цезаревна Чуковская — внучка К. Чуковского. Кандидат химических наук. Автор многочисленных публикаций писем К. Чуковского и комментатор его произведений.

32 Настоящая фамилия — Лихоталь. Находясь в доме Пастернака в эти дни, снял несколько документальных фильмов.

33 Дмитрий Алексеевич Поликарпов — в то время заведующий Отделом культуры ЦК КПСС, лично занимавшийся «делом» Пастернака.

34 Цецилия Воскресенская — старшая дочь И. Сельвинского. Автор воспоминаний, где она рассказывает и о пребывании Пастернака в Чистополе («Что вспомнилось...» — сб. «Чистопольские страницы». Казань, 1987).

35 Письмо не было отправлено (см. т. X наст. собр.).

36 Статья К. Зелинского «Поэзия и чувство современности». — «Литературная газета», 5 января 1957 года. О словах В. Иванова К. Зелинский сообщил на общемосковском собрании писателей, на котором поддерживали исключение Пастернака из ССП, и сказал, что должна быть проделана «очистительная работа». Подробно об этом см. Лидия Чуковская. «Записки об Анне Ахматовой», т. 2. М., «Согласие». 1997. С. 582-584.

37 С. А. Макашин вспоминал, как встретил 23 апреля 1959 года в Переделкине Б. Пастернака со счастливым, вдохновенным лицом. Макашин сказал, как он рад его видеть в такой хорошей форме, таким молодым. Пастернак воскликнул: «Да, да, конечно, я сегодня простил Костю Федина».

38 Начало работы над пьесой «Слепая красавица». Деятели реформ 1861 г.: Н. А Милютин (1818—1872), товарищ министра внутренних дел, К. Д. Каверин (1818-1885) и М. И. Зарудный (1836-1883) — публицисты.

3914 марта 1959 года Пастернак был вызван к Генеральному прокурору Р. А Руденко, где ему была предъявлена статья 64 — измена родине. Поводом была публикация стихотворения «Нобелевская премия» в газете «Дэйли мэйл» 11 февраля 1959 года.

40 Лу Альбер-Лазар, автор книги «Образ Рильке» (Париж, 1953). Прислала ее Пастернаку с дарственной надписью: «Поэту Борису Пастернаку этот образ Рильке с выражением великого восхищения. Лу Альбер-Лазар. Париж. 31 марта 1959 г.». Письмо Пастернака к ней неизвестно.

41 И. Сельвинский, узнав о Нобелевской премии, послал из Ялты просьбу присоединить свой голос и голос В. Шкловского к мнению Московского собрания писателей и напечатал стихи, направленные против Пастернака, в «Огоньке», 1959, № 11.

42 По договору с Гослитиздатом Пастернак сделал перевод трагедии Юлиуша Словацкого «Мария Стюарт», за который полгода ему не платили денег и отказывались печатать. Набранный однотомник стихотворений не напечатали.

43 Скрытая цитата («Чужой, как река Брахмапутра») из стихотворения Саши Черного «Всероссийское горе».

44 Речь идет о расстреле 12 августа 1952 года П. Маркиша (1895—1952), Л. Квитко (1890-1952), И. Фефера (1900-1952) и других еврейских писателей и поэтов, осужденных по делу «Антифашистского еврейского комитета». В 1956 году посмертно реабилитированы.

45 Лидия Леонидовна Пастернак-Слейтер. Должна была приехать 28 мая, но не получила советской визы.

46 Ошибка. Снимок был сделан за четыре дня до смерти — 26 мая.

47 В. Ф. Асмус произнес речь на похоронах Пастернака 2 июня. Предварительно он был в Союзе писателей и уведомил К. В. Воронкова, что будет говорить на могиле.

48 «Слепая красавица».

49 Переписанную набело часть пьесы (пролог и первый акт) Пастернак просил Вяч. Вс. Иванова передать О. В. Ивинской для чтения. Изъята в 1960 году КГБ. Рукопись хранится в РГАЛИ. Была опубликована по машинописи в журнале «Простор», 1969, № 10.

50 Архив О. В. Ивинской передан в Государственный музей грузинской литературы в Тбилиси. Часть архива находится у ее дочери И. И. Емельяновой в Париже.

51 И сама Зинаида Николаевна, и А. Л. и Е. Б. Пастернаки, и даже врач А. Н. Голодец неоднократно предлагали Борису Леонидовичу позвать к нему Ольгу Всеволодовну, но он категорически отказывался ее видеть. И «в соседней комнате», как пишет Чуковский, она не была. Б. Л. Пастернак посылал ей записки через медицинскую сестру и Вяч. Вс. Иванова.

52 После письма Комиссии по литературному наследству в книгу были включены такие значительные стихотворения, как «Марбург» и «Петербург», без которых Сурков хотел издать книгу.

53 Зиновий Самойлович Давыдов (1892-1957) — автор исторических повестей и романов.

54 См. воспоминания З. Н. Пастернак о сестре Лиде: «Она все знает о его денежных распоряжениях». Л. Л. Слейтер писала Фельтринелли о том, что З. Н. Пастернак нуждается и просила помочь ей, Фельтринелли оставил это письмо без ответа.

55 Не Сурков, а И. Берлин в 1945 г.

56 Андрей Андреевич Громыко (1909-1989) — государственный и партийный деятель. В то время министр иностранных дел СССР.

57 Пастернаку очень нравились переводы на английский его сестры Лидии. Она присылала их ему в письмах.

58 Мария Игнатьевна Будберг (1892-1974) — друг М. Горького, переводчица советских писателей на английский язык. В частности, перевела «Детство Люверс» Пастернака.

59 Раиса Давыдовна Орлова (1918-1989) — критик и литературовед. С 1980 года жила в ФРГ.

60 Марина Цветаева.

61 Имеется в виду книга: Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы. «Библиотека поэта», Большая серия, изд. 2-е. Вступительная статья А. Д. Синявского. Составление, подготовка текста и примечания Л. А. Озерова. М.-Л., 1965.

62 Борис Пастернак. Стихи. М., 1966. Вступительная статья Корнея Чуковского. Послесловие Н. В. Банникова.

« «Юность», 1965, № 8.

64 Генри Дэвид Торо (1817-1862) — американский писатель. Автор знаменитой книги «Уолден, или Жизнь в лесу».

Н. Табидзе

РАДУГА НА РАССВЕТЕ

Нина Табидзе (1900-1964) — жена поэта Тициана Табидзе, биолог.

1 Паоло Яшвили познакомился с Б. Пастернаком в 1930 году.

2 Колау Надирадзе (1895—1990) — грузинский поэт, которого высоко ценил Б. Пастернак. Он перевел четыре его стихотворения.

3 Валериан Иванович Гаприндашвили (1888/1889—1941) — грузинский поэт. В 1933-1934 гг. сделал много подстрочников для переводов Б. Пастернака. Б. Пастернак считал их «замечательными» и сам перевел пять стихотворений В. Гаприндашвили.

4 Тамара Георгиевна Яшвили (1904-1982).

5 Георгий Николаевич Леонидзе (1899—1966). Б. Пастернак перевел шестнадцать стихотворений Г. Леонидзе.

6 Симон Иванович Чиковани (1903—1966). Б. Пастернак особенно сблизился с ним в 40-е годы. Он перевел тринадцать стихотворений С. Чиковани.

7 Т. Табидзе выступил на 20-м утреннем заседании съезда 29 августа 1934 года. Он говорил и о переводах Б. Пастернака: «Перевод "Змееда", поэмы Важа Пшавела, Борисом Пастернаком расценивается в Грузии как поэтический подвиг».

8 Стихотворение П. Яшвили «На смерть Ленина» было напечатано в журнале «Тридцать дней», 1934, JSfe 1. Стихотворение Т. Табидзе — «Известия», 1934,6 марта.

9 С. Орджоникидзе покончил с собой 18 февраля 1937 года.

10 Ошибка памяти. Телеграмма послана не ранее января 1938 года после рождения Лени.

11 Место захоронения выбрано сыновьями; 3. Н. хотела, чтобы Пастернак был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

А. Гладков

ВСТРЕЧИ С ПАСТЕРНАКОМ

Александр Константинович Гладков (1912-1974) — писатель, драматург, автор пьесы «Давным-давно», мемуаров, записей бесед с В. С. Мейерхольдом и Б. Л. Пастернаком. Полный текст воспоминаний «Встречи с Пастернаком» опубликован в Париже, YMCA-Press, 1975 и в Москве — «Арт-Флекс», 2002.

1 Эта встреча произошла 5 марта 1936 г.

2 Андре Мальро (1901—1976) — французский писатель, искусствовед, политический деятель. Выступал на I съезде писателей в августе 1934 года. Перевод его речи был прочитан Ю. Олешей на вечернем заседании 23 августа. Принимал

участие в Международном антифашистском конгрессе в Париже в июне 1935 г. Роллан Мальро (1912—1945) — журналист, работал в Москве, сопровождал брата во время его поездки по России.

3 Секретарь Сталина П. П. Поскребышев. Премьера спектакля «Дама с камелиями» (пьеса А. Дюма-отца, перевод Г. Г. Шпета) прошла в Государственном театре им. В. Мейерхольда 19 марта 1934 г.

4 Статья «Сумбур вместо музыки» была опубликована в «Правде» 28 января 1936 г.

5 Разговор со Сталиным записан в 1930-х годах со слов Пастернака Н. Я. Мандельштам и позднее А. Ахматовой. Существуют поздние версии этого разговора З. Пастернак, Н. Вильмонта, З. Масленниковой, И. Берлина, Е. Б. Пастернака и др.

6 Шигалев — герой романа Достоевского «Бесы». О самоубийстве Яшвили, «как колдовством оплетенном шигалевщиной тридцать седьмого года», Пастернак писал в очерке «Люди и положения».

7 Джек Алтаузен (Яков Моисеевич; 1907-1942) — прозаик. Дмитрий Васильевич Петровский (1892-1958) — поэт. Резко выступили против Б. Пастернака на Пушкинском пленуме (22—26 февраля 1937 г.).

8 Драматург В. В. Вишневский.

9 Статья А. Суркова «Поэзия Бориса Пастернака» (21 марта 1947).

10 Марина Цветаева повесилась в Елабуге 31 августа 1941 г.

11 Л. Леонов и К. Федин.

12 Писатель Семен Григорьевич Гехт (1903—1963) и поэт Н. Асеев были женаты на сестрах Синяковых: Вере Михайловне и Ксении Михайловне.

13 В письме от 21 мая 1948 г. Пастернак писал В. Д. Авдееву: «Я был противником этого переезда» (т. IX наст. собр.). Дочь Цветаевой, А. С. Эфрон, была арестована 27 августа 1939 года и 2 июля 1940 года приговорена к 8 годам лагерей. Муж Цветаевой С. Я. Эфрон был арестован 10 октября 1939 года и 16 октября 1941 года расстрелян.

14 Стихотворение «Памяти Марины Цветаевой» было «задумано в 1942 г. в Чистополе, написано 25—26 декабря 1943 года в Москве». Разговор с А. Гладковым в Чистополе нашел отражение в строках: «Над снегами пустынного плеса, / Где зимуют баркасы во льду...».

15 Григорий Осипович Винокур (1896-1947) — языковед, литературовед, один из составителей «Толкового словаря русского языка» в 4 томах под ред. Д. Н. Ушакова, редактор академического и других изданий собрания сочинений Пушкина. Автор книг «Культура языка» (1929), «Биография и культура» (1927), «Маяковский — новатор языка» (1943) и др.

16 Эвфемизм вместо НКВД, имеется в виду участие Я. С. Агранова — первого заместителя наркома НКВД в судьбе Маяковского и его близость к Брикам. Агранов был расстрелян в 1938 г.

17 Ср. в «Докторе Живаго»: «Всякая стадность — прибежище неодаренности, все равно верность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно» (т. IV наст. собр.).

В. Боков

СОБЕСЕДНИК РОЩ

Виктор Федорович Боков (р. 1914) — поэт, прозаик. Автор книг: «Яр-хмель», 1958, «Заструги», 1958, и др. 18 августа.

2 Георгий Эфрон уехал вместе с Цветаевой.

3 Степан Петрович Щипачев (1899-1980) — поэт, автор популярных в то время нравоучительных стихов о любви.

М. Левин

НЕСКОЛЬКО ВСТРЕЧ

Михаил Львович Левин (1922-1992) — доктор физико-математических наук, специалист в области электродинамики и теории плазмы, редактор первого в России издания «Трактата об электричестве и магнетизме» Дж. К. Максвелла, автор воспоминаний об А. Д. Сахарове «Прогулки с Пушкиным», о М. А. Леонтовиче.

1 По приезде из Чистополя осенью 1942 г. Пастернак останавливался у Асмусов на Зубовском бульваре; его квартира в Лаврушинском была занята зенитчиками.

2 Альберт Абрахам Майкельсон (1852-1952) — американский физик-экспериментатор, создатель оптических приборов по определению скорости света; с 1924 г. иностранный член Академии наук СССР, лауреат Нобелевской премии 1907 г.

3 Степан Борисович Веселовский (1876-1952) — историк, специалист по истории русского феодализма. Многие его работы не были опубликованы при жизни, так как содержали критику политики и личности Ивана Грозного. «Исследование по истории опричнины» вышло в 1963 г., а «Исследование по истории класса служивых землевладельцев» — в 1969 г.

4 Лев Яковлевич Карпов (1879-1921) — химик, участник революции 1905 г., член ЦК РСДРП (1904-1905). Его имя носит Физико-химический институт Академии наук СССР.

5 Имеется в виду юбилейное издание сочинений М. Лермонтова 1891 г. (изд. Кушнерева).

6 Владимир Львович Карпов (1907-1986), химик, доктор химических наук, один из создателей радиационной химии полимеров, сын Л. Я. Карпова.

7 Дом № 10 по Пречистенке, где Пастернак жил гувернером у Филиппов в 1914-1915 гг.

8 Сигурд Оттович Шмидт — историк, председатель Археографической комиссии Академии наук.

9 Имеется в виду роман К. Симонова «Русский вопрос».

10 Ревекка Сауловна Левина (1900-1961) — член-корреспондент Академии наук, экономист, арестована в 1949 г., освобождена в 1955-м.

11 Павел Григорьевич Васильев (1910-1937) и Борис Петрович Корнилов (1907-1938) — поэты, были арестованы и расстреляны.

12 Ласло Райк (1909—1949) — венгерский политический деятель, расстрелян, как агент Тито.

13 Эффект Черенкова — излучение света, возникающее при движении заряженных частиц со скоростью, большей, чем фазовая скорость света. Павел Алексеевич Черенков (1904—1990) — физик, академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии 1958 г. (вместе с И. Е. Таммом и И. М. Франком).

14 Пастернак читал эту книгу Г. Вейля, посвященную теории относительности А. Эйнштейна, еще в 1921 г. и писал о ней своей будущей жене (см. письмо к Е. В. Лурье 23 декабря 1921 г. — т. VII наст. собр.).

15 Борис Михайлович Федоров (1798-1875) — писатель, поэт, журналист. Знакомый Пушкина. Речь идет об эпиграмме на пушкинского «Бориса Годунова» приписывавшейся Б. Федорову. Ее автор реальный — М. А. Бестужев-Рюмин. Она была процитирована в статье Надеждина в газете «Северный Меркурий» в январе 1831 г. «И Пушкин стал нам скучен, / И Пушкин надоел. / И стих его не звучен, / И гений охладел. / Бориса Годунова он выпустил в народ. / Убогая обнова / Увы! на новый год» (Сведения любезно предоставлены М. И. Шапиро).

Н. Павлович

ИЗ КНИГИ «НЕВОД ПАМЯТИ»

Печатается по тексту из журн. «Человек», 1997, № 2.

Надежда Александровна Павлович (1895-1980) — поэтесса, переводчица, детская писательница. Начала печататься в 1911 г. Автор стихотворных книг «Берег» (1920), «Золотые ворота» (1922), «Сквозь долгие года...» (1977), «На пороге» (1981), мемуарной книги «Невод памяти» и богословских работ, печатавшихся в «Журнале Московской патриархии», «Надежде» и «Богословских трудах» под псевдонимом Александра Надеждина.

Эпиграф — из стихотворения Н. А. Павлович, посвященного Пастернаку.

1 Слова М. Цветаевой из статьи «Световой ливень» (1922).

2 Вероятно, это было весной 1922 г., когда Н. Н. Асеев вернулся с Дальнего Востока.

3 Поэма Н. Павлович писалась с 1939 по 1946 г.

4 Вересаевка — не удалось установить, что называлось этим словом, образованным от имени писателя В. В. Вересаева (Смидович; 1867—1945).

5 Чтение происходило 16 апреля 1954 г.

6 С самого начала задумывая стихотворение о Рождестве и передавая свой замысел Юрию Живаго, Пастернак хотел написать «русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом», сознательно следуя в его выполнении заданной предшественниками традиции.

7 Святитель Димитрий митрополит Ростовский (1661—1709), автор знаменитых Четьи-Миней (ежемесячные чтения житий святых), выдержавшие в XVIII в. около 10 изданий. Одна из лучших духовных драм Димитрия Ростовского называется «Рождественская». В энциклопедии Брокгауза и Ефрона (т. 52. С. 942), стоящей на полке у Пастернака, им отмечены слова, передающие образы этой драмы: «Эти бессловесные животные (вол и осел. — Е. #.), стоя при яслях, дыханием своим согревали Младенца от зимней стужи и таким образом служили Владыке и Творцу». Строки из «Рождественской звезды» Пастернака близко соответствуют подчеркнутому: «Его согревало дыханье вола / Домашние звери стояли в пещере...».

8 Тьмутаракань — русское княжество на Азовском море. Иван Тихонович Посошков (1652-1726) — экономист, сторонник петровских реформ, автор книги «Книга о скудости и богатстве» (1742), изданной через 100 лет.

9 Джон Локк (1632-1704) — английский философ, автор «Опыта о человеческом разуме», где утверждал приоритет опыта в познании.

ю Рассказ А. Чехова «Ну, публика!» (1885).

Э. Герштейн

0 ПАСТЕРНАКЕ И ОБ АХМАТОВОЙ

Эмма Григорьевна Герштейн (1903-2002) — историк литературы и мемуарист, автор книги «Судьба Лермонтова», вышедшей двумя изданиями (1964,1986). Ею подготовлена книга «Анна Ахматова о Пушкине», выдержавшая 3 издания. Воспоминания «Новое о Мандельштаме». Париж, 1986.

1 О каких салонах может быть речь, не ясно — тем более «кремлевских». О. Д. Каменева (1883—1941) — жена Л. Б. Каменева, заведующая Театральным отделом Наркомпроса.

2 Евгений Яковлевич Хазин (1893-1974) — писатель, брат Н. Я. Мандельштам.

3 Премьера «Бани» состоялась 16 марта 1930 г. Речь идет о расстреле В. Силлова.

4 Имеется в виду дискуссия о «формализме» на общемосковском собрании писателей, посвященном «борьбе с формализмом и натурализмом в литературе и искусстве». Стенограмму выступления Пастернака 16 марта 1936 г. см. т. V наст. собр.

5 Возможно, речь идет о смерти Густава Вильгельмовича Нейгауза (1846-1938), отца Генриха Густавовича Нейгауза.

6 Л. Н. Гумилев и Н. Н. Пунин были арестованы 23 ноября 1935 г.

7 Были освобождены 3 ноября 1935 г.

8 Пастернак писал Сталину 1 ноября 1935 г.: «Помимо той ценности, которую имеет жизнь Ахматовой для нас всех и нашей культуры, она мне дорога и как моя собственная, по всему тому, что я о ней знаю. С начала моей литературной судьбы я свидетель ее честного, трудного и безропотного существования» (т. VIII наст. собр.).

9 Николай Иванович Харджиев (1903—1996) — литературовед и искусствовед, специалист по русскому авангарду, автор книги «Поэтическое искусство Маяковского» (в соавторстве с В. Трениным), редактор пятитомного собрания сочинений В. Хлебникова, подготовил издание О. Мандельштама: «Стихотворения». Большая серия Библиотеки поэта. Л., «Советский писатель», 1974.

10 Дуэль была объявлена Ю. П. Анисимову, главе группы «Лирика» 27 января 1914 г., и не состоялась.

11 Договор на пьесу Пастернак хотел заключить с М. Б. Храпченко, заведующим Комитетом по делам искусств.

12 Вечер происходил 2 апреля 1946 г.

13 Вечер в Политехническом музее был 27 мая 1946 г.

14 Сцена на могиле матери — конец первой главы I части.

15 Илья Самойлович Зильберштейн (1905-1988) — литературовед, искусствовед, один из инициаторов издания «Литературное наследство».

16 Письмо от 6—8 апреля 1947 г.

17 Сесил Морис Баура (1897-1971) — английский филолог и историк литературы, специалист по греческой лирике и европейскому символизму. Глава в книге «The Heritage of Symbolism», 1943, посвящена поэзии Пастернака.

18 См. об этом в книге Л. Чуковской «Записки об Анне Ахматовой» (М., «Согласие», 1997, том 2-й. С. 658-661).

19 Возможно, речь идет о С. Боброве.

Л. Чуковская

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА

Лидия Корнеевна Чуковская (1908-1995) — писательница и публицист, автор повестей «Софья Петровна», «Спуск под воду» и историко-литературных исследований, поэт и мемуарист. Вела подробные дневники на протяжении всей своей жизни.

«Отрывки из дневника» о Борисе Пастернаке были подготовлены автором для сб. «Воспоминания о Борисе Пастернаке». Для настоящего собрания расширены записями из дневника «Полгода в "Новом мире"», посвященными непродолжительной работе Лидии Чуковской в редакции «Нового мира» в 1946-1947 годах. Формируя новую редколлегию журнала «Новый мир» после Постановления от 14 августа «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» и назначения К. М. Симонова заместителем генерального секретаря Союза писателей и одновременно редактором «Нового мира», Симонов пригласил Лидию Чуковскую заведовать отделом поэзии. Она начала работать в редакции с конца ноября 1946 года.

1 Матвей Петрович Бронштейн (1906-1938) — физик-теоретик, доктор наук, муж Л. К. Чуковской. В августе 1937 г. был арестован, в своих хлопотах о его освобождении Л. Чуковская в 1939 году приехала в Москву к отцу, не зная, что в феврале 1938 г. муж ее уже был расстрелян. В 1990 г. вышла книга Г. Е. Горелика и В. Я. Френкеля «Матвей Петрович Бронштейн»; по свидетельству акад. А. Д. Сахарова его основные работы сохранили свое значение вплоть до нашего времени («Знамя», 1990, № 1).

2 С приходом К. С. Симонова в «Новый мир» Пастернак предлагал заключить с ним договор на роман, над которым он работал. Договор был подписан 23 января 1947

г. Роман назван здесь «Иннокентий Дудоров. Мальчики и девочки», его объем измерялся в 10 авт. листов, срок сдачи обозначен августом 1947 г.

3 Симонов собирался в отпуск.

4 Ольга Всеволодовна Ивинская была сотрудницей отдела поэзии «Нового мира».

5 В своей книге «Записки об Анне Ахматовой» Чуковская дает Кри-вицкому (1910-1986) развернутую характеристику: «Александр Юльевич Кривицкий журналист; основная профессия — руководящий член редколлегий газет и журналов. Во время войны А. Кривицкий — специальный корреспондент и член секретариата газеты «Красная звезда»; после войны — два раза (с 1946 по 1950 и с 1954 по 1958 г.) — заместитель главного редактора (К. Симонова) в журнале «Новый мир». Известность как журналисту принесли Кривицкому, главным образом, две статьи: «Завещание двадцати восьми павших героев» и «О двадцати восьми павших героях» — статьи, напечатанные в газете «Красная звезда» 28 ноября 41 года и 22 января 42-го. В них рассказано о бое под Москвой, происходившем 16 ноября 41 года у разъезда Дубосеково, где двадцать восемь советских воинов, жертвуя жизнью, задержали атаку на Москву пятидесяти немецких танков. Автор статей назвал героев поименно и привел вдохновившие их на подвиг слова политрука: «...отступать некуда, позади Москва» («Ребята! не Москва ль за нами?»). Пресса подхватила сенсацию, и двадцать восемь панфиловцев были канонизированы: в Дубосекове воздвигли им памятник, история их подвига вошла в тогдашние школьные учебники. А журналисту Кривицкому, первому о них написавшему, принесла почетную возможность заседать в редакциях журналов и газет в качестве одного из руководителей.

В1966 году В. Кардин — критик, публицист, автор статей и книг о советских писателях; историк Великой Отечественной войны (и сам участник ее) <...> подверг критике некоторые исторические факты, считавшиеся дотоле незыблемыми. <...> Ни в малой степени не отрицая героизма наших бойцов в битве под Дубосековым, Кардин, однако, уличал Кривиц-кого в сочинительстве. <...> На статью Кардана «Легенды и факты» Кривицкий ответил статьей «Факты и легенды», в которой, вместо доводов, прибег к привычному жанру политического доносительства: Кардин «бросает тень на одну из военных патриотических святынь нашего народа»; «рукою Кардина брошен ком грязи в сторону подвига двадцати восьми героев» и т. д. Последовали <...> оргвыводы: в марте 1967 года секретариат правления Союза писателей осудил Кардина, появились грозные заметки в газетах, после чего он на долгие годы был лишен возможности печататься» (Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. М., «Согласие», 1997. Т. 3 (1963-1966). С. 739-740.)

6 Речь идет о партийных деятелях — М. Б. Храпченко (в то время председатель Комитета по делам искусств) и Г. Ф. Александрове (начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).

7 Тамара Григорьевна Габбе (1903-1960) — фольклористка, переводчица, драматург, близкий друг Л. Чуковской.

8 Последняя строфа стихотворения «Март»: «Настежь все, конюшня и коровник, / Голуби в снегу клюют овес, / И всему живитель и виновник, — / Пахнет свежим воздухом навоз».

9 Александр Михайлович Дроздов — автор многочисленных повестей и рассказов, в ту пору заведующий отделом прозы в «Новом мире».

10 Можно предположить, что Пастернак имеет в виду взгляды Пушкина, выраженные в стихах «Поэту» («Поэт! не дорожи любовию народной...») и «Из Пиндемонти» («Не дорого ценю я громкие права...»).

11 Пастернак по просьбе М. В. Юдиной собирался 6 февраля читать у нее первые главы романа «Доктор Живаго».

12 Имеется в виду статья «Заметки к переводам шекспировских трагедий», написанная летом 1946 г.

13 В «Правде» 2 февраля 1947 г. появилась статья А. Фадеева «О литературно-художественных журналах», в которой автор упрекает журнал «Знамя», где «печатались, как известно, стихи Ахматовой» и «расточались реверансы аполитичной и индивидуалистической позиции Б. Пастернака». «Журналы "Знамя" и "Новый мир" не свободны от серьезных идейных срывов... серьезным провалом явилось напечатание в № 10—11 журнала "Новый мир" лживого и грязноватого рассказца А. Платонова "Семья Иванова"».

14 Шуня — пасынок Фадеева.

15 Из стихотворения «Бабье лето»: «Что глазами бессмысленно хлопать, / Когда все пред тобой сожжено / И осенняя белая копоть / Паутиною тянет в окно».

16 Историк искусства Михаил Владимирович Алпатов (1902—1986) и его жена Софья Тимофеевна.

17 О. В. Ивинская.

18 Николай Павлович Анциферов (1889—1958) — литературовед и краевед, дважды арестовывался в 1929 и 1937 гг. и освобожден в 1939 г. Автор книг «Москва Пушкина» (1950), «Петербург Пушкина» (1950), «Пушкин в Царском Селе» (1950) и др.

19 Архитектор Александр Александрович Веснин (1883-1959) и его жена Наталья Алексеевна.

20 Речь идет о стихотворении Пастернака «Рождественская звезда».

21 Стихотворение «Зимняя ночь» («Мело, мело по всей земле...»).

22 Григорий Иванович Владыкин — директор Гослитиздата. Петр Иванович Чагин — издательский деятель, был главным редактором Гослитиздата. Издательства находились в ведении Управления пропаганды и агитации, которое возглавлял в те годы Георгий Федорович Александров.

23 Стихотворение «Урал впервые» (1916): «Без родовспомогательни-цы, во мраке без памяти / На ночь натыкаясь руками, Урала / Твердыня орала и, падая замертво, / В мученьях ослепшая, утро рожала».

24 По-видимому, имеется в виду газета с публикацией доклада Фадеева на Всесоюзном совещании молодых писателей. «Лучшие произведения Бориса Пастернака, — говорил докладчик, — «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт», в которых ему, как художнику, удалось выйти из личного мирка к общественной жизни... Но к сожалению, Пастернак не пошел по этому пути. Он целиком и полностью остался в плену идей аполитичности искусства, замкнулся в индивидуализме, в кругу формальных исканий» («Литературная газета», 8 марта 1947). Муза Николаевна Гордон — секретарь К. Симонова.

25 Петр Авдиевич Кузько (1884—1969) — литератор и издательский работник.

26 Борис Николаевич Агапов (1879-1973) — очеркист, член редколлегии «Нового мира»; в сентябре 1956 г. подписал письмо «Нового мира» Пастернаку с отказом печатать «Доктора Живаго» («Новый мир», 01958, № 11). Илья Самойлович Зильберштейн — литературовед, один из основателей «Литературного наследства», искусствовед, коллекционер.

27 Петр Андреевич Семынин (1909-1983) — поэт и переводчик; до 1959 г. не было издано ни одного из сборников его стихов. Эмма Григорьевна Герштейн — историк литературы, мемуаристка.

28 Статья о Блоке не была написана, сохранились подготовительные записи «К характеристике Блока» и пометки на полях его книг (т. V наст. собр.).

29 Симонов ездил в Англию в составе писательской делегации, виделся с сестрой Пастернака Лидией Леонидовной Слейтер.

30 Л. Чуковская читала Пастернаку свои стихи и поэму. Далее перечислены названия и строки стихотворений: «Но пока я туда не войду...», «И зорче мы видим глазами» («Ответ»), «Поэма» (окончательное название «Отрывки из поэмы») — см.: Лидия Чуковская. Сочинения в 2 т. М., Гудь-ял-Пресс, 2000.

31 В «Охранной грамоте» Пастернак пишет о своем благоговении перед своим учителем — Скрябиным, как он решил бросить занятия музыкой после того, как сыграл ему свои произведения и получил у Скрябина благословение на композиторскую деятельность.

32 В. Перцов неоднократно порицал Пастернака, начиная с 1924 г. в статье «Вымышленная фигура» («На посту, 1924, №1). Имеется в виду также статья А Суркова «Поэзия Бориса Пастернака» («Культура и жизнь», 21 марта 1947 г.).

33 К. А. Федин близко дружил с Самуилом Мироновичем Алян-ким (1891—1974) — владельцем издательства «Алконост», в котором издавал собрание сочинений А. Блока; издательство просуществовало до 1923 г.

34 Ольга Ильнична Попова (Светловская) — художница.

35 Статья не сохранилась.

36 Николай Корнеевич Чуковский (1904-1965) — поэт, прозаик, переводчик.

37 Ксения Александровна Некрасова (1912-1958) — поэтесса, автор единственного прижизненного сборника «Ночь на баштане» (М., 1956).

38 Статья Н. Маслина «Маяковский и наша современность» («Октябрь, 1948, № 4), в которой говорилось, что творчество Пастернака нанесло серьезный ущерб нашей поэзии».

39 Агния Львовна Барто (1906-1981) — детская писательница.

^Наталья Александровна Роскина (1928-1989) — литературовед, мемуаристка.

41 Иван Игнатьевич Халтурин (1902-1969) — литературовед, специалист по истории русской детской литературы. Друг Л. К. Чуковской.

42 Владимир Смирнов (1936-1955) — сын И. И. Халтурина и В. В. Смирновой. Утонул на Рижском взморье в реке Лиелупе. О нем см. также прим. 46.

43 Строки из стихотворения Б. Пастернака «Земля».

44 Строка из стихотворения Пастернака «Рождественская звезда».

45 Виталий Иванович Халтурин — старший сын И. Халтурина от первого брака, сейсмолог.

46 Л. Чуковская записала слова Пастернака о Вове, сказанные задолго до его гибели: «Это человеческий детеныш среди бегемотов, и потому за него всегда страшно».

47 Зинаида Ивановна Ризберг. Ее переписка с П. Шмидтом и воспоминания о нем были напечатаны в книге «Лейтенант П. П. Шмидт. Письма, воспоминания, документы», М., 1922, и использованы Пастернаком в поэме «Лейтенант Шмидт».

48 Первая строка 4-й главки 3-й части поэмы Б. Пастернака «Лейтенант Шмидт».

49 Елена Ефимовна Тагер (1908-1981) — искусствовед, знакомая Пастернака.

50 Ираклий Луарсабович Андроников (1908-1990).

51 Клара Израилевна Лозовская (р. 1924) — секретарь Корнея Ивановича с 1954 по год его смерти (1969).

52 Начальные строки стихотворения Ахматовой.

53 Наталия Иосифовна Ильина (1914—1994) — фельетонист, прозаик, мемуарист. Автор воспоминаний «Анна Ахматова, какой я ее видела».

54 Марина Николаевна Чуковская (1905-1993) — жена Николая Кор-неевича Чуковского.

55 Вера Васильевна Смирнова (1898-1977) — литературный критик, автор книг для детей, драматург, мемуаристка, специалист по детской литературе. Жена И. Халтурина. Семья Халтуриных — Смирновых — соседи Пастернака по Лаврушинскому переулку и по Переделкину.

56 «Литература и жизнь» поместила это объявление 1 июня 1960 года, а «Литературная газета» 2 июня.

57 Мария Сергеевна Петровых (1908-1979) — поэт, переводчик.

58 Фрида Абрамовна Вигдорова (1915-1965) — журналистка и писательница. Автор повестей «Мой класс», «Дорога в жизнь», «Это мой дом». Впоследствии, в 1964 году, автор документальной записи двух судов над Иосифом Бродским (18 февраля и 13 марта), которая дала возможность ей самой и десяткам людей у нас и на Западе организовать борьбу в защиту Иосифа Бродского («Огонек», 1988, Mq 49).

59 Ирина Ивановна Емельянова.

А. А. Баранович-Поливанова

НЕСКОЛЬКО СЛОВ

0 БОРИСЕ ПАСТЕРНАКЕ

Анастасия Александровна Баранович-Поливанова — дочь актрисы и переводчицы Марины Казимировны Баранович, ставшей другом Пастернака и переписчицей «Доктора Живаго», стихов к нему и книги «Когда разгуляется» в многочисленных копиях, которые раздавались друзьям и знакомым, фактически составляя целые тиражи, позднее получившие название «самиздата».

1 Пастернак писал Г. Улановой 13 декабря 1945 г. о ее «Золушке»: «Желаю Вам долгой жизни и постоянного успеха в претворении спорных и половинчатых пережитков традиции в новую цельную первичность, как удалось Вам извлечь пластическую и душевную непрерывность из отрывистого, условного и распадающегося на кусочки искусства балета» (см. т. IX наст. собр.).

2 На вопрос Сталина, — Мандельштам ваш друг? — Пастернак «прибавил что-то по поводу слова "друг", желая уточнить характер отношений с О. М., которые в понятие дружбы, разумеется, не укладывались, — записала Н. Я. Мандельштам рассказ Пастернака о разговоре со Сталиным («Воспоминания», М., «Книга», 1989. С. 137).

3 Вероятно, речь шла о событиях освободительной войны в Алжире, а не в Египте, которые Пастернак сопоставлял с подавлением советскими войсками революции в Венгрии в октябре 1956 г.

4 Марина Михайловна Поливанова, правнучка дочери расстрелянного философа Г. Г. Шпета, в семинаре которого Пастернак занимался в Университете.

5 Апостольские послания были любимейшим чтением Пастернака.

6 Пастернак записал свой разговор с военным прокурором Б. В. Ряж-ским, занимавшимся делами реабилитации: «Так же, как и Маяковский, я был связан с Мейерхольдом поклонением его таланту, удовольствием и честью, которое доставляло мне посещение его дома или присутствие на его спектаклях, но не общей работой, которой между нами не было; для меня и он и Маяковский были людьми слишком левыми и революционными, а для них я был недостаточно лев и радикален» (см. т. X наст. собр.).

7 Пастернак некоторое время жил в этом доме «напротив», когда после антинемецкого пожара мая 1915 г. Филиппы, у которых он был гувернером их сына, сняли в нем квартиру.

8 Зельма Федоровна Руофф (1897-1978) — по образованию биолог, приехала в СССР в 1930-х гг. из Германии, была арестована. Будучи поклонницей поэзии Р. М. Рильке, она вступила в переписку с Пастернаком, позднее написала работу о метафористике Рильке и Пастернака.

9 Стихотворение «Рассвет»: «Я чувствую за них за всех, / Как будто побывал в их шкуре». И далее: «Со мною люди без имен, / Деревья, дети, домоседы. / Я ими всеми побежден / И только в том моя победа».

10 Михаил Константинович Поливанов — муж А. А.

М. Поливанов

ТАЙНАЯ СВОБОДА

Михаил Константинович Поливанов (1930—1992) — доктор физико-математических наук. Подготовил текст и написал предисловие и примечания к воспоминаниям Надежды Мандельштам «Вторая книга» — «Московский рабочий», 1990 г. Автор статьи «О судьбе Г. Г. Шпета». — «Вопросы философии», 1990, № 6.

1 Константин Михайлович Поливанов (1904—1983) и Маргарита Густавовна Поливанова (урожденная Шпет; 1908-1989).

2 Вечер состоялся 23 февраля 1948 г. в Политехническом музее.

3 А. Сурков. «Поэзия Бориса Пастернака» — «Культура и жизнь», 21 марта 1947 г.

4 Профессор Эрик Мастертон приезжал в Москву в августе 1958 г. по поручению Нобелевского комитета.

5 Вечер в Колонном зале проходил 7 февраля 1948 г.

6 Чтение у М. Баранович было 27 декабря 1946 г.

7 Под впечатлением этих глав «Доктора Живаго» К. Н. Бугаева, очевидно, на другой день писала Пастернаку (б/я): «Милый, милый, Борис Леонидович, всю жизнь звучала во мне Ваша песнь торжествующей... жизни с потрясающей силой. Реально я не могу войти в круг дневных дел, не обратившись к Вам хотя бы издали. Мое письмо даже не отзыв, на это не отзовешься словами письма. Оно только жест порыва к Вам и горячей радости за Вас. Борис Леонидович — это завораживает с самого начала. И первая часть звучит как... начало Бетховена, Листа... И еще к Вашим словам о Фаусте. Так вот: первая часть это пролог на... земле. Да, да... Строго, скупо, стройно, разрывающе полно. Полнотой почки, готовой брызнуть цветами и листьями... Конечно, нужно было увидеться. Потому что есть вопросы и даже может быть от этого полунесогласия, например, о некоторых Ваших транскрипциях, о космогониях, о случайной ли неслучайности некоторых фамилий (матери Юры), о том, как относитесь Вы к слову катарсис и еще другое... Простите, пожалуйста, за этот эмоциональный сумбур... А откладывать не хочу. Обнимаю Вас горячо и взволнованно. К. Бугаева» (Семейный архив Б. Пастернака).

8 См. Зоя Масленикова. «Портрет Бориса Пастернака». М., 1990.

9 Это был май 1950 г.

10 Роман еще не был окончен, — черновые записи главы «Варыкина» были переписаны в 1954 г., окончание — в 1955-м.

11 Роман вышел по-итальянски в 1957 г., на европейских языках — в 1958, по-русски — в 1959-м.

12 Имеются в виду В. Б. Шкловский и И. Л. Сельвинский.

13 Сценарист и кинокритик Н. Д. Оттен.

14 Авторы работ о Пастернаке: Виктор Семенович Франк — литературный критик, сын философа С. Л. Франка, жил в Англии; Мишель Оку-тюрье — профессор Сорбонны; Федор Августович Степун — писатель и философ, высланный за границу в 1922 г. по декрету Ленина, профессор Мюнхенского университета.

15 С. Т. Рихтер и М. В. Юдина играли в день похорон 2 июня, отпевание было накануне, — 1 июня.

В. Берестов

СРАЗУ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Валентин Дмитриевич Берестов (1928-1998)— поэт, прозаик, детский писатель. Автор книг «Отплытие», М., 1957; «Меч в золотых ножнах», М., 1966; «Определение счастья», М., 1988; «Ранняя любовь Пушкина», М., 1989.

1 «На ранних поездах». М., «Советский писатель», 1943.

2 Из стихотворения «Закрой глаза. В наиглушайшем органе...», правильно: «В вечерний час переставала двигаться / Жемчужных луж и речек акварель...».

3 Александр Сергеевич Есенин-Волыгин — математик. В 1973 году был вынужден уехать из СССР. В настоящее время живет в США.

4 2 декабря Н. Мандельштам писала Пастернаку: «К Вам приставал такой мальчишка Валя Берестов. Это моя креатура. Дрянь, но я не люблю, когда мальчишки помирают, поэтому я дала ему письма» (сб. «Память», Paris, 1982, с. 332).

5II съезд советских писателей проходил с 15 по 26 декабря 1954 года.

6 Из стихотворения «Послание пролетарским поэтам».

7 Наум Моисеевич Коржавин (Мандель; р. 1925) — поэт, автор нескольких сборников стихов, многие стихотворения ходили в списках «Самиздата». С 1972 года живет в США В Германии вышли два сборника стихов — «Времена» (1976) и «Сплетение» (1981). В последние годы в Москве вышли сб. «Время дано» (1992), «К себе» (2000), «В защиту банальных истин» (2003), «Стихи и поэмы» (2004).

И. Берлин

ВСТРЕЧИ С РУССКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ

Исайя Берлин (1909—1997) — профессор Оксфордского университета, философ, дипломат, историк общественного движения в России.

1 В статье «Световой ливень» (1922).

2 При редактировании этого выступления для публикации от него осталась одна фраза о превыше Альп прославленной поэзии, которая валяется в траве: «...Она всегда будет проще того, чтобы ее можно было обсуждать в собраниях; она навсегда останется органической функцией счастья человека...» (т. V наст. собр.). В этих словах звучит основное содержание сказанного на конгрессе и выпущенного при составлении сборника.

3 Пастернак был дружен по переписке с женой инженера-паровозо-строителя Ю. В. Ломоносова — Раисой Николаевной.

4 Никаких начальных глав Берлин сестрам Пастернака не привозил, в архиве в Оксфорде их не обнаружено. Первые главы романа были написаны только через год, к лету 1946 г., когда Пастернак читал их в кругу друзей.

5 Пастернак прочел роман Хемингуэя «По ком звонит колокол» в декабре 1945 г. в переводе И. Кашкина и писал ему о своем восхищении.

6 Пастернака огорчало, что его переводы Шекспира не идут в театрах, и таким образом, Шекспир не стал «работать» на него, то есть не мог окупить время, необходимое для собственной работы, — задумывавшегося в то время романа.

7 Стихотворение Мандельштама «Мы живем под собою не чуя страны...». Прямого вопроса об этом стихотворении Сталин не задавал, но Пастернак чувствовал, что его звонок вызван этой причиной. Берлин конта-минировал текст разговора с авторским комментарием. Пастернак знал это стихотворение от Мандельштама, но тот не назвал имени Пастернака на допросе.

8 Книга «На ранних поездах» (1943), куда кроме стихотворений весны 1941 г., которые Пастернак читал Ахматовой вскоре после написания, вошли стихи о войне.

9 Имеется в виду Вера Ивановна Прохорова.

Э. Бабаев

ГДЕ ВОЗДУХ СИНЬ...

Эдуард Ц>игорьевич Бабаев (1927-1995) — поэт, прозаик, литературовед, мемуарист. Автор книг: «Кратчайшие пути», сб. стихов (1969), «След стрелы», рассказы и повести (1981), «Творчество А. С. Пушкина» (1988), «Очерки эстетики и творчество Л. Н. Толстого» (1984) и др. В 2000 г. в издательстве ИНАПРЕСС (СПб.) посмертно вышли «Воспоминания».

1 В издававшейся Министерством информации Великобритании газете «Британский союзник» 3 июня 1945 г. вышла статья К. Л. Ренна «Шекспир в переводе Пастернака».

2 «Заметки к переводам шекспировских трагедий» были написаны летом 1946 г.

3 О группе персоналистов Пастернак писал С. Дурылину 29 июня 1945 г.: «За последние два года я, поначалу, отрицательными путями из нападок (здешних) на себя узнал о существовании молодого английского направления непротивленцев. Эти люди были на фронте и воевали, но считали, что писать и говорить о войне можно только как об абсолютном обоюдостороннем зле. Их другое литературное прозвище — персоналисты, личностники. На их знамени имена Руссо, Рескина, Кропоткина, Толстого. Они скорее анархисты, чем кто бы то ни было другое... Они много места уделяют крупнейшим завершителям европейского символизма, Прусту, Рильке, Блоку... Они зачислили меня в свое братство...» (т. VIII наст. собр.).

4 C. M. Bowra. A Book of Russian Verse. London, 1946.

5 Юрий Алексеевич Казарновский (1904-1955?) — поэт, литератор. Был на Соловках и Беломорканале, потом был сослан на Колыму. Н. Мандельштам вспоминает приехавшего в Ташкент Казарновского в последнюю военную зиму: «Из Колымы в Ташкент приехал Казарновский, московский поэтик, которому случилось быть свидетелем последних дней Мандельштама в пересыльном лагере на Второй речке под Владивостоком. От него я получила первые достоверные сведения о смерти Мандельштама» (Надежда Мандельштам. Вторая книга. «Московский рабочий», 1990, с. 489).

6 Юрий Казарновский. «Стихи». М., ГИХЛ, 1936.

7 Пастернак писал Н. Я. Мандельштам о знакомстве с Бабаевым 26 января 1946 г.: «Спасибо за письмо. Был Ваш Эдик. Он мне очень понравился. Стремительный, самолюбивый. У него прерывался голос, и он боролся со слезами, когда рассказывал об Ос. Эм. и Казарновском» (т. IX наст. собр.).

Е. Берковская

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 40-Х ГОДОВ

Печатается по тексту, опубликованному в журнале «Знамя», 1999, № 11.

Елена Николаевна Берковская (Сетницкая) (1923-1998) — библиограф, дочь последователя и издателя работ философа Н. Ф. Федорова. С 1945 до 1987 года проработала в ГБИЛ, занималась библиографией зарубежного искусства. Автор воспоминаний и статей о своем отце и его деятельности, о людях, с которыми довелось встречаться.

1 Ольга Николаевна Сетницкая (1916-1987) — по образованию историк, работала библиографом библиотеки Института педагогических наук, Екатерина Александровна Крашенинникова (1918—1997) — историк, работала в Библиотеке Иностранной литературы и в Библиотеке им. Ленина.

2 Николай Федорович Федоров (1829-1903) — философ, создатель утопического учения о «воскрешении» людей, родоначальник русского космизма.

3 Б. Пастернак. Стихотворения в одном томе. М., 1936.

4 Владислав Всеволодович Кропоткин (1922-1993) — археолог, доктор наук.

5 Наталия Михайловна Соболева (1922—2000) — историк. Работала в Патриархии, преподавала в Духовной семинарии.

6 Пастернак пробыл в Москве с сентября по 27 декабря 1942 года.

7 Пастернак приехал из Чистополя вместе с семьей, но З. Н. с Ленечкой жили у Погодиных, а Стасик Нейгауз — у отца.

8 Чтение в ВТО было 8 июля 1943 года.

9 Владимир Владимирович Леонович (1924-1998) — искусствовед, доктор наук. Работал в Музее изобразительных искусств ученым секретарем. Всю жизнь занимался орнитологией. Как орнитолог известен своими трудами у нас в стране и за рубежом.

10 Имеется в виду статья о Бараташвили (1945), где проводится параллель с Баратынским.

11 Елена Александровна Софроницкая (1898-1990) — дочь

А. Н. Скрябина, жена пианиста В. В. Софроницкого.

12 Детство Е. Берковской прошло в Харбине.

13 Владимир Николаевич Татаринов — режиссер 2-го МХАТа. Был активным антропософом в 20-х годах. Позднее отошел от деятельности в этой области.

14 Мария Александровна Скрябина (1900-1984) — дочь А. Н. Скрябина, актриса. По своим убеждениям была антропософкой.

15 Сестры Зинаида Ивановна и Ольга Ивановна Монигетти — друзья юности А. Н. Скрябина, преподаватели пения.

1616 октября 1941 года — день, когда немецкие войска подошли к Москве и когда из города эвакуировались правительство и городские власти. Этот день запомнился очевидцам как день всеобщей паники и бегства.

17 Письма Роллана и Горького были возвращены Пастернаку.

18 В книге «Души начинают видеть. Марина Цветаева. Борис Пастернак. Переписка 1922-1936 годов» (М., «Вагриус», 2004) многие из утерянных писем восстановлены по черновым записям Цветаевой.

19 Библиотека Иностранной литературы.

20 Мария Александровна Крашенинникова (1926-2003) — кандидат медицинских наук.

21 Ирина Александровна Гулидова — биолог, кандидат наук.

22 Роман был окончен только через два года, в 1955 году, но в тот год сильно продвинулся вперед, и были написаны новые главы.

23 Мария Валентиновна Шмаина (р. 1933) — археолог и Илья Хана-нович Шмаин (1930-2005) — математик, с 1980 года православный священник.

24 Владимир Сергеевич Муравьев (р. 1939) — литературовед, переводчик.

25 Лев Зиновьевич Копелев (1912-1997) — литературовед, переводчик, специалист по немецкой литературе.

26 Наум Моисеевич Мандель (псевдоним Коржавин).

27 Елизар Моисеевич Мелетинский (р. 1918) — филолог, литературовед, член-корреспондент РАН.

35 Александр Владимирович Софроницкий (1921-1994) — астроном, математик, кандидат наук, преподавал в МАИ. Внук Скрябина, сын

В. В. Софроницкого.

Г. Нейгауз

БОРИС ПАСТЕРНАК

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Шина Сергеевна Нейгауз (девичья фамилия Яржембская) — редактор, жена С. Г. Нейгауза, автор воспоминаний о нем.

1 З. Н. все-таки пошла к Фадееву, о разговоре с ним см. в ее воспоминаниях.

2 См. об этом в воспоминаниях З. Н. Пастернак.

3 В 1954 г. при капитальном ремонте дома.

4 Крещение для Пастернака было темой глубоко личной. Известно, что лишь с Ж. де Пруайяр и Е. А. Крашенинниковой он откровенно обсуждал такого рода вопросы; свидетельства тому сохранились в письме Пастернака от 2 мая 1959 г. к Пруайяр и воспоминаниях Крашенинниковой («Новый мир», 1997, JSfe 1). «Благодаря художественным заслугам отца», как писал поэт, семья Пастернака «была избавлена от ограничений, которым подвергались евреи». Он был крещен в детстве тайно, и дома об этом не знали. Крестила его няня, глубоко религиозная крестьянка Аку-лина Гавриловна Михалина, сумевшая своими рассказами и совместными посещениями церкви пробудить у мальчика горячую любовь к Христу и желание причащаться. Это событие отразилось в воспоминаниях Юрия Живаго о нянюшке и детском восприятии Бога. «Сходные переживания веры в детстве» легли в основание многолетней дружбы Пастернака с Е. А. Крашенинниковой, которая передала его предсмертную исповедь своему духовнику о. Николаю Голубцову. Формальная сторона дела не интересовала Пастернака: «правильное» ли было то крещение, «полное» или нет, —было для него несущественно, что давало определенную свободу в разговорах на эту тему (например, с Г. Нейгауз). Прекрасное знание церковной службы, пополненное постоянным чтением Священного писания, он пронес через всю жизнь. Душевная тайна приобщения никогда не становилась для него спокойной привычкой, но была «предметом редкого и исключительного вдохновения», что нашло свое отражение в «Докторе Живаго» — не только в словах персонажей и в стихах, но и в духе всего романа.

5 Журналисты Серджо Д'Анджело и Владлен Владимирский.

6 К. Чуковский пришел 24 октября 1958 г. См. записи Е. Ц. Чуковской.

Т. Эрастова

МОЙ РАЗГОВОР С ПАСТЕРНАКОМ

Татьяна Даниловна Эрастова, девичья фамилия Тонхилевич. Уехала из Советского Союза в начале 70-х годов. В настоящее время инокиня Таифа, живет в Джорданвиле (США).

1 Мария Валентиновна Житомирская (Шмаина) — археолог.

2 Мать Тани была арестована, и она жила то у Б. Б. Ивенского, то у Житомирских.

3 Цикл стихов А. Ахматовой «Слава миру» («Огонек», 1950, № 14, 36, 42).

А. Вознесенский

МНЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ

1 В семейном архиве Пастернака сохранились письма и юношеские стихи Вознесенского с замечаниями Пастернака, по которым Вознесенский исправлял свои ранние стихи. Пастернак завел для этих стихов папку, на которой написал: «Андрюшины стихи». В письме к 3. Н. Пастернак от 17 февраля 1957 г. Пастернак рассказывал: «Гости разошлись. Были Ливановы, художник Верейский с женой и режиссер театра им. Ермоловой П. Васильев. Андрюша с успехом читал свои стихи. Читал и я» (т. X наст. собр.).

2 Симон Чиковани и Иосиф Нонешвили — грузинские поэты, Петр Иванович Чагин — главный редактор Гослитиздата, Сергей Александрович Макашин — сотрудник редакции «Литературного наследства».

3 Н. Асеев. «Как быть с Вознесенским?» («Литературная газета», 4 августа 1962 г.).

4 Елена Георгиевна Харазова (1903-1927) — поэтесса, приехала в Россию из Швейцарии в 1918 г. Писала стихи по-немецки.

5 Георгий Маргвелашвили (1923-1990) — автор работ о Пастернаке, переводчик его стихов и прозы на грузинский язык.

6 См.: Б. Пастернак. Лили Харазова. Т. V наст. собр.

7 Яшвили и Табидзе. 816 апреля 1954 г.

9 Пастернак лежал в Боткинской больнице в октябре — декабре 1952 г. с инфарктом.

10 А. Вознесенский. Звездное небо Бориса Пастернака. — «Иностранная литература», 1967, № 1.

11 Теперь — Государственный музей грузинской литературы имени Г. Леонидзе.

Н. Любимов

БОРИС ПАСТЕРНАК

Из книги «Неувядаемый цвет»

Текст печатается по журналу «Дружба народов», 1996, JVfe 5.

Николай Михайлович Любимов (1912-1993) — переводчик, создатель классических переводов «Дон Кихота» Сервантеса, «Декамерона» Боккач-чо, «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле и др.

1 Николай Вениаминович Богословский (1904—1961) — историк литературы, автор работ об И. С. Тургеневе.

2 А. А. Фадеев — первый секретарь Союза писателей; П. Г. Скосы-рев — работник секретариата.

3 Дмитрий Александрович Поликарпов (1905—1965) — заведующий отделом культуры ЦК КПСС, секретарь правления Союза писателей.

4 Из стихотворения «Весна» (1944): «Сказанья Чехии, Моравии / И Сербии с весенней негой, / Сорвавши пелену бесправия, / Цветами выйдут из-под снега».

5 Первоначальное название неоконченной поэмы «Зарею» (1943).

6 Имеется в виду вечер 27 мая 1946 г.

7 А. Сурков. «Поэзия Бориса Пастернака». — «Культура и жизнь», 21 марта 1947 г.

8 Имеется в виду древнерусская формула политического доноса.

9 Из очерка Пастернака «Люди и положения» (1956).

10 Автор эпиграммы Михаил Левин, см. правильный текст в его воспоминаниях.

11 Литературный критик Василий Осипович Перцов примыкал к ЛЕ-Фу, но всегда резко отзывался о Пастернаке.

12 «Звездное небо». Стихи зарубежных поэтов в переводе Бориса Пастернака. М., «Прогресс», 1966. Предисловие Н. Любимова.

13 Вильям Шекспир. Трагедии. М., Деттиз, 1951.

14 Речь идет о подписи под письмом с протестом против карательных действий властей в Алжире. Пастернак проводит параллель с жестоким подавлением войсками СССР революции в Будапеште осенью 1956 г.

15 Имеется в виду Андрей Донатович Синявский.

16 Элизабет Коттмайер.

В. Шаламов

ПАСТЕРНАК

Варлам Тихонович Шаламов (1907-1982) — поэт, прозаик. Был арестован в 1929 году за распространение завещания В. Ленина. Вторично арестован в 1937 году. Освобожден в 1952 году. Поэтические сборники: «Огниво», М., 1961; «Шелест листьев» (1964); «Дорога и судьба» (1967), «Колымские облака» (1972). Автор «Колымских рассказов».

1 Письмо о романе хранится в Государственном музее грузинской литературы (Тбилиси).

2 Некролог был напечатан в газете «Известия» 9 января 1934 года и подписан Б. Пильняком, Б. Пастернаком и Г. Санниковым (см. т. V наст, собр.).

3 Л. О. Пастернак с семьей уехали в Германию в сентябре 1921 года. В Англию семья переехала в 1938 году.

4 В день смерти Сталина Пастернак был в санатории в Болшеве.

5 Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года.

6 О. Мандельштам был арестован в ночь с 13 на 14 мая 1934 года. 28 мая выслан на 3 года в Чердынь. 10 июля 1934 года ему было разрешено жить в Воронеже. 2-й раз арестован 3 мая 1938 года и 27 декабря умер в пересыльном лагере около Владивостока.

7 Из статьи Гоголя «Несколько слов о Пушкине» (1832): «В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт».

8 Пьеса Пастернака «Слепая красавица».

9 Тетрадь со стихами «Дусканья». Сохранилась в семейном архиве Б. Пастернака.

10 Н. Бухарин выступал в клубе Федерации писателей на улице Воровского, 52,17 апреля 1930 года на гражданской панихиде.

11 Пастернак получил приглашение с группой советских писателей на юбилей Льва Толстого в 1960 году.

12 Леонид Филиппович Волков-Ланнит (1903-1985) — историк и теоретик фотоискусства, журналист. Арестован в 1941 году, освобожден в 1947 году.

13 Михаил Михайлович Фокин (1880-1942) — артист балета, балетмейстер, педагог. Принимал активное участие в Русских сезонах 1909-1912 и 1914 гг. в Париже. Поставил балеты: «Жар-птица», «Петрушка», «Призрак розы», «Дафнис и Хлоя» и многие другие. С 1921 года жил в Нью-Йорке и руководил созданной им студией. Автор книги воспоминаний «Против течения» (М., 1962).

14 Ленинградское издание 1933 года включило без изменения «Две книги» 1927 года и «Поверх барьеров» 1929 года, где были переработаны стихи 1910-х годов. Московское издание 1936 года печаталось по матрицам ленинградского (с исключением трех стихотворений).

15 Имеются в виду слова из очерка «Люди и положения»: «А мне всегда казалось, что я перестал бы понимать Пушкина, если бы допустил, что он нуждался в нашем понимании больше, чем в Наталии Николаевне».

16 Ошибка проф. Ж. М. Шарко в диагнозе болезни И. С. Тургенева, которая считалась сердечной, тогда, как, по мнению С. П. Боткина, у него была опухоль.

17 Пастернак скончался 30 мая в 22 часа 30 минут.

18 Извещение о смерти было дано 1 июня в газете «Литература и жизнь» и 2 июня в «Литературной газете».

Б. Пастернак

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Евгений Борисович Пастернак — старший сын Бориса Пастернака, от первого брака. По образованию военный инженер, преподавал автоматическое регулирование в Московском энергетическом институте. Биограф своего отца, автор книги: «Борис Пастернак. Материалы к биографии» (1989), переизданной и расширенной для второго издания в 1996 г. Составитель собрания сочинений, отдельных сборников и нескольких книг переписки Пастернака, автор предисловий и комментариев к ним.

1 Марина Густавовна Шторх, дочь философа Г. Г. Шпета, сестра Л. Г. Шпет, матери Ел. В. Пастернак.

2 В журнале «Esprit», 1957, № 3 были опубликованы несколько стихотворений Пастернака в переводе М. Окутюрье и его статья.

3 Профессор славистики в университете Тулузы Элен Пельтье-За-мойска, как и профессор Сорбонны М. Окутюрье, входили в группу переводчиков «Доктора Живаго» на французский язык.

4 Евгения Владимировна Пастернак была в Мюнхене в 1931 г. после расставания с мужем.

5 Лидию Леонидовну Слейтер, сестру Бориса Пастернака.

6 Премия была присуждена Борису Пастернаку «за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и продолжение благородных традиций великой русской прозы».

7 О. Г. Савич (1896-1967) — писатель и переводчик.

8 Артур Лунквист (р. 1906) — шведский писатель и общественный деятель. Эренбург ездил вручать ему Международную Ленинскую премию.

9 Поэт Борис Абрамович Слуцкий выступал на общемосковском собрании писателей 29 октября 1958 г. с порицанием Нобелевского комитета, присудившего премию Борису Пастернаку.

10 Кумранские рукописи или рукописи Мертвого моря были найдены в 1940-1950-х гг. в Иудейской пустыне. Они принадлежали общине ессеев (II в. до н. э. — I в. н. э.), центр которой находился в Кумранской долине.

11 Жаклин де Пруайяр — профессор славистики в университете Бордо, одна из переводчиц «Доктора Живаго» и поверенная Пастернака в делах его изданий за границей.

12 Домработница у Пастернаков в Переделкине.

13 Композитор Моисей Самойлович Вайнберг (р. 1919).

14 Джанджакомо Фельтринелли — итальянский издатель, коммунист, которому Пастернак передал права на «Доктора Живаго».

Е. Евтушенко

БОГ СТАНОВИТСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Евгений Евтушенко (р. 1933) — поэт, автор поэтических сборников, поэм «Братская ГЭС», «Казанский университет», «Бабий Яр» и др. Кинорежиссер и сценарист.

116 апреля 1954 г.

2 Пастернак получил в подарок от слависта, переводчика и исследователя русской поэзии Анжело Мария Риппелино антологию «Poesie. 1915-1957». Introduzione, traduzione e note di Angelo Maria Ripellino. Torino, Einaudi Editore, 1957, и письмом 29 июля 1956 года благодарил его за переводы, включенные в нее. Сборник с переводом стихов Пастернака вышел в 1959 г.

3 Концерт С. Нейгауза был в сентябре 1959 г.

4 На самом деле, Ариадна Эфрон.

5 Рассказ Е. Евтушенко — легенда, которая отражает то время и тогдашние настроения в среде интеллигенции. На самом деле все было несколько иначе. Подслушивающее устройство установили летом 1965 г. Через несколько дней Е. Б. Пастернак и Г. В. Вальтер, придя на кладбище

Е. Чуковская

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Елена Цезаревна Чуковская — внучка К. Чуковского, дочь Лидии Чуковской, химик, теперь — издатель произведений деда и матери.

1 Впервые Пастернак был выдвинут на Нобелевскую премию в 1947 году.

2 Из статьи В. Хлебникова «Ранней весной 1917 года...»

К. Ваншенкин

КАК ИСКЛЮЧАЛИ ПАСТЕРНАКА

Константин Яковлевич Ваншенкин (р. 1925) — поэт, прозаик, автор множества поэтических сборников: «Песня о часовых» (1951), «Весна» (1955), «Опыт» (1968) и др.

1 Письмо членов редколлегии «Нового мира», посланное Пастернаку в сентябре 1956 года и подписанное Б. Агаповым, Б. Лавреневым, К. Фединым, К. Симоновым, А

Кривицким, содержало политическую мотивировку, по которой роман был отвергнут редакцией. Заканчивалось

для очередной уборки, обнаружили, что тяжелая дубовая доска на скамье качается. Цемент, еще несколько дней тому назад крепко державший ее на гранитных основаниях, был поврежден. Сорвав доску, они увидели гирлянды аккумуляторов и магнитофон и, вынув содержимое, залили цементом и прикрепили доску на место. На следующий день она была вновь оторвана владельцами аппаратуры. Е. Б. Пастернак отвез технику на Лубянку в приемную КГБ и передал начальнику управления по Москве и Московской области, сказав, чтобы они забрали свои «игрушки» и не устраивали из могилы его отца шпионскую грязную ловушку. Туда приходят люди с благоговейным чувством верности и любви, и никаких конспиративных встреч там никогда не бывало и не будет. Скамью вновь починили, дырки от аккумуляторов залили садовым воском. Свидетелями этой истории были многие приходившие в те дни на кладбище, быстро слагались легенды, обрастая красочными подробностями. Е. Б. Пастернак рассказал об этом младшему брату Леониду и написал в книге своих воспоминаний, комментирующих переписку родителей («Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак», М., НЛО, 1998. С. 412-413). Сосна, «воспетая» в стихах Евтушенко, сломалась летом 1985 г. Дача Пастернака тогда уже опустела — семья была выселена. Узнав о падении сосны, внуки Б. Пастернака Петр и Борис приехали из Москвы с инструментами. Верхняя половина огромного дерева висела, зацепившись ветвями, угрожая упасть на надгробную стелу. Петр и Борис отпилили отломавшуюся часть, и она упала за ограду могилы. Никаких проводов и трансляционного устройства на ней не было.

оно словами: «Если Вы еще в состоянии над этим серьезно задуматься, — задумайтесь. Несмотря ни на что, нам все-таки хотелось бы этого. Возвращаем Вам рукопись романа "Доктор Живаго"». Было опубликовано в «Литературной газете» от 25 октября 1958 года и одновременно в ноябрьском номере «Нового мира». Публикации предшествовало письмо новой редколлегии «Нового мира» — А. Т. Твардовского, Е. Н. Герасимова, С. Н. Голубева, А. Г. Дементьева, Б. Г. Закса, Б. А. Лавренева, В. В. Овечки-на, К. А. Федина. В нем содержалась просьба напечатать письмо двухлетней давности и говорилось: «Теперь же, как стало известно, Пастернаку присуждена Нобелевская премия. Совершенно очевидно, что это присуждение не имеет ничего общего с объективной оценкой собственно литературных качеств творчества Пастернака, связано с антисоветской шумихой вокруг романа "Доктор Живаго" и является чисто политической акцией, враждебной по отношению к нашей стране и направленной на разжигание холодной войны».

2 Весь тираж сборника «Избранное» 1948 года был уничтожен.

3 Вера Федоровна Панова (1905-1973).

4 Вадим Михайлович Кожевников (1909—1984), в то время главный редактор журнала «Знамя». В «Знамени» (1954, № 4) были напечатаны стихи из «Доктора Живаго».

5 Вскоре, 1 ноября 1958 года, в «Литературной газете» появилась небольшая статья Н. Рыленкова «Вызов всем честным людям», в которой он писал: «Своим романом Пастернак оскорбил великий народ, народ, совершивший величайшую революцию, сумевший ценой невероятных усилий, лишений и жертв отстоять свои завоевания и выйти на широкую дорогу невиданного доселе переустройства всей своей жизни. Мы верим, что мировая писательская общественность поймет наше возмущение антигражданским, антинародным поведением Пастернака, которому были даны все возможности занять свое место среди строителей новой культуры».

6 В. Инбер сказала: «Эстет и декадент — это чисто литературные определения. Это не заключает в себе будущего предателя. Это слабо сказано» (см.: «Горизонт», 1988, № 9, с. 64).

7 Борис Абрамович Слуцкий (1919-1986). Его выступление не было направлено прямо против Пастернака; Леонид Николаевич Мартынов (1905-1980).

8 Анна Сергеевна Аллилуева (1896-1959) — писательница. Сестра Надежды Сергеевны Аллилуевой, жены Сталина.

А. Голодец

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Анна Наумовна Голодец — врач-терапевт поликлиники Литфонда СССР.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Пастернак. Из воспоминаний 5
Жозефина Пастернак. Воспоминания. Серебряная свадьба.
Patior. Перевод с английского Е. Куниной 23
Лидия Пастернак-Слейтер. Борис Пастернак. Заметки.
Перевод с французского Е. Давыдовой 32
Константин Локс. Повесть об одном десятилетии (1907-1917) 34
Сергей Дурылин. Из автобиографических записей «В своем углу» . .57
Сергей Бобров. О Б. Л. Пастернаке 63
Лев Горнунг. Встреча за встречей (По дневниковым записям) 71
Ольга Петровская. Воспоминания о Борисе Леонидовиче
Пастернаке 96
Евгения Кунина. О встречах с Борисом Пастернаком 108
Татьяна Толстая. Из дневниковых записей 121
Яков Черняк. Записи 20-х годов 126
Елизавета Черняк. Пастернак. Из воспоминаний 133
Анастасия Цветаева рассказывает... Беседа А. И. Цветаевой
сМ. И. Фейнберг 150
Фриц Брюгель. Разговор с Борисом Пастернаком.
Перевод с чешского О. Малевича 154
Анатолий Тарасенков. Пастернак. Черновые записи. 1934-1939 .. .158
Зинаида Пастернак. Воспоминания.....184
Маргарита Анастасьева. Борис Леонидович Пастернак
в жизни нашей семьи 241
Мария Гонта. Мартирик 254
Александр Афиногенов. Из дневника 1937 года 261
Тамара Иванова. Борис Леонидович Пастернак 272
Корней Чуковский. Из дневника 297
Нина Табидзе. Радуга на рассвете 320
Александр Гладков. Встречи с Пастернаком.....336
Виктор Боков. Собеседник рощ 359
Михаил Левин. Несколько встреч 365
Надежда Павлович. Из книги «Невод памяти» 378
Эмма Герштейн. О Пастернаке и об Ахматовой.....383
Лидия Чуковская. Отрывки из дневника 401
Анастасия Баранович-Поливанова. Несколько слов
о Борисе Пастернаке 452
Михаил Поливанов. Тайная свобода 458
Валентин Берестов. Сразу после войны 479

Исайя Берлин. Встречи с русскими писателями. 1945 и 1956
Перевод с английского Д. Сегала, Е. Толстой-Сегал, О. Ронена
в сотрудничестве с автором 487
Эдуард Бабаев. «Где воздух синь...» 507
Елена Берковская. Мальчики и девочки 40-х годов 519
Галина Нейгауз. Борис Пастернак в повседневной жизни.....549
Татьяна Эрастова. Мой разговор с Пастернаком 565
Андрей Вознесенский. Мне 14 лет 570
Николай Любимов. Борис Пастернак.
Из книги «Неувядаемый цвет».....609
Варлам Шаламов. Пастернак 645
Евгений Пастернак. Последние годы 672
Евгений Евтушенко. Бог становится человеком 714
Елена Чуковская. Нобелевская премия.....738
Константин Ваншенкин. Как исключали Пастернака 740
Анна Голодец. Последние дни.....747
Комментарии 763

Пастернак Б. Л.
П 19 Полное собрание сочинений [Текст]: в 11т. Т. XI. Борис Пастернак в воспоминаниях современников; сост., коммент. Е.В.Пастернак и Е.Б.Пастернака. — М.: Слово/SLOVO, 2005. — 824 с. ISBN 5-85050-696-9 (в пер.)

В том вошли воспоминания о Борисе Пастернаке, написанные известными писателями и деятелями культуры, а также родными и друзьями поэта.

УДК 821.161.1 ББК84 (2Рос-Рус) 6-5

Борис Леонидович Пастернак ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ Том XI

Редактор И. В. Опимах Художник К. Е. Журавлев Технический редактор Л. А. Комарова Верстка Г. Н. Жильцовой Корректоры С. В. Щербин, Л. В. Верижникова

Подписано в печать 14.06.05. Формат 60x90/16

Бумага писчая. Печать офсетная.

Гарнитура Newton

Усл. печ. л. 42,50. Уч.-изд. л. 36,57

Тираж 5000 экз. Заказ № 0509300

Издательство СЛОВО/SLOVO 109147, Москва, Воронцовская ул., 41

Отпечатано в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 5-85050-696-9

9785850506964